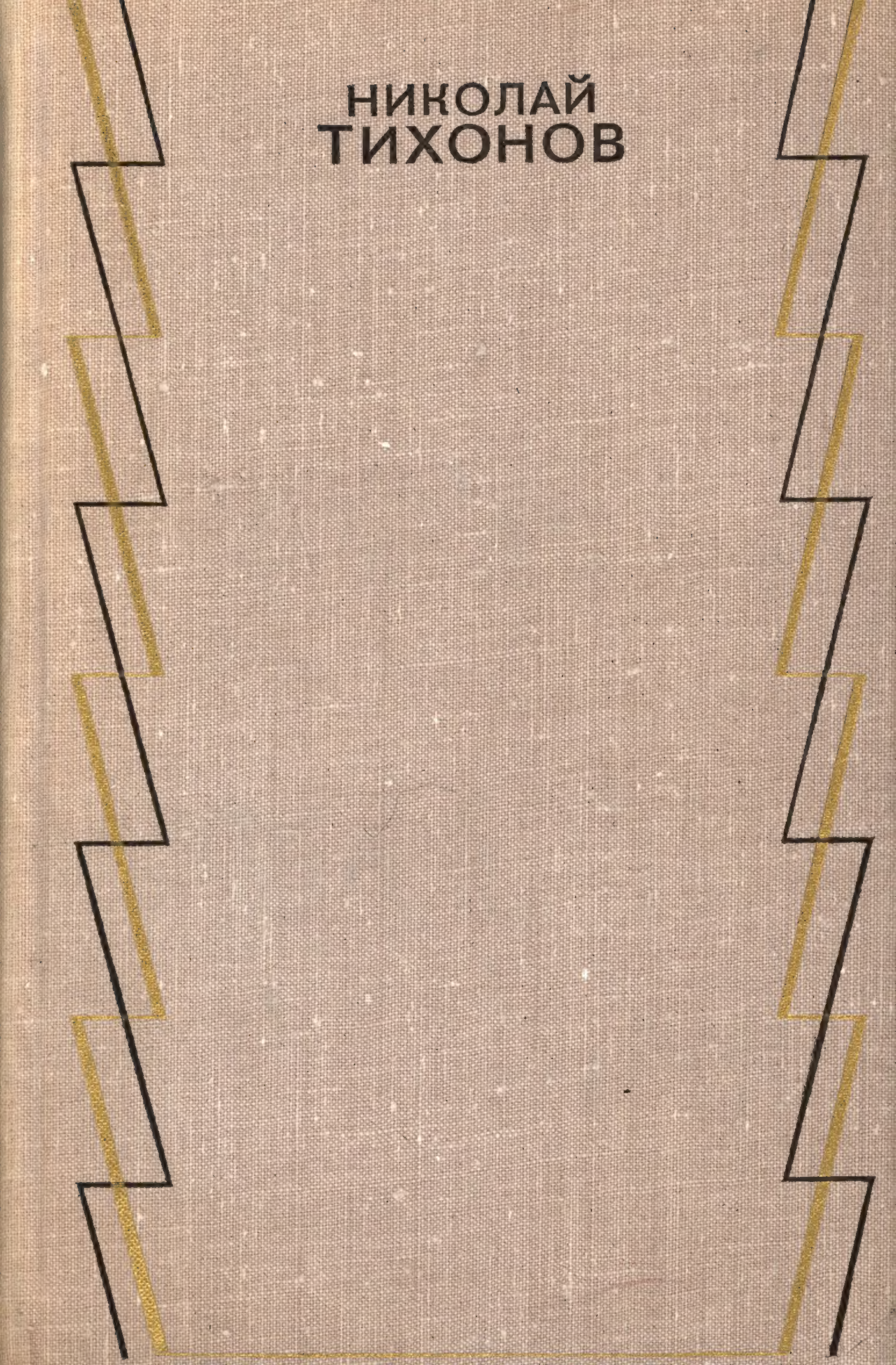

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1976

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СЕМИ ТОМАХ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1976

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ШЕСТОЙ

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1976

Г2
Т46

Примечания
И. ГРИНБЕРГА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{70302\text{-}027}{028(01)\text{-}76}$ подписное

ДВОЙНАЯ РАДУГА

Она стояла в двух шагах,
Та радуга двойная,
Как мост на сказочных быках,
Друзей соединяя.

Николай Тихонов

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Двойная радуга» — это книга рассказов-воспоминаний о писателях-современниках. Я не беру на себя смелость заключать в рамки одного или нескольких рассказов всю жизнь того или иного мастера советской литературы.

Я беру один или несколько моментов его жизни, но моментов важных для понимания как характера человека, так и характера его творчества.

Хотя это вполне свободное повествование, но в рассказах нет вымысла. Здесь дана воля памяти, но не воображению. Я восстанавливаю подлинные эпизоды, сцены, встречи, как это действительно имело место в жизни.

Я пишу о старейших, известнейших писателях. Я пишу о своих близких друзьях, с которыми был связан многими годами дружбы и совместной работой, вместе с ними принимал участие в Великой Отечественной войне.

Мне хотелось рассказать и о писателях необычной судьбы, почти или совсем неизвестных широкому читателю, об авторах книг, по разным причинам оставшихся не законченными.

Мне казалось, что о них нужно обязательно вспомнить и рассказать, потому что они стоят этого, они заслужили это своей жизнью, своей преданностью великой советской литературе.

Работая над рассказами-воспоминаниями, я не забывал старых строк мудрого Герцена из предисловия к четвер-

той части его книги «Былое и думы»: «Для того, чтобы писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком,— для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать».

Я имел материал, предоставленный мне самой жизнью. Я рассказал, как умел.

Эта работа доставила мне грустную радость, потому что я вспоминал близких мне людей, которых уже нет с нами, и события минувших лет, оставшиеся в памяти сердца.

Николай Тихонов

СОЗДАТЕЛЬ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»

Горький как-то назвал писателей «живописцами слова». Когда я впервые читал «Железный поток» и передо мной вставали образы неповторимого похода масс, руководимых человеком небывалой воли и энергии, выдержки и нравственного совершенства, я невольно думал об изображении этого события в живописи, но особенно в скульптуре. Какой-нибудь громадного протяжения фриз великолепно вобрал бы в себя и предельно выразительно передал бы именно народность, именно революционную направленность этих мужчин, женщин, подростков, всю трагичность обстановки, всю глубину перенесенных ими бедствий и страданий.

Но Серафимович нашел слова, которые и по прошествии многих лет все равно заставляют читателя почувствовать всю глубокую правду жизни в этом повествовании и ощутить, увидеть краски, которыми наполнена книга.

Я долго думал, что сила этого произведения заключается, наверное, еще в том, что автор сам участвовал в этом походе. Даже когда я узнал, что это не так, что Серафимович не имел отношения к этому эпосу, я представлял его себе похожим на Кожуха: «И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа».

Этот образ победившего героя, особенно его удивительная «почернелость», о которой так верно говорит автор, соединялись у меня с обликом самого писателя,

потому что, думал я, наверное, он кое-что взял от себя и себя вообразил идущим по бесконечным дорогам через степи и горы и по взморью. В общем, мне хотелось, чтобы автор напоминал своего героя.

Когда же я увидел его в первый раз на Всесоюзном съезде писателей, он оказался совсем другим и не менее интересным. Ему было уже много лет. Он был худ, то ли наголо выбрит, то ли совершенно лыс. Лицо было чуть скуластое, седые усы строги и крепки, глаза светились умным огнем. Старость еще не имела над ним своей угнетающей власти. Чувствовалось, что он устает, что он ощущает годы на своих широких плечах, голос чуть хрипит, но он еще силен и может сказать такое, что он один знает, и это будет слово, очень важное для писателей, особенно молодых.

Я смотрел на него и не искал больше в нем черт Кожуха. Это было ни к чему. Я все знал о нем — и о том, как уважал его Владимир Ильич Ленин, как ценил его правдивый, высокий талант, и о том, как сложилась его нелегкая биография писателя-революционера, какой долгий и трудный путь прошел он в те годы, когда писатели делились на писателей по ту и по эту сторону баррикады, как он вкладывал свои силы в дело защиты Октября. Много я знал о нем, и его появление на съезде среди молодых писателей было символическим. Он был окружен любовью и вниманием, и это было очень хорошо.

Вокруг него всегда была толпа писателей, среди которых были и представители разных народов, посланцы с Кавказа, из степей Ставропольщины, с берегов Кубани, столь близкой его сердцу.

Годы шли. Я, живущий в Ленинграде и бывающий в Москве только редкими наездами, много лет не видел его. В осажденный Ленинград в январе 1943 года дошла весть о том, что старейшему советскому писателю Александру Серафимовичу Серафимовичу исполнилось восемьдесят лет. Писатели Москвы обратились к нему с добрым словом о том, что «не одно поколение советских людей училось и учится на ваших произведениях беззаветной вере в силы народа, горячей любви к родине, гуманизму и неистребимой ненависти к врагам трудящихся, к фашистам».

И действительно, в эти дни, наполненные гулом боев за самое священное, что есть на свете,— свободу и человека, родину и ее будущее — среди немногих книг, лежавших в блиндажах и землянках и много говоривших солдатскому сердцу, была и книга Серафимовича «Железный поток».

Так же поражала она суровые сердца, так же вызывала приток мужества и желание неистового боя с врагом, потерявшим человеческие черты. Те ужасы, что творили белые над участниками ковтюховского похода, творили сегодня пришлые черномундирники, и не было предела тем мучениям и страданиям, что выпали на долю советских людей.

В далеком, отрезанном врагом Ленинграде я вспоминал в тот день славного юбилея высокую знакомую фигуру и думал, как трудно ему сейчас, как переживает он великую трагедию мировой войны, сколько ему надо сил, чтобы быть мобилизованным и дожить до Дня Победы.

Но я вспомнил его и тогда, когда узнал, что именно от города, носящего его имя — Серафимович, началось наше историческое наступление под Сталинградом. Думаю, что это событие наполнило радостью сердце старого писателя не меньше, чем когда он узнавал, что его книга на вооружении бойцов на всех фронтах.

Я мысленно пожелал автору «Железного потока» здоровья и новых сил, тех сил, которые так нужны были всем нам.

И снова шли времена. Война окончилась. Земля, покрытая развалинами городов и селений, вздохнула облегченно. Новые цветы выросли рядом с подбитыми танками и пушками, люди, бравшие Берлин, принялись за восстановление родной страны. Все наполнилось новым гулом работ, труда, радости.

В такие вдохновляющие дни, чуть подернутые грустью о невозвратных потерях, особо чувствовалось дыхание жизни в каждой цветущей ветке, в каждом распахнутом на улицу окне, где светились свежие цветы, в каждом прохожем, куда-то спешившем, в каждом ребенке, игравшем на бульваре в песке.

Теперь я часто видел Александра Серафимовича, потому что жил в доме на улице, которая носила его имя. Улица эта необычна, как необычен и тот, в честь кого она названа. Эта улица состоит всего из двух домов. Один — неимоверной величины, и если бы его разделить на целые улицы небольших домов, то вышел бы приличный районный центр, целый город — так много в нем обитает людей; а второй дом — небольшой, обыкновенный, взирающий с некоторым трепетом на своего величественного соседа.

Серафимович ходил по улице собственного имени, лежащей между двумя мостами, и в этом не было ничего необыкновенного. Он достиг естественной известности. На

Дону стоял город его имени, в Москве была улица, на которой он жил. Он стал старше годами, лицо его стало сосредоточенней, усы достигли предельной белизны, он еще более высох фигурой и стал казаться от этого еще выше. Но глаза сохранили прежний живой блеск, и он умел пошутить и сказать добрую народную поговорку. Все почтительно приветствовали его и смотрели вслед, когда он проходил. Он уже стал куском живой революционной истории, легендой о героических далеких временах, которые на фоне пережитых лет Великой Отечественной войны светились своим, непотухающим светом.

Он ходил в Союз писателей, сидел и слушал внимательно разные дискуссии, вставал и говорил, что он думает, и, хотя временами он довольно жестко высказывал свое мнение, слова его были справедливы.

То же, что ему казалось стоящим в литературе, он приветствовал искренне и с какой-то детской улыбкой.

Правда, выходы из дому ему стоили все большего труда. И лестницы и пригорки на даче ему давались с большим напряжением. Здоровье его было уже расшатано, и старость положила ему на плечи свои тяжелые руки.

И, наконец, я встретился с ним в больнице, где он лежал. Я пришел его навестить. Я застал у его постели еще одного друга-литератора. Александр Серафимович пришел в хорошее настроение. И вдруг его ослабевшее большое тело словно дрогнуло изнутри, он выпрямился, сел на кровати, опираясь на подушки, и начал нам рассказывать помолодевшим голосом, так, что лицо порозовело, о родном Доне, о его станицах, о виноградниках, о людях тех мест, о своей юности.

Мы слушали, эгоистически забыв, что не надо так много говорить Александру Серафимовичу, не надо так волноваться, но мы не могли прервать его рассказы. Его воспоминания о прошлых, далеких веснах сменялись веселыми рассказами о ярмарках, об анекдотических старых казаках, о красавицах казачках, и так красочны были эти рассказы, так плавно лилась замедленная в последние годы речь писателя, вспоминавшего прошлое, что мы только жалели, что это невозможно записать, что эти рассказы не дойдут до читателя.

Как будто собрав свои последние силы, писатель хотел поделиться с нами так нравившимися ему самому воспоминаниями. Ему было радостно, горько, приятно, сладостно погружаться в годы молодости, проходить зелеными

станичными улочками, перелезать через изгороди, идти к широкой реке, рассказывать о своих приятелях, о своих веселых подружках юности, о рыбачьих кострах, о всем, что жило еще в нем, скопилось за долгие годы, придавало силы на старости лет.

Мы слушали как зачарованные. Не хотелось уходить от него, не хотелось прерывать этот поток мыслей. Мы знали, что ему будет потом трудно, потому что наступит усталость, но сейчас он не думает о ней. Он весь там, на солнечном юге, где его родина, где качаются деревья, которые он знал тростинками, где хо́дят старые старики, друзья его юных лет, где так же несет свои волны тихий Дон...

Он даже, слегка подмигнув нам, заявил, что надо взять хорошую лодку и летом махнуть нам всем по реке. Вот уж он нам покажет, где что самого замечательного! Вот это будет поездка! Мы не сомневались, что это будет изумительно. Мы дали свое согласие, только при условии, что он будет нашим вожаком...

Мы оставили его уже усталого, розового, смеющегося, довольного...

Никакого плавания вместе нам не удалось совершить. Но всегда, когда я вспоминаю Александра Серафимовича, я вижу его так, как видел в первоначальном представлении, то есть идущим впереди неисчислимого человеческого железного потока, как будто он Кожух. И вижу его на борту большой лодки, плывущего в несостоявшемся походе по Дону, как будто он наш вдохновенный, неутомимый вожак, вижу с его последней лукавой улыбкой, с большими сияющими глазами, полного необыкновенной жизненной силы.

ПУТИ-ДОРОГИ

Туманным сентябрьским утром небольшая компания на двух машинах покинула Баку и направилась в дальний путь. Всего нас было восемь человек: Александр Александрович Фадеев, Самед Вургун, я, один почтенный пограничник, человек серьезный и понимающий в охотничьих делах, затем ученый муж, специалист по лесному хозяйству, настоящий егерь, знаток звериного и птичьего мира, и два водителя, хорошо знавшие все дороги Закавказья.

Уже самый состав нашей компании говорил о том, что едем мы не в гости, не на заседания, не на подвиги альпинизма. Многочисленные ружья разных систем в кожаных футлярах, патронташи, охотничьи сумки, две собаки, привыкшие к далеким переездам, смирно лежавшие у ног едущих, выдавали цель нашей поездки в предгорья Большого Кавказа.

Мы оставили за собой трудовые шумы исполинского города. Леса бакинских вышек исчезли из поля нашего зрения. Перед нами открылись дали.

Легкая черная «Победа» и высокий, сильный зеленый «додж» быстро бежали среди опустевших осенних полей, поредевших рощ, рыжих, выгоревших холмов, пыльных придорожных скальных отвесов. Уже наступила осень, воздух холодил щеки. На коротких остановках еще острей чувствовался запах сухих трав, вянущей листвы, дыма дальних костров, непонятный северянам, чисто южный запах осенней степи, горький, тревожный, волнующий.

Все вокруг как-то посмуглело, потемнело, потеряв пышные летние краски, но в этих четких очертаниях поздней

осени была своя особая красота. Если природа на сéвере зимой умирает, накрывшись белыми одеялами снегов, то природа на юге глубокой осенью уже начинает погружаться до весны в тот удивительный сон, в каком пребывает спящая красавица в известной сказке.

Мы наслаждались тихим днем, быстрой ездой, беглой сменой проносившихся мимо пейзажей. Было так хорошо следить, как сначала возникали на горизонте в голубой дымке далекие холмы и перелески, потом они набегали на вас, приближаясь с необычайной быстротой, потом они были уже рядом, и вы могли отчетливо видеть каждую ветку дерева, каждый рисунок на камне, пятна черно-зеленых мхов на серой скале, потом все это оставалось далеко позади, как будто никогда и не существовало, а только привиделось вам на самое короткое мгновение.

На нас снизошло странное успокоение после неслыханно шумных, заполненных до отказа дней, проведенных нами в Баку и в других местах славной азербайджанской земли.

Только что кончилось празднование великого Низами, и в памяти еще жили самые живописные картины юбилейных торжеств.

Гости приехали со всех концов Советского Союза. Были иностранные поэты и писатели, главным образом из социалистических стран. Мы погрузились во времена Низами, чтобы еще сильней почувствовать новую молодость столицы Азербайджана. Древние двустишия о розах и смертельно влюбленных юношах звучали в Баку на фоне передовой техники.

Среди всего пестрого общества я мысленно выделил двух людей. Одного из них можно было бы назвать главным гостем, хотя он не был поэтом, но очень любил стихи и много знал их наизусть. Это был Александр Александрович Фадеев. К нему относились все с громадным уважением и любовью. Он чувствовал это и был в хорошем настроении. Высокий, подтянутый, ловкий в движениях, он был по-хорошему весел, в нем не было того темного напряжения, которое временами делало его мрачным и раздражительным. Ему шел сорок шестой год, но он выглядел гораздо моложе своих лет. Он походил на джигита, и если бы надел горский костюм, тот бы очень пошел ему. Недаром Фадеев в молодые годы носил черную рубаху, чем-то напоминавшую чекмень, и подпоясывался узким кавказским ремешком с серебряным набором.

Его седые волосы сверкали голубыми искрами. Он много смеялся своим тонким и звонко-дрожащим смехом.

Если он мне казался, да и не только мне, главным гостем, то другого можно было назвать поэтическим хозяином праздника, потому что он был, несомненно, народным поэтом Азербайджана и ему выпала честь представлять своего древнего учителя гостям и народу в день юбилея. Это был наш друг и соратник Самед Вургун. Он был в расцвете своих сил. Ему шел сороковой год. Густая соль усыпала его черные жесткие волосы. Широкие смолистые брови, глаза горного орла, смело глядящего на мир, черты энергичного лица говорили о большой жизненной силе, о большой воле, о мужестве.

Кто же, как не он, должен был сказать первое слово о Низами! Разве он сам не выразил с предельной ясностью, в чем основа его собственного поэтического творчества!

Не зная дней рожденья, дней ухода,
Под тысячей имен в родной стране —
Жить, вечно жить: в бессмертии народа,
В зерне и слове, хлебе и вине!..

В Азербайджане, стране поэтов, где народ чтит такие имена, как Низами, Хагани, Вагиф, не так легко завладеть сердцами и получить высокое признание народного поэта. Самед Вургун — певец народа, сам вышедший из его рядов, сам деливший с ним все его беды и его трудный революционный путь. Он имел право воскликнуть в своем знаменитом стихотворении:

Можно ль песню из горла украсть? — Никогда!
Ты — дыханье мое, ты мой хлеб и вода!
Предо мной распахнулись твои города..
Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

И как странно мне думать сегодня, что на привокзальной площади в Баку, среди большого парка, стоит на высоком постаменте из гранита наш друг Самед Вургун. И смотрит бронзовым взором, и бронзовая рука лежит на бронзовой груди. А под ним высечены на постаменте строки о его величайшей любви к родине.

И памятник этот делал тот же народный художник республики Ф. Абдурахманов, что делал и памятник Низами в Баку. Так встречаются времена и поэты.

Но я хочу вернуться к тому туманному и удивительному дню закавказской осени, когда мы были все вместе и не думали ни о чем мрачном.

Еще когда наш самолет, летевший в Баку из Москвы, пролетал над выжженной степью перед Сталинградом, мы поразились необыкновенной картине. Вся степь — и это особенно хорошо было видно с высоты — была усеяна рыжими, красными, коричневыми ржавыми обломками неисчислимых машин, танков, орудий. Как железные кости, изогнувшись, на огромном пространстве лежали эти свидетели грандиозной битвы, терзаемые степными бурями, иссеченные дождями, обожженные жгучим солнцем степей. Их еще не успели разобрать и увезти.

Фадеев сказал тогда, хмуро глядя через круглое окно самолета: «Мы летим на родину великих эпических поэм, а это скелет фашистского дракона, сраженного советским богатырем. Об этом тоже сложат легенды. В памяти народов навсегда останется это событие. Но как трудно современнику бывает увидеть весь масштаб происшедшего! Нужно взлететь на самолете, чтобы высота дала возможность увидеть нечто подобное. И писать об этом, как писал Низами, поэты тоже не могут. Нужно, так сказать, новое что-то. Да, да, да... Будь жив Маяковский, он бы попробовал...»

Кто-то сказал: «Он попробовал эпос, написал современную былину про 150 000 000, и сам увидел, что не получилось нового мифа...»

Фадеев вспомнил еще раз об этом, когда осматривал Баку. Боюсь ошибиться, но он, по-моему, в Баку был первый раз в жизни. Он подробно знакомился с городом. Все ему хотелось увидеть. И когда мы стояли у памятника Кирову, поднявшись по широкой лестнице на основную площадку памятника, и возник вид на весь город, море и окрестности, он сказал, показывая на барельеф на памятнике, изображавший Сергея Мироновича, окруженного рабочими на промыслах:

— Вот эпос нашего времени! Вчерашние рабочие задавленного нищетой и темнотой народа сегодня первые мастера. А Киров! Ты найдешь его в красной Астрахани, на Волге, в горах Кавказа, и там он со своей железной волей большевика, он в Ленинграде, и здесь он, какая сила творческого устремления, какой характер! Хорошо выбрали место бакинцы! Он любил простор, без него не мог жить...

Фадеев бродил по старому городу, где улицы так узки, что в ином месте вдвоем не пройдешь рядом, можно пожать через улицу руку соседу. Мы жили в большом доме на набережной. В часы отдыха, главным образом ночью, играли на бильярде. Приходили друзья, беседовали далеко за полночь.

Потом была древняя Гянджа. Сегодня она называлась Кировабадом. Там проходили торжества серьезно, благолепно. Фадеев произнес речь на митинге у мавзолея Низами. Когда окончился митинг и мы гуляли около мавзолея, он остановился и стал внимательно осматривать окрестность. Сизая, в осенней поблекшей траве равнина, пересеченная оврагами, была перед его глазами. Вдали виднелись селения, поблизости было пустынно.

— Вот ты знаешь и любишь Кавказ,— вдруг сказал он мне,— а можешь ли ты чем-нибудь заполнить эту равнину? Рассказать что-нибудь об этом месте? Мне захотелось представить ее оживленной, но я не знаю ни одного события, связанного с Гянджой...

— Как же,— воскликнул я, пораженный неожиданным ходом его мыслей,— на этом месте решалась и решилась судьба азербайджанского народа! Здесь русская армия в 1826 году разгромила полки Аббаса-мирзы. Вон там стояли его сарбазы, его гвардейцы. У них были пушки, английские инструкторы. Их, иранцев, было тридцать пять тысяч, русских — шесть тысяч. Но это были закаленные ермоловские солдаты и с ними такие генералы, как Вельяминов, Симонович, Мадатов. Паскевич испугался, думал, что его нарочно подводят под поражение ермоловские друзья. Он не знал мужества и патриотизма этих людей. Когда Вельяминов, оставив своих солдат, подскакал к нему, чтобы сказать, что время атаковать неприятеля, полный смутных мыслей Паскевич мог только сурово сказать ему: «Место русского генерала под ядрами!..»

Вельяминов молча повернул коня, выехал впереди своих войск на голый курган, расстелил бурку и лег на нее. Иранцы жестоко обстреливали его и его конвой. Он лежал под ядрами. К нему подскакал горячий Мадатов, спросил, что он делает, почему ждет.

Вельяминов спокойно ответил: «Я исполняю приказание находиться под ядрами». Наконец Паскевич решился дать приказ об атаке. Битва была жестокая. В центре два русских батальона опрокинули восемнадцать персидских.

Аббас-мирза и эриванский сардар бежали с остатками войска. Весь лагерь достался русским.

Вот она, эта долина Шах-дюзи. В этом сражении решилась судьба азербайджанского народа, потому что, если бы победили иранцы, он попал бы в жуткое рабство, а резня в Гяндже была бы неизбежна. И знаешь, кто был свидетелем этого сражения?

— Кто? — спросил Фадеев.— Я не знаю.

— Вон там, у Гянджи-чая, ждал исхода боя Мирза Фатали Ахундов. Ему тогда было четырнадцать лет!..

Фадеев засмеялся своим тонким, долгим, бисерным смехом.

— Но, честное слово, признайся, что ты больше ничего не знаешь о Гяндже, кроме этого!

— Знаю,— сказал я твердо.— Сто лет назад здесь жил и служил известный тебе Николоз Бараташвили...

— Это и я знаю,— сказал Фадеев,— мне рассказывал в свое время Георгий Леонидзе об этом... Я вспомнил!

После Кировабада гостям хотели показать озеро Гёкь-Гёль. Оно лежало в ближайших горах. Это озеро — гордость республики. Но из нашей поездки к озеру ничего не вышло. Накануне прошли сильные дожди, и участок дороги размыло. Там были опасные спуски и повороты, и поэтому возникло большое сомнение в целесообразности риска.

Мы уже подъехали к этому рискованному повороту и тут были остановлены друзьями. Они устроили совещание, на котором решили не пускать гостей через опасный участок. Как ни уговаривал Фадеев друзей, что он не боится никаких обрывов, в крайнем случае пойдет пешком, нашу машину завернули, и мы отправились в какой-то мир пастухов, овечьих отар и горных лугов.

Мы ехали редким лесом, потом кустарниками, все выше и выше вкручиваясь в горы. Уже по сторонам пошел голый камень, в тумане проплывали чисто библейские виды. Сквозь туман двигался поток баранов. Вокруг виднелись покрытые темно-зеленым мохом большие камни. Стал накрапывать дождь. Мелкая его сетка скучно завесила окрестность.

— Куда мы едем? — спросил Фадеев.

— В колхоз имени Камо,— ответили ему.— Сейчас уже близко...

Пересекая небольшие, но ворчавшие сердито ручьи между валунами с темно-зелеными мхами, мы достигли

какой-то корытообразной ложбины, и тут нас встретили новые стада и пастухи, дико кричавшие на баранов и на собак, поднявших при нашем появлении такой рев и лай, что не было слышно ничего, кроме этих хриплых, злостных раскатов. Здесь наша машина остановилась. Люди приблизились к ней. Была еще какая-то задержка. Потом раздались приветственные возгласы, мы увидели целую толпу, дружно хлопавшую в ладоши, что было неожиданно и странно в этом сыром и дождливом месте.

Кто-то предупредительно открыл дверцу автомобиля, и Фадеев сделал движение, чтобы выйти из машины, но тут же он резко откинулся назад и сел, нахмурившись и даже несколько растерявшись. Я приподнялся со своего места и заглянул через его плечо в раскрытую дверцу. Я тоже смутился в первую минуту. Перед машиной расползалась большая лужа ярко-красной крови, которая, как потом я увидел, густо забрызгала даже колесо.

Было такое впечатление, как будто кто-то только что попал под нашу машину. Когда Фадеев отказался выйти,— а он, выходя, должен был переступить через эту лужу крови,— люди вокруг засуетились, стали кого-то звать. К нам приблизился почтенного вида человек, который кричал, размахивая руками и протягивая их нам навстречу: «Это хорошо, очень хорошо! Ступай сюда, дорогой!» Он показывал на лужу крови, и тут же другой человек потрясал посиневшей бараньей головой и окровавленным кинжалом, улыбаясь во весь рот, так что его зубы ярко светились.

Фадеев молчал. Тогда машину чуть осадили, чтобы он мог выйти, не касаясь лужи. Мы все вышли на луг, окруженные сразу пастухами и друзьями, подъехавшими на машинах вслед за нами.

Нам стали объяснять, что по древнему обычаю так принимают особо выдающихся гостей. Режут специально барана, чтобы гость перешагнул через его кровь. Это значит — большая честь и мир между хозяевами и гостем.

Вскоре вокруг уже запылали костры. Их пламя как будто сдунуло туман с окружающих скал, зашипели шашлыки, и начался пир в пути, неожиданный, но очень дружный и живописный. Мы сидели на бурках, на камнях, на траве. Пастухи разливали водку и вино из бурдюков. День вдруг разрумянился, показалось солнце, и уже пошли пастушеские танцы и песни. Долго нам не давали

уехать с этой лужайки. Но пир кончился, все благодарили хозяев, и мы отправились в Кировабад.

По дороге Фадеев был сумрачен, и я решил, что дикий обряд гостеприимства — эта лужа крови под ноги гостю — вызвал у него чувство отвращения и растерянности.

— Это действительно древний обычай,— сказал я Фадееву,— он существует у многих народов Востока.

— Но, слушай, это, так сказать, безобразие,— ответил он,— и не нам сегодня держаться таких обычаев. Тогда перед «Арагви» в Москве никогда не высыхали бы лужи бараньей крови, и как тогда можно было бы посещать этот ресторан именитым, так сказать, людям?..

Я рассказал о том, как один аравийский властелин помирился со своими старыми врагами — шейхами пустыни и пригласил их для заключения мира к себе во дворец. Конечно, они приехали полные подозрений и скрытой тревоги. Но для них, оказывая им особую честь, сделали специальный пролом в стене, чтобы они не шли обычным ходом, и этот пролом залили кровью убитого верблюда. Возможно, что смысл был в том, чтобы они прошли в дом мира, перешагнув через прошлую кровавую вражду, взаимную свару.

Потом их посадили на ковры, и сам властелин их принял. Арабский обед начинается с хорошей воды. Они, увидев множество темных бутылок с минеральной водой, решили пить только из тех бутылок, из которых пьет хозяин. Но хозяину была прописана особая вода, которая действует на желудок. И несчастные шейхи, вкушая замечательные яства, скоро почувствовали боли в животе, потому что вода начала действовать. Думая, что они стали жертвой какого-то яда, они с трудом доели обед и ринулись сломя голову в больницу, бледные, с зелеными полосами на лицах от переживаний, с вытаращенными от боли глазами. Хорошо, что там им объяснили причину их недомогания — излишнее употребление сильнодействующей минеральной воды. Но если бы им не объяснили, война началась бы снова в тот же вечер с еще большим ожесточением.

— Ну, это, так сказать, ты заврался! — воскликнул Фадеев.— В каком веке это было? Давай точную дату...

— В нашем, Саша, в нашем,— говорил я ему,— советские врачи это были, которые, кажется, лечили владыку не то Йемена, не то какого-то другого арабского королев-

ства. И это было несколько лет назад. Я где-то читал об этом...

— Все ты выдумал,— сказал Фадеев, уже добродушно смеявшийся над страданиями мнимобольных арабов.

Он скоро забыл о том, как его встретили в колхозе имени Камо, но я все-таки мысленно не раз возвращался к этому эпизоду, не знаю даже почему, и как-то вдруг вспомнил о случае с Фадеевым и со мной на Ленинградском фронте, в годы войны.

Я знал, что Фадеев очень храбрый человек, да он и не мог быть другим. Всем известно, как он шел на штурм мятежных кронштадтских фортов, был при этом ранен. Видом крови его трудно было смутить.

В мае сорок второго года я попал с Вишневским и с Фадеевым на позиции морской дальнобойной артиллерии, расположенной на правом берегу Невы, довольно близко от переднего края, что Фадеева сначала очень удивило. Но командир части, старый, заслуженный артиллерист, моряк, испытанный во всех опасностях, объяснил, что когда строили площадки для орудий, естественно, рассчитанных для действия на самое большое расстояние, то не предвидели, что противоположный, близкий, левый берег будет в руках врага.

Теперь эвакуировать батареи нет возможности, а стрелять они должны, конечно, не по окопам или блиндажам на вражеском берегу. Калибр орудий таков, что должен наносить вред немцам в далеком тылу, что его батареи с пользой и делают.

И, зная о существовании этих орудий, враг хочет их уничтожить во что бы то ни стало. Он ведет такие адские обстрелы, что не счесть, сколько снарядов легло в расположение батарей. Их можно считать десятками тысяч. Только на ту батарею, на которой были мы, фашистами было выпущено восемь с половиной тысяч снарядов. Мы шли и видели, как пространство между орудийными установками густо усыпано осколками всех размеров.

Фадеев говорил с моряками, расспрашивал командира о быте части, об обстрелах, удивлялся чистоте артиллерийских площадок и двориков.

— Чистота, как на корабле,— говорил он.

— Мы — моряки,— отвечал командир,— и говорим с врагом тоже по-морски. Эти пушки — корабельный калибр!

В это время глухо, но слышно вдалеке ударили четыре орудия, и снаряды пошли к нам.

— Прошу в блиндаж,— сказал командир,— начинается очередной концерт. Не рекомендуется оставаться без прикрытия...

И мы прослушали весь долгий концерт. Иные снаряды гулко рвались рядом с нашим блиндажом. Мы разговаривали спокойно о всяких вещах, не имеющих даже отношения к войне. Никто не мог поручиться, что шальной снаряд не ударит в наш блиндаж. Бревна накатов иногда шевелились над нашей головой, осколки ударяли в стены, дробно звенели стаканы на столе от близкого удара, иногда вздрагивал весь блиндаж,— можно было вообразить, что мы ведем беседу в каюте корабля, который чуть покачивается на волне.

Канонада прекратилась так же внезапно, как и началась. Мы вышли на свежий воздух и тут увидели раненого. Это был краснофлотец, попавший случайно под разрыв. Он стоял, зажимая рану рукой. Кровь обильно струилась по гимнастерке. Он был бледен, и только глаза лихорадочно горели. Санитары принесли носилки. Все было обыкновенно.

Сдерживая боль, краснофлотец мужественно просил командира, чтобы тот похлопотал о его возвращении в свою часть после выздоровления.

Мы все видели кровь не первый раз. Фадеев смотрел нахмурясь и внимательно, как будто стараясь запомнить раненого и окружение. Он запомнил его. Он написал о нем в своей книге об осажденном Ленинграде.

...Наши машины набирают скорость. Теперь все эти встречи, случаи, происшествия позади. Мы видели все: народный праздник, заседания, небывалый вечер пятидесяти двух поэтов разных народов в Баку,— теперь мы мчимся только вперед, и вокруг нас тихие поля, пустынные холмы, вдали лиловеют и голубеют горы, сверкают реки, над которыми мы стучим по железным новым мостам. Все позади!

Впереди несколько дней, наполненных неизвестными радостями и теми непонятными мне охотничьими заботами, которые так занимают всех моих спутников.

Я, несмотря на то что много времени проводил в горах, в лесах и в болотах, никогда не имел желания стрелять в зверя или в птицу, но Самед Вургун и Фадеев страст-

ные любители охоты, и теперь они только и говорят о том, где лучше сейчас найти дичь и какую.

Самед Вургун мастерски, со страстью фанатика, рассказывает о богатом охотничьем мире закавказских гор и долин. И он не устает в своем охотничьем вдохновении.

Так мы продолжаем наш путь к северо-западу. Наша первая остановка — Шемаха.

Шемаха встретила нас морем зелени. Улицы города похожи на аллеи. Необыкновенного размера тополя, вековые тутовые деревья, исполинские липы. Но несмотря на всю эту богатую раму, сам город не мог представить свидетельств своего многовекового бытия, потому что от прежней славной столицы Ширванского ханства ничего не осталось, кроме развалин, укрытых живописной листвой уцелевших деревьев. Шемаха — город трагической судьбы, город многих землетрясений. Как видение исчез он с лица земли. Основанный еще в шестом веке, он был центром шелководства и торговли долгие столетия. Венецианские, генуэзские, московские, иранские, турецкие купцы имели здесь свои представительства. Размах торговли был огромен. При кровавом набеге хана Казикумуха одних русских купцов было истреблено около трехсот. Тогда Петр Первый предпринял свой поход на Кавказ. Потом значение Шемахи падало с каждым новым землетрясением все больше. Уже войдя в состав Российской империи и будучи административным центром Ширванской губернии, Шемаха в 1852 году снова была разрушена сильнейшим землетрясением. После этого все учреждения были переведены в Баку. Начался рост столицы нового Азербайджана. Землетрясение 1902 года кончило историю старого города. Только по рисункам художника Гагарина, сделанным с натуры, можно получить представление о богатстве и культуре старой Шемахи.

Все эти разговоры о Шемахе мы вели на небольшом привале, перед тем как направиться через Геогчай к Агдашу. Самед Вургун, будучи знатоком вопроса, рисовал очень живыми красками картину жизни городов старого Азербайджана и грустил, что такой красивый город, как Шемаха, ничего не сохранил от своего богатого прошлого. Злобность природы уничтожила все культурные памятники Шемахи.

Отдав долг историческим воспоминаниям, мы оставили Шемаху, и в час, когда легкие сумерки начали ложиться

на землю, перед нами открылся Агдаш, и охотники закричали: «Тут что-то будет!»

Не отдыхая, прямо с машин, взяв с собой еще местных любителей, целой вооруженной бригадой отправились мы к приветливым рощам, сбегавшим по склону покатых невысоких холмов, окружающих Агдаш. Мы ходили по опушкам, собаки бросались в кусты с азартом долго отдыхавших следопытов. Охотники останавливались, совещались, делились на группы. Иные кричали: «Смотрите друг друга не подстрелите! Не заходите вперед других!»

Но предупреждения и поиски были напрасны. Чаща была безмолвна, точно в ней не обитало никогда никаких живых существ. Даже редкие певчие птицы замолкли при нашем приближении.

Местные люди говорили, что поздно, так ничего не получится, что надо выходить рано утром.

Доводы эти были небезосновательны, и, побродив между островами леса и молодых рощ, мы вернулись в Агдаш на ночевку, так как ничего другого уже нельзя было предпринять.

Зато после доброго ужина мы проговорили до полуночи.

— Скажи, Самед,— спросил я,— вот ты старый охотник в своих краях — неужели нет такой птицы, такого зверя, какого ты бы не бил?

— Нет такого,— сказал, усмехаясь хищной усмешкой, Самед, щуря свои орлиные глаза.

— Ну, кого ты бил?

— Бил уток, конечно, гусей, бекасов, дупелей, перепелов, куропаток, фазанов бил, курочек, турачей... всех бил. Такой ягдташ приносил домой — жена подарки делала друзьям: самим столько не съесть...

— А вот дрофу, наверное, не бил?

— Как не бил дрофу? Бил дрофу! Около Гянджи их зимой очень много. Там же вот эту птицу... Саша, наверное, знает... кроншнеп называется, тоже бил. Коз бил, джейранов бил!.. Все птицы бил, все звери бил...

— А корсаков?

— Корсак — это что, лиса? Нет у нас корсаков!

— А ленкоранского тигра бил?

Лицо Самеда делается хитрым. Он щелкает языком, отвечает не сразу.

— В Ленкорани мы охотились на кабана, знаешь. А пришел тигр. Пришел и в камышах стоит, раздумывает.

Соображает, что делать. И мы соображаем, что это тигр пришел. Но он первый сообразил: лучше уйти с нашей дороги. Поломал камыш, ушел. А мы сначала хотели сами уйти. А он первый сообразил. Хо-хо-хо!

И Самед начинает по-детски смеяться, и нельзя понять, было так с тигром или не было. Посмеявшись, сам спрашивает:

— Я знаю, ты не охотник, а видал близко птиц?

— Видал,— отвечаю.— Я раз странствовал в Копет-Даге. С одеялом и палкой, с мешком за плечами. Я, бывало, сидел где-нибудь на ручье, днем, конечно. Узкие такие щели. Там зелени сколько угодно. Глядишь, и инжир, и дикий виноград, и ежевика. Есть и чинары и клены. А над тобой голые скалы. Жара — не приведи бог! И там я видел, как пили на этом ручье пчелы воду. Так пили, что у них брюхо раздувалось. И там ходили птицы рядом, не боялись. Голуби, фазаны жирные, красивые, как черти, прямо руками можно ловить. Хорошо с ними сидеть, забавно...

— У нас в Приморье,— сказал Фадеев,— фазаны бродят стаями. Как ручные. Их палками можно бить. Птица там непуганая. А раз мы видели, как медведь рыбу ловил на реке...

Я уже слышал не однажды этот рассказ, но всякий раз в нем появляются новые детали, и поэтому можно его слушать без скуки. Самед не знает этого рассказа, и другие спутники тоже.

— Слышим шорох,— рассказывает Фадеев,— затаились в кустах, смотрим: на узкой косе сидит медведь, в воду лапами лазит. Что-то ловит. И, поймав, через плечо назад перекидывает. Это по реке, так сказать, рыба идет густо, и гонит ее течение к медведю, прижимает к косе. А он рад такой добыче, думает — запасает на всю зиму. И трудится, и нажимает, и бросает ее все через плечо. Он только не соображает, что коса узкая, рыбу он сильным своим рывком перебрасывает опять в реку, и она спокойно уходит. Он, так сказать, старается до пота. Решил отдохнуть, оглянулся, сколько там рыбы,— уже, наверно, целая гора. Оглянулся, а там ничего нет. Обалдел мишка. Встал, почесался. Обвел окрестность угрожающим взглядом, зарычал, подумал: какой-то наглец, так сказать, у него рыбу стащил. Поревел устрашающе, а что делать — рыбы нет! Он обошел все вокруг, понюхал камни, кусты, вернулся, сел в прежнюю позу и давай снова

работать. Кидает, кидает, не оглядывается. А рыба так же перелетает косу — и обратно в речку. Сидел, сидел, ловил, ловил — ну, хватит. Оглянулся — опять ни одной рыбы. Встал медведь, схватился за голову, заухал горестно, вроде сказал: «Ничего не понимаю». И пошел, не оглядываясь и ухая, в лес. Мы чуть не померли с хохоту... Ну, здорово он ловил... Да, да, да...

Самед рассказывает, в свою очередь:

— А у меня был такой случай. Это где Кура и Аракс сливаются. Там хорошо охотиться поздней осенью. Я с собакой был. Холодно. Ветер. Там пустые камыши, болотца. Собака бросается. Я целюсь. Утки взлетают. Стреляю. Вдруг — что такое? Еще утки. Я попал в тех, что первые взлетели. А эти от страху — прямо на тех. Столкнулись в воздухе. Расшибли друг друга. И столько их попадало — сам удивлялся... Сами себя сшибли...

— Ты не веришь,— говорит он мне,— по глазам вижу — не веришь, а это в самом деле. Знаешь, брат, какие бывают случаи в жизни! Я болел тут немножко гриппом. Дома сидел. Поправился. Надо в город ехать по делам. Я, конечно, в городе живу, но так говорю — в город ехать, как будто за городом живу. Шофер вывел машину, открыл ворота на улицу, что-то пробует мотор, говорит: «Там есть какая-то маленькая заминка, я сейчас подлезу под машину, посмотрю». Мотор работает. Я спокойно сижу. Шофер что-то под машиной делает. Я задумался, вижу перед собой ноги шофера, хотел вынуть записную книжку, записать: хорошая мысль пришла мне в голову. Вдруг шофер что-то там, внизу, ковырнул — и, представляешь, брат, машина сама двинулась в ворота. Я ничего не успел еще сообразить, она уже на улице, шофер остался там, сзади, лежать. А машина сама едет уже по улице. А я сижу, как пассажир, и ничего не соображаю. А улица была прямо перед нами, и мы едем по улице. Прохожие, вижу, смотрят на меня, кто здоровается, кто ничего не понимает, руками машет, на меня показывает. Чудо какое-то: машина без шофера идет себе вперед и даже будто скорость набирает. И в ней Самед Вургун сидит. Тут я начинаю соображать, что будет. Так без конца нельзя, брат, ехать. Милиционер свистит, а что я поделаю! Смотрю — поворот должен быть. Так нельзя, брат! Я схватил руль, направо повернул. Тут такая будка, на которую афиши наклеивают. Я прямо на будку: не успел объехать. Трах! Прямо в будку машина ударилась, раздавила будку — останови-

лась. Я вышел из машины, ко мне бегут: «Что случилось?» Я говорю: «Ничего не случилось, говорю, опыт делал, как без шофера ездить...» А шофер жив-здоров, только очень удивился, что машина со мной ушла. Он ноги вытянул, и машина над ним проехала. Так было, брат! Можешь поверить! Странный случай, правда?

— И я вам расскажу,— начинает Фадеев,— какой со мной случай был, еще когда я начинал свою партизанскую жизнь. Дело было в тайге, ну, а дальневосточная тайга — серьезная вещь. Там можно днями идти и никого не встретить. И спросить дорогу не у кого. Случилось так, что надо послать связного со срочным донесением в один отряд, о котором у нас сведений давно не поступало. И надо для ускорения пути идти через тайгу, так сказать, прямиком. И не в один день дойдешь. Тропа, которую мне показали, не такая чтобы широкая, пользуются ей, видно, только по крайней надобности. Отказываться я не могу. Я тогда еще молодой партизан был. Да и совесть не позволяет: надо товарищам сообщить важные вести. Взял с собой мешок, винтовку, пакет, пошел. Первый день ничего не случилось. А на второй меня начало сомнение брать, той ли тропой иду. Шел я правильно, но от одиночества, от приподнятого моего состояния вот нашло такое сомнение. Что делать? Спросить некого. А сомнение заключалось мое в том, что в некоторых местах мне пришлось вброд, так сказать, переходить ручьи, которые пересекали тропу, и мне показалось, что я уклонился в сторону. А тайга тихая-тихая. Никакого шороха, никакого звука. От этого молчания как-то не по себе. Там белка шишку уронила — стук, как будто выстрел. Где-то ветка зашевелилась — уже останавливаешься, прислушиваешься, хотя хорошо знаешь: этой стороной никто не ходит и никого тут нет. Даже зверей никаких, вроде там медведя или волка. Иду и выхожу, когда был уже в самом большом сомнении, на полянку. Тропка едва вьется в густой траве, и вдруг я останавливаюсь и смотрю и ничего не понимаю.

Лежит передо мной на зеленой траве рядом с тропой, так сказать, новый рубанок. Ну, такой новый, как будто его только из лавки взяли. Чистый, блестящий, лежит на траве, будто его нарочно положили. Если думать, что кто-то его потерял, так ведь так не теряют. Он бы на боку лежал как-нибудь. А тут что-то другое. Кто-то нарочно положил, а зачем?! Стою я над рубанком и ничего не

могу сообразить. А главное, что тропа в этом месте мягкая и следы на ней мои отчетливо видны, а передо мной следов нет никаких. И на траве нет. Трава не смятая. Молод я был, конечно, и всякое романтическое лезло в голову. Колдовство какое-то. Стоял я, стоял, потом стал так думать. Сам рубанок в этой тайге — вещь, так сказать, необычная. И приносить его как будто некому. А если как нужную вещь его несли, так терять его не будут. В тайге народ осторожный. Да этой тропой никто и не ходит: нет надобности. Стоял я и думал вот о чем: колдовство колдовством, но ведь кто-то тут был. Значит, прежде всего отпадают мои сомнения, что я с тропы сбился. И это было самое главное. Рубанка я не взял. Почему — не знаю, объяснить не могу. К концу дня вышел я куда надо; отыскал отряд, пакет командиру отдал, все рассказал, потом начал в отряде спрашивать, кто этой тропой проходил и когда.

Справлялись, справлялись — никто не ходил ни туда, к нам, ни оттуда, кроме меня. Про рубанок я не рассказал. Эту историю я на всю жизнь запомнил... Ну, братцы, хватит рассказов. Завтра рано вставать. Пошли перед сном прогуляться...

И мы отправились за селение. На улице стояла какая-то шелковая ночь. То ли под впечатлением рассказов о природе, о зверях, то ли потому, что в этом ночном затишье мы не хотели обращаться мыслью к будничным делам, нас ожидавшим по возвращении, мы шли легким шагом по ложившимся под ноги лужайкам, не думая ни о чем, кроме того ночного покоя, не ощущая ничего, кроме оживляющей прохлады ночи и вырезанных в чистом, сине-фиолетовом небе верхушек молодого леса, казавшихся близкими и вместе с тем призрачными.

Я смотрел на Самеда Вургуна и Фадеева и ощущал их совсем другими. Они за время пути очень изменились, они стали проще, спокойнее, свободнее, в них пробудилось какое-то большое чувство, которое, казалось, они загоняют куда-то в глубину своего существа в обычной обстановке. Тут не надо было кому-то что-то доказывать, тут не надо было заниматься такими делами, которыми занимаешься через силу, которыми не хочется заниматься. Звезды смотрели со спокойного неба, как в ту ночь, когда поэту пришла первая строка стихотворения: «Выхожу один я на дорогу». Кремнистый путь блестел под холмом, но нам не было ни тяжко, ни трудно. Здесь я понял, по-

чему Самед Вургун так любит охотничьи странствования, почему Саша Фадеев испытывает сейчас радость ночного одиночества перед светом этих далеких звезд и теней, бегущих от тихих деревьев.

Фадеев, говоря о Кавказе, раз спросил меня: «Почему, ты думаешь, Лев Толстой хотел остаться жить на Кавказе?» Я тогда ответил, что у самого Толстого есть этому объяснение. Он находил, что именно на Кавказе с ним произошла большая нравственная перемена. Кроме того, он здесь начал ощущать себя как писатель. Здесь он написал «Детство и отрочество».

Фадеев отшутился, он улыбнулся и сказал несколько иронически:

— Ну, еще ему нравилась охота на Кавказе. Я даже помню.— И он, со своей адской памятью, процитировал из письма Толстого: — «Охота здесь — чудо! Чистые поля, болотцы, набитые русаками, и острова не из леса, а из камыша, в котором держатся лисицы...»

И вот сейчас, идя по лунным полянам, вдыхая железистый воздух предгорий, настоянный на осеннем лесном экстракте, я думал о том, что для таких людей, как Фадеев и Самед Вургун, жизнь без большого внутреннего общения с природой, глубокого и им одним понятного, невозможна, что никакие городские радости не заменят им вот такой сладостной осенней ночи с ее горькими запахами и тревожной тишиной.

Фадеев молча шел по краю поляны. Я спросил его:

— Если бы ты, Саша, жил в другое время, у себя на Дальнем Востоке, ушел ли бы ты, если бы тебе предложили, скажем, с Пржевальским, в Уссурийскую тайгу, в экспедицию?..

— Возможно,— сказал он, и его лицо при луне было как будто вымыто чистой родниковой водой.— А почему ты спрашиваешь?..

— А ушел бы ты с тем же Пржевальским, когда он направился в Центральную Азию, чтобы дойти до Лхассы, ушел бы, чтобы идти годами через пустыни, реки, степи, проходя сотни верст, далеко от дома, каждый день видя новое, открывая новые места, новые пути, ушел бы?..

Он посмотрел на меня очень внимательными глазами и вдруг сказал громко:

— Ну конечно, ушел бы!

— Вот и все,— почему-то сказал я, и мы продолжали идти по краю поляны, где луна играла причудливыми те-

нями. А ночь длилась, и шелковые облака неудержимо, но тихо шли над спящим селением, догоняя друг друга...

Рано утром, хорошо отдохнув, наши охотники бодро отправились в поход в ближайшие рощи, но охота была плохая. Я не знаю, в чем тут было дело, но только спустя немного времени они прервали охоту и с очень скромной добычей вернулись в селение. Правда, у них были какие-то свои соображения, и в этих соображениях они предлагали через Мингечаур взять прямо на север, в район Нухи, и там вкусить райское блаженство неописуемой охоты. «Там царство турачей и фазанов». Это говорили и специалисты по лесным богатствам, и пограничник, и егерь.

А пока что я застал Самеда Вургуна и Фадеева среди колхозников колхоза «Красный Азербайджан». И здесь Самед Вургун выступал уже в роли мудрого хозяйственника. Он спорил с колхозниками о месте, где следует поставить колхозный клуб. Он так убедительно расхваливал достоинства выбранного им места, что самые ярые его противники начали под конец сдаваться.

Потом все отправились в колхозные поля, и там я увидел Самеда Вургуна, рассуждающего о новых сортах хлопка. Он рассуждал с полным знанием дела. Он оперировал столькими сортами хлопка и так вкусно описывал достижения азербайджанского хлопководства, что лучший агитатор не смог бы красноречивее защищать одни сорта и доказывать необязательность других. Я видел, что поселяне относятся к этому разговору не как к причуде известного поэта, а с большим вниманием.

Осмотрев хлопковые поля, мы стали собираться снова в дорогу. Но перед отъездом состоялась встреча читателей с Самедом Вургуном. Он был очень обрадован, когда представители местной молодежи, живые, горячие парни и девушки, читали его стихи, и читали с энтузиазмом и любовью. Встреча прошла очень сердечно, и, сопровождаемые лучшими пожеланиями, мы поехали в Мингечаур.

Дорога от Агдаша до Мингечаура не так далека; мы спустились с холмов в так называемую Кура-Араксинскую низменность. До сих пор мы держались в тихой сельской местности, где ржание играющего жеребенка, глухой рык черноволосого буйвола, влезающего в теплую глубокую лужу, мычание коров, идущих на водопой, звук молотилки, далеко слышный по округе, птичий свист, легкое жур-

чание голубых, зеленоватых и бурых ручьев, стук лошадиных копыт одинокого всадника, скрип колхозных арб все время сопровождали нас.

Теперь мы въехали в грохот и звон, раздиравшие воздух над Мингечауром. В этом месте, вблизи селения Мингечаур, сама сказочная Кура, прорезавшая себе путь через всю Грузию, пышно и плавно выходит на равнину. Тут-то ее и перегораживали самой высокой в мире намывной земляной плотиной. Теперь здесь все в порядке. Тот, кто сегодня придет на берег Куры, найдет сооруженную плотину, синие волны Мингечаурского моря, которое не уступает Севанскому озеру, большие магистральные оросительные каналы, которые, на сотни километров идя в глубь страны, производят переворот в сельском хозяйстве.

Это все можно видеть сегодня, а тогда, осенью 1947 года, мы присутствовали только при строительных работах, размах которых поразил нас и пробудил чувство гордости и поэтического волнения. Все цифры здесь имели какое-то особое величие. Высота плотины — 81 метр, мощность создаваемой гидроэлектростанции — 360 тысяч киловатт, возможность орошения системы — миллион гектаров. Оглушенные лязгом и громом, мы ходили за строителями, показывавшими нам отдельные участки работ, и понимали только одно: что кончается безмолвная жизнь на берегах Куры и начинается такое, что никому не снилось в этих краях.

Внизу, там, где должно было развернуться море, стоял лес, ощетинившись всеми своими ветвями и вершинами против угрозы, которая нависла над ним.

— А что будет с этим лесом? — спрашивали мы.

— Он будет весь срублен и вывезен,— отвечали строители.

— А звери? — раздался, как вздох, вопрос охотников.— Они куда?

— Когда начнем вырубать, они разбегутся, ждать не будут, когда их зальет. Ну, если кто не уйдет и начнет погибать, поможем, спасем.

Мы увидели среди пустой долины с голыми буграми и новый городок. Пока его белые домики, очень аккуратные, приютили только семейства рабочих и служащих, инженерный состав, но вскоре это будет новый большой центр — Мингечаур. В нем уже бегали дети среди первых зеленых насаждений.

Тут попадались и военнопленные немцы, которые были заняты на земляных работах. Они имели такой здоровый вид, что мы невольно спросили: как они себя здесь чувствуют?

Инженер усмехнулся:

— А что им, плохо живется? Тут зной большой, это верно. Так у них в горах есть дом, вроде дома отдыха, там они живут, если от жары им становится здесь трудно. Кормят их хорошо, да они еще истребляют всех зверей, что им попадутся. Когда они начали жарить, варить, парить лягушек зеленых, ящериц, черепах, змей, мы удивились, спрашиваем: «Зачем едите? Пищи не хватает?» — «Нет, говорят, это экзотика, деликатес, дома расскажем, что ели то, что за границей у нас миллионеры едят».— «Ну, в таком случае мы чинить препятствий не будем. Ешьте хоть всех ящериц и змей, если вам нравится...»

Хотя мы пробыли в лабиринте гигантских построек очень немного, но душа наша была так расположена к лесу, к горному чистому воздуху, к тишине, что мы, направив путь прямо на север, в предгорья, ничуть не загрустили, когда за нами исчез кратер Мингечаура, извергающий гром и молнию.

Теперь мы оставляли равнину, и наши машины, кряхтя, начали влезать на повороты горной дороги, так как бывшая столица Шекинского ханства расположена на высоте 700 метров над уровнем моря. Кругом нее, подернутые розоватой дымкой заката, лежали рисовые поля, темнели фруктовые сады. Ореховые и тутовые великаны встречали нас при въезде в Нуху.

Далеко на севере сверкали пламенем какого-то оранжевого расплыва снежные шапки Большого Кавказа. Нуха была хороша! Но главное — наши охотники предчувствовали, что вот тут-то, в этих еще не виданных ими местах, будет та охота, из-за которой они и ехали, в сущности говоря, так далеко.

Хозяева встретили нас чрезвычайно гостеприимно, нам было в Нухе очень хорошо. Росписи ханского дворца, очень искусные и поражающие обилием самых разнообразных узоров, прекрасно сохранившиеся, убедили нас, что действительно в старой Нухе процветало искусство, тут понимали толк в поэзии и в философии.

— Братцы,— сказал Самед Вургун,— не забывайте, что в этом городе родился Мирза Фатали Ахундов.

— Да, кстати,— сказал Фадеев,— мы, слава богу, об Ахундове уже знаем так же хорошо, как, скажем, о Бестужеве или о Лермонтове, которые оба с ним были знакомы, а вот почему в азербайджанской литературе, друг мой Самед, нет до сих пор романа об Ахундове? Ты понимаешь, какой роман можно сотворить о жизни этого необыкновенного азербайджанца!..

Разговор шел за ужином, и мы располагали временем, так как нам уже некуда было спешить. И поскольку этот разговор был связан с Ахундовым, он и продолжал развиваться в этом направлении.

Самед Вургун отвечал, что для того, чтобы захватить такой большой период времени, надо быть кропотливым историком. Без воссоздания картин эпохи, наскоро, не напишешь, тем более что Ахундов связан со столькими русскими литераторами и политическими деятелями.

— Меня всегда занимало то обстоятельство,— сказал я,— что перевод известной поэмы Ахундова на смерть Пушкина был сделан при удивительных обстоятельствах. Вспомните, что Бестужев переводил с помощью самого Ахундова эту поэму за несколько дней до своей смерти, в лесу на мысе Адлер. Какое-то странное совпадение свело Ахундова и Бестужева в это время...

— Так бывает,— сказал Самед Вургун.— Например, здесь под Нухой, погиб Хаджи-Мурат, а уж, кажется, какое отношение он имеет к Нухе? А судьба заставила принять последний бой вон там, в рисовых полях. Сейчас можно отыскать это место. Там ничего не изменилось. Если бы он решил идти прямо в горы по хорошей дороге, возможно, мог бы уйти. А он переосложнил положение. Думал идти в сторону, к Алазани, через Агричай, через рисовые поля. Обмануть хотел — сам обманулся, потому что там пройти нельзя...

Тут в разговор вступили и наши спутники, редко говорившие на исторические и литературные темы, но здесь оживившиеся.

Начали говорить о том, что было бы, если бы он все-таки ушел. Высказывались разные мнения, но в общем все соглашались с тем, что такая драматическая фигура, такой хищный и воинственный характер не мог быть в подчинении даже у Шамиля.

— Я был на родине Хаджи-Мурата, в Хунзахе,— сказал я.

— Что же там осталось от него? — спросил Фадеев.

— Осталась правнучка, симпатичная девушка. Учительница, сейчас уже, наверное, давно замужем. Остался столб, к которому Хаджи-Мурат и его нукеры привязывали коней. От постоянного привязывания весь столб в рубцах. К тому же он изгрызен лошадьми. Вот и все...

Самед Вургун заговорил о высоком поэтическом образе в поэзии:

— А все-таки он исторический герой, и его недаром выбрал из всей горской истории Лев Толстой. Сегодня говорят, что большая драматическая личность не может отвечать духу современности. Я в своей речи о Низами нарочно сказал о Бернарде Шоу. Этот храбрый Бернард Шоу не побоялся выразиться, что современная английская культура не дает ему никакой духовной пищи, что он живет, как человек «задним числом», живет мыслями Шекспира, а не мыслями своих современников... Скажи, Саша, почему ты приехал на юбилей Низами, как ты понимаешь, что такое национальная форма в литературе?..

— Самед, дорогой, для меня нет другого понимания,— отвечал Фадеев,— кроме того, о котором я не раз говорил. Чествование народом своего великого поэта или писателя — это, так сказать, праздник национальной гордости, потому что национальный характер нашел высшее выражение в языке народа. И Шекспир в силу этого никогда не утратит силы драматического воздействия. И это не вступает ни в какое противоречие с социализмом, поскольку социализм есть свободное развитие всего лучшего, что выражает национальный характер. И в дни Низами я, как и все, почувствовал, как народ понимает это празднование, принимает как свой праздник. И это правильно... Да, да, да!

— Наша эпоха,— сказал Самед Вургун,— великая эпоха в истории человечества. Есть большие положительные герои, есть большие враги наши,— разве можно их борьбу изображать как-то уменьшительно? Ты не можешь сделать врага сильного дураком или просто трусом. Ты не можешь нашего героя сделать меньше, чтобы он утратил силу своего подвига. Посмотри, говорят: не надо больших слов. А как же было во время войны? Такие большие слова говорили: Родина, Месть, Клятва ненависти, Смерть врагу. Все понимали, что сражаются за большое дело. «Коммунисты, вперед!» — это большие слова. А как ты скажешь по-другому? «Пойдем вперед, товарищи!»? Так

нельзя говорить. Я когда писал Вагифа, я знал, что надо найти язык трагедии. Если я не найду, не получится герой и его эпоха... Не надо бояться большой темы, больших дел. Мы смотрели Мингечаур. Большое дело! Как его маленькими словами оставишь для потомства! Потомок сам придет на Мингечаурское море, и сам посмотрит, и бросит все маленькие слова в сторону, скажет: «Мои предки — герои, сделали героическое дело...»

— Конечно,— сказал Фадеев,— вот Лев Толстой в «Войне и мире» нашел то благородное соединение, так сказать, народной трагедии и жизненных переживаний отдельных людей. Его нельзя упрекнуть, что у него не получилось эпопеи народной борьбы, и нельзя упрекнуть, что у него нет простого человека, со всеми его страстями, ошибками, обыденными словами. Я думаю, что сложность нашей эпохи должна решаться во многих стилях, во многих литературных формах. Ты поэт, так сказать, другой формации, чем, скажем, Мирза Фатали Ахундов, который избрал для себя прием театрального произведения, комедийного, так сказать, плана и достиг огромного успеха в изображении своей эпохи этим приемом. И у нас — возьми в поэзии — какое разнообразие, сколько голосов, и очень разных! Конечно, ты имеешь право на свой высокий подход, на большой масштаб. Ты и сам такой характер, что годишься в пьесу высокой поэзии. Да, да, да!..

В этот вечер уже не говорили об охоте. Может быть, наши охотники из чувства суеверия нарочно не подымали этой темы, и разговор шел только о литературе, и шел долго.

И лишь уходя охотники, как заговорщики, подмигивали друг другу, говоря многозначительно: «Ну, до завтра!»

Вот, наконец, пришли они, долгожданные дни настоящей охоты. Ашагинские леса приняли охотников в свои заповедные пределы. И теперь для них ничего не существовало, кроме этих дубрав, кленовых и буковых майоратов, кроме чащ, в которых притаились бесчисленные фазаны и турачи.

Выстрелы и крики слышались с разных сторон. Голубые дымки от выстрелов висели на гроздьях дикого винограда. Фазаны, отогревшиеся на заре, на открытых лужайках, по мере того как солнце подымалось все выше, отошли в тень кустов и отлеживались там. Собаки, учуяв птицу, бросались в кусты и выгоняли фазанов из укрытия. Взлетающие с шумным фырканьем фазаны сверкали над

зеленью лужаек; их крылья, как куски разбитой радуги, висели в воздухе.

Благородный фазан, уже будучи вне выстрелов, не найдя рядом своей подруги, возвращался на то место, где она была сражена, и кружил в воздухе, призывая ее, и сам становился добычей стрелков.

Я не стрелял в этих удивительно красивых птиц, которые казались мне прекрасным украшением закавказских лесов. Я просто шел, вооруженный палкой, и из-под моих ног вспархивали фазаны, и я с облегчением следил, как они скрывались в густой зелени, и уже охотничий выстрел не мог достичь их.

Охотники были неутомимы. Обмениваясь только короткими восклицаниями, они часами бродили по лесам и выискивали свои жертвы среди этого моря лиловой, красной, желтой, зелено-багряной листвы, но даже и они не могли своими выстрелами смутить невозмутимое величие лесной красоты, волны которой накатывали на нас со всех сторон. Как прав был Самед Вургун, написав:

Вы родине любезны и желанны...
Леса, да не сразят вас ураганы,
Народу вы любезны и желанны!
Вы — родины прохлада и покой...

При этих строках и в этих лесах я невольно вспомнил другого поэта и другие времена. Тень Мицкевича являлась нам на фоне лесов, при звуках охоты, происходившей больше ста лет назад. Но охотники во все века, по-видимому, одинаковы.

И хотя у моих друзей был озабоченный, сосредоточенный вид, но по какому-то внутреннему ощущению мне казалось, что их переполняет радость, что их души раскрыты навстречу этим лесам и полянам, которые обступили их, дыша прохладами и красками неповторимых долин.

Веселые глаза Фадеева следили за каждым шорохом, за каждым движением в траве, за собакой, вынюхивающей дичь. Самед Вургун неожиданно появлялся, раздвинув кусты, как дикий охотник далеких дней, не знавших никакого технического прогресса. Он смеялся гортанным смехом, кричал хриплым голосом, высоко поднимая ворох горевших на солнце фазанов или снежно-черных турачей. Рядом терлась собака; по лапам ее и бокам бежали тонкие струйки крови,— она порезалась в лесу о колючие кусты и в пылу охоты не чувствовала боли.

Незаметно шли часы. Листья сыпались дождем на охотников, и казалось, что разноцветный водопад плещет на них, и от этого становилось еще веселее вокруг. И вдруг все остановились, как по сигналу, потому что впереди на земле зашевелилась какая-то черная куча, ожил какой-то большой бугор и начал расти перед нами. Все с недоумением смотрели. Даже собаки остановились, подняв, как на стойке, лапы.

— Кабан, братцы! — закричал Фадеев.— Смотрите, кабан!

И действительно, перед нами на самом близком расстоянии, как бы нехотя, подымался преогромный кабан, который лежал в яме в грязи, в своей кабаньей бане, и прохлаждался в зеленой чаще. Теперь, обеспокоенный, поглядывая каким-то осоловелым, красновато-синим глазом пьяницы, он медленно подымался, пока не утвердился и не встал во весь рост. Он постоял, как будто раздумывая, и потом пошел от нас, иногда оглядываясь, тяжело погружая свои толстые ноги во взрытую, жирную, как черная сметана, землю.

В его глазах проглядывала насмешка над охотниками, которые смотрели на него в бессильной ярости, потому что у них ружья были заряжены дробью, и кабан это чувствовал.

Поднятый среди полуденного отдыха, кабан шел, ломая ветви, как будто нарочно, из озорства, подымая шум в лесу, все дальше и дальше уходя от нас.

— Вот жалость какая! — воскликнул Фадеев.— Ну кто мог знать, что его встретим! Ушел ведь, а...

Охотники столпились, обсуждая происшествие.

— Это горный кабан, не низовой,— сказал специалист по лесному хозяйству.— Камышевик — бурый, и морда узкая, а у этого вон какая и ноги высокие, уклон к хвосту большой.

— Мы с подхода кабана не берем,— сказал и обычно молчаливый егерь.— Это так, случайно получилось. Гоном на него идут, тогда порядок...

Охотники снова углубились в лес, а я отделился от них и пошел на запах близкого костра. Скоро я вышел на поляну, на которой вокруг костра сидели и лежали одни дети. Поодаль были сооружены шалаши, и в них тоже были видны подростки, сидевшие на кусках кошмы. Этот лесной табор был очень живописен: мальчишки и девочки были в самых разноцветных костюмах, а их большие чер-

ные, как ежевика, глаза смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Один из местных людей объяснил мне, что это детвора из ближайшего селения, которая в лесу собирает дикие груши и яблоки, ягоды и орехи.

Я лежал на теплой жесткой траве перед костром, искры которого, как маленькие жемчужно-красные колибри, реяли в синем дыму, и мне было очень спокойно и бездумно.

Я смотрел на пляски разноцветных листьев, которые подымал ветерок, набегавший из лесу, на пламя, с хрустом пожиравшее сухие сучья, на бледно-голубое осеннее небо, на лес, над которым в отдалении стояли синие, черные, серые громады скалистых гор, накрытых у вершин прозрачными облаками, над которыми блистали своими изломами сами вершины, покрытые свежим снегом.

А там, в лесу, все еще слышались голоса охотников, выстрелы и собачий лай, возникавший все ближе, потому что мои друзья тоже решили передохнуть на поляне у костра.

После короткого отдыха мы снова шли в лес, и казалось, что лес завлекает нас все дальше и дальше и что мы можем идти так долго, забыв все на свете и только раздвигая кусты ежевики и молодые ореховые заросли, шлепая по грязи букового леса, дыша прохладой и видя вырезанные в голубизне неба горы, обведенные шнурами первого снега.

Когда я вспоминаю теперь эти несколько дней, проведенных с Фадеевым и Самедом Вургуном в осенних лесах, где пламя костров соперничало с пламенем игравших всеми красками листьев, где было так тихо, что можно было услышать, как падает с ветки лист, и этот великий покой нарушался только лихорадочной пальбой и фейерверочным треском птичьих крыльев — я думаю, что это были счастливые для нас всех дни.

Если бы я не видел Фадеева и Самеда Вургуна рядом во всем их охотничьем снаряжении, охваченных азартом, шагающих неутомимо и увлекающих за собой всех спутников,— двух моих друзей, помолодевших, свежих, веселых, мужественных, как будто они хлебнули колдовского зелья,— я бы в своей дружбе с ними не прикоснулся к важному источнику энергии, питавшему их нравственные силы.

На ночлег охотники возвращались шумной толпой, богато обвешанные птицами, усталые, но довольные. Поэто-

му я с удивлением увидел в руках Фадеева томик Гоголя, который он нашел на этажерке в доме, где мы ужинали.

Я знал, что в некоторые часы особого его настроения он любит читать вслух Гоголя, и особенно выразительно, с мучительным переживанием читать страшные строки о том, как уже на лобном месте, испытывая последние смертные муки, терзается могучий сын Тараса Бульбы Остап и восклицает: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты?» И раздается среди всеобщей тишины голос Тараса: «Слышу!» В этом месте, бывало, Фадеев не мог даже удержаться от слез.

И сейчас, видя, как он отыскивает в книге нужную страницу, я с дрожью подумал: «Неужели мы сейчас, после такого шумно-радостного дня, должны пережить неслыханные мучения и ужасы?»

Но я ошибся. И когда он начал читать, постепенно все больше увлекаясь чтением, он заставил слушателей чувствовать нечто необычное, потому что то, что он читал, хорошо перекликалось с лесными чарами, точно мы снова вернулись, на этот раз в освещенный луной лес, и видим то, что было утаено от нас днем...

Он читал с огромным подъемом, с такой предельной изобразительностью, как будто это написал он сам, то место из «Вия», где несется по ночному простору философ Хома Брут с «непонятным всадником на спине» — с бабусей-ведьмой. «Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря... Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели...»

Все слушали, отдаваясь колдовскому ритму, как будто читавший нас самих сделал крылатыми и мы все видим и все переживаем, как киевский философ, схваченный неизвестной силой.

Замечательно читал всегда эти страницы Фадеев; он любил их так, что, наверное, мог читать наизусть. Но тут прибавились к Гоголю еще чудеса нашего лесного дня, и забрали нас сладостные страницы...

После этого чтения много говорили о жизни и пели песни — пели украинские, азербайджанские, русские пес-

ни. Фадеев соло спел любимую лермонтовскую «Могилу бойца» на свой собственный мотив:

Он спит последним сном давно,
Он спит последним сном,
Над ним бугор насыпан был,
Зеленый дерн кругом.

Голос его дрожал, повышался, когда он подходил к концу песни:

На то ль он жил и меч носил,
Чтоб в час вечерней мглы
Слеталися на холм его
Пустынные орлы?

Мне казалось, что все-таки, перед тем как он выбрал страницы из «Вия», он на мгновение поколебался, не прочесть ли про Остапа и Тараса, и что «Могила бойца» есть какое-то восполнение непрочитанного. Он кончил петь. Он сидел какой-то размягченный, растроганный. И вдруг, обращаясь к нам с Самедом, он совершенно неожиданно сказал:

— Какой силищи был тот фильм, помните! Я редко плачу, но сознаюсь: сидел в темноте и тайком ревел. Не мог не реветь.

— Мы все ревели! — воскликнул Самед Вургун.

— Чего греха таить,— сказал я,— мы все ревели...

Да, это был фильм! Дело было так. Накануне нашего отъезда из Баку нам показали в небольшой компании документальный фильм о так называемом Южном Азербайджане.

Южный Азербайджан столетиями угнетался иранскими шахами. Но в сентябре 1945 года началась новая жизнь южных азербайджанцев. Фильм последовательно показывал, как освобождается азербайджанский народ. Кончено с вековой тьмой, вековым угнетением. Вот создана демократическая партия, вот начал работу первый народный меджлис. Демонстрации, радостные дни, крестьяне получают землю, дети идут в новые школы, в Тебризе открыт университет. Смеющиеся лица студентов. Вот первые артисты первого национального театра, музыканты в своей филармонии. Начали выходить на азербайджанском языке газеты, журналы... Народ живет свободной, новой жизнью. Демократические начала восторжествовали. Мы видим поля, принадлежащие крестьянам, радостных мужчин, раскрепощенных женщин. Это неве-

роятно хорошо. С экрана смотрят довольные люди, улыбаются старики, смеются дети.

Прошел только год. И вероломное иранское правительство, которое признало перед этим автономию Иранского Азербайджана, предательски напало на свободный народ. Это невозможно видеть, кулаки сжимаются в бессильной ярости! Людей убивают на улицах, бросают в тюрьму, вешают. Школы разгромлены, земля возвращена помещикам, над крестьянами снова бич рабства, беженцы бегут в пустыню, спасая жизнь. Свобода уничтожена. Иранские жандарм и помещик снова у власти. Теперь мы видим только слезы, кровь и унижение. Лохмотья, нищета, голод. Люди спасаются, как могут, бегут через Аракс, к своим братьям в Северный Азербайджан. Эти картины нельзя смотреть без слез. В темноте зала плакали писатели и поэты, чудом уцелевшие беженцы из Южного Азербайджана. Плакали и мы все, потому что это было зрелище такой человеческой трагедии, что даже в наше жестокое время, когда империалисты и реакционеры озверели безмерно, эти зверства били по сердцам. Мы долго сидели молча, когда дали свет. Да, это был фильм страшной силищи! Южный Азербайджан кричал в своих мучениях северному брату: «Слышишь, брат?» И Северный Азербайджан отвечал, нахмурив брови и сжав кулаки: «Слышу, брат!»

Вот о каком фильме вспомнил Фадеев в тот вечер...

Быстро промчались лесные наши дни. В охоте — перерыв. Мы едем дальше к северо-западу по совершенно необычайной земле, которая зовется Алазань-Агричайской долиной. Чего-чего только не дала здесь людям щедрая южная природа! Не счесть яблонь, груш, персиковых деревьев. Каштаны и грецкий орех — владыки здешнего зеленого царства. Кажется, еще усилие — и весь этот край превратится в сплошной фруктовый сад, а пространство, свободное от деревьев, займут бахчи и виноградники, чай и табак.

Часами едем мы по невиданной ореховой аллее, посаженной еще по приказу Ермолова. Нет ей конца и края. Над нами вершины столетних деревьев сомкнули свою зелень, и под этим непроницаемым для солнечных лучей сводом мы — как в подводном тоннеле. Временами там, где аллея разорвана бурным горным потоком, нагромоздившим бесформенные кучи камней, принесенных с гор,

мы выезжаем на свет. Ломая вековые деревья, бурля с неистовой силой, речка прокладывает себе путь к Алазани, шумя и гремя, хотя воды в ней осенью не так уж много. Снег перестал таять на горах, и вода в речке чистая, прозрачная, с зеленоватым отсветом. Пена завивается вокруг камней. «Победа» наша грузно застревает и не может сама выкарабкаться на дорогу. Тогда зеленый сильный «додж» сползает в воду, давит ее, ходит вокруг «Победы», зацепляет ее на буксир и вытягивает, а речка начинает, как бы сердясь на нас, громче шуметь, катить камни со злобной непримиримостью, но мы уже далеко.

И опять тянется исполинская аллея — сколько же она дает колхозам орехов! — и опять горная речка. Все повторяется. Мы вылезаем из «доджа», пока он возится с «Победой», шатая камни и вспенивая воду, и смотрим на осенние горы, совсем близко подошедшие к лесу; за ними, за перевалом,— знакомая мне долина верхнего Самура, суровый гранитно-серый Дагестан.

Мы сделали небольшие остановки в Закаталах и Белоканах. Теперь мелькающие сквозь лесную чащобу развалины старинных христианских церквей, построенных в незапамятные времена и до конца не уничтоженных всепожирающим временем, начинают напоминать, что уже близки пределы Грузии, близка Кахетия.

Туда мы и держим сейчас наш путь. Мы уговорились еще в Баку, что Фадеев и Самед Вургун доставят меня в Кахетию, в Джугаань, к нашему общему другу, старейшему поэту Грузии, автору славного «Арсена» и многих других драм и стихов — Сандро Шаншиашвили. Самед Вургун никогда не был в Кахетии, Фадеев — тоже. Они согласились сделать перерыв в охоте и проехать через Лагодехи и долину Алазани, в гостеприимный дом Сандро и Маро.

И вот Азербайджан кончается. Граница между республиками — в лесу.

Мы сделали полевой привал, не доезжая Лагодехи, на берегу большого ручья, отдохнули и отправились дальше. Миновав Лагодехи, мы около Шромы свернули прямо на юг. Перед нами открылась вечерняя Алазанская долина. Даже проезжая ее первый раз, наспех, путник невольно проникается прелестью того, что открывается перед ним. Мягкие краски долины, дымчатые дали, теплое сияние кахетинского вечера, зеленые холмы впереди — все это не только успокаивает путника, уставшего от долгого без-

остановочного пути, но внушает ему самые лучшие мысли о ночлеге.

Мы подъехали к станции Цнорис-цхали, когда уже вокруг зажигались огоньки. Обогнув железнодорожные пути, наши машины начали подъем к знаменитому селению. Вечер ложился на виноградники и сады. Люди шли домой. Поселяне садились за скромный ужин. Огни в селении уже блестели по всему склону горы. Сзади нас, на западе, как легендарный дракон, обвивший высокую гору своими огненными кольцами, стал светиться тысячеглазый Сигнахи.

Еще несколько поворотов в гору, узкая дорога пошла над оврагом, мимо старой церкви, потом еще поворот — и мы уже у дома Сандро Шаншиашвили.

Вот он, знакомый дом, так много говорящий моему сердцу! О нем я когда-нибудь напишу отдельный рассказ, он этого заслуживает. На его стене есть очень старая надпись. Она гласит: «Я принадлежу Шаншиашвили». В самом деле, здесь рождались, росли и жили всю жизнь члены большой и старой семьи Шаншиашвили. Здесь родился и живет мой друг Сандро. Здесь он занимается хозяйством сельским и хозяйством поэтическим. Он человек кахетинской земли. Без нее он не представляет себе жизни. Над столбами широкого балкона свешиваются осенью гроздья винограда, так что ягоды можно брать с ветки прямо губами. В доме нет никакой восточной роскоши. Стены, крашенные масляной краской, не имеют ни дорогих картин, ни пестрых паласов. Само скромное убранство дома напоминает жилища горцев — людей гордого, непреклонного мужества и суровой жизни.

Сандро и чудесная Маро хорошо знают, что люди, приходящие в этот дом, не ищут бьющей в глаза роскоши, пустого тщеславия, высокопарных речей. Зато какое непосредственное веселье, какое поэтическое своеволие, какая свобода сердца властвуют в этом доме, когда друзья, пришедшие издалека, беседуют с хозяевами о самом главном, о самом сокровенном!

Здесь поются песни, читаются стихи, здесь наслаждаются дружеской беседой, рассказываются такие жизненные истории, что хоть немедленно вынимай перо и записывай. Здесь знатоки народной мудрости расскажут подчас такое, что можно нахохотаться до слез.

Недаром сам хозяин — кахетинец до глубины души. Вот почему вечер, когда в этот дом вступили Фадеев

и Самед Вургун, никогда не забудется в памяти моей, потому что это в самом деле был необыкновенный вечер.

Трудно по порядку пересказать все, что было в этот вечер. Сразу дом наполнился шумом и волнением. Началась хлопотливая хозяйская суетня. Доброй Маро помогала моя жена, Мария Константиновна, несколько дней назад приехавшая сюда из Тбилиси. Были вынуты из машины турачи и фазаны. Гости и хозяева перемешались в пестрой суете, говоря сразу обо всем. Но скоро уже все пришло в порядок, и началась та застольная беседа, которая может продолжаться до утра, тем более что на столе уже появилось колдовское джугаанское вино, которое приготавливается по магическим рецептам хозяина-поэта и способствует доброму расположению духа и вдохновению ума и сердца.

Конечно, и за беседой говорили сразу о многом: о прошедшем празднике Низами, о нашей волшебной дороге через азербайджанские лесные чудеса, об охоте, о домашних новостях, о литературе, о небе и земле, о дружбе, о любви.

Время летело незаметно. Фадеев был в самом добром расположении чувств. Он искренне радовался, что видит старых друзей, он читал стихи, ходил по комнате, высокий, легкий, веселый, чувствуя, что все его любят, все хотят ему самого хорошего и что из этой комнаты просто грешно идти в ночь и ехать через лесные дебри, где даже фазаны, турачи и кабаны спят глубоким сном.

Он увидел большую надпись на стене на двух языках и начал ее читать, прищурив свои голубые глаза. Ему объяснили, что это поэтический договор, заключенный между русскими и грузинскими поэтами на мир и дружбу, и он гласит на русском и грузинском, что ежегодно девятого октября — день был выбран произвольно — в Джугаани могут собираться поэты любых стран и народов во имя дружбы народов на праздник поэзии. Каждый поэт будет принят в Джугаани как священный пилигрим, как самый желанный гость.

Фадееву все это очень понравилось. Он только высказал горестное сожаление, что он не может остаться до девятого, ибо, так сказать, у нас сегодня только третье и ему надо сегодня же вернуться на ту сторону Алазани.

Конечно, это был неповторимый вечер. Больше уже никогда не заезжали в Джугаань ни Самед Вургун, ни Саша Фадеев. Точно чувствовали они, что в первый и по-

следний раз сидят в гостеприимном доме Шаншиашвили, им очень не хотелось покидать его, хотелось длить дружескую беседу, говорить стихами, петь песни. И все это было в тот вечер, который хорошо завершал наш зеленый путь от Баку. Веселый стол кипел оживлением. Уже Самед Вургун называл Маро «баджи Маро» (сестра), уже, сверкая глазами, воскликнул он с притворной яростью:

— Отдай ворота, Сандро!

Сандро, прекрасно понимая, что это шутка гостя, и не совсем догадываясь, в чем ее соль, отвечал, великолепно подыгрывая:

— Какие ворота отдать, дорогой?! У меня, ты посмотри, выйди на балкон, нет ворот. Если бы были,— отдал бы тебе сейчас же! Пожалуйста, бери ворота! Нет их! Что делать? Где взять?

— Отдай ворота,— упрямо твердил Самед Вургун, размахивая шампуром, как мечом.

— Но какие ворота, Самед?

— Гянджинские ворота. Ты взял их, когда было землетрясение в Гяндже и когда все разрушилось, и ты пришел и взял ворота...

— Я не брал ворота, дорогой! Честное слово, я не брал. Когда это было?..

— Двести лет назад,— сказал Самед Вургун, смеясь тому, как он привел в смущение Сандро, и они оба начали смеяться, как хорошо они разыграли эту сцену.

И долго еще сидели за дружеским столом, и многое было рассказано друг другу, но спутники Фадеева и Самеда Вургуна начали просить собираться в путь, потому что пришло время и надо ехать, пока луна: дороги ночью не такие простые, тем более что несколько переправ смущают их.

Началось новое волнение, сборы в путь, прощальные слова, прощальные тосты. Все вышли на дорогу. Машины уже ворчали и храпели, как сонные буйволы.

— Оставьте свою надпись на стене,— сказал Сандро.— На память, дорогие!

— Напишите от нашего имени, мы доверяем,— сказал Фадеев, обнимая крепко Сандро, который вместе со всеми остающимися провожал гостей.

Я быстро набросал несколько строк и тут же дал их прочесть Самеду и Фадееву. Я написал вот что:

«Не имея возможности быть девятого октября на празднике поэтов, влекомые глубоким чувством настоящей,

сердечной дружбы, промчавшись в один день через Закаталы, Белоканы, Лагодехи, преодолев все препятствия, третьего октября вечером прибыли в Джугаань на дружеский пир замечательные друзья грузинской поэзии А. А. Фадеев и Самед Вургун. Прибыв с плодами своей охоты — фазанами и турачами, вкусив джугаанского маджари в должном количестве, отбыли обратно по долгу служения отечеству и человечеству в добром здравии при полной луне, что свидетельствуем: М. Шаншиашвили, С. Шаншиашвили, М. Тихонова, Н. Тихонов».

— Прекрасно! — воскликнул Фадеев.— Прошу тебя перенести это, так сказать, увековечить, на стене в этом доме...

— Друзья и братья,— сказал Самед Вургун,— я счастлив, что был здесь у тебя, брат Сандро и сестра Маро!

Долго усаживались они по машинам, потому что все время появлялись новые кувшины маджари и новые стаканы в руках гостей и хозяев. Наконец машины тронулись. Луна светила так ярко, что узкий проход над оврагом у старой церкви был освещен как прожектором. Шоферы осторожно провели машины, и они стали спускаться на нижнюю дорогу. Мы хорошо их видели сначала, потом только слышали их громыхание, и потом уже далеко-далеко внизу блеснули огни, и мы вернулись в дом, еще хранивший весь жар дружеской встречи.

Я долго не мог уснуть. Я сидел на балконе, видел, как лунный свет играет на пышных виноградных гроздьях и в листве старого ореха, как узорные тени ложатся на полу и скользят по столбам. Мне представлялось с яркой ощутимостью, как машины мчатся по лесам и холмам, как они входят в лунные реки, бурлящие под колесами, как тяжелый зеленый «додж» лезет в ночную воду и тащит «Победу» на берег. Потом я видел, как они удаляются все дальше и дальше, и в них сидят рядом Самед Вургун и Саша Фадеев, и в их сонном видении им кажутся радужные всплески фазаньих крыл, и зеленые волны леса плещут вокруг. Я видел, как все меньше и меньше делаются машины, все тусклее они видны в лунном, сильном, все ослепляющем, все затопляющем свете... И вот они совсем исчезают из моих глаз. Есть только бесконечный лунный свет; они растаяли в нем безвозвратно...

МАСТЕР, ВИДЕВШИЙ БУДУЩЕЕ

1. ДНИ ЛОКАФА

Локаф! Так называлась организация, объединявшая в 30-х годах литераторов, писавших на военные темы. Мы ездили на маневры, участвовали в беседах о книгах, написанных локафовцами, занимались с начинающими писателями, находившимися в Красной Армии и на флоте, посещали воинские части, имели свой журнал.

Однажды группа поэтов и писателей была приглашена на выступление в лагерь одной воинской части, где-то неподалеку от Ленинграда.

Прозаики уехали раньше, поэты запоздали. Когда мы добрались до места нашего выступления, нас провели на эстраду, но предупредили: «Идите тише, вы так опоздали, что у нас уже оканчивается первое отделение».

Со всевозможной осторожностью, не разговаривая, мы сели и огляделись. Спиной к нам плотный, широкоплечий человек в морской форме читал по тетрадке рассказ. Я тогда еще не знал хорошо всех локафовцев и впопыхах, с первого взгляда, не узнал выступающего.

— Это читает Всеволод Вишневский,— сказал мне сосед.

Тут я стал вслушиваться в его чтение и уже через несколько минут жадно ловил каждое слово. Вишневский читал с такой выразительностью, с такой страстностью, что самый лучший профессиональный чтец не мог бы прочесть лучше. Но не только манера чтения приковывала внимание. Само содержание рассказа было удивительно. Дело происходило в царские времена. В самом дальнем углу

военного порта стояло в полном одиночестве судно, на котором господствовало тяжелое безмолвие. Только сухие слова команды звучали там. Казалось, что все в экипаже, кроме командиров, глухонемые. Эти люди непрерывно работали — красили одну сторону корабля, в то время как их товарищи молча начинали счищать краску на другом борту, окраска которого была уже закончена.

Когда первые кончали красить второй борт, вторые, окончив очищать краску, переходили тоже на второй борт и там принимались за свою каторжную работу. Так шло время, день за днем. Эта работа была именно каторжной, потому что тихий корабль, на котором нельзя было разговаривать под страхом строгого наказания, был военно-морской плавучей каторгой.

Когда выходил запас красок и посылали за новыми, в лодке, на которой гребли матросы-каторжники, тоже только надсмотрщик-боцман имел право командовать и покрикивать. Матросы, не ходившие месяцами по земле, делали вид, что падают, споткнувшись при высадке, чтобы хоть прикоснуться к зеленой траве, почувствовать руками тепло весенней земли... Или опускали руку в воду, конечно незаметно для боцмана...

Вишневский перелистывал страницу за страницей тонкой, обыкновенной школьной тетради, и все его слушали как загипнотизированные. Так убедительно, так сильно читал Вишневский, как будто он сам там был, на этом страшном корабле, и сам греб на лодке, и сам гладил траву, упав на сырой прибрежный луг.

Я много слышал, как читают писатели (и как они впервые читают свои произведения), и тоже иногда слушал с некоторым волнением, но, слушая Вишневского, я испытывал нечто совсем другое. Он захватывал так, как артист, который вошел в роль, растворился в ней и вам передал происшедшее не с другими, а именно с ним, и вы уже не сможете отделить его от рассказа. Он поразил вас драматичностью, которой был сам пронизан насквозь.

Он кончил читать, и слушатели не сразу зааплодировали. Но зато потом хлынул целый шквал, все поднялись с мест и пошли к эстраде. Вишневский тоже подошел к краю эстрады и благодарил и хлопал сам.

Так как я не слышал начала рассказа, я поспешил к трибуне, на которой он оставил свою синюю тетрадку. Я хотел посмотреть, с чего начинается рассказ. Каково же было мое изумление, когда я открыл тетрадку и перелис-

тал ее страницы... Тетрадка была чистая. В ней не было ни одного слова...

Это все было импровизацией. С первого до последнего слова. Вишневский читал без запинки. Если бы он просто говорил без тетрадки, это было бы тоже впечатляющим, но делать вид, что читаешь ненаписанное,— это уже искусство высшего плана.

Передо мной совсем по-другому открылся Вишневский. Я не знаю писателя, который бы обладал таким сильным талантом импровизации. Причем импровизации на самом высоком уровне. Потом я слышал его много раз, но этот первый его рассказ я запомнил надолго, на всю жизнь.

2. «ПОСЛЕДНИЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ»

Когда началась Великая Отечественная война, мы все были оглушены грохотом невероятных столкновений, ошеломлены непрерывным потоком драматических событий. Трудно было разбираться в этом разбушевавшемся море, волны которого заливали огромные просторы родной земли. Слухи, самого разного рода сообщения передавались ежедневно в таком количестве, что терялись самые хладнокровные и выдержанные люди.

Из скупых трагических сводок Информбюро тех дней мало можно было узнать подробностей о том, что происходило и происходит на отдельных участках необозримого фронта. Основные удары врага были ясны. И было ясно, что он встречает сильный отпор, но подробности первых боев были неизвестны.

Только когда прошло много времени и начали восстанавливать ход событий с первого залпа, коварно ударившего над мирной советской границей, мы, например, узнали о том, как геройски сражались наши пограничники. Окруженные превосходящими силами фашистов, они дрались до последнего патрона. Горели заставы, снаряды прямым попаданием били в доты, а они сопротивлялись, нанося врагу большой урон. Когда мне рассказали подробности гибели одного такого отряда пограничников, я воскликнул совершенно неожиданно:

— Вишневский!

— Что значит Вишневский? — спросили меня.

Удивительное воспоминание мучило меня, когда я слушал рассказ о гибели погранзаставы.

Я вспомнил один далекий вечер в столовой Лепкублита. То была столовая, к которой в 30-е годы были прикреплены ленинградские писатели и их семьи. В этой столовой было и тесновато и не очень уютно. После того как кончался рабочий день столовой, в ней происходили литературные вечера, даже юбилеи, даже больших писателей. Там, насколько я помню, чествовали Алексея Николаевича Толстого. Пахло в этой столовой старыми щами, консервами, кислыми подливками. Столы были без скатертей, пол замызганный, свет — как в бане.

И вот одним вечером литераторы и члены локафа собрались слушать пьесу Вишневского «Последний, решительный». Времена были тогда мирные, писатели, в большинстве люди невоенные, слушали без особого волнения. Вишневский читал, сильно жестикулируя, пафосно, и несмотря на то, что в таком домашнем окружении трудно было настроить слушавших на большую волну взволнованности, все же чувство неясной тревоги овладело ими.

Отдавая должное драматической силе разыгрывавшихся перед ними в пьесе событий, они не могли представить себе, что все то страшное, которое раскрыл перед ними Вишневский, действительно будет в жизни, и в жизни каждого из присутствующих. Никто тогда не мог думать, что через несколько лет перед этой столовой будут рваться снаряды и самый большой ужас ворвется в город, ревя, как бомба с неба, и крадясь, как тень голода, по ледяным кварталам Ленинграда.

Но было что-то в пьесе Вишневского, что останавливало внимание и заставляло хоть на минуту задуматься самых равнодушных.

Я сидел напротив автора. Он был в таком вдохновенном экстазе, так переживал читаемое, что нельзя было не представлять себе происходившего. Героическая гибель наших бойцов, сражавшихся насмерть, особо врезалась в память. Нет, определенно в литературное произведение подмешивалось что-то другое. Это другое было странной тревогой, внушавшей, что вот именно то, что автор описывает, произойдет на самом деле. Когда? Он не знает. Но это будет — и неотвратимая смертельная схватка, и геройская гибель иных, все будет.

Вот почему, когда мне рассказывали подробности гибели наших героических пограничников, перед моими глазами, вызванная бессознательно из памяти, встала сцена из пьесы Вишневского.

Он видел далеко. Но если бы он не мог передавать это с таким проникновением, то драма не была бы драмой. Тогда мы услышали бы только декламацию, большие слова, не задевающие сердца. А его пьеса задела...

Вишневский, обладая талантом импровизатора, обладал еще тонким талантом предчувствовать приближение громадных событий. Не потому ли так пришелся по сердцу республиканским солдатам, сражающимся против франкистов Испании, его фильм «Мы из Кронштадта». Он не был рожден воспоминанием. Он был рожден предчувствием будущего столкновения. Недаром он учил испанских защитников Мадрида, как не бояться танков Гитлера и Муссолини, как бороться с контрреволюцией, как уметь побеждать.

Я думаю, что этот фильм еще не раз сработает там, где народ подымется против реакции, защищая свободу и независимость.

Драматург, солдат Революции, импровизатор, мастер, видящий будущее, Всеволод Вишневский сумел наполнить ощущением народного героизма, внести грохот эпохи даже в тихий, привыкший к мелким бытовым заботам и разговорам, тускло освещенный зал Ленкублита. И зал вздрогнул, как будто уже услышал треск снаряда, прилетевшего из недалекого будущего.

3. ЛЕНИНГРАД, ИЮНЬ 1943

17 июня 1943 года в театре Краснознаменного Балтийского флота Всеволод Вишневский читал свою новую пьесу — «У стен Ленинграда». Сидели здесь и артисты ленинградских театров, и журналисты, и писатели-балтийцы, и Виссарион Саянов, и Вера Инбер.

Казалось бы, в этом чтении не было ничего необыкновенного. Стол. Рукопись. Автор. Хорошая, большая комната. Тишина. За стеной деревья бульвара. Площадь. Тепло. Лето уже чувствуется.

Но все это было так и не так. Вокруг лежал великий город, который через несколько дней отметит вторую годовщину войны. В нескольких километрах от этой комнаты грозно возвышались фашистские доты и дзоты. А площадь перед домом была под сильным обстрелом. И гулы, несшиеся по сторонам после каждого разрыва, повторяемого улицами и переулками, долго стояли в воздухе. Снаряды

шелестели, гудели, завывали над домом и ударяли в мостовую, в стены, в крыши.

Но мы слушали Вишневского. Моряки, сражавшиеся в его пьесе у стен Ленинграда, были, конечно, сыновьями тех, кого мы видели в «Оптимистической трагедии», видели в «Конармии». Видны были в них и черты нового времени. Были они романтиками и не могли ими не быть. Если бы автор попробовал передать всю сложную обстановку боев за Ленинград в 1941 году осенью на его подступах, то он бы не осилил той мрачной, удручающей, безысходной действительности, в которой все смешалось. Кровь и грязь, геройство и трусость, мужество и растерянность, мрак и свет...

Вишневский очень волновался. Он, конечно, был в каждом своем персонаже. Он болел, мучился, страдал, как они. Он негодовал, он рвался в бой, он плакал, и настоящие слезы катились по его щекам. Он, как и мы, не замечал ни разрывов снарядов, ни звона стекол, ни треска отбитых кирпичей.

Он читал, как актер, один играющий все роли, как замечательный агитатор, взывающий к современникам, как сам участник события, как моряк, сжимающий оружие и готовый в контратаку.

Он никогда не был так называемым «морским волком». Из его биографии видно, что он больше участвовал в боях в морских отрядах и бронепоездах, чем на кораблях, в дальних океанских штормах или долгих морских плаваниях. Но дело было не в этом. Он был больше моряком, чем моряки, которые могли представить справки о морях и кораблях. Он так соединил в себе моряка, революционера, романтика-писателя, агитатора-большевика, соединил свою жизнь с жизнью народа, что имел право говорить от имени всех моряков, вместе взятых.

Ведь одно то, что свою пьесу он читал не в глубоком тылу, а почти на переднем крае осажденного города, только подчеркивало полное совпадение чувств писателя и участника обороны. Пусть в пьесе было все возвышеннее, чем в жизни. Жизнь была более жестокой и мрачной, более страшной и беспощадной. Но он говорил, он складывал песню, как складывал ее когда-то скальд, смотревший в лицо битве. Я тогда назвал эту пьесу сагой о моряках.

Я смотрел на Вишневского, и мне были близки и его волнение, и его желание высказаться до конца, как будто он говорил в глубину России и в глубину передовых око-

пов, так, чтобы слышали и на кораблях, и на батареях самое главное.

Трудно в такое время найти слова, которые должны не расслаблять человека, не наводить на него тоску — и так ее хватало, не пугать ужасами — и так их было вокруг невпроворот, а поднять дух, заставить ощутить новую силу, вызвать ярость, ненависть к врагу, желание идти и биться с ним до последнего дыхания, но победить, но повалить его, разгромить. Вишневский верил в то, что делали и говорили его герои. Эта пьеса могла не так чувствоваться в Сибири или на Урале, но в Ленинграде все хорошо знали и чувствовали, что враг действительно у стен Ленинграда.

Он читал, потеряв представление о времени. Мы слушали его, и каждый был погружен в воспоминания тех дней, о которых говорила пьеса.

Я смотрел на Вишневского и думал, что он переживает сейчас что-то очень хорошее и значительное. Я знал, как он неутомим в своей работе, как тяжело ему видеть разрушения, которые производят снаряды и бомбы врага в любимом городе.

Мы шли как-то с ним под вечер в самые тяжелые времена. Зарево далекого пожара освещало небо, как будто залитое черной кровью. Развалины домов толпились вокруг. Оборванные провода волочились по земле. На скамейках в парке сидели мертвые. В подвале, мимо которого мы проходили, горела коричневая толстая кривая свеча, и при ее свете копошились какие-то люди — не то чего-то искали, не то ломали какой-то деревянный хлам на дрова. Свеча бросала такой мрачный свет на зловещую разноцветность вещей и одежд, что Вишневский невольно остановился и сказал:

— У Эдгара По есть рассказ, где чума, голод и еще какие-то страшные чудовища собрались на пирушку. Эдгар По считался фантастическим писателем. Но у нас в Ленинграде этот рассказ сегодня стал просто натуралистическим. Посмотри на этих людей в подвале... Смерть сидит на скамейках в парке, голод и холод бродят со свечой в подвале, коричневая чума фашизма облегла город,— какой тут тебе Эдгар По, при чем тут фантазия?! Это пейзаж сороковых годов двадцатого века!..

— И все-таки,— сказал он, когда мы пошли дальше,— 22 июня 1941 года я дал себе слово, что я буду в Берлине, в побежденном Берлине! Я увижу его! Я дойду!

1943 год тоже еще не походил на 1945-й! Еще вокруг нас росли разрушения в городе, еще была угроза нового штурма, но мы, конечно, были другие.

И с другим чувством мы слушали чтение пьесы «У стен Ленинграда». Написать ее год назад было бы трудно, а два года назад — невозможно.

И сам Вишневский, измученный долгой работой над пьесой, усталый, похудевший, кончив чтение, поблагодарил товарищей за то, что они так внимательно слушали его. Он читал около четырех часов.

В комнате не было равнодушных. Началось обсуждение. Я уже не помню подробностей. Но мне казалось, что Вишневский рад, потому что он высказал самое главное, самое заветное, может быть слишком прямое, резкое, но высказал с той страстью, с какой он брался за всякое новое свое произведение.

И в своем дневнике, как я недавно прочел, он записал, между прочим: «Во время чтения начался жестокий артобстрел, но я так был поглощен, что не слышал его. Слушавшие тоже не обращали внимания».

И это была сущая правда.

4. ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР

Я не знаю такого второго писателя, который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником, занимающим самые ответственные посты.

Энергия его была неограниченной. Он мог делать записи, готовиться, например, писать обзор на тему «Трехсотлетние отношения между Россией и Англией», а через несколько дней уже снова очень ответственно расширить тему. Речь шла уже об обзоре четырехсотлетних отношений между Англией и Россией. Лишние сто лет его не пугали! Он мог одолеть и новый материал. Он вообще мог работать день и ночь, над самыми трудными, требующими многих усилий и знаний вопросами.

Недаром в свое время он был приглашен читать курс лекций в Военно-морскую академию.

Но война как будто стояла с ранней юности на его дороге. С четырнадцати лет он уже был знаком с ней. Похо-

ды, приключения, сражения, биваки, рискованные разведки — все испытано им в том юном возрасте, когда обыкновенный юноша думает только об учебе и развлечениях. И дальше идут войны. Сам Вишневский не раз возвращается к своей необычной судьбе. Он пишет: «Полжизни мы прожили в шинели, с котелком за плечами, в походах».

Правда, это не профессиональный выбор. Это путь революционного солдата, который обязан, должен защитить завоевания революции, каких бы трудов и жертв это ему ни стоило. И если он в силах поднять дух упавшего духом товарища, объяснить непонимающему суть события, помочь, как старший младшему, то тут не может быть отговорки или уклонения от обязанности.

И все-таки... Вот он снова на переднем крае. Это уже не фронт гражданской войны. Это на Неве 1943 года. Он снова идет по ходам сообщения, по узким окопам; посвистывают пули, крякают мины, и этому нет конца. И все становится сложным. Это понятно. Понятны и слова, которые вырываются невольно при этом: «...вот опять подлинная война, и я мысленно возвращаюсь к своим окопным годам и не могу больше справиться со сложным, горьким чувством, которое меня не покидает. Это — мое субъективное и объективное отношение к беспощадности мира сего; это — знание войны, которое уже переполняет меня; это — тоска о безвозвратно потерянном; это — странные повторы ощущений, год за годом — и так почти тридцать лет; это — вопросы, на которые никто не даст мне ответа; это — мучительные мои думы о жизни старшего, среднего и младшего поколений, которую я отчасти пытался показать в пьесе».

Мертвый лес идет ему навстречу... «Я видел его дважды, трижды, четырежды в моей жизни. Я описал его в моей «Войне» и в этих дневниках. Давление всех повторов, пожалуй, уже чрезмерно...»

Да, все повторялось, и даже произведения были или воспоминанием, или грозным предвестьем будущего. За «Оптимистической трагедией» шел «Последний, решительный», за ним пьеса «У стен Ленинграда».

Шла и дышала всеми своими вулканами вторая мировая война, а его ум, любящий все подытоживать и заглядывать в будущее, отмечает, что тень третьей мировой войны уже стелется где-то на горизонте. У него трезвый, математически-военный подход, когда он для себя записывает:

«В ходе борьбы США блокируются с Англией и СССР. Англия — экономически наиболее опасный конкурент на завтра; СССР (в их представлении) — политический и социальный враг. Поэтому в США уже идет подготовка к новой борьбе.

Все это — ясные вещи... Уоллес (вице-президент США), Арнольд и другие американцы определенно говорят о неизбежности третьей мировой войны...»

Посмотрите его дневники, его статьи, его выступления по радио. Посмотрите его речи. Иногда перед вами увлекающийся оратор, который может размахнуться, сказать что-нибудь чересчур высокое, не считаясь с аудиторией, иногда дать волю воображению, но в основном он серьезен, он обладает большими знаниями в исторической и военной области, он всегда подкрепляет речь живыми фактами, красочными примерами.

Он думает всегда о большом. Мировые события кажутся сначала слишком далекими от обыкновенных людей. Но когда вдруг они обваливаются на миллионы простых существований, подобно тайфуну или наводнению, тогда каждый человек ищет объяснений происшедшего. Какой неожиданностью для миллионов советских людей было внезапное, вероломное, предательское нападение Гитлера на Советский Союз! В такие времена, когда решаются судьбы народов, невольно надо разбираться в происходящем. И Вишневский не был просто писателем, пугающим читателя страхом грядущего. Но он видел, он понимал больше других, что катастрофическое столкновение неизбежно, и готовил себя к нему, и был нужным бойцом на фронте, не боявшимся опасностей и верившим в победу и внушавшим эту веру в окружающих в самые трудные дни. В этом его большая заслуга.

И он пережил то счастье, на которое имел такое большое право. Есть часы, когда слышно дыхание истории, ее шаги звучат рядом, она совершается в той же комнате, где находится и наш герой. Такие часы в Берлине в мае 1945 года пережил Всеволод Вишневский, когда в комнату, где были Чуйков, Соколовский, член Военного совета и он, пришли последние персонажи последних часов войны, чтобы говорить о капитуляции Германии, о конце третьей империи.

И он, Всеволод Вишневский, именно он, а никто другой, записал подробно, точно все последние разговоры, до той минуты, когда была подписана генералом Вейдлингом

капитуляция гарнизона Берлина и всех немцев, кто еще сражался, потеряв всякое представление, зачем он это делает.

Я думаю, что эти часы, так верно записанные Вишневским, дали ему полное удовлетворение и как писателю, и как солдату, давшему присягу еще в 1941 году прийти в Берлин — логовище фашизма, где родилось чудовище войны. Это было окончание его темы, его волнений, его долгого пути.

Это было настоящее произведение исторической литературы. Почитайте главу в его дневнике, которая называется «Капитуляция Берлина», и вы согласитесь со мной. Характеры всех действующих лиц этой исторической драмы выступают во всей сложности, во всей разнице мировоззрений, во всей красочности всемирно-исторической нашей победы.

Всеволод Вишневский был человек особого характера, особого дарования. О нем должна быть написана настоящая, большая критическая работа. Он этого заслуживает. Он совсем не такой, каким он казался иным товарищам. Он больше и лучше!

СТРАСТЬ

1. СТРАСТЬ

Тбилиси тысяча девятьсот двадцать четвертого года был для меня открытием. Я впервые в жизни видел такой волшебный город. Каждый день я находил в нем новое, неизвестное мне. Меня поражало и волновало все: мчащиеся непрерывно волны желтой Куры, густая, бархатная тень старых садов, помнивших Грибоедова и Пушкина, чудеса серных бань, развалины древней крепости над городом, Харпуг со своей седой стариной, где, казалось, стены умеют петь древние песни, Мтацминда с торжественным молчанием зеленого Пантеона, узкие улочки, таинственно убегающие в гору и манящие неизвестными приключениями, Майдан, где важно лежат верблюды только что прибывшего каравана, огоньки в подвалах, где пьют вино, какого на севере не достанешь, девушки, лежащие на окнах в нагорных улицах, повторяя шекспировскую Джульетту, обвив своими косами плечи юношей, стоящих под окном, глухой рокот толпы под могучей листвой полусонных деревьев на Головинском проспекте и воздух, полный теплого, одуряющего аромата неизвестных цветов.

Таким же открытием была для меня, среди многих дружеских бесед и свиданий, встреча с Петром Андреевичем Павленко. Я не помню сейчас, где и когда мы познакомились. Скоро я начал почти каждый день видеться с ним. Он сразу заинтересовал меня. С первой же встречи я както внутренне ощутил, что это не простое знакомство. Меня тянуло к нему, и я, покончив с делами, спешил в Малый Ртищевский переулок, в здание Заккрайкома, где Петр

Андреевич был секретарем секретаря. А секретарем Закрайкома был тогда человек многих талантов, старый революционер Александр Федорович Мясников. В его секретариате я находил приехавших в Тбилиси представителей всех племен Кавказа. Бурки, газыри, башлыки, кинжалы окружали меня. Я был жаден до разговоров с этими коренными жителями страны, которые рассказывали мне о своих горных делах, о своих селениях за облаками, о своей сложной жизни.

Сюда приходили самые разные люди. То я беседовал с учителем, то старый партизан посвящал меня в свои дела, то женщина приходила жаловаться на несправедливость, то делегация хотела пригласить секретаря Заккрайкома в гости в какое-нибудь далекое ущелье.

Тут бывали железнодорожники, шахтеры, пастухи, виноделы, хлопководы, охотники, учителя, студенты, художники, писатели. В этом живописном мирке можно было наслушаться самых причудливых историй, самых драматических случаев — всего, чем была богата жизнь в Закавказье в то время.

Петр Андреевич прекрасно разбирался в этих посетителях, в их нуждах, в их желаниях. Тут было множество его кунаков, знакомых, друзей. Он любил эту пестроту интересов, эту живописную толпу, ежедневно наполнявшую малый зал в доме в Ртищевском переулке, пришедшую повидаться с Мясниковым. Мясников не уходил, не приняв и не переговорив со всеми посетителями.

После окончания приема мы с Петром Андреевичем направлялись вместе в продолжительные странствия. Мы бродили по всему городу, поднимались к Нарикале, посещали Ботанический сад. Тогда было положено основание тем беседам, которые мы вели всю жизнь, то в самых обычных, то в самых невероятных условиях,— и в горах, и в пустынях, и в самых разных местностях нашей земли.

Петр Андреевич в то время был тонкоплечим юношей, аккуратным, подтянутым и в то же время, несмотря на внешнюю серьезность, почти суровость, умевшим неожиданно обнаружить страстность, резкость и точность в своих отзывах о людях, о литературных произведениях, об особенностях тбилисской жизни.

В этих прогулках он рассказал мне свою жизнь. Я узнал, что мы земляки, что он, как и я, родился в Петербурге, и в то же время — что он старый тбилисец, поскольку детство свое провел в железнодорожном поселке Нахалов-

ке под Тбилиси. Он рассказал о своем участии в гражданской войне, о работе на границе, о том, как он был комиссаром на Мугани. Много интересного узнал я от него о Кирове и Орджоникидзе. В его рассказах были и люди, и города, и горы, и степи, много неожиданного, яркого, запоминающегося надолго. Он рассказывал о Ларисе Рейснер и о Кучук-хане, о персидских миниатюрах, о фанатиках бакинских шахсейвахсеев, о тиграх Ленкорани, о многом, что было очень завлекательно. Историю Кавказа он знал хорошо и увлекался ею.

Рассказывал он бесподобно. Целые сцены в лицах он мог разыгрывать, как прекрасный актер. Сам увлеченный своим рассказом, он мог так изобразить действующих лиц, что вы запоминали их на всю жизнь. Его природный юмор не был убийственным, но чрезвычайно острым.

Павленко занимал почетное, ответственное место, был весел, и счастлив, и остроумен. Мне казалось, что он легко относится к жизни, что ему обеспечена длинная и добрая служебная дорога, потому что, при его талантливости и склонности хорошо разрешать запутанные организационные вопросы, он легко одолеет все преграды, если они встанут у него на пути.

Гуляя с ним в Муштеидском саду или по вечернему Головинскому проспекту, я совершенно не знал, что он уже тогда тайно помышляет, и очень серьезно, о жребии литератора. Я спрашивал его, особенно после какого-нибудь удивительного его рассказа, пишет ли он стихи или прозу, но он убеждал меня, что у него к этому нет никакого влечения и что он человек активной жизни и хочет как можно больше увидеть и пережить.

Но его обостренный интерес к литературе как-то настораживал меня. Мне все-таки казалось, что его устные импровизации есть не более не менее как проверка на людях того, что он таит в глубине своего существа, и что переложить эти рассказы на бумагу ему очень хочется, но что он, как умный человек, не хочет показаться смешным в роли начинающего литератора.

Я хотел как можно глубже проникнуть в его мысли, разгадать, что кроется за этим влечением к собиранию разных бытовых картин, острых сюжетов, неожиданных поворотов человеческой судьбы. Он мне страшно нравился своей самостоятельностью, какой-то беспощадностью по отношению к себе, иногда горькой иронией и грустью своих афористических высказываний, иногда молодым ве-

сельем. Во всем, что он говорил, было много иронии, но не злобной, а идущей от полноты его ощущений.

Скоро он стал для меня в Тбилиси таким необходимым человеком, что, если я не видел его несколько дней, я начинал скучать по нем. Он рассказал обо мне Мясникову, и Александр Федорович, будучи сам литератором, захотел поговорить со мной о советской литературе. Павленко устроил это свидание на террасе заккрайкомовского дома. Мы долго говорили о путях развития советской литературы, о поэтах и писателях, и выяснилось, что Мясников отлично знает советских поэтов и писателей и следит за новыми книгами.

Павленко выказывал такой жадный интерес к писателям, что я все-таки внутренне был убежден, что вечером, после работы, или придя домой с концерта, или после театра, он обязательно садится к столу и пробует свои силы — пишет. Что он пишет? Все-таки прозу, думал я, потому что не может быть, что поэт так скрытен. Прозаик — это дело другое. Он может не искать слушателя, но поэт не выдержал бы, обязательно попросил бы послушать его стихи.

Но Петр Андреевич не предъявлял ни стихов, ни прозы и даже решительно открещивался от них, когда я его спрашивал об этом.

Я уехал в Армению, потом вернулся в Тбилиси и начал собираться в обратный путь на север. Павленко посоветовал мне проехать до Владикавказа по Военно-Грузинской дороге. В ту осень путешествие по ней было не очень безопасно из-за разных контрреволюционных банд, которые совершали нападения на проезжающих. Павленко нашел мне попутчика, в лице товарища Немчинова, ответственного работника, направлявшегося на машине во Владикавказ.

Я тепло попрощался с Петром Андреевичем и пустился в рискованный путь, который проделал вполне благополучно, хотя несколько сложно. В результате этой поездки явилась на свет моя поэма «Дорога».

Петр Андреевич остался за гранью воспоминаний. Когда я вспоминал его в Ленинграде, он всегда являлся передо мной жизнерадостный, веселый, спокойный, иронический, с какой-то грибоедовской точной иронией, с каким-то византийским лукавством — и мне казалось, что ему до конца жизни обеспечен путь ответственного работника, очень культурного и принципиального.

Время шло. Я потерял своего тбилисского друга из виду. Он не писал мне, да и я в горячке литературной жизни не был способен на постоянную переписку. Одним словом, я бы не мог сказать, что случилось с Павленко, пока не получил как-то через третьи руки известие о том, что он, вскоре после начала нашей дружбы, отправился в Турцию и там работает в нашем торгпредстве.

Я еще более утвердился в том, что он продвигается вперед по партийной дипломатической линии и это вполне ему соответствует — и его таланту все подмечающего наблюдателя, и его гибкому, острому уму.

Прошло несколько лет. Я приехал в Москву. Мы, ленинградцы, в то время не чувствовали себя провинциалами, приезжая с берегов Невы, но все-таки, зайдя, скажем, в Дом Герцена, где можно было встретить всех представителей передовой литературы, мы, как приезжие, с интересом узнавали столичные новости и последние литературные споры и дискуссии.

Народу в Доме Герцена, когда я пришел, было мало, и я, перекусив и выпив чаю, так как на вино не было сотоварища, хотел покинуть сие довольно пустынное помещение, но тут ко мне приблизился молодой человек, смуглолицый, худой, в скромном костюме, и глухим, чуть-чуть простуженным голосом сказал мне:

— Здравствуйте!

Я посмотрел на него немного удивленно, ибо не мог признать в нем знакомого. Тогда он, смутившись, сказал:

— Вы не узнаете меня?

— Простите...— отвечал я нерешительно. Что-то в голосе и в манере этого человека расположило меня к себе, и я вдруг почувствовал какую-то тревогу, какое-то беспокойство.— Не могу признать...

— Николай Семенович,— воскликнул подошедший,— я Павленко!

— Не может быть! — закричал я.— Петр Андреевич, теперь я вижу, что это вы. Что случилось? Что-то произошло за это время?

— Да, произошло,— сказал он,— но, если вы кончили кушать, пойдемте отсюда, и я вам все объясню...

— Но зачем идти?.. Может быть, лучше посидеть здесь, чем гулять по улице...

— Нет,— сказал он,— я не зову вас гулять по бульвару. Мы пойдем ко мне. Я живу здесь же, во дворе...

Мы вышли. Через несколько шагов он ввел меня в комнату в маленьком домике, и мы сели в полупустом помещении. Были только полки с книгами, кушетка и несколько стульев.

— Я слушаю вас, Петр Андреевич! Рассказывайте скорее. Где ваша спокойная, тихая тбилисская жизнь, где ваше цветущее здоровье? Вы так похудели, и только блеск ваших глаз тот же... Вы заболели?

— Да,— он усмехнулся и вдруг стал прежним, тбилисским, его плечи приподнялись, он засмеялся,— я серьезно заболел!

— Чем? — спросил я, вглядываясь в это худое, энергичное, умное лицо с такой знакомой иронической складкой у тонких губ.

— Я заболел литературой!

— Как? — сказал я.— Вы шутите?

— Нет, я не шучу! Я хочу быть писателем — и я им буду...

— Я давно это подозревал,— сказал я, и мое чувство тревоги сменилось каким-то легким и радостным волнением.— Но как это случилось?

— Я приехал из Турции и твердо решил — буду писателем. Это моя старая, давно копившаяся во мне страсть. Больше я не мог ей сопротивляться. Я перенес много трудностей, я впал в лишения, я сейчас как нищий парижский студент, у меня ничего нет. Пусть я стану последним бедняком, но у меня будут две книги...

— О чем они? — спросил я. Мне вдруг начал страшно нравиться его аскетический вид, и бедность этой комнаты, и скромность его костюма, и он сам, такой уверенный и гордый.

— О Турции,— ответил он.— Я пишу азиатские рассказы и книгу очерков — Стамбул и Турция... Хотите, я вам почитаю кое-что? Я сейчас...

Он поднялся и пошел к выходу.

— Куда же вы? — спросил я, видя, что он открывает дверь на улицу.

— Ах, мне дали две комнаты,— отвечал он с порога,— но они одна над другой. Мне приходится с другой стороны, по лестнице подыматься во вторую комнату. Я еще не пробил, как видите, в потолке дыры и не наладил лестницы. Я быстро принесу рукопись...

Я сидел в ожидании его, курил трубку и думал о том тбилисском юноше, который так тщательно скрывал от ме-

ня свою страсть к литературе. Она вырывалась при каждом его устном рассказе, она требовала утверждения. Сколько он прожил лет, томясь этой темной, тяжелой, неотразимой, неизгонимой страстью. Сколько он должен был пережить в своей жизни, чтобы отказаться от независимого, выгодного, далеко ведущего служебного положения и пойти променять его на жизнь начинающего писателя, испытывающего нужду, сомнения, по-видимому одинокого, готового на все жертвы ради служения требовательной и беспощадной богине литературы. Что еще он прочтет мне? А что, если это типичные для начинающего, беззащитные, наивные писания, о которых можно говорить только со снисходительной, вежливой улыбкой или прямо и резко рушить необоснованные надежды?

Он появился со множеством маленьких листков, исписанных дробным, легким, изящным почерком, сел, волнуясь, и, как прыгают в воду, начал поспешно читать. Он читал с таким жаром, как будто эти страницы он кончил только сегодня к утру, работая всю ночь напролет. Я слушал с удовольствием. По мере того как он читал, мне становилось ясно, что передо мной происходит рождение настоящего писателя, умного и обладающего многими добрыми качествами — иронией, умением видеть пейзаж, знанием Востока, оптимизмом и целеустремленностью.

Его рассказы были полны красок Востока. По их страницам скользили литературные книжные тени,— видно было, кого он читал и у кого учился. Временами сквозила ненужная изысканность или лишняя пряность описания. Несмотря на все это, чувствовалось своеволие автора, его несомненная талантливость, умение рассказывать сжато и убедительно, искры подлинного вдохновения сверкали на этих крошечных листочках. Это были такие свежие, такие несовершенные, такие живые строки. Он, по-видимому, долго трудился над ними. И теперь он был полон и радости, что получилось, что трудился недаром, и настороженности: а вдруг он ошибся? Поэтому он читал так, как будто ему страшно остановиться. Он старался как будто дочитать до чего-то самого главного, чтобы убедить слушателя.

Все эти страницы были переполнены почти поэтическим богатством сравнений, эпитетов, описаний, словно он хотел доказать слушающему, что бедная, нищая страна, которую он полюбил, прожив в ней несколько лет, в дейст-

вительности — настоящая восточная красавица, с сильной и вольной душой. Для этого он погружался в историю, словно ища там подтверждения этой силы и воли.

Он кончил как-то сразу, отер лоб, хотя он был сухим, и сказал, как бы извиняясь:

— Еще есть, но куда-то засунул, надо искать. Знаете, я только на днях перебрался сюда...

— Петр Андреевич,— сказал я,— то, что я слышал, это написано писателем, интересным, умным, многообещающим писателем...

— Ну-ну,— смутился он,— я, знаете, пишу попеременно — то очерки, то рассказы. Правда, это ничего?

— Эти две книги, о которых вы говорите,— они будут первыми книгами, за которыми последуют еще и еще. Эта страсть неизлечима...

— Если бы вы знали,— сказал он,— как я боролся с ней. Это было как болезнь. Я спасался от нее в рассказы, я рассказывал, я хотел отделаться от необходимости записывать. Я занимался совсем другим — я бросился в историю, археологию, я изучал ковры, торговлю, но ничего не мог поделать. Мне встретились такие трудности,— он запнулся,— да, семейные, бытовые, разные, всякие,— я перешагнул и пошел вперед! И вот пришел сюда! Пусть это будет страсть, которая выпьет меня,— видите, какой я стал. Я живу как во сне. Я бегу туда, в Дом Герцена, перекусить — и обратно сюда, и сижу днями и ночами! Вот как! Вот почему исчез молодой человек приятной наружности, ходивший франтом по тбилисским улицам, и явился сей ремесленник с исхудалым ликом и в пустой комнате. Теперь я понимаю, как трудились те писатели, что теряли сон, спокойствие, аппетит — все — и запирались, чтобы бороться за право сказать свое. Муки слова — это здорово придумано! И я пойду на все, пока не стану писателем, поверьте!

Улыбка сбежала с его тонкого и узкого лица, он повернулся ко мне и сказал:

— Вам нравится эта моя страсть?

— Дорогой Петр Андреевич,— сказал я,— я не хочу быть предсказателем, но мне кажется, эта страсть давно искала вас и вы ее. И вы будете теперь неразлучны всю жизнь...

Он встал и сложил разбросанные листки.

— Если бы так! Если бы так! Но другого пути нет. И возврата нет!

2. НЕБЫВАЛЫЙ КОВЕР

В марте неповторимого тридцатого года Первая ударная бригада писателей ехала в далекую Туркмению. Чтобы скоротать длинный путь, шесть писателей и поэтов, набившись в одно купе, начали рассказывать друг другу всякое-разное. Тут были и анекдоты, и сцены из жизни писательского круга, и картинки быта, и обмен мнениями о только что прочитанных боевиках сезона. Временами хором пели песни.

За окном проходили пространства, где еще припорошенные снегом, где уже зеленеющие мартовской травкой, где угрюмо-каменистые или неприветливо-пустынные. День за днем, продвигаясь все дальше на восток, несся наш поезд. Уже в вагоне-ресторане мы ели, по выражению Леонида Леонова, чучела уток с какой-то сладкой, примороженной картошкой, дни были длинные-длинные, за окном стелились облака дыма, похожие на пену жуковского мыла, или ползли весенние туманы казахских степей.

Казалось, что мы потеряли чувство времени. И когда на станциях уже можно было видеть верблюда, полинявшего одногорбого философа, взиравшего на мир усталым и мудрым глазом, мы поняли, что надо что-то изобрести, чтобы вернуть себе реальное представление о времени и пространстве. И мы начали рассказывать всевозможные истории.

Но сначала мы установили правила для рассказчиков. Нельзя было пересказывать прочитанное в книгах, нельзя было рассказывать с чужого голоса. Надо было говорить только о том, что случилось с тобой, пусть это случившееся походило на сон, на бред, на дерзкий вызов здравому смыслу. Мы оценивали рассказы двумя способами. Если рассказ все признавали добрым, сильным, впечатляющим, то все хором говорили: «Купили!» — и рассказ заносился в памятный список.

Если рассказ не производил желаемого действия, то все говорили: «Не купили!» — и переходили к следующему автору.

Мы вели счет стаканам чая, который пили с утра до вечера, и рассказам, получившим всеобщее одобрение. Кроме того, существовал еще счет на время. Рассказ мог быть коротким и блестящим. Но мог быть длинным, и тогда он подлежал особому учету. Подъезжая под Ашхабад,— а это было через неделю после выезда из Москвы,— мы подвели

итоги наших словесных состязаний. И тут выяснилось, что победителем на длину рассказа был наш великолепный, остроумный и язвительный Петр Андреевич Павленко. Он побил рекорд на длину. Он говорил шесть часов подряд, и испытанные литераторы, избалованные всякими литературными развлечениями, слушали его затаив дыхание. Час за часом Петр Андреевич негромко, то усмехаясь в несуществующие усы, то остро поблескивая глазками сквозь очки, то подражая говору тех, о ком рассказывал, развертывал перед нами подробности своей поездки на популярные тогда Соловки, о которых много слышали, но ничего толком не знали.

Это было мрачно, увлекательно, порой страшновато, порой необычайно, как, например, остров склочников, куда уединяли всех, кто имел неистребимую страсть к склоке. Склочники были выделены на отдельный остров и там пребывали в своей сфере, изолированные от нормальных заключенных.

Многое в удивительном рассказе Петра Андреевича напоминало фантастические картины, нарисованные Свифтом, многое казалось невозможным, но рассказчик бесстрастно повествовал, и нельзя было не слушать его, и хотелось, чтобы он рассказывал не останавливаясь, потому что он обладал тайной силой очаровывать слушателей то грубым натуралистическим наброском, то какой-то внезапной лирикой, то захватывающим сюжетным положением, то такими деталями никому не известного быта, что глаза невольно широко раскрывались... Одним словом, он победил безусловно, и это осталось в нашей памяти...

Однажды паровоз тяжело вздохнул и остановился перед типичным провинциальным вокзалом. Это был Ашхабад. Началась Туркмения — таинственная, полная чудес страна, в которую мы погрузились с головой. В Туркмении мы забыли наш долгий путь, наш вагон и наши рассказы. Все участники бригады написали об этой поездке — кто стихи, кто прозу, кто даже пьесу.

Павленко написал роман «Пустыня» и книгу «Путешествие в Туркменистан».

Я видел его всегда подтянутым, дисциплинированным, вежливым, остроумным и неутомимым.

Правда, он записал однажды, уже на обратном пути в Москву, свои ощущения: «Я сижу в вагоне и думаю и, как четки, перебираю в памяти дни и ночи двух месяцев. Я представляю себе, как вернусь в Туркмению года через

два и заблужусь в Ашхабаде, не узнаю Чарджуя, долго буду соображать: где же это возился со своими стаканчиками агроном Крутцов? Той пустынной полосы между Кушкой и Чимен-и-битом, вдоль границы, где я пал с коня в желании скорее умереть, чтобы только забыть усталость и жажду,— той полосы песков не будет. Корабли Библоса перестанут ходить по Амударье, их заменят глиссеры...»

Да, я все это помню. Я помню, как слез с коня, чтобы посмотреть, что случилось с нашим другом. Это было зрелище, которое можно увидеть в изящнейшем изображении на старых персидских миниатюрах. На ковре из больших голубых незабудок, таких голубых и таких больших, что их можно только видеть во сне, среди ало-черных тюльпанов, образующих ковер из дворца персидского сардара, лежал бледный молодой человек, и лошадь обнюхивала его волосы и шумно вздыхала над своим господином, уткнувшимся в эту голубую и алую прелесть в полном изнеможении, точно он Меджнун, ищущий свою Лейли.

Он неправильно записал в своей записной книжке. Он жаждал умереть не от усталости и жажды. Он поехал в эту изнурительную поездку по пустыне потому, что не мог не поехать, но он не должен был ехать, потому что знал, что в нем уже просыпается желтый демон малярии, и этот демон вымотает его, высосет его и положит на умопомрачительный ковер весенней пустыни.

В Туркмении Павленко чувствовал себя как дома. Он, превосходно знавший Малую Азию, бывавший в самых ее потаенных уголках, в Туркмении находил много сходства с пустынными пейзажами Южной Турции. Он хорошо знал и понимал Ближний Восток. Его тянуло дальше — в неизведанные дали Китая, на острова Японии.

И как странно, что он не увидел этих манивших его краев, а много лет спустя его сын продолжил путь отца и ступил на красную землю Индонезии, как бы исполняя завещание — увидеть невиданные земли Востока.

Наша жизнь в Ашхабаде была пестрой, бурной, ни на что не похожей. Мы ездили в Аннау любоваться древней мечетью с драконом, в Фирюзу — место отдыха ашхабадцев, в пещеры Дьявола, где можно было лазить по темным щелям, в которых контрабандисты прятали свои товары.

И однажды мы попали в необыкновенное место, о котором хочется рассказать подробнее.

Мы вошли в сводчатое, длинное, безлюдное помещение, напоминающее заброшенный караван-сарай.

В нем стояла жаркая тишина. Всюду, куда только хватал глаз, лежали и висели ковры. Их было так много, что вы невольно терялись перед этим неслыханным богатством узоров и красок, окружавших вас со всех сторон.

Туркмены разворачивали перед нами десятки ковров. Перед нашими глазами текли, как родники, золотые узоры, рдели восьмиугольные медальоны салорских ковров, темнели, вспыхивая золотой нитью, ковры теке, багрово-красные, как бычья кровь. Мне казалось, что ковры похожи на песни, на стихи. Расшитые рифмы, строки шелковых нитей. Ковры теке мне напоминали звучный, тяжелый ямб, узоры Мары, древнего Мерва — певучий амфибрахий, ковры Кизил-Аяка походили на взволнованный хорей...

Туркмены, шумно вздыхая от переживаний, просили обратить внимание на особенности отдельных ковров. Река красок переливалась перед нами. Волнами вставали текинские и ахал-текинские ковры, на которых посередине цвели основные рисунки, овальные сверкающие озерца — «теке-гёль», ковры из оазиса Пенде, где красовались звезды, расплываясь на лиловом фоне, йомудские ковры с синим и красным фоном, ковры из Ташауза и из Пальварта; ковры, которые ткут только девушки, ткут с детства для себя, по своей фантазии,— как эти ковры попали сюда, неизвестно; ковры-намазлики — маленькие молитвенные коврики, ковры из Афганистана, из Ирана, старые, как стены Мешхеда, и ковры новые, на которых были вытканы пучеглазые кошки и шахи с выпученными кошачьими глазами — плод подражания самого бездарного и безграмотного.

Павленко презрительно обходил иные из них, останавливался перед другими, чмокал, как истый азиат, языком, считал узлы на левой стороне ковра, удивлялся, приглашал посмотреть, указывал на красный цвет: это настоящий сумах, так теперь не красят... это настоящее мастерство, какие краски,— это отвар шафрана, этому нет цены, ковер крашен сто лет назад...

Окруженные блеском переливающихся узоров, глубокими красками прошлых столетий, рисунками, где угадывались какие-то непонятные фигуры или иероглифы, мы бродили, как лунатики, в разноцветном сумасшедшем мире ковров, которыми можно было застлать все улицы Ашхабада.

Эти ковры по-разному привлекали к себе. На одних, казалось, можно было хорошо выспаться, на других можно только мечтать о чудесных вещах, на третьих — писать стихи, на четвертых — говорить с другом. Жесткие, мягкие, такие, что пальцы чувствовали необыкновенную нежность, эти ковры принадлежали какому-то непонятному нам, далекому и чуть-чуть враждебному миру. Что собрало их вместе в таком количестве?

Павленко засмеялся смехом человека, который, единственный среди нас, понимает все: эти ковры — собственность Госторга. Он скупил их не сегодня. Это труд его агентов, которые рыщут на базарах Мары, на базарах Герата и Меймене, в Мазари-Шерифе и в Мешхеде, может быть даже в Тегеране. Но Госторг не учел одного. Стамбул — главный мировой рынок ковров, и там они получают настоящую цену. Но если вы будете бросать такой дорогой товар, насыщая им до отказа стамбульский рынок, вы убьете цены конкурентов, но и сами ничего не выиграете. Цена на ваши драгоценные ковры, добытые с таким трудом, упадет до такой низкой, что вам лучше оставить эти ковры у себя дома и временно прекратить торг. Госторг правильно сделал, придержав эти ковры. Многие из этих ковров уникумы. Больше вы таких не найдете, даже если заберетесь в самую глушь Ирана или Таджикистана...

Мы с удивлением взирали на Павленко. Он говорил о коврах так, как будто всю жизнь провел на азиатском базаре, среди купцов и менял...

Мы вернулись домой переполненные впечатлениями. Перед глазами стояли стены ковров, от которых исходили слабые сияния всех цветов радуги. Запах этих ковров, приторно-сладкий, горько-жаркий, как запах подогретого кунжутного масла, как будто еще висел в воздухе.

Мы жили, как сказал Павленко, в доме, бело-розовом, как сырой кулич. И с крыши нашего дома свисали собаки и лаяли вниз. После обеда, в час, когда оседает дневной зной и так хорош зеленый чай, мы сидели у себя и обменивались впечатлениями от посещения коврового склада Госторга, который произвел на нас неизгладимое впечатление.

Говорили о коврах, о том, кто в жизни какие видел ковры. Я рассказал о каменных коврах, некогда блиставших всей красой неповторимой мозаики в Шахи-Зинда, в знаменитой мечети в Самарканде.

Павленко усмехнулся, губы его стали еще тоньше, он оглядел нас, как наивных школьников, толкующих о неизвестных им вещах, и снисходительно тихо сказал:

— В Америке живет миллионерша...

— Это что, анекдот? — спросил кто-то, пораженный неожиданным началом.

Павленко продолжал, слегка прищурясь, как бы наслаждаясь необычностью своих слов:

— В Америке живет миллионерша. Взбалмошная, как все миллионерши. С крашеными волосами. Муж ее утонул в Африке, охотясь за крокодилами,— есть слух, что они его съели, и о том, что он утонул, говорят из приличия. Денег много у вдовы, фантазия небогатая. При ней секретарша-приживалка, которая хорошо знает причуды хозяйки. Она обхаживает хозяйку.

«Ну, как вы, милая, выглядите сегодня? Покажитесь... Что вам снилось?»

«Ах, мне снился необыкновенный сон... Я видела во сне такой ковер, такой ковер... ты не можешь себе представить! Я проснулась, и теперь я никогда его не забуду. Я запомнила каждый его кусок, каждый уголок...»

«Надо найти такой ковер, вы, наверно, видели его както в магазине, и он вам запомнился...»

«Не знаю, не знаю, я только знаю, что я не могу жить без него».

«Но, может быть, такие ковры бывают только во сне?..»

«Посмотрим!»

Через день в дом миллионерши уже входил представитель ковровой фирмы.

«Сударыня соблаговолит описать ковер, который она видела во сне. Только я попрошу вспомнить его подробно...»

Он вынул золотой карандаш и приготовился записывать.

«Ах, я помню его, как будто он висел передо мной всю жизнь! Какой он был? Необыкновенные цветы, похожие на лилии, шли отсюда сюда, смотрите, а здесь какие-то золотые листья и нити, как солнечные лучи, образовывали сияние, сквозь которое проступали черты какого-то лица, но это было не лицо, это был узор, пересекавший листья и цветы и соединявшийся вот тут, смотрите, с лучами...»

«Сударыня, вы так подробно все рассказали, что вы разрешите прислать художника, который сможет лучше записать это в красках, я мало что могу сделать своим каран-

дашом. Я уверен, что это небывалый ковер. Я пока ничего не могу сказать, ведь так редки бывают чудесные видения, но бывают, правда, сударыня!»

Он пришел через два дня с художником. Художник был лохмат и угрюм. Он долго выспрашивал, долго рисовал, сказал, что покажет, что получилось. Когда он принес рисунок, миллионерша всплеснула руками:

«Это мой сон! Вы чародей!»

«Я попрошу вас посмотреть на рисунок внимательно,— сказал пришедший с художником агент.— Возможны расхождения в деталях. Это было бы нежелательно...»

Миллионерша смотрела рисунок. У нее дрожали от волнения руки.

«Мне кажется, что нити пересекались немного правее, а эти лилии были толще...»

«Еще»,— сказал молчаливый художник.

«Еще я вспомнила: как будто что-то вроде виноградной кисти свисало отсюда,— но, может быть, это мне показалось. Но в этом углу, я хорошо помню, был гранат, даже два, золотой и почти круглый...»

Они ушли. Через три дня пришел торжественный, как судья, агент. Он оглянулся, точно пришел продавать государственную тайну...

Миллионерша сидела желтая, как сырная пасха. Глаза ее широко смотрели на человечка, который не спеша, наслаждаясь ее волнением, сказал:

«Сударыня, это мистика. Вы верите в сверхъестественное?»

«Да»,— сказала одними губами миллионерша.

Агент улыбнулся, хитро сузив глаза.

«У вас талант медиума. Ваш ковер существует. Это сказал один знаток, но... Но надо искать не здесь. Если вы согласны, мы пошлем запрос в Константинополь, где знают о всех коврах мира. Если сударыня согласна...»

«Пожалуйста. Я не пожалею средств!»

«Мы начинаем поиски, сударыня. И я буду не я, если мы не отыщем этот небывалый ковер...»

Миллионерша потеряла покой и сон. Она все вспоминала малейшие детали ковра, явившегося ей во сне, она посылала эти подробности агенту и ждала с нетерпением известий из Азии.

Агент появился через месяц, смущенный и серьезный.

«Большие новости из Константинополя, сударыня. Положение осложняется. Ковер — реальность. Он существует

в глубине Азии. Все знатоки сказали в один голос, что это где-то в центре Курдистана... Опасная страна, отчаянные головорезы. Нужно послать туда опытных людей. Туда легко проникнуть, но оттуда трудно вернуться...»

«Посылайте людей! — Миллионерша не могла говорить от волнения.— Значит, ковер в самом деле существует?»

«Да,— сказал почти торжественно агент,— первый раз в жизни я встречаюсь с таким фактом. Я поражен, больше — я травмирован. Если бы не мои годы, я сам ринулся бы в эту романтику, в этот волшебный мир легенд и приключений».

Он вышел задом, кланяясь, как на аудиенции у иранского шаха.

Через месяц он ворвался, как свой человек, как друг, которому доверены самые сердечные тайны. Он задыхался от волнения.

«Мадам,— он впервые назвал ее «мадам»,— вы видите на расстоянии. Ковер нашли. Он такой, как вы описали. Но его нельзя купить. Он — родовой фетиш. Он в шатре курдского вождя. Это святыня рода. Можно только похитить его, но это опасно, слишком опасно и... и слишком дорого».

«И вы говорите это мне? Как! Отыскать мое сокровище и лишить меня возможности обладать им? Вы жестоки! Вы меня мучаете! Достаньте немедленно, скорее! Сколько бы ни стоило. Это моя вторая жизнь, этот ковер...»

Агент пожал плечами:

«Люди пойдут на почти верную смерть, сударыня! Может быть, вы передумаете?»

Она покачала головой:

«Нет, ищите смельчаков. Я не останусь у них в долгу. Но ковер должен быть у меня...»

Агент склонился перед ней, как будто он был министром двора, а она — Абдул Гамидом.

Время идет, но для миллионерши оно остановилось. Ничего, никаких новых вестей! Секретарша раскладывает перед ней карту Курдистана. Она смотрит на коричневые линии хребтов, на синие жилки рек, на желтые пятна пустынь, и они напоминают ей об узорах небывалого ковра. И когда черная меланхолия охватила миллионершу, входит агент, и она по его лицу видит: победа!

И действительно, он говорит, разводя руками:

«Бывает все, но такое бывает только в сказке. Вы как сказочная принцесса, мадам! Я докладываю, как будто я

крестоносец и принес что-то от гроба господня. Но теперь другие времена, и я говорю, как вечерняя газета, от собственного корреспондента: экспедиция удалась. Один убит, его тело осталось в руках хана, один ранен и бежал, один искалечен — упал со скалы. Но ковер на пути в Константинополь. Надо только унять шум. Курды грозят восстанием. Власти начали расследование. Придется заплатить семье убитого, надо дать раненому и покалеченному... Все идет хорошо!»

Через некоторое время в дом миллионерши вошел агент, сияя как Юлий Цезарь после триумфа. Он принес сногсшибательное известие:

«Ковер у нас, он такой, как вы рассказали, есть только одно несовпадение, но это оттого, что во сне, конечно, не так можно все разглядеть, как хочешь. И сон нельзя повторить, как фильм, особенно такой небывалый сон... И другое выяснилось: ковер очень стар и дряхл. Он не любит света и требует постоянного тонкого ухода и наблюдения... Поэтому прошу указать место, где он будет у вас находиться, и мы поместим его с соблюдением всех требуемых мер охраны...»

Ах, она давно присмотрела для него комнату, но специалисты бракуют ее.

«Слишком много солнца. Вот другая комната, поменьше, подойдет. Тут мы поместим ковер, и специалист будет приходить каждую неделю, чтобы проверять его состояние. Освещение должно быть особое и не очень яркое...»

Ковер прибывает. В доме немыслимое торжество. Собираются многочисленные гости. Хозяйку просят рассказать историю ковра. Сначала она под возгласы удивления рассказывает сон. Потом знаток и агент рассказывают историю чудесного поиска и похищения. Они неистово превозносят мистический талант хозяйки дома. Открывают ковер. Почти в полумраке все видят небывалый ковер. Ищут на нем те узоры, которые особенно пленили хозяйку, запомнившую их во сне. Все в восхищении. Самые возбужденные восклицают:

«Это надо опубликовать в печати! Это сенсация нашего века!»

«Да, да! — кричат гости.— Это удивительно, это чудо!»

Но знаток и агент вежливо протестуют. Они указывают: все, что хотите,— восторг, преклонение, но не сообщение в печати! Это невозможно! Публикации быть не может. Если станет известно, где ковер, то мстительные, как

дьяволы, курды сделают все, чтобы вернуть его. Они не остановятся перед убийством...

Хозяйка на вершине радости, она обводит гостей торжествующим взглядом. Все дают слово молчать, но просят разрешения приводить своих друзей любоваться небывалым ковром. Какая история! Детектив! Все приходит в норму. Хозяйка проводит часы перед ковром. Аккуратно приходит человек от ковровой фирмы, подкрашивает потускневшие краски, штопает кое-где осыпавшиеся куски, подбирает освещение, которое не дает возможности разобраться в узорах ковра... Все в порядке...

— Но это действительно удивительная история,— говорим мы,— это мистика, черт побери! Эта история подлинная?

— Да,— говорит Павленко.

— И такой ковер есть на самом деле?

— Есть, только он сделан в Нью-Йорке, в получасовом расстоянии от дома миллионерши. Никто никуда не ездил, не наводил никаких справок, никто не был убит, никто не был ранен, никто не упал со скалы. Ковер переделали из старого барахла и за три месяца преобразили в чудо, которое хранится в доме миллионерши. Ловкие поддельщики потрудились над ним. Это заняло три месяца и пять дней. Ловкость рук — и ничего больше...

— Петя, дорогой, откуда ты так знаешь ковры, откуда взял эту историю?

Павленко снял очки, протер их, кашлянул, сделал безразличное лицо и сказал тихо и скромно:

— Я несколько лет работал за торгпреда в Стамбуле. Сам вовсю торговал коврами. Даже написал работу о коврах. Знатоки хвалили. А эта история — из тех, каких много ходило по рукам на ковровом мировом рынке в Стамбуле. Вот и все...

3. ГУНИБ

Русские солдаты сто лет назад назвали Гуниб Горой-гитарой. Она походит на гитару, наклоненную с востока на запад, к левому берегу Кара-Койсу. Это сравнение делает честь воображению ветеранов, повидавших достаточно гор во время бесконечной Кавказской войны.

Но я не согласен с этим определением. Мне Гуниб представляется скорее исполинским сундуком, который

возвышается среди окаменевших волн дагестанских хребтов. Кажется, что в своем последнем взлете они подняли Гуниб к бездонной, побледневшей от зноя голубой вышине неба и так он и остался навсегда — каменный сундук, полный преданий и легенд.

В это летнее утро Гуниб был великолепен. Казалось, его скалы и тополя прислушиваются, задумавшись, к голосу человека.

Начальник милиции самозабвенно, взмахнув рукой, как будто в ней была шашка, читал нам стихи неизвестного поэта и сам тут же переводил их.

Мы, заслушавшись, сидели на террасе. Под нами в глубокой пропасти, много ниже нас, летали потревоженные орлы. Тень от их крыльев скользила по отвесам соседней каменной стены.

Простор и воля окружали нас. Было так много воздуху, что строки стихов парили в нем, как птицы. Стихи были такие убедительные, как будто они рождались тут же камнями, деревьями, потоком, дробившим каменья, криками одиноких птиц.

Начальник милиции расстегнул ворот гимнастерки. Его рука теперь простиралась к нам, и с нее, как птицы, слетали мучительные слова. О чем они говорили?

Мой вздох от смущенного сердца не возьмешь ли, о туча небесная?

От дрожащего тела в мучении написана жалоба. Ты не снесешь ли ее, о легкое облачко?

Что дух пережил в моем теле, расскажи ты по правде, о ветер из Сирии!

О том, как клокочет огонь, как наполнил он грудь, дай ей в руки письмо, о солнце, светящее скалам!

Скажи ей ты, горная козочка льдистых и летом Цьорских гор, что я здесь, в снегу...

Павленко кашлянул так, как он всегда кашлял, когда волнение брало верх над иронией. Он был, сам не зная почему, смущен голой правдой этих стихов. Она становилась еще сильней оттого, что начальник милиции читал их наизусть, как свои. Чтение прервалось так же неожиданно, как и началось.

— Чьи это стихи? — спросил Павленко, вынимая платок и протирая свои очки.

— Одного поэта,— отвечал начальник милиции...— Но он уже больше не пишет ничего. Он недавно убит...

— Как недавно?

— Недавно. Лет пятнадцать назад! — отвечал горец.

— Сколько же ему было лет? Он был очень стар?

— Зачем стар! Не было тридцати пяти, я так думаю! — Начальник милиции оправил пояс, точно собирался начать танец, приосанился и сказал: — Я еще его стихи знаю. Хочешь, прочту еще? Очень по сердцу его стихи, прямо песня.

— Читай еще, еще, пожалуйста,— просили мы все.

Совсем другим голосом, каким-то недовольным, отрывистым, полным гордыни и грусти, начал он полураспевом:

Ах, надоело мне седло и опротивел конь! Я звал, все звал тебя, и вот покинул дух мой тело...

Докучна мне винтовка,— я бросил все оружие, когда прощалась ты, о свет очей!

С кем мне бороться, о красиво-стройная? Земля, в которой нет тебя, лежит как ад! Но там, где всходишь ты на крышу, где идешь ты по тропе,— не там ли правоверных рай?

Нет той губернии в России, где я не проезжал, мечтая о тебе!

Стихи прервались. Читавший виновато улыбнулся, отчего лицо его стало почти юношеским, наивным.

— Дальше не знаю сейчас. Забыл... Я его отрывки помню...

— За что его убили? — спросил Павленко.

— За женщину,— быстро ответил начальник милиции.

— Как же его звали?

— Его все зовут в горах Махмуд из Кахаб-Росо. Его песни народ в горах поет. Только вот книги нет. Надо в Махачкале издать. А то молодые начинают брать из него, а говорят, что это их собственное... Непорядок.

— Это был исключительный человек,— сказал художник-горец, обрадовавшись, что нам так понравились стихи Махмуда.— О нем много рассказов, сказок в горах. Есть выдумки, есть правда. Раз он ехал на базар в Темир-Хан-Шуру. Так раньше Буйнакск звали. Это правда, что я скажу. Он ехал по дороге, а по ней народ шел тоже на базар.

Он поравнялся со стариком, гнавшим овец в город на продажу. Пастух пел песни, чтобы скоротать путь. Махмуд ему подпевал. Потом Махмуд спросил:

«Знаешь ты одну песню, которую у вас в Казаныше поют по-особому, не так, как всюду?»

«Знаю»,— сказал пастух.

«Так спой мне, прошу!»

А пастух, горец простой, мужик, большая гордость у него, горцы — народ такой, неуступчивый, строптивый народ...

«Не буду,— говорит,— петь! Что я тебе буду петь, ты на лошади едешь, я пешком иду! Не буду петь!»

Но Махмуд был горяч и упрям.

«Пой,— сказал он,— я тебе коня отдам за песню!»

«Коня за песню? — Пастух любил посмеяться, любил острое слово.— Хорошо, уговорились. Слушай мою песню...» И он спел ту песню, что просил Махмуд.

Махмуд помолчал немного. Потом сказал:

«Ах, хороша песня! — Слез с коня, отдал пастуху.— На, садись, хорошо спел».

Пастух, посмеиваясь, едет на коне, а Махмуд идет рядом. И так они добрались до города, а там каждый пошел в свою сторону.

Ну, базар кончился. Махмуд друзей встретил, начали веселиться, поют, гуляют. Второй день пошел — веселье большое. Народу много. В одном духане сидел Махмуд с приятелями. Вдруг, всех растолкав, появляется тот пастух, что песню пел. Он увидел Махмуда, рассвирепел как зверь. За кинжал хватается, кричит, при всех поносит:

«Я думал, ты хороший человек, песни любишь, слово держишь. А ты плохой человек, негодный человек...»

Тут Махмуд встал в гневе, а мужик, этот пастух, кричит:

«Я с твоим конем второй день тебя ищу. Мне домой надо, а ты пропал. Бери коня, не задерживай меня...»

«Какого коня? — спрашивает Махмуд.— У меня нет никакого коня!»

«Как нет? — кричал пастух.— Вон он там, у двери, стоит. Ты мне его за песню дал...»

«Ну, да, а ты взял, в чем дело?..»

«Люди добрые,— растерялся пастух,— что он говорит? Коня за песню! Да если бы я пришел в свой аул, спросили бы, откуда такой конь, и сказал бы — украл, все бы меня молодцом назвали. А как я приду и скажу: «Один человек мне за песню коня отдал»? Все знаешь что скажут: «Ты божьего человека обидел, ты негодяй, что так сделал». Бери своего коня!..»

Тут Махмуд встал перед ним во весь рост и сказал:

«Не знаю никакого коня. Он твой, я тебе подарил его. Делай с ним что хочешь. И иди отсюда. Не мешай нам веселиться. А хочешь песни с нами петь — садись. А нет — иди отсюда сейчас же...»

Вот какой был Махмуд, он аварец, его все в горах любят...

Так у нас Гуниб начался стихами Махмуда. И тут Петр Андреевич Павленко повторил слова, сказанные им накануне на висячем мосту через Кара-Койсу:

— Какая жажда любви, какая свобода духа!

Это он сказал, когда мы смотрели, проверяя свои нервы, в кипевшую под нами, летавшую коричневыми буграми, всклокоченную воду горной сумасшедшей реки. Жалкий мостик с легчайшими перильцами дрожал мелкой дрожью. Темные стены ущелья поражали своей отвесной неприступностью. Харта-Купинское ущелье дышало холодом и полумраком. Неуютные, голые горы окружали место будущей Гергебильской гидростанции.

Павленко сказал, показывая на скалы и на бешеную пену реки:

— Таков и характер горца. Каменное спокойствие снаружи, а внутри все кипит, ревет, клокочет, все в борьбе... Ты знаешь, что это место, по преданию, проклято Шамилем?..

Я знал про то, что здесь еще Шамиль хотел соорудить плотину и потом, открыв ее, бросить на русские войска бешеный поток и смести весь отряд. Но вода прорвала плотину раньше и наделала много беды, и работы больше не возобновлялись. И только в советское время горцы снова взялись за строительство.

Мы стояли на висячем мостике, любуясь яростью Кара-Койсу.

— А знаешь, кто привел меня в Дагестан? — закричал Павленко, чтобы перекрыть грохот реки.— Шамиль!

Я кивнул головой, но жест этот не означал согласия. Мы пошли по мостику. Павленко остановился у спуска на скалы и сказал:

— Но замысел мой — не только Шамиль. Ты это хорошо знаешь!..

Да, я это хорошо знал!

...Давно, медленно, борясь со всевозможными сомнениями и преодолевая их, Петр Андреевич Павленко подходил к огромной теме, вошедшей в него глубоко, захватившей с годами все его существо. Он хотел создать такое

произведение о Кавказе, о его народах, которое впервые рассказало бы читателю ту настоящую правду, что была доселе скрыта за официальными рапортами, за романтическими описаниями, за пристрастными воспоминаниями очевидцев.

Наконец Павленко как будто нашел путь к этой необыкновенной теме, и план произведения возник перед ним с такой ясностью, что он мог уже говорить о нем. В письме Горькому в январе 1933 года он писал: «Хочу написать сцены из жизни дагестанского аула за семьдесят лет, от Шамиля до наших дней. Нашел я такой аул, где Шамиль строил дубовую плотину на реке и где мы сейчас строим гигантскую электростанцию, сохранились современники Шамиля и постройки плотины, они сейчас служат, говорят, сторожами на стройке и выступают в качестве биографов своего аула.

Хочется написать историю события, роман самого события».

Но все, о чем он хотел писать, все картины жизни прошлого и настоящего должны были быть связаны с горами. Горы или целиком захватывают человека, или он, прикоснувшись к их особому миру, навсегда отходит от него, сохраняя в душе некоторый испуг перед их непонятностью или даже полную отчужденность, полное отрицание их суровой прелести.

Со свойственной ему горячностью, ироническим складом ума, Петр Андреевич, даже живя в Тбилиси, признавался, что он не любит горы, не понимает их. Но перед нашей поездкой в Дагестан он писал мне в марте тридцать третьего года совсем иное, для него неожиданное:

«...Ты любил горы,— я презирал их. Ты рассказывал о них чудеса,— я не понимал рассказов. Теперь, побродив по Дагестану, посидев в Гунибе, в Хунзахе, в Ахульго, я начинаю понимать твою точку зрения. Да, горы гениальны, безусловно. Я сидел месяц в Тифлисе, копался в музеях и архивах, встречался с чудесными людьми... потом поехал в Дагестан и тут пропал совершенно. Ах, какие здесь люди!..»

Сколько же было потом вечеров, бесед, поисков материалов в связи с этой всеобъемлющей темой! Все свертывалось в сложный клубок, запутывалось в неразрешимый узел. Соблазны вставали со всех сторон. Хотелось сразу обнажить тему национально-освободительной войны Кавказа с царизмом, сделать роман, который мог бы быть по-

собием для вождей иных колониальных стран, находящихся в борьбе с колонизаторами. Недаром вождь рифов Абд-эль-Керим считал опыт Шамиля годным для его борьбы с французами и испанцами в 20-х годах двадцатого века...

Хотелось широко полемизировать с пушкинскими и толстовскими традициями, с их манерой показа истории.

Но полемизировать с Львом Толстым, собственно, было не к чему. Лев Николаевич однажды сказал, что если бы Хаджи-Мурат отрекся бы и от веры, то это изменило бы смысл всего рассказа о нем. Но он остался между двух деспотов. «Меня занимает,— сказал Толстой,— не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля и Николая, представляющих вместе как бы два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского».

Павленко хотелось взять старых кавказцев, скажем, Максима Максимовича, и показать его старость, продолжить лермонтовского «Героя нашего времени», по-иному взглянуть на Хаджи-Мурата, показать русских солдат — перебежчиков к Шамилю, поляков, иностранцев у Шамиля, боровшихся с армией Николая Первого, весь пестрый мир того времени, когда русские люди поколениями входили в длившуюся свыше полустолетия Кавказскую войну, ехали на «погибельный Кавказ»...

Видя, с какой страстью Павленко входит в кавказскую тему, я с большой радостью приветствовал его признание гор и помогал, как мог, в его поисках материалов, в объяснении иных фактов, потому что сам давно занимался историей и географией Кавказа и исходил его вдоль и поперек. У меня было много друзей всюду в горах.

Иные из решений исторической темы моя душа никак не могла принять. Так, например, в те годы поэт Борис Брик написал поэму, и пребольшую, о том, что русский писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, как известно пропавший без вести при высадке у мыса Адлер в 1837 году, якобы не погиб, а перешел к горцам, добрался до Шамиля в Дагестане и там в рядах мюридов сражался против Николая. Это мне казалось совершенно противоестественным. Только большая наивность и полное незнание исторических обстоятельств позволили поэту уверовать в выдуманные им события.

Как передовая фигура романа сам Шамиль вызывал у меня сомнения. Учение тариката, отвергающее всякую

светскую власть, признающее только духовную иерархию, во главе которой должен стоять имам — посредник между богом и верующими, казалось мне, не может быть передовой фигурой современного произведения, да еще рассчитанного как пособие в борьбе с колониализмом нашего времени.

Это положение смущало и Петра Андреевича. В своей статье, напечатанной в журнале «Книга и пролетарская революция», Павленко, говоря подробно о романе, пишет, что это будет роман не о Шамиле: «Это будет жизнь горского труженика, состоявшего много лет в отрядах Шамиля, пережившего разгром горских сил в 1859 году, свидетеля реакции 90-х годов, очевидца революционных вихрей 1905 года и участника гражданских боев в 1919—1920 годах. Это будет история одной семьи на протяжении ста с лишним лет. В конечном счете это будет повесть о том, как человек искал и как он нашел свою настоящую родину».

...В тот же далекий летний день 1933 года наша большая компания, в которой был и Владимир Луговской, стояла в березовой роще Гуниба, сильно разросшейся за годы, прошедшие с того мгновения, когда неутомимый и неукротимый вождь, старик в повитой белой кисеей папахе, с глазами усталого орла, подошел к камню, у которого кончилась многолетняя война. У этого камня он сказал тогда: «Я простой уздень, тридцать лет дравшийся за свою веру. Но теперь народы мои изменили мне, а наибы разбежались, да и сам я утомился. Я стар. Мне шестьдесят три года. Не гляди на мою черную бороду: я сед!»

Теперь, как и тогда, стояла тишина того полдневного часа, когда в горах смолкает всякое движение, зной тяжелой волной заливает рощи, и альпийские луга, и громоздящиеся невдалеке скалы. Жарко было и в этой сильно разросшейся чаще третичной реликтовой березы.

Пестрой компанией стояли мы перед каменной беседкой, и каждый думал о своем. Трудно было представить себе 25 августа 1859 года. Только те, кто видел картину Рубо или картину Горшельта, могли воспроизвести по памяти расстановку участников того дня. Камень, на котором сидел князь Барятинский, был немного в стороне от той площадки, на которой стоял Шамиль. Аула не было видно из-за разросшейся рощи. Не изменились горы, чьи шершавые, как слоновые шкуры, склоны выглядели и тогда так же, как сегодня.

Сцена была прекрасно оформлена. Участники народной трагедии ушли в прошлое. Мне почему-то вспомнилась мрачная теснина, где выла и ревела Кара-Койсу и где первые строители Гергебильской плотины начинали свою созидательную работу.

Молчание прервал Юсуф Шовкринский, наш друг и спутник по дагестанским странствиям.

— Храбрый был старик! — сказал он, и все поняли, что он говорит о Шамиле.

Тут все заговорили сразу, вспоминая случаи из прошлого страны, сравнивая храбрость одних и предательства и трусость других. Вспомнили потуги имама Нажмуддина Гоцинского и карлика Узун-Гаджи, хотевших создать шариатскую монархию в Чечне под протекторатом турецкого султана, их безнадежную борьбу с наступившей Октябрьской революцией, весь конгломерат реакции в горах — англичан, турок, восстания, осады, засады, бои...

Вспомнили, как Гуниб дважды выдержал тяжелейшую осаду, как лошадиное мясо считалось лакомством у защитников крепости.

Неторопливо поднимаясь дальше, мы миновали белый домик метеорологической станции, миновали каньон, в котором весело бежала речка Гунибка. На каменистой поляне, покрытой щетинистой травой, мы присели на камнях перед развалинами аула Гуниб.

От садов и полей аула осталось одно воспоминание. Можно было видеть какие-то площадки, остатки стен, ограждавших сады. Вместо домов — руины, нагромождения неровных камней. Так строили и в очень далекой древности. В этом отношении аул не может соперничать хотя бы со своим соседом аулом Согратль, где стены домов сложены превосходно.

Мы бродили между развалин, потом сели на камни невдалеке от аула, чтобы полюбоваться видом. Справа от нас большой светло-зеленой волной вздымались березовые массивы, слева — пустынные желтые скалы, прямо вниз, по речке, уходил склон, над которым вставали темно-бурые горы и туманные голубые дали.

Мы постояли у входа в яму, куда вели неровные ступеньки. В этой яме сидели «кавказские пленники». Сидеть в ней было холодно, голодно, неуютно. Мы вспомнили грузинского поэта Гурамишвили, которому пришлось познакомиться в свое время с подобной дырой, вспомнили толстовского Жилина...

Из всех нас только один Петр Андреевич смотрел на все совсем другими глазами. Для нас все эти остатки седой старины, более или менее интересные, были красочными, живописными впечатлениями, не больше. Он же смотрел на все глазами участника событий того далекого прошлого. Для него оживал каждый дом этого маленького аула. Вон там стоял пороховой завод, там были склады, там мечеть, где среди грохота недалекой пальбы находился Шамиль перед тем, как решиться на последнее: на выход к победителям. Там, где-то в доме, который был специально построен для него за несколько лет до катастрофы, в страхе и мучительном ожидании ждала его семья исхода последнего сражения.

Каждый изгиб тропы, каждый уступ, обрывающийся в пропасть, говорили Павленко о тех днях, которые он должен был описать как очевидец. Он смотрел туда, где высились Кегерские высоты. Он видел там русских генералов, окружавших князя Барятинского, который мог сразу обозревать всю гору с ее березовыми рощами, пастбищами, полями, с аулом, чьи дома стояли в сизом далеке. Он видел и отвесные стены горы, какие сбегали к мутной, тяжелой, ревущей воде Кара-Койсу.

Павленко уходил в прошлое, чтобы рассказать его настоящему, передать таким, каким оно жило. И уже Шамиль становился рядом с простыми людьми, теми, что когда-то населяли этот аул, теми, что ушли из этого аула на берег далекого Сулака, Сулака, собравшего воды всех Койсу, чтобы стать большой рекой. На ней будет построена самая большая в Дагестане — Чирюртовская ГЭС. В 1933 году она была еще в проекте, а сегодня, если бы Павленко был с нами, он мог бы своими глазами видеть, как эта крупнейшая на Северном Кавказе гидростанция дала ток, а это значит, что жители аула Гуниба, три четверти века тому назад выселенные к Сулаку, снова переехали на новое место, так как их аул залит поднявшимся Сулаком, хотя он был на большой высоте, но вода нового Сулака поднялась еще выше...

Весь этот день на Гунибе, начавшийся стихами народного поэта гор, вызвавший тень народного вождя Дагестана, требовал какого-то последнего красочного эффекта, чтобы увенчать добрую прогулку, соединить времена и чувства. И тогда запылали костры. Они были небольшие, но их красные язычки, вспыхнувшие на жестко-зеленой покатости луга среди серых камней, вонзились прямо в

сердце. Их не хватало, этих маленьких спутников, сразу напомнивших о ночевках в горах, о походах, о биваках, о тревогах, о радостях встреч и о гостеприимстве горцев, о часах отдыха после утомительных троп и дорог.

У этих костров, горевших в зеленой впадине старого Гуниба, сидели горцы и русские, одной семьей, и дружески и горячо беседовали. И о чем только не говорили в тот незабываемый день, когда прошлое и настоящее встретились у камня, у которого когда-то сверкало оружие и гремел гром войны.

У нас была дружба народов и радость жизни, вольной, как те стихи, что как на крыльях вознесли нас на Верхний Гуниб.

Павленко рассказал, как Шамиль первый раз в жизни испугался смерти.

— Не может быть! — воскликнул Юсуф.— Он никогда ничего не боялся...

— Те, кто принял шариат и обряд зикира, те уже не страшились смерти,— сказал начальник милиции.

Это же подтвердили и другие горские друзья. Но Павленко, как опытный мастер рассказа, выдержал их протесты и сказал:

— Шамиль сам признался в этом. Дело было так. Его уже должны были доставить в Кизляр и поручили это одному офицеру Нижегородского драгунского полка. А офицер тогда стал заниматься фотографией. И ему захотелось снять знаменитого имама. Но как это сделать? Объяснять Шамилю долго, и он ничего не поймет. Не поможет и переводчик. Тогда он составил целый заговор, рассчитанный на быстроту. Он поставил вокруг кустов маленького садика часовых — драгун, чтобы кто-нибудь посторонний не помешал исполнению задуманного. Аппарат, громоздкий, похожий на маленькую пушку, прикрытый черной материей, приготовил так, чтобы не надо было при Шамиле его переставлять. План был таков. Он ставит в саду кресло, сажает Шамиля, быстро направляет на него объектив, снимает — и все. Важно, чтобы Шамиль не поднял паники, не вскочил бы раньше времени. И что же вы думаете? Все сошло прекрасно, но только сам виновник этого происшествия — фотограф — не подозревал, как близко от смерти он находился в это мгновение. Шамиль рассказал потом своим приближенным лицам, что с ним произошло. Значит, утром ему предлагают выйти в сад. Ну, он пленник, и ясно, что надо повиноваться. Он выходит. Но он все

время настороже. Русские могут сделать какое-нибудь коварство. Надо быть начеку. Он все замечает сразу опытным глазом. Он увидел, что за кустами прячутся часовые — солдаты с ружьями. Значит, приняты меры, чтобы он не мог спастись. А в чем опасность? Ах, этот русский офицер предлагает сесть в кресло и вдруг наставляет на него какую-то машину, и когда он разглядел, что под черной материей спрятано дуло маленькой пушки, он решает, что его хотят коварно убить. Но он опередит врагов. Пушку наводят на него. Но он сидит, положив руку на кинжал. Как только раздастся выстрел, он пригнется, снаряд не попадет в него, он прыгнет в сторону и кинжалом прикончит офицера. Не показывая вида, но в душе чувствуя, что смерть пришла, Шамиль сидит как каменный, весь напрягшись для прыжка. Но пушка почему-то не стреляет. Человек снимает какой-то футляр с ее дула, залезает под черную материю, но выстрела нет. Пушка испортилась! Офицер отдает честь имаму, пушку убирают, и Шамиль идет завтракать. Испуганные сопровождающие, наблюдавшие за происходившим из окна, ни живы ни мертвы от страха за имама. Но имам бодр, и скоро к нему приходит прежнее мужество. Но под дулом неизвестного орудия, которое должно было его убить, он содрогнулся. Он не побоялся в этом признаться,— правда, после того, как узнал о том, что в самом деле происходило в саду в тот страшный час. Ему показали его портрет, который ему понравился, но он долго не мог забыть мучительных минут, которые пережил...

Рассказ Павленко поразил присутствующих. Они никогда не слышали об этом случае. Юсуф расхрабрился. Замечательный в своем роде рассказчик, он просит слова, чтобы рассказать, как раз в жизни он испугался тоже, как Шамиль...

— У нас в горах в гражданскую войну это было. Я совсем маленьким был, но уже сильный, мог хорошо ходить, оружия не давали мне, был кинжал, здоровый такой, настоящий кубачинский, амузга. Был я с партизанами в горах. Ночь настала. Холодно. Темно. А нам где-то ночевать надо. Один партизан говорит (а нас всего было трое):

«Я знаю тут, в горах, пустой хутор, несколько сакель, оттуда все бежали. Там будем ночевать».

Лезли мы, лезли, едва добрались: высоко, скользко. Одна сакля наверху, одна — ниже. Еще одна полуразрушена. В той сакле, куда они зашли, можно ночевать, но холодно. Мне говорят:

«Ты самый молодой, иди дрова достань».

«Где достать?»

«Где хочешь, что тебя учить...»

Ну, я пошел, думал, какие кусты есть. Действительно, есть что-то вроде старого дерева. Туман такой — ничего не разобрать. Подхожу к этому старому дереву. Зеленые огни тут, зеленые огни там, что такое? Валлаги — волки это! Я оттуда бегу, зубы стучат, оглянусь: вверху зеленые, внизу — то же. Куда я денусь? Я вспомнил про саклю ниже по горе. Туда влез — сакля какая-то жалкая. Длинные шесты, здоровые такие, держат ее. Зачем ей теперь эти шесты? — все равно никто не живет. Я начал рубить шесты, рубил, рубил, вспотел весь, в темноте рубил, на ощупь. Смотрю — дело к концу идет. Перерублю! Как дал последний раз... Что-то рвануло, меня откинуло наружу, я полетел, ударился о камень, сижу — ничего не понимаю. Две сакли вместо одной. Тут луна вышла. Дым какой-то стоит. Кричат люди. Что такое? Валлаги! Это наши мне на голову свалились сверху. Я, оказывается, подрубил столб, на котором стояла верхняя сакля. Она и села на них. А они уже спать легли, в бурки завернулись и потому не расшиблись, как вниз полетели. Они сначала ничего не поняли, потом меня увидели с кинжалом. И начали они меня бить, здорово били.

«Ты что,— ругались,— хотел нас убить?»

Я хотел в ту же ночь от них убежать, но волков боялся. Волки всю ночь вокруг ходили. Вот что бывает. А я сначала испугался, думал, нечистая сила... А как они летели... Здорово... Честное слово, чего только не было со мной!..

Все смеются. Не верят Юсуфу.

— Ты, брат, хороший выдумщик, это мы знаем, ты веселый парень, людей смешить можешь,— говорят вокруг.

Рассказы у костров за хорошим куском шашлыка сменяются один другим. Каждый имеет что рассказать, и каждый рассказ чем-нибудь да интересен. Если бы их собрать в одну книгу, был бы сборник гунибских былей. И хотя мы окружены прошлым, но всех тянет на разговор о сегодняшнем: о Гергебильской плотине, о новых дорогах, о поездке в Хунзах — надо посмотреть электростанцию, которую поставил один человек, так и написано на доске над дверью: «Гидроэлектростанция построена. И. М. Махмудов мая 17. 1932».

Надо познакомиться с Халилом из Согратля, надо увидеть Гамзата Цадасу — народного певца, надо проехать в

гости к дидойцам, перевалить хребет, на Кара-Самур, посмотреть, как живут в Кубачах, в Ахтах, в Курахе, в Куруше... Много надо увидеть.

Добрые костры Гунибской долины! Тех, кто сидел у вашего дружеского огня,— их уже не соберешь. Многих уже нет, многие ушли совсем недавно из дружеского круга. Я могу написать во Львов, в старинный город, потонувший в столетней листве. Там живет одна горянка; она девочкой сидела тогда у костра в Гунибе, и ела приготовленный мной шашлык, и даже хвалила его великодушно. У меня еще сохранилось фото, на котором она сидит в белой шапочке; ее, как и тогда, зовут Резеда Махмудова. Вот она может вспомнить со мной тот далекий гунибский неповторимый день...

...У такого полного впечатлений, хорошего дня должна быть и хорошая ночь. И она приходит — лунная, строгая, голубая. С гунибского обрыва хорошо видны далеко уходящие увалы спящих громад. Нет им ни конца ни края. Точно весь мир вздыбился, и куда бы ни лететь этой ночью, под крылом будут только острые гребни, резко расчерченные ущелья, на дне которых сверкает неподвижным блеском река, и темные массивы, лежащие по ту сторону голубого.

Мы сидим на обрыве, а за нами старые черные тополя. В обрыв посмотреть жутко. Там не то что увидишь какую-нибудь тропу, там еще такое примерещится, что потом не заснешь. Вокруг мир и тишина. Но мы на Гунибе, и кто-то вспоминает, что внизу видел пометку об Апшеронской тропе. Просят Павленко рассказать о той безумной ночи, когда полезли на эти скалы охотники с железными крючьями — апшеронские и ширванские стрелки.

И Павленко рассказывает о том, как люди двигались гуськом по узкой тропе, висели над бездной, держась за куст или кусок травы, упираясь коленями в стену. На них сверху летели камни. Такие обвалы, вызванные фальшивыми атаками, грохотали часами, пока не умолкал каменный каскад, и снова лезли, втыкая штыки в расщелины и прокладывая упорно тропу, едва заметную, повисшую над бездной.

Гуниб был обложен со всех сторон. Спастись с него нельзя было даже и Карадагской щелью, потому что и там у выхода были засады. К утру осаждавшие во многих местах уже стояли наверху. Выравнивали тропы. Пушки били

через головы атакующих с Кегерских высот, где стоял штаб и где был Барятинский.

Все живо представляли себе картину той ночи: отвесы, по которым лезут храбрецы, грохот обвалов и магическое сверкание Кара-Койсу в страшной глубине под ногами. Там угадывались сейчас в тумане спящие сады и виноградники...

Бой был завершен этим утренним выходом из ночных пропастей. Апшеронцы и ширванцы вперемежку с пластунами и стрелками взобрались по отвесу.

Рассказ кончился. Безмятежная ночь лежала над нами. Изредка холодный ветер пробегал откуда-то с гор, но нам было тепло и не хотелось уходить, оставлять этот романтический обрыв и пропасть, полную воспоминаний.

Вдруг мы услышали совсем близко какой-то шум, тяжелые вздохи, кряхтенье, и спустя несколько минут из пропасти появилась темная фигура, которая сначала показалась нам ползущей. Так это и было, но потом она выпрямилась и, правда немного пошатываясь, стала приближаться к нам. Это было так неожиданно и так странно, что нами овладело молчание. Никто не шевельнулся. Казалось, что это обман зрения. Но фигура, теперь ясно различимая, подошла совсем близко. Это был человек, одетый в темный, довольно потрепанный костюм. Верх его старой фуражки блестел под луной, как лысина. За пазухой он что-то нес бережно, и скрыть это было трудно. На нас не обращал никакого внимания и держал путь в сторону домиков, белевших под тополями.

Начальник милиции окликнул его. Человек на миг остановился, потом махнул безнадежно рукой и пошел дальше.

Начальник милиции, постояв и посмотрев вслед странному пешеходу, вернулся к нашей скамейке.

— Видели? — сказал он.— Возвращается как! Вот сейчас опять! Я же ему запретил... А он, вот видите...

— Кто это? — спросили мы.— Что это за человек? Из пропасти вылез, альпинист, что ли?

— Какой альпинист! Пьет он здорово. Водопроводчик, слесарь один. Вот он этой тропой пользуется. Не хватает ему, видишь ли, водки. Дорогой идти долго, далеко. А там, внизу, аул под горой. Он по этой тропе за водкой ходит. А там такие места — скобы вбиты, ступить надо уметь. А он проходит. Сколько раз запрещал — не слушает. Вот и сегодня, видели?

Луговской вдруг громко захохотал. Его демонический хохот загудел над глубокой пропастью, как лавина.

— Мы начали наш гунибский день со стихов,— сказал он, прервав свой хохот.— Сама судьба велит закончить его стихами. Я вам прочту стихотворение старого поэта Константина Случевского.

И он прочел своим великолепным, поставленным голосом:

Вот Ма́лахов курган! Снимаю шапку
И кланяюсь незримой крови славного кургана!
Прозванье Ма́лахов осталось за тобою,
Как говорят, от очень старых дней,
От пьяницы завзятого! Вот вам и слава,
И памятник, бессмертный, как природа!
Был нужен пьяница, чтоб кличку дать горе,—
Бессмертью пьяницы был нужен Севастополь...

— Но теперь,— добавил он,— придется Апшеронскую тропу переименовать. А может, нам это привиделось и перед нами прошла тень апшеронского стрелка?

— Какая тень! — сказал начальник милиции.— Алкоголик!

Мы посмотрели в пропасть, на дне которой вился какой-то лунно-голубой туман. Ничего не оставалось, как идти спать.

...Я не помню сейчас точно, было ли это в самом конце войны или сразу после ее окончания. Но я хорошо запомнил все, что было сказано в тот вечер в Москве. Мы сидели наедине с Петром Андреевичем и вспоминали войну на Кавказе.

— Удивительно,— сказал я,— ведь мы даже накануне войны не смогли бы представить себе, что фашисты выйдут на перевалы Центрального Кавказа, доберутся почти до Грозного, будут угрожать Военно-Грузинской дороге, наступать на Владикавказ... А как замечательно мы бродили по нашему Кавказу, какие были баснословные времена!..

И мы погрузились в воспоминания.

— Ты помнишь 1933 год, лето, Дагестан?..

— Еще бы! — воскликнул я, начиная перебирать имена друзей, и вдруг остановился.

Грусть, как легкое облако, вошла в комнату. Но ее нельзя было вымести из комнаты, как выметают в ауле Куруш зашедшее в горницу облако,— метлой.

Мы вспоминали наши ночлеги, наши поездки, наши встречи. Вспоминали случаи трагические и смешные.

— Ты помнишь, как мы с Юсуфом Шовкринским чуть не погибли жалкой смертью, спеша на свидание друзей в Гуниб? — сказал я.

Петр Андреевич забыл этот случай.

— Ну как же, мы ехали тихо по широкой дороге над рекой и разговаривали. Дело было к вечеру, спешить было некуда, и вдруг наши ноги в стременах ударились о дорогу, а лошади точно с ходу поклонились кому-то неведомому. Что случилось? Из пыльного облачка из-под копыт наших коней вынесло крошечную собачонку. Она лаяла неистово, но этот лай, соразмерно ее величине, был совсем не слышен еще потому, что рядом полным голосом ревела река.

Так вот, эта собачонка вынеслась каким-то сумасшедшим лётом прямо из дыры в воротах под ноги наших коней. Ничего не ожидавшие скакуны от неожиданности упали на колени. Хорошо, что их не бросило в сторону,— тогда мы бы оказались в хладных волнах Кара-Койсу раньше, чем сообразили бы, что случилось...

— Ты сказал — Гуниб! — Петр Андреевич пожевал губами, нахмурился и ушел из комнаты. Через минут пять он вернулся с большой папкой, раскрыл ее. Я увидел множество страниц, испещренных поправками. Я понял, что это рукопись кавказского романа.

— Гуниб,— сказал он.— Гуниб — это Шамиль! Что я буду делать с Шамилем? — Он сел за стол и смотрел на меня печально и вызывающе.— Когда я вернулся с фронта,— сказал он, вороша страницы,— не все нашел. Иные главы пропали где-то, черт знает куда девались. Теперь надо их писать заново. Надо дописывать, дорабатывать... А где взять время? Совсем другие планы у меня...

Лицо его стало совсем сумрачным.

— А что, если бросить все в печку? Или все-таки доканчивать роман?

Я встал и положил руку на рукопись.

— Петя, дорогой, послушай меня. Нельзя сейчас трогать эти страницы. Надо роман отложить пока. Пусть он останется в столе. Со временем ты вернешься к нему. Отложи его. Тебе нечего сдаваться. Ты не Шамиль, роман не Гуниб! Я тебя умоляю послушать меня. Не думай сейчас о нем, если у тебя другие планы!

Он вздыхал, как будто шел в гору. Неожиданно лицо его приняло такое выражение, точно он сейчас начнет чихать. Но он снял очки и начал смеяться так, как редко он смеялся.

— Что с тобой?! — воскликнул я.

Но он сел за стол и продолжал смеяться. Потом вдруг сказал ясным и твердым голосом:

— Ты помнишь ту ночь в Гунибе и пьяницу, вылезшего из пропасти?..

— Ну, так что? Конечно, помню. Это невозможно забыть!..

— Я сегодня тот пьяница. Я прошел Апшеронскую тропу, сумасшедшую тропу над пропастью, я прошел, держась за скобы, вбитые в каменные щели, как этот пьяница вися над бездной. Для чего? Для собственного удовольствия! Мне скучно было идти по широкой дороге. И у меня, как у пьяницы, было веселье победы, радость высоты. Никому не говори об этом. Я отложу рукопись. Но когда-нибудь я к ней вернусь...

4. ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ

На Всеамериканском конгрессе в защиту мира в 1949 году один поэт-евангелист спросил Петра Андреевича Павленко, существуют ли в советском законе о воинской повинности льготы по религиозным убеждениям. Павленко ответил немедленно:

— Ничего не могу сказать относительно этого. За всю мою жизнь,— а мне пятьдесят лет, и я воюю за свою родину с девятнадцати лет,— мне не приходило в голову скрываться от военной службы...

Этот ответ был встречен аплодисментами зала. Иначе Павленко ответить не мог. Он сам раз сказал:

— Я участвовал в жизни в шести войнах: в трех лично — в гражданской, в войне с белофиннами и в Великой Отечественной войне — и в трех созданных своим воображением: в гражданской войне во Франции — Парижской коммуне, в Кавказской полувековой войне и в войне с империалистической, самурайской Японией. Коммуну я описал в романе «Баррикады», борьбу горцев Шамиля с николаевской Россией — в романе о горцах, еще не оконченном, а войну с Японией — в романе «На Востоке».

Сам он действительно воевал с юных лет. Он был в 1920 году в рядах легендарной 11-й армии, вошедшей в Баку после разгрома контрреволюционных сил, плавал военным комиссаром в Куринской речной флотилии на вооруженном пароходе «Бекетов», служил в пограничных войсках на Мугани и, как он сам говорил, сражался с персидскими разбойниками — шах-севанами.

Но он, при всей его склонности к военному делу, скорее был писателем, для которого на первом месте стояли революционные войны, народные движения, чем военным специалистом, кадровым строевым командиром.

Еще в 1933 году у него родилась мысль создать библиотечку «Восстаний» на материалах балканских, арабских, североафриканских, немецких, китайских и южноафриканских событий. Он представлял дело так: сам он будет писать «Марокканское восстание 1925—1933 гг.» и «Борьбу вокруг великой Аравии», мне предлагал взять Индию или Мексику, просил вовлечь в это дело ленинградских литераторов, писал мне: «Можешь раздавать любые страны или темы, скажем, «Рисовый бунт в Японии», «Восстание на Суматре и Яве», «Восстание сипаев», «Крестьянская война в Болгарии»,— что хочешь за период с 1917 по сей день».

Из этой затеи ничего не вышло, но одно время он сам серьезно взялся за работу, очень загорелся, восторженно писал, что для темы Марокко «нашел себе акционера, полуавтора, материала он принес столько, что хоть квартиру обклеивай».

Он стал специалистом по шестидесятилетней Кавказской войне. Его увлекали судьбы простых солдат и мюридов и русских выдающихся полководцев. Так выросла в целую повесть «Жизнь солдата» — биография генерала Котляревского; так рядом с романом был написан историко-литературный очерк о Шамиле, вожде горских племен.

В материалах, которые начал он собирать в послевоенные годы, подготовляясь к роману «Труженики мира», большое место занимают наброски о войне с фашистами, зарисовки, сцены из жизни стран Европы в годы с 1938-го по 1945-й, а может быть, и позднее.

В свое время он даже хотел завести в журнале «Знамя» раздел исторической смеси и сам написал для начала очерк о высадке французов в Англии во времена французской революции.

Надо сказать, что часто в конце 30-х годов, беседуя о

ближайшем будущем, мы говорили с Петром Андреевичем о неизбежности столкновения с рвущимся в бой фашизмом.

И когда наступили эти огненные годы Великой Отечественной войны, Павленко прошел труднейшие испытания, участвовал в боевых действиях на многих фронтах: Западном, Брянском, Крымском, Кавказском и Третьем Украинском.

Он был храбр и смотрел в лицо смертельной опасности с мужеством старого бойца. Он был упорен и вынослив хотя при его здоровье это было вовсе не легко. Он исхудал, как солдат, прошедший много фронтовых дорог. Он как будто стал выше ростом. Рассказы его стали кратки и эпичны. Он не утратил своего иронического оптимизма. Мир его ощущений неслыханно расширился. Живя среди вооруженного народа, творящего свой исторический подвиг, он обогатился самыми удивительными впечатлениями. В его памяти теснились сотни, тысячи людей, характеров, встреч, пейзажей. Он своими глазами видел страдания людей, на которых обрушилось вражеское нашествие, видел героев фронта и тыла, видел непобедимое единство и волю советских людей, железную волю и самопожертвование коммунистов.

Это была народная война, та, которую он предчувствовал в своих произведениях, о которой писал. Теперь он сам был вовлечен в этот гремевший ненавистью против врага шквал, сметавший фашистов с лица родной земли. Он был участником таких событий, которые никогда не изгладятся из памяти.

В одну из наших встреч в те годы мы вспоминали наши предвоенные беседы о будущем столкновении двух миров и о том, как иногда совершенно по-другому мы представляли это столкновение. Жизнь научила нас, преподав нам ряд жесточайших уроков. Война шла к концу. На душе стало веселей. Можно было вспоминать трудные дни без чувства безвыходности.

Я спросил Петра Андреевича, какие дни он считает самыми тяжелыми в своей военной жизни...

— Ты хочешь сказать, в какие дни я считал, что для меня все кончено?

— Да! У каждого из нас найдутся такие дни...

— Я тебе сразу скажу, когда это было в первый раз. Ты помнишь, как уверены мы были в том, что всегда сумеем разгромить врага и поставить его в безвыходное по-

ложение. Но мы не допускали мысли, что мы сами можем оказаться в таком безвыходном положении. Для нашей психики не существовало таких ощущений. Мы, даже вообразив, не могли представить, что может быть что-нибудь подобное. И вот это случилось. Как тебе известно, наша группа литераторов во время зимней войны с белофиннами попала на Ухтинское направление.

Там были невылазные снега, почти полярная ночь, холод и невидимый враг. Там не было дорог, лыж и знания военного искусства, без которого нигде воевать нельзя, а в тех краях тем более. Что было? Были войска, беззаветно идущие вперед, техника, которой без дорог некуда двигаться, и полное незнание планов противника. Сойти с дороги в снег — значит уйти по плечи в рыхлую, холодную трясину, из которой не выкарабкаться без посторонней помощи.

А по плану мы должны были пересечь неизвестные нам зимние, покрытые снегами, почти торосами, незамерзающими болотами и гранитными холмами пространства в самый короткий срок. И мы шли вперед, пока оказалось, что дальше идти некуда и дороги назад тоже нет. Наша часть отрезана от мира. Так отрезана, как отрезают ножом краюху хлеба,— начисто. Сначала я как-то не представлял себе, что это значит. Но вот стало все яснее вырисовываться наше незавидное положение. В сознание начало просачиваться какое-то мутное ощущение полной обреченности. Снег стал казаться большим саваном, который нас просто прикроет со всеми нашими пушками и танками, потому что им просто нечего делать. Атаковать противника мы не могли. Его не было. Он кружил вокруг нас на лыжах и тревожил нас день и ночь. Мы могли расстрелять все снаряды и патроны, не нащупав никакой видимой цели. Я спросил себя: как мы попали в такую безвыходность? На этот вопрос никто не мог мне ответить. Но мы попали. Надо было находить немедленный выход. У нас оставалась ночь. Если мы не придумаем выхода, утром враг подойдет на самое близкое расстояние и, зная наше трагическое положение, будет систематически уничтожать нас, и мы будем только обороняться до последнего.

Наш начальник, не обладавший никакими военными талантами, поставивший всех на край гибели, был, однако, человеком слепой, иногда вовсе бессмысленной храбрости, и тут он принял безумное решение, которое или окончательно способствовало бы нашей полной и скорейшей гибе-

ли, или действительно спасло бы нас. Во всяком случае, шансы на спасение в этом безумном решении были. Дело в том, что, окружая нас и предвкушая нашу гибель, враг оставил нам единственную возможность двигаться в одном направлении — в направлении большого озера, где наши танки должны были провалиться вместе с пушками под лед и мы остались бы уже совершенно беззащитными. Враги даже как будто сами толкали нас к этой западне, потому что наши разведчики обнаружили, что по ту сторону озера слабое охранение, так как враг уверен, что туда мы не рискнем идти.

А мы рискнули. Выхода не было. Когда я ступил на лед озера, у меня было странное отсутствие всяких мыслей. И я не хотел ни о чем думать. Я просто шагал, открыв кобуру пистолета и смотря, почти равнодушно, как перед нами танки ползут во тьме ночи. И только похрустыванье льда заставляло невольно вздрагивать, потому что оно говорило о ненадежности выбранной нами дороги. Но мы шли, причем с каждым шагом все скорей, как будто нам надо было только перейти это озеро — и мы спасены.

Я знал, что почти нет надежды на то, что я выйду живым из этой западни. Но вокруг двигались люди, множество людей впереди,— я знал: высланы люди нашего авангарда, боевое охранение шло по флангам. Ветер мел нам под ноги снежную пыль. Иногда она взвивалась вверх, и тогда казалось, что вокруг нас танцуют призраки в белых прозрачных рубашках. Иногда какой-то шум проносился по лесу, и снова наступало странное безмолвие, в котором слышались шуршание, скрипение машин, шаги, шаги, шаги...

Все молчали. Мы шли как исступленные. Мы перешли озеро. Но нам предстоял трудный, длинный путь. Наш маневр заключался в том, что, обманув врага, мы должны как можно скорее оторваться от него. В скорости было наше спасение.

Белофинны не ожидали, что лед на озере промерз до дна. Если бы не это, мы бы никуда не ушли. Но сильные морозы последних дней схватили лед так крепко, что ни одна машина не ушла под лед, не провалилась.

И мы шли дальше. Теперь моя голова гудела от разных мыслей. Вернее, это были не мысли, а обрывки мыслей. А вокруг был какой-то театр теней. В лесу, который нас окружал, снег представлял собрание белых, серых, зеленых, голубых фантастических фигур, и я начал галлюци-

нировать. Я видел себя сидящим дома, вместе с семьей, видел Наташу, видел комнату, даже улицу, потом все исчезало и заменялось другой картиной — каким-то видом Тбилиси, горами в огнях, я слышал даже голоса, снова все исчезало. А я шел и шел, не считая километров, а мы прошли уже десятки их... Я потерял представление о времени. Усталость была такая, что, если бы я присел в снег в сторонке, я бы не встал больше. Заснул бы, замерз. Но я шел, приказывая последней силой воли ногам идти. И они шли. Я видел и пережил такое, чего никогда не знала моя душа. Много раз я ловил себя на том, что все равно все кончено. Силы были на пределе. Но тут же какой-то новый шум, танковый грохот, чей-то голос достигал сознания, возвращал меня в мир движущегося через лес людского потока, и я, видя опять оружие, лица, машины, приходил в себя, и мне становилось легче. Являлась уверенность, что все будет хорошо. Почему? Не знаю!

То мысленно я прощался с Наташей, с семьей, то снова уверял себя, что еще немного — и мы спасены... Короче говоря, мы вышли из окружения. О том, что я пережил, я не сказал никому. Это касалось меня одного. Я даже ничего не записал. Я кратко написал Наташе, но чувства мои были уже другие. Меня ждало известие о рождении сына... Но еще долго ночью, во сне, я видел этот ночной путь, и сердце начинало биться так, что я просыпался...

И вот представь себе, что, когда я думал, что этот кошмар не может быть в жизни дважды, я снова испытал его совсем в другом краю, совсем в другой обстановке. Не мне тебе рассказывать, что такое весна на юге, в Крыму. И вот надо же иметь такое везение,— я опять был в частях, которыми командовал тот же полководец, с каким я попал в финское окружение. Но теперь дело было под Керчью, и размеры катастрофы были несравнимы с масштабом 1939 года. На дворе стоял май 1942 года, и не было замерзших просторов озера, а была холодная вода Керченского пролива и фашистские бомбардировщики и истребители, которые атаковали каждый пароходишко, каждую баржу. Это уж было не при свете полярных звезд, при полном солнце, но от этого было не легче.

Все кругом на земле взрывалось и гудело. Брошенные подбитые пушки, танки, горящие машины, взрывы боеприпасов, горящий город, и действительно — снова безвыходность... Стоя на берегу и следя за движением боя, за на-

растанием вражеских атак, я понимал, что на этот раз танки не могут повторить маневр той декабрьской ночи. Они не могут идти поперек широкого пролива. Мне осталось жить считанное время. И опять случилось чудо, непонятно, неизвестно почему. Столько вокруг меня гибло на моих глазах людей, но я плыл на автопокрышках, ничего не чувствуя, подчиняясь таинственной силе инстинкта. И что же дальше? Полковник Павленко прибыл через Керченский пролив в лермонтовскую романтическую Тамань без сапог, в довольно мокром виде. Я отлежался, отдохнул, очень удивился, что снова цел. Пошла моя кавказская жизнь, в которой меня необычайно взбодрила неожиданная любовь! У меня начался роман с Кубанью! Да какой роман! Я открыл для себя удивительную страну, о которой и понятия не имел.

Такие люди, такие сердца, такие титаны,— я даже повесть набросал «Это было на Кубани», дам тебе прочитать. Она еще не совсем докончена, но там почти все с натуры. И какие характеры,— Тарасы Бульбы нашего времени.

А после этих своих окружений я вдруг почувствовал, что теперь могу идти на самые головоломные вещи. И вот я увидел под Геленджиком раз ночью, как с подошедших бесшумно катеров в пенистые волны, среди камней спрыгивают молчаливые, обвешанные оружием моряки и бросаются на скалы с громким «ура». Я спросил: «Что это значит? Что за тренировка?» А человек в шапке-ушанке, в высоких сапогах, с гранатой у пояса, вместо ответа спросил: «Вы идете с нами?» И я как одержимый сказал: «Иду!» — «Полковник Павленко!» — «Майор Куников», ответил человек с гранатой. Так мы познакомились. И я пошел с ними. А это был Цезарь Куников, бесстрашный коммунист, из тех, с которыми можно смело идти в самое пекло, к черту на рога. С ним были люди безумной отваги. Первоклассные бойцы. На катерах, которыми командовал капитан третьего ранга Сипягин, десантники майора Куникова должны были пересечь бухту и высадиться на Станичке — предместье Новороссийска.

И вот в дикую ночь, в серых клочьях дымовой завесы, я сидел среди десантников Куникова на одном из катеров и мчался в хаос, разрываемый вспышками рвавшихся фашистских снарядов. Мое самочувствие было необыкновенное. Я не следил за разрывами, я не слушал, что говорят вокруг, я не смотрел в волны,— у меня адски болел зуб, и я ничего не мог с ним поделать. Волны бросали катер,

брызги осыпали меня. Осколки свистели рядом. У меня не было никакого ощущения смертельной опасности. Но зуб меня не отпускал. Катера мчались сквозь огненную завесу. Впереди ложились разрывы нашей артиллерии, прикрывавшей нас. Потом мы во что-то уткнулись с ходу, и по трапам, поспешно установленным, все стали идти вперед. Я и так ничего не видел, а теперь зубная боль сделала все мои движения механическими. Следуя за своими соседями, я попал на что-то скользкое, длинное, поскользнулся и так стукнулся челюстью о мокрое бревно, что мгновение не мог прийти в себя. Меня поставили на ноги, кто-то сказал: «Это остатки пристани. Осторожнее!» И мы продолжали двигаться во тьму. Высадка, как я потом узнал, заняла не больше трех — пяти минут. Потом кругом начался бой, и я принимал в нем посильное участие.

Ни на минуту у меня не было мысли, что нас могут сбросить в море, окружить, истребить с воздуха! Нет! Я шел и держался так нормально, точно нас на этом берегу ждут не враги, а свои, с которыми надо соединиться. Потом я пришел в себя совсем, когда уже был светлый день, наши заняли Станичку. Я, сраженный новым приступом зубной боли, лежал под стеной разбитого домика и смотрел, как немой, на кружок, на котором было написано: «Слепцовская ул., семь». Я так долго и упрямо смотрел на этот номер, оставшийся от дома, что запомнил его на всю жизнь...

— Как Слепцовская, семь?! — невольно воскликнул я.— Не может быть!..

— Ты не веришь,— сказал Павленко,— но это так. Если бы у меня не болели зубы так, что я почти от боли терял сознание, я бы никогда не обратил внимания на номер дома, у которого лежало мое бренное тело. А в чем, собственно...

— В том, собственно,— сказал я, волнуясь самым неожиданным образом,— что этот дом мне хорошо знаком. Как мне не знать этого дома! Я в нем жил, когда был в Новороссийске в двадцатых годах. В этом доме жила Мария Николаевна Денисова, моя теща. В этом доме я написал «Красные на Араксе».

— Анекдот,— отвечал Павленко,— ирония судьбы, шутка войны. Бывает и не такое... Я хочу сказать, что куниковцам было невесело в этом небольшом аду между Мысхако и городом. Но они держались. И я чувствовал себя все лучше и лучше. Проклятый зуб, получивший еще хороший

удар о бревно, стал затихать. И я, услышав над ухом пулеметную очередь, вдруг понял, что мне отныне не страшны никакие окружения... Я ничего больше не боялся. На меня снизошла великая уверенность.

— А почему ты так нехорошо кашляешь? — спросил я.— Вот сидишь и покашливаешь суховато как-то, все время...

— Да, понимаешь, в Керченском проливе схватил я двухсторонний плеврит... Вот он меня и донимает до сих пор. Не могу от него избавиться. А потом чертова Вена добавила своего.

— Что к плевриту мог добавить самый веселый в прошлом город Восточной Европы?

— А когда еще там не кончились бои, я переправлялся через Дунай по понтонному мосту. А с того берега навстречу шло к переправе огромное стадо. Быки, коровы, телята. Мы были посреди моста, когда начался артиллерийский налет на мост. Откуда-то полетели снаряды, стали рваться, как говорят, в опасной близости. Эти звери с рогами с воплем, какого трудно было от них ожидать, ринулись через мост галопом. Осколки над ними свистят. А они вовсю нажимают. Куда нам деваться? Не снаряд убьет, так быки растопчут. Одно оставалось. Мост стоял на шаландах. Мы стали прыгать в эти шаланды, а там по колено вода, да преХолодная. Но что будешь делать, деваться некуда. Мы мокнем, а эта скотина мечется взад-вперед, мост не освобождает. Так, пока их утихомирили, с моста согнали, мы и стояли в воде по колено. Ну, а на дворе ветрено, холодно,— вот и добавок к моему двухстороннему. Тут и будешь кашлять. Ну, ничего, освободят по болезни. Войне конец не за горами. Куда-нибудь заберусь. И начну все мысли приводить в порядок. Все пригодится. Буду отставной полковник. Начну писать. А у меня одних заметок два пуда. Правда, под Керчью потонуло все книжное имущество, но в голове еще много. На мой век хватит. Жизнь снабдила товаром, показала виды — только пиши. А человек на войне — это зрелище историческое, поучительное для потомства.

5. ЗАМОК ВАРТБУРГ, 1950 ГОД

Если проехать к Эйзенаху с востока, по живописным дорогам цветущей Тюрингии, то неожиданно в рамке густых буковых крон явится, как бы висящий в румяном воздухе июльского вечера, старый замок, со своими стенами,

стоящими над пропастью, с башнями и жилыми строениями. Это замок Вартбург.

В этом замке пришлось мне провести за дружеской беседой одну летнюю ночь в смешанной компании советских писателей, командиров и немцев из местного отделения Общества немецко-советской дружбы.

На площадке перед замком издавна расположена небольшая гостиница, во внутреннем дворике стоят столы и стулья летнего ресторана. Мы же сидели не на дворике, так как был уже поздний вечер, и даже не в закрытом помещении ресторана, а в гостях у самого владельца этого почтенного заведения, доктора философии Эншеля и его экономки, женщины общительной и добродушной.

Было шумно, потому что легкое, светлое, зеленоватого цвета вино располагало к живому разговору, а так как говорили все разом, то в небольшой комнате надо было сильно повышать голос, чтобы быть услышанным.

Иногда пели старые немецкие деревенские песни, так как Тюрингия — край легенд, сказок и песен. Пели и советские русские песни, подымали тосты за дружбу всех народов. Время было позднее, хозяева гостеприимные, спать никому не хотелось. Всеобщее веселье было искренним. Говорили по-немецки, по-русски и на том ломаном языке, который кажется более всего понятным.

Петр Андреевич Павленко уже выяснил, что доктор философии Эншель не был фашистом и никогда им не сочувствовал. Но он не знал, что такое русские коммунисты, и теперь старается понять, что это такое... Павленко называл его капитализмусом, потому что тот часто вспоминал латинские изречения.

— Это ты правильно говоришь, капитализмус, я тебя хорошо понимаю, а ты меня, коммунизмуса, еще плохо понимаешь...

— Я друг коммунизмусу,— говорил доктор Эншель, и его экономка снова наполняла бокалы.— Я пью за мир, чтобы был мир, чтобы все шли в замок Вартбург как друзья...

— Мы пришли,— сказал Павленко,— мы будем жить мирно. Что у тебя в замке, капитализмус?

— О! — Доктор Эншель даже поставил бокал на стол.— На этой скале, где замок Вартбург, здесь пришедший из диких глубин Востока Аттила праздновал свою свадьбу с фрау Кримгильдой.

— Я сам пришел сюда из диких глубин Востока,— Павленко хитро усмехнулся,— я еще буду праздновать здесь серебряную свадьбу, капитализмус!

— Это хорошо,— серебряная свадьба.— Доктор Эншель показал на окно.— Пойдем утром на башню...

— Зачем на башню? Что там будем делать?

— Оттуда видна одна деревня...

— Зачем нам деревня?

— В этой деревне живут, говорят, самые красивые женщины Германии,— деревня Рула. А здесь, в замке, Лютер переводил Библию. Черт мешал ему. Лютер пустил в черта чернильницей. Вся стена черная, потому что потом кто приезжал, тот бросал чернильницу в стену. Вы можете бросить в черта чернильницей тоже! Что вы скажете?

— Капитализмус,— отвечал, захохотав, Павленко,— у меня вечное перо и нет чернильницы. Но я столько видел чертей и столько фашистских чертей, что с меня довольно...

— Здесь Гёте писал Фауста! Это вас не волнует, коммунизмус?

— Нет,— сказал, прихлебывая вино, Петр Андреевич.— А что еще у тебя есть?

— Здесь подрались в зале мейстерзингеры — певцы. О них написал оперу Вагнер. Здесь они пели. Здесь пела ваша певица... забыл фамилию... склероз... не все помню...

— Очень хорошо. Я предпочитаю балет...

— Балет... Нет, балета здесь нет. Орган есть...

— Еще что? Выдавай все, капитализмус!

— Я могу показать самые большие пивные кружки Германии...

— Меня не интересует пиво...

Вдруг доктор Эншель как-то странно захныкал, он даже закрыл глаза и явно приуныл.

— Что с вами, капитализмус? Вам плохо? — спросил Павленко.

— Он не может вам кое-что показать,— вмешалась в разговор экономка.— Всегда, когда до этого доходит, он скучает... Но он сейчас успокоится...

И вправду, доктор Эншель, высморкавшись, жалостно сказал слабым голосом:

— Я не могу показать вам славных рыцарей, которые стояли тут всюду... знаменитых рыцарей Вартбурга. Боевые латы, щиты, мечи... Какие рыцари!

— Почему ты не можешь их показать, капитализмус? — спросил Павленко.— Покажи! Вот это я бы хотел посмотреть. А где они? Их спрятали. Разыскать рыцарей немедленно, или ты ответишь перед человечеством!

— Их больше нет, мой бог, их больше нет...

— А где они?

— Их украли американцы, когда уходили отсюда. Они должны были уйти. Русские должны были сюда прийти...

— Расскажи, как это было, все расскажи, без утайки! — сказал Павленко.— Это интересно...

— Я сторожил их тогда, но в одно утро пришли солдаты и начали валить их, как бревна. Два грузовика наполнили рыцарями. И начали увозить. Я спросил: «Куда это? В другой город? Или в Америку?» — «В Америку»,— отвечал один янки. «В Америку,— сказал я,— в музей?» — «Нет,— сказал он мне, смотря прямо в глаза,— зачем в музей! Пусть о музеях заботится правительство. Я загоню их хорошо. Они у меня пойдут в розничную продажу. Должен же я иметь что-нибудь от войны. Война — бизнес. Не беспокойтесь за них. Им будет хорошо, и мне неплохо. Что они потемнели — ерунда! Я такой патентованной мазью их натру, что они будут как новые... Сколько им тысяч лет, не знаете?.. Но, видно, очень старые...»

Павленко внимательно посмотрел на старого доктора:

— А привидений в твоем замке нет?

— Привидений нет! Они в соседнем — в Шварцбурге. Там, говорят, еще сохранилось несколько... Но бедные мои рыцари!..

— Вот что.— Павленко, тронутый его горем, сказал почти вдохновенно: — Не плачь, капитализмус! Послушай меня! Когда будет революция в Америке, тебе их вернут, всех твоих рыцарей. Даю тебе слово я, коммунизмус!

Доктор снова вынул платок, вытер красные глаза, допил бокал и воскликнул, смотря в окно, тронутое уже заревом зари:

— Идем, идем к замку!

И мы встали и пошли нестройной компанией, которая шумела по-своему, пока шел разговор между Павленко и доктором. Мы прошли двор и вышли на площадку перед воротами замка. Падъемный мост из почернелых бревен был спущен, но ворота замка были заперты.

Над стеной, над обрывом, мы выстроились группами, не зная, что делать. Солнце взошло. Его благостные лучи

освещали, казалось, все леса Тюрингии, все эти буки, сосны, ели и пихты, какими славится край. В тишине долин курились туманы.

— Там,— сказал доктор, показывая пальцем в какую-то золотисто-голубую даль.

Все стали всматриваться туда, куда он показывал. Что там?

— Деревня Рула. Самые красивые женщины Германии — женщины этой деревни.

Все стояли молча, и каждый представлял себе этих красавиц, подымающихся от сна на заре нового летнего дня. Тут же мы увидели двух командиров, которые вчера удивили нас тем, что приехали к воротам замка на «виллисе» по такой тропе, по которой и ходить воспрещено, так как она обваливается с большой силой.

Теперь эти командиры тоже любовались восходом, и он был действительно пленителен. С этой горы открывался большой зеленый мир, в котором слепящими полосами кое-где сверкали речки и белели дороги. Где-то запели первые птицы.

— А что же замок? — спросил кто-то.

И другой голос ответил:

— Но он же на запоре. Вон ворота заперты...

— Ну и что? — закричал один из командиров.— А ведь в старину как брали замки? Таранили ворота. Володя! — закричал он своему другу.— Давай попробуем...

И не успел никто сказать им какое-нибудь слово, как они схватили длинное бревно, лежавшее под стеной, и, подтащив его к воротам, раскачали и нанесли первый удар. Гром разнесся по окрестностям, но ворота даже не дрогнули. Командиры, никем не остановленные, снова раскачивали свой таран и пошли долбить тяжелые, непроницаемые ворота.

Уже пот обильно стекал по их широкощеким лицам, но ворота сохраняли прежнее положение. Они положили бревно и сели на него, чтобы передохнуть.

Внезапно наступила тишина. Последний удар замер где-то внизу, скатившись к лесу. И тогда мы услышали какую-то нежную мелодию. Она рождалась где-то выше нас и встречала нас, как бы приветствуя с добрым утром. Она лилась победоносно, она торжествовала над замком и стенами и над нашей площадкой. Мы слушали, недоумевая, стараясь догадаться, откуда льется такая сладостная песня.

Ворота распахнулись, как будто их растворила могучая невидимая рука, и перед нами открылась внутренность замка. На галерее, перегораживавшей дворик, было открыто одно узкое окно. В нем был виден высокий сухощавый мужчина с флейтой в руке, который играл, и казалось, что он играет для нас. Все это было так неожиданно, что Павленко спросил:

— Капитализмус, что это такое?

— Это,— отвечал, сразу приосанившись, доктор Эншель,— это директор музея, и он приглашает нас посетить его владения. Мы можем войти в замок Вартбург.

Нам навстречу неслась какая-то веселая, праздничная мелодия, и под ее танцующие звуки мы на ранней заре 10 июля 1950 года прошли ворота и вступили в древний замок Вартбург.

6. СЧАСТЬЕ

Я знал Петра Андреевича Павленко задолго до того, как он стал профессиональным литератором. Я знал его тогда, когда он писал свои первые произведения. Писал трудно, борясь с одолевавшими его литературными влияниями, писал иногда вычурно, сложно, употребляя много сравнений, пышных эпитетов или прибегая к анекдотичности, уходя в историю за необычными событиями, но по-новому подходя к старым темам.

При мне он писал «Баррикады», «Пустыню». Он рос в поисках. Ему помогало то, что он был представителем того поколения писателей, которое дало миру новый тип писателя — активного участника борьбы за победу коммунизма. Недаром он с таким огромным интересом изучал историю Парижской коммуны, хотел представить борьбу всех народов мира за свое будущее, за преобразование природы и нового человека.

Он мыслил большими планами, большими пространствами. И о последнем своем произведении он писал: «Я сяду за роман... коммунистический, международный роман... роман великих восстаний, бунтарств, мучений и геройств...»

Я видел его сомневающимся в том, что он написал, строго критиковавшим свои книги, видел его увлеченным — пусть это увлечение приносило потом большие разочарования,— полным задора и неутомимым в работе. Правда написанного волновала его больше всего. Он го-

ворил не раз: «Зачем писать, если этого не прочтут миллионы...»

Он был болен. Жил в Крыму. Война кончилась. Врачи потребовали, чтобы он сделал Крым своим постоянным местопребыванием. Он просил писать ему длинные письма, чтобы их можно было долго читать. Он описывал трудности крымской зимы в домике, оторванном от мира. Дожди, низкие облака на горах, темноту южных зимних ночей, воющий ветер. Просил писать обо всем, что ему интересно. А ему было все интересно. В этом уединении, оставаясь наедине с новой темой, он работал не покладая рук.

По-видимому, он давно так самозабвенно не работал. Впечатления переполняли его. То, о чем он писал с таким жаром, должно было прозвучать с особой силой.

Наконец он приехал в Москву, с тем чтобы прочесть главы новой книги. Это было летом 1946 года. Он пришел ко мне, взволнованный, легкий, сильно похудевший, но с живым блеском глаз, с шутками и анекдотами, которыми прикрывал волнение. Я понимал, что он вкладывает очень многое в свое новое произведение. Если бы это была неудача, она ударила бы по его вере в свои силы.

Он начал читать, как начинающий автор, останавливаясь, поясняя, отвлекаясь в сторону, пока наконец решил броситься, как в поток, в живое движение романа.

Он читал теперь так же, как когда-то в молодости, па Тверском бульваре, много лет назад, он читал страницы своей первой книги. Теперь он не мог остановиться. И вот стали возникать герои его романа. Они появлялись среди такой жизненной обстановки, с такими щедрыми подробностями своего бытия, с такой свободной речью, с такими сильными сценами, что чтение захватывало с первых же страниц.

Это были как бы типично павленковские герои, то есть такие же, как он, люди острых положений, почти анекдотических положений, и вместе с тем они пришли из самой гущи жизни, и вокруг них дышала та природа юга, которую так любил Павленко. И люди и природа были необычными, но эта необычность не была выдуманной, нарочитой, искусственной. Наоборот, мы присутствовали как бы при рождении нового мира, который вставал на развалинах чего-то очень знакомого, но до неузнаваемости измененного. Да, конечно, ведь он пришел в Крым, как и они, новые робинзоны, в пустыню когда-то мирного, курортно-

го полуострова, ставшего ареной трагедии, ставшего плацдармом героической борьбы и гибели, покрытого могилами защитников и освободителей. Каждый его угол говорил о тех годах, которые назывались Великой Отечественной войной.

И вот она кончилась, и в эту пустыню пришли новые поселенцы, которым предстояло воскресить край, покрытый маками забвения и одичавшими садами,— пришли люди из мест, где не видели ни винограда, ни моря, ни гор, ни этой трудной, каменистой земли, на которой надо жить и работать, растить детей, делать будущее.

Тут сливалась тема, когда-то волновавшая его и нашедшая свое выражение в романе «На Востоке», с темой человеческих судеб последних лет. Люди, пришедшие в Крым, пришли с полей и дорог войны. Кругом было еще жившее недавним прошлым несчастье. Беды окружали людей, как туманы. Инвалиды, сироты, бедность, нехватка самого необходимого. В такое скопление бед и победных, гордых ощущений совершённого подвига должен был ворваться писатель, потому что он сам пришел сюда как новый поселенец, он понимал этих инвалидов, потому что сам боролся с тяжелым недугом. Он сам не знал, как и они, этих трудных горных долин, берегов моря, скал, на которых надо было возродить жизнь.

Все эти Юрии и Натальи Поднебески, Варвары Огарновы, Цимбалы, Ани Ступины, Лены Журины жили с ним. Он видел их каждый день, он знал, чем они дышат, какие у них мысли, какие заботы, как сложны их характеры. Эти советские люди, вчера разгромившие смертельного врага, сегодня встали на восстановление разрушенного.

Он сам был немного Воропаевым, и он не скрывал этого. То, что он сложил образ своего полковника из многих подсмотренных черт разных характеров, не мешало ему добавить в него немного и от себя и от своего, заново освеженного исторической бурей, характера.

Поэтому, когда он читал, увлеченно, стыдливо как-то, свои главы, то казалось, что он читает не роман, а свой дневник, свои самые сокровенные мысли, рассказывает, что было с ним самим, и вы не могли не верить, потому что все дышало такой жизненной цельностью, такой стремительностью, какую давал только быт, ни на что не похожий быт Крыма того времени.

Павленковская анекдотичность иных сцен была насыщена содержанием, которое убеждало и волновало, свобод-

но звучала красочная речь многих собравшихся с разных сторон героев. Она была тоже доказательна.

Пейзажи не становились самоцелью. Нет, это был Крым, который входил в новую полосу своей истории. Иногда какая-то несобранность, незаконченность вдруг ощущалась в прочитанном, но она только подчеркивала естественность движения действия, еще более подчеркивала документальность описываемого.

Мне понравилась свобода языка, широта жизненного охвата. Автор показал все разнообразие своей палитры. Краски были местами резкие, торопливые, но свежие, бившие в глаза своей непосредственностью, волновавшие какими-то новыми ощущениями, долго стояли перед глазами.

Павленко читал, больше не останавливаясь, и не делал на ходу примечаний к тексту. И когда он кончил, то, спрашивая: «Ну как?», он уже знал, что прорыв на оперативный простор широкой темы, говоря военным языком, ему удался, что слова живут, характеры играют, действие динамично, что это удача, авторская победа.

Он сам это знал, но ему нужно было подтверждение со стороны слушателей, читателей. Он, читая, вкладывал всего себя в свое чтение, и было ясно, что в его книге женщины, мужчины, дети, инвалиды, деревья, виноградники, руины прославленного города, море — живы потому, что все это живет и поет внутри него и что этому он отдал свою душу и свое сердце.

— Как называется роман? — спросил я.

Он сказал:

— Я хочу назвать его просто «Счастье». Я много перебрал названий, но именно я хотел сказать, что жизнь на миру, во имя людей,— это жизнь самая счастливая, самая полноценная. Это счастье истинное, огромное, непреходящее.

Но это было еще и другое счастье. Это было счастье писателя, нашедшего себя в такой теме, которая растворила все его творческое напряжение в потоке жизни, в народном потоке, и дала ему неизъяснимое наслаждение от ощущения людей и событий, прошедших через самые глубокие его переживания.

Он вышел на оперативный простор. Он снова пережил радость смелого, необыкновенного вторжения в жизнь — в простую, окружающую его каждый день.

Может быть, если бы его занесла судьба в другие мес-

та, где история так жестоко не распорядилась людьми и природой, то там ему было бы труднее работать над романом, потому что там он встретил бы уже устоявшийся уклад быта, не смещенную с основ жизнь, традиции, которые и во время войны, и после существовали бы во всей своей силе.

А здесь, в пустынном, разоренном дотла Крыму, где могилы теснили могилы и развалины сменялись развалинами, где люди, совершенно незнакомые друг с другом, обогащенные только событиями недавнего прошлого, несшие на своих плечах груз тяжелейших испытаний, люди, израненные войной и телесно и духовно,— все это давало полную свободу творческому воображению, создававшему вместе с этими людьми новый мир из хаоса.

Поэтому так близки ему были все эти милые, добрые, хорошие советские люди, труженики и вчерашние воины, которые под грубой одеждой и грубыми речами таили подлинные богатства нерастраченных человеческих радостей.

Павленко читал про Воропаева — как он приполз ночью на обрыв над морем:

— «Он лежал, глядя в бездну моря, и громко говорил сам с собой:

— Родные мои, вспоминаете ли вы когда-нибудь Воропаева Алексея, или, исчезнув из сводок и реляций, перестав появляться на страницах военных журналов, он уже навсегда исчез из вашей торопливой памяти, как нечто, чему уже не дано стать на вашем пути?

Нет, не думал он, что его забыли, как никого не забыл он».

Эти слова мог сказать и о себе Петр Андреевич Павленко, и мы, его друзья и читатели, с благодарностью сердца ответили ему, что он нами не забыт и никогда не будет забыт, пока живо русское слово, которому он так верно служил!

1. НЕВИДАННАЯ ВЕСНА

Большой черный бык так неподвижно лежал на бледно-зеленом ковре луга, что походил на изваяние. Глаза его были крепко закрыты. Безмолвие жаркого полдневного часа окружало его. Но вот ветерок принес откуда-то издалека волнующий, терпкий, душный, тонкий запах, и началось чудо преображения.

Затрепетали широкие ноздри великана, чуть приоткрылись глаза, наполненные лиловой дымкой. Бык втянул волшебный запах. Вздрогнул могучий хребет. Дрожь прошла по всему огромному телу. Бык начал приподыматься, медленно, как будто под влиянием непонятного внушения. Он уже широко раскрыл глаза, поднялся во весь свой черный рост и стоял, всматриваясь в даль, откуда с ветерком приносились все новые и новые сладостные потоки.

Каждый мускул его трепетал. Бык наклонил голову, выставил, как для боя, изогнутые, словно афганские сабли, рога, тяжело дыша, чуть пошатываясь, точно опьянев от этого легкого, непонятного ветерка.

— Что это? — спрашивал с удивлением молодой человек в спортивном легком костюме, смотревший на все окружающее восторженными глазами и тоже испытавший какое-то до сих пор непонятное самому волнение.— Что это такое?

— Это? — отвечали ему.— Это весна. Это цветет джидда. От ее запаха кружится голова даже у быка... Глотните немного этого запаха.

Молодой человек мог подтвердить: действительно, запах цветущей джидды ударял в голову. Становилось почему-то весело, хотелось движения, шума, запах опьянял,

как неизвестное, крепкое вино, пряное, густое, удивительное.

Молодому человеку все казалось неожиданным, как будто бы великий чародей показывал ему картину за картиной, которые поражали своей неожиданностью, богатством красок, новизной положений.

Это было понятно. Молодой человек, которого звали Владимиром Луговским, впервые видел весной Туркмению. Он влюбился в нее бурно, сразу, как влюбляются с первого взгляда. Он не отрываясь смотрел, как мерно и непрерывно двигались ряды людей в халатах в глубоких желтых коридорах арыков, как взлетали, блеснув на солнце, кетмени, как халаты походили на странные цветы всех красок радуги, как темно-зеленые, круглые, как гигантские шары, карагачи пускали в свою большую тень верблюдов, падавших на землю с неожиданной быстротой, точно у них ломались ноги. Он спрашивал про людей, работавших с бешеным упорством кетменями, и ему отвечали:

— Это весна. Это хошарные работы. Амударья срезала головы арыков, и теперь надо их расчищать, иначе вода не дойдет до полей.

Он видел идущих рядом молодую туркменку и русскую девушку, которая приехала из Калинина, потому что она была двадцатипятитысячницей, поспешившей на помощь своей туркменской сестре.

Владимир Луговской смотрел на Ашхабад, как на город зелено-голубого сна. Пышная зелень и голубое небо над нею. Зной заливал город своими тяжелыми потоками. Люди выходили на улицу, шли на службу рано утром и поздно вечером. Днем, в раскаленной пустыне улиц, среди одиноких пешеходов, караваны проходили под мерный звон колокольцев. Верблюды стояли равнодушные к зною, и казалось, что до людей им нет никакого дела. Но это было не так.

На углу одной из улиц счетовод, шедший рядом с Луговским, не хотел переходить на ту сторону, потому что там стояли два верблюда и хмуро жевали какие-то колючки.

— Не стоит переходить здесь,— сказал счетовод.— Вон тот верблюд почему-то не любит меня. Он меня не пропустит...

Это походило на фантастический рассказ. Луговской засмеялся:

— Не может быть. Перейдем здесь, обязательно перейдем...

— Нет,— сказал счетовод.— Он уже косит на меня один глаз...

— Я вас прошу! — умолял Луговской.— Это так необычно. Нет, этого не бывает. Ну что он сделает? Бросится на нас?..

— Он оплюет меня,— сказал тихим голосом счетовод.— А у меня новый белый костюм...

— Мы вас защитим, ничего не случится. Вы встанете в середине.

Третий товарищ тоже начал упрашивать счетовода. Они пустились через улицу, взяв счетовода под руки с двух сторон. Они благополучно достигли тротуара.

— Вот видите, ваши страхи были преувеличены,— сказал Луговской, немного разочарованный, что ничего не произошло.

Они отпустили счетовода. Он тоже был немного удивлен, что верблюд в этот раз не обратил на него внимания. Но его успокоение было преждевременно.

Верблюд как-то странно захрипел, шагнул в его сторону, и точно ведро зеленой, отвратительной слизи обрушилось на белые плечи счетовода. Он стоял, раскинув руки, боясь дотронуться до костюма, и смотрел самыми жалобными глазами на своих спутников.

— Вот видите,— говорил он, отплевываясь, Луговскому.— А вы говорите — ничего не произойдет. Вы не знаете нашей Азии. Этот зверь меня ненавидит. Я же знал, что он меня не пропустит так... Вот и к черту пошел костюм. Вонь какая — не приведи бог... Придется идти отмываться... Да, вы еще не знаете Азии, молодой человек!

Действительно, Владимир Луговской, или, как мы в своей писательской бригаде скоро стали звать его, просто Володя, первый раз был в Средней Азии, хотя теоретически много знал о ней, много прочел книг, много думал о судьбах азиатских стран и народов.

Поэтому он с таким интересом бродил по развалинам древнего Аннау, которых теперь уже не существует. Большое землетрясение кончило мечеть с драконами, а тогда мы долго любовались этими китайскими персонажами в странном сочетании с мозаиками Ислама.

Владимир Луговской удивленно смотрел, как скачет туркмен, молодой, лихой, смеющийся наездник, который состязается с поездом,— то придержит коня, то даст ему

волю и проскакивает мимо окон поезда, откуда смотрят пассажиры, крича всякие похвалы молодому спортсмену, который так легко побеждает железного коня.

— Что это такое?

— Это,— отвечали поэту,— это весна! Молодой джигит полон сил. И он хочет веселиться, чувствовать быстроту, силу, романтику... Весна!

И памятник великому Ленину в Ашхабаде был тоже необыкновенный. Над высоким каменным квадратом, стены которого были украшены мозаичными коврами и блистающими узорами, похожими на творения древних мастеров, стоял Ленин. В привычной позе, но в непривычном светло-зеленом костюме, весь какой-то весенний и легкий.

— Почему он такой? Почему костюм зеленый?

— Потому, что мастера, делавшие памятник, нашли такой состав бронзы, который сначала светится светло-зеленым, со временем потемнеет, примет другой оттенок и тогда сохранится на века. А пока его обработает время, он будет стоять таким весенним, таким необычным.

Володя Луговской пришелся Туркмении в самый раз. Его романтический характер, его энергия, требовавшая большого движения, нашли здесь все, что требовалось для создания настоящих, живых, полнокровных стихов. И они зародились этой необыкновенной весной...

2. ПЕРЕД ЛИЦОМ ПУСТЫНИ

«Принять их, как меня!» — написал коменданту Кушки наш друг в Ашхабаде, комбриг Медников. И комендант самой южной крепости Советского Союза предоставил нам все возможности познакомиться с пограничной жизнью.

Будапештский садовник Сабо, человек широкоплечий, невысокий, как говорится, неладно скроенный, но крепко сшитый, прошедший гражданскую войну в рядах Красной Армии, был комендантом Кушки и очень внимательно отнесся к работе писательской бригады.

Принимая во внимание особые условия жизни в этом районе в те довольно далекие от сегодняшнего времени дни, он сам пришел напутствовать нас в поездку по пустыне.

Он вникал во все мелочи, до всего ему было дело. Кони вставали на дыбы, звенело оружие, подтягивали подпруги, вымеривали стремена,— словом, вокруг было самое боевое

оживление, точно наш маленький отряд должен был совершить большой и трудный рейд.

Когда все сели на коней и кони чуть приутихли, а всадники постарались построиться в две линии, Сабо простер свою маленькую железную руку, как бы указуя направление, и сказал по-русски с чуть заметным акцентом небольшую речь.

— Теперь вы,— сказал он, стуча камчой по своему пыльному сапогу,— представляете отряд, который при встрече с басмачами,— тут он повысил голос,— басмачей будет сто двадцать, а вас будет двенадцать,— что вы говорите? один не поехал? — значит, вас будет одиннадцать, и вы разобьете басмачей, потому что у нас тут такое соотношение сил... Всё! Желаю удачи!

Всадники после прощальных слов повернули коней и самой крупной рысью устремились к старым воротам на простор. Наш отряд состоял из пяти писателей, одного местного журналиста товарища Брагинского — редактора газеты «Туркменская искра», двух пограничников, двух конных разведчиков и старшины, который уже чувствовал себя полководцем, способным на самые решительные дела.

Всем нам дали винтовки и патроны. Винтовки мы закинули за спину. Каждый получил по большой фляге воды. Старшина сказал:

— Товарищи, послушайте совет старого каракумца. Или выпейте сразу эту воду, не сходя с места, или дайте выпить товарищу, или вылейте... Только не пейте ее маленькими глотками. Тогда вам будет еще жарче...

Кто последовал этому совету, кто нет, но уже через десять минут наши кони бултыхнулись с разлета в холодные кипящие воды Кушки, и мы стали мокрыми до пояса. После переправы началась восхитительная скачка по пересеченной местности. Мы поднялись на холм, и афгано-советская граница предстала совсем рядом. Далеко на горизонте вставали сквозь туман дымные снега Паропамиза. Мы вступили на тропу, которая уводила все выше и выше. Мы вытянулись в длинную вереницу. Впереди ехал старшина.

Справа от нас была широкая ложбина. Из-за скал на ней показались два всадника. Они горячили отличных коней и были как нарисованные. По нашему отряду прошло волнение. По цепочке передавали приказ старшины: «Приготовить оружие!»

Винтовки моментально были взяты в руки, и всадники теперь продвигались под нашим прицелом. Два наших конных разведчика устремились навстречу таинственным пришельцам. Они мчались им навстречу, бросая коней в разные стороны, припав головой к гриве,— по всем правилам разведки. Но всадники не проявляли никакого беспокойства. Наши поравнялись с ними, вступили в беседу и потом шагом вернулись к нам.

— Идет караван из Мешхеда! Верблюды идут по тропе, мы их скоро встретим, а всадникам удобнее ехать там,— сказали разведчики.

На тропе показался огромный верблюд, качавший в такт шагам своей шершавой головой. За ним следовали остальные. Кони начали жаться к стенке, чтобы дать пройти огромным зверям с тюками.

Мой конь заплясал на месте как исступленный. Кое-как мы пропустили первые связки. Но когда нам навстречу стал шагать верблюд, весь покрытый большими наростами, весь покрытый черной густой шерстью, мой конь начал вести себя совсем по-боевому.

Я не знал, что он не выносит вида верблюдов, особенно с черной шерстью. Поэтому я не понял, когда он, как кошка, прыгнул на гору и, цепляясь за камни, с превеликим трудом вознес меня на узкий карниз, проходивший над тропой довольно высоко. Тут конь успокоился, и когда прошел последний верблюд, он спустился опять на тропу.

Потом мы въехали в длинную, извилистую щель, и, когда стали выбираться из нее на сравнительно гладкое место, все увидели, что впереди и по бокам накапливаются люди, которые прячутся между камнями, а их винтовки пускают солнечных зайчиков. Похоже стало на засаду. Это и было засадой. Даже наш старшина смутился и стал в бинокль рассматривать появившихся. Потом тихо поехал прямо на ближайших. С той стороны тоже присматривались к нашему отряду.

Старшина все ехал и ехал, даже не оглядываясь на нас. Навстречу ему появился всадник, и они медленно сближались в большом настороженном молчании. Но когда их кони поравнялись и они хорошо увидели друг друга, то здесь молчание взорвалось. Громкая ругань потрясла пустыню.

— Ты что ж, черт, какие выбираешь места для прогулок? Ведь этой же щелью из-за рубежа приходят. А издали не разберешь — кто. Тем более что штатских много у тебя...

— Да им же интересно посмотреть,— примиряюще сказал старшина.

Но встречавший продолжал ворчать:

— Им интересно, а ведь хорошо, что мы разобрались. А то ведь дали бы по тебе хороший залп. Тут стесняться не приходится — граница...

— Это точно,— отвечал старшина.— Тут всякое бывает!

И мы поехали уже большой кавалькадой на погранзаставу, вступив в пограничные пределы. На погранзаставе не было ни одного дерева, ни одного кустика.

Пустыня лежала насколько хватал глаз. Текли в этой пустыне темные, сизо-синие речки. Кони высоко поднимали морды, чтобы не слышать даже запаха этой горько-соленой воды, похожей по вкусу на английскую соль. Самая настоящая соль лежала густыми слоями, покрывая пустыню на большое пространство.

Пустыня окружала нас. Зной сделался нестерпимым. В горле все пересохло. Перед глазами ходили оранжевые круги.

Мы потеряли счет времени. До раскалившихся стволов винтовок нельзя было дотронуться. Пот застывал на теле, дышать было нечем. Но кони неумолимо уходили в глубину холмов, переходили соленые речки, тонули в песке, топтали весенние крупные незабудки, покрывавшие пространства между холмами, тысячи пустынных тюльпанов, текших красно-черными потоками между гладкими, скользкими глиняными такырами, серыми, исчерченными вдоль и поперек черными косыми линиями и прямоугольниками.

В одном месте мы набрели на колодец. Появились ведра, спитые из верблюжьей кожи шерстью внутрь. Вода в колодце была такая кислая, невозможная по запаху и вкусу, что даже наши лошади только брали эту воду в рот и, подержав немного, тут же выбрасывали ее на песок, не глотая. У колодца стояли белуджи-кочевники и равнодушно смотрели на наш водопой. Но подчас их глаза очень выразительно говорили о скрытых чувствах. Так, один белудж, качнув головой, мигнул соседу, и оба они уставились на Луговского. Проследив их взгляд, я увидел, что винтовка Луговского была не наша, а английская, лиэнфильдовская, и цевье ее было перехвачено оловянным кольцом, широким и с бледным узором.

— Володя, они с тебя не сводят глаз,— сказал я.— Посмотри, какая у тебя винтовка...

— Я уже обратил внимание. Мне даже нравится. Тут есть какая-то тайна. Винтовка, наверное, их хорошего знакомого. Сразу узнали...

— А как же иначе,— сказал просто конный разведчик.— Раз в комендатуру попала,— значит, было дело... Тут бывают дела, особенно ночью,— только держись...

Мы разъехались с белуджами. Они еще долго смотрели вслед своими зоркими, ястребиными глазами. Все труднее становилась жара, все утомительнее езда под палящим небом. Тем более что не все из нас хорошо ездили. Кони были привычные, и, даже не справляясь с желаниями всадника, они сами выбирали место, где перепрыгнуть какой-нибудь ров, где обойти ямку, где пойти рысью.

— Стойте! Стойте! — закричал Брагинский таким ужасным голосом, что все остановились.

— Что случилось? — спросили его.

Он еле держался в седле. И, несмотря на загар, лицо его как-то побледнело, то ли от боли, то ли от волнения.

— Я сломал себе позвоночник! — сказал он, качаясь в седле.

— Как? Когда? — раздались вопросы.

— Конь без предупреждения сделал такой скачок, что я как-то сильно встряхнулся, и у меня что-то хряснуло в спине — наверное, позвоночник.

Его утешили: если бы это был позвоночник, он бы уже не мог сидеть в седле...

— Да, я не могу сидеть...

— Ну что вы! Попробуйте немного сесть боком. Мы поедем шагом...

Через несколько минут он снова закричал, и снова все остановились.

— Оставьте меня здесь, товарищи, я отлежусь и утром по холодку приеду... Правда, правда, я не могу ехать, не могу...

Он чуть не плакал. По угрюмым лицам товарищей я видел, что усталость шатает кое-кого не меньше, чем Брагинского, но все молчали и ждали, что будет.

— Оставьте меня! — умолял Брагинский, склоняясь в бессилии на гриву своего рыжего, сильного, высокого коня.

— Товарищ,— сказал конный разведчик,— тут не Россия. Тут оставаться нельзя. Останешься — рассвета не увидишь...

— Это точно,— сказал старшина.— Видели там, у колодца, дружков? А ночью, как известно, дело темное.

— Они смотрели с такой жадностью на мою винтовку,— сказал Луговской.— Я понимаю, что, если бы я был один, был бы другой разговор...

— Так ведь эта английская винтовка не сама к нам пришла,— снова сказал очень серьезно конный разведчик.— Так что взбодритесь, дорогой товарищ, и поедем, а то нам еще много осталось, а движемся мы по-тихому... Побыстрее бы надо, аллюр переменить...

Брагинский покорился своей участи. Конечно, никакой позвоночник у него сломан не был. Просто он смертельно устал, да и не он один.

Мы мчались по пустыне, и день начал склоняться к вечеру. Я смотрел на Луговского. Он ехал молодцом, сидел в седле как надо. Я не знаю, занимался ли он раньше верховой ездой, но это пустынное испытание он выдерживал хорошо. Мало того. Когда дали пустыни начали становиться розово-фиолетовыми, какой-то красноватый отблеск лег на пески, темные полосы тюльпанов стали сливаться все больше и больше, я взглянул на Луговского и увидел такое лицо, что сейчас же подъехал совсем близко. Наши кони зашагали рядом.

Он смотрел какими-то расширенными глазами, точно видел перед собой что-то необыкновенное, что надо запомнить во что бы то ни стало. Такое лицо может быть у поэта, когда он остается один и первые строки стихов уже бьют в виски и просятся на бумагу.

Здесь не было бумаги, и, может быть, Володе ничего не хотелось записывать в эти минуты. Но то, что пустыня входит в его сердце,— это было видно; то, что он становится поклонником этих красок, этих просторов, я видел совершенно ясно.

Он повернулся ко мне:

— Я еще не знаю ничего, но я должен сказать — все это мне безумно нравится... Как это удивительно, не правда ли? Я готов так ехать весь вечер, всю ночь...

И тут же он, чтобы перервать слишком серьезное волнение, вполголоса стал напевать ту песню, что он пел, когда его просили спеть на дружеской пирушке, после тостов и стихов. Он пел, и его голос разносился по предвечерней пустыне, звуча странно и неожиданно:

Через ад, через рай, все вперед поезжай,
И найдешь ты страну Эльдорадо!..

Когда наш отряд с высокого берега увидел мутные, тяжелые, шафранные воды реки, я уже не помню, кто первый пустил своего коня прямо по откосу вниз. За ним последовали остальные.

Кони бахали в реку, и скоро весь отряд плыл вразброд, с криком, гамом, шумом, наслаждаясь неожиданной прохладой. Все радовались, что выбрались к железной дороге, к хорошему ночлегу, но это было только полдороги до Кушки, только половина нашей верховой экспедиции.

Тут же перебравшись на другой берег, всадники бросились к небольшому дому, где под навесом было так уютно и где можно было попросить у хозяйки воды. А какая-то пожилая женщина в платке с самым серьезным видом вынесла из комнаты ведро, полное холодной, свежей воды.

— Вот в самый раз! — закричали путники.— Дайте, товарищ, попить. Горло треснуло от жары...

— Лошадям дать,— не слушая, сказала женщина.— Это можно...

— Как лошадям?! — воскликнул Брагинский. Тут же люди, тетушка, им вперед...

И он уже вынул кружку, но женщина отступила и, прикрыв тряпкой ведро, строго сказала:

— Пить-то нельзя никак...

— Почему? — все невольно подвинулись к женщине.

Она стояла немного смущенная, оглядывая всех печальными глазами.

— Да это же младенца мыли сейчас... мертвого, помер сегодня... как же можно такую воду?.. У стрелочницы помер,— сказала она и пошла с ведром по лесенке во двор. Там, размахнувшись, выкатила она в пыльные кусты все ведро и стояла, не оборачиваясь.

Мы молча пошли от домика. Коней вели красноармейцы-коноводы. Вдали загудел поезд. И тут наши друзья оживились неслыханно, как будто посвежели сразу, и сразу к ним вернулось хорошее настроение.

— Мы едем в Кушку! — закричали они, и это был довольно согласный хор.

— Позвольте, позвольте! — кричали мы с Володей.— Как же вы сядете без билетов? А билетов вам никто не даст — нужен пропуск.

— А мы сядем и без билетов,— отвечали нам.

Поезд уже подходил, и все наши друзья устремились в вагоны.

Мы решили остановить их все же:

— Вас арестуют контрольные...

— Пускай арестовывают! — кричали они, влезая в вагоны.

— А лошади? Куда же девать ваших лошадей?..

— А лошадей,— закричал кто-то ядовито,— можете сегодня съесть на ужин, можете продать, если всех не съедите.

И кто-то вежливый и ехидный уже в грохоте отходившего поезда закричал:

— До свиданья, жюльверны!

Надо сказать, что нас с Луговским за наши рассказы о природе и людях Азии прозвали в бригаде жюльвернами — старшим и младшим.

Когда так удивительно и быстро исчез наш писательский конный отряд, у нас осталось четыре свободных коня, которых нам придется завтра вести в поводу. Мы заночевали в маленьком, забытом всеми богами Чимин-и-бите.

Много у нас было самых разных ночевок в самых далеких и своеобразных уголках Туркмении, но эта ночь в Чимин-и-бите имела свое особое значение, потому что многое мы увидели в эту ночь и о многом переговорили с Володей.

Жаркая, душная ночь, наполненная лязгом несметных полчищ цикад, обступила нас. При свете толстой железнодорожной свечи на пункте по охране животноводства всю ночь толпились люди, и местные и проезжие. Шла посевная, образовывались и распадались наспех сделанные колхозы. Было много поводов для полуночной беседы, и все, сидя и лежа, говорили с жаром обо всем, что происходило в жизни.

Мы сидели, жадно слушая эти беспорядочные, жаркие речи, полуночные рассказы о кочевниках, басмачах, баях, джемшидах и белуджах. Сами вступали в спор, сами рассказывали о том, что видели, о Москве, о многом, что интересовало наших собеседников. В комнате было душно. Конные разведчики спали, расстелив попоны на полу. Пограничники ушли спать к лошадям, которые были за домом. Слышно было в тихую минуту, как они жуют овес и мирно, шумно вздыхают.

Вдруг Володя заметил радиоприемник. Не прошло нескольких мгновений, как мы слушали Москву. Было

странно лежать в тесной комнатке, затерянной в пустынной стране, и слушать далекие голоса, песни, сообщения. Вдруг Володя вскочил, как ударенный током. Радио сообщило, что началось восстание индийских горных племен в Пешаваре. Это было необычайно уже потому, что Пешавар был ближе к нам, чем Москва, что это знаменовало новую победу восставших против вековечных угнетателей, что это сделали именно гордые патанские племена — моманды и афридии, не раз уже восстававшие с оружием в руках. В историческую ночь ночевали мы в Чимин-и-бите. Мы не могли сидеть в комнате. Мы вышли за ворота. Ночь вспыхивала какими-то далекими всплесками, какие-то гулы катились на горизонте. С юга тянуло жаркой, томительной сушью. Неистово гремели цикады. Володя стоял, высоко подняв голову, широко дышал всей этой огромной раскаленной ночью. Он сказал:

— Вот оно, дыхание Азии. Только теперь я понял, что это такое — дыхание Азии!

4. ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

Из пустыни, где вместе с суровым, бесстрашным пограничником товарищем Шкильтером мы были в гостях у последнего белуджского хана, мы вернулись в Иолотань — симпатичный, зеленый, легкий городок. Мы уже многое видели в Туркмении, сидели на коврах заседаний, на старых войлоках в нищих юртах; видели рождение на голой земле колхозов, живописные картины посевной, первые тракторы, первые разрушенные дувалы, первые общие поля. Из Иолотани мы спешили добраться до Мары, где должна была собраться вся наша бригада.

Дни стояли по-настоящему весенние, полные той земной радости, какою дышала земля, омываемая быстрыми прозрачными дождями, овеянная запахами цветущих деревьев, земля обещающая, полная щедрости, и казалось, на этой земле не может быть ничего неожиданно страшного, ничего противоречащего закону жизни. Никаких тупиков, никаких мрачных закоулков, темных тайн. Все цвело и благоухало, все хотело жить полной жизнью. Всюду раскрывались широкие дороги в будущее, которое шло навстречу человеку.

Володя Луговской наслаждался радостью бытия. Он встречал прекрасных людей, талантливых, интересных

строителей пустыни и весны. Он пел на вечерах свои и чужие широко известные песни. Его голос гремел по всей Туркмении. Наша бригада вносила некоторое оживление в быт тогда далекой окраины, только что начавшей свое преобразование, свое превращение в передовую советскую республику.

Мы видели, как красноармейцы привозят на седлах связанные, как снопы, пучки тюльпанов из пустыни, чтобы украсить столовую,— и этот контраст воина и ослепляющих, ярких цветов подчеркивал, что мы живем во времена мирного, красивого труда.

Когда мы видели, что даже пустыня покрыта коврами незабудок, старые стены и купола мечетей красны от маков, все живое радуется и ликует,— нам становилось уютнее и спокойнее на свете. Черепахи и те издавали какие-то песенные звуки в пору своих любовных игр, лисы учили своих маленьких ходить на водопой, старые горные козлы показывали маленьким козликам, как надо прыгать через горные щели, верблюжонок танцевал у ног матери, и верблюдица умиленно смотрела на него... В такие дни нам не приходила никакая мысль об умирании, об исчезновении, об отчаянии и безвыходности.

Конечно, на земле и весной, среди больших природных дел, были и небольшие человеческие дела. О таких делах, интересовавших нас как литераторов, и хотел рассказать нам скромный житель зеленой, виноградной Иолотани — местный зоотехник. Он хотел раскрыть нам несколько местных тайн, но так как приходить ему к нам днем было неловко, то он попросил, чтобы мы пришли к нему домой тихой, душистой, теплой ночью — попить чайку и поговорить о том и о сем.

И мы пошли к нему, так как ночь была чудесная, спать не хотелось, а послушать бывалого человека всегда любопытно. Одним словом, мы с Володей отправились в это небольшое путешествие, не лишенное оттенка таинственности.

Чай у зоотехника был действительно хороший, как может быть хорош зеленый чай весенней ночью, когда некуда спешить и есть о чем поговорить. Хозяйка, женщина средних лет, считавшая, что в разговор ей вступать не следует, занималась только своими хозяйственными заботами, зато хозяин рассказывал много и охотно, объясняя, как он говорил, свою разговорчивость необходимостью поставить общественность в известность о том, что дела-

ется в окрестностях так щедро одаренной природой Иолотани.

После этого прошло много дней и ночей, и я уже не все помню с абсолютной ясностью, но все же помню и о соли Орандузгеля, и о фисташковых рощах, которые могли бы при хорошем уходе приносить миллионные прибыли, и о том, как растаскивают фисташки кочевники и спекулянты, а начальство не смотрит, о том, что природные богатства края плохо эксплуатируются, что кое-кто в Иолотани берет взятки и многое другое, что накипело на сердце у маленького зоотехника.

Мы охотно погружались с ним в разные вычисления, которые являлись доказательством будущего расцвета этого края, мы слушали со вниманием его порой переходивший в шепот доклад о положении с фисташками, мы записывали старательно имена и цифры, сами еще не зная, как и где мы это доведем до широкого читателя.

После утомительной поездки к черным шатрам белуджей нам было даже весело сидеть на двух здоровых обрубках, заменявших в доме мебель, и пить обжигающий губы и освежающий сердце и память бледно-желтый чай, называемый зеленым.

Хозяйка вышла из комнаты — дверь вела прямо во двор, и, когда она снова появилась в конце нашей беседы, я спросил у нее мимоходом:

— А газеты вы получаете здесь часто?

— Да не очень часто, но приходят, читаем,— отвечала она, остановившись у двери.— Вот недавно получили. Да что я говорю — вчера получили московские, но ведь знаете, какое опоздание...

— А что там интересного, в газетах? Есть что-нибудь особенное?

— Да нет,— сказала она,— ничего в них нет, и особенного нет...

И она взялась за ручку двери.

— Да,— вдруг сказала она, обернувшись к нам,— там помер один, в Москве. Вот как его фамилия, подождите, сейчас вспомню... Как же это?.. Вот память какая у меня... Мисковский какой-то... не знаете такого?

Мы пожали плечами: нет, что-то не знаем...

Она открыла дверь и вдруг снова закрыла ее и сказала так просто, как говорит человек, когда ему неизвестен настоящий смысл произносимых им слов:

— Ведь вспомнила, кто помер... Маяковский умер какой-то!

— Как?! — вместе сразу закричали мы.— Как Маяковский?! Что вы говорите!

— Да, да, совсем вспомнила: Владимир Маяковский! А что с вами? — Она смотрела большими глазами на нас и вдруг сказала: — Если бы я знала, что вы так расстроитесь, я бы и не говорила вам. Кто это Маяковский — ваш друг?!

— Слушайте,— сказали мы, у меня было впечатление, что мы говорили оба сразу и одно и то же,— слушайте, где эта газета?..

— Я ее отдала соседке, она читает, но я сейчас ее достану, сейчас принесу...

Она убежала, хлопнув дверью. Мы сели на свои обрубки, и у нас, вероятно, был вид полоумных, потому что хозяин прекратил беседу и только, вздохнув, сказал:

— Это что стихи писал? Писатель?

— Да.

В комнате наступило такое молчание, что было слышно, как хозяйка разговаривает с соседкой на другой стороне двора, потом дверь распахнулась и она вошла, протягивая нам газету. Мы схватились читать, но эта была не первая газета, извещавшая о смерти, а газета второго дня, где уже приводились отклики и разные извещения.

— Можно нам взять до утра эту газету? — попросил я.

— Да, конечно, конечно, почитайте хорошенько,— сказала хозяйка, вытирая руки о передник,— соседка уже всю прочитала... Может, еще чайку выпьете?..

Но мы уже не могли ни есть, ни пить. Ночь была благовонная, светлая, чистая, добрая южная ночь, но над нашей головой точно промелькнула черная молния и зачеркнула всю прелесть неповторимой ночи. Журчали бесчисленные арыки, вода весело бежала в сады и поля, но мы шагали к себе, даже не пытаясь на ходу поговорить о том, что узнали только что.

Не было слов в эти первые минуты, точно эта весть ослепила нас, лишила слуха, превратила все слова в ничего не значащие звуки, лишенные смысла. Только придя к себе, в скромную комнатку, где горела свеча и вились хороводы мошек, мы расстелили газету и стали по строчкам изучать ее, стремясь проникнуть в тайну страшного известия.

Можно было понять, что это произошло внезапно, как писали в газете, под влиянием тяжелой, недавно перенесенной болезни. Мы подымали глаза от газеты, смотрели друг на друга и потом вдруг начали говорить, вспоминать, все сразу пошло кругами, и все казалось нереальным, и даже газета, как во сне, белела на столе, освещаемая свечой.

Мы вспомнили, как в вечер перед отъездом Павленко, Луговской и я сидели в ресторанчике Дома Герцена и скромно ужинали. К нам неожиданно подошел Маяковский, придвинул стул, сел и стал спрашивать, что у нас за заговор. Мы сказали про бригаду и про то, что шесть писателей едут в Туркмению. Он стал смеяться, шутить, сказал, что теперь под пальмами (ему казалось, что в Туркмении есть пальмы, как в тропиках) будут находить много смятых бумаг — наших черновиков и заготовок. Он был, как всегда, собран, серьезно заинтересовался нашей поездкой, сказал, что сам бы поехал, но много дел в Москве, нельзя сейчас ему уезжать. Это он говорил за двадцать дней до рокового 14 апреля.

Мы не могли спать в ту иолотанскую ночь. Мы говорили и вспоминали, и все равно не верилось в то, что его уже нет, в его уход, какой-то неясный, какой-то необыкновенно сложный... Мы даже не могли представить его в гробу, не могли представить, как его несут или везут по московским улицам, сколько идет народу и где он похоронен.

Самое ужасное, что мы, читая в газете о его смерти, уже не могли успеть в Москву, потому что газета действительно пришла с опозданием. И он уже, наверно, похоронен.

— Но почему? Что случилось?

С этими вопросами мы разошлись до утра и с этими же вопросами встретились утром.

Мы жаждали скорее увидеть товарищей, попасть в Мары, чтобы там узнать подробности, потому что там Брагинский, и он, как редактор главной туркменской газеты, должен знать скорее других.

И теперь, вспоминая через тридцать лет эту светлую, легкую иолотанскую ночь, я не могу отделаться от гнетущего удара черной молнии, которая ослепила нас блеском страшного события. Эта черная молния отсекла ожидаемую всеми новую поэму Маяковского от ее громоподобного вступления «Во весь голос».

5. НАЧАЛО КАНАЛА

Мы шли по узким улочкам пустынного кишлака. Арыки были сухи, потому что воду незачем было пускать — в кишлаке не было жителей. Через кишлак шла государственная граница. Доска, переброшенная через сухой арык, вела прямо к афганскому посту.

Пограничник-командир, богатырского телосложения, привел нас показать, где кончается Советский Союз и начинается земля дружественного Афганистана. Афганский часовой в необъятных шальварах, в зеленой куртке английского образца что-то закричал, лежавший на коврике и предававшийся легкому раздумью другой афганец встал, пошел внутрь глинобитного домика; и оттуда вышел немного погодя афганский офицер в туфлях на босу ногу, в накинутом на плечи макинтоше и с самой любезной улыбкой подошел к доске, перед которой мы стояли, приветствовал нас краткой речью и пригласил на чашку чая.

Мы не располагали временем, стоя поговорили с афганским офицером, который с дружеской любезностью пояснял, что если бы была вода, много воды, то все вокруг зеленело бы, были бы сады, и мы бы сидели между журчащих вод и ели замечательные плоды садов, которых здесь нет и в помине.

— Да, вода — всё,— говорил нам на обратном пути богатырь пограничник, на боку которого покачивалась огромная сабля с надписью на эфесе: «Врагу страшна — царю покорна». Над этой надписью сияла красная звездочка. Мы знали, что эта сабля — за боевые отличия, наследство какого-то старого рубаки далеких времен.

— Вода? — продолжал пограничник.— По этой части вам надо пройти на канал. Там вам расскажут, какие виды имеются на эту воду. Там живет один пустынник, отшельник, инженер по водной части. У него такие планы, что голова закружится...

И мы раз утром имели добрую беседу с этим работником воды, который оспаривал возможность северного варианта поворота Амударьи на запад, через Саракамыш и Узбой, и всецело стоял за смелый и тогда казавшийся фантастическим путь воды через пустыню, от Керков-Босаги на Мары.

Он очень убедительно говорил об этом и даже, махнув рукой, признался:

— Я ведь сбрасываю лишний остаток воды прямо в пустыню,— так вот, я пустил воды больше, чем надо, в пустыню, и она пошла, как идет вода, если вы выльете ее, по складкам толстого одеяла. Вода пошла по старым, ей известным уклонам и кое-где остановилась и образовала озера. Там появилась зелень, прилетели птицы. А если бы пустить много воды,— конечно, надо ее направлять, ей помогать! Но я верю, что так будет. Колодцы — не выход ни для животноводства, ни для хлопка... Идите посмотрите на канал, идем сейчас же... Все идем...

И мы пошли на канал. Он был небольшой. Вода медленно струилась в нем, мутная, илистая, драгоценная вода Амударьи, она шла на запад, и казалось, что прав старый ирригатор, победу нужно искать здесь, на этом направлении...

— Кто хочет видеть прошлогоднюю саранчу — она всерьез напала на нас, и был свирепый бой,— тот пусть перейдет на тот берег. Там в кустах много ее, целые кучи...

Луговской сказал:

— Конечно, идем смотреть саранчу!

Мы подошли к месту, где через канал была переброшена узкая длинная доска, которая встречалась на середине расстояния с другой такой же доской, брошенной с того берега. Я первым ступил на доску, за мной последовал Володя. Мы перешли с хорошей быстротой на тот берег, и когда оглянулись, то увидели, что за нами никто не последовал. Все удалились скромно к селению. Мы были одни.

Мы обходили с Володей огромные скопления мертвой саранчи: неисчислимое количество страшных маленьких латников погибло, сраженное огнем, усилиями тысяч защитников полей и садов. Крылья мертвой саранчи мрачно шелестели, как мертвые листья на кладбищенских венках, высушенных временем.

Мы сели на пригорок и смотрели на пустыню, на воды канала, на мертвые полки, прилетевшие с далеких берегов Персидского залива, с Аравийского полуострова, чтобы быть уничтоженными в центре Средней Азии.

— Сколько здесь, подобно этой саранче, прошло полков, с древнейших времен и до нашего времени,— сказал Луговской.— Сколько мертвых городов, умерших столиц стоят в пустыне, и ветер шевелит песчаную пыль на их башнях и стенах, как крылья этой мертвой саранчи. Вспомни великий Балх, могучий Термез, древний Мары, города

Бамиана, Пул-и-хатум, о котором нам рассказывал Керим-хан, прищелкивая пальцами и гадая, какие там лежат скрытые сокровища древних...

Тут я засмеялся тихим смехом.

— Что ты смеешься? — спросил Володя.— Разве не так? Разве не исчезали владыки мира, как будто они были песчинками среди миллионов песчинок, которые просыпает ветер сквозь пальцы времени...

— Вот именно,— сказал я,— я не владыка Востока, но я сам чуть не погиб в этой пустыне, как песчинка, подобная твоим владыкам.

— Как так? — спросил Луговской.

— Очень просто и совершенно обыкновенно. Несколько лет назад я бродил один в развалинах Мары. Как ты знаешь, они раскинулись на большие километры. Увлеченный разнообразием развалин, я забыл о времени. Со мной были только старый бушлат и мешок, в котором лежало одеяло. Я не оставил этот груз на станции Мерв, как тогда назывался Мары. Жару я люблю. От зноя я не страдал, я, как верблюд, могу долго переносить жажду. Но я решил ориентироваться и для этого выбрал большую, довольно разваленную веками стену и полез на нее. Из-под моих ног сыпались куски древней глины, вставали целые столбы песчаной пыли. Подъем был легкий и не представлял никакой опасности. Я влез на самый верх стены. Тут присел отдохнуть и окинуть глазом простор развалин. Я, как мы сейчас, погрузился в раздумье и сидел довольно долго. Потом решил, что надо тем же путем сойти со стены. Я стал спускаться. Пыли было меньше, я спускался осторожно. Из-под ног летели катышки глины и разбивались где-то внизу. Вдруг я услышал странный звук, который заставил меня остановиться. Если бы меня попросили нарисовать этот звук, то я нарисовал бы узкую бледно-голубую полоску, которую сверху донизу пересекала полоска стального, острого, угрожающего цвета. Что-то ледяное было в этом шипящем предупреждении. И сейчас же вслед за звуком ниже меня встала какая-то палка, чуть покачивая своей верхушкой.

Зной достиг высшей силы, и за минуту до этого я был мокр, как мышь, но сейчас холодный озноб прошел по всему телу. Передо мной, ниже меня, вставала самая страшная гадина этих мест — кобра пустыни, отличающаяся от своих индийских сестер только тем, что у нее нет того капюшона, который те раздувают. После ее укуса человек,

которому не оказана немедленная помощь, живет чрезвычайно мало. Если бы я погиб от этой проклятой гадины в этих развалинах, шакалы бы здорово поужинали и позавтракали, и никто бы не мог сказать, куда пропал одинокий пассажир, сошедший, никого не предупредив, на станции Мары одним августовским утром.

Что мне было делать? Я сразу вспомнил, что эти гады любят тихую семейную жизнь и их здесь не меньше двух, а то и целая семейка. Путь в эту сторону стены мне был отрезан. Я поднялся снова на стену и в грустном раздумье, как мы сейчас, прошелся по этому остатку древней истории, но это не могло меня утешить. Со всеми предосторожностями я спустился с другой стороны и, не доверяя самому пыльному бугорочку, шел в холодном поту весь путь до Мары... Вот почему я тихо смеялся, когда мы дошли до гибели владык...

Луговской развеселился и стал искать кобр в окрестных кустах. Но только маленькие ящерицы живо удирали во всех направлениях. Тогда он сел и сказал, смотря в пустынную даль:

— Ты знаешь, этот человек, которого считают фантастом, прав, по-моему. Вода пересечет пустыню, начав свой путь именно отсюда. Тут много старых, брошенных русел, тут когда-то бежали большие потоки, которые исчезли, когда исчезли люди, населявшие эти земли. Вот было бы здорово проехать отсюда в Мерв на моторной лодке! Я должен тебе признаться, что Туркмения глубоко запала в мое сердце. Я чувствую ее все больше и глубже. Тут будут великие дела.

Так мы сидели, мирно предсказывали судьбу амударьинской воды, и ни один из нас не мог предвидеть, что очень скоро, сравнительно, конечно, можно будет проехать на моторной лодке не только до Мары — до Теджена, до Ашхабада и кто знает, куда еще. И Володя увидел своими глазами большой канал, пересекающий южные Кара-Кумы, и, наверное, не раз вспоминал наши беседы на берегу Босага-Керкинского канала...

Надо было возвращаться. Полные самых разных ощущений, мы пришли к доскам, соединявшим берега канала. Луговской размашистыми шагами пошел первым. Он так раскачивал доску, что она стала дрожать и выгибаться, а когда он, тяжело наступая после середины перехода, пошел по второй доске, я понял, что не могу сделать ни шага. Раскачавшиеся доски выгибались и вибрировали

с такой силой, что я рисковал полететь в канал или же должен был сам взять и прыгнуть в него. Идти было невозможно. Доски раскачались, как качели. Они просто сбрасывали в воду. Что делать? Тут не было пустынной кобры, но было очень глупо с большой высоты прыгать в мутную, глубокую воду. Луговской шел не оглядываясь.

Я остановился. Я собрал все свое хладнокровие. Доска ходила, пружинила подо мной, как трамплин. Я стоял закрыв глаза, потому что вода рябила нестерпимо подо мной. От этой ряби в глазах все кружилось: и берег, и кусты, и плывущие по каналу ветки. Я открыл глаза и стал смотреть на небо.

Потом начал опускать глаза, увидел берег, уже не такой шатающийся, увидел воду, уже не такую пеструю. Доска чуть успокоилась. Я подождал еще немного и твердо пошел медленно и спокойно к берегу.

Луговской уже стоял на берегу и ждал меня, не понимая, в чем задержка. Почему я, как сомнамбула, стою с закрытыми глазами посредине перехода, а потом рассматриваю небо.

Вспоминая этот случай, мы всегда хохотали над неожиданным концом наших размышлений о гибели владык древнего Востока.

— Я бы утонул, как утонул Фридрих Барбаросса, с той разницей, что, кажется, крестовый поход после гибели Барбароссы не состоялся, а наша бригада могла бы смело продолжать свою работу...

В этот вечер Володя сказал мне:

— Кажется, у меня будет книга стихов о нашем путешествии. Прозой об этом рассказать не смогу! Недаром в этой стране жили великие поэты! Мы хорошо сделали, что прикоснулись к этой поэтической земле!

6. ДАРЫ ЧАРДЖОУ

Тридцать лет назад город Чарджоу не был похож на сегодняшний индустриальный центр, с фабриками и заводами, с парками и асфальтированными улицами.

Это был провинциальный городок, куда, в силу его особого расположения на пересечении железнодорожных и водных путей, забирались люди, которым приходилось искать счастья в новых местах, оставив далекие края родного севера. Излишек таких пришедших сюда, бродячих людей очень чувствовался.

Поэтому при слабом благоустройстве города, где вместо тротуаров были деревянные мостки, не хватало электроэнергии и свет часто отсутствовал в домах и на улицах, можно было, особенно по вечерам, натолкнуться на множество чересчур веселых субъектов, которые, упав в темноте в арыки, правда, сухие, и пытаясь оттуда выбраться во что бы то ни стало, даже хватали прохожих за ноги. Можно было видеть пьяного, упавшего на спущенный шлагбаум на железнодорожном переезде, можно было слышать пьяные выкрики, несущиеся вдоль улицы. Это уже изолированный в так называемой «холодной» гражданин вопил оттуда в окошечко, жалуясь на свои жизненные неудачи.

И вместе с тем даже этот неустроенный Чарджоу имел и хорошие улицы, и дома с садами, и много деревьев, и весной, когда все эти деревья цвели и благоухали, он был вполне терпим, особенно для нас, только что совершивших чрезвычайно оригинальный рейд, добравшись до Чарджоу из Керков на каике. Мы плыли по Амударье в самый большой разлив ее вод, видели удивительные вещи и были переполнены негородскими впечатлениями.

Про орла, который выбрал наш каик местом своего пребывания и гордо плыл, уцепившись на носу нашего корабля, писали не раз, и про это плавание я сам подробно рассказал в своем рассказе «Великая вода».

Путь наш кончился в Чарджоу, где мы покинули борт нашего корабля и переехали на жительство в гостиницу. Нам предстояло еще ознакомиться с окрестностями города и колхозами около Дейнау.

...Мы шли с Володей ранним вечером по тихой, пустынной улице. Еще не зажигался свет в домах. Домики были большей частью одноэтажные, со ставнями, которые закрываются на ночь и остаются так до вечерней прохлады. Сейчас из окон одного домика послышались звуки музыки. Мы так отвыкли от подобных звуков, что невольно остановились и стояли как зачарованные.

— Ты знаешь, что играют? — спросил Володя.

— Нет,— сказал я.— А ты знаешь?

— Знаю, это Шуман, «На чужбине». Хороший музыкант его исполняет...

Мы стояли и слушали, как в Филармонии. Невидимый музыкант немного подождал и начал снова играть с большим увлечением.

— Теперь это Шуберт. Кажется, Шуберт. Что-то знакомое, но я не знаю, что это такое... Пойдем туда...

— Куда? — спросил я.

— В этот дом. Послушаем музыку...

— Как же мы с тобой явимся, совершенно никого там не зная? По-моему, не стоит...

— Это играет хорошенькая женщина,— сказал Володя,— она прелестно играет...

— Откуда ты знаешь, что это играет не ее бабушка или дядя, бывший профессор консерватории?

— Когда мы еще только подходили, я видел, она высунулась в окно... Я зайду...

— Ну,— сказал я,— заходи. Я подожду пять минут, и, если ты не появишься снова, я уйду домой, запомнив на всякий случай номер дома... Приключения бывают разные...

— Хорошо,— сказал он,— я пойду один...

Музыка смолкла. Он позвонил. Кто ему открыл, я не видел. Наступила тишина. Потом снова начали играть. Я взглянул на номер дома и пошел к себе в гостиницу. Володя явился поздно, веселый, какой-то сосредоточенный, сказал:

— Все было хорошо. Я провел хороший вечер. Ты что-то хочешь спросить?

— Да,— сказал я.— Во-первых, кто играл — бабушка или дедушка, а во-вторых, что играли из Шуберта...

Он усмехнулся, подняв свои немыслимые брови, за которые его прозвали броненосцем, и ответил:

— Играла внучка. «Ночную песнь странника»...

На другой день он разбудил меня раньше обычного. Когда я приподнялся на кровати, он приложил палец к губам. И сделал жест, предлагающий срочно одеваться. Я оделся как на пожар. Очень большая комната, в которой, как в палате, стояли все кровати нашей писательской бригады, выходила окнами на широченную террасу, обходившую все здание гостиницы. Мы подошли к окну и остановились, смотря с удивлением на уже знакомую нам террасу. Она вся была уставлена кроватями, и все кровати были заняты. Спящие накрылись одеялами с головой, и только по глухим очертаниям можно было догадываться, что здесь расположилось смешанное общество.

— Парашютный десант? — пытался я сострить.

Но Володя засмеялся.

— Не отгадаешь. Здесь еще не все. Это нам на радость.

— Не понимаю...

— Вчера поздно вечером приехал цирк. Цирк шапито. Звери и люди, боги и демоны, наездницы и укротительницы, чемпионы мира! Здорово?

— Здорово, — сказал я.— А где же они будут представлять? В Чарджоу, насколько я знаю, нет цирка. И театра нет!

— Это же шапито. Они расположатся где-нибудь за городом. Подожди, дай им выспаться — и мы все узнаем.

Через несколько часов Володя уже знакомил меня с миловидной девушкой, напоминающей кубанскую казачку.

— Инесса де Кастро! — сказал он.— Познакомьтесь — это жюльверн старший!

Девушка смеялась и приглашала нас в цирк. И мы пошли в один из вечеров, когда уже ничего нельзя было делать, тем более что во всем городе погас свет. Мы пошли всей компанией в цирк шапито.

— Как же они будут представлять без света? — спрашивали мы.

— У них есть лампы, а потом без света таинственней...

Цирк шапито помещался на окраине. Он был воздвигнут на площадке, окруженной с четырех сторон невысокой стеной. Через эту стену сигали безбилетные мальчишки, которые тут же излавливались и изгонялись в темноту. Но они с ловкостью ящериц снова появлялись на стенке, и, конечно, самые упорные проникали и внутрь цирка, несмотря на весь строгий контроль.

Много я видел цирков, но такого еще не довелось увидеть. Освещенная керосиновыми лампами арена действительно была погружена в таинственный полумрак. В этом полумраке наша знакомая Инесса де Кастро, она же Аграфена Грушко, лихо прыгала на старого гунтера, и танцевала на нем, и посылала воздушные поцелуи в публику. Публика тоже была не совсем обыкновенной. Так как мы купили билеты в ложу и так как никаких лож в помине не было, то быстро отгородили веревкой наши стулья, и это уже называлось ложей. Зрители сидели на стульях, на табуретках, на ящиках из-под пива, на скамейках, а сзади этих привилегированных мест просто толпились женщины и мужчины, туркмены и русские и все другие народы, причем простота нравов была классическая. Я слышал, как одна женщина сказала местному сторожу: «Прибавь света в лампе, я сейчас ребенка буду кормить!» И он покорно выполнил ее просьбу.

Наездник в папахе со страшным криком проносился на лошади по арене, и там, где по программе нужно было стрелять сквозь бумажный обруч и гасить пулей огонь свечи, прикрепленной на железной полосе, позади обруча, он с ревом протыкал бумагу дулом огромного флибустьерского пистолета и одновременно с выстрелом тушил свечку ударом пистолета, что вызывало необычайный восторг зрителей.

— Бис! Браво! — кричали со всех сторон, и он повторял номер, сам удивляясь своей точности,— как он ловко ударял по свечке пистолетом. Но когда он стал мазать, номер прекратили, и он ушел под гром аплодисментов.

Выходил клоун, рассказывавший анекдоты, бороды у которых стлались по арене. Но он бесстрашно и долго рассказывал, и под конец его стал бить другой клоун, и наконец они ушли, обнявшись и неизвестно почему рыдая на весь шапито.

Номера сменялись быстро, но все ждали коронного номера программы — укротительницы страшного удава.

Перед этим объявили перерыв, изгнали несколько безбилетных мальчишек и вывели одного пьяного, который начал громко храпеть, пристроившись прямо на земле, за рядами стульев.

Когда все заняли свои места и наступила тишина, которая в цирке всегда является предшественницей чего-то особенно значительного, почти страшного, когда просят «нервных не беспокоиться», распорядитель-церемониймейстер значительным голосом попросил не шуметь, не говорить, не производить панику,— в общем, соблюдать мертвое молчание, что бы ни случилось.

— Меры приняты,— сказал он, и в цирке потушили свет наполовину.

В этом полумраке вынесли на арену какую-то большую кушетку и принесли два венских стула.

Потом церемониймейстер еще раз просил быть сознательными, велел убавить еще свет, так что надо было уже напрягать зрение, чтобы рассмотреть, что там, около кушетки. Но пока там ничего не происходило. Тогда он обратился к нашей ложе и просил выделить наблюдателя, потому что номер смертельный и чтобы представитель сказал, что все без обману. Мы выбрали Володю, и он встал рядом с церемониймейстером. Его внушительный вид произвел впечатление на всех зрителей. Ему робко зааплодировали, но церемониймейстер резким жестом прервал апло-

дисменты и поднял руку. На сцену вынесли большой потрепанный чемодан. Даже полумрак не мог скрыть того обстоятельства, что он уже давно служит святому искусству цирка и находится накануне выхода на пенсию.

Казалось, что уже больше нельзя убавлять света, но погасили еще одну лампу и зажгли зато несколько свечей. Их колеблющееся пламя каким-то зловещим отблеском осветило кушетку, венские стулья и чемодан.

— В чемодане старый труп,— шепотом сказал кто-то из зрителей,— в книжке про это читал.

Тут церемониймейстер важно поднял руку, и в полной тишине выплыла, именно выплыла, а не вышла, на арену какая-то фигура, издавшая не то стон, не то жалобный вопль.

Вглядевшись, зрители могли разобрать, что это довольно пожилая, сильно загримированная женщина в черном бархатном платье, с большим декольте, с голыми руками, с веером. Все платье усеяно какими-то светящимися блестками. Она сделала шаг к кушетке, остановилась против стульев, точно удивляясь, зачем они здесь, потом села на один из них и что-то произнесла на том условном цирковом языке, который может и ничего не значить. Но ее поняли, и служители вынесли похожие на футляры из-под скрипок два ящичка. И пугливо отпрыгнули назад, как будто что-то угрожающее покоилось в этих футлярах. Дама в черном бархате наклонилась к ним и открыла по очереди тот и другой ящичек. Из них выскочили два таких маленьких крокодиленка, что не сразу на темном полу их даже увидели. Только когда дама закричала и торжествующе отступила, крокодилята подрали в публику, и вокруг начался шум, визг, крик. Служители бросились на маленьких сынов Нила, хватали их за хвосты и отбрасывали к стульям, а крокодилята устремлялись снова в публику, и снова под разнообразный шум и гам их отбрасывали к ногам укротительницы, которая все это время пребывала в мрачном молчании.

Крокодилят убрали, и церемониймейстер попросил Луговского приблизиться к кушетке.

— Сейчас,— сказал он,— мы покажем номер, который необычаен и опасен. Представитель публики подтвердил, что обману нет, и просит тишины.

Раскрыли большой старый чемодан. Луговской и церемониймейстер смотрели, как дама-укротительница, издавая какие-то нечленораздельные звуки, точно она все

время нервно зевала, извлекала из чемодана что-то длинное, пестрое, похожее на раскрашенную пожарную кишку. Это непонятное, длинное она начала развешивать на двух венских стульях, как развешивают для просушки старые половики. Она медленно делала свое мрачное дело. Луговской, как он потом рассказывал, хотел потрогать это разноцветное нечто, но боялся, что вдруг это окажется действительно кишкой и он погубит номер хохотом, какого не сможет удержать.

Накрутив все, что было извлечено из чемодана, на спинки двух венских стульев, дама издала судорожный вопль и села на кушетку, протягивая руку в публику, как бы приглашая ее убедиться в силе своего подвига, а другой показывая на полумертвого удава, бессильно свесившего свою голову куда-то под стулья.

Но это было еще не все. После томительной паузы дама села снова на кушетку, сделала несколько вздохов, стулья поднесли к кушетке, загасили две свечи, и в полном, тягостном молчании она начала сматывать удава с венских стульев и тащить все это на кушетку. Она легла, положила голову на подушку и начала натягивать на себя удава, который, лишенный всякого достоинства, покорно подчинялся своей укротительнице. Ничего, в сущности, не происходило. Наступило короткое молчание. Удав, зажатый объятьями дамы в бархатном платье, по-видимому, лишился чувств. Тогда укротительница закричала на весь шапито, сбросила удава прямо на пол и, презрительно глядя на него, начала раскланиваться, простирая руки во все стороны. Служители охапками собирали бедного гада и бросали без всякого уважения в чемодан.

Дали свет, и укротительница еще и еще появлялась и, обмахиваясь веером, посылала воздушные поцелуи — и особенно в нашу ложу. Церемониймейстер поблагодарил Луговского и объявил перерыв перед чемпионатом французской борьбы.

— Откуда они взяли столько борцов?— спросили мы у местного жителя.

— Так это же безработные с нашей биржи! А ленты, что у них через плечо,— это с цирком привезли.

Объявили все схватки решительными до конца. Выбрали комиссию из публики для спорных моментов. В эту комиссию мы выделили Леонида Максимовича Леонова, и он с честью нес свои обязанности. При отсутствии всякого развлечения в тогдашнем Чарджоу мы после

трудового дня ходили в цирк по вечерам, пока не надоело.

Наконец наш друг Брагинский сказал:

— Плюнем на это несознательное зрелище. Довольно заниматься искусством цирка. Пойдем завтра утром в милицию...

— Зачем в милицию?

— В милиции дела интересные бытовые можно встретить. Для быта Туркмении вам пригодится. В милиции надо разрешать очень психологические проблемы. Как в театре, честное слово, только из театра можно домой пойти, а тут надо решать на месте, никуда от ответа не уйдешь...

И мы пошли всей бригадой в милицию.

Мы увидели, что милиции действительно приходится заниматься и алкоголиками, и жуликами, и бывшими баями, басмачами, их пособниками, квартирными вопросами и многими разными делами, которые даже трудно предусмотреть.

Перед нами стоял парень, смущенный, в чистом, новом халате, гладкий, стройный, немного дикий, с чуть косыми глазами,— в них были страх и дерзость, которая вот-вот вырвется наружу, и досада, возможно, на то положение, в котором он вдруг очутился.

Рядом с ним стояла почти девочка, невысокая, но крепкая, смуглая, с тонким, решительным ртом; она теребила платок маленькими, сильными пальцами, видно привыкшими делать всю домашнюю работу.

Она была тоже и в смущении, и в явном негодовании. Но так как говорить раньше мужчин ей не полагалось, она кусала губы, но слез не было в этих мучительно что-то затаивших глазах.

— Ведь вот какое дело,— сказал нам друг из милиции,— она за него просватана, а есть сведения, что ей положенных лет нет и что ее за калым раньше времени хотят отдать. Что будешь делать? Во-первых, он утверждает, что ее любит и по любви берет, калыма нет, что все это клевета, ложный донос, а вот она молчит, потому что ее, наверно, застращали. Вот и разберись! А потом будет семейная трагедия. Как бы вы поступили?..

Мы смотрели на девочку и юного туркмена, и нам было неловко, потому что непохоже было, что эта пара стала предметом сделки старших родственников. Луговской сказал:

— Можно мне ее спросить?

— Пожалуйста! Вы говорите, я переведу им,— ответил начальник милиции.

— Спросите ее: любит ли она его, своего жениха, или ее насильно выдают?

Девочка выслушала этот вопрос и сначала как-то потупилась, точно собиралась с духом. Потом вдруг она выпрямилась, стала совсем другой, обхватила туркмена за пояс, прижалась к нему и сказала что-то быстро-быстро, так что начальник милиции даже переспросил ее.

— Что она сказала?

— Она сказала, что можете резать ее по частям, она его не оставит, а если ей не хватает полгода — год — откуда она знает? Разве в любви спрашивают, сколько тебе лет? «Я большая, я выросла, я выбрала его, и никому не отдам, и никуда от него не уйду...»

Молодой туркмен сделал движение, чтобы снять ее руки со своего пояса,— видимо, это нарушало его чувство собственного достоинства,— но она крепко держала его, и он уступил. Так и стояли они, как живописная группа, вся пылающая молодостью, свежестью, очарованием сильных, юных людей, на весенней земле встретивших расцвет своей весны...

Луговской встал и сказал:

— Товарищи! Посмотрите на них! Я хочу говорить в защиту любви. Все правда! И то, что она сказала, и то, что сказал бы он, если бы он не боялся, что ему не поверят. Ей столько лет, сколько нужно для их счастья. Отпустим их, пусть они идут к себе и будут счастливы! Отпустим их, товарищи. И отбросим сомнения!..

Пока он говорил эту страстную речь, юная туркменка не сводила с него глаз, как будто понимала, что он говорит в ее защиту. Мы все поднялись со своих мест.

— Отпустим их,— сказали мы, как будто представляли греческий хор, и начальник милиции уступил.

Покидая комнату, девочка поклонилась низко-низко, и когда выпрямилась, на губах ее играла ироническая, легкая, счастливая улыбка. Туркмен сказал какие-то слова благодарности...

На другой день Луговской отозвал меня в дальний угол террасы и сказал:

— Вчера я написал первое стихотворение книги о Туркмении. Сейчас я прочту его.

Он сделался торжественным и прочел медленно, как будто проверяя на слух:

В Госторге, у горящего костра,
Мы проводили мирно вечера.
Мы собирали новостей улов
И поглощали бесконечный плов.
А ночь была до синевы светла,
И ныли ноги от казачьего седла.
Для нас апрель просторы распростер,
Мигала лампа,
И пылал костер.

Он читал и читал, и передо мной проходили дни и ночи нашего путешествия, и пустыня в весеннем цвету, и горы Копет-Дага, и пограничные заставы, и люди — работники пустынь, полей, воды, границы, все пережитое нами вместе, и грустное и веселое. Я видел, и он это тоже видел внутренними очами сердца, что рождается книга, и так оно и было.

В весенню ночь далекого, хаотичного, делового, разноцветного Чарджоу родилось первое стихотворение эпопеи «Большевикам пустыни и весны».

Я повторял за ним последние строки, которые могли бы сами по себе быть эпиграфом для будущих книг:

Работники песков, воды, земли,
Какую тяжесть вы поднять могли!
Какую силу вам дает одна —
Единственная на земле страна!

Луговской должен был увидеть Туркмению! И он увидел ее, и она стала его поэтической судьбой!

7. ВНИЗ ПО СУМБАРУ

Мы скачем вниз по Сумбару на крепких и горячих туркменских конях. Нам нравится эта дикая скачка, как будто мы преследуем уходящих басмачей или готовимся к конскому состязанию. Нет, впереди нет басмачей, и никто из нас не собирается оспаривать приз у профессиональных наездников.

Мы молоды, веселы, полны сил, и старший милиционер Нури, наш спутник и проводник, нет-нет да и похвалит нас за то, что мы любим быструю езду. А мы с Володей Лугов-

ским хвалим его за добрый нрав, за то, что он тоже любит промчаться по узкой горной дороге, на страх всем горным чертям, он нам нравится за храбрость и за то, что у него из-под милицейской фуражки свисает пышная алая роза и он изредка отрывает и жует лепестки.

На шее моего коня висит желто-черный шнурок с бирюзовым колечком — от дурного глаза. Но мы не боимся никакого колдовства. Мы столько видели неожиданностей, странностей, опасностей, что нас ничем не удивишь.

За нами, как далекое видение, маячат первые впечатления нашей туркменской жизни. С тех пор, кажется, прошло много дней — такое количество событий явилось перед нами. Мы видели людей, которые боролись с пустыней, боролись за воду, боролись за колхозы, за новую жизнь. Мы видели царство великой Аму, ее водные просторы, ее чудеса и видели иссохшие земли, засыпаемые безжалостным, неотвратимым песком пустыни, приходившей к людям на порог и заставлявшей их уходить. Мы видели горы и холмы, витерит и барит, видели кочевников и рваные полосатые и черные шатры, женщин, ставивших юрты, носивших на голове тяжелые старинные уборы, похожие на шлемы древних воинов. Мы видели Ашхабад — город садов и новых туркмен... Мы плыли по Аму; мы спали у костров; нам в лицо бил горячими мокрыми горстями песку страшный ветер «афганец»; мы падали с машиной на старое дерево, склонившееся над арыком, и вылезали по очереди, по одному, и когда вылез последний, машина рухнула в глубокий овраг; мы пели песни и читали стихи лунной ночью в далеком ауле или в глинобитных домиках в компании старых туркестанцев, мы делали сотни трудных километров, чтобы увидеть удивительные вещи и героев нашего времени в действии.

И вот мы скачем вниз по Сумбару. Мы смотрим по сторонам. Голые горы с отвесными скальными стенами, с причудливыми уступами сменяются местами, где много арчи, обвитой диким виноградом, где все розово от цветущего горного шиповника. Дикие розы посылают свой аромат на тропу, на радость путников, маки в траве особенно горят на фоне кустов бледно-зеленого колючего астрагала... Вдруг все наполняется гомоном птиц, шумом человеческого жилья. Мы в сердце садов, где яблони, миндаль, гранат, инжир. Вишневые деревья напоминают Украину. Виноградники переносят в Грузию. Огромные платаны и пирамидальные тополя имеют такой крымский вид, как буд-

то за поворотом откроется широкий зеленый простор моря...

Но нет! Как быстрое видение исчезает этот кусок рая, и мы снова на горной тропе, и снова вспоминаются ночные тракторы в полях, скрип чигирей, барханы, на которые нас вносили легконогие жеребцы, чтобы мы могли окинуть глазом пески, уходящие за горизонт, песчаные холмы, похожие на бесконечные верблюжьи спины. Чтобы увидеть саксаул, селим, гребенчук, стоит съездить так далеко, стоит постоять, на вершине бархана, перед лицом великого безмолвия...

Как на любой стоянке в пути, люди долины Сумбара красочны и любят поговорить. Бесчисленны их вопросы, как бесчисленны пиалы зеленого чая. Потом снова ногу в стремя, и ветер ущелья обвевает наши разгоряченные, обожженные донельзя безжалостным солнцем щеки.

Ветер! Ветер — любимый образ Луговского. Мы начали туркменское путешествие, и с самого начала на вечерах Луговской много и хорошо читал свою «Песню о ветре». «Ветер, брат моей жизни»,— напишет он впоследствии. И про это ущелье он скажет: «По этой дороге теплых ветров...» Да, мы скачем, как будто копыта выбивают ритм:

Эй! Эй! По ущелью
Шал-Чиклена,
Между отвесных
Галочьих скал...

Мы скачем. Я смотрю на Луговского и не узнаю в этом добром наезднике того городского, столичного завсегдатая литературных собраний и дискуссий, который несколько месяцев назад покинул Москву. Широкоплечий, с решительными движениями, строгий, подобранный, втянувшийся в трудную, кочевую жизнь,— передо мной совсем другой человек.

Сейчас он, как и я, переживает эти горные дороги, эти дебри Сумбара, эти странные дни, которые врезаются в душу и которые запомнятся навсегда. Я тоже по-своему наслаждаюсь и чудным солнечным днем, и воспоминанием о том, что я видел в эту туркменскую поездку. Мы набиты впечатлениями. Они просто спрессованы в нас — так их много.

Но есть и другое. Говорят, что самый плохой путешественник — тот, который, отправляясь в путь, уже думает о дне возвращения. Я чувствую, что здесь будет на-

оборот. Вернувшись в Москву, Володя Луговской снова переживет наше путешествие и снова направится в эти края, без которых он уже не сможет жить.

Я смотрю на его торжественное лицо, на улыбку победителя, на смеющиеся глаза и вижу: он зачарован, он заворожен глубокими чарами Туркмении. Он вернется обязательно. Азия вошла в него. На ее зов он бросится без раздумья.

И, где бы он ни был, он будет помнить краски этой страны, звуки песчаной бури и тихого вечера, будет помнить людей древнего народа, начавшего новую жизнь.

Мы мчимся мимо голых, взвихренных ввысь отвесов, мимо горных лугов, селений, одиноких всадников, верблюдов... Так можно мчаться долго, слушая, как свистит в ушах ветер, мчимся вниз по Сумбару, как будто где-то рядом, за углом горной тропы, нас ждет еще что-то необыкновенное, что-то никогда еще не виденное... Мы еще не понимаем, что этот день и этот путь и есть то необыкновенное, то невиданное, что поможет нам написать книги и, когда пройдут годы, долгие годы, вспомнить эту веселую скачку, как сказку, одну из лучших сказок сказочной долины Сумбара!

И Володя Луговской испытал то же самое. Он в стихотворении «Возвращение» сказал с нежной и уверенной силой:

Милая Азия, вот я вернулся...

Но это уже из третьей книги «Большевикам пустыни и весны». Это уже другой рассказ, о другом времени.

ПАЛАТКА ПОД ВЫБОРГОМ

Был с нами друг наш замечательный,
Высокой доли человек...

А. Прокофьев

1

Мы тащили вместе с артиллеристами тяжелую, облепленную грязью противотанковую пушку, скользя на подмерзшей крутой дороге, хрипло дыша и спотыкаясь о рытвины.

Мы выкатили ее на холм и остановились перевести дыхание. Отсюда, от невысокого сарая, сложенного из циклопических камней, хорошо была видна вся деревня Липпола, разбросанная по холмам, и все пространство, охваченное боем.

— Давай сюда! — закричал командир.— Давай! Ставь здесь... Вот он!

Мы поставили пушку там, где показал молодой, взволнованный, впервые участвующий в боевой операции лейтенант, и тогда увидели этот дом, вынесенный на самый край деревни, немного в стороне от дороги.

Дом был на высоком каменном фундаменте и весь в дыму и в огне. В нем, казалось, не могло быть никого. Но из подвального этажа с угрюмой серьезностью, метко и ровно бил пулемет, как только красноармейцы приближались к перекрестку между двух высоких елей.

Дом только маскировал своей мнимой мирной внешностью дот, который давно был устроен для обстрела перекрестка. Он годами ждал своего часа, и час пришел.

Как только первые снаряды нашей пушки ударили по доту, там поняли, что им не устоять, и позвонили на батарею, которая немедленно пришла на помощь.

За стеной недалекого леса глухо прозвучали выстрелы вражеской батареи. Мы бросились на землю за сараем, нам ничего больше не оставалось делать. Снаряды разорвались позади нас, над спуском в овраг, и осколки засвистели над нашими головами.

Рядом со мной лежал Саша Прокофьев, слегка иронически подмигивая мне. Приподняв голову, я увидел Саянова, который с большим любопытством наблюдал, как рвались первые в его жизни снаряды.

Для меня это была третья война, для Саши Прокофьева — вторая, для Саянова — первая. Я не мог думать, что так скоро придет моя четвертая, самая свирепая и долгая, война.

Насколько я знаю, до 1939 года Виссарион Саянов никогда не принимал непосредственного участия в военных действиях. Впервые предстала перед ним война в суровых лесах Карельского перешейка.

Теперь он видел, как противотанковая пушка прямой наводкой разбила вражеский дот, видел, как пылавшая деревня Липпола осталась за нами и бой ушел вперед.

Кровавый день окончился, пришла ночь.

Этой морозной ночью в начале декабря 1939 года по кремнистой, едва запорошенной снегом земле, под ослепительным сиянием луны, когда лес вокруг казался иссиня-черным и зловещая настороженность стояла между елей и сосен, след в след шли четыре человека, каждую минуту ожидая выстрела притаившегося шюцкоровского снайпера. Я отлично помню эту ночь во всех подробностях, помню, как шли мы тогда по враждебному простору.

После жаркого дневного боя, после бесконечного треска пулеметной и винтовочной стрельбы, после сухого грохота артиллерии эта ночная тишина не была отдыхом, она не успокаивала, а настораживала. Она была полна скрытых угроз.

Мы вышли на разминированную дорогу и пошли рядом с двигавшимся на север тяжелым артиллерийским дивизионом. Тягачи тащили огромные пушки, по обочинам дороги громоздились кучи тарелочных мин, обезвреженных нашими саперами. Казалось, не будет конца этому громы-

хающему, лязгающему машинному каравану, уходящему в дали чужой, холодной ночи, не будет конца этим зеленым, ядовитого цвета минам.

Мы набрели на дом, стоявший несколько в стороне от дороги. Он не был взорван белофиннами, что было редкостью. Об этом доме нам говорили еще вечером, когда мы вышли из деревни Липпола, за которую так яростно и упорно дрались белофинские егеря.

Мы вошли в дом, и сразу мои товарищи потерялись в тесных, угрюмых комнатах, освещенных только огнем кое-где прилепленных к столам и выступам свечей и заполненных людьми в полной боевой амуниции. Каски тускло блестели в полумраке, и от шинелей шел холод. Гулко трещали в печках сырые дрова, и этот треск еще больше подчеркивал неуютность и мрачность обстановки. В этом доме никто не собирался жить.

Комнаты были забиты людьми, которые на время зашли сюда погреться. Через час-другой они покинут этот дом и уйдут дальше.

Нам не рекомендуется в нем ночевать, потому что по окрестным лесам бродят белофинны, они нарочно не сожгли этот дом, чтобы он стал ловушкой, смертельной для одиноких неосмотрительных гостей.

Я пошел отыскивать своих. Они, конечно, уже смешались с командирами и солдатами и выспрашивали их о сегодняшнем сражении со всем азартом военных корреспондентов. Я шел из комнаты в комнату, протискиваясь сквозь множество людей. Было удивительно, как много вмещал людей и оружия этот дом у дороги. Я спотыкался о винтовки, задевал противогазы и упорно искал своих. Вдруг я услышал громкие голоса. Я прислушался. Пожалуй, такое впервые слышал этот финский дом в зимнюю глухую ночь. Люди говорили о живописи и стихах, о достоинствах картин Вермеера Дельфтского, сожалели о том, что ни одной из них нет в нашем Эрмитаже. Говорили о стихах Батюшкова, Баратынского, о Кульневе. Когда я услышал, что говорят о Кульневе, я понял, что там Саянов. Кульнев был его любимым героем. Я добрался до говоривших и увидел Виссариона, окруженного командирами, чью молодость не могли осуровить даже тяжелые большие каски. Они говорили громко, как у себя дома, о замечательных картинах и о стихах русских поэтов, сто с лишним лет назад писавших о Финляндии и о войне.

Один из командиров был ленинградский искусствовед, другой — молодой инженер, интересовавшийся одновременно живописью и поэзией. От них мы и узнали, что нам нужно немедленно вернуться к деревне Липпола и ночевать около нее в блиндажах. Другого выхода не было. Мы пошли обратно, снова через пустынные ночные холмы, где ветер мел ржавую, колючую траву, мы шли через поля и мимо руин каких-то сожженных строений, мимо белофинских мертвецов, которых еще не успели похоронить. Раскинув руки, лежали на холодной земле шюцкоры, и ветер шевелил их ледяные волосы. Мы шли на яркие пятна костров, которые развела пехота, на зарево какого-то далекого пожара.

Мы шли в пустыне полночного мира, и я думал о том, что поэт в наше время должен быть и воином, защищающим будущее, и человеком нового гуманизма, должен быть верным боевому долгу и в то же время должен помнить о голландской живописи семнадцатого века, о стихах Батюшкова и Баратынского и говорить об этой стране — «суровый край, его красам, пугаяся, дивятся взоры», и идти вот так ночью, ожидая врага, который прячется в суровых лесах вокруг, но главное — знать, зачем ты здесь и кто ты такой.

За примером ходить было недалеко. Рядом со мной шагал Виссарион Саянов, готовый ко всяческим испытаниям командир, в серой красноармейской шинели, советский поэт, который только что говорил о культуре великих времен прошлого.

В нем жила горячая человеческая любовь к жизни, страсть к стихам, к искусству. Хорошо осведомленный в вопросах советской поэзии, он в то же время был смелым человеком. Его не пугала никакая опасность. Его храбрость не была показной храбростью.

Чтобы найти верный признак определения подобного характера, можно перебрать много понятий, и точных и приблизительных. Но я бы сказал, что самое верное было бы назвать Виссариона Саянова цельным человеком. Он был действительно цельным человеком, однолюбом, преданным передовым идеям нашего века, человеком прямого пути.

Он был человеком русского размаха, разностороннего таланта, высокой культуры.

Воспоминания о Виссарионе Саянове, писателе и человеке, со временем составят большой том, где предстанет он

во всей сложности своего разностороннего характера, где будут освещены все черты его художественного творчества.

Конечно, главное внимание будет уделено тому участию, какое принимал он в развитии советской литературы, какое отношение имел он к разным ее явлениям, какой вклад внес, какую принципиальную позицию занимал в яростных литературных спорах и дискуссиях.

Мы дружили с ним давно и по-настоящему. Нигде так, как на войне, не узнается человек во всей широте настоящих чувств.

Так я увидел моего друга в ту незабываемую, беспощадную зиму войны с белофиннами. Мы проделали с ним весь зимний поход, с первого до последнего дня.

В марте 1940 года, после прорыва линии Маннергейма, в дни боев за Выборг, мы жили с ним в одной палатке, на снегу, среди сугробов, и непрерывный грохот орудий сопровождал нас с утра до вечера.

2

Морозное мартовское утро. Темно-зеленые ели и сосны на холмах. Кругом снег. На нем причудливые следы лыж. Черно-серые лбы древних валунов торчат из-под снежных грив. Блестят застывшие глади озер. Все как будто мирно. И солнце пригревает по-весеннему. И небо голубеет привычно.

Но стоит перенести взгляд на дорогу — и сразу картина войны перед вами. Очередная пробка. Поток машин, которому нет конца, уперся в какое-то препятствие и забурлил на месте. Легковые машины пробуют пробраться мимо тяжелых, доверху нагруженных и накрытых брезентами грузовиков, застревают и останавливаются. Пехота обходит эти застрявшие машины и безостановочно втягивается в ближний лес. А тут, на перекрестке, треск, и шум, и голоса командиров, и крики шоферов, помогающих вытянуть скатившуюся в кювет машину, и шум пролетающих самолетов, к счастью наших. Будь у противника посильнее авиация, этот перекресток зашумел бы по-другому. Уже в сторонке зажглись маленькие костры, и у них греются люди, которые потеряли терпение и замерзли на открытой всем ветрам дороге.

Пробки на дорогах были тогда обычным явлением. Отсутствие дорог не позволяло продвигаться с той скоростью, с какой могла бы перебрасываться техника того времени. На дивизию полагалось три дороги, чтобы двигаться как следует, а тут три дивизии шли по одной дороге. Встречные машины, желавшие на перекрестке прорваться, часто застревали, на них наезжали со всех четырех сторон, и дальше начинали выяснять, кому надо быстрей двигаться к цели и кто должен уступить дорогу.

Над дорогой стоял самый разнообразный шум, и в нем тонули отдельные звуки. Саянов, как ни странно, обладал среди прочих своих талантов талантом устранять эти заторы. Он пробирался к месту самого яростного столкновения, к месту, где кипели все страсти вокруг сцепившихся машин. И тут, когда командир, в коричневом полушубке, в очках, с добродушной улыбкой, но решительный и быстрый, наводил порядок, то убеждая, то приказывая, то шутя вместе со всеми, вдруг водворялась тишина.

Он умел как никто рассасывать пробки.

Мы ждали сейчас терпеливо, так как верили — нас в этом убеждали окружающие,— что пробка эта небольшая, сама быстро ликвидируется. Мы хорошо отдохнули накануне в знакомой части, выспались. Хорошая погода, хорошие вести о нашем безостановочном продвижении — всё говорило: не стоит торопиться, все образуется само собой. И мы вразвалку ходили вдоль колонны машин и разговаривали, встречая знакомых, останавливаясь у маленьких костров, синий дымок которых пахнул восхитительно горько.

Вдруг Саянов показал мне на перекресток, где было самое большое скопление машин, и сказал:

— Ты видишь эту собаку?

Я взглянул туда, куда он указывал, и увидел большую серую собаку, овчарку, нервно сновавшую между солдат, быстро обнюхивавшую встречных, нырявшую в толпу, снова появлявшуюся. Она ни минуты не была без движения. Странно, что в общей суматохе никто не обращал на нее внимания.

— Это финская собака,— сказал Саянов,— шюцкоровская. Смотри, как она крутится!

Когда собака появилась снова на дороге, мы пошли к ней. С некоторого расстояния мы стали наблюдать за ее поведением. Казалось, она не хочет оставлять перекрестка.

Она кружила по лесу, вокруг него, возвращалась на дорогу, снова бросалась в толпу солдат, снова кружила по лесу, низко-низко нагнув голову, подняв уши. Она кружила все по одному и тому же месту.

— Ты знаешь, что происходит? — сказал Саянов.— Я давно уже слежу за ней. Видишь, у нее на шее кожаный широкий ошейник с карманчиком. Карманчик открыт. Он пуст. Она, бегая по лесу, зацепилась за куст и потеряла записку. А может быть, она должна была получить записку от хозяина. Он назначил ей рандеву возле этого перекрестка...

— Что же с ним случилось? — спросил я.— Если ты так хорошо представляешь происходившее, давай дальше...

Саянов усмехнулся:

— Я тебе сейчас все расскажу. Ее хозяин шюцкоровец, кроме всего, еще «кукушка». Он сидел на дереве и не стрелял, а следил за передвижением наших войск. Собака бегала от него в тыл с донесением и прибегала обратно. Но последний раз, когда он ее посылал, он не мог знать, что мы так быстро выйдем на этот перекресток. Поэтому она пришла, а его уже нет. Возможно, что он просто удрал в другом направлении, возможно, его темная душа подбила его все-таки обстрелять дорогу, и его сняли как миленького. А собака прибежала, и мы сейчас с ней познакомимся поближе...

Мы стали приближаться к овчарке. Она нюхала автомобиль, точно большое, тяжелое колесо могло что-нибудь объяснить ей. Мы подошли совсем близко. Она взглянула на нас таким усталым, испуганным, недоумевающим взглядом, что сразу стало ясно: не первый день она кружит здесь, ноги едва держали ее. Исхудавшая от голода и напряжения, не понимавшая, что происходит, она была готова упасть на дорогу. Но, собрав последние силы, вдруг побежала, шатаясь, в сторону от нас, на боковую дорогу. Мы пошли за ней. Навстречу собаке шла группа людей, непохожих на строевых командиров. Один из группы увидел собаку и, сунув руку в карман, вытащил несколько кусков сахару и протянул овчарке. Поставив уши, она секунду вглядывалась в человека, предлагавшего сахар, осторожно приблизилась и взяла сахар. В то же мгновение человек схватил ее за ошейник, и она привалилась к нему и стояла, грызя сахар, стояла, шатаясь, смотря безумными глазами, в которых уже не было страха. Она доверчиво ела сахар.

— Это шюцкоровская собака,— сказал Саянов,— посмотрите на ошейник.

— Мы уже второй день видим ее здесь,— ответил человек, державший ее за ошейник,— она, по-видимому, не ела несколько дней и так много бегала, что уже больше не в силах двигаться...

— Шюцкоровская собака! — закричал за нашей спиной боец, снимая с плеча винтовку.— Дай я сейчас подлюгу шарахну, товарищ командир!

Но Саянов закрыл собаку собой и сказал примирительно:

— Она сдалась, видишь, а мы пленных не бьем. Что с собаками воевать,— сказал он строгим голосом,— вон еще там осталось, с кем драться...

Он махнул рукой в сторону Выборга, откуда слышались глухие выстрелы орудий.

— Я врач. Наш медсанбат тут, за углом, в лесу. Я возьму ее с собой. Нас сторожить будет. Перевоспитаем! — сказал человек, за которым теперь послушно шла эта худая, жалкая, истощенная овчарка.

С перекрестка нам кричал шофер, и, судя по его радостному крику, дорога освободилась. Мы сели в машину и, оглядываясь, видели, как вверх по пригорку удалялась группа работников медсанбата, и среди них овчарка, миролюбиво помахивавшая серым хвостом.

...Через несколько дней, когда мы уже жили в палатке в лесу, Саянов, вернувшись однажды к вечеру после своих странствий по переднему краю, сказал, весело усмехаясь:

— А я, знаешь, нашу находку видел!

— Какую находку? — спросил я.

— Овчарку, что врач увел!

— Где же ты видел? Есть что-то новое?..

— Есть,— ответил он, снимая с пояса свою тяжело набитую полевую сумку,— хозяин объявился у нее.

— Как?! — закричал я.— Шюцкоровец!

— Да, он ночью приходил на лыжах. Видимо, моя версия, что он удрал в другую сторону, верна. А теперь, когда дорога пустынна, части прошли, такого движения нет, он отправился ее разыскивать и дошел ночью до медсанбата и там ее увидел. Она сидела у освещенной палатки и была хорошо видна. Он звал ее условными свистками, но она не пошла. Вышли люди. Тогда он последний раз свистнул и потом выстрелил в нее, но промахнулся. Пуля

только поцарапала ей ухо. Тут наши выскочили, но он удрал. Ему вслед стреляли. Но он ушел. Что ты скажешь?

— Я скажу, что из тебя вышел бы недурной детектив,— так лихо ты разобрался в этом темном деле. Ну, что же собака?

— Собака живет спокойно и просила тебе кланяться!

3

Березин, редактор газеты «На страже Родины», был чрезвычайно требовательный человек. Корреспонденты фронтовой газеты, говорил он, должны вести себя так на переднем крае, чтобы все видеть своими глазами. Вот, например, известно в редакции, что бои идут уже в пригородах Выборга. Но где мы, а где противник — мы в редакции плохо представляем. Прошу определить точно передний край.

— Ты понимаешь, что он от нас хочет? — сказал Саянов.

— Понимаю, но, по-моему, нам нет такой необходимости. Мы все-таки фронтовые журналисты, а не фронтовые разведчики...

— Нет,— сказал Виссарион упрямо,— мы пойдем и определим передний край. Он думает, я побоюсь выполнить это задание. А он потом будет отпускать шутки. Нет, шалишь, пойдем!..

И мы пошли рано утром по широкому пустынному шоссе, на котором время от времени глухо громыхали разрывы снарядов, прилетавших из-за Выборга. Мы шли обочиной и ложились исправно в снег при шелесте, нарастающем над нами. Мы прошли бронепоезд. Его белая громада была неподвижна, как будто он заснул на рельсах. Весь выкрашенный ярко-белой краской, он имел на своих крышах черные линии, которые сливались, если смотреть с неба на землю, с черными колеями рельсов. Пролетавшие самолеты не могли обнаружить его из-за этой простой, но умной маскировки.

Мы шли и шли все вперед, и никого из бойцов не было по сторонам. Далеко остался бронепоезд. Шоссе было пустынно, и над ним клубились дымовые столбы разрывов, но теперь это все были далекие перелеты. А вокруг нас была сравнительная тишина. Сравнительная потому, что

мы подходили к насыпи, за которой сплошь вся окрестность рокотола, как море, ударявшее в камни. Изредка хлопал звонкий выстрел, как будто совсем близко. Мы остановились, перед тем как войти в проход, по которому удалялось к городу шоссе.

Саянов молча показал направо. Я увидел высоко над нами, за валуном, артиллериста-наблюдателя, который спокойно в свою трубу с раструбом высматривал окрестность. Мы стали подниматься к нему. Одинокий человек, стоящий у валуна, посмотрел равнодушно в нашу сторону и продолжал свое дело. У него в углублении валуна лежали карта и полевая книжка, и он заносил свои наблюдения в нее, справляясь по карте. Мы подошли почти вплотную, и тогда он прервал свое занятие.

— Товарищ командир,— спросили мы, точно речь шла о мирной прогулке,— далеко ли впереди наши?

Он не удивился вопросу. Правда, мы объяснили ему, кто мы. Оказывается, он нас знает, видел еще перед прорывом линии Маннергейма.

— Когда пройдете насыпь, не идите во весь рост. Да вы сами увидите, что это невозможно. Выглянув из-за насыпи, вы увидите впереди развалины маленького домика. Рядом с ним на шоссе — противотанковая пушка. В развалинах наш наблюдатель и расчет этой пушки. Дальше вам они скажут, я не уверен...

Когда мы стали спускаться на шоссе, он закричал нам вслед:

— Идите осторожно, если вам уж так туда нужно!

— Нам нужно! — закричали мы в ответ и пошли прыгать между валунами.

Теперь мы стояли на шоссе. Прямо перед нами оно уходило в какой-то мглисто-розовый туман. Мы перешли шоссе и стали действительно осторожно, прижимаясь к насыпи, пробираться к тому месту, где насыпь кончалась. Тут мы немного подождали, затем выглянули и переглянулись. Пустое, безжизненное пространство, по которому плавали клочья тумана, было перед нами. Где-то не очень далеко торчали какие-то неясно видимые дома, трубы, стены. И оттуда со всевозможными свистами, завываниями и шипениями прилетали пули. Казалось, воздух был полон ими, как пчелами. Они ударялись в насыпь, в камни, в шоссе. А впереди, совершенно ясно закрывая от нас шоссе, чернели развалины домика. Он, в сущности, перестал существовать. От его крыши остался какой-то железный

завиток красно-бурого цвета и две трубы. Одна целая, другая разбитая так, что ее верхняя половина валялась на тропинке, сбегавшей к домику от насыпи. Стены домика тоже обвалились. Уцелела та, которая была обращена к шоссе. Домик стоял почти у самого края шоссе. Теперь всего на шаг от домика мы видели широкий щит противотанковой пушки. Развалины казались необитаемыми.

— Хватит,— сказал я,— дальше идти некуда. Там никого нет! А нам вдвоем брать Выборг с этой стороны никто не давал приказа.

Я хотел просто отговорить Саянова от дальнейшего движения вперед, так как и отсюда можно было ясно видеть, что здесь кончается наша территория и начинается ничья земля. Но Саянов вознегодовал:

— Нет, давай идем дальше!..

Я взглянул на него внимательно. В своем коричневом полушубке, с командирскими ремнями, с сумкой и пистолетом на боку, он был хорошей мишенью на фоне снежной насыпи! Но он так твердо сказал «давай», и я понял, что он не хочет показаться перед самим собой человеком, соблазнившимся возможностью уйти от опасности.

— Ну что ж, давай! — поняв его настроение, сказал я.— Но только, чур, по очереди. И перебежками...

Я бежал первым. Развалины росли передо мной. Одна пуля так близко свистнула у плеча, что невольно я поскользнулся и скатился со склона прямо в развалины. На меня с изумлением смотрели артиллеристы, сидевшие, прижавшись к подвальным стенкам, глубоко уходившим вниз. Выше их, за выступом уцелевшей трубы, я увидел двух наблюдателей. Я не успел еще раскрыть рот, как ко мне с такой же легкостью свалился Саянов.

Артиллеристы и наблюдатели удивились, но, узнав, кто мы, даже были рады случаю поговорить со свежими людьми, так как положение их было довольно затруднительным. Правда, они были взяты под охрану нашей артиллерией, и белофинны не могли к ним приблизиться, но ночью возможны жестокие схватки. Вчерашнюю ночь дрались врукопашную...

— Дальше есть еще наши? — спросили мы.

Тогда артиллерист подполз к нам и сказал, показывая на шоссе, которое было справа, чуть выше домика:

— Видите, наша пушка. По одному подползите к ней и выгляньте из-за щита. Только смотрите, аккуратней. Они ловят, когда смотришь...

Нам теперь выхода не было. Я вылез первым. Быстрым рывком я ткнулся в лафет и на минуту застыл, потому что по щиту на излете барабанили пули. Потом эта ярость прошла. Я втянулся под самый щит и выглянул справа на шоссе. Прямо в трех шагах от меня, разметав руки, лежал рослый шюцкоровец. Его мышиного цвета куртка заиндевела, кепи валялось рядом с подогнутой, точно перебитой, рукой. Впереди него по всему шоссе в самых удивительных позах лежали мертвые шюцкоровцы. Среди их серо-синих курток коробом стояли белые халаты убитых красноармейцев.

Из дальнего сизого тумана глухо доносились трески сильной перестрелки и визгливые всхлипы разрывающихся мин. Пули снова пронеслись по зеленому щиту противотанковой пушки. Я выждал и переполз в развалины. Теперь мое место за щитом занял Виссарион. Он был там долго,— так, по крайней мере, нам всем показалось. И мы стали окликать его. Он молча появился среди нас. Мы посидели еще немного и собрались в обратный путь.

— Убедились, что впереди нас никого нет? — сказал артиллерист, молодой, почти мальчик, с какой-то воинственной нежностью в лице, обветренном и розовом от мороза.

— Убедились,— сказали мы и бросились, попрощавшись, под защиту насыпи.

Благополучно пробежав опасное расстояние, мы снова увидели трудившегося наблюдателя и остановились перевести дух.

И в этот момент бронепоезд послал целый залп, который разорвал воздух с таким грохотом, точно под нами разверзлась земля.

Когда звуки выстрелов растаяли в воздухе, я сказал:

— Теперь, Виссарион, скажи, можно было и не глядеть из-за щита?

— Нет,— сказал он,— надо было глядеть. Теперь ты понимаешь, чего он от нас хотел. «Прошу точно определить передний край»,— мы определили. А теперь идем в дивизию... в лес!

И мы пошли, оглядываясь невольно на тот разрыв в насыпи, в который уходило шоссе, принадлежавшее сейчас там, за развалинами домика, только мертвым.

— Ночью они воскреснут,— сказал Виссарион,— будет новый бой!

4

Мы жили в палатке в лесу. Палатка была большая. В ней топилась железная печь. Под ногами была фанера, положенная на густые сосновые ветки. Над нами — легкое колыханье зеленого потолка. Вокруг лес. Близкие и дальние удары артиллерийских разрывов.

В этой палатке вечером собирались корреспонденты, пришедшие с переднего края. Тут возникал после ужина целый дискуссионный клуб. Говорили о войне, о подвигах, о смелых воинах, чьей храбрости с гордостью удивлялись. Говорили о литературе, и Виссарион был незаменимым председателем этих бесед. Много тогда говорили о том, как отразить в литературе войну со всеми ее жестокими и удивительными ощущениями, как рассказать о русском, советском бойце. Тогда был известен Василий Теркин,— не тот, который создан Твардовским и стал популярнейшей фигурой нашей поэзии, а тот Василий, или Васька Теркин, который явился созданием поэтического коллектива сотрудников газеты «На страже Родины». Поэты, возвращавшиеся с фронта, должны были поочередно писать в газету лихие стихи о приключениях этого сказочного героя, к рисункам, печатавшимся в особом отделе смеха и юмора.

Наш Васька Теркин был очень знаменит на фронте, и больше всех писавший про него стихов поэт Щербаков справедливо гордился тем успехом, который имел Васька у красноармейцев. Теркин никогда не падал духом, всегда мог найти выход из самого трудного положения, всегда был опрятен и соблюдал дисциплину в самой сложной фронтовой обстановке.

Виссарион часто говорил, что этот Теркин — только начало какого-то большого произведения о советском солдате, которого еще нет в поэзии. Держа в руках найденную нами в полусожженном доме книгу поэта Рунеберга «Сказания прапорщика Стооля», он с жаром доказывал, что даже Рунеберг, проникнутый узким национализмом, отдавал должное благородству русских, написал доброе стихотворение про Кульнева, чье рыцарское отношение к населению и легендарная храбрость стали популярными у финнов и шведов.

Виссарион не раз говорил в наших походных беседах, что, конечно, это война в снегах Карельского перешейка не может сравниться с той большой войной, которую готовит фашизм против нас. Европейская война шла уже

с сентября. После разгрома Польши она приняла особую форму. Это была так называемая «странная война», которая разразилась катастрофой для Западного фронта союзников через несколько месяцев.

В палатке под Выборгом много было разговоров о будущем, но, конечно, никто из присутствовавших не знал, что нас ожидает. Не знали и мы с Виссарионом, что снова через несколько лет придется нам быть у Выборга, но тогда весь поход к нему займет не сто пять дней, а только десять.

Виссарион мечтал о большой поэме, но было ясно, что война на Карельском перешейке не дает того эпического размаха, который жил в его сознании. Эта трудная, кровопролитная короткая война как бы готовила людей к другому, небывалому испытанию, к неизвестному еще подвигу.

Ощущение приближения больших исторических событий очень жило в Саянове. И наши разговоры вечерами в палатке часто, пусть мимоходом, касались этого таинственного будущего. Правда, хоть мы были людьми несуеверными, но, уходя каждый день на передний край, мы нарочно никогда не говорили никаких особых слов друг другу, избегали всяких пожеланий, но каждое опаздывание к ужину в палатке вызывало некоторую затаенную тревогу.

5

— Ты знаешь,— сказал Саянов в самом начале нашего прихода под Выборг,— я беру себе левый фланг, который упирается в предместье Выборга на западе, средний участок до шоссе — там пусть будет корреспондент кронштадтской газеты, а ты возьми правый фланг, где трехсотый полк Ляха. Он оседлал шоссе и наступает вдоль него.

— Хорошо,— сказал я.— Но мы тебя проводим на левый фланг, потому что нам нужно разобраться во всей обстановке.

— Пошли к вечеру, так удобнее,— сказал Саянов.

И мы зашагали по финским рощам и перелескам, проваливаясь в снег, и шли так долго, что наконец спросили данного нам в проводники красноармейца, знает ли он действительно дорогу.

— Веду,— отвечал он,— значит, знаю. А тут заблудишься, так «кукушка» тебе дорогу покажет.

— А разве их не убрали всех? — спросил я.

— Дак ведь их что убирай, что не убирай, они снова появляются. У них тут все нахожено, все помечено еще задолго до войны. А потом они вон что выкидывают... Вот посмотрите, видите валуны на опушке? Слева у нас озеро, а там, на другом берегу, лес...

Мы проходили довольно людной дорогой: навстречу попадались раненые, правда, не тяжело. Они сами передвигались в тыл. Попадались сани с боеприпасами. Попадались группы красноармейцев.

— Так вот,— говорил проводник,— белофинны там залегли и поймали, когда обоз проходил тут. Из автоматов начали бить. Наши оглянулись. Место открытое. Где залечь? А! За валунами. И — туда! А там всюду мины. Поди ж ты, где нарочно наставили... Рассчитали заранее, что от обстрела к камням побегут, а там и взрыв... Ну, мы все потом кругом проверили, всюду, где поставлены мины, взяли их, теперь перестали и они тут ходить. Без мин стрелять не к чему. Валуны не союзники...

Саянов записал все, что говорил красноармеец, в свою книжечку. Записей он делал множество.

— Все пригодится,— говорил он,— потом время пройдет, память откажет, а книжечка все напомнит, каждый штрих. У меня много этих книжечек... Ну, идем дальше.

В легкие сумерки пришли мы к месту, где наш проводник остановился и, как он нас уведомил, начал соображать. Пока он соображал, пули стали посвистывать так близко, что мы невольно взглянули на танк, стоявший впереди нас и служивший, как нам показалось, добрым укрытием.

Красноармеец, оглядев и справа и слева местность, вернулся к нам и сказал:

— Идти-то надо вперед, полк там, а вот где штаб — этого я не знаю. Они со вчерашнего дня перешли. А тут, видите, надо с толком передвигаться!

Это мы и сами видели.

— Товарищи,— сказал Виссарион,— какие у вас сомнения? Надо идти вперед, там и будет полк.

— Да, он там, но посоветоваться надо...

И мы устроили совет. Теперь было ясно, что сначала надо избрать танк для нашего продвижения. Подойдя к танку, мы с некоторым неприятным чувством обнаружили, что довольно зловеще о его броню стучат и вывертываются в стороны пули, что этот танк не очень-то долгое

укрытие. За ним, по-видимому, кто-то наблюдает со стороны, и пристреляться к нам нет никакой трудности. Тогда мы стали перебежками двигаться между соснами, пока не оказались над прогалиной, довольно широкой. Всю эту прогалину занимали здоровенные надолбы, чьи обледенелые глыбы торчали в три ряда, уходя куда-то в сторону, где уже нельзя было рассмотреть, куда они ведут. Кусты и деревья мешали разглядеть хорошенько местность. Мы остановились на краю прогалины. И тогда приподнялась крышка танковой башни, и танкист сказал хриплым голосом:

— Стоять тут не рекомендуется. А туда,— он показал на прогалину,— надо действовать ползком... Все!

И он нырнул опять в свою башню, как добрый дух, который не может вынести, что путникам грозит в лесу опасность.

Только что мы добрались до дна прогалины и растянулись между надолбами, как весь воздух заныл от противной, заунывной стрельбы, что наполнила вдруг все пространство между нами и танком. Потом так же внезапно, как она началась, эта стрельба кончилась, и в наступившем безмолвии мы приподнялись и увидели, что окружены людьми в белых маскировочных халатах и куртках. Они лежали и сидели, прислонившись к надолбам. Иные дремали, но большинство бодрствовало, и когда мы хотели встать во весь рост, один из ближайших к нам товарищей сказал:

— Сидите, но не выше!

— А где штаб полка? — спросили мы, разглядывая все это странное обиталище.

Нам показали дальше.

— Не приподымайтесь! Ползите — это будет вернее! — сказал тот, что просил не вставать.

Мы переползли в следующее отделение надолбов. Там было тоже кучно, но чуть в стороне сидело несколько человек, и один из них смотрел на карту, положенную на колени.

— Где штаб полка? — спросил я, видя, что положение здесь действительно необычное.

— Перед вами! — сказал человек с картой.— С кем имею честь говорить?

Мы назвали себя. Он слышал про нас.

— Видяшев,— назвал он себя.— Штаб здесь. Что вы хотите еще знать?

Через несколько минут его настороженность прошла. Он уже посмеивался, и мы увидели, что это человек несгибаемой воли и большой смелости. Когда он посвятил нас во все особенности своего положения, он сказал:

— Видите вот этот холм? Это конец моей позиции. За ней насыпь окружной дороги, дальше город. Но все это пространство пристреляно, и тут трудно ходить во весь рост. Они уже окружали меня два раза вчера, но я занял круговую оборону и отбил их. Меня они не возьмут! У меня есть еще два танка. И при их помощи я твердо держусь здесь. Каковы ваши намерения?

Мы открыли ему свои сердца. Саянов сказал, что он горд, что попал в такую боевую часть. Пока мы мирно разговаривали, а пули посвистывали поверху, иногда ударялись в соседние сосны,— с грохотом, как на параде, появился новый танк, и из него вылез комиссар дивизии; тяжело переваливаясь от одного надолба до другого, он добрался до Ведяшева, который был командиром полка, и они начали разговор о том, каково положение и что надо предпринимать.

Увидев нас и неприятно удивившись, комиссар сказал:

— А вас я попрошу вернуться на мызу Лиматта, потому что здесь будет жарко этой холодной ночью...

— Мы останемся лучше здесь, чем тащиться по снегу ночью,— сказали мы.

— Ночь светлая,— сказал комиссар,— я захвачу вас, и вы поедете на танке...

— А когда вы отсюда поедете обратно?

— Вот чего не знаю, того не знаю...

— Я жду, что к утру меня снова возьмут в окружение,— сказал Видяшев.

— Вот видите! — комиссар сделал неопределенное движение.— Вам надо уходить.

— Саянов останется,— сказал Виссарион тоном, не допускающим возражения.

— Почему? — сказал комиссар.

— Потому, что я должен отвечать за левый фланг! — сказал Виссарион.

Никто не засмеялся.

Комиссар спросил Видяшева, как будто не слышал ответа Саянова:

— Сколько у вас штыков?

— У меня...— сказал Видяшев и задержался, как буд-

то подсчитывал, сколько у него осталось, и сказал очень просто, без всякого нажима: — У меня сто штыков!

— Я остаюсь! — упрямствовал Виссарион.

— Сто первый штык! — сказал Видяшев и прямо взглянул в глаза комиссару.

— Хорошо,— решил комиссар,— пусть он остается, а вы,— он показал на меня и корреспондента морской газеты,— вы уйдете в лес, за мызу Лиматта.

Мы поняли, что бесполезно прекословить. Мы сказали:

— Тогда мы идем сейчас. Нам шагать не так мало! И по пустому лесу!

— Дайте им гранаты,— сказал комиссар,— провожатый у вас будет!

Из-за надолба поднялся невысокий, коренастый боец в белом халате.

— Гранаты пригодятся,— сказал он.— Пошли!

Мы вынули наганы и двинулись цепочкой мимо танка, стоявшего наверху прогалины, и вошли в лес, полный голубых теней и черных валунов. Темные пятна на снежной тропе походили на пятна замерзшей крови. Мы шли и шли, как будто весь мир стал одичалым, настороженным лесом, где за каждым деревом грозит смертельная опасность. Огромная луна следила за нашими фигурками, скользившими среди исполинских сугробов.

Так Саянов стал сто первым штыком, и через день об этом знал весь выборгский передний край.

6

Раз перед закатом солнца мы пошли с Виссарионом прогуляться и поговорить на воздухе о событиях последних дней. Мы вышли из нашей палатки и пошли по направлению к ручью, который неподалеку протекал в лесу.

За разговором мы не заметили, как дошли до ручья. Тут мы остановились. И вдруг поймали себя на том, что мы прислушиваемся к тишине. Она окружала нас со всех сторон. Прямо перед нами возвышался взорванный мост. Он был небольшой, и силой взрыва далеко раскидало куски цемента, а толстые, гнутые металлические крепления, позеленев от сырости, свисали в воду с двух сторон. Они походили на стебли исполинских лилий, которые вонзились в розовый снег, и снежные завитки вокруг них напо-

минали цветы. По склону снежного берега красноармейцы вели на водопой коней. Они спускались к сверкавшей синей воде под мостом, останавливались у полыньи, сняв зеленые каски, зачерпывали ими воду, и кони жадно пили ее. Кони были черные и рыжие. Они были очень красивы на белом снегу. Были очень красочны и красноармейцы в желтых полушубках и зеленых ватниках. Кони казались животными из мифологического мира. Голубевший и розовевший на закате снег окружал их, как на картинах Рериха.

Мы стояли молча, упоенно смотря на эту буйную картину закатного пейзажа. А над лесом вдали висела красная ровная полоса, которая все усиливалась в цвете, по мере того как наступали сумерки. Это не закат горел там, над лесом. Это горели предместья Выборга. Белофинны поджигали каждый вечер ближайшую к нам сторону новой улицы, и дома Кангасранты, Киисела, Карьяла горели до утра, чтобы свет пожара освещал пустые пространства перед ними и чтобы наши бойцы не могли незаметно просочиться на улицы предместий.

Мы шли обратно к своей палатке и невольно оглядывались на это ставшее теперь уже ярко-красным, коралловым зарево над притихшим, пустым городом. Все жители были эвакуированы еще до начала военных действий.

И вдруг Виссарион заговорил о Дудко. До сих пор мы не говорили о смерти замечательного танкиста, потому что я знал, как тяжело Саянову вспоминать об этом. Все в армии любили Дудко — легендарного человека, выдающегося танкиста, о котором говорили, что он владеет танком, как скрипач владеет скрипкой.

Федор Михайлович Дудко, Герой Советского Союза, сражался неукротимо. Раненый, он продолжал вести бой. Окруженный врагами, он выбивался из кольца, он вел пехоту на доты; казалось, что никто не может остановить этого удивительного мастера, под рукой которого танк творил чудеса.

В одном бою он был очень тяжело ранен. Саянов, идя со мной по лесу, рассказывал мне о том, что я знал, но о чем никогда не расспрашивал Виссариона. Теперь он говорил об этом сам. Он говорил волнуясь и так тихо, что порой я не разбирал его слов.

Саянов узнал, в каком медсанбате Дудко, но дорога туда была так трудна, что приехал только ночью и вошел в медсанбат в тот ночной час, когда после тяжелого дня лю-

ди уже едва стоят на ногах, а все еще длятся и длятся срочные операции, все несут и несут раненых на операционный стол, все новые и новые потоки крови пятнают снег вокруг.

Саянов искал Дудко в палате медсанбата. Нигде его не было.

«Он только что умер, ну, всего несколько часов назад»,— сказали ему.

«А где он?» — спросил дрожащим голосом Саянов, зная, что здесь не город и нет отдельных помещений для умерших.

Тогда один работник медсанбата спросил, чего он хочет. Саянов сказал, что он хочет видеть своего друга. Человек понимающе взглянул на Саянова, вывел его из палатки на свежий воздух и показал ему дорогу в лесу:

«Идите прямо, слева будет просека, идите по ней, там поляна—туда мы временно кладем их... Там и он!»

Саянов пошел, куда показали. Он шел, ни о чем не думая. Мороз обжигал щеки, сосны вокруг казались фантастическими деревьями из сна, снег хрустел под ногами, дорожка, казалось, никогда не кончится. Он вышел на поляну и увидел, что она стала последним пристанищем тех, кто завершил свой воинский путь. Они, как усталые люди, лежали, прислонившись к соснам, и луна скользила по их бледным лицам. Саянов содрогнулся, как он сказал, когда обвел глазами это собрание лежащих и полусидящих, но он так был полон необычайного волнения, что пошел по поляне медленно, ища того одного, который был нужен его сердцу в эту неправдоподобную ночь. Иногда ему становилось так тяжело, что он садился на сугроб и сидел неподвижно. Отдышавшись, он шел дальше. Он нашел того, кого искал. И тогда, рассказывал он мне, он почувствовал, что, если будет говорить со своим другом как с мертвым, ему будет плохо на этой поляне, в этот глухой ночной час. И он сел рядом, обнял Дудко и стал говорить с ним как с живым. Он говорил ему о нем и о себе, он сидел долго, не ощущая холода, ничего не ощущая. Ему казалось, что он сидит так уже много времени. Он поцеловал мертвого друга, и слезы брызнули у него из глаз. Он сидел и плакал, и слезы застывали на морозе.

Он не помнит, как встал, как еще раз простился с героем танкистом и пошел, медленно побрел по просеке. Он не помнит, как дошел до медсанбата, где о нем беспокоились, думали, что он уехал. Он остался ночевать у друга-докто-

ра, и тот уложил его на ящиках из-под медикаментов. Пришли санитары и сказали, что есть свободные носилки. Саянов посмотрел на них осоловелыми глазами и вдруг совсем проснулся и сел. Носилки, оставленные санитарами, были в черных пятнах замерзшей крови.

Доктор позвал санитаров и велел им унести эти носилки.

Все это рассказал мне Виссарион, и пока он рассказывал, и закат и зарево пожара слились и окрасили небо в ярко-кровавые тона. Саянов долго смотрел на этот трагический пояс над лесом, на черный лес и на снег, на котором играли отсветы дальнего пожарища. Он сказал:

— Помнишь, перед началом этой войны мы вспоминали старую войну, войну, которая была в 1808—1809 году? Не кажется тебе, что как та война предшествовала войне двенадцатого года, так эта война будет предшествовать новой великой отечественной войне? Очень странно это совпадение, но я обратил внимание на то, что сближает времена. Боюсь, что очень скоро мы будем свидетелями страшного бедствия. Мы же с тобой люди, знающие военную историю. Ты согласишься со мной, что повторение будет, не может не быть. Фашисты ставят на карту все. И как подвиги, совершенные в войну 1808—1809 года, побледнели перед масштабами битв и побед 1812 года, так и эта кампания, такая странная, удивительная и неповторимая, забудется, побледнеет перед масштабом гигантских битв, какие разгорятся в будущем столкновении. Скажи, что я не прав?

— Ты прав, по-моему,— сказал я.— Это грустно и страшно сказать, но у меня тоже предчувствие, что долго будут зарева светить на нашем пути, пока мы не придем к последней победе!

И мы пошли к нашей палатке, не оглядываясь больше на красное полотнище в небе над Выборгом.

Теперь, когда я вспоминаю те далекие дни, я не могу не вспомнить и того Саянова, который был таким настоящим боевым товарищем, таким смелым и замечательным человеком, о котором можно рассказывать несколько дней подряд. Позже я написал стихи и посвятил ему. Теперь я прозой кое-что добавил к тем стихам, где описана палатка под Выборгом.

СЕРДЦЕ ГОР

С моим другом, ученым-горцем Юсуфом Шовкринским, я вволю надышался сладостным воздухом высокогорных лугов Шахдага.

Когда мы вернулись в Ахты на короткий отдых, Юсуф спросил меня, как мне понравилась поездка. Я вынул свою записную книжку и прочел ему страничку, где было написано:

— «На этих лугах можно отдохнуть душой и телом. Прилив необыкновенной радости охватывает все твое существо, когда видишь, как, оживляясь, теплеют и розовеют каменные плечи исполинского Шалбуздага, как прозрачные, голубоватые облака легче легчайших кашмирских шарфов стелются у отвесных стен Каракая, точно невидимые плясуньи водят там воздушный хоровод и машут своими покрывалами перед лицом суровой горы.

Лежа у костра под звездами на пустынном лугу, можно испытать настоящее волнение, чувствуя себя приобщенным к тайнам горной ночи, в сияющем холоде и безумной тишине которой зелеными огнями начинает играть и колдовать под луной алмазная высь снежных высот Базардюзи...

Я видел Куруш, про него говорят, что это самое высокое селение в мире, закинутое к звездам. Куруш сам походит зимой на гору, потому что снега заваливают его так, что не видно никаких признаков человеческого жилья. Я бродил с пастухами, удивляясь с каждой зарей чуду ежедневно обновляющихся трав на бесконечных пастбищах Шахдага, ручьям, замерзавшим каждую ночь, висев-

шим, светясь, как длинные мечи, оттаивавшим каждое утро и снова начинавшим свою серебряную песню.

Наглядевшись на бесчисленные отары, вдосталь наговорившись с пастухами, охотниками, зоотехниками, до одури нанюхавшись дыма кочевых костров, искусанный блохами, неистребимо живущими во всех кошмах пастушеских юрт, нагонявшись по пастбищам, я направился на север, чтобы отдохнуть после всех странствий в гостеприимной долине Самура...»

Юсуф закачался всем своим большим телом и засмеялся, обнажая широкие, белые, сверкавшие от постоянного жевания чеснока зубы.

— Ты хочешь так кончить рассказ о наших странствиях? — сказал он.— Звезды и блохи — это хорошо, это мне нравится. Жизнь полна чудес, но побереги перо и не говори, что это конец. Ты увидишь еще не раз удивительные вещи. Не забудь, что завтра после обеда мы отправляемся вверх по Самуру, по долине, которую ты уже назвал гостеприимной. Это правда, тут всюду мои друзья, а в Рутуле хинкал готовит одна хозяйка даже лучше, чем в Куруше. И кони наши завтра придут с лугов...

— А седла? — спросил я.— Где ты достанешь седла?

— Седла принесут завтра. Их делают по заказу, и они будут готовы к нашему отъезду. Раз Юсуф сказал — это верное дело...

Я знал, что для дома отдыха в Гунибе Юсуфу поручили купить в Ахтах двух жеребцов и привести их на север, через горы, в целости и сохранности.

Обед на другой день сильно затянулся, потому что хотя горцы и не гонятся за длинными тостами, но за беседой и хинкалом время летело незаметно. Мы плотно поели густейшей чесночной похлебки с бараниной, заедая круглыми большими катышами из кукурузной муки, наслаждаясь острыми приправами. Хозяева давали последние советы на длинную дорогу. Юсуф принимал поручения в Кази-кумух и в Махачкалу. Пили снова во имя дружбы, и наконец, когда принесли хурджины с нашими вещами, я понял, что мы действительно сейчас встанем и покинем этот дружеский дом и городок, прилепивший старенькие серые дома по крутым берегам двух рек, исстари сливающих здесь свои воды.

Неся хурджины на плечах, совсем по-дорожному, в коротких аварских бурках, в сопровождении друзей и зна-

комых мы направились на небольшую площадь, где нас ждала целая толпа всадников — наших попутчиков.

Одни из них ехали совсем недалеко, другие направлялись в Рутул, третьи — даже в Катрух. Все они громко приветствовали наше прибытие. После короткого прощания с нашими хозяевами мы начали знакомиться с попутчиками. Потом нам подвели уже поседланных двух коней, тех славных скакунов, которых приобрел в Ахтах Юсуф и заранее мне расхваливал. И действительно, я, отступив на шаг, невольно залюбовался ими.

Это были настоящие горские кони, с которыми в горах не сравнятся никакие другие. Они стояли, чуть опустив головы, и тихо жевали трензельные кольца. Легкие, крепкотелые, с высокой, плотной шеей, с небольшими ушами, с неподстриженной гривой, с подтянутым, нешироким крупом, на тонких ногах, с хорошо развитыми сухожилиями и сильной мускулатурой,— они стояли и задумчиво скребли землю копытами.

Кони были жаркой, с золотым блеском темно-коричневой масти. Конь Юсуфа был постарше моего и не первый год ходил под седлом. Мой же конь глядел на меня тревожными большими глазами, нервно нюхал воздух и все быстрее жевал трензельные кольца. Было ясно, что он поседлан впервые. Надо было приготовиться к тому, что он может выкинуть все, что угодно. Еще в пору моей военной молодости я много мучился с необъезженными туркестанскими жеребцами, которые тоже стояли понурив головы, когда их с трудом седлали несколько человек, а потом, закусив удила, превращались в разъяренных, выкидывающих неожиданные фигуры диких зверей...

Я тщательно проверил стремена и подпруги. Навесив на руку камчу, приняв повод от горца, державшего моего коня, я вскочил в седло, и не успели мои ноги попасть в стремена, мой конь сделал такую свечку, так встал дыбом, что всадники невольно попятили своих коней, а я, воспользовавшись этой суматохой, повернул своего жеребца в сторону узкой улочки, куда он и не замедлил рвануться бешеным броском.

Одно мгновение горцы могли видеть, как я мчусь по улочке, к счастью совершенно пустынной в это время. Потом я исчез за поворотом. Я нарочно направил коня сюда. Я знал, что эта узкая улочка приведет нас на мусульманское кладбище. Конь вылетел на кладбище, думая найти простор, на котором он покажет мне всю свою удаль, мчась

безоглядно вперед, но перед ним внезапно выросли ряды каменных памятников, преградивших путь.

В ярости он прыгал налево и направо и всюду натыкался на плоские высокие плиты, словно выраставшие из-под земли, на каменные столбы, увенчанные чалмой. Плит и столбов было так много, что пробраться напрямик между ними не было никакой возможности. Конь вставал на дыбы, съеживался для прыжка, я спокойно давал ему вымотать свою ярость, отдавая ему повод, чтобы он мог делать свечки и, поворачиваясь на задних ногах, снова вставать на то же узкое пространство. Я медленно вел его меж надгробий, чувствуя, как убывает его неистовство. Затратив на первые прыжки всю силу, вымотавшись, натыкаясь на камни со всех сторон, он сам спешил поскорее оставить эту каменную западню, в которую попал так неожиданно.

Мы с ним покружились вдоволь и, пройдя уже почти все кладбище, взобрались на самый верх холма. Отсюда был хорошо виден берег Самура. Толпа всадников медленно выезжала на дорогу внизу, под нами.

Среди всадников в первой тройке я узнал по зеленой фуражке Юсуфа. Он оглядывался по сторонам и остановил коня, когда увидел меня на холме над кладбищем. Он помахал камчой, и этот знак как будто был сигналом для моего скакуна, который, косясь на последние памятники, поистратив свой пыл, хорошей рысью пошел вниз, к реке, помахивая гривой.

Мы появились на дороге, к восторгу горцев, любящих неожиданные зрелища. Юсуф сказал насмешливо, равняясь со мной:

— Зачем ты повел его на кладбище? — Он ткнул концом камчи моего коня в бок.— Это было здорово придумано... Как ты сообразил?

— У меня не было выхода. Чтобы укротить его, надо было его измотать. Теперь он как шелковый. А если бы он помчался прямо по дороге, мы были бы в Рутуле через час, но что с ним было бы завтра, я не знаю... Ему путь был бы только на кладбище...

Кони дружно шли по берегу Самура. Я оглянулся на маленький городок, домики которого как будто стояли на плечах друг у друга, они были какие-то одинаково серые, с маленькими балконами, висевшими над серыми скалами. Виднелись стены улиц-тупиков, каменные столбы ворот.

На выступах над ними я видел нарисованных леопардов, похожих на больших диких котов. Выше домов блестела крыша мечети, кое-где зеленели тополя, яблони, старые вербы.

Надо всем этим подымались горы, на которых лежали тени облаков. Наша кавалькада перешла на шаг. Было приятно смотреть на крепких, тонконогих горных коней, которые уверенно, легко несли нас по каменистой дороге над пенистым Самуром. Было тепло, привычно шумела быстрая большая вода, завихриваясь вокруг черных глыб, встававших посреди русла; с окружающих гор бежали бойкие, светлые, узкие потоки. И от мысли, что я снова в дороге, становилось весело на душе...

Мне нравился этот большой, спокойный день, мои спутники, люди, простые сердцем, ехавшие по самым житейским делам. Мне нравился их неторопливый разговор на ходу, звон уздечек и стремян, скрип черной кожи моего нового, пружинящего седла и горы, непрерывно сопровождавшие нас...

Невольно в памяти начали тесниться отдельные картины моих недавних горных блужданий. Меняя спутников, мы с Юсуфом отправлялись в путь почти на заре, иногда ехали до вечера, не слезая с коней или слезая только на трудных спусках и крутых подъемах. Мы жили жизнью крестьян, затерянных среди бесконечных ущелий. Бывало, что, встретив подходящих попутчиков или женщин, особенно молодых, Юсуф пускал в ход все свое остроумие, и скалы оглашались громким смехом, далеко разносившимся по горам. Бывало, что на ходу мы отдыхали, сидя боком на конях, как на диванах, свесив ноги в одну сторону, как в вольтижировочном седле.

Если случалась переправа, то кони бросались с азартом в гулкую воду и так ловко шагали в клочьях пены меж камней, осыпанные брызгами выше глаз, что было любо следить за их профессиональным искусством горных скакунов.

Потом мы начинали взбираться на немыслимые высоты. Издали казалось просто невозможным, что всадники могут идти по такому отвесу. Но для конного горца нет непроходимых тропинок. Прижимаясь к скале, конь проходил над пропастью. Осторожно ступая, точно выверяя каждый шаг, он был весь насторожен, подобран и в то же время полон сил и уверенности.

Я смотрел вниз налево и видел, что моя нога висит

над пропастью, снизу подымается волна какого-то голубого воздуха, глухо доносится рев реки, превратившейся с высотой в глухое ворчание. Иногда тропа становилась такой узкой, что даже при особом умении уже нельзя было слезть с коня, а надо было довериться его опыту и бесстрашию.

Зигзаги подъемов длились часами и выводили на самый гребень хребта. Здесь с двух сторон перед нами были отвесные скаты по полкилометра, падавшие с каменным равнодушием на дно невидимой долины. Вознесенные перед лицом неба, мы видели узкий, крошащийся гребень, как будто нарочно сделанный для испытания нашей силы воли. Кони ставили ногу за ногу, как будто хотели как можно медленнее пройти этот головоломный гребень, чтобы дать нам возможность окинуть глазом необозримое пространство, заполненное неисчислимым хаосом вершин и хребтов, иных сухо отражающих солнечный блеск, иных окруженных сиянием вечных снегов.

Взор ловил где-то между ними, далеко внизу, металлические блестки — застывшие извивы горных речек. Бездонный провал открывался по-новому, когда гребень был пройден. Адский спуск представлялся глазам путника во всем своем головокружительном величии. И кони спускались, ерзая крупом, пружиня ноги, балансируя над пропастью, как человек, танцующий на канате.

Когда спуск кончался вполне удобной тропой, с которой вы могли спокойно наблюдать окружающее, вы обнаруживали, что всюду по этому обширному пространству гор разбросаны человеческие жилища. Все эти горы населены людьми, которые поселились здесь еще в древние времена, и для них эти скалы так же привычны, как для нас бескрайние грустные поля севера. Но грустная задумчивость наших полей не имеет ничего общего с гордой думой, каменной печалью поднявшихся и застывших над землей гранитных великанов.

В этих лепящихся друг над другом саклях жили люди, которых закрывали облака, заваливали снега, оглушали ревущие потоки, но они разводили на лугах овец, на повисших над пропастью полосках сажали сады, на крошечных полях сеяли яровую рожь, овес, ячмень.

По вечерам, когда мы продолжали свой путь, чтобы хоть к ночи добраться до ночлега, мы видели, как в темноте, плавно закрывавшей горы, и селения, и всадников на тропе, начинали роиться звезды, красновато, остро мер-

давшие в бездне, и уже нельзя было разобрать, где светят огни аула, а где настоящие светила ночи. Эта игра огней была удивительна даже для бывалого путника. Каждый раз она перемещалась по-новому, точно мы находились в планетарии, где по воле специалиста можно было поворачивать звездные миры под самыми разными углами.

Приходилось идти и в полной темноте, когда не видно ушей собственной лошади. Временами она останавливалась, нюхала землю, прежде чем поставить ногу. Иногда кони шли легко, как будто почувствовав, что отдых близок, но я слышал, как их копыта стучат по дереву. Что это было? Утром я нарочно пришел посмотреть на это место. Через узкий овраг были проложены две доски, и по ним ночью прошли кони как ни в чем не бывало.

Если в такой полной темноте вы слышали крик передового: «Ниже голову, ниже голову!» — это значило, что вы должны прижать голову к гриве, иначе вы стукнетесь о низкий свод каменного въезда в аульную улочку, круто поднимавшуюся вверх.

Одной такой ночью, когда темнота была особенно густой, вся вереница всадников часто останавливалась, потому что передовой должен был определять верную дорогу. Он кричал: «Внимание! Справа скала!» Вы протягивали направо руку, и она сразу натыкалась на холодный морщинистый камень, к которому был вплотную прижат конь.

Я знал, что слева пропасть, которая сливалась с темнотой. Во время одной такой короткой остановки что-то треснуло под моей ногой, и я понял, что это лопнула передняя подпруга. Седло было старое, видевшее на своем веку много переходов, и теперь ремень лопнул. Это значило, что на крутом спуске может лопнуть и вторая подпруга и я съеду на сторону, и в какую сторону полечу вместе с конем, никто даже не увидит в этой кромешной тьме.

Тогда я закричал: «Юсуф!» Я не следил, когда было светло, далеко или близко от меня едет Юсуф. Я даже не видел сейчас гривы собственного коня. Юсуф отозвался откуда-то издали. По цепи передали: «Что случилось?» — «Лопнула подпруга!» — спокойно крикнул я. Из тьмы дошел ответ: «Не шевелись. Я иду!»

Спустя несколько мгновений из пропасти слева показалась тяжелая, черная, чернее ночи, фигура. Как он пробрался, вися над обрывом, ко мне, я не представляю. Он вплотную прижал коня к скале. Я, вынув ногу из стремени и поджав ее, дал возможность Юсуфу поймать концы

разорвавшейся подпруги. Мы работали молча. Я слышал только храп коней впереди и сзади. Я прокалывал маленьким ножом, который всегда был прикреплен к кинжалу Юсуфа, новые дыры в старом ремне, а Юсуф продевал в них, вися над пропастью, новые ремешки и связывал их. Наша кавалькада застыла. Как окаменевшие привидения, всадники в черных бурках сидели неподвижно, дожидаясь, когда мы кончим опасный ремонт. Наконец, я вернул ножичек Юсуфу, он проверил ремень, затянул подпругу и, стукнув меня дружески по колену, как будто он был демоном гор, исчез в пропасти.

Мы двинулись дальше, и новый крик передового: «Внимание! Слева пропасть, справа скала!» — я уже воспринял как приветствие друга, не больше.

Такие картины пережитого в горах теснились в моем воображении, когда мы приближались к Рутулу.

Спускался вечер. Наступал тот час тишины и покоя, который в горах всегда удивителен. Вы чувствуете настоящий покой отдыхающей земли. Дальние кулисы гор становятся легкими и сине-туманными, те, что немного поближе, еще хранят отдельные очертания вершин и утесов, самые близкие скалы потеряли свою суровость и резкость. На всем хребте отпечаток задумчивой тишины. Облака, закрывшие дальние вершины, точно застыли, точно кончили свое дневное движение и теперь хотят отдыхать, как горы и люди, там, где их застала ночь.

Еще горит мягким огнем какое-то малое пространство неба, и край пушистого облака как бы вбирает в себя это последнее выражение света, слабеющее с каждой минутой.

Я смотрел на Юсуфа, который был таким добрым спутником и товарищем. В начале нашего знакомства он был похож на горца, ставшего горожанином. Но по мере того, как мы углублялись в горы, характер его стал раскрываться все больше. Я начал уважать его за самую сложность его натуры. Он мог быть самым обыкновенным горцем, который понимает толк в лошадях, любит остроумие, шутку, любит посидеть, поговорить, погулять, выпить, покутить с друзьями, любит женщин, ничего не боится в горах,— и вдруг он начинает говорить об истории, о нравах и обычаях, о природе, и я вижу, как сквозь все это сквозит какое-то поэтическое ощущение жизни. Вдруг он почти жесток, вдруг у него появляется какая-то детская наивность и доброта, которая выражается в поступках, иногда и вовсе неожиданных.

Я знаю, что он литератор, пишет статьи по истории гражданской войны, по истории лакского народа, он публицист и критик. Бывалый горец — это прозвище ему нравится. В моем представлении он действительно по-народному хитрый, умный, ученый Юсуф. Я ему верю, потому что в горах, когда нам приходилось и трудно и сложно, он показал свою смелость, свое умение быть на высоте в самых необычных обстоятельствах.

Я вспоминаю, как он бежал по тропинке из Куруша в дымящейся от пота рубахе, по шатающейся горе — есть там такая странная гора,— и я смотрел на его плотное, красное, большое лицо и видел, что он доволен.

Он не взял лошади у бедняка, которого председатель аулсовета хотел заставить отдать на три дня лошадь Юсуфу, а эта лошадь, к тому же худая, плоскобокая, была до зарезу нужна бедняку. Других лошадей свободных не было, и когда Юсуф получил эту лошадь и уже хотел отправиться в путь, явился бедняк и начал выражать свое недовольство. Не знавший до этого, откуда взялась лошадь, Юсуф немедленно слез, вручил лошадь хозяину и пошел пешком за нами следом, когда мы выехали из Куруша, и шел целый день, пока мы не нашли для него другой лошади.

Ему было странно и трудно идти за всадниками, но его упорство равнялось его гордости, и он шел, весь мокрый, но не унывая, рассказывал анекдоты или соленые горские сказки или запевал лихую, молодецкую песню.

Юсуф — неутомимый рассказчик. Он может рассказывать на дороге, среди всадников-горцев, может говорить вечером за ужином, может наедине повествовать обо всем, о чем угодно,— о гражданской войне, в которой он участвовал почти юношей, подростком, о бытовых случаях из аульной жизни, о Махачкале, о своей дерзости и насмешливости.

Он рассказывает:

— Слушай, как старая жадность живет в людях. Спекулянт привез в аул облигацию, которая выиграла, золотого выигрышного займа, скажем, серия 17-я, билет 036116. Керимов, скажем так, предлагает купить половину талона Мухтарову, скажем. Справились по газете — облигация выиграла. Мухтаров, значит, пошел требовать половину — пять тысяч рублей. Тот не согласился отдать. Начали ссору, стали драться. Один убил другого. А на суде выяснилось, что они ошиблись серией, так замусолили

газету, что нельзя было правильно видеть цифру. Как тебе нравится?

Другой раз он останавливает коня у одного хутора.

— Смотри — это было здесь во время гражданской войны. Я, как сейчас, мимо ехал. Вижу — дерутся кинжалами семь-восемь человек. Один убил соперника, отрезал голову. Мы спрятались; видим, со скалы на драку смотрит женщина; увидев, что убили ее мужа, она толкнула огромный камень, он упал сверху и раздавил убийцу. Валлаги! Что бывало! Я говорю правду, можешь верить...

Про времена гдажданской войны у него много рассказов. Он был молод, горяч, храбр, неопытен.

— Знаешь, когда Нажмутдин Гоцинский поднял восстание, мы пошли на него. Разными отрядами окружали. А наш отряд вышел на высоту, кругом снег. Смотрим — захватили врасплох. Они стоят в шубах, толпой, кто сидит, кто даже лежит. Мы — в атаку, а это они, сволочи, шубы одни оставили вместо себя, а сами сбоку засаду устроили, подпустили на восемь — десять шагов и начали нас на снежном скате открытом расстреливать.

Мы отступать, а куда? Кругом все снег, голо, я был в романовском полушубке. Я — с обрыва прямо в снег. А там, за снегом, осыпь, каменистая, черная. Я о нее здорово расшибся. Внизу Койсу, что будешь делать? Как был, вошел в воду, ледяная пена как ударит в плечи, в лицо — сразу замерзает. Но я вижу: на берегу остался раненый начальник пулеметной команды. Ах, думаю, Юсуф, наверное, это твой последний день! Но, знаешь, я из реки вылез, взял начальника под мышки — и снова в реку. Думал, конец,— нет, перешли. А началась метель, мороз, в крови мы оба. Я выкопал яму в снегу, перевязал его, у меня были спирт и мука жареная, ты ее ел, она как пемикан, с травами, с мясом толченым. Очень питательная. Отлежались...

А нажмутдиновцы тех, кого захватили в плен, всех убили и расставили на крышах аула, чтобы обмануть красных, что, мол, аул уже занят красными. Но этот обман мы раскрыли. Зато когда взяли аул, пощады никому не дали. За коварство прощать мы не могли. Знаешь, как дрались,— мужчин и они и мы били насмерть. Женщин и детей не трогали. Потом были аулы — одни женщины остались! И дети! И плохо и хорошо нам было. Раз в разведке с одним бродягой я встретился. Голодные оба мы, холодные. Он говорит,— а я не знал, что он бывший бан-

дит и только красным притворился,— «Давай, говорит, пойдем в аул, он нехороший для красных, но турок они боятся. У меня турецкий бинокль есть, я на шею себе повешу, сойду за турецкого офицера, а ты будешь мой денщик». Приходим в аул. Он нагло кричит, требует есть. «А это кто?» — спрашивают про меня. «Он мой денщик, но, сукин сын, ленив!» Как даст мне такую затрещину, что я едва на ногах устоял. А все смотрят. «Иди, говорит, за этим горцем, он тебе достанет для меня кушанье». Я пошел, действительно переночевали хорошо, поели, выпили, пошли наутро дальше, спасенные от опасности замерзнуть в горах. Отошли подальше, я остановился, говорю: «Зачем так сильно меня ударил вчера?» А он, нахал, хохочет: «Потому что иначе они бы не поверили, что я турецкий офицер, а ты мой денщик...»

«Ну, так я тебе половину должен вернуть»,— сказал я и так ему дал, что он под гору покатился, встал, мне кулаком машет, а я как будто догадался, что он бандит. Свой разве позволил бы себе такое! Его потом за грабежи в Буйнакске хлопнули... О, много, много можно рассказывать о гражданской войне! Мы были, знаешь, как сторожевые псы революции. Так себя называли! Стерегли против всех врагов завоевания Октября. Эти горы я наизусть знаю...

Он говорит на привале, на ходу, вечером в том доме, где ночуем. У него неиссякаемый юмор Ходжи Насреддина и что-то от горского воплощения Кола Брюньона. Он лиричен и по-народному простодушен. Я понимаю, что его природный юмор помогает ему жить.

Он большой задира. Со смехом он рассказывает:

— Слушай, ехали мы однажды с заседания из Махачкалы. Извозчик — цудахарец. А компания — слушай: один — скряга, собрал в карман все остатки хлеба, что были на тарелке в гостинице, другой любит поспорить, его не корми три дня, дай только поспорить, а третий — это знаешь какой человек: он в прошлом сельский учитель, потом стал завбанком, большой любитель женщин, служил в Наркомздраве, сам для себя собрал консилиум, чтобы узнать, здоров он или нет,— вот он ехал. И вот я решил их разыграть. Тот, что любил спорить, сейчас же попался на удочку, заспорили до драки, остановил цудахарец линейку, они вылезли на дорогу, друг на друга с кулаками. Успокою их — они влезут на линейку, едут тихо. Потом этот, что хлеб собрал в карман, он из аула Каче, а там все отходники в старое время занимались нищенством

как профессией. На это намекнул принципиальный человек, что любил спорить, я его поддержал, опять спор, опять остановка, драка, опять совершим масляхат, я их помирю, как отъедем — снова спор, такой спектакль всю дорогу, как в театре. Уже цудахарец сам останавливает лошадей, как у нас снова до драки доходит. Он вошел в курс дела, а лошади, знаешь, и те стали понимать, когда надо остановиться.

В общем, вижу, они уже утомились, пыла уже у них нет, думаю: ну ладно, повеселимся в другую сторону. И такой зашел спор у нас: разве цудахарцы — люди? Тут они все объединились. А наш тихий извозчик терпел-терпел по своему адресу, а потом с таким, знаешь, треском, с каким рвутся гнилые штаны, он выхватил кинжал в полтора метра, валлаги, честное слово! Лошади остановились. Сельский учитель бросился под линейку, вопя: «Спасите!» Кто в кусты, я сам испугался — вдруг кинжал в ход пойдет. Уговорил цудахарца. Он сказал: «Пошли вон! Вы меня оскорбили, не повезу дальше». Тут я ему разъяснил, что это было в шутку, никто не хотел его обидеть. Сельский учитель вылез из-под линейки, все уселись, ехали молча до аула, в ауле разошлись не прощаясь. Человеческая комедия! Людей, знаешь, надо переделывать. У нас в горах старого много. Я в театрах не бываю, но тут такой был театр — я всю дорогу до дому как вспомню, так хохочу! Всю дорогу один хохотал. Как вспомню, не могу удержаться...

...Мы ночевали в Рутуле. Действительно, Юсуф оказался прав, рутульская хозяйка приготовила такой хинкал, что все — и хозяин и гости — пришли в самое доброе расположение духа. Юсуф не был любителем длинных провозглашений, но здесь он встал и сказал:

— Друзья и товарищи! Я скажу своими словами стихи нашего лезгинского поэта Эмина, который провозгласил, что с одной женой очень хорошо жить, раз она одна хозяйка в доме, очень хорошо жениться не мальчишкой и не пожилым, хотя это тоже хорошо, но лучше так, в средние годы, тогда вам обоим — и тебе и жене — хорошо!

Мы выпили за здоровье хозяина и хозяйки. Но Юсуф продолжал, подмигивая мне:

— Но мы живем в дружбе народов. Есть в каждом доме в горах женщины-хозяйки. Выпьем, друзья, выпьем, друг,— сказал он мне,— за известную тебе красавицу Куруша с ее толстой шеей, которая мне с тобой готовила за-

мечательный хинкал, за кулинку с ее трехэтажной овчинной шубой, за цудахарку с тяжелой серебряной тесьмой, андийку с ее высоким чахто — пусть поскорей снимет его,— за цумадинку, цунтинку, анцухо-капучинку, годоберинку, балхарку, кубачинку, кумычку, лезгинку, лачку, аварку... ох как их много, десяти молодостей не хватит на них всех...

Поздно разошлись в Рутуле на покой в тот вечер. Пели, конечно, старые и новые песни. На дворе было холодно, и заря уже окрасила снова четкие и далеко видимые вершины Сурфун-Яла, когда, позвякивая уздечками и стременами, поредевшая сильно кавалькада двинулась дальше, теперь уже навстречу Кара-Самуру.

Отдохнувшие кони, потряхивая гривами, шумно вдыхали холодный воздух и рвались перейти на галоп, но мы шли широкой рысью, и я любовался нашими конями-близнецами, которые вели себя сегодня сдержаннее, чем вчера.

Я вспомнил, как мой конь рванул с места в Ахтах и как я его обманул.

А теперь он, увлеченный кавалькадой, ведет себя как полагается и не пробует дурить. Я смешил Юсуфа рассказами о бешеных туркменских жеребцах, не понимавших военной службы...

Мы продолжали наш путь вверх по долине Кара-Самура, которую западные путешественники считают похожей по своей красоте на одну из долин Итальянских Альп. Каждый поворот дороги действительно открывает все новые и новые прелести в очертании гор, в березовых рощах, неожиданно являющихся на горах, в зелени, которая оживляет берега.

Путники наши все отставали и отставали, и наконец, когда мы подъезжали к Ихреку, мы остались вдвоем с Юсуфом на широкой и ровной дороге. Мы делали остановки в Амсаре, в Лучеке, в Джилихуре, так как никуда не торопились и хотели посмотреть как можно больше и как можно больше повстречать народу и поговорить с ним.

В Ихреке мы задержались недолго. Когда по хребту стали, зыбясь, спускаться облака, закрывая до половины склоны, мы уже подъезжали к Катруху. Там старики в больших, всклокоченных рыжих папахах, в накинутых на плечи бараньих тулупах, беззвучно перебирая четки узкими, восковыми руками, на которых вились синие жилы, долго обсуждали с Юсуфом, какой дорогой нам лучше перевалить через горы.

Они медленно говорили, много молчали. Думали, поглаживая широкие, веерообразно подстриженные бороды, пока наконец один из них, самый сухой и широкобородый, в черной папахе, не сказал, как бы подводя итог совещанию:

— Иди только через Чультидаг — пройдешь хорошо. Пойдешь через другие перевалы — сам пройдешь, коней погубишь. Снегу много там. Чультидаг в этом году стаял раньше. Иди Чультидаг...

И мы пошли на Чультидаг.

Пройдут годы, этой дороги на перевал уже не будет. По выверенному на всех поворотах шоссе с мостами и указателями помчатся комфортабельные машины, сидящие в которых будут равнодушными глазами следить за быстро сменяющимся пейзажем, думая о своих делах и совершенно не обращая внимания на прозрачный воздух высот, не чувствуя гор, запаха земли, дуновения ветерка, принесшего со снежных полей привет высот.

Лучше всего в погожее утро идти пешком, останавливаясь и наслаждаясь радостью, которую открывают горы человеку, заставляя глубже дышать, глубже всматриваться в игру облаков над утесами, в игру теней в расщелинах, в чудодейственную панораму каменных нагромождений, меняющуюся на глазах.

Но и верхом на крепких конях, ранним утром оставив пахнущий пряным дымом аул с его пробуждающимися голосами, хорошо ехать, никуда не спеша, медленно покачиваясь в удобном, новом седле.

Вдруг мой конь, как будто его ударили камчой со всего размаха, начинает так ускорять ход, что я не могу его сдерживать. Он уже мчится, спешит куда-то вперед, влекомый неизвестной мне силой.

— Эй,— кричит мне Юсуф,— тахта, тахта! Держи, держи, куда мчишься!

Я с трудом останавливаю своего скакуна и дожидаюсь Юсуфа. Он равняется со мной, и мы едем, переговариваясь. Наши кони идут ровно, голова в голову, вдруг опять скачок, и мой жеребец, раздув ноздри, скачет, как на скачках, и я опять ничего не понимаю.

— Таба, таба, держи! — кричит снова вдогонку Юсуф.

Я снова сдерживаю коня, и Юсуф, догнав меня, говорит:

— Что происходит? Ты его загонишь до перевала! Тут, брат, нет под рукой мусульманского кладбища...

Через несколько времени снова повторяется та же история. Я ничего не понимаю.

И вдруг Юсуф разражается своим насмешливым лакским хохотом. Он хохочет во все горло.

— Посмотри! — Он показывает, вытянув свою камчу вперед.— Там же какой-то чудак едет на кобылке! Кто из горцев сядет на кобылку? А этот сел,— видно, нужда заставила. Вот твой храбрец чует кобылку, и как ветер ему в ноздри ударит, он сразу бросается вперед. Потом он ее теряет из виду, успокаивается,— опять она, он ее слышит и видит, и опять скачка. Так дело не пойдет... Остановимся. Пусть чудак отъедет подальше...

Кобылка исчезает. Мы одни в пустыне перевального подъема. Петли дороги закручиваются все круче и выше. На одном повороте наверху появляется кобылка. Мой конь делает судорожное движение и рвется вперед. Это просто ни к чему. Я говорю ему, как Юсуф:

— Стой! Так дело не пойдет!

Я выбираю небольшой уступ, с трех сторон обрывы. Я слезаю, перекладываю повод так, чтобы он резал рот вместо мундштука, которого нет, влезаю на коня и резко его останавливаю. Выше меня подымается Юсуф. Он останавливает своего коня и смотрит, что будет.

— Будет представление! — кричу я, приготовившись.

Вверху, высоко над нами, на повороте, показывается кобылка. Мой конь, сдержанный мною, делает свечку. Но кругом обрывы. В ярости он опускается на то же место, где стоял, и наклоняет голову. Я знаю, что сейчас он со всего размаха ударит меня головой. Я отклоняюсь всем корпусом назад и, когда он бьет головой, ударяю мягко кулаком ему меж ушей, и он кричит от бешенства. Снова он крутится на месте, снова хочет ударить меня, но у него ничего не выходит. Так мы боремся между обрывов. Он косится в обрыв своим диким глазом, пена уже висит на трензелях, повод рвет рот, так как я передергиваю его. Наконец кобылка исчезла где-то в высях перевала. Ее больше не видно на поворотах. Я даю коню ход, и он хочет мчаться, но высота берет свое. Подъем крут! Постепенно конь успокаивается, и я вижу, что с каждый часом ему труднее и труднее набирать высоту. У нас нет никаких тяжелых вьюков, но высота уже свыше двух с половиной тысяч метров, и мы видим, что наши скакуны изрядно притомились. Они останавливаются, тяжело дышат, осматриваются, как

будто хотят найти возможность сбежать... Но нет! Надо идти вперед.

Они начинают спотыкаться. Мы слезаем и ведем их в поводу. Последняя тысяча метров дается им с непривычки с большим трудом. Они останавливаются и, зло посматривая на нас, стоят,— они устали, им все трудней идти, но выхода нет.

Мы идем рядом с ними и подсмеиваемся над ними как можем. Они, чувствуя, что их самолюбие задето, начинают ускорять шаг, но скоро выдыхаются и опять стоят. Мы подгоняем их, как ишаков, криками и легкими ударами камчи.

Так мы ползем на перевал.

На широкой площадке перевала нет никаких признаков снега, зато вдали мы видим белые пятна на дальних горах, и внизу, под нашими ногами, лежит уже лакистанская земля, родина Юсуфа. Мы вышли на перевал первыми. Наши кони медленно выходят вслед за нами. Им надо дать отдых.

Мы полны сил. Солнце светит, зеленая трава между камней перевала привлекает наших усталых скакунов. Я вижу над самым перевалом хорошую горку, небольшую, но с такими уютными выступами, что мной овладевает неодолимое желание влезть на нее.

— Полезем! — говорю я Юсуфу.

— Полезем,— соглашается он, и мы начинаем легко и быстро подыматься.

У меня на ногах лезгинские шаламы, купленные по дороге, в ауле Аракхул. Они делаются из толстой шерсти, ткутся, как ковер. У них рисунок должен идти по всему верху. У моих узор не кончен. Женщина не хотела продавать, но у нас не было времени искать других. Мы купили недотканные шаламы. Они хорошо держатся на ноге, у них, как у пьекс, загнутый крепкий носок, в них хорошо лазить по скалам.

С вершинки открывается вид на всю долину, хорошо виден подход к перевалу с севера, кругом горы, новое море гор со снежными и голыми вершинами.

Юсуф кричит нечто яростное.

Я смотрю вниз и вижу, что, отдохнув и пасясь на перевале, наши кони, незаметно для себя обойдя всю площадку, повернулись спиной к северу и начинают медленно, жуя травку спускаться на юг, туда, откуда мы пришли.

Мы скатываемся с горушки с завидной быстротой.

Устремляемся вслед за беглецами. Схватив их за повод, мы тащим их снова на перевал и спускаемся с ними на северную сторону.

Тут, у выходящей из камней крохотной речки, на полянке, заваленной остатками древней морены, мы оставляем коней, как в естественном загоне, а сами занимаем такую маленькую полянку меж камней, с которой нам видны и кони и тропа, ведущая на перевал.

— Мы заработали себе обед,— говорит Юсуф,— теперь скоро отсюда не уйдем...

И мы располагаемся на полянке. Юсуф извлекает из недр своего хурджина баранью ногу, из другого — лепешки и большую бутыль с красной, горящей на солнце жидкостью.

— Что это такое? — спрашиваю я.

— Попробуй, потом скажешь,— говорит Юсуф, наливая мне в кружку красного пойла.

— Это водка! — хлебнув, кричу я.— Но почему она красная?

— Я увидел, в Ахтах вишневый сок продавали. Я для красоты влил туда соку. Так лучше идет. И внимания не привлекает.

Мы отдыхаем, едим и пьем. В поле нашего зрения показывается старик на старом-престаром коне, который, как и старик, кашляет и задыхается.

Увидев нас, старик слезает, кряхтя, со своего чудища, отпускает подпруги, пускает коня пастись, сам идет к нам и тяжело садится на камень.

— Саг-ол-сын,— говорит он,— будь здоров!

Мы приветствуем его. Старик видит, что мы едим. Юсуф спрятал за камень водку. Мы предлагаем старику, такому болезненному, слабому, на тонких ногах, баранины и лепешек. Он охотно берет пищу, отрывая маленькие куски мяса, долго жует их, заедает крошечными кусками лепешки. Ему мешает кашель. Наконец, отдышавшись, он говорит, что едет в Ахты — там, говорят, хорошая вода, горячая из земли выходит, можно купаться, говорят, исцеляет. У него общая слабость и кашель, а так ничего еще, он дома работает немного.

Насчет минеральной воды в Ахтах мы можем сообщить, что вода есть, что она, несомненно, принесет ему пользу, но что до Ахтов еще порядочно, а вот — тут Юсуф принимает загадочный вид — у него есть одно лекарство, которое очень помогает во всех болезнях.

— Вот бы мне его, сын мой,— говорит старик, вытирая старым синим платком вспотевшие щеки.

Юсуф достает бутыль с красной водкой, и старик смотрит на бутыль детски ясными глазами. Его бороденка дрожит, он прячет синий платок и вынимает желтый. Этим платком он вытирает рот, как бы приготовляясь к приему чудесного лекарства. Юсуф наливает ему треть кружки и говорит, что надо пить залпом — иначе лекарство не подействует.

Старик выпивает, становится красным, как бутыль, язык его облизывает губы, он возвращает молча пустую кружку, вздрагивает, как будто ему стало холодно, потом на его лице разливается довольство, он оглаживает бородку, как бы переживая происшедшее, и говорит, сплюнув:

— Очень сильное лекарство. Где брал? В Ахтах?

— Там, там,— говорит Юсуф.— Только, отец, надо закусывать хорошо после этого лекарства.

Старик ест жадно, схватив большой кусок баранины. Он сел как-то боком, посматривает на своего коня, на наших жеребцов, бродящих у реки, потом берет кружку и спрашивает Юсуфа:

— Если еще немного этого лекарства, я, пожалуй, очень скоро поправлюсь. Это волшебный огонь. Вот почему оно красное! Дай еще, если тебе жалко больного старика...

— Пей, отец,— говорит Юсуф, наливая еще полкружки.

После этого приема старик повеселел заметно. Он сел, как в молодости, прямо, стал благодарить и рассказывать свою жизнь. Это была обыкновенная жизнь крестьянина-горца с его крошечным полем, с его скудным достатком, с холодом зимой и жаром летом, на голом склоне вон тех гор — он показал куда-то в сторону Чароды. Он говорил — и слезы висели на его ресницах — про то, как болела и умерла жена, какая была болезнь на овец, как град бил в далекие годы не раз все поле. У него мешались времена и люди... Он просил налить ему еще. Теперь он даже как-то стал выше ростом. Когда мы простились с ним, он взгромоздился на своего коня не без нашей помощи и поехал на перевал, оглядываясь и что-то крича нам, размахивая рукой.

Потом из-за перевала донесся хриплый, гортанный голос, который был слышен хорошо, как бы отражаясь от скал.

— Ты слышишь? — сказал Юсуф, собирая вьюк.— Это наш пациент запел! Валлаги, он поет, послушай...

Я прислушался. В самом деле, пел старик, но так как он начал спускаться с перевала, то его песня делалась все неслышнее и наконец стихла.

Мы пошли за конями, чтобы продолжать путь.

После хутора Чара дорога стала оживленней. Попутчиков у нас и встречных путников прибавилось. Проходили ишаки, нагруженные связками хвороста, с глазами усталых философов; медленно тащили длинные бревна лошади, караван которых растянулся до самого перевала. Это везли столбы для будущей телефонной линии в Казикумухском районе.

К нам присоединялись всадники и пешеходы. Какое-то время они ехали и шли рядом, расспрашивали о новостях, сами рассказывали о своем житье-бытье, потом свертывали в сторону, подымаясь в горы, к своим дальним селениям.

Но один горский мужичок, присоединившийся к нам на очередном привале, был необычайно разговорчивый человек. Выпив нашей водки и поев вдоволь баранины, он так расчувствовался, что начал приглашать нас в гости к себе домой.

Он так хвастал своим хозяйством, своим домом, так обещал нам пировать с нами целый день, чтобы ответить на наше угощение, но Юсуф посматривал на него своими насмешливыми глазами с такой выразительностью, что мне стало ясно — он готовится проучить хвастуна.

Мы ехали втроем, и Юсуф сказал небрежно:

— Посмотри на него и запиши в своей книжке, что среди земляков Юсуфа, ученого-горца, встречаются и простые хвастунишки, над которыми не грех посмеяться. Какой он богач, посмотри на него!..

И действительно, на маленькой лошадке сидел на рваном седле небольшого роста, узкоплечий, в заплатанном-перезаплатанном чекмене, потерявшем счет годам, горец с худым, землистым лицом, в полысевшей шапке, истертых чарыках, в лоснящихся, потертых штанах.

— Мы согласны ехать к тебе в гости,— сказал ему Юсуф.— Хоть это нам и не по пути, но ради друга чего не сделаешь.

Горец горячо поблагодарил за высокую честь, а Юсуф, восхваляя великодушие нашего будущего хозяина, расспрашивал его о семействе, о хозяйстве, о его доходах. Го-

рец отвечал бодро и охотно поддерживал беседу, но через несколько часов пути он заметно сник.

— Поедем к нему, посмотрим, как он будет изворачиваться, как ему всыплет жена, что он привел гостей,— валлаги, целое представление! Далеко ли еще ехать? — спросил он нашего спутника.

Явно потерявший уверенность, горец показал куда-то вверх, и Юсуф спросил:

— Вон за то облако или пониже?

Облака стелились по горе, и горец, не поняв насмешки Юсуфа, сказал грустно:

— Вон за то длинное и чуть правее, где похожее на лошадь...

— Эге,— сказал Юсуф,— что-то ты, брат, загрустил! На самом небе живешь. Туда добираться нелегко...

— Какое легко,— отвечал охотно горец,— там и дороги нет, по голому камню очень плохая дорога, мне даже стыдно, что такая дорога... А потом я вспомнил...

— Что ты вспомнил?..

— Вспомнил, что жена у меня больная женщина, у нее бывают припадки, не знаю с чего, и они повторяются два-три раза в месяц. Она становится очень злой, это внутри ее болезнь, наверно, мучит, и она такая тогда, что хоть из дому уходи. Я подсчитал, как раз это время подошло — припадку быть... Это меня тревожит...

— Может, мы найдем средство ее полечить,— сказал Юсуф.

— Да, я забыл, что сын ушел на ярмарку в Кази-Кумух. В доме нет припасов таких, какие я хотел иметь для вас, дорогие гости. Сын не успеет вернуться с ярмарки. Как быть?

— А как у тебя с крышей? — спросил Юсуф.

— Ты, брат, видишь, как святой! — воскликнул горец.— Крыша протекает так, что иной раз в комнате спать нельзя даже...

— Ну, ничего,— сказал Юсуф,— мы можем на бурках на дворе спать...

Какое-то время ехали молча. У моста мы встретили целый караван ишаков, везших большие, красивые, глянцевитые коричневые кувшины.

— Смотри,— сказал Юсуф,— это наши балхарские женщины делают. У них своя артель. А что, наш приятель, ты совсем сдал, даже похудел? Здесь, что ли, сворачивать к тебе? Ты говорил, у речки...

— Здесь! — отвечал горец.— Только я забыл, что из-за дождей по верхней дороге обвалы и там не проехать. Надо объезд делать... Завтра приедем...

— Ну что ж, гость — раб хозяина,— сказал, захохотав, Юсуф,— поехали!

И мы, к ужасу горца, полезли на крутую тропу и прошли по ней с полверсты.

Видя, что горец сидит в седле совсем понурый и молчаливый, Юсуф остановил коня.

— Слушай, друг,— сказал он громко,— я охотно поехал бы к тебе, но вдруг вспомнил, что у меня дома неотложное дело. Ко мне приедут по этому делу товарищи из Махачкалы. Их нельзя заставлять ждать. Я совсем забыл. Хорошо, брат,— он показал на меня,— напомнил, спасибо ему. Иди один! Другой раз приедем обязательно. Мы теперь путь знаем! Вон за тем облаком!..— Он показал на небо.

— Нет, чуть правее,— сказал горец, еще не веря, что он спасся от большой семейной неприятности.

Он стал так благодарить за дружбу и так жалеть, что мы не можем быть у него в гостях, что доставил Юсуфу истинное удовольствие.

Мы расстались с горцем, который бодро погнал своего задрипанного коня в гору, а сами вернулись на дорогу к мосту.

— Я хотел, знаешь, наказать его — поехать к нему, но потом подумал: зачем обижать человека, ставить в дурацкое положение? И так ему невесело живется, одни лохмотья. А дома пусто. А теперь он едет веселей, дома расскажет, как с нами странствовал, как кутил,— врать будет три дня. И ему хорошо, и тем, кто слушает, интересно...

Мы были уже в стране лаков, которых не помню кто назвал гасконцами Дагестана. В ней много гор, мало пастбищ. Лакские пастухи должны были уходить далеко от своих мест, чтобы найти прокорм своим отарам овец. В дореволюционные времена лаки в большинстве уходили в города и особенно в Баку, чтобы найти заработок. Пестрота профессий, которыми занимались местные жители, была необычайной: от канатоходцев и силачей до сапожников, от лудильщиков до суконщиков, от кузнецов до ювелиров.

За Хосреком нас нагнал необычный всадник. Мы видели его в Катрухе, но он остался там и только сейчас, на-

гнав нас, решил продолжать путь с нами. Это был ашуг, называвший себя Искандером. «Человек поэтической и несчастной жизни» — так отрекомендовался он нам в Катрухе.

— Поэт родится и умирает несчастным,— сказал он.— Если он не сумеет преодолевать несчастья, он недостоин именоваться ашугом. Я рано начал слагать песни, как все ашуги, я состязался с другими в молодости и отбирал от них кумузы. Они бежали с позором с этих состязаний. Я жил хорошо, не буду скрывать. Меня знали даже в Азербайджане. Я немолодой человек, но песня не стареет. Я могу повеселить молодых, дым коромыслом будет, я разбужу молодое чувство в старых, кровь заиграет, как спою им, я утешаю старцев старинными песнями, где сражаются и умирают удалые люди старых времен. Я все могу. Я могу рассказать такой анекдот, что мертвый встанет на минутку. Но это все, конечно, сегодня не так, как было. Что я сейчас? Кто я сейчас? Я бродяга, вот лошадь, вот бурка, вот кумуз, вот пустой хурджин, и только сердце и память полны песен. Я уезжал по делам в Азербайджан. Вернулся — все отобрали, дом отобрали, лучшую лошадь увели, жена умерла. Говорят, ты кулак, меня раскулачили. Стада нет, лошадей нет, дома нет. Что делать? Я взял дочерей, отвез их тетке в Кубу и стал бродягой. Люди не верят — смеются: ашуг Искандер попал в кулаки. Искал объяснений. Говорят: богач, кулак! Делиться надо с народом тем, что нажил. А! Я — бродяга. Плох ашуг, который не стал выше несчастья. Еду в Кази-Кумух, сказали: видели, там на базаре продают мою любимую лошадь. Поеду за ней... А по дороге разве нет людей, нет аулов, разве не любят песни? Всюду будет ничего, ашуг Искандер не пропадет...

Он был неопределенных лет, что-то властное было в его ястребином лице, в серых пронзительных глазах, в глухом голосе, каким он пел множество песен, хранившихся в его удивительной памяти. Статный, в ловко сидевшей на нем старой, но чистой и опрятной одежде, на коне тоже не первой молодости, но сильном, похожем на туркменского карабаира, ашуг ехал, привлекая внимание встречных. И он охотно заговаривал с людьми, всегда находил шутку, всегда производил впечатление. Было ясно, что такой человек всегда будет желанным гостем в любом селении, куда приедет, и всюду ему обеспечен хороший прием. Он справлялся по дороге, где играют свадьбу, где похороны,

где просто гулянье, где живут люди, которые не прочь повеселиться, и все это находилось, и всюду ашуг входил в дом то с озорным криком, то с почтительной улыбкой, то грустный и сосредоточенный перед лицом смерти.

Его слушали затаив дыхание, угощали обильно, стлали хорошую постель, дарили деньги и подарки.

Когда я спросил Юсуфа, много ли поэтов в его родной местности, он сказал, широко обведя рукой полукруг гор: посмотри, в каждом ауле, в каждом — литератор (он так и сказал «литератор»), в одном — даже двое, в другом — уже старый, в третьем завтра родится. И все поэты...

— А это? — спросил я, показывая на нашего спутника.

— Это совсем другое, это ашуг! — Юсуф засмеялся простодушно.— Это уже старина. Это вчерашний день. Привидение прошлых времен. Наследие...

И действительно, мне иногда казалось, что перед нами ожило воспоминание, и так странно было видеть ашуга скачущим рядом, как если бы это скакал один из мюридов Шамиля или персонаж из романов Марлинского.

В Кули мы ночуем у бывшего лудильщика, старого, ворчливого человека. Он пасет овец кулинского колхоза. Возвращаясь в свой дом, он предается воспоминаниям о том времени, когда он жил в Баку и работал в одной артели. Артель закрыли, в городе ему нечего было больше делать. Он вернулся в горы, и так как по сельскому хозяйству он ничего делать не может, то ему предложили пойти в простые пастухи, чтобы оправдать свое существование в колхозе.

Мы сидим в комнате, освещенной керосиновой тусклой лампой. Комната полна городских вещей: граммофон, часы с кукушкой, стоит пыльная швейная машина, на стене висят бакинские виды — олеографии, привлекшие сердце хозяина неестественно яркими красками моря, города, гор. Хозяин открывает шкаф и горестно держит дверцы настежь, чтобы мы могли рассмотреть, что он хочет нам показать.

Но так как в шкафу много всякого старого платья, то он снимает с вешалки и выносит под лампу темно-синий городской костюм, отутюженный и хорошей сохранности,— пиджак, жилетку, брюки. Он показывает их отдельно и, грустно причмокивая, смотрит на них восторженно-грустным взглядом.

— Вот,— говорит он,— когда-то ходил в нем, а теперь куда я в нем пойду — овец пасти? Чтобы грязный козел

забодал мне этот пиджак? Какой город Баку! Я ходил как царь, а теперь я пастух. Мне даже снятся овцы, что они бегут в реку с обрыва! Хороший сон, а? А я отвечай за них! А, спой, ашуг, что-нибудь для души!..

Ашуг понимающе смотрит, как убирается обратно пиджак, и жилетка, и брюки. Потом хозяин наливает нам по стакану водки и, выпив, крякнув, кладет руки на стол и молча глядит на нас, почему-то напоминая маленького мокрого тюленя с круглыми глазками.

— Ты споешь свою песню? — спрашивает хозяин.

В дверях стоит жена его, тихая женщина, старая и худая; за ней видны два подростка, жадно смотрящие на нас.

— Я пою старые песни,— говорит ашуг, берет кумуз, и в тихую комнату врывается его пронзительный, резкий вопль, который сменяется какими-то рыдающими звуками, потом становится грустно-плавным. Он поет с закрытыми глазами, и струны кумуза звучат, поют, как поют провода под ветром; все невольно замолкают. Что же поется в старой песне? Поется про какую-то обиду, неясную, затаенную:

«Одна лошадь осталась и скучает на конюшне без товарища. Распрягся теперь плуг мой, оборвалось маленькое счастье бедняка. Не пойму, за что мне взяться, не подсказывает исхода мой ум темный. Не знаю я, как быть. Кому сказать? Где искать защиты?»

Он кончил петь, вздыхает хозяин, жена вносит закуски, дети теперь встают сзади отца.

— Я пел песню Исаака Саламова из Аксая,— говорит ашуг Искандер,— это он сочинил, когда без его ведома родственник шейха кулак-торговец ездил на его лошади, напоил ее после скачки, и она издохла...

Мы едим скромный ужин, приложив к хозяйскому угощению остатки нашей бараньей ноги и остатки красной нашей водки. Хозяин говорит:

— Юсуф, когда я буду носить этот костюм, как в Баку, здесь, дома, ты можешь сказать мне?..

— Могу,— говорит Юсуф, обгладывая баранью кость,— ты видел, как мимо тащат через перевал бревна, лошади по одному тащат?

— Видел,— говорит хозяин,— для чего тащат, не знаю...

— Чтобы была телефонная линия у нас в Лакистане еще одна, чтобы можно было говорить с Махачкалой. Лю-

ди трудятся для будущего. Знаешь, сколько стоит каждый столб,— четыреста рублей кубометр, а проволоки нет...

— Проволоки в Рутуле нет,— говорит ашуг,— надо издалека везти.

— Вот видишь, еще дальше надо везти. Еще расходы. Знаешь, как сделали в одном месте, не буду срамить товарищей, называть. Сделали себе линию, а проволоки нет. Написали друзьям, родным в Баку, в Киев, в Тбилиси, всюду написали. Доставайте проволоку. И прислали, валлаги, отовсюду проволоку. И линия заработала. А потом оказалось, что они срезали провода под Баку и под Киевом и даже под Москвой и прислали. Можно так делать? Нельзя! Значит, надо своим трудом доставать...

— Лаки — народ хитрый, они все могут,— смеется хозяин.— Они хотят жить как люди. Я хочу жить в Кули, как в городе...

— Будешь жить,— говорит Юсуф,— будут дороги, будут машины, будут телефон, электричество. Не узнаешь Кули, скажешь: стар — помирать не хочу, еще поживу... Ты знаешь новые песни, Искандер?..

— Не знаю новых, но есть старые всегда новые. Хочешь разгульную, в молодости моей еще пели...

И он поет, откинув голову, прерывая смехом куплеты, кумуз прыгает у него в руках, точно хочет прорваться в пьяный танец, хозяин-лудильщик тихо смеется в руку, подростки испуганно прижались друг к другу, Юсуф довольно фыркает, говорит мне:

— Это трудно перевести, это не похабно, но близко к тому... Здорово, по-мужицки, вот ашуг чертов!..

Уже висит ночь над утихшим аулом, когда мы отправляемся спать кто куда. Я иду на крышу хозяйского дома, где мне приготовлена постель, закутываюсь в бурку, гляжу на большие звезды, висящие прямо надо мной, лежу, вспоминая длинный странный день, потом мои мысли смешиваются, и я закрываюсь буркой с головой...

...Второй день я уже живу в ауле Шовкра, в доме Юсуфа. Я гуляю по улицам, сижу у реки, клокочущей в широком каньоне, подымаюсь выше аула, чтобы видеть его весь целиком.

Юсуф наслаждается домашней жизнью, он возится с детьми, совещается по хозяйству, выслушивает жену, житейски мудрую, добрую женщину — Екатерину Измайловну, беседует с друзьями, знакомит меня со своими близкими и с жителями аула. Я уже познакомился с дедом,

почтенным Нажмутдином, и сестрой Зулейхат, и с тетей Куту. Юсуф говорит, показывая в разные стороны:

— Каждый аул у нас, знаешь, живет по-своему, в каждом свое мастерство. Мы в Шовкра все сапожники, в Кумухе, в Хурукре — замечательно делают медную посуду, в Унчугатле — седла превосходные, в Вачи, что вчера проезжали,— газыри для черкесок, в Цовкра мастера делать белые, серые сукна, лудильщики, кузнецы, слесари — повсюду их селения тут в окружности: и в Ханаре, и в Табаклу, и в Убре.— Он вдруг хохочет: — В этой Убре, знаешь, при Абу Муслиме арабы поставили им выбор: или голова долой, или принимай мусульманство. Они говорят: «Через две недели примем».— «Почему через две?» — «Потому, говорят, что мы любим маринованные свиные головы. Они у нас еще не кончились, мы поднажмем и в две недели все съедим, а потом уже есть не будем, раз запрещает мусульманство есть свиное мясо...» Лаки всегда найдутся...

Юсуф тут же подводит ко мне широкоплечего человека, который похож на украинца; он брит, сед, у него свисающие большие усы.

— Знаешь, какой это человек,— говорит Юсуф,— его за кровную месть при царе сослали в Катрух, там он женился, теперь вернулся, был партизаном. Он у нас знатный человек — садовод. Целый массив в ауле разведем, затем чтобы не уходили люди в Москву, в Баку. Знаешь, что с ним было? Обязательно запиши в свою книжку. Он шел ранней весной в горах — медведя встретил. Медведь дороги не уступает, лезет в драку; начали драться. Он сбросил медведя в пропасть, медведь ему здорово руку ободрал, до сих пор рука плохо действует...

Широкоплечий садовод сменяется охотником, пришедшим в Шовкра с дальних гор. Когда-то они охотились с Юсуфом на туров. Охотник был на ярмарке в Кумухе, говорит: «Ухожу домой, наверх. Не могу у вас дышать: воздух не тот — точно год в тюрьме провел».

— Вот какие здесь люди! — восторженно говорит Юсуф, подымая на руки сына и качая его.

Когда маленький мальчик побежал в дом, он, глядя ему вслед, рассказывает:

— Понимаешь, он долго жил в Махачкале, совсем по-лакски не говорил, растет, с мальчиками играет в ауле, а не говорит; они стали над ним смеяться, издеваться, дразнить; он плакал, убегал, что поделаешь, а в этом году, ко-

гда мальчики опять начали его дразнить, он весь стал красным, что-то про себя шептал, шептал и вдруг как начал их по-лакски ругать и уже не может остановиться. Он, наверное, несколько минут по-лакски их отчитывал, они рты разинули и не могли ничего ответить. Потом его спрашивают: «Как же это так произошло, что ты ни разу не отвечал, не понимал и вдруг заговорил?» А он объясняет, что он давно уже много слов знает и хотел вот-вот заговорить, да боялся, что еще неуверенно будет говорить. А тут, как довели его насмешками, он решился и с тех пор говорит по-лакски все лучше и лучше...

Я уже знаю, как живут лаки, какие у них дома, что они едят. Мужчин в ауле как-то не видно. Зато много женщин и детей. Женщины работают все время и в поле и дома. Они не садятся есть и пить с мужчинами. Их приглашают петь, они поют как бы стыдясь, закрываясь блюдом. Они надевают лучшее платье, когда идут на речку за водой. Свадьба и вода — вот развлечения. Они выносливы и могут трудиться без отдыха.

Раз утром, когда мы сидели с Юсуфом перед домом, к нам подошла женщина с приятными чертами лица, немного усталыми глазами, со скромными движениями. На плечи был накинут черный с желтым платок. В руке у нее была пустая плетенка. Она остановилась против Юсуфа и, осмотрев его внимательно, что-то сказала ему такое, что он почесал себе затылок и перевел мне:

— Знаешь, что она сказала мне сейчас: «Ах, умри твоя мать, какой ты красивый, сделай мне ребенка, подари мне дочку...»

Я смотрел на женщину и видел, что она серьезно и как-то загадочно смотрит на Юсуфа, теребя платок свободной рукой, зажав другой плетенку. Она ожидала ответа и, услышав его, постояла, подумала, поклонилась, странно засмеялась и пошла прочь.

— Что это такое? — спросил я.— Кто эта женщина?

— Это, знаешь, несчастная женщина, бездетная сейчас, у нее мужа убили в партизанах, дочка маленькая умерла, она немного в голове пошатнулась. Живет тем, что кизяк складывает на крышах, надо уметь его красиво складывать, она умеет, добрая женщина, ее все любят. Тут недавно автомобиль недалеко в речку упал. Авария. Кто ехал — один погиб, другой поломался, женщина там была — из реки вытащили, пострадала тоже. А с ними была девочка. Пропала бесследно. Думали, в реке утонула.

Но один человек клялся, что девочку выбросила мать из машины и он ее подобрал. Маленькая совсем и целая, а вот пропала. Искали, искали — не нашли. А потом оказывается, эта женщина девочку утащила к себе и ходит счастливая. Ну, когда отобрали у нее девочку, она чуть с ума не сошла. Вот видишь, что говорит. Жалко ее, хороший человек...

— Ну, так подари ей дочку! — говорю я.

— Да, а что моя Екатерина Измайловна скажет? — серьезно ответил он.— Она у меня знаешь какая строгая...

Ашуг Искандер сходил в Кази-Кумух, нашел своего коня, купил его. «Я поцеловал его в лоб и поцеловал между глаз»,— говорит он. Он протягивает чурек.

— Ешь, это из Кази-Кумуха. Чурек с мятой и с салом. Женщины — это самые сластолюбивые создания. Ведь они же выдумали, что чурек с мятой должны есть только женщины. На, попробуй! Это очень вкусно...

Я попробовал и нашел, что есть вещи повкуснее, тем более что я не люблю мяты. Искандер в новой суконной черкеске, на нем черная папаха, суконные шаровары, ярко начищенные сапоги. Входя вечером в дом Юсуфа на званый ужин, он останавливается перед входом и говорит с торжественностью:

— О дом, да не войдет в тебя печаль и да не играет судьба с жильцом твоим! Как ты уютен для каждого гостя, когда странник нуждается в отдыхе!

Мы едим замечательный хинкал, шашлык, копченую баранину, суп с рисом и чечевицей, пироги с сыром, вареники из крапивы. Крапиву крошат ножом, посыпают солью, мешают куски старого бараньего сала, яйца; тесто для этого приготовляется только из пшеничной муки.

Среди гостей сидит комсомолец в свитере, в чарыках, в толстых носках, подвязанных голубой тесемкой, в серых штанах. Он не может пить бузу, мало ест, с легким недоверием слушает ашуга; он говорит резко, что хотя он повредил глаза усиленным чтением, но что надо всем учиться, завоевывать знания и кончать с невежеством.

— Мы побили Чувашию по строительству дорог, у них земля, песок, у нас камень, гранит, шифер, а мы взяли всесоюзное знамя. Лакский район — лучший район Дагестана,— говорит он нарочито громко,— у нас двадцать четыре школы в районе — у кого столько? Мы собрали

деньги на машины — и у нас собственные машины есть, мы сделали дороги, племенной совхоз, заложили сады...

— «Если умрешь от чистой любви, то попадешь в рай»,— запевает ашуг.

— Я за это,— говорит комсомолец,— нельзя отменять старые церемонии свадьбы. Как молодости отменить веселье? Ашуг прав: любовь еще живет на свете...

— Я спою для молодости,— говорит ашуг, берет кумуз, глотает перед этим добрый глоток бузы и поет песню о шайтане и горце, как они уговорились, что горец пронесет шайтана по горе, горец обманул шайтана, и шайтану пришлось нести горца до вершины.

Ашуг спел лихо, все смеялись тому, как горец одурачил шайтана. За столом сидели долго и разошлись поздно...

Когда все разошлись, мы остались с Юсуфом.

— Скажи мне, пожалуйста,— сказал он,— может быть поэтом человек, никогда в жизни не писавший стихов?

— Может,— отвечал я,— еще Пушкин сказал, что среди нас есть Гёте, не написавшие ни одного стихотворения.

— Но как ты это понимаешь сам?

— Я понимаю так, что все, что связано с поэтическим ощущением, все это есть у человека, но он только не закрепляет этого ощущения, не записывает это короткими строчками. Кроме того, такой человек и в жизни руководствуется поэтическими движениями...

— Ну, тогда я тебе покажу завтра такого поэта.

— Мы куда-нибудь поедем?

— Зачем? Он тут, под боком,— сказал Юсуф,— пойдем к нему утром.

Человек, о котором мне говорил Юсуф, как о поэте в душе, оказывается, был муллой, он обучался в молодости Корану в Аварии, вернулся в Шовкра и стал таким пламенным проповедником, что его проповеди собирали множество людей. Издалека приходили мужчины и женщины, чтобы послушать муллу, наставляющего в вере.

Аул шумел о его изумительных толкованиях Корана. В мечети порой не было места, и пришедшие становились под окнами и толпились у входа. Слава о новом глашатае истины долетела до Хунзаха и Чоха, и местные духовные власти решили послать специальных послов, чтобы они сообщили, исследовав на месте, в чем заключается сила этого муллы, по речам которого народ просто сходит с ума. Есть ли это новый подъем мусульманской веры или что другое? Никогда не было такого интереса к вопросам Ко-

рана, как теперь, когда этот молодой мулла начал свои проповеди.

Посланцы пришли, притворившись простыми пилигримами, в крестьянской одежде, с палками, как настоящие ходоки, жаждущие припасть к источнику веры. Но то, что они услышали, их так поразило, что они, не веря своим ушам, пришли и другой и третий раз, и только после этого им открылось неистовое, вопиющее, преступное, вольнодумное осквернение истинной веры.

Вместо сурового, порой мрачного, освещенного фанатизмом, требовательного и строгого учения пророка перед верующими превозносилось нечто ошеломляющее своей противоположностью. Это была смесь эпикурейства с его сознательным стремлением человека к счастью и гедонизма, порожденного еще в древности киренской философской школой, которая считала, что высшая цель жизни и высшее благо — наслаждение.

Молодой мулла строил все свои эпикурейско-гедонистские проповеди, к ужасу посланцев, на самом Коране, толкуя его суры в таком духе простых житейских истин, что необыкновенно истолкованный Коран потрясал воображение людей и очень им нравился, потому что был земным, домашним, и славословящим жизнь человека, и вполне его устраивающим.

Посланцы побоялись вызывать муллу на спор перед народом, чтобы обличить его немедленно, но они удалились так же незаметно, как пришли, и рысью помчались в Хунзах и Чох, чтобы поднять там все грозные силы против еретика и безумца.

Но духовные лица высшего ранга, собравшись на совещание и обсудив положение, подошли к этому странному случаю с другой и неожиданной стороны. Они верно решили, что преследование духовное повлечет смущение верующих, темных простых сердец, которых покоряет красноречие врага пророка. Он сам может в слепоте и гордыне своей не покориться и тем вызовет еще большее волнение в умах, которое может привести к своеобразному восстанию в горах. Поэтому они адресовались к светским властям, доказав им, что проповедь муллы подрывает основы не только веры, но и властей вообще, что это может послужить к образованию нового революционного мюридизма, а там и бог весть куда заведет горцев. Это было убедительно. Мулла был арестован и сослан в Сибирь, лишенный права отправлять службу.

Так, удаляя в далекие, глухие края своего врага, господа из высшего духовенства думали, что они навсегда от него избавились. Но вихрь революции, переместивший все в горах, принес этого мятежника из Сибири в родные края. Мулла ходил теперь уже в красных, проповедовал большевизм и как философ смотрел на свою необыкновенную эпопею. Он уже был стар, но так же жизнерадостен, как и в те времена, когда он проповедовал радость жизни.

Когда мы пришли к нему с Юсуфом, он сидел в холодке на площадке перед домом и играл в шашки. Шашки были своеобразные. На старой, потрескавшейся, полинялой доске, где белые квадраты стали серыми, а черные побелели, были расставлены какие-то деревянные фигурки, изображавшие не то каких-то фантастических животных, не то просто маленьких уродливых человечков. Два старика сидели друг против друга, похожие, как братья. Они долго думали перед тем, как сделать новый ход.

Прерывать игру их было неудобно. Мы сели напротив на бревно и стали дожидаться терпеливо конца игры.

Только с первого раза можно было сказать, что они похожи друг на друга. На самом деле сходства было мало. Правда, они были одного приблизительно роста. Мулла имел небольшую аккуратную бороду, которая, как белая пена, облегала его щеки и подбородок. Настолько резко по-молодому была блестяща, без морщин кожа его лица, что эта борода казалась бутафорской, приклеенной.

Глаза у него были большие, глубоко запрятанные, брови ровные, как подстриженные. Сосед же, глубокий старик, отнюдь не заботился о своем виде. Борода его падала космами, и в ее серой седине сквозили рыжие и местами даже темные волосы. Когда-то он, по-видимому, красил ее хной, потом бросил, но какая-то красноватая пыль еще покрывала его бороду. Насколько лицо муллы было гладким, настолько лоб, щеки, подбородок этого старца были просто иссечены морщинами, глубокими и широкими.

Но взгляд его был удивительно спокойный, в то время как мулла то смотрел лукаво, то рассерженно, то прятал волнение, как будто начинал думать о чем-то далеком, и потом снова настораживался. Одеты они были, как два старых крестьянина,— просто и чисто. Да они оба и занимались нехитрым крестьянским делом до последних лет. Пока они играли, медленно передвигая только им понятные фигурки, Юсуф рассказал мне про второго старика. Это был участник восстания 1877 года, центром которого был

аул Сogратль. Когда сдался Шамиль, ему было четыре года. Сын его был участником гражданской войны, храбрый командир, начальник пулеметной команды. Пошел воевать за свободу по стопам отца. Погиб в бою. Старик сейчас бросил работать — ему под восемьдесят. Он играет в шашки, целый день сидит со стариками, греется на солнце. Думает, что все хорошо помнит, поэтому не сомневается в том, о чем рассказывает, но в рассказах уже начинает путаться, незаметно для самого себя повторяться, пропускать главное — память уже не та.

Так мы сидели и беседовали, пока мулла не отодвинул доску, не встал с достоинством. Побежденный его противник поднялся тоже, но после некоторого промедления, как будто он еще сомневался в том, что партия уже окончена и не он выиграл.

Поздоровавшись с нами, они сели рядом на бревна.

— Как идет жизнь? — спросил Юсуф участника давнего восстания.

Старец посмотрел на горы своими спокойными, мечтательными глазами, сказал не торопясь:

— Жизнь идет, как круглое колесо по хорошей дороге, вниз...

Мулла начал расспрашивать о Москве, о Ленинграде, о столичных новостях. И только когда древний повстанец ушел, тяжело опираясь на толстую суковатую палку, мы могли начать с муллой подробный разговор по интересовавшему нас вопросу.

Он сразу принял серьезный вид, но глаза его были полны хитрой усмешки, как будто он рассказывал сказку — и веселую и страшноватую.

— Господь поставил скалы, чтобы научить людей строить стены, так говорят старики,— сказал он с таким молодым задором, как будто сам не был стариком, и эти слова у него звучали вроде запевки.— Когда я вырос в этих краях и посмотрел вокруг на жизнь, то я как бы прозрел, и такой тяжелой, несправедливой, страшной даже показалась мне жизнь, что я начал входить в Коран как в прибежище для ума и сердца. И мне показалось, что эта великая книга говорит о двух путях. Один — это тот, что избрал в свое время Шамиль. Это проповедь истины мечом и кровью. Но этот путь меня не привлекал. А другой путь, не требовавший гибели всего живого, наоборот, украшал жизнь и давал человеку радость жизни, даже когда он жил в самых нищих, в самых жалких условиях. Зачем отчаиваться, го-

ворил я. Послушаем нашего великого пророка. Во имя бога милостивого и милосердного, что говорит пророк? Пророк говорит: «Больше всего на свете люблю женщин, и ничто не утешает так мою душу, как молитва».

Я повторял только то, что он говорил. Но я это рассказывал им с добавлениями. Как сказано в Коране о женщинах: «Одной по своему выбору ты можешь подать надежду, другую же, если тебе будет угодно, ты можешь взять к себе на ложе, а также и ту, к которой ты снова почувствуешь влечение, после того как ею уже пренебрег. И тебе не будет поставлено в вину, если ты так поступишь. Таким образом легче будет утешить их. Пусть они не печалятся, пусть довольствуются тем, что ты им даешь...»

Разве простому человеку любовь не открывает ворот радости? Даже нищий горец может быть богатым любовью. Я не учил их преступлению, я говорил с ними, чтобы в их домах им стало теплее.

Посмотрите, пройдите по горам, что за песни поют сегодня. Поют Махмуда, потому что он говорит о любви и о женщине, потому что пришли новые времена. А тогда люди, ждавшие доброго слова о своей нищей жизни, не имели его, и я давал им его щедро.

Я знал, что в горести и в радости они пьют, и пьют сильно, так пейте для забвения горестей и приветствуйте радость, ведь сказано пророком: «О вы, верующие! Никогда не молитесь в опьянении: подождите, пока не будете понимать слов, которые произносите». Правильно же я говорил им, что пьяным не надо приходить в мечеть, выпил — и отдыхай дома, а когда ты встанешь и начнешь понимать сам, что ты говоришь, тогда иди и молись.

Я видел, как они питаются, как мало, как плохо едят и как хотели бы есть, как наибы и муллы, стражники и муталимы, как они одеты в старые, поношенные черкески, в рваные рубашки, стоптанные чарыки, а разве им не пристало носить на своих плечах то, что носят люди в городах, разве девушке гор не пойдет новое платье, а ее молодцу — новая бурка? Разве не сказано в Коране: «Скажи им: кто может помешать вам украшаться нарядами, которые господь производит для своих служителей, и вкушать восхитительные яства, которые он вам дарует».

А это ведь помещено в суре, которая называется Эль-Араф, что означает место между адом и раем, видное и из рая и из ада, значит, оно принадлежит жизни.

Ведь люди живут только раз. И они уйдут с земли, голодные, раздетые, несчастные, и не избегнут той минуты, что предстанут перед главным судьей, как сказано в святой книге: «Ко мне они возвратятся и мне обязаны будут дать отчет».

Я говорил им стихами, сурами Корана и звал их к лучшей жизни, чтобы они стали как все люди, и пили, и ели, и любили друг друга, но меня обвинили, что я подымаю их против властей духовных и против царя, и сослали в Сибирь. Но, я скажу вам, они ошиблись, думая, что они победили меня. Я расскажу вам одну историю, которую в Сибири я узнал от одного тоже туда сосланного азиатского человека. Как раз вы узнаете, как опасно спорить с человеком лучшего знания. Был когда-то в Азии, на берегу Амударьи, большой город Термез, он, кажется, и сейчас есть, но не такой большой. У падишаха этого города было сорок дочерей-девушек. Жил падишах, правил, не знал забот, но однажды пришел в город мудрец из Индии, святой человек. Он спорил с муллами падишаха и победил их, потому что он знал Коран и инжиль — Евангелие — лучше их всех. Они побежали к падишаху и говорили, что этот святой поносит веру и надо его убить. И падишах велел сжечь его и пепел бросить в реку. Так и сделали. А река принесла тот пепел туда, где купались сорок дочерей падишаха — сорок девушек. Им было очень жарко, они купались и пили воду и проглотили с водой пепел святого. И совершилось чудо. Все девушки стали беременными. Падишах увидел это, страшно разгневался, сделал большую крепость и посадил их за ее стены. Через девять месяцев все девушки родили сорок мальчиков. От этих мальчиков, когда они выросли, пошел узбекский род кырк-кыз, что значит — сорок девушек. Это место и сейчас есть около Термеза и называется Кырк-кыз и сегодня... Вот как опасно спорить с человеком большого знания. А кто оказался прав? Где эти цари, муллы, наибы, где они? А я снова дома, среди народа, и он живет свободный, и любит свободных, и родит свободных. А что делать с прошлым, что осталось еще, куда его деть,— не так просто сказать мне. Но я тоже слышал один рассказ, но уже не там, в Сибири, а в Азербайджане, в месте, где рядом Иран. И там есть город Тавриз. Народ ненавидел одного мирпенджа — это большой такой генерал,— про него говорили, что он высасывает все соки, человеку оставляет только кожу и кости. Все деньги же тратит на кутежи. Проститутки, кутилы,

игроки, грабители, как он сам,— его друзья. Так он жил, и никто не мог ничего с ним сделать. Это, слушай, было в 1904 году. Этот мирпендж помер. И вот никто не пришел на его похороны. Все, кто с ним кутил, разбежались, жена должна была на базаре умолять амбалов, чтобы нести тело на кладбище. Амбалы отказались, никаких денег не взяли. Три дня искали людей, и никто не соглашался нести это тело и опускать в могилу. Возили его останки с кладбища на кладбище,— никто не допустил положить его среди своих покойников.

Тогда свезли его на помойную яму далеко за городом... И так, чтобы никто не знал. Так я тебе скажу,— прошлое, как этого мирпенджа, надо везти на помойную яму и бросить в самую глубокую дыру. А люди будут жить настоящим и будущим. Нам не надо больше, скажу тебе, ни дворцов, ни мечетей... Вот теперь я все сказал. И вот идет мой друг — хочет еще сыграть, обыграть меня! Я пока попрощаюсь с вами...

Он встал навстречу древнему повстанцу, и они снова положили между собой ветхую, выщербленную временем доску с потускневшими квадратами и расставили свои причудливые фигуры.

— Вот ты теперь скажи мне,— спросил Юсуф,— разве он не поэт? Посмотри, как он говорит. А можешь представить себе, как он проповедовал Коран, когда был молод! Валлаги, почему я не слышал его тогда? Не отвечай мне: я сам знаю, что он поэт, стих внутри него!

...Была пятая ночь полнолуния. Аул Шовкра погрузился в покой и сон. Кое-где тускло краснел свет в дальних домах по горе. Как из глубины колодца, доносился глухой стук копыт. Какой-то запоздавший горец спешил домой, подгоняя уставшего коня. Мы с Юсуфом были сегодня сами в отлучке, мы сдавали в Гунибе наших молодецких коней. На дворе дома отдыха, перед белыми стенами бывшего дворца, погарцевали на них последний раз, простились потом с ними, даже жалко стало расставаться, потом пошли по знакомым и вернулись на попутном грузовике домой только к ночи.

Юсуф решил спать на крыше. Мы сидели на постелях из пестрого шерстяного паласа, на толстых одеялах, курили и смотрели, как развертывается лунная полночь во всей своей роскоши над древней каменной землей. Весь мир был точно осыпан мелкой звездной пылью. Все вокруг светилось. То белая стена выходила из темноты, то на

крышах вспыхивали всевозможных цветов огоньки, точно загорались и излучали свой магический свет мелкие камешки, то начинала светлеть дальняя дорога, то совсем рядом какой-то забытый на соседней крыше тазик или просто алюминиевая кастрюлька начинали фосфорически светиться.

Мы сидели на крыше, как на сцене, и Юсуф был сегодня особенно выразителен в рыжей папахе, в своих темных желтых сапогах, серых бриджах в клетку, в черной шевиотовой рубахе, подпоясанной кавказским поясом с серебряным набором, на котором висела кобура с маленьким браунингом. В лунном свете он был просто величествен.

— Юсуф,— сказал я, нарушая тишину горной ночи,— в тебе есть что-то от древнего воителя...

— Не смейся,— ответил Юсуф,— наши предки, жители этого аула, были очень большими воинами. Ты знаешь, что сам Надиршах приходил сражаться под стены аула Шовкра. Тогда здесь владычествовал большой воин Сурхай-хан Казикумухский. Тут были сильные битвы. Это теперь наступил мир.

И действительно: от всего широкого пространства, над которым темными громадами подымались хребты, от земли с ее полями и лугами, от похожих на единое фантастическое сооружение домов аула исходило какое-то чувство мирного, глубокого покоя.

Но именно в такие ночи рождалось желание встать и уйти в эту зеленую мглу, идти, не останавливаясь, ожидая на каждом шагу встречи с неизведанным, как будто знакомая дорога стала ночью совсем другой, насыщенной неожиданностями и волнениями.

Мы заговорили с Юсуфом о том неясном, даже неотвратимом, что бывает в жизни с каждым, когда какой-то повелительный голос звучит внутри человека, требует полного подчинения и заставляет его делать такое, на что в обычное время он был бы совершенно не способен. Это странное ощущение похоже на то непонятное искушение, такое же, как вдохновение, когда нельзя не писать, и тянется рука к перу, перо — к бумаге, но в жизни вдохновение бывает выражено не только стихами... Юсуф бросил папиросу, и ее красный след прорезал темноту, как будто блеснул светлячок.

— Со мной было такое,— сказал он серьезно.— Однажды, несколько лет назад, у одного товарища собрались в Баку все старые друзья, все в отпуске, все бывалые, но

молодые. Задора много, пили, сидели вспоминали, какими были молодцами, какие делали дела, немыслимые прямо, а вот теперь что-нибудь сделать такое, даже просто так, неожиданное, всех удивить нам уже не под силу...

Спорить начали все мужчины, женщин не было, и на меня вдруг как облако нашло, я встал и говорю:

— Давай на пари, я вот что сделаю. Я сейчас отправлюсь в свой аул Шовкра, дойду до него, буду там полчаса и вернусь снова сюда.

Все закричали: не можешь, не сделаешь, раз в аул попадешь — не вернешься. Вернусь, говорю. А вы ведь все равно никуда не денетесь. Вы все в одном доме у моего приятеля. Они говорят: ну, конечно. Пьяные были тоже, да и те, что не очень пили, как опьянели от этого моего вызова. Давай на пари, кричат. По рукам. Ударили по рукам через полу. И я пошел. Вот, скажу тебе, было бешеное время, точно часы стали вертеться у меня перед глазами.

Мы сидели на крыше, и лунная ночь обволакивала нас своими зеленоватыми туманами, и, слушая рассказ Юсуфа, я с какой-то лунатической отчетливостью следил за его головокружительной поездкой. Он рассказывал так, как будто действовал не он, а неведомая сила взяла его под свое покровительство и направляла все его движения. Конечно, приятели, оставшиеся пировать в доме его друга, всерьез не думали, что можно решиться на такое. Все они, зная упрямый и гордый характер Юсуфа, думали, что из противоречия он решился на такое пари, а на самом деле он появится, проспавшись, утром и весело сознается в том, что все это была шутка, и тем дело и закончится.

А в то время Юсуф ехал на поезде, болтая невесть о чем со случайными пассажирами, сам еще не представляя, как он осуществит свой план. Был уже вечер, когда он высадился на станции Мамед-Кала. Ему повезло. Он поймал на дороге грузовик, который держал путь в Кубачи,— вез какой-то груз для артели. Была такая же лунная ночь. Он сидел рядом с шофером, и мимо него проносились, как сновидения, ночные поля, речки, рощи; ветви задевали грузовик; в лесу становилось чуть жутко; казалось, что грузовик налетит на что-то в зеленой чаще, когда он, ломая на ходу ветви, заезжая на кусты, мчался вперед.

Потом появилась река. Освещенные луной волны Уллучая пенились у самых колес. Промелькнул Маджалис со своими разбросанными домами, снова начались горы. Он знал хорошо эти места и узнавал и ущелье Джарвус, и гро-

хот новой реки навстречу бегу машины. Между высоких зеленых скатов ущелья ревела под луной бурая вода Буганчая, и зеленые горы, казалось, пляшут вокруг мчащейся машины.

Юсуф сидел, временами впадая в сон, но толчки машины выбивали его из этого блаженного состояния, и он смотрел тупо вокруг себя и не сразу понимал, зачем он здесь, в непонятном пространстве, заполненном только зелеными отсветами, точно на морском дне. Потом он ясно видел, совсем проснувшись, что машина идет, спотыкаясь и захлебываясь на подъемах, густо заросшим ущельем, которому не видно конца. В одном месте шофер вышел, чтобы посмотреть, смогут ли они проехать, не сбросив с дороги свалившийся с кручи камень, и он увидел, что стоит на карнизе, под которым в глубокой черноте что-то зыбится, бьется, не то поет, не то воет. Он стоял, ошалело смотря в пропасть, потом шофер сказал, что проедут спокойно, и машина, тяжело дыша, объехала камень. Ночь длилась. Он заснул, как ни сопротивлялся сну. Какой-то новый шум разбудил его. Пейзаж переменился. Он увидел водяные мельницы, которые казались игрушечными в огромном просторе ночи.

Как-то незаметно для самого себя он приехал в Кубачи. В Кубачах вся надежда была на одного дружка, и если он дома, тогда все в порядке. Приятель был дома. Старый кунак, он ни о чем не расспрашивал. Пока гость сидел в кунацкой, среди старых медных блюд, подносов, саксонского и севрского фарфора, кубков и кувшинчиков, так называемых кутка и кунны, у стен, завешанных изумительными паласами и заставленных полками с венецианским стеклом и русской глиной, хозяин уже привел коня, гость наспех поел сыру с чуреком, выпил стакан водки и поехал из аула.

Юсуф рассказывал, как он в эти часы, увлеченный непрерывным движением, не чувствовал ни усталости, ни голода. А когда конь вынес его на альпийские луга и он увидел матовый блеск далеких снежных вершин, запах лугов окружил его, опьянил сильнее водки и дал силу, всякий сон отлетел от него.

Кругом было много цветов, странно розовевших при луне, какие-то фантастические ромашки топтал его конь, он карабкался по обломкам скал, шел по самому гребню, и от высоты, от большого волнения ему стало так хорошо, что он даже начал петь, но петь в таком просторе было как-то негоже, точно он дерзко нарушал сон этих скал и лугов, а

этого делать не надо. Где-то внизу, в другом мире, блестели крыши спящих аулов, никакой шум рек не достигал сюда, на эти кручи, на молниеносные тропинки, сокращающие путь.

За перевалом в узком ущелье он проехал аккуратные домики аула Цовкра. Теперь уже было недалеко до родного аула. Потом пошли совсем знакомые места. Луна достигла полной силы, когда он увидел старый каменный мост и узнал реку. Это был Харгунчай. Он стреножил коня на лугу, не доезжая Шовкра, и пошел пешком, тихо пошатываясь и смутно соображая, что делать дальше. Аул спал глубоким сном. Он подошел к дому. Почуяв хозяина, собаки тихо заскулили за воротами. Он перелез стенку, спрыгнул неслышно во двор, собаки ластились к нему, он погладил их, прошел к лестничке, ведущей на крышу, поднялся и сел вот на то же место, на каком он сидит сейчас. Он сел и прислушался. Весь дом спал. Безмолвие ночи ничем не нарушалось. Он сидел и курил, зажигая одну папиросу за другой. Все вертелось перед его глазами: далекая комната в Баку с дымными завесами над столом, с красными лицами друзей, поезд, с его ночными голосами, леса, скалы, луга с огромной луной, которая и сейчас стояла над ним. Будить кого-либо в доме — зачем? Будет переполох — его, конечно, не пустят повторить сумасшествие... Собаки утихли. Он сидел долго, отдыхая, вздыхая, глядя, как движутся тени ночи, как холоднее становится воздух. Значит, близится рассвет. Надо было уходить. Он слез с крыши, перелез через стену, попрощавшись с собаками, и пошел к лошади. Он нашел ее на лугу, дал ей торбу с овсом, сводил ее к ручью, сел и поехал обратно, и мир начал раскрываться перед ним в обратную сторону. Теперь он не спешил, так как, по расчету, у него было время.

Он уговорился с шофером, чтобы тот захватил его в Маджалис, когда поедет обратно. Так, в состоянии полного транса, проехал он снова Цовкру, прошел лугами и горами до Кубачи, и было уже светло, стояло раннее утро, когда хозяин сам встретил его и принял коня и проводил к себе. Он ни о чем не спрашивал, но видел, что с его другом было что-то необыкновенное, и в самом деле это было необыкновенно. Раз в жизни можно позволить такое! Через два часа он уже спал в кабине, и шофер разбудил его только в Мамед-Кала, и он повел шофера, после того как тот поставил машину в гараж, в небольшой кабачок, и там они хорошо посидели до поезда, который пришел с опозда-

нием и повез железного и неутомимого горца из аула Шовкра в громадный, дымный, залитый уже вечерним светом, шумящий и звенящий Баку.

Когда он вошел в дом приятеля, все его друзья были на месте. Они встретили его таким криком, что он растерялся, потом тяжело сел на стул и налил себе водки.

Тогда на него посыпались вопросы, хотя они были совсем ненужными. Ну как? Был дома? Неужели был? Как добрался? Как вернулся?

Он отвечал, встав во весь свой большой рост, сказал: «Был»,— и выпил залпом стакан. Кто-то скептически спросил: «А как знать, что ты был в Шовкра?»

Юсуф посмотрел на говорившего, не обидевшись, и совершенно спокойным голосом сказал: «Я сидел на крыше и курил бакинские папиросы. Там осталось достаточно окурков; кто не верит, может проехаться туда, как я...»

— Так вот,— сказал Юсуф,— в самом деле в доме был переполох, подумали, что были воры, потому что на крыше утром нашли много окурков от таких папирос, каких в ауле никто не видел. Искали, что могли украсть воры, но обнаружили, что воры ничего не украли. И очень удивлялись, как они обманули собак и что они делали на крыше. Одна старуха сказала, что это был демон, злой дух, но ей показали окурки, и она, держа толстый мундштук и с тревогой оглядывая его, не могла точно сказать, какие папиросы курят бесы и курят ли вообще...

— О чем ты думал, когда сидел на крыше? — спросил я.

— Я ни о чем не думал, я читал стихи,— отвечал Юсуф.

— Чьи стихи ты читал?

Он засмеялся, встал и прошелся передо мной.

— Свои стихи!

— Я знал это давно,— воскликнул я,— я знал, что ты пишешь стихи! С таким характером, с таким воображением нельзя не писать стихов... Прочти мне...

— Ты не поймешь, не зная языка...

— Поэт поэта узнает по голосу!

— Это сказал Сулейман из Ашаги-Сталы, когда мы были у него. Вот это поэт! А я что — бывалый горец из аула Шовкра, аула сапожников. Я прочту тебе другой раз как-нибудь, в Махачкале вот будем, там прочту... Смотри, сегодня я почему-то тебе рассказал про то, что можно иной раз забыть и мчаться неизвестно за какой мечтой. Что я искал

в ту ночь? Не знаю. Но я не мог остановиться на полпути. А сегодня, смотри, такая же колдовская ночь, как тогда. Не будем испытывать судьбу... Поддаваться искушению. Давай ложиться, пора, завтра, брат, рабочий день. Не до фантазий, жизнь, как есть...

Я лег, накрылся своей походной буркой, но я не мог уснуть. Как будто путь, проделанный Юсуфом, все еще стоял перед глазами. Постепенно к нему начало прибавляться нечто иное, и это не было сном, ко мне пришло воспоминание, рожденное словами великого ашуга: поэт поэта узнает по голосу!

И я увидел заново тот большой день, который застал нашу писательскую бригаду в Касумкенте. Тогда бригада была в полном сборе. Кроме Юсуфа, Павленко, Луговского, меня, с нами были молодой лезгинский поэт Фатахов, московский художник Лаков, писатель Роман Фатуев — автор рассказов о новом и старом Дагестане.

В Касумкент мы попали после длительных странствий по прибрежной полосе Каспийского моря с ее холмами, покрытыми великанскими мальвами, по предгорьям, где столетние ореховые деревья и могучие тополи возносили в бледно-голубое небо свои вершины, и под ним буйствовало море зелени и цветов. Запах цветущих азалий наполнял солоновато-жаркий воздух предгорья, с которого широко открывалось море, до удивления синее и густое, как смола.

Мы видели новые поселения, города, где эпоха уже распоряжалась пространством по-своему, дыша красными вспышками «Дагогней», звеня якорями кораблей в махачкалинском порту, шумя гудками новых фабрик в Дербенте, сигналя фонарями рыболовных судов у причалов Белиджи, видели аулы, сохранившие еще старинные промыслы, древние обычаи, патриархальный пастушеский быт.

В Касумкенте, как и всюду, мы спросили у друзей, есть ли здесь поблизости пишущие люди, писатели или поэты. Нам сразу сказали, что в ауле Ашаги-Сталы, в трех километрах от города, есть старик ашуг. Он бедный крестьянин, неграмотный, сочиняет стихи и поет их под чунгур. О нем знают и говорят люди.

Зовут его Сулейман. Ему уже больше шестидесяти лет. Мы отправились к нему целой компанией. Было воскре-

сенье. Мы шли, весело разговаривая, меньше всего думая о предстоящей встрече. Нас прежде всего поразил новый большой многоарочный мост через пенистый Гильгяричай. Дальше пошла ровная дорога, окаймленная деревьями, сквозь просветы которых далеко на юге виднелись горы Шагдага, призрачные, синеватые, готовые вот-вот исчезнуть в жарком мареве.

Я шел, к удивлению прохожих, не по дороге, а по канаве, по колено в рокочущей тихо воде, бежавшей с гор. Я был в новых щегольских высоких сапогах, но они так жали мне ногу, что, идя по воде, я испытывал облегчение, и давал себе слово немедленно сменить их, вернувшись в Касумкент.

Я смотрел рассеянно по сторонам, разговаривал с товарищами, шедшими рядом с канавой по дороге, но во мне жило какое-то неясное предчувствие, росло какое-то волнение, как перед встречей с чем-то необыкновенным.

А между тем вот уже и аул Ашаги-Сталы, действительно утопающий в садах. Нам показывают дом, обыкновенный горский дом, двухэтажный, глиняный, старый.

К нам навстречу вышел невысокого роста старик, таких много в любом ауле. Его домашний бешмет был сильно поношен, и появился этот человек не из дома, а откуда-то сбоку, из-за дерева. Он шел тихо, обняв своей сухой, небольшой рукой шею маленького крепкого буйволенка, которому ужасно хотелось порезвиться на свободе. Старик был босиком, и то, что его застали незнакомые люди врасплох, смутило его. Но, убедившись, что пришли именно к нему, он сразу крикнул в дом, и оттуда вышел человек, и взял от него буйволенка, и повел его в плетеный загон. Сулейман же, став сразу другим, собранным, с чувством собственного достоинства жестом хозяина пригласил нас в дом.

Мы вошли в кунацкую на второй этаж. Все здесь было простое и старое, как бы проверенное жизнью. Старенький палас прикрывал серую стену, другой палас лежал на глиняном полу. На полках, как полагается, стояли кастрюли, блюда, чашки, тарелки.

Нас скромно приветствовала пожилая женщина в горской одежде, сын хозяина, еще какой-то родственник. Уже начались хлопоты с угощением. Но мы попросили хозяина поговорить с нами не в комнате, где нам будет и тесно и хозяевам неудобно, а в роще, благо уже спускался вечер, и на поляне перед домом так хорошо пахло жаркой зе-

ленью и ароматами полей и садов, долетевшими в эту маленькую рощицу, занявшую уютную ложбинку, за которой сразу шел склон холма, покрытого густым кустарником.

Мы расположились на полянке в роще.

Немного погодя из дома вышел Сулейман. Он надел чарыки, сын его нес тетрадь — остаток старой конторской книги. Через графы, черные и красные, шли записанные сыном стихи отца.

Сулейман сел прямо на траву.

Мы последовали его примеру. Я вгляделся в черты его лица и понял, что я запомню его навсегда. Это было лицо человека, всю жизнь жившего тяжелым трудом, прошедшего через многие испытания, которые не оставили, однако, своего мучительного следа. Ни одной раздражающей, резкой или усталой старческой линии не было в этом лице. Сулейман носил небольшую бороду, в которой было много черных волос, усы, тонкие концы которых были закручены вверх. Глаза его было опущены, точно он погрузился в глубокое раздумье. Но общее выражение этого тонкого, выразительного, спокойного лица было добрым и не лишенным величия.

Как много видел этот человек такого, что должно было сломить его, но он не только не сломился, а поднялся над всеми бедствиями своей жизни и, главное, понял смысл жизни совсем не в том обычном понимании, к чему стремятся вообще люди, а в том, что, может быть, сначала было непонятно самому. Он во власти слова, рождающегося в глубине сердца, и это слово поэта мы сейчас услышим...

Сулейман заговорил. Прежде всего он осведомился с большой вежливостью, кто же его гости. Мы по очереди представились ему. Так как он не говорил по-русски, а мы не знали лезгинского, беседа наша несколько осложнялась — переводить стихи с голоса не так просто. Он попросил нас почитать ему стихи по-русски...

— Но, Сулейман, ты же не поймешь эти стихи, не зная языка.

Он слабо улыбнулся, как бы удивляясь наивности говорившего это, и ответил, трогая струну чунгура:

— Поэт поэта узнает по голосу!

Это было сказано очень много думавшим о природе стиха человеком.

Мы читали ему по очереди. Он слушал незнакомо звучавшие строки, сворачивая папиросу своими длинны-

ми, артистическими пальцами, иногда начинал шевелить губами, будто повторяя за чтецом стихи, потом внимательно выслушивал перевод, глаза его смотрели поверх сидевших. Он похвалил услышанное. Начался разговор о нем самом, о его стихах, о его жизни.

В роще потемнело. Вечернее солнце еще освещало верхушки тополей и верхний край холма над нами, а в роще уже плыл сумрак, и в этом сумраке Сулейман начал читать и петь свои стихи.

Да, он был прав, поэт поэта узнает по голосу. Но это не был голос старого ашуга-профессионала, такого, каким был наш знакомец Искандер, певший чужие песни и не умевший как следует сложить свою, это не был голос муллы — поэта в душе, читавшего стихи Корана как свои и лирически толковавшего их людям, это был голос, в котором слышалась радость и гнев земли, как будто таким голосом могла заговорить эта роща, эти горы, эта речка, несущая с гор глыбы, с грохотом падающие друг на друга. Это был рассказ вечного батрака, вечного труженика полей и городов, и я подумал, что в могучей простоте, в откровенной, какой-то последней, грубой, как каменистая почва горных краев, правде его стихов говорит жизнь, какую принимай как хочешь. Но не почувствовать эту страсть, эту силу, найденную в самой природе, ты не можешь. И, вероятно, перевести его на другие языки, сохраняя эту лепку слов, эту горячую глину, из которой он создает образы, невозможно. Можно передать его мысли, можно по-своему подойти к этому младенческому и сложному языку, но никакой перевод и тем более подстрочник не в силах передать даже тени того движения жизни, которое жило в его стихах.

В роще стало совсем сумрачно, и я, оглядываясь, не мог сначала понять, почему нас так много. Никто не приходил с улицы, а людей на поляне заметно прибавилось. И с каждой минутой их становилось все больше. Я не знал, что среди густого кустарника по склону холма проходит тропинка, которая выводит на поля.

Сейчас, кончив работу, по ней спускались в аул поселяне. Они шли бесшумно, как ходят горцы, и, видя сидящих людей, слушающих песни их Сулеймана, они тоже садились на корточки, положив свои серпы рядом на землю, и сидели, затаив дыхание.

Из аула доносило приторно-сладкий, пахучий кизячный дым, доносило мычанье коров, блеянье овец, какие-то звоны вечера, скрип арб, но люди в роще сидели совершенно неподвижно.

Мы все были во власти этой народной поэзии, избравшей своим певцом бедняка, прожившего каторжную жизнь, бедняка, лишенного всякого образования, снабженного даром редчайшей памяти и свободой духа, которая неисчерпаема, так как она рождается из окружающей его природы, и в силу этого она не может иссякнуть.

Мы еще долго сидели на поляне после того, как он кончил читать и петь стихи. Мы уже говорили о самых разных вещах, и хозяин превосходно разбирался в тех новых задачах, которые ставила жизнь перед его родным аулом, перед Дагестаном.

Мы говорили и о его стихах, и о нем самом. Он жил более чем скромно, он не получал ни гонораров, ни пайков. Его прославляли, но никто не думал, как сделать лучше жизнь этого старого человека.

Мы сказали, что сделаем все, чтобы его быт был облегчен, чтобы он мог больше думать о стихах, чем о тяжелой полевой работе.

Он поблагодарил со сдержанной гордостью, поблагодарил за посещение, за добрые слова.

Мы шли в Касумкент под огромным впечатлением услышанного. Я подумал, что восточная пословица: «Счастлив день, когда ты встретил поэта» — имеет настоящий смысл, это не просто красивая фраза. Да, это был счастливый день. Я слышал поэтическое слово, составлявшее душу, двигавшее жизнь, заполнявшее все существо человека. Мрачный пессимист Шопенгауэр говорил: «Начинайте читать книги только тогда, когда у вас иссякли собственные мысли». Сулейман, на страже которого стояла сама природа, наделившая его талантом Гомера, не прочитал в жизни ни одной книги, и его мысли не иссякали, питаясь от источника большой жизни.

И он не растратил свой дар на то, чтобы продавать его по частям, не утратил его под тяжестью пережитого, но, прикасаясь к людям и к земле, он сохранил и умножил радость, которой он мог делиться с каждым желающим.

Он жил стихом и дышал им. В нем жили народ, страна, история. Он был живой летописью событий.

Тонкий звон его чунгура как будто являлся серебряной нитью, соединявшей его с окружающей природой. И я представлял себе, как он сейчас, после нашего ухода, взволнованный встречей с людьми, приехавшими из далекой, непонятной ему Москвы, сидит на балконе своего глиняного дома.

Небо вызвездило. Что-то белеет там вдали, если посмотреть на юг. Это дымчатые снега далеких Шагдагских гор, за ними Азербайджан, там у моря лежит большой нефтяной город, в нем он был перед тем, как отправиться за море, в раскаленные пустыни Средней Азии. Была тяжелая, каторжная работа в адском зное пустынь, когда он строил мост на Сырдарье, темнота и голод всюду — и опять Баку. Труд и бедность, вот что дала ему жизнь, но она сказала: «Я дам тебе такую силу, с которой ты проживешь жизнь, как самый большой богач,— слово поэта, разящее глупца и радующее умного человека, потому что ты расскажешь ему о нем и миру о нем. Это богатство поставит тебя выше всех богачей. И ничто не сможет отнять его у тебя». Это правда, жизнь кончается. Уже шестьдесят четыре года в бедности, но зато я свободен, как птица, как облако, как ветер с Шагдага. Вот сегодня были у меня добрые люди, спрашивали, как живу, говорили, что они помогут мне, что я не должен так дальше жить, так трудно, в такой бедности.

Я не мог сказать им, чтобы их не обидеть, что эта бедность естественна, потому что, если бы я был осыпан милостями, мой стих мог бы потерять свой блеск, свою силу, как кинжал, зарытый в чернозем, утрачивает свое значение. Они думают, что мне что-то нужно. Я уже все получил: от народа, от своего родного края, который окружил меня прекрасными горами, живописными садами, добрыми людьми, красивыми девушками, молодыми джигитами. Я любуюсь всем этим, и оттого, что мне дадут какой-то паек, мне не прибавится мудрости.

Спасибо им за добрые слова. Я не понял, чтó за стихи они читали, но мне показалось, что это хорошие стихи. Я так и сказал им: хорошие песни, легко идут, сильно идут. Я по голосу знаю, как идет звук...

Так представлялся мне великий ашуг, когда мы подходили к Касумкенту и остановились на мосту, чтобы полюбоваться переливами мелких волн Гильгиричая.

«Поэт поэта узнает по голосу» осталось жить во мне, как свет ракеты, которым всегда можно осветить сумрак ночи. И на крыше дома в лакском ауле Шовкра, перед тем как я заснул, мелькнуло передо мной видение другого аула, Ашаги-Сталы, с обликом старого ашуга в затрепанном бешмете, с легким чунгуром в тонкой сильной руке.

...За горами и годами исчез давно аул Шовкра.

Все так же стоят горы Дагестана, и все так же возвышается на удивление людям ни на что не похожее Хунзахское плато. Засыпанная камнями степь, ровная, как равнина, раскинулась во все стороны. Только по краям вылезают какие-то похожие на вулканические скалы отдельные горки, за ними растут коричневые, голые пирамиды и высоко поднятый в бледное небо исполинский профиль Гуниба. Много крови пролилось в старое и новое время в этих местах, но сегодня они рекомендуются как лучшие места для отдыха и туризма.

Улицы аула Хунзах, бывшей столицы аварских ханов, ровные, как в станице на плоскости. Их разнообразные балкончики и расписные ставни выглядели вполне мирно. Ничто не говорило о былом воинственном прошлом родины Хаджи-Мурата. Даже дом Алихановых-Аварских (в нем теперь открыта чулочная артель) — просто старое сооружение. На закрытом склепе — гробнице знаменитого Абу-Муслима, легендарного арабского завоевателя,— висели какие-то разноцветные лохмотья — не то приношения, пришедшие в ветхость от дождей и ветров, не то сушилось белье, какие-то хозяйственные тряпки.

Старая русская крепость, низкая, серая, заброшенная, одиноко стоит среди полей и пастбищ, недалеко от аула.

В тот день, когда мы попали в Хунзах, все мы смотрели по-разному на открывшийся нам пейзаж. Петр Андреевич Павленко отметил прежде всего, что эти места нужны ему для романа о Шамиле, и, вытащив записную книжку, записывал, как выглядит дом ханши Паку Бихе, сыновей которой так жестоко вырезал имам Гамзат, как выглядит мечеть, где сам имам был убит Османом, братом Хаджи-Мурата. Он стоял над могилой Гамзата, смотрел на турьи рога, прибитые самим героем толстовской повести под крышей дома шамилевского наиба.

Нам встретился в Хунзахе толстый, широкоплечий, на низких ногах, среднего роста человек, загорелый, с южны-

ми черными живыми глазами, с пушистыми седыми усами, широким лицом. Он очень внимательно вглядывался в видневшиеся вдалеке горы и что-то соображал, бормоча себе под нос.

Это был знаменитый, всесветно известный итальянский инженер, который проектировал и строил плотины в самых отдаленных краях земли, и теперь судьба занесла его в горы Дагестана, в Хунзах, потому что он взял на себя труд консультанта по созданию высочайшей Сулакской плотины, и ему нужно было сейчас подняться вверх по Андийскому Койсу, чтобы посмотреть его верховья. В белом пробковом шлеме, в светлой рубашке, в старом пиджаке, спокойный, с чуть прищуренными глазами, он и сопровождавшие его помощники и переводчик очень выделялись среди жителей аула.

— На что это похоже? — говорил прославленный гидролог — его звали Анжелико Омодео, оглядывая пустынное, каменистое Хунзахское плато.— Это Мексика! Нет,— через минуту он приходил к другому заключению.— Видите ли, горы всего мира похожи друг на друга, плато горные — тоже. Нет, это не Мексика, это Китай, это Сычуань. Так будет правильней...

Я ношу русскую рубашку и кавказский поясок,— пояснил он,— потому что это очень удобно, а поясок — это сувенир. Из каждой страны я привожу что-нибудь на память... Вы писатели, о, это очень интересно! Я знаком с одним русским писателем, Максимом Горьким. Я встречался с ним еще в Италии. Он очень хотел, чтобы я познакомился с Россией. И вот я, видите, здесь... Мне здесь нравится...

Он не говорил о своей работе по Сулаку. Свои соображения он держал при себе. Его интересовало только то, что непосредственно относилось к его работе. Его помощники тщательно записывали все, что он говорил.

Вечером в стенах старой крепости в неуютной комнате, при свете керосиновых ламп, хозяева аула ужинали вместе с нами и с итальянцами.

На ужине среди нас присутствовал еще один необыкновенный человек, с которым мы провели в ауле Хунзах целый день, говорили о прошлом и настоящем и даже сфотографировались у памятника участникам двух осад крепости Хунзах в годы гражданской войны.

Я с восхищением смотрел на этого стройного, в годах человека, одетого как простой горец, потому что это был Гамзат Цадаса. Это был самый острый ум современной Аварии, поэт, убивавший словом врагов нового, мудрец, искушенный во всех тонкостях народного быта, беспощадный ко всему ложному, смелый борец с невежеством, глупостью, корыстью.

Иные его стихи невозможно было переводить, потому что они представляли непереводимую игру слов: так, он нашел поэтические средства, чтобы написать ярчайшую сатиру на старый арабский алфавит. Он, знаток арабского языка, так связал каждую букву арабского алфавита с самыми неожиданными образами, символизирующими быт старой аварской деревни, что получилась сплошная игра слов, смешных и злых. «Похороны старого алфавита» назвал он это стихотворение. Он писал самые дерзкие стихи, сатиры, в которых он давал полную волю своему острому языку и бичующему стиху.

Он мог писать о корове смешной старухи Изахат, о дурном обычае гидатлинцев выдавать своих девушек замуж, не спрашивая их согласия, о том, что пора перестать таскать кинжалы, ненужные в новом быту, он мог от лица коров написать жалобу на зверя-пастуха, найти слова против обычая носить тяжелейший, уродующий женщин головной убор — чахто, он мог все, потому что в нем жил дух народного протеста против страшного наследия прошлого, которое замкнуло горцев в темный круг ограниченной, глухой жизни ущелий и гор. Гамзат Цадаса возвышался над всеми поэтами Дагестана, как самая высокая вершина. Народ повторял его стихи, и рядом с любовными песнями Махмуда из Кахаб-Росо жили его озорные, сильные народным юмором, яркие стихи.

И в этой крепостной холодной вечерней комнате, где на столе были шашлык, свежие форели на шампурах, хинкал — все богатство горного стола, два человека, богатые талантом и опытом, одних лет, вглядывались друг в друга, взаимно заинтересовавшись.

Наконец Анжелико Омодео, храбро пробовавший огненный хинкал, спросил, кто этот горец с такой благородной головой.

Гамзату Цадаса перевели слова итальянского ученого, очки его сверкнули, он усмехнулся в свои жесткие усы, сказал:

— Переведи ему, что я врач, скажи так!

Анжелико Омодео засмеялся:

— Я так и думал, что это или учитель, или врач! Как он врачует — травами горных лугов?..

— Нет,— ответил Гамзат Цадаса, сделавшись настороженным и хитро улыбнувшись,— я врачую не травами — словами, которые горче трав и лекарств. Я говорю горькие истины своим землякам. Я не только врач. Я сторож при больнице. Излечив, я выметаю метлой старые обычаи и адаты... Я лечу от невежества и темноты...

Итальянец заметно оживился, он понял, кто перед ним. Он отдал должное остроумию старого горского поэта. И сам сказал:

— Дорогой друг. Какой счастливый случай свел нас сегодня. Я тоже врач, я старый лекарь. И я тоже не лечу травами. Только я лечу не людей. Я лечу горы. Я впрыскиваю бетон, я ампутирую утесы, я лечу больные скалы, я излечиваю бешенство горных рек, создавая плотины для пользы гор и людей...

Гамзат Цадаса довольно усмехнулся. Это походило на состязание ашугов.

— Я борюсь со старыми порядками,— сказал он,— они не хотят умирать и мешают людям...

— Да, да, это очень печально,— отвечал Омодео.— Я вам расскажу случай, которому я был свидетель в одном глухом месте Апеннин; в этих горах, когда надо было ставить плотину, она должна была залить, разрушить старую мельницу, на которой жили два полоумных старика — мельник с мельничихой. Они протестовали, как могли. И когда увидели, что их сопротивление бесполезно, то решили погибнуть вместе с мельницей. Мельника силой вытащили из воды, а мельничиха — за ней не уследили — она осталась на мельнице и погибла из-за того, что не хотела понять, что мельница отжила свой век...

— Я не думаю,— добавил он,— что жители аула Сулак, который будет залит водой, когда встанет плотина, и которые сегодня не верят, что так высоко подымется вода, будут протестовать. Я думаю, что наш дорогой врач, лечащий словами, убедит их не вставать против плотины...

— Горцы сегодня уже другие,— сказал Гамзат,— они сами просят о строительстве плотин. Вот мы сооружаем и в Гергебиле плотину. Может быть, почтенный гость скажет что-нибудь о ней...

Итальянец ответил с вежливой улыбкой и наивными глазами:

— Мы проезжали Гергебиль ночью. Я, к сожалению, только слышал голос реки, но не видел ничего. И я ничего не могу сказать... А то, что горцы сами просят сооружать плотину, мне нравится. В Мексике пеоны — это бедные крестьяне — настаивали перед владельцами земель на постройке плотины. И пеоны, чему я очень рад, победили жадность и косность своих хозяев.

— Наш гость любит горы? — спросил Гамзат Цадаса.— Он так тепло говорит о них!

— О да,— воскликнул Анжелико Омодео,— очень люблю! Я друг Селлы. Вы, наверно, слышали его имя?

Горцы не слышали, но я объяснил итальянцу, что имя Селлы как восходителя, альпиниста, много путешествовавшего на Кавказе, известно, и еще больше он известен как великолепный мастер горных съемок. Он чудесно фотографировал горы, и его снимки стали классическими, они иллюстрируют книги Фришфельда о Кавказе...

— Да, да,— сказал довольный Анжелико Омодео,— я люблю горы, я видел их много, очень много. Я построил в горах сорок плотин и спроектировал около ста. Горы похожи, как братья. Брат вашего Хунзаха в Сычуани. Это в Китае...

Он добродушно засмеялся:

— Я рассказывал о плотинах диким племенам в Южной Америке. Кажется, они были даже людоедами. Сегодня я говорю с горцами. Завтра я еду в Африку...

На другой день рано утром Анжелико Омодео уехал со своими спутниками в Ботлих, вольно или невольно обманув Нур Магому Махмудова, того изобретателя-горца, который один построил в своем ауле гидростанцию. Омодео сказал, что, если будет время, он зайдет посмотреть это сооружение, но не зашел — уехал.

Махмудов показал нам построенную им гидростанцию, канаву, по которой поступает вода, доску; если вынуть ее — станция работает, поставить снова на место — станция прекращает работу.

Все было удивительно: и турбинки, и колеса, одно из них — водосборное, и сам домик, и сам строитель-кузнец, аульный самоучка, горский Кулибин.

Мы шли с Гамзатом Цадасой и говорили о талантах из народа, которые так проявили себя в советское время. Гамзат рассказывал о Халиме Мусаеве, диковинном ору-

жейнике, который провел в аул за два с половиной километра водопровод, сам изобрел сверло, которым сверлил бревна, по этим деревянным трубам пошла в Согратль вода, построил без архитектора школу, соорудил перед школой памятник Ленину, голову сделал сам. Он может ремонтировать, строить, изобретать. Сколько таких Мусаевых по всему Дагестану!..

Он подумал и сказал задумчиво:

— Старею, мне уже пятьдесят шесть лет. Есть одна у меня мечта. Если бы она исполнилась, я был бы счастлив. Моему сыну Расулу десять лет. Я исполнил в жизни, что хотел. Я достиг знаний, с детства писал стихи. Сладостны песни Чанки и Махмуда. Но трудно, борясь с темнотой и нуждой, жил народ. Я писал о том, что мрачно, что нужно изгнать из жизни. Я писал, осмеивая, проклиная, нападая. Не щадя, я бичевал и бичую, бью, как камчой, обличаю, издеваюсь. Но теперь пошла другая жизнь... Вы видели, как по-новому начинают жить в горах... В старой крепости — школа. Кому нужна крепость? Школа всем нужна. Вся жизнь станет школой. И уйдут темные люди и темные времена. Останутся мои песни. А кто будет мне наследовать? Конечно, поэт других времен. Я хочу, чтобы этим поэтом был мой сын, мой маленький Расул...

Сбылась мечта старого поэта. Он еще при своей жизни мог держать в руках первые книги Расула Гамзатова: «Земля моя», «Песни гор», «Родной простор».

На смену старому певцу гор пришел великолепный певец нового Дагестана.

Его молодая, смелая, умная, сердечная песня о родных краях, о горянке, о широком мире, о человеке, любящем жизнь и борьбу, вышла за пределы Дагестана, за пределы Советской страны. Он соединил в своем таланте страсть и мудрость многих поколений поэтов гор. Но это уже другой рассказ, о других временах...

Махачкала в то время была для меня городом новым, романтическим, преддверием всего неожиданного. Казалось, что стоит углубиться в ее маленькие улицы, где так тревожно шумят деревья в ранние осенние сумерки, и обязательно я натолкнусь на приключение, потому что его не

может не быть в городе, полном легенд и всяких таинственных историй.

Стоило пойти вечером на низкие берега к морю и увидеть, как из далекой темноты приближаются, растут, шлепают к ногам, рассыпаясь бурой, тяжелой пеной, высокие волны, и возникало желание уплыть в неведомые дали азиатских пустынь, туркменских диких безлюдных заливов с первым пароходом, уже дававшим гудок отправления в махачкалинском порту. Уже сверкали в тумане его сигнальные огни, звавшие к путешествию.

А за городом лежали невидимые, закрытые облаками, зовущие громады гор, за которыми, вы знали, вас ждет многоликий, многоязычный горный Дагестан.

Город был построен на месте военного лагеря, раскинутого Петром Первым, любившим просторы моря и земли, любившим странствия и большие дороги. Теперь город назывался именем дагестанского революционера Махача Дахадаева и мог многое рассказать о событиях ушедшей в даль времен гражданской войны.

Но в этом уже большом городе был маленький дом, скромное жилище на улице Оскара, в котором охотно бывали писатели и поэты, потому что хозяева гостеприимно приветствовали людей, как они влюбленных в литературу, в искусство, в историю. Здесь можно было посидеть, поспорить, узнать всегда что-нибудь новое, увидеть молодых, начинающих литераторов.

Впрочем, и самим хозяевам — Эффенди Капиеву и его жене Наталье Владимировне, молодым писателям, были нужны эти дружеские встречи и беседы.

Круг вопросов, затронутых на этих беседах, был самый широкий. Как-то заговорили о том, что кто-то из приезжих, высказываясь о народах, населяющих Дагестан, назвал их младенческими народами гор.

— Они совсем не младенческие,— горячо говорил Эффенди.— Посмотрите, какое высокое искусство в наших горах. Как умеют строить — возьмите Согратль, аул каменщиков. Вы не найдете швов в стенах домов — так искусно они сделаны. Искусство талантливейших ювелиров, которые были известны всему Востоку, оружейники — мастера шашек, соперничающих с дамасской сталью, кубачинские, амузгинские умельцы, ковродельцы, мастера делать бурки, каких нет в мире, силачи, канатоходцы. А какие наездники и воины жители гор! Об этом говорит война, которая длилась шестьдесят лет. Подумать только — маленькие на-

роды выдержали такое невероятное испытание! За это время горцы так сдружились, так сблизились с русскими, с казаками, хотя бы на Тереке и в горах, что даже были кунаками и роднились даже, потому что горцы умыкали в горы казачек, а казаки — горских девушек. Они все знали друг о друге и, когда прерывались военные действия, вели самые мирные дела, ездили друг к другу в гости, на свадьбы и помогали тоже...

— Было, было,— сказал Павленко, который если начинал говорить о Кавказской войне, то всегда открывал что-нибудь неожиданное. Он был набит всевозможными фактами, потому что изучил эпоху Шамиля досконально.— Я вам расскажу о том, как приехал Пирогов, Николай Иванович, знаменитый ученый-врач, впервые на Кавказ, на линию, и сразу пошел смотреть местный госпиталь. А там лежали раненые, преобладали переломы рук и ног. Объясняли Пирогову, что в горах главные ранения — от ударов шашкой, переломы — с конем падают со скалы, ломают ноги, руки. У всех раны запущены донельзя. Пирогов говорит о лекарствах, об отсталости, бранит местных лекарей, подряд назначает больных на ампутацию. Он был ярым сторонником ампутации, говоря, что врач, уступающий из неуместного человеколюбия больным в желании сохранить раздробленные члены, несравненно более вредит им и несравненно более потеряет больных, нежели сохранит рук и ног.

Сопровождающий его военный врач, незаметный, армейский, молчит, записывает его приказания. А раненые казаки — бородатый народ — начальству противоречить не могут, да еще такому — из самой столицы. Сделал осмотр, идет через день — ни одного назначенного на операцию нет в госпитале. «Куда делись?» — спрашивает. А ему разъясняют, что на Кавказе есть свои порядки, на столичные не похожие. «Что поделать, живут все время на войне, к смерти мысль приучили, вот поэтому, как вы изволили их на операцию с ампутацией, так их и разобрали родные, чтобы они могли попрощаться с семьей, поскольку тут семьи рядом. А потом они вернутся, и все будет в порядке». Ничего не сказал Пирогов тогда, а потом велел прийти к себе домой врачу, чтобы наедине переговорить.

И когда тот пришел, он ему и говорит: «А теперь, будьте добры, расскажите мне, что же в самом деле произошло? Вашу эту версию о христианском прощании перед

кончиной не принимаю. Извольте объяснить. Тут все не так...»

И врач тогда объяснил, что оно и так и не так. «Дело в том, что они ждут, чтобы с гор пришли хакимы горские, большие специалисты по части лечения поломок ног и рук. Они никогда ног и рук не рубят, а лечат травами, массажем, особыми лубками. Вот почему вы таких больных и застали, которые этих хакимов дожидались. А как они, раненые, услыхали, что им просто отпилят ноги, руки, они упросили сохранить их до хакимов, которые вот-вот придут».— «Хорошо,— сказал Пирогов,— когда хакимы придут, я посмотрю, как они будут это все делать. Я буду ваш помощник, вас они не смущаются?» — «Меня — нет,— отвечал лекарь,— у нас это практикуется». И Пирогов увидел искусство горских врачей и написал потом специальную статью о том, как хакимы-горцы умеют искусно лечить огнестрельные повреждения и переломы без ампутации... Так что о младенческих народах говорить не надо...

— А высокий моральный кодекс какой был,— добавил другой знаток гор, который тоже занимался историей Дагестана, Роман Фатуев.— Вспомните случай с тем же Пироговым, когда под Салтами был тяжело ранен храбрейший мюрид Шамиля и местные врачи, как ни старались, помочь не могли. И Шамиль, зная о славе Пирогова как лекаря, послал специальных гонцов в русский лагерь просить Пирогова приехать. И Пирогов, без разрешения начальства, отправился к Шамилю и сделал операцию, спас мюрида, вынул пулю и поехал обратно, отказавшись принять в дар роскошного коня. Сам Шамиль лично выразил ему признательность...

— Рыцарские были времена,— сказал я.— Ну уж если говорить о творческой силе и высоте народных характеров, так вспомним, как Лев Толстой поражен был теми образцами горской поэзии, которые он послал Фету, чтобы тот обработал их, или, как теперь говорят, перевел с подстрочника. Фет просто взорвался от восхищения, написал специальное стихотворение, где сравнивал себя с ястребом, который просидел зиму в клетке, питаясь настрелянною птицей, и вдруг получил живую птицу.

Так бросил мне кавказские ты песни,
В которых бьется и кипит та кровь,
Что мы зовем поэзией. Спасибо,
Полакомил ты старого ловца! —

писал он Толстому.

— Поэтов в горах вокруг Толстого было много и тогда, как и теперь,— их просто не знали! — воскликнул Эффенди Капиев.— Возьмите наших лакцев, я сам лакец, какова хоть наша Патимат из Кумуха; она, аристократка, полюбила простого муталима. И какие она написала стихи, это было в девяностые годы; а Гасан Гузунов, он и сейчас жив. Сборник имеет, правда, рукописный. А Гарун Саидов — революционер-поэт. Наша семья жила в Темир-Хан-Шуре в доме его невесты. Когда он погиб, моего брата, родившегося в то время, назвали в честь погибшего бойца Гаруном. Он был и драматургом, Гарун Саидов, написал драму «Лудильщики».

А какой был даргинец Батырай! Могучий поэт! Как наш Цадаса, громил он невежество, угнетение, и ему под страхом штрафа запрещали выступать перед народом. За каждую спетую песню поэт должен был платить штраф — быка. Иногда собирали деньги на быка его земляки, и он пел сквозь слезы, и слушали его затаив дыхание. А когда он в нищете, в одиночестве сидел, не имея права громко подать голос, он, говорят, забирался в глиняный кувшин большой и там пел вполголоса. А Махмуд из Кахаб-Росо, Эмин лезгинский! Их много, они всюду, певцы! Надо собрать их песни, это достояние народа...

Так говорил Эффенди, с таким жаром, с такой сердечной заботой, что было ясно, что он и есть тот хранитель, тот передатчик песен этих названных им и нам неизвестных поэтов, которых он представит большому читателю.

Мы уходили из этого дружеского дома с убеждением, что Эффенди сделает большое, народное дело. И он сделал его. Все знают его переводы Махмуда, Батырая, прекрасную книгу «Резьба по камню», изумительную книгу о Сулеймане Стальском «Поэт». И чудесной его помощницей была неутомимая, одаренная Наталья Владимировна Капиева, которая и после его смерти самоотверженно продолжала работу над переводами горских поэтов. Ею составлен большой сборник народных лириков Дагестана, который открывает широкому читателю много новых славных имен.

Фронтовые записные книжки Эффенди Капиева говорят о том, что он был на пороге нового большого труда, посвященного советским людям, защищавшим родной Кавказ от вражеского нашествия...

Тогда, в 1933 году, мы не знали, что нас ждет в будущем, таком близком. Через шесть лет уже загремели вы-

стрелы в лесах под Ленинградом, на Карельском перешейке, а еще через полтора года пожар войны уже бушевал от моря до моря и, наконец, стал обжигать снега Кавказа.

...Перед отъездом из Махачкалы мы гуляли с Володей Луговским по берегу ночного моря. Мы вспоминали все, что видели вместе в горах, так нам полюбившихся, и рассказывали о том, что пережили отдельно друг от друга, и нам было грустно уезжать.

В городе огни гасли один за другим. Ветер с моря налетал порывами. Упавшие листья шевелились, как живые, пробуя бежать и падая, отяжелев от сырости.

Маневровый паровоз все ходил и ходил вдоль моря, напоминая грустные сильные стихи о ночных вокзалах Махмуда из Кахаб-Росо. Нам казалось, что мы пережили какие-то удивительные дни, хотя все в этих днях было как будто простым, не имеющим ничего сказочного, ничего особенного. И все-таки мы оба чувствовали, что мы увозим с собой какую-то большую радость, которая согреет нас в холодные ночи севера, в ночи испытаний, которые нам предстоят.

Ночной паровоз маневрировал, рассекая воздух резкими, короткими гудками. Вокруг нас были ночь, сон, безмолвие моря и земли. Но там, за городом, вставали могучие горные кручи, которые мы чувствовали сквозь темноту ночи всем нашим сердцем!

ДНИ ОТКРЫТИЙ

Час за часом мы медленно и неутомимо поднимались по каменным пустынным террасам выжженного солнцем Гегамского хребта. Тогда он назывался еще и Ахмаганским.

Мы начали свое странствование от Нор-Баязета. Перед тем как начать свой длинный путь через горы, мы пришли в дом старожила этих мест, армянского адвоката Ованеса Ованесовича Будумьяна. Он много говорил о прошлом Армении, грустно разводил руками, когда речь заходила о его собственном существовании.

— Что мне сказать? Единственное, что я скажу: я разорен, я разорен! Четыре коровы было, шестьсот овец. Все угнали турки в девятнадцатом году. Но надо жить, надо бороться с трудностями. Армяне — народ тяжелой судьбы. И я живу, и борюсь, и еще защищаю остатки старины, памятники древности. Вы видели почти у самого города кладбище с фаллическими сооружениями? Видели. Очень хорошо! Вы, наверное, остановились и даже, наверное, постояли в удивлении перед этими разноцветно украшенными намогильными свидетелями далеких эпох? Вы недоумевали: откуда здесь столько этих удивительных памятников? И почему часть из них разбита и лежит на земле? Здешнее население, пастухи,— народ дикий; им кажется, что это неприлично, и они при случае разбивают эти ценные столбы. Я защищаю их, как могу. Я знаю здесь все окрестности.

Вы хотите идти через горы в Гехард, в пещерный монастырь. Доброе намерение! Я, когда мне было шесть лет,— а это было в прошлом веке,— помню смутно, как с бабуш-

кой ездил в Гехард. Я помню только, что было очень жарко, очень пыльно. Большой фаэтон, дорога плохая, бабушка все время сердилась. Больше ничего не помню. И хотя я не ходил пешком через горы, но... идите сюда.

Он подвел нас к окну в своем уютном большом кабинете, где, потеряв счет лет, теснились темные, ветхие шкафы со старыми фолиантами и свитки карт лежали, как хартии исчезнувших царств.

— Посмотрите,— сказал он с академическим спокойствием, протирая пенсне на шелковом шнуре,— обращаю ваше внимание на то место в горах, где как будто горы расколоты. Видите, небольшая щель? Вот в эту щель вам надо пройти, чтобы перевалить хребет. Запомните, пожалуйста, эту щель. Это единственный путь, я так понимаю...

Мы смотрели, как зачарованные, на суровые очертания Гегамских высот и слушали внимательно совет старого знатока гор. И, только выйдя из его дома после долгой дружеской беседы, мы расхохотались, потому что, снова взглянув на хребет, мы уже не могли найти никакой щели. Но у нас был опыт, карта и компас.

Мы вышли в пять часов. Утро было сизое, холодное, и мы прошли в этой бодрой тишине несколько селений. Одно из них называлось «Дали кардаш» — «Сумасшедший брат», как объяснил нам прохожий. Мы сами были сродни этому дервишу в странном опьянении от гор, потому что пришли на Армянское нагорье из глубины снежных и ледяных высот Большого Кавказа. У нас за плечами были сотни километров, пройденных по горным долинам, ледникам и перевалам. Наши резко обветренные щеки были темнее кожи буйвола. Мы питались как факиры. Нас ничто не пугало: ни крутизна пути, ни длина его, ни холод, ни адская жара, когда кажется, что расплавятся мозги. Обходя Севан, мы выискивали какой-нибудь скалистый выступ, чтобы в его тени постоять хоть бы несколько минут, чтобы отдохнуть от неслыханного зноя, висевшего над ледяной водой поднятого к небу озера, окунаться в которую было бессмысленно, и можно было получить к тому же тепловой удар.

Все выше и выше поднимались мы в какой-то совершенно особый мир. Долго мы шли по хрустящему щебню печальной серой пустыни. Вокруг поодаль вставали черные и красные, багровые с зеленым, невозможных расцветок конусы потухших вулканов.

Каменные россыпи казались бесконечными. И вдруг, обернувшись, мы застыли на месте, вонзив наши посохи в груду камня на краю обрыва. Далеко под нами лежал, меняя цвета, весь целиком видный могучий Севан. То он был изумрудно-зеленым, то синел густой, тяжелой синевой, по которой пробегала тень низкого облака.

Отчетливо рисовались окаймленные вырезами скалистые берега. Дикие скалы входили прямо в глубокую воду, образуя заливы, похожие на фиорды. Только на юге виднелась бледно-зеленая болотистая равнина около Басаргечара, а на восточной стороне Севана мы видели пепельные отвесные уступы Артаныша и стену Арегунийского массива. Невольно наш взгляд скользил по местам, которые были недавно пройдены нами. Где-то на севере угадывались в дымке вековые широкошумные дубовые рощи Дилижана, и внизу, над озером, под Семеновским перевалом,— деревушка Чубухлы, которая ныне носит, кажется, название Цовагюх.

Там старый крестьянин предложил нам ночлег. Мы спустились под землю, в его жилище, обнаружили ряд комнат, разделенных коридором. Первое помещение, у самого входа, которое мы гордо назвали холлом, было больше остальных. Нас окружали пустые глиняные стены. На полу горел костер, недалеко от него возвышалась груда конского снаряжения: вьюки, седла, уздечки; тут же лежали какие-то хозяйственные принадлежности, войлоки, кошмы, старые попоны. Мы закусили у огня и, усталые от долгого перехода, завернулись в одеяла, положив головы на свои дорожные мешки. Старик был не один. Дочка его, молодая, волоокая, могучая девица, пригнала вниз овец, и они, толкаясь и налезая друг на друга, отправились по коридору в глубину дома, в комнаты, где они ночевали. Козел, который возглавлял стадо, проходя мимо, скосил голову и посмотрел на нас недобрыми глазами, точно мы подсмотрели, увидели то, что нам не надо видеть, и он нас за это возненавидел.

Потом все стало затихать. Старик дремал в углу, дочь куда-то исчезла. Огонь в костре начал угасать. С улицы доносились слабые звуки ночной жизни. Мы уже почти погрузились в сон. Тут раздался у входа такой крик, что мы мигом проснулись. Приподнявшись на своих ложах, мы увидели необыкновенное зрелище. Сначала оно походило на сумасшедшее сновидение. Мы видели прямо перед собой темно-коричневую морду огромного быка, который

хотел самовластно вступить в наше помещение, но в этот момент он начал делать то, что ему следовало бы сделать немного раньше и не в помещении, а на улице. Упершись одной рукой ему между рогами, на пороге стояла дочь нашего хозяина, держа в другой руке черный пучок смолистых веток вместо факела. Она гневно выговаривала быку. Освещенный ярким огнем, бившим в его темно-лиловые глаза, тупо озираясь по сторонам, бык стоял, покорно раздвинув ноги, не смея пошевелиться, подчиняясь сильной руке, его остановившей.

Могучая голова его, просунутая в подземное жилище, черно-серые рога, упершиеся в желтые стены, девушка в длинной белой рубашке, босиком, великолепная в своем застывшем напряжении, факел, трещавший в ее руке, прекрасное лицо, озабоченное происходящим,— все это дышало какой-то дикой прелестью, необыкновенной и естественной...

— Это Геродот,— сказал, сидя среди попон, мой спутник.— Это классика. Это Гомер! А может быть, это сон?..

Но это не было сном, как и то селение, которое мы не могли сейчас разглядеть через озеро. Оно лежало у подножия веером расположившихся гор и называлось двойным именем Шорджалу-Надеждино. В нем жили прыгуны. Переселенные сюда еще при Николае I, они сохраняли свои особенные нравы и обычаи и свой странный культ священной пляски. По субботам по улицам селения, круто спускавшегося к озеру, выстраивались десятки самоваров всех размеров, их надраивали кирпичом мальчишки и девчонки.

Хозяйка наша, Авдотья Ионовна, женщина суровая, перетирая чашки после длительного чаепития, спрашивает моего спутника:

— Дети-то есть?

— Нет! — отвечает он.

— Что ж это?

— Да я не женат. Будут дети, когда женюсь,— хорошо, не будут — тоже хорошо.

— Плохо,— говорит она.— У меня шесть, седьмого жду. Плохо, когда детей нет. Кому наследство оставишь?

— Какое наследство? Штаны да мешок вот этот?

— Ну, уж мешок! А дом-то?

— А у меня дома-то нет.

Авдотья Ионовна ставит последнюю чашку на полку, не спеша свертывает полотенце, смотрит с недоумением.

— Как же дома нету? Живешь-то ты где?

— В комнате, в квартире.

Она не понимает, что такое квартира. После долгого, подробного объяснения, что такое городской жилой дом, она смотрит грустно, с сожалением.

— Поняла, хозяйка?

— Поняла... Только как же это ты так? Всю жизнь по чужим людям маешься!

Мы сидели на берегу Севана и курили, наблюдая, как к воде чинно спускаются отряды бесчисленных уток и гусей. Они вступают стройными рядами на воду и начинают свои водяные игры и упражнения, как настоящие спортсмены.

Подходит к нам хозяин, супруг Авдотьи Ионовны, бородатый, мрачный Моисей Иванович. Он говорит, как и она, медленно, смотрит внимательно, как будто хочет угадать, какие настоящие причины привели нас в этот заброшенный уголок, чего мы хотим, кто мы.

— Ку́рите, дружки? Ну кури́те, кури́те! Грех в этом небольшой.

— А вы?

Он мнется, хитро усмехается:

— На людях не курю...— И сразу лицо его тяжелеет.— Прыгуны — народ строгий, хотя...— Он добавляет, подумав:— Хотя от табаку польза есть. Вот вы бродили берегом. Гляди, в кошах на земле спали?

— Спали...

— Безопасно можете спать, потому как курите. А без курева есть опасность...

— Какая же это опасность?

— А у нас змей пропасть. А вас эти змеи не тронут. Змея запаха табачного не переносит, слышать не может. Если курящий человек,— спи на земле, как хочешь. Ничего не бойся. Близко не подойдет. Мы табаком вымя коровам моем. Чтобы не сосали...

— Как это не сосали?

— А как же? Змеи есть первые любители молока. И так они, умные, наловчились, что вымя коровам сосут. Обовьется вокруг ноги задней и сосет. Напьется, опьянеет, отвалится. А корове легче идти. Как корова с выменем в крови придет, значит, змея сосала. Она ведь сосет-сосет, а как молока нету, кусать начинает. Так мы у таких коров вымя и ноги табаком моем. Вот тебе и польза...

И без всякого перехода говорит:

— Вон у нас тут два брата живут. Плотники — первый сорт! Собой видные такие. А вот замуж за них никто девку не отдаст. Холостые живут, холостыми и помирать будут.

— С чего бы это?

— Прыгать отказались, дружок. Молиться по-нашему не желают. А мы, прыгуны, народ строгий...

Много прошли мы селений в Армении и всяких людей видали на долгом пути, но этот вожак прыгунов — человек особенный, тяжелый, враждебный всему новому. Он говорит как бы мимоходом:

— А за что нам Россию любить? Она еще в старину сюда наших дедов сослала на истребление и нищету, так пусть с нас и не спрашивает.

Он прекрасно знает, кто сослал прыгунов, как и то, что совсем не в нищете они живут. Он настоящий крепкий, зажиточный хозяин и знает, как вести хозяйство, держа всех, и домашних и соседей, в строгости. Но времена другие. Недавно он ездил в Ново-Михайловку (нынче Красное село) просить в кредит молотилку. Ему молотилки не дали. Сказали: кулак. И верно, он кулак.

Он полон недоверия и злости, видит, что жизнь поворачивается против него. Поэтому, когда мы уходим, он ворчливо говорит, не повышая голоса:

— Вот хлеб уберут — война будет. Непременно будет! Примета есть!

— Какая война?

— Не мировая, нет! Гражданка будет. Не уживутся кошка с псом, никак не уживутся...

— Вот ты о чем! — говорит мой спутник.— Это верно, что не уживутся. Только войны у тебя, Моисей Иванович, не будет с большевиками. Не по зубам тебе это дело...

— Теля, дружок, погодя считать будем!

— Ну что ж, считай! Твое дело хозяйское. Только теля-то считаны и пересчитаны. Все известно...

Он делает набожное лицо.

— Известно, да не нам. Богу известно. Аминь!

И все же, когда мы уже пошли, он кричит вдогонку, как бы спохватившись:

— На Артаныше-то, где будкой погоду меряют, осторожней будь! Там сторож сумасшедший! Он почем зря в прохожих из ружья садит, особо к вечеру: за чертей принимает. Так ты поберегись!..

Мы уходим, смеясь. Да, разные люди на Севане, разные!

Мы стоим на высоком обрыве, и отсюда нам виден весь наш путь над озером. Ночи в пустых, брошенных кошах — пустынные, странные ночи, когда из узких ущелий дует пронзительный ветер, в щелях скал он плачет тоскливо, как неведомая ночная птица. Одинокое дерево скрипит своим разбитым бурым стволом, озеро блестит фосфорическим мертвым светом, кругом пустыня и ночь. Зеленые звезды над темными громадами гор, бессонница. Шорохи в соломе старого коша. Раз на меня упал ночью суслик. Он шел по верху навеса и провалился сквозь сухие кукурузные стебли прямо мне на живот. Он встал, оглядываясь и начал ощупывать, потирать себя. Я цыкнул на него. Он бросился в темноту коша, уходившего в подземелье, но по дороге стукнулся о столб навеса, полетел в кукурузные стебли, долго там кряхтел и барахтался, удивляясь тому, что с ним приключилось. Потом затих, ушел...

...Отвесные скалы, текучие осыпи, похожие на терриконы, раскаленные тропы — все это видно отсюда и все это было с нами, которые пришли сюда издалека, чтобы видеть древнюю землю Армении, и она пленила сердце моего спутника. Я гляжу на него и вижу, какими глазами он смотрит на эти раскрывшиеся дали, на эту странную, трудную, древнюю страну. Я знаю, что она ему начинает нравиться с каждым днем все больше. Я вижу это по его восторженному взгляду, по разговорам в пути и особенно вечером, перед сном. На наших одиноких ночлегах мы варим себе какао, в огромную кружку кладем большие куски сахару и заедаем хлебом. Это наш обед и ужин. И утром мы пьем кружку какао, больше у нас ничего нет. И потом идем дальше в долгий, такой удивительный, дарящий нам каждый час новые ощущения горный путь. Моего спутника радует наша жизнь, как будто он мечтал об этом с юности. А на самом деле он с ног до головы городской человек. Мой спутник — ленинградский поэт Вольф Эрлих, и, смотря сейчас на него, я вспоминаю тот зимний ленинградский вечер, который был четыре года тому назад. Только четыре года...

Тогда в номере гостиницы, выходившей на свинцовую громаду Исаакиевского собора, произошло следующее. Сергей Есенин накануне смерти рассказал Елизавете Алексеевне Устиновой, как он порезал руку и за неимением чернил писал кровью. Листок, на котором были написаны эти стихи, он вырвал из блокнота, сложил его вчетверо и положил в карман Вольфа Эрлиха, сказав: «Тебе!»

Устинова хотела прочесть эти стихи, но Есенин не дал.

— Нет, ты подожди! Останется один — прочитает.

На листке из блокнота было восемь ныне широко известных строк:

До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Вольф Эрлих действительно любил Сергея Есенина глубокой и сердечной любовью.

Вольф Эрлих родился на Волге, в городе Симбирске (ныне Ульяновск). Его отец был врач, участник империалистической войны. В годы гражданской войны он работал главным врачом больницы патронного завода в Заволжье.

С детских лет Вольф Эрлих бродил с мальчишками по берегу Волги, знал хорошо жизнь приволжских деревень и еще на гимназической парте начал писать стихи о родной стороне.

Он опоздал родиться. Если бы он был в годы гражданской войны уже взрослым человеком, а не маленьким, худым подростком, то, как знать, приняв участие в революционных битвах, он, возможно, имел бы другую биографию. Память его сохранила злодеяния разнузданной белогвардейщины, совершенные в те годы в его родных местах. И в формировании его характера это сыграло свою особую роль. Всю жизнь он хранил священную ненависть к врагам революции и неоднократно подчеркивал это в своих стихах.

Отец хотел, чтобы сын пошел по его пути и стал доктором, и Вольф Эрлих сначала действительно поступил на медицинский факультет Казанского университета, но потом склонность к литературе перевесила, и он спустя самое короткое время перешел на историко-филологический факультет и в следующем, 1921 году перевелся в Петроград, на второй курс университета.

Тут вместе с занятиями этнографией и лингвистикой он входит в среду молодых поэтов и погружается в бурные, нескончаемые дискуссии и споры, какими было богато то далекое время.

Разнообразие школ и школок, предлагавших свои законы и приемы для изображения действительности и для ухода от нее, было необыкновенное. Иные поэты переходили от одних поэтических племен к другим очень часто, меняя вкусы и привязанности и своих литературных вождей. Общественные диспуты только разжигали страсти и нередко превращались в шумные скандалы, о которых писали в газетах и журналах.

Среди этого поэтического шума и гама вдруг объявились имажинисты. Сергей Есенин разделял власть в этой группе с Шершеневичем, пытавшимся обратить Есенина полностью в свою веру, состоявшую из служения невозможному, непредставимому образу и почти бессмысленному сочетанию слов. Об этом позже так писал Есенин:

«...В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом».

Ленинградские имажинисты отличались от московских еще и тем, что московские метры имажинизма не были для них почитаемыми идолами, а любили они и шли за одним Сергеем Есениным. Вольф Эрлих, встретившись в первый раз с Есениным, так был им взволнован и потрясен, что с того дня стал сближаться с ним, и наконец это сближение закончилось большой и настоящей дружбой, продолжавшейся до последнего дня жизни Есенина.

Позже в своей книге о Есенине «Право на песнь» он приводит слова, сказанные ему однажды Есениным: «Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины!»

Мне нравился Вольф Эрлих и своей сердечной преданностью Есенину, и большой настоящей любовью к родной поэзии. Мы сдружились. В тот год, когда я взял его в горы впервые, у него вышла первая книга стихов «Волчье солнце». Он кончил лирическую поэму «Софья Перовская».

Из всяких литературных салонов и полусалонов того времени, из всяких кружков и богемного окружения я извлек его для гор. Он сначала опешил и растерялся перед невиданным и незнакомым ему миром.

Я помню душный, пронизанный неостывшим жаром летнего дня берег Ардона. Вольф Эрлих стоял и не мог оторвать глаз от реки.

— В чем дело? — спросил я.— Что тебя поразило?

Он молча показал на взлохмаченную, бугрившуюся коричневыми взметами воду. В верховьях Ардона прошли сильные дожди, и река мчалась к Тереку, рыча и перекидывая через камни большие деревья, которые, едва задержавшись на гребне, сразу исчезали за поворотом, точно невидимые подводные силачи перебрасывали их через камни, и это продолжалось безостановочно.

— Первый раз в жизни вижу такое! — сказал он с восхищением, которого не мог скрыть.

Он оказался выносливым, как ишак. Наш поход был длинный и трудный. Но он все переносил терпеливо, все ему нравилось. И действительно, в тот год горы раскрылись перед нами всем своим богатством. Мне казалось, что после стольких долин, ущелий, перевалов, снегов и льдов Северного Кавказа, после неповторимых чудес Верхней Сванетии у него начнется усталость, он сдаст духом и телом.

Но с ним произошло обратное. Какая-то ненасытная радость охватила все его существо. Он не думал о жизни городской и полной легких соблазнов. Он как будто пожирал ежедневно сменявшиеся пейзажи, он по-детски, даже смертельно уставший, радовался тому, что его окружало. После легкого отдыха он готов был снова ринуться в путь. Я готовил его к горам еще зимой, совершая с ним большие прогулки на Ладоге и в болотах, окружающих невскую столицу.

Мы ходили с ним и на лыжах. Одним словом, он оказался добрым товарищем. С ним можно было не опасаться трудностей горного путешествия. Мы повидали столько, что наши записные книжки не могли вместить всех бесед о жизни и судьбе населяющих горы людей и путевых впечатлений.

Мы шли среди простого народа и жили простой жизнью. Мы вставали на рассвете и ложились с заходом солнца. Наш ночлег мог быть в людном селении и в таком диком, пустынном месте, где только ночной зверь мог быть нашим соседом.

Итак, мы стояли на обрыве и любовались Севаном с этой орлиной высоты. Надо было двигаться дальше. Просторы каменной, лавовой пустыни, нагромождения седых камней снова окружили нас. Мы шагали как будто на зов разноцветных вулканов, видневшихся по бокам и впереди. Прозелень вулканического стекла — обсидиана — переме-

жалась с красным шлаком и светлыми липаритовыми пятнами, вдруг попадались углубления, забитые серым снегом.

На всем лежал тусклый свет, и от этого света возникала какая-то неопределенная грусть...

— Какая необыкновенная земля,— сказал Вольф.— В ней есть что-то загадочное! Как будто она хранит какие-то тайны и человек должен их разгадать... Какие краски, какие пустынные дали! Она создана для труда и раздумья...

— Ты знаешь,— отвечал я,— я был в Армении первый раз пять лет тому назад. И я испытал то же самое. Я схватился за книги, за стихи армянских поэтов, и меня поразил человек, которому армяне обязаны созданием армянской письменности. Этого мудреца звали Месропом Маштоцем. Я могу себе легко представить его идущим, как и мы, по такой молчаливой древней пустыне. Это земля, окропленная потом и кровью, но она безмолвна. Она хочет иметь язык. Месроп видит эти горы, эти камни, испещренные знаками веков. И он говорит с этим небом, с этими камнями. Заходит огромное багровое солнце. И в мозгу человека рождаются первые знаки армянской азбуки. И потом они, выражая все, что может выразить человек, будут жить на пергаменте, на камне, на глине. Человек закрепил в памяти людей целый мир.

— Давай посидим на этом камне,— предложил Вольф,— когда мы еще придем сюда...

— Нет, дорогой, мы не посидим, и вот почему. Я вспомнил, что об этих местах говорил мой добрый друг геолог, работавший на Ахмагане с Левинсоном-Лессингом.

— А что он говорил?

— Он говорил, что ежедневно, ты понимаешь, ежедневно, в августе здесь среди дня, в этих местах, именно где вулканы, свирепствуют грозы, очень сердитые, со снегом к тому же. Потом часто выпадает туман, то, что называется молоко. Это молоко заливает все окрестности и стоит иногда несколько дней. В двух шагах не видно ничего. Поэтому посмотри на тучу, что приближается к нам, и прибавим шагу... Надо пройти перевал до полудня!

Как будто злые духи подслушивали наш разговор. Как быстро мы ни шли вверх, к перевалу, туча облегла нас, и вдруг окружающая нас пустыня застонала и осветилась призрачным розово-кирпичным светом. Он померк, и мол-

нии стали вонзаться в уступы, как белые раскаленные копья, посылаемые рукой великана, закутанного в темно-серые полотнища тучи. Грохот грозы перекатывался по всей горной стране. Где-то, отвечая ему, гудело эхо, где-то гремели каменные обвалы. Молнии не походили на обычные молнии нашей грозы. Они не извивались, они были прямые, но блестели так, что на них нельзя было смотреть.

Эта сухая гроза неистовствовала, и мы каждую минуту ждали, что огненное копье ударит где-то рядом, и что́ с нами будет — неизвестно. Мы шли, как разведчики, попавшие под артиллерийский налет. Жара, которая до сих пор наседала на нас, сменилась порывами холодного ветра, который дул прямо в лицо и леденил щеки. Этот переход от зноя к осеннему холоду был так резок, что, несомненно, являлся предвестием чего-то. И действительно, вдруг из ставшей почти белой тучи зашуршал, а потом почти засвистел крупный град, который начал избивать нас с большой силой.

Мы шли в безрукавках. Голая моя левая рука сразу онемела, почти отнялась под действием этих бьющих непрерывно, величиной с крупный горох градин. Молнии продолжали освещать скакавшие по камням, свистевшие в воздухе полосы града. Окружающие скалы исчезли в потоках града, низвергавшегося с такой силой, что мы видели, как маленькие углубления между камнями покрываются белой пеленой.

Град бил так, что нам пришлось остановиться, снять мешки, отвязать одеяла, снова надеть мешки, а одеяла накинуть сверх мешков, закрыв ими и голову.

Теперь град стал менее болезнен, но вся злобность ахмаганской стихии не утихала. Гром сотрясал каменную страну. Туча была бездонным мешком, из которого летели градины, казалось, накопленные с сотворения мира. Теперь мы как будто находились в одном из кругов ада, и этот круг не думал сужаться.

Мысли наши были в беспорядке, но мы хотя и не разговаривали, но хорошо понимали без слов друг друга. И если бы нас спросили, что мы чувствуем, мы отвечали бы одно и то же: нам нравится, нам неистово нравится это зрелище бури, града, природы, выкрикивающей свои заклинания громовым голосом.

Но, взглянув друг на друга, мы не могли не рассмеяться, потому что со стороны мы казались порождением болез-

ненной фантазии Гойи, напоминая фигуры из его «Капричос», имея вид скорченных, горбатых колдуний, занимающихся черной магией в пылу адской грозы на пустых высотах, бредущих, опираясь на палки, в гости к самому дьяволу.

Гроза начала заметно стихать. Уже град уменьшил силу своих ударов, как, перевалив из-за гребня, на нас выкатилась первая белесая волна тумана. Она была прозрачная. Мы хорошо видели, куда надо идти. Но вторая волна была уже гуще, и временами вид совершенно терялся, пропадал в ее густой молочной мгле. Эта мгла, сырая, неприятная, холодная, облепляла нас, как клей. Из нее надо было вырваться как можно скорее. Мы начали спешное прохождение сквозь туман. Мы потеряли счет времени, устремляясь вперед сквозь стены, непрерывно возникавшие перед нами, точно из-за перевала гнали целые туманные полки нам навстречу. Мы опасались, что это пришел тот туман, о котором предупреждал друг геолог.

Туман душил нас, но мы были опытные ходоки, и мы вышли на перевал и вздохнули облегченно. Ниже нас еще гремели неистовые громы и туман полз широкой полосой. В нем исчезали гордые потухшие вулканы, осыпи и скалы, у подножия которых валялись черные, выбитые молниями чертовы пальцы.

Мы стояли, оглушенные, избитые градом, на плоскости, как на спине каменного кита. Это место не походило на обычный перевал, и все же мы перевалили его, потому что каменные террасы, пройденные нами, явно шли наклонно к Севану. Но перед нами лежали новые необъятные пространства. Виднелись Ах-Даги, большой и малый. Третью гору мы признали за Кзыл-Даг, потому что она была красной, как сургуч, и по ней шли зеленые и белые пятна.

Отсюда можно было идти куда угодно, но нам нужно было выйти на верховья Гарничая и спуститься к Гехарду, монастырю, называемому Айриванк, что значит «пещерный».

Мы пошли не торопясь, идти теперь было легко, так как местность была сравнительно ровная. Впереди нас ждали еще многие километры пути. Но это нас не пугало. Нам здесь нравилось. Мы жадно дышали острым воздухом высоты. Высота была приблизительно около двух тысяч восьмисот метров, если не больше. Мы любовались простором. Мы были свободны, как этот ветер, гнавший градовую тучу вниз. У нас не было никакой усталости, потому что

мы втянулись в ежедневные долгие переходы. Торопиться нам тоже сейчас было некуда. Мы могли позволить себе остановку, потому что теперь у нас имелась полная уверенность, что мы идем правильно.

Так как нас не ждал никакой приют в этой отданной бурям местности, то мы отыскали скалы, в которых, отливая странной, фосфорической синевой, вспыхивая белыми искрами, притаилось маленькое озеро. Среди темных базальтовых скал оно казалось куском синего пламени. Лучшего места для отдыха нельзя было придумать.

Вода в озере была очень холодная. Не успели мы остановиться, как подул необычайно сильный ветер. Он бил как из брандспойта. Мы должны были подставлять ему попеременно свои бока, чтобы он не ударял все время только в спину. Теперь вокруг нас был представлен холод в разных видах. Холодный ветер, холодный камень скал, холодное озеро...

Но мы не хотели уходить отсюда. Сделав несколько шагов в сторону, Вольф воскликнул:

— Это колдовское место! И колдун налицо...

Я пошел к нему. Он стоял перед каменным изваянием, мрачным и таящим неведомую угрозу.

— Что это такое? — спросил он.

— Это вишап, только вишап! Бог его знает, что это такое. То ли дорожный знак, то ли предмет культа, то ли еще что-нибудь, я не знаю. О вишапах есть целые исследования. Мнения ученых расходятся. Но то, что мы нашли его именно здесь, очень интересно. Выпьем за его здоровье!

И мы пили водку, как воду, не ощущая ее вкуса,— так было холодно. И водка была ледяной, как из погреба.

Высокий вишап смотрел на нас тоже ледяными широкими глазами. Громадное туловище чудовища, не то рыбы, не то дракона, отшлифованное ветрами, избитое бурями, как знак вечности, было вбито в камни. Вишап стоял стражем фосфорического озера. На его берегу можно было говорить о чем угодно, пустынность этого места располагала к откровенности, а человеческие голоса здесь были просто необходимы. И мы разговаривали, стоя под леденящим ветром пустыни.

— Вольф,— сказал я,— если бы тебя сейчас, грязного, затрепанного, небритого, в фантастическом костюме, с одеялом на плече, с мешком нищего у ног, увидали твои приятели эстеты и приятельницы, твои ленинградские красотки, что бы они сказали?..

— Ты сам хорош,— сказал Вольф,— но в этих местах встречают не по одежке, иначе нас давно спустили бы с этих скал. И нас встречают не красотки, а красоты, одна другой внушительнее. Жаль, этого не видит Сергей. Он бы радовался, как ребенок. Он всегда умел радоваться по-ребячьи. Он так хорошо радовался...

— Скажи, Вольф, он действительно был в Иране, когда писал свои персидские мотивы?..

— Нет, он никогда не был в Иране. Он был только в Баку, но он был хорошо знаком с азербайджанскими поэтами и от них слышал много стихов иранских классиков. Ему очень нравились стихи Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади.

— А ты сильно любил его?

— Да!

— За что ты его любил?..

— Как можно так сразу сказать, за что ты любишь человека? Мне почему-то казалось, что при всей своей внешней шумности, страсти к громким словам и действиям он был очень незащищен. Мне казалось, что ему всегда угрожает какая-то опасность. И раз он сам заставил меня спать с ним в одной комнате, так как опасался, что его убьют. И спустя некоторое время он рассказал мне, что тот человек, который действительно хотел его убить, сам признался ему в этом и признался, что обязательно прикончил бы его, если бы он был один. Вот почему мне всегда хотелось, если понадобится, отвести новую опасность...

— Он склонен был к разного рода предчувствиям! — сказал я.— Помню, в тысяча девятьсот двадцать четвертом году я был первый раз в Тбилиси. И совершенно неожиданно встретил на улице Есенина. Он был в хорошем настроении, даже весел. Он шутил и сказал: «Давай удерем от моих опекающих». И мы удрали. Мы нашли маленький духан и надолго засели в нем. Он читал только что написанную поэму о тридцати шести. Помнишь там:

Добро, у кого
Закал,
Кто знает сибирский
Шквал.
Но если ты слаб
И лег,
То, тайно пробравшись
В лог,
Тебя отпоет
Шакал.

Я сказал ему, что, по-моему, в Сибири шакалы не водятся. Он засмеялся: «Ну, черт с ними, для рифмы пригодится. А может, они все-таки есть. Ты сам не уверен». Читал он с удовольствием. «У меня хорошо сейчас идут стихи,— добавил он,— я много пишу». В духане было тесно. Какие-то гуртовщики пили длинные тосты, потом так сдвинули стаканы, что они разбились. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Есенина. И вдруг, знаешь, лицо его сразу переменилось. Веселость исчезла. На лоб легла какая-то тень усталости, глаза стали тревожными, точно он что-то видит, чего не вижу я. Он перестал читать стихи и замолчал. Помолчав, он заговорил, и я видел, что появилась напускная веселость, которой он прикрывал волнение. Он спросил: «Ты хорошо спишь в Тбилиси?» — «Прекрасно,— сказал я.— А неужели у тебя нет сна?»

Он нахмурился.

«Я не могу спать по ночам. Паршивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно на ночь — влетают какие-то птицы. Я сначала испугался. Только слегка забылся, был в полудремоте, очнулся от близкого шороха. Сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажег свет — нетопырь, когти как наманикюренные, рот кровавой полоской. Черт знает что! Взял палку, выгнал одного — другой нетопырь висит у окна на занавеске. Спать не дают. Каждую ночь прилетают. Окон раскрыть нельзя. Серые, кладбищенские какие-то уроды... Ну ладно, бросим о них. Давай выпьем!»

Мы выпили и тоже бросили об пол стаканы... Мы продолжали разговор. Я сказал, что собираюсь в Армению.

«Замечательная страна — Армения,— сказал он,— там поэтов много. Я тоже как-нибудь попаду в те края. Вернешься из Эривани — расскажи, как там».

Я вернулся в Тбилиси, но уже не застал Есенина в Грузии. Он уехал, кажется, в Баку... Не помню. И вот его нет, а мы в Армении. Какой ветер...

Ветер свирепствовал. Мы пили водку и закусывали черствым хлебом.

— Надо идти,— сказал я.— Почему мы вспомнили здесь Есенина? Вишап и озеро! Здесь пахнет вечностью! Здесь только и появляться подходящим воспоминаниям. Но, говоря без иронии, эти места сами по себе большая поэзия,— ты чувствуешь? Очень жаль, что Есенин сейчас

не с нами и не может их видеть. Вольф, ты должен написать о нем все, что ты помнишь. И питерское и московское, все подряд. Есенин — это вечное, как это озеро, это небо. Вспомни все...

— Я пишу уже книгу только о нем. Я хочу назвать ее «Право на песнь». Но посвящу ее не Сергею...

— А кому?

— Кажется, Лермонтов сказал, что женщины лучше мужчин. Я посвящу ее наилучшему и единственному другу Есенина Гале, Галине Артуровне Бениславской. Ты ее, конечно, знал?

— Конечно, знал. Она была необычайная женщина, и ты прав. И хорошо, что перед лицом этого высокого неба рядом с Есениным мы называем ее имя.

— Они оба живут в моей памяти, и я ничего не могу сделать другого, как рассказать о них в скромной книге, рассказать правду...

— Ты знаешь, Вольф, уж если мы здесь, в пустыне, предались воспоминаниям, то я тебе быстро расскажу об одном странном ощущении, которое я испытал и о котором никогда никому не говорил. Когда Есенин уже лежал в гробу перед отправкой в Москву, был момент, когда в комнате оставались только близкие. Всего нас было несколько человек. И пришли два странных молчаливых мужчины, с какими-то ведрами и кистями. Я сначала не понял, что они будут делать. Оказалось, что пришли снимать с покойного маску. Я много слышал о такого рода операциях, но никогда при них не присутствовал. И, скажу тебе, этого не надо видеть. Когда стала ложиться тяжелая серая масса на лицо Есенина и оно постепенно исчезало под этой массой, все стали смотреть куда-то в сторону. Казалось, что так и останется серый бугор вместо прекрасных черт человеческого лица. В комнате стояла такая тишина, будто в ней никого не было. И только когда я снова увидел лицо Есенина, освобожденное от серой массы, я вздохнул с каким-то облегченным сердцем. Не кажется тебе, что все, что навалилось на его память такой горноподобной серой массой, исчезнет и останется навсегда прекрасное лицо, над которым не властно время? Вон, смотри, чудо-рыба, этот вишап. Стоит, тысячелетия прошли, царства исчезли с лица земли, а ему хоть бы что! Камень! Но поэзия-то посильнее камня! Пошли, брат! Отдых кончился, а то смотри, как бы сюда опять не пришла гроза...

Далеко за нами все-таки грохотало. Полосы тумана покрывали окрестности. И мы пошли по тусклому простору, тяжело ступая уверенными ногами пешеходов, натренированных на длинные расстояния по сильно пересеченной местности. В суровой живописности этих мест, в одинокой фигуре забытого вишапа было так много от древних легенд, что казалось, сейчас мы набредем на человека, страждущего и обессиленного, и, как добрые современные самаритяне, окажем ему посильную помощь.

Или, наоборот, из-за скал к нам выедет всадник в непонятном одеянии и спросит нас на давно исчезнувшем языке, кто мы такие и куда держим путь. А сам окажется каким-нибудь нахараром или азатом[1] времен Тиграна или Трдата.

Все может случиться в этой стране камня и безмолвия. Туман не догонял нас. Он возник как-то сбоку и закрыл, как занавесом, небо и землю.

— Посмотри налево, Вольф, и скажи, что это такое.

Вольф только сказал: черт возьми, вот это да! Потому что больше ему нечего было сказать. Он сначала никак не мог сообразить, что же он видит.

В тумане, возвышаясь над нами, как великий призрак, закутанный в непельную мантию, поражая своими размерами, еще увеличенными туманом, подымался исполинский патриарх гор — Арарат.

С другой стороны увидели мы уходящие на север и северо-запад провалы ущелий всевозможных цветов и раскрасок. Там были сизые, голубые, фиолетовые, зеленые, черные переливы скал, и, может быть, какие-то далекие поля и сады темнели внизу этих фантастически наклоненных, изломанных, изрубленных гор. Нам казалось, что мы даже видим белые тонкие нити не то водопадов, не то речушек, сбегающих в темно-синюю глубину.

Можно было долго стоять, всматриваясь в это великолепное зрелище, и как будто Армения раскрывала перед путником все свои красочные соблазны, чтобы он мог отдохнуть в тенистых садах, на берегу тихих ручьев, вдохнуть всю радость жизни после долгих скитаний в каменной пустыне.

После суровости нагорья нам улыбалась вся нежность гостеприимной земли, после молчания нас встречала

---

[1] Нахарары — люди высшего сословия в древней Армении, азаты — всадники, мелкая знать.

песня, после одиночества — многолюдные улицы старых селений.

— Какой сегодня день? — спросил Вольф.

— Сегодня двадцать второе августа тысяча девятьсот двадцать девятого года.

— Я запомню этот день. Дни нашего странствования были днями многих открытий для меня, но сегодня я могу с полной уверенностью сказать: эта страна мне по душе. Не знаю, в чем ее очарование, но чувствую, как она входит в меня и завладевает мной...

— Я знал, что она тебе понравится. Когда я впервые вышел на простор армянских гор, я не переставал дивиться их чудесам,— сказал я,— но сейчас нам не до чудес. Нам надо найти путь в Тазакенд. Как известно, Тазакендов много, так как это значит просто Новая деревня или что-то вроде этого, но нам нужен не какой-нибудь Тазакенд, а Тазакенд, лежащий на Гарничае...

И снова потянулся бесконечный каменистый путь, пока глухой шум под горой не привлек нашего внимания. Мы подошли к краю и увидели внизу ряд черных шатров. У шатров сидели женщины и занимались хозяйственными делами. Бегали детишки. Мы не успели еще вглядеться в жизнь этого курдского стойбища — сразу было видно, что это курды,— как четыре преогромных пса с всклокоченной шерстью, кровавой пастью, весело блестя своими серыми глазами, радуясь неожиданному развлечению, окружили нас и набросились с дружным лаем. Мы остановились, потому что вступать в драку с этими псами не рекомендуется. Они даже стаскивают всадников с лошадей. Тут же увидели мы, что к нам приближается старый курд-пастух, в немыслимой папахе, в старой бурой овчине, с пастушеской клюкой в руке.

Он бы охотно постоял с нами, но в эту минуту из-под горы долетел такой крик, что пастух, отогнав собак, вместе с нами подошел к краю обрыва, чтобы увидеть, что делалось под горой.

Мы смотрели, как из ложи, на то, что происходило внизу. Всадник, взявшийся неведомо откуда, гарцевал между черными шатрами, что-то кричал во все стороны. К нему бежали женщины и мужчины, они окружили его, теперь кричали все вместе. Пастух был так заинтересован тем, что происходит на стойбище, что смотрел на нас вполглаза. Внизу, в стороне спускавшегося ущелья, мы увидели по-

лоску воды. О радость! Она была, несомненно, началом реки.

— Гарничай! — закричали мы, указывая пастуху на реку.

— Кзылчай! — сказал хрипло старик.

Нас предупреждали еще при начале нашего пути по Севану, что бывают разные курды и что лучше не разбираться в обстоятельствах их быта и вообще не привлекать к себе их внимания.

Поэтому, предоставив пастуха его переживаниям, мы поняли из его ответа, что вышли не к тому месту и нам предстоит податься в другую сторону, чтобы добраться засветло до Тазакенда. Что такое представляет из себя этот Тазакенд, мы не знали. Но его надо было найти во что бы то ни стало. Мы обрели неожиданную ярость. По склонам, круто идущим вниз, мы часами мчались, как на лыжах. Со стороны можно было подумать, что за нами стремится беспощадная погоня. Но за нами никто не стремился. Солнце, как писалось в старых рассказах, начало склоняться к вечеру.

И вдруг склоны стали пологими, земля под нашими ногами явно позеленела, появилась жесткая трава, и какие-то подобия троп зазмеились между камнями. Появились и какие-то легкие признаки человеческой жизни. Откуда-то долетел запах костра, где-то перекликались собачьи голоса, в коше или в селении...

Совершенно неожиданно на повороте тропы мы почти столкнулись с человеком, которого нельзя было назвать иначе, как джентльмен в пустыне. Он, облаченный в чистый, выглаженный костюм строгого черного цвета, с галстуком, с золотой булавкой в галстуке, с тросточкой из самшита, покрытой инкрустациями, в начищенных до блеска туфлях, в соломенной шляпе, шел так, как будто прогуливался по бульвару в вечерний час. Но кругом были пустынные холмы.

Сначала при виде его мы подумали, что в этих краях имеют место еще и массовые галлюцинации, но нет! Это был самый настоящий человек. И он, приподняв свою немного старомодную соломенную шляпу, дружески приветствовал нас и спросил, откуда и куда мы держим путь.

Узнав, что мы вышли в пять часов утра из Нор-Баязета, он выразил нам свое почтение, сказав, что польщен тем, что мы выбрали для путешествия именно этот маршрут, которым никакие туристы никогда не ходят и даже не зна-

ют о его существовании. Он спросил, где мы избираем себе место ночлега. Мы сказали: в Тазакенде. Далеко ли до него?

Наш знакомый, узнав о том, что мы стремимся в Тазакенд, как-то вдруг приосанился, глаза его стали блестеть от волнения, руки пришли на помощь его речи, которая стала полноводной, как горная речка после дождя.

Я шел сзади Вольфа и незнакомца и слушал с удивлением, что он рассказывает. А незнакомец говорил вот что:

— Как хорошо, что вы идете в Тазакенд, а не в какое-нибудь другое место!

— Почему? — спросил Вольф.— Разве есть какая-нибудь разница между селениями в этой стороне?

— Еще какая! — воскликнул наш спутник.— В Тазакенде сейчас открыт курорт. Там, во-первых, вы найдете прекрасную гостиницу, в которой чудно отдохнете после вашего пути. Там замечательный ресторан. Форель из Севана, ишхан, чебуреки, шашлык, аджаб-сантал — пальчики оближете, люля-кебаб, тюфа-кебаб с красным норашенским вином, виноград, дутма, уже есть дутма, не дыня — сахар, чудно закусите в Тазакенде...

Вольф спросил:

— А почему там курорт?! Когда же он построен?..

— Дорогой,— отвечал наш новый друг,— там открыли воду, это такая бархатная вода, против всех болезней. Что боржом, что нарзан! Куда им против нее! Наехали больные. Надо было строить курзал. Там много народу... Сейчас разгар сезона...

— И там есть деревья, зелень? — спросил недоверчиво Вольф.

— Зелень,— фыркнул незнакомец,— зелень! Море зелени! Были старые сады, а теперь разбит парк. И все за последние три года. Вы не узнаете Тазакенда...

— Я никогда там не был,— сказал Вольф, поверженный в прах этими убедительными речами.

— Тем лучше,— сказал восторженно незнакомец,— я сожалею, что не могу разделить с вами приятного ужина. А то мы бы посидели и поговорили, и выпили бы, и закусили... Ну, в другой раз...

— А что вы тут делаете? — спросил снова Вольф.

Я следовал в недобром молчании за ними, мрачно прислушиваясь к речам нашего спутника.

— У меня есть маленькое дело. Тут есть одно предприятие. Недалеко отсюда. И я сегодня не буду в Таза-

кенде... Но вам будет так хорошо, что вы вспомните меня, когда будете лежать в мягкой постели в гостинице, которая называется «Большой Тазакенд»; так называется потому, что есть еще закусочная, и там можно переночевать на скорую руку, но это не то. Та называется «Малый Тазакенд».

— А далеко до Тазакенда?

— Идите все прямо, и через двадцать минут, через пятнадцать минут вашего хода вы там будете... Ну, мне, к сожалению, направо. Желаю вам отдыха, всех удовольствий, покойной ночи... Очень рад встрече!

С этими словами патриот и старожил этих мест нас оставил и скоро исчез в сиреневой мгле уже наступившего вечера. Нам надо было ускорить шаги, так как давно прошли четверть часа нашего хорошего хода, но пустынность ландшафта не освещалась никакими огнями. Сзади нас, впереди нас была только дымка вечера, сгущавшаяся с каждой минутой. Я стал ворчать...

— Ничего, зато мы отдохнем как следует,— сказал Вольф.

— Слушай, дорогой,— сказал я, передразнивая нашего спутника,— все, что он говорил, ерунда.

— Как ерунда? — Вольф даже остановился на тропинке.— А курорт тоже ерунда?

— Тоже. Нет никакого курорта.

— А гостиница с рестораном?

— Нет никакой гостиницы.

— Но подожди, а вода, целительная, бархатная вода?

— Ее ты увидишь завтра в Гарничае, надеюсь...

— Нет, не может быть. С какой стати он стал бы нам так врать?..

— Вот этого я не понимаю! Но имей в виду, что на самом деле нет ничего, и не обольщай себя...

— Но откуда ты знаешь? С тех пор, как ты был в Гехарде, прошло пять лет. Знаешь, что можно здесь сделать за пять лет! Не только курорт построить... Я не понимаю твоего упорства. Что, ты не желаешь верить?..

— Я бы желал, но это все вранье, и беспардонное притом...

— Но подожди, он одет по-курортному, как человек, который привык, что вокруг все хорошо одеты... Кто же он, по-твоему?..

— По-моему,— сказал я в сердцах,— дьявол здешних

мест! И он явился искушать нас. Куда он пропал, не знаешь? Понюхай, услышишь — пахнет серой...

— Иди к дьяволу,— сказал Вольф.— В самом деле ты не веришь?..

— Ни одному слову...

— Ну, посмотрим!

Так, перебраниваясь, мы все ускоряли шаги, и наконец в последних лучах солнца перед нами возникло зрелище, при виде которого мы невольно замедлили шаг.

Мы вошли тихими шагами в улицу такого селения, которое мог увидеть и Александр Сергеевич Пушкин по дороге в Арзрум. Справа и слева, едва возвышаясь над землей, виднелись глиняные крыши и стены подземного сооружения, подобного тому, какое мы видели в Чубухлы на северном берегу Севана. Пирамиды из кизяка темнели между этими скромными жилищами. Ступы и корыта лежали рядом с входом в подземный дом. У домов, как солдаты над окопами, стояли женщины. Дети держались за юбки матерей. И те и другие смотрели на нас, как будто мы были привидения, слепленные из пыли и глины, от которых можно ожидать всего, раз они являются к людям в такой неурочный час.

Мы шли под тревожными, любопытными взглядами, сами не зная куда, еще слабо надеясь, что за этим убогим видом нас ошеломит огненная стена роскошного отеля.

Но, кроме десятка этих подземных жилищ, больше не было ничего. Мы остановились. К нам приблизились самые храбрые и самые любопытные.

Мы спросили:

— Что это за селение?

Все дружно сказали в ответ:

— Это Тазакенд!

— А есть рядом другой Тазакенд?

Человек, понимавший по-русски очень немного, все-таки понял и сказал:

— Энгер! Тазакенд! — Он обвел рукой скромные жилища.— Тазакенд тут!

— Выходит, это и есть Тазакенд! — растерянно сказал Вольф.

— С чем тебя и поздравляю! Не думай спрашивать, где здесь курорт и ресторан с люля-кебабом...

— Идешь откуда? — спросил старожил.

— Нор-Баязет!

— Нор-Баязет,— повторили все вокруг.

Женщины покачали головами, сказали:

— Вай-вай, Нор-Баязет!

Мы оглядывались, ища выход из положения. Я увидел, что в конце улицы возвышается какое-то сооружение, очень похожее на палатку. И мы направились туда. Жители решили, что живущие в палатке — наши знакомые и что мы будем там ночевать. Они вернулись к своим делам, а мы прошли последние подземные дворцы и вышли на самый конец селения.

Действительно, прямо на обрыве стояла палатка типичного экспедиционного образца. Недалеко от нее лежала груда старых бревен и досок. Мы приблизились к палатке. Вход в нее был закрыт. Из палатки доносился какой-то смутный говор, ворчание, кто-то, видимо, отчитывал кого-то, потому что по временам один голос хрипло повышался. По-видимому, сосед по палатке молча выслушивал гневный рык.

Дождавшись, когда наступило молчание, мы приоткрыли полу палатки. В палатке на кошме сидел огромный пес типичного кавказского образца и с любопытством всматривался в нас. Больше никого в палатке не было. Мы еще не успели рассмотреть внутренность палатки, как, открыв львиную пасть, пес так взревел, что мы мигом очутились рядом с бревнами, ожидая немедленных враждебных действий. Но пес, видимо, решил, что он не должен покидать своего поста, и не бросился за нами.

— Остается,— сказал удрученно Вольф,— спать на этих бревнах...

— Нет,— сказал я,— на этих бревнах мы будем только дремать. И вот почему. Хозяин палатки должен прийти. Это или геолог, или какой другой искатель, и он вернется в палатку спать. Вот если он не вернется, тогда дело другое. Главное, мы в Тазакенде...

К полуночи, при бледной луне, пришел хозяин. Это действительно оказался геолог. Он вернулся с гор, из-под перевала. Мы сидели на кошме, и пес Джихан лежал в стороне и мирно посапывал. Мы выпили горячего какао по огромной кружке, бросив в нее десять кусков сахару, и вышли перед сном из палатки. Издали, с перевала, долетал глухой рокот грозы, там блестели далекие молнии.

— Туман лег на неделю,— сказал геолог,— вам повезло...

Так как геолог был вполне земным человеком, не похожим на нашего дьявола в городском костюме, то его мож-

но было спрашивать совершенно безопасно. И мы спросили:

— Далеко ли до Гехарда?

— До Гехарда? — ответил он.— Спите, а рано утром я вам покажу тропу на Гехард. Здесь почти рядом.

— Неужели это дьявол номер два? — спросил шепотом Вольф.

— Меня тоже кое-что смущает, но у фаустовского Мефистофеля все-таки был черный пудель, а тут старая кавказская овчарка. Меня смущает другое, и об этом я скажу тебе завтра утром...

Утро было никак не похожее на вчерашнее. И шли мы как будто по совсем иной стране. Не было уже ощущения пустыни. И хотя вокруг нас были каменные склоны, но легкая тропинка, убегающая вниз, уводила в гостеприимные, земные края.

Геолог прошел с нами несколько шагов по тропинке и сказал:

— Идите все вниз по ней и придете в Гехард.

Старый армянин, стоя над нами, сказал вслед по-армянски:

— Згуш кацек! (Будьте осторожны!)

И мы помахали ему на прощание.

— Что значит: будьте осторожны? — спросил Вольф.— Подумаешь, невидаль, мы кое-что похлестче видели. О чем ты хотел сказать мне утром?

— Понимаешь,— сказал я,— над самым Гехардом, если смотреть снизу, большие и довольно крутые базальтовые скалы. Как мы попадем на них, сейчас не знаю. Я только помню, что они снизу, от речки, выглядели довольно внушительными... Вот, пожалуй, почему наш армянский друг сказал об осторожности.

И мы почти побежали по тропе. Путь оказался все же не таким коротким.

Но утро было такое, что его можно было назвать роскошным, как и назвал его Вольф. Мы спускались с большой быстротой туда, где уже виднелись, правда, еще далеко внизу, зеленые вершины дикорастущих плодовых деревьев и кустарники, карабкающиеся по склонам. Мы уже спускались без тропы, прямо по скалам.

— А вот и наши базальты,— сказал я,— прямо под ними ущелье, на той стороне внизу Гехард!

Снизу вид этих скал вызывает представление о головокружительной отвесной высоте, но сверху видно, что это

не сплошной отвес — мощные базальтовые стены имеют много выступов, полочек, площадок. Местами над пропастью такая полочка тянется под совершенно гладкой стеной, бывает, что действительно не за что зацепиться, но можно плавно спускаться по гладкой покатой стене, как на санках с горки, съезжать прямо на нижний выступ.

Эта прогулка среди базальтовых нагромождений увлекает невольно, особенно если у вас добрый опыт и вы не страдаете болезнью высоты.

— Просто лифт! — кричал Вольф, прижавшись спиной к камню, скользя по скале вниз на гладкую, с выемкой у обрыва площадку.

Мы пробирались то среди скал ползком или боком, то костоломной тропой, где шли по карнизу, где одолевали выступы, еле видные снизу. Так мы спускались, наслаждаясь и спуском и чудным лазурным утром. Внизу уже явственно стала вырисовываться зелень деревьев, скрывавшая пенистую речку, текущую вниз, к Гарни. По стенам ущелья на нашей стороне бежали молочно-белые водопадики, стремясь слиться с речкой.

Внизу, в русле Гарничая, лежали гигантские обломки старых обвалов, и вода металась среди этих глыб. Вдруг я остановился, и Вольф даже подумал, что я ушиб ногу: так стремительно я остановился. Дело в том, что монастырь Гехард расположен в том месте ущелья, где оно крайне суживается, и речка дальше имеет вид водопада. Путник приходит ко входу в монастырь, обычно идя вверх по речке — по правому берегу, и он не может разглядеть скальные стены, что у него над головой. Он хорошо видит только противоположную стену, скалы другого берега. И вот с этой высоты, с которой уже виднелись сквозь зелень монастырские постройки, я увидел и нечто другое.

Перед поворотом к самым монастырским стенам на маленьком выступе еще пять лет назад лежали обломки большого сломанного хачкара — каменного креста. И сейчас я видел почерневший камень старого хачкара. Но в стороне от него, на стене ущелья, передо мной высилось видение далеких веков.

Под выступом скалы, очень высоко над ущельем, я увидел едва различимое лицо. Черты его были размыты потоками и дождями, ветрами и бурями; камень выветрился, потерял форму. Но ниже, сохраненная выступом, отчетливо висела огромная ассирийская борода. Далеко вниз шли каменные завитки бороды какого-то ассаргадоновского

типа, и если проследить еще дальше вниз, от бороды, то можно было угадать очертание всей исполинской фигуры, занимавшей сверху донизу стену ущелья.

Она была сделана в баснословные времена, и, если так можно выразиться, каменные лохмотья еще остались от одежды древнего воителя, который когда-то проходил этим ущельем. В его честь и было выбито прямо на стене его изображение. Кусок выступа, являвшийся не то шлемом, не то тиарой, истребило время, лицо померкло под его ударами, и только широкая, почти квадратная борода сохранила все свои завитки, чудо искусства древнего цирюльника, повторенное скульптором.

— Смотри, какого Ассаргадона я открыл! — воскликнул я, схватив Вольфа за рукав и обращая его внимание на бороду, висевшую на скале, между небом и землей.

— Ай да борода,— закричал Вольф,— всех удушу вас бородою, как Черномор в «Руслане и Людмиле»! Что ты будешь с этим делать? С собой не увезешь.

— Мое открытие я подарю армянской Академии наук!

— А может, оно уже давно известно! И этот Ассаргадон уже давно за номером в архивах зарегистрирован?..

— Не думаю. Когда я пять лет назад шел этой тропой по ущелью, никто из армянских друзей даже не обмолвился мне об этом. Ничего они не знали. Да и никто из приезжающих сюда из Эривани никогда не забирается на эти базальты... А его только отсюда и видно...

— Ты хочешь сказать,— ответил Вольф,— что отсюда нет охотников идти в Нор-Баязет по этим базальтам...

— Я так думаю, теперь мы спустимся в Гехард не с пустыми руками!

И мы стремительно спустились к реке, окунулись в зелень, в пену брызг, перескочили глыбы, лежавшие в речке, и через несколько минут стояли «у врат обители святой» — у входа в знаменитый пещерный монастырь Гехард, он же Айриванк.

Это был мой второй приход в пещерный монастырь. Пять лет назад сумрачным вечером я впервые входил в его ограду, и первое впечатление от этого заброшенного в безлюдные горы храма было пронизано тревогой и грустью. Правда, в ущелье спускалась ночь, и от этого становилось еще безотраднее, еще глуше...

Сейчас монастырский двор был залит солнцем; зелень деревьев привлекательно окружала строения; скалы, подымавшиеся над монастырем, добродушно теплели, и даже

множество, неисчислимое множество пещер в амфитеатре по ту сторону речки так напоминало человеческие жилища, что казалось, сейчас на пороге их покажутся обитатели. Пели птицы, речка шумела внизу, под обрывом.

В конце двора стояли несколько крестьян с чувалами и корзинками, ослик, нагруженный хворостом. Баран был привязан к дереву. Старуха с девочкой разговаривала со старым попиком.

Все было полно мира и покоя. После жаркого дворика прохлада подземных храмов показалась нам даже чересчур резкой. Но и подземные церкви, освещенные проникавшими через отверстие в потолке солнечными лучами, предстали в дневном освещении со своими купелями, каменными алтарями, украшениями, колоннами, арками, нишами, барельефами без той мрачности, какая свойственна им в другое время.

Мы стояли перед гробницей, в которой, возможно, лежат останки создателя Гехарда князя Проша и членов его семьи. Два темных льва, которых держит на веревке бычья голова, имели довольно добродушный вид, хотя им, по-видимому, предоставлена была роль охранителей гробницы. Правда, хвосты их кончались головами драконов. Ниже львов орел терзал ягненка. Говорят, что это все древний герб рода, так много сделавшего для монастыря.

Имя мастера Галзага не имеет никакого живописного добавления. Оно просто вырезано на стене, едва заметно. Но надпись просит помянуть мастера Галзага. И мы благодарно помянули имя этого несомненно выдающегося строителя Гехарда, потому что, чтобы сработать такие совершенные подземные храмы, надо было обладать выдающимися способностями. Угадывать в целой глыбе весь комплекс будущего храма и вести прорез сверху, от главного и единственного отверстия в потолке, оттуда давать верное направление колоннам, вынимать камень, очищая постепенно внутренность храма и по дороге воссоздавая все детали, включая орнаменты, сталактитовые карнизы, узоры алтарей, вплоть до каменных купелей, мог только первоклассный, многоопытный мастер, не допускавший никакой ошибки в расчете.

Сколько лет ушло на это подземное творчество, сколько людей трудилось в пещерных сооружениях — никто не знает. Но проходили века, а эти подземные храмы привлекали к себе тысячи паломников, которые заполняли не только двор, а все окрестности монастыря. В дни храмовых

праздников здесь предсмертный крик сотен жертвенных баранов сливался с пением молитв, заглушая голос звонкой речки и многочисленных водопадов.

Мы заходили и в кельи монахов, которые находятся в скалах над подземными храмами. В полу такой кельи есть дыра, выходящая в храм. В келье только каменная полочка для книг и свитков, аналой с отверстием для свечи и каменный выступ, на который можно с трудом сесть. Отшельник, по-видимому, спал сидя. До него снизу во время обедни доносились голоса из храма, и запах благовоний проникал в каменный склеп, где он проводил дни и ночи.

Мы вышли на солнечный двор из средневекового мрака, пораженные виденным, точно мы прикоснулись к далеким временам, когда по этому ущелью двигались шумные орды завоевателей и перед ними бежали в ужасе жители, спасая свои семьи и имущество и перенося в пещеры свои храмы и гробницы.

Человек с барашком сказал нам:

— Вот я привел барашка и теперь буду молиться. Утром я зарежу барашка. Завтра я буду молиться и кушать барашка. Потом я тоже буду молиться и кушать барашка. Когда я скушаю барашка, я пойду домой.

Мы тоже развели костер в глубине двора, в тени высоченного ореха, и начали свой поздний завтрак. Мы ели хлеб и пили свое обычное какао из больших алюминиевых кружек. Больше у нас ничего не было.

Потом Вольф Эрлих лег на разостланное одеяло и крепко заснул. А я сидел у потухающего костерка, шевелил веткой маленькие угольки, подернутые белым сигарным пеплом, и перед моими глазами встала картина моего первого прихода в Гехард.

...Нас было пять человек. Мы шли пешком из Эривани. Был 1924 год. Времена войн и нашествий были еще близки. Беженцы и развалины попадались на дороге. С нами был ишак. Его погонщик — крестьянин из Джрвежа. Он уверял, что в Гехарде сотни паломников. Ущелье делалось все уже, вечер — все тоскливее, все мрачнее, наконец мы увидели разбитый хачкар и ворота монастыря. Во дворе не было ни одной живой души. Мы обошли весь монастырь. Храм был заперт. Надо было где-то ночевать. Рядом мы увидели полуразрушенный одноэтажный дом с земляной крышей и полом. Пол был закидан сеном. Но, осторожно разбрасывая ногами сено, мы обнаружили, что пола-

то нет, одни балки. И можно просто провалиться в подвал. Сохранился только коридор, который вел на балкончик. Но когда открыли дверь, чтобы выйти на балкончик, то оказалось, что балкончик давно упал в обрыв, нависший над речкой.

Наконец, в крайней комнате нашелся пол. Ученый-археолог, который был с нами, днем упал при переправе в ручей и еще не обсох. Его знобило. Он подошел к окну и тщательно закрыл его. При всем уважении к нему все захохотали, потому что он осторожно закрыл окно с пустой рамой. Стекла в нем не было.

Упали сумерки. На дворе стало так мрачно, хоть вой с тоски. Вдруг из мрака сверкнули дьявольские красные глаза, и черный большой козел, за которым жались две козочки, пошел на нас, поматывая длинной жесткой бороденкой. Он повел коз куда-то на скалу, чтобы не иметь с нами дела.

— Раз есть козы, значит, где-то здесь есть и люди,— сказал один наш друг.— Я пойду на поиски.

Пока мы приводили себя в порядок, собирали еду, доставая ее из своих мешков, он пропадал. Но когда появился, то не без иронии сказал, что он отыскал двух женщин, которые, думая, что мы бандиты, потому что порядочные люди не приходят в такое позднее время в монастырь, спрятались, но не успели спрятать козла с козами. Одна из женщин оказалась старухой, а другая — подростком с лицом монгольского мальчика. Старуха поставила старый самовар, когда убедилась, что перед ней паломники, настоящие армяне, знающие, что такое Гехард и пещерный монастырь.

Мы выпили горячего чаю, закусили, хлебнули по стаканчику коньяку и начали в ряд укладываться на сено, которое притащили из других комнат. Шум реки становился все слышней. Тишина нарушалась только этим шумом и иногда криками неизвестных птиц или зверей. Холод был сильный. Мы закутались в одеяла. Принялись болтать, лежа, о всяком. Потом постепенно голоса замолкли, и я начал погружаться в сон, но какое-то тоскливое чувство не покидало меня. То ли непривычность обстановки, то ли особая мрачность этого ночлега, дыхание древних скал и стен — трудно сказать, что за тревога неприятно колола меня. Темнота была плотной, так как луна еще не взошла. Я очнулся оттого, что мне послышалось, что меня зовут. Я зажег спичку и поднял руку со спичкой, чтобы увидеть,

кто наклонился и обращается ко мне. То, что я увидел, было поразительно. При свете спички я увидел человека в новой белой рубашке, распахнутой так, как будто человеку очень жарко. Лицо его было бритое, умные, чуть прищуренные глаза, тонкие губы, очень загорелое молодое лицо, почти черное при свете спички. Этот человек сказал, улыбаясь: «Закройтесь, профессор, вы простудитесь». Тут моя злосчастная спичка погасла. Я зажег сейчас же вторую. Не скрою, моя рука слегка дрожала. Никакого результата. Спичка потухла, едва вспыхнув. Я услышал легкое движение. Третья спичка осветила высокого роста человека; я узнал моего спутника, никак не походившего на того незнакомца, который наклонялся надо мной.

— Что вы? — спросил я.

— Не спится,— сказал он,— хочу немного пойти погулять.

— И я с вами,— сказал я,— мне тоже не спится что-то...

Я вскочил, и мы вышли во двор. Мы шагали молча по камням монастырского дворика. Луна взошла, зеленая, большая. Горы вокруг стояли как будто из обсидиана. Такое зеленое вулканическое стекло. Кто мне привиделся? Чей облик я увидел в этой темной комнатенке для паломников?

Мой спутник курил и думал какую-то думу, а меня подмывало спросить его: «Вы тоже видели?» Что бы он ответил? Но я воздержался, потому что понял, что ему так же тревожно, как и мне, а почему — мы оба не знаем.

Гора, усеянная пещерами, как будто уставилась на нас мертвыми черными глазницами. Наши шаги гулко отдавались в тишине пустого монастыря. Древней тоской веяло от высокой стены наружного храма. Черные кусты на горе светились какими-то зелеными тусклыми огоньками. В тягостном молчании мы долго шагали от ворот до скалы, в которую уходили подземные храмы. Иногда мы отрывисто о чем-то говорили друг с другом, о чем-то незначительном, наконец решительно повернули к своему странноприимному дому, взобрались по земляной лестнице и, найдя свои места, завернулись в одеяла и заснули до утра.

Утром я никому не рассказал о своем ночном приключении и только по возвращении в Эривань пытался выяснить, кто может походить на человека, освещенного моей спичкой. Я, спрашивая, не говорил ни о том, зачем это мне нужно, ни о том, как я увидел это лицо во мраке.

Я просто описывал черты его, как будто просил угадать загаданное, как в литературной викторине. Обычно люди отвечали шутливо, и только однажды мой собеседник сказал: «Я вам покажу сейчас это лицо!» Он ушел в соседнюю комнату, принес книгу, показал мне портрет.

— Вы говорите о Хачатуре Абовяне! Это Хачатур Абовян? Я угадал?! — сказал он торжествующе.

Да, виденное лицо походило на Абовяна! До тех пор я не видел портретов Абовяна.

— Но,— вскричал я в волнении, не скрывая его,— я не успел увидеть, длинные ли у него волосы!..

— Как увидеть? — удивился мой собеседник.— Как вы могли его увидеть? А, вы, наверное, видели его изображение, когда он с Парротом всходил на Арарат, он подстриг волосы. Но я никогда не видел такого его портрета. Но все-таки я угадал? Вы описали мне Абовяна?..

— Может быть,— сказал я загадочно. Мне стало не по себе, я прекратил разговор...

И теперь, когда я сидел снова в тени старого орехового дерева на храмовом дворе Гехарда, я вспомнил эту старую историю, но я ничего не сказал о ней Вольфу Эрлиху, потому что она до сих пор непонятна мне...

Вольф проснулся. Мы еще раз обошли весь монастырь, я рассказал ему о своем приходе в Гехард пять лет назад, умолчав о ночной истории. Мы хорошо отдохнули и стали собираться в дорогу.

Вдруг Вольф схватил меня за руку и показал на кучку людей в конце двора. Там, разговаривая с крестьянами, стоял наш пустынный демон — джентльмен в черном костюме, с галстуком, с золотой булавкой, с самшитовой тросточкой, в начищенных туфлях. И соломенная шляпа была на его голове, как и тогда.

Рядом с ним человек держал тощую козу на веревке. Увидев нас, незнакомец ничуть не смутился, а, прервав разговор, направился в наш угол, под дерево, протянул руку и, как будто мы расстались давно, сказал:

— Как странствовали? В добром здравии? Что поделываете?

Сперва, ошеломленные, мы не знали, что сказать. Потом Вольф обрел дар слова и язвительно произнес:

— Приносим вам самую изысканную благодарность. Мы ночевали в отеле «Большой Тазакенд» и очень сожалели, что вы не были с нами за чудесным люля-кебабом с красным норашенским...

Он легко улыбнулся и, сказав: «У вас есть минутка?» — без приглашения присел на траву рядом с нашими мешками, которые мы готовы были забросить на плечи.

— Нерецек индэ, мик баргана,— сказал он.— Да вы не очень понимаете по-армянски, простите, извините меня, не сердитесь. Что поделать? Наша Армения — бедная, суровая страна. А я люблю пофантазировать. Но без ущерба для окружающих. Я встретил вас. Вы шли бог знает откуда. Я представил себе, что вам хорошо было бы отдохнуть в хорошем отеле, поесть хорошие кушанья, выпить хорошего вина, а что я вам мог сказать? Что вы встретите нищий Тазакенд, дома под землей, тундырный дым, блох, а вы устали... Я позволил себе маленький возвышенный обман. А почему? А потому, что я не могу примириться с тем, что мы бедны и что так трудно жить в нашей Армении. Поверьте мне, с каждым годом все будет лучше и лучше, приходите через пять лет, посмотрите, что будет. Там, где вы стоите...

— Не надо, дорогой,— сказали мы,— мы верим, что тут тоже все изменится. Мы уже сыты вашими описаниями... Они нам даже нравятся. Как и ваши добрые чувства...

— Скажите мне,— спросил я,— Хачатрянц Яков Самсонович не является вашим родственником?

— Хачатрянц! — воскликнул незнакомец.— Муж нашей дорогой Мариэтты Сергеевны Шагинян?

— Да!

— Нет, к сожалению, дорогой, не является. А почему вы спросили?

— Я спросил потому, что он как-то привел меня в бытность мою в Эривани на одно место и начал рассказывать про огромный городской театр. Какие там будут представления! «Смотрите, вот это сцена, это ложи. Это буфет». А я видел только битый щебень, пустырь, ямы, пыльный кирпич... «А где мы стоим с вами?» — спросил я, смеясь. Он оглянулся с видом знатока. «Дорогой мой, мы еще только в фойе...»

— Ну что ж,— сказал незнакомец,— он прав! Будет в Эривани государственный театр. Его построит наш кудесник Таманян. Знаете, знаменитый архитектор?

— Я поверю вам,— сказал я примирительно,— я поверю, даже если вы скажете, что чудесный мастер Сарьян сначала нарисовал Армению, а потом бог ее создал... Конечно, все будет, и мы идем с товарищем в Эривань, что-

бы застать последние остатки Востока, пока они еще не исчезли...

— Доброго пути,— сказал он.

— А что вы здесь делаете? И почему с вами коза? Это ваша коза?

— Моя,— сказал он,— должен вам открыться. Моя тетушка заболела. И она просила меня отвести эту козу в жертву святыне Гехарда. Это называется еще «Ущелье копья». Тут хранится копье, которым ударили Христа на Голгофе. Тетушка говорит: если принести жертву в Гехарде, ей всегда при ревматизме помогает. Что поделать? Старый человек — старая вера: я в отпуску — пошел для тети в Гехард. За козой ходил к пастухам, когда вас встретил... Ну, до свидания в Эривани.

Мы уходили, бросив последний взгляд на базальтовые стены, с которых спустились в Гехард. Нас у выхода на дорогу догнал один из крестьян. Он сказал, запыхавшись:

— Ученый будешь, ходишь ученый? Блох покупаешь?

— Каких блох?

— Тут англичанин был. Блох покупал. За блоху с волка — десять копеек, за блоху с лисицы — двадцать копеек, за блоху с гиены — шесть рублей. А ты блох покупаешь? Есть с ишака, с барана, с лисицы — нет.

— Нет, мы блох не покупаем!

— Жалко, жалко,— сказал он,— есть блохи, много есть... Копейка десять штук...

Но мы уже шагали вниз по дороге между скал ущелья, по которому, извиваясь, бежала река, тогда называвшаяся Гарничаем, а сегодня гордо именуемая Азат — Свобода.

Мы сидели в теплой тишине вечера перед развалинами античного храма в Гарни. Когда-то здесь, на скалистом мысу, возвышалась крепость, со сторожевых башен которой хорошо просматривалось все ущелье вверх по реке. В крепости был построен привезенными из Рима мастерами храм. Около крепости расположился город. Царь Трдат построил здесь виллу, вероятно в римском стиле, для своей сестры Хосровидухт, которая отдыхала от зноя в тени плодовых садов, через которые бежали прохладные потоки.

В крепости был гарнизон. К своей сестре приезжал воинственный царь, основатель Аршакидской династии в Армении. Множество колесниц стояло на этой горе. Любо-

пытные граждане толпились, чтобы увидеть блеск свиты и воинов стражи. Купцы проходили со своими караванами мимо этого города. В тюках верблюдов, лошадей и ишаков были свертки китайского шелка, индийские ткани, изделия из слоновой кости, перец, кардамон, индиго, мускат, ладан, рубины и топазы, изумруды и яхонты, диковинки Востока.

Проходили табуны армянских коней, предназначенные на продажу, так как Армения славилась доброй породой.

По склонам, окружающим подножие крепостных стен, далеко вниз к речке, и тогда грохотавшей в узком ущелье, спускались виноградники. Вокруг города раскинулись сады и рощи.

Теперь перед нами ступени сохранившейся лестницы вели на площадку, на которой стоял некогда храм. Площадка эта, как и окружающее пространство, была усыпана обломками руин, кусками колонн, разбитыми капителями, сохранившимися плитами.

В этом каменном хаосе можно было с удивлением обнаружить львиные головы, как будто только что вышедшие из-под резца скульптора, виноградные листья, изображенные с тончайшей точностью, кисти винограда, гранаты, входящие в композицию украшений капители, листья древних деревьев.

Никакого признака города. Никакой виллы сестры армянского царя. Безлюдье и покой забвения. Десятки колонн античного храма исчезли, рассыпались на мелкие куски. Века перетерли их в пыль.

На разбитых ступенях лестницы лежали обломки разной величины. Трава росла между ними. Похожие на дикий виноград ветки вились над уцелевшими барельефами, изображавшими не то титанов, не то кентавров. Несколько женщин резали на части яблоки и раскладывали их на ступеньках и на камнях для сушки. Множество яблочных долек лежало в руинах. Они еще больше подчеркивали заброшенность древней крепости.

Слышно было, как гудят одинокие пчелы, как шумит речка, как тихо переговариваются женщины. На некоторых больших обломках мы видели надписи путешественников разных времен и стран. Были арабские, персидские, латинские надписи.

— Что это было? — спросил Вольф.— Ты что-нибудь знаешь?

— Когда я был здесь пять лет назад, ученый-археолог,

бывший с нами, подробно рассказывал о Гарни. Я могу только повторить то, что он говорил.

И я рассказал о царе Трдате, о его блестящем путешествии в Рим, о том, как Нерон устроил ему торжественную коронацию на площади Форума, провозгласил его царем Армении, дал ему римские легионы, мастеров-строителей и художников, осыпал его золотом, чтобы он восстановил старую столицу Арташат, разрушенную Корбулоном, и жил в дружбе с могучим Римом.

Потом были другие цари и другие завоеватели, были бури и землетрясения. Никто не восстанавливал больше разрушенного. Я думаю, что скоро армянские ученые займутся этим местом и из земли появится много неожиданного.

— Подумать только, черт возьми,— сказал Вольф,— я сижу на камне, который разделывал человек почти две тысячи лет тому назад... Я хожу по плитам, по которым ходили римские легионеры. Куда их занесло, как же действительно был могуч этот классический Рим! Ведь отсюда до Форума и Колизея надо было добираться месяцами, если не годами.

— Царь Трдат добирался до Нерона девять месяцев. Правда, его задерживали разные торжества, потому что его встречали очень пышно по пути...

— Все равно,— сказал Вольф,— трудно себе представить, как постепенно исчезали римское влияние, римская власть, римское искусство, наконец, и сами римляне отсюда. И вдруг настал день, когда больше не было в мире Рима...

— Ну и что,— сказал я,— почему тебе это кажется странным? Наступили другие времена. Было и такое время, когда про людей иных говорили: «Это последние язычники!» Пришли века христианства.

— А представь себе, что мне иногда кажется?

— Что тебе кажется, когда ты размышляешь, как некий римский философ, я забыл его имя, на развалинах Карфагена?

— Мне кажется день, когда будут говорить люди: «Смотрите, это представители последних капиталистов». Вот будет здорово!

— Вот в этом я уверен, я даже в юности писал стихотворение «Последний буржуй». Оно где-то есть у меня в старых тетрадях. И у нас в Советском Союзе нет уже ни капиталистов, ни буржуев...

— Только мир стал немного побольше сейчас,— ответил Вольф,— и теперь надо считаться уже с другими материками...

— Что ты хочешь сказать?

— Я вспомнил Маяковского. Он после своего путешествия в Америку записал в записной книжке такую мысль, что Соединенные Штаты станут вроде как последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела и что тогда можно будет написать,— вернее, история напишет,— роман типа Уэллса, типа «Борьбы миров».

— Все возможно, все возможно,— сказал я,— только вряд ли мы до этого доживем. Даже этот древний город исчез не сразу. Смотри, Советская Армения существует только девять лет. Еще пятнадцать лет назад турки резали армян сотнями тысяч, разрушая дотла их жилища. А через пятнадцать лет мы действительно не узнаем Армении: так она расцветет. В этом я уверен. Ты знаешь, когда я был первый раз в этих краях, лунной ночью я гулял с друзьями по улице армянского селения в горах. Такая хорошая ночь была — совсем не хотелось спать. И говорили мы о веселом, смеялись, шутили. Вдруг один из армян сказал: посмотрите и скажите, на что похожа армянская деревня?

Разговоры стихли. Мы стояли и оглядывались. И ночь как-то стала другой. В большой тишине мы видели вокруг черные стены и белые стены, освещенные лунным светом. Ни одного огонька. Глухие стены и старые изогнутые деревья, застывшие, как от боли, неподвижно. Что-то странное действительно было в пейзаже этой деревни. Я сказал, что, конечно, это только мимолетное впечатление, но деревня чем-то напоминает укрепление, крепость... «Верно! — воскликнул предложивший вопрос.— Если бы вы еще посмотрели больше, то сказали бы, что она похожа на кладбище. И то и другое сравнение справедливо. А почему, дорогой? Потому что армянский человек жил в постоянном ожидании опасности. Посмотри, пожалуйста, сюда! Ты видишь этот лунный горизонт, гору, а что за ней? А если оттуда прибежит сейчас пастух, скажем, с вытаращенными от ужаса глазами, крича: «Турки идут! Башибузуки!» Что делать? Спасения нет. Дом — крепость. Ни одного окна на улицу. Узкие бойницы. Защищаться до последнего. Если враг сильнее — это уже конец. Это уже не крепость — кладбище. И так было веками... Но больше не

будет. И таких деревень не будет в Армении. Пришла советская власть! Все! Конец вандализму, конец резне! Дружба народов». Так он сказал тогда. По-моему, он прав...

Мы решили продолжать наш путь вечером, когда спадет жара, которая начала давать себя чувствовать. Мы изнемогали от духоты, философствуя на развалинах античного храма в Гарни, ели купленный у крестьянки арбуз и чинили нашу потрепанную одежду.

Как только стало темнеть, мы тронулись в дорогу. Сначала нам попадались отдельные пешеходы, с которыми мы даже перекидывались словами относительно правильности нашего направления. Потом мы расходились в разные стороны. Они направлялись в селение, а мы шагали по нагорью, с холма на холм. Мы шли легко; тут не было ни высот, ни скал, ни града с грозой. Нас охватывала полутьма. Над нами высилось широкое небо, на котором от луны тускнела последняя четверть. Перед нами лежали необозримые пространства, которые поблескивали, как бы подмигивая нам дружески. Пищали в стороне от дороги какие-то ночные животные, вылезшие из нор, как и мы, подышать хоть некоторой прохладой наступащей ночи. Где-то далеко плакали шакалы.

Одиночные арбы еще шелестели мимо нас. Буйволы, тихо пофыркивая, шествовали, опустив рогатые головы к земле, как будто за день устали держать их поднятыми. Трусил ишак с огромным мешком, перекинутым поперек вьючного седла. Потом перед нами остались только пространство и ночь.

Для опытных ходоков, втянувшихся в долгие странствования, в такие часы наступает самый прекрасный подъем, когда ноги несут тебя сами по себе, как будто ты уже не управляешь ими, слепо им доверяя. И они тебя не подведут. Как будто у них есть глаза и эти глаза видят каждую ложбинку, каждый бугорок, каждый камень на дороге. И, не отвлекая тебя от мыслей, направленных совсем в другую сторону, ноги влекут тебя так легко и так безостановочно, что все тело испытывает особое наслаждение, а километры убегают один за другим, незаметно, неслышно.

В таком быстром устремлении вперед не надо разговаривать со спутником, не надо останавливаться. Ритм, взятый в определенный момент, не надо перебивать, потому что уже все ваше существо свыклось с ним и вы прореза-

ете темноту с такой силой, что увидевший вас в этом непреодолимом движении встречный прохожий не успеет даже спросить вас, откуда вы и куда, как вы уже пронеслись мимо него, и он только, слегка озадаченный, поглядит вам вслед и тихо поплетется дальше, не понимая быстроты вашего движения и удивляясь ему. А мы час за часом прорезали ночной сумрак, косясь на жалкий остаток луны, который тоже иногда скрывался в набежавшем облаке, как будто у него уже не хватало силы нести свой небесный дозор.

Наконец Вольф, шедший впереди, поднял руку. Я остановился.

— Что это такое? — спросил он, показывая в сторону от дороги.

— Дай сообразить,— сказал я,— по-моему, судя по времени, мы должны прийти в одно селение, которое я хорошо помню еще с прошлого приезда. Пожалуй, это оно, но с ним что-то произошло... Посмотрим!

Если днем мы сидели на развалинах античного храма, среди базальтовых и мраморных глыб, то здесь нас окружали глиняные стены, остатки жилищ, явно покинутых их обитателями.

Осколок луны блеснул в воде ручья, печально переполнившего каменное корыто и, тихо урча, растекавшегося по бывшей улочке. Это был единственный живой звук, который мы слышали в мертвом покое брошенного селения.

Мы отдыхали, курили и смотрели по сторонам, но вокруг были только развалины. Я вспомнил, как пять лет назад тут нас встречали веселые голоса подростков, даже местный осел очень любезно обнюхивался с нашим ослом, потом заревел и начал захлебывающимся голосом рассказывать нашему ишаку какие-то последние новости. Вообще здесь все жило полной жизнью, и так неожиданно было встретить сейчас полное разорение.

Вольф спросил с иронией, не тут ли я надеялся ночевать, и если да, то надо поискать какой-нибудь гостеприимный дом...

— Они ушли,— сказал я, пропуская иронию мимо ушей,— теперь все строятся на новых местах. А нам надо идти дальше. И нажимать вовсю, так как приходить глухой ночью не очень удобно. И потом ты знаешь, что такое кавказские овчарки, это как раз час их полной власти...

Попив воды из искрящегося под луной ручья, полузаваленного камнями, мы пошли бодрым нашим шагом в полную неизвестность, которая простиралась перед нами до самого горизонта.

Скоро развалины брошенного селения остались далеко позади. Мы шли, чувствуя, что мы одни в этом ночном мире. Земля дышала на нас остывшим жаром. Ветерок изредка приносил какие-то резкие запахи трав, названия которых мы не знали. В пустынности дороги было что-то от далеких времен, от долгого странствования пилигримов, от путешествия в Арзрум.

Разве мы не были пилигримами, которые хотели познать древнюю страну, ее жизнь, ее людей сегодня? Нас окружало гостеприимство этой необъятной ночи, которая развертывала перед нами, как узоры шелковой ткани, переливы ночных красок в невыразимом спокойствии отдыхающей земли.

Какие-то стихотворные ритмы начинали бродить в голове, какие-то строчки вспыхивать, как загадочные искры, летящие по небу, как вдруг наш быстрый бег был прерван проклятиями, которыми разразился тихий, сдержанный Вольф. Он прыгал на одной ноге, опираясь на свой дорожный посох. Я сначала даже испугался.

— Ты что, налетел на гюрзу?

Эта армянская ползучая тварь любит иногда растягиваться поперек дороги. Укус ее может кончиться очень худо.

— Это гюрза? — закричал я.

— Хуже,— сказал, успокаиваясь, Вольф,— что-то железное!

Я подошел к нему. В пыли ночной дороги он наскочил на большой гаечный ключ, ушиб ногу и чуть не упал, запнувшись.

Он поднял ключ и покачал его на руке.

— Ты нашел Ассаргадона, а я открыл ключ. И я тебе скажу вот что: ты отдаешь своего Ассаргадона академикам, а я отдам свой гаечный ключ тому хозяину, у которого мы все-таки сегодня, я надеюсь, будем ночевать...

Вольф положил ключ в свой заплечный мешок, и осколок луны блеснул на ключе, любопытствуя, что мы нашли.

А через какой-нибудь час перед нами действительно заблестели огни настоящего, полного людей селения. Мы бодрым шагом вошли в улицы, удивившись, что так много народу еще не спит.

— Они дожидались нашего прихода,— съязвил Вольф,— они будут встречать нас сейчас, как Нерон встречал царя Трдата.

— Держи карман шире,— отвечал я,— но в самом деле тут что-то происходит.

Не знаю, как сегодня называется это селение. Тогда оно называлось Таш-Абдаллар, как было написано на нашей пятиверстке.

Сначала никто не обращал на нас никакого внимания. Толпы бродили по улицам. Женщины стояли поодаль у стен домов, детишки шныряли под ногами. Мы пробовали обратиться к одному или к другому, но нас не понимали или показывали направление, куда нам следует идти. Все были чем-то взволнованы, шумно спорили, страшно жестикулируя, плевались в сторону, отходили от групп раздраженные, громко понося кого-то, примыкали к другой группе, и крик и гам начинался сначала.

Наконец на нас натолкнулся какой-то парень. Он разыскивал кого-то, шел, рассматривая стоявших на улице, и, видимо, не находил того, кто был ему нужен.

Увидев нас, он сразу заговорил по-русски:

— Что хочешь? Что хочешь?

Мы быстро и кратко объяснили ему, кто мы, что мы идем в Эривань и хотели бы где-нибудь переночевать. Нам ничего не надо. У нас все есть. Нам нужны крыша и стены.

— Крыша и стены! — закричал он радостно — ему доставляло удовольствие выговаривать слова другого языка.— Крыша и стены будут сейчас. Пойдем!

И, бросив свои поиски, он повлек нас за собой, и мы, толкая своими мешками сгрудившихся спорщиков, прошли каким-то узким переулком, еще другим, более длинным, и вдруг мы увидели, что селение кончается и он нас выводит на большую дорогу.

— Нам надо ночевать,— сказал, останавливаясь, Вольф, думая, что наш провожатый не понимает смысла наших слов и хочет показать нам дорогу на Эривань.

Но он как-то хорошо засмеялся, похлопал Вольфа по плечу, закричал, как на митинге:

— Крыша и стены! Иди сюда!

И мы свернули к домику, который удивительно напоминал не то сельский клуб, не то избу-читальню. Ярко освещенное окно сияло нам навстречу.

— Крыша и стены! — снова закричал он.— Хорошо, здесь ночевать будешь!

Тогда Вольф сделал жест, означавший внимание, сбросил свой мешок на землю, развязал шнурки, поискал в нем, достал гаечный ключ, казавшийся сейчас в свете окна очень большим, протянул его молодому человеку и произнес краткую речь, смысл которой заключался в том, что он дарит этот ключ молодому человеку как хозяину, у которого мы будем ночевать. Так он решил и теперь просит принять этот необычный подарок.

Молодой человек слушал со вниманием. Он прекрасно понимал по-русски, и начал жать нам руки, и, взяв ключ от Вольфа, горячо благодарил за подарок. Потом он открыл маленькую дверь и буквально втолкнул нас в комнату, из которой навстречу нам раздался такой шум, что сначала мы ничего не могли сообразить.

Еще и потому мы не могли ничего сообразить, что клубы дыма встретили и окутали нас. В большой комнате было так накурено, что, только присмотревшись, мы увидели, что в комнате, что называется, негде упасть яблоку. Вокруг большого квадратного стола сидело столько людей, что было просто не повернуться. На столе стояла керосиновая лампа, лежали какие-то книги. За столом, как в президиуме, восседали несколько молодых людей. Все громко говорили и махали руками, как будто репетировали какую-то пьесу.

Наш провожатый растолкал людей у двери, сказал несколько слов с порога, потом приблизился к столу и начал что-то говорить президиуму. Мы не могли разглядеть, что там происходит, потому что поспешно вставшие со скамейки люди усадили нас на широкую скамейку. И только мы уселись и положили мешки, как встал один из президиума и что-то сказал. Грохнули аплодисменты. Наш провожатый сказал, это нас приветствуют и что мы можем здесь сидеть и смотреть. И мы покорно сели, потому что нам некуда было идти и незачем. С того момента, как нас усадили на скамейку во втором ряду, мы сразу перестали быть предметом всеобщего внимания, и все в комнате вернулись к своим делам.

После тишины ночной дороги и пустыни мы были оглушены шумом, который сотрясал стены клуба. В смутном тумане табачного дыма мы огляделись по сторонам.

По-видимому, это все-таки был клуб, потому что на стене висели какие-то лозунги, написанные на красной бу-

маге, старые революционные плакаты, какие-то объявления. Позади нас в глубине помещения возвышалось нечто вроде сцены, но без занавеса. По бокам сцены подымались два столба, поддерживавших потолок. Вокруг нас сидел самый разнообразный народ: передовые люди армянской деревни, активисты, комсомольцы. Это было видно и по лицам, молодым, энергичным, трезвым, по решительным жестам, по всему облику. Таких людей новой Армении мы уже встречали много. Они были нам хорошо известны.

Но что происходило тут в полуночный час, этого сначала мы понять не могли. Дверь открывалась. С улицы появлялся человек, который сначала тихо и настороженно осматривал собравшихся, потом его пропускали к столу. Начинался какой-то непонятный разговор, тихий и спокойный, потом искали что-то в большой, с разграфленными страницами книге и, отыскав, объявляли пришедшему.

Тот менялся сразу. И это происходило со всеми входившими. Иногда входили сразу по двое, но тогда было впечатление, что один привел другого. Так вот, как только доходило до книги и объявления, пришедшие начинали меняться в лице, изрыгать какие-то страшные, по-видимому, слова, потому что на них тоже орали и тоже изрыгали нечто страшное. Шум достигал высшей точки. Тот, на кого кричали, тряс кулаками, плевал на пол, на стены, потом, рванув дверь, которая закрывалась с диким стуком, исчезал в ночь.

Наступала некая пауза, в которой происходил быстрый обмен мнениями, и снова на сцене появлялся новый человек, пришедший из ночи, и все повторялось. Только момент превращения пришедшего в разъяренного вепря происходил по-разному. То человек отступал в недоумении и что-то еще спрашивал, прежде чем взвиться в крике, то начинал на глазах наливаться кровью, храпеть и только тогда разражался воплем, хлопал шапкой о стол, стучал кулаком и уходил, не переставая издавать неистовый рев.

Нас клонило ко сну от усталости, но мы ничего не могли поделать, потому что ясно видели: пока не кончится ночное заседание, нас не отведут ко сну.

Поэтому мы дремали, и только уж особый крик пробуждал нас, и сквозь плотную дрему мы слышали вокруг гул, как будто прибой Севана ударяет в старые скалы, на которых мы пробуем заснуть.

Ночь не кончалась. Энергии у сидевших не убывало. Проходившие все были похожи друг на друга. Кое-кто из

них пытался сначала говорить степенно, но спустя некоторое время все равно в нем просыпался бес, и он стонал и ревел, как и все остальные.

Его крики тушил шум, подымаемый всеми присутствующими. Явно было, что ночь переполнена драматическим напряжением, но нам было неудобно спросить о том, что происходит, потому что стискивавшие нас соседи по скамейке находились в непрерывном движении. Они то вставали, чтобы лучше что-то сказать или увидеть, то кричали с места, то производили такие движения ногами и руками, что мы просыпались, чтобы не слететь со скамейки на пол.

Вдруг появился наш знакомый, который сел сзади нас, но сразу же начал подавать реплики сидящим за столом. Мы поняли, что и он ничего нам сейчас не объяснит. И когда сон все-таки сломил нас и мы, опираясь друг на друга, задремали всерьез, огромный грохот упал на наши головы. Мы чуть не свалились со скамейки, потому что все встали. Это был грохот аплодисментов. Самое удивительное, что все смотрели в нашу сторону. Все улыбались и гремели аплодисментами. Председатель высоко поднял руку над столом, и мы увидели, к своему удивлению, в его руке найденный Вольфом большой гаечный ключ. Все разразились еще раз бурными аплодисментами, а наш знакомый сказал нам: «Дошло до вашего ключа. Его записали в повестку дня. Теперь председатель сказал, что вы дарите этот ключ нашему колхозу, и ключ занесли в протокол, и вам вынесли благодарность...»

Тут дрема соскочила с нас, и мы тоже зааплодировали и благодарили собрание за честь, нам оказанную. Потом все снова сели, и заседание продолжалось с прежней силой.

Но мы решили хоть сидя выспаться. И действительно, когда нам было ясно, что первые утренние лучи встретят нас на этой скамейке, все встали, стали двигаться, дверь открылась на ночной проселок, люди один за другим жали нам руки и уходили. Комната пустела. Табачный дым, как зеленый дракон, выползал из клуба на дорогу. Открыли и окно. Убрали со стола все бумаги и книги.

Наконец к нам, прислонившимся к стене, подошли несколько человек. Наш знакомый, выступавший переводчиком, сказал: «Крыша, стены есть. Отдыхайте, пожалуйста. Мы оставим лампу вам, чтобы светло было. Утром, как пойдешь на Эривань, иди сюда...»

Мы вышли на свежий воздух. Молодой человек показал на большой квадратный камень, к которому привалился другой, поменьше.

— Вот этот ключ от клуба. Будешь запирать, будешь сюда, где камень, класть. И пойдешь дальше...

Остальным он перевел свои слова, все заулыбались и очень крепко жали нам руки. Потом наш толмач сказал:

— Что еще хочешь? Пить хочешь — там графин с водой на столе... Больше ничего не хочешь? Тогда покойной ночи, дорогой!

— Подожди немного! Объясни, пожалуйста, что тут происходило всю ночь?

— А! — Он засмеялся, довольный.— Шум большой был, да это мы кулаков, знаешь, налогом обкладывали. Ну, они очень ругались, грозили, шумели — ты слышал,— но мы их взяли в руки. Кулак знаешь какой человек! Страшный человек! А это все был комсомольский актив, в помощь председателю колхоза. Они, кулаки, очень боятся комсомольский актив. Знакомьтесь, пожалуйста...

И мы познакомились с выдающимися активистами, поблагодарив их от души за гостеприимство, и пожелали им успехов в их работе.

Они ушли в селение, и мы остались одни, как моряки на пустынном берегу после знатной бури, шум которой еще жил в наших ушах. Потом мы заперли дверь изнутри и стали по-настоящему укладываться спать. Дом-то действительно был колхозным клубом. Мы угадали правильно.

— Вот тебе и царь Трдат! Вот тебе и видения древности! Тут такая новейшая история пришла, что все цари перед ней мальчики. Колхоз пришел к Арарату. Это тебе не ковчег! — говорил Вольф, бродя по комнате и начиная раздеваться.

Освоившись с помещением, мы обнаружили, что на скамейках, даже составленных, спать неудобно, прямо на полу — не очень хотелось.

Тут наши взгляды остановились на сцене. Чистый пол сцены вполне годился для ложа. Вольф торжествующе посмотрел на меня.

— Мы каждый день делаем какое-нибудь открытие. Что ты скажешь, если такое открытие я сделаю сейчас? Посмотри на эти два плаката. Они свернуты и прислонены к стене. А что, если мы закатаемся в них, и будет нам тепло и приятно...

Мы раскатали по сцене плакаты. На одном был явно начертан лозунг Октябрьской годовщины, другой принадлежал празднику Первого мая.

— Я поменьше ростом, я возьму с Первым мая! — сказал Вольф.— А ты бери октябрьский! Ничего с ними не сделается, а нас они спасут от холода.

И мы закатались в эти прекрасные полотнища, положили под головы мешки и растянулись, погасив лампу, на сцене таш-абдалларского клуба. После необычайного вечера этот необычайный ночлег вполне удовлетворял нас.

— Знаешь что? — раздался голос Вольфа, высунувшего голову из складок плаката.— Как жаль, что я не могу остаться в этом колхозе пожить так, чтобы увидеть начало новой жизни! Ты знаешь, ей-богу, мне нравится этот древний и такой молодой, ожесточенный, сильный народ... Я знаю, что не могу остаться. Но я вернусь в Армению, даю тебе честное слово. Я уже много видел людей этой страны, но я хочу видеть и знать еще больше...

— Это прекрасно, значит, я не ошибся, притащив тебя в Армению и заставив тебя своими ногами пройти ее дороги. А с ключом здорово получилось.

— Здорово,— сказал он уже совсем сонным голосом.— Этот ключ мне подбросила под ноги сама судьба. Ну, спокойных снов во главе с Араратом!

— Присоедини и Арагац,— сказал я, и мы погрузились наконец в настоящий сон.

Рано утром мы раскатались, встали, поставили плакаты на место, вымылись у ручья, собрали свое имущество, затянули свои мешки и решили выступать не завтракая.

Но когда мы хотели положить ключ от клуба в указанное нашими хозяевами место — между камней, мы нашли там небольшой горшок с молоком, накрытый чистой дощечкой, на которой лежала прижатая камушком записка. На ней было написано большими буквами: «На здоровье, хороший путь!» Мы выпили молоко и написали благодарственное письмо с пожеланиями всяческих успехов нашим друзьям колхозникам. Мы шли теперь не спеша, наслаждаясь теплотой утра, видом сиявшего белым огнем Арарата.

Воздух был чист, и если бы здесь, как в туркменской пустыне, жили миражи, то мы уже могли бы увидеть висящие в воздухе картины эриванских садов, перед нами бы вознеслись исполинские тополи, столетние вязы, оре-

хи, карагачи, абрикосовые деревья, бесконечные аллеи изогнутых прихотливо виноградных лоз — все зеленое богатство, окружающее город бархатным поясом.

Но мы не видели ничего этого на голубом горизонте. Мы только могли подсчитывать, сколько еще нам осталось пройти, прежде чем войдем в эту красоту и выпьем первый глоток искрящейся, неповторимой эриванской воды, которую называют сладкой. И она действительно лучший напиток для пришедшего издалека путника. Но ее пьют с удовольствием и все жители Эривани, принимая от шустрых мальчишек с потными холодными кувшинами стаканчики с водой, не идущей ни в какое сравнение с водами всех столиц Европы. Говорят, что Вена может сравниться с Ереваном. Я пил венскую воду. Ереванская лучше.

Я рассказывал Вольфу о городе, который еще полон восточного колорита, рассказывал о дувалах, стоящих по обе стороны главной, Астафьевской улицы. За этими дувалами большие и малые сады, с тенистыми уголками, где отдыхают и спасаются от жарких полдневных лучей жители. Чередуясь с дувалами, стоят одноэтажные домики, с одинаковыми окнами и ставнями, внизу ворот вырезано отверстие, и в нем видна настороженная морда дворового пса.

Посреди улицы идут телеграфные столбы. Дальше бульвара по улице ездить запрещается. Вечером движется непрерывный поток гуляющих, которые направляются на бульвар, где в беседке играют сазандари и где собираются представители высшего городского общества. Там можно встретить выдающихся ученых, писателей, художников. Традиция была нарушена, когда приехал Луначарский. Ему первому разрешили на извозчике спуститься к бульвару по главной улице...

Дворец сардара давно по частям свалился в Зангу, остались только куски стен. Зато в городе есть караван-сарай при древней мечети. Там в саду настоящая восточная чайхана, где в лунные ночи можно написать продолжение «Персидских мотивов» Есенина, настолько там все пронизано поэтическими ощущениями.

Вольф тут же продекламировал:

> Улеглась моя былая рана —
> Пьяный бред не гложет сердце мне.
> Синими цветами Тегерана
> Я лечу их нынче в чайхане.

— Точно,— сказал я,— там можно почувствовать тишину и мудрость. Там сидят почтенные старцы, последние тени уходящего Востока, там мелькают лукавые профили красавиц, сошедших с персидских миниатюр. Мы будем пить чай в мечети и читать стихи Есенина в воображаемой Шаганэ...

Так, вспоминая стихи, разговаривая налегке, мы приближались к Эривани. Уже виднелись зеленые поля, темная листва садов, появились арыки с бежавшей мутной водой, стали попадаться арбы и люди, шедшие в одиночку и группами. Мы приближались к какой-то территории, обнесенной оградой, видной издали.

И тут как будто налетел самум, принесший такую неслыханную вонь, как будто разверзся грязевой вулкан, копивший веками прах тысяч конюшен. Это был огрушающий, невероятный запах, и чем ближе мы подходили к его источнику, тем сильнее чувствовали, что начинаем задыхаться.

Этот запах пересек нашу дорогу, и нам ничего не оставалось, как, прижимая платки к носу, пробиваться через эту непредвиденную завесу, возникшую на подступах к городу.

Когда мы приблизились к ограде, то обнаружили, что за ней лежит старое кладбище, на котором, как полагается, возвышаются памятники, кресты и часовни. Но то, что мы увидели перед кладбищем, так ошеломило нас, что мы, несмотря на окружавший нас дьявольский фимиам, сложили с плеч мешки и сели на каменный выступ ограды. Такое увидишь не каждый день.

Перед нами возвышались бесформенные холмы, составленные из великого множества отбросов, которые в течение многих лет свозились сюда со всего города. Несомненно, это была главная городская свалка. Многоцветность этого мусора, гниющего на жарком солнце, не поддавалась описанию. Но не вид этих жалких тряпок, костей, битых бутылок, посуды, осколков и остатков определенных и неопределенных предметов привлек наше внимание.

По всей ширине этой могучей свалки бродили десятки, если не сотни свиней. Их розовые, бело-желтые упитанные тела ярко блестели. Видимо, свалка была их любимым местом, потому что они ходили по ней с самым хозяйским видом. Они рылись непрерывно, двигаясь по всем направлениям и проявляя самую кипучую энергию. Иногда они замирали, нюхали с довольным храпом воздух, всем своим

видом подчеркивая, что цель их жизни достигнута и лучшего места для своего существования им не найти.

Над этими свиньями кружило множество иссиня-черных ворон. Каждая ворона имела свою свинью. Ворона сидела на спине у свиньи. Она бегала по свинье от хвоста до ушей, заглядывала через ее голову, высматривая, что она копает. И, высмотрев, ворона лихо хватала добычу из-под свиного носа и снова вскакивала свинье на спину. Иногда вороны подымались в воздух, с громким криком носились над свалкой, потом бросали зоркий взгляд вниз, и каждая возвращалась на свою свинью, безошибочно находя ее среди всего свиного скопища.

Это было захватывающее зрелище. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Черные, с синими отливами вороны, бегающие по жирным розово-белым спинам на фоне голубого неба, яркой зелени, среди мраморно-грязных куч мусора, напоминали какой-то эскиз к дантовскому аду, напоминали дикую галлюцинацию Гойи. Мы забыли про то, что дышим смрадом старой свалки. Мы смотрели во все глаза на непрерывные эволюции черных птиц и розовых животных.

Когда мы наконец встали, нам казалось, что запах этого места пропитал насквозь нашу одежду, наши мешки, обувь, волосы.

Мы ускорили шаги, чтобы поскорее оставить за собой кладбище и свалку. Мы бегом устремились в город. И вот мы вошли в Эривань. Казалось, что город берут приступом. Отовсюду слышался грохот, в воздухе стоял шум каких-то машин, крики, удары молотков, лопат, ломов, топоров.

На нас наезжали грузовики, полные строительных материалов. Облака пыли стояли над улицами. Мы пробились к центру. Вместо дувалов Астафьевской улицы лежали груды глины, на эти груды падали со стоном старые деревья, закрывая своими вершинами доски и столбы сломанных ворот. Кругом работали с неукротимым энтузиазмом тысячи людей. От иных домиков еще видны были внутренние стены, оклеенные выгоревшими обоями.

Мы стояли оглушенные среди этого непрерывного грохота и звона. Куда бы мы ни двигались, всюду в строительной пыли возводились новые здания, под ногами лежали груды труб. Старые стены валились с глухим стенанием. Всюду виднелись молодые, азартные лица, горящие глаза. Яростная битва захватила весь город.

— Где тишина? Где восточный покой? Где нельзя проехать на извозчике? — кричал мне в ухо Вольф, указывая на происходящее.

На нас смотрели с удивлением и с сочувствием. Спрашивали, что мы ищем, кто нам нужен. У нас были адреса, куда мы держали путь, но дело было не в этом.

— Зачем вы пришли? — спросил нас один молодой инженер, размахивая синей калькой.

— Чтобы увидеть Армению, увидеть Эривань,— ответил Вольф, переполненный самыми разными ощущениями.

— Вот Эривань! Смотрите! Здесь мы устроим новую Эривань! Вы поспели как раз. Откройте дверь в наш новый дом. Входите, дорогие! Мтек! Мтек! Мы очень рады...

И мы вошли в гудевший всеми машинными и человеческими голосами город, как в новый дом.

Вольф Эрлих много потом ходил со мной по разным горным краям. Но он сдержал свое слово. Он вернулся в Армению. Он начал там часто бывать, уже без меня. Он написал о ней стихи и рассказы, узнал ее всю, он восходил на Алагез, он знал виноградарей Араратской долины, крестьян и рабочих, пограничников на Араксе, писателей и ученых.

Если бы Вольф Эрлих дожил до Великой Отечественной войны, то он со своей гражданской поэзией, со своим патриотизмом и жаждой подвига нашел бы свое место среди поэтов, участвовавших в смертельной борьбе с фашистскими захватчиками.

Как командир запаса пограничных войск, он в рядах защитников социалистического отечества был бы храбрым и достойным воином. Он готовил себя к этому последнему, решительному бою.

Я знал его в комнатах, где спорят о стихах, или рассказывают разные истории, или поют народные песни, до которых он был большой охотник. Я знал его за дружеским столом, на лыжной прогулке, в ладожских лесах, в приневских болотах, на жарких писательских собраниях.

Но лучше всего я помню его среди снегов Кавказа — веселого, маленького, с огромным мешком за плечами, загорелого до черноты, смертельно уставшего и все же смеющегося, с восторженным лицом смотрящего на все необыкновенное вокруг себя, бесконечно наслаждающегося

воздухом, сине-лиловым небом, необъятным простором, высотой. Он стоял как маленький железный солдат, готовый к новым трудным переходам, к новым боям, к новым открытиям. Глаза его светились. Он весь был полон неизъяснимого восторга, неповторимой радости. Таким он и остался навсегда со своими стихами в моей памяти и в моем сердце!

Он ездил на Дальний Восток, на Север Советского Союза, но, куда бы он ни ездил, он возвращался в Армению, глубоко полюбив ее. Он не мог жить без нее.

ПЛАМЯ ОСЕТИИ

— У нас есть такое крылатое слово: «Хочешь видеть красивых мужчин — иди в Дигорию!» — сказал мне однажды один из моих осетинских друзей.— Будете в тех местах — убедитесь сами.

Я вспомнил эти слова горным июльским вечером в селении Стыр-Дигор.

Нихасом в осетинском быту называется и беседа и место, на котором собираются сельчане. И хотя мы сидели небольшой группой, но наше собрание можно было назвать маленьким нихасом, потому что на нем велись серьезные разговоры о жизни, о народе, о прошлом и настоящем.

С того места, где мы устроились — кто на бревнах, кто на больших камнях, хорошо была видна блестящая лента реки, высокие речные террасы, крутые склоны гор, огороженные ячменные поля, посевы овса, покосы. На дальней площадке, точно прислушиваясь к неумолчному голосу белопенного Уруха, стояли старые священные деревья, видевшие на своем веку немало жертвенных пиршеств и теперь примирившиеся с тем, что под ними больше не варится в котле баран и старый каменный очаг развалился, зарос травой.

На другом конце селения маленькая деревянная церковка со сбитым крестом тоже доживала свой век, служа пока что дигорцам как помещение для клуба.

Если смотреть вверх по ущелью, то за взметками ближайших, потемневших в вечерней синеве горных склонов с волшебной, почти музыкальной легкостью вставала начавшая голубеть высоченная снежная стена, которую увенчивали ледяные вершины Тана и Лабода.

Если пойти по направлению к этим вечно молодым стражам Стыр-Дигора и повернуть направо, то можно пройти на перевал Штулувцек, спуститься в ущелье дикого Черека и через Шаривцек совершить вторжение в южную, почти субтропическую, чащу непроходимых лесов Зесхо, пробраться к зеленым лугам и белым башням Ушгула, чтобы поклониться блеску неповторимой Шхары и отдохнуть на альпийских лугах, на тропе из Адиши в Жабежи.

Хорошо мечталось о таком походе в тишине летнего горного вечера в гостеприимном селении, куда меня привел путь вдоль великолепного Уруха, чьи берега заслуживают самой высокой похвалы. Среди его разноцветных скал, высеченных на них каменных раскрашенных надгробий узкая тропа идет по карнизу в таком густом зеленом мире, что реки не видно, она ревет где-то внизу, сжатая каменной тесниной. Бук и граб, ясень, клен, липа, кое-где дуб, кустарники, высокие травы захватили все пространство, и сквозь их светлые и темные наплывы вдруг вырываются глотнуть голубого воздуха желтые и белые уступы. Шум зеленого мира, грохот потока, пение птиц, шуршание падающих камней, застревающих среди деревьев, сопровождают путника с утра до вечера...

Где-то далеко за нами остались широко раскинувшаяся Дигора, маленький, много претерпевший на своем веку Ахсарисар, древний Донифарс, Лезгор и Задалеск... Мы в Стыр-Дигоре.

Я вижу, как вдали разгорается костер. Его живая красная струя, подымаясь, сливается с синей дымкой вечера. Он делает ущелье еще более мирным, говорит о путниках, о пастухах, о ночлеге под высоким, открытым небом. Он очень красив, этот костер, как и люди, окружающие меня. Нет, не соврали те, кто сказал: «Хочешь видеть красивых мужчин — иди в Дигорию!»

Вот стоит высокий, широкоплечий кузнец. У него большой, прямой лоб, небольшой рот, тонкие, хорошего рисунка губы. На его черных, очень густых волосах серая широкополая шляпа-осетинка. Она делает его похожим на древнегреческого Вакха или Меркурия. На его плечах длинная цепь, на которой он водит быков,— связывает их, укрощает. Шерстяная рубаха, толстой кожи передник, штаны из овечьей шкуры, на ногах старые чувяки.

Он одет просто и грубо, но так строен и могуч, что все на нем кажется живописным и никакой костюм не пошел бы ему лучше этого.

И сидящий в сыромятной шубе старик пастух смотрит на него восхищенным глазом, точно вспоминает себя в молодости.

Старый партизан в лохматой овечьей папахе хорош по-своему. У него небольшая, подстриженная клином борода,— не такая, как у пастуха, у которого она широкая, волнистая, как овечье руно,— молодые глаза и три широкие морщины на лбу. Он хорош выправкой старого джигита, немало полазившего по скалам с винтовкой в свое время. Рядом сидит дядя-почтальон в черной войлочной шляпе, в серой куртке и толстых черных штанах, веселый, несмотря на возраст, остроумный, никогда не унывающий философ. Он в молодости был, вероятно, оригинален со своей узкой фигурой железного кузнечика, с тонким, выразительным лицом, доброй улыбкой, острыми, смеющимися глазами.

Учитель, сидящий отдельно на камне, одет по-городскому, говорит серьезно, и его умное лицо отражает большой опыт горца-крестьянина и книжную премудрость человека, вкусившего таких знаний, о которых понятия не имеют в этом горном гнезде.

Если бы эти красивые люди сидели не на камнях и бревнах, а на мягких диванах в теплой квартире, при свете электрических люстр, они бы не потеряли ничего от той естественности и прирожденной ловкости, которую получили в наследие от своих отцов и дедов. Сейчас, под первыми звездами, они беседуют, вспоминая далекие времена.

— Я был совсем маленьким,— говорит пастух, чертя между камней длинным посохом, загнутым на конце, как у библейских его собратьев,— но я видел своими глазами, как помещики Тугановы выгоняли из Дурдура многих бедняков. Какой стон, какой вопль стоял! Да и не только это было в Дурдуре. Повсюду было! У нас тут тоже сидели царгасаты — богатеи, теперь их всех смели заодно, а тогда от этих баделят, гагуатов, царгасатов жизни никакой простому народу не было. Он что хочет, этот зверь, то и сделает. Даже если у простого крестьянина похороны, поминки, то и тогда надо послать и араки и мяса добрую часть своему владыке, этому царгасату, а не пошлешь — сам пришлет взять, насильно... Как не-

давно все было, я еще ясно помню! Жаль, тогда сбежали иные, а то я им сегодня припомнил бы...

— Да мы, пожилые, еще помним,— говорит учитель,— а вот молодежь ведь даже не верит тому, что мы видели. А что мы видели? Были селения, где дома без окон, без печек, ни скота — ничего. Как жить? Уходили на заработки, нищенствовали, бежали из гор на плоскость. Можно еще сейчас встретить развалины таких селений, где голод, болезни заставили всех покинуть родные края, беги куда знаешь, нанимайся к чужим, работай без счета, от зари до зари. В горах дожди как хлынут — все поле смоют вместе с землей, остаются голые камни. Бежали даже в Америку. А там не лучше. Принимают только на самые грязные, самые тяжелые работы — камень ломать, в шахтах работать, лес рубить... Стали оттуда обратно возвращаться. Можете еще встретить таких «американцев». Вот в Комунте, например. Миллионерами не стали, а здоровье там оставили...

— Я тоже скажу,— старый партизан выколотил свою трубку о камень,— давно это было, раз, помню, встал в четыре утра, поднялся в гору, где снопы стояли. Ничего нет! Ветер все в пропасть, в речку скинул. Вот тебе и урожай. Пришел домой, говорю,— жена с горя лицо ободрала. Дети начали плакать. Пшеницу, какая еще была, птицы склевали. Кукурузы у меня не было. Осталось немного ячменя. Решили продать телка в город. Повел, продал...

Кузнец снял цепь с плеча. В потертой накидке из бараньей шкуры, много видевшей и в поле и в кузнице, он выглядел Голиафом, на которого напала ярость. Он ударил по земле цепью так, что она сильно зазвенела, и звон отдался далеко в тихом воздухе.

— Мне отец рассказывал, как белые селение Дигору — тогда оно называлось Христиановским — уничтожили до конца. Дома развалили, скот убили или угнали, все запасы пшеницы, кукурузы увезли. Все сожгли, все имущество расхитили, людей расстреляли, повесили, издевались над оставшимися в живых. Отец все помнил. И в пятом году так было, и в девятнадцатом. Был бы я тогда взрослый, я бы этих белых на куски рубил...

— Что за жизнь, что за муки приняли осетины,— сказал почтальон,— всего не перескажешь! Сейчас мы сами себе хозяева. Куда хочешь иди, что хочешь делай. А тогда, как вспомнишь!.. У меня отец мог целыми днями расска-

вывать о тех временах, о том, что видел. Помер он, бедный, после того, что перенес, а мог бы сейчас рассказать, как и вы все и даже больше...

Звезды уже высоко встали на небе, а рассказы шли и шли своим чередом. Это были рассказы о днях гражданской войны, о Черном лесе, о борьбе с белыми и со своими царгасатами и баделятами, о несправедливости и беззаконии, о притеснениях, о палачах и героях-партизанах, о Красной Армии, о кострах в пещерах, где жили народные мстители...

Я слушал и смотрел, как вдали горит костер, а тут, передо мной, горцы разжигали пламя Осетии, пламя мучительных, героических лет.

— Кто это все опишет, кто все это расскажет народу? — спросил почтальон, и я подумал тоже, что обо всем, о чем рассказывали, было бы хорошо прочитать в большой, правдивой книге.

— Революция — лучшее лекарство против кровничества,— сказал мне наш друг, дигорский почтальон, на отдыхе в диком ущелье Айгамуги-Дона, когда мы лежали на душистой траве.— Я еще помню, как были кровниками Уруймаговы и Такоевы. Это было в Дигоре. Сколько крови было, сколько слез женщины пролили... К чему все — никто не понимал, думать никто по-другому не хотел, раз так надо по обычаю, убивай — и все. Революция по-другому заставила думать. Когда Шкуро пришел уничтожить Дигору, все, кто мог носить оружие, встали на ее защиту, и в окопах встретились два кровника — Асланбек Уруймагов и Тембол Такоев. За революцию, за власть Советов сражались и погибли рядом, как герои. Вот что революция делает, а кто не хочет с ней вместе идти, будь ты не знаю кто, тебе пути не будет в жизни. Вот отдохнем, я тебе покажу одно место. Оно тут недалеко... И расскажу там тебе что-то...

Почтальон приходился дядей одному из наших друзей в городе Орджоникидзе, и поэтому я тоже называл его просто дядей. Сейчас дядя мог проводить меня только до Фаснала, так как ему надо было попасть засветло в Дидинато. Он привел меня на такое место, за которое, по его словам, надо деньги платить.

Я уже привык видеть, как буйная, громкоголосая река металась из стороны в сторону, высоко перекидывая через камни воду бешеного напора, но тут было нечто ошеломляющее для свежего человека.

По-видимому, когда-то решили строить тут плотину, но почему-то бросили работу на середине. Уже был пробит обходный тоннель в скалах, уже сложена главная стенка, но не до конца. Река с какой-то злобной радостью, с поистине дьявольским грохотом и ревом, заливаясь на все голоса, неистово плясала на останках каменного сооружения. Вихри воды, попадая между сдвинутых, смытых с места силой реки камней, образовывали демонические, дымные, прозрачные фигуры, которые крутились в бешеном танце, пробегая по краю и через плотину, и, бросаясь в реку, исчезали в пене новых вихрей, непрерывно возникавших за ними.

Вода из тоннеля в скалах вырывалась с каменным хохотом и сшибалась с волнами, взлетавшими ей навстречу, как по лестнице, по ступенчатым выступам на платформу, через которую непрерывно лились обратно в реку водяные шлейфы только что открутившихся вихрей. Радужная пена рассыпалась над водяными привидениями, которые сменялись каждую минуту все новыми и новыми.

Поражала эта неустанная энергия злобы, ярости, торжества, точно река праздновала победу над человеком. Говорить было невозможно, грохот заглушал человеческие голоса.

Можно было слушать эту адскую музыку, как создание какого-то чудовищного композитора, сделавшего воду и камень главными инструментами немыслимого оркестра. Но скоро слух пресыщался этим нескончаемым громом, в глазах начинали мелькать белые водяные круги в оранжевой рамке. Айгамуги-Дон наслаждался своей силой и в полном упоении посылал все новые и новые массы воды на каменную преграду, поставленную перед ним.

Я смотрел до тех пор, пока в мою память не вошла навсегда эта клокочущая картина водяного триумфа. Тогда я взял за рукав дядю-почтальона и знаками показал ему, что мы должны уйти.

Мы отыскали спокойное место, где рев реки стал глуше и можно было разговаривать, не боясь, что охрипнешь, перекрикивая нескончаемую адскую симфонию Айгамуги-Дона.

— Что это такое? — спросил я.— Что тут было?

— Тут неподалеку заброшенный рудник Фаснальского терского общества. Посмотри — вон там весь откос засыпан пустой породой. А вон желоба, по ним когда-то до

революции спускали руду. Мы сегодня проходили мимо остатков рудообогатительной фабрики Терско-горного промышленного общества. Давно уже тут не работают. А эту плотину то ли бельгийцы, то ли англичане начали строить еще до первой мировой войны, потом бросили, уехали, и вот с тех пор тут так и есть...

— Да, зрелище удивительное,— сказал я.— Спасибо, такое стоит раз в жизни увидеть! Но, дядя, ты хотел что-то именно здесь рассказать?

— Я, когда сюда попадаю с кем-нибудь, кто впервые в Фаснале, всегда показываю это место в ущелье, и всегда меня благодарят за то, что тут есть что посмотреть. Ты тоже благодаришь. И только один человек за все годы смотрел не как все и по-своему все истолковал...

— Кто же это был?

— Да, по правде говоря, я его тоже до конца не знаю. Имя он, наверное, свое скрыл. Был какой-то такой тревожный и злой, разобиженный на всех. Может, даже что-нибудь против властей совершил или в белых отрядах был, скрывался в горах. Может быть, был из баделят, но не из наших дигорских царгасатов,— того сразу узнали бы. Откуда-то из другого края. Осетин, стрелял хорошо, но по всему было видно — человек городской. Он со мной много тут ходил, я к нему присматривался, думал: если он вредный, то я его живо разоблачу. Он все о простой жизни говорил, как хорошо в лесу жить, одиноко, от людей подальше, охотой заниматься, ни с кем не видеться...

Пришли мы раз сюда,— а он тут любил бывать и смотреть,— вдруг он весь изменился, как будто его чем прожгло, глаза на меня уставил, захохотал громко так, что прямо как сумасшедший, пальцем показывает на воду и говорит:

«Ты видишь, что это?»

«Вода,— говорю я,— Айгамуги-Дон, а что больше? Что тут видеть?»

«Нет, ты не все видишь,— он кричит,— это вот большевики, красные хотели бег реки остановить, подчинить всю природу своей воле, а природа-то сильнее человеческих фантазий, она им показала!»

Я говорю:

«При чем тут большевики? Это до них разные иностранцы старались, это до революции было».

«Ты,— он говорит,— не о том думаешь. Я говорю иносказательно: большевики хотели, как этой пло-

тиной, жизнь остановить, а жизнь-то сильнее, и жизнь, как эта река, хохочет над ними... И ничего с ней не сделаешь!»

«А почему же,— я говорю,— ты тогда ушел из города и в горы побежал, подальше от большевиков, если жизнь твоя хохочет над ними?»

«Потому,— говорит он,— побежал, что мне хочется с природой ближе жить».

Но, наверно, он что-то все-таки в городе сделал и понял, что его могут и тут отыскать. Так он подался к охотникам, стал в горы, в самые дебри, за турами ходить. Но охотник из него был плохой. Стали над ним смеяться. Он в страшную ярость приходил. Раз на охоте подшибли тура, и тур прошел последними шагами по такому карнизу, что только тур может пройти, и лег помирать за скалой. Как его достать? И тут этот охотник поневоле говорит: «Я пойду!» Его остановил старый охотник. «Куда пойдешь? Ты там пройти не можешь».— «Почему? — он говорит, вскипев.— Что я, трус, по-вашему?» А молодой охотник съязвил: «Не трус, да ты привык по паркету ходить, а не по льду. Лезгинку танцевать в городе легко, а тура брать трудно, он не женщина в кружевах». Тут он вскочил, ничего не сказал и пошел. И на середине этого узкого, крутого карниза нога у него поскользнулась, и он полетел в такую бездну, что его и не искали. А что он про плотину говорил — чепуха! Бельгийцы не могли, а мы построили. Видел наш Гизельдон?

— Видел,— сказал я.— А все-таки, кто же был этот человек?

— Да кто его знает! — отвечал мой спутник.— Тогда много их в горах поразбрелось. Но он, правда, грабежами не занимался. Никто о нем потом не справлялся. И все уже давно его забыли. Я помню потому, что у меня память такая. А потом, как здесь, у этой плотины, побываю, так и его невольно вспомню. Ну, а теперь тебе в Комунту, а мне в другую сторону — в Дидинато, это селение еще Мацуто зовут.

Так мы расстались в Фаснальском ущелье с моим другом — пытливым дигорским почтальоном.

...Если вечера в Стыр-Дигоре были наполнены тишиной и дружеской задушевной беседой, то этот вечер в старом Махческе шумит, как река, и не один костер горит вдали, а их много, костров, рядом и много огней. А сколько горцев окружило стол, накрытый красным кумачом! За сто-

лом сидят и местные люди, и гости, приехавшие на праздник,— сегодня трудящимся вручают акты на вечное пользование землей.

Я сижу в стороне и смотрю, как встают старики и говорят свое слово. Это слово тех, кто проводит первую борозду в поле по весне, начиная пахоту. Говорят председатели колхозов, участники социалистического соревнования, передовые люди села.

Я вижу, как у зрителей под широкополыми коричневыми и черными осетинками сверкают при свете костров глаза, как они крутят черные жесткие усы, как аплодируют доброму слову, приветствуют старого труженика, как поощряют робкого оратора доброжелательными выкриками.

Все кругом волнуется, как пестрое поле, и когда начинаются танцы молодежи, мы уже сидим за столом и едим вкусные горячие пироги с мясом и пироги с сыром, пьем пиво, закусывая чесноком и луком, красным перцем, а кто хочет, попивает кефир с чесноком и солью.

В такой вечер должно быть веселье и радость в людях и в доме. Молодые люди, взяв друг друга под руки, движутся по кругу и поют очень ритмично и легко, они танцуют со всей силой и прелестью молодости, и тени, которые они отбрасывают, продолжают их танец на стене дома.

Девушки входят шумной гурьбой и протягивают большой рог, наполненный пивом, горьковатым дигорским пивом. Я принимаю рог и, пока пью, слышу настойчивый, упрямый, сильный голос девушек, песню и припев, под который я пью. «Уа-рай-да, уарай-да, уарай-да...» — звенит в моих ушах, я смотрю одним глазом в изогнутый рог, и мне кажется, что я прилег на берегу горного ручья и должен выпить ручей, а из-за поворота рога ручей несет мне какие-то зернышки, маленькие веточки, всякую всячину, и я поглощаю эту желтую теплую влагу, и бесконечно длится припев, и бесконечен рог, который мне преподнесли.

Но вот я снова вижу смеющиеся загорелые лица дигорских девушек, черноусых хозяев и седых ветеранов гор, мне самому хочется войти в тот непрерывный хоровод танца, что кипит там, на площадке, подтягивать сильной и нежной песне, которая летит над кострами, над рекой, уходит в ночные ущелья, в звездное, высокое небо.

В голове веселый сумбур впечатлений, но в нем вдруг прорезаются какие-то неожиданно вспомнившиеся картины, факты... Сосед рассказывает мне о первой национали-

зации земли, когда делили земли по родовому признаку, чтобы избежать кровной мести,— одному безземельному роду отдавали всю землю того рода, что ранее был земельным собственником и теперь лишался земли. На весь род напасть нельзя,— значит, момент кровной мести исчезал при таком распределении.

Опять возникали бесконечные воспоминания о прошлых временах насилия и угнетения, которые никогда не вернутся.

Я рад, что я попал в колхозный Махческ, окончательно победивший старый порядок и празднующий свою победу.

Земля Осетии! Сколько мучений вынес осетинский крестьянин, сколько пота и крови впитали эти поля и покосы! Сколько столетий страданий и ожиданий прихода правды! Правда пришла! Это в ее честь поются песни и танцует молодежь на площадке, где горят костры новой Осетии.

И я вспоминаю, как мой друг — почтальон из Стыр-Дигора — мечтал: а кто расскажет обо всем, что было когда-то в Дигории?

— Кто-нибудь,— отвечаю я,— придет время!

...Этот телефонный звонок раздался в мглистый, холодный день долгой ленинградской зимы. У меня был грипп, мне не хотелось никого видеть, и тем не менее я подошел к телефону. Я услышал незнакомый, чуть взволнованный женский голос:

— Можно ли прийти к вам? У меня есть один разговор. Мне нужен ваш совет.

— В какой области?

— Я пишу роман.

Она пишет роман! Сколько раз уже я видел таких домашних романисток, которые приносили рыхлые груды словесных кирпичей, не пригодных ни на что. Сколько раз они читали тяжелейшие отрывки, от которых слушающие тупели, как будто им сыпали на голову сырой песок большими мешками...

— Я не романист, почему вы обращаетесь ко мне?

— Потому, что вы любите горы и знаете Кавказ...

— Вы пишите роман о Кавказе?

— Да, я вас очень прошу меня принять...

Что-то было в голосе этой женщины убеждающее, я сказал:

— Приезжайте завтра вечером...

И она приехала. В комнату вошла женщина небольшого роста, в темном скромном платье, с открытым, энергичным взглядом, с той благородной простотой, которая свойственна горянкам, строгая, немногословная, решительная.

В ней была особая прелесть гордого и независимого существа; это была дочь гор, спустившаяся в большой город с его шумной, непонятной ей жизнью.

— Я знаю вас, но вы не знаете меня,— сказала она,— я — Елизавета Алексеевна Уруймагова, по-осетински — Езетхан...

— Вы — осетинка? Откуда?

— Из Христиановского.

— Из Дигоры. Скажите, Асланбек Уруймагов был из вашего рода?

— Да,— сказала она,— он погиб в бою со Шкуро, сражаясь рядом со своим кровником...

— Я знаю, что осетинка не говорит «мой муж», а называет его «господин моей головы» или «наш мужчина». Вы тоже так говорите? — сказал я шутя.

— Мой муж русский,— отвечала она,— я училась в Дигорской церковноприходской школе, потом в Дигорском высшем начальном училище, потом была студенткой литературного отделения Горского педагогического института в городе Орджоникидзе. Видите, я ученая горянка.

— И передовая,— сказал я.— Вы не только, вопреки всем старым обычаям, говорите с незнакомым мужчиной, но еще собираетесь читать ему свой роман. Вы написали роман, он с вами?

— Нет,— сказала она,— мой роман еще во многом в голове. Но я напишу его, чего бы это мне ни стоило...

Мы заговорили об Осетии, о Дигории, о местах, связанных с ее юностью, о том, как возникла у нее мысль написать роман. У нас нашлись общие знакомые. Чем больше я слушал эту необычную посланницу гор, тем сильнее убеждался, что она обладает умом и чувством, у нее острый взгляд на вещи, хорошая память, и я начал бояться того момента, когда она станет читать свой роман и очарование исчезнет, придется утешать ее, говорить ей незначащие слова, чтобы не обидеть хорошего человека. Я уже хотел предложить ей оставить мне отрывки ее произведения, но она решительно сказала:

— Я прочту вам совсем немного. Если понравится, могу еще прочесть. Или рассказать еще о романе...

Тогда я предложил:

— Знаете что, ничего мне не говорите больше о романе, а просто читайте.

Она достала из тонкого портфеля синюю школьную тетрадку в линейку и начала читать сцену в лесу, где подстроено убийство тупоумного долговязого Дзобека хитрым, злобным стремянным Габо, чтобы обвинить в этом убийстве ни в чем не повинного Темура.

Дальше шли страницы, где крестьяне рубят самовольно лес всесильного Амурхана Туганова и дают взбучку его управляющему. Они были написаны живо, сильно. Видишь, как падают старые дубы и как горцы хватают лошадь управляющего и стаскивают его с седла, как они судят его народным судом.

— Почитать еще? — спросила она, кончив тетрадку.

— Читайте еще!

В новой тетрадке автор описывал дом жестокой, властной, потерявшей двух сыновей, одинокой Саниат Гуларовой, ее забитую работницу Марет, весь молчаливый ад гуларовского дома, несчастную маленькую девочку Хадизат, купленную для выполнения преступного замысла Саниат — получить наследника, чтобы не развеялось дымом ее богатство. Хадизат венчают с покойником, а отдают старшине Дрису, чтобы она родила хозяйке этого наследника.

Синяя тетрадка кончилась. Уруймагова вопросительно посмотрела на меня.

— А есть еще? — спросил я.

— Есть! — просто ответила она.

Я видел, что она волнуется, что ей хочется еще читать и читать и написанное ей нравится самой.

В третьей тетрадке шел рассказ про черного человека тех мест — Сафу Абаева. Жизнь его, перегруженная преступлениями, обманами, ложью, человеконенавистничеством, соединена была с жизнью Саниат Гуларовой железной цепью наживы и беспощадного угнетения людей. Темные люди — темные дела. Три его сына — в отца, такие же мрачные, эгоистичные, жестокие. Четвертый, Владимир, пошел по другой дороге.

Были еще страницы про жизнь селения, про гибель жены Темура — беззащитной Разият, затравленной злобой кулаков, и другие — где шли выгнанные помещиком семьи так называемых «временно проживающих» в неиз-

вестную даль, в поисках пристанища, под ветром и дождем...

Тетрадки кончились.

— Очень жаль, очень жаль,— сказал я,— я бы хотел еще послушать.

— Я боялась отнимать у вас время,— сказала она,— у меня написано уже порядочно... Но с собой сейчас нет. Много набросано начерно. Я работаю все свободное время,— правда, у меня его мало. Большая семья, муж — военный, дети...

— Теперь расскажите мне про общий замысел: как вы представляете себе развитие вашего романа?..

Она охотно начала рассказывать, и по мере того, как она рассказывала, я совсем по-другому начинал смотреть на эту маленькую женщину, в которой жила такая большая страсть. Эта хрупкая на вид осетинка хотела поднять огромную тяжесть народного романа. Она хотела изобразить жизнь осетин за целые десятилетия. Она читала очень убедительно, и во время чтения я не обращал внимания на ее своеобразный русский язык, не запоминал неудачные места, мне хотелось слушать еще и еще — так увлекателен был рассказ, так драматично, искренне, сильно говорили и действовали выведенные ею люди.

Временами сцены достигали предельного трагизма. Она владела искусством сюжета, знала так народную жизнь Осетии, что ей не надо было справляться в словарях или в исторических исследованиях. Она представлялась мне скульптором, который начал работу над гигантской глыбой и достиг того, что из камня уже проступают отдельные фигуры и профили, но сколько еще нужно терпения, дисциплины, труда, времени, мучений, чтобы вся глыба ожила, превратилась в соединенную воедино толпу страдающих и борющихся людей...

— Знаете что,— сказал я,— то, что я вам предложу, мне кажется единственным выходом. Если вы на него не согласны — скажите, это ваше право. Вы читаете кому-нибудь ваши отрывки, спрашиваете у кого-нибудь совета?

— Нет, вы первый человек, которому я читала эти страницы. Я ни у кого не спрашивала совета, да мне и спрашивать некого. Рядом нет такого человека, что мог бы мне помочь в моей работе...

— Продолжайте писать по вашему плану, по вашему разумению до конца, скажем, первой части. Не показывайте никому, не читайте, не советуйтесь ни с кем. Толь-

ко с собой,— все решайте сами. Пусть никто не спугнет неожиданную мысль, не смутит вашу направленность. Тем более что быт Осетии, жизнь народа мало кто знает так, как знаете вы. Скорей всего, критика со стороны может смутить необычность и неожиданность происходящего в вашем романе, и он просто не поверит правде вашего повествования. Подумает, что все это выдумано. Если вам понадобится, в крайнем случае, совет, пишите мне. Я отвечу обязательно, потому что вижу — из вашей работы выйдет большой толк... Не падайте духом, не торопитесь. Вам живется, наверное, не так уж легко?

— Мне живется трудно, но я сделаю так, как вы говорите. Но когда я приду с оконченной первой частью, вы должны мне помочь...

— Конечно! Помните, что вы вступаете, Елизавета Алексеевна, дорогая Езетхан, на долгий и трудный путь...

— Я не боюсь! Я осетинка, а мы, осетинки, женщины большой воли, большой выносливости...

Она ушла со своими синими тетрадками. Я смотрел ей вслед, взволнованный этой нечаянной встречей. Неужели ей, этой маленькой, тихой осетинской женщине, удастся первой во весь голос рассказать о родной Дигории?! Радуйся, дядя-почтальон из Стыр-Дигора, есть человек, который ответит на твой вопрос: «Кто расскажет о нас?»

Она расскажет, Езетхан Уруймагова.

Прежде чем я получил рукопись законченной первой части, прошло много-много дней. Ничего я не знал о том, где и как живет и работает моя зимняя гостья. Она исчезла. Но я, думая временами о ней, был внутренне уверен, что этот человек не бросит начатого труда и пройдет через все преграды, справится со всеми трудностями, потому что без этой страсти у нее нет настоящей жизни.

И действительно, по прошествии времени, я начал получать первые известия. Ее письма, написанные до того, как она прислала рукопись, полны мучительных сомнений, почти самоуничижения, но в них было и то, что говорило о работе, приходящей к концу. Надо ли говорить, что я поддерживал в ней дух бодрости и веры в себя, я хвалил ее талант, я сочувствовал, я благодарил ее за доверие и верность данному слову — никому не читать написанного.

Что же было в этих письмах? Вот некоторые отрывки. Она писала:

«Вещь, которую я вам когда-то читала (отрывки), у меня недавно вышла из-под машинки. Московское бюро обслуживания печатало мне целый год «на досуге». И на том им спасибо, я не член ассоциации, а печататься у частной машинистки у меня нет средств. Теперь рукопись лежит у меня, и я не знаю: что мне с ней делать? Если бы я была уверена, что я умею писать, я начала бы работать над второй частью, но мою рукопись никто не читал...»

Она писала:

«Не стесняйтесь мне говорить правду, я не писатель, а потому не жалейте моего авторского чувства. Я просто любитель, и если любительский спектакль не удался, то продолжать больше не буду. Рукопись отдаю в ваше полное распоряжение... Если вы скажете, что годится,— я закончу последние две главы и начну работать над второй частью книги, если же не годится, то не буду больше писать...»

Но время шло, а я не получал рукописи, но получал письма: «...даю вам слово, что скоро дошлю вам конец тома, а потом засяду за вторую книгу. То, что я веду цыганский образ жизни,— это сильно мешает мне (у меня муж военный). Я пятнадцать лет кочую за ним из одной казармы в другую. Ни один человек из окружающих меня людей никогда не сказал мне, чтобы я писала, а, наоборот, все мои близкие посмеивались над моей странной страстью писать, да вдобавок по-русски... Потом очень часто мне приходится корыто с грязным бельем оставлять, чтобы набросать на бумагу свои мысли, кухня, стирка белья, штопка чулок отнимает у меня 60 процентов моего времени, поэтому не ругайте меня, что я так медленно работаю...

Я не ругал ее, я только удивлялся силе ее воли, ее упорству. И наконец я получил долгожданное письмо.

«Посылаю вам конец романа. Кое-что сократила сама, так как он мне страшно надоел. Не знаю только, как назвать его. У меня несколько названий... «Шумит Терек», «Бурлит Терек», «Дважды рожденная», «Осетины», «Аланы». Роман посвящаю Ленинскому комсомолу — моему учителю».

Я вспомнил, что она была одной из трех первых горянок, вступивших в комсомол в Дигоре.

Я читал дальше:

«...роман должен быть в трех книгах. Если не забыли — по вашему совету я закончила первую книгу началом империалистической войны. Вторая книга — империалистическая война и гражданская война в Осетии. Третья — Осетия в наши дни, т. е. период с 1924 по 1937.

Том второй у меня весь готов, мне только надо сесть и начать работать...»

Наконец я получил по почте объемистую рукопись. Со сложным чувством приступил я к чтению и с еще более сложным окончил его. Это было произведение, где страницы наивные, неумело написанные, чередовались со страницами самой свободной изобразительной силы, порой действие было испорчено поверхностным изложением; пейзажи были олеографичны, как приложения к дореволюционной «Родине» или «Ниве»; драматичнейшие сцены перебивались условными разговорами провинциального «высшего общества»; осетинская живая действительность сменялась описаниями, полными протокольных выражений. Русский язык временами сильно хромал. Часто встречались примеры крайнего натурализма.

Но несмотря на все это пестрое, невозделанное, сложное литературное хозяйство, несмотря на язык, требовавший еще большой, внимательной работы, несмотря на все недостатки стиля и композиции, каким-то странным образом книга жила шумной, живописной жизнью и так волновала, что вы не могли отложить рукопись в сторону и с грустью сказать: «Забудем этот неудавшийся любительский роман из осетинской жизни».

С поразительной силой был описан кулацкий двор неистовой вдовы Саниат Гуларовой. Ее горе, ее гордость, алчность, ее жестокость, краски, какими был нарисован ее портрет, драма, разыгравшаяся в связи со смертью двух сыновей от холеры, ее отношения с Хадизат, с Сафой — все это было превосходно. Гуларова походила на осетинскую Вассу Железнову, только более дикую и непосредственную в своих страстях.

Все, что касалось гор, Хадизат, Темура, истории его абречества,— все было убедительно и все было на месте. Правдиво и страшно являлся перед читателем кулак Сафа со своим разнообразным семейством. Хороши были многие народные сцены...

Да, это была рукопись, над которой надо было поломать голову. Это был плод многих лет работы, а сколько еще надо работать над ней, чтобы довести ее до печати,—

кто это знает! И что с ней сейчас делать?.. А может быть, я ошибаюсь, переоцениваю талант автора?

Я снял трубку и позвонил Слонимскому.

— Дорогой Миша,— сказал я,— не сердись, не кричи, будь милостив, выслушай. У меня есть рукопись, которую я умоляю прочесть...

— Слушай, я очень занят... Я буду читать долго. Она большая?

— Да, не маленькая, но читается с увлечением...

— О чем она?

— О Кавказе!

— Помилуй, но ты же сам знаешь Кавказ лучше меня. Зачем мне читать?

— Я тебя прошу прочесть, но с одним условием! Дай слово, что ты, как бы ни ругался, читая, как бы ни приходил в отчаяние, дочитаешь до конца.

— Это смешно, но даю слово! Но я буду читать долго...

— Читай, как позволит время, и помни, что ты дал слово...

После этого разговора Слонимский замолчал надолго. Действительно, прошло довольно много времени, когда он мне позвонил.

— Послушай,— сказал он с некоторой растерянностью,— если бы я не дал слово, я бы, конечно, не дочитал ее. Это черт знает что! Это местами ужасно, я тонул в какой-то словесной каше, но слушай, это очень талантливо! Бесспорно, чертовски сильный талант! Но это же неотшлифованный алмаз! А кто его будет шлифовать? Не знаю, что делать!

— Я знаю,— сказал я.— Спасибо тебе, Миша. Больше мне ничего не надо!

В тот же день я написал Уруймаговой, что я прочел роман и думаю, что его надо дать в издательство, а так как она живет сейчас в Москве, то в московское издательство. И надо найти такого человека в редакторы, который знает Кавказ и хоть немного Осетию. Таким человеком может быть Юрий Либединский. Он пишет роман на кавказском материале — «Батай и Баташ». Он бывал в Осетии. Он, по-моему, согласится...

Я писал ей все, что думаю о ее произведении, и о том, что я верю в автора и в роман. Мне было ясно, что начинается долгая история, которая может кончиться неизвестно как, история нового многолетнего труда, но я не знал тогда, что понадобится целое десятилетие, чтобы

роман из рукописи стал книгой и читатель получил его в руки. Но я твердо верил: это произведение не должно пропасть бесследно.

Уруймагова писала из Москвы:

«Главный редактор издательства т. Граник принял меня снисходительно-вежливо, как принимали женщину с Востока в первые годы революции, улыбаясь, разглядывал меня, как редкую жар-птицу... Сказал, чтобы я, кроме них, ни к кому не обращалась, когда выправлю вещь, что он заинтересован помочь мне и т. д. Сказал, что Либединский очень хочет со мной познакомиться, помочь мне...»

После первого письма прошло пять месяцев, когда Уруймагова сообщила мне, что Либединский увиделся с ней. «Он принял меня очень хорошо, пожурил, что такая талантливая, но ленивая, обещал свою помощь во всех видах... он советует мне, чтобы я фамилию Кирова заменила бы другой фамилией,— тогда, дескать, вы развяжете себе, как художник, руки и создадите образ руководителя осетинских большевиков гораздо шире и полноценнее. Этого вопроса я еще не разрешила... Безусловно, если бы у меня вместо фамилии Кирова была фамилия Петрова, я чувствовала бы себя гораздо свободнее (было бы просторней художественному вымыслу), но не проиграет ли от этого сам роман?»

И снова неутомимая Езетхан углубилась в бесконечную работу над своим многострадальным романом. Я представлял ее в домашней обстановке, как после своего семейного дня, в остающиеся ей немногие свободные часы, она правит и правит страницы рукописи, огромной, как разлившаяся река. Нет, назвать ее ленивой, зная условия ее существования, невозможно. И я знаю, что больше всего она нуждается в добром слове, в совете, в помощи, пусть издалека. И я пишу ей, критикуя, обнадеживая, подгоняя, утешая, потому что знаю, что ей нужен локоть товарища, слово друга...

1942 год. Вторая блокадная осень. Война метет железной раскаленной метлой леса, окопы, дороги, уносит тысячи человеческих жизней. Конца ей не видно. Мы оказались так далеко в ее мрачной области, что уже трудно представить себе мирную жизнь. Ленинградцы не знают, где их друзья и земляки, куда буря унесла знакомых. Вести приходят редко, и большей частью это грустные вести,

О многих моих друзьях у меня остались только воспоминания. А где они сами — на каком рубеже, в каком краю, в каком окопе? Когда мы увидимся, да и увидимся ли?

От меня только что ушел молодой лейтенант, новый друг. Он пишет стихи и воюет, он мечтает о мирных днях, и каждый день вокруг него воют смертные вихри снарядов и бомб. Мы говорили с ним о самом главном — о человеке и жизни, о нашем долге и призвании. Он из далекой Хакассии. Зовут его — Георгий Суворов.

Хакассия — это в глубине Сибири, и там не слышно выстрелов. Я беру карту Кавказа, и сердце мое щемит новая боль. Там, на Кавказе, уже стреляют, потому что фашистские орды вошли в его пределы и стремительно движутся к югу, к великой стене Кавказского хребта. Как это случилось? Но это случилось!

Чудовищно,— фашисты зашли так далеко, они громко кричат, что идут на Тбилиси и Баку. Танки их со своими черными крестами уже гремят в предгорьях, еще недавно живших мирной жизнью.

Нет, я должен в такие зловещие дни сказать свое слово друзьям, тем, на равнине, которую рассекает Терек. Тем, в горах, где пенятся Баксан и Чегем, Черек и Урух, Ардон и Асса!

Я беру перо и пишу свое обращение к народам Кавказа. Я знаю, что это только выражение личных чувств, моего гнева, моей ненависти к врагам родины, мое приветствие далеким собратьям, но я пишу. Я не могу не писать им в такие дни!

Я напоминаю им слова Кирова: «Мы должны сказать, что не только красота скрывается в горах Кавказа, но что эта цепь гордых скал явится той могучей преградой, о которую разобьются все силы реакции...»

Я обращаюсь попеременно ко всем народам Северного Кавказа, напоминая им былые подвиги их отцов и дедов, называя имена героев. Я посылаю это обращение в газету «Красная звезда», в Москву. Я не знаю, дойдет ли оно до защитников Кавказа. Потом я узнал, что оно дошло. Оно было отпечатано листовкой и распространено на фронте.

Тогда я не знал этого, но я видел, как далеко в горы зашли враги. У меня на столе лежало письмо Уруймаговой, прорвавшееся сквозь блокаду, помеченное июнем месяцем, написанное в селении Дигора. А тридцать первого октября немцы захватили Ардон, Дигору, Дурдур.

А что, если они пошли дальше? Что, если в Стыр-Дигоре, где сияют своими снегами Лабода и Тана, уже хозяйничают альпийские стрелки — «эдельвейсы?» И в Махческе уже разорваны акты на вечное пользование землей? И снова Дигора горит, как в дни гражданской войны? И новая Кяба Гоконаева ведет за собой в атаку горцев? И погибает новый Хадзимет, убивая фашистского палача?

Придется Езетхан Уруймаговой писать четвертый том своего романа, иначе история осетинского народа не будет полной.

Я сижу в темной комнате в Ленинграде и вспоминаю далекие дни своих блужданий в благословенных горных краях. Сколько мне осталось жить на свете? А я уже был раз столетним старцем! Это нельзя забыть. Я сижу один и смеюсь так, что со стороны можно подумать, что я сошел с ума.

Я был в ауле Нар, прославленном месте, священном для осетина. Это родина Коста Хетагурова. За длинным столом мы сидели чинно, как положено на дружеской встрече. Но я был почетным гостем, а почетным гостем может быть только самый старейший. Моему соседу слева было сто три года, соседу справа — сто четыре. «Значит, будем считать,— сказали мне,— что вам сто пять. И вы можете сесть во главе стола».

Мне польстило, что мне сто пять лет. Я смотрел на своих соседей и хотел проникнуть в тайну их возраста, я смотрел на их темно-коричневые, как земля и камни, руки, еще крепко держащие стаканчик с аракой, я хотел следовать их примеру, но они пили араку гораздо быстрее меня, я не мог так пить. И все же я думаю, что не только мне, а и всем, кто сидел за столом, было весело, что мне сто пять лет.

Я шутя стал выдумывать, вспоминать, что я помню из своего детства, сто лет назад, и все смеялись, а я пил просяную, плохо очищенную водку, ел дзикку — молодой сыр, подогретый в котле, с пшеничной мукой, вкуснейшие яства — фыдчин — пирог с мясом и хабизджин — пирог с сыром, шашлык и даже суп, который подается только желающим, после мяса. Потом я танцевал в кругу молодежи, было весело, пели песни Коста и современные, Ардон гремел где-то за горой. Танцевали чепена. Неужели же и туда долезли гитлеровские поджигатели и палачи?

Мне вспоминалось и другое,— как закаленный в битвах гражданской войны Казбек Бутаев рассказывал: его позвал тогда Сергей Миронович Киров и предложил немедленно выехать в Чечню. Дороги там были опаснейшие, смертельные тропы. «Я говорю: «Не поеду!» — «Как не поедешь?» — «Зря только погибну, никуда не доеду, лучше я в бою в открытом погибну, у всех на виду, а так погибать, в одиночку, чтобы никто не узнал, как я умер, не хочу!» — «Смерти боишься?» — сказал Киров. «Нет, смерти не боюсь, а, дело не сделав, погибать — это мне не годится!» — «Слушай,— он говорит,— ехать нужно, знаю, что смертельная опасность есть, но и знаю, что ты все сделаешь и не погибнешь, а если погибнешь, я такую речь о тебе скажу на митинге всему народу, что весь народ о тебе заплачет. Хочешь, сейчас скажу?»

Что попало мне в голову — не знаю, но я закричал ему: «Скажи сейчас!»

Комнатка маленькая, ночь, лампа тусклая, мы один на один, а он встал, как будто действительно перед народом, и так говорил, что меня самого слеза прошибла. Когда он кончил, я помолчал, сказал только: «За такие слова умереть не жалко, я еду!»

Он меня обнял, и я поехал и все сделал. Бывало, не скрою, страшновато, а вот я сижу перед вами живой и, хотя по мне загробную речь уже сказали, еще долго жить хочу!»

Так я сидел в одиночестве и вспоминал героев далеких лет: Георгия Цаголова, Симона и Даукия Такоевых, Бедту Тихилова, что так похож был на Горького, Алихана Маряева, Деболу Гибизова и многих других.

Неужели опять на Кионском перевале, в пещерах в Черном лесу стоят партизанские костры и судьба людей на берегах бурного Ардона, как и Тихого Дона, закаляется в пламени небывалой борьбы?

И хотя среди бесконечных забот того тяжелого времени странно было думать об оставленных в мирные дни трудах, особенно о рукописях, не ставших в свое время книгами, но иногда я думал о несправедливой судьбе, которая преследовала талантливую писательницу, первую осетинскую женщину, смело писавшую годами добрую книгу о своем народе.

...Как однажды неожиданно и надолго исчезла Уруймагова, так же неожиданно она появилась на пороге моего номера в гостинице «Москва», в 1944 году.

— Вот мы и встретились,— сказала она, отступив и рассматривая меня.— Худой, сутулый, блеск в глазах... Я раньше такого блеска у вас не видела. Это от войны, наверно...

— А вы такая же, только чуть суровее и в глазах темный огонь. Это тоже новое. Этого я у вас до войны не видел...

— Ну, рассказывайте,— попросила она,— ведь мы ничего толком о Ленинграде не знаем... Говорите, не щадите меня, я тоже видела много,— ужасами теперь земля полнится...

Мы долго говорили о Ленинграде, о войне, о ее жизни в годы войны. Пришла испанская поэтесса с переводчицей, пришел английский журналист, я попросил Езетхан подождать, не уходить — я скоро с ними кончу беседу.

Когда все ушли, я спросил ее:

— Это вопрос и ко времени и не ко времени, сами на него ответьте, как хотите: как ваш роман, в каком он виде? Помните, что он должен быть закончен во что бы то ни стало. Можете работать еще и еще, но я вас силой заставлю дописать книгу.

Она улыбнулась и сказала:

— Иногда мне кажется, что вся эта история с романом мне снится. И вы снитесь, заставляющий меня годами работать день и ночь. Я уже совсем-совсем отойду от него — вдруг вы пишите и требуете, и я снова покорно сажусь, а работать очень трудно, но раз так жестоко от меня вы требуете, я буду работать. Сознаюсь, даже среди всяких тревог в нынешнее тяжелое время, когда все так трудно, я вдруг возвращаюсь к нему и хоть несколько страниц да отшлифовываю. Правда, правда...

— Война идет к концу,— сказал я,— это уже явно чувствуется. Вы прошли через многое, но я буду и впредь жесток и требователен, и вы от меня не избавитесь. Только не падайте духом...

— Я уезжаю в Баку, там у меня семья, там я работаю в военном детском доме, работаю корреспондентом в военной газете. Даю вам слово, что я оправдаю надежды... Я сама уже не могу не думать о романе...

Уходя и прощаясь, она сказала задумчиво и тихо:

— У меня бывают странные сны, находят странные фантазии. Смутно в ранних сновидениях юности, будучи еще босоногой девочкой, в степи, на кургане, карауля те-

лят, я мечтала о человеке белом и холодном... Правда, это смешно? О человеке с голубоватыми заморозками в глазах. Вы помните пришвинскую «Фацелию»? Я не умею вам объяснить, но будет и у меня своя «Фацелия». Я напишу ее, потому что хочу, обещаю вам...

— А как хорошо думать, что горы Кавказа свободны, что враг исчез, как снег растаял, и следов нет...

— Увы! — сказала она.— Следы есть и долго еще будут чувствоваться. Много разрушений, жертв, крови, всего... Музей Коста разрушен! Мою родную Дигору освободили двадцать третьего декабря сорок второго года. И Дурдур в тот же день. До Стыр-Дигора они не дошли. Там все в порядке...

— Не пропадайте так надолго,— сказал я,— своим романом вы разжигаете добрый костер, и когда он полностью разгорится, издалека будет видно...

— Попробую подбрасывать дров, поддерживать огонь, как только могу!

12 июля 1947 года Уруймагова сообщила мне из Дзауджикау: «Пишу на радостях, рукопись мою приняли, заключила договор с издательством, увижу воплощенную мечту».

А через год книга была принята в «Советском писателе» в Москве. В это время на сцене Осетинского театра шла пьеса — инсценировка романа. Это был новый успех писательницы. «Поздравьте меня, какое у меня странное состояние, когда я слышу свои мысли со сцены».

Наша дружба не была богата встречами. Но зато письма говорили о многом. Я беру письма сорок восьмого года и читаю про то, о чем она вскользь когда-то говорила в наших редких беседах:

«В моих ученических дневниках целые страницы переписаны из Тургенева. Двадцать лет — больше с тех пор прошло, как я мечтала написать книгу об осетинах, но только на русском языке. Четверть того, о чем мечталось в юности, я сделала. Вы снова верите мне, что я окончу всю трилогию. И мне самой хочется верить, что я сумею. Мне хочется это сделать так сильно, как голодному хочется кушать. Спасибо вам, большое русское спасибо с низким поклоном за то, что не смотрели на меня снисходительно, что сразу говорили мне о плохом и о хорошем. Спасибо за то, что заставили меня поверить в мои собственные силы. Последнее мне было необходимо. Я сейчас полна необыкновенных светлых чувств ко всему рус-

скому (в моем понимании), что так упорно, вопреки всему, вело нас к тому, что имеем сегодня. Простите за пафос, но мне хочется сказать вам какие-то необыкновенные слова (по-осетински я могла бы гораздо лучше), но не умею их найти на своем языке.

Если роман может печататься в Москве — это для меня большая честь, а для моей маленькой Осетии — гордость. Хочу дожить до того дня, когда посмею вас поблагодарить во всеуслышанье от всего сердца. Вы ждете вторую книгу трилогии — Кирова и осетинских большевиков. Обещаю — будет эта книга. Я сама одержима этой книгой. Киров — я знаю, как вам он дорог, как он органически вошел в вашу поэзию. Я хорошо понимаю, почему вам хочется увидеть эту книгу.

...Вы спрашиваете о моей пьесе. Да, это переделка части романа. Пьеса перенесла много критики. Боялись, что пьеса не будет понятна нашему зрителю. Идет пьеса с успехом с 10 мая. Говорят, что это осетинская «Васса Железнова». Сдала театру еще одну пьесу, но уже на современную тематику (колхозную). Пойдет в сентябре. С театром пока связываться не буду, потому что должна зимой засесть за вторую книгу трилогии...»

Я написал ей немедленно, поздравляя с окончанием первой части, и между прочим писал: «Я очень рад, что вы окончили, наконец, ваш роман, над которым вы так героически трудились. Это, вероятно, очень хорошее ощущение, которого я, к сожалению, за свою долгую жизнь не переживал, потому что никогда не писал так долго одну вещь».

Она отвечала:

«Да, с уверенностью могу сказать, что такого ощущения вы не переживали... и не могли. Вы русский, и вы писали на русском языке. Первое слово, которое вы произнесли в детстве, было русское слово. Так отчего же вам было приходить в восторг? А я даже в процессе работы приходила в восторг от удачной фразы и впадала в унынье, если не выходило у меня по-русски (хотя писала по-русски). Как рассказать мне вам, что значило и значит для меня язык Русский? Написав книгу по-русски, я вроде даже уже и не женщина... Не смейтесь, бога ради, Николай Семенович! Я не умею вам это рассказать, но попробую.

Быть женщиной в дореволюционной Осетии, и вы это знаете, было небольшой честью (недаром девочку при

рождении оплакивали). Мой отец имел пять дочерей (на которых не получал земельного надела). Я была младшая. Он проклинал свою жизнь, в том числе и дочерей. И однажды в минуту какого-то отцовского горя я (чтобы его утешить) пообещала ему совершить подвиг, который уравнит меня с мужчинами. Проходили годы. Умер отец, не дождавшись моего «подвига». Но как часто я мечтала о таком деле, чтобы не обмануть его, чтобы утешить, хотя бы мертвого... Писать по-русски мне было очень трудно, но... (боже мой) как заманчиво. И я не писала, а трудилась... Если б вы знали, что я чувствовала в тот день, когда я сдала книгу в издательство, когда мужчины впервые не здоровались со мной как с женщиной, а говорили со мной по-мужски, улыбались мне не как женщине, а как равной... А отец мой не дожил, хотя я стала уже и мужчиной... А если бы я умела петь такие песни, как Сулейман (поэтом быть лучше, ему восторженность не ставят в упрек!). Как часто мы недостаточно любим то, что должны обожать, боготворить. Вот мне, например, Советскую власть каким именем назвать? Какими словами о ней рассказать тем моим землякам, которые не умеют еще так видеть и чувствовать, как я?

Вы знаете, когда я была маленькой девочкой, я завидовала поповской прачке Устинье — она говорила по-русски, пела, читала по-русски (а мне казалось даже тогда, что она и смеялась по-русски). А спросили б если меня — какое событие в моем детстве было самым горьким? — я б сказала: «Толстой» и «Тургенев». В 1919 году, во времена Деникина, в доме отца остановились белые офицеры (один из них носил черную повязку на глазу). Когда они убегали, то этот, с повязкой, сунул в свой хурджин «Хаджи-Мурата» и «Записки охотника». Это были первые русские книги, подаренные мне русским начальником почты. Каждую ночь я списывала по две, по три страницы к себе в тетрадь, потом громко читала (ведь переписанное и мне уже принадлежало). Потом учила наизусть и с гортанным придыхом, нараспев говорила тургеневские пейзажи, «кладя на лопатки» русскую прачку Устинью. Теперь я смела «говорить» по русски...

А вы говорите, что никогда не переживали такое... Роман сдала в Осетинское издательство. Они приняли его с удовольствием. Пожурили, что написала по-русски, а не по-осетински. (А какими словами объяснить им, почему я писала по-русски?)...»

Сейчас, когда я вчитываюсь в эти письма, для меня по-иному звучат некоторые ее размышления. Тогда они казались случайными, но сегодня в них сквозит другая глубина. Например: «вообще, как плохо, что человеку дана одна жизнь, которую мы не всегда умеем как следует прожить. Хорошо б одну жизнь — на ошибки, а другую — на все разумное (последняя жизнь была б очень нудной)».

...Роман вышел в Осетии и в Москве. Но он назывался уже не «Осетины», а «Навстречу жизни». Сознаюсь, первое название мне больше нравилось. В нем не было нарочитости, оно просто обозначало самое главное, о чем хотел сказать человек, всю жизнь мечтавший донести правду о своем народе до широкого мира.

Езетхан Уруймагова взяла на себя, как писатель, нелегкий труд — разобраться в сложной картине взаимоотношений старого, дореволюционного осетинского общества.

Она смело изобразила впервые в осетинской литературе такие хищные, беспощадные, жадные до власти и богатства характеры, как Саниат Гуларова, как Сафа Абаев. Она же, как врач-хирург, вскрывала острым скальпелем гнойные язвы обреченного общественного строя и, как строгий и справедливый судья, вынесла приговор.

Никто не ушел от возмездия. Умерла Саниат, удушенная своим бывшим любовником Сафой, распалась, погибла семья Сафы и он сам, уничтожены революционной бурей все баделяты и их прислужники.

Темный мир должен был исчезнуть. Уруймагова сама была свидетелем его гибели и победного размаха революционной бури.

Она же, зная хорошо печальную судьбу осетинской женщины в дореволюционное время, оставила прекрасно исполненные портреты женщин Дигории, изображения большой реалистической силы.

...Никогда еще скромное селение на Военно-Грузинской дороге, называвшееся когда-то Степан-цминда, не вмещало столько народа, как в воскресный вечер третьего октября 1948 года.

И народ был разный. Множество людей приехало уже из Тбилиси, а все новые и новые машины, кряхтя и сипя, переваливали через Крестовый перевал и устремлялись

вперед, к каменным домикам, между которыми уже негде было упасть яблоку. Горцы спустились с гор. Можно было видеть даже пшавов и хевсур в разноголосой толпе. Подъезжали и со стороны Орджоникидзе. Всадники разъезжали между машин. Темные женские платки мешались с папахами горцев и шляпами горожан. На ходу вели дружескую беседу давно не встречавшиеся приятели. Женщины кучками обсуждали последние новости, горожане отыскивали знакомых, и над всем этим сборищем проходили низкие облака, и когда они, отяжелев, опускались до земли, то закрывали и селение, и дорогу, и людей.

Было холодно и пасмурно, донельзя сурово, как раз под стать суровому, властному творческому духу Александра Казбеги, чье столетие со дня рождения праздновалось сегодня. Казалось, вот-вот из пелены тумана появится сам юбиляр, верхом на высоком скакуне, со свитой своих героев. Вокруг было столько бурок и папах, что если бы сам Хевис-бери Гоча появился рядом со своим создателем, никто бы не удивился.

Холодный, сырой вечер среди вечных гранитов, поднимавшихся по сторонам ущелья, заставлял всех жаться друг к другу. Порой проносился холодный порыв ветра и разгонял облако, тогда люди начинали двигаться во все стороны, откуда-то слышались обрывки песни, звуки музыки, потом снова наплывал тонкий, моросящий туман, и стены домов становились еще мрачнее, по щекам катились тонкие капли, и казалось, что все плачут...

Но это только казалось. На самом деле все были в приподнятом, праздничном настроении, после митинга уже успели закусить и помянуть юбиляра и теперь не уходили с улицы, потому что ждали окончания народных скачек. Оттуда, с гор, должны были примчаться соревнующиеся и кончить свой круг на улице селения.

В ожидании появления всадников я искал среди этого множества народа Езетхан Уруймагову. Она писала мне, что обязательно приедет на торжество из Орджоникидзе. Но отыскать кого-либо в сгрудившихся толпах на улицах и за домами было не так легко, тем более что друзья, боясь, чтобы вы не потерялись, немедленно возвращали вас в компанию знакомых и ни за что не хотели давать вам свободно блуждать.

Я просмотрел все глаза, но ее нигде не было. Испугалась ли она холодной, неприятной погоды и не приехала вовсе?

Я хотел сделать еще один поиск, но тут вокруг начали кричать, волноваться, все куда-то сдвинулись, и это решительное оживление означало, что наблюдатели видят всадников, скачущих уже совсем близко, по дороге к селению.

Тут стали приводить в порядок толпу, чтобы освободить место для финиша и чтобы гости могли видеть героев соревнования поближе. Но так как в это время очередное облако опустилось прямо на головы ожидающих, все снова смешалось, и только в редкие прорывы этого мокрого занавеса кто-то видел всадников, и крики издалека возвещали, что уже совсем близки победители. Облако вело себя совершенно дерзко, ослепив судей и дав возможность всем, кто хотел, придвинуться к дороге, двигаться свободно, что привело к толчее и неразберихе.

Но в то мгновение, когда облако под сильным порывом ветра полезло на гранитную стену горы Шино, высоко над селением, раздался гром восклицаний, аплодисменты, гул оваций, и прямо невесть откуда в толпу ворвались всадницы. Конские морды, разбрасывая пену, возникли над ошарашенными судьями, старавшимися навести порядок, но единственное, что они могли сделать,— это отметить победителей, вернее, победительниц, которые, сияя от радости, ничуть не сдерживали своих коней, и те рвались вперед, не понимая еще, что скачка окончена.

Амазонки были хевсурскими девушками с зелеными глазами ундин дикой Арагви, легкие и ловкие, как горные духи, рыжие волосы их, как и гривы коней, развевались по ветру. Они что-то кричали, им хлопали, расступались перед конями, сзади нажимали новые ряды зрителей, и в этой сумятице все сдвинулось куда-то вбок и все смешалось. Послышались новые крики, и новые всадники и всадницы появились на дороге.

Кони первых амазонок сделали прыжок, встали на дыбы и сшибли мужчину и женщину, и чего бы они еще наделали в толкучке, неизвестно, но тут на них ринулся сильный, решительный человек и схватил за повод, заставил их потесниться. К своему удивлению, в сшибленных я узнал переводчиков Казбеги — нашего друга поэта Кочеткова и милую Фатьму Тквааладзе, так неуважительно повергнутых на землю.

Человек же, нашедший мужество и силу остановить двух коней, охваченных еще пылом скачки, был Сандро Шаншиашвили. Он, с кахетинским спокойствием сдержав

коней, уже шутил с хевсурками, огромные глаза которых просто светились от волнения.

Туман снова начал заволакивать зрелище, и тут совершенно неожиданно я увидел Езетхан Уруймагову, стоявшую в толпе недалеко от меня.

Через минуту я уже говорил с ней, пробившись сквозь толпу к стене какого-то каменного строения.

— Я вас давно ищу! — сказал я.— Когда вы приехали?

— Я приехала днем, но в этой толчее разве можно кого-нибудь отыскать! Я очень рада вас видеть...

— Я тоже. Как бы я хотел спокойно поговорить...

— Спокойно поговорить! — засмеялась она.— Вы выбрали уютное место — холод, туман, дождь, миллион народу и еще лошади, которые просто бросаются на людей, машины, крики... Правда, чудное место для тихой беседы?

— Я вижу, вы в добром настроении, здоровы и работа идет...

— Я работаю много, и у меня, как вы знаете, и много вопросов, но, видно, сейчас найдет новое облако, и вы исчезнете...

Как будто вызванное ее словами, густое, тяжелое облако накрыло все селение, и я услышал тихий смех Езетхан Уруймаговой.

— Мы с вами витаем в облаках, никакого разговора не получится, вам придется вернуться на землю, вас, наверное, уже ищут...

Рядом с собой я видел маленькую фигурку, которая то пропадала, то снова появлялась из тумана.

— Это символично,— сказал я,— мы знакомы так давно, и все время нас разделяют облака больших забот, тучи войны, туманы дел, но когда-нибудь настанет же ясная погода...

— Есть еще преграды расстояний,— сказала она,— и постоянство климатов, иногда очень суровых. Я читала недавно ваши стихи о Любляне: «Чтоб сердце мое раскололось в восторге от песни твоей!» Хорошо очень. От этих слов и вы делаетесь теплей... даже в этом холоде. Видите, туман и мрак, а люди рады празднику. А я тружусь над романом и конец его близок! Приезжайте в Орджоникидзе. Я покажу новые переделки. Я уже шестой раз дорабатываю, перерабатываю и наконец до того доработалась, что не разбираю, где плохо, где хорошо... В издательстве в Москве мне трудно с людьми, не знающими нашего

осетинского быта... Я жду,— сказала она, но крик и шум, летевшие прямо в нашу сторону, и толпа, хлынувшая с дороги, разделили нас. С тяжелым топотом промчались хевсурские амазонки, погоняя громкими криками своих коней, все снова смешалось в общем гуле...

Как я ни искал Езетхан, я не мог больше ее найти. Грузинский друг взял меня под руку:

— Куда вы пропали? Вы видели, как лошади свалили переводчиков? Не кажется вам, что это была месть за слабые переводы? Этих коней послал сам недовольный Казбеги!

— Ну что вы,— начал я защищать переводчиков,— вы же знаете, что они хорошо переводили, вы просто хотите сострить...

— А что делать, дорогой, в таком холоде! Какой молодец Сандро! Как он бросился, как вашкаци, прямо навстречу лошадям, а если б не остановил их, покалечили бы они наших друзей. Какой туман и мрак! Хорошо, что мы сейчас пойдем под крышу и там продолжим празднование. Тамадой будет наш непобедимый Георгий Леонидзе! Там мы восславим Казбеги и согреемся наконец как следует. Пойдемте, здесь недалеко!..

...В феврале 1958 года я получил пакет. В этом пакете была вторая книга романа-трилогии «Навстречу жизни», изданная в Орджоникидзе. На книге была надпись:

«Если бы автор был жив, вы были бы первым, кто получил бы эту книгу.

Уважающая вас дочь Уруймаговой Л е м з а».

Я знаю, что эта вторая книга издана после смерти автора, и никому не известно, сколько в ней не хватает страниц по замыслу писателя. Третьей книги не будет. Одной жизни не хватило на выполнение огромного замысла. Но то, что сделано,— тоже много для одной жизни...

Я лежу в густой сухой траве. За мной стоят высокие могильники Даргавса — безмолвного города мертвых. Надо мной синее небо, подо мной долина и река, которая несет свой поток на Гизельдонскую плотину. Через дорогу, над рекой, на скалах,— домá селения Даргавс. Над ними нет дымков, и не видно людей на площадках перед доми-

ками. Жители ушли на «плоскость» — на хорошие большие земли. Может быть, там, в темных комнатках, еще стоят трехногие, треснувшие от старости столики — фынги, скамейки, на которых направо сидели мужчины, налево — женщины. Хмуры потухшие очаги, жалки ненужные кадушки, в которых в соленом рассоле когда-то хранился сыр...

За селением в запустении — молитвенная постройка, где стояли котлы и чаны для священного, праздничного пива и тонкие веревки перегораживали вход, чтобы никто не смел войти раньше положенного времени и дотронуться до запретных вещей.

Я на границе старой и новой Осетии, на границе старого и нового мира.

Большая жизнь продолжается под этим синим, горным небом, и эта большая жизнь на «плоскости» и в горах имеет большую память о годах и людях. И книги, рожденные жизнью, помогают памяти, помогают новым поколениям. «Не все кончается смертью»,— сказал один поэт древнего мира, и это верно.

Я вижу далеко в горах костер. Его пламя растет, кто-то подбрасывает в него сухой рододендрон или смолистые ветви. Это костер пастуха или мирного путника — все равно, он красив, он мне нравится!

ШТУРМАН ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

Тихий сентябрьский день, один из многих незаметных дней ранней балтийской осени. Низкие, похожие цветом на щучью чешую волны, расстилая по мокрому песку все новые и новые наплывы прозрачной пены, лениво выносили к моим ногам темные лохмотья спутанных водорослей.

На берегу, как посланцы лесов Карельского перешейка, стояли ярко-рыжие корабельные сосны, подняв к пасмурному северному небу свои темно-зеленые вершины, и словно высматривали кого-то в море. Повсюду среди мелкой гальки и тяжелых наносов песка громоздились серого, слоновьего оттенка гранитные валуны. Сухо шелестели под ветром лилово-синие ветки вереска.

Прямо передо мной расстилалась белесая гладь с детства знакомого залива. На ней были хорошо видны вдалеке отдельные форты Кронштадта, четко нависавшие над свинцово-светлой водой.

Мы упорно смотрели в сторону Кронштадта, но залив был пустынен, и только на дымном западе угадывался какой-то пароход, тащивший на буксире баржу.

— Смотрите, он! — закричали сразу несколько голосов. И мы все увидели большой, легко скользивший по заливу пароход. Его трудно было не узнать. Мы встречали его приход в Ленинградском порту. Это был он, «Баторий». Его светлой окраски надпалубные постройки не только блестели, они даже как-то празднично светились на хмуром фоне осенних вод.

Большой корабль своим медленным, торжественным ходом как будто говорил заливу и берегам: «Смотрите на

меня, я честно выполняю рейс мира. Я везу людей, собравшихся со всех стран Скандинавии. На моих палубах толпятся шведы, финны, норвежцы и датчане. Они ездили к своим советским друзьям, чтобы вместе подтвердить волю своих народов: «Мы не хотим войны! Довольно войн!» Они верят в то, что Балтийское море — море мира!»

Мы, стоявшие на песчаном берегу, махали руками, приветствуя «Батория». Вряд ли там, на высоких палубах, могли увидеть нас, разве что те особо любопытные, которые ни на минуту не оставляют бинокли, чтобы часами рассматривать берега, мимо которых они плывут.

«Баторий» шел плавно, все убыстряя ход, но все еще хорошо видный. Скоро он выйдет в бледно-зеленые шири Балтики, и море дружески начнет покачивать его на своих мирных волнах.

Мирные волны Балтики! Волны ее знают низкие песчаные берега, берега, поросшие жесткими кустами и травой, знают отвесные скалы, каменные уступы, обрывающиеся в седогривое море, волны ее мягко стелются у песчаных дюн и гулко ударяют в гранитные подножия бесчисленных островов в могучих, суровых шхерах.

Балтика! Я невольно посмотрел по сторонам. Я увидел остатки старого окопа, рухнувший вход в блиндаж, черную щель мертвого дота, куски ржавой, завившейся в узлы колючей проволоки между валунами, сброшенные с дороги, совершенно целые надолбы, лежащие на боку.

Ты нуждаешься в мире, буйная старая Балтика. Сколько боевых бурь пронеслось над твоими волнами и берегами! Сколько геройских дел совершено балтийцами во славу революции, когда, защищая Октябрь, они не жалели своей жизни! Ты можешь рассказать и о том, как дрались они, зарывая свои корабли в твои кипящие волны, и о том, как балтийцы проводили эти корабли, ломая лед, отбиваясь от врага, в мороз и снежную пургу.

Ты можешь рассказать, как в Великую Отечественную войну шел непрерывный бой в открытом море, и в тесных шхерных коридорах, и в глубине мелких заливов, и на рейдах. Сто шестьдесят пять дней длилась героическая оборона Ханко.

Неизвестному моряку поешь ты свою бесконечную песню, Балтика,— тому моряку, который сражался на море и на берегу и перед атакой снимал каску и надевал бескозырку, тому, который погибал и оставался бессмерт-

пым, тому, который вернул обратно все советские берега, острова, все гавани, который прошел всю Балтику до острова Борнгольма, освободив его от фашистских захватчиков, дошел до Штеттина, ныне Щецина, до Данцига, Рюгена, до Любекской бухты.

И, стоя в тот тихий сентябрьский день и видя, как спокойно режет волны посланец мира белый «Баторий», я вспоминал моих друзей, моряков, которые нашли свой вечный покой в любимом море, я вспомнил поэта-моряка, молодого коммуниста, штурмана подводного плавания Алексея Лебедева.

Он был моряком по призванию. Только человек настоящей силы воли мог написать:

Не покоряясь мелких чувств ярму,
Пройди, не изменяясь до могилы.
И сердце все, и волю всю, и силы —
Все подчини стремленью одному.

Перед ним раскрывался морской мир как громадная область человеческой деятельности, в которую вступает советский молодой человек, избрав ее как дело самое нужное по духу, по сердцу, чувствуя ее трудности и не боясь их.

Он и стихи свои писал так, точно рассказывал день за днем свою жизнь моряка. Все казалось ему ценным в этом морском мире, все достойно быть воспетым, когда с пафосом, когда с прямолинейной жестокостью, потому что море — требовательный друг, когда с иронией, с соленой веселостью и грубостью испытанного морехода, когда с задушевной, лирической мягкостью:

Превыше мелочных забот
Над всеми мыслями большими
Встает немеркнущее имя,
В котором жизнь и сердце — флот!

Он написал не много, но эти его книги стихов должны знать все молодые моряки, все, кто дает присягу хранить наши морские границы, любить морскую стихию и жизнь и не бояться самой грозной опасности.

Я мало знал его в жизни, не часто встречался и говорил с ним, но всегда, когда приходилось с ним беседовать, меня искренне радовала его какая-то суровая преданность поэзии, его требовательность к себе и к стихам товарищей, старших и младших. То, что для иных казалось романти-

кой, то есть условной литературной формой, в нем оживало в плане самом жизненном, биографическом.

Героическое начало, присущее его стихам, впитал он вместе с воздухом советской Родины. Как автор, он вступал не только в мир стихотворцев, но и в такой огромный, вечный и прекрасный мир, где слова «море», «волны», «шторм», «корабль», «битва», «подвиг», слова большие и вместительные, звучали настоящей жизнью, требовали всего человека.

Он жил в эпоху, когда дело не расходилось со словом. В иные эпохи молодежь, полная в лучшие свои годы лучших стремлений, не может претворить их в подвиг или за неимением среды для этого, или увлеченная в область мелких бытовых интересов.

Ее мечты проходят вместе с молодостью, и только в ранних стихах стихотворца, запечатлевшего переживания ранней юности, остается рифмованный след. Но Алексей Лебедев жил в страшное, сокрушительное время, когда счет, предъявлявшийся молодости, смутил бы своей суровостью и испытанного в житейских волнениях, бывалого человека.

И, конечно, Алексей Лебедев почувствовал в голосе времени родную его таланту ноту. Как сигнал боевой тревоги рождался в нем стих. И от стиха он прямо переходил к тем действиям, которые раньше знал только по книгам. Для его натуры это было естественно и закономерно.

Вдыхая соленый воздух, наполненный гулом залпов, ревом бомб, грохотом мин, Лебедев чувствовал себя в родной стихии. Тут начал он собирать тот не передаваемый иначе как стихами материал, который составил бы его будущую настоящую книгу воина-мужа, так как юноша, опаленный в битвах великой войны, мог бы уже говорить голосом окончательно установившимся, голосом свидетеля, участника, героя.

Несомненно, что он был бы в числе первых горячих и искренних поэтов, которые после войны передали бы всю правду о ней будущим поколениям с непреложностью очевидца, перечувствовавшего все и пережившего все.

Однажды перед самой войной, когда в воздухе было тревожно и обстановка в мире политическом становилась все сложней и сложней, он пришел ко мне на квартиру, на Зверинскую, и мы долго беседовали с ним о поэзии, об истории, о самых разных вещах.

Я смотрел на него с удовольствием. Крепкоплечий (кажется, он был чемпионом флота по боксу), с самым серьезным выражением молодого лица, с большими, внимательными глазами, в морской форме, которая очень шла ему, он напоминал молодых моряков прошлых времен, которые с годами стали славными командирами, чьими именами у нас названы сегодня морские боевые ордена.

Он держался сдержанно, курил короткую толстую трубку, как и полагается моряку, но говорил много и охотно. В нем не было ни ложной самоуверенности, ни той ненужной почтительной скромности, которая мешает иному молодому человеку вести свободный и открытый разговор.

Ему понравилась своей романтичностью висевшая в моей комнате гравюра с картины художника восемнадцатого века Верне «Остатки кораблекрушения». Скалы, бурное море, выбрасывающее обломки корабля, торчащая из волн сломанная мачта не могли не произвести впечатления. Его удивили два маленьких кораблика из моржовой кости, стоявшие рядом с крошечным серебряным японским судном в книжном шкафу, перед книгами.

Едва взглянув на серебряную безделушку, он бережно взял двухмачтовую и трехмачтовую шхуны и качал их на своих ладонях. Перевернув их килем вверх, он увидел, что одним и тем же почерком там было написано: «Бухта святого Лаврентия».

Он улыбнулся, сказав:

— Это зимовщик вырезал на память знакомые корабли. Они вырезаны уверенно, очень просто и любовно...

И, сев поудобнее и поставив перед собой два эти кораблика, он начал так хорошо говорить о том, как эти кораблики плавали в девяностых годах, вероятно, в Гренландию, в Нью-Фаундленд, как будто он сам с их палубы видел айсберги, и кашалотов, сражающихся с касатками, и эскимосов, подлетающих к шхуне на своих узких, длинных суденышках...

Разговор, блуждая по Северу, невольно перешел на времена Русской Америки, и тут глаза его загорелись, как у мальчика.

— Наши предки были люди большого размаха,— сказал он.— Как много они плавали, куда заплывали, любили морское дело! Подумать только, что где-нибудь в глубине Сибири, в маленьких по-тогдашнему городках, оканчивали свою жизнь моряки, видавшие и Аляску, и поли-

незийские коралловые рифы, и север, и тропики. Ведь с Аляски они плыли отдыхать, как в дом отдыха, на Сандвичевы острова, где их дружески встречал губернатор Российской Сандвичевой губернии, король Томари в мундире городничего. Мы очень мало знаем о том времени, когда русскими названиями пестрели морские карты с новооткрытыми островами. Целые архипелаги, коралловые рифы...

— Что рифы,— сказал я,— не будем забывать, что берег Антарктиды открыт русскими и остров у ледового барьера называется островом Петра Великого. Даже в семье Марии Константиновны, моей жены,— сказал я, смеясь,— есть память о путешествии Беллинсгаузена. Я могу вам показать рисунок острова в группе Южно-Сандвичевых, который носит имя Лескова, ее замечательного предка, участника великого плавания...

Лебедев выколотил трубку, снова набил ее, закурил и, сквозь кольца дыма смотря на кораблики из моржовой кости, сказал очень серьезным тоном:

— Я был очень сердит, когда в свое время познакомился с досужими теориями некоторых, главным образом немецких, авторов о том, что Россия, будучи страной сухопутной, не может иметь моряков. Недаром русский народ всегда изображали медведем, жителем лесов. Русские не умеют плавать, боятся моря. Это они говорили о народе, у которого летописцы описывали древние морские походы «людей, охочих к морю». Я повторяю: я был очень сердит, пока меня не успокоили тем, что сообщили мне отзыв английского морского историка, который в своей истории русского флота на первой же странице признал, что наш флот имеет бо́льшие права на древность, чем британский, так как за сто лет до первых британских кораблей русские были уже опытными моряками.

— А кто,— сказал я,— в свою очередь, доказал миру, где кончается Азия и начинается Америка? Разве не Беринг по приказу того же вездесущего Петра? А, конечно, иные факты западным нашим друзьям в кавычках помнить не так интересно. Например, времена, когда в Средиземном море господствовал русский флот или когда лорд Гренвиль весной 1797 года не находил слов, упрашивая, умоляя нашего посла графа Воронцова оставить нашу русскую эскадру Макарова, чтобы буквально спасти Англию. А почему Англия оказалась в такой беде? А потому, что английский флот тогда взбунтовался, мат-

росы отказались исполнять приказы командиров, захватили все корабли и блокировали Лондонский порт. А французы, забрав в это время Голландию, могли, соединив свой флот с ее флотом, нанести Англии решающий удар. Царица морей была беззащитна, так как собственные моряки не выпускали в море ни одного корабля. И русские линейные корабли, русские моряки, снизойдя на просьбы, прикрыли Англию в эти мрачные для нее дни. И король и адмиралы потом уж не знали, как отблагодарить русских моряков,— и было за что! Вряд ли сегодня в Англии будут вспоминать это далекое событие! А те же американцы, разве помнят они, как во время войны Северных и Южных Штатов, сразу по двум направлениям, совершив тяжелейшие переходы, пришли в Америку русские корабли и тем лишили лорда Пальмерстона возможности начать войну против северян, в поддержку хлопкового Юга! Через Атлантику в Нью-Йорк пришел контр-адмирал Лесовский из Кронштадта, а из Владивостока пришел в Сан-Франциско адмирал Попов. Сегодня это ушло в историю, но ведь это было на самом деле!.. Вот и говори после этого, что русские не умеют плавать!..

Тут мы оба неожиданно посмотрели друг на друга и засмеялись одновременно.

— Вам не кажется, дорогой моряк,— сказал я,— что мы поем дуэтом, один дополняет другого интереснейшими сообщениями, как выразился бы вежливый ученый на конгрессе светил науки...

Лебедев был немного удивлен нашей экскурсией в морскую историю.

— Ну хорошо,— сказал он,— мне, моряку, по своему морскому образованию все это полагается знать, но откуда вы все это знаете?..

— Подождите,— отвечал я, как фокусник, который уверен в эффекте того, что он покажет.

Я открыл свой письменный стол и положил перед моим гостем маленькую бумажную папиросную коробочку, верх которой был стеклянный. Мой молодой друг действительно был поражен. Папиросных коробочек со стеклянной крышкой он никогда не видел. Но еще больше он удивился, когда из нее я извлек и расставил на столе десяток бумажных матросов и офицеров, каждый из которых был не больше мизинца. Картонные подставки позволяли им браво стоять на столе. Лебедев принялся их рассматривать. На оборотной стороне каждой фигурки он

прочел надпись: «Крейсер «Гладиатор». Офицеры были лейтенанты, только один из них капитан первого ранга. Их мундиры выцвели, но на груди у иных еще виднелись знаки боевых орденов.

Лебедев вопросительно посмотрел на меня.

— Что это такое? — спросил он, передвигая по столу бумажных морячков.

Видя его искреннее недоумение, я снова нырнул в свой письменный стол и извлек на этот раз старую ученическую тетрадку в синей обложке. Развернув, я положил ее перед поэтом и сам сел в сторонку. Лебедев с интересом, молча смотрел на страничку, но должен был сознаться, что нуждается в пояснении.

— Я вижу, что здесь изображен план морского сражения с указанием боевого ордера. Трудно судить, когда и где происходит бой, у каких берегов и как выглядят сами корабли...

— Сейчас, дорогой адмирал,— сказал я,— вы увидите, что это за корабли.— Я перевернул страницу, и перед Лебедевым предстали очень странного вида корабли. По некоторым признакам их можно было принять за миноносцы, крейсеры, катера, канонерские лодки. Здесь была целая эскадра.

Видя, что мой моряк смотрит на меня с явным недоумением, я продолжал:

— А вот и берега!

На новой странице эти корабли были изображены баталистом в момент сражения. Из их пушек сверкал огонь, мачты у иных кораблей были подбиты, иные из них горели. Черный дым шел густой тучей из их труб. Но над эскадрой, так отчаянно дравшейся, стояли не берега, а вещи, в которых, как ни странно, можно было разобрать грубо нарисованный шкаф, большой стол, ряд стульев, сундук...

Лебедев развел руками:

— Ничего не понимаю. Правда, что это такое? Судя по виду, это все очень старое. Сколько лет этим кораблям и морякам?

— Не так много,— сказал я,— немногим больше четверти века. Адмиралом этого флота был я...

— Расскажите мне все подробно,— попросил Лебедев.

— Охотно. Но нам придется отправиться в годы моего детства. Когда появился на свет этот флот, мне было лет тринадцать — четырнадцать. Тогда мальчишки нашего дво-

ра просто с ума сошли, играли только в войны. Воевали на земле и на море. И, конечно, воевали в квартирах. Но квартиры были измерены примитивным образом — шагами, разделены на квадраты; квадраты получали географические названия по вкусу и фантазии юного моряка. Стулья, диваны, столы и шкафы, если пол превращался в море, назывались мысами, заливами, портами. Корабли мы делали сами, и целые эскадры яростно сражались друг с другом. Высаживались десанты, словом, велись операции по всем правилам большой войны. Иногда вся квартира, конечно, в отсутствие взрослых, когда те были на работе, превращалась в поле битвы. Мальчишки приносили с собой свои корабли и армии. Всех почему-то увлекала эта бумажная война. Названия кораблей были условные, как и имена генералов. Тут было полное смещение времен. И, скажем, Китченер мог сражаться с маршалом Неем, а генерал Кондратенко — с адмиралом Сиднеем Смитом. Хаос в ребяческих мозгах был всех цветов радуги. Раз моя бабушка, Татьяна Логиновна, помнившая еще годы Севастопольской обороны, когда она была еще крепостной девочкой, увидев обширное поле сражения, в которое мы превратили одну из комнат нашей маленькой квартиры, всплеснула руками и воскликнула возмущенно: «Что вы делаете, что вы делаете-то! Страху на вас нет! Какую войну, какую беду накликаете! Ведь это что же такое!»

Мы смеялись над ней и ее негодованием. У меня были тысячи солдат, я их сам рисовал и клеил, я сам строил корабли. Толчок ко всему этому был вот какой. Я нашел, когда мы жили на даче на станции Ланской — тогда мне было лет девять,— затрепанные книжки «Всемирной истории», приложение к журналу «Родина». Эти рваные, с подслеповатым шрифтом книги стали моим любимым чтением. Я перечитывал их уж не помню сколько раз. Но меня больше всего увлекала история войн. Я буквально заболел этой историей. Ну и знал же я ее назубок, особенно войны девятнадцатого века, колониальные и наполеоновские. Пожалуй, больше всего я любил войны наполеоновского времени. Я мог рассказывать подробно многие сражения. Я стал знатоком всех главных войн мира. Зачем мне это было нужно, я не знаю. Взрослые, когда я оглоушивал их своими военными знаниями, только пожимали плечами. Для них все это было детской причу-

дой, чепухой, не имеющей никакого значения. Но я был маленькой ходячей военной энциклопедией. Я и сейчас кое-что помню. Я могу, например, рассказать про смерть генерала Дезе в битве под Маренго или как русские моряки брали Неаполь, хотя это была печальная история...

— Можно было и не помогать реакции,— вставил Лебедев, живо заинтересованный моим рассказом,— не уничтожать Парфенопейскую республику...

— Я согласен, можно было не помогать. Да, так вот я думал, что мои матросы исчезли так же бесследно, как те далекие годы. Но, оказывается, моя мама как-то сберегла вот этих, положила в коробочку и совсем недавно подарила мне в день моего рождения. Продолжаю. Когда я стал старше, я ходил часто в Морской музей, который помещался тогда в Адмиралтействе. Рядом с ним по другую сторону ворот с красотками, держащими земной шар, была церковь святого Спиридония, куда нужно было школьникам ходить по воскресеньям. Но я сбегал из церкви в музей и тут с неописуемым восторгом наслаждался лицезрением кораблей всех времен. Все эти корветы, шлюпы, линейные корабли, фрегаты, крейсеры, миноносцы, адмиралы, капитаны, морские карты, баталии — вся пестрота эта оглушала меня, бросала в волны какого-то фантастического моря, и я возвращался домой как настоящий мореход, прошедший океаны. Повторяю: я не могу объяснить этого увлечения войнами, но одно обстоятельство примечательно — это то, что все мои школьные товарищи погибли в битвах в первую мировую войну, в гражданскую войну, в борьбе с басмачами, с белополяками, с белофиннами... Они, правда, тогда не знали об этом...

— О чем они не знали? — спросил Лебедев.

— Они не знали, что они погибнут на войне. Я, вероятно, и еще два-три человека уцелели неведомо как. Они погибли, потому что их всех, как одногодков, призвали в армию в 1915 году, раньше обычного призыва. Кто попал в тогдашние школы прапорщиков, через три месяца уже был на фронте, а фронт пятнадцатого года — это страшная бойня. В костре войны без счета сгорали и новоиспеченные прапорщики, и новопризванные солдаты. Но это так, между прочим. Конечно, никаких предчувствий ни у меня, ни у моих школьных товарищей не было. Все знали в школе, что я специалист по военной истории.

И однажды наш инспектор, желая поймать меня врасплох (он преподавал историю), процитировал стихи из Чайльд Гарольда:

В осенний вечер, полный светлых чар,
Он посетил поля сражений:
Вот Акциум, Лепант и Трафальгар...

Обведя школьников своими пронзительными черными глазками, иронического блеска которых все боялись, он неожиданно ткнул в мою сторону и сказал:

«Что это были за сражения?»

Я встал и начал издалека, описывая подробности любовных приключений Клеопатры и Антония (я только что прочитал роман Хаггарда «Клеопатра»), но он прервал мои лирические отступления и сказал строго:

«Говори кратко: кто, кого, где?»

Тогда я сказал:

«При мысе Акциуме Октавиан Август разгромил соединенный флот Антония и Клеопатры, потому что она бежала с поля сражения. Известно, женщина испугалась, а потом она уже разлюбила Антония...»

«Хватит,— сказал инспектор.— Дальше: Лепант...»

«При Лепанте Дон Жуан Австрийский расколотил турецкий флот, и в этом сражении Сервантес, автор «Дон-Кихота», потерял руку. Если бы он не потерял ее, он не написал бы такой мрачный роман про Рыцаря Печального Образа, а написал бы про какого-нибудь рыцаря веселого образа...»

«Хватит разглагольствовать! — крикнул инспектор.— Дальше: Трафальгар...»

«При Трафальгаре английский адмирал Нельсон, уже без руки и без глаза, наголову разбил соединенный испано-французский флот, а перед битвой написал письмо своей девушке, которую очень любил, Эмме Гамильтон, чтобы она не очень беспокоилась, писал ей, что скоро приедет. Но он сам был убит в этом сражении, а Эмма с дочкой...»

«Хватит! — закричал инспектор.— Ты вечно знаешь не то, что нужно, а что нужно, ты не знаешь... Садись!»

Вот как я был напичкан сведениями по военной истории, и тоже по истории морских войн...

— Послушайте,— повысив голос, сказал Лебедев,— я слушаю вас и должен вам сказать, что я никогда не мог этого предполагать. Вы, значит, моряк в душе. О, как

я рад, что вы, оказывается, просто предназначены для моря! Почему же вы не стали моряком?

— Моряком я не стал, но под шпиль Адмиралтейства попал тоже по прихоти судьбы. Мне надо было после окончания торговой школы начать самостоятельно зарабатывать, потому что в семье трудно сводили концы с концами. Я устроился в Главное морское хозяйственное управление писцом, как тогда называли, или клерком, по Диккенсу. Там были моряки бумажные и моряки настоящие, которым выписывали командировки, и они ехали за границу, чтобы закупать там разное снаряжение и все нужное для нашего военного-морского флота. В этом учреждении были ночные дежурства, вернее, круглосуточные. На этих дежурствах я встречался часто с дежурившими тоже морскими чиновниками и офицерами. Одним из любопытнейших людей, с которым я на этих дежурствах познакомился, был некто Бобков. Он был моряком средних лет, но с ним можно было мне, молодому человеку, говорить о флоте, о его злой судьбе (еще были живы воспоминания Цусимы, полного разгрома царского флота). Мы о многом говорили с Бобковым в те ночные пустынные часы наших дежурств. Увидев, как много я знаю по истории флота, он начал мне покровительствовать, позволяя со мной очень свободные высказывания, говоря о неизбежности революции и о том, что русский флот еще воскреснет и покажет себя.

Раз он привел меня в зал, совершенно поразивший мое воображение. В том крыле Адмиралтейства, которое выходило на площадь Главного штаба, помещалось Главное гидрографическое управление. В теплом небольшом зале стояла какая-то особая тишина. Посреди зала возвышался громадный глобус. Я таких еще не видел. По стенам стояли желтые, карельской березы шкафы, на дверцах которых были искусно вырезаны якоря и лавровые венки и еще какие-то морские символы. Я не помню.

«Смотрите,— сказал мне Бобков,— в этих шкафах хранятся корабельные журналы всех морских экспедиций всех времен нашего флота».

«А кто их читает?» — спросил я шепотом, так меня подавлял своим величием этот зал, из окон которого были видны и Главный штаб и Зимний дворец.

«Их никто не читает,— ответил Бобков,— это история, которую все здесь забыли. Но когда-нибудь прочтут бла-

годарные потомки и воздадут должное этим великим мореходам. Но это будет только после революции...»

Сказав так, он сам понизил голос, хотя вокруг никого не было. Потом он подвел меня к окну и сказал, показывая на темные окна дворца (царь тогда жил в Царском Селе):

«Вот когда этого «генерала-адмирала» матросы прогонят грязной шваброй, тогда флот наш воскреснет. А до того мы с вами будем по ночам на дежурстве вспоминать об Ушакове и Нахимове».

Другой раз со многими предосторожностями он показал мне зал Адмиралтейств-Совета, где в особом ковчеге хранились грамоты королю мадагаскарскому от Петра Первого. Так как мы не могли задержаться в этом зале, то на очередном дежурстве я подробно расспросил его, что это за история. Он рассказал о самом фантастическом предприятии Петра. Петр хотел отправить на Мадагаскар специальную эскадру, чтобы провозгласить свой протекторат над Мадагаскаром, который в ту пору был обиталищем, центром организации всех пиратов-флибустьеров Индийского океана.

Петр хотел взять над ними главенство и, владея Мадагаскаром, встать на мировых путях океана, вывести русский флот в такие просторы, что захватывало дух. Будучи реалистом в политике, он уже начал снаряжать эскадру под командой вице-адмирала Вильстера, и два фрегата — «Амстердам — Галей» и «Кронделивде» — уже начали готовиться к этому авантюрному путешествию. Приготовлены они были плохо. Вышли в море, но вследствие непригодности к плаванию вернулись в Ревель, потом Петр вскоре умер, а грамоты мадагаскарскому королю остались в ларце, на память потомкам об этом дерзком замысле славного ушкуйника, чьи помыслы всегда витали на громадных морских просторах от Мадагаскара до Аляски...

— Но почему же вы не стали моряком? — спросил меня снова Лебедев.

— Нет, я не стал моряком. У меня были друзья моряки, но их судьба — настоящих моряков — была какая-то странная: Сергей Колбасьев, оставив флот, стал дипломатом и писателем; Владимир Ричиотти превратился в юриста, работающего в Ленинградском порту, и умер, написав вчерне изумительный роман, которого никто никогда не прочтет; Виктор Вердеревский был подводником, потом стал летчиком, потом штурманом дальнего плавания,

потом исчез в горах Киргизии, изучая неизвестно почему скотоводство. Я же, как вам уже рассказал, в детстве командовал игрушечным флотом, потом изучал историю морских войн в связи вообще с историей войн. Я размышлял сам над этим обстоятельством. Из меня не мог получиться морской командир или вообще какой-либо командир. Я думаю, что во мне жил военный историк, каковым я бы и стал, если бы позволили обстоятельства. Но историк тоже не состоялся. Кроме того, я должен откровенно сознаться, что море меня никогда не влекло...

Лебедев посмотрел на меня с почти суеверным ужасом.

— Как море вас не влекло? Но вы только и говорили о нем все время!

— Не влекло и не влечет,— печально признался я.

— После всего, что вы сказали,— это самое удивительное, что я услышал.— Он в волнении стал снова вытряхивать трубку, ковыряя в ней металлической палочкой.

— Я человек земли,— сказал я.— Ленинград — город приморский. Это верно. Нельзя родиться в нем и не воспринять как наследство его приморский ветер, который всегда дует в лицо, его водяные могучие потоки, каналы, Неву, памятник «Стерегущему», Медного всадника, корабли на Неве. Да и не только на Неве. Слезы от умиления набегают на глаза, когда в Петергофе у самого моря я вижу на старых, потрескавшихся воротах деревянного дельфина; мне хочется преклониться перед этим символом нашего славного морского прошлого, целовать его дикую морду, ласкать его жесткую спину. Но если он оживет и нырнет в море, я не последую за ним, честное слово, это так, и я ничего не могу поделать. Я человек земли...

Лебедев был очень растревожен нашим долгим разговором. Он очень серьезно слушал все, что я говорил. Теперь он начал говорить, сначала сдержанно, почти тихо, потом его голос окреп и стал звучать громко и энергично.

— Я человек моря,— говорил он.— Я не могу жить без него. Оно живет во мне, в моем сердце, в моей крови. Море занимает в жизни мира больше пространства, чем земля. Без моряков нельзя представить себе жизнь на земле. Вот и я сказал вместо слова планета — земля, но ведь это неверно. Люди еще не знают по-настоящему, что может дать море, они только поняли, что море соединяет синей дорогой материки, оно способствует общению лю-

дей, оно помогает обмену опытом, торговле, культуре. Но человек, который инстинктивно стремится к морю или в море, еще не чувствует себя таким же хозяином, как в лесу, или в поле, или в городе. В море он старается не жить, а быть. И возвращаться домой. Если бы семьи рыбаков были так же уверены в том, что их кормильцы, отцы и сыновья, вернутся спокойно, как возвращаются с завода или с поля, то не было бы этих драматических сцен ожидания, когда художник рисует толпу плачущих, испуганных женщин на берегу, на который устремляются бурные волны. И сегодня ждут где-нибудь в Бретани или у нас на Севере возвращения с моря только потому, что нет у человека еще уверенности в том, что он может так же жить в волнах, как он может жить в лесу или в пустыне. Все это только оттого, что нет еще средств для такого уверенного образа жизни в море. Но ведь сейчас летают, люди проникли в воздушный океан,— правда, он еще мало освоен. И самолеты еще пробегают в небе, как в свое время верблюды, корабли пустыни, пробегали пустыню, и их хозяева благодарили аллаха за путешествие без приключений. Но бедуины в песчаном море живут свободно и нисколько не боятся ни бурь, ни песков. Они так же естественно родятся и умирают в таких местах, которые показались бы европейцу немыслимыми для существования. Фридрих Энгельс говорил о том, что горцы настолько отрезаны от обычной жизни городов и равнин, что образ их жизни сохранится в силу горных особенностей даже тогда, когда изменятся условия социальной жизни в подгорных странах. И сам Энгельс предпочитал океан земле, как будто чувствовал, что в будущем человек не будет считать море придатком к континентам. Я даже написал стихотворение-сонет на тему о том, как он просил, чтобы его прах был развеян по ветру в открытом море у Исберна. Хотите, я прочту?..

— Читайте,— сказал я.

Он прочел спокойным голосом, не декламируя, а читая, как прозу, но от этого спокойного чтения впечатление почему-то было сильнее, чем если бы он кричал строки или пел их по образцу, до сих пор еще встречающемуся среди молодых поэтов:

Огонь пылал — и прахом стало тело,
Но собран пепел в урну не затем,
Чтоб в тишине церковного придела
Она стояла там, где сумрак нем.

Рукой борца, могучею и смелой,
Приказ написан: «Пересечь Гольфстрем
И в час, когда от пены море бело,
Отдать мой прах, развеять шквалом всем».
Корабль прошел меридиан Бельфаста,
Давно исчез вдали утес клыкастый,
И слит в одно воды и ветра звон,
Летит волна вдоль борта парохода,
И прах борца взяла к себе природа,
А дух его с людьми соединен.

— Море, которое предпочел земле великий революционер,— это мир будущих подвигов человеческого духа, потому что до сих пор все усилия людей были направлены на то, чтобы только держаться на плаву. Но ведь и Циолковский писал в своей, пусть еще утопической книге о том, что человек не вечно будет держаться своей колыбели, как ребенок. Настанет день, и он оторвется от Земли и шагнет в космос так далеко, как сможет. Вот почему я человек моря. Но почему вы не любите моря? Я чувствую, что вы его не любите...

— Я люблю горы,— сказал я, помедлив.— И если бы я родился в горах, я был бы счастливым человеком. Горы при всем своем каменном, снежном величии чрезвычайно многообразны. Их невозможно нарисовать, потому что они все время меняются, за каждым поворотом ущелья вас ждут новые виды: утром и ночью они разные, они могут быть страшными и нежными, в них живут тысячи оттенков. Я люблю лес, русский простой лес, могучий и обыкновенный, заваленный снегом и полный лесной свежести и непередаваемой теплоты. Лес со мной говорит, я его понимаю, его шелестящий или шумящий язык; горы охотно разделяют со мной мои сомнения и раздумья, мудро учат воспитанию воли, мужеству, терпению, дают радость высоты и свободы. Они отвечают моим затаенным мыслям. Я пережил раз в своей жизни сильную бурю на Каспийском море. Я плыл из Кра́сноводска в Баку. Опытный человек предупредил меня, чтобы я взял с собой побольше продуктов, потому что, если пароход не сможет в определенном месте повернуть на Баку, его будет относить прямо на Юг, в Персию, и там он будет отстаиваться неделю. Я сел без всякого запаса продуктов и попал в бурю. Я смотрел на огромные темные валы, вспухавшие, как дирижабли, пена летела мне в лицо, грохот падающей воды оглушал меня; но, несмотря на то, что пароход

бросало, как корыто, и вниз, и вверх, и в стороны, я не падал духом и мне не было плохо.

Я смотрел на призрачные, выраставшие на волнах огни, которые, казалось, летают вокруг нас. На каких-то дьявольских треногах они раскачивались в водопадах брызг. Я не мог понять, что это такое. Потом мне разъяснили, что это плавучие маяки. Я смотрел в бунтующую хлябь, в этот ревущий зеленый сумрак, я благодарно вспоминал колдовские ночи в пустыне, удивительные дни в горах Копет-Дага, волшебные закаты на Амударье и видел, что море ничего не может мне дать, кроме тревоги, и что оно только угрожает мне...

— Что вы! — воскликнул Лебедев, стукнув нечаянно о стол трубкой.— Море разнообразней всего, что может двигаться. Каждая волна в нем другая. Его краски меняются с таким богатством оттенков, что их невозможно передать самой точной кистью. Айвазовский слывет певцом морской стихии. Но его картины не могут передать и тысячной доли морской красоты, морского живого дыхания, его легких вздохов и его гремящего гнева. Недаром есть широты, которые моряки называют ревущими. И есть параллели, где во времена парусного флота нельзя было ничего делать, кроме как штилевать. Море, правда, любит тех, кто любит море. Вы говорите: вечно угрожает... Я не могу понять этого...

— Я вам поясню свое ощущение на двух примерах: на том, который мне привелось слышать, и на том, когда я сам испытал враждебность моря. У меня есть старый ленинградский знакомый, известный артист, талантливый и любопытный. Так вот он рассказал раз о случае, который имел место в его далекой молодости. Он — это было еще в годы старого режима — как-то заскучал, скука загнала его в порт, где его встретил один торговый капитан, который предложил ему место на пароходе, шедшем из Петербурга в Одессу вокруг Европы. Мой знакомый никогда до этого не видел океана. Пароход перевозил какие-то товары, пассажиров на нем не было, кроме моего знакомого. Он отправился в путешествие. Его почему-то невзлюбил третий помощник капитана. Он начал над ним подсмеиваться, дразнить его, задирать всячески. Они проходили Бискайский залив. В океане была мертвая зыбь. Третий помощник сказал ядовито: «Вот вы говорите, что вы отличный пловец, а тут такой удобный случай — выкупаться в самом Атлантическом океане, потом дома

будете хвастаться. Слабо́ небось нырнуть, это вам не Малая Невка...» Ну, раздражал, дразнил, в общем, до тех пор, пока не довел человека до белого каления, чуть в трусы не произвел. Тот слушал, слушал, терпеть по глупости, конечно, больше не мог, разделся и, спустившись на трап, сиганул в набежавшую волну. Зарылся он, рассказывает, с головой, воды много, теплая; набрал сил, да его еще волна стала подымать — подымает, подымает в самое небо. Оказался он на самом гребне, как на веранде из косматой пены, оглянулся, что Нептун... Глядь, никакого парохода нет, вокруг зеленые горы движутся друг на друга. Вот тебе раз! Снова его выкинуло на гребень, и увидел он пароход на таком расстоянии, что понял: на него уже ему никогда не вернуться. Но вдруг увидел и другое, что к нему идет, вот так вздымаясь на шестиэтажную высоту, лодка, и с нее бросают ему спасательный круг. Схватился он и сам не помнит, как его на пароход доставили. А там капитан грозно спрашивает: «С чего это вы самоубийством жить кончать захотели? Это что же такое — бросаться с полного хода в океан? Это же знаете как называется,— сумасшествие! Или вас кто подговорил?..» Ну, он, конечно, ничего не сказал, кто его подзудил, но на всю жизнь запомнил, что такое человек и что такое океан. А второй случай совсем другого рода. Было это в двадцатые годы. Пришел я под Новороссийском на берег моря. Лунная ночь такой сказочной силы, что сколько лет прошло, а я все помню, как будто вчера лежал на берегу и смотрел в море. А море под луной играло, как будто было населено живыми существами. Так и казалось, что в сиянии пенных брызг вынырнет из глубины такая красотка подводных глубин, что, как Садко, уйдешь за ней в самый подводный дворец. Лунная полоса гипнотизирующе ударяла в воду, волнения не было почти никакого. Я начал всматриваться в морскую глубину, как будто мысленно спускаться под воду по лунному лучу. Фантастическое ощущение! Глаза мои поймали лунный блеск и с ним прорезали воду, я хочу воображением дополнить причуды зрения и вдруг начинаю чувствовать, что будет, если я сейчас уйду в эту глубину. Подчиняясь воображению, ощущаю блестящее кружение вокруг меня и так реально чувствую, что иду вниз, и тяжелые, как литые, занавесы распахиваются, и возврата мне нет, а глубь бездонна, и я над ней не властен, и тело мое, как раздавленное, лишено всякого движения, как будто заморожено и движется в

какую-то бездну, которой нет конца. А струящееся зеленое безмолвие вокруг все тяжелеет, мои расширенные до предела глаза видят мертвую зеленую переливчатую хлябь, сверкающую лунной изумрудной струей прямо в лицо, точно я опускаюсь в холодный гигантский костер. Я чуть не закричал, так сильно увлекло меня воображение. Я зажмурился и лежал на берегу, перевернувшись на спину, и, только открыв глаза, увидел над собой южное, рассыпчатое, в звездных алмазах синее небо; я пришел в себя, но мне и во сне в ту ночь приснился сверкающий кошмар морских глубин...

Лебедев не прерывал меня. Он не улыбался и сидел, задумавшись. Потом он провел рукой по лбу, точно отгоняя мой рассказ от себя, и сказал, откинувшись на спинку стула:

— Я подводник. Я штурман подводного плавания. Я плаваю на кораблях, которые как раз должны уметь плавать под водой, идти ко дну, ложиться на грунт, всплывать в любое время дня и ночи, судя по обстоятельствам. Я хочу сказать, что я не могу воспринимать так мрачно глубин моря. Если моряк будет так распускать свое воображение, то он не годится для подводного плавания. Ведь если человек боится высоты, он не может идти в те горы, которые вам так нравятся. Ведь рыбаку, который тянет сеть над большими глубинами, и моряку, который крадется на подводной лодке по дну моря, море представляется самым обыкновенным местом работы. Вспомните, как у Жюля Верна, в «Наутилусе»: его герои выходят из своего подводного корабля и идут на прогулку по морскому дну с такой же свободой, с какой гуляют по лесу под Ленинградом. Я вам скажу, что и подводные лодки, которые сейчас являются военно-морским оружием, будут в будущем простыми подводными кораблями, доступными для пассажиров так же, как сейчас самолеты могут, кроме того что возить бомбы, возить старушек, которые захотели повидать своих внучат где-нибудь на Амуре. И летят старушки и везут в подарок маринованные огурцы и земляничное варенье своей варки. Это уже вошло в быт. А потом старушки привыкнут к подводным кораблям, которым не будут страшны никакие бури. И грибы и варенье также повезут... Так и по дну будут бродить экскурсиями, и влюбленными парами, и в гордом одиночестве. Я уже не говорю о практической стороне этого дела — об ученых, об исследователях, о спортсменах

подводного мира. Все это будет, и никаких болезненных бредов все это не вызовет, как только человек поймет, что он и тут хозяин, как на земле, и не пропадет, став игрушкой могучей, непонятной ему природы. Тогда настанут другие времена. Океаны и моря будут исследованы во всей их подводной империи. Обнаружат все богатства морского дна, окажется много неожиданного. Поговорка «волков бояться — в лес не ходить» будет применена и здесь. Подводных волков бояться — в море не лазить. Но ведь и детей когда-то пугали в лесу лешими и волками. А потом окажется, что акула как и медведь: ее не тронь — она тебя не тронет. Но это деталь. И курорты и туристические станции будут под водой. Я зову вас под воду! Тайны мира будут раскрыты, и вы хоть и любитель высот, но и вы соблазнитесь вкусить зов глубины, не страшной, не кошмарной, а такой же естественно зеленой, как зелен лес и зеленый луч, который считают удачей увидеть на закате. Как много морей у нас, и как мало моря в нашей поэзии, не моря, привлеченного в качестве иллюстрации: «Мою любовь, широкую, как море...» и так далее, а настоящего моря, голубого поля труда и сражений!

— Благодарю вас, адмирал подводных миров,— сказал я.— Я тоже не хочу, чтобы цитировали в отношении меня: «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца...» и так далее. Я внимательно вас слушал. Я не люблю громких слов, но мне кажется, что вы рождены быть первым, настоящим поэтом моря у нас. Сейчас вы в юношеском периоде, но все же и сейчас море — основное в вашей юной жизни. Вы правы в своем безудержном стремлении. Да, океан в жизни человечества еще не занял то место, которого он заслуживает. Человек ютится на земле, моря занимают семь десятых нашей планеты, земля — только три десятых. Я все понимаю. Вы сын моря... Вам и волны в руки. И стихи о море тоже. Мне же мыс Фарвел говорит только то, что он мыс Прощаний. Я приветствовал раз в жизни Толбухин маяк и готов был обнять его, принять как весть о приближающейся земле, весть о Кронштадте, о Ленинграде. Я плыл тогда из Лондона — в тридцать пятом году. А о Сенявине я даже хотел написать роман, собирал материалы. Но не знаю, удалось ли бы мне изобразить этого настоящего моряка. Для этого, видимо, самому надо быть моряком. Когда вы состаритесь, а это будет еще не скоро, то вспомните мои слова и напишете такой широковолный роман о морях. Вы ведь любите Ушакова и Сенявина?

Лебедев чуть усмехнулся.

— Но я не думаю, что у меня будет спокойная старость. Я еще люблю парусный флот, правда... Вы знаете, что такое бабочка?

— Вы говорите об очаровательных существах, за которыми с сачками бегают ученые и дети, или о галстуке бабочкой?

— Нет, бабочкой называлась в парусном флоте такая постановка парусов, когда при попутном ветре фок и грот поставлены на разные галсы. Это затем, чтобы задние паруса не мешали ходу, чтобы они не брали себе ветра от передних парусов. Вот у меня бабочка. Я поставил на разные галсы свои фок и грот — я пишу о мирной жизни моряка, и я пишу о том боевом столкновении, которое кажется неизбежным: мои стиховые паруса несут меня навстречу этому будущему морскому боевому испытанию. Я сейчас по-особому гляжу на Ленинград: он хорош как никогда, как хороша жизнь, как она, в сущности, кратковременна, как бессмысленно на войне уничтожение лучшего, что вырастило и сделало человечество!.. И вместе с тем выход только один: драться, драться и драться... Нам не мечтать о мирных днях. Гитлер уже разгромил Европу и точит зубы на нас. Что ж, пусть приходит на Балтику. Есть еще парни, что скажут ему: «Мы из Кронштадта!» Есть еще моряки, которые скажут ему: «Мы принадлежим морю, и море принадлежит нам, и этого моря никому не отдадим!..»

Я смотрел на него и видел, как в нем подымается гнев. Передо мной стоял моряк — штурман подводного плавания, готовый в решительный бой. И еще я думал, глядя на него, о том, что в советской поэзии многие писали о море, многие будут писать еще, но такого слияния таланта поэта, таланта моряка, специалиста-подводника, не найдется. Он жил стихом и горел жаждой подвига...

Мы расстались очень сердечно, обязавшись снова встречаться. Обстоятельства разъединили наши пути. Он оказался прав. Боевая гроза разразилась раньше, чем мы думали. В ноябре 1941 года Алексей Лебедев погиб смертью героя при выполнении боевого задания...

Все, о чем я только что вспомнил, пронеслось передо мной в одно мгновение, пока я следил за тающим в дымке моря белым «Баторием».

Какие-то грустные волны набегали на песок. «Баторий» скрылся, мы пошли между валунов к соснам, и я,

к удивлению своих спутников, стал читать стихи, написанные Алексеем Лебедевым незадолго до смерти. Обращаясь к подруге, он писал:

...И если пенные объятья
Назад не пустят ни на час
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас,—
Не плачь: мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать,
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель.

Когда я кончил читать, меня спросили:

— Что с вами? Это ваши стихи?

— Нет, не мои,— ответил я.

— А почему вы их сейчас прочли? Море настроило? Чьи же это стихи? Наверное, какого-нибудь моряка?

— Да,— сказал я,— это стихи штурмана подводного плавания Алексея Лебедева, человека моря!

СИБИРЯК НА НЕВЕ

Несмотря на то, что наступило лето, дни стояли серые, дождливые, с холодными ветрами, с тяжелыми лохматыми облаками, непрерывно наползавшими с моря. Было неуютно и хмуро. Город на Неве только что отдышался от немыслимых трудностей первой блокадной зимы.

Но в это воскресенье, которого ждали с большими опасениями, сильно сомневаясь в удаче задуманного, неожиданно появилось солнце. Сразу ожили сады и парки города, потеплели старые улицы, заблестела веселыми барашками широководная Нева. Солнце как будто шло навстречу людям, возымевшим дерзкую мысль организовать праздник посреди человеческих бедствий, убожества, разрушений, ужасов и смертей.

И все-таки это был праздник. В осажденном Ленинграде праздновали День физкультурника. По зеленым просторам Лесного двигались тысячи физкультурников на большой спортивный парад.

Парад открывали спортсмены на мотоциклах и велосипедах, несли знамена спортивных обществ, большие красные стяги с лозунгами. Двигались несчетные ряды девушек в спортивных светлых костюмах, в легкой обуви. Шли взрослые спортсмены, шли совсем подростки. И только серьезные лица идущих говорили о необычности всего происходящего.

Сюда, в удаленный от центра Лесной, глухо доходили грохоты далекого обстрела. И сейчас снаряды ложились где-то в городе. Лесной потому и был избран местом для физкультурного парада, что его обстреливали сравнительно реже, чем другие районы. Над рядами спортсменов,

спокойно маршировавших по квадратной большой поляне, над ветхими старинными дачами, огородами, березами и соснами, высоко в небе, постоянно ныряя в облака, ходил немецкий разведчик, которого просто притягивало непонятное ему скопление людей в светлом. Они двигались внизу как на сцене, ярко светясь среди густой зелени.

Он пытался узнать, что же там происходит. Может быть, он слышал даже громовые, ликующие голоса оркестров, когда снижался, но сразу же, потеряв уверенность, взмывал в высоту, потому что охранявшие поляну зенитчики умело отгоняли его подальше.

Прозвучала в рупоры новая команда, колонны остановились, ряды перестроились, разомкнулись. Спортсмены отступили друг от друга на два шага и замерли, готовые начать массовые гимнастические упражнения. В рядах преобладали девушки. Оглядывая этих похожих, как сестры, худощавых, тонколицых молодых девушек, зритель испытывал сложные чувства.

Полгода назад издевательством, кощунством показалось бы говорить о каком-то параде, о спортивных костюмах, о девушках-спортсменках на зеленом поле. Мертвецы — и спортсмены, голод — и легкая гимнастика... Однако мертвецы страшной зимы были похоронены, самый свирепый голод остался позади. Нужно было найти новые силы и вместе с летним теплом ожить для великих трудов.

Не знаю, кому пришла в голову мысль организовать физкультурный праздник. Это была смелая и оправдавшая себя идея. Зрители смотрели на тысячи девушек, пришедших из госпиталей, из армии МПВО, из окопов, из учреждений, смотрели на этих сандружинниц, телефонисток, снайперов, зенитчиц, регулировщиц, грузчиц, шоферов, саперов и слесарей, не веря своим глазам.

Недавно казалось, что не хватит сил просто прибрать огромный город, привести его в порядок, обойти все его вымершие квартиры, чтобы очистить их, убрать снег и мусор и горы зимней грязи, казалось, что мало людей осталось в невской столице,— и вдруг тысячи спортсменов показывают сложные упражнения с таким умением, точно они только то и делали, что готовились к этому параду.

Взмахи тысяч рук, как взмахи крыльев, радость праздника молодости, дружные аплодисменты зрителей — все это так напоминало мирные времена, что было просто странно думать, что в нескольких километрах за колючей проволокой, за минными полями сидят смертельные вра-

ги, которые хотят смести с лица земли и Ленинград, и этих презирающих их молодых спортсменок, спокойно показывающих свои достижения восхищенным зрителям.

Но о войне напомнили другие упражнения. Когда массовые выступления окончились, после перерыва на опустевшую поляну вышли бойцы в противоипритовой одежде. Они шли как бы в атаку и посредине поляны по сигналу упали. Это началось совершенно особое состязание из области химической войны. По командному свистку на поле бросились команды санитарок. Они должны были перед лицом наблюдающих за ними членов жюри, как бы под сильнейшим огнем противника, добраться ползком, по всем правилам, до раненых и, применяя все необходимые приемы, положить их на носилки и вынести из зоны боя, оказав первую помощь.

Здесь все шло на быстроту. Зрители увидели отличную выучку и умение юных сандружинниц. Все они были в противогазах, специальных защитных костюмах, с сумками на боку, в больших перчатках и особых сапогах.

Применения отравляющих веществ со стороны врага можно было ожидать. Озлобленный неудачным штурмом и блокадой, упорным сопротивлением города, враг мог решиться и на химическое нападение. Надо было быть наготове. Свисток судьи положил конец соревнованию. Были названы команды, занявшие первые места.

День физкультурника, несомненно, удался. Зимой и ранней весной ленинградцы были на пределе человеческих возможностей. Сейчас перед ними из пепла и руин на праздник явилось молодое поколение, один взгляд на которое заставлял сильнее биться сердце. Ощущение свежести, молодости, уверенности невольно рождало улыбки на строгих, исхудалых лицах ленинградцев. Кое-где слышался смех на тихих улицах. Песня неожиданно звучала там, где совсем недавно можно было услышать звон сорванных крыш и стекол, разбитых осколками, выдавленных напором взрывной волны.

Физкультурный праздник в Лесном продолжался, а немецкий разведчик так и не мог понять смысла происходящего. Если бы ему даже разъяснили, что происходит перед ним на земле, он бы не поверил, решил, что это какая-то военная хитрость.

Но можно ли, например, назвать военной хитростью футбол? А футбол тоже входил в программу праздника, но для безопасности номера программы перенесли в раз-

ные места. Футболистов отправили на стадион подальше от Лесного.

Поэтому, покинув Лесной, я добрался где трамваем, где пешком к Тучкову мосту, к прославленному стадиону имени Ленина. Если бы это было в мирные времена, то пройти на стадион было бы не так легко. Народные волны непрерывно стремились бы сюда. Трамваи были бы увешаны гроздьями болельщиков всех возрастов. Автобусы с трудом прокладывали бы себе путь среди невиданного человеческого скопища. Автомобили выстроились бы рядами, заполнив все окрестности. Каждый помнил хорошо, что такое был стадион в День физкультурника в Ленинграде!

В этот же солнечный, жаркий день человек, долго не бывавший в этих местах, с удивлением увидел бы, что стадион вообще исчез, точно невидимая сила унесла его на ковре-самолете. Стадиона больше не было. Трибуны частью сгорели, частью были разобраны на дрова. Одиноко, как высокий, многоэтажный дот, еще не прикрытый земляной маскировкой, возвышалась небольшая бетонная трибуна. С нее открывалось запущенное поле стадиона, обрамленное небольшим барьером железного лома. Пустынное поле, пустынные окрестности...

Никаких шумящих народных волн, никаких бесчисленных троллейбусов и автобусов... В тишине летнего дня позвякивали одинокие трамваи и гудели военные машины, пролетающие на Васильевский остров или мчащиеся с Тучкова моста к Большому проспекту.

И все-таки и здесь была жизнь, пусть не такая кипучая, как в Лесном. По набережной к стадиону шли маленькие группы и одинокие пешеходы. Они подходили к стадиону. Не было касс, никто не спрашивал билетов, всякий контроль отсутствовал. Но зрители, болельщики и футболисты, жаждавшие решительной схватки, были налицо.

Футбольное состязание еще не началось, еще подходили и подъезжали на мотоциклах, на велосипедах. Я углубился в боковые аллеи и не без удивления увидел, что и тут праздник в полном разгаре. Прямо на меня по аллее бежали в полном боевом облачении воины-спортсмены. На лужайке у Ждановки человек размахивал гранатой. У него был уже немалый боевой опыт в этом деле, но сейчас грозное оружие было заменено простой деревяшкой.

В Ждановку, в мутно-зеленую воду, прыгали один за другим пловцы в одежде, с оружием и плыли так, как будто они были под обстрелом. У них были сосредоточенные лица и быстрые движения. Почем знать, может, иные из них уже поплавали вдоволь, высаживаясь на невском пятачке или в десанте у зловещего ныне петергофского берега?

Я видел бег с препятствиями, военную эстафету... Я пошел на громкий стук палок. В дальней аллее соревновались спортсмены несколько иного плана.

Средних лет командиры степенно, не торопясь, прицеливаясь и размахнувшись со всем удовольствием, вышибали из городка высокие желтые рюхи, которые, кувыркаясь, летели в стороны под восторженные возгласы партнеров.

Увидев меня и узнав, командиры закричали:

— Настоящий рюходром, как у Павлова в Колтушах! Присоединяйтесь! Мы только что пушку раскокали... Или вы на футбол пробираетесь?

— Я на футбол. Такого футбола еще, признаюсь, в жизни не видел, хочу посмотреть.

— Да уж где увидеть! — отвечали мне.— Вряд ли где на фронте есть еще место, где под обстрелом мячи гоняют...

И действительно, над всеми бегущими, плавающими, прыгающими, играющими в рюхи, сидящими на трибуне, над зеленым полем, над Невой, над Ждановкой непрерывно, как будто с тяжелым вздохом, шли снаряды. Через равные промежутки времени откуда-то — то ли от Лигова, то ли из-за Пулкова — появлялись все новые и новые снаряды и, перелетев через стадион, гулко рвались в военном городке, между набережной и улицей Красного курсанта. Так как цель, по которой били, была рядом, то их шелестение и ворчливое чавканье были очень слышны, так же, как и их близкие разрывы. Но никто не наклонял головы, никто не обращал внимания на эти смертоносные предметы, летевшие над нашими головами.

Постепенно трибуна заполнилась. Если не вся, то больше чем наполовину. Почти все зрители на трибуне были в военном. На лицах у штатских и военных можно было увидеть следы голодовки, усталости, бессонницы. Это была память незабываемой зимы.

Иные из командиров приехали прямо из окопов, с батарей, с кораблей. С высоты трибуны хорошо был виден

город, река, по которой бежали буксиры, тянулись баржи, проходили катера, были видны боевые корабли, прижавшиеся к берегу, с полотнищами разноцветного камуфляжа, видны были самолеты, патрулирующие над Невой.

Я смотрел на футболистов и зрителей, и, право, мне трудно было сказать, кто был мне интересней, хромающий по полю судья, командир, вышедший для этого дня из госпиталя, голкипер, который вернется вечером в блиндаж на передовую, или болельщица со впалыми щеками, опирающаяся на палочку. Она с большим трудом дошла до этой трибуны, но она не могла не прийти, потому что не пропускала никогда физкультурного праздника в Ленинграде. Я узнал, что она художница. Сейчас она сидела и наслаждалась, как и все мы, блестящими, свежими красками, нас окружающими.

Блеск невской быстрины, листва, вымытая дождями, сияющее легкой голубизной небо, изумрудное поле, по которому летал коричневый мяч, цветные майки игроков, синие морские кителя, зеленые гимнастерки вокруг — все веселило и радовало глаз. Даже темные столбы, подымавшиеся за деревьями и домами на берегу Ждановки,— столбы разрывов, не могли разрушить общего чувства праздничности и радости жизни.

Матч продолжался с неослабной силой. Снаряды летели все реже и медленнее, но летели на бедный военный городок, в котором уже не было ничего военного. Меня приветствовал знакомый майор, который сел рядом и сразу бурно заговорил:

— Здравствуйте, здравствуйте, ну как жизнь, как праздник? Правда, здорово? В Лесном я вас видел издали. А девицы хороши, мы обратили внимание, другие даже в специальных локонах пришли, завились нарочно, чтобы быть красивее. Нет, здорово, а как чисто сокольскую гимнастику показали! А тут, смотри-ка, думали, никто не придет на футбол, а вон сколько народу! И знаете, футбол ведь в трех местах. Рассредоточили. А каков стадион! Я сначала пришел, думаю: это где же я сяду — на траву, что ли, а гляди — трибуна одна цела. Ну, ее на дрова не разберешь — бетон. И вот-вот сейчас, смотрите, по голу... Ах, черт, в перекладину... Нет, здорово! А что вы смеетесь?

— Да я вспомнил из далекого, как говорят — невозвратного, прошлого один случай. Я, знаете ли, не болельщик и этих восторгов и стонов не принимаю всерьез, но

людей, которые даже под обстрелом могут прийти за десяток километров, чтобы переживать, вполне понимаю. Так вот, приехали тогда в Ленинград испанцы-баски. Говорят, первейшие игроки. Никак нельзя упустить такой случай. Ну, меня уговорили-таки пойти. Билетов ни в какую не достать, мне и жене друзья достали. Подошел час матча, надо идти. Мы что-то дома замешкались. А у нас стадион рядом — дорогу перейти со Зверинской — и все. Перейти-то мы перешли, а тут народу — толпища, давка невозможная. И чтобы, значит, зайцев не было, контроль на каждом шагу. Ну, пробиваемся, пробиваемся, не жалея локтей, и всюду надо билеты предъявлять. Надоело мне во внутренний карман за ними лазить. Я переложил их во внешний маленький карманчик пиджака. Продолжаем среди всей суетни путь к месту и уже достигли мостика, последний контроль — и мы на стадионе. И тут я говорю жене: «Знаешь что, пойдем домой!» — «Как домой? После всего этого, столько перенесли, пробиваясь? Что, тебе плохо?» — «Мне не плохо,— говорю,— а все-таки пошли домой!» — «Но почему?»

Я уже повернул и, вызывая всеобщее негодование, прокладываю дорогу назад в толпе. Вышли мы на более свободное место, жена говорит: «В чем дело?» — «В том,— отвечаю,— что кто-то инициативный, из тех мальцов, наверное, что все кричали: «Дяденька, нет ли билетика?» — просто, когда я отвернулся, вежливо из моего внешнего кармана билетики вынул и спасибо не сказал, так что последний контроль нам уже не нужен. Пошли домой!»

Пришли домой, я лег на диван, включил радио и чувствовал себя гораздо лучше, чем в этой давке на стадионе. И все было слышно, как шел матч... Вот какие бывали случаи. А тут, если бы билеты продавались на этот матч, надо бы эти билеты сохранить для потомков, которые, когда наступят мирные годы, будут тут сидеть на новом стадионе, им и в голову не придет, что тут происходило летом славного 1942 года, двадцать пятого года эры Великого Октября. Ведь не поверят, что мы под снарядами на футболе сидели?..

Мой приятель сказал задумчиво:

— Да ведь и не поверят, что вы думаете! Я вот пошел позавчера к одному другу — командиру, он там сейчас в рюхи сражается вовсю — тоже чемпион! Он баньку организовал, в городе, на Песках. «Приходи, говорит, хорошо

помоемся, как следует, я, говорит, оборудовал». Мы с двумя командирами пришли. И правда, банька подходящая. Стали мыться, как на тебе — объявление по радио: район находится под обстрелом. Да как рванет — вся крыша с баньки слетела, а мы чуть не голые выскочили на улицу. А следующим снарядом всю баньку начисто разнесло... Ведь тоже не поверят потом, скажут — выдумал... И то сказать — в фантастическое время мы с вами живем. Иду по Васильевскому острову, а там на углу Среднего был магазин, вывеска: «Гастрономия и вина». Я сам перед войной армянский коньяк всегда покупал. Иду как-то зимой, обстреливали тогда здорово. Что с вывеской? Уже буква одна куда-то отлетела, и стало: «Астрономия и вина». Прошло несколько месяцев. Иду на стадион сегодня. А на вывеске — помереть можно от смеха — уже читаю: «Астрономия вин»! Это же поэзия, честное слово... Астрономия вин! Имажинисты не придумали бы такого. Вы ведь знаете, я стихи люблю. И даже иные собираю для памяти. А поэты, они после больших событий или даже во время событий рождаются как-то интересней, чем в мирное время... Вы это, наверно, тоже замечали?..

— Таких наблюдений не вел, но, действительно, вот после финской войны сразу появились, например, Михаил Дудин, опять же Алексей Недогонов, Сергей Наровчатов... А как Дудин появился, стоит вспомнить. Война с белофиннами, как известно, в Выборге кончилась, стал я отходить от боевых дней, вдруг получаю письмо. Со стихами. Пишет серьезные стихи молодой поэт, зовут Михаил Дудин. Надо сразу печатать в «Звезде», но кое-какие поправки все-таки следует внести для славы русского языка. Я пишу ему письмо, и приветствую, и поздравляю, и о поправках пишу, что, мол, выберете время, приходите, посидим, потолкуем о поэзии, прошлых днях Кавказа и так далее. Проходит время, получаю ответ: «Очень хотел бы прийти, да не могу и даже, когда смогу, не знаю. И вовсе я не в Ленинграде, а на далеком Ханко, которое мы от финнов в аренду взяли и там стражу несем. А уж стихи поправьте сами, как где нужно». А потом подошел сорок первый год, новая война; на Ханко началось горячее времечко. Потом ханковцев эвакуировали в Ленинград. Они теперь тут себя хорошо показывают. У них командир — известный вам Симоняк, железный человек, полководец стоящий, а Миша Дудин добрым поэтом стал. Да он уже в своем молодом возрасте в самую настоящую историю

войны попал. Сам Маннергейм подписал этакое специальное обращение к ханковцам: что, мол, сдавайтесь, вы такие-сякие храбрецы, герои, и мы вас вроде в доме отдыха устроим за ваши заслуги, и что сопротивляться вам бесполезно. Ну, тут ханковцы по примеру запорожцев, писавших злое письмо турецкому султану, взъярились, да и ответили Маннергейму и пером и кистью. Кистью-то ответил замечательный художник-воин Пророков, а пером — Миша Дудин. Вот уж такое письмо написали, что дальше некуда. Если бы принести это письмо в музей и прочесть запорожцам, что на репинской картине, то и они бы разразились таким грохотом, что снова в Стамбуле услыхали бы, ей-богу... Молодец Миша Дудин!

— А я вам,— воскликнул мой майор,— сейчас покажу стихи одного поэта, который на нашем фронте недавно объявился. Вы его еще не знаете. А я списал у товарища, он в дивизионной газете работает. Понравились мне его стихи, с собой ношу, хорошим людям показываю.

— Ну, покажите, пожалуйста: а вдруг это молодой, да из ранних!

Он полез в свою полевую сумку, извлек из нее толстую, замасленную, видавшую виды записную книжку и, поискав в ней, протянул мне страничку. Я прочел стихотворение неизвестного автора. Оно называлось «Чайка».

Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня...
Зачем же в самый вихрь огня?
    Что гонит?.. Что несет ее?
    Не спрячет серебро свое...
    Зачем?
Но тут припомнил я...
Зачем?
Но разве жизнь моя...
    Зачем?
    Но разве я не так
    Без страха рвусь в огонь атак?!
И крикнул чайке я:
«Держись!
Коль любишь жизнь —
Борись за жизнь!»

— Мне нравится,— сказал я и снова перечел короткие строки,— право, это настоящие стихи. Где вы его взяли, этого молодого человека? Он молодой?

— Молодой, храбрый и стоит своего имени...

— Что же это за имя?

— Зовут его громко, знатно зовут, как старого полководца, воспетого поэтами...

— А например, Кутузов, что ли?

— Почти угадали. Зовут его Георгий Суворов. Младший лейтенант Георгий Суворов уже отличился в боях и сам хорош собой...

— Откуда он? Здешний, ленинградский?

— Нет, вовсе нет, он из Сибири, из страшной глуши, пришел. Смотрите-ка, один гол они уже забили! Сейчас чуть второй не состоялся. Вы не поедете на Карповку? Там на стадионе тоже футбол. День физкультурника просто на славу!..

— Подождите,— сказал я,— а что вы еще знаете о Георгии Суворове?

— Я больше ничего не знаю, потому что никогда в жизни его не видел...

— А как же вы говорите, что он в боях отличился и собой хорош?

— Мне товарищ рассказал, у которого я стихи списал эти. Говорят, что у него много стихов...

— Это все очень интересно,— отвечал я,— я должен обязательно его увидеть...

И я его увидел. Уже вторая военная осень осыпала улицы листьями всех цветов, и в комнате, походившей на каюту много видевшего бурь корабля, было темновато, когда ко мне прямо с переднего края пришел Георгий Суворов.

Почти таким я и представлял себе его. Он был из тех ладных молодцов, в которых чувствуется что-то богатырски-молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопрос: «Кто пойдет в самое пекло?» — отвечают, делая шаг вперед: «Я пойду!»

Было и нечто суровое в этом ясном, открытом лице, может быть, оттого, что брови были слегка нахмурены и рот был очерчен решительно и строго. Глаза с задоринкой смотрели прямо на собеседника, а небольшие мягкие усы сразу заставили меня перевести взгляд на его гимнастерку, где красовался некий знак.

Когда вы встречали в те годы бравого, подтянутого бойца, у которого на груди красовался белый щит с красной звездой, вы знали, что это гвардеец. И если в старину, например, флотский экипаж был назван гвардейским только потому, что он обслуживал царские яхты в первый период

своего существования (потом он сражался действительно по-гвардейски), то гвардейские полки Красной Армии получили это звание не по простому отбору, не по случайной удаче, а добыли это право в кровавых битвах, показав свое мастерство, истребляя гитлеровские полчища.

Таким образом, передо мной стоял гвардеец, представитель самых бесстрашных и умелых полков нашей армии. А смотря на его усы, я не мог сдержать невольной улыбки, потому что знал, что Суворов принадлежит к славной 70-й стрелковой дивизии, которая за отличные боевые действия получила гвардейское знамя и стала 45-й гвардейской ордена Ленина дивизией. А командовавший ею Герой Советского Союза генерал-майор Краснов отдал первый приказ по гвардейской своей дивизии, где, между прочим, приказал всему мужскому составу дивизии отрастить усы, а всем телефонисткам, связисткам, пулеметчицам, сандружинницам и прочему женскому составу сделать маникюр и шестимесячную завивку, чтобы подчеркнуть аккуратность и воинскую выправку.

Летние наступательные бои, в которых участвовал Георгий Суворов у Старо-Панова, Путролова, вместе с боями за Ям-Ижору, Ивановское и Усть-Тосно сорвали план подготовлявшегося Гитлером осеннего штурма Ленинграда.

Красновато-бронзовые щеки Георгия Суворова, обветренные боевыми дорогами, опаленные огнем непрерывных сражений, делали его похожим на индейца. Говорят, есть в Сибири остатки таких старых племен — ительмены. Вот он был похож по цвету лица на такого ительмена, но на самом деле он никакого отношения к краснокожим не имел. Был он действительно сибиряк, но пришел на фронт с Абакана, из Хакассии, и сначала сражался в знаменитой панфиловской дивизии. Когда под Ельней в бою осколок вражеской мины впился ему между ребер, он сам, стиснув зубы, вырвал его, не застонав.

Движения его были уверенные и ловкие. Он как будто был сделан весь из красноватого металла. Закалка охотника и солдата чувствовалась в сильных руках и широких плечах.

Его полевая сумка была переполнена стихами. Стихи эти были самые разные, хорошие и плохие, незаконченные и зеленые, как маскировочные еловые ветви, прикрывающие снайпера, стихи, посвященные всему, что волнует

сердце молодого воина-поэта,— ему шел всего двадцать третий год. Я сказал, что знаю некоторые его стихотворения, знаю «Чайку», и она мне нравится. Он начал без всякой ложной скромности читать стихи:

Красноармеец бьется так:
Пред ним громады вражьих тел.
Диск автомата опустел...
Встает обрадованный враг.
    Красноармеец бьется так:
    В подсумке две гранаты есть —
    Голов фашистам не унесть!
    С землею смешан черный враг.
Красноармеец бьется так:
В руке один клинковый штык —
С размаху заколол троих!
Четвертый?! Поднял руки враг!

Я смотрел на Георгия Суворова, и наивная сила этих стихов убеждала, потому что это были слова солдата, который, несмотря на свою молодость, был участником самых свирепых схваток, знал, что такое пятачок на Неве, где простреливается каждый метр, знал, что такое схватка, где пленных не берут, где нельзя отступать ни на шаг, знал, что такое смерть друга, боевая дружба и неистовая злоба врага.

В жилах этого сильного, умного, веселого человека текла кровь его далеких предков — смелых искателей новых земель, казаков Ермака, жила страсть природных воинов и песенников. В его роду по женской линии были польки, из семейств ссыльных поляков, были в роду и шаманы, старые хакасцы, с бубнами, обвешанными лентами, камлающие над колдовскими кострами в кедровой чаще у священного родника.

Он читал стихи о своих полковых товарищах, о боях на Неве, о танке, чьи гусеницы были красны от крови фашистов, о цветах, растущих на козырьке окопов, о тропах, вьющихся по ущельям хмурого Абакана, о темных струях железной руды в отвесных утесах, об охоте и ночлегах в глуши и о той тропе войны, которой он идет сейчас, «платя ценою крови и лишений за каждый шаг»...

Передо мной стоял человек цельный, мужественный и полный какой-то скрытой нежности и грусти. Все в нем было настоящее: и страсть, и храбрость, и эти неустоявшиеся и пьянящие, как молодое вино, стихи. С этой встречи началась наша дружба.

В условиях города-фронта не так легко было встречаться, тем более находить свободные вечера, чтобы слушать стихи и говорить о стихах. И все-таки такие встречи были и у меня, на Зверинской, и где-нибудь на фронте за городом, когда я попадал в 45-ю гвардейскую.

Георгия Суворова на Ленинградском фронте скоро узнали многие. Слухом земля полнится, а братьев-литераторов в армии было много, и стихи сибирского поэта стали известны, тем более что некоторые из них печатались не только во фронтовой печати.

Сам командир дивизии, храбрейший и неистовейший Краснов, любил писателей, и иметь в своей дивизии собственного поэта ему было приятно. Боевых друзей у Георгия было много. Из Сибири писали ему друзья: Александр Смердов, Леонид Мартынов. В моей семье он стал своим человеком, и когда он появлялся в городе, иногда со своим задушевным приятелем Олегом Корниенко, а то и вместе с Мишей Дудиным, который стал непременным бардом Ленинградского фронта, то начиналась бесконечная беседа, прерываемая иногда обстрелом района. Когда снаряды ложились близко, мы уходили на кухню, и пили чай, и продолжали разговор о поэзии и о жизни.

Георгий Суворов был прост, как быт, нас окружавший. Когда я долго не видел Суворова, я скучал о нем. Бои вокруг города шли все время. Врага изматывали на самых разных участках фронта. Эти бои подчас носили жестокий характер, потому что бились действительно за каждую пядь земли. Я всегда думал о Суворове. Мне так хотелось, чтобы ему было хорошо в жизни, чтобы он дожил до победы. Он был достоин ее.

Мы все жили суровой жизнью, но в каком-то громадном коллективе, который страдал, переживал боль, грустил и радовался так, будто имел одно сердце и один разум.

Мне было радостно думать, что где-то в блиндаже при коптилке этот сибиряк на Неве пишет стихи. Он писал их и в окопах, в паузе между боями, перед атакой, в болотах, окутанных пороховой гарью, на отдыхе под соснами, расщепленными осколками бомб и снарядов. Он писал свои строки как дневник, как свидетельство боевого пути. У него не было времени отделывать стихи. Но они рождались словно волны, гонимые вихрем, словно слова сами находили связь, и он должен был, только перенося их на бумагу, дать им дыхание, чтобы они ожили. Все вокруг так просто:

Мы тоскуем и скорбим,
Слезы льем от боли...
Черный ворон, черный дым.
Выжженное поле...
А за гарью, словно снег,
Ландыши без края...
Рухнул наземь человек —
Приняла родная.
Беспокойная мечта,—
Не сдержать живую...
Землю милую уста
Мертвые целуют.
И уходит тишина...
Ветер бьет крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.

В те дни снайперы после возвращения со своей охоты, приезжая в город, приносили на могилу Александра Васильевича Суворова цветы, сорванные ими на переднем крае, и давали клятву мести, клялись истребить как можно больше врагов, мстя за страдания советских людей...

Цветы и кровь соседили тогда не только в стихах, но и в жизни. Раз я шел с Георгием Суворовым по Петроградской стороне. Все было привычно: развалины, и проломы, сделанные снарядами в стенах, и ручей, который подавал свой голос в руинах, падая с верхних этажей из разбитой трубы, и заколоченные досками окна, и разбитая мостовая, и стены, иссеченные осколками на такой высоте, что страшно было представить силу взрыва, закинувшего их под самую крышу...

Через пустынную улицу неторопливо бежала большая, рыжая, с подпалинами крыса. Откуда-то доносились глухие стуки, точно гигант выколачивал дубиной матрас, набитый железом. Это шел очередной артиллерийский обстрел Васильевского острова. Вдруг Георгий Суворов на секунду задержал шаг и как-то с особым прищуром своих голубых глаз осмотрел давно разбитый бомбой дом. От него мало что осталось. По-видимому, пожар довершил дело. Обгорелая руина с вывернутым нутром, почерневшая, мертвая, уже не хранила никакого признака человеческого жилья. Только на ржавых изогнутых железных перекрытиях висели в разных положениях обгорелые кровати. Их было много. Они торчали из черной пасти подвала, они зацепились за остаток трубы, они навалились бесформенной грудой друг на друга в провале между этажами.

Тут я оглянулся и увидел, что нас окружают кровати и на улице. Так, ямы в мостовой, выбитые снарядами, были огорожены кроватями, чтобы ночью при затемнении никто бы не упал в них и машина не наскочила бы на полном ходу.

Немного далее, там, где когда-то был сад, и, как я помню, стояла за забором яблоня у деревянного домика, теперь раскинулся огород, и этот огород, как все почти огороды в городе, был огражден кроватями. В каждом доме, почти в каждой комнате были кровати. И когда пожар съедал до остатка все, что могло гореть, кровати оставались. С ними ничего не мог поделать даже взрыв бомбы весом в тонну. Он мог только изогнуть их, как цирковой силач, показывающий свою силу, гнет рельсы,— не больше.

Георгий Суворов, видя, что я, как и он, рассматриваю кровати, сказал:

— Когда были бои у Красного Бора, один пожилой солдат, когда бежал в атаку, кричал что-то непонятное. Вы знаете, что, когда бегут, обязательно кричат. Кто кричит: «Вперед, за Родину!» или: «За Ленинград!», «За город Ленина!». Разное кричат. Но этот солдат кричал что-то такое, что его соседи, слышавшие его крик, сначала не поняли, потом им было не до разговора, и только когда вечером уже в отбитом у немцев блиндаже располагались на отдых, вспомнили дневной бой и тут пристали к нему: «Что это ты, братец, кричал, когда бежал в атаку?» Он сначала нахмурился и ничего не отвечал, а потом сказал сердито: «Чего пристали? Кричал, как все: «За Родину! Ура!» — «Нет, вот уж нет,— настаивали товарищи.— Ведь не то кричал. Ну, сознайся,— чего плохого? Скажи, чего ты такое странное кричал, ведь мы слышали, хотим, чтобы ты сам сказал». Доняли человека, он совсем духом упал и говорит: «А что я, по-вашему, кричал?» — «А ты кричал, честное слово, мы слышали: «За кровать!» Вот что ты кричал, и так сильно: «За кровать!» Что это значит? Расскажи. Ведь просто так не закричишь. Какой особый смысл в этом есть или нет?»

Ничего не ответил человек, насупился и молчит, прямо черный стал. А его дружок сделал знак — оставьте его в покое,— и потом, когда из блиндажа вышли, он объяснил, в чем дело. «Я, говорит, с ним в городе был,— он давно писем от своих не имел. Пошли мы к его дому, а вместо дома — прах, разбомбили дом начисто. Пошли у соседей узнавать. Узнали, что погибла его жена и дочка-школьни-

ца. Ночью было, не успели выбежать. Он стоял перед домом долго, я уже его за рукав взял: «Пойдем»,— а он мне показывает на что-то. Смотрю: кровать повисла между стен. Узнал свою кровать по этажу, по месту расположения, там еще рядом, видно, знакомые какие-то вещи повисли разбитые... Эта кровать — все, что осталось у него в памяти от прежней мирной жизни и от близких. Вот когда в бой идти, он сам не помнит, что кричит: «За кровать!» Месть за погибших у него в сердце. И вы видели, как он дерется. Все перед ним стоит страшная картина, так что вы не добивайтесь от него объяснений. Человеку тяжело — и все! И точка. И не удивляйтесь, если он и снова с таким криком в атаку пойдет!..»

Вот почему я невольно взглянул на дом с кроватями и вспомнил ту историю...

И снова мы шли с Георгием Суворовым по нашему многострадальному городу, и, когда вышли на так называемую ватрушку — полукруглую набережную перед бывшей Биржей, белым домом, перед которым возвышались ростральные колонны, Суворов сказал, указывая на зенитную батарею, расположившуюся на газонах бывшего сквера, на орудия, торчавшие из щелей:

— Как быстро привыкает человек к самому трудному. Ведь на этой ватрушке, мне рассказывали ленинградцы, няни детишек водили, да старые моряки, живущие на покое, приходили сюда гулять, да студенты из университета, девушки из Мытнинского общежития, ну, еще туристы, а теперь живут в блиндажах, фронт! Все вокруг засыпано осколками, и мы с вами идем и ничему не удивляемся...— Помолчав, он добавил: — Хотя я и сибиряк, но чувствую, как все больше становлюсь ленинградцем, с каждым днем все больше!

Наступил новый, 1943 год. В огненном январе был совершен прорыв блокады Ленинграда. Кто участвовал в этом, тот никогда не забудет многодневного сражения, превратившего пространство между Ладожским озером и Московской Дубровкой в арену кровопролитного побоища.

Здесь, к югу от озерных берегов, еще в дореволюционные годы разрабатывали торф. Ничто не может быть грустнее ровной, обнаженной, какой-то бурой, болотистой равнины, за которой стояли неприветливые, мрачные леса.

Что может быть угрюмее этих мест зимой! Морозное солнце в туманном желтом кольце, как будто в отчаянии, едва пробившись из черно-синих туч, тускло освещает

пустынные рощи, высоченные снежные сугробы, печальные, занесенные снегом болота и через короткие часы скрывается снова, оставляя сумрак непередаваемого цвета.

Вьюга долгими ночами крутит свои белесые кольца, с воем стелясь по замерзшей, звенящей земле.

В январские дни все это лишенное жизни пространство, над которым стояли только остовы сгоревших рабочих поселков и трубы бараков, наполнилось грохотом битвы. Это шли навстречу воинам Волховского фронта защитники Ленинграда, чтобы обняться в радостный час прорыва блокады. Этого часа ждали много месяцев.

Пламя сражения сверкало по всему невскому берегу и в дикой пустыне приволховских лесов.

Если нам, привыкшим к холоду и ледяному мраку, битва в этой черно-белой пустыне казалась делом привычным, то выбитые из теплых укрытий, бросившие блиндажи гитлеровцы чувствовали себя в аду, где мороз жег, как костер преисподней.

В хаосе канонады, вьюги, мрака и пожаров постепенно обрисовывался наш успех. И уже называли имена командиров, чьи части показали свою доблесть. Я хорошо помню великолепного, спокойного, как гранит, Трубачева, чьи полки брали Шлиссельбург, порывистого, бесстрашного Симоняка, уверенного, искушенного в трудностях Хрустицкого.

Уже на фронте родились новые храбрецы: пехотинцы гордились подвигом Дмитрия Молодцова, хотя он был связистом, но шел в передовой цепи и погиб смертью героя, дав возможность захватить немецкую тяжелую батарею; артиллеристы уже знали имя неустрашимого истребителя немецких танков — капитана Родионова. Танкисты говорили мне удовлетворенно: «Правда, замечательно, что Осатюку и Макаренко дали Героев Советского Союза?»

Конечно, замечательно,— было за что. Такое богатырство они показали, несмотря на то что их танк — малютка «Т-60», а вот мал удалец, да дорог!

Но и в исхлестанных осколками бомб, мин и снарядов стенах Шлиссельбургской крепости, во мраке приладожских лесов, на берегу Ладоги и на почерневших снегах вокруг оставшихся только на карте рабочих поселков, среди сумрачного нагрева продолжающегося сражения я все время думал о Георгии Суворове.

Я невольно смотрел туда, на юг, где наступала 45-я гвардейская. Она, как и 268-я, шла в обход 1-го и 2-го го-

родков, и я знал, что ее бешено атакуют немцы со стороны Дубровской электростанции.

Поздно вечером в лесу на безлюдной дороге я попросил шофера остановить машину. Я попросил потому, что не мог приказать ему, так как в машине был товарищ поболее моего званием. Но он был новичком на Ленинградском фронте и не мог разбираться в местности. Поэтому я попросил его разрешения, и, когда он спросил, почему мы остановились, я откровенно сказал:

— Нам надо ориентироваться сейчас, где мы находимся, потом будет поздно!

— Почему? — спросил он без всякого признака волнения.

— Потому,— сказал я,— что, по моим расчетам, мы едем прямо к немцам.

— Тут близко не могут быть немцы,— отвечал мой спутник, но все-таки вышел из машины.

Мы стояли на совершенно пустынной дороге. Отчетливо доносилась стрельба, то пулеметная, то винтовочная.

— Мы проехали реперы,— видите? — сказал я.

Сзади нас остались красные лампочки, прикрепленные к деревьям для ночной пристрелки.

— Смотрите,— сказал я,— на дороге нет никаких машинных следов...

Мы огляделись. В стороне от дороги, как белые сугробы, притаились танки. Они стояли в засаде, похожие на занесенные снегом валуны.

По направлению к нам шло несколько человек. Когда они приблизились, то оказалось, что это автоматчики в белых куртках.

— Откуда вы? — спросил мой спутник. При своем чине он мог спрашивать, и ему были обязаны отвечать.

— Мы автоматчики,— сказали они.

— Какого хозяйства?

— Хозяйства Батлука!

— Кто впереди вас?

— Впереди нас нет никого! Впереди нас немцы. Сразу вон за тем поворотом...

Они прошли.

— Вот видите, я был прав,— сказал я,— а вон кто-то еще идет!

Когда этот человек приблизился, я громко его приветствовал. На фронте всякое бывает! Вот уж неожиданная встреча. Это был тот знакомый майор, что на стадионе

Ленина открыл мне нового поэта во время Дня физкультурника.

— А вы-то что? — спросил я его.

— Я работаю офицером связи сегодня...

— Как дела?

— Где ничего, где не так уж очень,— осторожно ответил он.

— Тут близко Дубровская ГЭС? — спросил я.— Если ехать прямо...

— Так и приедете. Позавчера тут машина проехала прямо туда. Подъезжают к какой-то части. Там саперы работают. А шофер говорит: «Что-то вроде по-немецки говорят». А подъехали так близко, что те за своих приняли. Ну, а как шофер стал поворот делать и они убедились, что это наша машина, по ней такой фейерверк дали, что шофер сразу самообладание потерял и в кювет машину завалил, а их минами покрыли. Ну, часа два по канаве к нам выбирались. Так что не рекомендую их маршрут повторять...

— А там вы были, в Московской Дубровке?

— Был,— сказал он.— Вы, конечно, о Родионове знаете?..

— Знаю,— отвечал я.— Жаль его, молодец был.

Дивизион противотанковых орудий капитана Родионова до тех пор отбивал атаки немецких танков, пока весь дивизион не погиб. Сам капитан Родионов упал на лафет пушки, умирая. Но, умирая, он видел, как рубеж заняли наши, перед которыми громоздились сожженные дивизионом Родионова танки и сотни немецких трупов. Враг не вышел в тыл нашим наступающим.

— А как в сорок пятой, у Краснова?

— Потери большие, как и у соседа — у двести шестьдесят восьмой...

— А Суворова Георгия видели?

Майор оживился.

— Суворова видел своими глазами. Сражается, как лев, вернее, как сибиряк...

— Значит, он жив?

— Совершенно точно, он жив.

— Ура! — сказал я.— Надо же было нам встретиться в этом лесу, чтобы сразу узнать самые разные новости...

— Наше дело такое: офицер связи,— отвечал он,— а блокаду-то прорвали, здорово! Знай наших, ленинградских! Ну, пока!..

Поздней весной сорок третьего я вернулся с Малой земли, из Приморской оперативной группы. Пришел Георгий Суворов, такой же сдержанный, спокойный, аккуратный, как всегда. Принес новые стихи. Спросил: как там в ПОГе, что я видел? Как петергофские дворцы поживают?

— Поживают они плохо,— ответил я,— от них остались одни стены, если где остались. Я ползал в развалинах Английского дворца, потому что ходить во весь рост там нельзя. Все пристреляно. В этом дворце когда-то даже ручки у дверей были фарфоровые, с золотом. На стенах висели гобелены работы русских крепостных мастеров. Цены им не было. Трудились целые семьи долгими годами. Ковры покрывали полы, выложенные из драгоценной цветной мозаики всех сортов дерева, картины, статуи, вазы, трельяжи, посуда, книги — одним словом, богатства, блеск, старина. Так в комнатах этого дворца дрались врукопашную, из комнаты в комнату, гремели гранаты, раздирая в лоск, в дым все, что было вокруг. Потом немцы, увидев, что дворец не взять, потому что перед ним длинный глубокий пруд, начали вести систематический обстрел на окончательное разрушение. И теперь вокруг в кустах, в руинах можно подбирать куски бархатных занавесей, клочья гобеленов, обрывки ковров, шелковых драпировок, остатки сожженных книг с золотым обрезом, переплетов, куски статуй — крылышки амура, руки нимфы, кусок головы сатира или философа древности. Золоченые обломки рам вперемежку с ножками стульев и обломками цветного паркета... Словом, хаос, над которым еще стоят стены, которые вот-вот обрушатся. И в этих развалинах сидят наши, и я сам видел снайпера, скрывшего свою винтовку под крылом уцелевшего купидона, зажатого упавшим карнизом. А художники-бойцы пробуют зарисовать все, что осталось от прославленных строений. Я думаю, что в Пушкине, Павловске, Гатчине, Ропше — то же самое. Загремел наш восемнадцатый век в тартарары... Страшно подумать, что найдем в Новгороде, в Пскове, когда освободим эти города. От Старого Петергофа нет целого дома — груды кирпича... Ораниенбауму пока повезло, он цел...

— В чем самое ужасное,— сказал Суворов,— ведь фашизм обречен, и это понимают сейчас все, кто с ним борется, это, по-видимому, понимают и сами фашисты. Что им уже не победить — дело ясное. Но сколько еще жертв потребуется, чтобы окончательно свалить Гитлера! Сколько людей погибнет, народного добра, сокровищ культуры!

Как-то нелепо это устроено в жизни! Всем ясно, что фашизм хотел уничтожить народы, их историю, культуру, а дали ему волю. Ведь ясно теперь, что он не устоит, а потом, глядишь, опять будут его из врага делать союзником наши доброхоты на Западе, которые так легко отдали ему под власть всю Европу...

— Конечно, мы кончим Гитлера,— сказал я.— Это мне было ясно в 1941 году. Я тогда, когда нам было необыкновенно тяжко, написал о гибели фашизма:

Громя врага и мстя, мы твердо знаем:
Она пройдет, смертельная пурга,
Последний залп над Рейном и Дунаем
Сразит насмéрть последнего врага!

— А как удивительно,— сказал Георгий Суворов,— что иные защитники Ленинграда никогда не видели города, который защищают! Они поступают на пополнение из глубины страны и прямо попадают в окопы, в леса, в болота, откуда никакого города не видно.

— Для этих защитников города мы в Политуправлении фронта придумали кое-что. Сделали небольшого размера альбом и к нему брошюрку такую маленькую, что можно в кармане свободно носить, как записную книжку...

— А! — воскликнул Суворов.— Так я с этой книжкой тоже по городу ходил. Стоял перед Зимним дворцом, читал надпись на стене, как рабочие, матросы и солдаты брали его в Октябрьскую революцию, стоял на площади, где было Девятое января, где Ленин последний раз выступал в Ленинграде. Я чувствовал, как оживает история прямо передо мной. И немножко это походило на сон...

— Ты напомнил мне рассказ одного командира из ПОГа,— сказал я.— Он — старый ленинградец, уроженец города, знал все пригородные парки наизусть, с детства. И вот в буре этих жутких сражений, когда гитлеровцы наступали как сумасшедшие, и уже выходили на берег Финского залива, осенью сорок первого этот командир, после смертельно тяжелого дня, вышел к Новому Петергофу и вдруг увидел, что он стоит перед Самсоном, над ним золотится фасад дворца, к морю уходит старый канал, деревья в полной летней форме — и тишина. Весь день так гремело вокруг, такие ревы и громы накатывались на бедного человека, что он оглох, был в каком-то нервном возбуждении, плохо отдавал отчет в происходящем, и вдруг он как заколдованный попал в тихий, вечерний парк, где все мир-

но, тихо, обыкновенно. Он стоял и глотал прохладный воздух. Все как будто замерло, прислушиваясь. Ему тоже показалось все это сном. Он не мог насмотреться на такие знакомые деревья, павильончики над каналом, фонтаны, дворец, аллеи, уходившие в глубину парка. Это длилось, может быть, минут пятнадцать, не больше. И вдруг начал катиться к парку весь грохот внезапно возобновившегося сражения. Но все-таки у этого командира было мгновение, когда ему показалось, что война только сон и что он проснулся снова в тихом парке, где все как было. Но — увы!

— А будет день,— лукаво сказал Суворов,— и вы скажете: война, как сон, прошла, и вот снова мирный, зеленый Петергоф. Честное слово, так будет. Я уверен! И фонтаны будут бить. И Самсон золотой будет стоять, честное слово!

...Дивизия стояла на отдыхе. Георгий Суворов с гордостью говорил:

— Мы в гостях у академика!

Рядом действительно была «столица условных рефлексов», как назвал Колтуши великий Павлов.

Домики «столицы» были целы, но пустынны. Упорно трудилось еще несколько ученых, но молчание забвения охватило некогда густонаселенный поселок.

— Вот получаю письма от сестры — она учительница, живет сейчас в большой глуши, пишет, что в лесу ходить страшновато: медведи встречаются. Без сетки и полога там жить нельзя: комар заедает, мошка. Много дичи, уток, гусей, а охотиться некому. Пишет, что хочет встретиться, поговорить о том, как строить жизнь в будущем... Пишет, что, как только очистится Енисей, привезут к ним пятьдесят семейств эвакуированных. Школьники готовятся к их приему — огород посадили... Письма ее очень запоздали. А вот последнее — пишет, что лето в полном разгаре, начался сенокос. Уже на кедрах шишки начинают поспевать, а тут их много. Ягоды — смородина, черника, брусника — наливаются. Свежие маслята... Пишет: «Только твоими письмами я и живу сейчас. Пиши, как идут твои боевые дела...» А то цветы засохшие прислала: кукушкины сапожки, незабудки, ландыши,— «пусть дойдут до тебя, пишет, за то, что сибиряки хорошо драться умеют с врагами...». Вот какая у меня сестра, Тамара... Я люблю цветы. Я в окопах писал про цветы. Вот такие, например, строки:

Цветы, цветы... И там и тут.
Они смеются и цветут,
Как кровь пунцовая сокольи,
Как память павших здесь, в бою,
За жизнь, за Родину свою,
Они цветут на этом поле...

А какое у нас раздолье в Сибири! Если бы вы были на Енисее, увидели бы, как он хорош, широк, могуч, а наш хрустальный, голубой Абакан!.. Горы какие! Пойдешь по лесам — кедр, пихта, ель, а то лавролистный тополь, ивы в три обхвата, птиц, зверя — полное царство! Поедем после войны на Абакан, вы любите бродить по горам, будем бродить целыми неделями, уйдем дышать и наслаждаться природой. И Олега Корниенко возьмем, он хороший мужик, дружок боевой. Я про него стихи написал. Послушайте:

Мы вышли из большого боя
И в полночь звездную вошли,
Сады шумели нам листвою
И кланялися до земли.
Мы просто братски были рады,
Что вот в моей твоя рука,
Что, многие пройдя преграды,
Ты жив и я живу пока.
И что густые кудри ветел
Опять нам дарят свой привет.
И что еще не раз на свете
Нам в бой идти за этот свет.

И действительно, бой разразился с новой силой там, где над широкой торфяной равниной, пересеченной сотнями канав, заболоченной, мрачной, возвышаются Синявинские высоты, которые в эту пору походили на вулканы, извергающие огонь и дым. В болоте и на подступах, после страшнейших по упорству боев, длившихся с июля по сентябрь, гвардейцы вышли на высоту, искромсанную по всем направлениям, заваленную обломками оружия и трупами. Одиннадцать немецких пехотных дивизий обескровливались в течение всего лета в этой болотистой пустыне. Но главное для ленинградских гвардейцев было еще впереди...

...Снова стояли темные январские дни, но город был полон ожидания чего-то необычайного, что вот-вот должно произойти. Только удивляла погода. Она и в самом деле была странная. Нева никак не могла замерзнуть, и говорили, что лед на заливе не очень-то хорош для пешего

хождения: слишком разорван и местами тонок, для буксира плох — слишком плотен там, где фарватер.

И вот из отдельных передававшихся как секрет новостей сложилось убеждение, что за Кронштадтом, в отрезанной от города Приморской оперативной группе, ожидается какое-то движение, вернее, оно даже началось, и командиры и солдаты, приехавшие оттуда в Ленинград, спешно возвращались. Но возвращаться было трудно, потому что лед на заливе был ненадежен. Что делать? Но тут же сообщалось на ухо, что особые корабли и самолеты перебросят всех оставшихся, потому что они обязательно должны попасть в свои подразделения.

И на большом фронте перед городом началось заметное шевеление. В один неожиданный вечер ко мне вошел во всем походном снаряжении Георгий Суворов. Он был откровенно радостен, возбужден, праздничен.

— Ну, теперь,— сказал я, приветствуя его,— не надо мне ничего говорить, я вижу, что вы тоже двинулись, и даже могу предвидеть, как ясновидящий, что гвардейцев не обидят и они будут где-нибудь в центре, скажем, у Пулкова, ждать своего часа.

Он засмеялся: вот теперь будет новая тема, чтобы я мог закончить книгу стихов как следует...

Из его стихотворений постепенно собиралась первая книга, которую сначала он хотел назвать «Тропа войны». Было у него такое стихотворение, где говорилось и о Сибири и о войне. Но потом он решил переменить название.

— Надо назвать проще и точнее,— говорил он.— Я солдат. И книгу назову «Слово солдата».

Все собравшиеся у меня в тот вечер были полны ощущения готовящегося. Надо сказать, что за долгие месяцы осады, боев, обстрелов города, бомбежек у нас не было никакого суеверного отношения к приметам или предсказаниям. Никто из моих друзей, в мирное время веривших в карточное гадание, во время войны просто не имел никакого желания узнавать свою судьбу.

Мы хорошо понимали, что мы не бессмертны, что каждый час таит опасность и случайности войны слишком многообразны. Только когда рядом падал товарищ, мы начинали по-другому ощущать себя. А кроме того, для чего говорить о смерти, когда она просто жила рядом с нами?.. Мы уже ничего не боялись, а тем более накануне самого большого удара по врагу. Это не составляло тайны даже

для немцев. Они хорошо знали, что по ним ударят, и только не знали точного срока.

Георгий Суворов был так радостен, потому что он ждал этого дня, как праздника. Он забежал ко мне — его дивизия перебазировалась скрытно на ту последнюю позицию, с какой она должна сделать бросок. Я сказал перед расставанием Георгию Суворову:

— Гоша! Почему ты пошел в бронебойщики? Это правда?

— Да,— сказал он,— я командую взводом противотанковых ружей.

— Зачем это?

— Так нужно! — ответил он весело.— Ну, давайте прощаться. При встрече поговорим!

Мы крепко обнялись. Он сказал уже на лестнице:

— Больше нас ничто не остановит. Я это чувствую всем сердцем и могу подтвердить чем хотите. Я лично буду драться так, что вы обо мне услышите!

...Когда Георгий Суворов смотрел перед решающим рассветом с Пулковской горы на равнину, погруженную во мрак, он хорошо представлял себе, как эта равнина прочерчена пятью линиями траншей, засыпанных снегом, как в сотнях дотов и дзотов сидят дежурные пулеметчики и стрелки и дремлют, не ожидая ничего неожиданного от этой Пулковской высоты, перед которой они живут уже два с лишним года; перед ним как бы вставали отвесные срезы эскарпов, волчьи ямы, повисшие, отяжелевшие в морозном тумане кольца спирали Бруно. Под раскинутыми во все стороны проволочными заграждениями, на снежных подушках притаились бесчисленные мины, фугасы с секретом, ловушки. Целый мир, созданный для уничтожения тех, кто осмелится вторгнуться в черные владения гитлеровской орды, закопавшейся в ленинградскую землю.

В полевой сумке у него среди стихов и разных записок лежало письмо от знакомой девушки, которая тоже была в армии. Она написала ему, что ждет его в городе. Ей исполнится двадцать лет, и она хочет справить день рождения. Она писала с притворным ужасом, что ему уже двадцать пятый год: подумать только, как много! И еще писала: «Я ожидаю изменений, как и ты, впрочем. Итак, если не будет существенных изменений, о которых сообщу, то жду 29 января». И подпись: «Людмила».

Он усмехнулся: существенные изменения произошли! Сейчас пятнадцатое января, и через несколько часов он

бросится со своими бронебойщиками в ту кипень сражения, которое начнется в одиннадцать часов.

До одиннадцати еще было далеко, когда разверзлось море огня и грома. Земля, проволока, накаты блиндажей, лед, снежные бугры, орудия, куски дзотов смешались в черно-серой туче, которая окутала вражеские позиции, и когда кончилось это извержение вулкана ненависти и истребления, человек с узкими, длинными глазами, со шрамом на подбородке, с чисто выбритым лицом, широколобый, приникший к стереотрубе, увидел множество людей, бежавших по всему пространству туда, где все гудело, и трещало, и выло, и оседала чудовищная черная туча.

— Хорошо идут гвардейцы! — закричал он.— Вперед, вперед, не задерживайся!

Это был командир корпуса, Герой Советского Союза генерал-майор Симоняк, который, конечно, не мог видеть, как в рядах его гвардейцев идет молодой поэт, пришедший с далекого Абакана, из Хакассии, чтобы участвовать в разгроме врага под Ленинградом.

Дальше начинался эпос — то состояние событий, когда сшибаются массы, огромное пространство приходит в движение и только на картах отмечается лихорадочное передвижение стрел, направленных внутрь разгромленного вражеского плацдарма.

Через несколько дней ночью у селения Русско-Высоцкого соединились все пехотные части 30-го гвардейского корпуса. И дальше и дальше по ленинградским дорогам уходили, преследуя отступающего врага, воины-мстители.

Шли дни, и кончался бурный, необыкновенный январь. Уже за Кингисеппом неудержимой лавиной катились полки гвардии, уже стояли на площадях Ленинграда те чудовища, что несли городу смерть и разрушение, тяжелые орудия, по которым теперь лазали ленинградские мальчишки. Уже сотни километров отделяли передний край от города на Неве.

Давно прозвучал торжественный залп ленинградской победы. Берега Невы осветились взлетом тысяч ракет, люди плакали, не скрывая своей радости. Страшные дни осады кончились навсегда.

Шел к концу дымный, метельный февраль. Однажды ко мне в московскую комнату — я жил тогда в Москве, в гостинице,— постучали.

Я не мог не приветствовать горячо моего знакомого майора, того самого, с которым мы вместе были в блокаде,

того, который первый показал мне стихи Георгия Суворова.

Я давно ничего не знал о друзьях, так как все они были в походе, в непрерывных сражениях, и теперь я забросал приехавшего вопросами: как жизнь, как дела на фронте, что нового?

Он отвечал точно и весело, потому что дела шли отлично и в Ленинграде все еще переживали радость вражеского разгрома. Трудно даже представить, что можно свободно ходить по улицам, не опасаясь обстрела или бомбежки.

— Вот новые стихи Георгия Суворова,— сказал он, когда я только раскрыл рот, чтобы спросить о нем.

Я взял стихи и прочел их вслух:

Когда-нибудь, уйдя в ночное
С гривастым табуном коней,
Я вспомню время боевое
Бездомной юности моей.
Вот так же рдели, ночь за ночью
Кочуя с берегов Невы,
Костры привалов, словно очи
В ночи блуждающей совы.
Я вспомню миг, когда впервые,
Как миру светлые дары,
Летучим роем, золотые
За Нарву перешли костры.
И мы тогда сказали: слава
Неугасима на века.
Я вспомню эти дни по праву —
С суровостью сибиряка...

— Вот молодец, что вы привезли его стихи! Когда вы видели его последний раз?

Майор слегка нахмурился, припоминая:

— Я видел его десятого или девятого февраля...

— А где он сейчас?

И вдруг мой жизнерадостный друг посерел, он даже стал смотреть в угол. Стоял молча, сжав губы.

— Что же вы не отвечаете?

Он продолжал молчать, но поднял глаза и посмотрел на меня так, что я почувствовал: отвечать нечего! Я понял...

В комнате наступила тишина, подобная той, что испытал знакомый командир однажды в Петергофском парке, тишина затаившейся беды. Я прервал тишину. Я только спросил:

— Когда?

— Тринадцатого февраля — на переправе через Нарову!

Я невольно взглянул на календарь. Сегодня было двадцать третье — День Красной Армии!..

Мирно цветут рощи, стоят неизменные горы. Где-то шумит тайга. Течет плавно, неся громаду вод, царственная Нева, стремится голубой, хрустальный Абакан. Охотники идут за зверем. Молодые бронзовощекие хакасские парни со смешанной кровью.

На правом берегу Наровы розовый иван-чай и белые ромашки окружают могилу, в которой лежит погибший в бою поэт, гвардии лейтенант, командир взвода противотанковых ружей Георгий Суворов. Ему было только двадцать пять лет.

Я иду по той улице Ленинграда, по которой мы не раз ходили с поэтом. Нет больше разбитых домов, изуродованных стен, нет кроватей, висящих на перебитых балках. Годы войны ушли в прошлое.

Я говорю со своим спутником о днях осады, о друзьях и товарищах, о временах боевого братства. Мы говорим о Георгии Суворове. В его походной сумке обнаружили потрепанные блокноты, сверху донизу исписанные стихами. Книга избранных его стихов вышла в Ленинграде и в Абакане. Она называется так, как он хотел,— «Слово солдата».

Он жил и умер как поэт, и если поэту даны предчувствия, то он предчувствовал свою гибель, но мрака не было у него на сердце. Вот как он заканчивал стихотворение, написанное на берегу Наровы о Дне Победы:

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время утекло!
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей...

ГИБЕЛЬ ЭПОПЕИ

Прошли большие годы, но я отлично помню тот далекий вечер, когда быстрый, как ртуть, веселый, как юный бес, язвительный, остроумный, полный неслыханных знаний, азартный Лев Лунц читал мне и Всеволоду Рождественскому, переводя прямо с листа, стихи гениального португальского поэта Луиса де Камоэнса.

Он брал отрывки из бесконечных строф «Лузиады», и полные чужих звуков, сладостные, странные стихи звучали как магические заклинания. Пышные описания особо ощущались в нашей спартанской комнате, где стояли две железные кровати, печка-буржуйка и несколько старых стульев.

Лев Лунц, удивительный знаток романских языков, владел даром импровизационного перевода, при котором не терялось ничего из обильного богатыми сравнениями текста. Мы точно видели своими глазами жемчужины далекой от нас португальской поэзии, которые он так талантливо рассыпал перед нами.

Но когда он дошел до третьей песни, где рассказывалось о драматической судьбе красавицы Инессы де Кастро, возлюбленной инфанта, и Лунц переводил полные страстного негодования строфы об убийстве несчастной Инессы, дверь распахнулась и вместе с порывом холода в комнату вошел тяжелым шагом командора поэт Нельдихен, странно вытянув руку с каким-то небольшим свёртком.

Чтение прервалось. Мы смотрели на Нельдихена, не понимая причины такого неожиданного вторжения. Он подошел к столу, не снимая своей несменяемой черной кры-

латки морского образца, застегнутой на груди цепочкой, которую держали бляхи с изображением львиных голов, положил сверток на стол и начал медленно разворачивать.

Оставив Камоэнса, мы следили за его руками, заражаясь непонятным волнением. Автор книги стихов «Органное многоголосье» был человеком странных противоречий. Он мог блеснуть неожиданным острым каламбуром и мог явиться тупым, обыкновенным пошляком, мог тонко говорить об искусстве и вдруг обернуться самым замшелым мещанином.

Нельдихен торжествующе развернул бумагу, и мы увидели небольшой кусок черного, хорошо выпеченного хлеба, никак не похожего на тот, который выдавался по карточкам. В том была такая большая прибавка жмыхов, что можно было, стукнув по куску хлеба, получить плоскую лепешку, из которой торчали разного цвета и величины мягкие иглы.

— Где достал? — спросили мы.

— Купил,— ответил он, отламывая кусок и со вкусом жуя его в позе победителя.

— У спекулянтов? На Обводном?

— Нет, в магазине!

— Врешь! В каком?

— Внизу, в нашем доме, только с Морской, не с Невского, вовсю торгуют... Но сейчас поздно, уже закрыли. Я последним покупал...

— У нас в доме открыт магазин — и торгуют?

— Открыт!

— И свободная продажа?

— Свободная! Всем, кто хочет. Давай миллионы и бери...

Что это значит, мы не знали. Когда Нельдихен ушел, мы еще долго говорили с Лунцем и со Всеволодом об этом необычайном событии.

Утром мы стояли перед магазином. Это был небольшой магазин, с одной дверью и одним длинным окном. До революции в нем продавали ноты и граммофонные пластинки.

Теперь перед взорами изумленных зрителей за стеклом были расставлены тарелочки. Их было не много. На одной лежало пять яиц, между ними была поставлена палочка, на которую была наколота бумажка с точной надписью: «Яйца». На второй тарелочке был добрый кусок хлебного каравая, и над ним надпись: «Хлеб». Свежий шпик, отли-

вавший розовым блеском постного сахара, так он был плотен, имел свою бумажку, и на ней стояла надпись: «Шпик», точно можно было усомниться в его принадлежности к продуктовому царству.

Были тарелочки с кусками рафинада, маслом, сыром. Над ними тоже были надписи, но никакой цены не стояло. И хотя всего этого добра было не много, но, собранное вместе, оно казалось огромным и недоступным для стоявших у окна прохожих, бросавших на него жадные взгляды. Кое-кто из них заходил в магазин, где его встречали две миловидные, в белых передниках продавщицы, и тотчас же выходил и удалялся разочарованно ворча, выражаясь довольно сильно по поводу цен, или молча, возмущенно пожимая плечами.

У окна было человек десять любопытствующих, когда к магазину подкатил черный большой автомобиль. Из него вышел полный, почти круглый человек небольшого роста, в новом черном пальто, в черной фетровой шляпе. Человек показался мне знакомым, но он так быстро прошел в магазин, что я не успел его как следует рассмотреть. И тогда стоявшие на улице затаив дыхание увидели, как продавщицы забирали с тарелок по очереди все, что на них лежало. Уже исчез шпик, и хлеб, и колбаса, уже от сахара и масла остались одни бумажки, а они все продолжали опустошать окно. Все, что сняли с окна, они проворно завернули в один сверток, завязали веревочкой с кокетливым узелком.

Покупатель беззаботно заплатил за это богатство, с улыбкой попрощался за руку с продавщицами и открыл дверь на улицу. Люди смотрели на него как на фокусника, который ловко посмеялся над ними, точно окно было только иллюзией, игрой красок и ничем больше. Его пустота удручала...

Когда он взялся за ручку автомобильной дверцы, я узнал его. Я громко сказал:

— Одну минуту!

Он нехотя повернул ко мне свое рыхлое, желтотворожное лицо, с обвисшими, как у породистой собаки, щеками.

Я сказал грубо:

— Интересная встреча, не правда ли? У вас хороший аппетит, корнет Сакс!

Он посмотрел на меня настороженно. В его глазах мелькнул страх, но он справился с ним и ответил почти угрожающе:

— Что это значит?

— А что это значит? — спросил я, резко показывая на сверток.

Он как-то ядовито усмехнулся своими чуть косившими глазками, утонувшими в жиру, и, сложив губы бантиком, сказал, успокоившись:

— Что это значит? Это значит нэп, новая экономическая политика, месье и мадам! Оревуар!

Он обвел всех, как на сцене, презрительным взглядом и сел в черную машину, которая сразу пошла быстрым ходом, увозя богатство, стоившее миллионы миллионов.

На опустевшие тарелочки продавщицы накладывали новые порции волшебных товаров. Ко мне повернулись стоявшие у окна.

— Кто это? — спросил один из них.

— Это корнет Сакс, бывший казначей гусарского полка. Дерьмо! — сказал я.

Спросивший сплюнул:

— Таких мы щелкали в гражданскую запросто.

Женщина с впалыми щеками поддержала его:

— Видно, что бывший, не настоящий, в щели, видишь, где-то отсиделся. Неплохо, видно, живет, брюхо-то откормил...

— По-видимому, неплохо,— сказал я, уходя.

Так начинался нэп — крутой поворот истории, сложные, длинные годы, когда шел смертельный бой за будущее. Когти ожившего капитализма рвали живое мясо страны, и так обескровленной, обессиленной войной и разрухой.

Многое из того далекого времени видится как в тумане. Смутно я помню, с какой быстротой выросли частные предприятия, появились всюду магазинчики, кабачки, воскресли лихачи с довоенными широкими поясами, разодетые нэпманские дамы. Зажглись огни клубов, где у карточных столов возникли точно с того света вернувшиеся крупье; бритые, равнодушные, безжалостные капиталисты, дивы с салонными собачками, с обезьянками, рекламы ночных ресторанов. Зароились спекулянты, мгновенные миллионеры, растратчики, подозрительные типы, годные для самых темных услуг. Заработала черная биржа. Мираж обогащения заволакивал сознание, звал на любую подлость, соблазнял легкой жизнью.

Люди революции, вернувшиеся с полей битв красноармейцы становились хозяйственниками, изучали законы

торговли, вставали за прилавок, вели коммерческие операции с представителями иностранных торговых фирм.

Пестрый вихрь самых различных устремлений и переживаний охватил и литературные круги. Процветала богема, шли бесконечные споры, доходившие порой до драк между приверженцами самых разных групп, направлений, течений. Аренами этих битв стал и Дом литераторов на Бассейной и так называемый «Диск» — Дом искусств на Мойке. Множество молодых людей, главным образом поэтов, за годы нэпа побывали в самых разных группах, шли за говорунами, скороспелыми вождями, которые оказывались по истечении небольшого срока полными банкротами, меняли убеждения чуть не еженедельно. Все это подобие литературной Сечи издавало свои манифесты, обращения, приказы, декларации, злобно поносило противников на бесчисленных диспутах, шумно плясало на телах поверженных соперников.

Тут встречались люди не только разных литературных направлений, но и политических взглядов, иногда самых враждебных советскому укладу жизни.

Кто, кроме теоретиков и историков, помнит, в чем была суть этих школ и школок того времени? Помимо существовавших до революции футуристов, символистов, акмеистов, на сцену вышли конструктивисты, пролеткультовцы, экспрессионисты, неоклассики, презантисты, новокрестьянские поэты. А там за ними, точно племена поэтических джунглей, ринулись, ошеломляя читателя, ничевоки, биокосмисты, появились даже коекаки и обереуты. Один из поэтов провозгласил себя Председателем Земного Шара, наследником Хлебникова.

Если золотой рубль стоил сто с лишним миллионов бумажных рублей, то и стих этих новорожденных гениев мог соперничать с бумажной валютой.

Язык времени был громок и условен. В стихах выражались с предельной гиперболичностью. Трудно представить себе это сегодня.

Наряду с разноголосым разливом стиховой стихии несколько позже возникло настоящее упадничество. Оно вызывало пьянство, самоубийство среди молодежи, порождало цинизм и пессимизм. Обнажение нравов стало обыденным явлением. Как бесы самой беспардонной породы, возникали всяческие литературные витии и модные увлечения. С ними носились, они гремели, тускнели, исчезали безвозвратно. Им на смену возникали новые.

Так появился в свое время и имажинизм. Он также имел свой наступательный период, также потрясал воздух декларациями, любил вечера со скандалами. Есенин, его вождь и провозглашатель, однако, быстро в нем разочаровался и решительно отринул его. Но в период его расцвета ленинградская группа имажинистов была вполне воинственной и дружной, хотя и пестрой по составу. Есенин держал имажинистов в черном теле: при нем они должны были вести себя строго, подчиняясь его приказу, и, как солдаты, шли в атаку, только когда он давал сигнал.

И вот среди шумной литературной толчеи того невероятного времени, на фоне бурной богемной жизни и явился передо мной один молодой человек; его я часто встречал на самых разных литературных вечерах, среди обычных и необычных компаний.

Он был завсегдатаем тогдашних литературных салонов, посетителем диспутов, оратором, танцором, яростным спорщиком, большим приверженцем поэзии Сергея Есенина. Он входил в ряды имажинистов, чем-то очень отличаясь от них.

Звали его Владимир Ричиотти. Говорили, что у него какая-то другая фамилия, более простая, но эта, с итальянским, каким-то романтическим звучанием, очень шла к его рослой, сильной фигуре, веселым глазам, всегда бодрому настроению.

Он легко появлялся всюду, окруженный друзьями, подружками, и так же легко исчезал неизвестно куда; он как бы плыл сквозь эту разноцветную невидаль, и ему одному было ведомо, куда он держит курс и чего он хочет от жизни. Никогда я не видел его пьяным, хотя мне и приходилось пить в компании, где был и он.

Ричиотти меня заинтересовал. Я начал приглядываться к нему, узнавать о нем. Он был не похож на своих товарищей литераторов, у него был свой стиль поведения. Он, даже принимая участие в скандальных диспутах, выступал скорее озорно, с какой-то неуловимой манерой, не похожей на типичные для богемы хулиганства.

Один случай сильно поразил меня.

В погожий, жаркий, летний день после обеда у Сахарова, друга Есенина, поэт в сопровождении нескольких имажинистов шел по набережной мимо Летнего сада. Был такой поэт Приблудный, человек неприкаянный, самых неожиданных выходок. Происхождение его было окутано мраком неизвестности. Говорили, что он сын бывшего цар-

ского посла в Сербии Гартунга, прибалтийский немец. Он писал в модном духе стихи, прилип к Есенину и мог вытворить какие угодно скоморошества. Так и сейчас, он снял с себя одежду, остался в одних трусах, влез на гранитный парапет и шествовал по парапету рядом с Есениным, возвышаясь над ним своей загорелой, мясистой фигурой с какими-то мудреными татуировками на теле. Он вопил стихи, плевал в Неву и вызывал удивление и негодование прохожих.

Есенин велел ему слезть и одеться. Но он вошел в раж и стал, громко насвистывая, приплясывать на парапете.

— Слезай и уходи! — закричал ему выведенный из себя Есенин.

Приблудный смачно сплюнул и начал похабную частушку. Тогда к нему приблизился спокойный, большой Ричиотти и сказал ему тихо, но внушительно:

— Тебе сказали — уходи! Смывайся немедленно, а то...

— А то что? — с вызовом спросил Приблудный.

— А то я тебя сейчас сброшу в Неву! Будь спокоен! — сказал Ричиотти.

Приблудный взглянул в его безмятежные черные глаза, не сказал ни слова, слез, оделся и ушел не попрощавшись.

Есенин спросил, смеясь:

— Володя, но ведь ты бы не сбросил его в Неву?

— Сбросил бы,— отвечал Ричиотти,— он бы хорошо нырнул...

— Подумайте!

Я стал выяснять, откуда Ричиотти принесло в наши литературные пределы. Оказалось, к моему удивлению, что он моряк, плавал на торговых судах, на военных, был юнгой, с юных лет служил на «Авроре», брал Зимний, был среди немногих раненых, после дрался на фронтах гражданской войны. Ранен вновь в бою с белобандитами под Пензой. Потом его очаровала прекрасная дама — поэзия, и он начал писать стихи... Имажинисты, в особенности Есенин, пришлись ему по душе. Таким вот образом богема получила его, непосредственно вышедшего из волн Балтики. Это было в те времена вполне обычным.

Я преподавал тогда в Институте живого слова — было такое заведение, очень в духе времени; оно имело три отделения: литературное, журналистское и ораторское.

На вступительном экзамене попадались самые разные характеры. Впрочем, почти все поступающие отличались малой начитанностью и даже малой грамотностью. Так,

один экзаменовавшийся по русской литературе на вопрос, читал ли он кого-нибудь из русских классиков, отвечал:

— А как же! В школе, когда учился, всех читал, а как же!

Но когда его попросили: «Назовите хоть одно имя классика»,— он горестно сказал:

— Можно подумать?

— Подумайте!

Подумав, он заговорил поспешно:

— Честное слово, всех читал, а вот не могу припомнить ни одного.

— Ну, Гоголя, например, читали?

— А как же! Конечно, читал, в школе еще всего прочел...

— Ну, назовите мне хоть одно произведение Гоголя.

— Можно подумать?

— Можно!

— Все читал произведения, в школе еще, а вот не могу сейчас припомнить...

— Ну, «Мертвые души» читали?

— А как же! Еще...

— Да, да, мы слышали: вы еще в школе читали. Ну, кто главный герой «Мертвых душ»? Можете подумать...

— Чириков! — отвечал он и, видя, что мы невольно улыбаемся, еще уверял: — Честное слово, Чириков, как сейчас помню...

— А может, все-таки Чичиков? — говорю я.

— Ну, Чичиков, так ведь я же знаю, еще в школе...

Среди таких экзаменующихся попался мне и матрос, который не умел ни написать, ни складно рассказать прочитанное. Его самого взяла оторопь, и он воскликнул, вытирая пот со лба:

— Знаете, я так думаю, что для вас, знаете, нужна изобразительность, я понимаю. Я могу изобразить, например, как стреляют из пушки. Изобразить?

— Изобразите,— сказал я.

Матрос преобразился. Он сбросил бушлат и начал так картинно показывать, как заряжают орудие, так ловко вставлял команды, подавал реплики в сторону, так великолепно разыграл всю сцену, что мы не знали, что с ним делать.

Кто-то из экзаменаторов спросил:

— А на какое отделение вы хотите попасть?

Матрос встал, надел бушлат и сказал, помедлив, чуть смутясь:

— На ораторское.

— На ораторское можно. В ораторы годитесь. Жест у вас сильный, убедительность есть. Там сам Кони преподает, он из вас оратора сделает первый сорт...

И я, думая о Ричиотти, вспоминал этого матроса, который решил стать оратором. Ричиотти был поэтом, писал стихи, но его стихи не выделялись из огромного моря стихов, волны которого били в берега всех редакций. Иногда он заходил ко мне, один или с общими знакомыми, в беседе он был внимательным, хорошо держался и становился для меня все более и более загадочным.

Я думал часто о том, почему этот, в сущности, сильный человек моря, не интеллигент, выросший на книгах, стал имажинистом, почему ему нравится жизнь богемы, ему — моряку с «Авроры»! Еще больше я удивился, когда мне рассказали, как Ричиотти во время революции спас корабль «Агитатор», где из всей команды осталось налицо пять человек. Он привел его с товарищами, совершив вместе с другими кораблями исторический ледовый поход.

С фотографии восемнадцатого года глядит молодой, жизнерадостный человек, бронзовощекий, с хорошим, открытым взглядом, крепкий, с лихо заломленной бескозыркой, на которой стоит имя того корабля, которому он спас жизнь,— «Агитатор».

Годы сменяли годы неудержимо. Однажды я его увидел в Доме печати, куда пришел на какой-то литературный вечер. Все места в зале были заняты, но вдруг я увидел целый ряд пустых мест около самой стены. Ричиотти повлек меня туда.

— Странно, почему все места заняты, а тут свободно?

Человек, сидевший в стороне, сказал ехидно:

— Не радуйтесь, вы сами сбежите с этих мест!

— Почему?

— Там целый вечер никто не выдерживает. Посмотрите, что рядом...

Я посмотрел и слегка содрогнулся. Стена была расписана художником ужасно левого направления, и столь страшно, что прямо на вас бросалась с разинутой пастью отвратительная, селедочно-крокодиловая голова реакции, глотающей целые народы, а над ней возвышался череп империализма, и какие-то кровавые черви вылезали из его глазниц. Там было еще что-то сиренево-вопиющее и густо-

шерстистое, вроде волчьего оскала; там была и ослица, нарисованная так, что она падала на сидевшего напротив, язык ее свисал до земли, она смотрела огромными человеческими женскими глазами, из которых сыпались лиловые, как сливы, слезы.

Я понимал тех, кто не хотел сидеть целый вечер рядом с этим собранием кошмаров. И действительно, как вы ни отворачивались, как ни смотрели на сцену, вы все время чувствовали эти глаза, эту пасть, щелкающую над ухом, а черви, вам казалось, уже ползут по вашему рукаву. И мы тоже не высидели. После перерыва мы не вернулись на свои места.

— Но вы ведь, Володя, были имажинистом,— сказал я,— вам это должно быть близко?

Это было во времена, когда Есенин уже умер, имажинизм увял, поэты, принадлежавшие к этой группе, разбрелись.

Ричиотти улыбнулся — у него была хорошая улыбка — и сказал:

— Это была детская болезнь. Вроде золотухи. Я теперь пишу уже по-другому. А селедку я видел и пострашнее — когда гнилой селедкой кормили моряков и никуда с корабля не денешься. Я видел еще много вещей пострашнее этих картинок, но об этом как-нибудь при случае...

Как-то я гулял на Островах и встретил Ричиотти совершенно случайно. Был тот настораживающий час майского вечера, когда все делается невероятно отчетливым, воздух — холодным и прозрачным, янтарные дали застывают. Над стеклянной водой, в светлой ясности вечера, как будто совсем рядом скользят яхты, бесшумно держа путь в неизвестное. Вокруг тишина и безлюдье. Все гуляющие устремляются дальше, на Стрелку, а тут, на берегу Петровского острова, можно спокойно наслаждаться одиночеством.

Мы сели на берегу на старые бревна и молча курили. Было так тихо, что не хотелось прерывать молчания. Мы слушали тишину. Ричиотти, ничего не говоря, протянул руку к противоположному берегу. Я увидел странное зрелище. Вдоль болотистого, заросшего высокой травой берега с песчаными оплывами, перед большими старыми березами выстроился целый флот. С первого взгляда казалось, что все в порядке. Это отдыхает бросившая якорь эскадра.

Но, вглядевшись, мы с удивлением обнаружили покосившиеся мачты, ржавые болты, обвалившиеся мостики, перепутавшиеся ванты, траву, выросшую на палубах, ворон, сидевших нахохлившись на реях.

Иные мелкие кораблики лежали просто на боку, привалившись к берегу, иные как будто делали усилия вырваться из этого скопища инвалидов на вольный простор, но их покоробленные бушприты, их разъеденные временем борта, пустые дыры якорных клюзов, без цепей и якорей, говорили о невозвратимом времени, когда они были молоды и рассекали волны.

Ржавые палубы напоминали о безвыходности, мачты походили на ветви непонятных безлиственных деревьев. Какое-то отупение лежало на всем собрании этих морских коробок, которые больше никогда не увидят моря, не услышат голоса капитана.

— Кладбище кораблей,— сказал Ричиотти.— Брошены на слом. Закон навигаций беспощаден: или плыть, или гнить.

— Володя,— спросил я,— вы действительно плавали много на кораблях?..

— Много не много, но плавал и даже тонул...

— Это что было — кораблекрушение?

— Нет, подводная лодка,— отвечал он, ломая сухой сучок и бросая его в воду.

— Тяжелый случай? — спросил я.

— Восемнадцать часов проплавал с бревном... Подобрали...

— Вы бывали и в дальних плаваниях?

— Бывал, юнгой, матросом был. Разные моря видел.

— Какое же море вам пришлось больше всего по душе?

— По душе? Конечно, родное наше, Балтийское!..

— Вам, наверное, грустно смотреть на это кладбище кораблей? — спросил я.— Оно и не моряку говорит о многом: о забвении, о бывшей большой жизни, о далеких плаваниях, о товарищах-спутниках, о дальних странах...

Он начал смеяться тихим смехом. Я не мог понять такой перемены настроения. Ничего смешного не было в том, что я ему говорил. До этого он как бы собирался с мыслями и сидел молча.

— Володя,— сказал я,— почему вы смеетесь? Вам смешны рассуждения такого сухопутного человека, как я?

— Нет, я смеюсь не над вами. Я понимаю вашу жалость к этим ветеранам мира. Но я вспомнил одну историю,

имевшую место в начале нэпа. Это смешно и удивительно в то же время. Такой второй истории я не знаю. Помните, когда начался нэп, всюду стали осматриваться по-хозяйственному, потому что надо было приводить в порядок буквально все: заводы, фабрики, надо было выбраться из такой разрухи, какой свет не видел. Ну, взялись и за Ленинградский порт. Тогда он, конечно, еще был Петроградский. Вы ведь бывали в порту теперь и имеете представление, что это такое. Причалы, склады, краны, элеваторы, холодильники — порядок, чистота, дисциплина.

Ну, а в те времена это было нечто вроде этого кладбища кораблей, только в большем масштабе. Трава, запустение, пустота, ржавое железо, корабли в таком виде, что взглянуть страшно. Никуда не ходили, а куда пойдешь — война, блокада! И надо их на воду большую пускать, а нехватки вокруг. Прямо хоть за голову хватайся и волком вой...

Взялись морячки за дело, а тут нэп этот самый и до порта добрался. Были в порту два старых парусника, одного не помню названия, другой — про него и пойдет рассказ — назывался, кажется, что-то вроде «Раат». Слово эстонское, но и по-эстонски ничего не значит. Вроде как просто фамилия бывшего владельца. Тенденция такая возникла у властей — исправить эти суденышки. А тут как раз и является такой старикашка, капитан Андерсен, и с ним компаньон-купец. Это значит: старый волк моря уговорил купца-нэпмана взять корабль в эксплуатацию со всеми последствиями. Это значит, что так называемое «Простое товарищество» обязуется отремонтировать корабль, привести его в полный порядок, набрать экипаж по своему вкусу, получить груз и начать рейсы.

Фантастическая история в свете сегодняшнего дня. А тогда, когда кругом были только большие надежды и больше ничего, эта фантазия казалась самой простой реальностью. Но дело в том, что заводилой этого всего был капитан Андерсен, стосковавшийся по морю морской волк, уже отдыхавший на пенсии, а тут он так разъярил купца, так вкрутил ему немыслимые морские возможности быстрого обогащения и роскошной жизни, что тот, никогда не ступавший на палубу, во все поверил. Пошли они смотреть с комиссией от порта корабли. Повели их прямо к паруснику. Ну, сосед «Раата» был уже в таком виде, что хоть сразу на дно пускай, а «Раат» как будто еще

храбрился. Правда, до мачт дотронуться страшновато, могут и свалиться на голову; борт — никуда, рулевая и штурманская рубки похожи на избы, что строят на плотах,— до того обветшали: в рангоуте верхних фор-краспиц и верхних грот-краспиц вовсе нет — точно их и не было; такелаж в ужасном виде, а уж о бом-кливер-шкотах и фор-стаксель-шкотах и говорить нечего...

— Дорогой Володя,— попросил я,— говорите, если можно, без этих фор-стаксель-шкотов и без фор-краспиц. Мне это ничего не объясняет, я лучше пойму, если вы скажете попроще...

— Попроще,— сказал Ричиотти,— хорошо. Одним словом, и стоячий такелаж, и бегучий такелаж, и паруса — ни к черту. Попроще — гниль! Начальство обращается к предпринимателям: как, будете брать на восстановление? Купец в растерянности, капитан его толкает в бок. Оба говорят: будем!

Как уж они там восстанавливали, но восстановили. Пришел срок, даже экипаж набрали. Так как купец захотел во что бы то ни стало поплавать и так как у него никакой специальности не было морской, его коком зачислили. Появился и шкипер, одноглазый, но бодрый духом. Говорит: «Я и одним глазом все насквозь вижу!» Ну, видишь — так дело ваше: вам плыть. Экипаж весь вперемежку: и настоящие матросы, и какие-то бродяжки, и вообще черт-те знает кто.

Ремонт окончили. Пошла вторая, приемная комиссия. Все проверяет, что по штату положено.

«Где якоря?» — спрашивают.

«Вот — один налицо, другой в воде!»

А в воде, как потом узнали, никакого якоря нет, только цепь для виду спущена.

«Где корабельные карты?»

«Вот тут часть, а вторая вон на шкафу...»

Видят — на шкафу целый ворох.

«О, у вас много, вы должны поделиться, мы нуждаемся в картах...»

Купец смотрит на капитана Андерсена. Тот говорит: «Конечно, поделимся, разберемся и поделимся».

А там ворох не карт, а старых бумаг.

«Где картошка?»

Это спрашивают про компас. Тут капитан стал бить себя в грудь, клянется, что компас в починке.

«Верите вы нам?»

«Верим, понимаем, что без компаса в путь не пойдешь. Где неприкосновенный запас продуктов?»

«Вот,— правда, не весь, но вы верите нам, что будет полный?»

Поверили, выдали удостоверение на право поднятия флага. Дали груз — доски.

Закипела работа перед выходом в море. Для компасной коробки нужен спирт. Кто-то из подлецов в команде украл его и выпил. Капитан продал галоши, купил спирт. Инструментов для определения исправных нет. Секстанта нет. Ну, на нет и суда нет.

Пошли уже в море. В порту сообразили, что отпускают судно в долгое плавание, а там ни одного коммуниста нет, Послали на лодке представителя профсоюза. Он догнал корабль уже на выходе в залив и стал невольным историографом этого небывалого плавания.

До Копенгагена шли они, как будто покровитель моряков святой Николай-угодник по своей великой милости их берег, но чем-то они его прогневили, и угораздило их сесть на банку в Скагене. Сидят, и волны их бьют, того и гляди разобьют начисто. Ходят вокруг спасательные катера, спрашивают: не нужна ли помощь? Купец готов, а капитан говорит:

«Большие деньги надо платить».

Но катер опять приходит, видит их мокрое положение, спрашивает:

«Если вам помощи не надо, что вы там делаете?»

«Загораем»,— отвечает одноглазый шкипер.

Но корабль трещит по всем швам. Пришлось согласиться на помощь. Составили акт — у купца волос встал дыбом. Одна треть стоимости в пользу спасителей — платите! Заплатили, у капитана осталось 150 фунтов английских. Стали экономить провизию. Боялись, не хватит. Пришли в Копенгаген. После нашей разрухи заграница — разливанное море, все, чего душа хочет. А надо сказать, капитан под видом юнги протащил на корабль свою «племянницу», которая сразу бросилась на берег за тряпьем и за всяким дамским хозяйством. Появились шипшайндлеры. Они узнали, что корабль идет в Роттердам, значит, опять вернется в Копенгаген, и дали в долг матросам всякие товары, что каждый пожелал иметь. Капитан же не платил жалованья никому. Говорит: «Груз сдадим — заплачу». Шипшайнд-

леры почуяли, что тут что-то неладное, корабль какой-то ни на кого не похожий, подняли бучу. Даже составили протокол, долго ругались, но в долг поверили. Пошел «Раат» до Роттердама.

Вышли в море. Мертвая зыбь. Раскачивает день, второй, третий. Куда они идут — никто не знает. Как в лесу, заблудились в Немецком море. Не могут найти берегов Голландии. Спрашивать у встречных судов невозможно: не поверят, что не шутят. Уже стало животы подтягивать. Кончаются припасы. На борту почти бунт, как на каравеллах Колумба. На девятый день появилась лоцманская станция. Ничего не поделаешь — поехали на берег определяться. На станции их поздравили с благополучным прибытием из Франции. Капитан виду не подал, а ему говорят:

«У вас что-нибудь на борту неблагополучно? Вы пришли, мы видели, еще три дня тому назад из Франции и опять туда держите путь».

Оказывается, они блуждали взад и вперед и уже были притчей во языцех у встречных кораблей. Кое-как разобрались, взяли лоцмана, и, к удивлению всего экипажа, «Раат» вступил в воды славного порта Роттердама.

Порт всемирного значения, десятки, сотни кораблей со всего света. Опять неизбежные шипшайндлеры. Опять сделали им заказы, теперь уже не стесняясь: ведь получат за груз. Рейс кончен. Один говорит: «Достань мне шоколаду», другой заказывает сигары, табак, третий — какао, платье... Бросились к капитану: «Давай жалованье...»

Он одно твердит:

«Дайте выгрузить груз — получу за фрахт».

А груз у них был — доски. Выгрузили, старались вовсю. Гуляли тоже вовсю. Каждый считал себя богачом. Пришел капитан, черный с лица, как африканская ночь. Фрахт, оказывается, оплачен, по бумагам это выяснилось, еще в Ленинграде. А так как корабль сдан «Простому товариществу», то оплачивать команду должен владелец корабля.

Тут, как говорится, беда. Капитан сказал, что он пойдет добывать новый фрахт. Он и не торопится возвращаться на корабль, пьет с разными торговыми и морскими агентами, рассказывает им про свои приключения, а команда живет сама по себе. Команда требует денег. Денег нет. Тогда кто-то подает мысль:

«Братцы, да что же это, наши эксплуататоры нас без всякой совести эксплуатируют. Давай забастуем — и все».

Тогда представитель профсоюза, человек несчастный и страдавший от мертвой зыби все девять суток самым страшным образом, приходит в себя и идет объясняться с капитаном. Что там происходило — неизвестно, но капитан, побрившись и опохмелевшись после бесед с агентами, собирает команду и говорит, что есть два предложения. Есть такое предложение — везти уголь в Венесуэлу. Или везти в Барселону. Экипаж разделился на две партии: южноамериканскую и испанскую. Митинговали два дня. Одни были за то, чтобы плыть, другие твердили: пущай заплатит сначала жалованье.

Капитан не мог добиться единства — исчезли и эти фрахты. Тогда грянула забастовка. Матросы отказались работать.

Они шатались по набережной или собирались на палубе, лежали, ничего не делали, играли на гитаре, на гармонике. К ним приходил, кто хотел, с других кораблей заглядывали в гости, пили виски и ром, пели песни. Раз появился даже чревовещатель. Моряки с соседних кораблей обратили внимание на то, что происходит на «Раате». «Что это за веселый корабль?» — недоумевали они.

На корабль пришли голландские комсомольцы, которые решили, что попали в выходной красный день. Они угощали матросов вином и сигаретами, пели с ними песни и ушли с полным сознанием, что советские моряки отвоевали себе право на веселье и отдых и что на советском корабле они провели очень веселый вечер.

Но моряки с соседних кораблей приходили с другими вопросами. Им было непонятно все, что здесь происходило.

«Вы хорошо живете,— говорили они, оглядываясь по сторонам на этом странном корабле,— но что-то нам не все понятно...»

Приходили и репортеры. Их занимало все: быт, плавание, биографии членов экипажа. Они тоже говорили:

«Здорово живете, смотреть приятно, весело у Советов на корабле...»

«Да, вот здесь хорошо живем,— отвечали им,— а вот в море было туго. Голодали, как собаки...»

«Голодали? Скажите пожалуйста... Почему же?»

«Съели все запасы. Определиться не могли, не знали, где мы плывем...»

«Определиться не могли? Вот это замечательно! Простите, а теперь что у вас происходит?»

«Происходит забастовка!»

«Скажите пожалуйста, забастовка! А вы действительно матросы или просто агитаторы?.. А вы можете показать, как вы работаете? Поставьте паруса!»

Ну, дали команду: давай все наверх паруса ставить!

Побежали живо, а ставили плохо, вместо пяти минут — пятнадцать, двадцать, а то и больше. Фотографы их снимали вовсю, любопытных было хоть отбавляй.

Наутро во всех газетах на первой странице: забастовка на советском судне. Двести фунтов жалованья не уплачено! И снимки — как, высунув язык, матросы плохо ставят паруса.

Тут они все приуныли, когда им перевели, что напечатано про корабль. Пришел неожиданный человек. Собрал экипаж, ругал капитана и моряков самыми плохими словами. Оказался представитель Коминтерна, секретарь какой-то. Кричал: «Что же вы делаете, советский флаг срамите! Всыпать вам надо за это так, чтобы вы запомнили надолго... Позор!»

После этого испугались. Написали письмо в газету, подписали коллективно. Отмежевались от анархии. А тут приехал товарищ из Гамбурга, от нашего торгового представительства: «Ликвидируйте немедленно все. Не пускайте на борт ни одного мерзавца».

Собрали митинг. Предстояло идти в Гамбург. С кораблем плыл и этот агент северо-западного нашего пароходства. Он сошел в Гамбурге, а власти стали чинить препятствия «Раату» выйти в море, находили, что судно в таком состоянии плавать в море не может. Капитану Андерсену море было давно по колено. Он захватил с собой хорошую бутылку джина и пошел к капитану порта. Это оказался его старый приятель. Два морских волка объяснились в лучших чувствах, и капитан Андерсен вернулся на парусник с бумагой от капитана порта, где удостоверялось, что никогда еще парусник не был в таком хорошем состоянии, как сейчас.

Вышли из Гамбурга ночью, чтобы сбежать от той части шипшайндлеров, которым не успел агент северо-западного пароходства уплатить долги экипажа. Агент-то остался в Гамбурге, а они после его расплаты днем с кредиторами «Раата» сделали новые закупки без его разрешения и удрали, растаяли во тьме ненастной ночи.

Но за эти обманы и плохое поведение силы небесные оставили их без своего покровительства, и они попали в сильнейший шторм уже у берегов Эзеля. Их парусник бро-

сало так, что никто не чаял спастись. Капитан пил напропалую со своей «племянницей». Купец бился головой о стенку каюты и проклинал море и все на свете. Матросы сбились с ног, кое-как управляясь с парусами. Кривоглазый шкипер-рулевой не раз бросал руль, крича: «Гибель, гибель! Я поседел за эти полчаса. Надо выбрасываться на берег!»

Он так долго и страшно кричал: «Гибель! Гибель! Надо выбрасываться!» — что наконец среди экипажа этого сумасшедшего корабля нашелся человек твердой воли и большой энергии. Преодолев все приступы морской болезни, как бы преображенный перенесенными мучениями, храбрый представитель профсоюзов принял на себя команду, побудил капитана к исполнению своего долга, оторвав его от бутылки и от «племянницы».

У них сорвало половину парусов, но после бури они легли в дрейф, на всех напало угрызение совести, они починили паруса и все-таки с попутным ветром добрались до Кронштадта... История из «Тысяча одной ночи». И вместе с тем в ней нет ни капли вымысла. Все это было. Я хотел даже написать об этом плавании, но тут надо какого-то морского Зощенку, что ли, чтобы так все изобразить — я прозой писать не умею...

— Володя,— сказал я,— вы тоже тогда были на «Раате»?..

Он даже привстал с бревна, на котором сидел.

— Что вы? Разве я пошел бы на такую посудину?! Это же гроб с музыкой! Но один мой приятель ненароком попал на него, вот он-то и рассказал мне со всеми подробностями. Да весь флот тогда эту историю узнал. Вот какие были времена! Кто поверит, чтобы такое могло быть! А и не такие еще бывали истории. Всего не перескажешь...

— Володя,— спросил я,— а стихи вы пишете сейчас?

— Мало пишу,— сказал он,— думаю больше. Я ведь учусь в университете.

— Что вы говорите! Так что вы задумались, зачеты скоро?

— Нет,— сказал он,— я летом уйду в плавание, в море потянуло. Хватит берега...

...Действительно, наступили совсем иные времена. Теперь Ричиотти, как Одиссей, выходя из моря, возвращался к своим университетским занятиям. Он ходил кочегаром на судах заграничного плавания и после очередного рейса заглядывал ко мне и начинал свои рассказы. Но эти рас-

сказы ничем не напоминали о пресловутом плавании парусника «Раат».

Он был очень наблюдательным, с острым глазом, все подмечающим путешественником. Мог часами рассказывать о могучих портах, где, все заглушая, царствует непрерывный грохот погрузочных и разгрузочных работ, о том, как важно входят морские лайнеры в окружении катеров и лихтеров, как дико кричат чайки среди искр радио на корабле в море, как равномерно опускается мачта, раскачиваясь то в одну, то в другую сторону, почти касаясь воды, в мертвую зыбь, как шумны, разнообразны, ни на что не похожи бары, кофейни, рестораны, кабачки Гамбурга, Лондона, Роттердама, Копенгагена.

Он мог описывать улицы приморских центров с моряками всех стран, их бродяжническую жизнь на кораблях, пересекающих все широты мира. Он знал хорошо быт корабля и тех, кто связан с морем на берегу,— стивидоров, шипшайндлеров, бичкомеров, безработных моряков. Он мог говорить о тюльпанных полях Голландии и о старинных пакгаузах Темзы, о старых рыбаках, сидящих на берегу и смотрящих на седые гребни волн, такие же белые, как их волосы, о женщинах, толпящихся в узких переулках «веселого» Гамбурга, где каждый моряк может найти пьяное короткое забвение и дешевую радость, доступную его карману.

Ричиотти рассказывал о контрастах западного мира, о той борьбе, которая тайно ведется в портах и переносится на корабли, о коммунистах, находящих друг друга и в море и на берегу, возглавляющих борьбу моряков против беспощадной, безжалостной вековой эксплуатации.

Слушая эти рассказы, описания, анекдоты, трагические и смешные истории, я не мог отделаться от мысли, что передо мной сидит человек, способный все это рассказать на бумаге.

И я как-то прямо сказал ему:

— Володя, вы должны обо всем этом написать.

Он откровенно и просто сказал мне:

— Я не умею писать прозу.

В каком-то неожиданном порыве, забыв про всякую скромность, я воскликнул:

— Я научу вас!

Он согласился. Не было у меня такого покорного, усидчивого и талантливого ученика во всем Институте живого слова, когда я преподавал там в 20-х годах, каким был

сейчас Ричиотти. Он неутомимо слушал меня, записывал мои советы. Мы работали над его материалами, записными книжками, планировали, редактировали вместе, подбирали факты, находили стиль. Спорили об очерковых книгах, читали лучшие описания путешествий, бесконечно рылись в справочниках. В конце концов Ричиотти написал две книги, которые вышли в издательстве «Прибой». Это были скромные книги очерков о разных городах и странах Европы. Одна называлась «Без маски», вторая — «Страна на воде». Первая вышла в 1928 году, вторая — в 1930-м. Эти книги, живые, увлекательные, хотя и несовершенные, представляли пеструю смену городов, людей, быта, впечатлений, зарисовок, набросков, в них была своеобразная прелесть, привлекавшая читателя. Эти книги о Голландии, Германии, Англии — не только записки много видевшего, много знающего советского моряка. Это были книги литературной разведки.

Работая над ними, Ричиотти мельком говорил мне о каком-то большом замысле, который начинает рождаться в нем, но что это такое, я не мог догадаться.

Ричиотти-кочегар продолжал каждое лето исчезать в чреве пароходов, уходивших на Запад, и привозил мне маленькие подарки: то табак, то трубку, то записную книжку, то фигурку моряка-голландца. Потом я стал видеть его все реже и реже. И вдруг настал момент, когда я среди дел вспомнил, что давно уже не видел Ричиотти и ничего не знаю о нем. Он пропал как-то неожиданно и надолго...

Сначала я думал, что он ушел в кругосветное плавание — всякое бывает! — а Ричиотти решительный человек и смелый мореход. Потом мне пришло в голову, что я совсем не знаю его интимной жизни,— может быть, какое-нибудь романтическое происшествие бросило его, скажем, на берега Черного моря или даже на Дальний Восток. Все может быть...

Но дни проходили, и подтверждений моих домыслов я не получал. Скудные сведения о нем вдруг приходили от случайных знакомых, от старых друзей.

Одни говорили, что он окончил университет и вообще порвал с морем и флотом. Другие — что он женился самым обыкновенным образом и что жена запретила ему не только писать стихи, но и вообще поддерживать знакомства с литераторами, что она не хочет даже никаких напоминаний о его прежней богемной жизни, о его имажинистском

прошлом, считая это чем-то темным и бросающим тень на его репутацию.

Все это походило на правду. Раз человек ушел в совершенно иные области работы и не хочет знаться со старыми знакомыми — это его личное дело, и никто препятствовать ему не может.

Проходили годы, и понемногу я примирился с мыслью, что это так и есть. За это долгое время я не встречал его на литературных собраниях и не видел его имени ни в одном журнале. Мы говорили о Ричиотти, когда собирались друзья, которые хорошо его знали. Мы вспоминали его в пору нашей молодости, вспоминали его рассказы о море и плаваниях.

Но жизнь так стремительно несла свои волны, что мы могли только следить за сменой их несчетных и неотвратимых ударов. И только память, как старый берег, хранила следы этих приливов и бурь моря жизни. В те годы у меня было много близких и дальних поездок. Я странствовал в горах Кавказа, в пустынях Средней Азии. Был даже за границей, на конгрессе в защиту культуры, возвращался из Лондона морем, и меня качала тяжелая мертвая зыбь Немецкого моря. И тут я вспомнил Ричиотти.

Летом тысяча девятьсот тридцать седьмого года я жил в глухой лесной деревушке Белово, куда добираться было не так просто, поэтому я ездил в Ленинград редко, только по самым неотложным делам, и долго в городе не задерживался.

Нужно было ехать до Тосно по железной дороге, потом по узкоколейке до станции Шапки, а оттуда мерить километры по тропе, плутавшей в лесу, и тот, кто сбивался с дороги, мог совершенно неожиданно для себя забрести в непроходимые болота, плотно облегавшие со всех сторон Белово.

Поэтому попавшие впервые в эти места, высадившись из вагонов в Шапках, не рисковали идти самостоятельно, а присоединялись к местным жителям, и целый караван тогда тянулся по лесной тропе, местами едва заметной.

Я приехал поздно вечером. Солнце уже садилось. Никто в такой час из города обычно не приезжал, и моими спутниками были только два старичка — финн и финка. Деревню Белово населяли финны — не то бывшие евангелисты, не то бывшие баптисты.

Оглядываясь на меня, они молчаливо шагали в сумерках по все больше темневшему лесу. Я хорошо знал тропу

и не опасался никаких неожиданностей, думаю, что эти старые финны — люди без фантазии — смущались только тем, что я неотступно шел за ними в неположенное время, а я шел потому, что другой дороги в Белово не было.

Уже стало совсем темно. Под низкими ветвями елей, которые спускались до земли, стоял густой мрак. Из глубины леса доносились голоса ночных птиц. Казалось, что кусты нарочно встают на дороге, чтобы сбить с толку путника. Мы шли все медленнее, перешли ручей и стали взбираться по тропинке, приводившей на довольно высокий холм, и за ним уже начинались домики Белова, сложенные из огромных древних бревен.

Вдруг мои старички попятились, и я сначала не мог понять, что случилось. Они стояли молча, смотря друг на друга, и в слабом свете пробивавшейся сквозь ветви луны я видел их лица, не выражавшие ничего. На них не было ни страха, ни изумления, и, однако, старички стояли как вкопанные, точно невидимая сила держала их за ноги.

Я посмотрел на взгорье и увидел, что там между деревьями и кустами, на небольшом расстоянии друг от друга, качаясь, на метр от земли движутся два красных огня, которые колеблются и делаются то ярче, то тусклее, пропадают в зелени и снова как бы летят по направлению к нам. Между ними колышется что-то расплывчатое, светящееся, непонятное.

Это зрелище в глухом лесу в лунной тишине, безмолвное и необъяснимое, приводило на ум всяческие небылицы о блуждающих огнях, лесных призраках. Однако надо было выяснить, что же это такое. Я неторопливо пошел по тропинке навстречу огням, которые мелькали все ближе и ближе. Мои старички бодро зашагали за мной, считая меня своей защитой. По правде говоря, я не мог бы объяснить, что это такое, но шел, не останавливаясь.

Огни неожиданно скрылись на какое-то время и вдруг явились прямо над нами, и вместе с ними явилось странное красное видение — хозяйка этих огней. Тут старички охнули за моей спиной, но я уже смеялся про себя, потому что шла по холму моя собственная супруга — Мария Константиновна. В красном широком халате, она медленно шагала, держа на палочке два красных китайских фонарика. Зная, что я приеду поздно, она вышла меня встречать.

Появление обыкновенной женщины успокоило моих финских старичков, хотя они все же недоверчиво отнеслись

к ее красному халату и таинственным красным фонарикам и шли, все время оглядываясь на нас.

Дома я начал рассказывать о том, что нового в городе, кого видел, какие журналы и книги привез, кому звонил, узнал, что все друзья разъехались, сбежали от жары, от духоты.

— Да,— вдруг вспомнил я,— представь себе, кто нашелся! Никогда не догадаешься. Ричиотти появился, правда, я его не видел, только разговаривал с ним по телефону!

— Что ты говоришь! Почему же он пропадал так долго? Что с ним случилось?

— Не знаю, что с ним случилось, я уже собирался на вокзал — звонок. Беру трубку — не сразу узнал голос. Володя Ричиотти! Откуда, что, почему целую вечность не давал знать о себе? Пропавшая душа, летучий голландец... Даже по телефону почувствовал, что он волнуется. «Я, говорит, написал роман и хочу вам по старой памяти показать...» — «Ну, говорю, это замечательно. Давайте показывайте. О себе расскажите...» — «Все,— говорит,— при свидании расскажу, а куда прийти с романом?» — «Вот, уж,— говорю я,— прийти трудновато, приехать придется». И рассказал, как добраться до Белова. Он обещал на той неделе приехать.

После ужина мы говорили о том, чтó за роман написал наш пропавший летучий голландец.

— Так как он человек неожиданных возможностей, может быть, он написал фантастический роман, вроде того, что в свое время написал Липатов, студист Института живого слова. В этом романе, когда в битве под Ватерлоо Наполеону уже приходится плохо, один вовремя явившийся изобретатель дарит ему свое изобретение — пулемет, и Наполеон при помощи этой адской машины снова одерживает верх над врагами, и вся история Европы повертывается поиному,— сказала Мария Константиновна.

Я с ней не согласился.

— Нет, все-таки так Ричиотти не напишет. Скорей всего, это морской русский Стивенсон — роман морских приключений. Что ж, Ричиотти имеет право на этот жанр...

Но мы не угадали. Все оказалось иным!

Прошло немного дней, и наша хозяйка-финка сказала, что меня спрашивает «один нестарый человек». Я вышел на поляну перед домом и увидел высокого, крепкого, с выразительным лицом мужчину в сером костюме, с чемоданом в руке — Володю Ричиотти. Первой невольной моей

мыслью было: зачем в такую жару тащить чемодан по длинной лесной дороге? Если он захватил с собой купальный костюм, то для него можно было найти упаковку поменьше. Может, он приехал со своими продуктами, тогда это зря. У нас овощи, мясо и молоко — все есть... Но, может, он по старой морской привычке привез бутылку-другую коньяка, чтобы выпить за наше новое свидание?..

Мы обнялись. Наши горячо приветствовали его. Мы все видели, что Ричиотти заметно изменился. Я особо это почувствовал. Уже не было в нем ничего от того всегда веселого, жизнерадостного матроса с «Авроры», поэта-имажиниста, бросавшегося в словесную рубку, как на абордаж. Далеко перешагнувший тридцатилетний возраст, серьезный, со спокойными жестами, неторопливо говорящий человек сидел за столом, как будто он вернулся из долгого, тяжелого путешествия и так много пережил в нем, что нельзя требовать от него немедленного рассказа.

Мы и не требовали. Пока он гостил у нас, мы гуляли с ним, ели, пили, говорили, перебрасываясь с предмета на предмет, и наконец пришел миг, когда я все-таки решил заговорить о главном.

— Ну, а как, Володя, ваш роман? Можно на него взглянуть?

Он молча взял тяжелый чемодан, раскрыл его и положил на стол огромный тюк, перевязанный простой бечевкой.

— Что это такое? — спросил я несколько растерянно.

— Это роман! Да, он очень большой. Очень. Но я не мог ничего поделать! Я должен был написать его! И только когда я окончательно устал, окончательно запутался, я решил показать его вам. Прочитайте и скажите, что вы о нем думаете...

Я с некоторым грустным недоверием смотрел на этот рукописный холм. Многие сотни страниц на машинке с многочисленными поправками, вставками, подклейками свидетельствовали о необычайной усидчивости и упорстве работавшего над ними. Мне предстояло, как в шахту, погрузиться в темные коридоры этой столь неожиданно возникшей неизвестной бумажной горы. Я хорошо понимал, почему так долго не решался Ричиотти показать мне свой роман, я понимал его волнение, неуверенность. Теперь он ждал, что́ я скажу. Но что я мог ему сказать, не зная содержимого этого баснословного труда?

— Сколько времени вы писали этот роман?

— Я писал его около семи лет! Вы, наверно, не раз упрекали меня за то, что я пропал с глаз. Вы можете мне поверить, я семь лет занимался только этим романом. Я перестал ходить в гости, я не знал, что такое пирушки и поездки на курорты. Я редко бывал в кино и совсем почти не бывал в театрах. Я все свободные часы работал над романом. И теперь, когда я вчерне его закончил, я не знаю, что это такое... Я не могу сам разобраться в написанном, порой мне кажется, что это напрасный труд, порой — что все это обман самого себя, что это просто графоманство. Но я не мог не писать. Я гулял и прерывал прогулку, чтобы бежать домой и вносить новые поправки, я мог не спать ночами, я обедал, приходя со службы — я служу в Ленинградском порту, — и сразу садился за роман. Жена думала, что я сошел с ума. Я, наверно, почти сумасшедший. Этот роман проник мне в мозг и в кровь. Я видел во сне сцены и моих героев, которые требовали, чтобы я написал о них. Иными страницами я бредил, к иным возвращался по многу раз, чтобы снова пережить однажды написанное. Я решил наконец позвонить вам и...

— И вы очень удачно позвонили, Володя! Я редко приезжаю в город, и вы позвонили за пятнадцать минут до того, как я уже собрался уезжать. Вам повезло...

— Я прошу вас прочесть мой роман. Больше мне показывать некому... Я понимаю, что нелегко одолеть такую махину да еще с пометками...

— Хорошо,— сказал я, тронутый его словами,— я обязательно прочту, но мне нужно время.

— Сколько вы будете читать?

Я взглянул на огромный манускрипт и сказал:

— Володя, вам повезло еще в одном. Я отдыхаю. Это редкий случай. У меня перерыв в моей работе. Я прочту это с самой большой скоростью, но вы сами понимаете — это целый холм...

— Я могу ждать сколько хотите. Чтобы вам не мешать, не приезжать раньше времени, скажите, когда приблизительно мне приехать.

— Приезжайте через двадцать два дня,— сказал я,— к этому времени я постараюсь все одолеть.

— Спасибо,— сказал Ричиотти, наклонив голову,— я приеду через двадцать пять дней!

Я заметил, когда он наклонился, легкую изморозь седины на его висках.

Я брал с собой охапки страниц романа и уходил в лес. Там на поляне, пригретой солнцем, где стлалась легкая светотень и стояла зеленая тишина, я читал, не отрываясь, изредка делая пометки в своей записной книжке. Я сидел над селением на горке у большого валуна, и вокруг, прижатые камушками, веером стелились главы романа. Я читал его ночью, при свете керосиновой лампы, на своем чердаке, лежа на деревянном топчане, и слышал, как внизу хрустко жует сено хозяйская корова и чешет бок о перегородку.

Я читал на берегу речки, темные воды которой холодно поблескивали в топких берегах, и кусты как будто наклонялись, чтобы прочесть вместе со мной эти, такие странные в зеленом лесу, страницы.

Я читал их на том пригорке, где однажды вечером увидел два бегущих рядом красных огня. Я попал в совершенно другой мир, но это не была шахта, полная темной неизвестности. Это был необычайно широкий, огромный мир, где бушевал ветер, бесконечно вздымались волны, гудели человеческие толпы.

Прежде всего поражал масштаб. В ткань повествования были вплетены страны и города, берега, моря, корабли, люди — от самых простых, нищих безработных до самых властных, сильных хозяев жизни, до коронованных особ, развязывавших судьбы государств.

Я вчитывался с каждым днем все больше и больше. Я начал, как автор, бредить картинами этого романа. Мне казалось, что открылась дверь в неведомую мне жизнь и я вступил в мир, густонаселенный совершенно неизвестными мне людьми.

Я хорошо знал Прибалтику, ее народы, ее старинные города, жизнь хуторов и баронских имений, видел рыбаков на ее берегах, военных моряков, сам воевал на ее полях, в ее лесах, на побережье, но здесь была другая Прибалтика — морская, связанная с землей тонкими и сложными жизненными узами.

Постепенно я познакомился с людьми, населявшими эту эпопею, так коротко, что мог воображать себя вместе с ними на кораблях, в морских береговых кабачках. Я гулял с ними и с их бедовыми и несчастными подругами. Я восставал против их хозяев-кровопийц, против баронов-помещиков. Я плавал на корабле, в тяжелом труде проводя дни, тонул вместе с ними, видел, как гибнет старая жалкая посудина, пущенная ко дну метким ударом торпеды гер-

манской подводной лодки, окунался с головой в седое ночное море.

Я сознательно назвал роман Ричиотти эпопеей, потому что эпопея — это крупное произведение, в котором обязательно участвует народ в важнейшие моменты своей истории. Народу здесь было достаточно.

Я понимаю, что этот труд давил автора бесконечностью материала. Он, как атлант, поддерживал тяжелейшие своды. Это был первый роман о жизни моряков русского торгового флота на Балтийском море, моряков, ставших советскими моряками, поднявшими впервые в истории красный флаг на морях и океанах.

Это был роман о людях, населяющих берега Балтийского моря, о крестьянах, ремесленниках, купцах, баронах, о русских и немцах, об эстонцах и латышах. О том, как делаются капитанами и матросами, о том, как жил, рос, развивался пролетариат, одетый в куртку матроса, как он победил и привел свои корабли в гавань Октября — в революционный Петроград, преодолев страшнейшие препятствия.

Вот какая тема давно мучила Ричиотти, вот к чему стремился его талант. Ричиотти не хотел писать просто историю торгового мореплавания или сухую историческую хронику. Он выбрал свободный рассказ о борьбе за свободу...

Он выбрал из всех морей больше всего знакомое ему Балтийское море. Балтийское море в то время, когда начинается роман, то есть в 1914 году,— море огромного значения. Больше половины всего русского вывоза шло через порты Балтики. Три миллиона тонн английского угля ввозилось по его волнам в Петроградский порт. Сорок два процента всего русского вывоза в Англию — каменный уголь, кокс, хлопок и другие товары — шли через Балтику. Семьдесят процентов всего экспорта льняных продуктов, девяносто пять — масла и яиц, семьдесят три — шкур и кож, восемьдесят четыре — овса, в последние месяцы перед войной 1914 года колоссальные грузы хлеба, которым запасались готовившиеся к войне страны,— все эти потоки товарных грузов переносили корабли из Петрограда, Ревеля, Риги, Либавы за границу.

Роман Ричиотти был задуман как трилогия. Он должен был полностью изобразить быт моряков торгового флота до объявления мировой войны, затем показать торговых моряков уже прикрепленными к военному флоту, пароходы-

ды, ставшие вспомогательными кораблями, принявшими участие в первой мировой войне. В третьей части он описывал дни Великой Октябрьской революции и переход торгового флота в руки победившего пролетариата.

Свой замысел он выразил в эпиграфе к первой части романа: «Эта книга писалась для того, чтобы знать и ненавидеть проклятое прошлое, чтобы понять и беззаветно любить завоеванное счастье, а также и потому, что на пяти шестых земного шара моряки и теперь живут так».

Вторая часть романа была о рейсах торговых пароходов во время мировой войны. Я вспомнил Ричиотти, когда он рассказывал, как проплавал восемнадцать часов после потопления его парохода подводной лодкой. На этих страницах я читал о спекулянтах, наживавшихся на войне. Темный азарт не считался ни с людьми, ни с грузами, ни с кораблями. Но вместе с ростом опасности и лишений росли революционные стремления моряков. Моряки-победители станут бойцами за революцию в последней части трилогии — «Ледовом походе».

Если в книгах очерков Ричиотти мелькают только единичные, эпизодические персонажи, то на страницах этой эпопеи герои ходят толпами. Иначе не может быть.

Единицей романа, если можно так выразиться, является корабль. Уже на корабле много людей, но когда корабль приходит в гавань, то на берегу у каждого моряка есть свое продолжение жизни, берег имеет свою толпу героев, и надо отобрать только главнейшие персонажи, чтобы они не потерялись в массе.

Я понимаю, почему работа над таким отбором и работа над романом заняла многие годы.

Самым законченным томом эпопеи явился первый. Четыре рейса парохода «Граф Толстой» начинаются в июне 1914 года. День за днем проходят перед нами картины матросской жизни. Плавучий дом-корабль, соленая каторга — место всяческого человеческого унижения, нищеты, грязи, труда, дикого по напряжению.

Над этим кораблем стоит хозяином капитан Ротман, над капитаном — его хозяин Зеберг, судовладелец, человек черствой души, отравитель собственного брата, пробившийся в люди жадный паук, беспощадный эксплуататор. Он находится в постоянной и бешеной конкуренции с такими же судовладельцами, вырывающими у него из рук доходные грузы, топящими свои ветхие корабли в погоне за страховой премией. Будни этого судовладельца открывают

нам все подробности закулисной торговой жизни, подкупы, заискивания перед высшей администрацией, произвол властей.

Когда Зебергу для оборота требовались деньги, он поступал просто: продавал штурманам капитанские должности. Тем, кто не мог внести пяти тысяч сразу, он разрешал выплачивать из жалованья в течение трех-четырех лет. Дивидендов не платил, обещая в дальнейшем заменить их двумя процентами с брутто перевезенного груза.

Так он опутывал капитанов, и те уже не могли помышлять перейти от него в другую компанию, да и в другой компании господствовали те же правила.

Капитаны ненавидели друг друга. Они даже не здоровались при встречах, за глаза клеветали друг на друга, отказывались, нарушая правила, при встрече пароходов отдать салют. Конкуренция в их капитанском мирке процветала еще отчетливее, еще грубее, чем в закрытых наглухо конторах пароходных компаний.

И капитаны вроде Ротмана, старого, затравленного неудачами морского волка, косились на все новое в морском деле, на каждого своего помощника, видя в нем хозяйского шпиона, пробирающегося на капитанское место.

Капитан Ротман предсказывает погоду по пузырькам в стакане кофе, помешивая ложкой растаявший сахар. Такие были эти капитаны по старинке. «Куда там барометр!» — говорит, подхалимски заискивая перед начальством, помощник Ротмана Камонин, который спит и видит — сбросить Ротмана с его поста.

И, наконец, время приводит на корабли нового неофициального командира. Наступают дни подготовки к мобилизации, и пьяный мичман Бурых приходит на корабль, тупо повторяя одну и ту же фразу: «Я из вас сделаю настоящих моряков!»

Целыми днями, с утра до вечера, я читал чудовищной величины рукопись с самым странным чувством. То являлись передо мной завершенные, отработанные сцены, то картины, нуждающиеся в дополнительных красках, потом шли страницы, требующие еще работы и работы, черновики, где надо было приводить в порядок написанное или писать почти заново.

Ричиотти знал очень много, он был неистощим в изображении неведомой мне морской жизни. Он, знакомый со всеми отвратительными подробностями кошмарного быта предреволюционного времени, давал первое в советской ли-

тературе описание жизни моряков торгового флота во всей полноте и трагической безысходности.

Он рассказывал, как вербуют матросов в грязных кабаках вроде пресловутого «Цвалинга» из голодных, безработных людей. Но и на пароходах никто из них, выполняя труднейшие работы, не может отделаться от постоянного чувства голода: кормят впроголодь гнилой кашей, гнилыми селедками. На пароходах — воровство.

Помощники капитанов бьют матросов чем попало. А если моряк, выведенный из себя, попробует говорить о правах, то сразу действует морской закон, по которому капитан может, не доводя до суда, расправляться собственной властью — награждать провинившегося линьками до двадцати ударов.

Матросы почти все неграмотные, как говорит один из героев: «На выплатные ведомости страшно поглядеть — что кладбище: вместо подписей одни кресты».

На корабле поддерживают национальную рознь, восстанавливают друг против друга эстонцев, финнов, русских. Денег у матросов нет никогда. Живут, промышляя контрабандой. Возят патентованные лекарства, в уксусных бутылках — французское вино, револьверы — все то, чего в России нельзя достать. У моряков нет ни контор по найму, ни правил увольнения, ни контрактов, ни законов о жилище, о рабочем дне, о пище и отдыхе... Мыла матросам не полагается, бани нет, доктора нет, медицинской помощи никакой. Пароходы старые, купленные по дешевке. Котлы дырявые — текут.

Сойдут с такого парохода люди и направляются в заплеванный кабак пить и петь свои горькие песни. Те же из моряков, которые едут на землю, в деревню, к себе домой, думая уйти от моря и найти счастливую жизнь, как это сделал один из героев книги, Богдан Кошевой, находят погорелые стены, нищих родных, и ничего у них не выходит и на земле, оттого что и на земле и на море один и тот же страшный, человеконенавистнический порядок.

На берегу бездарные мичманы бурых и поручики перчихины стравливают моряков и солдат-стрелков в бессмысленных кулачных боях; на берегу сидят такие помощники Зеберга, как Мунн, переправляющий людей в Америку, поразбойничьи, до нитки обирая их вместе со своим дружком Галле, «специалистом по эмигрантам». Там владычествуют бароны Рольф и Деллинсгаузен — хозяева родовых поме-

стий, где батраки в полной их собственности со всем своим нищим имуществом.

В темноте этой безвыходной жизни кончает жизнь самоубийством несчастный матрос Суслов и погибает красивая Еленка Слянц, забрызгивая грязный пол кабака своей кровью.

Но среди моряков есть и герои иного плана: это большевики Вилли Данспиг и Богдан Кошевой, которые дополняют один другого. Кошевой, расставшись с иллюзией вернуться на землю, становится крепким сторонником революционного движения, а сильная воля Данспига организует забитые, растерянные, запуганные матросские ряды против угнетателей. И недаром, когда арестовывают Данспига, его дело берется продолжать Кошевой.

Меньшевики, борющиеся за влияние на матросов, Пашанов и Скукоцкий, отбрасываются матросами как разгаданные и разоблаченные обманщики. Неожиданно встает необычная фигура представителя большевистской партии в Лондоне, скромного и тихого портного Шифера, доставляющего нелегальную большевистскую литературу на корабли и разоблачающего происки Пашанова.

Судьбы всех этих людей связаны с торговым флотом, к которому подбирается война.

Проходят картины войны. И встает грандиозная волна Октябрьской революции.

...И вот я сидел над этими мучительными, мрачными, кричащими и вопящими многими голосами страницами, меня обступали самые разные люди, и недописанные персонажи требовали окончательного воплощения...

Я вспоминал такие исполинские эпопеи, как «Отверженные» бессмертного Виктора Гюго. Я вспоминал насыщенные до отказа жизнью тома «Человеческой комедии» неувядаемого Бальзака.

В труде, который лежал передо мной, был виден только талант, еще не нашедший сильнейших средств изобразительности, еще не имеющий сил сказать во весь голос. Но размах, который автор давал своему воображению, упорство, с каким он собрал, проработал и начерно изобразил такое множество сцен и характеров, верных действительности и впечатляющих уже при самом первичном наброске, говорили о том, что он располагает возможностями, которые дают ему право по-своему подходить к материалу, о котором мы ни у кого другого не можем прочесть.

Я читал, отмечая удачи и неудачи автора, набрасывал свой план лучшего распределения глав, иногда возвращался снова и снова к иным главам. Я был просто оглушен всем прочитанным.

...Человеку, долго пробывшему в море, когда он сходит на берег, все еще кажется, что земля под ним качается, как палуба.

Мы сидели на траве на склоне холма. Сзади нас стояла серая, низкая, старая банька, внизу, у речки, розовели заросли иван-чая, крупные лиловые метелки вейника виднелись между молодыми ивами, черно-зеленая стена леса подступала к речке вплотную. Все было расцвечено скромными красками северного лета, дышало тишиной, отдыхом, захолустьем. Но я рассеянно смотрел на этот давно знакомый вид, не доходивший сейчас до моего сознания. Передо мной вскипали сине-зеленые волны с белоснежными гребнями, я слышал скрип мачт и гулкие сигналы корабельных сирен.

Ричиотти, сидевший рядом со мной и внимательно слушавший все, что я говорил о его романе, не мог скрыть своего удивления. То, что я так вник в каждую главу, прочитал, не пропуская, все страницы с карандашом в руке, отметил все, чего не хватало в развитии характеров, в описаниях, и то, что было явно лишним, поражало его до глубины сердца. Наконец я спросил:

— Откуда вы все это знаете?

Ричиотти, привыкший к самым неожиданным поворотам нашей беседы, ответил сразу:

— Все это было в моей жизни. Моя юность была суровой, как якорная цепь. Ее безжалостно бросали на самые разные глубины, в самые темные воды...

— Какую цель вы ставили перед собой, работая над романом?

— Я, вспоминая свою юность, хотел сказать правду о жуткой жизни матроса капиталистического корабля, сказать без прикрас, без романтики, без пощады. Вы говорили о широком захвате темы, о ненависти к старому миру, о людях, из бесправных, нищих бродяг ставших героями, революционерами. Так и должно было быть! Если иные люди на флоте и на берегу не имели того, что можно назвать предвидением, то, может быть, в то время один Ленин и кое-кто в Совнаркоме понимали, какое огромное значение для будущего имеет торговый флот, хотя бы как средство срыва голодной блокады, которой союзники хо-

тели задушить нашу пролетарскую революцию. Ленину мы обязаны тем, что не только военный, но и торговый флот остался в руках большевиков!

В это время из-за старой баньки с ревом и скрежетом вынеслись самолеты. Звено за звеном, эскадрилья за эскадрильей проносились над нами, от их внезапного нарастающего гула, казалось, все живое пригибается к земле, и даже деревья и цветы смотрят на них с тревогой, не понимая, откуда берется этот бронированный вихрь, режущий по кускам мироздание.

— Уже третий день идут маневры! — сказал я.— Ничего не поделаешь: надо готовиться...

— Правильно.— Ричиотти взглянул на последнюю мелькнувшую стаю.— Там, за рубежом, еще много у нас врагов. А тогда, когда был сделан ледовый поход, вы думаете, обошлось без вмешательства западных наших «друзей»? Не обошлось, как не обошлось и без провокации со стороны адмиралов старого флота. Что спасло положение? Решительное вмешательство Кремля и самоотверженная работа съезда моряков торгового флота, помощь моряков-красногвардейцев, прибывших из Петрограда в Гельсингфорс. Они принесли спасение флоту. Вот я и хотел рассказать обо всем этом по порядку. Что мы будем теперь делать?

— Мы будем делать вот что: отделим первый том, и автор с такой же энергией, с какой работал до сих пор, будет доделывать, доканчивать, обтачивать его до тех пор, пока он не придет в такой вид, что мы понесем его в издательство, найдем редактора, и через какое-то время на столе будет лежать книга, которую мы назовем... Как мы ее назовем?

— Я бы хотел назвать ее «Третий рейс»,— сказал Ричиотти.

— Пусть будет так! А когда выйдет первый том, мы спустим его на воду, как первый корабль эскадры, и начнем сооружать второй, а за ним третий. И адмиралом этой эскадры будете вы, Владимир Ричиотти!

Он уехал в Ленинград, увозя чемодан с романом, а через день утром финка-молочница принесла в пустом бидоне из-под молока адресованную мне телеграмму. Телеграмма была из Наркоминдела, который предлагал мне прибыть по делу в Москву и по возможности без задержки. Я не мог выяснить, сколько времени лежала в бидоне эта телеграмма. Молочница ничего не могла объяснить, городя невесть

что. Телеграмма была записана на клочке бумаги, и в таком виде просили доставить ее мне со станции Шапки. Одним словом, я собрался срочно и выехал в Москву.

В Москве я узнал, что в ответ на бывшие у нас делегации журналистов стран Прибалтики составлена советская делегация, в которую вошел и я. Делегации предстояло объехать Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. Так как я сильно опоздал — телеграмма действительно пробыла в бидоне больше, чем следовало,— то мне пришлось, уже не заезжая в Белово, вместе со своими товарищами прямо через Ленинград отправиться в длинное путешествие по странам-лимитрофам, как тогда их называли.

Я и совершил его, посетив целое множество разнообразных мест, имея несчетное количество встреч, выступлений, множество серьезных и комических приключений. Описание этого путешествия не входит в задачу моего повествования, но об одном обстоятельстве я не могу умолчать. Если бы я был волей судьбы направлен с делегацией куда-нибудь в южные или восточные страны, которые не имели бы никакого соприкосновения с нашей советской действительностью, то, конечно, острота и экзотическая декоративность картин природы и быта заставили бы меня забыть хотя бы на время поездки роман Ричиотти. Он был бы отброшен в глубь памяти до возвращения в родные пределы.

В поездке же по странам Прибалтики я все время чувствовал за спиной присутствие этой эпопеи, дыхание прошлых событий, потому что часто окружающая меня обстановка заставляла вспоминать невольно сцены из романа и героев Ричиотти. Меня преследовали на каждом шагу видения прошлого, я видел заново места, где проходит действие романа. Я наблюдал сейчас, в тридцать седьмом году, в полуфашистской Прибалтике типы людей, похожих на тех, которых описал Ричиотти. Разница была лишь чисто внешняя. Законы капиталистического общества не изменились, хотя обстановка стала сложней и, если можно так выразиться, разноцветней.

Рядом с замшелой скукой мещанского быта жило удивительное, как молния освещая тусклые будни. На берегу залива в Хельсинки, среди аккуратных садов и кокетливых вилл новоиспеченных богачей мы встретили старого рабочего, который разговорился с нами. Он знал, что мы русские советские журналисты, и приветствовал нас с самой большой сердечностью. Смотря на видневшиеся поблизости скалы и бастионы Свеаборга, он рассказывал о прошлом

как участник многих событий, и мы слушали его с интересом. Я же, оглядывая залив, не мог не вспомнить, что был день, суровый, жестокий день, когда отсюда тронулся в последний поход, в ледовый знаменитый поход, военный и торговый флот, и Ричиотти, может быть, смотрел с борта «Агитатора» на берег так же, как я смотрю на рейд сегодня.

Старик рабочий, как бы переняв мои мысли, заговорил о революции пятого года, о Свеаборгском восстании, потом, заложив в свою трубку новую порцию черного ядовитого табаку и пустив добрую струю дыма, сказал: «Я бываю в Москве. Уже не раз был. Что я скажу: у нас в Хельсинки в те годы был кабачок, назывался «Зеленая дверь». Я как-то пришел туда вечером. Народ сидит, курит, выпивает понемногу, беседует, я по-русски хорошо и тогда понимал. Смотрю — такой симпатичный человек очень хорошо говорит, сильно говорит о рабочих, о борьбе, большая в нем крепость, видно, революционный товарищ. Все его слушают. Я спрашиваю друга тихонько: «Кто это, не знаешь?» А он говорит: «Как не знать! Это Ленин!»

Я слыхал о нем, а тут увидел. И смотрю — он сидит на таком высоком стуле и ему не совсем удобно. Ноги до полу не достают. Я прикинул так примерно, сколько надо срезать, чтобы он сидел хорошо, спокойно. А он приходил вечером каждый день. Я взял днем этот стул и подрезал ему ножки. Вечером прихожу, вижу: он сидит, и ему удобно, он доволен, что стул другой ему дали, не заметил, что это я подрезал. Я этот стул отвез в Москву в музей... Пусть стоит — на память.

Тогда Ленин собирался идти через лед в Швецию. Я знаю, что он переоделся в другой костюм перед тем, как идти в путь через Ботнический залив.

— Так я знаю,— сказал он, подымив снова своей трубкой,— где есть тот костюм, что он оставил в Хельсинки...

— Неужели он мог с тех пор сохраниться? — усомнились мы.

— Висит,— меланхолично сказал старик,— в хорошем виде. Но вот тут не просто. Он висит на чердаке в доме, где живут две сестры, старушки, одинокие, замуж не вышли. Им домик достался по наследству, и там на чердаке он висит. У нас не как у вас, у нас чердаки другого типа: в одной половине продукты хранятся, овощи лежат, окорока висят, в другой — платье, какое не нужно, сундуки стоят со старыми вещами.

— А разве нельзя пойти и взять его? Зачем он старушкам?

— У нас нельзя просто так пойти. Если начну знакомиться, будут говорить, что я что-то от старушек хочу получить, жениться, может быть...— Морщины на его лице засветились на солнце. Он засмеялся добродушно.— А если бы они узнали, что за костюм у них висит, они бы ночью не спали от страха. Как же — революция у них в доме!..

— Зачем же они его берегут?

— Раз они нашли на чердаке этот костюм, когда пришли в дом, значит, надо, чтобы он там всегда оставался. Они его чистят аккуратно и снова вешают. Так он и до сих пор висит. Но я что-нибудь придумаю, чтобы его получить...

Финляндия богата водой, камнем и лесом, особенно водой. Она, как разборчивая и своенравная красавица, смотрится во множество зеркал — озер и заливов. На берегу одного из таких затейливых заливов, на земляничном полуострове, около одного из славных и древних городов страны, Турку, называемого еще Або, дал нам обед известный тамошний деятель, человек громадного роста, оптимист по натуре, господин Стефенсон, швед, совладелец фирмы «Чилтон Крейтон Вулкан».

Когда подали кофе, он сделал знак: молодая пышная служанка, улыбаясь, принесла в цветном переднике маленькие финские ножики «пукка», и добрый хозяин начал дарить их нам на память.

Кто-то из нас сказал шутя, что дарить ножи — это к ссоре, к войне. Стефенсон замахал руками:

— Что вы, какая может быть война! Сумасшедшие лапуасцы могут только думать об этом, но не здравомыслящие люди. Мы должны торговать и дружить. Я строю вашей стране пусть маленькие, но корабли. Я купил у вас трактор. Хорошая машина, работает у меня дома. Пусть для вас, как это говорится, я кулак! Ну и что, я финско-шведский кулак, не советский. Мирный кулак! Как можно сейчас воевать? Маленькая страна может только потерять, выиграть она не может ничего. Это все разговоры. Лучше посмотрим мою верфь.

Так как, по обычаю, за подаренный нож надо заплатить, каждый дал Стефенсону по советскому гривеннику, и мы отправились к морю. Осмотрев верфи, самые крупные в Финляндии, мы увидели стоящие прямо на берегу не-

большие суда, довольно много повидавшие штормов и непогод, подпертые балками с двух сторон, как простые лодки.

Полуголые рабочие тяжелыми молотами клепали многочисленные железные заплаты на их боках.

Показывая на этих инвалидов моря, господин Стефенсон добродушно пояснил:

— В наших шхерах постоянно случаются такие небольшие неприятности. Мы приводим суда в порядок, ставим им хорошие заплаты до следующего раза, пока они снова не попадут на острый подводный камень.

Оглушительный гром, который производили клепальщики, мешал разговаривать, но я все же сказал:

— Я уже читал про это!

— Где вы могли читать? — удивившись, спросил швед.

— В одном романе, где не только описан такой ремонт, но и хозяева, которым иногда выгоднее получить страховую премию, чем иметь починенное судно.

Стефенсон усмехнулся:

— Где же вы все-таки могли читать об этом?

— В романе писателя Ричиотти это все описано.

— Я не знаю такого писателя. Где можно купить этот роман? Это перевод с итальянского?

— Нет, роман на русском. Когда он выйдет отдельной книгой, я его вам пришлю. Сколько лет существует ваша фирма?

— Много лет... Она имеет отделения в Англии, в Швеции, кроме Финляндии. Это англо-шведско-финская фирма. В 1941 году мы будем праздновать ее двухсотлетие. За это время мы построили семьсот пятьдесят один пароход.

Потом мы осматривали единственную канатную фабрику в стране. Задыхаясь от жары, пыли, тонкого волосяного тумана, в низких помещениях, где в воздухе носились мельчайшие волоски пакли и пеньки, прилипавшие к головам, рукам и одежде, работали женщины и девушки, которых рекламировал хозяин как испытанных специалисток своего дела, с детства работающих на фабрике.

Двести лет продолжалась эта канатная каторга. Скольких цветущих женщин и девушек убила она, превратила в исхудалые существа с впалыми щеками и потухшими глазами!

Даже сам Стефенсон сказал:

— Очень тяжелая работа, но что поделаешь. Морскому делу нужны канаты!

...Расставшись со страной лесов и озер, мы плыли через залив, из Хельсинки в Таллин. В заливе было большое движение. Мы все время встречали морские пароходы, танкеры, самоходные баржи, большие и малые парусные шхуны, рыбачьи лодки, количество которых все увеличивалось по мере того, как мы приближались к берегам.

В сиянии голубого летнего дня из моря поднялись наконец перед нами знакомые мне шпили, башни и высокие стены Таллина.

Встреченные нашими коллегами — эстонскими журналистами, полные еще финляндских впечатлений, мы вскоре уже снова делали визиты, ездили по стране, осматривали исторические достопримечательности, с удовольствием бродили по каменным лестницам и переулкам старого города, любовались морскими видами, работали на пресс-конференции, видели многое, но поспешно.

Среди всей пестряди вновь увиденного я испытывал странное чувство. Как сквозь экран, сквозь сегодняшнюю жизнь города просвечивали картины недавнего прошлого, когда он носил название Ревель. Это на его рейде встречали в 1914 году английскую эскадру адмирала Битти. Русские моряки состязались с английскими и были разбиты в безнадежном для них футбольном матче. Но здесь же они победили английских гостей в гонке вельботов.

Тут, в Ревеле, на узких улицах и площадях шли стенка на стенку, натравленные друг на друга своими командирами, моряки Балтийского флота и солдаты из гарнизона. Потом пришла первая мировая война...

Все это проносилось в моей памяти, как будто я снова листал страницы балтийской эпопеи Ричиотти. Да, он воспроизводил жизнь с большой правдивостью. Я мог проверять на месте правильность его описаний. Даже в мелочах он был точен.

Я спросил у эстонских друзей: правда ли, что у них в Таллине был в старину обычай неисправного должника сажать на цепь и держать его на цепи, пока он сам или за него другие не внесут полностью долг?

— Да, было так,— сказали они, повели и показали цепь, добавив:— Давно уже никто на ней не сидит, но это не значит, что сегодня все платят свои долги в срок... Откуда вы знаете про цепь?

— Мне рассказывал один приятель,— ответил я.

Мы много ездили по республике и однажды попали в диковинное место. Об этом месте нам негромко рассказа-

ли предварительно. Буржуазное правительство Пятса и Лайдонера больше всего на свете боится революции. Оно рассуждало в данном случае удивительным образом: Эстония — страна хуторских хозяйств, которые, в общем, процветают. Но молодежь хочет веселиться по-городскому, и все едут в город за весельем, хотят жениться на городских девушках, развитых и культурных, не в пример деревенским. Но эти парни, транжирящие папашины деньги в городе, развращенные жизнью, не похожей на хуторскую, оставляют деревню для города и, потерпев крах своих надежд в Таллине, умножают ряды недовольных. Из опоры власти превращаются в смутьянов, вызывающих беспорядки и сеющих недовольство. Или же они увеличивают ряды рабочих, и это тоже ни к чему, или становятся безработными и начинают поносить правительство.

Выход такой: надо, чтобы они женились на своих соседках, дочках таких же зажиточных хуторян, укрепляли свою связь с землей и были верными слугами режима. Но для того, чтобы они удовлетворились сельскими невестами, надо, чтобы эти сельские очаровательницы заменили им все соблазны города. Для этого их надо воспитать особым образом. Были созданы специальные школы. Мы посетили высшую школу домоводства, помещавшуюся около Кехлна, в бывшем имении барона фон Юргенсбурга.

Наставницы подробно изложили нам, чему они учат своих молодых учениц. Девушки должны уметь делать все по домашнему хозяйству, готовить обеды, уметь принимать гостей, по-городскому занимать их разговором, должны уметь играть на пианино, уметь петь городские и деревенские, народные песни и романсы, рисовать, конечно, знать модные и старинные танцы, иметь определенный запас общекультурных знаний, чтобы вести разговор с серьезными людьми.

Они должны также уметь шить, стирать, гладить. Превосходно владеть собой, уважать старших, не выводить мужа из себя, справедливо, но строго держаться с батраками.

Все сельское хозяйство они изучали в первую очередь: и сельскохозяйственные машины, и огород, и сад. Одним словом, невесты были первый сорт.

Наставницы извинились: мы приехали в каникулы, когда невесты разъехались, но есть несколько девушек, еще сдающих зачеты, и так как мы попали в обеденный час, то мы и будем экзаменаторами. Появились девушки, их нам

представляли по очереди. Одна из них сдавала зачет по умению накрывать на стол, две другие — по умению подавать обед, две готовили на кухне, еще две играли роль хозяек и должны были развлекать нас интересным разговором, еще несколько должны были продемонстрировать свои музыкальные способности после сладкого.

Все девицы были подвижные, легкие в движениях, розовощекие, возбужденные присутствием иностранных гостей, они от волнения спешили, заходили не с той стороны, путали соусы, но мы снисходительно отнеслись к их трудной задаче. По окончании обеда они принесли нам свои матрикулы, и мы поставили им добрые отметки.

Право, они заслужили их: обед приготовили хороший, стол был накрыт по всем правилам, сами юные хозяйки были очаровательны.

После этого нам сыграли несколько пьес на пианино. Девицы подошли и с церемонным поклоном пригласили на танцы. В танцах и хоровом пении приняли участие и их наставницы.

Нам показали сад, за которым тоже ухаживали ученицы. Зашли в общежитие, и наставница сказала: «Хотите посмотреть комнаты?» Мы не отказались, но выразили некоторое сомнение, можно ли без предупреждения входить в комнаты молодых девиц. В ответ на это наставница сказала, что, по их правилам, дверь в комнате пансионерки должна быть днем всегда открыта.

В доказательство своих слов она сделала шаг и распахнула ближайшую дверь. Перед нами предстали две девушки, одна из которых передавала другой голого розового младенца. При виде нас девушки покраснели до корней волос, даже их глаза стали розовыми. Они встали, не зная, куда девать младенца, роняя пеленки на пол.

Наставница не растерялась. Сделав знак девицам садиться, она сказала: «Я вам потом объясню!»

Когда после осмотра комнаты мы вышли в сад, она спокойно растолковала нам, что девицы должны изучить еще в школе, как обращаться с маленькими детьми, потому что они, выйдя замуж, будут сами иметь детей, и это первоначальное знание им очень пригодится.

— Но откуда же вы берете младенцев?

На секунду эта вежливая, строгая женщина смутилась.

— Мы берем их из воспитательного дома,— ответила она.— Это дети без матерей, подкидыши...

— Но ведь они быстро растут и выходят из пеленок?

— Их всегда хватает,— уклончиво сказала наша собеседница.— К сожалению, их много у нас, как, по-видимому, и всюду на свете.

— Простите, а как обстоит у вас вопрос с женихами? Они являются позже?.. После окончания школы?

— Нет, почему же, у каждой девушки есть ухажива-тель, друг детства или знакомый соседский юноша. Они приезжают каждое воскресенье на велосипедах и устраивают вечера танцев, поют, пляшут народные и другие танцы, гуляют, конечно, не поздно, потом разъезжаются до следующего праздничного дня... Обычно девушки выходят замуж, когда кончают нашу школу. Из них получаются очень хорошие жены, имеющие образование, нужное и в сельском хозяйстве, и в городском обиходе.

Мы поблагодарили гостеприимных хозяек, сфотографировались с ними на память и покатили снова по гладким эстонским дорогам, по сторонам которых зеленые луга сменялись рощами, и всюду виднелись голубые ленты ручьев или сверкающие озерные зеркала.

— Конечно,— иронически говорили мы,— на худой конец, все-таки перемена: раньше в этих имениях жили властные бароны, угнетатели местного населения, теперь новые хозяева воспитывают своих кулацких дочек, чтобы морально и политически укрепить свое хозяйство...

В Латвии мы провели несколько дней в древней Риге, тонувшей в зелени, в цветах. Посетили знаменитое кладбище с действительно выразительными статуями и скульптурными группами, ездили на Кегумскую плотину, обедали с писателями и министром иностранных дел в живописном доме в Сигулде, принадлежавшем некогда князю Кропоткину, встречались с латвийскими журналистами, осматривали завод Кюне, детскую колонию около Риги, сельскохозяйственный институт в зеленой Елгаве, курорты Рижского взморья...

«Дом черноголовых», старый город, мост через Даугаву, Верманский парк, маленькие городки побережья вызвали во мне много картин ранней юности, и я не мог не вспомнить друзей далеких лет, с которыми я делил боевые дороги первой мировой войны, с которыми приезжал после оперы в Риге прямо в сырые коридоры окопов на Пулеметной горке или в Тирульских болотах.

В Лиепае было пустынно, тихо и грустно. Я увидел

пустой город, без жилищного кризиса, так как не было людей.

Порт, лишенный былого значения, прозябал. В сухом доке стоял какой-то старенький пароходик — железный старичок с таким видом, что он не хочет больше выходить на воду — хватит, поплавал!

В мастерских порта было запустение; холодный ветер мел железные обрезки и соломенную труху. И только утром на набережной было оживленно и даже красиво.

Большие рыбачьи лодки, вернувшиеся с ночной ловли, подымали целую рощу мачт над разноцветными платками лиепайских хозяек, пришедших за рыбой. К этому надо еще добавить специфический запах — смесь соленого ветра, холодной, пахнущей водорослями воды, запах смолы, дегтя, крепкого табака, сырых снастей и мокрых свернутых парусов. Серебристый блеск чешуи, отливы черных, просмоленных бортов, тяжелая темно-зеленая вода и отраженные в ней облака и тени людей запомнились мне, и с тех пор, когда я говорил о Лиепае, то неизменно вспоминал это серое, ничем не замечательное утро и многоцветно живущую набережную.

Тут же я увидел двух людей. Один из них так напоминал судовладельца Зеберга, что я даже спросил, кто это. Мне ответили, что это старый лиепайский купец, хозяин целой рыбачьей флотилии, и, если хотите, вас можно с ним познакомить. Я спросил шутя:

— Его зовут Зеберг?

— Нет,— удивленно ответил латыш,— я знал одного Зеберга в Риге, но это не он.

Я уклонился от знакомства и сразу же увидел хромающего, уже ветхого капитана Ротмана. Мое воображение сделало его инвалидом, который приходит на набережную, чтобы встретить старых знакомых. Почему я назвал про себя этого сморщенного бывшего моряка в морской фуражке, шагающего волоча ногу, с большой суковатой палкой красного дерева Ротманом, я не знаю, но капитан Ротман, так живо изображенный в романе, несомненно, в глубокой старости, если бы он до нее дожил, выглядел бы именно таким.

В эту ночь я спал плохо. Мне снилось, что я разговариваю с живыми и мертвыми моряками под шум бешеных волн и безумный скрип ломающихся мачт...

В своей поездке мы ушли от моря, и на границе Латвии и Литвы простились с нашими латвийскими хозяевами и

сразу, тут же на станции Мейтене, попали в руки литовских коллег — журналистов из Каунаса.

Почувствовав неимоверную усталость после быстрой, непрерывно сменяющейся панорамы трех уже осмотренных стран, после всех встреч, званых обедов и ужинов, приемов и пресс-конференций, я, как только вошел в маленькое одноместное купе литовского поезда, сразу же повалился на мягкий, властно зовущий к себе диван и уснул крепчайшим сном. Я не знаю, сколько часов я спал.

Меня разбудил легкий шум отодвигаемой двери. Я смотрел вполглаза. В тихо отворявшуюся дверь просунулось незнакомое мне лицо, украшенное русой бородой. Человек, увидев, что я проснулся, приложил палец к губам и начал вдвигаться в мое купе. В руках у него появилась большая темно-алая роза. Я равнодушно следил за его действиями. Он, прижимая палец к губам, смотря на меня в упор, дошел до столика у окна, налил из графина воды в стакан, поставил в него розу и стал отступать в коридор спиной, все время улыбаясь в свою русую бороду и не отнимая пальца ото рта. Он исчез, дверь закрылась за ним. Я перевернулся на другой бок и снова заснул, успев подумать: «Какой удивительный сон во сне».

Я отсыпался за все дни нашего путешествия. Плотно выспавшись, я протер глаза, сел на своем диване и, ничего не понимая, смотрел на столик.

На столике в стакане с водой благоухала большая темно-алая роза. Я взял ее в руки. Она была самая настоящая, без подделки. Недоумевая, я поставил ее обратно в стакан. Всякое бывает в жизни...

Приведя себя в порядок, я начал просматривать свою записную книжку, и тут дверь снова раскрылась, и в ней возникла знакомая мне русая борода.

Теперь этот невысокий, узкоплечий человек смело вошел в купе, не подавая никаких масонских знаков, и сказал мне таким приятельским тоном, точно мы были с ним уже давно знакомы:

— Я прошу вас эту розу продеть в петлицу, когда вы выйдете на вокзале в Каунасе.

Я пожал плечами.

— Я не артист и не кинозвезда. Я никогда не ношу никаких цветов в петлице.

— Я вас очень прошу,— сказал бородач, прижав даже руку к сердцу.

— Нет,— сказал я снова,— продевать розу я не буду, так как не вижу в этом смысла.

Тогда он сел рядом со мной и тронул меня за рукав:

— Послушайте меня. Мы с вами незнакомы, но вы можете мне верить. Я поэт Людас Гира, литовский патриот, друг Советского Союза, вице-председатель Союза писателей в Каунасе. Там все ждут вашего приезда. Но вы знаете, что у нас правят Сметона и Тубелис. Они запретили манифестацию у вокзала. Все равно придет много людей. Но так как не будет торжественной встречи, то как узнать среди массы народа, кто же именно приехал. И я придумал и всех предупредил. Я выехал вам навстречу и всем вам дал по розе. Я сказал там, в Каунасе: когда будут выходить из вокзала, те, у кого в петлице красные розы,— посланцы Москвы. Приветствуйте их с чистым сердцем! Вот почему, я думаю, вы не захотите лишить радости стольких желающих вас приветствовать, с таким нетерпением вас ожидающих. Я прошу вас прикрепить эту розу. Я должен спешить дальше, но я ухожу с уверенностью,— не правда ли, вы прикрепите розу?

— Ну что ж,— сказал я,— так и быть! Я прикреплю эту розу!

И действительно, люди с красными розами были оглушены аплодисментами и приветствиями, когда вышли на площадь перед вокзалом в Каунасе.

В маленькой, зеленой Литве у нас было много друзей. Здесь открыто подчеркивали глубокую дружбу, связывающую литовский народ с народами Советского Союза, следили за советской литературой, музыкой, театром. Большой успех имели наши песни, была очень известна «Песня о Родине» Лебедева-Кумача. Куда бы мы ни приезжали, мы всюду встречали теплый прием. Но официальные люди были себе на уме. Тот же страх перед революцией мучил их, и они не знали, что придумать, чтобы как-то отдалить неизбежное. Один из таких деятелей встретил нас в Каунасе и, между прочим, сказал: «Вы приехали в исторический момент. Кончилась последняя литовская деревня. Мы уничтожили все села. Крестьяне расселены по хуторам».

Нельзя было понять, зачем это сделано и что они, собственники, выгадывают на этом. Собеседник был словоохотлив. Он объяснил, что большие земли давно у помещиков, и крупных и средних. Теперь оставшиеся лучшие земли получили люди, принадлежащие к правящим кругам, богатые кулаки, бывшие военные, члены правительст-

венной, прямо сказать, фашистской партии. Тех же, кого считают смутьянами, нищих и недовольных, расселили на болотах, подальше друг от друга, чтобы сговариваться им было далеко ходить. Таким образом за отдельными людьми следить легче и объединяться им труднее...

Официальные лица показывали нам Каунас — небольшой, в прошлом губернский крепостной город, с длинным бульваром посередине, с широким, полноводным Неманом рядом. Окрестности были очень красивы, лес покрывал соседние высоты.

Мы попали в форты старой царской крепости. Видели разрушенный германскими войсками в первую мировую войну форт № 3, причем наши гиды показывали на развалившиеся кирпичные груды, поясняя:

— Посмотрите — вот изнанка царского режима: сколько стоило возведение бетонных стен, а на самом деле это не бетон, а просто кирпичи, деньги укрепили не форт, а карманы подрядчиков и строителей — царских военных инженеров, а стены обвалились от первых снарядов.

В других фортах были расположены государственный архив, сумасшедший дом, был форт, превращенный в тюрьму. О нем тоже мы услышали рассказ.

— Мы первые ввели самый гуманный способ смертной казни в мире,— сказал наш проводник.

— А у вас часто применяется смертная казнь,— полюбопытствовали мы.

— Что вы! Политических не казнят, и никого вообще стараются не казнить. Но, знаете, бывают такие вопиющие преступления, перед которыми сам Ломброзо остановился бы. Ну, скажем, человек-зверь, чудовище, убил папу, маму, тещу, жену, детей — всех; ужасно, ничего тут не поделаешь, надо казнить. И сам преступник понимает, что ему это даром не пройдет. Но так как даже самый темный убийца все-таки в свое время читал какие-то книжки, особенно про убийства, то он и представляет все, что с ним будет, по книжке. Во-первых, он требует и получает перед казнью последний ужин. Он сидит в каземате, в котором в этот вечер создается известный уют. Мы современные люди. Мы даем ему ужин, какой он сам закажет, вино, водку, коньяк и ставим патефон с теми пластинками, которые он любит больше всех.

Он начинает жрать и пить, пьянеет, заводит патефон, ставит танцевальные пластинки, начинает танцевать с табуретом, и где-то в пьяной голове все же живет клочок со-

знания, что придет утро и, как он по книжке представлял, появится священник, потом судьи, потом палач, и тут-то будет казнь. Он не подозревает, танцуя с табуретом и хрипло рыча песенку, что это уже казнь...

— Как так казнь? Не понимаем!

— Мы пускаем в каземат, как только увидим, что он уже пьян, веселящий газ. Этот газ заставляет его испытывать неслыханное веселье, переходящее в кошмар. И незаметно наступает смерть. Но мы сначала по неопытности пустили слабую дозу газа, и он танцевал полтора часа, пока не помер. Всех извел! Теперь мы знаем, как быстро кончать этих злодеев.

— Но подождите! Если преступник не подозревает, что это казнь, то где же кара за преступление? Он не чувствует казни и не испытывает ужаса возмездия,— сказал кто-то из нас.

— Вы хотите слишком многого. Ведь он и так помирает. Зачем же еще психический нажим? Заметьте: нигде в мире, только у нас это гуманное нововведение,— сказал с явным удовольствием представитель юстиции.

...Мы видели многое в Литве. Мягкая природа страны, вероятно, способствовала и смягчению характера народа. Неман певуч, как Чурлёнис, который по-литовски звучит еще нежнее — Чурлионис. Мы видели, как хорош курорт Понемуне. Нам показывали заводы и фабрики, сельские хозяйства, музеи и памятники.

Кончали мы свою поездку в Клайпеде, на берегу моря. Своеобразный город, где в центре подымаются мосты, чтобы пропустить корабли, имел и своеобразный порядок. Он переживал сложное время. На него точил зубы Гитлер. В городе смертельно скучал верховный комиссар, представитель Лиги наций. Была директория, призеденту которой мы нанесли визит вежливости. Был и губернатор, и сейм, и командир над портом. Начальства кругом было так много, что у нас просто не было времени разбираться в этих сложных политических взаимоотношениях.

Нам дали катер и очень знающего человека для осмотра порта. Безукоризненно одетый, он производил тоже впечатление начальства. Мы думали, что это, по крайней мере, главный инженер порта, так авторитетно говорил он обо всех особенностях Клайпедского района, о торговых оборотах порта, о кораблях, посещающих Клайпеду, о фашистских поползновениях захватить, прикарманить литовский город с окрестностями,

Он знал и другие, менее значительные вещи. Показывая на воду в одном месте, он говорил: там водятся самые жирные угри, потому что туда течение приносит утопленников, и угри живут в них, как в норах. Он был широко образован, говорил о музыке и балете, о Москве, в которой однажды побывал, сопровождая какое-то важное лицо. Он произвел на нас сильнейшее впечатление рассказом о литовском военном флоте.

— Вы знаете, что Литва долго не имела своего военного флота. Но обстоятельства заставили правительство создать его. Дело в том, что, как только мы зажили самостоятельной государственной жизнью, началась торговля, ожили и берега — рыбаки начали расширять свой промысел. Но вдруг обратили внимание на то, что в стране появилась контрабанда. Как ни следили за ввозом в страну, за подозрительными лицами, контрабанда росла, и никто не знал, как с ней бороться. Любой иностранный товар вы могли купить у спекулянта, который сам не ведал, откуда плывет ему в руки это добро. А оно действительно плыло, потому что шло с моря. Стали выяснять и выяснили ужасающее обстоятельство. Так как наша морская граница не имела никакой охраны, об этом проведали некие международные жулики, и скоро к нам начал паломничать целый флот контрабандистов. Корабли приходили из всех стран, со всех материков. Они не стеснялись расстоянием, приходили, бросали ночью якорь вблизи берега, к ним подплывали контрабандисты, и товар исчезал бесследно в их притонах. К утру операция заканчивалась, и корабль, как призрак, исчезал, уходя за новыми товарами. Так продолжаться не могло! Но что делать? Собрали специальное заседание правительства. Было решено завести флот. Сначала втайне купили один корабль. Почему втайне? Чтобы агенты контрабандистов не пронюхали. И вот, когда пришел очередной заморский бандит и ночью стал на якорь, уверенный в полной безопасности, лихой капитан нашего первого боевого корабля ринулся под покровом темноты в атаку, обошел вражеский корабль, стреляя вверх из двух своих пулеметов, потом причалил к трапу, взобрался на палубу в сопровождении своих храбрецов.

На палубе они нашли двух спящих мертвецки пьяных людей. Обнаружить их принадлежность к какой-нибудь известной расе не представлялось возможным, так как у них были зеленые, с темными подтеками лица; в каютах они нашли других пьяных матросов адского корабля, ле-

жавших в самом разбросанном виде. Весь корабль был во власти пьяного сна. Это была полная смесь всех племен и цветов кожи. Капитан, спавший в своей каюте на ящиках с вином, не мог быть приведен в чувство никакими мерами. Он пришел в себя к вечеру на следующий день, и первый его вопрос был полон недоумения:

— Где я?

— Вы арестованы и находитесь под стражей военно-морского флота Литовской республики!

Пират даже изменился в лице. Он попросил повторить, какой флот захватил его корабль. И все-таки он не верил. Он сел, вытянув толстые губы, нахмурясь, разводя руками.

— Литовский флот? Что вы мне вкручиваете! Такого флота нет... Я твердо знаю, что нет и никогда не было. Зачем вы меня обманываете? Скажите, в какой я все-таки стране?

— Нет литовского флота? — воскликнул оскорбленный моряк.— Идите, смотрите! — Он толкнул пирата к окну, и тот увидел наш боевой корабль, на корме которого развевался неизвестный ему флаг. Пират заплакал от бессильной ярости.

Перехватали и его помощников на берегу. Но когда захотели выяснить название пиратского корабля, это оказалось невозможным. Между тем местом на корме, где было начертано первоначальное имя, и сегодняшним названием лежал слой краски толщиной в руку — столько раз корабль менял свое имя. Выяснили только, что экипаж — весь этот пестрый сброд — навербован в Гондурасе, Гватемале и на каких-то немыслимых островах Карибского моря. Вот даже откуда не стеснялись приходить к нам! Но больше не приходят. Это сделал наш могучий «Волк». Он официально носит имя «Антанас Сметона», но мы называем его дружески «Волком». Посмотрите и вы на него. Вот он!

После такого впечатляющего рассказа о морском небывалом посрамлении мировых контрабандистов мы смотрели прямо перед собой, куда указывал рассказчик, но в поле нашего зрения ничего не лежало, кроме большого купеческого парохода и траулера, шедшего в море.

— Вы, господа, смотрите не туда,— сказал наш гид,— смотрите немного ниже, почти прямо под вами...

Мы подошли к краю причала и наклонились над водой. Перед нами покачивалось на волне маленькое сторожевое

судно, на котором расхаживал часовой. Действительно, это судно называлось «Волк» по праву. Мы ожидали увидеть, по крайней мере, миноносец, а то, что этот малыш бросился в бой с большим морским пароходом, доказывало его боевую натуру.

— Теперь правительство,— сказал наш проводник,— покупает еще один торпедный катер. Наш берег отныне защищен, как вы видите.

Когда мы вернулись на берег, тот, кто был нашим спутником, отошел в сторону и занялся важным разговором с чиновниками.

Воспользовавшись этим, мы спросили сопровождавшего нас из Клайпеды журналиста: кто показывал нам порт и гавань?

— А! Это каторжник! — сказал он совершенно спокойно.

— Как, позвольте? Это что, прозвище? Но почему такое странное?

— Нет, это не прозвище, это так и есть. Он был сначала приговорен к смертной казни, но потом она была заменена пожизненной каторгой.

— А почему он здесь и в таком хорошем виде?

— Он отбывал наказание года два, а потом его сюда устроили.

— Но за что же он получил высшую меру наказания?

— Он хотел сделать государственный переворот.

— А почему,— спросили мы нахально,— ему не удалось сделать государственный переворот?

— Потому, что он опоздал! Он принадлежал к среднему комсоставу, а высший комсостав уже сделал переворот чуть раньше.

— А почему его пожизненная каторга так скоро кончилась?

— Ну, знаете, у нас маленькая страна. Не надо доводить человека до крайнего ожесточения. Тем более он хороший специалист, инженер, вы сами убедились...

Когда мы прощались с инженером-заговорщиком, он сказал:

— А ловко тогда получилось, когда мы тайно подготовили свой кораблик! Есть такая канадская пословица: «Хоть мы последние, но не из последних». Теперь заморские бандиты к нам носа не кажут!

Вскоре после посещения Клайпеды мы выехали на родину.

И вот я вернулся. Я сижу с Володей Ричиотти, и перед нами первая книга романа, приведенная в полный порядок. Она называется «Третий рейс».

Володя расспрашивает меня о поездке. Я рассказываю все по порядку, он жадно слушает о знакомых ему краях. Я говорю:

— Я привез вам привет от ваших героев. Они живы и поныне. Их там сколько хотите. Такие же купцы спекулируют на грузах, такие же судовладельцы выжимают все, что можно, из пароходов, которым давно надо на свалку, побольше той, что мы видели на островах, помните... Такие же капитаны издеваются над матросами. Появились еще фашисты, которые в каждой стране называются по-разному, власти всюду дрожат перед революцией. Порты на месте, даже кабачки на месте, и «Цвалинг» и «Русалка» вам кланяются...

Работа над рукописью подвигалась так успешно, что я мог скоро договориться с издательством. И когда Ричиотти начал окончательную отделку книги уже с редактором, я вздохнул с облегчением. Труд стольких лет подходил к своему новому периоду. Первый том становился реальной книгой. Мечта автора написать роман о моряках и о море исполнялась.

Ричиотти пришел ко мне с неожиданным сообщением.

— Николай Семенович,— сказал он,— докладываю, что я все поправки внес и теперь ненадолго могу покинуть Ленинград...

— Подождите, Володя, а почему вы не хотите дождаться, когда будут корректуры, чтобы самому их править? Разве ваша поездка такая срочная?..

— Да, я должен срочно уехать. Врачи требуют, чтобы я немедленно уехал в Кисловодск. У меня нашли тяжелое переутомление. По-видимому, те семь лет без отдыха сказались сейчас. Я чувствую себя ничего, но они упорно настаивают, чтобы я уезжал без промедления. И я завтра уезжаю...

— Ну, что же, если так, ничего не поделаешь! Вы имеете право на отдых. Вы его заслужили. Возвращайтесь поскорее с новыми силами. Вы знаете, сколько еще впереди работы!

Он уехал.

Редактор аккуратно отсылала ему гранки со своими замечаниями. Он также, не задерживая, присылал ей поправки. Дело с книгой близилось к концу. Я был так уверен, что все идет как нужно, что не звонил редактору, и поэтому, когда она сама позвонила, я даже обрадовался.

— Можно вас поздравить с окончанием работы? — сказал я, услышав ее голос в телефоне.

— Почти что так. Я хотела с вами посоветоваться. Осталось несколько незначительных поправок, но я не знаю, посылать ли их. Хотелось бы послать, чтобы уже не было сомнений...

— Посылайте,— сказал я,— тем более, это последние и незначительные. Без автора все-таки нельзя их вносить. Пусть сам посмотрит. Отсутствие последнего авторского просмотра невозможно заменить никакой редакционной работой. Вы проделали большую творческую работу и заслуживаете большой благодарности. Это последнее усилие. Посылайте!

Через несколько дней раздался в квартире на Зверинской неожиданно тихий звонок. Я открыл дверь. Передо мной стояла редактор романа Ричиотти с окаменевшим лицом.

«Что у нее случилось? — подумал я.— Только недавно она говорила со мной, и все было хорошо».

Она не сказала ни слова. Когда мы вошли в комнату, села и стала всхлипывать, протянув мне телеграмму.

— Я послала ему телеграмму,— сквозь слезы говорила она,— чтобы он сообщил, когда приедет, нужно ли высылать туда последние поправки, а сегодня получила телеграмму, вот эту!

Директор санатория в ответ на телеграмму редакторши сообщал, что присылать ничего не надо, так как Ричиотти внезапно умер день назад.

...Позже мы узнали, что в этот последний вечер он был очень оживлен и даже танцевал в санатории на вечере отдыха. Танец кончился. Девушка, танцевавшая с Ричиотти, села рядом с ним и повернулась к подруге. Вдруг она почувствовала, что он прислоняется к ее спине. Не оборачиваясь, она сказала: «Что с вами?» Он не менял позы, тогда она, рассердившись, сказала громко: «Возьмите себя в руки!» И вскочила. Ричиотти упал перед ней. Он был уже мертв.

...Когда редакторша после ошеломляющего известия советовалась со мной о книге, нам обоим было ясно, что те-

перь книга выйдет совсем не с тем предисловием, какое могло быть.

Уходя, она спросила:

— Как же теперь будут называться остальные книги романа, если их удастся выпустить?

— Дорогая,— сказал я,— их не удастся выпустить, потому что это не готовый к печати материал, а огромный, как лабиринт, черновик. А все это называется теперь «Гибель эпопеи»...

...Владимир Ричиотти умер мгновенно, от разрыва сердца.

Первый том его романа тогда же вышел в свет, но о нем теперь знают только друзья покойного и писатели-ленинградцы.

С тех пор прошло двадцать пять лет.

В хранилищах Пушкинского Дома в Ленинграде, как на дне залива, лежит незаконченная эпопея о море и людях моря, об истории революционного движения в Прибалтике, о ледовом походе, о героизме далеких, ушедших в историю первых дней Октября.

Может быть, найдется когда-нибудь молодой исследователь, который проникнет в эту глубину лет и посмотрит, не жалея усилий, что можно извлечь живого из этого многообещающего материала, что можно вынуть на белый свет, в каком размере представить читателю рукопись, которая долго плавала в океане времени, не привлекая внимания.

Может быть, и найдется любитель моря, патриот Балтики, который придет на помощь молодому исследователю.

Может быть... Как знать?

ЛЮДИ БОЛЬШИХ ВЫСОТ

С небольшой компанией друзей, приехавших из города на выходной день, я совершил обыкновенную воскресную прогулку. Пройдя километров пятнадцать по зеленым просторам скромных подмосковных лесов, мы вернулись, освеженные, в хорошем расположении духа, пообедали и теперь сидели за круглым столом в саду. Стол был старый, почерневший от дождей, но над ним, как будто резвясь, переплетались тонкие, веселые ветви дикого винограда, а кругом вздымалась свежая, буйная, лезущая во все стороны листва молодых, тонкостанных, гибких кленов и лип.

Поодаль стояли высокие старые ели. Им когда-то подрубили все ветви, оставив только самые близкие к вершине, и они стали похожи на пальмы неизвестной, чудной породы.

Цветов в саду было много. Все они были питомцами севера, привычными для глаза, но в их пестроте жило непонятное очарование, которое трудно объяснить словами. Они напоминали о детстве, о давно минувшей юности, о людях, которые блеснули, как эти оранжевые бархатцы, или вдруг вспыхнули красным блеском настурции, или чем-то напоминали темно-красные гвоздики, были скромнее сиреневых маттиол и лимонно-желтой календулы, были одинокими, как лилово-синий гладиолус, или заполняли все собой, как эти разноцветные, любящие цветущую свою толчею флоксы.

Между кустами калины блестела вода.

— Если это пруд, почему он такой маленький? — спросил один из друзей.

— Это не пруд,— отвечал я,— это яма, выкопанная для танка. В ней стоял танк на позиции...

— Когда это было?

— В сорок первом...

— Так близко отсюда были фашисты?

— Они были в двадцати километрах, а то и меньше...

— Действительно, ведь так и было...

Нас было пятеро, и все вдруг замолчали, точно каждый невольно вспоминал те уже далекие годы, которых не знает новое поколение и не может представить, какая смертельная угроза нависла тогда над родной землей. Я вспомнил рассказ Якуба Коласа, как он, вернувшись в родные места, не узнал их, потому что там, где стояли могучие леса, торчали жалкие обрубки и кустарник старался заполнить веявшее ужасом пустое пространство.

В тишине этого летнего дня как будто пахнуло ветром, принесшим далекий запах пожарищ. Я взглянул на небо. Над верхушками елей и сосен в голубом небе облака расположились как горы, на которых только что выпал обильный снег. Я невольно представил себе, что между горными лесами и такими снегами лежат альпийские луга с неповторимыми цветами. Я особенно любил густые, плотные заросли рододендрона, крепкие, пышные чайно-желтые лепестки альпийских роз...

— Какая тишина! — сказал один из гостей, и тут все сразу, перебивая друг друга, начали говорить о том, как мы нуждаемся в тишине, как мы не умеем, в сущности, отдыхать, как мы не умеем посидеть, побеседовать спокойно, не глядя на часы...

— Всегда кто-то спешит, всегда кому-то надо бежать...

Не успели прозвучать эти слова, как поднялся один из присутствующих, действительно взглянул на часы, помахал рукой и схватил шляпу...

— Ну вот, к слову... Один уже уходит, бежит! Куда?

— Совсем забыл. Иду на футбол. Едва успею. Не могу оставаться. Болею за ЦДСА...

И он ушел, и когда за ним закрылась зеленая калитка, а шляпа его замелькала, удаляясь, над ним стали посмеиваться.

— Ведь вот увлечение. И подумать только, что во всех странах мира гул и грохот стоит над стадионами, где отчаянно гоняют мячи... Чем объяснить такой интерес?

— Это атавизм,— сказал один из гостей.— Люди удивляются, что так ловко можно действовать ногами, они за-

видуют игрокам, которые сохранили умение первобытных людей, большинству уже недоступное...

— Нет,— сказал язвительно другой,— почему предпочитают футбол кино и театру? В кино и в театре все знают, чем кончится, а в футболе возможны самые большие неожиданности...

— Футболу покорны все возрасты,— начал его сосед,— футболисты — неисправимый народ. Я видел матч в Сухуми, и это был, по-видимому, единственный в своем роде матч. Одна команда состояла из нормальных молодых игроков. Другая включала всех желающих, любого возраста, от людей пожилых до преклонного возраста, ветеранов и поклонников футбола. Команда молодых должна была играть весь матч в одном составе, а старички могли хоть каждые пять минут заменять игрока. Жалко, что этот матч не был заснят на пленку. Игра была ожесточенная, и зрители явно были на стороне старых поколений, потому что, когда один старичок случайно забил-таки гол, все зрители поднялись и устроили такую овацию, что старые рыцари мяча, когда все-таки их обыграли, расходились после своего естественного поражения сиявшие, как будто взяли мировое первенство...

— Все это потому,— сказал я,— что в юности все играли, мало кто избежал этого увлечения. Я сам до сих пор помню,— а с того дня прошло больше полувека,— желтые с черным полосы майки игрока моего детства.

— Это так,— сказал один из друзей,— но с возрастом каждый выбирает что-то одно, что его устраивает. Возьмите меня — я выбрал водный спорт, байдарку. Это замечательно, это очень просто. Байдарка складная, весит немного. Я могу на ней плавать куда хочу, могу проникать в самую узкую речку, идти по самой мелкой воде и могу плыть на большие расстояния. Со мной палатка и продукты. Я могу остановиться когда и где угодно. Замечательная свобода передвижения — никакой пешеход не может преодолеть те зеленые заросли камышей, куда проникает легко моя байдарка.

Вот в свой отпуск я плавал с женой, с сыном и одной нашей приятельницей. Мы видели столько удивительного на реках, которые уводили нас в такую глубину российских лесов, мы приплывали в места, где никто не видел никогда подобных «кораблей». Дети, игравшие на берегу, бежали вдоль края воды и кричали, призывая других посмотреть: «Диво! Диво! Диво!»

А какие ночи мы проводили у костра, где в глуши только птицы подают голос да в реке прыгает сонная рыба! Далекая ветка треснет — и то слышно.

Конечно, в дополнение к этому нужны лыжи зимой или добрые пешие походы...

— Вот вы сказали — лыжи,— сейчас же откликнулся высокий и худой товарищ. Он в годы войны прошел, будучи связистом у Чуйкова, от Волги до Шпрее и кончил войну в Веймаре.— Лыжи — это необходимейший спорт. Сейчас он стал массовым. Уже требуются миллионы лыж. Это — естественно. Каждый с детства должен ходить на лыжах. Посмотрите, сколько зимой уезжает лыжников в выходной день из Москвы. Точно лес влезает в вагоны. И еще — бег. Это доступно каждому. Бегать так же естественно, как дышать... Говорят, что в Норвегии, в Осло, в воскресный день не назначают ни встреч, ни собраний, не устраивают спектаклей, потому что в городе никого не остается: все на лыжах идут за город, в горы, там и трамплины и слаломы для всех возрастов. Конечно, хороши буера. Но у нас ими занимаются мало. А наш народ любит спорт всех видов. Ведь надо же, чтобы с юности закалялся человек, чтобы здоровые люди были. Конечно, до революции людям было трудно заниматься спортом, а теперь все поняли, как полезен спорт, и поэтому у нас так много самых разных видов спорта. А когда бывают состязания, все стадионы полны. Десятки, сотни тысяч приходят смотреть, и как смотрят: кричат, ревнуют, негодуют, орут во все горло своим любимцам, подбодряют или неслыханно ругаются... Массовое зрелище, ничего не скажешь...

Сидевший и молчавший третий друг улыбнулся при этих словах.

— Конечно,— сказал он,— спорт стал любимым занятием, любимым зрелищем советских людей. Даже если непосредственно не можешь присутствовать на состязании, так можешь увидеть его дома, пользуясь телевизором, или услышать по радио.

Миллионы зрителей и слушателей становятся свидетелями новых спортивных достижений. Вот этот чемпион поставил рекорд высоты прыжка, этот бросил дальше всех копье, этот пробежал быстрее всех, этот проплыл молниеносно, этот решил своим последним мячом результат матча... И все аплодируют.

Но есть один вид спорта, не имеющий зрителя. Это спорт самых смелых, самых выносливых, самых удиви-

тельных спортсменов. Этот спорт называется альпинизмом.

Это даже, если хотите, и не только спорт, а особый вид страсти. И эта страсть сложная, всепоглощающая, она заключает в себе и точные знания, и нравственные начала, большие стремления, способствует росту лучших чувств, развитию и укреплению характера в благороднейшей, упорной и смелой борьбе за достижение высокой цели. Альпинизм развивает решительность, храбрость, бесстрашие, выносливость. Единственно, чего нет в нашем альпинизме,— это азарта игры, денежного интереса, который, правда, имеется в западном альпинизме, где люди часто идут на труднейшие восхождения, покупая проводников и носильщиков, помогающих им добраться до вершины, или идут из-за одного честолюбия, или из-за высокого вознаграждения. Но, разумеется, и на Западе настоящие альпинисты в лучшем смысле слова есть в достаточном количестве. И этот спорт, эта страсть у нас должна принять формы массового, народного движения...

Тут незаметно подошедшая наша общая знакомая, внимательно слушавшая говорившего, воскликнула:

— Ни понимаю этого, как ни стараюсь! Я сама увлекалась в свое время мотоциклом, пока несчастный случай не лишил меня этого увлечения. Там — скорость, перехватывающая дыхание, перемена мест, азарт, захватывающий все существо, презрение к опасности. Я это понимаю, но альпинизма никак не пойму. Умные, взрослые люди нагружают себя сверх меры разными тяжелыми мешками, палатками, берут ледорубы, разные молотки, крюки, веревки и лезут по отвесной стене, голодают, холодают, терпят неслыханные лишения — зачем? Чтобы посидеть или постоять на снегу и снова спуститься вниз, иногда с еще бóльшими трудностями, чем поднимались. Что сюда входит, кроме действительно сумасшедшей страсти к преодолению трудностей во что бы то ни стало?..

— А я вам скажу,— спокойно ответил защитник альпинизма,— сюда входит все: и знание, и отвага, и мужество, и жертвенность, и, если хотите, польза отечеству!

— Как так? — удивилась наша приятельница.— Не представляю...

— Надо вам сказать, что альпинисты с первых шагов освоения белых горных пятен в высочайших горах Памира, Тянь-Шаня — первые помощники ученых. Они прокладывали пути, они, работая на высотах, недоступных научным

работникам, разведывали рудоносные жилы, помогали в работе горняков-забойщиков, помогали уточнению карт, ставили лагеря экспедиций, были проводниками, исследователями, географами, геологами, гляциологами, вовлекали самих ученых в свое альпинистское братство...

А какое мужество и жертвенность альпинисты показали во время войны! Перед началом войны, весной сорок первого года, один высокий начальник на альпинистском совещании в Московском комитете физкультуры сказал, между прочим, что, если будет война, воевать мы будем малой кровью, а в горах, на Эльбрусе, воевать не будем. А пришлось воевать в горах, на перевалах, в скалах, и на самом как раз Эльбрусе, и пришлось воевать, как вы знаете, не малой кровью.

Враги наши готовились всерьез и с расстояниями не стеснялись. Мы-то ни в какие Альпы не ездили, а к нам немецкие альпинисты приезжали каждый год и в большом количестве. Всюду в горах вы могли их встретить. Мы не могли не обратить внимания на то, что среди настоящих альпинистов-спортсменов было много немцев — военных специалистов, которые детально изучали наши горы, и перевалы, и пути сообщения, все, что надо и не надо. С настоящими альпинистами еще можно было разговаривать начистоту. Однажды у одного такого альпиниста увидел я маленький фашистский флажок со свастикой. Спрашиваю: зачем он ему? Он же простой булочник из Мюнхена, хороший мастер альпинизма, его имя известно, а он говорит: «Вы запрещаете на вершинах гор оставлять фашистские флаги, а наш фашистский горный клуб требует, чтобы мы, когда возьмем вершину, снимались с этим флажком,— тогда они засчитывают восхождение». А потом флажок в карман — до следующего восхождения.

И вот, когда фашисты вторглись на Кавказ, они знали каждую тропу в горах, каждый перевал. А некоему капитану Гроту был дан специальный наказ: через перевал Хотю-Тау проникнуть на Эльбрусские снежные поля, а с них взойти на вершины Эльбруса и там поставить фашистские флаги.

Он все это сделал да еще радиомитинг провел на вершине, чтобы на весь свет раструбить о том, что фашистский флаг на величайшей вершине Европы. Никто не думал, что могут фашисты со стороны, казалось бы недоступной войскам, подняться на Эльбрус. Но ведь это были горные, специальные войска — «эдельвей-

сы», в рядах которых были и наши предвоенные «гости туристы».

Когда фашисты двинули в горы специальные альпийские дивизии, чтобы захватить перевалы, открыть путь в Закавказье, на защиту Кавказа встали грудью советские альпинисты. И помощь их была очень существенна. А в горах сражаться непросто. Писатель Закруткин, сам испытавший, что такое война в горах, приводит в своей книге «Кавказские записки» слова старого жителя гор, военфельдшера Порфирия Ивановича, который говорит, что горы имеют свои законы. Тот, кто научился читать их тайны, не пропадет. Он сумеет схорониться и напасть на врага, найти дорогу и укрыться от бури. А тот, кто не обучен законам гор, пропадет ни за понюх табаку...

Трудно переоценить то, что сделали наши альпинисты на защите Кавказа: как они устраивали переходы через снежные и ледяные перевалы тысячам и тысячам беженцев, уходившим от фашистов, как помогли спасти десятки тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, как уносили запасы драгоценного молибдена...

Бесстрашно и умело сражались они на перевалах высокогорного Кавказа, неутомимо обучали советских воинов всем хитростям горной войны и всем горным навыкам, умению передвигаться и нападать в горах...

А когда пришла пора, атаковали немцев и на Эльбрусе, на высоте почти пяти тысяч метров вели бой, разгромили врага, взошли на вершины Эльбруса, поломали и поскидали оттуда фашистские флаги и поставили советские.

Говорят, в Австралии есть такой завод, где в банки закупоривают горный воздух. Продают эти консервы, чтобы будущие альпинисты, еще не имеющие понятия о горах, приучали себя дома в городах к воздуху вершин, вдыхая горный воздух из банок...

Ну, а у нас-то гор сколько хочешь. И внутри страны, и все наши границы южные проходят в горах. Да какие горы — высоченные, так что воздух не надо в банки нам закупоривать. Нам нужно хорошо охранять наши рубежи, и альпинистов надо воспитывать в массовом, в народном масштабе... Понятно вам теперь, дорогая, почему альпинисты — и мастера больших высот, и энтузиасты, и, когда нужно, герои?..

— Это понятно, что нужны нам и горные войска и альпинисты тут — первые помощники. Но я хочу сказать о другом,— заволновалась наша приятельница.— Вот вы

насчет страсти начали сначала говорить. Вот вы о страсти скажите, как это понимать?

Наш собеседник засмеялся.

— А это уже сила другого рода. Мне рассказал однажды знакомый западный альпинист, как одна ревнивая дама приревновала мужа-альпиниста к горе. Он так хотел взойти на эту гору, что влюбился в нее, как в женщину, ночей не спал, все думал, как ее покорить. Он зачастил в этот район, где гора, и жена решила сама отправиться с ним. Увидела гору, поразилась ее могучей красотой и почувствовала, что страсть мужа неистребима и что ей не победить соперницу, что он будет до сумасшествия пытаться совершить восхождение. Жена смотрела на гору как на живое демоническое существо, отнявшее у нее мужа. Она пошла вместе с мужем, на одной веревке, и бросилась в пропасть, сорвав и мужа с собой, оставив записку о своем исступленном решении... Вот и такое бывает...

— Но это уже безумие и самая настоящая беспардонная чепуха,— сказала наша приятельница,— из-за горы бросаться и мужа бросать в пропасть, губить жизнь! Но вот вы,— обратилась она ко мне,— что вы скажете по поводу альпинизма? Я знаю, что вы давно любите горы и много в горах бродили, но вас я не отношу к безумцам и фанатикам горного рода, и поэтому вы, как объективный наблюдатель, можете мне рассказать: в чем дело? Почему самые умные, самые интересные люди, ученые, физически сильные, почему они, вместо того чтобы во время отпуска отдохнуть в культурных условиях, лезут бог знает куда? Как вы относитесь к этому?

— Я позволю себе повторить то, что я однажды сказал: я считаю этот спорт — альпинизм — самым мужественным, полным глубокого, почти философского содержания. Он поэтичен и точен, требует отваги и знаний, способствует развитию чувства товарищества, преданности, дружбы, высокого патриотизма.

Я уверен, что со временем он станет народным видом спорта. Но я хочу сейчас сказать о другом. Один старый любитель гор говорил, что альпинизм — это чувство гор, это жажда гор; необъяснимое впечатление, которое они производят на тех, кто побывал в их мире, рождает непреодолимое стремление еще и еще раз вернуться в него.

Это перерастает в нечто захватывающее всего человека, становится вечным зовом к высоте.

Я видел в горах всякое. Я видел и любовь слепых безумцев, которые не хотели никого иметь рядом с собой в горах, чтобы присутствие спутника не мешало их гордому одиночеству. Таковы были, например, погибшие на Эльбрусе Зельгейм, на скалах Ушбы — Настенко. Нам известен в Гималаях англичанин Вильсон, в одиночку шедший на Эверест. Но я знал и другой случай, когда у человека, любившего горы, очарованного горами, не было времени странствовать в любимых местах. Его отпуска едва хватало на такое путешествие: он садился в поезд в Москве, вылезал в Кутаиси, ехал в дилижансе до Орбели, шел пешком через Джварицвери, переходил Цхенис-Цхали, взбирался на Латпарский перевал, обыкновенно к вечеру, садился на траву и начинал переживать вечернюю симфонию гор. Вид с Латпарского перевала не передать ни красками, потому что они все время меняются, ни пером, так как слова слишком материальны перед легковейными миражами, которые представляет великий хребет, где в одном краю подымается чудовищная глыба двубашенной Ушбы, в другом — за сияющей пирамидой Тетнульда уходят вершины в бесконечный горный мир, и только в одном месте, наклоненном самым фантастическим образом, на зеленом поле цвета яркой бильярдной доски стоят белые столбики — древние башни Ушгула. Так вот мой знакомый наблюдал с содроганием сердца, как играет огромный мир горного заката и горы звучат, как гигантский хорал, слышный только посвященному, потом все переходит в безумную ночь. Утром, насладившись всеми богатствами горной зари, путник отправлялся в обратный путь в Москву и жил этими впечатлениями до будущего года, до будущего паломничества в эти края.

Это было светлое преклонение, оно заслуживает уважения хотя бы потому, что человек за несколько часов получал высокую зарядку на целый год.

Конечно, есть и такие, что ходят в горы как бы не видя гор. Они увлечены самим процессом восхождения, им ничего не говорят картины необыкновенной природы, а усталость совсем стирает впечатления. Остается только результат — удачное восхождение и степень трудности. Иными владеют сложные и сильные ощущения. Говоря словами Льва Толстого: «Сколько людей, столько сортов любви на свете». Но есть нечто необыкновенное, то, что я назвал бы великой любовью к горам.

Вы знаете, как стали мастерами мирового альпинизма такие выдающиеся герои гор, как братья Абалаковы.

И вот вам пример этой великой любви к горам. После труднейшего восхождения на высочайшую вершину Тянь-Шаня, на Хан-Тенгри, казалось, что Виталий Абалаков не сможет больше быть горовосходителем. Он лишился нескольких пальцев на ногах и на руках. Врачи сказали, что ему повезло, что он остался жив, но что с альпинизмом надо распрощаться. А он сейчас сильнейший альпинист мира.

Он преодолел все воспитанием воли, железной выдержкой и высоким мужеством. Он годами ставил перед собой и своей спортивной командой наитруднейшие задания, он восходил по самым отвесным стенам, он совершал немыслимые траверсы, он доказывал, что нет непреодолимых стен и вершин.

Он, как и брат его Евгений, которого, к сожалению, уже нет в живых, начал свой путь от Красноярских Столбов и победил высочайшие высоты Памира. И сегодня Виталий жив и здоров и представляет замечательный характер человека эпохи коммунизма.

Я хочу прочитать вам, что писал Евгений Абалаков, который совмещал в своем характере талант скульптора, художника, ученого-исследователя, литератора и альпиниста самого высшего класса. Как он говорил о горах: «То сверкающая, радостная и зовущая, то мрачная, клубящаяся вихрями, то грозная и гневная, вызывающая на единоборство, то таинственная, неуловимой завесой скрывающая себя и лишь на мгновение открывающаяся чудесными, фантастическими видениями особого мира, суровая, прекрасная, вечно зовущая стихия горных вершин!»

Его хорошо описывает бессменный художественный летописец альпинизма, сам выдающийся мастер этого искусства Михаил Ануфриков:

«Абалаков был невысокого роста, очень плотный, с мощным торсом, с высоким лбом мыслителя на чисто русском лице — он невольно вызывал к себе симпатию с первого взгляда. Человек необычайно талантливый, честный и смелый, с мужественным и спокойным характером, исключительная выдержка и мужество не покидали его в самые тяжелые минуты штурмов.

В него верили, и за ним шли как на фронте, так и на штурм вершин. Он всегда был сердцем экспедиций. И пока билось это сердце, преодолевались громадные высоты,

брались штурмом высочайшие вершины. «Наш Чкалов» — так называла Евгения Абалакова стотысячная армия альпинистов».

Мне он, как и его брат, напоминал старинных землепроходцев, их земляков, богатырей, открывавших Русскую Америку, северные страны, острова Ледовитого океана.

Я беру Евгения Абалакова, так сказать, неким эталоном по всей совокупности черт его необыкновенной натуры.

Но наряду с гигантом альпинистического искусства есть скромные люди, носящие в своем сердце такую же страсть, такую же любовь к горам. Пусть эти люди не отмечены особыми рекордами, их именами не названы перевалы или вершины, о них нет специальных статей и монографий.

Мой друг альпинист, с которым меня свела судьба, был обыкновенным инструктором альпинизма, но его, я могу сказать это совершенно уверенно, объединяла с Евгением Абалаковым та же необыкновенная любовь к горам. Ведь пламя такой любви одинаково горит и в сердце знаменитого мастера, и в сердце простого горовосходителя.

Простой человек может испытывать муки ревности посильнее Отелло. Евгений Абалаков был на вершине славы, мой друг — у ее подножия. Но его великая любовь к горам сжигала его, он жил ею и погиб с ее именем на устах...

— Расскажите о вашем друге,— попросила бывшая мотогонщица, и другие поддержали ее.

— Но это будет довольно длинный рассказ, потому что надо начать издалека.

— Ничего, мы не торопимся на футбол, а кроме того, каждый из нас по-своему попробовал в свое время свести знакомство с горами, и нам будет интересно,— сказал любитель водного спорта.

— Ну что ж, тогда я смогу рассказать все по порядку. То, что я расскажу, будет, как определял мой тезка Николай Семенович Лесков, «пейзаж и жанр».

Познакомился я с героем моего рассказа в Ленинграде в самом начале 30-х годов. Звали его Марк Исидорович Аронсон. Он был ученым, имевшим диплом доктора филологических наук Венского университета. Всесторонне образованный, литературовед, переводчик, исследователь, книжник, он работал в библиотеке имени Салтыкова-

Щедрина. Он любил стихи, переводил новеллы современных немецких писателей, был автором книги «Литературные салоны двадцатых годов девятнадцатого века», работал как пушкинист над статьями «К истории Медного Всадника», «Конрад Валленрод», «Полтава», над серьезным трудом «Описание у больших русских поэтов», писал рецензии,— словом был типичным представителем литературных кругов того времени.

Всегда аккуратно одетый, подтянутый, с подчеркнутой вежливостью говорящий тихим голосом, много знающий, но не лезущий со своими знаниями, расталкивая окружающих, спокойный и на вид очень городской, очень интеллигентный, он производил впечатление молодого ученого, ушедшего с головой в книги и умеющего говорить и спорить только о литературе, да еще предпочтительно о литературе 20-х годов прошлого века.

Я, признаться, поначалу даже думал, что он ежегодно ездит в отпуск в Коктебель, модное писательское место, к морю, и там состязается в собирании разноцветных камешков, которыми славился Коктебель, ухаживает за учеными девушками в очках и с английским романом в сумочке. Мне было нетрудно представить его играющим в теннис, обязательно ходящим на концерты в филармонию, назначающим свидания девушкам в Эрмитаже.

Словом, от него исходил дух спокойного, наполненного полезными знаниями благополучия. Это было разумное, неторопливое существование молодого ученого, получившего заграничное образование. Он был советским гражданином, но его сестра жила в Германии, будучи замужем за каким-то членом социал-демократической партии, а мать — в Каунасе, в столице тогда буржуазной, полуфашистской Литвы.

Он был среднего роста, с задумчивым, сосредоточенным лицом, чуть грустным взглядом, хорошей улыбкой, широкими плечами.

Тут я должен на минуту прервать рассказ и принести один документ, нужный для дальнейшего повествования. Я сейчас его принесу, он здесь, под рукой...

Вот я принес то, что нужно, и продолжаю:

— Однажды у меня на Зверинской засиделось несколько человек: молодой начинающий литератор Женя Соболевский (он погиб в Отечественную войну во время трагического похода кораблей из Таллина в Кронштадт, он служил на флоте), один молодой музыкант, который

сегодня вырос в доброго композитора,— Борис Арапов, художник Алеша Мясников, специалист по кукольному театру (погиб во время блокады Ленинграда), и Марк Аронсон.

Шутили, спорили о новостях в литературе, пили водку. Я пошел за спичками в соседнюю комнату, взгляд мой упал на письменный стол, и я вместе со спичками принес некую рукопись в толстой выцветшей зеленоватой обложке, на которой было написано крупными буквами — «дело», конечно, через «ять»; вот она, эта рукопись.

Эту рукопись принес мне мой добрый друг, молодой геолог, производивший какие-то изыскания в приволжских краях. Колхозники нашли эту рукопись на чердаке среди старых канцелярских бумаг и отдали ему. Он мельком взглянул на старинный, витиеватый почерк, разобрал несколько имен и решил отдать ее мне. У меня до нее все никак не могли дотянуться руки, и вот сейчас, воспользовавшись поздним часом, я решил посмотреть, что послала нам машина времени.

Когда мой друг передавал мне рукопись, я спросил:

— Почему мне?

— А потому, что там я прочел на первой же странице о каком-то литературном труде...

При виде рукописи всеми овладело живейшее любопытство. Не каждый день попадает в руки такая почтенная, столетняя рукопись. Я перелистал ее и сказал:

— Вот сейчас, товарищи, мы окунемся в старую жизнь. Всегда интересны ветхие рукописи, пожелтевшие страницы. Вы услышите голос человека, жившего сто лет назад. Кто он? Что он чувствовал, как он расскажет о себе далеким людям другого века? Имени его нигде нет. Но мы поймем из текста, кто он. Почерк, во всяком случае, говорит о человеке вполне грамотном, имеющем понятие о каллиграфии не канцелярское. И чернила четкие, крепкие, по-видимому из чернильного орешка. Попросим Марка Аронсона, как ученого мужа, привыкшего разбирать всевозможные почерки прошлых времен, прочесть нам вслух этот дневник. Будет скучно — бросим. Впрочем, это выяснится с первых же строк.

Но с первых же строк ничего не выяснилось, а дальше становилось все сложнее и сложнее.

Дневник начинался с записи автора о том, что он рад оказаться снова в Нижнем, «в кругу родных. Разлука была непродолжительна, а радость свидания невыразима.

Чувствую, что только здесь с женой, с детьми и с милым другом цветет для меня счастье, а больше нигде. Бог удостоил меня кончить благополучно 12-летний труд...»

— Ого,— воскликнул Женя Соболевский,— да он действительно из нашей братии — литератор! Кто же это?

Потом в рукописи замельками имена Шевырева, графа Нессельроде, графа Канкрина, Виельгорского, Львова, графа Лаваля, которым автор вручил экземпляры своей книги...

— Большой гусь! Ух ты, с кем водится, с кем знаком! Вот это да! — восклицали слушатели.

«Лучшие наши артисты и литераторы осыпали меня ласками». О композиторе Глинке говорилось, как о хорошем знакомом, и отзыв о нем был лестный: «А славный этот Глинка! Истинный Артист и по таланту и по душе. Любит покутить, как Моцарт, но зато, как и сей великий первообраз музыкантов, наш народный композитор ставит музыкальную совесть выше современного успеха...»

Дальше шло подробное описание проделанного путешествия из Москвы в Нижний, критика дилижансового сообщения между Петербургом и Москвой, злая характеристика попутчиков, как в лотерею достающихся путешествующим, подчеркивалась лихость езды от Москвы до Нижнего...

— Марк! Вы должны все знать. Кто этот автор?

— Не знаю,— отвечал смущенно Марк,— я специалист по двадцатым годам, а это сороковые. И потом многого не хватает для окончательной отгадки.

А между тем наш автор смело сравнивал петербургское столичное общество и нижегородское: «У нас нет, конечно, и тени петербургского общества, но зато есть «золотая волюшка, воля ты моя», а она также чего-нибудь да стоит. У нас ругай властей напропалую, ходи по улицам хоть с портками на голове, полицию хоть бей, она поклонится и протянет руку, живи в городе, живи в деревне, твори, что придет на ум, бери что приглянется, и все сойдет с рук, были бы, разумеется, деньги. Вот выгоды нашего провинциального существования и оправдание системы вознаграждений».

— Это декабрист! — воскликнул Борис Арапов.— Так смело писать при Николае Первом?

— А вдруг это не открытие,— сказал художник,— а вдруг все это давно известно и напечатано в какой-ни-

будь «Русской старине» или в «Русском архиве»? Посмотри, это не рука переписчика?

Посмотрели рукопись.

— Нет, не переписчик, это оригинал, и поправки сделаны самим автором,— решили все.— Пошли дальше...

Дальше натолкнулись на место, где автор пишет, что не ждет отзывов на месте о своем труде, «теперь остается ждать, что скажет Европа».

— Это кто-то из музыкантов, он все время говорит о музыке и о композиторах. Вот так загвоздил нам вопрос! — вскричал Соболевский.— И ты, молодой музыкант, не знаешь, кто это? Нет! Эх, чему вас только учат!

С каждой страницей вырисовывался облик этого героя далеко не нашего времени. Человек большой музыкальной культуры, привыкший к широкому образу жизни, написавший какую-то большую работу по музыке, вынужденный переселиться в деревню по причине мотовства и денежного кризиса, решает поднять хозяйство, применяя новые способы унавоживания полей по системе Либиха.

Он начинает все недостатки своего хозяйства сваливать на русский климат. «Русский помещик брошен на произвол климата»,— пишет он и отмечает с дрожью, что на дворе третье мая, а все еще морозит. И выносит такую сентенцию: «Вот, по-моему, и причина необычайного терпения русского человека. Кто выносит здешний климат, тот снесет легко и нашу администрацию, и нашу полицию, земскую и городскую, и даже наше правосудие. Дай нам другое солнце, и мы бы еще чего захотели. Итак, нет худа без добра». После такого рассуждения изъясняется в своей любви к музыке, пишет о скрипке, о том, как он, играя, упивается музыкой. И вдруг вслед за этими сильно описанными эстетическими наслаждениями идет глава — хозяйский приказ. Он издает приказ по всем четырем своим деревням об основании отхожих мест, с обязательным их посещением и строгим контролем. У кого по весу, рассчитанному на всю семью, недостает удобрения, которое он приказывает именовать «золотом», тот должен будет поплатиться своим добром. «В таком случае отбирается половина его скотского навоза и вывозится в свое время на господские десятины».

— Это что же такое? — заворчали слушатели.— Вот тебе и поклонник красоты и музыки! Вот тебе и чистое искусство! Но кто же этот незнакомец?..

— Братцы,— воскликнул Алеша Мясников,— подождите минутку! Вы только представьте картину: огромная российская равнина, занесенная снегом, избы, как сугробы, нищие мужики, лучина, а в господском доме, под вой вьюги и завывание волков, играет на скрипке человек, уносящийся мечтой куда-то вдаль, все кругом спит, а он играет, забыв, где он находится, а когда приходит в себя, бросает скрипку и сидит, обливаясь холодным пóтом, думает с ужасом, что он разорен своим мотовством и легкомыслием; он тут же мучительно подсчитывает, скольно нужно навоза вывезти на поля, пишет, что надо строго взыскать со старост, у которых при сдаче по весу не хватит «золота»... Это же картина, которую мог гениально изобразить великий Федотов! Это не для английского милорда Хогарта. Это наша расейская, как говорили мужички, «двистительность».

Дальше мы узнали, что в том году был град, побил поля, но бог был на стороне господ, мужичьи поля иные совсем уничтожил, а помещичьи только потрепал градом. А урожай, в общем, был богатый, и, продав хлеб с выгодой, наш музыкальный автор поехал на Нижегородскую ярмарку. Этот кусок дневника был написан выразительно и даже с особой живописностью.

Он писал: «...день был нестерпимо жаркий. Я угорел, ходя по раскаленной мостовой, пыль душила меня, голова разболелась, я почти сожалел, что оставил Лукино. Но зато ночь была прекрасна, безоблачная и лунная, дул свежий ветерок. Мы пошли гулять с Феоктистою...»

— Вот это и есть милый друг,— вставил художник,— о ком вначале упоминалось... «Нагулявшись до усталости, взобрались на мой чердак, то есть на верхний этаж прекрасного дома, который я нанимаю в Нижнем. Там я устроил свой кабинет. Из открытых окон являлся великолепнейший вид в России. Кремль на горе с зубчатой своей стеной и пятиглавым собором, блестящим, как серебро, при свете полной луны, глубокая пропасть, наполненная темной зеленью и лачугами, через которую идет Лыкова дамба, амфитеатр противоположной части города, спускающегося там живописными уступами до самой реки, наконец, необъятная, величественно-суровая панорама Волги. Таких ландшафтных картин мало в Европе. Комнаты мои наполнял аромат огромного ананаса, который я привез из деревни...»

— Лихо пишет,— сказал Соболевский,— ешь ананасы, рябчиков жуй...

— Ну, подожди, что дальше...

Дальше наш автор писал: «Все это располагало к неге и сладострастию, право, не хуже Италии. Я уговорил Феоктисту купаться. Она медленно и краснея разоблачалась, сбросила с себя одну после другой все принадлежности женского туалета и наконец явилась, как сотворил ее господь. Большая часть женщин, даже хороших и, по-видимому, стройных, которых мне приходилось видеть нагими, теряли от этого с лишком пятьдесят процентов. Или груди, или ноги, или живот уничтожали эстетическое впечатление в глазах старого рисовальщика, воспитанного в Дрезденской галерее. Но Феоктиста сложена, как Медицейская Венера, которой и не больше ростом. Чудесная головка, гладко причесанная, выказывала в наклонном положении чисто греческий профиль с нехитрой, почти детской улыбкой...»

После этих лирических страниц вновь шли рассуждения о продаже быков, в какое время их выгодно и невыгодно продавать, о навозе, о полях, и все эти рассуждения сменялись торжеством по поводу прекрасного урожая...

Но даже то, что ему привез молодой художник Серов партитуру глинковской оперы «Жизнь за царя», и то, что он достиг новых успехов в игре на скрипке, и то, что начал писать сочинение под названием «Последняя любовь», не избавило его от мрачных раздумий о перемене образа жизни. Он почти разорен. После долгого обдумывания он сочиняет семь способов, которые помогут ему сэкономить деньги, чтобы свести концы с концами.

Один из этих способов — обложить новым оброком крепостных, а сверх того «ограничить себя сколько возможно во всех издержках и прихотях...»

Кончался дневник мрачно, безвыходно: «Старость, как ужасный каменный гость в Дон-Жуане, сильно-сильно стучится в дверь... Словом, пришло время жить уже не наступательно, как я жил доселе, а оборонительно и более для других, чем для себя».

— Март тысяча восемьсот сорок четвертого года! — воскликнул Марк Аронсон, кончая рукопись.— Помните место, где было сказано, что если бы было можно написать, не боясь цензуры, то нижегородские тайны были бы помрачнее парижских тайн Эженя Сю. Ну, а для нас эта

единственная нижегородская тайна остается нераскрытой. Кто же это?

— Это типичный помещик-феодал, с талантом музыканта, получивший высшее образование,— сказал Соболевский,— его бы раскулачили сегодня как миленького...

— Он все-таки патриот,— сказал художник,— Россию любит, Глинку хвалит за то, что народный композитор, не продается моде...

— К стыду своему, я не знаю, кто это, хотя там в одном месте ясно сказано, что сочинение его посвящено Моцарту... Но я не знаю, кто писал у нас тогда о Моцарте...— признался молодой музыкант.

— Мое впечатление такое,— сказал художник,— ничего себе рукопись! Как на спектакле побывали — такие картины прошлого ожили, как будто своими глазами все увидел...

И тут я сказал:

— А теперь пусть Марк берет всех этих быков, и композиторов, и Дрезденскую галерею, и приказы о «золоте», произведет изыскания в своих библиотечных катакомбах и скажет нам, кто автор этой, прямо сказать, необычной рукописи.

— Я найду, кто это,— просто сказал скромный Марк.— Здесь так много подробностей, и дат, и примет времени, и имен, что разыскать автора, я думаю, будет не трудно!

Гости еще несколько раз перелистывали пожелтевшие страницы, возвращались к отдельным местам, но никто не мог назвать хозяина этого дневника. Гости ушли очень поздно...

Буквально через несколько дней мне позвонил Аронсон и попросил разрешения прийти. Я горел желанием узнать, что он отыскал в своих изысканиях.

— Нашли? — сразу спросил я, как только он переступил порог.

— Нашел! — лаконично отвечал он, садясь на диван и вынимая из портфеля дневник.

— Кто же это?

— Это Улыбышев, Александр Дмитриевич Улыбышев, автор первой в Европе трехтомной монографии о Моцарте. Его биография очень любопытна. Он родился в Дрездене: вот откуда рисовальщик Дрезденской галереи,— он был сыном русского посланника. Он был если не декабристских взглядов, то в отношении к крепостным либе-

рал, конечно, в духе времени. Он еще автор книги о Бетховене, большой ученый и эрудит, перевел «Божественную комедию» на русский, но перевод никогда не был напечатан. Он помогал молодому Балакиреву. Другие тетради его дневника потеряны. Та же, которая у вас, единственная уцелевшая. Ее никто не знает. Мы были вроде как первыми ее читателями...

— В какие годы он жил? — спросил я.

— Он родился в тысяча семьсот девяносто четвертом году, умер в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом. После того как он окончил эту тетрадь, он жил еще четырнадцать лет. В общем, он был неплохой человек, великолепный знаток музыки, патриот, мыслитель, в музыкальном мире очень известный остротой своих суждений. Страстный, необычный характер... Что мы будем с этим делать?

— Я думаю, что мы не имеем права таить от общественности эту находку, тем более что ее долго искали и не могли найти. Я поручаю вам, поскольку вы уже произвели все нужные розыски, подготовить ее к печати и где-либо напечатать под вашей редакцией, с вашим вступительным словом и комментариями...

— Если вы считаете, что не нужно никакой специальной критической статьи музыковеда, то я охотно возьму это на себя,— сказал Аронсон.

Мне показалось — ему нравится, что с его именем будет связана новая публикация неизвестного широкому читателю материала.

— Я понимаю вас, литературоведов,— сказал я,— воображаю, как интересно производить литературные розыски, долго прослеживать какую-нибудь линию, вначале неясную и не обнаруженную предшествующими исследователями, как, вероятно, ответственно и приятно посвятить жизнь научным изысканиям, открывать новые тексты, рыться в покрытых пылью фолиантах, находить забытые голоса прошлого, читать заново письма и дневники давно умерших деятелей, освежать науку литературоведения; передачей опыта поколений держится история литературы. Сменяются и борются школы, но след их усилий остается потомкам. И вы, по-моему, созданы для путешествий во времени, для того, чтобы бескорыстно служить беспристрастной истории, быть книжником в самом высоком смысле этого слова. Не так ли, дорогой Марк? Скажите, что это не так!..

И вдруг я увидел, как в этом знакомом мне, спокойном, задумчивом лице произошла внезапная перемена. Глаза как-то широко раскрылись и смотрели на меня, точно не узнавали меня. Румянец осветил лицо, губы решительно сжались, точно что-то он хотел сказать и колебался. Потом он заговорил с несвойственной ему быстротой и громче обыкновенного, точно мы говорили не в комнате, а на открытом воздухе. Он как будто спешил сказать много и не хотел, чтобы я прерывал его. Я услышал такое, что мое обыкновенное о нем представление рухнуло в ту же минуту. Я слушал, с каким увлечением он высказывает мне вещи, которых я никак не мог ожидать от него.

— Николай Семенович, я благодарю вас за доброе мнение обо мне, но я, конечно, не хотел бы, чтобы вы думали обо мне, что я книжный ученый червь, который ползает с полки на полку, отыскивая старые, запыленные книги и рукописи, что для меня книжные поиски — самое главное в жизни. Вот почему, когда вы спрашиваете меня, не так ли, дорогой Марк, я отвечаю вам со всей прямотой: не так! Нет, не так! Найти забытую цитату, потерянную статью для меня — не высшая радость, написать исследование на литературную тему — пусть удачное — не высшее счастье. Вот этот Улыбышев! Не говоря уже о том, что отыскать, кому принадлежал дневник, не составило вообще никакого труда. Но вы должны понять, что для меня существует и высшая радость в жизни, и высшее счастье. Эта радость и счастье — горы! Я альпинист с самой ранней юности. Я учился в Вене. Вы знаете, что венские студенты и рабочие занимаются всерьез альпинизмом, потому что горы рядом. Я стал сначала заниматься этим спортом любительски, потом я стал профессионалом. Я сплю и вижу горы! Я каждый год ухожу в горы. Я не могу жить без них. Всю зиму я читаю о них. Я получаю австрийские горные журналы и книги о восхождениях. Я тренируюсь для новых восхождений. Это удивительно, не правда ли?

— Мой приятель, Женя Соболевский,— сказал я,— вы его знаете, хороший, добрый малый, любит говорить, восхищаясь: «Вот это да!» Так я восклицаю сейчас, как он,— вот это да! Вы просто меня неимоверно обрадовали. Я, честно говоря, подозревал, что в вас живет романтик, который способен на разные романтические штуки, но то, что вы предстаете передо мной в совершенно новом разре-

зе характера, в совершенно новом ощущении жизни, меня только радует, и я приветствую, что вижу еще одного человека, который произносит слово «горы» так, как его произносят только братья снежных высот — альпинисты. Вот теперь у нас будет новый, замечательный предлог для бесед...

И все же, несмотря на то, что мне доставляет огромное удовольствие ваше сегодняшнее горячее, откровенное слово, я все же скажу, что сложный человек сегодняшнего дня, может быть, потому и очаровывается горами, что он сам по себе не прост, как и горы. Вы знаете, сколько людей самых разных профессий добавляют к своей специальности еще высокое звание альпиниста. А ведь иные из них — знаменитые ученые, исследователи, инженеры, изобретатели, и каждый знает несколько специальностей. Наш век, как и человек, энциклопедичен. Поэтому я приветствую, что альпинист в вас имеет все права на существование, очень рад, что вы в обычной жизни являетесь неплохим исследователем и ученым. Я пожимаю вам руку и отныне, зная вашу тайну, буду еще более ценить нашу дружбу...

Тут его лицо приняло прежнее выражение внимательной вежливости, и он даже как-то смущенно сказал, как бы давая понять, что не надо много говорить о том, что нам обоим и так понятно:

— Вы хотели получить кое-какую библиографию об адмирале Сенявине. Пожалуйста, я уже начал раскапывать...

— Да вы не затрудняйте себя, Марк,— сказал я, идя ему навстречу и не упоминая больше о горах.— У вас и так много своей работы...

— Нет, уж я обязательно вам разыщу. Обязательно!

С присущей ему обязательностью Марк Аронсон раздобыл мне список библиографических материалов о любопытном человеке, славном флотоводце Сенявине.

В тусклом свете ленинградского зимнего дня мы говорили об Афонском сражении, о плаваниях эскадры Сенявина у побережья Далмации, в Адриатическом море, и множество антенн на крышах соседних домов в тумане превращалось в мачты фрегатов и корветов, потом наши моряки высаживались в бухтах родственных славян — хорватов и черногорцев, и тут неизбежно вырастали горы, неприступные крепости горных орлов, и мы не заметили, как разговор пошел совсем о другом, ушел от моря и ко-

раблей в долины Сванетии, к ледникам Дигории, к безымянным вершинам Тянь-Шаня.

Так у нас теперь повелось, что каждая наша беседа неизбежно кончалась тем, что Марк рассказывал свои горные приключения; их было много, рассказывал он занимательно и как-то по-своему, с хорошим юмором и откровенностью.

Не раз мы говорили о литературном отражении занимавшей нас темы — о горах и альпинистах, и как-то Аронсон, как всегда смущаясь и вместе с тем решительно, повел необычный разговор. Он начал издалека:

— Я давно хотел с вами поговорить, но не решался, не знал, как вы встретите мое предложение, вы так заняты, и, может быть, это вам ни к чему...

— Мы до самой смерти будем заняты,— отвечал я,— и вы, кстати, тоже. Поэтому не откладывайте и сообщайте, что у вас там придумано.

— Николай Семенович,— сказал он,— в Западной Европе выходят альпинистские журналы, выходят книги самих альпинистов и книги о выдающихся восхождениях. Альбомы, виды гор. Все это делается для ознакомления широкого круга людей с достижениями альпинизма, все это составляет гордость нации и способствует привлечению молодых людей в ряды покорителей вершин... А у нас не делается ничего или почти ничего. А разве не пришло время нам заняться пропагандой этого прекрасного спорта? Где, как не у нас, имеются тысячи юношей и девушек, которые просто не знают о том, что могут дать им горы! Ведь до революции, да и после многие люди не понимали, зачем идти в заколдованные, ледяные, снежные края, и думали по простоте души, что альпинисты — либо сумасшедшие, либо эксцентрики, поклонники одиночества, бегущие от общества. Мы должны помочь снять маску таинственности и драматической авантюры с гор.

Мы не будем рекламировать их как арену для подвигов сверхчеловеков. Мы не будем раскрашивать и прикрашивать опасности и трудности горных путешествий. Мы должны закалить молодых людей, призванных выполнять великие замыслы нашего времени, создать кадры сильных, мужественных борцов за социализм, защитников достижений Октября. Пролетарский альпинизм даст армию высокосознательных, не боящихся никаких опасностей строителей, искателей горных богатств, научных сотрудников, стирающих белые пятна с карты нашей страны...

— Что же вы предлагаете? — спросил я, невольно увлеченный страстностью его голоса.

— Я думаю, что надо написать книгу или собрать рассказы наших советских альпинистов. Мы с вами будем организаторами этой книги и авторами, конечно. Вспомните, что еще до революции у нас были такие альпинисты, как Преображенская, Голубев, Фролов, Пастухов, Ходзько. Вспомните, как Сергей Миронович Киров писал после восхождения на Казбек о необычайных переживаниях и о том восторге, который овладевает человеком — победителем высоты. А разве советский альпинизм не имеет уже заслуг, разве не пришло время, чтобы все записки, оставленные на вершинах иностранцами, были сняты нашими советскими восходителями! Для этого надо пробудить общественность. Когда выступят самые ревностные, самые авторитетные, серьезнейшие товарищи, уверяю вас, мы сильно подвинем это дело. Мы с вами составим список, к кому следует обратиться в первую очередь, и сами, без всякого издательства, без всякой канцелярии, свяжемся с ними, и я уверен, дело пойдет...

— Знаете, Марк,— воскликнул я,— вы странный человек! Под какой-то холодноватой пленкой в вас живет горячая лава.

— Давайте сделаем эту книгу! — сказал он.— Книгу о людях больших высот. Разве мы не сможем?!

— Давайте,— сказал я,— по рукам...

Так родилась мысль сделать первый сборник по истории отечественного альпинизма.

Составляя программу сборника, и первые обращения к советским ведущим альпинистам, Марк Аронсон не бросал и чисто литературной работы. Он писал рассказы о восхождениях в Австрийских горах, писал «Тяньшаньские записки» и трудился над темой, которая появилась как бы в противоположность нашей теме. Это была тема западного альпинизма.

Аронсон говорил: «На Западе, помимо одиночек, стремящихся видеть в восхождениях уход от общества, помимо людей, ищущих смертельного риска, чтобы пощекотать свои нервы, есть и такая категория — сиятельных альпинистов, которые покупают за деньги опытных горных проводников, не жалеют денег на снабжение, на рекламу и по подготовленному этими людьми пути, без всяких трудностей подымаются на вершину. Я хочу написать о таком «восхождении» на гору святого Ильи, она находится на

Аляске, герцога Абруццкого, которому путь к вершине проложили альпийские проводники Петигац и Макиньяц, почтительно расступившиеся в последний момент, чтобы герцог первым взошел на вершину».

Марк писал повесть «Победители» — об этом восхождении — с большим жаром. Он прочел все, что было написано на Западе о герцоге Абруццком, о горе святого Ильи, он проработал ученые труды, газетные и журнальные материалы, и повесть двигалась успешно. Он работал по ночам и действительно закончил ее к назначенному сроку.

Сдав рукопись в «Издательство писателей», он уехал на Кольский полуостров, в Хибины. Он начал собирать биографии людей самых разных специальностей и профессий. Он говорил: «Советские биографии — это особенные биографии. Сама биография так тесно переплетена с жизнью страны, что, в сущности, биография советских людей — это биография страны».

Выкраивая время для работы над сборником, мы самым энергичным образом вели переписку с будущими авторами, и то, что выдающиеся альпинисты страны охотно откликнулись на наше предложение, еще больше утверждало нас в правильности намеченного плана.

Один из первых учителей советских альпинистов, Семеновский, много лет занимавшийся восхождениями в Альпах, председатель горной секции Общества пролетарского туризма, дал согласие написать предисловие к сборнику. Редакторами должны были быть Крыленко, Делонэ и я. Крыленко, ревностный поклонник гор, перенесший свои экспедиции с Кавказа на Памир, должен был писать разгадку узла Гармо, Горбунов — академик и альпинист, участник труднейших восхождений — согласился дать для сборника большую статью. Погребецкий, покоритель Хан-Тенгри, мог украсить сборник замечательным рассказом о своем восхождении. Абалаков обещал описание восхождений на Дыхтау, Мижирги, Безингийскую стену и Белуху.

Бархаш, прошедший впервые в истории Кавказа на лыжах через Твиберский и Латпарский перевалы, присоединял к этому небывалому для тех лет путешествию еще и очерки о Памире.

Делонэ, удивительный человек, большой ученый-математик и пламенный альпинист, мог рассказать о Джугутурлючате, о Башиль-тау и о многих других своих горных делах. Левин обещал Думала-тау, Митников, перед тем

как погиб на Тютюн-баши, прислал свое первовосхождение на Чотчу. Белецкий обещал Тютюн-баши. Раковский или Перлин должны были, по нашему предположению, написать о военной альпиниаде на Эльбрус.

В. Гусев согласен был рассказать об исследовании подступов к Хан-Тенгри по Северному Иныльчеку. Саубер давал свое восхождение на Каштан-тау. Трапезников выступал со своим первовосхождением на Бу-Ульген. Было еще предложение Делонэ включить в сборник восхождение на Домбай-Ульген.

Были и еще другие резервные планы. Наша переписка с каждым днем становилась все более действенной, и Марк Аронсон ходил чрезвычайно довольный, но демон горной стихии жил в нем и не знал отдыха. Убедившись, что дело со сборником идет как будто довольно успешно, он однажды с радостью, мне вполне понятной, информировал меня о новом успехе отечественного альпинизма. Он вошел с загадочным лицом, и я уже по выражению его неестественно сиявших глаз понял, что случилось нечто необыкновенное.

— Ну, выкладывайте сразу, что произошло? — сказал я без всякого вступления.

— Произошло, вернее, происходит, очень замечательное...

— А именно? Вы получили Нобелевскую премию за книгу «Победители»?

— Нет, гораздо важнее...

— Вас выбрали председателем Великобританского альпийского клуба вместо Фрешфельда?

— Вы шутите, а дело нешуточное.

— Да ну! Тогда говорите прямо...

— Я и скажу прямо: пролетарская молодежь становится в ряды альпинистов! Сильное сообщение?

— Сильное, но если это действительно серьезно!

— Да, это серьезно. Мы рады необычайно. Альпинисты «Красного путиловца» решили создать высокогорный лагерь молодежи на Кавказе. Заговорили об этом печать, заводские многотиражки, стенгазеты. Начались разговоры, беседы, споры. И вот решили устроить лагерь. Союз машиностроителей благословил это дело. Обком комсомола тоже. Председатель ЦС Осоавиахима, железный латыш товарищ Эйдеман отпустил пятнадцать тысяч рублей на организацию лагеря...

— А желающих много?

— Желающих — отбоя нет. На двадцать пять мест «Красного путиловца» сто заявлений. И с других ленинградских заводов посыпались заявления — только подбирай. И «Большевик» и «Ижорский», да много заводов, на три лагеря хватит...

— А где же будет сам лагерь?

— Лагерь будет, как пишут в рекламах, «в живописнейшем месте» — на поляне Штулу...

— А! Это перед перевалом Шари-вцек. Знаю эти места. Выбрано хорошо. Все рядом — Сванетия, Дигория, Рача, Имеретия. А горы — Дыхтау, Шхара — великаны!..

— Ну, пока Дыхтау и Шхару оставим в покое, но до Гюльчи доберемся... А потом махнем к морю через Шари-вцек или через Гезе-вцек на Геби... Вы понимаете, что это значит — пролетариат выходит массово на штурм высочайших вершин. Кричите «ура»!

...Мы встретились глубокой осенью. Марк вошел в комнату меднощекий, окрепший, легкий, улыбающийся. Все говорило о том, что он доволен своими горными делами. И действительно, он сам начал говорить о горном лагере:

— Все удалось прекрасно. Лагерь Штулу оправдал все наши ожидания. И молодежь ленинградская сознательная, упорная, трудолюбивая. Комсомольцы один к одному, организаторы цеховые. Там были еще и токари, и литейщики, и технологи. И девушки себя показали. Одно слово — ленинградцы. Даже столб с доской вбили: «Проспект краснопутиловцев» — в лагере. Гостей принимали. Приехали швейцарские альпинисты — превосходные ходоки, известные мастера восхождений Лоренц Селадин, Гац Граф, Отто Фурер, Вальтер Фрай,— удивлялись, что у нас за лето пройдет через лагерь двести рабочих спортсменов-альпинистов. Мы сказали, что на будущий год доведем до пятисот. Они даже головами закачали. Ничего подобного на Западе у рабочих нет и быть не может. Вот мы и начали большое дело. В стране освобожденного труда альпинизм из чистого спорта превращается в общественно полезный труд! «За сырьем для станков пятилетки!» — такой лозунг я бы выкинул для тех, кто пойдет в горы. Это звучит и на Кавказе, и на Памире, и на Тянь-Шане, и на Алтае — всюду...

Были на вершинах и инструкторы и новички. Полазили вволю, поучились горной технике. Фитнаргин, Гюльча, Допах-тау... У костра вечерами вспоминали историю альпинизма. Странно было слышать молодым, как в царские времена старый альпинист Фролов поднялся на вершину

Эльбруса, а в Пятигорске после возвращения его вызвали в полицию, и пристав спросил, правда ли, что он был на вершине, и чем это докажет. Он сказал, что это легко проверить. Пусть сам пристав подымется на вершину и там найдет ледоруб, оставленный П. Г. Лысенко, и полотенце на нем. Пристав сказал наставительно: «Смотрите!» Как будто Форлов ограбил лавку на вершине Эльбруса или сделал что-то еще хуже...

— Ну, а как молодые осваивали высоту, технику, как им понравилась жизнь в горах?

— Конечно, сразу многое их искренне удивляло. Когда они увидели стену Фитнаргинского ледника, встали, изумляясь. Когда начались скальные занятия, где над самым обрывом была так называемая «плита Делонэ», иных начало подташнивать, но потом все втянулись и высоту переносили хорошо, и технику освоили, в общем, заразились горами, сказали, что на следующий год обязательно вернутся да еще с собой приведут...

— Никаких несчастий ни с кем не было?

— Не было, был идиотский случай со мной самим...

— А что такое?

— Да вот бывает так, что люди иногда рискуют жизнью из-за какой-нибудь ерунды. Сколько раз я наблюдал это в горах, почти у каждого бывало! И вот у меня в этот раз вышел такой случай (один из многих, но хорошо запомнившийся!). Я лез в камине, он стал под конец совсем узкий и гладкий наверху. Я вылез на ребро, и единственной (буквально!) точкой опоры было колено, засунутое в щель. И вот я стал размышлять, как дальше? Ведь если я вытяну колено, я полечу вниз, а если не вытяну,— как же лезть дальше? Все было очень уж гладко, до глянца. Я решил было спускаться, но тут увидел, что до верхнего края осталось не более метра. Я так рассердился, что вытащил колено и полез наверх, только сдавливая ногами плиты ребра (на одном трении). Риск, конечно, был огромный, но я вылез наверх, закрепил веревку и спустился вниз, где меня ожидали. И потом я удивлялся, почему в городе я боюсь (буквально) рисковать мелочами: неаккуратным внесением квартплаты, несвоевременной подпиской на дрова, например...

Я убежден, что тот красноармеец, который полз по канату распутывать стропы стратостата, в других условиях не рискнул бы, вероятно, подняться к малярам на четвертый этаж.

Концентрация энергии на одном пункте может сделать чудеса. Тогда и челюскинцев вывозят на материк, и Седов уходит к Северному полюсу, и Павлуша Морозов встает на борьбу с кулаками.

Но тут, сознаюсь, я чего-то не понимаю. Что именно движет человеком в такие минуты?

— Мне кажется, что природа вашего случая,— отвечал я,— и природа героического решения разные. В вашем случае вы просто знали, что допускаете очень рискованное движение, и сосредоточением всего существа чисто технически преодолели опасность, которой могло и не быть. В том, что вы сами называете чудесами, человек уже заранее весь пронизан одной мыслью, одним влечением, для которого он готов на все. И если герой не погибает, он всегда объяснит вам свой поступок именно этой готовностью, жившей в нем до минуты, когда размышлять поздно — надо действовать. И понятно, что тот же красноармеец, что не боялся никакой высоты, распутывая стропы стратостата, не смог бы вот так вообще подняться по веревке к малярам на четвертый этаж...

— Да, понятия меняются. Восхождение на Эльбрус когда-то считали величайшим достижением. А вот я видел, в Доме ученых показывали эльбрусский фильм, привезенный оптиками. Среди всякой ерунды ясно видна тропа на самую вершину: протоптали-таки! В альпиниаде были отряды, в которых вершины достигло сто процентов — случай небывалый. А вообще, как сказано, альпинист умирает в море вершин, как моряк в своем море. Я не боюсь смерти и не испытываю страха перед пропастью, но опасность всегда чувствую, как вот в случае, о котором рассказал вам только что...

— Вы что-то очень веселый, Марк!

— Еще бы не быть веселым! Смотрите: наш сборник понемногу собирается и обещает быть серьезным. Лагерь в Штулу имеет все права на существование. Даже в чисто альпинистских новостях успехи, хотя Крыленко опять не дожал пика Ленина, но зато Абалаков снова утер ему нос (хотя, кажется, это уже другой Абалаков, не Евгений — Виталий). «Победители» вышли, и их уже читают и критики еще не ругают. Редакция «Истории фабрик и заводов» предлагает мне перерабатывать плохо написанную кем-то историю фабрики «Скороход». Библиотека поэта предложила редактировать Шевырева...

— Но позвольте, зачем вам нужен этот скучный, путаный человек со своими сложными выдумками и добросовестным раболепием, как назвал его литературную позицию Герцен?

— Но вы сами говорили, что для истории поэзии ничто не скучно, а тут ведь есть и известная острота...

— В чем же она?

— Ну хотя бы в том, что на этом примере можно отметить иногда очень показательную борьбу направлений и смену вкусов образованного общества. А потом вспомните, что Улыбышев, помните вашу рукопись, которую мы у вас читали, так Улыбышев в Москве бежит, как он пишет, к главному московскому Аристарху, то есть к профессору Шевыреву. А ведь этому Шевыреву читал свои стихи сам Пушкин, с которым потом началась борьба не на шутку. Вспомните письмо Дмитриева Вяземскому, где говорится, что профессор Шевырев давно уже похоронил не только нашу братию стариков, но, не прогневайтесь, и вас, и Батюшкова, и даже Пушкина. Господин профессор объявил, что наш чопорный (это — модное слово) метр и наш чопорный язык поэзии никуда не годятся, монотонны (также любимое слово), для образца же выдал в «Наблюдателе» перевод в своих октавах седьмой песни «Освобожденного Иерусалима»...

— Но ведь борьба Шевырева за возвращение русского стиха к силлабическому строю, борьба, прикрытая фразами, такими, как утверждение «поэт — апофеоз народа», была заранее обречена на неудачу.

— Это так. Оба — и Пушкин и Шевырев — согласны были в том, что надо расширять виды русской поэзии, но дорога Шевырева вела назад, а дорога Пушкина стала дорогой широкой русской передовой литературы. Ну, а дальше в их борьбе пошла уже злобность. И Шевырев вполне открыто писал, что у Пушкина стихи — чистая водица, а у Шевырева, мол, густая бурда, но зато опьяняющего, как вино, стиха.

— Ну, вы с ним помучаетесь еще,— сказал я,— хотя в Большой библиотеке поэта надо иметь и таких аристархов, как Шевырев.

— Но это еще не все,— продолжал Марк,— самый крупный мой успех в Публичной библиотеке. Там меня произвели в «главного библиотекаря», дали заведовать целой научной группой и заодно высшую библиотечную ставку — двести пятнадцать рублей. Дослужился-таки!

— Поздравляю вас! Действительно, у вас этот год был преотличный. Но какие перспективы нашего сборника?

— Да вот оказалось, что он собирается не так быстро. Одному нужно объяснять, что́ мы с вами затеяли, другой сомневается, напечатают ли то, что напишет, третий медлит: много работы,— четвертый в горах. Но все-таки дело идет. Поскольку договоров мы с вами ни с кем не заключаем, можно медленно, но с полной надеждой работать...

— Ну что ж,— сказал я, прощаясь,— хотел бы видеть вас всегда таким веселым, полным молодых, играющих сил, как сказал бы Шевырев...

Получалось так, что то виделись мы довольно часто, то проходили месяцы, особенно обязательные для альпинистов горные летние месяцы, и тогда он писал небольшие письма, где рассказывал о себе и сообщал об ответах альпинистов на наши запросы по сборнику.

Я помню, как он в первый раз заговорил о Гвандре. Я уже давно привык к его неожиданному переходу от спокойной, деловой речи к восторженному рассказу о горах, поразивших его воображение. В этот раз он говорил, как моряк, открывший новый замечательный остров среди уже известного ему архипелага. Таким островом для него сейчас был район Гвандры.

— Это — открытие нового мира,— говорил он,— конечно, там нет ничего потрясающего, что могло бы поставить его рядом с Безингийской стеной или с Тебердинским горным заповедником, но у него свое выражение. Темные сосновые рощи, красивейшие реки, ущелья, дикие и очень привлекательные своей несхожестью с уже вам знакомыми в других частях Кавказа. Даже имена рек звучат как песни: Кичкинекол, Гондорай, Индрюкой... Там и вершины такие зовущие, заманчивые, обещающие хорошее лазание. Там суровый Замок, там мрачный фантастический Далар, а какая удивительная Двойняшка, похожая на модель Ушбы, вершины Кирпич, Морды, Трапеция — целый новый мир, в самом деле! Там никто не делал еще настоящих восхождений. Чувствую, мое сердце осталось там. Там такие маленькие ледники, такие уютные полки, серьезные стены, острые гребни. Одним словом, все, что нужно для того, чтобы получить настоящую радость от восхождений в совершенно неизвестном районе.

И вершины не такие уж маленькие: Далар — 3979 метров, Двойняшка — 3900, Замок — 3930, Кирпич — 3800. Все вершины на разное лицо — хоть рисуй портреты. А в верховьях Гондорая есть вершины и ледники вообще без имени.

— Но туда уже совали нос альпинисты Запада...

— Кое-кто, но восхождений не делали.

— Скажите, Марк, в вашей компании нет женщин-альпинисток?

— В какой компании?

— Ну, в группе, с которой вы были в этих живописных расщелинах земли...

Он засмеялся и пожал плечами.

— Вы раз спросили меня, почему я не женюсь. Не получается. При мысли, что жена не пойдет в горы со мной, мне уже делается скучно, а при мысли, что она будет отговаривать меня всячески, мне уже становится вовсе неуютно...

— Но есть же такие, что пойдут с вами в горы...

— Это слишком сложно. Муж и жена на одной веревке... Трудно представить мне...

— Но ведь ходят. Вы сами знаете...

— Да, есть. Но я подожду...

— Я скажу вам, как сказал тот сердитый пристав Фролову: смотрите!

Время с весны до осени 1936 года я провел в горах. Вместе с режиссером Арнштамом мы собирали материал для сценария об установлении советской власти на Северном Кавказе, о Серго Орджоникидзе, Сергее Мироновиче Кирове и других участниках исторических событий, о партизанах-горцах.

Когда я вернулся в Ленинград, я только мог узнать, что Аронсон побывал в своей новой, найденной им стране — в Гвандрских горах — и как будто все в порядке.

Я все-таки решил отыскать его. Он пришел вечером с фотоаппаратом. Надо сказать, что он снимал как любитель, не больше, но снимал много. Он подарил мне снятые им виды района Гвандры и запечатленные им картины быта и работы в лагере Штулу.

У нас дома была какая-то вечеринка, собрался народ, и я едва успел немного поговорить с Марком. Мне не по-

нравилось, что он выглядел усталым и озабоченным. Я хотел расспросить его как следует о его последней поездке в Гвандру, но это не удалось.

Стали приходить еще гости, и началась общая беседа. Говорили, пели песни, потом стали танцевать. Марк веселился вместе со всеми, потом укрепил треножник, поставил свой фотоаппарат в дверях, ведущих в коридор, чтобы снять танцующих. В общей сумятице как-то не получалось того, что ему нужно, и он несколько раз прилаживался снимать и опять отступал.

Аппарат, поставленный Марком, всем мешал. Кончилось тем, что его просто отставили в сторону.

Только когда все гости ушли и мы с женой стали прибирать комнату, мы натолкнулись на аппарат, и тут мы оба удивились двум непонятностям: почему Аронсон, приготовившись снимать, никого не снял и почему, что на него не похоже, исчез не попрощавшись?

Так как сами мы не могли объяснить этого, то решили, что, когда он придет за своим аппаратом, сам расскажет, в чем дело. Он пришел через несколько дней.

— Николай Семенович,— сказал он серьезно и грустно,— я должен принести вам свои извинения за этот беспорядок, но должен вам сказать вот что: после одного восхождения в Гвандре я на спуске как-то неудачно ступил, поскользнулся и упал. Никакая опасность мне не угрожала, я встал и пошел дальше. Вечером в лагере я почувствовал себя плохо, но к утру все прошло. Казалось, что можно забыть эту маленькую неприятность. Но вот вчера, когда я поднялся к вам с фотоаппаратом на шестой этаж очень быстрым темпом, я должен был остановиться перед вашей дверью и отдыхать. Я дышал, как загнанная лошадь. Этого со мной никогда не было. Но я отдышался и явился как ни в чем не бывало. Я разговаривал с вами и, когда пришли гости, тоже веселился со всеми вместе. Но вот когда я хотел снять танцующих и поставил аппарат в дверях и все примеривался, как снять, как поймать момент, наклонился к аппарату, и тут меня взяло за бока что-то непонятное. Это вернулась та же боль, что терзала меня в лагере. Я не мог даже говорить. Я понял, что я должен немедленно удалиться, чтобы не портить вечеринку. Дома я отлежался, но что-то все-таки гложет. Надо, по-видимому, проверить, в чем дело!

— Я сразу увидел, что вы плохо себя чувствуете,— сказал я.— Вы просто переутомились, и я уверен, что ни-

чего серьезного не может быть. Альпинисты умирают в море вершин, а вам еще умирать рано. Вы еще даже не всю Гвандру исследовали.

И чтобы отвести его от грустных размышлений, я начал рассказывать, как я однажды пробирался через район Гвандры, от ущелья Ненскрыры к верховьям Гвандры и Секены. Он смеялся над моими приключениями и как будто отошел от своих тревожных мыслей. Но все-таки, уходя, он сказал:

— Николай Семенович, у меня вся переписка по сборнику, все материалы. Если мне будет плохо, не лучше ли мне заранее вручить их вам...

— Ну что вы,— сказал я,— не думайте об этом. У вас все пройдет, и вы будете продолжать это дело, тем более что уже конец виден...

Он хотел что-то сказать мне, но я не дал ему говорить, уверяя его, что не приму от него материалов...

— Но я должен вам сказать! — воскликнул он, тяжело вздохнув, и остановился, как будто боль перехватила ему дыхание.

— Марк! Я запрещаю вам говорить о нашем сборнике сейчас. Придет час — и мы вместе разберемся в нем. Идите и отдыхайте! И проверьте свое здоровье!

Он взял свой фотоаппарат и пошел вниз по лестнице.

Подходил Новый год. Как всегда, у всех людей дни перед окончанием старого года полны всевозможных забот, но над всеми заботами неотступно стоит вопрос о новогодней встрече. Где, с кем встречать, как достать все, что нужно для праздничного стола, какие кому приготовить подарки.

В темный декабрьский вечер, расцвеченный лишь огнями предпраздничных витрин, я получил плохие вести о Марке. Наш общий знакомый позвонил мне и сказал, что он должен сообщить мне, что Марк находится в больнице на Литейном проспекте и, по-видимому, никак не выберется из нее до Нового года.

Несмотря на то что времени у меня было в обрез, после такого грустного сообщения я решил немедленно повидать Марка.

Этого нельзя было откладывать.

И вот вечером двадцать девятого декабря я поехал в больницу. Ярко освещенный Литейный, вагоны трамвая, автобусы, машины, толпы народа — все говорило о пред-

праздничной радостной суете, о веселом всплеске жизни.

Веселых больниц не бывает.

Марк появился передо мной в коридоре, неважно освещенном, в коричневом халате, в туфлях, и, как он ни старался показать мне, как будто он принимает меня просто дома, в халате, это ему не удавалось.

Он заметно похудел, осунулся, в тусклом освещении его щеки, плохо выбритые, имели какой-то свинцовый оттенок. Он был растерянный и печальный.

Мы сидели и смотрели друг на друга.

— Гвандра-то оказалась не такой доброй,— сказал я,— вон что получается...

— Но зато она прекрасна,— сказал Марк, и лицо его сразу порозовело,— как я рад, что вы пришли! Расскажите, как живете.

— Нет, уж вы, дорогой, расскажите, долго ли здесь отдыхать собираетесь?

— Да вот доктора все смотрят, выясняют, что за болезнь, им самим непонятно. Только вчера сказали, что завтра еще посмотрят и, возможно, даже будет необходима операция...

Он запахнул халат, помрачнел и потом начал говорить, как он работает над Шевыревым, даже в больницу взял рукопись.

— Знаете,— сказал он,— сначала казалось, что не соберусь с мыслями, а оказывается, можно работать в любой обстановке, даже лежа...

— У Тургенева был диван-самосон, на котором он любил думать лежа...— попробовал пошутить я.— Но, в общем, очень, очень жаль, что вы не встретите с нами Новый год. Ну, мы выпьем за ваше здоровье!..

Мы поговорили еще с полчаса, я увидел, что он устал, что он думает о чем-то, о чем не хочет мне сказать. Я попрощался с ним, мы обнялись. С тяжелым сердцем я покинул старый дом на Литейном проспекте и пошел пешком домой по бесконечным набережным, подставив лицо метели, заметавшей бессмертные граниты, молчаливую Неву, угрюмые дворцы и черные мосты, провисавшие в облаках белой снежной крупы.

Я говорил сам себе, что всякое бывает, что может же человек заболеть, даже операцию, какую там надо, ему сделают — и опять он будет жить и поживать. Тем более такой сильный, тренированный, жизнерадостный человек;

как Марк, перенесет все это легче, чем какой нибудь горожанин, не привыкший к трудностям, которые закаляют альпинистов.

Наступил вечер тридцать первого декабря, тот всегда по-новому волнующий последний час старого года, когда до нового года остались считанные минуты, хозяева ждут гостей, стол накрыт, елка приготовлена и в ее полумраке блестят какими-то новыми обещаниями развешанные на темных, хрустких ветвях разноцветные фигурки и фонарики.

Двери на лестницу распахиваются, входят гости, стряхивая со своих одеяний мокрый снег, и волнение праздничного ожидания начинает невольно передаваться каждому. Сколько бы ты ни встречал новых годов, всякий раз этот загадочный вечер, даже в условиях самых странных и самых страшных, как было во время блокады Ленинграда, будет выделяться из всех вечеров года.

Раздавались звонки, входили гости, приветствовали с наступающим хозяев, проходили в комнаты. Я побежал открыть дверь на очередной звонок. Надо сказать, что передняя в нашей коммунальной квартире была большая, и, как на грех, в ней перегорела лампочка и ввинтили какую-то крошечную, дававшую совсем мало света. И в этом сумеречном освещении я увидел человека, который ну никак не мог быть в этот час у меня в квартире. Я же оставил его в больнице в ожидании операции только позавчера. Но сомнений не было. Это не был призрак. Передо мной стоял разодетый по-праздничному, даже попахивая каким-то строгим одеколоном, Марк Аронсон.

— Марк! — воскликнул я.— Вот это неожиданный сюрприз! Как же вам удалось вырваться из лап эскулапов?

— Да вот,— сказал он,— знаете, для меня это тоже неожиданно. Вчера смотрели меня врачи, целая комиссия, и говорят: «Операцию делать сейчас не надо, вам надо подкрепиться перед операцией, погулять на воле, и мы вас охотно выпустим на какое-то время, а там видно будет. А так как Новый год на носу, то вас мы, молодой человек, немедленно выпишем, чтобы вы могли встретить Новый год в кругу друзей». И вот я здесь...

— Но это же замечательно! — воскликнул я, но он заговорщицки остановил меня и сказал:

— У вас будет много гостей, так я хочу, чтобы они ничего не знали о болезни...

— Что вы, Марк, вы будете пить вино и танцевать. И рассказывать альпинистские анекдоты. И ухаживать за девушками. Больше с вас ничего не спросится...

И он действительно прыгнул в веселье с головой. Но я следил за ним, и он мне не нравился. Среди разговора он вдруг смолкал, брал бокал и снова ставил на стол, не притрагиваясь к вину, и какая-то озабоченность не пропадала с его лица.

Я не знал, радоваться ли тому, что его выпустили на волю...

Марк пришел ко мне еще раз, когда уже февральское солнце пригревало Ленинград. Хотя было видно, что болезнь сидит глубоко и терзает его, но он, собрав все свои силы, старался пересилить боль, и минутами к нему возвращалось прежнее спокойствие. Он говорил о себе теперь даже с некоторой иронией:

— Никто не понимает в моей болезни, и мне от этого как-то даже легче живется. По крайней мере, нет надобности держаться какого-то режима. Мне все можно, мне только, как говорят врачи, не хватает свежего воздуха. Не идти же мне ранней весной в горы! Но было бы хорошо, если бы вы похлопотали, чтобы я мог попасть в какой-нибудь санаторий Литфонда. Но я куда ни позвоню, через какое-то время мне отвечают, что у них заполнены, к сожалению, все места...

— Этого не может быть,— сказал я.— Конечно, Марк, я все сделаю, чтобы вы были в санатории. Завтра же займусь этим...

— Хорошо, я думаю, что вы это сделаете. Но теперь, когда я лучше себя чувствую, чем месяц назад, я смог заново обдумать, что делать со сборником. Конечно, у нас уже ничего не выйдет. Я верну авторам полученные рукописи... Но у меня есть один замысел, и он на первый взгляд вам может показаться фантастическим, но, если обдумать хорошенько, в нем есть что-то интересное...

— Новая книга? — спросил я.

— Нет, дело в том, что в прошлом году шестая экспедиция на Эверест, английская, окончилась неудачно, хотя в ее составе были лучшие альпинисты Англии, были Шиптон, Руленджи, Кемпсон и другие. Все они старые гималайцы, но им не повезло. Время и деньги потрачены зря. Они даже не добрались до тех мест, до которых доходили их предшественники. Кроме того, они угробили десять шерпов-носильщиков и трех англичан. Заметьте, что с каждой

экспедицией они усиливали состав восходителей, набирались нового опыта и имели замечательное снаряжение...

— Что же вы предлагаете, Марк?

— Советские альпинисты должны сделать попытку взойти на Эверест. Не возражайте сразу. У нас есть такие богатыри, как братья Абалаковы, у нас уже много первоклассных альпинистов, русских, грузинских, у нас есть прекрасная смена молодых, которые показали себя на Памире, на Кавказе, на Тянь-Шане...

— Вы говорите это всерьез, Марк?

— Да, в самый серьез. Давайте возьмемся за это, вот увидите, что дело может пойти. Мы заинтересуем широкие круги общественности...

Я видел, как возвращается к жизни прежний, неутомимый, стремящийся, горячий Марк.

— Знаете что, дорогой товарищ, друг и современник. Мне пришла в голову сванская легенда о том, что богиня лесов Дали, сванская Диана, увлекает полюбившегося ей охотника в свои горные лесные чащи, высылает ему навстречу оленей и туров, чтобы заманить его подальше, поглубже в свои владения, и, когда он наконец приходит в себя, ему уже нет пути назад. Богиня Дали отрезала ему возвращение...

— При чем тут сванская легенда? Насколько я понимаю, Эверест в Тибете!

— Вы мне напоминаете сванского охотника, которого уже завлекла горная богиня и...

— И мне нет возврата, хотите вы сказать! Если бы так! Я согласен, но все-таки, все-таки попробуем, возьмемся за подготовку восхождения на Эверест...

— Давайте,— сказал я, чтобы не противоречить ему,— но честно скажу, я не знаю, как взяться за это...

— Вот я отдохну в санатории, который вы мне достанете, и тогда мы вернемся к этому вопросу. Я уверен, что советские альпинисты в силах покорить непокоряемый третий полюс земли...

Прошли годы, большие, долгие, тяжелые годы, и мне пришлось вплотную заняться вопросом об Эвересте, но это уже другой рассказ, и он будет рассказан в свое время.

После ухода Марка я тотчас же стал ловить товарищей из Литфонда, чтобы устроить Марка в санаторий.

Наконец я добился самого ответственного товарища, который уже знал о Марке, и он сказал мне быстро и точ-

но, как человек, который привык, что ему звонят все время и все время хотят, чтобы он не отказывал никому:

— Я скажу вам, не скрывая,— места есть в санаториях, во всяком случае, для Аронсона мы легко бы нашли место, но его нельзя взять ни в один санаторий...

— Почему? — спросил я.

— Потому, что он смертельно болен! Он обречен! Как только наводят о нем справки, все отказываются. Да и нельзя такого больного помещать в санаторий. Я думаю, это вам понятно...

Телефон замолчал.

Я стоял как окаменевший, сжимая трубку в руке, и не мог прийти в себя, так меня поразило услышанное...

Был день в марте, когда я получил от него письмо, помеченное больницей имени Куйбышева. В нем он писал, прося поддержать его ходатайство в Наркоминдел о разрешении въезда в СССР его матери, жившей в Литовской республике, работавшей педагогом в детском доме. Он писал: «Ввиду моей тяжелой и длительной болезни приезд моей матери является для меня совершенно необходимым».

Я понял, что он не строит никаких иллюзий, что для него ясно, что конец неотвратим. Я сел писать ему ответ. На столе лежал конверт с фотографиями, которые он мне подарил.

Я рассыпал их по столу. Перед палаткой в горном лагере стоял широкоплечий, обожженный горным солнцем, сильный, веселый альпинист, готовый на штурм зовущей вершины. Он же был среди молодых, начинающих альпинистов. Это были ленинградские юноши и девушки среди скал, в светлых майках и рубашках, и с ними были их инструкторы, товарищи и друзья, которые вводили их в причудливый, грозный и очаровывающий мир гор.

На другом снимке: они уже отдыхали на леднике в полном альпинистском снаряжении. Они уже втянулись в трудную работу горовосходителей, и она нравилась им все больше и больше. Они улыбались, их глаза были обращены на окружающие высоты. Марк спускался дюльфером с отвесной скалы, стоял на берегу замерзшего озера, танцевал на вечере в альпийском лагере, где все танцоры были полуодеты. Их тела дышали здоровьем, почти черные на фоне светлой зелени, у подножия серых скал. А вот он дома — приодевшийся, в новом костюме, с новым галстуком, в комнате, в которой снятся такие горные сны, такие необыкновенные дали.

Я собрал карточки, уложил снова в конверт и положил в книгу Семеновского, предисловие к которой начиналось словами: «Нам нужно поколение борцов, здоровых, инициативных и непоколебимых».

Было второе мая, когда я сошел с поезда в городе Пушкине и пошел в Дом ученых, находившийся недалеко от вокзала.

Дом был в ремонте, в нем не было отдыхающих, и вид он имел хмурый и заброшенный. Я позвонил. Мне открыл какой-то лохматый сторож и, узнав, что я хочу видеть Аронсона, попросил подождать и ушел.

Ко мне вышла девушка с бледными щеками, тонкими, бескровными губами и глазами, покрасневшими от бессонных ночей. Она поздоровалась и спросила тихо:

— Вы к Марку Исидоровичу?

— Да,— ответил я,— как он сейчас?

Губы девушки задрожали, я испугался, что она сейчас заплачет, но она сдержалась и, помолчав, сказала:

— Тут сейчас все так неустроенно. Но он в отдельной комнате, где ремонт не делают. Вы можете раздеться, только я...— она взглянула умоляюще,— только я прошу вас говорить с ним, как будто ничего не происходит, как будто он такой, каким вы его знали. Он знает, что вы придете, я вас провожу!

Я шел за девушкой по лестнице и по коридору, мы свернули в какой-то отдельный флигель. Открыв дверь, она вошла первой, сказала: «К вам пришли»,— и взглянула на меня такими умоляющими глазами, что я должен был сразу взять себя в руки.

Я вошел и огляделся. В комнате было сумрачно, неуютно, но тепло. Я взглянул на человека, сидевшего в кресле. Руки его лежали поверх старого, тяжелого пледа, зеленые клетки которого падали до полу.

Я мысленно поблагодарил девушку за то, что она меня предупредила. Мне было и страшно и печально, но я спокойно смотрел на человека в кресле. Этого человека когда-то звали Марком Аронсоном. У него было хорошее, доброе лицо. Теперь передо мной сидел скелет, на плечах которого, как на вешалке, болтался пиджак.

Исхудалые руки, голубые с коричневым, тихо пошевелились. Я подошел и наклонился над ним, пожал его

руку. Девушка придвинула мне стул, и я сел, смотря в не утратившие жизнь глаза.

Девушка, единственное существо, которое, по-видимому, было все время с ним, поправила подушки, подложила удобнее под спину, передвинула кресло ближе к свету. Затем она как-то затаилась в углу у окна, не сводя своих покрасневших глаз с больного.

Марк осмотрел меня с ног до головы, глаза его скользнули по мне, как будто спрашивали: «Правда, я так страшен? Правда, все идет к концу?»

И вдруг он заговорил слабым, но ясным голосом, и у нас завязалась беседа. Мы старались говорить спокойно про обыкновенные вещи: о том, какая холодная весна в этом году, как долго не тает снег, о последних номерах журналов, о наших общих знакомых. Мы как будто попали на рельсы, которые уносили наши слова куда-то в туманные пространства, и конца рельсам не было видно...

Тут он сделал движение рукой, как будто отгонял все нами сказанное, и произнес с усилием, но, как мне показалось, и с удовлетворением: «Мне снятся горы и лагерь в неизвестной долине. Там очень хорошо. Похоже на Гвандру, но лучше... Да, снятся. Она,— он кивнул на девушку,— это знает...»

Мы сидели долго. Девушка сделала мне незаметный знак, что надо прощаться. Он смотрел на меня удивительным взглядом, похожим на огонек в зимней ночи, который вдруг вырвется из метели и засветит ярко перед тем, как исчезнуть. Он положил руку на мою. Я обнял его, прощаясь. Он сказал шепотом на ухо: «Мне вчера снился Эверест!» Это усилие стоило ему слишком дорого. Он откинулся на спину, но, видя, что я ухожу и обернулся, чтобы еще раз посмотреть на него, вдруг громко сказал:

— Снега, великие снега!

Я ушел. Девушка провожала меня до выхода. Она остановилась на пороге, сжала руки, сказала:

— Вы видели!

И заплакала. Она стояла, не вытирая слез...

Я почти бежал по улице. Я не мог идти на вокзал. Мне стало душно, как будто я сидел в глубоком погребе. На душе у меня было смутно.

На улице лужи подмерзли. Черные деревья парка были нарисованы углем на красном полотне заката. Свежий ветер гнал по улицам пестрые обрывки не то афиш, не то плакатов.

Я должен был куда-то идти, постучать в какой-то дом, где можно вдохнуть бодрости, сесть и попытаться засмеяться, как и веселый хозяин. Я стоял перед таким домом. В нем жили любопытные до людей люди — Вячеслав Яковлевич и Клавдия Михайловна Шишковы.

Но прежде чем войти в этот дом, я еще раз прошел до парка, до его черноколонных, мрачных исполинов, в чаще которых погасали полотнища заката, и, сняв шапку, подставил свою разгоряченную голову ветру, гудевшему в проводах.

Я вернулся мысленно в комнату, где в кресле сидел человек и смотрел, как в окне все темнеет и темнеет. Я понял: кончилась великая любовь, та, которой он жил всю свою короткую жизнь, мечтая о высоте. Он был человеком высоты. Есть какое-то высшее милосердие в том, что ему под самый конец приснился Эверест, или, как теперь говорят, Джомолунгма — самая высшая высота мира!

Теперь о нем уже можно было говорить стихами:

Он — альпинист, и умирал в постели,
Шла тень горы у бреда на краю.
Зачем его не сбросили метели
Высот Хан-Тенгри в каменном бою,
Чтоб прозелень последнего мгновенья
Не заволок болезни дым,
Чтоб всей его любви нагроможденье,
Лавиной вспыхнув, встало перед ним...

«Какая судьба! Если бы он погиб в горах!» — подумал я.

...И если б так судьба не посмеялась,
Мы б положили мертвого его
Лицом к горе, чтоб тень горы касалась
Движеньем легким друга моего,
И падала на сердце неживое,
И замыкала синие уста,
Чтоб над его усталой головою
Вечерним сном сияла высота!

АТА АКЫНОВ

Поезд набирал скорость. В темноте пыльного, жаркого вечера мы мчались на юг. Колеса стучали с такой ничем не сдерживаемой легкостью, как будто вагоны катились под гору по узкому железному лотку, и только по особому звуку, врывавшемуся иногда в это металлическое однообразие, можно было угадывать, что мы пролетаем мосты или, лязгая, проносимся без остановки мимо маленьких станций.

За окном в далеких просторах вспыхивали розовые зарницы, мелькали в набежавшем грохоте огни встречных поездов, и после этого ломившего уши грохота в нашем двухместном купе старого спального вагона, в теплой, сухой тишине, опять был слышен только равномерный стук колес.

Пассажир, следовавший из Москвы, сошел в Ростове. С ним исчезли необыкновенные истории, которые он со вкусом рассказывал,— о своей службе на дальней границе, о переходе с танками через тайгу, о разгроме японской Квантунской армии.

Новый пассажир молча сидел у столика, углубившись в газеты. Он медленно прихлебывал чай, читал подряд все статьи и телеграммы, потом оставлял их, вынимал записную книжку, как будто что-то вспомнив, делал неторопливые записи и снова принимался читать.

Лицо его казалось чуть усталым, как и большие темные глаза. В его черном, слегка потертом костюме, в простом, небрежно завязанном галстуке, в круглых больших очках не было ничего примечательного. Самый обыкновен-

ный случайный дорожный спутник, какие встречаются в бесчисленном количестве и забываются на другой день.

Меня даже забавляло это ничем не возмутимое спокойствие, эта подчеркнутая замкнутость. Он сидел и читал газеты с таким видом, точно был один в купе. На меня, сидевшего напротив него с книгой, он не обращал никакого внимания.

«Скоро можно будет ложиться спать,— подумал я,— и мы так же молча погрузимся в сон, а к утру молчаливый пассажир исчезнет на какой-нибудь станции, а я буду, рассказывая о своей поездке, вставлять мимоходом, что от Ростова до Прохладной со мной в купе ехал глухонемой, державший себя с сосредоточенной важностью».

Действительно, с момента своего появления в вагоне незнакомец не произнес еще ни одного слова. Он спокойно дочитал газеты, сложил их, положил перед собой на столик, снял очки, протер их большим неподрубленным платком, убрал платок в карман и начал осматривать взглядом таможенного чиновника все купе, от пыльных голубых оконных занавесок до матовой полукруглой лампы на выгнутом желтом потолке, точно проверяя все, что находилось в вагоне. Он слегка нахмурился, увидев на полке мой неприхотливый багаж — плотно набитый старый большой рюкзак и поблескивавший в полумраке полки ледоруб.

Посмотрев на меня своими темными большими глазами, точно удивляясь, откуда я взялся, он сказал вежливым и почти дружеским голосом:

— Вы едете в горы? А не поздновато ли в сентябре? Там, поди, сейчас новый снег по колено и на горах и на перевалах... Вы геолог, гляциолог или спортсмен?

— Отвечаю на ваш прямой вопрос,— сказал я.— Хотя я и не принадлежу к названным вами профессиям, но некоторые обстоятельства заставляют меня именно сейчас отправляться в горы. Я был недавно в горах и еду снова, после короткой отлучки, в киноэкспедицию, которая впервые снимает большой игровой фильм о дружбе грузинских и русских альпинистов. Съемки сейчас ведутся на Эльбрусе, в них участвуют настоящие альпинисты и настоящие артисты. Мы будем снимать до середины сентября. Я — один из сценаристов. А вы тоже едете на Кавказ, в горы? Вы геолог, гляциолог или спортсмен?

Он засмеялся.

— Я еду, прямо сказать, на отдых, к одному моему другу в Тбилиси. Что касается рода моих занятий, я — археолог.

— Вы — археолог? Это просто замечательно! — воскликнул я.

— Почему? — искренне удивился мой спутник.

— Потому, что моей мечтой с детства была археология, я так хотел стать археологом, но ничего у меня не вышло; помешала первая мировая война — я стал гусаром...

— А почему вы хотели стать именно археологом?

— Я много рассуждал в ранней юности о больших вещах. Среди прочих соблазнов наивного юношеского воображения был соблазн чувствовать бег прошедших времен. Меня интересовали судьбы людей и вещей — их следы в океане прошлого. Я говорил примерно так: мы люди, а не безмолвные полипы, которые невероятным трудом создают молчаливое государство великого Кораллового Рифа, наслаивая поколение на поколение. Мы не глухонемые кораллы, но у нас короткая память. И археология помогает вспомнить о том, что было, и заставляет говорить вещи древнейших времен, восстанавливает связь событий и людей. Археология дает нам в руки вещественные доказательства. Вы можете держать в руках топор доисторического человека и ожерелье древней красавицы, увидеть засыпанные песками фрески исчезнувшей цивилизации или пройти по отрытым улицам города, о котором было известно только его название. Мир расширяется неизмеримо, когда археолог прикасается к вещам, которые никто, кроме него, не может вернуть миру. Это все равно что смотреть на звездное небо прищурив глаза или направить на него сильнейший современный телескоп. Но главное для моего воображения было ощущение материальности исчезнувших веков. Я вас уверяю, у людей есть неубывающая тяга к этому ощущению седой старины на фоне сегодняшнего дня...

— Ну что же,— сказал археолог,— можно пожалеть, что вы не стали заниматься этой увлекательной наукой. Конечно, нельзя не испытывать волнения, когда из бесформенной россыпи вековых наслоений появляются какие-нибудь необыкновенные изображения давно живших людей, их подчас удивительного разреза глаза, таинственные улыбки губ совсем другого рисунка, чем наши, их странные лица, украшения, которые лежали когда-то на шее

женщины далеких веков, мечи воинов, чаши, кольца, блюда, вазы, ожерелья...

— Старинные вещи,— сказал я,— полны особого очарования. Вы знаете, что, когда Шаляпин, человек с громадным чувством вкуса и настоящего ощущения вещей, играл Ивана Грозного в «Псковитянке», он был в восторге от того, что на нем длинная, тяжелая кольчуга из кованого серебра. Эту очень старую кольчугу купил на Кавказе, где-то в дебрях Хевсуретии, с превеликим трудом, его друг, художник Коровин. И когда эта кольчуга плотно облегала богатырские плечи и грудь великого артиста, он окончательно завершал полное свое преображение на сцене, как бы соприкасаясь со временем, в которое жил и действовал изображаемый им герой.

Я сам держал на своей ладони древние подвески незапамятных времен — маленьких золотых коней, найденных при раскопках на Цалке, в Грузии. Я испытывал необыкновенное ощущение, когда гладил их крошечные золотые гривы, их золотые попонки. Это были творения неведомых мастеров, которые будут вызывать восхищение всех, кто их видит, до скончания века. Эти крохотные кони говорили еще о том, что древняя цивилизация Кавказа была высокой и совсем не изолированной от остального мира.

Сегодня же, мне кажется, особенно ощущается все, что касается древности, не знаю почему. Может быть, потому, что мы являемся свидетелями новой грандиозной эпохи человечества, сами создаем новую классику, которой еще мир не знал, и то, что совершалось в античные времена, нам близко своим героизмом, своим величием, цельностью характеров. Или все великие события прошлого, решавшие судьбы народов, нам понятны потому, что и наше время полно громадных войн и переворотов, когда целые материки пробуждаются для новой жизни... Простите меня за мои вольные полночные мысли, я философствую без доказательств, и мои вымыслы могут показаться вам, строгому мужу суровой науки, случайными и легковесными рассуждениями...

Мой собеседник поднял обе руки, как будто взывая к небесам.

— Вот этими руками сколько раз я погружался в бездну времени, много перерыл, можно сказать, эпох. Находил, не скрою, находил всякое. В том, что вы говорите, есть своя правда. Не знаю, известно ли вам, что у нас в Советской стране существует закон, по которому при начале

каждого большого строительства обязательно привлекают археологов, если есть сведения, что при работах может пострадать какой-нибудь древний памятник или следует ожидать новых находок. Археологи приходят и получают полную возможность все детально исследовать. Вы, конечно, знаете, какие огромные земляные работы были произведены при строительстве канала Волго-Дон. Казалось, что общего у этой современной стройки с древними памятниками? А между тем археологи сделали там свою замечательную работу, и в этой работе вся новая техника — все эти экскаваторы, самосвалы, краны, бульдозеры, которые работали на канале, были хорошими друзьями, помогая нам добраться до затерявшегося в глубинах донецкой земли русского города Белая Вежа. Вы слыхали когда-нибудь о таком городе?

— Очень смутно,— сказал я.— Слышал только имя и буду очень рад, если вы расскажете о нем, тем более что этот пример переклички времен очень кстати к нашему разговору.

— Не было бы работ на Волго-Доне, не искали бы с таким размахом и Белую Вежу. А сейчас там открыли так много ценного, что лучше нечего желать. Белая Вежа стояла на месте древней хазарской крепости Саркел. В свое время, о котором большинство современных людей никогда ничего не слыхало, Хазарское царство было огромным, от гор Кавказа и даже Закавказья до Азовского моря, до Волги. Хотя знатные хазары приняли иудейство, но это не помешало им обратиться к византийскому императору Феофилу и просить его прислать военных инженеров, чтобы построить крепость как защиту от аланов, угрожавших и хазарам и грекам в Крыму, и от других кочевников.

Византийцы приехали, построили кирпичный завод, наделали достаточно кирпичей, возвели стены и внутренние здания, соорудили ров, который шел далеко в степь, и вокруг крепости вырос город Саркел, куда приходили с товарами купцы со всех сторон, особо славяне, и в немалом количестве.

Торговали мехами, кожами, воском, оружием, тканями. И не только в Саркеле, а и в столице хазарской — в городе Итиль, стоявшем около нынешней Астрахани. Саркел имел много славянских жителей, которые потом сильно способствовали превращению его в славянский город.

Хотя власть хазар еще чувствовалась в степях, новые кочевники своими непрерывными набегами уже подрывали

15*

могущество хазарского каганата, а с запада неуклонно надвигалась грозная сила в лице растущей Киевской Руси, и пришли такие времена, когда, в десятом веке, население сопредельных с хазарами областей, в том числе и хазары, противники кагана, обратились к русскому князю Святославу с просьбой освободить их от власти своего правителя.

И Святослав совершил сокрушительный большой поход. По Оке вышел на Волгу, прошел вниз до хазарской столицы, разрушил глиняные дома и плетеные мазанки Итиля, захватил виноградники богатого города Семендера, разгромил войско хазарского кагана, дошел до Тамани, где русские уже осели еще раньше его похода.

Святослав прошел степями, избил касогов и ясов и взял хазарскую крепость Саркел, которая с той поры стала русским городом Белой Вежей.

Так возник самый восточный город Киевской Руси, охрана торговых путей к Крыму, Азовскому морю и дальше, на Северный Кавказ.

Любопытнейшая страница древней истории. А поищите ее в книге времен — не так-то просто ее найти. Прошли века. Дон течет очень быстро. Берега меняются, землю то намывает, то сносит течением в сторону, появляются новые излучины. Трудно здесь без помощи передовой техники. И вот заработали исполинские машины, ну, а потом пошли в ход, как полагается, и лопаты и корзины, да и руками, ножичками поработали, и явился перед нами русский город Белая Вежа, бывший хазарский Саркел. Теперь мы его хорошо знаем...

А придите нынче — над степью пароходные гудки, кругом бетон, блестит вода канала, стоят башни шлюзов, вместо диких трав бесконечное поле хлебов, густые сады, в зелени — новые поселки, набегает на песчаный берег волна Цимлянского моря, а глубоко на дне Цимлянского моря лежит этот древний город. Появился он на короткий срок, дал о себе сведения ученым и навеки опять исчез.

Конечно, получилась перекличка времен. Теперь идут теплоходы по Цимлянскому морю, и пассажиры могут прочесть в путеводителе, что плывут над древней Русью — над Белой Вежей, которую, не будь советской власти, никогда бы не нашли.

— Вот посмотрите,— сказал я,— Святослав сейчас вошел в нашу беседу, потому что без него нельзя поверить в Белую Вежу, в Саркел, а ведь со Святославом мы были

рядом в дни другого великого испытания земли Русской — когда на нас нахлынули гитлеровские орды почище хазар и печенегов. Тогда слова Святослава: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут» — повторялись не раз, в наибезвыходнейших положениях. И, вспоминая ратный подвиг Святослава, русские воины не сдавались, стояли насмерть.

Да, как это ни странно, в те годы повеяло вдруг глухой древностью. Давно забытые слова вернулись в жизнь: иго, рабство, неволя, высшая раса, раса господ, увод в полон, истребление, массовые казни, нашествие. Разве Гитлер не намеревался создать на месте Западной и Восточной цивилизованной Европы свое рабовладельческое государство, по типу древней Римской империи? Он так и представлял себе мир, в виде господ и рабов, в самом, по его мнению, лучшем античном представлении, без всяких только просвещенных тиранов,— с него хватало и просто тиранов и просто палачей. Это был бред швабского провинциального гимназиста, начитавшегося школьных романов старых немецких писателей о всемогущем Риме и германских варварах, покоривших этот вечный Рим. Какие видения преследовали этого маньяка, осталось бы навсегда неизвестным человечеству, но его бред стал с железной последовательностью воплощаться в жизнь, нашел приверженцев-сверхчеловеков — и вся цивилизация оказалась на волоске. Этот бред стоил жизни миллионам.

Если бы не Советский Союз, то неизвестно, какие формы приняло бы распространение фашизма на земле. Где вы, уважаемый товарищ и современник, кончали войну?

Археолог откинулся на спинку дивана, тронул лоб своей тонкой и крепкой рукой и, смотря в темное окно, как будто видя там картины недавнего прошлого, ответил:

— Хотя я специалист по части древней истории, а пришлось участвовать и в новой истории. Войну я кончал, по воле судьбы, в Берлине. И в самые последние дни чуть не погиб самым бездарным образом.

Бой шел уже в самом центре. Но бой своеобразный, ни на какие сражения не похожий. И под землей, в метро, и на крышах, и в домах, из этажа в этаж, шли схватки. На улицах снаряды и бомбы рвутся. Пройти нельзя. Мне нужно было отыскать штаб дивизии. Мне говорят: «Пройдите подвалами. Вот вам примерное направление». Я и пошел. А подвалы набиты людьми. Это жители со своим имуществом прячутся в глубине, подальше от окошек, от

осколков и пуль. Стены подвалов разобраны, чтобы можно было переходить из дома в дом, так что можно идти целый квартал подвалами. Я шел с фонариком и сначала не обращал особого внимания на людей. Ну, посмотришь — старики, женщины, дети, мешки, чемоданы, корзинки, рухлядь разная... Идешь, о своем маршруте думаешь, остановишься, по плану города проверишь. И вдруг наступила такая минута — паршивая, надо сказать, мысль явилась: а ведь я заблудился! И как фонарик засветил — смотрю: вокруг какое-то другое настроение у жителей. То они от меня прятали глаза, от моего света, сжимались в комок, шептали что-то, а тут на меня смотрят дикими глазами и переговариваются громко, кричат даже что-то. Вот те раз, куда же это я зашел!

Ну, я сделал вид, что рассматриваю план, а сам решил хоть обратно как-нибудь вернуться. Расстегнул кобуру, а потом и совсем пистолет в руку взял. Мало ли чего в этой темноте может быть... И подходит ко мне высокий худой человек, подняв руки, показывает, что ничего в руках нет. Подойдя вплотную, говорит шепотом на ломаном русском языке: «Друже, здесь наверху немочка-фашистичка, большая опасность, доверяй мне, пожалуйста, я из Югославии, я показываю дорогу, где Красная Армия. Мне надо Красная Армия, но мне не будут давать доверия, ты говори: я спас, я веду хорошая дорога...»

Что мне оставалось делать? Я уже открыто поднял пистолет и пошел за своим югославским проводником. Вывел он меня. Оказалось, что он принес важные сведения, но сам боялся самостоятельно в этой подземной каше пробираться к нам... Ну, а через дней пять и всей войне конец... Можно снова взяться за археологию...

— Вы сказали о югославе! Ох, послушайте, что я видел в Югославии, в Далмации! Там роскошное побережье...

— Никогда не был,— сказал археолог,— известно, что там знатные развалины и раскопки.

— Раскопки там первый сорт. Побережье — рай для раскопок. А виды! Вдали горы, белые, как из мела, впереди зеленовато-синее море, прибой — кружевная пенная кайма. Живописные дороги, вокруг дубы, оливы, приморские сосны, агавы. В садах белые домики с черепичными крышами. На скалах старые церкви, крепости. Гробниц, кладбищ — сколько хотите. Археологи прямо вне себя. Копать хватит до второго пришествия. Они и работают, ищут, роются и находят бесчисленное множество фигур, бюстов,

ваз, урн, гробниц, алтарей — что угодно. Счету нет. Расставляют все на открытом воздухе, прямо под оливами.

И туда добралась война. Рабочие, что были на раскопках, исчезли. Стали помогать добровольцы-школьники. Новая история стала гулять вокруг древних развалин. Партизаны-югославы захватывали местность. Их бомбили немцы. Немцев вышибали — приходили итальянцы. Их бомбили англичане. Уходят итальянцы — они в свою очередь бомбят. Снова партизаны — и снова немцы сбрасывают бомбы. Потом, по ошибке, когда уже все утихло, бомбили американцы. Все летит вверх дном.

После одной большой бомбежки, когда в селении рядом вспыхнули пожары, из глубокой ямы, прямо кратера, вырытого взрывом бомбы, вылетела большая мраморная доска и встала ребром. Ее стали отчищать школьники, не дочистили — ушли по домам. Наступил вечер. Доской стал заниматься ученик старого ученого. Вдруг в тихом вечернем воздухе раздался адский смех молодого человека.

«Вы сошли с ума!» — кричит, негодуя, профессор, спеша к нему. Но молодой ученый хохочет без удержу. И сквозь смех кричит профессору: «Нет, не я,— это мир сошел с ума! Смотрите, читайте, дорогой учитель!» Они оба наклоняются над доской. Надпись длинная, хорошо отчищена, читается, за редкими неясностями, почти полностью. Что же там написано? «Здесь лежит прах Тито Флавия Герания Язона, сенатора колонии, жреца, наблюдателя города, хранителя кузнецкого цеха и цеха пожарных, отличного мужа, защитника колонии Солони, боголюбивого, домовитого, который по своим заслугам был известен и имел почести от своих сограждан вышеупомянутых цехов. Ставится этот памятник в воспоминание».

«Тито Флавий, председатель пожарной охраны,— кричит ученик профессора,— ПВО древних, римский пожарник, вышел из-под земли по воздушной тревоге! Все смешалось в этом мире, профессор!»

Я сам видел эту плиту. Она и посейчас там. Поезжайте в Солони, около Сплита,— увидите. Мне так понравилась эта надпись, что я запомнил ее и могу читать, как стихотворение в прозе. Каково! Из глубин древнего мира по тревоге, во время бомбежки и пожара, прибыл сам начальник пожарной охраны города — разве это не здорово?

— Здорово! — засмеялся археолог.— Недаром сегодняшний, советский, русский поэт воскликнул:

О, что бы я только не отдал взамен
За то, чтобы даль донесла
И стон Персефоны, и пенье сирен,
И звон боевого весла.

— Да вы знаете и поэзию?! — воскликнул я.

— А почему же ее не знать! Правда, другой поэт-классик называл нашу археологическую работу трудом святотатственным, говорил, что мы ищем в рухляди обнов для себя, что наша жизнь,

Сама лишенная простых и чистых красок,
Она их ищет там, где мир загробный спит.
И холод золота могильных наших масок
Им теплым кажется и пламенем горит!

Эти слова поэт вкладывает в уста потревоженной археологами тени Гектора на раскопках Трои.

— Ну, Случевский,— сказал я,— вообще был очень мрачный субъект и ужасно любил кладбищенские, похоронные, печальные сюжеты...

— Но строки о том, что могильные маски для нас горят пламенем,— это не лишено основания. Мы бы, археологи, не отказались, будь такая возможность, например, взглянуть на представление в римском цирке — «Циркуса максимусе», перед которым Колизей пасует, увидеть сразу триста пятьдесят тысяч зрителей, неизмеримую арену и неслыханных размеров тенты из полотна, которые защищают зрителей от солнца, блеск разноцветных мраморных плит, тысячи сверкающих статуй, краски мозаик и картин, пеструю смесь одежд, вихри конских грив, мчащиеся колесницы, услышать поощрительные крики римлян и рев длинных труб, возвещающих конец игр... А если бы можно было совершить прогулку по красивейшему, не имевшему соперников среди городов русских славному Киеву в дни его расцвета до нашествия Батыя... Пройтись по большому мосту через Днепр, посмотреть на город с городских башен, полюбоваться знаменитыми киевскими мозаиками, цветным стеклом, тенистыми улицами, где толпятся византийцы и чехи, немцы и венецианцы, белыми парусами кораблей, пришедших из далеких краев — из варяг в греки, нежными, статными киевлянками, чья красота известна далеко на западе и на востоке... Да что говорить! А потом Батый. Нашествие, пожары, руины города, пустыня... Я шел ночью по пустому, резоренному городу. Луна светила сквозь щели уцелевших стен. Не было ни одного

целого дома на Крещатике. Вокруг подымались каменные завалы. Кирпичи, куски дерева, обгорелые балки, осколки посуды, битое стекло. Где-то в развалинах ветер раскачивал остатки крыш, и железо стонало, как тяжело раненный человек. Это было в сорок четвертом году, и был уже не Батый, а Гитлер. Нашествие, осада, голод, разорение... Ну, хватит! Давайте ложиться спать. Уже поздно!

Археолог начал раскладывать постель. Мы еще какое-то время говорили о разном, потом я оставил его и вышел в коридор. Я не мог уснуть. Я стоял у окна, и мимо меня проносилась ночная земля, которая, как мне казалось после нашего разговора, неистово скрежетала, гремела и раскачивалась.

И вместе с ней проносились спящие поля, овраги, кусты, ярко-желтые квадраты окон в домах, почти вскочивших на насыпь, среди черных высоких тополей белые завитки пены ночных речек, еле видные курганы; какие-то половецкие, хазарские тени бежали по земле — отражения всадников, копий, щитов...

Я был полон смутных чувств, далеких воспоминаний, смешением времен, черной пустотой ночи... Я что-то обязательно должен был вспомнить. И вдруг на одном неожиданно ярко очерченном холме возникла четкая фигура всадника. Он был хорошо виден и причудлив и остановил коня как бы в раздумье. Он напомнил мне кого-то, кого я всегда видел с каким-то странным волнением. И когда всадник потух, слился с темнотой, оранжевый свет костра, на фоне которого он появился, тоже померк,— я сказал себе: это же Джамбул!

Джамбул!

Это было незадолго перед войной, в Тбилиси, на празднике в честь Руставели. В те дни самый воздух гостеприимного и сладостного города был пронизан поэзией. Съехалось столько поэтов со всех сторон Советского Союза, читалось столько стихов, декламировалось с трибуны столько лирических выступлений, что сам Руставели был бы доволен такой широтой чувств, таким песенным многообразием, ярким и звучным многоязычием. Все новые и новые певцы говорили о Витязе в тигровой шкуре, и благодарные слушатели не уставали переживать произносимые с таким пафосом речи, украшенные всеми цветами красноречия.

И вдруг явился он! Именно не вошел, не встал со стула, а явился, раздвинув толпу членов президиума с такой

легкостью, как будто соскочил с коня и еще сохраняет инерцию бешеного движения. Он не пошел на трибуну, а, озирая зал, притаившийся и восторженно-настороженный, развел руки и почти смёл на края стола, в разные стороны, графин с водой и стаканами на подносе и большую чернильницу, окруженную ворохом бумаг. Именно смёл, как ненужные ему предметы, явно мешающие тому удивительному, что он сейчас сделает.

Члены президиума невольно отступили тоже, и Джамбул остался в одиночестве, возвышаясь над столом во всем величественном сосредоточении акына. Вся его фигура не имела ничего общего с окружающим. В темно-зеленом халате, подпоясанном каким-то суровым, темным платком, в лисьей шапке, мех которой поблескивал в свете люстр, как бы источая тонкие искры, Джамбул протянул повелительную руку, тонкую, покрытую мелкой сетью коричневых жил, приглашая зал к молчанию.

Его широкоскулое лицо хранило удивительное спокойствие, только глаза были как два узких луча и чуть видная усмешка притаилась в изгибе сухих и длинных губ. Борода, ниспадавшая свободным потоком, походила на маленький горный водопад, согретый утренним солнцем.

Так он стоял, погруженный в свои глубокие думы, молча, и темные, густые брови едва заметно вздрагивали, а на широких щеках проступал какой-то прозрачный дикий румянец, каким иногда отсвечивает горный шиповник. Это мгновение сосредоточения прервалось, он неожиданно сел, и в руках его появился небольшой струнный инструмент, звук которого сначала был такой тихий, точно в зал залетела большая оса и не может найти окна, чтобы вылететь на простор.

С того мгновения, как он явился, время как будто перестало существовать. Стены раздвинулись и пропустили к нам видение иного мира, он был ближе к Руставели и его сказочным героям, чем к этим по-городскому одетым людям в душном зале. Он мог явиться сразу после штурма замка каджей, чтобы поделиться своими впечатлениями, и мы бы ему поверили. Хотелось взглянуть в окно, чтобы убедиться, что он оставил на улице прекрасного боевого коня, вокруг которого уже стоят любопытные, а у скакуна на удилах хлопья синевато-снежной пены.

И тогда по залу пронесся голос акына, такой сильный и резкий, как будто крик этот родился в пустоте ночи и направлен вдогонку всаднику; потом зазвучали плавные

ноты, сменились хрипеньем и клокотаньем, и вдруг в песне зазвенели колокольчики, и снова их прервал резкий крик. Он пел, полузакрыв глаза, и только ноздри его раздувались, точно вдыхали горькие и прекрасные запахи степей.

Он жил в другом мире, и этот мир был весь его, и эта песня была не похожа ни на что. Она шла вверх, как стрела, меняла направление, как будто неведомая сила направляла эту стрелу в горизонтальный лёт, и мы слышали скрип ее перьев, продуваемых вихрем полета, потом она со свистом вонзалась в каменную щель, и мы слышали вздох камня.

О чем он пел? Не хотелось слушать никакого перевода, потому что никакой перевод не мог передать опьяняющей силы и правды этого вдохновения. Нельзя было разобрать слов, но эта странная, удивительная, свободная песня проникала в глубь вашего существа, и раз слышавший ее не мог уже забыть этот голос, повелительный и нежный, смешливый и грозный... Это было чудо, это был Джамбул — ата акынов, отец певцов.

Он пел долго, чуть покачивая большими плечами, наклоняясь к столу, струны его инструмента почти не были слышны, они жили какой-то отдельной жизнью, точно хотели вырваться из-под власти его сильных, гибких пальцев и не могли. Песня была такой разнообразной, такой магнетической напряженности, что хотелось со стула пересесть на пол, сесть, как сидят спокойные и важные скотоводы, пастухи, охотники, подпереть щеки руками и слушать голос, поющий о жизни и доблести, о великом пространстве мира и о радостной горести простых чувств, вечных в своей повторяемости, независимо от течения веков.

Нельзя было уловить мгновения, когда он кончил петь. Он встал с такой же резкостью, с какой садился, руки его запахнули халат, снова заблестели темно-огненные волоски его шапки и улыбнулись слабо длинные губы. Всем было ясно, что без Джамбула поэтический пир в честь старого месха Руставели был бы неполон.

Он исчез из зала так же неуловимо, как и появился. Я спросил, сколько ему лет. Мне ответили:

— Девяносто один год!

...Я ехал с ним в поезде из Тбилиси в Москву, я говорил с ним о стихах, о поэтах, обо всем случайном и неслучайном, что бывает на свете. Никакого ореола тайны не

было вокруг него. Он сидел, поджав одну ногу под себя и опустив другую на пол, пил чай, прихлебывая с блюдечка, и его ученик, старый человек, служил ему, как мальчик, и не заговаривал с ним, пока к нему не обращался Джамбул.

Джамбул сидел, часами смотря в окно, за которым плыли белые, зимние степи Северного Кавказа с синеющими далями и высоким небом.

— Много земли, много лет, много песен дано человеку,— говорил он тихо, прислушиваясь к звуку своих слов.— Земля истощается, человек, как земля, не может больше родить песню, песня хрипит, нет у ней крыльев, не может она лететь, как стрела по степи. Я дошел до своей зимы однажды в жизни. Мороз сковал мои жилы, снег упал на голову, ледяная вода застыла в жилах. Я смотрел вперед и в трех шагах не различал человека от человека, только тени стали отвечать мне, потому что я сам жил в мире теней, и звук голоса пропал, я согнулся, как палка, которую взял в слабую руку. И спрашивал себя: «Что со мной?» И сам отвечал себе: «Ты спел все, и это все было о горе и печали, это все было о моем народе, и песня моя была как сокол, была как беркут, была как конь и не знала устали, а теперь она — тень. Бояться меня перестали баи и манапы, а как прежде боялись! Теперь видят они, что нет у меня больше сильных слов, не могу я петь о славе народа, и плохо мне стало. Родник иссякает, буря пригибает старое дерево, песок засыпает одинокую тропу. Все, что было в прошлом славой народа, осталось в прошлом». Так спел я про «Утеген-батыра» и «Суранши-батыра». Древность во мне жила и говорила, пока не иссяк ее голос, я лег и лежал как мертвый. Но вот не стало белого царя, народ мой проснулся, как человек, к которому пришла снова молодость. И я откинул полу юрты и вышел в степь. Я увидел, как всходит солнце, и, когда его луч достиг меня, я услышал, как моя домбра зовет меня. Я понял, что я тоже проснулся после тяжелой зимы, и на губах сама родилась песня, новая, не похожая на тот стон, на тот гнев, что жил во мне и иссушил меня. Мне стало так легко, точно сто лет я сбросил с плеч...

Я смотрю на него. Руки его перебирают желтые большие четки, глаза делаются вдруг светлыми и почти добрыми, губы шепчут что-то одному ему понятное. У него свое представление о времени, свой взгляд на людей. Я думаю, что невозможно перевести точно его стихи,

потому что это не стихи, а глубокие вздохи, такие же музыкальные, темные, богатые многими смыслами, как шелесты степных трав, как шум листвы старого дуба. Недаром греки и римляне гадали по шороху листьев священного дуба, старались улышать нечто сверхчеловеческое в голосе широковетвистого мудреца. Но Джамбул прав, говоря, что было время, когда его песен боялись баи и манапы, потому что он мог поднять народ степей, мог сказать горькую, как полынь, и жесткую, как поросли караганника, правду им в глаза или зло осмеять их...

Джамбул говорит о стихах:

— Ты спрашиваешь, как рождается песня? В глубине сердца акына она зарождается, ищет пути к людям. Все может быть одеждой стиха — тень от облака даже; все может быть ее звуком — стук копыт коня даже; все может быть ее душой — полет ветра или ястреба даже! Но родится песня — и она выше всех облаков станет, и звонче тысяч конских подков станет, и шире степи самой станет. Перейдет в другие земли, и там про нее узнают...

Он размышляет вслух, его ученик переводит мне, о чем говорит Джамбул.

Он говорит:

— В детстве своем я не видел ни разу ни поля, ни сада, ни арыка. Не видел я в юности своей ни больших каменных городов, ни вагонов, бегущих по железным путям, ни теней на стене, которые называют теперь кино. Видел я степь, и лучше ее нет ничего. Красива эта страна, что называют Грузией. Много видели мы в ней такого, что радость для глаз и для сердца радость. Трудно, наверное, трудиться в ней — все гора, все вверх и вниз надо. Но лесов много, садов много, воды много, и забот много. Люди душевные, песни любят, танцевать любят, женщины красивые, мужчины красивые, добрые, уважали мою песню, хвалили. Красивая страна! — говорит, задумавшись.— А степь лучше: простор большой, иди куда хочешь, джигитов много, коней много, певцов много...

Джамбул смотрит в окно.

— Зима,— говорит он.— Тут земля спит слабо, наша степь спит зимой крепко, синяя-синяя, белая-белая. А когда сердится, бураном идет — до неба снег как стена, не пробуй пробиться. А потом тишина, только черные жаворонки свистят печально. Весной спать нельзя — всю ночь птицы кричат, хлопают крыльями, летят на озера, на речки. Степь вся зеленая по-разному и, как мой халат, такая

темная и ясная, прозрачная. Все понимает, на все отвечает. Летом все желтое, и как все весной кричало на все голоса, так все молчит. Только суслики свистят, от страха под землю в норы уходят. Осенью степь вся переливается, вся блестит, как будто радуга упала на землю. Это иней покрывает траву, на лучших коврах таких узоров не увидишь. Хороши наши степи, на коне по ним большое счастье проезжать. Воздух степной всегда мне жизни прибавляет...

Вот,— говорит он, показывая в окно на медленно едущего на коне колхозника.— Вот, как этот, как-нибудь соберусь, поеду через все степи прямо в Москву. Долго буду ехать. Хорошо. На заре вставать, на заре ложиться. Костры жечь. Песни петь. Ехать и петь — о земле, о людях, о больших делах. Долго ехать, говорить с народом, смотреть, что кругом, какие города, какие колхозы-совхозы. Рано-рано утром, погода хорошая, конь отдохнул, хороший, на Красную площадь приехать. Кремль розовый, как сказка, струится весь, как будто солнце его из своих лучей строит. А, хорошо! Обязательно поеду... Ничего, что стар! Я бы и сейчас мог,— добавляет он лукаво,— только очень долго ехать...

Я не вижу в этом ни старческой иронии, ни насмешки над своими слабыми силами, он говорит серьезно, и я верю ему и вижу мысленно, как этот поэт-джигит действительно въезжает на заре на Красную площадь и снимает свою лохматую шапку, чтобы вытереть пот с большого, как валун, лба.

Потом он снова пьет чай, говорит с учеником о стихах, по-видимому отвечая на вопросы его. Ученик слушает его с таким вниманием, что у него дрожат кончики тонких усов. Огромный чайник пустеет и снова наполняется кипятком, за окном синеет, наступает южный зимний вечер, в купе становится темно, но Джамбул долго не позволяет зажигать свет. Он сидит, похожий на идола, неподвижно, смотрит, как снег за окном становится на полях темно-синим, фиолетовым, как темнеют дали, бормочет что-то, прихлебывая густой, почти черный, чай...

На рассвете я увидел его стоящим у окна в коридоре, пустом и еще прохладном. Он стоял, слегка покачиваясь, точно здоровался, кланялся солнцу, вылезавшему из синих туманов зимнего позднего рассвета. Он стоял, как будто был наедине с природой и позади него юрта, из которой он вышел, а не купе с разбросанными одеялами и

подушками. Может быть, он молился солнцу — не знаю. Он был так суров и сосредоточен, что с ним нельзя было разговаривать в эту минуту.

Когда вы глядели на Джамбула и беседовали с ним, слушали его стихи, вы не могли не помнить, что ему почти сто лет и мы для него только новая смена людей, а людей он уже много видел в своей жизни. Он мудр, и ему не надо заниматься суетой каждого нового существования, потому что он постиг покой беспристрастия, имеет право судить о самом непреходящем в жизни.

Он не удивлялся всему тому непонятному, что окружало его в Москве, в Алма-Ате, в Ленинграде и в Тбилиси. На свете были огромные здания, шумные, полные людьми улицы и площади, дворцы, залитые электрическим светом, самолеты, сложные, большие вещи, знатные люди, от которых зависела жизнь страны, но была еще степь, беспредельная, дававшая ему силу каждую новую весну, вместе с новым травяным ковром, вместе с голосами несчетных вновь прилетевших птиц, вместе с голубыми ночами, с потоками звезд, текущих по небесным высям, была песня, которая жила в нем и, как пенный кумыс, могла ударять в сердце и в голову, веселить и утешать его.

Что значило в этой жизни время? Он в юности знал много стихов о подвигах старых батыров, о походах и битвах, и снова время принесло походы и битвы, отняло сына, любимого Алгадая, унесло в могилу многих друзей, но время покоряется слову, потому что то, что будет сказано о времени, то и останется в памяти народа,— поэтому он, ата акынов, спокоен и каждый свой вечер встречает как просто усталый путник, который, расседлав коня и пустив его, стреноженного, в степь, сам укладывается на бок и в незакрытый вход юрты видит, как дрожит алмазная пелена Млечного Пути, и слушает глубокую тишину отдыхающей степи.

Джамбул был патриархом песенного слова, охраняющим самое священное в поэзии — слияние человека с этим священным, такое полное, что оно уже кажется явлением природы, таким же, как ветер, солнце, ночь, день.

...Мне нравились многошумные и многоцветные вагоны довоенного ленинградского трамвая, теплой осенью, в сумеречные часы, с неумолчным гомоном торопящихся, занятых будничными заботами людей; многие ехали с букетами, с целыми охапками садовых цветов, с корзинками, полными брусники, черники, грибов. В вагонах громко

смеялись, спорили; школьники звонко делились своими впечатлениями о пионерских лагерях и летних приключениях; молодые люди говорили о спорте, о футболе и яхтах; строгая кондукторша пререкалась, как полагается, с нарушителями вагонного порядка; какой-то начинающий поэт читал вслух стихи, и девушки хихикали и шутили над безумцем.

Весь этот пестрый ералаш, позванивая, скользил мимо садов, великолепно, вольно раскрашенных причудливой кистью осени, мимо домов, где в раскрытые окна квартир виднелись красные, желтые, голубые абажуры над столами, за которыми ужинали или мирно беседовали отдыхающие от трудового дня ленинградцы.

Струился чистый и холодный запах антоновских яблок, которые продавали в киосках, ветерок приносил сладковатый аромат увядающей листвы, последних флоксов, зацветших прудов.

Вагоны бежали по улицам, на которых уже начали вспыхивать молочные цепи фонарей, огни реклам, фары бесчисленных машин...

Не так выглядел трамвайный вагон, в котором я ехал по Суворовскому проспекту, теплой осенью, в сумеречные часы, в сентябре сорок первого. Не было в руках у молчаливо теснившихся людей ни астр, ни флоксов, ни корзинок с грибами. Зато многие перекинули зеленые лямки противогазов через плечо. Многие были в военном. Молодая женщина, прижимая к себе маленькую девочку с тонкими светлыми косичками, тяжело вздыхала, читая в который раз печальное письмо, и старалась смотреть в окно, а не на людей в вагоне.

Другая женщина, пробиравшаяся к выходу, беззвучно плакала, прижимая платок к губам, и мужчина, поддерживавший ее под руку, смотрел каменными глазами, как мимо вагона пробегают стекла многоэтажных домов, заклеенные полосками белой бумаги, то крест-накрест, то длинными узкими лентами. И эти бесконечно, уныло повторяющиеся белые полоски на темных окнах наводили тоску, заставляли думать снова и снова о том тяжелом, что давило всех ехавших в молчаливом, затаившемся вагоне.

Никаких фонарей на улицах больше не зажигали. Ни в одном окне не было света. Лиловый сумрак вечера все сгущался и сгущался в улицах, насыщенных неведомой тревогой, предчувствием неотвратимой, внезапной беды.

В вагоне никто не говорил громко, не шутил, не смеялся. Сурово нахмуренные лица, тяжелые взгляды, сжатые губы, беспокойные слова, сказанные тихо соседу.

Кроме заклеенных окон, никаких явных знаков изменившейся жизни не видно было из окна вагона, но когда он повернул уже к Невскому, резкий толчок бросил его назад, глухо заскрипели тормоза. В наступившей тишине раздался громкий, почти испуганный крик маленькой девочки со светлыми косичками:

— Мама, мама, смотри, коровы!

Все невольно повернулись в ту сторону, куда показывала девочка. Да, это было неожиданное для города зрелище. В красноватой пыли мимо остановившегося вагона шли коровы. Не спокойные, величавые животные, с достоинством проходящие по дороге домой или на луга,— нет, это были измученные, спотыкающиеся, с торчащими ребрами коровы, проделавшие неизвестно какой мучительный путь, чтобы к ночи прийти на улицы города, где еще можно спастись от настигающей опасности. Они, жалобно мыча, отупело шагали, не обращая внимания на окружающее. И погонявшие их женщины и мужчины с хворостинами тоже как будто шли из последних сил, пыльные, молчаливые, занятые только одним: как бы поскорее пересечь рельсы со всем своим скотом и скарбом.

За коровами мелко семенили ногами серые, замызганные козы и катились, как клубки перекати-поля, худые овцы, козлы трясли тонкими бороденками, косясь красными глазами по сторонам. Лошади тащили возы с пожитками, и большие, тяжелые брезенты в темных пятнах сползали до колес, как будто хотели скрыть что-то страшное.

— Мама, коровы! — кричала девочка, и в ее крике не было детского веселого любопытства. Она чувствовала, что коровы не должны *так* идти по городу, а раз они идут, значит, случилось что-то непонятное. Коровы пугали ее своим истошным мычанием.

Люди смотрели на шествие беженцев, обмениваясь отрывочными словами. Потом вагон тронулся к площади Восстания. Уже видна была погруженная в густой сумрак площадь, за ней — тяжелое здание Московского вокзала с расплывом большого газона перед ним, уходящая вдаль полутемная Лиговка.

На остановке у Невского пассажиры стали быстро покидать вагон: перед вокзалом, где пересекались трамвайные пути, вагон обычно заметно пустел. Но тут до

выходивших дошел странный, резкий грохот, и вдали — в направлении проспекта Бакунина — рассеивалось какое-то зеленовато-сизое облачко, прорезанное молнией, за ним возникло другое. И новый свистящий стальной звук добежал до вагона. Кто пошел поспешно в обратную сторону, кто устремился на Невский. Некоторые остановились в недоумении, оглядываясь растерянно, спрашивали: «Что это? Что это?»

Мрачный мужчина с рюкзаком за плечами и толстой палкой в руке крякнул сердито и сказал громко:

— А чего тут такого! Это ж снаряды рвутся. Он стреляет, видишь, по городу...

Перед вагоном на стене висели один над другим плакаты. На одном я прочел: «Враг у ворот Ленинграда! Не жалея сил и жизни, отстоим родной город!» На втором: «Ленинград врагу не отдадим, чести своей не опозорим!»

Кондукторша взглянула на опустевший вагон, на колеблющихся последних пассажиров, раздумывавших, продолжать ли путь или покинуть вагон, на новые вспышки разрывов, приближавшиеся к нам, громко позвонила, сказала:

— Ну, кто по Невскому? Маршрут меняется, вагон идет по Невскому!

И вагон пошел по затемненному Невскому, преследуемый разрывами первых снарядов, упавших на город.

Все кругом было обыкновенно. С детства знакомые дома и улицы, вагоны и люди. И все было уже не то. Надвинулось что-то громадное, тяжелое, беспощадное, не имеющее названия.

И сам я как будто стал другим человеком. В темном вагоне, который уже выходил на Дворцовую площадь, я вспоминал немецкую листовку, которую торжествующий враг бросал в те дни на город, чтобы смутить душу его защитников. «Если вы думаете,— писал кичливый, надменный сверхчеловек, упоенный своей непобедимостью,— что сможете защитить Ленинград, вы ошибаетесь. Сопротивляясь немецким войскам, вы погибнете под развалинами Ленинграда, под ураганом немецких бомб и снарядов. Мы сровняем Ленинград с землей, а Кронштадт — с водой...»

...Горящий самолет, оставляя за собой хвост черносмолистого дыма, вышел из-за купола Исаакиевского собора и стал так снижаться, что казалось, он упадет на крыши, не долетев до Невского. Но он снова взмыл, показался в дыму и в пламени и исчез.

Мне хотелось остановить прохожих и сказать им: «Вы видели сейчас подвиг. Наш герой-летчик не дал горящему самолету упасть на город, чтобы не убить людей, не вызвать пожар. Он тянул из последних сил туда, к Неве. И я очень хочу, чтобы он дотянул...»

На другой день я узнал, что он дотянул. Я увидел и самолет: он полулежал в Неве, уткнувшись в угол между Литейным мостом и набережной, высоко задрав свой хвост над водой. Летчик был спасен в последнюю минуту.

Но тогда, когда я видел его стремительно, как факел, проносящимся над городом, я не остановил прохожих и не сказал им того, что хотел сказать, потому что всеобщим героизмом были насыщены те мрачные дни, когда даже ночью не затихала битва...

Я видел людей первых дней Октября, дышавших такой полной свободой, такой силой и волей, что не было на свете ничего, что могло бы их испугать.

Я видел защитников Петрограда от Юденича, исхудавших от голода и испытаний, на их лицах была написана решимость питерских пролетариев и ненависть к старому классовому врагу. И вот теперь вокруг меня — защитники Ленинграда. Как быстро отлетело от них всех будничное, обыкновенное, эгоистическое, маленькое.

Какой родник сил в каждом из них, какая гордость, какая любовь к жизни!

Перед чем они остановились молча, сосредоточенно, как перед атакой? Куда они смотрят суровыми, гневными глазами, в которых вдруг появляется неожиданная теплота?

На углу улицы темный деревянный щит, и на нем большой серый лист толстой бумаги. Огромными буквами напечатаны строки, мимо которых нельзя пройти равнодушно. Эти строки — как голос друга, который тебя внезапно окликнул, которого ты никак не предполагал встретить на знакомой с детства улице. Я читал:

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.

Я стоял в толпе нахмуренных, невыспавшихся после ночных тревог людей. Подходили солдаты и офицеры, моряки, девушки в синих комбинезонах, с противогазами — все читали стихи Джамбула внимательно, как читают

письмо от родного человека в трудную, невозможную минуту жизни.

Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну,—
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну.

Никто не улыбался, никто ничего не говорил, но я заметил, что, прочитав раз, иные снова читают сначала, как бы желая запечатлеть в памяти эти простые, сердечные слова, пришедшие из глубины невероятно далеких пространств, преодолев все препятствия.

И весь этот день, куда бы я ни попадал по военным заданиям, я все время возвращался мыслью к этим стихам, которые уже были расклеены по городу и звучали по радио в каждом ленинградском доме. Радио передало их на фронт. Они дошли до окопов, до того переднего края, где решалась судьба Ленинграда.

И, смотря, как город готовится к бою, даже на улицах и площадях, даже в домах и в садах своих воздвигает доты, строит пулеметные гнезда в угловых зданиях, ставит баррикады, надолбы, роет щели, укрепляет бомбоубежища, я чувствовал дыхание истории, трагическую поступь судьбы.

То, что творилось в те дни в городе на Неве, не было эпизодом, не было случайностью. Мы стояли на таком историческом рубеже, что захватывало дух. Мы защищали не только колыбель Октября — мы защищали будущее человечества. Бурная радость поднималась к горлу. Ленинград врагу не отдадим! Этот плакат мы положим в музее после победы. Мы будем, если нужно, драться до последнего человека на развалинах последнего ленинградского дома! Наша Троя останется в памяти народов, но в ней не будет троянского коня.

...Я стоял на балконе своего дома над городом, погруженным в полную темноту. Ночь. Я повторял слова Джамбула:

Спать не в силах сегодня я...
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!

Время, давшее Джамбулу мудрость старости, не могло лишить его чувства будущего. Мне ранее казалось, что пройденный им путь слишком долог, что современность он

уже осязает как эпос, как еще одну страницу беспристрастного искусства. И вдруг я увидел Джамбула, такого же бессонного, как эти защитники Ленинграда, освеженного далеким дыханием балтийского ветра, достигшего осенней степи.

Я увидел в своем воображении ата акынов, сидящего на кургане. Над ним трубят журавли, собирающие по осени свои крылатые дружины в дальный поход. Крики чибисов похожи на плач и стон. Пыль в степи стелется, как дым далеких пожарищ.

Низко проносятся ястребы, как будто готовясь к воздушному бою. И нарастает как ощущение приближения бури тревога, требующая слова. И он обращается к далеким сынам, потому что великое чувство отцовства вспыхнуло в нем, и все, что мы называли братством советских народов, стало до боли осязаемым. Он мог начать только так:

Ленинградцы, дети мои!

Белый меч прожектора прорезал ночь над Ленинградом. Как будто великий город салютовал световым мечом на джамбуловскую песню света!

...Вот что пронеслось передо мной тогда, на ночном перегоне, в поезде, по дороге к ледяным полям вечно молодого Эльбруса!

ШЕСТЬ КОЛОНН

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Больше десятилетия, с тысяча девятьсот сорок девятого по тысяча девятьсот шестьдесят второй год, мне пришлось много странствовать с миссией доброй воли, борьбы за мир по странам Юго-Восточной Азии, по странам Ближнего Востока.

Книга, которая называется «Шесть колонн», по своей теме целиком принадлежит Востоку. Я работал над ней несколько лет.

Рассказы и маленькие повести этой книги можно было бы назвать «цветными рассказами», потому что в них — многоцветные краски бирманских джунглей, дорог и городов Индии, диких зимних ущелий Гиндукуша, легкие очертания берегов весеннего Средиземноморья в благоуханном Ливане, тяжелые тропические краски Цейлона и Индонезии.

Еще я мог бы назвать эти рассказы условно, как часто принято на Востоке,— «Книгой пути», потому что в них проходят темы Азии, ищущей путь в будущее, проходят люди азиатских стран, освободившихся от колониализма, начинающих свой самостоятельный путь.

В этих рассказах я хотел показать и европейцев — друзей освобожденных народов и таких, которые не могут расстаться с былым величием колонизаторов, под видом дружеской помощи хотят сохранить свою власть, остаться хозяевами старого материка.

Азия, которую я видел, была не похожа на сегодняшнюю. Она дышала воздухом недавно свершившегося освобождения, жаждала прогресса, дружбы и сотрудничества со всеми миролюбивыми народами. С тех пор многое изме-

нилось в жизни народов Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии. Изменился самый вид больших городов, характеры людей. Достижения современной мировой культуры проникли в быт, произошли известные социальные сдвиги, но вместе с тем разразились события, которые потрясли все великое пространство древнего материка.

Разразилась и по сей день, нарастая, длится варварская, кровавая война во Вьетнаме, вызванная американскими империалистами-интервентами. Во всем мире растет самый решительный протест против интервентов, превращающих Южный Вьетнам и Демократическую Республику Вьетнам в края, залитые кровью и покрытые развалинами городов и селений. Беспощадно уничтожается мирное население, и все растет угроза дальнейшего расширения войны с неизвестными последствиями для всего мира.

На Ближнем Востоке продолжается напряженное состояние, порожденное интервенцией израильских захватчиков против арабских стран. Трагедия Индонезии, погруженной в туман неизвестного будущего, вызывает большую тревогу. Внутренние затруднения многих азиатских стран, как никогда, обострены сегодня.

Всего этого нет в моей книге. Мои рассказы и маленькие повести принадлежат к предшествующему периоду. Их действие развивается значительно раньше вышесказанного. В их основу положены действительные сюжеты и события, имевшие место в жизни. Характеры действующих лиц часто имеют прообразами людей, существовавших на самом деле.

Должен сказать еще, что книгу «Шесть колонн» я писал с чувством глубокого уважения и сердечных симпатий к народам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Николай Тихонов

НОЧЬ АЛЬ-КАДРА

Впервые за много лет советский профессор читал в Бейруте лекцию на арабском языке. В конференц-зале министерства просвещения сидели шейхи, ученые, философы, поэты и писатели, общественные деятели, профессора ливанского Национального университета, ученые мужи ливанской Академии изящных искусств, представители Американского университета, теологи из университета святого Иосифа, любители древности из французского Института археологии, музейные работники, члены ассоциации политических наук, лекторы из просветительного общества «Сенакль», студенты и просто любопытные, не считая журналистов и газетчиков.

По-разному слушали профессора: кто сидел в глубокой задумчивости, кто проницательным взором изучал лицо и фигуру выступавшего. Иные слушали настороженно, боясь пропустить слово, или с легкой недоверчивой улыбкой. Иногда кто-то, не выдержав наплыва чувств, вскакивал с места, шумно аплодировал, и к нему присоединялись многие.

Профессор, сосредоточенный, худощавый, ростом с доброго бедуина, но с узкими плечами, с тонкими чертами лица, в очках, сначала волновался. Это волнение было заметно. И голос у него вначале был тихий, хриплый. Он торопился. Но постепенно, чувствуя большое, дружественное внимание зала, он стал говорить медленнее, речь его зазвучала уверенно, и теперь слушавшие уже с явным удовольствием и даже с восхищением, не скрывая его, смотрели на своего ученого друга, который говорил о мировом значении арабской культуры, о тех легендарных временах, ко-

гда она являлась хранительницей научных открытий, развивала многие науки и способствовала передаче и расцвету мировых знаний. Он говорил о великих арабских ученых и писателях, о славных арабистах старой России, о замечательных советских востоковедах, глубоко изучивших арабскую культуру, о молодых арабистах последнего времени, упорно стремящихся овладеть премудростью Востока.

Сам он положил немало трудов на изучение любимой науки.

Присутствующим было приятно узнать, что в Советском Союзе так широко занимаются изучением арабского языка и знают даже такие материалы, которые неизвестны арабским ученым. Сам докладчик не раз побывал среди арабов в Средней Азии, живущих в Бухаре и в Кашка-Дарьинской области, где он нашел и исследовал особенности происхождения некоторых арабских глагольных форм.

Он говорил подробно об арабских рукописях, хранящихся в советских институтах и музеях. Он с большим искусством поведал о древних арабских путешественниках и мореплавателях и о великом моряке, одном из четырех львов моря,— об Ахмаде ибн Маджиде, три уникальные неизвестные лоции которого прочитаны совсем недавно, после многолетней подготовки, одним талантливым ученым, учеником самого Игнатия Юлиановича Крачковского.

Эти удивительные лоции, заключающие в себе описание морских маршрутов по Красному морю, по Индийскому океану и от портов Восточной Африки на Восток, написанные стихами, принадлежали тому искусному льву моря, который, будучи потомственным лоцманом, открыл путь в Индию искателю сказочного материка — Васко да Гаме.

Докладчик так живописно рассказывал о том, как встретились в африканском городе Малинди честолюбивый португальский завоеватель и опытный знаток полуденных морей, как двадцать шесть дней плыли корабли, подгоняемые попутным муссоном, и наконец Маджид мог сказать, показывая на видневшуюся землю: «Вот Индия, к которой вы стремились».

И как тот же Маджид, узнав, что эти притворявшиеся мирными людьми пришельцы обернулись жестокими грабителями, искавшими заморские земли, чтобы подчинить их своей жестокой власти, разорить, ограбить до нитки жителей, превратить их в рабов, написал обо всем этом в своих поэтических урджузах. «О, если бы я знал, что от них будет!» — восклицал он в отчаянии.

Многое, о чем говорил профессор, люди, сидевшие в зале, слышали первый раз в жизни. И когда он окончил свой необыкновенный доклад, раздались всеобщие аплодисменты, к нему бросились и старые профессора, и молодые студенты, и все старались высказать свое восхищение, удивление, дружескую благодарность. Многие из знатоков, поздравляя профессора с большим успехом, говорили, что они понятия не имели о той огромной работе в области арабистики, которую провели и проводят советские ученые-востоковеды. Поэтов особенно потрясло повествование о вдохновенном лоцмане Ахмаде ибн Маджиде, который и в настоящее время почитается сирийцами как святой. Ему молятся сегодня и арабские моряки Красного моря перед трудным плаванием.

Пылкое воображение молодых поэтов было потрясено докладом. Оно рисовало перед ними косматые валы Индийского океана, португальские корабли у берегов таинственной Индии, гордого лоцмана-араба, поэта и философа, поклявшегося клятвой лоцманов: «Мы связываем с кораблем свою жизнь и судьбу. Если он спасется, спасемся и мы. Если он гибнет, мы умираем вместе с ним». Перед ними вставал багроволицый, широкоплечий, беспощадный, угрюмый Васко да Гама в бархатном берете, со знаменем, на котором большой алый крест ордена Христа...

Но все были рады слышать о чудесном Маджиде и о его лоциях, рожденных в глубине веков и обретших новую жизнь в руках советского ученого Теодора Шумовского в далеком Ленинграде. Профессор Георгий Церетели тоже был очень рад, что его доклад пришелся по сердцу этим ученым мужам, хорошо знакомым с родной стариной, чрезвычайно ревнивым по отношению к любому, кто хочет перед ними открыть неизвестное, да еще говоря на их родном языке. Но сегодня они услышали так много нового, что самые скептические из них должны были признать, что надо сильно любить науку и питать большое уважение к арабам, чтобы так тепло говорить об арабской культуре.

Михаил Нуайме подошел и крепко пожал руку профессора, Михаил Нуайме, почтенный классик арабской литературы...

Только позавчера ночью приснились ему пышные полтавские тополя, уходящие своими крылатыми вершинами в бездну, осыпанную крупными звездными изумрудами. Ночь была настоящей украинской, берущей за живое. Из

ее глубины доносилась песня, то нежно-веселая, то нежно-грустная. Ему самому захотелось петь, как пел, бывало, и сама память напевала ему то «Тече річка невеличка», то «Ой казала мені мати» или еще что-то забытое, из «Кобзаря». Он шел по лугам и слышал скрипение возов на старом шляху за лугами. Потом приснился Киев в весенних облаках жаркой сирени, сверкнула широкая, как море, полоса Днепра под ногами. Он проснулся, полный какой-то горькой радости и смутной тревоги.

Только вчера спустился он с гор, из своей маленькой, романтической, краснокрышей Бискинты, над которой еще лежат густые голубоватые снега на отрогах огромного Саннина, и встретился с приехавшими из Советского Союза, с этим профессором, живущим в большом, шумном Тбилиси.

Он уже слышал о нем от друзей и поэтому осторожно спросил:

— Вы, кажется, интересуетесь арабской литературой?

— Да,— скромно ответил его собеседник.

— Вы даже можете читать по-арабски? — продолжал Нуайме.

— Могу читать, могу и говорить.— И гость перешел на арабский. Это была первая неожиданность. На столе лежал том в светло-синем переплете, и на нем было напечатано: «Академик И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения». Это была вторая неожиданность.

— Можно посмотреть? — сказал Нуайме, не веря глазам.

— Пожалуйста, смотрите, там есть кое-что для вас особо интересное...

Нуайме заглянул в оглавление. Статья «Арабские писатели и русский арабист». Что-то дрогнуло в нем. Он стал медленно перелистывать страницы, точно должен был вдруг открыть для себя нечто такое, чего он никак не ожидал, о чем не думал. И действительно, как-то внезапно за страницей пятьдесят шестой он нашел свой портрет, нарисованный художником Джебраном.

Молодой, красивый, с грустными, задумчивыми глазами, с легким, одухотворенным лицом. Таким он был много лет назад. Он даже смутился этой встречей со своей молодостью. Невольно он стал читать статью, но ему показалось, что читать сразу о себе как-то неудобно, нескромно, да и задерживаешь книгу. Он стал бегло перебрасывать страницы.

— Могу ли я на один вечер взять эту книгу?

— Вы можете взять ее совсем, она ваша,— сказал профессор.

— А вы как же без нее, она ведь вам будет нужна?

— У нас есть еще экземпляры. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите на память о нашей встрече!..

И Нуайме прочитал в тот же вечер, внимательно останавливаясь на каждом абзаце, главу, которая называлась «Полтавский семинарист». Прошлое проносилось перед ним в удивительной пестроте, как тот недавний сон. Старая, царская Россия, зеленый Киев, пыльные улицы Полтавы, семинария, друзья и товарищи. Снились пустынные родные горы и Бискинта. Он жадно впитывал знания. Читал классиков подряд. Наизусть заучивал стихи и песни. Пушкин, Шевченко вошли в его сердце. Белинский ошеломлял его огненным красноречием. Где-то в другой жизни, далеко осталась маленькая русская школа Библейского общества в Бискинте. Украина становилась второй родиной. Но буря революции увлекла его, и ему пришлось покинуть в конце концов так полюбившиеся края. Но те большие годы оставили неизгладимый след.

Потом он видел много стран и людей и, вернувшись из дальних странствий в родную Бискинту зрелым писателем, имея за плечами сорок лет жизни, тосковал по далекой стране, где нашел сердечных людей и заглянул в огромные просторы будущего.

Он закрыл книгу, полный сладостного чувства, точно вошел в дом, где его давно ждали и всегда вспоминали. Страницы книги говорили с ним, как живые друзья. Дважды он прочел строки, которые его поразили. Крачковский писал:

«Нуайме прав, когда говорит, что нам не всегда ясны факторы, объясняющие выбор человеком дела своей жизни. Не всегда нам ясны в деталях и пути, по которым идет зарождение симпатии между людьми и народами...»

Да, вот они — русский и араб — стали сознательно называться в те годы — и это осталось на всю жизнь — «Миша из Бискинты» и «Гантус из России». И какая это была сердечная дружба, какое понимание, какая симпатия! «А тут ты очень прав, друг!» — сказал про себя Нуайме. Статья заканчивалась удивительными словами: «Думается, что будущее человечества во многом зависит от умения отыскать пути этой симпатии».

«Истосковался я по России, по Украине,— сказал он сам себе.— Как бы я хотел надышаться воздухом моей вто-

рой родины, Украины! Как бы я хотел постоять на берегу Днепра в Киеве, еще раз увидеть Полтаву — город моей юности!»

Он пришел на лекцию профессора Церетели, и ему было приятно, что этот человек, большой ученый, говорит с арабами на их языке и рассказывает им вещи, которые им неизвестны, но которые принадлежат их истории, их духовному миру. Он заслуживает благодарности. И он к тому же ученик незабываемого «Гантуса из России»!

Он подошел и пожал ему руку, как старому, доброму другу. И ученый, не склонный к сентиментальности, понял его. В этот вечер он сам был взволнован и не мог бы как следует объяснить почему...

В большой, почти квадратной комнате, увешанной коврами, картинами, зеркалами, в отеле «Бристоль», на улице мадам Кюри, вокруг круглого стола было шумно, минутами даже слишком шумно, потому что среди присутствовавших были молодые поэты, привыкшие говорить и читать свои стихи как можно громче. Христиане и магометане дружески беседовали за стаканами белого и красного мюзара. В Ливане свыше пятнадцати религий и сект, и к этому все давно привыкли.

Беседа шла пестрая. В мимолетных вопросах, недоумениях, недосказанностях, в многоязычии, в дружеских улыбках, неожиданных взрывах красноречия, в резкостях и нежностях было так много непосредственного и неожиданного, что все чувствовали себя свободно и непринужденно.

Говорили обо всем, что придет в голову. В конце концов, здесь не диспут и не допрос с пристрастием. Поэты засыпали нас вопросами о жизни в Советском Союзе, вопросами, говорившими о полном незнании ими нас, условий нашей жизни, состояния нашей литературы. Правда, это было девять лет назад, и это было простительно.

— Можно ли в Советском Союзе писать стихи о любви, о красоте возлюбленной?

— Можно ли воспевать природу так пышно, как в арабской поэзии?

— Какая разница между поэзией и прозой?

— Почему до революции в Ливане, и Сирии, и в Палестине было сто тринадцать русских школ, а теперь ни одной?

— Можно ли организовать в Ливане при помощи Советского Союза хоть одно ремесленное училище?

Все были очень довольны, узнав, что в Советском Союзе можно писать про любовь, про красоту, все, что хочешь, не жалея красок, и рисовать стихами самые фантастические, самые закрученные, самые формалистические пейзажи, что разницу между стихами и прозой у иных поэтов трудно найти... Что касается русских школ, то они в старые времена были основаны так называемым Библейским обществом, а сейчас такого нет, что ремесленное училище не так трудно организовать и самим арабам...

Молодой советский арабист, вызывавший всеобщее внимание (не обманывают, у них и молодежь учится арабскому), прочел по-русски стихи, написанные Михаилом Нуайме в годы его молодости в Полтаве. Они называются «Замерзшая река».

Сначала он рассказал по-арабски содержание стихотворения: Нуайме описывает реку зимой. Она покрыта льдом. Она омертвела, замерзла. «Заиграет ли жизнь веселая на ее берегах». Это было в годы реакции, и поэт говорил о будущей революции. Кончая стихотворение, он говорил, обращаясь уже ко всей стране, замороженной, как эта река:

О, мы верим, Русь,
Верим всей душой,
Что весна придет
И в твои края.
Но скажи: когда
Это сбудется?
Ты молчишь, о Русь!
Спи, родимая!..

Русские слова странно звучали в этой комнате после звонко струившихся весь вечер арабских строф.

— Как называлась эта река, про которую написано стихотворение? — спросил один из присутствовавших.

— Сула!

— Я думал, Волга! А Сула такая же великая, как Волга?

— Нет, Сула — небольшая речка, но поэт ее взял как образ. На ее берегу он жил в деревне у своего украинского друга...

Другой поэт сказал:

— Старый Нуайме напоминает мне строки древнего Аль-Мутанабби, который говорит о льве: «Он ступает по земле горделиво и мягко, словно врач, ощупывающий больного. Откинутая назад грива венчает его голову короной. И кажется: зарычи он в гневе, эта корона упадет с его

головы. Но я подымаю бокал за поэзию Нуайме и за всю поэзию! Я помню чьи-то строки, которые сейчас к месту:

О виночерпий, зажги огнем вина нашу чашу,
А ты, певец, запой, ибо все желания мира
Сейчас в нашей власти!

Мы выпили за поэзию. Все говорили разом. Во все времена так сидели за беседой поэты и ученые. Но вот встал один из разгоряченных беседой поэтов. Он напоминал уже бедуина, готового вскочить на верблюда и мчаться, размахивая копьем.

— Смотрите, братья, это несправедливо! Наш Нуайме, который так любит Россию, писал по-арабски и по-русски стихи о борьбе за ее свободу, писал о русских, несмотря на то, что был арабом. А пусть нам прочтут стихотворение, где бы русский поэт говорил о борьбе арабов за свободу! Арабский поэт верил в победу революции в России. Это мы только что слышали. А есть ли среди русских поэтов такие, что писали об арабах, об их борьбе за свободу?

Сказав эти значительные слова, он сел. Наступила некоторая растерянность. Стали вспоминать разные стихотворения, но все они принадлежали классикам и были, как лермонтовские «Три пальмы», великолепны, но далеки от призыва к борьбе.

Сколько мы ни старались, не могли вспомнить стихов русских поэтов на эту тему. Но вопрос нашего друга не мог остаться без ответа. Тогда я вынужден был сказать,— другого выхода не было: я вспомнил, у меня есть одно такое стихотворение. Но имейте терпение. Во-первых, я его все на память не помню. Во-вторых, к нему требуется некоторое пояснение. Это было давно, в двадцатых годах, одной бессонной ночью в моем родном городе на Неве, когда он назывался еще Петроградом. Той ночью звезды были особенно ярки, и, как по лестнице, можно было по ним подняться на небо. Я читал в эту ночь Коран и открыл его на странице, где говорилось: «Кто изъяснит тебе, что такое ночь Аль-Кадра? Ночь Аль-Кадра стоит больше, чем тысяча месяцев. В эту ночь ангелы сходят с неба, чтобы управлять всем существующим. И до появления зари царит в эту ночь мир».

В примечании к этой главе можно прочесть, что в эту ночь утверждаются и разрешаются дела вселенной на целый год. Я был молод, сон бежал от меня, а ночь была так

хороша, и я думал о мировой революции и о том, как бы революционно разрешить дела вселенной, хотя бы на ближайший год, без помощи ангелов. Вот начать хотя бы с арабов. Я взял перо, раскрыл тетрадь и обратился в стихах к людям, облакам и зверям пустыни. Я говорил об унижении арабов, о том, как их угнетают сегодня, как их заставляют служить в войсках империалистов, и о том, что им надо очнуться и встать на битву. Я призывал их к этому. Я прочту то, что помню; вот эти стихи:

Слушай:
Зеленее леса ночь Аль-Кадра,
Кто в двери и в сердце мое постучал?
И встал я как муж и как воин, я встал и как брат,
Губами на губы и сталью на сталь отвечал...

— Это писал араб! — воскликнули окружающие, когда профессор перевел им мои строки. Я продолжал:

Близок срок...
Пальмы устали качать головой на восток.
Молятся травы, и львы не приходят к воде,
Не сто поцелуев, но истинно трижды сто
Я возьму у тебя при первой ночной звезде,
Чтобы в эту ночь Аль-Кадра
Моя жизнь вернулась ко мне,
И тому человеку сказал я: пора,
Которого нет сильней...

— Это арабские стихи! Самые настоящие! — закричали слушатели.

Я продолжал:

Уста мои — правда и уста мои — суд!
Завтра в путь отправляться мне.
Потому что погонщик я и верблюд,
И земля и небо над ней...
И завтра — меч.
Спи, мой цветок.
Сегодня мир — на земле и на воде,
Сегодня в ночь Аль-Кадра
Даже самый отверженный из людей
С пророками входит в рай!..

— Мы переведем эти стихи и напечатаем в Бейруте! — сказали арабы.

Я ответил:

— Мне все-таки надо кое-что пояснить. Сложность мыслей и густая образность меня тогда одолели. А я хотел

всего только сказать, что арабы возьмут меч и будут сражаться за свободу. Все народы должны быть братьями и равновеликими в своих достижениях! Не знаю, почему в ту ночь мне попался Коран и почему я думал о судьбе арабов. Наш великий Пушкин однажды написал «Подражание Корану», не знаю почему. Сердце хочет идти тропой дружбы к тому народу, к которому лежит сердце. А почему именно в одну неожиданную ночь приходит это чувство, никто не скажет. Я соблазнился по-своему переписать суры Корана, потому что в наше время люди равны богам и ангелы и люди перемешались, а звезды светили в ту ночь ярче обычного...

— Мы тоже ждали веками только ангелов в ночь Аль-Кадра,— сказал один из поэтов.— Но потом сами штурмовали небо, и теперь лестница в наших руках, наше небо свободно, ангелы с нами, но трудно сохранить мир на земле. Врагов слишком много. Но мы желаем всем мира!

— Ты хорошо говоришь,— сказал его сосед,— как сам Виктор Гюго, помнишь его слова: поэт не может продвигаться один. Нужно, чтобы двигался человек. Итак, шаги человечества суть шаги искусства! И мы хотим шагать со всеми!..

— Ах! — вскричал один из молчаливо сидевших поэтов, и в голосе его прозвенели искры ярости.— Я...— Он стоял, потрясая кулаками: — Я, Маджид, ведущий флот обманувших меня разбойников в гавань мира, я говорю им: «Вот страна, которой вы хотели мирно достичь». А они, что они сделали! Я помню этих португальцев. Они обманом и злобой овладели всем. И тогда в Багдаде улицы поросли травой, нечего было больше возить на верблюдах. Они уничтожили наши корабли и крепости! Они закрыли наш мирный водный путь, они уничтожили нашу культуру. Я, Маджид, говорю сегодня: они мучают Черную Африку сегодня, как мучили нас когда-то! Мучают, как нас когда-то! Да! Да! Это так!..

Он начал кричать так сильно, что его посадили ближе к окну и уговорили успокоиться.

Вечер явно шел к концу. Он начался там, в конференц-зале министерства просвещения, и заканчивался в квадратном номере отличного отеля «Бристоль». Гости уходили по двое, по трое. Комната пустела. Мы решили прогуляться перед сном. Я и молодой советский арабист вышли с нашими последними гостями. Улица мадам Кюри была

пустынна. Теплый ветер с моря дружески освежал наши разгоряченные щеки. Металлические листья пальм скрежетали чуть слышно.

Немного в стороне стояли двое. Нам показалось, что один поддерживает другого. Нам показалось, что это кто-то из наших гостей. Мы подошли поближе.

Да, это были два друга, один из которых кричал о том, что он Маджид. Сейчас он шатался, прислонясь к пальме.

— Что с ним? Ему плохо? Нам кажется или он плачет? В самом деле он плачет. Почему?

Араб, опекавший друга, взглянул на нас, узнал и торопливо ответил:

— Он плачет от обиды!

— Кто его обидел?

— Он говорит: зачем Маджид показал дорогу португальцам! Зачем он привел их корабли в Индию, он не может этого ему простить! Он говорит: Маджид сам раскаялся — поздно. Он сделал страшное дело. И вот он не может ему простить... Ну, прости его, пожалуйста!

— Нет! Никогда не прощу! — закричал, качаясь с закрытыми глазами прислонившийся к пальме.— Не прощаю!

С нами говорил его друг, старавшийся объяснить положение:

— Он не может успокоиться. Он плачет. Он очень чувствителен. Я говорю ему: забудь про Маджида. Это уже трудно поправить! Но он плачет, он говорит: это было начало колониализма. Ты говоришь, начало колониализма, но, послушай, он уже кончается. Нет, вы слышите, он говорит: все равно — это колониализм! Будь он проклят! Ничего, это пройдет. Он просто поэт, он слишком чувствителен. А сегодня так много говорили стихов и о стихах. А потом он выпил, ему не надо пить столько красного. Оно тяжелое!

Вдруг прислонившийся к пальме выпрямился и стал вглядываться в ожерелья огней, опоясывавшие улицы и дома, уходившие вверх и вниз от нашей площадки. Потом, повернувшись, как пляшущий дервиш, вокруг себя, он пошел, простерев руку вперед, как будто он нес знамя, и начал говорить хриплым голосом, глотая слезы:

— Бейрут — жемчужина Востока в медной оправе Запада. Он жемчужина в грязи, над которой гудит электричество. Коралл на берегу, где золото смешалось с песком, серебро — с илом...

— Это он из Амина Рейхани,— сказал молодой советский арабист.

Но в это время два друга уже исчезли за поворотом. Сам не зная почему, я повторял слова Рейхани, смотря на ночной Бейрут, и мне все казалось сном.

Как верно сказал Крачковский, мудрый шейх неумирающих слов, «Гантус из России», человек, которого здесь возвели в божественное достоинство во имя дружбы: «Не всегда ясны нам пути, по которым идет зарождение симпатии между людьми и народами».

Мне нравился этот город, этот поздний час, эти люди. Жизнь провела черту и соединила ночь на берегах Невы и ночь на берегах Средиземного моря в Бейруте. Может быть, для чего-то нужно было, чтобы стихотворение, написанное тридцать пять лет назад, нашло тех, кому было адресовано, в такую же мартовскую ночь, в какую было написано.

А может быть, этот сентиментальный поэт плакал сейчас настоящими слезами о том, что случилось четыреста пятьдесят с лишком лет тому назад на берегах Индии, когда действительно в роскошной колыбели, на награбленных шелках и алмазах, обильно забрызганных кровью, родилось чудовище колониализма, первым вестником которого был холодный, беспощадный, жадный до богатств и почестей, неповторимый Васко да Гама, обеспечивший себе бессмертие и проклятия великого лоцмана, четвертого льва моря, поэта и мудреца Маджида!

ЗЕЛЬЗЕЛЯ

Звонкоголосая Сурия после задушевно спетых народных арабских песен начинает петь что-то очень знакомое. Фатих и Рафик выжидающе смотрят на меня. Но для советского человека нет никакого труда признать, что она поет «По долинам и по взгорьям». И затем, чуть передохнув, к моему удивлению,— «По военной дороге шел в грозе и в тревоге боевой восемнадцатый год». Ей подпевают и Фатих и Рафик. А потом все трое дружно грянули «Хороша страна моя родная».

Они пели так уверенно, с таким подъемом, что я мог только поражаться их музыкальности, и, когда они кончили, я спросил, кто делал перевод этих советских песен. Все сидевшие были студентами, все изучали русский язык, но говорил на нем свободно только Фатих. Они засмеялись, когда он перевел мой вопрос.

— Никакого переводчика нет,— пояснил Фатих.— Это только мотив советский, а слова арабские. Мы пели арабские песни, положенные на русскую музыку. Эти наши песни тоже о борьбе и свободе. Но мы поем и просто по-русски.

В комнате не было ни двухструнного ребаба, ни флейты, ни гитары, ни лютни — никакого музыкального инструмента. Сурия спела «Катюшу» так естественно, как будто девушка была местной и выходила на знакомый на берег Евфрата, и я выразил самое искреннее восхищение ее талантом.

— Она и танцует очень хорошо,— сказал Фатих.— Она участница, как говорят у вас, самодеятельности...

Сурия хороша чисто арабской красотой, глубокой, не бросающейся в глаза. Если бы ее сердечный друг Фатих был поэтом, он описал бы ее в самых изысканных стихах,

где не забыл бы сравнить ее, как полагается по классическому образцу, и с газелью, и с пальмой, и с лилией. Но если оставить в стороне эти несомненно относящиеся к ней образы, то ее нежные, смуглые щеки, крутые разлеты ее шелковых бровей, ее ласковые, спокойные, но с каким-то жарким отблеском глаза, сухо очерченные коралловые губы, корона черных волос, тонкая и гибкая фигура каким-то непонятным образом говорят и о ее законченной прелести, и о том, что в этом легком теле живет сильный характер и неукротимая воля, унаследованная от воинственных предков.

— Хватит петь,— говорит она и уходит.— Я сейчас сварю кофе.

Кофе! Грубо говоря, страны Востока можно разделить на кофейные и чайные. Резкая граница трудно определима, но, так же как в Афганистане решительно предпочитают чай, так в Сирии и Ливане нет жизни без кофе, без этого сладостного, бодрящего, горячего, пахнущего ванилью и кардамоном напитка. С утра до вечера здесь пьют кофе. И воду, чистую, прозрачную воду, которая так дорога в стране. Водой запивают кофе — это еще больше дает почувствовать густоту и пряность древнего арабского напитка. Нет дома, где бы вам не предложили чашку кофе, нет улицы, где бы не появился бродячий продавец со своими маленькими чашками, висящими на его поясе, и, когда Сурия приносит ароматный, дымящийся, бархатный кофе, я с удовольствием пью его мелкими глотками и не могу не рассказать друзьям, какой необыкновенный кофе я пил на днях у важного мусульманского духовного лица, у которого мы были с визитом.

Много интереснейших мест в Дамаске, но дом этого духовного деятеля своими особенностями напоминает уголок старой Альгамбры. Дворик выложен разноцветными плитками, посреди него — небольшой бассейн, фонтан с тонкими, высокими струйками, прозрачная сетка которых, как радуга, дрожит в жарком воздухе. Розовые кусты. Аркады. Он принял гостей не наверху, в официальном помещении, а внизу, в комнате, окна которой выходят на этот чудесный дворик и дают возможность любоваться игрой солнечных лучей.

Беседа была спокойной, дружественной. Слуга, весь в белом, принес на подносе совсем малюсенькие кофейные чашечки и поставил перед каждым. Беседа длилась. Человек в белом больше не приходил. Я заглянул сбоку в

свою игрушечную чашечку — она была пуста. Неужели он забыл принести кофе? Как вежливый гость, я не выразил удивления. Потом я увидел, что гости-арабы и хозяин подносят эти чашечки к губам и, по-моему, делают вид, что пьют что-то из пустой чашечки. Так поступали все по кругу, и я не мог не взять в руки свою чашечку. Я увидел, что на самом дне есть какой-то темно-коричневый ободок. Такой ободок остается в чашке после выпитого кофе. Но, однако, надо было попробовать, что представляет этот темно-коричневый поясок. Я слизнул его с маху и почувствовал во рту неслыханную горечь, как будто я проглотил добрую порцию чем-то сдобренной хины. Горечь наполнила мой рот, но скоро пропала. А через какой-то короткий промежуток времени со мной стало происходить что-то необыкновенное. Я вдруг почувствовал себя свежим, бодрым, легким. Дышалось даже как-то по-другому. Я испытывал необычайный прилив энергии. Как будто я провел отпуск в горах и у моря и вернулся совершенно освеженным. Несомненно, это сделал темно-коричневый ободок... Я не удержался, чтобы при прощании не спросить, что за кофе мы сейчас пили.

— Это был лучший геджасский кофе,— с гордостью ответили мне.

— А почему его было так мало, почему его не дают полную чашечку?

Тут отвечавший серьезно посмотрел на меня и сказал, чуть улыбнувшись:

— Если бы вы выпили этого кофе целую чашечку, вы бы умерли!

Вот, оказывается, какие бывают сорта кофе!

Сурия налила мне с краями новую чашечку кофе.

— Мой кофе безопасный, можете пить его сколько угодно полными чашечками, он не смертельный.

Рафик, шутник и острослов, сказал, смотря на Сурию:

— У нас в Сирии не только кофе, у нас есть много разного смертельного; поэты уверяют, что, например, красота тоже смертельна. К счастью, Сурия милостива и нас не убивает. В старину красавицы посылали своих избранников совершать какие-нибудь смертельные подвиги, чтобы убедиться в их доблести. Пожалуйста, милая Сурия, не посылай никуда в дальние края нашего Фатиха, пусть он, если надо, совершит подвиг где-нибудь неподалеку и поскорей, поскольку я горю нетерпением погулять на вашей свадьбе... Совершай скорей подвиг, дорогой Фатих!

— А какой подвиг можно совершить в наше время в Дамаске? — сказала, посмеиваясь, Сурия.— Фатих не летчик, не спортсмен, не ученый-физик. Он бедный студент, как все мы. Он уже делал кое-что любопытное, но это его тайна. И я его не выдам...

— Хорошо! Я остановлю автомобиль на ходу, если он захочет наскочить на тебя, когда ты будешь переходить улицу Победы,— сказал Фатих.— Мы недавно,— он почему-то подмигнул мне,— совершили ряд подвигов — помните, что с нами было?

— Подвиги, которые мы совершили с вами? Что-то не припомню таких!

— Ну как же, мы ехали ночью по пустыне в Хомс и потеряли дорогу. Кружились, кружились, то принимали фонари машин за огни деревень, а эти деревни убегали перед нами вдаль, то заезжали в поля и блуждали по канавам, то ехали вместо севера на юг, пока не оказались перед колючей проволокой и рвами и, как ни старались их объехать, еще больше путались в проволоке, и тогда увидели мостик и на нем — кого бы вы думали? — империалистов. Куда же мы заехали? А заехали мы в нефтяной городок, на нефтеперекачивающую станцию при нефтепроводе. Англичане подумали, что мы хотим взорвать их нефтепровод, и очень насторожились. Вышли вооруженные и стали спрашивать: чего мы все время тут крутимся? Мы сказали, что заблудились и ищем дорогу на Хомс. Они поверили (видят, все арабы) и разрешили нам проехать через их тщательно охраняемую станцию как ни в чем не бывало. Если бы они знали, кто проехал: красные из Москвы!..

— Это не подвиг,— сказал разочарованно Рафик.— Давай что-нибудь другое...

— А вот тебе тогда еще: мы промчались четыреста километров в одну ночь по трудной дороге, когда махнули из Халеба в Дамаск без остановки.

— Это не подвиг! — сказал, отрицательно махая рукой, Рафик.— Просто хорошая машина и хороший шофер!

— Что значит хороший шофер! — вскричал Фатих, делая вид, что он рассердился.— Ты же не знаешь, на каких условиях взялся наш водитель за то, чтобы доставить нас в Дамаск в одну ночь...

— Что же, это были какие-то особые условия?

— Не особые, а ужаснейшие, невероятные. Он сказал, что он устал за день и обязательно уснет за рулем и за по-

следствия отвечать не будет, так как все мы вместе перевернемся на каком-нибудь повороте или загремим с ходу в ущелье. Поэтому пусть ему всю ночь рассказывают какие-нибудь веселые истории, чтобы он не заснул, а приходил от них в хорошее настроение, чтобы они вызывали у него смех и бодрость и чтобы сон бежал от его глаз.

— Машаллах! И вы согласились быть целую ночь Шехеразадами?

— Мы согласились. И рассказывали ему такие истории, что он не то что дремал, он чуть не бросал руль, хохоча как безумный, и пытался кататься от смеха в машине. И так было всю ночь, а на рассвете нас, бешено мчавшихся, задержал военный патруль, сделавший засаду на контрабандистов и принявший нас за бандитов.

— Это не подвиг,— тут уже вмешался я.— Действительно, мы с Фатихом рассказывали истории всю ночь. То я рассказывал, то Фатих, к тому же он все переводил нашему другу-шоферу, это было, конечно, трудно и утомительно, но все же это не подвиг. Я думаю, что у такого города, как Дамаск, есть свои особенности и мы еще услышим о подвиге Фатиха. Он молод и прекрасен, как и полагается в его годы... Знаете ли, что та ночь, когда мы ехали, вернее, мчались, как джинны, из Халеба в Дамаск, была обворожительна. Луна светила так, что видно было каждую складочку в горах, каждую травинку. Просто грешно было спать в такую ночь. Сегодня, видимо, будет хорошая погода. А что, если нам скоротать сегодняшний свободный вечер как-нибудь необычно? Пойдемте все вместе в какой-нибудь театр?

— У нас нет театров,— сказал печально Фатих.

— Как нет театров? Ни одного? Почему?

— Театры не получили развития, так как театральные представления запрещались религией...

— Но у вас же есть, я слышал, артисты?

— Артисты есть. Они играют в Египте, в кино. Там они снимаются в боевых фильмах с большим успехом. Посмотрим, что идет сегодня.— Посмотрев в газете объявления кинотеатров, он сказал: — О, рядом с нами как раз то, что нам нужно. Идет египетский фильм «История моей любви». Лучшие наши артисты играют в нем — Иман и Фарид аль Атраш. Я сейчас позвоню друзьям, и мы пойдем. Время еще есть...

Через полчаса мы вышли целой компанией на улицу, в вечерний Дамаск.

О Дамаск, весенний, зеленый и розовый! Ты сменил много своих обликов за долгие века своего земного существования. Ты можешь похвалиться и воротами, где совершилось чудо, когда язычник Савл превратился в христианина Павла, и мечетью Омейядов, где во внутренней часовне, оставшейся в наследство исламу, хранится голова Иоанна Крестителя, и гробницей своего великого героя, Салах ад-Дина, и дворцом Кастр аль Казм, и многими другими историческими памятниками, вплоть до улицы Победы в честь новой, свободной Сирии.

Но, пережив многие трагедии и катастрофы, ты остаешься городом, где в садах, когда приходит весна, буйствуют облака цветущих персиковых и абрикосовых деревьев, старых и молодых яблонь, где буйствует молодежь, где на улицах смешиваются одежды старой Сирии и самой модной современности, где гудят машины и звенят колокольчики верблюдов и ишаков, где сияние электрических огней струится из зеркальных витрин и где при свечке искусники сидят над инкрустацией из перламутра, где на пышных улицах центра и в глинобитных домиках окраин идет своя жизнь.

Хорошо погрузиться в твои вечерние улицы, пройтись в этой пестрой толпе, где слышатся голоса всех возрастов, где так ярки взгляды арабских девушек из-под прозрачной вуали, или просто без всякой вуали, так заманчивы огни кафе, что хочется сесть и сыграть партию в нарды с незнакомым дамаскинцем или взять наргиле, затянуться и сидеть, вглядываясь в небо, зеленовато-синее, в котором блестят все созвездия тысячи и одной ночи неожиданностей.

Дамаск — когда-то город ученых-богословов и воинственных всадников под зеленым знаменем — сегодня не боится закованных в броню людей, идущих с криками и звонами по улицам. Это только продавцы кофе и прохладительных напитков, уличные философы, сверкающие металлом водяного бака за спиной, сияющие металлическими кругами на груди и блестящей вереницей стаканов и чашечек, укрепленных на тяжелом поясе.

Сколько молодых людей в светлых рубашках и легких пиджаках, сколько девушек в шерстяных вязаных затейливых кофточках, в темных, скромных юбках направляются в этот час в кинотеатры, чтобы в прохладе больших залов погрузиться в переживания всех человеческих страстей, собранных со всего мира, которые пробегут перед ними на таинственном всевидящем экране!

Такие же человеческие страсти кипят в твоем городском волшебном котле, Дамаск! Ты живешь сложно, как маленький Париж, и, может быть, очень сложно, но каждый попадающий в твои гостеприимные пределы не может не проникнуться твоей всегда новой прелестью, не может не оценить твоей жажды жизни, твоего влечения к современности, твоей преданности свободе!

И я жадно смотрел по сторонам, и меня очень занимали и люди, и дома, и разные красивые арабские вывески, затейливые изгибы арабских арабесок, бегущие по карнизам и по стенам. Мне переводил Фатих иные надписи и объявления. Злоязычный Рафик тут же со смехом делился с Фатихом каким-то анекдотом, отчего не мог сдержать смеха и серьезный Фатих. Шепотом он говорит мне, что сейчас Рафик рассказал ему, что случилось с одним иностранцем, который увидел на пустой стене на улице Сальхи, около стоянки машин, длинную, красиво нарисованную надпись. Он сказал: «Я тоже начинаю понимать немного по-арабски. Правда, здесь написано: разрешается стоянка машин?» Дружный хохот был ему ответом. Там было написано: «Последняя собака из собак тот, кто будет мочиться у этой стены!»

— Я не знал, что Рафик такой злой,— сказал я, погрозив ему.

— Нет,— ответил Фатих,— он говорит, что он не злой, а любит посмеяться, когда смешно. Он говорит еще, что теперь мы увидим подвиг Фатиха, потому что достать билеты для всей компании на фильм «История моей любви» не так просто.

Нас всего шесть человек, подошли еще друзья, и все-таки Фатих достал билеты, и мы вошли в такой кинотеатр, который мог быть украшением любого большого города на любом континенте.

Мы взяли билеты на балкон и вместе с густым потоком зрителей начали пробираться к своим местам. Мы поднялись по неширокой, но высокой лестнице и через узкую дверь прошли на балкон, повисший над нижним залом так высоко, что мы, сидевшие не в первом ряду, совершенно не видели тех, кто сидел под нами, ничего не видели перед собой, кроме большого серебристого экрана.

Свет погас. На экране качались лодки с косыми парусами. Ветер шевелил взлохмаченные кроны пальм, прямо из воды уходивших к бледному небу. Был разлив Нила. Нильские волны заливали низкие берега. Девушка из бо-

гатой семьи полулежала в томлении на широком диване и, страшно переживая, слушала голос выступавшего по радио знаменитого певца, в которого она влюбилась всем своим молодым сердцем. Певец был действительно знаменит. Это был популярный в арабских странах сирийский певец Фарид аль Атраш. Артистка Иман, по фильму — Амира, очарованная пением, с каждым днем все больше влюблялась в певца. Дальше шли их переживания, выраженные в песнях и длинных ариях, каждая из которых занимала не менее десяти минут. Их звучные голоса победно звенели под высоким потолком кинотеатра. Зрители переживали и аплодировали и даже восторженно кричали. Фильм постепенно превращался в оперу. И хотя по Нилу плыли разноцветные яхты и показывались роскошные сады и виллы, главное было в пении, и рассказ о любви плыл на музыкальных волнах вверх по великой реке, так как действие переносилось из садов на реку, на яхту, и арии делались все длиннее. Я спросил Фатиха, сидевшего рядом, являются ли такие длинные арии особенностью выступающих артистов, на что он тихо ответил, что это особенность арабских певцов вообще и что я не слышал знаменитой Ум Кульсум, которая поет каждую песню почти целый час, и это очень нравится зрителям, потому что свидетельствует о силе голоса и таланта певицы. На экране сейчас поют еще коротко...

После этого разъяснения я погрузился как бы в поток мелодий, и этот поток нес меня какое-то время, качая и убаюкивая, через множество сцен, в которых любовь вырастала и двигалась к высшей точке, но в это время кто-то, необычайно сильный, начал трясти мой стул, взявшись за его спинку, и трясти с большой энергией.

«Хулиганство,— подумал я, но решил пока никак не отвечать.— Провокация!» Я даже не обернулся, ожидая, что будет дальше.

Тряска прекратилась также внезапно, как началась, и несколько минут все было тихо. Затем точно невидимый и злобный великан встал сбоку в проходе и, взявшись за длинную палку, которая была продернута под всеми стульями нашего ряда, одним движением приподнял весь ряд и начал наклонять его налево.

Не успел я вскочить, как весь ряд поехал стремительно куда-то вниз и в сторону, и мы все повалились друг на друга.

Экран закачался, как будто стал парусом, виллы и ях-

ты на нем сразу побледнели, потом исчезли совсем. Вместо них по экрану заходили желтые и зеленые полосы, ставшие кругами, вертевшимися все сильнее. Экран стал бледно-радужным и вдруг потух. Остались какие-то бродячие желтые и зеленые спирали.

Самое странное, что стоял какой-то полусвет, в котором все происходившее казалось нереальным. Под нами в нижнем зале вырастал большой глухой шум, неясный гул шел по всему зданию. Наши стулья вернулись на свое место. Мы глядели друг на друга в полном молчании. Но внизу под нами уже бушевала буря голосов. И у нас на балконе народ вскочил и побежал, спотыкаясь, наталкиваясь на стулья, к выходной двери. Она была маленькая, и там, внизу, образовалась толпа. Там возились, толкались, крича и охая, каждый хотел первым выбраться на лестницу.

И тут весь огромный кинотеатр поднялся, как корабль на большой волне, и начал клониться влево. Было полное ощущение, что мы в бурном море и попали в качку. Поражала легкость, с какой вздымалось такое тяжелое здание. Волна прошла, и кинотеатр медленно и плавно вернулся на свое место. Следующая волна приподняла его вверх, и он поднялся покорно и снова опустился. Тут внизу закричали так, что крик был как будто рядом с нами. В ответ закричали и те, что барахтались у двери на нашем балконе. Кричали какое-то слово, которое сначала звучало как-то бесформенно. Потом уже можно было разобрать: кричали и внизу и вверху только одно — «Зельзеля! Зельзеля!»

Я еще почему-то в первое мгновение подумал, не знаю почему, что произошла драка и какому-то Зельзеля пришел конец. Это было глупо, но я так подумал. Я наклонился к Фатиху и спросил, что значит «зельзеля».

— Зельзеля — это землетрясение! — отвечал он. Его глаза блестели, но он сохранял, как и все мы, спокойствие. Только следил, как топталась толпа у двери. Мы все смотрели друг на друга, молча спрашивали: что будем делать?

Землетрясение! Значит, сейчас этот громадный свод расколется, дом последний раз плавно пойдет налево, свод упадет и накроет нас всех. Погибнуть в Дамаске, в кинотеатре, не досмотрев, чем кончится фильм «История моей любви»,— ничего нельзя было придумать нелепей.

В голову почему-то пришла история про рукопись одного шейха, хранящуюся у нас в Ленинграде, о которой мне рассказывали в свое время. Этот шейх остался в живых один из всего своего большого рода, потому что все

погибли в одночасье, когда в Сирии землетрясением было разрушено сразу тридцать пять городов и замков. Но это было, кажется, в двенадцатом веке, а у нас все же двадцатый. Ну и что из этого?

Толчки продолжались. Паника уже свирепствовала внизу, и сейчас она охватит наш балкон. Чего еще ждать? Как будто сейчас конец! И все!

И тут Фатих, наш несравненный, храбрый Фатих поднялся во весь рост, взбежал как можно выше по проходу и закричал туда, к будке, откуда еще так недавно тянулись лучи, оживляющие экран:

— Чего ждешь! Эй, там в будке! Продолжай! Давай ленту! Крути фильм! Живей! Давай «Историю моей любви»! Давай!

Его голос как будто вывел окружающих из оцепенения. Со всех сторон подымались молодые люди и кричали:

— Эй, там, в будке, заснули! Давай фильм. Гони ленту! Давай! Давай!

Кинотеатр трясли толчки, от которых наши стулья ездили и содрогались, и казалось, что вот-вот воцарится полный хаос, как вдруг на экране что-то мелькнуло, засветилось, ожили зеленые и желтые круги, экран посветлел, и мы услышали голос Амиры — Иман, и он показался нам просто божественным.

А когда в ответ ей пронесся могучий плеск песни Фарида, остановились даже стоявшие у выхода, и кое-кто начал садиться на ближайшие места. Фильм набирал утраченную скорость. И скоро мы увидели, как бегут моторные лодки, как рыбаки вытаскивают из Нила сети, как гоняют мячи на кортах роскошных вилл игроки в теннис, как красотка говорит, смеясь, по телефону и ее серьги полумесяцем так живо блестят и подпрыгивают. «История моей любви» шла, кажется, к счастливому концу.

Правда, ошеломленные дополнительными переживаниями, мы, вероятно, не смогли бы связно рассказать, как развивалось действие фильма, но то, что мы увидим его конец, было уже ясно. Фильм кончился замечательным дуэтом на десятой минуте, мы ждали такого же десятиминутного заключительного поцелуя, его не было.

Мы поднялись со своих мест, удивляясь, что стулья неподвижны и дом не шатает. Мы прошли по лестнице, как будто с нами не было ничего особенного. А что, если мы выйдем из кинотеатра и увидим, что благословенный Дамаск лежит в развалинах? Каждый думал свое.

Мы вышли на улицу, сами не веря, что опасность миновала, что дома над тихо журчащей великой рекой Барадой целы, огни горят на улицах и в окнах, машины идут, люди стоят на остановке автобуса, регулировщики взмахивают белыми рукавами своих мундиров.

Но жители Дамаска не очень верили в то, что угроза прошла совсем. Многие выносили постели, ковры, подушки и всей семьей приготовлялись ночевать на траве, в скверах и в садах. Все вокруг говорили о землетрясении. Уже сообщали, где что обрушилось, где какие трещины появились в домах. Мы шли, оживленно делясь впечатлениями.

И здесь Рафик сказал без своей обычной иронии:

— Свидетельствую, что сегодня наш дорогой Фатих все-таки совершил подвиг!

— Фатих? Где, когда? Что такое? Какой подвиг?

— Паника вот-вот уже готова была вспыхнуть, и тогда нам никому бы несдобровать. А как он закричал: «Давай фильм! Гони, давай живей!» — все за ним подхватили. Точно он поднял знамя и всех повел на приступ! Конечно, оговорюсь, он совершил этот подвиг только ради прекрасной нашей сестренки Сурии. Конечно, уж никак не ради нас. Благодаря ему мы, слава аллаху, узнали, чем кончилась история любви, не правда ли...

Теперь он уже снова смеялся, и Сурия засмеялась ему в ответ:

— Совсем не так, Рафик. Фатих — эгоист, он просто хотел досмотреть фильм, узнать, будут ли счастливы или нет Иман и Фарид аль Атраш!

— Но он хотел досмотреть вместе с тобой! — воскликнул неугомонный Рафик.— Молодец Фатих! За такого молодца стоит, видит аллах, выйти замуж. Настоящий комсомолец, а! Подумай, милая!

— Я, может быть, уже подумала,— ответила тихо Сурия, но тут ее перебил Сабри, скептик и журналист, который не мог признаться, что от него, журналиста, украли сенсацию: нет никаких серьезных разрушений. Поэтому он пренебрежительно сказал:

— Стоит вообще обращать внимание на это землетрясение. Подумаешь, тряхнуло...

Но он был неправ, этот Сабри! Если Дамаск только потрясло до основания, то в соседнем Ливане в этот час рухнуло шесть тысяч домов и шестьдесят тысяч людей остались без крова. А сколько вытащили из развалин убитых и раненых!

ШЕСТЬ КОЛОНН

Выбрав удачное место, где были тень и прохлада, Арсений Георгиевич Латов устроился поудобнее и раскрыл свой легкий желтый этюдник.

Но прежде чем начать работу, он еще раз внимательно осмотрелся. Перед ним раскинулись развалины Баальбека, храмы древнего Гелиополиса — города Солнца.

До того как он увидел около маленького ливанского городка эти великолепные развалины храмов, основание которых уходит в мифическую тьму — к Ваалу, к финикиянам и дальше,— он не имел о них никакого представления.

Потрясенный великими руинами, он бродил в них все утро, спотыкаясь о разбросанные всюду обломки. Он жалел, что с ним нет его спутников, археологов, которые предпочли раскопки таинственного Угарита Гелиополису и уехали на север, а он остался, чтобы увидеть как следует Баальбек, и он его увидел.

В мягком свете весеннего солнечного утра Баальбек тонул в холодной свежести темно-зеленых садов, тополевых и ореховых рощ. Над ними — белесая, необъятная высь облаков, в прорывы которых, как густо-синее море, проступало небо.

Латов поднимался по непривычно узким ступеням храма Бахуса. Его ошеломил вид на окрестности, который открылся неожиданно из-под арки входа. Он долго стоял у боковой стены перед безумной колонной, сдвинутой и поднятой со своего основания и не упавшей, а прислонившейся к стене и так пребывавшей много веков в позе несдающегося бойца, покрытого глубокими ранами и шрамами, над поверженными и разбитыми своими собратьями.

Латов не мог не залюбоваться непередаваемой живописностью, мудрой легкостью маленького храма Венеры, стоящего несколько в стороне. Отсюда можно было видеть вдалеке хорошо различимые колонны-великаны великого храма.

Сейчас они возносились прямо перед Латовым — шесть знаменитых, всемирно известных, неповторимых колонн, высочайших в мире,— все, что осталось от некогда славного храма Юпитера, храма Солнца. Были они светло-коричневого цвета с золотистым оттенком, и не было ничего вокруг, что могло бы сравняться с ними по силе, по чистоте отделки, по богатству фриза и архитрава.

Латов, рисуя их, работал с особой радостью, с непонятной ему самому приподнятостью.

Переполненный впечатлениями, он уже сделал много набросков в своем дорожном альбоме. Он зарисовал и кусок оторвавшегося карниза, слетевшего вниз с двадцатиметровой высоты, увенчанного львиной головой с широко раскрытой пастью, с такими глубоко посаженными огромными глазами, которые, казалось, закрылись совсем недавно, с ушами могучего зверя, настороженными, слушающими тишину. Каменная грива тугими переплетениями как будто свалявшихся в тяжелые жгуты волос покоилась на удивительных каменных цветах.

Латов навсегда запомнил, как он пропустил свою руку сквозь сплетения гранитных водяных лилий, закрыл глаза. Пальцы его скользнули по влажному холодному стеблю и нашли цветок. Он был на ощупь как живой. Ему захотелось кричать от восторга. В другом месте он видел длинную мраморную лозу и с нежностью погладил виноградные листья, непонятно тонкие и теплые от солнца.

В повиснувших над входом в храм Бахуса глыбах горели жаркими вспышками остатки фресок.

Шесть колонн стояли последними часовыми на страже исчезнувшего мира. Они были непостижимы, как и та ни на что не похожая тысячетонная глыба, которая лежала недалеко в каменоломне, брошенная неизвестно почему мастерами, которые не успели превратить ее в колонну, не имеющую себе равных в мире, или в новую террасу, наподобие тех, на которых покоился храм Солнца.

Гиганты удручающих размеров, шесть колонн помнили неслыханные времена.

А сейчас за этими великанами прошлого видны были Латову пирамидальные тополя, старые ореховые деревья,

высокие сухие кипарисы, дальние поля и в дымке утреннего тумана сиреневые холмы и предгорья, а над ними фиолетово-синие горы, увенчанные густо-белыми снегами, еще не начавшими таять.

Было их, колонн великого храма Юпитера, пятьдесят четыре, а теперь остались эти шесть. И, как ни странно, от этих поврежденных, выщербленных колонн, от коринфских каменных завитков, от львиных, сильно выдвинутых, напряженных тел, как бы стремящихся покинуть фриз, от кусков фресок, сияющих искрящимся пурпуром и глазурью, от гигантских платформ, неизвестно какой силой, хитростью или колдовством, поставленных одна на другую,— от всего этого места разорения и величия веяло каким-то духом здоровья, и печаль мира казалась тут одухотворенной до предела.

Вместе с тем возникало необъяснимое волнение. То ли красота эта была полна светлого непонятного очарования, красота, разбитая и обезображенная людьми и временем; то ли все это жило и сегодня своей особой жизнью, пронеся через тысячелетия какую-то властную силу, вызывающую удивление. Древние мастера создали искусство вечное, как природа, вечное в своей неистребимости, говорящее каждым куском о великой цельности мира, уводящее от всего низменного и мелкого, тщедушного, маленького.

Латов, человек уже средних лет, большой, нескладный, широкоплечий, с легкой ранней лысиной, с голубыми глазами простодушного россиянина, честный работяга, талантливый график, умеющий изобразить и новый городской пейзаж, и пеструю старину московских переулков, и поля, по которым шагают, как марсиане, мачты бесконечной высоковольтной сети,— все то, что стало давно привычным, никогда не думал о поездке в далекие края Востока.

Ему предложили присоединиться к группе археологов в порядке творческой поездки, и он дал согласие. И вот теперь, после краткого пребывания в соседней Сирии, он сидел и рисовал шесть колонн Баальбека, и ему было даже странно, что он никогда не подозревал об их существовании. А теперь, когда он увидел могучие создания глубокой древности, он хотел представить себе мастеров, что трудились здесь каждый день, с утра до вечера, годами, представить, как под их руками оживали каменные глыбы, как они радовались своим творениям, как они таким же весенним утром сидели перед созданными их гением колоннадами, перед которыми бледнели храмы Рима и Афин,— но вооб-

ражение останавливалось. Представить это было невозможно.

Он вспомнил, что раз страстно влюбленного в высочайшие горы Рериха спросили: «Что значит ваше тяготение к Гималаям?» И от ответил: «Это — тяготение к величию, которое питает дух!» Так бы ответил и Латов, если бы его спросили, почему он так увлекся этими шестью колоннами. Это было такое же тяготение к величию, которое питает дух.

Колонны принадлежали к миру высокой мощи творчества, посягнувшего на власть такого тирана, как время. И они победили время, безжалостное и безумное в своем разрушении всего живущего.

И снова великое искусство, прорвавшись через века, предстало перед людьми, чтобы поразить их и обрадовать...

Так думал, работая в одиночестве, Латов. Он радовался тому, что никто ему не мешает, что ему выпал в жизни хороший, светлый, удаленный от всякой суеты день.

Маленькие, узкие, черноглазые ящерицы, как зеленые струйки, мелькали по камням или, притаясь, лежали, сливаясь с язычками травы, между расселин и трещин.

Но вдруг Латов нечаянно обернулся и увидел, что почти рядом, чуть выше его, на морщинистом желтом камне стоит человек, совершенно незнакомый. Сколько он так стоит? Почему подошел так неслышно? Кто он?

У него была большая голова, пухлое, загорелое лицо, тяжелый нос с едва заметной горбинкой, широкий, с двумя поперечными морщинами лоб, резкие складки у рта. Глаза были прикрыты круглыми, темными очками. На голове черный берет.

Одет он был с подчеркнутой франтоватостью — в широкий черный костюм, такой же важный, как и его хозяин. Трехцветный галстук, широкий и блестящий, как ручеек, стекал из-под высокого крахмального белоснежного воротника. Булавка с синим камнем сияла в многоцветии галстука.

Незнакомец как будто подчеркивал всем своим видом, что он персона очень значительная и официальная, что иначе одеться он не мог. Он стоял среди руин, как человек, попавший сюда по ошибке или из очень особых соображений.

У него было лицо не то актера, не то министра. Он был чисто выбрит, и Латову даже показалось, что от него пахнет очень тонкими духами.

Заметив, что художник бросил работу и разглядывает его, человек в черном спокойно слез с камня и, почти отвернувшись, показав этим, что он и не намерен вступать в разговор, боком обойдя художника, начал спускаться в так называемый главный двор бывшего храма Солнца.

С этой минуты Латов невольно следил за тем, куда направлял свои шаги неожиданный и чем-то неприятный незнакомец. Он видел, как тот прошел через двор храма и, поднявшись по лестнице, остановился около каких-то машин, прикрытых чехлами, перед группой людей в рабочих комбинезонах.

В руинах, в тишине солнечного тихого дня бродили уже редкие группы туристов, и до слуха Латова иногда доносилась громкая фраза гида, быстрая и резкая.

Латов снова принялся за работу. Время от времени он смотрел на незнакомца, на бродивших внизу людей, но, в сущности, они были ему совершенно не нужны. Он перестал обращать на них внимание.

И тут его окликнули:

— Добрый день, Арсений Георгиевич! Как работается?

Это уже был свой человек — сотрудник нашего посольства в Бейруте, Андрей Михайлович Куликов, человек многоопытный, много видевший на своем веку. С ним Латову было легко и свободно. Его можно было обо всем спрашивать. Он охотно отвечал, а рассказы его были и занимательны и поучительны. Когда археологи собирались в Угарит, к берегу моря — смотреть новые необыкновенные раскопки, он посоветовал Латову съездить в Баальбек. Выбрав свободный день, Куликов посадил Латова в свою «Победу», и они отправились в Баальбек. Но за сборами и делами они задержались, выехали поздно и приехали уже совсем вечером, так что в темноте Латов ничего не мог разглядеть. Зато уж с самого утра он вволю побродил среди развалин.

— Добро! — сказал Куликов, посмотрев на сделанный Латовым рисунок.— Место тут увлекательное.— Он сел рядом.— Вы ведь один из первых советских художников, рисующих Баальбек с натуры. Можете гордиться. Тут затевается вообще большое дело. В прошлом году, вот видите, расчистили площадку на месте храмового двора, перед храмом Солнца. В то же прошлое лето англичане ставили здесь шекспировский спектакль, а французы в нынешнем году хотят показать выступление парижской театральной труппы. И если ливанцы рекламу большую сделают — они

мастера на рекламу,— конечно, туристы со всего света поедут. Внизу, в Бейруте, жарко, а здесь летом прохладно, и к тому же новое развлечение. Ливанцы хотят свой национальный ансамбль организовать, самого Моисеева выписать, чтобы он помог образовать из их самодеятельности что-то подходящее. Арабские народные танцоры лихие, девушки красивые, танцуют замечательно. Может выйти ансамбль. В прошлом году спектакль приурочили к полнолунию. А в лунную ночь Баальбек — загляденье. Ну, и деньги государству пригодятся. Наставят стульев вон там, у площадки, и чем не театр! Я уверен, что привьется — будут ездить. Сейчас не сезон: ранняя весна, холодно еще, тут ведь вообще высоко, как у нас где-нибудь на Кавказе, свыше тысячи метров. Хотя в это время в прошлом году здесь снимали фильм «Хозяйка ливанского замка» по роману Бенуа. А теперь тоже тут съемки — вот посмотрите.— Куликов показал на человека в черном, который только недавно был рядом с Латовым. Теперь он стоял в окружении многих людей и что-то им говорил, показывая на шесть колонн.

Латов сказал Куликову:

— Вот этот, в черном костюме, подошел ко мне так неслышно, что я даже не заметил. Не знаю, сколько он стоял и смотрел, как я рисую, но, когда я оглянулся, он ни слова не сказал и ушел туда, вниз. Кто это?

— Это продюсер. Вам, конечно, известно, кто такой продюсер?

— Ну, это человек, который, грубо говоря, дает деньги на постановку фильма?

— Да, это так. Но бывает, что иные из продюсеров сами артисты. Они разбогатели на поставленных ими фильмах. Хорошо! Но этот, я бы сказал, артист другого рода. Зовут его Моссар. Происхождение туманное. Приехал посмотреть, как снимаются сцены для фильма, который он субсидирует. Да вы продолжайте, работайте, а я тут посижу и могу о нем рассказать кое-что, если вам это интересно.

— Пожалуйста, говорите, конечно, интересно! Моей работе это никак не помешает.

— Так вот, этот Моссар — тип занятный, не простой там делец, а с философией, с особой, своей, конечно...

— Знаете, что меня с первого мгновения в нем поразило? — сказал Латов.— Он какой-то весь черный и подкрадывается к человеку. Это что, очень известная личность?

— Когда он первый раз приехал в Бейрут, его принимали художественные и финансовые круги. Я был на приемах и много с ним разговаривал. Узнал о нем кое-что. Он очень богат, на чем разбогател — дело темное. Он кичлив, надменен, до нетерпимости упорен в своих мнениях. Лет ему, думаю, под шестьдесят, может, чуть больше. Говорит на многих языках и даже по-русски, и более чем сносно. Объясняет тем, что его всегда интересовала Россия. Хотел в юности стать дипломатом и обязательно поехать к нам. Сам он, говорит, родился в Австро-Венгрии, жил в Швейцарии. Всемирным гражданином себя называет...

— А что за фильм снимают на его деньги? И почему здесь?

— Представьте, фильм называется «Шесть колонн», в честь вон этих шести знаменитых... А дальше — дело сложное. Теперь ведь на Западе в кино закручивают такие сюжеты, что не сразу разберете, что к чему. Есть целые серии, посвященные вампирам или чудовищам, всяким ужасам, чудесам из мира таинственного, черной и белой магии. А то на экране и совсем непонятное, не разберете даже, когда, где и что происходит. До нашего отечества эти фильмы не доходят, а мы их здесь частенько видим. Вот и у нашего этого Моссара фильм такой, что сразу не разберешься. Вы слышали что-нибудь о явлении, называемом метампсихозом?..

— Слабо себе представляю... Что же это такое?

— Видите ли, это — учение о переселении душ: человек, скажем, помер, а его душа пошла гулять по свету. В общем, это мистика чистой воды и принадлежит, если не ошибаюсь, к буддийской религии. Освобожденная душа, значит, не знает пределов и находится вне времени. Очень древняя душа может свободно вселиться в современного человека. В этом фильме подобное происходит. Можно бы понять, если бы в юмористическом, комедийном жанре или в каком другом виде сатиры это было. А в этом фильме все всерьез. И посмеяться с виду как бы и нечему. Сам Моссар мне пресерьезно рассказывал свой фильм. Одна бедная девушка страдает головными болями и непонятными снами про неизвестную страну, с богами и колоннами. У нее припадки, и с ней происходят странные вещи. Близкие думают, что она притворяется, из лени все выдумывает, не хочет ни учиться, ни работать, рассеянна к тому же и, в общем, дурочка. А у нее, оказывается, ярко выраженные медиумические способности. Кроме того, стали

замечать, что стоит ей протянуть за какой-нибудь вещью руку — и вещь сама двигается ей навстречу. Скажем, за чашкой она протягивает руку — чашка к ней, она с испугом отдергивает руку — и чашка об пол. Много так вещей она побила.

Как-то случайно один знаток вопроса — доктор оккультизма — ее увидел и занялся ею. Оказалось, что в ней душа какой-то древней жрицы, знатной девушки. И пошла писать губерния! Доктору оккультных этих наук нужны деньги для опытов. Отыскал он очень интересующегося сенсациями молодого миллионера, прожигателя жизни и занимающегося всем, чем угодно, чтобы только не было скучно. Деньги он дал, с девушкой его познакомили. Он в нее влюбился. Еще бы — она, оказывается, жрица древности и собой хороша. Сенсация! Но она мучится своими видениями, как бы не в себе, и надо, говорит этот спекулянт, шарлатан белой и черной магии, дело довести до конца.

По его исследованиям выяснилось, что девушка — жрица храма Солнца в Гелиополисе, и надо ее привезти в храм Солнца, чтобы она вспомнила после разных магических действий свою прежнюю родину, и тут ее переключат на современный лад, и жрица станет просто барышней, с которой миллионер-молодец пойдет под венец. Вот сегодня вечером эту сцену заключительного обращения древней жрицы в нормальную современную девицу будут снимать на месте бывшего главного алтаря храма Юпитера.

Я встретил Моссара, когда он шел сюда, к своим актерам, и он пригласил меня вечером смотреть его съемку. Пойдем! А потом, попозже, поедем в Бейрут.

— То, что вы рассказали, — воскликнул Латов,— это же, честное слово, беспардонная чепуха и самый настоящий кошмар! Как это можно такое снимать и ставить в наше время!

Куликов усмехнулся:

— Снимают и не то. Им же все равно. Видел я недавно в Бейруте фильм «Прекрасная Елена». Вы думаете, там была Греция, что-нибудь эллинское? Там и прекрасная Елена, и король, и королева Трои, и все греки были англосаксами. Рыжие, здоровые, прямо сошли со страниц Джером Джерома или Марка Твена.

— Ну хорошо, пойдемте посмотрим, но я заранее предупреждаю: если это будет отвратительно, то я оставляю за собой право уйти, не дожидаясь перевоплощения

жрицы, или как там называется это действие, когда она станет сегодняшней девицей...

Когда Латов закончил рисунок, они с Куликовым обошли расчищенную площадку перед ступенями храма Юпитера — долго еще любовались на шесть колонн, рассуждая о том, каков был вид этого храма, когда путники прибывали караванами из пустыни в город-оазис, проходили через ворота, охранявшиеся римскими легионерами, ночевали в шестиугольном дворе, крепко спали после долгой дороги, а утром, вымывшись и приготовившись к лицезрению божества, тихо, почтительно следовали за провожатыми в огромные колоннады, окаймлявшие главный двор. Здесь путники смотрели на великолепные изваяния, которые стояли во всех нишах и простенках, а потом шли по высокой лестнице к лику главного божества, управлявшего делами смертных.

Латов и Куликов долго бродили среди мертвых стен. Куликов, улыбаясь, говорил:

— Смотрите, смотрите, переживайте,— когда вы еще сюда приедете!

— Да скорей всего никогда,— отвечал Латов,— но это все надо видеть хоть раз в жизни.

День разгулялся. Руины были торжественны и пустынны. Редкие группы туристов уже ушли. Только сотрудники киноэкспедиции копошились около своей аппаратуры, готовясь к вечерней съемке.

Потом они прошли городком, где из-за стенки базара мычали коровы, смотрели верблюды, пожевывая замшевыми губами, ревели ослы. Где-то пели петухи. Они видели продавцов всевозможных пород голубей.

Латов рассеянно смотрел на арабов в разноцветных куфиях и белых галабиях, в стареньких пиджаках, толпившихся на уличках, на беленькие домики с красноватыми шиферными крышами, на продавцов овощей и рыб. Он жил впечатлением виденного, попав неожиданно в мир невероятного искусства, имена мастеров которого затерялись во тьме времен.

Они обедали в маленьком, холодном, неуютном отеле. Вероятно, летом, когда солнце в долине пронизывает все светом и теплом, и эта большая комната становится привлекательной и радостной, но сейчас в ней было сумрачно и сыро.

Стол был уставлен тарелочками. Это собрание тарелочек с самым разнообразным содержимым называлось «мезè». Латов уже встречался с этой диковинной коллекцией кушаний. Смотря на все богатства миниатюрных блюд, он не мог не отметить изысканную красочность их. Розовые креветки соседствовали с темно-зелеными оливами. Серая фасоль, белый творог, фиолетово-зеленые фисташки, красная свекла, печеная коричневая рыба, колбаса разных цветов, баклажаны и огурцы, бананы и сладкие стручки, цветная капуста, разные маринады и, конечно, таббули — острая смесь, напоминающая жгучую абхазскую соль.

Тарелочек этих были много, и они сменялись все новыми, неизведанными образцами кушаний, как только пустели. Они, казалось, не могут иссякнуть.

Латов, смеясь, сказал:

— Мне кажется, что на кухне стоит очень хитрый дядя в большом белом колпаке и ежеминутно придумывает что-нибудь новое. Он окружен овощами, мясом, рыбой, всеми снадобьями, всеми приправами, и его вдохновение никогда не кончается...

Закуски, сменявшие друг друга с большой быстротой, были очень вкусными. Их запивали красным, терпким добрым вином — мюзаром. Попробовали арак, разбавляя его из зеленых бутылок «Севен-ап». Он мутнел, как мастика или абсент, был горьковат и пах аптекой.

Сначала они говорили о Москве, об общих знакомых, о новостях столицы, и Латов не ждал, что Куликов скажет между прочим, что ему часто снятся родные места, и он жаждет как можно скорее вернуться домой, и вся экзотика Востока ему давно наскучила. Он знал, что его собеседник, так любезно привезший его в Баальбек, серьезный и внимательный, всегда расположен больше молчать, чем говорить, но когда он начинал говорить о Ливане или вообще о Востоке, то его можно было слушать без конца, так убедительно в его рассказе оживали картины местной жизни. И слушавший убеждался, что перед ним настоящий знаток и тонкий наблюдатель. И действительно, Куликов провел годы на Востоке, изучал его неторопливо и вдумчиво. Его жизнь в арабских странах не была только служебной командировкой. Это было его призванием, его страстью. Поэтому Латов и сказал, смущаясь:

— Вы, Андрей Михайлович, видели, конечно, много приезжих из Москвы, которые, наверно, спрашивали вас все об одном и том же. Поэтому простите меня заранее.

Что мне здесь бросилось в глаза? В Сирии и в Ливане так много памятников древности, так много развалин! Судя по всему, когда-то тут жили миллионы людей, не для пустыни же построена Пальмира или этот удивительный Баальбек! Какая высокая культура, какие памятники, выдержавшие тысячелетия! Что случилось с этими странами? Я вижу, что здесь могли бы жить миллионы, десятки миллионов, а их нет. Вы можете на это ответить?

Куликов улыбнулся своей тонкой бледной улыбкой:

— Могу ответить. Вспомните, чего нам стоило одно татарское нашествие. Не осталось на Руси почти ни одного не пострадавшего города или селения. Новгород и Псков уцелели случайно. Не дошли татары из-за болот. Сколько было тогда развалин! И в них жили. Один Киев как пострадал! А сколько погибло людей! А это было только одно иго,— правда, целых двести лет.

А тут один завоеватель сменял другого. Проходили века сплошных битв и нашествий. Что сказать об одних византийцах,— кстати, громивших вовсю эти храмы, увозивших отсюда и камни и колонны в Константинополь. Арабы здесь строили из древних камней незатейливую крепость, византийцы — свою базилику. Двести лет крестовых походов, двести лет непрерывных войн. Крестоносцы с огнем и мечом проходили эти руины. Монголы осаждали город и жгли его, сам Тамерлан, стоя на высоте этих чуждых и враждебных ему платформ, смотрел с наслаждением, как огонь пожирает остатки сооружений. А жителей ведь тоже не жалели: кого уводили в плен, кого на месте кончали, кого убивали в сражениях. Запустели эти страны. От всего уцелела береговая узкая полоса с городами, потерявшими былое значение, но связанными с заморской торговлей. Города внутри страны жили еще большой жизнью. Но тут как раз приходили новые разрушители — землетрясения. Эти края и теперь трясутся ежегодно. Только в позапрошлом году подземные толчки разрушили на юге много селений, убили сотни людей. А в старину иные землетрясения сразу разрушали десятки городов и замков. Нашествия продолжались. После монголов пришли турки и кончили с достижениями прошлого, как мы сейчас говорим. Они поставили последнюю точку. Образцом их архитектуры был походный шатер, четыре копья по сторонам. Все, что осталось от арабской образованности и греческой и римской культуры, покрылось ночью безвременья. Никому эти древности больше не были нужны. Султанская Турция все-

гда боялась арабов и не очень стремилась к тому, чтобы эти края процветали.

— Я видел на полях у феллахов деревянную соху, мотыгу. Пашут на ослах,— сказал Латов.— Я даже зарисовал некоторых крестьян — нищие, как церковные крысы, как говорили в старину.

— Тут всюду безземелье.— Куликов махнул рукой.— А что будешь делать? Наделы крошечные, нужда у крестьян отчаянная. В основном питаются оливками. А тут еще беженцы, которых некуда девать.

— Я не думал, что это так. Правда, я представлял Восток иначе,— сокрушенно сказал Латов.

Они помолчали.

— И надо всем,— сказал Латов,— эти шесть колонн. Если бы от нас, сегодня живущих, остались такие памятники, чтобы нашему умению, нашему искусству удивлялись люди через тысячу лет! Вот о чем я думал весь день. Сколько же нам надо сделать, чтобы создать — не колонны, нет, это и до нас за тысячу лет умели, а вот такое, чтобы одолело время и осталось прекрасным. От нашего железа, бетона и стекла, которые и сейчас глаз не радуют, едва ли что сохранится...

— Останется кое-что и от нас,— сказал Куликов.— Мы строим плотины, каналы, моря, города не на сто лет...

— Я думаю не о плотинах, морях и каналах. Я говорю о том, что будет создано нами такого, чем бы любовались люди будущего, как чем-то особенным, неповторимым, и говорили бы о том с восторгом и с сожалением, что вот такого они сами не умеют. Вот этим почти разрушенным Баальбеком любуются же люди, приезжая из всех стран мира! И удивляются, и даже не могут сказать, как подымали такие невероятные каменные платформы...

— Будущий век жить будет другими чудесами. Конечно, стекло на тысячу лет не сохранить. И разрушительные средства нашего времени тоже иные, от них уцелеет, в случае чего, мало. Но надо вам, художникам, создавать такие произведения, чтобы им удивлялись не через тысячу лет, а сейчас, современники, как при жизни этих богов им удивлялись приходившие на поклон.

— Все-таки как они умели работать! Просто чудо какое-то! Но посмотрите, кто к нам идет!

Куликов повернул голову и увидел, как прямо к их столу подходит подтянутый, весь в черном, с приглаженными белоценистыми волосами, уже без темных очков, широ-

колобый, с какими-то холодными и как будто разными глазами сам почтенный продюсер Моссар.

Он шел уверенным и легким шагом, как будто заранее уговорился встретиться здесь с Куликовым и сейчас будет просить извинения за опоздание. Он поклонился Латову, сказав по-русски:

— Я видел вас утром. Вы рисовали шесть колонн, не правда ли?

Моссар взял от соседнего столика стул и продолжал:

— Могу я присесть? Я уже обедал. Я так присяду. Выпью чашечку кофе. Будем пить рюмку коньяку...

Слуга принес кофе и коньяк. Куликов познакомил Моссара с Латовым.

— Это художник из Москвы.

— Первый раз здесь? — спросил Моссар.

— Первый,— сдержанно ответил Латов.

— Я вас понимаю. Я тоже когда-то был ваших лет. И колонн Баальбека когда-то было пятьдесят четыре, а теперь шесть. А потом и эти шесть упадут. Вероятно, это судьба всех колонн, народов, каждого отдельного человека. Вы приехали из далекой России. Я тоже приехал издалека. Мы не пилигримы, и все куда-то идем, и никто не скажет точно — куда. Ах, господа,— сказал он, пригубливая чашку кофе, запивая крошечным глотком коньяка,— мы даже не подозреваем, как устало человечество, как мы все устали. Мы видим, как устарело все прошлое. Надо от него освободиться — чем раньше, тем лучше. Мир должен пройти через ищущего, совершенно свободного человека, который не верит в будущее, а верит в сегодняшний день, и ему наплевать на все, что сделано до него, тем более что никакой связи с прошлым у него нет. Вы художник, разве вы не чувствуете, что искусство умирает, кроме кино, телевидения и радио...

Латов сделал протестующий знак и хотел что-то сказать, но Куликов поднял палец и остановил его. Моссар продолжал:

— Кино, телевидение и радио — это киты, на которых будет стоять все представление человека о мире, его окружающем. А все остальное пусть остается туристам! Любознательность пресыщенных техникой людей, свободные деньги и реклама гидов. Ах, первобытные камни, ах, древность, ах, тайны! Тайн нет...

— Подождите,— не выдержал Латов,— вы забыли про социальный прогресс, про то, что с всеобщим распростра-

нением знаний в людях будет развиваться и чувство прекрасного... Как можно забыть прошлое...

— Рост знаний! — усмехнулся Моссар.— Да, люди скоро на Луне будут добывать ее богатства, а тут, на Земле, миллионы неграмотных будут все так же мечтать о лучшем, о том, как быть сытыми...

Половина человечества живет на голодном пайке. Вот и те, что строили этот Баальбек, нищие рабы, тоже мечтали о лучшем. И те, что впроголодь живут сегодня здесь, в Ливане, тоже мечтают... И так будет всегда!

Латов снова не удержался:

— Вы говорите очень печальные вещи, но зачем же вы тогда снимаете здесь фильм? Вы же верите в него и в то, что он будет иметь успех, что-то скажет людям, и они за это свои деньги отдадут вам...

Моссар зажег сигарету, вставил ее в какой-то вычурный черный мундштук, посмотрел с удивлением на взволнованное лицо Латова и не спеша ответил:

— Фильм — это дело, это — деньги. Есть фильмы умные и скучные, они умирают тут же, от перегрузки. Их не воспринимает зритель. Вы не хотите понять, что человечество устало — от войн, бедствий, революций, что оно живет в страхе. В страхе близкого уничтожения. Поэтому оно многое воспринимает по-своему...

— Я знаю содержание сценария вашего фильма. Это бред! — зло выкрикнул Латов.

Моссар не смутился. Его разноцветные глаза блеснули.

— Весь мир — бред. Человек одинок, он приветствует хаос, распад, чтобы почувствовать себя свободным от всего. В мире выпускаются тысячи фильмов. И вот они должны стремиться сделать человека забывшим все прошлое. Оттуда идут все беды, все кризисы. Все, что было, не стоит ничего. Надо идти вперед! Без страха, смеясь над прошлым и топча его. Все человечество, все люди сегодня любят видеть на экране кровь, ужас, невероятное. Их к этому приучили. Вы же снимали «Аэлиту»! Это тоже фантазия, и не очень впечатляющая, потому что испорчена политикой. Красноармеец на Марсе — это ваша затаенная мечта.

Кино — полусон. Человечество живет в полусне — оно не хочет ни заснуть, ни проснуться. И надо его держать в этом состоянии, потому что оно ему нравится. Людям невозможно стало понимать друг друга. Они разъединены, потому что техника, окружающая нас, бесчеловечна. Чело-

век ничтожен перед созданиями из металла и сплавов, его поглощает, например, корабль-левиафан, бросает в свое чрево, рассекает с ним волны с невообразимой быстротой, опускается под воду, взлетает в яростные бездны космоса. Человек — песчинка. Как страшен ночью современный город! Он весь как та электрическая машина, которая может считать и писать, может отвечать на все вопросы, вся вздрагивая от механического напряжения. Машины, одна другой ужасней по формам, идут по улицам, входят в дома и во сне преследуют людей в кошмарах. Обещают всё новые чудеса. Угроза атомного гриба убивает будущее. И одинокий человек в страхе закрывает лицо руками. В атомный век одиночество человека обязательно. От этого никуда не уйти. Но от этого рождается бесстрашие. Мы, одиночки, ничего не боимся. Мы рушим все преграды. Мы освобождаем психику человека от всего трагичного и уничтожаем его власть над ним.

Зачем рисовать эти колонны, которые уже ничего не говорят никому? Мы превращаем их, снимая в нашем фильфе в современную, пусть немного болезненную, но волнующую сказку, и они оживают и дают нам хорошие деньги. Это бизнес. Мы можем сказать, что мы превратили мертвый мир в живой, и это дает ему право жить в наших фильмах и служить нам и нашему бесстрашию. Никаких идей мы не вкладываем в эти колонны. Посмотрите, сейчас никто не выдвигает никаких ведущих в будущее идей. Все боятся коммунизма, дрожат перед возможной катастрофой и уходят в мрачные и безвыходные рассуждения. Мы даем выход — мы осмеиваем прошлое, не верим в будущее и не боимся настоящего.

— Простите меня,— воскликнул Латов,— такие фильмы, как ваш,— это не всемирный выход, а всемирная пошлость, всемирная безвкусица, это бессилие, а не сила! Кого он привлечет, ваш фильм?

— Вы еще молоды, как ваша страна,— сказал Моссар, зажигая спокойно новую сигарету.— Но если бы ваша страна купила мой фильм, если бы эти «Шесть колонн» показать у вас в Москве, очереди стояли бы несколько месяцев, и вы ничего не смогли бы поделать. Не отвечайте словами пропаганды! Это факт! Приходите сегодня вечером — это будет прекрасное зрелище... Что вы скажете, господин Куликов?

Куликов, слушавший молча самодовольного до наглости Моссара, сказал тихо и вполне незаинтересованно:

— Вы знаете мое мнение. Мы уже говорили с вами раньше об этом; мы придем сегодня вечером, обязательно придем. Нам очень любопытно увидеть своими глазами, как делаются мировые фильмы...

Моссара окликнула девушка, смуглая, большеглазая, с большими выгнутыми бровями, широкими розовыми губами, в черном плаще и черных перчатках. Ожерелье из черных камней красовалось на длинной шее.

Моссар немедленно встал, бросив недокуренную сигарету.

— Каро! — воскликнул он.— Иду! — Он сказал «иду» по-русски, церемонно поклонился своим собеседникам и пошел к ожидавшей его девушке, сбрасывая пепел со своего черного безукоризненного костюма.

Когда они ушли, заговорил Куликов:

— Каков, а! Хорош! Проповедник хаоса! А! Ничего не боится. Обладатель нового секрета борьбы с коммунизмом! Денег много — вот откуда его бесстрашие!

— Слушайте, а ведь это, в общем, хитро придумано,— сказал Латов.— Человечество устало, он его утешает и развлекает. Он — и человечество! Да ему плевать на все усталое человечество! Видите, он его хочет развлечь такими картиночками, чтобы пощекотать нервы... метампсихозами!

— А почему, вы думаете, он так разговорился с нами, так обнажился? — спросил Куликов, прищурясь.

— Не знаю. Обнаглел: разговор с глазу на глаз... Показать, какой он бесстрашный...

— Нет, это он хотел, во-первых, вас уязвить: советский художник, передовое искусство, а рисует древние колонны, никому не нужные, какой же это завтрашний день! А во-вторых, продемонстрировать, что вот он-то человек будущего и такие фильмы снимает, что их будет смотреть все усталое человечество, а вот у вас не будет смелости показать их в Москве, а то все будут смотреть не ваши шесть колонн, а его «Шесть колонн» и в очередь выстроятся. Вот в чем дело... Я говорю, конечно, условно...

— Вы шутите. При чем тут я! Я не собираюсь выставлять свои рисунки в Москве...

— Я пошутил, конечно, но он-то серьезно проповедовал свою философию. Я уже не первый раз это слышу...

Когда маленький розовокрыший на закате городок перед развалинами Баальбека погрузился в густой сумрак шафранового вечера, опустившегося на долину Бекаа, Латов и Куликов уже сидели на расчищенном от обломков

большом храмовом дворе. Двор этот некогда с двух сторон украшали величавые галереи, в нишах красовались боги и богини, от них теперь не осталось и следа.

Сохранилась только лестница, ведущая к главному храму, и сейчас на площадке над лестницей, там, где когда-то сияли разукрашенные золотом, серебром, мрамором двери капища, вспыхнули юпитеры, откуда-то проник луч прожектора, и началась та непонятная, почти таинственная возня, которая сопровождает каждую ночную киносъемку.

Глазам любопытных, а их оказалось не так мало на дворе, отведенном для зрителей, предстали сначала люди в самых разнообразных костюмах, шумно двигавшиеся во всех направлениях. Над этим шумом раздавались громкие приказания режиссера, крики осветителей, регулировавших свет, треск магниевых ламп, голоса женщин, свистки-сигналы; все это напоминало бестолочь базарной суеты.

Потом начался новый хаос — хаос самой съемки. На первом плане появилась та самая девушка, с которой Моссар ушел из ресторана. Она была в белых одеждах и полулежала на ложе, покрытом почему-то медвежьими и львиными шкурами, два светильника на высоких ножках освещали ее запрокинутое лицо, неестественно белое от света прожектора, за ней оживали какие-то мумии, призраками качались перед ней. Она слабо протягивала руки, как будто обращалась к кому-то с мольбой. Потом руки падали и лежали неподвижно, а она вся начинала дрожать мелкой дрожью, лицо искажалось гримасой боли, она стонала. И тут ее прерывал режиссер, подходил и поправлял ее позу и руки, удалялся во тьму, а перед ней возникал, по-видимому, специалист белой и черной магии. Он протягивал свои жилистые, почти черные, волосатые руки к ее белому лицу и производил всякие пассы, она погружалась в сон, откидывалась на бок, лицом к зрителям, и начинала прерывисто дышать, потом ее вздохи становились все тише, ее заклинатель сбрасывал свой сюртук, срывал галстук и продолжал пассы, вспотев от напряжения, выкатив большие, желтые, как у кошки, глаза. Наконец, отпрянув и вытирая пот со лба, с демонским видом, пятясь, исчезал. Лежавшая вдруг открывала глаза, обводила взором пространство, окружавшее ее, садилась на ложе и делала вид, что вспоминает что-то очень забытое. Тогда прожекторы вынимали из темноты как бы висящие в воздухе шесть колонн, и их неожиданный, ошеломляющий вид заставлял девушку вскрикивать. Но тут появлялся режиссер, махавший

руками так, точно он хотел задушить вскочившую. Он сердился и поправлял ее. И снова и снова она вскакивала, и, когда вскочила в последний раз, так, как нужно, она огляделась, громко заплакала, потом радостно закричала и засмеялась. И тут забили невидимые барабаны, завыли зурны, задребезжали, загремели бубны, и перед девушкой явились существа, одетые в довольно прозрачные рубашки, в золотых сандалиях и с красными маками в волосах. Героиня должна была воспринимать их как видение своей древней молодости. Девицы бурно плясали вокруг ложа какой-то вакхический танец, их освещали разноцветными лучами, они наступали на сидевшую и манили ее к себе.

И когда они постепенно, одна за другой, тоже исчезли, она сорвалась с ложа, бросилась за ними, звала их на непонятном языке, потом, огорченная и увлеченная воспоминанием, сбросила с себя верхнюю одежду и явилась в совершенно другом облике. На ней был лиф, переливающийся всеми цветами перламутровой раковины, широкий золоченый пояс, к которому были привешены большие древние медали и монеты. Боковые разрезы ее легкой, красной с синими украшениями-лентами юбки, осыпанной золотыми звездочками, давали ей возможность высоко выбрасывать ноги. Она изгибалась с завидной легкостью.

Она танцевала под дикую, оглушающую музыку обычный танец живота. Она вкладывала в него какую могла страсть, но ее танец был лишен гипнотизирующего сладострастия Востока. Это изгибалась, принимала соблазнительные позы, вращала бедрами, дрожала всем телом умелая, опытная европейская танцовщица. Она была просто молода и красива, она танцевала привычный ей танец, как много раз она исполняла его в каком-нибудь кабаре, где ей много хлопали полупьяные заезжие иностранцы, принимая ее за гурию, открывающую настоящие тайны Востока.

Но выскакивал снова режиссер, прерывал съемку, заставлял жрицу повторять отдельные моменты танца. В эти минуты она терялась, сердилась, зло смотрела по сторонам. По ходу действия к ней все время старался прорваться тот шалопай-миллионер, молодой красивый парень, которого удерживал профессор черной и белой магии. Это уже походило на комический фильм с плохими артистами, и тут снова все останавливалось. И снова под оглушающий грохот музыки она шла, извиваясь, показывая всеми движениями, что этот поздний вечер, и место, и колонны, холодно вздымающиеся над нею, не имеют между собой никакой

связи, что эти люди, толпящиеся здесь, в развалинах древнего храма, жалки и искусственны со всеми своими придуманными картинками, и, как ни греми музыка, как ни танцуй она танец живота, как ни притворяйся воплощением древней жрицы,— все это плохой маскарад, дешевый и оскорбительный.

Все чаще приходилось останавливать съемку. В такие минуты режиссер кричал, во весь голос кричал профессор черной и белой магии, в бессилии кусала губы, чуть не плача, бедная жрица. Ее заставили снова лечь на ложе и смотреть на шесть колонн, высоко подняв голову к высокому, почти черному небу, потом впасть в задумчивость, рассматривать с интересом сброшенные ею одежды жрицы.

Тут наступил решающий момент: на смену азиатскому оркестру грянул самый современный джаз, и перед ней заскользили шесть или семь герлс, уже не скрывающих своего заокеанского происхождения. Их тонкие, длинные ноги сначала демонстрировали что-то вроде бешеного канкана, потом они поутихли и затанцевали танец под названием «рок-н-ролл», который тогда только начинал свой триумфальный путь.

Они разделывали сумасшедшие фигуры танца с большим азартом. Трудно было уследить за их ногами и руками. И странный танец — нечто среднее между пляской святого Витта и топтанием пьяной обезьяны — так подействовал на героиню, что она, сидя на львиных и медвежьих шкурах, начала содрогаться, подражая девицам,— заходили ее руки и ноги, задергалась голова, и она вскочила и бросилась в вихрь непонятного обольщения, которое ей, тысячелетней жрице, предлагал наш двадцатый век. Она должна была войти в эту грохочущую сегодняшнюю ночь, избавиться от прошлого, пройдя через безумие танцевального вихря, приобщавшее ее к тому передовому образу жизни, который гордо носит имя заокеанского.

Тут, видя, как она мужественно старается превзойти своих подружек-герлс в изобретении новых и новых невиданных фигур, из рук шарлатана-профессора вырвался молодой красавец миллионер и начал с ней отплясывать так неистово, так фигурно, так закрутительно, что среди нечаянных зрителей послышались возгласы восхищения.

Но несмотря на то, что герлс уже не могли устоять против фантастического калейдоскопа движений, которые рождала вернувшаяся из мира древности в мир двадцатого века жрица, а молодец-миллионер отплясывал так, что не-

возможно было уследить за всеми его жестами и мгновенными позами, за его руками и ногами, все же режиссер останавливал танцующих, менял ритм джаза, требовал большей выразительности и еще большей энергии.

И снова взвихривались на месте миллионер и жрица. По сценарию она должна была влюбиться в него по первому танцу. Она хочет научиться танцевать, как он. Он учит ее новым фигурам. Все превращается в разноцветный сумбур, в котором вертятся яркие, как павлины, герлс, крутится черный фрак смуглого юноши, сверкающий лиф девушки, вовлеченной в ритм, достойный нашего времени.

И она сдается. Весь прошлый, фантастический мир слетает с нее, больше нет никакой древности, никакого Востока, есть современные влюбленные молодые люди. Она делает последний прыжок и падает в объятия молодого человека.

Снова режиссер недоволен этой сценой. Ее повторяют еще и еще. Наконец раздается свисток. Герлс убегают, что-то крича. Молодые люди стоят, обнявшись, но тут, к удивлению Латова и Куликова, выйдя вместе с режиссером, тяжелый, черный Моссар властно разъединяет молодых людей, берет под руку тяжело дышащую, усталую жрицу и исчезает с ней, оставив молодого миллионера наедине с режиссером, с которым молодой человек вступает в какой-то бурный разговор.

Это уже не относится к сценарию. Музыка давно смолкла. Свет меркнет. Еще какое-то время прожектор освещает движущиеся фигуры около машин и аппаратов, фигуры, которые теперь кажутся тенями кошмара. Сразу появляется народ, и над всем бредом происходящего снова возникают, как великаны, пришедшие издалека посмотреть на игры карликов, шесть колонн, светлотелых, неправдоподобных.

Свет погас. Больше не было ни колонн, ни кривляющихся герлс, ни танца живота, ни лихо пляшущего миллионера. Вокруг была ласковая, но прохладная тьма весенней ночи.

Латов и Куликов шли к гостинице, обмениваясь впечатлениями. Во все время съемки они не разговаривали. Зрелище, раскрывшееся перед ними, было настолько нереальным, что местами походило на кошмар.

— Я на месте арабов убил бы Моссара, который приволок сюда весь этот табор, весь этот кабак... и даже не поленился притащить сюда герлс и джаз. Откуда он взял его?

— Ну, в бейрутских кабаре сколько угодно такого товара,— ответил Куликов.— А вы обратили внимание, что этот играющий миллионера выплясывает, как профессионал, да еще какой профессионал! На экране будут смотреть. Он, по-видимому, привезен издалека. Такого я что-то не встречал в Бейруте.

— Понимаете,— как-то смущенно сказал Латов,— я чувствую, что все это вздор и все очень плохо, но мне понравилась девушка. У нее местами такая естественная растерянность, как будто ей все не по сердцу, но ведь ничего не поделаешь. Надо зарабатывать деньги, я понимаю. Она красивая, но какая-то измученная, и танец живота не ей танцевать. Очень уж грубо у нее получается оттого, что она не чувствует восточного колорита. Она танцует как-то механически. Она не здешних мест. Ручаюсь. Откуда-то ее привез этот работорговец...

— Это кого же вы так называете?

— Да все того же Моссара. Он, наверное, если не живым товаром, то какой-нибудь контрабандой торгует — наркотиками, что ли... Тут торгуют наркотиками?

— Гашиш продают. Тайно, разумеется. Здесь дело обыкновенное, как и всюду на Востоке,— отвечал Куликов.

— Что обыкновенное?

— Да то, что Моссар и тем и другим может заниматься. А своей жрице в кавычках он явно покровительствует. Она, вероятно, его любовница. И весь секрет. Как он ее оторвал от молодого человека? Без стеснения.

— Да, я тоже обратил внимание.

— А что вы скажете вообще обо всем, что видели?

— Что скажу? Я уже сказал, что я бы убил мерзкого Моссара. У меня просто на языке какой-то горький осадок. То, что мы видели, не имеет имени. Это тоже гашиш, а может, и хуже. Все так отвратительно, что я, право, не понимаю, почему таким господам позволяют оскорблять древние памятники... Ну, к черту весь этот базар! Что мы будем делать?

— Отдохнем немного, соберемся и поедем. Ночь на перевале будет холодная. По дороге заедем куда-нибудь перекусить, погреться. В Бейруте будет уже поздно!

Они ехали к перевалу. Прохлада Баальбека сменилась резкими порывами холодного ветра. Сыростью понесло с гор, в темноте подступивших к дороге вплотную. По стеклу

машины застучал дождь. Во мгле впереди ничего не было видно, кроме полос дождя. Ехали с большой осторожностью.

Что-то белесое начало облеплять стекла. Латов вгляделся. Шел мокрый снег. Его хлопья мягко падали на дорогу, извивавшуюся по склону. Сразу стало очень холодно, неприютно, одиноко. Почему-то вспомнился виденный где-то шалаш беженца-араба. Черный войлочный навес, драные тряпки. Дети, роющиеся в песке. Худые курицы, сидевшие, прижавшись к камням. Женщина в черном, разводившая костер, с хрипом дувшая на огонь...

От этого раскрытого всем ветрам жалкого человеческого жилища веяло такой безысходностью, такой обреченностью, что при одном воспоминании об этом Латова охватила темная тоска. Чужиэ холодные скалы и мокрый снег, летевший навстречу машине, пустынная, каменная, древняя горная ночь порождали такие же холодные, хмурые мысли, которые таяли, как эти большие серые хлопья на стекле. Латов стал дремать. Ему захотелось света, человеческого движения, голосов, тепла.

Куликов вел машину молча, вглядываясь в аспидный сумрак дороги, освещенной бледным светом фар, дороги, крутившей бесконечные повороты, перед которыми он аккуратно сигналил, сбавляя ход.

Вдруг он сказал:

— Вы спите, Арсений Георгиевич?

Латов очнулся и пробормотал, что так, на минуту закрыл глаза: утомляет эта бесцветная, белесая дорога, и к тому же очень холодно.

— А вы знаете,— почти весело, громко сказал Куликов,— что эта страна могла бы быть частью Российской империи...

— Что вы, помилуйте! — отвечал, совсем проснувшись, Латов.— Как это могло быть? Где мы, где она...

— Вот в том-то и все дело,— сказал Куликов.— Русский флот во времена Екатерины Второй был полным хозяином в этой части Средиземного моря. Русские моряки даже Бейрут взяли у турок. Они оказывали военную помощь восставшим против султана друзам. Друзы хотели, чтобы их приняли в подданство России. Но Екатерина ответила на это так: «Оказывать помощь ливанцам надо, в подданство не брать, потому что защитить их трудно, и в случае неудачи выйдет, что турки принадлежащую Русской империи землю себе забрали...» Вы знали об этом?

— Нет! Вам не холодно, Андрей Михайлович? — спросил Латов.— Что-то я озяб, сам не знаю почему...

— Тут высоко, а будем еще выше, на перевале, но мы сейчас сделаем остановку. Еще минут десять — все будет в порядке.

Ресторан для утешения путников был расположен у самой дороги. Его ярко светившие окна не нуждались в рекламе. Он был давно и заслуженно известен. Целый табун разноцветных машин стоял перед входом.

В большом зале было многолюдно, стоял смешанный, неразборчивый говор многих гостей, сидевших за столиками и поглощавших с аппетитом богатые дары ливанской кухни. Между столиками скользили бесшумные, молчаливые официанты с подносами, уставленными бутылками и тарелками.

Было тепло, вкусно пахло какими-то острыми соусами, винной пробкой, сигарным дымом.

Латов и Куликов, как только вошли в зал, сразу же огляделись и, найдя в стороне свободный столик, все же чуть задержались, потому что недалеко от себя увидели компанию, при виде которой они невольно подумали, стоит ли садиться так близко от нее. Но потом сели так, чтобы Куликов был спиной к людям, шумно пившим и звеневшим бокалами почти рядом.

Но, сев и заказав коньяк и закуску, они все же нет-нет да и поглядывали в ту сторону, и Латов сказал тихо через стол:

— По-моему, у них разговор не очень веселый...

— По-моему, тоже,— отвечал Куликов.— Посмотрите на того, который играл, вернее, танцевал сегодня миллионера.

Смуглый молодой человек с глазами сумасшедшего цыгана глядел куда-то в сторону и, только когда его окликали, приподымал свой бокал и чокался с полным равнодушием со своими соседями.

Девушка, игравшая жрицу, пила большими глотками шампанское, что-то напевала и не спускала глаз со смуглого своего визави. Рыжий, точно в клоунском парике, режиссер смешил старого актера, игравшего в фильме профессора черной и белой магии. И слушавший их большой, тяжелоплечий Моссар то бросал злой взгляд на молодого танцора, то улыбался девушке, почти оскалив рот, то гром-

ко, неестественно хохотал, ударяя по столу большой ладонью.

Иногда за столом разговор прекращался, но сейчас же все начинали говорить разом, звенеть бокалами и тарелками, точно они боялись молчания, и опять вспыхивало веселье, девушка смеялась искренне и как-то растерянно, грохотал бас Моссара, хриплый голос режиссера перекрывал тонкий вскрик быстро хмелевшего шарлатана-профессора. Что-то говорил молодой человек, но что — нельзя было разобрать.

Куликов и Латов молча пили коньяк, молча ели мясо, приготовленное как люля-кебаб; местное название кушанья Латов тут же забыл. Он согрелся, и ему даже нравилось сидеть среди множества разнообразных людей, спасающихся здесь от одиночества, холода и ночи.

— У меня есть два желания,— сказал он,— я очень благодарен вам, что мы сюда заехали. А желания такие. Первое: чтобы эта компания нас не заметила и чтобы этот продюсер не подошел к нам. Я наговорю ему дерзости... до скандала дойду.

— Он нас не видит,— сказал Куликов,— я сижу к нему спиной, а с вами он уже познакомился, и я не думаю, что вы доставили ему удовольствие. А второе ваше желание?..

— А второе мое желание даже трудно объяснить. Я хочу зарисовать этого Моссара, на память...— Он порылся в карманах.— Ах, черт возьми, я оставил блокнот в машине. Сейчас за ним сбегаю, через минуту буду здесь. Нет, меня не надо провожать. Я помню, где стоит машина.

Осторожно, чтоб не привлекать внимания, он прошел к выходу. Дверей было несколько, он открыл самую левую боковую и вышел на лестницу. Отдельные снежинки садились на его плечи и тут же таяли. Он спустился по лестнице на дорогу. Там, где стояла машина, был полумрак, но он нашел ее сразу по флажку, прикрепленному на радиаторе.

Он открыл дверцу и забрался в машину. Сел и начал искать на заднем сиденье куда-то завалившийся свой блокнот. В машине было тихо, почти уютно, освещенные двери ресторана, силуэты людей, мелькавшие за занавесками, казались такими далекими и чужими, как та моссаровская компания в ярко освещенном зале с ее раздражающим гомоном и смехом.

Он нашел блокнот и сидел, прислонившись к стенке, закрыв глаза. Через минуту он приоткрыл их и увидел нечто

неожиданное. Двери, ведшие в ресторан с улицы, открывались часто, потому что официанты для скорости предпочитали проносить блюда, прямо пробегая из двери кухни в дверь ресторана, с улицы подымаясь наискось по лестнице, и он уже видел не одного с салфеткой на руке и с тарелками на подносе, пробегавшего в ресторан.

И сейчас из ресторана выбежал человек в серой куртке, с пустым подносом и салфеткой. Он сбежал с лестницы и, вместо того чтобы нырнуть в кухонную дверь, остановился перед машиной и оглянулся. Никого не было вокруг. Он не мог видеть сидевшего в темноте Латова. Он быстро наклонился к флажку с серпом и молотом, расправил его и, не успел Латов пошевелиться, дважды прижал его к губам и, поцеловав, помедлил, а потом не торопясь пошел к двери, открыл ее привычным движением и исчез.

Латов сидел в оцепенении. Он все еще видел перед собой человека, так любовно целующего красный кусочек материи. В этой дороге перед перевалом, в ночном ресторане, наполненном странствующими гуляками, в неожиданном жесте неизвестного было что-то тревожащее, странное, как те шесть колонн, что остались там, позади, в гордом безмолвии пустыни.

Тут ему пришло в голову, что сейчас из кухни снова появится тот странный официант и он сумеет разглядеть его лицо. Он ждал, но дверь на кухню не открывалась. Никто не появился. Тогда он так же, боковой дверью, вернулся в зал, прошел к столу и, сев, сразу вынул блокнот и карандаш.

— Не мог сразу найти,— сказал он Куликову, приступая к работе,— куда-то блокнот завалился.

Куликов налил ему коньяку. Латов с удовольствием выпил и, отыскав глазами Моссара, начал быстро набрасывать его черты. Латов не хотел делать этого открыто, поэтому он бросал как бы равнодушные взгляды в сторону того стола, и карандаш схватывал все новые и новые подробности. Но окончить рисунок он не смог.

Совершенно неожиданно для него Моссар поднялся, и вся компания, теснясь и шумя, двинулась к выходу. Моссар не смотрел по сторонам. Он гнал перед собой, как козу, девушку с большими, неестественно изогнутыми бровями, и она, не оборачиваясь, спешила к двери. Трое остальных, наталкиваясь друг на друга, следовали за Моссаром.

Моссар был мрачен и раздражен. Когда дверь за ними закрылась, Куликов увидел, что Латов растерянно положил карандаш.

— Жаль, удрала от вас натура. А такую не каждый день увидишь.

— Я нарисую по памяти. С наслаждением его припомню. Такой шарж можно сделать, что дай бог, бог сатиры...

Подошел официант убрать посуду. Латов вглядывался в его ничего не говорящее лицо и думал: «А может, это и есть тот, кто целовал флажок? А может, и не он». Латов с каким-то острым вниманием смотрел теперь на официантов и в каждом искал сходство с тем, особенным. Но все они были одинаково расторопны, одинаково одеты, одинаковы в своих выражениях бесстрастных лиц. Нет, никогда ему не найти того человека. Да и зачем его искать? И наконец понял, что, как ни смотри, он даже не может отличить их одного от другого.

Они еще посидели за кофе, потом не торопясь оставили гостеприимный приют и вышли к машине.

На дворе была отчаянная погода. Ветер опять бросал в лицо мокрый снег пополам с дождем. Машина рванулась и как бы в остервенении начала набирать скорость и высоту, проваливаясь в море мрака и холода.

Но, как ни странно, теперь, после ужина и коньяка, не клонило в сон, наоборот, появилась какая-то энергия мысли и как-то стало весело на душе. Но мысли кружили, как эта ночная дорога, и Латову показалось, что «его» официант похож на древнего христианина, жившего среди язычников, но уже приветствовавшего новый век. Началась новая эра, но старые боги еще стоят, хотя их храмы шатаются и падают.

И может быть, от их величия остались только шесть колонн, и они будут стоять, когда даже все стены небоскребов рухнут. «То, что я видел,— размышлял Латов,— во всяком случае, удивительно...»

Машина шла в клочьях тумана, которые становились шире и гуще, и наконец молочная стена закрыла дорогу и скалы. Гудя на поворотах, Куликов медленно одолевал вершину перевала.

Латов не хотел отвлекать его разговором на этом трудном и рискованном участке дороги. Его мысли были далеко от окружающего. Ему начало казаться в том полусне раздумья, в котором он пребывал, что все уже было давно,

Были и открытия, подобные нашим, и такие, о которых мы не имеем понятия. Тяжести весом в сорок тонн переносили легко с места на место. И люди никогда не были одиноки. Врет все этот Моссар. В древности люди имели удивительные таланты и знания в области астрономии, в области техники, имели «тайные знания».

Многие формы человеческого общества уже были на земле. И теперь идет борьба за государство Солнца... как говорил Кампанелла. Храм Солнца там, позади; шесть колонн — свидетели того, как и сегодня преследуют коммунистов, как тогда, почти две тысячи лет назад, преследовали христиан... Преследуют и терзают в разных странах... Мысли его смешались.

Он не заметил, как уснул. Проснулся он как будто в другой стране. О тумане не было и помина. За время, пока он спал, машина сбежала с перевала и, крутясь на витках приморского шоссе, мчалась к Бейруту, и вокруг уже темнели спящие сады и виллы, приютившиеся на склонах. На зеленовато-голубом небе блестел серп молодого месяца. Было тихо, и в этой тишине неожиданно громко раздался голос Куликова:

— Ну, вот и поспали, дорогой, скоро Бейрут, и кто-то стоит посреди дороги и просит остановиться... Смотрите...

Вглядываясь в сумрак дороги, впереди, у поворота, Латов увидел темную фигуру, которая стояла действительно посредине дороги и махала руками. Машина замедлила ход.

Человек шел навстречу машине, время от времени поднимая руку, как бы боясь, что она все же не остановится. Он был один, и это не внушало никакого беспокойства. Куликов остановил машину, открыл дверцу и вышел на шоссе. Вышел и Латов. Они спокойно смотрели, как приближается высокий силуэт в плаще.

Он показался им знакомым. Когда он подошел совсем близко, они его узнали. Это был актер, игравший сумасбродного миллионера.

Он сначала показал в сторону, на низкие кусты в придорожной выемке, откуда выглядывала черная квадратная машина, слабо блестевшая отлакированными боками. При свете фар Куликов узнал машину Моссара. Там, видимо, был он сам со всей компанией, ужинавшей в ресторане за перевалом. Куликов слушал молодого человека. Он говорил по-английски.

— Большая просьба. Мне нужно срочно быть в Бейруте. Вы едете в Бейрут?

— Да, мы едем туда!

— Мне обязательно нужно быть в Бейруте. У нас испортилась машина. Шофер чинит. Все могут ждать. Но я не могу ждать, пока он починит. Я не могу ждать. Я должен быть в Бейруте во что бы то ни стало. Я жду звонка из Женевы.

— Разве это так уж важно — звонок из Женевы?

— Очень, очень важно. Поймите меня, от него зависит моя жизнь.

— Ваша жизнь?

— Да! Вы меня не знаете. Меня зовут Каэтани, если вам нужно мое имя.

Куликов сказал: «Одну минуту» — и перевел просьбу Каэтани Латову:

— Он просит взять его в Бейрут. Говорит, что испортилась машина и что все могут ждать починки, но ему должны позвонить из Женевы, от этого звонка зависит его жизнь.

— Возьмем его, Андрей Михайлович,— сразу, не думая, сказал Латов.— Я верю ему. Возьмем! Спасем человеческую жизнь!

Куликов повернулся к Каэтани.

— Садитесь,— сказал он, и молодой человек, откидывая полы синего плаща, влез в машину и сел рядом с Куликовым.

Теперь машина шла, как по катку, наклоненному к морю. Горы темными шерстистыми громадами вставали над ней. Огни разбросанных по горам домиков остро вспыхивали вверху и внизу по сторонам дороги.

— Как съемки? — спросил Куликов неожиданного спутника.

Тот курил сигарету за сигаретой, и вопрос Куликова застал его врасплох.

— Не знаю,— ответил он.

— Как! Мы только что видели вас в таком танце, который настоящий шедевр,— чуть иронически сказал Куликов,— вы замечательный, первоклассный танцор...

— Да,— ответил Каэтани,— где же вы меня видели?

— В Баальбеке, на вечерней съемке, где вы танцевали с древней жрицей...

— С древней жрицей? — Он удивленно повернул голову.

— Ну, с девушкой, которая пробуждается ото сна. Ее, кажется, зовут в жизни Каро.

— Вы видели и Каро! — воскликнул молодой человек.— Значит, вы все знаете?

— Я ничего не знаю,— сказал Куликов,— может быть, вы нам что-то поясните. Вы сами из Бейрута?

— Нет,— сказал тихо молодой человек,— это не важно, сейчас уже ничто не важно...

— О чем вы с ним говорите, Андрей Михайлович? — спросил Латов.

— Он не говорит, а скорей заговаривается,— ответил Куликов,— с ним происходит что-то странное. То ли он здорово хватил, то ли это что-то психическое. Он говорит как во сне...

— Сейчас будет Бейрут. Я сойду где-нибудь на улице. Я вам скажу...

— Пожалуйста, мне все равно. Это вы торопитесь, мы — нет. Вы что-то хотите сказать...

— Нет, я потом, немного погодя, скажу вам, а сейчас я хочу только спросить: вы англичане?

— Нет!

— Но вы не греки и не французы?

— Нет, мы русские, из Москвы...

— Я так и думал, что вы русские, потому что англичане не остановились бы и не взяли бы меня с первого слова. Это хорошо.

— Что хорошо?

— Я скажу немного погодя.

Россыпь огней ночного Бейрута уже зыбилась совсем рядом. И за ней, за этой неоглядной россыпью, виднелось нечто сине-бархатное и необъятное. Иногда на краю этого пространства вспыхивало что-то белое, как вспышка магния, и пропадало во мраке.

Подобно пене этих ночных волн, еще кое-где блестели и меркли световые рекламы, неоновые огни отелей и магазинов.

В одной из тенистых маленьких улиц Каэтани попросил его высадить. Но прежде чем уйти в ночь, он сказал дрогнувшим голосом:

— Простите меня, я обманул вас, но я должен был так поступить. Меня вынудили обстоятельства.

Куликов пожал плечами: что ж, бывает и так.

— Может быть, вам нужна помощь еще в чем-нибудь?

— Нет, благодарю. Я не жду звонка из Женевы. У меня нет никого в Женеве. Я все уже решил. Если я не убил его там,— он махнул рукой на горы,— это еще не значит, что я не готовлю ему гроб в Бейруте...

— Вы хотите кого-то убить? — спросил Куликов.— А стоит ли? Подумайте, стоит ли?

Лицо Каэтани исказила гримаса.

— Я думал, я бы с удовольствием это сделал, но и помимо меня его ждет гроб в Бейруте!

И вдруг он отрывисто приподнял шляпу совершенно театральным движением:

— Прощайте! Еще раз благодарю вас и вашего приятеля. Вы не знаете, что вы для меня сделали в эту ночь...

Он шагнул в тень высокой стены, из-за которой смотрели кипарисы, и исчез. Даже шагов его не было слышно.

Куликов передал весь разговор Латову. И Латов спросил недоумевающе:

— Кого он хотел убить?

— А знаете кого? Видимо, Моссара. По-моему, я догадался правильно. Но почему он сказал еще про гроб, который ждет его в Бейруте?.. Черт его знает, вероятно, я не так понял...

Куликов завез усталого, со слипающимися веками Латова в гостиницу, зашел в его номер, посидел еще с полчаса, пока художник устраивался, поговорил о странной ночной встрече на дороге и поехал домой, думая уже совершенно о другом — о делах, которые его ждут завтра с утра в этом шумном, разноцветном, деловом городе.

Бейрут был полон предпраздничной пасхальной суматохи. Пестрая толчея в лавках, на арабском базаре, в дорогих магазинах европейских фирм, в маленьких лавчонках, торгующих всем, что требуется ливанцу среднего достатка, оглушала свежего человека и слепила глаза.

На улицах и площадях стоял тот же гам, звон и крик. Причудливо раскрашенные автомобили всех марок поминутно останавливались толпой, неистово гудели, стараясь преодолеть заторы, и вызывали остановку всего движения. Пешеходы пробирались между ними с ловкостью канатоходцев. Грузовики со свирепым ревом устремлялись вперед. Велосипедисты пробовали проскочить сбоку тяжеловозов. Резко громыхали мотоциклы, тесня мотороллеры.

Кругом стоял стон от самых различных возгласов, выкрикиваний газетчиков, шумных, гортанных зазываний лавочников, расхваливающих свой товар, продавцов воды, сладостей, фруктов.

Над всем лязгом и грохотом плыл гулкий серебристый перезвон. Колокола маронитских церквей заглушали голос муэдзина. На улицу вырывался в раскрытые двери католического собора тяжелый, раскатистый голос органа.

Густая толпа то облепляла тротуары, то втекала в лавки, то заполняла площади, над которыми равнодушно свисали широкие жестяные листья пальм.

Казалось, в этом большом городе на берегу моря, куда все страны мира свезли свои товары, люди занимаются только продажей и покупкой, какое-то опьянение владеет ими и ведет их из магазина в магазин, из лавки в лавку, на базар и в порт, где разгружаются корабли всех стран. По вечерам зажигались такие многочисленные, такие разнообразные рисунки реклам, которые говорили обо всем сразу, вертелись и меняли цвета, подымались в высоту и сползали до тротуара, повисая над красочными плакатами, цветными афишами, ошеломлявшими и кричавшими, спорившими с электрической рекламой, так что начинало казаться, что все это нарочно, что это только зрелище, а не обычная жизнь.

Реклама кабаре и кинотеатров кричала о самых ярких программах, о певцах, танцовщицах, акробатах, фокусниках, о самых мировых сенсационных фильмах. Со стен смотрел нарумяненный Юлий Цезарь с лавровым венком на голове, как простой легионер, обнимающий растрепанную красотку, рядом реклама представляла распростертую на прибрежном песке, едва прикрытую лунным светом героиню фильма «Жемчужина южных морей»; нахальная Лола Монтес в роскошном платье, с хлыстом в руках изображала «королеву скандалов», как гласила подпись под ней. В кинотеатре «Адонис» шел фильм специально к празднику пасхи, изделие католической церкви — «Жизнь господа нашего Иисуса Христа». На рекламном плакате Христос в коричневой изодранной хламиде, изнемогая, тащил тяжеленный крест, и пот капал с его лба, кровавый пот мученика в терновом венце.

Над этим плакатом была повешена афиша с достаточно обнаженной танцовщицей. Афиша была нарочно повешена так, чтобы полуголая девушка, хохоча, попирала

своей ножкой в золотой туфельке голову Христа. И никто не обращал на это внимания.

Все двигались мимо со скоростью вечно спешащих куда-то и опаздывающих людей всех стран и всех вероисповеданий. На этом месте жили и торговали, также спешили, приготовляли корабли и товары в дальнее плавание тысячи лет назад финикияне, а сегодня даже муэдзин не кричал с минарета, а за него работало радио, и на стершихся пластинках звучало нечто отдаленно напоминающее призыв к молитве.

Латов утонул в этих людских потоках, увлекавших его то туда, где дымили трубы трикотажных, кожевенных, табачных фабрик, то в узкие переулки, то в многоголосые ряды базара, то в кафе, где можно было минуту передохнуть от спешки и тесноты. Он много зарисовывал, сменяя один за другим дорожные блокноты. Иногда он садился перед каким-нибудь менялой с лицом древнего жреца, который принимал и выдавал мятые ассигнации самых разных стран, со строгим лицом приносящего жертву богу торговли, или на ходу, стоя рисовал араба библейского типа, с классической белой хаттой, схваченной черными шнурами экаля, в ременных кляшах на ногах, в белой аба на широких плечах, чересчур широких для его тонкой, скелетообразной фигуры.

Иногда в его блокнот попадала красотка в синих тонких брючках, в рубашке с черными треугольниками и желтыми полосами, с волосами, перехваченными лентой на затылке, падающими короткой гривой, с блестящими, золотыми клипсами в ушах.

Латов, когда его смаривал шум улиц, усталый шел в свой номер, опускал жалюзи, бросался на кровать и спал сном здорового и крепкого человека. Время шло незаметно. Увлеченный живыми картинами весеннего Бейрута, он уже начал забывать про Моссара и про его страхолюдный фильм, как вдруг ему позвонил по телефону Куликов и сказал, что заедет за ним и отвезет в одно хорошее место, где они вместе пообедают.

Куликов пришел в назначенный час и повез его в гостиницу с рестораном, построенную у самого моря. Латов рассказал Куликову о своих блужданиях по городу, об оглушительной жизни, о богатстве красок Бейрута и о том, что он наблюдал не только парадную сторону быта, обращенную к иностранцам, но и увидел, как живут, трудятся, отдыхают простые труженики, обыкновенные жители,

любители посидеть в скромных кафе, за душистым наргиле, поиграть в нарды, побеседовать с соседом.

Для них соблазны дорогих магазинов так же запретны, как азартные игры в закрытых клубах, кутежи в кабаре, яхты и автомобили, могущие умчать счастливцев в море и в горы, к пышным горным ресторанам и виллам. Но они живой, веселый добродушный народ, они ему понравились своей отзывчивостью и простотой.

Обедали они не торопясь, но у Куликова был такой вид, точно он приберегал что-то такое, чем хотел поразить собеседника под конец встречи. Это чувствовал Латов и не хотел торопить собеседника, ждал, что придет минута — и Куликов откроется.

Эта минута наступила, когда они стали пить кофе и, насытившись, исчерпав все темы, замолчали, засмотревшись, как на дальнем просторе белеют паруса какой-то шхуны, ныряющей в голубых волнах, словно клочок бумаги, несомый ветром.

Тогда Куликов сказал, прищурившись, как он умел:

— Знаете, кого я встретил сегодня утром?

— Не могу догадаться,— сознался Латов.

— Каэтани,— сказал с расстановкой Куликов,— нашего ночного спутника. Затащил меня в кафе и, как он говорит, должен был открыться во всем...

— О! — воскликнул Латов.— Он убил Моссара?

— Да нет, никакого Моссара Каэтани не убивал, но правда, он загнал его в гроб...

Куликов засмеялся.

— Что значит — в гроб! Значит, тогда, ночью, речь действительно шла о гробе?

— Да, о гробе. Но Каэтани уже выдал мне всю историю. Он давно выступал в кабаре с Каро. Это его старая любовь, как он уверяет. Они много натерпелись в жизни, пока встретились, блуждая, ища заработка. Выступали как танцоры Каэтани и Каро. Возможно, все имена эти не настоящие, но они выступали под этими именами в ночных кабаре, на эстрадах. Моссар увидел их в Танжере. Он — а у них тогда дела шли неважно — уговорил их участвовать в его фильме «Шесть колонн». Но Каэтани, согласившись на это, не знал настоящей сути. Он не рассмотрел коварства старого дьявола, того, что вместе с его согласием сниматься Моссар купил себе Каро целиком. Уж как и чем соблазнил ее, я не писатель, сказать не могу, но это

так. И, чуть не плача, Каэтани говорил мне, что он жил, как дурак, обманутый дурак. Вот его рассказ.

«В один мрачный день,— говорил он,— мне все стало ясно. Моссар — любовник Каро. Я не мог больше терпеть этого. Его присутствие приводило меня в такую ярость, что я уже с трудом себя сдерживал. Я ведь не играл миллионера в фильме. Я был только дублером артиста, игравшего этого американца. Тот не мог танцевать, как я, и я заменял его в танце. Даже в фильме я был жалким подражанием богача. Это придумал Моссар для моего унижения. Я решил его убить в ту ночь. Мы очень горячие люди, сицилийцы. Вы меня спасли, не выдуманный звонок из Женевы, а вы спасли мою жизнь. Но тут же у меня явился замысел мести. Я знал, что этот безжалостный, холодный, мрачный человек, жадный до денег, имеет одну слабость — об этом он признался Каро, и она рассказала мне,— он суеверен, как последняя базарная торговка, как последний торговец краденым. Он боится примет и содрогается от всего, что так или иначе угрожает ему, хотя он смеется открыто надо всем.

И вот я решил, успокоившись, отложить кинжал, который было уже занес над ним. В тот вечер в ресторане мы крупно поговорили, в машине, в дороге, он оскорбительно отозвался обо мне. Я вспылил. Тогда он остановил машину и сказал:

— Убирайся.

Не знаю, что произошло бы дальше, но Каро уговорила его, умолила подождать попутную машину.

— Этой попутной машиной оказалась ваша,— сказал он.— Вот так вы меня спасли. И я приехал в Бейрут. Но, не спав остаток ночи, я утром отыскал Моссара. Он не хотел принимать меня и говорить со мной, но я сказал, что я отыскал его не для того, чтобы продолжать ссору. Он подумал, что я пришел просить прощения и приносить извинения за вчерашний скандал. Он принял меня.

Я молчал сначала. Он издевался надо мной, говорил о том, что он хорошо знает горячий и быстро остывающий характер южан, о том, как он понимает жизнь, и если есть дураки, то их надо учить или уничтожать. Тут я вспомнил, что мне кто-то рассказывал про него, что он разбогател на темных делах, на сделках с итальянскими фашистами, усмехнулся и ничего ему не сказал.

Он продолжал:

— Если ты дурак, то правильно сообразил, что со мной лучше говорить мирно. А если ты такой храбрый, то попробуй бороться со мной. Я посмотрю, как это ты будешь со мной бороться!..

— Я не хочу с вами бороться,— сказал я,— вы и так скоро умрете, вы знаете это?

Он посерел и сжал кулак.

— Ты меня убьешь, что ли?

— Нет! Вы не спешите. Вы все равно умрете здесь! Вас убьют здесь! И убью не я!

— За что меня убьют? И кто?

— Не знаю кто, а за что... За вашу подлость, за то, что вы грязный негодяй...

Он усмехнулся мне в лицо.

— Не понимаю,— сказал он.— Эти слова — пустые слова. А где доказательства?

— Вы хотите доказательств? Пойдите в здешний музей...

— Я плюю на все музеи, пусть туда ходят такие бродяги, как ты.

— А вот подите, я вам советую, и вы увидите гроб с вашей физиономией. Пустой гроб. Он ждет вас. Приготовлен давно. Но вы были далеко. И он ждал и дождался. Теперь вы здесь, никуда не уйдете. Он ждал вас целую вечность. Час настал!

— Что такое, что за чушь! Ты сошел с ума! — воскликнул он.

— Я не сошел с ума. С ума сойдете вы. Идите и смотрите, и будьте вы прокляты!

Он побледнел, но сдержался. А я сказал еще:

— И Каро тоже не будет больше сниматься у вас.

Он сидел молча, потом сказал:

— Хорошо, поговорим после. Дай мне подумать. Приходи завтра.

Я знал, что он пойдет в музей. И увидит те гробницы, в которых нет ни одного покойника, я не знаю, куда они девались. Но на каждом каменном гробе изображение того, чей гроб. Эти головы просто удивительно похожи на сегодняшних людей. Я даже испугался сначала. И одна голова — это голова Моссара. Оказывается, он немедленно побежал в музей. И увидел гроб и свою голову. Он был так поражен, что ему там же стало худо. Я рассчитал верно. Его охватил суеверный ужас. Подлец дрожал, рассказали мне, как собака.

Когда я пришел на другой день в назначенное время, мне дали конверт с деньгами в расчет за съемки.

— Я хочу его видеть,— сказал я,— чтобы сказать на прощание два слова.

— Его нельзя видеть,— ответили мне,— его нет. Он улетел!

Оказывается, он бежал на самолете, летевшем из Бейрута в Париж. Но он бежал не один. Он увез Каро. Как он обманул ее — я не знаю. Как уговорил, чем купил — не знаю. Но он испугался своего гроба. Может, он в самом деле жил в древнее время. Ведь мы снимались в фильме, где тоже переселение душ. Он, может, и в древности был такой же подлец.

— Подождите,— сказал я,— а как же фильм и съемки?

— Я узнал у режиссера. Они переносятся на Кипр. Там тоже есть руины, как и тут. Есть, говорят, и свои шесть или семь колонн. Ну, если семь, одну снимать не будут. Я этого не знаю точно...»

Вот что я от него узнал! Что вы скажете, дорогой мастер, почтенный изобразитель современности Арсений Георгиевич?

— Скажу, что это удивительная история, и мы с вами не могли даже думать, что она так обернется...

— Все-таки этот бесстрашный обратился в бегство. Боится потустороннего мира. Прошлого нет, а прошлое и ухватило его за ногу. А этот Каэтани — он сказал, что пока устроился в одном из здешних кабаре и ему доставит удовольствие видеть нас, раз нам понравилось, как он танцует. После этого он сказал, что поклялся себе доконочить Моссара, и пойдет по его следам, и найдет способ отобрать у него Каро. Вот какая приключилась история. Будет что рассказывать дома, когда вернетесь. Ваши товарищи приезжают завтра вечером. Завтра утром можем пойти в музей, если хотите...

— Хочу,— сказал Латов,— только пойдем пораньше, пока еще не жарко.

В больших, просторных, прохладных залах нового музея почти не было посетителей. Несколько туристов с гидом стояли, почтительно согнув головы, и рассматривали изображение богини Астарты, похожей на крестьянку, надевшую к празднику новое платье. Туристы удивлялись простому изображению богини, обладавшей столь необуз-

данными страстями и призывавшей к любовным неистовствам.

Какой-то сильно задумавшийся ученый стоял перед саркофагом древнефиникийского правителя Ахирама и записывал в маленькую книжечку свои соображения.

Научные сотрудники музея переставляли экспонаты в витрине в глубине зала. Латов и Куликов мельком разглядывали фигурки каменных человечков с удлиненными шапками, напоминающими уборы древних магов, фигурки с таинственными узорами на теле, сосуды всех форм, надписи на плитах и камнях, статуэтки, ожерелья, кольца, копья, барельефы, где разные божества принимали дары, где цари изображались как всевластные боги, распоряжающиеся судьбами простых смертных, где монеты и печати говорили о суете сует, бывшей в мире несколько тысячелетий назад. Они спешили в поисках тех гробов, ради которых пришли.

Но Латов все же остановился перед громадной рельефной картиной древнего мира, потому что она поразила его размахом и начертанными на ней дорогами, связывавшими в седую старину культурные центры тогдашнего мира. От голубого простора Средиземноморья, от финикийских приморских Тира, Библоса, Берита, Сидона, от Гелиополиса шли пути на Балх, Персеполь, на Памир, на Хараппу, Маханджедаро, Хастинапутра, через индийские долины и дальше в Паган и Нанькай.

Потом они увидели хорошо исполненных зверей на фреске древнего храма, увидели Орфея, окруженного зверями и птицами. В глубине зала перед ними предстал четко и точно сделанный макет храмов Гелиополиса. Он живо воскресил в памяти день, когда Латов бродил между развалинами. Теперь он видел, пусть в уменьшенном объеме, храм Солнца, каким он когда-то был. Еще раз подивился он искусству мастеров, создателей совершеннейшей архитектуры, затмившей сооружения всех известных тогда городов земли.

И, наконец, перед ними в длинный ряд выстроились каменные гробы-саркофаги. Они выглядели так, точно их вчера закончили работой и принесли в музей. Века, пролетевшие над ними, не оставили никакого следа. Большие тяжелые гробы были пусты. Латов и Куликов смотрели на головы, высеченные в изголовьях. Действительно, они были удивительно современны.

Нелепая мысль пришла в голову Латова: «А вдруг я узнаю какого-нибудь знакомого?»

Он вглядывался в эти каменные лица. Кого они изображали? Артистов, общественных деятелей, ученых, жрецов, художников, властителей?..

Тот, кто делал их, видимо, старался сохранить полное сходство, он не льстил, а изображал то, что есть, вплоть до бородавок, до уродливых ушей, заплывших жиром щек, кривых носов.

Властное лицо, может быть, сенатора, упитанное и самодовольное, оказалось рядом с сухим, желчным, злым портретом философа с плотно сжатыми губами. А этот похож на артиста...

Сосредоточенные, вялые, суровые и нежные лица как бы обращались из своего загадочного далека: отгадай, кто мы?

Латов и Куликов шли вдоль длинного ряда, и каждый хотел первым сделать открытие. Но они остановились враз перед гробницей, которую искали. Они стояли в большом удивлении и даже в некоторой растерянности.

— А ведь похож,— сказал Куликов,— черт знает что, но похож!

— Я понимаю, почему Моссар испугался. При его суеверии! Бывает же такое! — воскликнул Латов.— Нет, посмотрите, просто здорово! Будто кто с него делал копию. И даже морщинки у губ и на лбу. И лоб его, и подбородок. Вот это совпадение! И тогда, оказывается, были Моссары...

— Я видел раньше эти гробы,— сказал Куликов,— и поинтересовался, чьи они...

— И что же оказалось?

— Этих гробов здесь двадцать пять. Часть их была раскопана до первой мировой войны, часть — во время войны. Кто в них должен был быть похоронен — неизвестно. Нет ни одной надписи. Есть такое объяснение: в те времена богатые люди заказывали себе гробницы загодя, чтобы хороший скульптор сделал не торопясь их последний портрет. Гробы уже с оконченными головами убирали на склад до дня, когда они понадобятся клиентам. Как видите, все гробы пустые, они остались невостребованными. Это говорит или о внезапном нападении врагов, когда и господа-заказчики и мастера — делатели гробов были застигнуты врасплох и уничтожены и уже не могли думать о спокойном погребении, или сильное землетрясение кончило все сразу — и город и жителей — и засыпало ма-

стерскую. У нашего итальянца меткий глаз: он правильно заметил, что Моссара уже ждет гроб. Похож, черт! Он теперь в эту сторону со своим суеверием больше не подастся. Бесстрашие бесстрашием, а удрал в одну минуту. Говорил: плюю на прошлое, а боится, каналья, и прошлого и будущего...

Они расстались у выхода из музея, и Латов долго бродил один. Он не торопясь шел и думал о том, как завтра он улетит из этой страны, в которой был так мало и так много пережил; он думал о том, как они полетят через Париж и он обязательно сбегает на парижские бульвары, которые стоят в дымке апрельской листвы, на Сену, заглянет в Лувр, увидит сокровища живописи и скульптуры; потом будет полет домой, Москва, его встретят жена, близкие, друзья, и он будет рассказывать странную историю, случившуюся в развалинах храма Солнца, рассказывать долго, подробно, ничего не пропуская. Одни будут восторженно слушать и ахать, а другие — подсмеиваться, говорить, что он все это выдумал или что все это ему рассказали, а потом он поедет за город любоваться первыми весенними зорями, бродить по сосновому бору, видеть прилетевших грачей, и постепенно забудется эта дальняя поездка, и уйдет в туман все это странное, чужое, случайно вставшее перед его глазами.

В большой задумчивости он, сам не зная как, вышел к морю. И когда он увидел его, необъятное, несравнимое, колыхающееся, как будто шумно дышащее, живое, нежное и тревожное, он сел на берегу, и по его волосам пробежал свежий ветер, как будто этот простор послал ему привет издалека, погладил по голове.

Это море звали Средиземным. На его берегах жили многие народы. От иных не сохранилось даже имен. Возвышались и рушились царства, приходили и уходили, как песок морской, поколения, изменялся вид его берегов, а оно оставалось таким же, каким увидел его кормчий первого корабля много тысячелетий тому назад.

Море было у самого берега бледно-зеленого цвета, но в этом прозрачном изумруде играли синие и белые искры. Уходя все дальше от берегов, синь и зелень темнели, и расстилались уже ярко-фиолетовые пространства, над которыми сверкала серебряная ослепительная полоса горизонта.

Слева в море сбегал гористый берег, над которым клубились белопенные сборища облаков. Едва-едва на берегу

можно было разглядеть белые домики, над которыми все выше и выше вставали горы, темно-зеленые и вишнево-дымные, выцветшие, пустые, с коричневыми выступами.

Берег казался застывшим и сонным. Море колыхало большие легкие прозрачные волны. Латов увидел, как на бледно-зеленой площадке моря засиял как бы голубой шарф, брошенный Нереидой.

Ко всему тому это еще было море, напоенное весной. Тысячи лет оно радовалось весне и приветствовало тех, кто доверялся его большим, влекущим вдаль волнам. Земля была когда-то юной и веселой, и зеленые кедровые леса спускались, как дикари в зеленых шкурах, к пене прилива. Все дышало предчувствием новых дорог, новых чувств, новых открытий. Валились тяжелые кедры и становились кораблями, которые плыли в новые походы в неизведанные края, и перед этим люди приносили жертвы тем богам, чьи одинокие статуи стояли теперь, омертвев, в стенах того зала, где рядом с ними белеет макет Баальбека.

Латов сидел у самого моря и тихо следил, как к его ногам приходят изумрудно-голубые волны и как шумно хотят рассказать ему о той стране, откуда они пришли.

Там, вдали, показывая коричневую бугристую спину, среди вздымающихся бездн показывался темный, с блестящими, осыпанными пеной рогами бык — бог, укравший Европу и уносивший ее в неизведанные края, стан Нереиды, игравшей с голубым шарфом, тени парусов древних кораблей, уходивших за подвигами...

Паруса таяли. Облачные завесы спускались все ниже, закрывая верхние ярусы гор.

Латов сидел долго во власти непонятных, смутных мыслей, почти сновидений.

И вдруг как бы из пены морской поднялись и встали перед ним шесть золотистых сказочных колонн. И он понял, что они навсегда останутся в его сердце и в его памяти.

СЕЯДЖИ

Он сидел на темном балконе, в широком, низком кресле с откинутой назад головой. Сильные, влажные руки неподвижно лежали на коленях. Спинка кресла была из бамбука, и сквозь легкую ткань рубашки и куртки он чувствовал всю жесткость ее шершавых плетений.

Душная, тяжелая ночь раскинулась над ним, над затихшими улицами и домами, в которых погасли поздние огни, над вековыми акациями, тамариндами, пальмами знакомого ему с самой ранней юности, священного для каждого бирманца города Мандалая.

Стояла такая звонкая, черная тишина, точно он был один в этой большой, неприютной, пустынной гостинице. Да, он снова здесь.

Его знают по всей стране, от угрюмых ущелий пенистого Чиндвина, голых Качинских гор до рисовых полей Великой Дельты, до зеленого архипелага Моргуи с его сотнями больших и малых островов. И все называют его просто — Сеяджи, что значит «великий учитель, великий старец».

Было у него имя, полученное при рождении, потом было у него другое имя, которым он подписывал все свои произведения, создавшие ему славу народного писателя: стихи и поэмы, пьесы, сатиры, рассказы, роман, где ритмическая проза перебивалась стихами. Но имя Сеяджи как бы увенчивало все труды его жизни, и он принял его и привык к нему.

Где бы он ни появлялся, всюду радовались ему, встречали его с поклонами, говорили с ним почтительно и сердечно. Так было и сегодня в Мандалае. Днем он видел ве-

ликое множество людей, а сейчас ночь пришла разделить его бессонницу, его одиночество.

Неуклюже крутился под потолком фён, бесцельно рассекавший неодолимую духоту. В это время года жаркая, влажная, сверкавшая мириадами раскаленных звездных осколков ночь была настоящим мучением для местных жителей, не говоря уже о заезжих иностранцах. Они могли поминутно бросаться под душ, или заворачиваться в мокрые простыни, или глотать ледяное виски, принимать разное снотворное — ничто не могло им помочь.

Они могли раздеться догола, лечь прямо на циновки, на каменный пол, и все равно они вскакивали, обливаясь горячим потом. Если же с отчаяния они пробовали завернуться с головой в одеяла, то тут же чувствовали, что их тела начинают рассыпаться кусками тяжелого пепла, как будто их заживо сжигают в крематории.

Мандалайская ночь беспощадна. Темным жаром пышет каждый угол комнаты, горячий зной стекает с неподвижных, покрытых черной листвой деревьев, влажность плавает в воздухе, который не дает ни глотка прохлады.

Сеяджи с детства привык к таким ночам, к иссушающей темноте. Он сидел прямо, откинув голову назад, и смотрел в ночь печальными усталыми глазами.

Его лицо блестело от пота, и он вытирал его время от времени большим клетчатым платком. Ему было трудно дышать. Годы брали свое. Последнее время его часто посещала бессонница. И сегодня такая ночь — сна не будет.

Он расстегнул ворот двубортной легкой оранжевой куртки. Под ней влажная и неприятно липкая белая рубашка. Под пальцами ломко шуршали новые серые с зелеными полосами «лонджи». Он скинул сандалии. Его любимая палка с инкрустациями поблескивала из угла узорчатыми украшениями.

Он сидел, тяжело дыша. Морщины на его блестящем от пота бронзовом лице были резко обозначены. Седые усы точно вспенились, повлажнев. Он смотрел на большое, темное, темнее ночи, дерево. Оно вставало, расплываясь в темноте у балкона, как будто ждало, когда можно будет заговорить с великим старцем о своей долгой жизни.

Фён визгливо гонял под потолком горячие волны. Слегка шевелилась, смутно белела раскрытая противомоскитная сетка над кроватью. Сеяджи смотрел в ночь, и на ее лакированном черном экране перед ним плыли,

дробясь, мелькали картины, обрывки долгого, только что прошедшего дня.

Он прилетел в Мандалай на старом, дребезжащем, как телега, самолете, который еще залетал передохнуть в Хехо, прежде чем доставить Сеяджи на место. Уже на аэродроме его окружили тысячи людей. Тут перемешались и горожане, и приехавшие увидеть его крестьяне из окрестностей. Многие махали голубыми флажками. Дети в национальных костюмах били в барабаны, играли на трубах, пели. Улыбающиеся золотощекие девушки в белоснежных блузках, в розовых, синих, красных праздничных, расшитых всеми узорами юбках, с лучшими ожерельями на смуглых шеях, с цветами в руках кричали ему нараспев приветствия, провозглашали лозунги, подносили цветы.

Потом его посадили в большую черную машину, в которую накидали много белых и розовых цветов. Она медленно двинулась. За ней следовал целый поезд машин. Впереди шел «джип» с голубым флажком мира. Сидящие в нем непрерывно возвещали о том, кто следует за ними.

Улицы города шумели, как в дни храмового праздника. Незаметно наступил вечер. Засияло много огней. Собрание назначено было в старом, прославленном монастыре. Вокруг Сеяджи теснились монахи. Их оранжевые одеяния вспыхивали, как гигантские цветы. Звучали гонги, призывавшие на собрание. Где-то гудели барабаны.

Зал не мог вместить всех желающих видеть и слышать Сеяджи. Стояли во дворах монастыря, во всех переходах, на улице. Всюду были репродукторы. Стульев в зале не хватило. Люди расположились на полу, в проходах, даже сзади сидящих в президиуме. Было тесно и душно. Ни один человек не ушел. Сеяджи взглянул на первый ряд. В новых, гладких, как будто накрахмаленных желтых одеждах сидели совсем молоденькие монахи, почти мальчики. Он улыбнулся им, вспомнил — сам был таким. Сухие, похожие на высушенных стрекоз старухи курили свои толстые зелено-серые сигары. Клочья дыма плавали в воздухе, как от чудовищных курильниц.

Читали разные приветствия, стихи, речи. Потом попросили Сеяджи, чтобы он сказал свое слово. Он всегда выступал охотно, сильно. И сейчас почувствовал себя как в далекие прошлые времена, говорил долго, пускал шпильки в тех, кто сидит там, наверху, в Рангуне, и занимается не тем, чем нужно.

Все там у них уходит на пререкания, на взаимные упреки, на бесплодные рассуждения, а надо идти дальше по пути полного освобождения народа, чтобы он имел жилище и землю, чтобы он не голодал, чтобы ему хорошо жилось. А вы, монахи, когда-то здесь, в этом монастыре, на этом месте, поднимали народное знамя, помогали народу, вставали против англичан. Помните те годы? Вы звали народ к восстанию против захватчиков из-за моря — против самураев! Вы умели говорить, а теперь почему молчите?! Где ваши слова, где ваши дела? Эх вы, монахи!

Он мог бы еще долго говорить. Он громил спекулянтов и власть имущих, смешил людей резкими народными анекдотами, вспомнил, как в свое время написал острые стихи про одного министра, который уж так заискивал, так подлаживался к англичанам, что очень походил на обезьяну, целый день носившуюся по лесу как сумасшедшая с дерева на дерево и оравшую все одно и то же. Порезав о ветку то, что является украшением каждого обезьяньего самца, она взвилась и заорала уже по-другому. Таков был этот министр, на которого сегодня похож кое-кто...

Народ смеялся и шумно кричал от восторга. Сеяджи был в ударе. Вспомнились те времена, когда речи его звали бирманцев к действию, но сейчас он стал говорить о том, как нуждаются люди, чтобы был мир, призывал к бдительности против империалистов, которые, как притаившиеся хищники, следят за внутренними распрями в Бирме, а потом, глядишь, сговорятся и набросятся, чтобы снова разорвать страну на куски...

Он понял, что надо кончать, и, помахав залу рукой, сел. Потом пели монахи, речи иссякли. Все пошли из зала. Девушки опять поднесли Сеяджи цветы — сладко пахли в маленьких горшочках нежные орхидеи, ярче их блестели глаза девушек. Все пестрое общество достигло гостиницы, где начался ужин. Много ели и пили, и опять вставали разные почтенные люди, и говорили речи, и подымали сладкой водой тосты за Сеяджи, за гостей, за мир.

Танцевали местные балерины, со всеми тонкостями соблюдая классические правила, но Сеяджи особо понравился выступавший после красоток замечательный жонглер. Это был мастер игры в чинлон. Он так ловко перекидывал сплетенный из прутьев бамбука мяч, что можно было забыть все, следя за его невообразимыми движениями. Удивительно управлялся с мячом этот молодец! Мяч то взлетал к потолку, то исчезал в зале, то снова прыгал в

руке искусника. Сейджи и сам когда-то неплохо играл в чинлон, но этот человек — колдун своего дела!

Сейджи устал от дорог, от долгого дня, от этих бесконечно повторяющихся торжеств. Но что он мог сделать, если все хотели отметить его восьмидесятилетие!

Подумать только — он живет на свете уже целых восемьдесят лет!

Разве видели те, кто его чествует, то, что видел он?

В такую бессонную ночь невольно спускаешься в подвалы памяти, блуждаешь по близким и дальним годам, ворошишь воспоминания, ставшие легендами. Сколько он видел, сколько пережил в одном этом старом Мандалае!

Вон сверкает в ночи видная с балкона белая полоска воды. С детства знаком ему широкий, глубокий ров, заросший сегодня камышом, кувшинками, травой. Ров обходит остров, на котором жили когда-то могущественные владыки Бирмы.

Сюда, за высокие красно-белые стены с зубцами и бойницами, вход простым смертным был запрещен. Тут был особый мир роскоши, наслаждений и красоты. На золотом троне сидел повелитель, в Лилейном павильоне с золочеными колоннами жила королева. Кругом стояли сказочные каменные и деревянные павильоны, над ними возносил золотой шпиль главный дворец. Выгнутые мосты с узорными крышами вели из города в этот спрятанный от жизни уголок.

Сегодня можно пройти между поредевших деревьев пустынного парка, постоять над прудами, покрытыми тиной и лотосами, увидеть груды щебня и мусора на террасе, где пустота забвения и горячая пыль.

Японские и английские бомбы начисто смели с лица земли прекрасные дворцы и пагоды, которые давно уже не знали королей. Может быть, только он, Сейджи, единственный, кто хорошо помнит те далекие дни семьдесят лет назад, когда ему было десять лет и он бродил, охваченный тревогой, вместе с мандалайцами возле стен и мостов и видел, какое смятение царит вокруг. Видел солдат в красных мундирах, тащивших, именно тащивших, так ему тогда казалось, по мосту спотыкавшегося последнего короля Бирмы — неудачливого Тзи-бау.

Он хорошо помнит солдат, бегавших с факелами, стрелявших и вопивших, грабивших дворцы острова. Потом иные из них пьяные валялись на площади, в пыли, иные хватали кричавших, как птицы, девушек прямо на улице.

Он видел разбросанную на лужайках сломанную мебель, старые книги, истоптанные тяжелыми солдатскими сапогами.

В руках солдат блестели золотые статуэтки, осыпанные драгоценными камнями, вышитые шелками наряды, дорогие кувшины и чашки из дворцовых комнат. Стояла завеса дыма и пыли. Множество голодных, исхудалых собак бродило повсюду. Еще он помнит маленькие костры у домов. Вокруг них толпились возбужденные мандалайцы. Английские солдаты волокли по улицам тела расстрелянных бирманцев, которых они называли почему-то разбойниками. А это были люди, которые сопротивлялись захватчикам.

Но все же больше всего запомнилась ему та толпа красномундирников, которая гнала последнего короля из дворца к пароходу на берег Иравади. Люди говорили разное: одни — что король был добрым к простому народу, а что все плохое делала его жена, властная и злая женщина, другие поносили короля за разорение страны, за жестокости и бессмысленные казни. Мальчик же видел одно: вот так кончается власть земных всесильных владык, на смену которым приходят заморские владыки в красных мундирах и черных сюртуках.

Но прошли времена, и старый, умудренный всем опытом долгой жизни Сейджи стал свидетелем того, как эти новые владыки в пробковых шлемах, надменные и жестокие англичане, тоже обратились в бегство, и это бегство было самым обыкновенным зрелищем. Они бросали свои бунгалоу, свои банки, резиденции, хватали грузовики, нагружали их всем, что попадется под руку, выстраивались в очередь на самолеты, грузились на пароходы, набивали вагоны железной дороги, уезжали даже на мотоциклах и велосипедах. Так кончалась их власть, длившаяся более полувека...

Их сменили новые владыки, маленькие, мрачные желтолицые люди в хаки, на знаменах которых было восходящее солнце. Низкорослый, широкоплечий генерал, прославившийся тем, что он положил начало японскому завоеванию Китая, гордо провозгласил эру «великого восточноазиатского совместного процветания» и поздравил бирманцев с тем, что Бирма входит в сферу этого процветания. Пусть народ Бирмы радуется...

Затем начались те же грабежи и убийства, какие были и при англичанах. Страна стала жить во власти тиранов,

безжалостных, коварных и жадных. Они грабили так, точно у них дома ничего не было. Они вывозили все продукты, все станки и машины, все научное оборудование, изделия народных мастеров, материи, мебель, посуду — все, что они находили в домах, в лавках, в музеях.

Англичане, отступая, взрывали нефтяные скважины, взрывали мосты и дороги, топили корабли, портили машины, чтобы они не достались японцам, забывали, что это — народное имущество и оно принадлежит не англичанам, а бирманцам. Японцы и англичане бомбили города и селения. Города горели, как бамбук, падали древние сооружения, в развалины превращались создания великих мастеров. Бирманцы брали оружие и уходили в джунгли, чтобы бороться с новыми угнетателями. Как жалел Сейджи, что он стар и не может держать в руках оружие!..

Но пришел конец и «великой восточноазиатской эре совместного процветания». Гордый генерал со злыми глазами и коварной, сладкой улыбкой, сидевший, как на троне, в Мандалае, в один мрачный для него день обнаружил, что армия, которая должна была под его руководством завоевать Индию, вдребезги разбита, развалилась, превратилась в толпы бегущих от возмездия зарвавшихся завоевателей. И гордый самурай исчез так поспешно, как будто его никогда и не было в Бирме.

Из лесов выходили бирманские партизаны и отбивали транспорты риса у бегущих самураев, спешивших поскорее оставить страну, которую они ограбили и усеяли трупами мирных жителей.

Так видел Сейджи их всех — властителей, по очереди обращенных в бегство! Когда будут убегать последние — не чужие — свои угнетатели: помещики, ростовщики, спекулянты, когда народ будет совсем свободен? Если бы дожить до этого великого дня! Может быть, наградой за все твои труды, за всю жизнь будет это зрелище! Надо дожить! Надо проверить себя на грани лет — подходят трудные годы, вот и в эту душную ночь не так дышится, как прежде.

...В этой ночной тьме рождаются горячие, неведомые волны, точно прибой давно отшумевших страстей и сомнений ударяет в сердце. Видения Мандалая проходят по ночному экрану.

Вот сейчас Сейджи всматривается в какой-то золотистый блеск, уходящий в синюю полутьму. Перед ним возникает тот золоченый, с неземным спокойствием Будда

знаменитого монастыря, в котором было собрание. Он поклонился ему, проходя в зал, как господину этого дома, как скромный гость высокому хозяину.

И сейчас же он увидел себя погруженным в зной не мандалайской ночи, а широкого, блистающего полдня. В тени исполинского баньяна, захватившего полполяны рощей своих многочисленных стволов, под навесом густой темно-зеленой бесчисленной, как народ, листвы сидел человек, при одном взгляде на которого было видно, что он отказался от всего земного. Он сидел в священной позе молитвенного раздумья, глубокого, как самогипноз, говорившего всякому, что перед ним ищущий пути. Он разгадывает тайну земных страданий, он уже равнодушен ко всем соблазнам, никакие страсти не поколеблют его каменного сосредоточия, он ждет встречи и слияния с Великим Просветленным, чтобы понять последнюю мудрость мира.

Он сидел совершенно голый, и контраст этого высохшего, аскетического тела и роскошной силы цветущего, сияющего пышной зеленью баньяна был так разителен, что Сеяджи — он был тогда молод и впечатлителен — не мог не остановиться, пораженный многими мыслями.

Да, есть и такой способ совершенствования. Он сам носил оранжевую тогу, читал священные книги, думал, как постичь совершенство мудрости, он знал, что такое Трипитака — Три корзины учений, где записана мудрость самого Гаутамы Будды.

Но здесь, на поляне, пели птицы, цветы, наклоняемые слабым ветерком, точно танцевали в восторге, славя расцвет красок, силу жизни, переливающуюся в самом малом растении, в пыльце крыльев бабочек и в тяжелых, могучих одеждах великанов леса.

Мир гудел всеми звуками, окружая аскета с потухшими глазами, глухого ко всему разнообразию жизни. Пусть он достиг нирваны, но его душа умерла для радости. А ведь сам Гаутама любил людей, и разве он в силу этой любви не оставил людям плот, на котором он переплыл поток страданий? Вот он, выбор между мертвым последним отъединением от людей и жизнью, полной борьбы, страданий и человеческой радости. Для Сеяджи не было этого выбора. И он поспешно оставил цветущую поляну с мрачным украшением в виде отшельника, отрекшегося от жизни, и пришел в деревню, увидел рисовые поля, крестьян, стоящих в темной теплой воде, и обрадовался труженикам,

которых можно было назвать настоящими кормильцами родной страны.

Сейджи хорошо помнит и другой день, когда он шел с крестьянами, выжигавшими джунгли под новое поле. Он шел ранним утром, пока еще была прохлада. Тропа вилась по скату холма над ручьем, вырывшим свое ложе глубоко внизу. С тропы были хорошо видны джунгли, и старый крестьянин остановил его и сказал шепотом: «Смотри!» Он посмотрел. На той стороне ручья, в небольшой ложбинке, между кустами акации, перевитыми лианами, на густой траве спал, раскинувшись, как большая сытая кошка, полосатый зверь. Он спал крепким сном, уверенный в своей безопасности, солнце играло на его лоснящейся спине, как будто гладило, любуясь красотой хищника. Крестьяне прошли тихо поверху, по тропе, все время оглядываясь на тот берег, где лежал тигр. Потом один из них сказал: «Господин леса отдыхает! Не будем его будить».

Золоченый, тихий, мудрый Гаутама Будда, Великий Просветленный, был господином мира, полосатый спящий тигр был господином леса. А разве эти спокойные, уверенные в себе, неутомимые, скромные труженики — крестьяне, лесорубы, рыбаки, ремесленники, люди разного труда, разве они не господа жизни? Они господа!

Такин — это господин! А тогда называли такинами только англичан! Сейджи стал одним из учредителей того общества, участники которого стали звать себя «такинами», а общество они назвали «До Бама асиайоун» — Бирма для бирманцев! Мы — бирманцы, мы — такины!

Как давно это было, как давно! Тот баньян, под которым сидел отшельник, наверное, уже захватил всю поляну своими воздушными корнями, тот отшельник уже давно растворился в вечной нирване, тигр прожил свой звериный век, а Сейджи в бессонную ночь в Мандалае сидит в широком, низком кресле и ест какие-то чудные лепешки, приготовленные для него его другом — знатоком трав и цветов. Эти лепешки, как бетель, дают прохладу, освежают сухой рот и не имеют красного красителя, который надо отплевывать ежеминутно.

Совсем не трудно не спать целую ночь, когда тело погружено в молчание, а воображение сменяет, работая вместо сна, одно воспоминание другим. А между тем эта бесконечная ночь, мучающая все живое духотой и влажностью, все же движется по заданному ей пути, и уже не так далеко до зари.

Его чествовали вчера в Мандалае, потому что он был живой историей страны. Он был писателем, которого называют основателем современной бирманской литературы. Он был патриотом. Чувство национального достоинства он сделал всеобщим достоянием.

Дух революции всегда жил в нем. В день Сопротивления, в весенний мартовский день 1945 года, он был счастлив, когда решили поднять всеобщее народное восстание против японских империалистов. Теперь уже выросли деревья на той лужайке у Шведагона, где было принято это решение.

Потом он стал борцом за мир. Он увидел далекие, неизвестные ему страны, большие города, где собирались люди разных народов, чтобы поднять свой голос против атомных вооружений, призвать людей всего мира на борьбу с угрозой новой войны.

Сеяджи видел Европу, ходил по ее древним площадям и улицам. Больше всего ему понравились красные звезды над Кремлем. Он смотрел на них вечером, и они казались ему большими, сильными птицами с красными крыльями. Ему нравилось в Москве; он хотел, чтобы и Бирма вступила на путь социализма, единственный нужный ей путь; ему нравилось, что советские люди провозгласили труд хозяином жизни! Он стоял на берегу Волги, и она напоминала ему родную Иравади, только на берегах русской реки не было пальм и пагод. Он был в далеком Пекине, летал над самыми высокими горами мира и всегда думал о Бирме и ее будущем.

Как и всем народам, ей нужен мир, а в ней тлеют угли гражданской войны.

Он сам писал, негодуя, об этой драме людей, которые по разным причинам ушли в джунгли, не хотят ни о чем слышать; с ними так трудно разговаривать, а надо всем вместе жить и работать для родины.

Много еще в мире бездомных, голодных тоже достаточно, развалин после войны осталось немало. А он сам — есть ли у него на старости лет спокойный приют?

Однажды в Рангуне друзья хотели проводить его с собрания домой. Они были не бирманцы, они были из одной хорошей страны. И он сам, не зная почему, вдруг сказал: «Домой? У меня нет дома...» Они удивились искренне, решив, что он шутит, и он пояснил: «Мой дом — это поле битвы! Я сражаюсь с зятем, мне не нравятся его убеждения!»

У него небольшой, скромный дом в Рангуне. Когда на его улице натягивают экран и показывают фильмы, машинам не проехать, и мальчишки останавливают их и, только узнав, что едут к Сейджи, пропускают их дальше, но к самому дому все равно не подъехать. Но не в этом дело...

Дело в том, что ему восемьдесят лет! Жизнь прошла! Великие дела, великие труды, от которых болят старые кости. И великое одиночество. Все позади! «Мы идем от одного обольщения к другому,— сказал Просветленный.— За новыми разочарованиями встает новый соблазн!» Мудрый Гаутама прав и неправ!

Если есть очарование старости, он испытал его. Это радость того священного баньяна, что стоял на цветущей поляне его молодости, сознавая свою силу и превосходство над всяким ложным движением. Это и мудрость познания мира. Он знает все, чего не знают молодые поколения. Он видел то, он испытал то, чего они не видели, не испытали. Есть у него разочарования, есть, но...

И есть соблазн все оставить и как-нибудь вот такой бессонной ночью встать, взять свою палку как дорожный посох и уйти, уйти из дома, из города и пойти в ночь как странник по стране.

Идти через всю страну не спеша, вставая с солнцем, ложась с темнотой. Всюду каждый день видеть людей и говорить с ними о жизни. Раствориться в народе, как в годы юности. Видеть, как трудятся на полях, как играют дети у порога своих родных домов, что стоят на сваях, видеть матерей, кормящих младенцев в тени семейного дерева, говорить с деревьями, с ручьями, с облаками, несущими влагу полям...

Выезжать с рыбаками в море, разговаривать с нефтяниками из Магве, с учителями, призванными просвещать молодежь, с горцами-лесорубами, знающими тайны лесов, с пастухами, пасти с ними овец под сенью шанских сосен или пробираться в лесах Акьяба, видеться с друзьями, старыми монахами, участниками Сопротивления, пойти в самые дебри джунглей и говорить с теми упорными людьми разных взглядов на жизнь, что ведут бессмысленное существование, опасное и непонятное, с этими одичавшими от долгой жизни в глуши... Да, все это было бы замечательно!

После дня, проведенного в дороге, хорошо заночевать в деревне, среди простых друзей, есть любимый карри, острый, пряный нгапи и рис, отваренный в рыбьем бульоне, сладостный танджантхамин, пить чай с солью и

сахаром и спать на бамбуковой циновке под высокой луной.

Вот уж эта бессонная ночь Мандалая! Сколько чудесных видений ты приводишь в своей завораживающей тишине! Но, может быть, уже поздно думать о новых дорогах, когда кончается главная дорога? Может быть, уже итог жизни где-то рядом? И смерть совсем близко и наслаждается мечтами старика, который с таким трудом дышит и собирает последние силы... Смерть — это тоже бессонница, тоже ночь!

А может быть, в нем говорит смертельная усталость? Ночь Мандалая, ты можешь сказать, что такое жизнь? Ты отвечаешь, как поэт поэту, как мудрец мудрецу: «Это священный поток Иравади, вечно стремящийся с гор через ущелья, долины и равнину в море. Солнце сменяет мрак, встает новый день, новые волны приходят с севера, от снежных вершин, новые лодки, новые люди в лодках проплывут в вечных берегах, и снова настанет ночь, и каждую зарю встречает новая река, потому что Иравади обновляется непрерывно».

И он проплыл берега, которые ему положено проплыть, и к ним уже не вернуться больше. Его лодка идет в Великую Дельту и оттуда в широкое, нескончаемое море вечности.

И только запах земли, как яркий, ни с чем не сравнимый запах цветка гонго, душный, как эта ночь, будет с ним до конца.

И бесстрастная улыбка золоченого Будды, господина мира, там, на горе, в храме, куда ведут девятьсот ступеней, которые он не раз одолевал. Там есть скульптурные композиции, которые изображают жизнь человека с рождения до смерти. Там есть и Будда с кинжалом над спящей женщиной. Там есть женщина с ребенком. И все они подвластны закону исчезновения, и юные и старые. Там есть и Дух со своим войском, призванный охранять храм, но японские солдаты отбили всем его воинам головы, чтобы остаться в победителях. Но и тех японских свирепых солдат больше нет, как нет и женщины с ребенком и спящей женщины. Их жизни проплыли, как лодки по Иравади к морю.

Может быть, сегодняшняя ночь последняя и для него... Ведь смерть может стоять за этим черным, как облако, деревом. И смерть — это тоже бессонница, тоже ночь!

Но иногда она приходит только посмотреть на человека. И отступает, посмеиваясь. Она умеет шутить.

Раз в жизни он испытал это. Он ехал в поезде из венгерского города Будапешта в Советский Союз. С ним ехали в вагоне его соотечественники и представители разных азиатских стран. Вагон трясло и качало из стороны в сторону. Он был один в купе, и ему было совсем плохо. Помимо того, что он безумно устал, он, видимо, простудился, европейское лето хуже бирманской зимы (хотя трудно в Бирме установить времена года). Ну, все равно... Он спал урывками, просыпался, его знобило. Сны носились, как бред, и не были вполне снами. Это были, как сегодня, видения прошлого. Ему казалось, что он просто никуда не доедет, умрет в дороге. Он с трудом закутался в плед и впал в забытье. Время остановилось.

И вот после долгого, тревожного сна он почувствовал, что вагон вместе с ним медленно, как бы подчиняясь неведомой силе, поднимается в воздух, плывет вверх, точно вдруг стал вертолетом. Но, как известно, с вагонами ничего подобного происходить не может.

Он сначала не отдавал себе отчета, как человек, подчиняющийся неизбежности совершающегося. Ясно, что это явление неземного порядка и, может быть, касается только его одного.

Он сначала хотел сопротивляться, но вдруг мысль, что это и есть смерть, смутила его сознание, и он покорно отдался этой мысли и лежал с закрытыми глазами, удивляясь только своему спокойствию и непрерывному, чуть скрипящему движению вагона, устремляющегося вверх. Какая-то странная тишина! Может быть, все ощущения теперь касаются только его и вовсе это не вагон поднимается в небо, а его душа свободно уже витает, а жалкое тело не понимает, что происходит акт великого процесса природы, который каждый может ощутить только раз в жизни...

Появилась необыкновенная ясность происходящего, ничего не меняющая в его телесном облике, даже боль и усталость прошли. Но тут какой-то резкий толчок заставил его сесть на диван, и он, не отдавая себе отчета, поднялся, опираясь на вагонный столик, последним, судорожным движением опустил раму и высунулся из окна.

В открытых окнах медленно поднимающегося вверх вагона виднелись лица его друзей из Бирмы, Индии, Цейлона, и на этих лицах, мужских и женских, были написаны все чувства — от настоящего испуга до простого удивления. И они смотрели на него, как будто ждали, что он объяснит им, что происходит.

Он видел вдалеке какие-то сараи, постройки с красными крышами, телеграфные столбы, дорогу, бегущую неизвестно куда.

Тут слева раздался тихий, но искренний смех, удивительно четко прозвучавший в тишине раннего утра. Он взглянул, еще ничего не понимая. На маленькой пустой деревянной платформе стоял аккуратный, в высоком белом тюрбане и в черном сюртуке, так хорошо знакомый ему индийский писатель и ученый из Амритсара и смеялся тихим, хитрым смехом.

Вагон действительно медленно поднимался вверх, но ему было видно, почему это происходит. Никакого чуда не было.

Вагон отцепили от поезда и отвели на запасной путь, потому что надо было менять вагонную тележку. Кран приподнял вагон медленно вверх, и железнодорожники начали ставить его на новые катки, чтобы он мог идти по широкой колее прямо в Москву. Остальной состав поезда дальше пограничной станции не шел. Пассажиры пересаживались в другой поезд. Вот и все...

Сеяджи засмеялся и сейчас, вспомнив то венгерское утро. Глаза Сеяджи закрыты, но все равно сна не будет. Он съест все лепешки, которые заменяют бетель, приносят освежение, снимают усталость. Можно вспоминать до утра.

Что только не вспомнится в бессонную ночь в старом Мандалае! Особенно когда тебе уже исполнилось восемьдесят лет. Подумать только — восемьдесят лет!

ЗЕЛЕНАЯ ТЬМА

— Гереро? Ты спрашиваешь про гереро? Ты сейчас о них узнаешь!

Старый отставной генерал инженерной службы специального африканского корпуса Ганс фон Дитрих, в грубой, давно отслужившей свой срок охотничьей серой куртке, пошел, хромая, задевая тяжелые кресла, в угол своего кабинета.

Пошарив за большим шкафом, он вернулся к письменному столу, шутливо потрясая ветхим черным копьем с пыльным, тусклым наконечником. В другой руке он держал продолговатый узкий щит, цветные узоры которого стерлись от времени, и он казался игрушечным и бутафорским.

— Вот гереро! — сказал он, ставя копье в корзину для бумаг, прислонив его к стенке и выставив щит перед столом.— Ты будешь смеяться, а в те времена тысячи чернокожих воинов, вооруженных вот такими копьями, сражались против наших войск и были не таким легким противником. Они, правда, не мазали наконечники копий и стрел ядом, но метко пускали стрелы и метали копья со всей яростью одержимых. Видишь ли, им не нравилось, что немецкие поселенцы стали возделывать лежавшие без всякого проку роскошные африканские земли. Они ввязались в непосильную войну, и эта война длилась долго, целые годы, пока мы не приняли серьезных мер...

— И что с ними стало? — спросил Отто вежливо и равнодушно, потому что ему было совершенно все равно, какая судьба постигла несчастных гереро, вздумавших потягаться с императорскими войсками.

Ганс фон Дитрих пренебрежительно махнул рукой:
— От них осталось воспоминание и земли, которые мы, немцы, сделали цветущими и которые у нас потом незаконно, грабительски отобрали англичане. Им сегодня потомки наших гереро и готтентотов доставляют большие неприятности. Так им и надо! Просто странно слышать, что есть люди, которые хотят уверить мир, что африканцы что-то могут сказать человечеству. Это смешно! Но богатства, которыми обладает там земля, и посейчас неслыханны. Мне, как ты знаешь, в юности удалось побывать у дяди Рихарда в гостях, и я был в полном восторге от того, что увидел. Там было все, чем тропическая природа может одарить человека: слоновая кость, каучук, фрукты, пальмовое масло, кожи, золото, алмазы, разные руды. Немецкие колонисты завели образцовое хозяйство...
— Там, наверное, вы имели, дядя, много романтических приключений?
— Приключений? Было кое-что, было... Я много странствовал, охотился на слонов, на жирафов, на крокодилов. Однажды я, сознаюсь тебе, испытал настоящий страх. Я бежал от раненого черного буйвола, и он преследовал меня со всем упрямством дикаря, уже пораженного насмерть. Я бежал, задыхаясь, успел только вскарабкаться на кирпичную стенку фермы и даже не имел сил перепрыгнуть на ту сторону ограды. Я лежал на стене, а буйвол бил рогами в стену ниже меня, и я до сих пор помню его косматый затылок и глаза, похожие на два кровавых шара. Его добили охотники, а если бы я не добежал до этой спасительной стены, я бы не говорил сейчас с тобой... Африка — это Африка...
— Дорогой дядя, я ведь еду не в Африку, а в Азию, я еду в Бирму по вашему совету, по вашей протекции. И кроме того, времена сильно изменились...
Ганс фон Дитрих печально вздохнул и, нахмурясь, оглядел шкафы, где покоились большие устаревшие тома в черных переплетах и связки карт, которые больше не пригодятся в жизни. Отто скучающе смотрел на выцветшие, пожухлые картины, изображавшие битвы прошлого, где рядом с Вейсенбургом были Форбах и Сен-Прива, на истертые ковры, чучело ссохшегося крокодила, рога антилопы, мебель, сделанную почти сто лет назад. От всего этого веяло пыльной тоской, скукой и безвыходностью. И сам дядя в своей сильно потертой куртке, с седыми, коротко подстриженными усами походил на замшелого гно-

ма, стерегущего пещеру устаревших кладов, не имеющих никакой ценности в глазах молодого поколения.

Ганс фон Дитрих вздохнул еще раз и, усевшись поглубже в кресло, заговорил, как ему казалось, о самом главном. Эти рассуждения Отто слышал не впервые, но все равно сегодня надо слушать особенно внимательно, потому что завтра он все-таки улетает в Бирму, и не стоит обижать старика перед самым отъездом.

— Дорогой Отто, я не раз уже говорил с тобой на эту тему. Молодые люди всегда иных мыслей, чем их отцы и матери. Да и, кроме того, вы, молодые, принадлежите к особому поколению. Вы мальчиками видели трагическое падение Германской империи, когда в крови, в дыму, в развалинах, казалось, исчезает все и больше нет никаких опор, кроме отчаяния и бессильной ярости. Вы могли вырасти людьми, почти лишенными всех свойственных настоящему немецкому человеку чувств, потому что оккупанты — враги нашего отечества — могли воспользоваться нашей тогдашней слабостью и внушить вам презрение и неуважение к родной истории, к родным традициям. Но этого не произошло. Сами враги поняли, что мы сильный народ, который возродится при любых обстоятельствах. И мы возродились. Мы снова богаты и сильны. Почему я заговорил об Африке? Потому что ты, Отто, сегодня в Азии будешь тем, кем был я в свои молодые годы в Африке. Ты продолжишь дело твоих предков — дело создания Германской колониальной империи. Это требует новых форм, новых подходов. Всюду, на всех материках мы будем оказывать помощь только что освобожденным странам, прогнавшим колонизаторов — англичан, французов, голландцев, странам, начинающим развиваться самостоятельно. Мы в их глазах не колонизаторы, и мы должны быть друзьями, советниками, помощниками, совладельцами предприятий, людьми, необходимыми в экономической жизни страны, а потом и в политической. Все-таки без нас этим древним, уставшим, давно истратившим всю энергию, выродившимся народам не встать на ноги. Мы им должны помочь. Ты, Отто, один из тех, на кого выпала эта почетная честь. Я направляю тебя в крепкие руки своих старых друзей, уже много сделавших для развития нашего влияния в Бирме. И ты не должен забывать, что ты приходишь в страну, где не доверяют белому человеку, потому что он слишком долго проявлял свою нетерпимость и силу, только силу. Ты

являешься представителем народа европейского, но не имеющего колоний, никого не угнетающего. Но это не значит, что ты должен быть запанибрата с желтым человеком. Нет, ты должен оставаться гордым, властным представителем Великой Германии и никогда не должен забывать, насколько ты выше этих новых наших азиатских «друзей». На тебя возложена высокая миссия, и я уверен, что ты будешь достоин нашей старой боевой фамилии...

Отто вытянул руки по швам и стоял, как молодой командир, получающий приказ от высокого начальства.

Дядя, не скрывая довольной улыбки, любовался его спортивной выправкой.

— Я буду помнить все, что вы сказали. Мой немецкий дух никогда меня не покинет...

— Так, так! — сказал дядя Ганс и вдруг с несвойственной ему легкостью схватил копье и метнул его в дальний угол. Копье пролетело через комнату и, ударившись в ковер, повисло, раскачиваясь. Он засмеялся и закричал, как в казарме: — Вот так надо действовать — сильно и верно! Так всегда действовали Дитрихи!

— И Мюллеры,— добавил Отто.

— Браво, племянник! — воскликнул дядя Ганс и, меняя тон, подошел к Отто, положил ему на плечи руки и сказал тихо, смотря в его светло-голубые глаза своими зеленовато-серыми: — Сегодня ты справляешь проводы? У кого?

— Мы соберемся у Курта...

— У Курта фон Крейзена?

— Да!

— Это хорошо. Это настоящая немецкая семья. Надеюсь, там будет весело. А потом в дорогу! Бирма — это все-таки не так близко. Это даже очень, очень далеко... Много дальше нашей Африки!

Отто Мюллер вернулся домой поздно. Голова его гудела от выпитого, от переживаний, от разноцветного сумбура, который царил на вечере, от шумной компании, от мысли, что он распрощался надолго с добрыми приятелями, со знакомыми, с Хильдегардой.

Курт фон Крейзен посадил в свою машину совершенно пьяного Эриха с его рыжеволосой сестрой Гизелой, за которой открыто ухаживал целый вечер, ее подругу, разбитную Анну, смешливую Хильдегарду и Отто. Курт — настоящий товарищ. Он и Отто — старые друзья, еще с юно-

сти. И сегодня Отто пригласил всех, кто близок к ним: и Людвига, и Георга, и Эриха, и Карла, не забыл и Вилли. Это настоящие парни добрых семейств. И таковы же девушки — Ирма, Анна, Фрида, Элла, поискать — лучше не найдешь. Хотя родители Курта невеселые и чопорные старики, но любят свою молодежь и дают ей свободу повеселиться без всяких ограничений. Богатые эти фон Крейзены, непонятно только, почему они после войны стали жить еще богаче. Дядя говорит, что у них родственники в Америке, а оттуда сейчас идут большие деньги, которые янки вкладывают в германские предприятия. Может быть, и так. У Отто нет богатых родственников в Америке, и потому он едет зарабатывать деньги и делать карьеру в какую-то неизвестную далекую страну, о которой кто-то рассказывал ему ужасы... Кто же это рассказывал? А, Хильдегарда! Так много пили и танцевали, так много курили и рассказывали всякие истории, что можно спутать. Да еще после такой выпивки. Ведь там было и виски, и коньяк, старый французский коньяк, и шампанское, а потом девушки попросили рейнского, и оно появилось, как в американском фильме. Ничего, Отто тоже разбогатеет, и тогда он вернется из этой Бирмы и покажет им всем, что значит завоевывать новые земли. Хорошая девушка Луиза, сестра Курта! Она устроила так, что можно было пройти в ее комнату, и там они сидели с Хильдегардой, удрав от всех.

Гости уже плохо соображали, кто с кем куда ушел и где находится, иные сидели прямо на полу перед камином, иные пробовали новые американские танцы, которые показывал вернувшийся из Нью-Йорка от своих американских родственников, красовавшийся в новом костюме, сегодня особенно самодовольный Курт.

С Хильдегардой они условились окончательно, что поженятся сейчас же, как только он вернется. Ему нравилось, что она веселая, с розовыми губами и розовыми щеками, с острыми огоньками в глазах, простая, не такая, как все. И они хорошо провели время в комнате Луизы. Они целовались так много, что Отто стало казаться, что у него губы сделались плоскими. Он сказал об этом Хильдегарде, и она испуганно прошептала:

— Как, и у меня тоже стали плоскими?

Но это была шутка. Да, Хильдегарда очень мила. Конечно, с ней нельзя обходиться, как с теми девушками, податливыми подружками, которых было всегда доста-

точно в студенческие времена. Да к тому же они находились в почти аристократическом доме. Здесь особый мир, и нельзя нарушать законов этого мира.

— Я буду ждать твоего возвращения. Но ты помни, что я тебя жду, всегда помни,— сказала Хильдегарда, обнимая его за шею, щекоча своим легким локоном и шепча в ухо: — Там, говорят, много, много драгоценных камней. Мои любимые камни — лунный камень, рубин и опал. И еще изумруд...

— Я привезу их тебе, я не забуду: лунный камень, опал и еще изумруд...

— И еще рубин,— так же тихо сказала она, целуя его в висок,— и еще не бегай за туземными танцовщицами. Там, говорят, они танцуют такие танцы, что мужчины сходят с ума. Ты не должен иметь с ними дело. Там странные нравы... Это очень опасно...

— Опасно? — Он засмеялся.— О чем ты хочешь сказать?

— Ты знаешь, я прочитала в одной книге, я забыла, кто ее написал, такую историю. Она может касаться и тебя...

— Что же это за история?

— Один юноша вот так же поехал на Восток, куда и ты едешь. И там познакомился с одним пожилым, богатым человеком. Этот туземный деспот очень подружился с ним и показал ему красавицу, свою наложницу, жившую у него в доме. Молодой человек с первого взгляда влюбился в нее...

— Дешевая выдумка,— сказал Отто,— подумаешь!..

— В книге говорится, что это подлинная история. Красотка отвечала взаимностью, и они полюбили друг друга и встречались, когда хотели. Старый деспот делал вид, что ничего не замечает. А когда они однажды были вместе, забыв всякую осторожность, он приказал схватить их, и страшные слуги, черные или коричневые, я не помню, раздели их и, подумай, голых положили друг на друга...

— Что ты говоришь, Хильдегарда! Это какие-то арабские сказки...

— Слушай, их привязали к плоту, так что они не могли пошевелиться, и пустили плот по реке, а в ней кишели крокодилы. И крокодилы их разорвали на куски... Я потом не могла спать всю ночь. Мне снились крокодилы и ты...

— При чем тут я?

— Мне казалось, что тебя рвут крокодилы, и это было так ужасно!

— Охота тебе читать всякие книжки для развращенных школьниц! Мы уже вышли из этого возраста.

— Нет, Отто, миленький, я не хочу, чтобы тебя съели крокодилы, но ты не будешь влюбляться в танцовщицу, и ты мне еще привезешь что-нибудь — сумочку, например, из крокодиловой кожи...

Нет, в самом деле в Хильдегарде есть что-то наивное и детское. В ней нет никакой распущенности современных девиц. Она нравится дяде Гансу. Она спортсменка, она из хорошей семьи. А когда он вернется? Этого он сказать не может... Он и не сказал о сроке своего возвращения Хильдегарде. Она будет ждать, она так хороша была с ним, и милая Луиза не выдала их. Хорошо жить на свете! Еще лучше быть богатым... Я им буду. Я, как дядя, пущу копье: «Вот так надо действовать!» Здорово он это сказал!..

Когда Отто Мюллер, пробравшись по узкому проходу среди теснившихся пассажиров, сел наконец на свое место, у круглого, похожего на иллюминатор окна, он почувствовал, что действительно устал от сборов, от необычных переживаний, от вчерашних проводов. Да и сейчас он выпил на прощание с приятелями больше, чем надо.

Лицо его было кирпично-розового цвета. Казалось, что если он заговорит, то будет говорить одни дерзости. Он озирался тусклыми глазами. В тяжелом тесном кресле было неудобно сидеть. Белый пробковый колониальный шлем, который все время держал под мышкой, обращая на себя всеобщее внимание, он небрежно положил вместе со шляпой на высокую полку над головой. Ему было душно и неуютно.

Поэтому он обрадовался, когда самолет, как ему полагалось, вышел на старт, как бы набрал духу, взревел всеми своими моторами и двинулся по гладкой дорожке, набирая скорость; потом оторвался от земли, как будто повис в воздухе, но сразу же деревья внизу, как и огни на земле, побежали в стороны — стало понятно, что он в полете. На вопрос аккуратной и такой свежей, точно она пришла из ванны, девушки в синем, с сияющими глазами

и нарисованной улыбкой Отто Мюллер сказал: «Мне дайте коньяку!»

Стюардесса, чем-то неуловимо напоминавшая Хильдегарду, принесла маленький стаканчик коньяку, и он пожалел, что она не может присесть напротив. И просить ее об этом не стоит. Он выпил коньяк, засунул стаканчик в широкий карман, который обнаружил на спинке кресла прямо перед собой. Из кармана торчали рекламные проспекты и кусок подноса. Вдруг ему вспомнилось нечто смешное, и он пришел в веселое настроение.

Ну и дурак этот метрдотель, что подошел к ним с таким надменным видом, как индюк, когда он и его приятели заняли места за свободным столиком и сняли с него какой-то флаг, полосатый, кто его знает! Курт спросил, куда его девать. «Под стол»,— сказал Отто и сунул его к ножке.

И тут подошел этот мрачный идол и сказал таким тоном, точно проглотил нож:

— Вы знаете, что это стол КЛМ?

— Что это такое? — спросил Отто. Он знал, но ему хотелось позлить рутинера.

— Это голландская авиакомпания КЛМ. Это всем известно! А вы сняли голландский флаг!

— Ну и что? — сказал нахально, глядя ему в переносицу, Отто.— Видели, братцы: подумаешь — голландский флаг! А мы немцы! И мы у себя дома. Где хотим, там сидим! Все!

И они так заржали, что метрдотель, постояв в молчанин, удалился в раздумье, но Отто видел: удалился, чуть улыбаясь, вспоминая что-то, о чем он давно забыл. Вспомнил, каналья!

Неудобно просить еще коньяку. Наверное, эта девушка снова подойдет, потому что ее обязанность — ухаживать за пассажирами первого класса. Так и есть. Он пьет, не глядя ни на кого. А что ему глядеть на них! В первый раз в жизни он летит на Восток. Вот почему этот белый тропический шлем ему пригодится. Дядя подарил его в последний момент.

— Я носил такой же в Африке,— сказал старый Ганс фон Дитрих.

Он закрывает глаза, и перед ним с невероятной быстротой начинают беспорядочно проноситься картины недавних дней. Как будто сидит перед телевизором. Он видит дядю в старом мундире без погон, с сигарой в зубах,

грозно потрясающего в воздухе кулаком, слышит его речь о том, что он, Отто Мюллер, должен отправиться на Восток, в далекую Бирму. Там дядины друзья — старые военные специалисты — работают уже давно, и они займутся его воспитанием. Нечего сидеть дома. Он, дядя, старый ветеран, сражавшийся в великой пустыне, соратник Роммеля, он знает, что теперь другие времена. Надо все начинать сначала. Надо строить новый рейх по-другому. Смешной дядя, становится похож на попугая, выкрикивая давно известные Отто слова о великой миссии и о том, что надо с немецким терпением и твердостью приниматься за овладение Востоком мирным путем.

Это уже нравится Отто. Не надо больше воевать. Боевые друзья дяди переменили профессию. Они, как он говорит, всюду. Они мирно трудятся на всех материках, особенно их много в Южной Америке. Но Отто не смеет забывать, что он носитель германского идеала, должен всегда помнить, что немец выше всякого другого европейца. И азиатов он будет учить высокой немецкой культуре и технике.

Вот почему Отто и летит в неизвестную ему Бирму. Он, конечно, читал об этой стране разные книги. Но он специалист по бетону, и там, где дороги и новые сооружения — мосты, плотины, он кое-что может сказать. Тем более что там его ждут большие специалисты. А уж что касается цветнокожих, то помочь им, конечно, за их деньги, за хорошие деньги, он может.

Но чувство его превосходства над всеми азиатами остается при нем. Он бросает быстрый взгляд на пассажиров огромного воздушного корабля, невесть где пробирающегося сейчас над облаками.

Вот он видит трех людей средних лет, чем-то удивительно похожих друг на друга. Они тоже сели в Дюссельдорфе и тоже, он видел, выпивали в компании в ресторане перед отлетом. Но они делают вид, что они серьезные люди, не то что он. Они даже не смотрят в его сторону, хотя он знает, что они немцы. Он тоже имеет глаза — у них вынуты из портфелей какие-то медицинские журналы, они углубились в них.

Сзади Отто сидят, рассматривая иллюстрированные журналы, муж с женой, потом сидит какой-то восточный тип. Спит, накрывшись газетой, смуглый старик. Дремлют еще несколько человек, откинув спинки своих кресел. Интересно, черт возьми, лететь первый раз в такие

неведомые дали! Не надо было пить после коньяка пиво, а потом опять коньяк!

«Мир будет немецким» — это снова вспомнился дядя: у него уменье так резко говорить, что невольно запоминаешь. Уж он последние дни старался изо всех сил. «В Европе американцы не могут ничего сделать без нас. А в Азии без нас они тоже никуда не сунутся. Народы Азии любят немцев, потому что втайне боятся нас. Запомни это, Отто...»

Он прислушивается к тихому говору немецких врачей. Они, оказывается, летят в Гонконг. Зачем? Черт их знает! Они тоже старательно жрут все, что им подает стюардесса, и пьют виски. Читают медицинские журналы. Говорят, наверно, об эпидемиях.

Он откидывается на спинку кресла. Самолет, пронзая густую синь наступившего вечера, как по невидимому катку, скатывается в разбегающиеся разноцветные дорожки женевского аэродрома. Некоторые пассажиры выходят в Женеве. Стоянка небольшая. Отто не пошел дальше площадки с самолетом. Он прохаживался и дышал весенним, еще холодным, даже морозным воздухом. Над аэродромом проносились порывы ветра с просвечивающих в тумане гор.

Когда самолет начал взлет, иные пассажиры дремали. Было не так поздно, но многие устали за день, кое-кто начал полет еще с утра от Стокгольма, от Осло. И одна за другой гасли лампы в первом классе, и зажигались маленькие лампочки, чтобы пассажиры могли читать книги и газеты, не беспокоя дремлющих соседей. Какой-то даже уют наполнил длинную кабину, в которой так много разных людей устраивалось поудобнее, чтобы скоротать время. Тут не вагон, где можно выйти в коридор и смотреть на пробегающие мимо вечерние пейзажи, видеть огоньки мирных домиков и фары машин, бегущих по дорогам на холмах. Тут не корабль, где можно ходить взад и вперед по палубе и смотреть на вздыбленную пустыню океана, на широкое небо с мерцающими в вышине звездами, названий которых никто не знает, и от этого они становятся еще таинственней. И лучше, конечно, не думать о том, что этот длинный корабль висит в безмерном пространстве и под ним где-то замерла темная земля. А если бы кто-нибудь из пассажиров взглянул в окно-иллюминатор, то увидел бы с удивлением, как внизу несколько раз повернулась Женева квадратами разноцвет-

ных, с жемчужными отливами огней. Это самолет делал круги, набирая высоту, и снова и снова падал, как бы проваливаясь в бездну, чтобы опять дать новый скачок вверх, пока наконец не одолел разорванные зубцы и снежные барьеры Альп и не начал погружаться в бархатную тьму Ломбардской равнины.

И стало тихо в самолете, потому что почти все пассажиры, выпив и закусив, отведав всех бутылок воздушного погреба, начали дремать.

Отто оглядывался на самый дальний отсек, где не затихал веселый разговор и слышался даже звон стаканов.

Там помещались севшие в Женеве два американца и американка. Они, по-видимому, вовсе не хотели спать, и вдоволь не наговорились на земле, и не выпили еще всего того, что хотелось им выпить. Их разговор, отдельные возгласы проносились по всему первому классу, и девушка в синей форменной одежде бросала туда, в хвост самолета, грустные взгляды, но подойти к ним не могла, потому что это были заокеанские пассажиры, которые, кто их знает, привыкли у себя дома к иным порядкам, чем в Европе, и делать им замечания неудобно.

До Отто тоже доносились эти слишком громкие возгласы и звон, но он решил не начинать свой путь со скандала в воздухе. Наоборот, когда ему стало ясно, кто это нарушает тишину самолета, он даже усмехнулся: когда-нибудь и мы будем так галдеть, и никто не посмеет сделать замечание. Были-де такие времена. Спросите у дяди — он порасскажет кое-что о кабачках Рима или отелях Сицилии... Где этот Рим сейчас, далеко ли?.. А впрочем, черт с ним!

Если бы он посмотрел сейчас в окно, то увидел бы, как самолет, держа путь к аэродрому, который южнее города, прошел огни Рима, и они еще долго светились за крылом.

В римском аэропорту было холодно, пустынно и сыро. Вместе с толпой пассажиров Отто Мюллер вошел в пустой ночной аэровокзал. При виде внезапно появившихся путешественников ожили неподвижные, как манекены, пожилые итальянки, дремавшие за прилавком. Быстрыми жестами снимали они с полок нехитрые игрушки, заводили их, и перед усталыми, сонными иностранцами начинали танцевать маленькие дамы и кавалеры на крошечной гондоле, порхая под серебристый звон мелодии, звучащей рядом в домике типа шале, откуда расклапивались

горцы в шляпах с петушиным пером. Отовсюду слышались тонкие звуки и легкий скрип кружащихся в танце кукол. Тут же на прилавке появились бумажники из коричневой кожи с видами Рима и Неаполя, кольца с геммами, длинные ожерелья из красновато-мутного коралла, много всякой блестящей, радужной мишуры, которую лениво рассматривали прилетевшие, примерялись к ценам, торговались, смеялись, шутили с продавщицами. В руках мелькали часы, чашки с античными сюжетами, пейзажами Священного города, сумочки, брелоки, альбомы открыток. Пассажиры охотно рассматривали все это дешевое и дорогое, что предлагалось их вниманию, говорили между собой, подолгу стояли у прилавка и ничего не покупали.

Отто Мюллер невольно следил за своими земляками, врачами, летящими в Гонконг. Он видел, как к одному из них, высокому широкоплечему, подошла бледная немка, они сразу заговорили, она взяла его под руку и увела на крайнюю скамейку. Там они сели рядом, она прижалась к нему, и они начали шептаться так быстро, что было странно видеть их в этом полночном, веющем скукой, тоской и сыростью аэровокзале. Их можно было рисовать, как символ неизбежных прощаний. Отто Мюллер, проходя взад и вперед между колонн большого вокзального зала, невольно следил за ними. Немка быстро вынула из сумочки какую-то цепочку. На ней висело что-то вроде медальона. Она передала эту вещь высокому доктору, и у него на лице появилось выражение растерянности, удивления и грусти. Но он взял медальон, и они опять начали шептаться.

Когда веселый, как бес, и неизвестно чему радующийся итальянец в ловко подогнанной форме объявил, что можно идти к самолету, у выхода на поле появилась такая красивая, свежая, молодая итальянка, отбиравшая транзитные карточки, что все оживились и старались как можно медленнее пройти этот контроль, сразу разогнавший ночную скуку и полусонную суету вокзала. Высокий врач почти нес на плече свою немку. Она уже плакала не стесняясь и утирала слезы большим платком.

Отто Мюллер, стоя над прилавком, испытал странное чувство. Ему хотелось сломать заводную игрушку-куклу, изображавшую тонкую балерину с веером, танцевавшую на черепаховой гондоле, украшенной перламутровыми разводами. Почему она не понравилась ему, эта балерина,

он бы не мог сказать, но он возненавидел и ее веер, и музыку, сопровождавшую металлические повороты балерины. Он уже хотел протянуть руку, чтобы взять игрушку, но тут раздался голос развеселого итальянца, приглашавшего в самолет, продавщица привычным движением сняла куклу с прилавка, и она дотанцевала свой танец на полке между бронзовой Дианой с колчаном за плечом и калабрийским пастухом с волынкой.

Но едва шумная процессия, растянувшаяся от лестницы с бравыми, скучающими не то полицейскими, не то таможенниками да автоцистерны, остановившейся перед черным в сумраке крылом самолета, хотела приблизиться к высокому трапу, как кто-то невидимый задержал ее и остановил на полпути.

Выяснилось, что по какой-то причине самолет может подняться только через пятнадцать минут, и всех попросили обратно в аэровокзал. Та же стройная, нимало не смущавшаяся под пристальными взглядами красавица контролерша снова всем раздавала контрольные карточки. Опять предстали перед глазами пассажиров прилавки с игрушками и вещами, но на этот раз продавщицы не обратили внимания на вошедших, и только продавщица открыток прервала беседу с полицейским и вся обратилась в слух, потому что к ней снова обращался немолодой чилиец, говоривший на смеси испанского и итальянского, уже успевший приобрести у нее двадцать открыток с видами Италии. И теперь она, пользуясь своим быстролетным успехом, спешно подбирала ему третий десяток открыток, отрывисто отвечая на его не совсем понятные любезности.

Прямо на Отто набежала та бледная немка, что встречала доктора. Она обозналась, отшатнулась от Отто, но он видел весь переход чувств на ее бледном лице — переход от отчаяния и слез к буйной радости. Она снова тащила врача в самый дальний угол и, сияющая, шептала что-то такое, что должен был слышать только он один, как будто бы за эти десять минут произошло нечто необычайно важное для них обоих. Он слушал ее серьезно, не останавливал потока ее беспорядочных, быстрых слов.

Отто Мюллер испытывал в эти минуты, шагая по аэровокзалу, только чувство презрения. Он презирал итальянцев, которые не умеют вовремя отправить самолет, продают какую-то старую дрянь, да еще ночью, когда обмануть сонных людей ничего не стоит, всучив этот

танцующий и прочий хлам, презирал врача, который на глазах у иностранцев устраивает непристойный, расслабляющий сентиментальных дураков спектакль, изображая любовную драму, презирал женщину, притащившуюся к самолету с ребенком, презирал толстых, типичных колонизаторов, которые намеревались лететь с ним на одном самолете, презирал этот сырой, ночной воздух... Вон еще один толстяк, но это японец, богач, наверное; вот еще японская пара — молодые супруги с мальчиком и девочкой.

Самолет взлетел с опозданием на полчаса. Отто Мюллер выпил еще два стаканчика коньяку, чашку кофе и стал смотреть через круглое окно на мигающий где-то в пустыне неба огонек. Но это был фонарик на конце крыла, и, глядя на его то потухающий в тумане, то снова зажигающийся огонек, Отто, как бы загипнотизированный им, вдруг крепко и почти сразу уснул.

Самолет же продолжал держать свой путь через море, которое в невидимом провале ощущалось только искрами маяков, вспыхивающих в какой-то несусветной дальности, да тяжелым белым перегибом пены, сразу же исчезавшим за тонкими облачками, которые прорезал воздушный корабль.

В самолете все спали и тогда, когда потянуло с берега ветром утренней пустыни и начали проплывать внизу желтые, бледные куски пустынных песков и зеленые полосы посевов и полей. Метелки пальм над каналами уже говорили, что самолет идет над Египтом.

Стало совсем светло. Каирский аэродром встретил неожиданной прохладой, и снова толпа пассажиров потянулась в аэровокзал, где их уже ждал очередной завтрак. Отто Мюллер стоял на африканской земле, на которой когда-то дядя, судя по его рассказам, испытал столько удивительных боевых приключений. Он водил Отто даже смотреть фильм «Лис пустыни», где так расхвален его старый начальник Роммель, человек таинственной судьбы, знавший, как надо воевать в пустыне.

Отто оглянулся в ту сторону, где остался его родной город Дюссельдорф. Он уже казался очень далеким, а путь еще только начинался. Отто смотрел несколько недоумевающе на борт самолета, на котором был изображен громадный, нахально жизнерадостный кенгуру.

— Это самолет из Австралии,— увидя его удивление, сказал один из врачей, летящих на Дальний Восток.

В ресторане сидели и пассажиры этого австралийского самолета. Это были высокие, как эвкалипты, и не похожие ни на кого австралийцы. Их женщины, одетые без всяких претензий в простые блузки, держали на коленях маленьких детей, и те, укачанные долгим перелетом, спали вниз головами. Их родители не обращали на это внимания.

Между столами ходили длинные, как столбы, официанты, похожие, как подумал Отто Мюллер, на безработных евнухов, в нечистых хламидах, подпоясанные широкими красными поясами. Они разносили кофе, воду, яичницу и поджаренные кусочки хлеба.

Отто наскоро поел, выпил свою чашку кофе и вышел на лестницу, ведущую к аэродромному полю. Тут же стояла с газетой девушка в синем, тонкая, строгая, подтянутая дочь Скандинавии, такая радостная, с розовыми фарфоровыми щеками, с чистыми, ясными глазами и чуть тонко тронутыми помадой губами. Теперь она еще больше напоминала Хильдегарду. Она сразу посмотрела на Отто так, словно ожидала, что он обязательно ее о чем-то спросит. И он спросил строго, точно он был командир, она его подчиненная, телефонистка или секретарша:

— Сколько мы будем еще лететь?

— Вы летите до Карачи? — спросила она.

— Нет, до Рангуна!

— Хорошо ли вы отдохнули? — чудесно улыбнувшись, спросила она.— Потому что нам предстоит длинный путь. Десять часов перелета без посадки до Карачи и потом беспосадочный полет через всю Индию. Наш самолет в Индии не садится нигде.

Девушка ему определенно начинала нравиться, и он позвал ее, когда почти сразу после взлета начались каменистые груды пустыни.

— До сих пор не понимаю, как Моисей водил здесь своих евреев.

— Да,— сказала она, боясь сказать что-нибудь не так.— Это ужасно. Даже сверху смотреть страшно. Ад, посоленный и посыпанный перцем...

— И все-таки он их вывел в люди,— сказал Отто и засмеялся своим, как он говорил, спортивным смехом.

Девушка сделала вид, что ее зовут в конец самолета, где сидели американцы, вдоволь накричавшиеся с вечера. Теперь они дремали, закрыв колени одеялами.

Отто смотрел на дикие пространства Синайского полуострова. Как обглоданные скелеты, торчали изъеденные временем скалы, пространство было все исчерчено руслами мертвых рек и речек. Еще раньше прошла оранжево-синяя вода Красного моря, потом маслянисто-зеленая, с желтыми разводами вода Акабского залива, и пошли бесконечные пески с мертвыми отливами самых безотрадных красок. Позади остался Египет. Там живут некоторые боевые друзья дяди. Они стали даже мусульманами. Один зовется теперь, кажется, Сулейманом Али, другой — Омаром Мухамедом. Говорят, Бирма — страна буддистов. Какая разница — Будда, Магомет! Ведь это сказки, как говорит дядя. Германские боги — это вещь. Старый Вотан способен на акции в новые времена, а эти существуют для туристов и простого люда. Тем и другим надо немного. Но с этим, говорит дядя, на Востоке не надо шутить. Значит, и немцы — магометане всерьез. Наполеон, говорят, тоже в Египте принял веру Магомета и отстрелил нос сфинксу, чтобы оставить память в истории.

Оторвавшись от лицезрения пустынных скал и безнадежно однообразных песков, Отто увидел, что девочка-японка встала на своем кресле и, повернувшись лицом к сидящим за нею, стала смотреть на пассажиров, как бы выбирая себе жертву. Она была хороша. Ее детскую прелесть подчеркивал красочный национальный костюм. Если бы рядом с ней встала ее мать, маленькая, миниатюрная японская дама, то все бы увидели, что они повторяют друг друга во всех чертах. Девочка — совершенно куколка с наманикюренными ноготками, с накрашенными губами, с сережками в ушах — походила на маму, как миниатюрная копия. Она выбрала того немецкого доктора, который простился в Риме с бледной своей дамой.

Японская девочка еще на аэродроме нечаянно ушибла ногу, и доктор поспешил к ней на помощь. Теперь, отоспавшись и наведя полный блеск на свое сияющее лицо, пышущее естественным и искусственным румянцем, она начала игру с того, что, спрятавшись за подушку, внезапно появилась из-за нее, сжимая в маленькой ручке похожую на тощего дракона резиновую красную собачонку. Собачонка была удивительно неприятна, вся в черных пятнах, пищала отвратительно и раздражающе. Намахавшись этим мрачным созданием, девочка бросала его в немца-врача и снова пряталась. Потом она ловила с обворожительной улыбкой игрушку обратно, а спустя несколько минут

собачонка снова летела в читавшего журнал немца. Эту игру наблюдали многие пассажиры и снисходительно улыбались японскому ангелочку.

Сначала примитивная забава маленькой японки невольно развлекала и веселила. Но девочка как-то неожиданно просто зверела в пылу игры.

Она стала похожа на чертенка с нарисованными бровями, когда запустила собачонку с такой силой, что ее партнер получил крепкий удар по носу. Радость девочки была неподдельной. Всхлипывая от восторга, она спряталась за подушкой и спустя некоторое время снова запустила свою собачку, стараясь ударить побольнее. Она не уставала лупить немцев-врачей одного за другим. Порой она лукаво спрашивала по-английски, и все ее круглое румяное личико излучало восторг: «Как вам нравятся мои шуточки?»

Отец занимался сыном, мать не обращала внимания на дочку. Немцы начали принимать свои меры. Они погрузились в чтение и на каждую новую атаку отвечали молчанием, просто перебрасывая собачонку японочке. Тогда она, сделав умильные глазки, встав во весь свой семилетний рост, даже приподнявшись на цыпочки, сказала врачу, которого первого стукнула по носу:

— Мне очень нравятся Соединенные Штаты Америки! А вам нравятся Соединенные Штаты?

Врач от неожиданности поднял на нее глаза, удивленно посмотрел и, подмигнув своим коллегам, пробормотал что-то неясное сквозь зубы. Тогда маленький чертенок в юбке снова воскликнул:

— А как вы относитесь к Советскому Союзу? Он вам нравится?

Ответа не последовало и на этот раз. Немец уткнулся в книжку и сделал вид, что не слышал вопроса. Тогда она, видя, что не получит ни от кого ответа, сказала громко:

— Вы все дураки! — и, засмеявшись серебристым смехом, спряталась за подушку.

Все теперь сделали вид, что заняты делами и ничего не слышали.

А между тем самолет плыл в бледно-голубом небе, и под ним проплывали одна пустыня за другой, одна другой нелепей и страшней. Даже с такой большой высоты, на которой шел самолет, было видно, что там, внизу, все задохнулось от жары, все умерло, перегорело, все мертво. И так неожиданно было появление зеленого пятна оазиса или се-

ления, прилепившегося на дне каменистого, черного ущелья.

Прошли плоские, как блины, острова Бахрейнского архипелага. Туда ссылает шахское правительство политических осужденных. Там можно сгореть на солнце заживо. Кое-где торчали у берега нефтяные вышки. Море было так же пустынно, как и эта обгорелая земля.

Отто смотрел вниз, и ему казалось, что он летит уже целые века, и если бы самолет опустился сейчас на берег какого-нибудь Оманского или Маскатского султаната, то пассажиры нашли бы там те же порядки, что были и при Васко да Гаме, то же средневековье с верблюдами и рабами, гаремами и визирями, только рядом с этим были бы автомобили и телефоны, радио и танки для усмирения непокорных.

День шел к концу. В самолете ели, как в ресторане, не задумываясь над тем, что чашка бульона, кусок курицы, вино и фрукты поглощаются над Индийским океаном, который казался европейцам чудом, таинственным сказочным путем каких-нибудь четыреста лет тому назад.

Самолет шел над узкой прибрежной полосой. По сизой дымке, стелющейся по земле, можно было предположить, какая жара ждет путников в Пакистане. И действительно, только открылась дверь самолета в Карачи, как волна душного, пропитанного смесью толченого перца, смолы и бензина, влажного, тяжелого воздуха обрушилась, как девятый вал, на прибывших.

Вот теперь Отто почувствовал, как далеко он улетел от берегов Рейна, как чуждо над ним сверкают созвездия, как непонятно, чем дышат тут люди, в этой раскаленной полутьме, освещаемой огнями нового аэровокзала, по коридорам которого сейчас ведут пассажиров. Они идут, точно участвуют в какой-то особой процессии, обходя зачем-то все здание. Потом их приводят к чиновникам, начинаются разные просмотры и оформление документов.

Наконец короткая остановка окончена, пассажиры снова привязывают себя поясами к креслам, следят за горящей табличкой, запрещающей курить и отвязываться. Самолет, подпрыгивая, бежит по аэродромной дорожке, по коридору зеленых, красных, желтых и белых огней, отрывается мягко от темной земли и входит в ярко освещенное луной небо. Без посадки через всю Индию и Бенгальский залив.

Нет, пассажиры мало думают о ночных эффектах. Погруженные в свои мысли, в свои земные дела и воспоминания, они снова готовятся заснуть за облаками. И один за другим гасят свои маленькие лампочки, и не последним гасит свою спортивный молодой немец Отто Мюллер, предпочитающий сон всяким мечтаниям и размышлениям.

Постепенно все население воздушного ковчега погружается в темноту, только голубые слабые фонарики горят у мест, где дремлют стюардессы. Под самолетом внизу, как далекие светляки, блестят огни индийских городков и селений.

Через несколько часов самолет уже летит над спящей пустыней Кача, над горами Виндийскими и Саутпорскими, через Нагпур, и, если вглядеться в эту летящую бездну, нельзя оторваться от ее непрерывно сменяющегося чародейства. Самолет то плыл в бархатной черноте, которую разрезал, как корабль волны, почти ощутимо, то несся как на парусах по голубому, зыбкому, светящемуся пространству, то шел точно под водой, озаряемой сильным зеленым светом, в котором меркли все другие оттенки, то впереди стояла на синем, струившемся, как водопад, блеске луна — медовая, ароматная, душная, властительная, как бы притягивавшая к себе летящий безмолвный воздушный корабль.

Звезды танцевали какой-то сумасшедший танец, то скрываясь парами в этой голубой зыбкости, то роясь, как золотые пчелы, то рассыпаясь на куски, и острые срезы этих кусков светили уже откуда-то из глубины. А на земле тоже творились чудеса. Вдруг ясно видимо сверкала белая полоса реки, черные леса закрывали все пространство земли, и потом долго шла темнота, прерывавшаяся какими-то вспышками, какими-то огнями, которые то взрывались, как фейерверк, ракетами, то принимали самые разные формы, и даже формы огненных подков, и тогда казалось, что мчится не самолет, а конь, который время от времени прикасается к земле и, ударив ее, снова возносится в пространство, и следы красных подков этого скакуна остаются в виде огненных отпечатков в темноте лесов.

То начинали блестеть непонятные огни: мигающие, пропадающие, снова ведущие перекличку. То ли сигналы аэромаяков, то ли это какие-то великие реки отсвечивали изгибами своих волн. Эта игра длилась часами. Потом земля стала сливаться с чем-то расплывчатым, зеленым,

живым, обрамленным белыми, серебряными, огненно-белыми, вспыхивающими изогнутыми линиями. Это кончалась индийская земля. Внизу начался Бенгальский залив.

Теперь как будто одно небо сменили на другое. Звезды были внизу, и они же стояли над самолетом. Луна была высоко, она же плавала в зеленом просторе залива, как будто ныряя в его глубины и снова подымаясь в свое небесное царство.

Под крыльями самолета начали стелиться какие-то пестрые ковры, переливающиеся всеми цветами, потом что-то другое, совсем иной окраски, властно вошло в эти переливы, поползли высокие тени и тоже стали тонуть в тумане, и только белые полосы рек, вдруг вырываясь, стали жить самостоятельно.

Наконец появилось в сумраке и постепенно образовалось в утреннем тумане то, что называется Рангуном.

Когда самолет пробежал по взлетному полю большого аэродрома Мингаладон и встал, как бы отдуваясь от долгого перелета, когда перестали вращаться его винты, всего несколько человек заявили, что они выходят в Рангуне.

Поэтому, когда, втянув зябнущие от утреннего холодка плечи, пассажиры пошли к аэровокзалу, они разделились на неравные группы. В одной, большой, транзитной, которую уводили в сторону, остались те, кому еще нужно было преодолевать нелегкий путь в Сингапур, Манилу, Гонконг, Токио. Прямо же шагали всего четыре человека, и среди них высокий, невыспавшийся и хмурый Отто Мюллер. С ним шли два человека неизвестной страны, молчаливые, сосредоточенные люди, и тот чилиец, который флиртовал ночью в Риме с продавщицей открыток.

Навстречу четверке в прохладном голубом воздухе вдруг заиграли флейты и забили барабаны, взвизгнули какие-то невиданные инструменты. Но это встречали не их, а кого-то, кто должен прибыть вот-вот. Отто же Мюллера встретил очень спокойный, в строгом легком костюме из дорогой китайской материи молодой человек, в очках, загорелый и очень словоохотливый. Он тут же объяснил, что он из представительства ФРГ, и по просьбе уважаемого господина фон Шренке, друга дяди Отто Мюллера, он готов все сделать для того, чтобы доставить прибывшего туда, где находится со своим заместителем сам фон Шренке, а сейчас, благо у него свободный день, он познакомит Отто с городом и вообще введет его в интересы местной жизни.

С этого момента для Отто Мюллера начался бесконечный, утомительный, жаркий, до умопомрачения жаркий день, полный такой калейдоскопичности, что от нее подчас темнело в глазах. Вот когда большой белый колониальный тропический шлем можно было надеть на голову, а не таскать под мышкой. Покрытый сеткой холодного дождя Дюссельдорф исчез за каким-то сиренево-влажным горизонтом, а здесь был тот Восток, на который он взирал с таким же чувством самодовольства, какое испытывал моряк-испанец, глядевший с палубы своего корабля на раскинувшийся перед ним Каликут, первый увиденный им город сказочной Индии.

Но дальше стало хуже, потому что после долгого и утомительного сидения в тяжелом кресле роскошного самолета было страшно трудно, сняв башмаки, идти в какую-то непонятную высь по бесконечной каменной лестнице огромного храма, который, как сказал всезнающий проводник, надо обязательно посетить.

И Отто Мюллер шел покорно по широкой, высокой лестнице с выщербленными ступенями, скрытой в огромном коридоре. С непривычки ступать босиком он чувствовал всю неровность этой то скользкой, то колючей лестницы, по которой сейчас скользили несчетные тысячи ног. По сторонам лестницы торговали всем, чем угодно. Тут бросались в глаза модели Шведагона и других пагод всякой величины, тут стояли будды в самых разных молитвенных позах, тут торговали платками, зонтиками, благовониями, и жар этих сладко опьяняющих свечей плавал в воздухе, ошеломляя нового человека. Здесь же кричали продавцы фруктов, мыла, вод — розовых и зеленых —и фиолетово-странных съедобных продуктов, торговали материями, куклами, скатертями, платками с узорами. Чем только не торговали на этой удивительной лестнице, по которой Отто брезгливо шел, толкаемый самого разного рода паломниками, иногда полуголыми! От них пахло разгоряченным и острым потом.

А неумолимый проводник все вел его, рассказывая о том, что представляет то вот этот большой барельеф, то картинка, которую продавал почти черно-фиолетовый человек в женской юбке и с длинными фиолетовыми ногтями.

Казалось, в этом хаосе красок, криков, молитвенных провозглашений, зазываний, вздохов старух, смеха молодых никто не властен навести порядок. Но это было не

так. Как в обширном море жизни, говорит древняя мудрость, есть маяк, к которому стремятся корабли, так и здесь над всем этим гомоном и пестротой царил один бесстрастный, без конца повторенный лик. Он смотрел со стены, с древних фресок, он высился над толпой, взирая на нее с такой высоты, которая навсегда отделяла эту суету мира от его удивительного, непонятного, стоящего над всем спокойствия. Это был образ Будды, всюду сопровождавший здесь пришедшего. Казалось, нарочно создана эта лестница жизни, по которой подымаются все выше, выше лавок и криков, выше человеческой сумятицы, туда, на верхние площадки, где небо, и простор, и снова Будда, перед которым можно только преклониться и пробормотать ему свою просьбу, положив к его ногам цветы, купленные там, на замызганной бессчетным множеством ног лестнице.

Наконец они поднялись туда, где вонзаются в небо острые шпили пагод. Отсюда открывался вид на весь Рангун. Большая красивая площадка была вся занята бесчисленными пагодами, колокольчики которых звенели на разные голоса, точно приветствовали пришедших. Эти маленькие пагоды окружали самую главную, чей золотой гигантский шпиль вздымался над городом. Тут было поистине царство буддизма. Будд было так много, что глаза разбегались по сторонам. Будды стояли вокруг, возвышаясь над маленькими, ничтожными людьми, они сидели, погруженные в созерцание, в философский полусон. Живые философы, с худыми темно-коричневыми скулами, проповедовали тут тихими, заунывными голосами. Перед ними сидели ученики, опустив головы, точно внимательно рассматривали, из какого камня сделана площадка. Вокруг бродили пилигримы со свертками в руках или перекинув мешки через плечо. Собаки с боками, из которых торчали ребра, тыкались то туда, то сюда. Кто-нибудь, возмущенный их пребыванием в таком священном месте, давал им хороший пинок, и они с визгом устремлялись прочь.

Множество детей и старушек со свечками в руках сидели перед китайскими буддами, подарком соседней дружеской страны. Отто Мюллер, голова которого тихо кружилась от всего этого многообразия красок, запахов, звуков, видел, как полулежат перед буддами на циновках женщины с цветами в руках и шепчут идолам что-то очень затаенное, самое сокровенное, чего никто не должен слышать.

У них были такие отсутствующие лица, что можно было смотреть на них в упор, и они бы не заметили этого. Всюду бродили монахи в желтых и огнисто-оранжевых одеяниях с синими алюминиевыми горшками в руках. Монахи едят один раз в день — до полудня, дальше наступает время размышлений и молитв.

Потом, после самого знаменитого храма, пошли храмы поменьше, но будды всюду были те же, только отличались размерами и позами. Одни из них полулежали, громадные, как полагается небожителям; лица иных были так отполированы, что луч солнца превращал их в сплошное сияние, и распростершийся перед ними богомолец не мог взглянуть в лицо Будды, потому что встречал расплывчатый ослепляющий блеск вместо взгляда статуи. Женщины лежали перед буддами, куря сигары неимоверной толщины. Черный и синий дым обволакивал лики богов, но боги вдыхали его равнодушно. Над плечами идолов стояли горшки с цветами, и над ними порхали птички пестрых веселых раскрасок. И наконец, уже над домами, над всей улицей возник такой высоты Будда, что даже стало неприятно, точно видишь привидение,— Отто понял, что надо переключиться на что-то иное. Этот Будда, выложенный из старого бурого кирпича, полулежал, положив руку на вход в монастырь, расположенный под тем искусственным холмом, который изображал тело лежащего.

Люди на улице казались ничтожествами, муравьями, тащившими какие-то жалкие былинки в жалкие свои обиталища. У Будды были широкие властные губы, широкие брови. На его лице не было ни одной морщинки. Глаза, четко нарисованные, смотрели со снисходительной грустью куда-то вдаль.

Отто Мюллер взмолился молодому человеку из представительства, и они, усевшись в коляски педикапов, нырнули в другой поток жизни. Они бродили по набережной, где грузили пароходы, уходившие вверх по реке, и грузчики, как в глубокой древности, взваливали на плечи тяжеленные кули и шли по доскам, которые шатались под их тяжестью. Тут все говорило Отто Мюллеру о том, что мир слуг и господ еще существует, и его германскому духу было приятно видеть эти странные наряды мужчин, похожие на женские, и этих торговцев всякой, как он сказал бы, колониальной всячиной; потому-то здесь и нужны такие специалисты, как он и ему подобные. Здесь можно делать дела.

Он увидел длинный белый обелиск и спросил, что это такое. Он удивился, когда спутник сказал: «Это памятник Независимости».

— Независимости? — спросил Отто.— Что это значит?

— Это значит,— отвечал обязательный молодой человек,— что здесь считают, что Бирма вступает на путь нового развития. У них есть даже план, рассчитанный на превращение страны в Пидоту, что значит страну благоденствия... Вы это почувствуете, когда начнете работу на месте...

— Чего же они хотят? — спросил Отто.

— Они хотят многого, но у них есть затруднения, и политические и экономические.

— Мы им поможем! — сказал Отто и засмеялся своим горластым спортивным смехом.

Они много где побывали: и на озере Инья, струившем свои воды среди зеленых рощ, и на берегу реки, где живет простонародье, где хижины жались друг к другу, нищета смотрела из всех бамбуковых щелей, харчевни располагались прямо на улице и люди сидели на земле перед котлами, где готовились обычные блюда бедноты: рис с острым соусом, который делается из креветок, рыбы, овощей и перца. Отто почувствовал аппетит, и они поехали в отель.

Они сидели в прохладных залах Странд-отеля, и безмолвные слуги подавали им джин, в который они капали по каплям сосновый экстракт в порядке профилактики, они ели почти сырое мясо, густо посыпая его солью, какую-то неизвестную Отто сладкую рыбу, фрукты и пили ледяной ананасный сок.

Потом они отправились по магазинам, и тут опять все запестрело и зашумело перед глазами Отто. В магазинах на Фрезе-стрит, или Дальгузи-стрит, или в крытых рядах Скотт Маркет можно было приобрести все, что нужно европейцу, чтобы одеться, купить необходимые вещи для дома и даже сувениры или подарки для друзей и знакомых.

Чтобы отдохнуть от лавочной толчеи, они даже заглянули в зоологический сад, но пробыли там недолго. Отто не интересовали звери. Они просто пробежали для того, чтобы размять ноги после машины, по аллеям, постояли перед клеткой, где дети дразнили жирафа и он напрасно тянул вбок свою маленькую голову за бананом, которым они махали перед ним. Маленькие речные выдры вставали на задние ноги, как бы высматривали добычу, прикладывали лапки к глазам, протягивали их к зрителям, присвистывали,

просили бросить им мелкой рыбешки, которой торгует сторож. Когда им бросали рыбешек, они очаровательно играли ими и ныряли.

У клетки со львом Отто остановился. Лев лежал плоский как доска, раздавленный неистовой жарой. Он спал крепчайшим сном. Его хвост с шишкой на конце, покрытой редкими жесткими черными волосами, был распластан, как мертвый.

Перед клеткой толпились зеваки и громко смеялись над спящим львом. Он был худой и старый. Проворные ласточки хлопотали вокруг его хвоста. Они по очереди примерялись к волосам на хвосте, потом пробовали вытаскивать их; если волос не поддавался, они принимались за другой. Вытащив волос, птицы взмывали куда-то за деревья, где у них строилось гнездо. Это было, по-видимому, их постоянное занятие, потому что хвост у льва значительно поредел. Отто сказал, смеясь:

— Это совсем как британский лев: спит усталым сном, а его колонии делят другие...

Стоявшие вокруг засмеялись — острота дошла до них. Из зоологического сада они поехали в отель, куда молодой человек завез Отто Мюллера, взяв с него слово, что он, отдохнув, вечером будет у него в гостях, а рано утром на самолете будет доставлен туда, где изволит работать советником-специалистом его шеф господин фон Шренке со своим помощником. Это на другом конце страны, но перелет займет всего несколько часов. Приятного отдыха!

Отто разделся, включил электрический охладитель и заснул сном много поработавшего человека. Проснулся он, когда уже на улице зажглись огни, принял душ и начал переодеваться к вечеру, чтобы быть во всем европейцем даже в этой беспорядочно удивительной стране, где слишком жарко, слишком много разных богов и где мужчины носят юбки. Но, вспомнив, что в Шотландии тоже приняты короткие юбки у горцев и даже их волынки напоминают музыку, слышанную утром на аэродроме, он пришел в хорошее настроение и начал насвистывать что-то из последнего дюссельдорфского ревю. Тут пришел утренний знакомец, и они отправились к нему домой, на другой конец города.

В гостях у молодого человека сидели, кроме Отто Мюллера, еще двое: похожий скорей на грека, чем на баварца, ученый-этнограф Вильгельм Вингер, изучавший неизвестную Отто народность — племя нагов, обитавшее в долине

Чиндвин и в индийском Ассаме, и пышная блондинка Клара, дочь заезжего немецкого пастора-миссионера, изучавшая бирманскую музыку и бирманский язык. Все собравшиеся сидели на террасе и пили виски с содовой водой, как это принято в тропических краях,— от виски не потеют; пили чешское пиво, ели рис с какими-то едкими, огненными приправами, с соусом, который представлял хозяин как соус первого сорта — его подают даже в дни приемов в правительственном дворце. Назывался этот соус так сложно, что все напрасно старались выговорить правильно название, и только Клара произнесла его, как настоящая женщина Рангуна: таджант-хамин.

Отто спрашивали о делах дома, в Западной Германии, о том, что он будет делать в Бирме, как ему понравился Рангун. Он отвечал с обстоятельностью на все вопросы, только на вопрос, как ему понравился Рангун, сказал:

— Мне кажется, что я спал в слишком жарко натопленной комнате и мне приснился сон, в котором двоились боги и люди.

Клара засмеялась, и ее крупное, белое, незагоревшее лицо сразу ожило.

— Здесь Азия,— сказала она,— тут не сразу поймешь, что к чему. Особенно сейчас...

— Здесь снова нужен европеец,— сказал Отто с такой же железной интонацией, с какой дядя, старый специалист по пустыне, говорил об Африке.

И он начал развивать ту теорию, которую так настойчиво и непогрешимо развивал в долгие зимние вечера старый отставной генерал инженерной службы специального африканского корпуса господин Ганс фон Дитрих. Тогда, дома, он говорил вещи, о которых Отто не имел понятия. Теперь ему захотелось просветить своих соотечественников на чужбине.

Когда он кончил, Клара, играя ножом для фруктов, спросила самым невинным тоном:

— Сколько вам было лет в сорок пятом году?

— В сорок пятом году мне исполнилось четырнадцать лет, сейчас мне двадцать четыре,— ответил он. И, помолчав, добавил:— Меня откопали вместе с тетей из-под развалин дома, где мы были в убежище. Нас раскапывали шесть часов. Так что могу сказать: я принимал участие в войне... К нам пришли американцы раньше, чем все было кончено с Берлином. «Надо все начинать сначала»,— сказал дядя. По-моему, он прав. Надо все начинать сначала...

Ученый-этнограф кашлянул, как бы прося разрешения сказать свое слово.

— Простите меня,— сказал он,— я исследователь диких племен, где все и сегодня примитивно. Когда наги чувствуют, что духи, которым они поклоняются, жаждут приношений, а они любят черепа, человеческие черепа, то наги отправляются за черепами к соседям. Это логично: кто же будет жертвовать собственным черепом? Эти добытые хитростью с боем черепа протыкают стрелами и украшают ими священные деревья, куда слетаются умиротворенные духи. Я понимаю нагов: если надо идти на жертвы, когда этого требуют высшие силы, то лучше идти не за собственный счет... Вы меня понимаете?

— Вполне...

— Я вот только не очень доволен высшими силами...— продолжал Вильгельм Вингер.— Высшие силы у нагов — сосредоточение всего темного, что живет в их сознании с древних времен. Правда, высшие силы, двигающие сейчас европейским сознанием, скорее близки к силам хаоса, чем к светлой вере эллинов... Вам не кажется, что мы взываем к слишком древним и слишком примитивно-диким духам, перед которыми битва в Тевтобургском лесу уже кажется светлым явлением, чем-то вроде защиты культуры...

Молодой человек из представительства был бы плохим хозяином, если бы позволил разгореться спору. Он перевел разговор на другие, более безопасные предметы. Он обратился к Отто Мюллеру:

— Наш дорогой друг-ученый вернулся из глубины лесов, из самых глухих мест Бирмы. Но не надо ходить так далеко. Вот фрейлейн Клара знает, что случилось здесь, под Рангуном, с одним всем нам известным английским полковником. Он собрался на серьезную охоту в джунгли, взял машину, нагрузил ее необходимым продовольствием, оружием для охоты на фазанов и голубей и на другую, более крупную дичь, взял запас пива и отправился в леса. Но почти у самого города его перехватили «лесные братья», есть такие в этих краях, и украли английского полковника. Они хотели, чтобы он заплатил им сто тысяч джа. Он предложил им доставить его домой в Рангун, и он за эту доставку даст им пятьдесят рупий. Они рассердились, и увели его в дебри джунглей, и стали там его держать.

— Позвольте,— сказал Отто,— надо было послать экспедицию и перестрелять этих каналий...

— Времена, когда по такому случаю английские власти посылали экспедиции, прошли. И самих англичан здесь нет в качестве распорядителей... Местные англичане запросили Лондон. Из Лондона ответили, что за этого полковника не дадут ни одного пенса. Потому что, как пояснили из Лондона, если мы заплатим такую сумму за полковника, вас всех начнут красть непрерывно. Это будет новый вид торговли, черт возьми. И довольно выгодный для «лесных братьев». Полковник изнывал в плену. Тогда англичане начали устраивать сбор среди европейцев на выкуп страдальца полковника, пленника джунглей. Как будто собрали около двадцати пяти тысяч рупий. Ядовитые языки говорили, что это деньги казенные; только чтобы не уронить престиж, их выдали за собранные на месте. Полковник надоел «лесным братьям», и они его отпустили за эту сумму. Он рассказывал, что они очень ухаживали за ним, им было невыгодно, чтобы он помер в их лагере: тогда бы «лесные братья» ничего не получили. Они поили полковника его же собственным пивом и кормили его же консервами, выдавая их так скупо, что он был вечно полуголодным... Когда мы сегодня с вами завтракали в Странд-отеле, этот полковник там пил виски. Он охотно рассказывает про свои приключения.

Так они сидели и, перескакивая с предмета на предмет, говорили о судьбе европейцев в Азии, о новых перспективах для экономического проникновения, о росте национального самосознания у азиатов. Ученый рассказывал о быте нагов, об их гостеприимстве, о странности их обычаев: если в деревне начинается праздник, специальная застава преграждает вход и выход из деревни на все время праздника, ни войти, ни выйти!

Клара исполнила две бирманские песенки, прямо так, без аккомпанемента,— одну грустную, одну веселую.

Потом все пили снова виски и пиво и вдруг почувствовали, что уже поздно, вспомнили, что Отто надо пораньше вставать: его ждет путь в горы, в джунгли. Ученый спросил его, прививал ли он себе что-нибудь против малярии и оспы. Отто сказал, что он привил даже тиф и еще какую-то особую тропическую лихорадку и готов продолжать путь.

Тут позвонил дежурный из представительства и сообщил, что, к сожалению, полет откладывается на послезавтра, так как самолет, которым должен был лететь Отто, нуждается в ремонте.

Отто даже обрадовался. Хозяин беседы сказал, что он

днем ознакомит Отто с разными особенностями тех мест, куда он направляется, а вечером...

— А вечером,— вмешался Вингер,— если вы согласны, я вам покажу что-нибудь не совсем обыкновенное, но в духе настоящей, подлинной Азии...

— О! Берегитесь! — засмеялась Клара.— Наш друг Вингер любит поражать воображение. Мы все вкусили уже от его чудес. Но пойдите, пойдите, вы ничего не потеряете. Жалко, что я занята, а то охотно присоединилась бы к вам...

— Раз так, я иду,— сказал Отто,— меня трудно устрашить и еще труднее удивить.

— Посмотрим,— сказал Вингер.— Значит, уговорились, я завтра вечером похищаю вас. Вы в Странд-отеле?

— Да.

— Я вас разыщу!

Когда они прощались, ученый сказал, что единственное, с чем он согласен в высказанном сегодня Отто, это с тем, что в Азии исчез страх перед белым человеком.

— И боюсь, что этот страх возродить больше невозможно никакими новыми мерами, молодой человек. Приглядитесь хорошенько! Рад нашему знакомству. До завтра!

В эту ночь Отто ничего не снилось. Он падал без конца на дно какой-то мягкой пропасти и стукался о невидимые стены, пока не погрузился в полное оцепенение сна...

На другой день после обеда Вильгельм Вингер заехал за Отто, и машина закружила по тенистым улицам Рангуна.

— Куда мы едем? — спросил Отто.

— Мы едем к одному любопытному человеку. Его зовут У Джи, что значит «большой». Он не такого уж большого роста. Зато большой знаток трав и цветов. Его называют в народе «Прорицатель трав». Ставят перед его именем слово «сейя» — врач. Сейя У Джи. Этот человек не уступает любому европейскому специалисту. Он обладает совершенно уникальными знаниями...

— А зачем мы к нему едем?

Этот вопрос Отто задал неспроста. Вингер, высокий, чуть сутулый, с ироническим ртом и хитрым прищуренным взглядом, ему чем-то не нравился. Не нравилось ему и то, как он говорит о своих дикарях, о европейцах. Что-то в нем настораживало Отто. От него веяло если не прямой враждебностью, то неприязнью. И сейчас на вопрос Отто он ответил неопределенно:

— Мы же вчера с вами уговорились...

Тогда Отто, чтобы уязвить своего спутника, сказал:

— Здорово вы вчера рассказывали про ваших людоедов! Они до сих пор еще едят миссионеров?

Вингер не принял шутки. Он отвечал серьезно и почти поучительно:

— Наги никогда не были людоедами. Я шел в их селения с группой добровольцев из местных жителей, которые были представителями учебного центра «Просвещение масс». Эти специалисты по всем областям знания шли, чтобы научить нагов, как строить по-новому дома вместо хижин, как ткать, делать глиняную посуду, приготовлять культурно пищу, со мной шли учитель, и медицинские сестры, и даже зоотехник. Это была только одна из многочисленных групп, работавших среди холмов Верхнего Чиндвина. При мне пришедшими был построен показательный деревянный дом, разработан первый огород, преподаны первые уроки грамоты, оказана первая медицинская помощь. Если бы вы видели, с какой жаждой нового откликнулась на это молодежь. И даже почтенные старейшины не только не препятствовали работе групп «Просвещение масс», но сами поощряли совместное освоение новых участков под рисовые поля. Наги талантливы и восприимчивы. Пройдет немного времени, и вы не узнаете их деревень. Тут я видел своими глазами, как становится недействительной старая формула, которую так любят повторять иные нелюбопытные европейцы: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Меня, европейца, они принимали как доброго гостя. И так они примут всякого, без различия цвета кожи, если он будет дружелюбен по отношению к ним. Я напишу о них книгу, потому что они мне нравятся. Но вот мы и приехали.

У Джи говорил по-английски. Он с таким уважением называл деревья, представляя их гостю, как будто это были его старые любимые друзья.

Такого сада Отто действительно никогда не видел.

— Это пальма катеху, она дает плод, который идет на изготовление бетеля. Это манго, одна из лучших пород. Там, рядом с лимонным деревом, вам известная магнолия. А это старый замечательный экземпляр чампака. Вот камфарное дерево. Здесь вы видите банановые деревья, они родились вместе с бирманцами. Еще есть арековые пальмы, помоложе...

У Джи был в легкой стального цвета курточке, в светло-

зеленого цвета юбке, туго накрахмаленной, усыпанной золотистыми крапинками. На голове была белая повязка, концы которой свешивались над правым ухом. Простые, грубые сандалии на голых ногах.

Он был ростом ниже Вингера, но его плотная, крепкая фигура, с которой можно было лепить молотобойца, его уверенная неспешная поступь и странный взгляд из-под полуопущенных век, как будто дремлющий и в то же время зорко наблюдающий за всем вокруг, говорили о большой затаенной силе знающего себе цену человека.

Он держался скромно, говорил негромко, не смеялся, жесты его были скупые, как и слова.

Удивительное спокойствие лежало на непроницаемом лице У Джи. И в то же время оно все светилось какой-то сдержанной лукавой веселостью, и эта веселость играла и на золотистых скулах, и на больших длинных губах, хранящих тонкую, чуть ироническую усмешку. На желто-шафранном лбу не было ни одной морщины.

С Вингером он говорил как со старым знакомым, иногда переходя на бирманский. К Отто Мюллеру обращался с изысканной вежливостью. Отто обратил внимание на разбросанные по всему саду ящики самых разных размеров, в которых росли неизвестные ему растения.

У Джи что-то сказал на бирманском языке Вингеру. Вингер перевел Отто:

— У Джи говорит, что тут очень много нужных ему растений, местные названия которых ничего не скажут гостю, а он, к сожалению, не знает, как они называются по-английски. Но есть и такие, о которых он может сказать.

У Джи кивнул головой в благодарность за перевод и сказал:

— Каждое растение — тайна. Посмотрите на цветы: они могут быть красивыми и неприятными для глаза. Они могут быть полезными и вредными. Они могут служить человеку для добрых и злых целей. Меня называют «Врачующий травами». И это так. Я врачую, а не употребляю во зло силу трав и цветов. Природа дала им многое. Они живут простой жизнью, но в них скрыто и то, что надо найти и разгадать. Вы узнаете какие-нибудь растения?

Отто нерешительно указал на кусты с желтыми цветами.

— Это, кажется, жасмин?

— Да, это желтый жасмин. При его помощи можно вызвать раздвоение зрения, но он же хорошо помогает при

глазных болезнях. Рядом с ним — ночной жасмин, он снимает головную боль.

— А зачем вам кактус? — спросил Отто.

— Кактус? Они у меня разные, они прекрасные помощники при сердечных заболеваниях.

— Я узнаю гвоздику! — воскликнул Отто.

— Да, это гвоздика, чуть больше европейской, хорошее лекарство от головной боли. Вот, смотрите, это сумах ядовитый — добрый препарат против ревматизма и экземы.

— Я не называю ничего,— сказал, шагая между ящиков, Вингер,— я уже так давно знаю этот сад и его хозяина, что не хочу притворяться, будто все это вижу первый раз. Мне тут все знакомо. Вот смотрите, Мюллер, на эту травку. Это прехорошенькая травка — куркума. Желтая краска ее корней идет для соуса карри, жгучего, великолепного карри, чтобы он стал огненно-желтым, и жег не только горло, но и глаза.

Отто огляделся. Золотисто-розовое небо нависло над садом. Воздух был пронизан одуряющими запахами. Огромные листья банановых деревьев как будто прислушивались к жесткому шепоту пальмовых ветвей. Иные цветы засветились и засверкали, как бабочки, ночной жасмин посылал сладкие, пронзительные потоки, которые смешивались с ароматами неизвестных цветов и трав. Все вокруг казалось ненастоящим, усыпляющим сознание, уводящим в какие-то неизведанные сновидения. Вечер опускался жаркий, душный, несший едва ощутимое дуновение ветерка. Близко было большое озеро.

У Джи нашел, что гости достаточно посмотрели сад, и, низко кланяясь, пригласил их в дом, который отнюдь не представлял бамбуковую постройку, пол которой прогибается под ногами, а в щели видна улица. Это был среднего размера деревянный дом, всем своим видом говоривший, что он построен крепко и надолго.

Большая терраса, устланная коврами, широкие бамбуковые кресла, круглые столы и столики разных размеров. На стенах много мешочков с засушенными растениями и семенами. Бесшумно вошедший слуга внес чашечки и разлил всем ароматный чай. Вингер и У Джи перекинулись несколькими бирманскими фразами. Отто с удовольствием глотал горячий напиток, так непохожий на то, что называется чаем в далекой Германии. Действительно, этот напиток обладал какой-то освежающей силой и в душный вечер

казался самым спасительным. Правда, дома Отто предпочитал пить кофе, но теперь придется привыкать к чаю.

У Джи обратился к нему с самой вежливой улыбкой:

— Наш друг Вингер сказал, что вы первые дни в нашей стране. Мы живем скромно, и наше искусство, хотя оно и насчитывает много веков существования, не так известно во всем мире, как искусство вашего народа. Я буду счастлив, если наш скромный народный танец и народная музыка доставят вам некоторое удовольствие.

Сказав это, он покинул террасу. Вингер наклонился через стол к Отто:

— Он сказал так из скрытой гордости: их искусство великолепно. Вы в этом убедитесь сами. Конечно, оно сначала покажется вам необычным, непонятным. Но не обижайте хозяина и похвалите исполнителей как можно сердечнее.

У Джи вернулся не один. С ним пришел молодой бирманец. Он бережно нес музыкальный инструмент, напоминавший арфу. Это был саунг, который показался Отто похожим на маленький, изящный, тонко сделанный кораблик с высоко поднятым и резко загнутым бушпритом; на этом изогнутом грифе были натянуты четырнадцать струн. Молодой бирманец остановился и поклонился гостям церемонным, артистическим поклоном. На нем была белая рубашка, цветастая, вишневого цвета юбка, в смолисто-густые волосы были воткнуты розовые и белые цветы. Он был очень смугл и худощав. Поклонившись еще раз, он встал рядом с У Джи.

— Это мой сын,— сказал тихо У Джи,— он очень любит музыку!

У Джи указал сыну место, и тот сел на низкую скамейку и начал устраивать саунг у себя на коленях. Корма этого маленького музыкального кораблика должна была висеть в воздухе, в то время как его середина была крепко зажата коленями. Раздался чистый, звонкий, прозрачный звук саунга. В дверях появилась легкая, как тень, юная девушка, чем-то похожая на хозяина. У нее было такое же выражение лукавой веселости, с той разницей, что на ее губах светилась ослепительная улыбка и все лицо сверкало нежностью и юным задором.

— Это моя дочь,— тихо сказал У Джи и добавил чуть слышно:— Мать погибла в конце войны.

Он отошел и сел в стороне, сделав знак сыну. Музыкант коснулся арфы, четырнадцать струн зазвенели. Воздух на-

полнился удивительной музыкой. В ней звучали бесчисленные колокольчики невидимых пагод, проносился ветерок дальних гор, холодный и звонкий, как пастушеский рожок, слышались серебристые удары прибоя, ударяющегося о скалы, волны пробегали по пустынным отмелям, вздымались в ночную вышину и долетали до луны, задевая кроны пальм, и пальмы отвечали им тонкими шелестами своих жестяных ветвей. Вдруг появлялось озеро тишины, и затем снова, как будто пронзая стены, звенели струны саунга.

Девушка в белой кофточке, в длинной золотистой юбке, испещренной узорами, с длиннейшим шлейфом, танцевала свободно, страстно, самозабвенно; казалось, что она импровизирует, но это не было импровизацией. Это было тончайшим искусством, все ее существо строго подчинялось тому порядку танца, при котором руки, ноги, плечи, голова, пальцы рук и ног выполняли определенные положения классического танца с такой легкостью, что казалось, ожила, влетела в дом из безумной тропической ночи огромная пестрая бабочка или дух леса, танцующий под луной на дикой поляне, посетил дом У Джи.

Все сложней и сложней звучала мелодия саунга. Все быстрей и быстрей кружилась танцовщица. Кружась, ей приходилось все время отбрасывать ногой длинный свой шлейф, который опять и опять заплетался вокруг ног и мешал, но искусным поворотом ноги и туловища каждый раз был отбрасываем. Длинные ее волосы, перехваченные светлой лентой, украшенные серебряным цветком, падали черным ручьем на спину. Порой девушка во время танца пела, и тонкий ее голос словно нырял в музыкальный водопад. Саунг звенел неутомимо, и неутомимо изгибался легкий стан. Зажженная лампа смутно освещала террасу. Танцовщица непрерывно меняла позы, со стальной упругостью переставляя ноги, бесконечно откидывая тяжелый шлейф, и бросая руки к волосам, и склоняясь до земли.

В наступавшие паузы, когда смолкал саунг и танцовщица садилась посреди комнаты прямо на пол и поправляла волосы и одежду, отдыхала, слуга вносил на подносе фруктовые соки и ставил их перед гостями.

Потом снова музыкант брался за саунг, а девушка с новой энергией начинала свое колдовство. В ней жило такое непреодолимое, такое неизвестное Отто Мюллеру очарование, что он невольно подпадал под влияние этого безотчетно увлекающего музыкального вихря, этого танца, казалось, потерявшего конец и похожего не на танец обыкно-

венных, подобных ему людей, а скорее неизвестных пришельцев с другой планеты. Все было чуждо ему в этом танцевальном экстазе, и все влекло его, и он невольно всем существом своим следовал изгибам этого девического тела, всем его движениям. Четкость этих движений, как мысль, преследующая человека неотступно, входила в его сознание и делала пленником неведомого.

И когда саунг последний раз пропел свою серебряную песню, последний раз взмахнула руками юная фея и скрылась после глубокого поклона, а музыкант поднялся и, неся свою арфу, как большую птицу, откланялся тоже, Отто почувствовал, что мир опустел и требуется немедленное присутствие кого-то, кто мог бы его утешить после такой потери. Но Хильдегарды здесь не было, не было и не будет. Он начал аплодировать, как и Вильгельм Вингер.

— Ну как, Мюллер, хорошо скромное искусство? — сказал Вингер.

Отто поднял в воздух обе руки, сжав их, и глубоко вздохнул.

Они оба начали горячо благодарить хозяина за доставленное удовольствие. Они не жалели комплиментов.

У Джи почтительно слушал их.

— Пойдем дальше,— сказал по-бирмански Вингер.

«Прорицатель трав» внимательно посмотрел на Отто, потом на Вингера.

— А он хочет?

— Я сейчас спрошу! Отто, это была первая часть программы. Хочешь ли ты испытать вторую?

— А что для этого надо сделать?

— Надо выпить одну маленькую чашку травяного и цветочного настоя и увидеть нечто!

Отто вопросительно взглянул на У Джи.

У Джи сказал:

— Я лечу травами и цветами и приношу облегчение. Я не причиняю людям боли. Такин Вингер это знает!

Видя недоумение и колебания Отто, Вингер сказал тихо:

— Конечно, если вы не уверены в себе, лучше не делать этого опыта. Но уверяю вас, что он безопасен...

— Я согласен,— сказал Отто.

— Хорошо.— У Джи спросил Вингера по-бирмански:— Что вы хотите? Если что-нибудь тяжелое для него...

— Нет, нет! Я просто хочу знать, что у него в голове.

У Джи поклонился обоим.

— Я вас сейчас оставлю на некоторое время одних. Я должен приготовиться. Но это будет недолго.

Он покинул террасу спокойными, короткими, сильными шагами.

— Это будет какой-нибудь факирский фокус? — спросил Отто.— Я видел в цирке в Германии факира, который ел огонь, и ходил по саблям босыми ногами, и отгадывал, сколько в кошельке марок. Это было довольно скучно...

— Видите, наш друг У Джи оперирует только цветами и травами. Он прекрасно подбирает их и настаивает, его напитки доставляют совершенно новые ощущения, и вы не будете разочарованы.

Они пили ананасную воду и ели бело-земляничную мякоть лиловых больших мангустанов. В дверях появился У Джи. Он был так же невозмутим, и лицо его, полное веселого лукавства, не выражало никакого беспокойства. Но глаза не походили на те, полускрытые и дремлющие. Теперь они были как будто устремленными в пространство.

У Джи пригласил их следовать в другое помещение. Слуга нес за ними лампу. Комната, в которой они теперь находились, была небольшой. Пол был устлан разноцветными бамбуковыми циновками. Три широких низких бамбуковых кресла, маленький круглый стол. Другой стол, побольше, стоял у дальней стены. На нем горела спиртовка.

Слуга ушел. У Джи открыл маленький, висевший на стене шкафчик и начал пересыпать какие-то порошки из мешочка в синюю тонкую чашку с красным драконом. На спиртовке над крошечной кастрюлькой подымался голубой пар. Пахло чем-то терпким и горьким. У Джи приподнял крышку кастрюльки, помешал варево, сказал:

— Сейчас будет готово. Это можно пить и не совсем горячим, но не теплым.

Отто чувствовал себя все хуже и хуже. Нет, он не боялся того, что его отравят, он опасался, что он попробует какого-то немыслимого снадобья и его просто вырвет от отвращения. Он не хотел осрамиться перед этим молчаливым бирманцем и доставить удовольствие надменному, полоумному Вингеру. Ему не нравилось, что они временами перекидывались фразами на языке, которого он не понимал. Но он решил идти до конца. Пусть будет что будет.

Поэтому, когда У Джи поднес ему синюю чашку, полную зеленовато-мутной жидкости, напоминающей чай, в который бросили кусок мыла, он смело взял ее в руки и спросил:

— Пить залпом?

— Нет,— сказал У Джи,— пейте в пять глотков, с паузами. И ничего не бойтесь.

Отто приблизил чашку к губам. Острый опьяняющий запах захватил дыхание. Он увидел теперь широко раскрытые глаза бирманца и начал пить, делая паузы; он выпил весь напиток и сидел, окаменев. Потом судорога бросила его в глубину бамбукового кресла, и У Джи устроил его удобнее. Он сидел с закрытыми глазами, как будто уснул мгновенно и очень крепко.

У Джи подвинул ближе к нему столик, знаком попросил, чтобы Вингер сел ближе, и положил руку на лоб Отто.

— Первый приступ будет через пятнадцать минут. Мы должны условиться вот о чем. Он будет что-то говорить. Но говорить он будет на своем языке. Я его не знаю. Поэтому, если я не пойму, что происходит, вы скажете мне. Если вы не поймете его, я скажу вам...

— Как же вы поймете, если он заговорит? — спросил Вингер.

— Мне не надо слышать, что он говорит. Я увижу то же, что он увидит! А теперь молчание. Я должен приготовить еще одну порцию для продолжения.

Когда Отто проглотил содержимое чашки, он испытал странное облегчение, точно потерял вес. Потом черный мрак поглотил его сознание. И вдруг вокруг него начали светиться огромные круги, радуги раскрывались над его головой, какие-то северные сияния стлались ему под ноги. И он шел, наступая на яркие световые полосы, которые начали свертываться и превращаться в узкий коридор. Он опирался на стенки этого коридора, и лучи пружинили, как резиновые. Это было даже смешно, и сколько он шел по коридору, он не мог бы сказать. Ему показалось, что он шел несколько лет. Вдруг коридор оборвался, и жгучий вихрь подхватил его, закружил и бросил на песок. Он встал, отряхиваясь и оглядываясь. Что-то похожее на пальмы было справа. Что-то похожее на красную стенку было слева. Он пошел прямо вперед. Какая-то точка возникла на дальнем-дальнем горизонте — меньше мухи. Точка росла со страшной силой, а он шел ей навстречу. Точка стала величиной с собаку, потом она как-то разом выросла, и он увидел, как на него бежит огромный, бросая клочья пены, чем-то взбешенный, разъяренный черный буйвол. Он, не помня себя от ужаса, повернулся и бросился бежать... Серд-

це его колотилось бешено. Он бежал и кричал изо всех сил: «Черный буйвол! Черный буйвол!»

— Он кричит «черный буйвол!» — воскликнул Вингер.

Руки сидевшего Отто стали качаться, как у человека, который размахивает ими на бегу. Пот катился по его лицу.

— Он бежит от черного буйвола,— сказал У Джи и приложил к голове Отто тряпку, от которой пахло муравьиным спиртом.

Голова Отто дернулась, руки упали на колени. Казалось, он тихо заснул.

Вингер хотел заговорить. У Джи предостерегающе поднял руку. Лицо Отто начало светлеть, как у человека, подставляющего щеки солнечным лучам. Он улыбался. Его руки искали что-то. У Джи подвинул к нему стол. Отто наклонился над столом, и дальше его движения походили на пантомиму. Вингер и У Джи молча смотрели, как он что-то высыпал из невидимого пакета, потом катал по столу, потом подносил к глазам, считал, останавливался, опять пересчитывал. Его губы шептали; Вингер вынул из кармана блокнот, написал на нем несколько слов и протянул бирманцу. У Джи прочел: «Он говорит почему-то: «Опал, изумруд, лунный камень, рубин...» У Джи написал на бумаге: «Он играет драгоценными камнями, ссыпает в кучку и рассыпает их».

Лицо Отто было спокойное и торжествующее. Вдруг он воскликнул:

— Хильдегарда! Хильдегарда!

«Я вижу женщину! — написал на бумажке У Джи.— Что он кричит?»

— Он выкликает ее имя, немецкое имя,— ответил Вингер.

Отто не слышал и не видел ничего. Он спал со спокойным розовым лицом, дышал ровно и тихо.

У Джи встал и отошел к своему шкафчику, поманил пальцем Вингера. Вингер подошел к нему. У Джи сказал, открывая шкафчик:

— Это примитивный случай. Он где-то видел буйвола, который его напугал на всю жизнь, и он хочет в Бирме достать для своей девушки драгоценные камни. Будем продолжать?

— Сколько он еще выдержит?

— Я дам ему еще полчашки, и этого будет достаточно. Но он должен спать полчаса. Мы можем попить чаю. Или вы хотите фруктов?

— Нет,— сказал Вингер,— я ничего не хочу. Посидим, поговорим, пока он спит. Надеюсь, на его здоровье это не отразится? Если мы продолжим опыт?

— У него будет завтра туманная голова, а потом все пройдет.

Они сидели и разговаривали. Потом У Джи поднял голову Отто, рот сидевшего сейчас же открылся, и Отто проглотил напиток с покорностью ребенка, принимающего горькое лекарство. Теперь Отто вплыл в какие-то необычайные зеленые просторы, где он начал расти и все вокруг него стало маленьким, таким маленьким, что он мог брать и срывать деревья, как спички, и их кудрявые вершины были с ноготок, он переходил вброд море и поднимал пароходик, рассматривал его и ставил обратно на воду. Потом он вступил в какой-то оранжевый круг, и круг завертелся с такой силой, что Отто начал уменьшаться с каждым поворотом этого оранжевого солнца. И скоро он уменьшился до нормального размера и увидел, что он сидит на кровати и рядом — Хильдегарда, которая гладит его по волосам. Он растерянно потянулся, чтобы схватить ее, но перед ним на самолете с рюмкой коньяку уже возвышалась стюардесса с лицом Хильдегарды, и она была в купальном костюме, на котором стояло почему-то «САС». Какой-то туман наплыл на него, кто-то закричал ему в ухо: «Рим!» — и он провалился в этот туман, и, когда он из него выбрался, перед ним мелькнула девушка, у которой было сходство с бирманцем, с каким-то почти знакомым человеком, но это было не то, другая девушка уже была в его объятиях...

— Он ничего не говорит,— шепнул Вингер,— что происходит?

— Он увлечен какой-то девушкой?

— Может быть, это немка Хильдегарда...

— Нет, она танцовщица.

— Он видит вашу дочь?

— Нет, она похожа на малайку, богато одета. Не знаю, мне плохо видно...

— Почему?

— Это не жизнь, это только призрак...

— Кто призрак? Девушка...

— Да, тише, что-то происходит!

Они смотрели на Отто и видели, как он ворочается в своем кресле, как он что-то шепчет, кого-то обнимает, смеется, гладит рукой кресло, целует воздух... На лице Отто написано было полное блаженство...

Пожимая плечами, У Джи пошел к шкафчику, и налил в чашку сильно пахнущей настойки, и положил в чашку желтый платок.

Перед Отто носились какие-то маски, рожи, морды с оскаленными клыками, накрашенные, как на карнавале.

Потом удар молнии раздробил девушку, лежавшую у него на коленях, на куски. Морды и маски набросились на него...

— Я не разберу,— сказал У Джи,— ему кажется, что его и девушку какие-то неведомые люди, кто, не знаю, раздели, и привязали к плоту, и плот бросили в реку. Но все это не то...

— Что не то? — спросил Вингер.

— Это не жизненные явления, это миражи!

Отто хрипел и стонал, извиваясь в своем кресле; он переживал что-то очень мучительное, потом его скорчило, он обессиленно вытянулся и вдруг почти выпрямился в кресле и закричал страшным голосом:

— Крокодилы! Крокодилы!

Его крик, непонятный, но исходящий из мрачного, безвыходного отчаяния, смутил Вингера.

— Ему кажутся крокодилы, которые должны его сожрать,— сказал спокойно У Джи.

— Больше не надо! Довольно! — Вингер показал на бьющегося в истерике Отто.— Хватит!

— Хорошо! — У Джи положил руки на голову Отто и держал их, пока он не стих. Потом он вытер ему лицо желтым платком, смоченным очень резко пахнущей эссенцией, и поправил спящего, поудобнее усадив его.

— Все,— сказал он, взял свое кресло и поставил его подальше от Отто. Вдвоем они перенесли стол на старое место, и У Джи начал приводить в порядок свой шкафчик. Он убрал спиртовку, чашку, платок и долго пересыпал что-то из мешочка в мешочек. Потом он закрыл шкафчик на ключ, ключ спрятал в карман своей куртки и вернулся к Вингеру, сидевшему в задумчивости у стола.

— Вы довольны? — спросил он.

— Если хотите, да,— ответил Вингер.— Если бы мы еще кое-что вытрясли из его головы, мне кажется, это нас не обогатило бы. Как вы думаете?

Непроницаемое лицо У Джи было наполнено, как всегда, скрытой веселостью, он пожал плечами.

— Когда он придет в себя, не спрашивайте его ни о чем. Дайте ему успокоиться.

— У него ночью не будет кошмаров?

— Нет, это все пройдет вместе со сном. Если ему не напоминать, он об этом сам никогда не вспомнит.

— А он будет помнить все, что пережил?

— Только отрывками, потому что это его же собственные мысли. Они всегда с ним.

— Сколько он должен спать сейчас?

— Полчаса... не меньше, но и не больше.

— Можно послать вашего слугу, чтобы он достал машину?

— Тут рядом можно достать машину у моего знакомого. Он отвезет вас. Я пошлю к нему слугу, чтобы он был тут через час.

Отто спал безмятежно, как в собственной постели. Никакие видения больше его не беспокоили. Какой-то большой покой опустился на его измученную кошмарами голову. Когда он проснулся, то с крайним удивлением обнаружил, что он сидит в бамбуковом кресле в неизвестной комнате и перед ним ходит медленно от стенки к стенке высокий, сутулый Вингер, а над Отто склонился бирманец с широкими скулами и неулыбающимся ртом — У Джи.

Сознание возвращалось к нему клочьями. Но он наконец вытянул руки, глубоко вздохнул, встал на ноги и зевнул во всю мощь. У Джи поднес ему стакан ананасного сока, к которому было что-то примешано, и он выпил его залпом. Много смутного было еще в его голове, но никакой боли он не ощущал. Он подошел к Вингеру.

— Все-таки я завтра утром должен лететь. И я бы хотел попасть в гостиницу.

— Через двадцать минут будет машина. Как вы себя чувствуете?

— Как после хорошего пьянства,— и сладко и горько. Не знаю, почему вы это называли удивительными ощущениями...

— Мы поговорим дома,— сказал Вингер, чувствуя, что в Отто нарастает непонятная злость.— Что-то хочет сказать наш добрый хозяин?

У Джи сказал по-бирмански несколько фраз.

— Он говорит, что он озабочен тем, как чувствуете себя вы, и спрашивает, не хотите ли вы узнать что-нибудь из будущего. Он может в другой раз...

— Я скажу ему сам.— Отто подошел к У Джи и смотрел на него полусонными глазами.— Благодарю вас за сегодняшний вечер, теперь я хорошо узнал ваше народное

искусство и ваше личное искусство врачевания. Я здоров и очень сожалею, что не имею любопытства заглядывать в будущее, хотя и говорят про меня, что я иногда делаю легкомысленные шаги, а я их действительно делаю... Нет, не будем заглядывать в будущий день. Удовольствуемся тем, что нынешний день кончается к общему удовольствию. Большой привет вашей дочери и сыну, великолепным артистам, которые украсили бы самую большую сцену...

У Джи проводил их до машины. Отто всю дорогу сумрачно молчал, его не интересовали ночные улицы и площади, но, когда они доехали до Странд-отеля, он сказал Вингеру:

— Вы могли бы на минуту подняться ко мне?

— Пожалуйста,— сказал Вингер,— мне завтра никуда не надо уезжать, и я с радостью выпью с вами пинджину со льдом...

В номере, когда Отто принял душ, переоделся и совершенно спокойно сидел с Вингером, говоря о предстоящей поездке, он вдруг отставил стакан и, смотря насупившись в иронические глаза Вингера, спросил:

— Что это было?

— О чем вы говорите?

— Я спрашиваю, что было там, у этого садовода, с позволения сказать?

— Что было? Мы пили чай после осмотра сада, потом прекрасный музыкант сыграл нам прелестные пьесы, а очаровательная дочка хозяина исполняла искусно самые красивые народные танцы...

— Я спрашиваю не об этом. Это я хорошо помню... А о том, что было после, когда меня угостили с вашего разрешения каким-то мерзким пойлом, не хочу думать, из чего составленным...

— А что, у вас остались болезненные впечатления?

— К счастью, этого не было. Но я что-то, кажется, кричал? Или мне это казалось?

— Да, вы действительно кричали!

— Что же я кричал?

— Вы кричали почему-то очень испуганно: «Черный буйвол, черный буйвол!» Было впечатление, что вы от него бежите и он вас преследует. Ваш крик звал на помощь!

— Что было еще? О чем я еще говорил или кричал?

— Потом вам понравились камни!

— Какие камни?..

— По-видимому, драгоценные, потому что вы называли: рубин, опал, изумруд, лунный камень...

Отто встал со стула, потер лоб и снова сел, уставившись на Вингера злыми глазами.

— И еще вы называли некую девушку или даму по имени Хильдегарда... Редкое имя!

— Я что-нибудь говорил о ней?

— Нет, вы назвали только два раза ее имя, больше ничего.

— Что было еще? Говорите все.

— Потом у вас вышли какие-то неприятности с крокодилами...

— Не может быть, при чем тут крокодилы?

— Я же не сочиняю. Вы все это переживали так, как будто это все происходило на самом деле. Что-то говорили перед этим о девушке, с которой вы оказались в довольно бедственном положении на плоту, и тут на вас напали крокодилы, как раньше черный буйвол. Удивительные ощущения!

— Это — идиотское наваждение,— сказал Отто.

— Вы недовольны? А разве вы не пережили удивительных картин, снов, миражей в неизвестной стране? Вы купались в блаженстве и умирали от отчаяния. Для одного вечера сад, музыка, танцы и великолепные миражи — разве этого мало? Вы побледнели? Вам плохо! Это пройдет без всяких последствий...

Отто весь сжался от этого холодного, сильного голоса, который звучал в его ушах как продолжение испытанных кошмаров. Он заговорил тихо, волнуясь:

— Послушайте, Вингер, мы с вами знакомы два дня. Против меня вы ничего не можете иметь. Зачем вы сделали это со мной?

Вингер улыбнулся и отвечал, тоже не повышая голоса:

— Разве вы не помните, что, когда я приглашал вас на вечер, фрейлейн Клара из нашего представительства сказала, что они все, то есть наши компатриоты, уже вкусили чудес. И она добавила, что вы тоже не будете жалеть. Вы жалеете?

— Нет, вы говорите не то...

Отто замолчал. Как это он дал себя так глупо провести, да еще впутал сюда Хильдегарду! Он почувствовал себя, как будто стал стеклянным. Ужасно и то, что он никогда не узнает всего происходившего, что выпытал от него Вингер, который потом будет всем рассказывать об этом, изде-

ваясь, глумясь. Вот что получилось от его дурацкого согласия на этот шантаж...

Вингер, внимательно присматривавшийся к нему, как будто прочел его мысли и сказал спокойно, словно это была простая дружеская беседа:

— Слушайте, Отто Мюллер, я даю вам честное слово, что никто никогда не узнает, что происходило в этот вечер, если только вы сами не расскажете об этом кому-нибудь и так, как вам захочется, как сочтете нужным. У Джи, как врач, обязан хранить тайну, и он никогда не нарушит слова. Он принял нас как гостей, как добрый хозяин и по нашей просьбе показал нам один опыт из практики врачевателя, который является знатоком цветов и трав. И я думаю, что все, что я сейчас сказал, вам понятно.

Но Отто уже не слушал, что говорил Вингер. На него напал припадок непонятной злобы. Он сказал в полном бешенстве:

— Вы все это сделали нарочно! Я знаю, зачем вы это сделали! Вы заманили меня к этому шарлатану, чтобы выпытать из меня что-то! Но я презираю такие способы узнавать о человеке! Вы это сделали, чтобы унизить меня! Я вам этого никогда не прощу! Вы хотели осмеять и унизить белого человека при помощи самого дурацкого фокусничества, потому что вы с ними против нас!..

— Против кого — нас? — нахмурясь, спросил Вингер.

— Против тех, кто расово выше их. Но все равно я не приму вашего мнения об азиатах и не подчинюсь ему...

Вингер молча смотрел на разбушевавшегося Отто, и, когда тот в ярости вскочил и начал ходить по номеру, он тоже встал и сказал:

— Вы глубоко ошибаетесь, думая, что я хотел почему-то унизить ваше европейское достоинство. Я далек от этого. Сегодня европейское и азиатское достоинство равны. Вы поедете в глубь этой страны, и там во время ваших работ вы увидите много разных людей, вы вспомните меня и поймете, что здесь живут люди такие же, как в Европе, в Африке или на любом другом континенте. Если бы в Германии врачи проделали с вами такой же опыт, какой проделал по моей просьбе У Джи, вы бы не только не рассердились, а хвастались бы своей близостью к передовой науке. Вам ведь известно, что германские врачи проделывают бесстрашно опаснейшие опыты над собой. Ваш был детским экспериментом. Повторяю, вы в стране, где уже много

нового, в стране, которая не остановится, она идет по пути общего прогресса, но со своим уклоном...

— С каким со своим?! Какой это уклон, интересно знать? — запальчиво закричал Отто.

— Я боюсь, что этот уклон называется социалистическим. И я не ошибусь, если скажу, что в ближайшие годы бирманцы будут делить помещичьи земли, национализировать нефтяные предприятия и монополизировать торговлю рисом. Пройдите в Рангуне в больницу или в университет, и вы увидите достижения бирманской культуры.

Отто молчал.

— И давайте расстанемся друзьями. Нам не из-за чего ссориться.

Отто гордо выпятил грудь.

— Что бы вы ни говорили, мы создадим новую колониальную Германскую империю...

— Создавайте, если сможете, если вам этого так хочется! Создавайте, желаю вам успеха! — Он иронически поклонился.— Но мои слова вы вспомните не раз! А сейчас ложитесь спать: ваш самолет летит очень рано. Вам надо выспаться!

И хмурый, но чем-то довольный Вильгельм Вингер покинул Странд-отель, оставив Отто в довольно большой задумчивости.

Самолет был маленький и всем своим видом говорил, что он много пережил на своем веку, но никогда не сдавался и готов еще поспорить с трудностями и летать, пока хватит сил. Казалось, что бравая наружность маленького кораблика похожа на искателя приключений, с лицом, изборожденным шрамами. Отто усмехнулся, увидев странное сооружение, и тут же придумал, как он будет рассказывать дома об этом полете: описывая пассажиров, он обязательно скажет, что они садились, не обращая внимания на то, что фюзеляж был весь в дырках и в трещинах, сквозь которые просвечивало небо, но, чтобы заткнуть самую большую дыру в хвосте, посадили толстого, в оранжевой хламиде монаха... Но самолетик самоотверженно выполнил свой долг и благополучно приземлился там, где положено.

После перелета земля с ее пронизывающим до костей жаром показалась такой знакомой, точно Отто уже давно видел эти равнины, окруженные холмами сожженной бу-

рой зелени, деревни, где женщины в одеждах поливали друг друга водой тут же, на улице, и шли по своим делам.

Старенький, подпрыгивающий на бугристой дороге «джип» уносил его в сторону от этой равнины, и с каждым поворотом дороги лес все гуще смыкался вокруг маленькой машины, в которой были только шофер, Отто Мюллер и похожий на кузнечика стройный, спокойный бирманец небольшого роста, инженер, увозивший Отто к его шефам в неизвестную даль. У Тин-бо, несмотря на его худобу, казалось, весь состоял из железных мускулов, тонких, но гибких. Он выпрыгивал из «джипа», как акробат, соскакивавший с проволоки,— легко и привычно. Его лицо было хорошего, шафранного цвета. Оно походило на лицо взрослого ребенка. Оно могло от улыбки становиться чрезвычайно добрым и вдруг делаться непроницаемым. В такие минуты он как будто погружался в далекие мысли, и окружающее переставало существовать для него.

Отто Мюллер ехал в «джипе», сохраняя предельное, невозмутимое, чисто германское самодовольство. Он хорошо себя чувствовал в этой тропической обстановке, где его положение привилегированного специалиста, которого уважают, выписали издалека, которым дорожат, давало ему уверенность в своем бесспорном превосходстве над этими маленькими, быстрыми в движениях людьми, одетыми в белые рубашки и пестрые лонджи — полосы материи, охватывающие, как юбки, их бедра. Правда, его сосед У Тин-бо был в легком европейском сером костюме; голову украшала темно-коричневого фетра шляпа с широкими полями, и только сандалии у него были, как у любого бирманца, надеты на босу ногу.

Когда они совсем уже въехали в непролазную гущу леса, а дорога все продолжала петлять и то взбираться на холмы, то сбегать в мягкие котловины и уже появилось ощущение, что так они будут ехать день за днем, У Тин-бо заговорил:

— Вы видите, какое у нас лесное богатство. У нас есть не только лес. Есть в нашей стране и нефть, и олово, и вольфрам, и железная руда, и медь, и цинк, и драгоценные камни всех сортов...

— Мы поможем вам,— снисходительно сказал Отто,— мы придем вам на помощь. Вот только жара... Скажите, у меня будет человек, чтобы носить за мной зонтик?..

— Будет,— сказал пристально посмотревший на него инженер.

— А будет у меня человек, который будет носить за мной складной стул и необходимые приборы? — снова спросил Отто.

— Будет,— сказал бирманец, смотря на Отто так, точно начинал сомневаться, того ли специалиста он везет в горы.

Но Отто посмотрел голубыми прозрачными глазами, ничего не выражавшими, кроме бесконечной надменности.

— Вы хотите создать у себя в стране новое хозяйство, основанное на достижениях передовой европейской культуры и техники?

— Да,— ответил У Тин-бо. Его детское, открытое лицо стало теперь сосредоточенным, а глаза приняли холодное выражение, точно ему хотелось сказать что-то злое, но он слушал дальше молча.

Отто продолжал:

— Без нас вам не удастся сделать, чтобы Бирма расцвела. Но вы хорошо поступили, что пригласили специалистов, не политиков, а специалистов, потому что ни от каких речей не прибавится выработка железа и добыча цветных металлов. Лучше германских специалистов сейчас нет никого. Вы где учились?

— Я учился в Рангунском университете. У меня не было денег ехать в Европу... Я добился знаний большим трудом.

— Хорошо,— сказал Отто, чувствуя, что этот маленький человек с упрямыми глазами как бы признает его непоколебимое превосходство над собой.— У вас очень хорошие леса...

Бирманец ничего не ответил. Они ехали настоящими джунглями. Вокруг не было ни людей, ни деревушек. Ни одна крыша охотничьего или дорожного домика не нарушала беснующееся море зеленых красок. Никакой художник не мог бы найти столько оттенков зеленого, сколько здесь щедрая кисть природы представляла изумленному глазу.

С трудом следя за этой бесконечной сменой деревьев, кустов, лиан, цветов, Отто должен был сознаться, что почти все ему незнакомо. Редко-редко он, казалось, ловил глазами что-то знакомое, дерево или куст, похожий на далекого европейского собрата, и снова летели зеленые видения, а «джип» все бежал, натужась и поскрипывая, сквозь это изумрудное чудо.

Он посмотрел на примолкшего бирманца и, не сдерживая полноты чувств, которые требовали, чтобы кто-то разделил их, сказал:

— Возьмите эти джунгли! Дикие, мрачные, недоступные дебри! Я знаю, что туземцы боятся джунглей. Туземцы боятся их потому, что, будучи невежественными, населяют их духами, нечистой силой, привидениями. Они боятся их потому, что не могут бороться с дикими зверями; европеец же входит в них и делает все, что хочет. Он покорял различные джунгли, усмирим быстро и эти. Конечно, без нас вы ничего не сделаете. Мы, специалисты, подчиним эту дикую силу на пользу вашей стране...

Бирманец чуть наклонился к шоферу и сказал что-то на своем языке, Отто не мог понять этих слов.

— У пятого поворота останови машину. Скажи, что не в порядке мотор. Остановка на полчаса. Так нужно...

Шофер не выразил никакого удивления. Он только переспросил для точности:

— У пятого?

— Да!

У Тин-бо сказал Отто:

— Эти шоферы ездят иногда здесь с поразительной небрежностью. Они совсем не следят за дорогой. В джунглях даже днем случаются неприятности и с людьми и с машинами...

— Да, я слышал, у вас гражданская война,— ответил Отто.— Но ведь нас, иностранных специалистов, это не касается. Мы нейтральны...

У Тин-бо заметил, что дорога в этих местах совершенно безопасна и что он имел в виду совсем другое. Мало ли что может случиться с мотором, и потом сиди и жди часами среди девственного леса, обитатели которого иногда излишне воинственны...

У Тин-бо надолго замолчал.

Он вспомнил один рассвет далеких времен, тот, когда с ним случилось необычное происшествие. У Тин-бо командовал тогда разведчиками партизанского отряда в джунглях. Он уже не раз участвовал в тяжелых экспедициях в этом зеленом аду. Выслеживая японских захватчиков, нападая на их посты, он приобрел опыт разрушения дорог и мостов, сражений с многочисленными врагами, но, кроме того, пребывание среди бирманских партизан открыло ему глаза на многое.

Он вел беседы с рядовыми партизанами о войне, расска-

зывал, что делается на фронтах, в далекой Европе. Люди знали от него о том, как Советская Армия разгромила под Сталинградом гитлеровцев, как гонит захватчиков со своей земли и что, видимо, война идет к концу. У Тин-бо говорил и о том, что, победив, бирманский народ перестроит всю жизнь в родной стране. Он уже понимал, что не всякий европеец — враг бирманца и не всякий азиат — друг его. То, что партизаны убивали самураев, было только справедливо. Самураи — безжалостные убийцы мирного населения, не щадили ни женщин, ни детей, сжигали селения, вешали, рубили головы, грабили и уничтожали все, что могли.

У Тин-бо привык к джунглям. Он бесстрашно бродил по самым глухим дебрям. В то утро, когда туман поднялся и можно было уже ориентироваться в болотистых бамбуковых зарослях, отличный проводник вывел разведчиков в полосу твердой земли, где можно было разбиться на маленькие группы и прочесать нужный район, двигаясь безостановочно.

Резкий вопль обезьяны-ревуна прорезал сырой воздух. Это был условный сигнал, и он означал: внимание!

Сначала У Тин-бо услышал дальний шорох, потом треск ветвей, и, хотя там были очень колючие кусты, рвавшие и одежду и тело, приближавшийся, видимо, не обращал на них внимания.

Он стремился выйти на твердую землю из топких низин, и скоро У Тин-бо, встав за большое тамариндовое дерево, увидел смельчака, бросившего вызов джунглям.

Вид этого человека поразил его. То, что это не японец и не бирманец, понятно было с первого взгляда. Жалкие лохмотья едва прикрывали его. Обросший клочковатой рыжей бородой, с большим суком в руке был, несомненно, европейцем.

Но кто он? Откуда взялся в этой жуткой чаще? И У Тин-бо решил: верно, этот человек рискнул на невозможное: бежал из японского плена в джунгли, не имея ни оружия, ни компаса, ни продовольствия... Как он выжил? Куда шел сквозь тысячи неведомых опасностей, проводя ночи, видимо, на деревьях? Чем питался? Все было загадкой. Одно было ясно: человеку невероятно повезло, он в конце концов вышел на партизан.

Когда человек, шатаясь от неимоверной усталости, приблизился к дереву, за которым стоял У Тин-бо, тот сам шагнул ему навстречу и сказал по-английски:

— Остановитесь, не бойтесь, мы бирманские партизаны, враги японцев...

Человек стоял шатаясь, и его глубоко ввалившиеся глаза, воспаленные, в лихорадочном огне, и его лицо и тело в кровоподтеках, ссадинах, ранах, шрамах были живым свидетельством того, что он пережил.

У Тин-бо и его товарищи с трудом довели человека до своего лагеря. Он оказался англичанином, который поведал обычную историю тех трагических времен.

Взятого в Сингапуре в плен, его пригнали прокладывать дорогу через джунгли. Его рассказ был страшен, и все слушали в глубоком молчании.

Отчаяние дало пленному силы, счастливая случайность вывела на партизанские посты. Он долго отлеживался, встал в конце концов на ноги, но силы его были подорваны, и хотя он принимал участие в боях и отличался особой храбростью, но все знали, что дни его сочтены, потому что перенесенные им мучения и лихорадка джунглей сломили его.

Наконец он умер. Его похоронили в хорошем, сухом месте, и память о нем осталась у людей, с оружием боровшихся за свободу страны.

И потом, когда пришла победа, его вспомнили еще и потому, что много европейцев-друзей пришло в Бирму. Пришли друзья из Советского Союза, из социалистических стран, из многих других стран. Каждый народ имеет плохих и хороших людей. Но вот такие, вроде этого молодого немца, они не представляют себе действительности, не имеют понятия, что Азия изменилась, в них по-прежнему живет скрытый дух старого, презрительного отношения к «туземцам». И надо их, думал У Тин-бо, воспитывать, надо им показывать, кто мы и что сейчас нас невозможно больше угнетать. Надо вежливо сказать этому молодому человеку, что мы хотим не сохранения старого порядка, а новой страны — передовой, равной другим странам...

Машина продолжала мчаться так быстро, что казалось, зеленый навес превращается в какой-то подводный коридор, точно машина мчится по дну зеленой реки. Вдруг машина сделала какой-то странный скачок, что-то застучало в моторе, и «джип» остановился. Шофер с застывшим лицом пробормотал несколько слов и соскочил на землю.

У Тин-бо покачал неодобрительно головой, вылез вслед за ним. Шофер поднял крышку капота. Потом инженер сказал озабоченно Отто Мюллеру:

— Нам придется немного погулять. С мотором что-то случилось. Я как будто предчувствовал, что будет не все хорошо с этой машиной. Ну что ж, пока он копается, мы разомнем ноги. Прошу вас...

Он хотел помочь Отто вылезти, но Отто выпрыгнул сам, слегка отстранив маленькую коричневую руку инженера, упругую, как пружина. Отто понимал кое-что в машинах, но сейчас, при этой, вероятно небольшой аварии, ему, европейцу, лезть в присутствии двух азиатов в мотор и копаться там, как простому слесарю, технику, было просто невозможно.

Он сделал вслед за бирманцем несколько шагов и остановился, чтобы оглядеться. Сбоку лежало подобие поляны, так густо заросшей неизвестными ему травяными высокими растениями, что пробраться через них не представлялось никакой возможности. Но, пройдя немного, миновав эту удивительную поляну, бирманец и Отто увидели что-то вроде тропы. Как будто здесь непролазная чаща раздвинулась, и в эту узкую щель можно было углубиться в джунгли.

— Это тропинка,— сказал У Тин-бо,— пройдемте немного по ней.

Отказываться не было причины, и Отто вступил вслед за бирманцем в глубину темно-зеленой чащи. Тропинка была узкая, самого дикого вида. Она обходила высокие, выше человеческого роста, подпорки. Эти подпорки поддерживали могучие деревья, уносившие свои кроны в такую высоту, что разглядеть что-либо там, где все перепуталось ветвями, где листья всех оттенков слились в один шатер, было невозможно. Под ногами клубились какие-то завязанные узлами ветви с длинными шипами. Всевозможные лианы всползали на деревья, обвивали их и уходили вверх в густой сумрак.

Отто медленно, пораженный величием окружающего леса, шел за бирманцем, молча посматривая по сторонам.

Бирманец остановился.

Несколько минут они, не говоря ни слова, всматривались в это первозданное зеленое царство. Порядка, какой Отто привык видеть в лесах на родине, здесь не существовало. Это было буйство неслыханного, ничем не сдерживаемого творчества зеленых сил леса. Гиганты, создав себе отвесные, серые, как бетон, подпорки, чтобы стоять с могучей прямизной, гнали к солнцу стволы исполинской толщины. Они поднимались из зеленого мрака, где лианы

свисали длинными гирляндами, путаясь с воздушными корнями, штурмуя высочайшие ветви и стелясь по земле... Все, что могло жить и приспособляться к жизни великого леса, все было погружено в хаос ветвей, лиан, упавших и сгнивших деревьев. Только приглядевшись, глаз мог обнаружить гигантские моховые ковры, лишаи, папоротники. И повсюду ослепительно сияли яркой густотой цветы, распространявшие сотни запахов — от самых удушливых до тончайших ароматов.

— Много ли вам известно здесь растений? — спросил У Тин-бо, указывая на подавляющую роскошь первобытного мира.

— Я вижу орхидеи, только они здесь значительно больше, чем на моей родине...— сказал Отто, не могший скрыть некоторого волнения.— Деревья, сознаюсь, мне незнакомы...

— То, которое видите впереди, такое, с гладким стволом,— это наше дерево, его зовут пьинкадо, а за ним исполинское, очень многоветвистое, могучее — это царь наших лесов — пьинмо... Посмотрите, сколько папоротников, цветущих лиан и орхидей, но они растут не на земле. Они подымаются, как на руках, во все этажи леса, забираются по стволам и сучьям. Им не надо почвы... Посмотрите...

В воздухе было душно и влажно, точно весь этот сумрак был пронизан вредными, тяжелыми испарениями. На мгновение Отто почувствовал легкое головокружение, чаща чуть сместилась перед ним. Он закрыл глаза, и, когда открыл их, холодная струйка пробежала у него по спине. Ему показалось, что бирманец исчез и он остался один на один с этой свирепой, жуткой зеленой чащей. Да и в самом деле Отто стоял на непонятной тропе. Неужели он сошел с прежней? Все вокруг как было и все-таки не так. Появилось неприятное ощущение, что все эти моховые и папоротниковые завесы мгновенно опустились и закрыли ему выход. Ему показалось, что сквозь эти струящиеся, нависшие над головой, ползающие по земле ветви, кусты, сквозь пестрые, ядовито-зеленые листья на него и сверху и с боков смотрят глаза, много разных глаз и цвет этих глаз меняется, точно кто-то освещает их электрическим фонариком.

Он сдержал невольный крик, когда зашевелилась большая ветвь, усыпанная ярко-красными цветами,— зверь! Черт возьми, до чего все глупо! Ветвь с сухим шелестом обломилась. Из-за нее вышел У Тин-бо. Он был

вежлив, в его глазах светилось детское любопытство, и его лицо было лицом большого ребенка, которому нравится игра.

— Эта тропа ведет куда-нибудь? — сказал Отто, стараясь сохранить равновесие духа.

— Возможно, в какую-нибудь лесную деревушку. Но ее прорубили недавно. Если по ней не ходить несколько времени, она исчезнет бесследно. Лес работает днем и ночью. Его работники никогда не отдыхают,— добавил он с легкой иронией.

— А в этом лесу есть дикие звери?

— Сколько угодно... Я думаю, нам пора вернуться, посмотреть, как дела у нашего шофера... Зеленая тьма.— Бирманец показал в чащу, где действительно все сливалось в одну непроницаемую темно-зеленую пелену.

— Зеленая тьма,— повторил Отто,— это очень точно. Вы определили правильно.

— Это не мои слова,— сказал У Тин-бо, и они быстро зашагали к дороге.

Шофер еще был занят. Вокруг него на тряпках лежали разные инструменты, и он, полуголый, гнул какую-то проволоку, обрывая ее клещами. Он крикнул что-то У Тин-бо. Бирманец ответил и обратился к Отто, который только сейчас почувствовал, что он весь мокрый, то ли от сырости леса, то ли от приступа слабости, который только что испытал в чаще. Это ощущение чем-то походило на переживания в доме «Врачующего травами».

— Шофер просит немного подождать... Мы можем сесть на этот камень... Зеленая тьма,— произнес бирманец задумчиво,— это сказал один молодой человек, историю которого я могу вам коротко рассказать, пока шофер возится с машиной.

— Пожалуйста,— сказал Отто, вытирая большим белым платком затылок и шею, покрытые липким потом.

— Молодой человек был англичанином и жил в Сингапуре. Он жил, как все белые, служил на хорошей службе, играл в теннис, флиртовал с девушками, ездил на охоту, помещался в хорошем доме, где работали фёны; слуги были исполнительны и дорожили вниманием хозяина. Он не успел обзавестись семьей. Он хотел сначала кое-что скопить. Он пребывал в идиллическом мире белого человека и был абсолютно уверен, что нет такой силы на свете, которая может помешать его спокойному, раз установленному образу жизни. Небо, земля и море принадлежали британ-

скому империализму, и никто не смел посягнуть на это великое могущество.

Поэтому, когда наступили события, молодой человек сначала не мог представить себе, что это не сон. И когда пал Гонконг, японские генералы одним ударом захватили Индокитай, молодой англичанин все еще верил в силу белого человека. Японцы пустили ко дну английский флот, уничтожили авиацию и угрожали Сингапуру, то есть всему благополучию молодого человека. Но он верил в силу фортов непобедимого Сингапура, который строили годами и убили на это миллионы фунтов.

Японская армия не приближалась к Сингапуру.

«Они не посмеют,— говорил себе и друзьям молодой человек.— Видите, их солдат перед Сингапуром нет!» Бедный молодой человек! Если бы он в те дни отправился на охоту в джунгли и встретил бы группы скромных людей, пробиравшихся по тропинкам среди бамбука, он сказал бы, что это крестьяне, или охотники, или носильщики, но он бы жестоко ошибся, этот молодой человек. Это и была японская армия, которая отказалась от старых способов ведения войны.

Армия проникла в джунгли; оставив свою обычную форму, она шла в трусах и без единого автомобиля. Англичане ждали появления длинных автоколонн, а в джунглях пробирались по колено в воде, по невидимым тропинкам бойцы, которые несли на себе патроны, легкое оружие и питались тем, что пошлют джунгли. У них были таблетки, которые они кидали в стакан болотной воды, и эту воду можно было пить, потому что таблетки убивали всех микробов. Бойцы несли неприкосновенный запас — рис и консервированные овощи. Эту пищу не стал бы есть ни один английский солдат. Впереди японцев шли разведчики и люди, которые ненавидели англичан. Они провели японцев к самому Сингапуру. Молодому человеку, которому казалось, что он видит неприятный сон, пришлось убедиться, что сон перерос в кошмар, потому что японцы в самое короткое время разгромили все английские силы и вступили с распущенными знаменами в Сингапур, сначала отрезав крепость и город от источников пресной воды. Английский гарнизон капитулировал, и молодой человек проснулся от кошмара к самой страшной действительности.

Японские империалисты — люди непомерной злобы и хитрости. Им не нужны были десятки тысяч пленных белых — англичан. Но надо вам представить себе, сколько

сотен лет белые угнетали жителей Азии. Вы меня слушаете, вам интересно?..

— Мне очень интересно,— ответил Отто, хотя ему вовсе не нравилась эта история, но ему хотелось дослушать, куда приведет ее этот тихий маленький желтый человек.

— Японцы хотели унизить белых перед лицом угнетенных ими народов, истребить их мучительной, медленной, специально придуманной смертью. Они послали их строить через джунгли стратегическую дорогу. Войти в это царство зеленого мрака не так просто. А выйти из него целым — счастье одиночек. В зеленую тьму вступил и тот молодой человек, который жил обыкновенной беспечной жизнью белого господина, которому каждое утро приносили в кровать завтрак, каждую ночь стелили постель и исполняли его любой каприз. И вот эта армия пленников-строителей, сопровождаемая конвоем, вошла в океан джунглей. Вы их сегодня видели, лесные дебри, вы даже сделали несколько шагов по случайной тропе. Джунгли приняли вызов этих несчастных. И началось нечто, о чем никто из них не мог даже думать и воображать.

Они жили в джунглях, работали с утра до вечера, прорубали дорогу и устилали ее своими трупами. Умирали каждый день. Им казалось, что они при жизни попали на тот свет, в ад, где все пытки не имеют конца. Сколько их просыпалось с черным языком и блестящими серебристыми глазами, в сильном ознобе, с болью во всем теле, точно их ломали на куски! Это была лихорадка джунглей, косившая англичан, как будто выкашивала просто поляну за поляной; она сменялась желтой лихорадкой, которая сводила людей с ума. Бесчисленные клещи, вонзавшиеся в тело в жалких шалашах, разносили клещевую болезнь, вызывавшую расстройство памяти и буйное помешательство. Японцы просто пристреливали таких больных или отравляли их.

Джунгли переходили в наступление. Тигры похищали людей, отошедших в сторону от дороги, леопарды ходили по лагерю ночью, загрызая спящих на месте или утаскивая в сумятице и панике, вызванной их нападением. Мошкара джунглей разъедала исхудалые, покрытые потом тела, представлявшие сплошную рану, никогда не заживавшую. Большие комары кусали со злостью летающих собак. С деревьев сыпались пиявки, которые всасывались в спину, в ноги, в руки, и их нельзя было оторвать от тела, ими кишела высокая трава, и ноги работающих были в крова-

вых ранах от непрерывных нападений этих бесчисленных врагов. Муравьи, страшные муравьи джунглей проникали всюду, пожирали съестные припасы и так кусали, точно в человека вонзались куски раскаленной проволоки. Клещей просто невозможно было извлечь из тела, они сосали кровь, как настоящие вампиры.

Тысячи потревоженных змей бросались в ярости на работающих, и бывало, что весь лагерь, не выдержав этих ужасов джунглей, съедаемый ими, в крови и в рубище, оставляя мертвых в коричневой жиже болот, устремлялся в паническое бегство, и даже безжалостная стрельба стражей по людям не останавливала бегства.

И сами охранники приходили в ярость и исступление. Тогда власти отзывали на время работающих, и в эти места посылались самолеты. На бреющем полете они сбрасывали бомбы, которые рвали, крошили на куски джунгли, валили вековые деревья, убивали диких зверей, распугивали их. Потом с самолетов спускали бомбы с ядовитыми газами, чтобы заставить зверей и гадов бежать из своих убежищ. И снова люди шли в джунгли, и все начиналось сначала. Потоки дождей валили с ног ослабевших, голодных, обезумевших от этого непрерывного ада мучеников. Японцы глядели на них со злорадством. Вы долго были господами цветных, и вы смотрели, как они работают для вас, теперь сами испытайте на себе всю прелесть империалистического рабства. Вы слушаете меня, интересно?..

— Интересно,— сказал мрачно Отто,— чем же это кончилось?

— Несколько раз отступали из джунглей, отступали перед зверями и змеями, встретив такие дебри, которые страшнее всех лихорадок и мучений. И снова принимались бомбить и отравлять газами чащу. И снова мертвые ложились вокруг и их даже не успевали хоронить. Их бросали по ночам подальше в чащу, и гиены или шакалы кончали с ними к утру.

Теперь вы представляете себе, что испытывал молодой человек из Сингапура, стоявший с лопатой в руках по колено в грязи джунглей, осыпанный пиявками, слышавший рев леопарда ночью рядом со своим шалашом, вытаскивавший из-под мышек клещей, сражавшийся с гадами, со всех сторон угрожавшими ему... что испытывал он под окриком японского унтера, который считал себя по меньшей мере раджой в сравнении с этим белым, почти потерявшим человеческий облик...

Но и молодой человек, вспоминавший теперь прошлое, как видение другого мира, конечно, не раскаивался во всех грехах империализма, в которых был повинен и он, ведя жизнь господина, каждое повеление которого было законом, и если у него еще были какие-то душевные силы, то эти силы спасали его не раз в трагические минуты полного распада сознания и усталости, которой нет имени.

Но когда маленький, с глазками сумасшедшей болотной крысы японский тюремщик ударил его бамбуковой палкой и раз и два, он больше не видел ничего, кроме этого перекошенного лица из старой желтой кожи, оскаленного рта и пены на губах. Он вырвал у него палку, одним ударом свалил палача в грязь и заставил его хлебнуть грязной жижи, а потом прыгнул, как прыгают в пропасть, в глубину джунглей, и гром выстрелов вслед ему прозвучал, как голос из далекого мира, с которым у него нет больше ничего общего. Точно он умер, и тело само по себе, еще по инерции продолжает двигаться, а дух уже свободно парит в вершинах этих лесных великанов, до которых не достанешь глазом.

Что он пережил, бродя в джунглях, передать трудно. Когда он вышел на нас, он не был похож на того молодого человека, с которого начался мой рассказ...

— А что вы делали в джунглях? — спросил Отто, кусая губы и чувствуя, что попал в трудное положение. Он слышал и дома рассказы о так называемых лагерях смерти, но здесь было нечто другое...

— Мы были партизанами, которые встали против угнетателей бирманского народа. Мы мстили за его мучения и, как могли, уничтожали японских палачей. Мы долго не могли привести в себя этого молодого человека. Мы отвели его на нашу лесную базу; он с трудом пришел в себя, его долго лечили. Когда он отдышался, он рассказал, что с ним произошло. Мы знали об этой дороге. Много угнетателей уложили наши пули в джунглях. Мы были хозяевами этих дебрей, и даже отпетые головорезы из врагов боялись встречаться с нами.

— А англичанин? Что случилось с ним дальше?

— Он уже не мог вернуться к нормальной жизни. Он был уже не в себе. Он много рассказывал о прошлом. Но продолжалась борьба. Война шла всюду, и в джунглях тоже. Мы знали, что пленных, строивших дорогу, мало уцелело. Англичанин с каждым днем становился все слабее. Наконец джунгли добили его. Он умер, и мы его похоро-

нили в сухом, хорошем месте... Он сражался вместе с нами. Он умер нашим другом.

— Как его звали?

— Он не сказал своего имени. И только сказал, умирая, когда я спросил его, кого известить о его смерти, он сказал серьезно: «Все человечество!» Я подумал, что он бредит, но он снова приподнялся и, сжав мою руку, добавил, как в лихорадке: «Напишите на могиле: здесь лежит неизвестный англичанин, который хочет, чтобы история его жизни была широко известна всем людям на земле...» Вот почему я познакомил вас с нею, раз судьба свела нас в сердце джунглей, у пятого поворота этой дороги...

— Зеленая тьма,— повторил не без вздоха Отто.— Да, это так. Печальная история для белого человека...

— Я думаю, что она была бы печальна и тогда, когда в ней участвовал бы человек желтой или какой-либо другой кожи,— сказал У Тин-бо.

Отто не успел ответить. Шофер издали показывал, что можно садиться. И когда они сели, бирманец не продолжил разговора. Он только посмотрел на часы и сказал:

— Мы приедем прямо к обеду.

Машина снова помчалась через джунгли. Махали и махали со всех сторон зеленые ветви, точно провожали едущих, но совсем другими глазами смотрел теперь Отто Мюллер в то светлевшую, то почти зелено-черную лесную тьму, проносившуюся мимо него. Так они ехали долго. День начал потухать, когда резким поворотом машина вырвалась на холмы. За ними вставали серые с зеленым горы, а внизу в листве замелькали серебристые и красные крыши небольших домов.

— Я сойду в самом городке, вас шофер довезет до дома, где вас ждут. Потом, попозже, я зайду к вам, когда вы пообедаете и отдохнете. О делах мы поговорим завтра...

И машина проехала через маленькое местечко, которое как бы спряталось в гуще большого букета — так много вокруг было цветущих белыми и лиловато-желтыми цветами деревьев.

Отто Мюллер, вымывшийся, побрившийся, переодевшийся в чистый, просторный колониальный костюм, сверкающий белизной накрахмаленной рубашки, с бледным галстуком и манжетами, в которых светились голубые узоры запонок, сидел за обеденным столом, таким же чинным и знакомым, как будто он никуда не уезжал из Дюссель-

дорфа и не было этого длинного, чрезмерно пестрого пути через моря и страны.

И по бокам его сидели два важных господина, вполне пожилых и порядочных, со свежевыбритыми щеками, тоже в накрахмаленных рубашках, легко касались различных блюд вилками различной величины, как полагалось по этикету среднеевропейского стола. Он слушал их, и в его глазах светилась и преданность этим старым немецким характерам, и гордость, что он вызван ими в такую далекую страну, и что они будут советоваться с ним как со специалистом, и он будет жить размеренной, насыщенной всеми благами и радостями жизнью, как... «Как молодой человек из Сингапура»,— подсказал кто-то из глубины памяти.

Чепуха! Лукавый спутник-инженер выдумал эту историю, чтобы напугать его, Отто Мюллера, человека из военной семьи; его дядя был известен лично самому Роммелю, полководцу, которого уважают даже враги.

Обед был сервирован на террасе небольшого дома, где жили специалисты; теперь здесь будет жить и Отто. Дом стоял на высоких столбах. Из сада на террасу вела лестница, похожая на трап; по такому трапу подымаются на палубу какого-нибудь речного парохода. Почтенные хозяева уже объяснили Отто, что так здесь строят дома во избежание сырости, наводнений и от нашествия разных гадов, которых тут довольно много, и от них стоит принимать меры предосторожности. На столе горели свечи, не потому, что в доме не было электричества, но старики потребовали уюта. Действительно, желто-розовое пламя, вокруг которого кружились дымными стайками прозрачные разноцветные мошки, напоминало какие-то идиллические времена, какие-то воспоминания роились в теплом воздухе, и, запивая вкусным французским коньяком душистые яства, приготовленные местным поваром с поправкой на европейский вкус, то есть с известным послаблением по части перца и дурманящих и обжигающих горло соусов, можно было предаваться беседе, забыв о далеком северном городе, где сейчас мартовская слякоть и холодный ветер несет колючую труху в красные лица озабоченных пешеходов.

Уже за первым были обсуждены все вопросы, связанные с приездом Отто, переданы приветы от дяди своим друзьям в тропических краях, рассказаны последние западногерманские анекдоты и новости политической жизни.

Сообщены сведения о знакомых, упомянуто про письма, которые он привез. Отвечено на вопросы, как он летел и что с ним было в дороге. Старики — умницы, они все понимают, недаром старые вояки! Правда, Отто не помнит их в военном, но дядя показывал их портреты, где они были в полной боевой амуниции. Да, жаль, что ему было только четырнадцать лет тогда, когда война кончилась так внезапно... Русские взяли Берлин, союзники вошли в его родной город — Дюссельдорф. Дальше нечего было делать... Какие безвыходные времена, как им было с дядей худо! А вот опять все как будто ничего. И дядя на пенсии, и он на настоящем пути. Молодой человек из Дюссельдорфа, а не из Сингапура, да, как бы ни намекал хитрейший У Тин-бо. Никакие джунгли ему не страшны. И Хильдегарда получит свой рубин, опал, лунный камень и изумруд и сумочку из крокодиловой кожи! Обязательно получит! Немного лишнего пьют эти два старичка, но ведь они бывшие военные. Воображаю, как они кутили в дни побед. Один, правда, был на русском фронте — ох, там и морозы, где бродят белые медведи! — зато другой испытал весь жар пустыни в африканском корпусе.

Слуга появлялся, как привидение. Бесшумно приносил он тарелки, убирал ненужные вилки и ножи со стола, менял салфетки, наливал ледяную ананасную воду, раскладывал мясо и гарнир, кланялся и исчезал, точно уходил в стену.

Отто знал — он не впервые обедал с такими гордыми, немного напыщенными стариками,— что они должны закончить стол разговором о самых высоких предметах. К сладкому они раскачивались для высказываний такого иногда фантастического порядка, что их нельзя выносить ни в какую аудиторию, кроме домашней.

Старики насытились. Они были живописны. У них были розовые, теплые щеки, глаза блестели, сухие губы точно тронуло акварельной краской, седые волосы стали казаться более густыми, уши заметно покраснели.

— Я хочу продолжить вчерашний наш разговор,— сказал Хирту Ганс фон Шренке.— Ну почему ты не хочешь видеть, что смена владельцев этого азиатского наследия вполне естественна? Посмотри в сухие страницы истории, и они тебе ответят самым красноречивым, самым научным образом. Разве португальцев не сменили голландцы в этих тропических краях, а голландцев — французы и французов — англичане! А где теперь англичане здесь,

на Востоке? Здесь мы и американцы. Я знаю, ты скажешь, что надо читать в другом порядке: американцы и мы! Изволь, отдам должное твоему педантизму в серьезном вопросе. Но разве не естественно нам, немцам, прийти сюда? Именно не с армией. Сейчас не нужен Роммель, чтобы сидеть нам вот за этим столом. Война перешла в экономические действия. Мы еще будем иметь победу. Азия есть Азия! Мы специалисты. Что эта или другая страна Азии без специалистов? Будущее этих стран в наших руках... Ты согласен?

— Совершенно согласен. Сегодня в дороге я сказал моему спутнику, туземному инженеру, что выше германских специалистов нет никого на свете. Даже американские атомные и всякие другие бомбы сделаны ими. Это не секрет...

— Вот видишь! Молодое поколение того же мнения...

— А если, Ганс, они все же столкнутся? — сказал Генрих Хирт, странно вытянутая голова которого напоминала редьку.

— Кто они? — спросил Шренке, беря зубочистку из маленького граненого стаканчика.

— Советы и США! Мне страшно представить это столкновение, похожее на землетрясение, от которого покачнется мир. Но если оно произойдет, на чьей стороне будет тогда старый воин, неустрашимый Ганс фон Шренке, носитель многих орденов, гроза пустыни?

— Я думаю, что не может быть другого ответа. Мы щит Запада, и мы должны снова встать против сил Востока. В моей юности кайзер Вильгельм нарисовал сам — он был букет талантов — картину, изображавшую желтую опасность, опасность с Востока. Там, на горизонте, сидело чудовище вроде Будды, и шел вал огня и истребления. А на горе стояли все европейские страны в виде женщин со щитами, как валькирии, и впереди всех Германия, закрывая щитом Европу против новых нашествий. Так должно повториться! И сегодня в Европе нет ни одной армии, которая имела бы свойства и силу германской. Бундесвер — единственная защита всех европейских стран, единственная! Все в страхе, все боятся, одни мы сидим в седле!..

Он засмеялся, бамбуковое кресло под ним затрещало, когда он приподнялся, чтобы взять зажигалку, лежавшую на отдельной тарелочке.

Шренке отрезал ножичком кончик сигары, сложил ножичек, светлый всплеск зажигалки походил на вспыхнувшего внезапно мотылька. Огонек осветил хмурые, собравшиеся вместе седые брови.

— Я тебе скажу фантастическую вещь, и ты не отвергай ее сразу. — Генрих Хирт помолчал, ожидая, когда бесшумный слуга исчезнет, поставив на стол фрукты.— В случае этого катаклизма мы должны идти вместе с Советами...

— Я, по-видимому, стал плохо слышать.— Шренке даже вытянулся в сторону говорившего.— Если можешь, повтори, что ты сказал...

— Мы должны идти вместе с Советами...

— Почему? — спросил еле слышно, как будто из другой комнаты, Шренке.

— Послушай меня. Ты сам знаешь, что катастрофа, которая разразится, не будет даже походить на то, что было в Европе сорок пятого года. Все будет серьезнее и масштабнее. Мы знаем новые разрушительные средства. Их силу, их действие. Все материки пострадают серьезно. Я не верю, что человечество исчезнет или будет обречено на вымирание. Оно не исчезнет. Ведь и в Германии во время Тридцатилетней войны и после волки ходили по дорогам, а чума уносила жертвы в городах, откуда бежали жители. Все было! Будет и здесь всякое! Но главное — будут руины и необходимость организовать восстановление. Если победят американцы, то в этом мире будут господствовать только они. Они не пустят никакого чужестранца к этому выгодному всемирному предприятию. Только американский инженер, только американский предприниматель!.. Но если победят Советы, какие понадобятся организаторы для восстановления разрушенного в мире! Кто отказывается и отказывался от германского специалиста? К нам обращались в первые годы Советов коммунисты из России. К нам обращаются сегодня страны Азии и Африки и все, кто хочет организовать у себя свое производство. Кто откажется тогда среди руин и растерянности от наших услуг? И мы выйдем спасти человечество, когда огонек цивилизации будет едва тлеть. Мы раздуем его...

— Но ведь коммунисты не позволят тебе заняться этим восстановлением, как и американцы...

— Нет! — воскликнул Хирт.— Ты ошибаешься. Они будут просить нас, а мы... мы охотно придем им на помощь, потому что тогда мы все будем коммунистами...

— Ты бредишь, это пахнет уже юмористическим фантастическим рассказом. Чего ради мы станем коммунистами?..

— Не все ли равно, как мы будем называться, когда мы станем во главе всемирного восстановления человечества? Ты забыл, что наши предки, сражавшиеся с языческими римлянами ради своих богов, спокойно стали христианами и ничего не потеряли, только выиграли. Мы лучшие организаторы, в этом ты прав, но единственный выход в случае катаклизма может быть только таким...

Шренке молча сосал сигару. Окутанный синим дымом, он сидел, напоминая Отто рангунских будд, окутанных синим тяжелым дымом толстых сигар-черутта, которыми дымили в лицо бога прелестные женщины в белых прозрачных кофточках и синих длинных юбках. И вдруг Отто стало не по себе. Наверное, это сказывалась все-таки усталость от непрерывного, долгого пути. Он поднялся и поклонился, когда замолчали оба старых доморощенных философа.

— Прошу прощения, но я хочу немного заняться своими чемоданами, разобрать вещи... Благодарю вас, я пойду...

— Иди, это правда, мы тут разговорились, а ты с дороги,— сказал, отнимая сигару от мокрых губ, Шренке.

Хирт приветливо помахал ему большой жилистой рукой.

Отто прошел к себе в комнату, долго разбирал вещи, развешивал костюмы, рассортировывал разные мелочи и, кончив со всем этим, вышел в сад и обошел дом, чтобы подышать неизвестным ему запахом какого-то сладко, удивительно тонко пахнущего дерева, в ветвях которого блестели большие, широкие, как розы, цветы.

Под деревом стояла скамейка. На ней сидел человек. Подойдя, Отто не сразу узнал сидевшего. Но когда сидевший поднялся, он увидел, что это У Тин-бо.

— У Тин-бо, вы хотите видеть инженеров? Они сидят на террасе.

— Я пришел сказать, что заседание завтра откладывается на после ленча: наши специалисты запаздывают. Самолет сделал вынужденную посадку. Вы знаете, есть старые самолеты. Они уже устали летать.— Он улыбнулся, показав острые, мелкие зубы.

— Мы тоже могли сесть, потому что и наш самолет имел довольно усталый вид,— сказал Отто, садясь рядом с

бирманцем на скамейку.— Я хочу вас спросить вот о чем. Сегодня вы мне рассказывали про дорогу, которую японцы строили через джунгли. Но вы мне не сказали, была ли дорога построена.

— Была,— ответил У Тин-бо, и теперь у него засветились не только зубы, но и глаза.

— Вот видите, значит, дорога все же была построена!

— Конечно, вы же стояли сегодня на одном из ее участков.

— Я не понимаю вас,— сказал Отто Мюллер, чувствуя, что в этом неожиданном матче он получит какой-то странный нокаут.

— Вы стояли,— сказал тихо и медленно У Тин-бо,— в лесу на тропе, на том самом месте, где проходила дорога...

— Не может быть,— сказал Отто Мюллер громче, чем хотел,— что же случилось?

— Японцы вернулись в Японию, уцелевшие англичане — в Англию, джунгли вернулись к себе домой...

— И никакого следа...

— Вы видели! Прошло больше десяти лет! Тропа, которую мы с вами видели, исчезнет через несколько дней...

Что-то задрожало внутри Отто. Точно все деревья вокруг вместе с домиком невдалеке стали уменьшаться до игрушечного размера. Он поборол это темное смущение.

— Скажите еще,— спросил он с внезапной строгостью, точно допрашивал.— Этот английский молодой человек из Сингапура сам все рассказал или вы за него придумали?

— Сам, я не прибавил ни одного слова. И слова, что он просил написать на могиле, его...

— Они существуют?

— Да, как и могила! Но она далеко отсюда. Она в джунглях. Почему вам показалось, что я рассказываю вам выдуманную историю?..

— Меня смутили джунгли, должен вам сказать. Я даже могу вам признаться, что там, в лесу, меня охватил на мгновение, правда, только на мгновение, страх, липкий, противный, гнусный страх. Но я его прогнал...

У Тин-бо помолчал. Потом он встал и сказал:

— Прощайте, до завтра! Скажите вашим шефам, что заседание откладывается. Что я скажу вам: вы идете в зеленую тьму! Вы смело шагаете, но вы не знаете нас, как не знаете джунглей. Не надо идти по старым следам. Они часто приводят в никуда. Не повторяйте истории молодо-

го человека из Сингапура, молодой человек из... не все ли равно откуда. Прощайте! Покойной ночи!

И он ушел, растворился в темноте, этот маленький, похожий на металлического кузнечика человек с железными нервами, который вверг в смятение Отто Мюллера. Отто пошел к дому. Подходя к лестнице, он услышал голоса наверху. «Господи, старики еще тараторят, как старые бабы»,— родилась в нем еретическая, мятежная мысль, но она не могла не родиться. Старики действительно говорили, сидя за столом, попивая виски с содовой и дымя сигарами, так что над террасой плавало лилово-сизое облако, в котором кипела, пропадая, разноцветная мошкара, летевшая к зазывающему огню свечей, воткнутых в подсвечники, помнившие времена допотопной Виктории.

Когда он подымался по лестнице, его окликнули:

— Это ты, Отто?

Он ответил и прошел в дальний угол террасы, где стояло такое удобное, широкое бамбуковое кресло, что он не колеблясь погрузился в него и, что делал страшно редко, только когда на него находило смятение чувств, вынул из кармана трубку, набил ее крепко табаком и начал курить, как курят любители: бестолково, неритмично затягиваясь, покашливая и непрерывно зажигая ее, так как она гасла все время.

До него долетали теперь яснее, чем снизу, голоса двух стариков, лица которых он видел какими-то неестественными, дряблыми, сизыми и шершавыми. Их волосы казались приклеенными. Руки были красные, в синих жилах. Старики просто купались в дыму. Голоса их звучали так ясно в спокойном воздухе, точно он сидел с ними за столом.

Говорил Шренке:

— Ты никогда не был в пустыне, Генрих. Ты не можешь себе представить черные скалы в белых, как сахар, песках и светло-желтые дали. Солнце не печет, оно бьет человека, как будто тяжелым горячим мешком. Я вылез из бронеавтомобиля, чтобы ориентироваться. Я зашел за песчаную дюну и осмотрелся. Тель-эль-Мампсра горела. Черный дым стлался по песку. Мне казалось, что временами я вижу даже бледные столбы пламени. Я взглянул в другую сторону. Танки шли черной подковой, будто намеченной в песках пунктиром. Это не могли быть наши. «Это англичане!» — закричал я и бросился за дюну: ты можешь представить мое состояние. Мой броневтомобиль исчез.

Вокруг был раскаленный песок, дым горящей Тель-эль-Мампсры на горизонте и черные машины, которые приближались, как на экране. Только мгновение я стоял, не веря происходящему. Потом я бежал. Никогда в жизни я не бегал по такому глубокому, тяжелому песку. Я падал, я могу тебе сознаться, дорогой, что было искушение кончить все одним выстрелом. Я падал, проваливался по колено и лежал, дыша как рыба, выброшенная на берег, и снова подымался и видел, как неумолимо, как страшно медленно приближаются танки. Я спотыкался, рот мой был полон песчаной пыли, в ушах гудело. Раз даже с тонким свистом над моей головой прошел снаряд, не знаю в кого целивший. Я даже не слышал его разрыва: так я был возбужден. Сердце прыгало как бешеное. Я упал на песок и лежал. И вдруг я услышал рокот мотора. Я бросился на этот рокот. Мне показалось, что звук мне знаком. И тут на меня пошел бронетранспортер. Я вынул пистолет, чтобы не сдаваться. В висках стучало. Как я бежал! Из бронетранспортера меня окликнули. Я опустил пистолет. Ко мне спрыгнул его дядя, этого Отто, мой старый Ганс. Мы обнялись. «Ты герой!» — кричал он мне, показывая на пистолет. Он думал, я иду в атаку на английский бронетранспортер. Я не сказал ему, в чем дело. Я только спросил: «Ты видел, как я бежал?» — «Нет,— сказал он,— тебя скрывала дюна. Но давай скорее. Надо отходить на Фука́. Если Роммель жив, еще не все погибло». Да, у меня даже бывает род кошмара, когда мне снится, как я бегу, изнемогая, и песок все выше, и я все больше изнемогаю, и просыпаюсь весь в поту...

— Это сердце, это годы,— отвечал Хирт.— Ты хоть убежал, а я нет...

— Да, я знаю,— проговорил тихо Шренке.

— Ты бежал в ослепительном свете тропического солнца по раскаленной пустыне, а я... Если бы ты знал, что за тоска зимний военный русский лес, ты бы на всю жизнь перестал смеяться. Бѐлые, как смерть, сугробы снега, мороз, который убил землю, лес, людей, все живое. Нельзя дохнуть — больно горлу, щеки обжигает как огнем. Не помогают ни шарфы, ни перчатки. И кроме того, тьма, проклятая тьма, вьюга метет, ничего не видно в двух шагах. Проваливаешься в какие-то ямы, куда идти — невозможно разглядеть. Разрывы снарядов ослепляют еще больше. Облака снега крутятся вокруг тебя. Я пошел проверять цепь — русские были уже на этом берегу Невы. Я не

нашел из своих никого. Лежали двое убитых, их засыпал снег. Снаряды рвались всюду. Бои шли по дуге, и казалось, что уже никого в живых нет в этом страшном лесу, где елки стояли, как белые медведи, растопырив снежные лапы. Я искал своих, я нашел унтер-офицера, и он сказал, что наши еще есть — направо, и он повернул туда. Я сказал, что, судя по следам, налево прошел танк, но чей? Если русский, то мы в кольце. Я пошел, проваливаясь в снег. Мне было так тяжело, что, когда я увидел дом, жалкий брошенный дом, я вспомнил, что там должен быть пункт связи. Я распахнул дверь, и меня обдало снегом и снежной пылью. Половину крыши сорвало снарядом. Сугроб с крыши обвалился внутрь. В той половине, где еще сохранилась крыша, стоял стол, на нем был разбитый полевой телефон, оборванный провод и перед столом кожаное кресло. Откуда оно взялось в лесу — не знаю. Я сел в это кресло и закрыл глаза. Когда я снова услышал стук двери, я спросил, не подымая головы: «Это ты Фриц?» — так звали унтера... В ответ я услышал сказанное на плохом немецком языке: «Кто вы?»

Я встал. Передо мной стояли люди в полушубках. Один из них направлял на меня автомат, другой заглядывал в разрушенную часть дома. Но третий был широкоплечий и спокойный, по-видимому командир. Это он повторил свой вопрос: «Кто вы?»

«Я командир батальона»,— сказал я. Мне ничего больше не оставалось.

Человек в желтом полушубке (у тех были черные) сказал: «Где же ваш батальон?»

«Об этом я хотел бы узнать у вас»,— ответил я.

Он засмеялся вдруг совершенно мирно, а я отстегнул и положил на стол свой пистолет. Вот и все... Дальше, в плену, я долго помнил подробности этой ужасной зимней прогулки в русском мертвом лесу... О, я не хотел бы пережить это еще раз...

Отто слушал нехотя, но слова долетали до его уха и вызывали какую-то тревогу, непонятную ему. Чего старики разоткровенничались? Он услышал голос, похожий на скрип двери. Это говорил Шренке:

— Ты сделал, по-моему, единственную ошибку в твоем затруднительном положении...

— А именно? — спросил глухим голосом Хирт.

— Не к чему было отвечать им и говорить, что они знают, где твой батальон. Твой батальон геройски погиб...

— Ты хочешь сказать, что я...

— Нет, ты меня не понял. Тебе надо было сказать этим белым или красным медведям: «Мой батальон погиб геройски...»

— Но он не погиб геройски...

— А где же он был?..

— Часть его бежала, часть была уничтожена, часть сдалась в плен...

— Да, да,— сказал Шренке,— как давно это было... Как давно! Кто из нас тогда мог предполагать, что мы будем сидеть вот такой теплой ночью в этих удивительных краях... Какая изумительная тишина, какие звезды! Посмотрите, это какая-то зеленая тьма...

Отто поднял голову. Он встал, прошел к перилам и облокотился на них. Где-то в другом мире далеко-далеко от него горели свечи и две старые головы, повернувшись в профиль, не двигались, точно прислушивались к чему-то, что надвигалось из этой зеленой тьмы, которая все густела и густела, подбирая все ближайшие деревья и кусты. Она двигалась на дом, и Отто показалось, что сейчас она, как волна, подымется и скроет его в своих зеленых недрах. Он закрыл глаза, точно почувствовал прикосновение этой тяжелой волны. Она уже тронула его плечо. Он вздрогнул.

— Это я,— сказал ему старый Шренке, положив морщинистую руку ему на плечо.— Пора спать, Отто! В такую ночь можно получить малярию. Вон сколько вьется комаров, коварные твари эти анофелесы!.. Иди спать, мальчик!

— ...Из Дюссельдорфа,— сказал почти резко Отто.

Старый вояка чуть отодвинулся.

— Что ты сказал?

— Я сказал: мальчик из Дюссельдорфа!

— Ах, да, ты ведь из Дюссельдорфа. Ну, все равно иди отдыхать. Мы славно посидели сегодня, не правда ли?

В БЕЗЗАБОТНОМ ГОРОДЕ

Погруженный в море пестрой тропической зелени древний индонезийский город Богор, названный так за обилие произраставшей здесь сахарной пальмы, именовался при голландцах Бейтензоргом — городом без забот.

И действительно, если приезжий иностранец попадал в этот город на короткий срок, то на первый взгляд Бейтензорг в самом деле представлялся веселым, легким, беззаботным.

Город как бы покоился в объятиях доброго леса, который баюкал дома, едва видные в зелени, и хижины, похожие на игрушки, плетенные из тонких бамбуковых полос. Трудолюбивые, скромные темнолицые люди были добродушны и приветливы.

Куда бы здесь ни шел приезжий, всюду он видел банановые, хлебные деревья, темные, глянцевитые, точно покрытые лаком листья изумляющих глаз камелий, бугенвилий, панданусов, гигантов фикусов. Над ним шелестели веера кокосовых, арековых, сахарных и масляных пальм.

Отовсюду смотрели всевозможные незнакомые фруктовые деревья. Ананасовые изгороди заменяли простые заборы. Все это рождало ощущение удивительного изобилия. Глаз наслаждался щедростью мира. Зеленые лужайки приглашали на отдых. Между исполинских бамбуков струились пенящиеся речки, навевающие сладкую дрему.

Рядом с тихим, живописным городом расположился знаменитый Богорский ботанический сад. Он был всемирно известен, и уже в его аллеях посетителя ждали самые настоящие чудеса могучего растительного царства тропиков. Словом, в памяти Бейтензорг оставался мимолетным

воспоминанием о беззаботном городе, о райском уголке, где можно жить, забыв каждодневные нужды и заботы.

Это случилось в последний период голландского владычества на Яве. Вечер уже спустился на сад, на белые колонны губернаторского дворца, на его большие мраморные лестницы, на пруды, где застыли розовые лотосы и широкие, как щиты, круглые листья виктории-регии. После только что пронесшегося как на крыльях дождя, при свете взошедшей луны заблистали пальмовые ветви и пандануcы перед террасой отеля, на которой два пожилых господина пили джин с содовой, наслаждаясь прохладой и тишиной. Только издалека доносились заглушенные шумы улицы и тонкий, как сигнал, писк больших летучих мышей, невидимых во мраке старых деревьев.

Питер ван Слееф и Ян Вестерман, старые друзья, с юности знавшие друг друга, встретились случайно, обрадовались встрече и, отобедав вместе, сейчас погрузились в приятное состояние сытости и сладостной расслабленности. Похожие друг на друга, широкоплечие, с тяжелыми подбородками, с загаром вечного лета на лбу и на щеках, с небольшими, но резкими морщинами у глаз и у губ, они являлись образцовыми типами тропических жителей-европейцев, много испытавших за годы, проведенные во влажных и жарких лесах, на плантациях, на ярко-красной земле, среди нефтяных вышек и в квадратах каучуковых участков.

Питер ван Слееф давно стал богатым плантатором, а Ян Вестерман после неудачных самостоятельных попыток утвердился представителем большого торгового дома и не жаловался на судьбу. Белоснежные рубашки, черные бабочки галстуков, темные добротные костюмы, даже блеск кусочков искусственного льда в стаканах с джином и содовой, массивные кольца на смуглых толстых пальцах — все говорило о неизменяемом порядке мира, о привычной устойчивости быта, о старом добром колониальном могуществе.

Они курили сигары, извилистые голубые кольца таяли в прохладном полусумраке террасы. Лунный свет как бы забавлялся ими, проходя сквозь узкие и редкие листья молодой пальмы.

Если бы они сидели днем, то могли бы видеть с террасы темные контуры вулканов, поднявшихся над близкими горами. Индонезия глухо ворчала, как эти вулканы, готовые к извержению. Лава народного возмущения копи-

лась давно. Но об этом как раз друзьям не хотелось говорить. Им обоим казалось, что, вопреки всему, колониализму не будет конца. И хотя много возмутителей бродит в индонезийском народе, но их ловят, хватают всюду, судят, отправляют в ссылку на Западный Ириан, сажают в тюрьмы..

Власть нидерландской короны еще крепка. Но лучше говорить о чем-нибудь другом.

— Я приехал сюда немного освежиться,— сказал Ян Вестерман.— И заодно меня просил Эвергард, ты его знаешь — тот, что из экономического департамента,— посмотреть, как живет его сын, он хочет стать ученым-ботаником и работает здесь в ботаническом саду... Я сейчас как раз одинок. Семья уехала домой, в Роттердам,— у жены болен отец, он захотел всех видеть. Я занят делами. Могу вырываться только на день, на два из Батавии, где, как ты знаешь, нестерпимо влажно и душно...

Питер ван Слееф, облизнув губы после доброго глотка джина, отвечал неожиданно мягким голосом:

— Это хорошо, что новое поколение изучает страну, которую мы ему оставим. Открывать новые природные возможности — значит двигать вперед и науку и экономику. А я приехал сюда по делу — посоветоваться со специалистами. Хочу расширить каучуковые плантации на Суматре, хочу ликвидировать перец, он мне надоел, небольшую его плантацию заменить каучуком. Он идет в гору...

Тут он мысленно перенесся на свои далекие каучуковые плантации, вспомнил тревогу, которая овладела им, когда в свою последнюю поездку он увидел там беспокойных людей, которых мутили всякие агитаторы. Всего можно было ожидать. А у него, у Питера ван Слеефа, нет прежней энергии. Вот и Ян заметно отяжелел. Но все же они не сдаются. Они еще сидят в седле.

— Кто сказал, что европейцы не могут жить в тропиках? Может быть, кто и не может. А мы, Ян, живем с тобой здесь уже триста лет, и ничего, только прибываем в весе... Мы чувствуем себя здесь, как крокодилы в реке! Хо! Хо! Разве это не наша земля? Мы родились далеко отсюда, но наша юность прошла здесь. Здесь мы встречаем наши зрелые годы. Сколько труда вложили мы в эти заброшенные богами острова, сколько денег — в эту красную землю, сколько здесь пролито нашего пота и нашей крови, если хочешь! Сознаюсь тебе, старина, но я не могу

так просто бросить все это и вернуться на старости лет туда, в родные места, с которыми меня уже ничто не связывает. Согласись, что оставить весь труд своей жизни и сесть на пароход, чтобы оттуда с палубы последний раз помахать рукой этим берегам!.. Я не представляю этого!

— Думаешь, ты одинок в своих рассуждениях? Я тебя слушал внимательно...— Ян Вестерман наклонился к собеседнику, как заговорщик.— У нас одинаковые мысли, и я должен признать, что пришли суровые времена. Что мы предпримем, не знаю. Я могу, Питер, и даже с удовольствием, временами наезжать в свой дорогой Роттердам, погулять по милому Годшстритту, навестить стариков родственников, заглянуть в театр, повеселиться в ночных кабаре, вспомнив молодость... Но остаться там навсегда!.. Это почти невозможно...— Он грустно усмехнулся.— Как я расстанусь так просто, ты прав, с этими панданусами и пальмами, которые вошли мне в кровь! Я говорю по-малайски, как туземец, я свыкся с их нравами, мне нравится моя свобода и власть, которой мы владеем в этой стране... Что мы будем делать там, дома?

Он пожал плечами.

— Что мы будем делать там? — переспросил язвительно Питер.— Мы будем жить на остатки наших сбережений, ходить на званые вечера, навещать выживших из ума стариков и старух, накрашенных, как куклы из воскового музея. Мы будем подчиняться общественному тону, как чиновники в отставке, заискивать перед знатью, льстить богатству, которое мы им нажили своим трудом! Все это чепуха: этикет, такт, хороший тон — слова, которые мы забыли, когда поколениями заставляли работать на себя этих хитрых и ленивых туземцев. Мы люди широких планов, больших дел и такого размаха, о котором там и забыли думать, получая готовые плоды нашей борьбы за культуру в диких краях.

— Конечно, мы все понимаем, что сейчас не те времена, когда с наших кораблей высаживались первые поселенцы,— сказал Ян. Ему был по душе этот разговор под весенней луной, в городе, который называют беззаботным.— Но можно еще многое взять в Индонезии, пока ее у нас не отняли.

— Мы и возьмем, Ян. Нас кое-кто упрекает, что мы говорим про туземцев, что они буйволы, лентяи, низшая раса. Но ведь это так и есть. Они сами признали это.

Разве они не становились на одно колено, приветствуя нас на дорогах? Ведь это было не так уж давно. Триста лет они служили нам и должны служить дальше. Не так ли, Ян?

Он похлопал друга по колену.

— Может быть, в нас говорит внутренняя тревога, Питер, но эта тревога оправдана. Как правильно мы сделали, что не учили их голландскому языку! А сами изучили их язык. Это было мудро. Но сейчас, хотя девяносто четыре процента их неграмотно, уже появились в их среде интеллигенты. И это не так мало. И они изучают науки, они знают и наш язык и английский. Эти люди другого поколения. Они поставили себе задачу — выгнать нас. Да, это звучит грубо, жестоко, но это так. И я боюсь, что это им удастся. Мы слишком перегнули палку в отношении простого народа. Они, ты это хорошо знаешь, Питер, голодают, они просто дохнут с голоду.

Питер ван Слееф слушал внимательно, изредка покачивая головой, как бы соглашаясь с собеседником. Потом он провел тяжелой рукой по туго приглаженным волосам и отвечал почти равнодушно:

— Да, я согласен, питаются они плохо. Я это хорошо знаю по своим плантациям. Мужчины в среднем весят пятьдесят килограммов, женщины и того меньше. Наши врачи придумали даже особую болезнь, чтобы оправдать это недоедание, но от этого, конечно, туземцам не легче... Знаешь, что, дружище Ян, переменим тему, потому что мы все равно ни до чего не договоримся. В этой стране прошла наша молодость. И тут тебе не наши Нидерланды. Мы далеко ушли от обычаев, которые процветали там, на родине. Мы люди другого мира...

— Да,— засмеялся Ян,— там не очень можно было разойтись. Я помню бургомистра в Роттердаме, который был не прочь развлечься. Ему посылали кружевные платья, сделанные по заказу для его жены. Самая красивая девушка-кружевница приносила ему эти платья. Все шло ничего, но какой грандиозный скандал разразился, когда одна юная кружевница подняла крик на весь город. Что было! Просто потому, что она понравилась бургомистру, а он ей — нет. Можно смеяться до упаду. Такое было возможно! Вот нравы доброго старого времени...

— Нам есть что вспомнить, Ян. Мы могли делать что хотели, совершать сумасшедшие вылазки, брать на

абордаж все, что нам нравилось, закатывать такие пиры, что древние римляне нам бы позавидовали. А какие плавания на острова Любви, которых здесь было предостаточно! Ты не забыл еще, старина, как мы с тобой развлекались и не смотрели, какого цвета кожа у наших красоток? Что тут делать кружевницам — бледные щеки, бесцветные глаза! Тут с нами были демоны юга, и эти туземки демонически пировали с нами и показывали такое, точно они сошли, как звезды, с этого ночного неба! Так было, ведь правда же? Что ты смеешься, Ян?

— Так было, так было! Аминь! Охотно к тебе присоединяюсь...— Дым сигары обволок поседевшую голову Яна, как хмель воспоминаний. Он смеялся, и в его большом рту загорались золотом пломбы.— Ты мне за обедом, Питер, обещал рассказать про одну встречу здесь.

Питер слегка нахмурился, вспоминая, потом тоже начал громко смеяться почти молодым смехом.

— Ян, это совершенно невероятно! Но для того, чтобы все встало на место, необходимо небольшое предисловие. Ты помнишь: одно время было плохо с рабочими на дальних плантациях. Найти здоровых рабочих было очень трудно. Канальи узнавали каким-то образом о наших правилах для рабочих, и их нельзя было заманить никакими соблазнами. Приходили больные и такие, которым нечего было терять. Слабые, едва держались на ногах, с отвисшим животом. А нам нужны были сильные, молодые. Они не поедут так просто. Ввозить негров не выход. Рабовладельцами нам стать, наподобие старых времен, было невозможно. Рабство сегодня открыто процветает где-нибудь в глубине Аравии и в Африке кое-где, а мы все же на виду у мира. Не знали, что предпринять! Кто-то предложил замечательный способ, даже не лишенный романтики и остроумия. Были привлечены красивые девушки, а их здесь хватает. И они завлекали добрых молодцев своими чарами, а мы их сажали на пароходы — и дело с концом. Они прикладывали лапу к бумаге, думая, что это простая формальность или что другое, а это было обязательство. Неграмотные парни попадали на удочку безошибочно. А уж попав к нам на плантацию, молодой дикарь выкрутиться никак не мог до самой старости, если он доживал до нее. Так мы вышли из кризиса. Вот какую чудную работу проделали эти девицы, которых так и называли — тукант-пэлэт, очаровывающие. Не правда ли, смело и ново!..

Так вот тогда была одна девица ослепительной красоты. Она работала в глухих деревнях. Завлекала тонко и умело. И она пошла быстро в гору. Ее подвиги стали известны и мне. Конечно, о них не распространялись, иначе она не могла бы работать. Не скрою, она была лакомым кусочком. И я не пропустил ее, некоторое время я жил с ней, это было великолепно, потом дела отвлекли меня от ее прелестей, я часто бывал в разъездах, а она зашагала так быстро, что я потерял ее из виду и только иногда слышал про ее новые приключения. А их было много — и всяких! Я частенько вспоминал о ней, будучи убежденным холостяком, и мне подчас ее очень не хватало... Прошло, верно, лет десять, не меньше. И вот представь себе, что я ее встретил.

— Где же?

— Здесь, в Бейтензорге...

— Как же это случилось?

— Я уж тебе говорил, что тогда, давно, она взяла меня за живое. С той первой встречи прошло десять лет, и я вдруг ощутил, что старое чувство возвращается. Я решил с ней увидеться. У меня сначала было некоторое сомнение: она ли это? Но что-то говорило мне, что она. Одним словом, я поручил человечку из местных выяснить все обстоятельства. Право же, я не могу объяснить тебе, что за странное чувство овладело мной. Но мы на Востоке, и боги завлекают нас в свои чары и прощают все большие и малые наши прегрешения...

— А как же ты ее увидел? — спросил Ян, которого поразила взволнованность голоса Питера.

— Она сидела в саду и обмахивалась веером. Я узнал ее сразу. Но я был не один. И я прошел мимо.

— Как ее зовут? Хотя у таких красоток есть иногда каприз — брать себе несколько имен, смотря по тому, кто как ее называл при знакомстве.

— Ее зовут Сентан...

— Сентан! Так я ее знаю. Кто же ее не знает! Да, с ней можно было повеселиться. Но ведь ты говоришь, прошло около десяти лет...

— Представь себе, она такая же, и даже мне показалось, что она стала еще соблазнительней...

— Ха, вот это особый случай: туканг-пэлэт, очаровывающая, поймала самого Питера ван Слеефа! Придется тебе поработать на ее плантации. В твои годы тебе не кажется это опасным?

— Опасным? Почему? Она же, надеюсь, признает нас за властелинов, чьи желания исполнять — ее призвание.

— Ну, тогда желаю тебе успеха!

Пак Роно пришел в назначенный час. Питеру ван Слееф не пришлось его ждать. Он, правда, давно знавший маленького продавца, и не сомневался в его аккуратности. Пак Роно был владельцем крохотной лавочки, все товары которой умещались в небольшом фанерном ящичке, он носил его на ремне через плечо. Он был уличным торговцем, и его любили в Бейтензорге за его добрый характер.

Сейчас пак Роно пришел без своего фанерного ящичка, полного сувениров и всякой подарочной мелочи. Он был одет в легкую цветную рубашку и бумажные синие старые брюки. На голове его была такая тугая повязка, что казалась пестрой вышитой шапочкой. Большие круглые очки придавали ему сосредоточенный, задумчивый вид. Он торговал днем на базарах, на улицах, в ботаническом саду, а вечером выполнял некоторые не совсем простые поручения. Кто подумал бы, что пак Роно прост и наивен, тот бы глубоко ошибся. Пак Роно — человек особого склада. В городе нет тайн для него. Он умел разговаривать с последним нищим и с белым господином, не теряя чувства собственного достоинства. Он никогда не льстил, никогда не унижался. Питер ван Слееф, говоря с ним, не позволял себе грубостей или угроз. Он доверял ему и говорил с ним откровенно.

— Здравствуй, пак Роно! Как дела?

— Дела хороши, туан! Пак Роно сделал все, что туан поручил ему...

Он любил говорить о себе в третьем лице.

— Что же ты можешь сказать? Ты все проверил?

— Пак Роно навел все справки, и все подтвердилось. Это Сентан. Она снимает старый дом за рекой, за Чиливонгом. Там жил адвокат из Батавии, ваш знакомый...

— Кто? Ван Брайен?

— Да, он умер от лихорадки. Он еще любил японские розы. Там осталась одна клумба...

— Ты видел Сентан?

— Видел, туан!

— Ну и как, расскажи,— громче обычного попросил Питер ван Слееф.

— Она была в саду. Сидела на камне под большим банановым деревом.

— Как она была одета?

— Длинный, узкий саронг, золотисто-красный, с синими полосами. Очень дорогой, очень красивый саронг. Из дорогого батика ручной работы. На ней была кофточка, белая, расшитая цветными узорами и голубыми цветками.

— Что она делала?

— Она играла с маленьким пятнистым олененком. Олененок ел у нее из рук.

— Что она сказала тебе, пак Роно?

— Первый раз она ничего не сказала, туан. Она не поверила. Тогда пак Роно пришел и опять поговорил с ней. Она спросила, как выглядит туан...

— Как же ты описал меня?

— Пак Роно сказал, что туан хорош собой, большой, богатый. Узнав, как вас зовут, она улыбнулась, подумала, сказала, что вспомнила.

Он замолчал. Питер ван Слееф пожевал губами, посмотрел, как по стене скользил лунный луч, сказал:

— Дальше...

Пак Роно продолжал:

— Она опять улыбнулась, сказала, что хорошо вспомнила, и просила передать, что если туан завтра вечером попозже просто придет к ней, то она будет встречать его как дорогого гостя. Она была очень рада, очень рада. Она помнит все прошлые милости туана, но...

— Что «но», пак Роно?

— Туан не будет на меня сердиться?

— За что?

— Туан, пак Роно исполнил все, что ему было поручено туаном, но есть еще одно обстоятельство, о котором надо сказать...

— Какое? Она живет сейчас с кем-нибудь?

— Нет, туан, она сейчас не живет ни с кем, но она стала очень красива, туан, так красива, что я не знаю, как об этом сказать.

— А ты не рассказывай, я сам знаю, как об этом сказать.

— Туан! Только она стала дороже, чем была. Стала очень дорога...

— Послушай, пак Роно, все, что действительно ценится, то и действительно дорого. Это закон рынка, и ты, как

торговец, должен это понимать. А теперь уведоми ее, что завтра попозже вечером я приду. И вот тебе за хлопоты...

— Теримакааси, туан! Сламат туур, туан! Спасибо, туан. Спокойной ночи, туан!

Домик пака Роно, вернее, бамбуковая хижина, стены которой как бы сметаны на скорую руку из циновок, пригнанных друг к другу, с крышей из пальмовых листьев, представлял бы жалкое зрелище, если бы он не был окружен роскошными банановыми деревьями, свешивавшими над ним свои огромные листья. Большое морщинистое хлебное дерево и рослый темно-зеленый пандανус возвышались рядом с домиком, неся охрану бедного жилища.

В домике было всего две комнаты с земляным полом. В каждой комнате стояло по топчану, накрытому циновками и тряпками. Были полки. На них стояли чашки и кружки, тарелки и миски. Был шкапик, ветхий, как хижина, и в нем висели скромные одеяния пака Роно.

Зато у домика было подобие терраски и три столбика поддерживали часть крыши, прикрывавшей терраску. Из-за густой зелени не было видно ни дороги, которая проходила рядом, ни соседних домиков. Это были задворки города, дальше начинался настоящий лес, который пересекала новая шоссейная дорога.

На терраске в истерзанной качалке сидел пак Роно, и перед ним в лунном свете плясали крупные дождевые капли на широких сгибах банановых листьев.

В домике было явное запустение. А когда-то в нем все было по-другому. Настоящая жизнь, настоящие праздники, веселье и бодрость. Но с тех пор как умерла от дизентерии его жена, а за ней и сын, хозяин погрузился в скорбь одиночества. Ему часто виделись жена и сын, особенно в лунные ночи. Они приходили в домик, ходили из комнаты в комнату, они стояли под деревом и смотрели на пака Роно, и он иногда говорил с ними, но они только улыбались, но никогда не отвечали. Потом они стали приходить все реже и реже и наконец совсем перестали навещать его, пропали.

У пака Роно шли годы полного равнодушия к жизни, и он долго оставался замкнутым и молчаливым. Он голодал и размышлял. Постепенно вернулся к своим занятиям — продаже мелких сувениров, у него появились новые друзья. Он повеселел с ними, стал шутить, принимать

редких гостей. Но вернуть домик и уют он уже не смог. За время голода он распродал все вещи, и теперь голый дом стал для него местом ночлега, отдыха, не более.

Его жизнь проходила на улице, среди людей, в аллеях ботанического сада, на базаре, у его ворот.

Пережив опустошившую сердце печаль, спрятав ее в глубине души, пак Роно дал себе слово как можно больше помогать людям, потому что, по его мнению, почти все они несчастны и бедны. Он стал брать разные поручения, но только такие, которые могли доставить радость людям. Мир был жесток и непонятен. Бедные жили тяжелой трудовой жизнью, в которой радость была редким гостем. Белые господа были созданы для того, чтобы приказывать и делать все, что им захочется. Но иногда они, как вот этот ван Слееф, менялись в лице и хотели купить радость. Они просто изнывали по ней и просили пака Роно помочь им. Пак Роно — добрый человек. Он хочет только, чтобы всем людям было хорошо, чтобы радость жила в них.

Он сидел в своей трясущейся качалке и смотрел на лежавшего на толстой циновке человека, прислонившегося к стенке домика и, казалось, дремлющего.

Этого молодого человека он подобрал на краю лесной дороги и притащил домой. Человек был без сознания. Его била тяжелая лихорадка, его большие, желтые, как у лошади, зубы стучали не останавливаясь. Приступ и голод свалили его с ног. Пак Роно ухаживал за ним, как отец, доставал хинин, приводил лекаря, поил и кормил его, и это разбитое лихорадкой тело, замученное и вялое, стало крепнуть, глаза потеряли мутный желтый оттенок, и только большая жила на лбу, начинаясь от основания носа, придавала лицу выражение крайнего упорства и отчаяния.

На плечах молодого человека висели лохмотья, как будто он долго пробирался через ротанговые колючки и одежда осталась на этих свирепых крючьях. Когда больному стало лучше, он пришел в себя, но целыми днями ничего не говорил, а пак Роно ни о чем его не спрашивал. Ему было ясно, что человек пережил много тяжелого и нуждается в полном покое. И вот теперь ему приятно смотреть на гостя. Пак Роно поставил его на ноги, вернул к жизни! То, что было кучей лохмотьев и костей, чуть не ставших жертвой хищников, стало опять человеком. Это чудо сделал пак Роно. Теперь пришелец опять может сам двигаться, говорить, дышать прохладой тихой, успокаивающей все живое ночи.

Человек приподнялся на циновке и начал ощупывать руки и ноги. Потом он поправил пояс, за которым виднелась ручка криса.

Они только недавно поужинали вареным рисом, крепко приправленным перцем, сушеной рыбой, бананами. Потом пили чай.

Пак Роно сказал гостю:

— Пак Роно сделал сегодня одно большое дело. Как ты себя чувствуешь?

— Сейчас хорошо, пак Роно. Самое главное, лихорадка ушла. И я скоро уйду,— хрипло отвечал гость.

Пак Роно продолжал раскачиваться на своей скрипевшей, как колодезная цепь, качалке. Он заговорил так, точно разговаривал сам с собой:

— Где-то, говорят, есть страны, в них всегда холодно, так холодно, что вода делается камнем. А у нас всегда тепло. Я бы не мог жить в холодной стране. Там нет таких ночей, как эта. Оттуда приходят белые люди. Они тяжелые, холодные люди. Мне кажется, что они все несчастны и не хотят из гордости признаться в этом. Я люблю добрых людей. Пак Роно видел сегодня одну добрую девушку. Она красива, как цветы жасмина, что в ее волосах, как молодая луна над ней. Она живет трудной жизнью, потому что ее красота привлекает людей жадных и грубых. Особенно белых. Она их делает лучше, чем они были до нее. Она очень добрая. Пак Роно видел, как она в саду, где есть померанцевое дерево и розы, поила молоком маленького олененка. Олененок терся об ее колени. Пак Роно принес ей добрую весть. От человека, который, как все белые, несчастен и который очень хочет видеть ее. Он любит ее, пак Роно видел это по его глазам. Она обрадовалась, вспомнив его...

— Как зовут добрую девушку? — спросил гость, поднимаясь во весь рост и поправляя пояс.

— Ее имя ничего тебе не скажет. Ее зовут Сентан!

Гость тяжело вздохнул, оперся о бамбуковый столб, поддерживавший крышу терраски, долго кашлял, глаза его стали красными, он передохнул и спросил:

— Ты покажешь мне, где она живет? Я тоже хочу посмотреть на нее. Я забыл, когда видел что-нибудь доброе. Покажи мне, что это такое.

Пак Роно прикинул в уме, что ничего особенного не будет, если этот бедный человек посмотрит раз в жизни на женщину, полную сияния красоты.

— Завтра утром пак Роно пойдет туда. Когда он войдет в сад, ты постоишь у дома, пока пак Роно будет с ней разговаривать в саду. Но не пугай олененка и не показывайся сам.

— Ты очень добр, пак Роно. Я еще не встречал таких добрых людей. То, что ты сделал для меня, я никогда не забуду.

— Хорошо, что ты помнишь доброе. Но я тебе рассказал о своей жизни, а ты мне ничего не рассказываешь о себе. Это — дело твое. Может быть, и не надо другому знать о тебе. Пак Роно рад видеть тебя здоровым.

Человек смотрел нахмурившись, у него напряглись скулы и жила на лбу стала еще тяжелей. Потом он сел на циновку у ног пака Роно.

— Я благодарю тебя за то, что ты подобрал меня на дороге и спас от лихорадки и усталости, убивающей человека. Я расскажу тебе, что случилось в жизни со мной...

Он рассказывал медленно, долго и так просто и искренне, что пак Роно хорошо видел глухую бамбуковую деревушку, где рос сильный, красивый юноша, погруженный в крестьянский труд, связанный с рисовым полем, с джунглями, с простыми деревенскими радостями, с самой обычной жизнью. Жизнь его шла без потрясений, и все его чувства спали. Он еще не испытал, что такое любовь и боль.

Раз он увидел девушку, которая неизвестно откуда появилась около деревушки. Может быть, она сошла с неба. Один ее взгляд сковал его по рукам и по ногам. Она обворожила его так, что все ему стало постыло в родном краю. «Мы уедем!— твердила ему при встречах девушка.— И надо это сделать скорей, потому что за мной гонятся родные».— «Уедем! Уедем!» — как эхо, отвечал потерявший голову парень. И они убежали из деревни и пришли в город, такой шумный и ошеломляющий, что голова закружилась. Ничего подобного не видел юноша из глухой деревни. Он слепо шел за свой спутницей, делал, что она делала, слушал только ее.

Она привела его в контору, где было много людей, крика и суеты. Она говорила за него, он ничего не понимал. Только ждал часа счастливого бегства и жизни со своей красавицей. Ему дали бумагу. Он был неграмотный. Она сказала, что нужно приложить большой палец правой руки — и все в порядке. Их ждет уже пароход. Пароход дымил у пристани. Он пришел на пароход на другой день утром. Его пропустили, едва взглянули на бумажку. Кра-

савицы не было. Ее не было и тогда, когда пароход уже уходил от берега.

Он стал кричать и требовать, чтобы его отпустили на берег. Ему показали бумагу, где стояла вместо печати чернильная клякса с отпечатком его большого пальца. Там было сказано, что он законтрактовался в качестве кули на Суматру.

Отчаяние молодого человека перешло в озлобление. Начались бесконечные годы каторги. На плантациях каучука, под палящим солнцем, полуголодный, полубольной, он вел жизнь раба, обреченного влачить свои цепи без надежды их сбросить.

Первое время он плакал ночами от боли, от бессильной ярости, от смертельного обмана, от тоски по своей деревне, по родным.

Потом он ожесточился и узнал, что он не первый, кто таким образом попал в рабство.

Пак Роно слушал длинный, как свиток, полный страдания рассказ, и от этого рассказа подымалась горечь в горле и невольно закипали слезы.

Что делают злые чары с людьми! Так вот отчего согнулся и так исхудал этот человек. Он пытался вырваться из рабства. Тщетно! Хитрые капканы были расставлены вокруг него. Он попал в лапы страшных, безжалостных людей. Они загнали его в такие долги, что никак нельзя было понять, откуда брались эти непомерные суммы долгов. Он сносил последние вещи в ломбард, чтобы купить расположение десятника, его приучили пьянствовать, он с горя пил, не понимая, в каком мире он живет.

Так проходили годы. Он болел какими-то мучительными кожными болезнями, валялся в припадках изнуряющей лихорадки, у него болела печень, ныли ноги — он погибал.

Выхода не было. Он смотрел, как люди питаются листьями вместо риса, отбросами, гнилыми фруктами, как они умирали, как надсмотрщики с холодной усмешкой шагали через трупы этих несчастных.

Над ним смеялись, его били, обсчитывали и гнали все больше в долги. Он понял, что его гибель предрешена. Иногда во сне он видел родную деревню, близких, слышал шум знакомого ручья, птичьи голоса, как будто звавшие его домой, и ту злую колдунью, которая улыбалась теперь улыбкой демона. Он просыпался в слезах...

Человек на циновке застонал:

— Я больше не выдержал. Я бежал. Чего это стоило? Как я остался жив, не знаю. Я бежал, но я не могу явиться в свою деревню, меня разыщут и посадят в тюрьму. Теперь ты знаешь, кто я...

Пак Роно отвернулся, чтобы не показать, что его глаза полны слез. В рассказе этого мученика он увидел многие жизни своих земляков, испытавших то же самое.

Он встряхнулся, и качалка заскрипела всеми голосами. Луна зашла. Темнота залила деревья черным лаком, и только пронзительный писк летучих мышей донесся откуда-то, точно над несчастьем человека, издевательски вскрикивая, смеялись маленькие ночные демоны.

Рассказчик сидел у ног пака Роно, и плечи его вздрагивали. Он хрипло, тяжело кашлял. Пак Роно дотронулся до его руки:

— Прими еще хины, у тебя был сегодня плохой вид. Я боюсь, чтобы не вернулась лихорадка.

Они встали рядом и молча вошли в темный маленький домик, где шуршали добрые ящерицы, бегавшие по потолку.

Перед тем как отправиться в обычный путь на базар перед входом в ботанический сад, пак Роно осмотрел свой ящик, в котором хранились мелочи и сувениры, и вспомнил, что он должен зайти к мастеру, изготовляющему игрушки, резчику по дереву, простодушному, но гордому своим ремеслом паку Датуку, у которого он был постоянным заказчиком.

Облачившись в скромные одежды, переменив повязку на голове на более яркую и свежую, пак Роно перебрал свой любопытный товар, который пользовался успехом у приезжих индонезийцев и иностранных туристов. В ящике лежали четки из кокосовых шариков, брошки с изображением косуль, крокодилов, пальм, браслеты с блестящими дешевыми камушками, всевозможные кольца, черные лаковые пудреницы с золотым жуком на крышке, игральные карты, фетиши из белого и красного коралла, похожие на фигурки людей, птиц, рыб, маленькие изделия из корней деревьев и серые, желтые, красные поделки искусного пака Датука, костяные слоники, раковинки, в которых стенки отливали всеми цветами радуги. Он любил свой товар, очень любил расхваливать его, выдумывая всякие истории, в которые сам потом верил. Иногда жаль было продавать

приглянувшуюся ему вещь, и он с грустью расставался с нею.

Молчаливый гость пака Роно пошел вместе с ним и, как условились, остался в тени рослого пандануса. Из-за широкого, скрывавшего человека ствола дерева хорошо было видно лужайку, где ближе к дому была большая клумба японских роз, померанцевое и банановое деревья, камень, на котором сидела Сентан, обняв за шею тонконогого олененка, смотревшего на нее не мигая длинными покорными глазами.

Пак Роно, разговаривая с Сентан, испытывал дрожь и тайную радость. Ее красота ошеломляла и пугала его. Особенно смущал его взгляд ее открытых, черных, как черные жемчужины, глаз своим непонятным бесстрастием и очаровывающим простодушием. На мягко очерченных губах покоилась теплая улыбка. Золотисто-смуглое лицо светилось. Тонкая рука, державшая веер, казалась невесомой.

Первый раз в жизни он видел такое человеческое совершенство. У него захватывало дыхание. Он смотрел и не мог насмотреться. Эти черты вошли в его память с такой силой, что стоило ему закрыть глаза, и эта женщина снова и снова являлась перед ним, ослепляя его разум.

Оставив сад, он вернулся, оглушенный виденным, к панданусу, но его гостя там не оказалось. Он исчез, и, как ни оглядывался пак Роно, его нигде не было видно.

Тогда он отправился к паку Датуку, потому что в эти часы можно было застать его дома за работой.

Пак Датук, полуголый, подмяв под себя саронг, сидел на длинной светлой циновке и тонкими ударами крепкого молоточка вонзал особой формы долото в большой плоский кусок красного дерева, лежавший перед ним. Тут же рядом, на соломенном блюде, ждали своей очереди пилки и стамески, ножички и иголки самого разного размера. Юный сын мастера со сверкающими голыми коленками, сидя неподалеку от отца, тщательно шлифовал темно-коричневую маленькую фигурку. За ними возвышалась прекрасного рисунка плетеная стена дома на высоком каменном фундаменте.

На циновке стояли две готовые фигурки — тонкорукие человечки взирали с восторгом на создавшего их мастера, протягивая к нему с благодарностью небольшие коричневые ручки.

Сам пак Датук своим нахмуренным, умным лицом, тонкими, сжатыми крепко губами напоминал ученого, погло-

щенного опытом. Поздоровавшись с паком Роно, он снова сосредоточенно углубился в работу. И пак Роно, затаив дыхание, смотрел на рождавшуюся перед ним тайну искусства.

Он любил смотреть, как работает пак Датук. Плотно обернутый тюрбан как бы подчеркивал строгость его сосредоточения. Бронзовые плечи были неподвижны, как у статуи. Руки двигались тихо и точно. Грубый кусок красного дерева, лежавший на циновке, начинал постепенно преображаться, точно мастер освобождал плененные мертвой массой образы, и оживленные, освобожденные пленники выходили навстречу мастеру, чтобы приветствовать его.

Пак Роно восторженно следил за движением руки, державшей молоточек. Казалось, ударь молоточек не так, и волшебство рассеется. Дерево останется молчаливым, ничего не говорящим обрубком. Мальчик тоже не смотрел на пака Роно и ничего не говорил. Он как будто ушел в молитву, потому что губы его что-то шептали, но так тихо, точно он разговаривал с кусочком дерева, который лежал в его неподвижной руке, коричнево-красный, как человеческое сердце.

Когда мастер поднял голову, пак Роно спросил его, готов ли заказ.

— Приходи завтра,— сказал резчик, снова наклонясь над своей работой.

Паку Роно не хотелось уходить. Он мог бы так сидеть часами во власти очарования, но надо было идти дальше.

И все-таки он посидел еще немного, и в жаркой тишине благоухающего дня, под пологом темно-зеленых деревьев, с которых свисали связки фиолетово-красных цветов на фоне бамбуковой стены дома, было так хорошо сидеть, забыв все на свете, наблюдая, как осторожно стучит молоточек, как движутся руки мастера, какая забота написана на его лице.

Много раз видел пак Роно, как рождались здесь на свет светлоликие боги, черные демоны, золотистые красавицы, коричневощекие мыслители, страшные и забавные фигурки-игрушки, музыканты и охотники, танцовщицы и обезьяны. И всякий раз он чувствовал прилив радости и, вставая, чтобы продолжать свой путь, грустно расставался с добрым, удивительным миром, где темным силам зла не было власти.

Небо уже побледнело от зноя, когда он вступил в аллеи, где была прохлада индийских священных смоковниц, где царство пальм — от канарейских уходящих в небо великанов, от толстых талипотов до пальм ротангов, оплетающих деревья, как лианы, от веерной равеналы до сахарной пальмы — всегда поражало даже такого человека, как пак Роно, который видел это богатство родной природы ежедневно.

Недаром на этом месте руками ученых-ботаников был создан из всех тропических видов растений неповторимый сад, который давал человеку представление о неистощимой изобретательности природы, где деревья, за исключением фикуса-душителя, не враждовали друг с другом, так как им было предоставлено каждому особое место, чтобы они не могли превратить в поле битвы, в непроходимые джунгли сад-рай, созданный человеческими руками.

Посредине сада в низких зеленых каменных берегах, перекатываясь через серые, мшистые камни, образуя маленькие водопады, пенисто бежала речка, а на полянах росли такой величины цветы, что издали казалось, что это стоят толпы людей в ярких синих или красных тюрбанах.

Здесь тоже царствовало искусство, которое разбило лес на отдельные участки, пышно, но искусственно расположило растения, чтобы можно было изучать каждую группу деревьев отдельно, чтобы дикая природа не мешала человеческому разуму постигать ее зеленые тайны.

Пак Роно с детства привык к могучему зеленому миру и считал, что все вокруг создано для радости человека, и только сам человек не понимает этого, и от этого непонимания происходят все его несчастья и беды.

Когда он проходил мимо небольшого стеклянного павильона, его окликнул молодой человек в белой рубашке. Он приглашал пака Роно зайти в павильон. Это был знакомый студент-голландец, с которым он не раз говорил о разных цветах и диких растениях. Студент любил шутки, и с ним можно было говорить попросту.

Только пак Роно вошел под стеклянный навес, как хлынул тот мимолетный ливень, который в разные часы почти ежедневно падает на сад и на город. Этот светлый освещенный солнцем косой ливень ударил в высокие кроны пальм, прокатился по шершавым листам хлебного дерева, ломая их, разрывая на части банановые листья, пронесся над пятиметровыми папоротниками, наклоняя их вырезные полосатые вершинки, прошумел над аллеями, откуда

бежали редкие посетители сада, заплясал в белопенистой речке, посреди бамбуков, отскакивая от гладких стволов, большими белыми полосами прошел по стене стеклянного павильона, где несколько студентов работали, наклонившись над столами, усыпанными орхидеями.

Через четверть часа ливень ушел в сторону. Солнце снова засияло над освеженным простором сада.

— Пак Роно, я давно хотел тебе показать что-то! Иди сюда!

Орхидей в ботаническом саду было несчетное количество. Белые, красные, розовые, пятнистые, бледно-голубые, сиреневые, густо-малиновые, нежно-желтые, лиловые — такого скопления орхидей нет, по-видимому, нигде в мире.

Студент держал в руке нежно изогнутую орхидею. Листва вокруг светилась от серебряных капель, и орхидея казалась живым существом, притаившимся, застывшим. Студент взял нож и сказал:

— Смотри!

Он с размаху разрезал ее вдоль, обнажив внутренности цветка, и пак Роно увидел, как из первого изгиба цветка вылетели разные мухи и мушки, с облегчением взмахнув крылышками.

— Эти обреченные грешники спаслись! — сказал, смеясь, студент. Он указал кончиком ножа на вторую часть растения. Там в бело-розовой мякоти, как в болоте, перебирали ножками и хоботками, тонули, выныривали и двигались дальше, отяжелев, всякие таракашки, паучки, мухи. Пак Роно смотрел с удивлением и с каким-то чувством отвращения.

— Эти пьяницы еще идут,— сказал студент.— А вот и погибшие души!

В третьем, самом дальнем отрезке цветка, как в душной пещере, откуда шел одуряющий, терпкий запах, торчали только головы отдельных насекомых. Большинство их уже исчезло, растворилось в вязкой, одуряющей массе. Только отдельные головы и ножки торчали над болотистым раствором.

— Видишь, пак Роно, привлеченные запахом, все эти забулдыги насекомого царства входят в цветок, не ожидая ничего плохого. Они уже опьянены и хотят идти дальше. Они идут спотыкаясь, как старые пьяницы, которых тянет на дно. Они не могут сопротивляться, и вот их судьба. Первым сегодня повезло, они спаслись благодаря моему

ножу, а этим всем крышка... Что ты скажешь, пак Роно? Здорово смешно!

— А ведь так и в жизни,— сказал пак Роно.

— Ты мудрец, пак Роно. Потому я тебе и показал! И ты сразу уразумел. Ну ладно, шествуй на свой базар. Но смотри не увлекайся пьянством. Пропадешь, как муха!

Довольный сам собой, студент засмеялся. Засмеялись и его два товарища,— они все знали, что пак Роно не пьет и не курит. Студент бросил растерзанную орхидею в кусты.

Базар всегда нравился паку Роно своей живой толкучкой. Он любил часами толкаться, особенно в воскресный день, в праздничной толпе, смотреть, как множество женщин, мужчин, детей в разноцветных саронгах, в цветных кофточках, под широкими зонтиками выбирают все эти папайи, фиолетовые мангустаны, ананасы, бананы, кокосовые орехи, желто-колючие дурьяны, малиновые рамбутаны, всевозможные овощи и травы.

Сколько торговцев продают, зазывают, спорят, смеются с покупателями! Корзины, плетенные из соломы и бамбука, блюда, остроконечные, как древние шлемы, широкие, как тазы, квадратные и круглые щетки всех размеров, циновки, петухи в круглых клетках, годные для боя, разноцветные леденцы и воздушные шары, папиросы, рыба, мясо, рис, прохладительные напитки...

Среди немолчного шума, возгласов, звона проезжающих двуколок и четырехколесных экипажей с легким выгнутым навесом, звонков велосипедистов пак Роно чувствовал себя в родной стихии.

На каждом шагу встречались знакомые, завязывались мимолетные беседы, начинались новые знакомства, он узнавал все последние новости города, все рыночные цены и наконец сам приступал к торговле.

Для этого он сначала отправлялся в ресторан, где всегда были люди, приехавшие издалека, туристы и ученые, желающие видеть чудо необыкновенного сада.

Он знал, что приезжие всегда готовы приобрести что-нибудь на память об этом дне посещения, какие-нибудь безделушки для подарка знакомым, какие-нибудь амулеты или вещи непонятного назначения. У него был товар на все вкусы!

Знакомый хозяин ресторана представлял его приезжим, и они, пообедав, сытые и довольные, хотели видеть, что содержится в его фанерном ящичке, но, прежде чем раскрыть его, он держал речь, он говорил о том, что у него есть правило: «Он не может торговать, если с ним не будут торговаться. Условимся в главном. Я не продаю без того, чтобы со мной не торговались. И торговались как следует, всерьез. Торгуйтесь! И мне и вам будет веселее! Я приступаю...»

Так и сейчас он сказал такую речь, и его ящичек раскрылся. Взоры приезжих, как зачарованные, обратились на его особый товар. И пошли по рукам амулеты, игрушки, кольца, фигурки работы пака Датука и его сына. Начался торг на славу!

Они хорошо торговались, смеясь и нарочно затягивая покупку. Пак Роно шутил и смешил их. С почти опустевшим ящиком он покинул ресторан и зашагал домой.

Было уже поздно. Он захотел есть. Он любил покупать обед у такого же, как он, уличного продавца.

На его зов уличный ресторатор в дырявой соломенной шляпе остановился, снял с коромысла жаровню и кастрюльки с едой, спустил на землю свой груз древесного угля, поставил жаровню, подкинул в нее угля, раздул огонь и начал принимать заказ.

Пак Роно, облизывая губы, смотрел, как разгораются угли, как человек начинает разогревать обед. Он сделал хороший заказ, чтобы поесть как следует.

Через несколько минут он уже глотал горячую вермишель, щедро смоченную острым соусом, приправленную разными овощными подливками. Потом он наслаждался жареным мясом. Затем последовал рис с кусочками рыбы и луком. Вместо тарелок служили широкие банановые листья.

Обедая, он вспомнил про своего гостя, который так неожиданно бросил его утром перед домом Сентан. Куда он мог деваться?

Может быть, он ушел совсем и пак Роно его больше не увидит? Хотя он и рассказал вчера свою жизнь, но, возможно, рассказал не все. А почему он должен открывать ее до конца? Его так много обманывали, несчастного человека!

И не надо его ни о чем спрашивать. Пак Роно дал ему свои старые куртку и штаны, дал немного денег, и он, на-

верное, тоже поел где-нибудь вермишели и риса. Не будет же он ходить голодным!

Да, много зла, слишком много зла в этом мире!

Он пришел домой поздно и сел в свою качалку. Он устал за день. Не забыть зайти завтра к паку Датуку за сделанным заказом. В ветвях незаметно исчезли просветы неба, луна начала свой путь. Затихли голоса на дороге. Его гостя в доме не было. Видимо, он с утра сюда и не заглядывал.

Пак Роно, привыкший к своему постоянному одиночеству в пустом доме, всегда после оживленного рыночного дня чувствовал усталость. Он слишком много съел за обедом, его клонило в сон.

Он закрыл глаза, и из синего мрака перед ним встала Сентан с цветами жасмина в волосах. Рядом с ней стоял пятнистый легкий олененок и смотрел на него человеческими глазами. Хорошо, что у этой доброй красавицы будет удача. Он-то хорошо знал, что она нуждается в деньгах, и богатый голландец сейчас, как никогда, будет кстати. И он увидел большеплечего голландца, который провисал багровым, тяжелым лицом среди банановых листьев. Он не мог скрыть волнения, его губы кривились, лицо все время менялось, теряясь в легком лунном тумане...

Сегодня попозже они встретятся, туан войдет в сад, где померанцевое дерево, где японские розы и луна заливает маленький домик искрящимся, как мягкий морской песок, светом.

Он закрыл глаза и начал дремать. Шорох послышался совсем рядом. Видимо, он заснул на какое-то время, потому что совсем не слышал, как вернулся гость. А он все-таки вернулся. Темная фигура прислонилась к столбу терраски.

Хриплое дыхание долетело до слуха пака Роно. Как будто человек долго бежал и никак не может отдышаться.

Пак Роно совсем проснулся.

— Где ты был? Почему ты так дышишь, так тяжело?

Человек наклонился к паку Роно:

— Я не устал! Я не сяду! Я ухожу!

Пак Роно давно ждал этого и не хотел задерживать уходящего. У каждого человека свои дороги: иной ждет солнца, чтобы пуститься в путь, иной уходит ночью, когда все спит. Зачем мешать судьбе? Пусть уходит. Он только сказал тихо, точно боялся, что кто-то их подслушает:

— Скажи мне свое имя.

Гость сначала не отвечал, точно у него перехватило дыхание. Потом ответил так же тихо:

— Зачем оно тебе? Мы больше не встретимся. Никогда! Я ухожу. Может быть, у меня много имен...

Он сошел с терраски во дворик и вдруг, подойдя с другой стороны, поднялся на цыпочки и сказал:

— Пак Роно, любовь моя к той, которая предала меня, была так велика, что я дал клятву во что бы то ни стало разыскать ее и взглянуть на нее! Прощай!

Как будто от этих слов уже не летучие мыши поднялись в воздух, а те черные, когтистые птицы с алыми ртами, которых зовут летучими собаками. Они пронеслись над деревьями, и черные-черные плащи их крыльев растворились в лунном небе.

Сколько ни всматривался сидевший в качалке пак Роно в окружавший его сумрак, он ничего не мог разобрать в нем. Может быть, это все же был призрак, из тех, о которых рассказывают шепотом, он пришел из глубины леса и снова исчез во тьме. Но ведь пак Роно притащил его в свой дом и выходил его от лихорадки. Нет, это был человек, безумный, загнанный жизнью человек. Почему он ушел в ночь, на новые мучения? Почему?

И вдруг волна тревоги захлестнула его с ног до головы. Холодный пот выступил у него на лбу. Что он сказал? Почему он так сказал? Ужас сначала сковал все его члены. Он стал дрожать, как будто стоял под ливнем, который мучительно хлестал его холодными потоками по усталым плечам.

Он вскочил, выбежал во дворик, оглянулся на домик, точно кто его мог окликнуть. С дороги слабо донесся плавный бег запоздавшей двуколки, ржание лошади, заглушенные голоса.

Пак Роно бежал по длинной прямой дороге, как только позволяли его старые, усталые ноги. Он бежал с закрытыми глазами, дорога была гладкая, прямая как стрела, он бежал, не боясь, что ночная машина раздавит его и промчится, даже не остановившись. Он бежал, задыхаясь, хрипя, как тот его гость. Никогда в жизни он так не бегал...

Питер ван Слееф приказал остановить машину, не доезжая до места, куда он стремился, велел шоферу ждать его, и шофер, поставив машину в тень стены из плотно разросшихся кактусов, открыл с поклоном дверцу и несколько

шагов следовал за хозяином, думая, что будут еще какие-нибудь приказания. Но так как хозяин не сказал больше ни слова, он вернулся и, сев на свое место, чуть напрягая зрение, следил, как в металлически-белом свете луны Питер ван Слееф шел обычным тяжелым шагом к большому панданусу и потом свернул к дому, невидимому за зеленью.

Питер ван Слееф шел к покрытому красной черепицей дому, и дорожка, темная, как будто усыпанная кирпичной пылью, чуть скрипела под его шагами.

Он посмотрел рассеянно на бледно-зеленый газон, на клумбу, обложенную каменными плитками, на кусты цветущих японских роз, которые в чуждом климате имели чахлый, невеселый вид.

Стояла тишина. Только жестяной шелест высоких пальм, окружавших дом, нарушал молчание. Никто не остановил идущего.

Питер ван Слееф не спеша вступил на лестницу. Широкие ступени вели на веранду. Он не раз ходил по ним, когда здесь жил покойный ван Брайен. Вот и знакомые старые колонны. На веранде он обошел круглый стол, на котором сладко пахли какие-то ночные цветы в черной вазе, кресло-качалку, и перед ним открылся вход в полутемный небольшой холл. Он прошел эту пустую комнату, немного удивляясь окружавшему его безмолвию, точно весь дом вымер, и увидел впереди слабый свет. Его сейчас же закрыла темная фигура, которая надвинулась на него, но, как бы раздумав, остановилась.

Он тоже остановился, и рука его невольно нащупала в кармане пистолет, но, приглядевшись, он узнал пака Роно. Только ему показалось, что этот всегда такой мягкий и тихий человек сейчас напоминает почему-то фигуру, вырезанную из камня.

Пак Роно поднял руку, как будто на дороге останавливал машину. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга. Потом пак Роно подошел вплотную и взглянул какими-то стеклянными глазами.

— Не надо туда ходить, туан!

В его голосе звучали слезы. Питеру ван Слеефу стало вдруг холодно, точно он опустил ноги в ледяную воду. У него пересохло в горле.

— Почему?

— Не надо, туан! — Голос пака Роно был едва слышен.

— Как? Она не ждет меня? — воскликнул, пересиливая волнение, Питер ван Слееф.

— Лучше туану ее не видеть!

Питер ван Слееф отстранил пака Роно и сказал решительно:

— Я должен ее видеть!

Они шли по четырем ступенькам, ведшим в следующую комнату, как будто поднимались на эшафот, как будто им самим осталось жить считанные минуты.

Они вошли в комнату, богато убранную коврами и вышивками. По углам стояли на полу вазы с цветами. Комната освещалась только квадратным фонарем, спускавшимся с потолка на тонких цепочках. Причудливые тени от фонаря лежали на полу и на ложе в глубине комнаты.

Пол был устлан разноцветными циновками. Ван Слееф и пак Роно шли в смутном полумраке, в полной тишине.

На ложе, покрытом шелковым покрывалом, лежала женщина. Одна рука ее, как невесомая, касалась пола. Красный с золотом саронг искрился в полумраке. Белая кофточка, расшитая цветными узорами и голубыми цветками, была покрыта темными пятнами.

Они наклонились над лежавшей. Черная лента неровно пересекала шею. Широко открытые глаза уставились в одну точку. Лицо не было изуродовано судорогой. В черных волосах горели белыми вспышками цветы жасмина.

От пробегавших по губам теней казалось, что она улыбается. Да, это была Сентан. Во всем своем блеске она лежала перед ними с перерезанным горлом.

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Если жизнь людей большого зеленого острова, именуемого с незапамятных времен Ланка, но более известного под именем Цейлона, в пятидесятых годах двадцатого века во многом изменилась, то природа острова, климат его не удивляют никакими неожиданностями.

Так же, как и в былые времена, температура воздуха понижается с приходом муссонных дождей, начиная с июня, и неизменно повышается в марте, когда солнечные лучи падают отвесно, нестерпимо накаляя к полудню кирпично-красную землю, перед тем как на нее обрушится быстрая, шумная стена грозового ливня.

Так повторяется каждый день, к великой радости коренных обитателей этой древней земли. Так же как декабрьские и февральские дожди очень нужны чайным плантациям горных районов, эти ослепительные звонкие ливни марта просто необходимы для рисовых полей в пору их подготовки к новому севу.

Но это касается деревень, а в городе есть другие заботы. Миссис Айлен Броуден стояла на большой открытой террасе своего старого дома и рассеянно смотрела на давно знакомую улицу, с ее привычными оградами и садами, на однообразные, выцветшие крыши невысоких старых домов, невыразительных, скучных, похожих, как близнецы.

Раннее мартовское утро, как всегда было жарким. На другой стороне улицы, на краю заросшей канавы, в тени, прислонившись к садовой ограде, сидел рикша в серой заношенной соломенной шляпе, в потерявшей цвет, выгоревшей на солнце мятой курточке без рукавов, на которой у

правого плеча ярко блестела большая круглая бляха с номером.

Он курил сигарету, осторожно затягиваясь, а плотный, невысокий человек, с шафрановым лицом метиса, небрежными движениями молча наполнял его пустую коляску с опущенным верхом всевозможными вещами. Он появлялся из двери в ограде, нагруженный пакетами, тючками, мешками, всевозможными свертками, не говоря ни слова и не обращаясь к рикше, бросал их как попало друг на друга в коляску и опять исчезал, чтобы через минуту появиться с новыми вещами.

Рикша, полузакрыв глаза, равнодушно смотрел, как суровый метис с презрительной поспешностью, точно желая поскорее отделаться от грязной работы, набросал целый маленький холм, и, казалось, стоит тронуть коляску, все эти тючки, мешки, пакеты, свертки, как на крыльях, разлетятся во все стороны.

Метис, бросив последний пакет и поставив еще большую корзину поверх всего, обтер руки о бока своего белого, плотного комбоя, что-то быстро и повелительно сказал рикше и пропал за оградой, крепко хлопнув дверью.

Рикша не спеша докурил сигарету, сплюнул окурок в канаву, поднялся с земли и медленно, как бы разминаясь, пошел к груде бесформенного багажа.

Потом он с удивительной быстротой начал снимать вещи с коляски. Он снял корзину, разобрал пакеты, отсортировал тючки, сложил в сторону мешки. Опустошив коляску до самого дна, он с искусством жонглера начал подбирать вещи так, чтобы они ложились плотно, аккуратно, одна к одной, распределял их по весу и объему, делал между ними прокладки из мелких пакетов. Снова вырос холм вещей, но теперь это было аккуратное, незыблемое сооружение.

Стянув его тщательно веревкой, рикша встал перед коляской, еще раз взглянул на нее, нагнулся, подхватил длинные узкие оглобли, положил на них руки так, чтобы пальцы правой руки были около звонка, укрепленного на оглобле, шатнул коляску и, подавшись чуть назад, вдруг примерился и сразу взял с места, рванул и пошел, все ускоряя шаг и переходя в бег.

Проводив рикшу глазами, миссис Айлен Броуден вздохнула. Если бы так искусно можно было распределить тяжесть своих дней, чтобы вещи потеряли свой злой, тяжелый вес!

У нее была плохая ночь. Очень плохая ночь. Опять ее замучили боли. Тяжелые мысли и эти боли прогнали сон. Она не могла спать от мучительного ощущения, что все тело горит, как будто ее колют раскаленными иголками.

Измученная, она бродила по всему дому. У нее замирало сердце в этих пустынных ночных комнатах. Под высокими потолками шуршали ящерицы. Вздрагивая, шуршали фёны. Сквозняк шевелил листы бумаги на письменном столе покойного доктора. В рабочей комнате холодно сверкали металлические приборы, инструменты в стеклянных ящиках, колбы и микроскопы. В другой комнате рояль под коричневым чехлом походил на дремлющего слоненка, вставшего на колени. Пустые кресла и стулья напоминали о людях, когда-то посещавших дом. Кровати с кисейными пологами, опущенными до полу, вызывали в памяти тоскливый писк москитов. Большие книги на полках казались мертвыми, темными кирпичами.

Все было чисто, опрятно, и от этого еще больше веяло одиночеством и печалью опустошенного жилища. Тот, кто привык видеть Айлен Броуден веселой, всегда приветливой, дружески улыбающейся, никак не признал бы ее в этой согнувшейся от боли женщине, сжимавшей зубы, чтобы не закричать от нестерпимой муки.

Она боялась таких ночей и дрожала перед ними, хотя всегда была мужественной в жизни. Кто такая Айлен Броуден? Вдова известного доктора Генри Броудена, умершего недавно от жестокой тропической лихорадки в научной экспедиции в Новой Гвинее.

Единственный их сын Эмрис погиб в джунглях Ассама, защищая Индию от японцев во время второй мировой войны. Брат ее — наивный человек — искал справедливости и законности, перессорился со всем начальством, и ему ничего не оставалось, как начать пить, курить опиум, бросив службу, умереть, раствориться в дебрях каучуковых плантаций Саравака, среди непроходимых тропических болот.

Все они так или иначе исчезли, оставив ее одну перед лицом неизвестной болезни, которая все больше приобретает власть над ней.

Такие ночи, как вчерашняя, стали повторяться все чаще. Но к утру миссис Айлен являлась бодрой, обычной, такой, к которой привыкли друзья и знакомые и которая скорей бы умерла, чем показала себя несчастной на людях.

К утру ей стало лучше. Она даже немного забылась, подремала, приняла душ, долго сидела перед зеркалом,

приводя в порядок свое измученное лицо, и как хозяйка вышла на террасу навстречу дню.

Все было как всегда. На бледном молочно-голубом небе шевелились легкие бледно-зеленые вырезные ветви кокосовых пальм. На дворе соседнего участка садовник косил траву.

Эта трава вырастала каждое утро, и каждое утро садовник выкашивал ее. Если бы он не косил ее, весь круговой подъезд к парадному входу дома зарос бы высокой травой. Каждый день садовник косил траву. Остановись он, прекрати свою ежедневную работу — неумолимое время промчится дальше, и трава забвения все покроет своей зеленой, спокойной пеленой.

Очнувшись от невеселых мыслей, миссис Айлен только теперь ясно услышала крик, который она и раньше слышала, как только вышла на террасу, но он как-то не доходил до ее сознания. За углом террасы неистово кричали вороны. Они каркали на разные голоса, как будто хотели привлечь к себе внимание этим черным многоголосьем.

Вороны — привычные на острове, самые нахальные, крикливые, неугомонные птицы. Но кто обращает на них внимание? Их всегда много у моря, там, где порт, пароходы; на берегу, где склады и где всегда им может что-то перепасть. Да они и рыбу ловят, как чайки, прямо из волн. А почему они кричат сейчас, здесь, рядом с домом? Какой содом!

Она перешла на самый край террасы, откуда был виден маленький дворик. Посреди него росла старая вельможноважная магнолия. Там были разные сарайчики, пустой небольшой водоем, несколько кактусов и агав и прижившийся случайно куст дикой лантаны с ее густыми, пронзительно-розовыми цветами.

Рядом с пустым водоемом, под темно-лаковыми листьями пышной магнолии, посреди дворика лежала на спине, раскинув крылья, большая черно-серая ворона. Вокруг нее ходили, бегали по земле, сидели на ветвях дерева, непрерывно каркая, десятки больших и малых ворон.

Каждую минуту подлетали новые птицы. Айлен ничего не понимала. Кто убил ворону? Зачем? Птиц не убивают, хотя здесь их великое множество. Если она умерла от старости... Почему здесь, у нее в дворике? И почему это касается всех ворон?..

Она услышала шаги за спиной и обернулась. Перед ней стоял, с морщинистыми, впалыми щеками, с тонкими,

почти мальчишескими руками, худой тамил — ночной сторож. К его босым фиолетово-коричневым ногам жалась похожая на шакала собачонка с вытертыми боками. Старик и собака ночью всегда спали вместе, на одной соломенной циновке, на старом тряпье, прижавшись друг к другу, и собака мгновенно будила хозяина, если слышала подозрительный шум.

— Что это такое? — спросила старика Айлен.

Старик смотрел на ворон и вытирал слезящиеся глаза большим желтым платком с обтрепанными краями.

— Не знаю, мэмсаб. Это их дело. Прогнать их?

— Не надо,—сказала она, полная неожиданного смущения. Вороны были так суетливы, так чем-то напоминали деловитых и печальных людей, что в голову приходили самые странные мысли. И с этими мыслями Айлен вернулась в дом. Обычный завтрак она ела без опаски, что боли вернутся. В утренние часы они ее оставляли. Она съела овсяную кашу, отказалась от яичницы, проглотила несколько кусочков желто-розовой, похожей на дыню папайи, у которой внутри, запутавшись в волокнах, густо лежали черные семечки, съела белоснежную мякоть темно-малинового мангустана и жадно выпила две чашки чаю с молоком. Вошел слуга и доложил о приходе гостя. Она попросила провести гостя в столовую.

Она еще с вечера послала ему записку, чтобы он пришел. Это был друг ее погибшего сына. Он воевал в Ассаме вместе с Эмрисом. Его звали Джон Паркс. Вошел долговязый, костистый, высокий, спортивного вида человек. Он был школьным товарищем Эмриса. Они когда-то охотились вместе на диких зверей. Он большой знаток регби. Служит в пароходной компании «Синяя звезда» — океанские лайнеры, контора в Форте, в Коломбо. У него жена, двое детей. Ему тридцать семь лет; он старше Эмриса на несколько лет.

Он сел за стол. Айлен налила ему чаю.

— Как жизнь, Джон?

— Обыкновенная, миссис Айлен.

— Как семья?

— Все здоровы, ездим освежаться к морю или, когда есть возможность, в Нувара Элию; дети растут, жена увлекается теннисом...

— Как с политикой?

— У меня нет никакой политики. Я ее давно бросил. Без нее дышать легче. Мне все равно, где жить и работать.

А в остальном — ведь это же как повезет. Слепое счастье у тех, кто ожидает, когда какой-нибудь богатый родственник умрет. А у меня нет таких родственников. И у Мод тоже. Значит, дело в работе. Ну, а люди не оставляют старого способа сообщений. Наша линия «Синяя звезда» не может жаловаться. И пассажиры, и туристы, и товары плывут еще в наши края и через нас в Австралию, в Полинезию, в Японию, в Индонезию... Это путь обжитой. Так и живем... Вот бедному Эмрису не повезло. Как вспомню, злость берет. И война-то шла к концу. Но эти япошки перехитрили тогда нас. Мы не умели воевать в джунглях. Были, конечно, отдельные отряды, те здорово им всыпали, появляясь из таких мест, где и ожидать нельзя было. И маскировались замечательно. А мы не умели. Не привыкли. Еще индийские войска — те воевали лучше. Особенно пятая дивизия, которая пришла позже. Япошки устроили засаду в лесу, и наши попали в ловушку. Эмрису не повезло. Но, правда, мы япошек поколотили так, что, когда их отбросили от Кохимы, они бежали через Тиз на восток, ополоумев от страха. Давно это уже было...

— Джон, я хочу вам сделать один подарок!

— Я буду очень признателен, миссис Айлен! А что именно вы хотите мне подарить? Какие-нибудь игрушки для детей?

Айлен отрицательно покачала головой, ушла и через несколько минут вернулась в столовую, держа в руках охотничье ружье. Она подала его Джону.

— Что это?

— Это — любимое ружье нашего дорогого Эмриса. Он с ним всегда охотился. Я хочу в память вашей с ним дружбы, которая началась еще с детских лет, подарить его вам...

— А почему вы не хотите сохранить его на память? Оно так украшало комнату...

Айлен посмотрела на него пристально светлыми немигающими глазами. Улыбнувшись, она сказала:

— Потому что у меня бывает ночью желание покончить с собой, и это ружье очень соблазнительно. Оно может нечаянно само выстрелить. У вас ему будет спокойнее...

Джон Паркс нелепо и смущенно ухмыльнулся.

— Вы всегда шутите, миссис Айлен! У вас всегда такое бодрое настроение...— Он рассматривал ружье.— Я знаю это ружье. Мы вместе охотились с Эмрисом. Это, конечно, не двести семьдесят пятый калибр, каким можно убивать

леопардов и слонов, но ружье стоящее. Это хороший «Вестлей-Ричардс». Вы смело пошутили. Из такого ружья приятно и застрелиться. У меня нет тенденции к самоубийству, и оно пригодится в моем хозяйстве. Большой это подарок. Я вам очень, очень благодарен. А как вы себя чувствуете?

— Прекрасно... Окруженная друзьями и хорошими людьми, миссис Айлен Броуден может поделиться своей жизнерадостностью со многими, кому не хватает жизненной энергии.

Джон засмеялся смехом уравновешенного человека.

— Спокойствие — это необходимо даже в самых исключительных обстоятельствах. Вот ведь и на охоте бывает всякое, как на войне. Раз в том же Ассаме мы хотели поохотиться на тигра. Но он никак не попадался нам. Нас утешали местные охотники: завтра он обязательно выйдет на нас. И, усталые от поисков, мы устроили попойку. Наш товарищ праздновал день рождения. В охотничьем бараке в лесу мы хорошо выпили. И когда все галдели и поднимали пьяные тосты, дверь распахнулась, и что мы увидели... На пороге — огромный леопард. Представляете себе? У нас в комнате ни одного ружья и окно, которое закрыто. Мы прижались к стене, и самые отчаянные замолчали. Наступила тишина, как в строю по команде «смирно». И что вы думаете? Мы все протрезвели, а наш леопард втянул в себя воздух, и весь наш пьяный угар пополам с дымом трубок, и сигар, и сигарет ударил ему в нос. Он попятился, страшно чихнул и пропал в ночи. И тогда начался такой хохот, что, ей-богу, он был похож на истерику. Мы схватили ружья в соседней комнате, выбежали как безумные в лес, но его и след простыл. Он сцапал какую-то собаку одного шикари и смылся... А вы знаете, что на нашем Цейлоне есть пьяные слоны?

— Как? Те, что дают представление в зоосаде, они пьют? Никогда не слышала.

— Нет, те, в зоосаде, непьющие. А в джунглях, где есть еще дикие слоны. Вот они напиваются каким-то пьяным соком, приходят в такое состояние, что им ужасно хочется все разнести вокруг. Они выходят на дорогу, правда, в одиночку, и вспоминают все старые обиды, совершенно как пьяные люди. И тогда они вспоминают, что их главные враги — машины, особенно грузовики, которые воняют на все джунгли грязным бензином. И такой пьяный слон валит дерево на дорогу. Перед завалом останавлива-

ется несчастный водитель, думая, что это сделал ветер. А слон, как гангстер, выскакивает из засады и начинает разносить в щепы грузовик. Счастье, если шофер сумеет быстро взобраться на ближайшее дерево. Оттуда он смотрит, как слон громит его машину. Лесной бродяга работает хоботом и бивнями, ногами, срывает бока; деревом, как рычагом, ломает кузов, кабину, топчет колеса. Не успокоится, пока не превратит все в кучу обломков.

Он, наверное, думает, что мстит какому-то слону, ставшему в руках людей неузнаваемым и дурно пахнущим. Я раз сам напоролся на такого слона. Я ехал на легковой. Встречный шофер предупредил, что на таком-то километре буянит пьяный слон. Я спросил, когда он его встретил. Он сказал: «Ну, я думаю, что слон уже ушел». Прошло несколько часов. Я просил шофера развить на подходе к этому месту наивысшую скорость. Он мчался как мог. И мы проскочили. Было темно. И вдруг что-то непонятное затрубило нам в уши, что-то шлепнуло за нашей спиной в машине и исчезло. Мы, оглушенные этой трубой, сначала даже не поняли, что слон хотел остановить нас и его хобот попал в открытое окно автомобиля, к счастью за нашей спиной. Его рвануло, и он, боясь оставить хобот в машине, поспешно вырвал его, предварительно заорав во всю силу, и оглушил нас... А что это у вас за вороний концерт? Я давно хотел спросить: чего так разгалделись вороны?

Они вышли на террасу. Джон, увидев такое множество ворон, пожал плечами. Разглядев лежавшую посреди дворика мертвую ворону, он шутливо закричал:

— Смотрите, миссис Айлен, кто-то уже начал охоту, и вот трофей! Вот как дать по ним,— он поднял ружье к плечу,— сразу бы разлетелись кто куда... А чего они орут?

— Пусть орут,— сказала Айлен, тронув его за плечо,— не надо в них стрелять. Они берут пример с людей...

Джон свистнул и сказал восхищенно:

— Ох, вы и скажете, миссис Айлен! Так скажете, как никто не умеет сказать!

Широкоплечий, грузный, почти квадратный, похожий на боксера тяжелого веса, доктор Норман Райт чувствовал себя в доме миссис Айлен Броуден как дома. Это была очень старая дружба, не омраченная никакими размолвками. Доктор вместе с Генри Броуденом участвовал во мно-

гих экспедициях и обследованиях, знал тропики, как никто, провел много времени среди глухих, труднодоступных мест, среди диких, первобытных племен, населяющих такие острова, как Новая Гвинея, Андаманские, Соломоновы острова.

Сейчас он уезжал надолго в Европу и зашел проститься с Айлен. Слуга принес чай, печенье, прохладительные напитки. Жара уже заполнила дом, налила комнаты какой-то огненной сухостью, и вороны кричали так, точно умирали от жажды.

Сидевшие за чайным столом переговорили о всех делах, связанных с отъездом Нормана Райта в Европу — у него такое событие было не частым. Его старшая дочь кончала в Лондоне художественный институт. Из Лондона они собирались проехать к друзьям в Париж, а оттуда на всемирный конгресс врачей в Рим. Это не такое малое путешествие, если принять во внимание еще одно обстоятельство, что дочь собирается выходить замуж.

— Так что надо все посмотреть и принимать решения,— сказал Норман Райт.— Вам ничего не нужно в Лондоне?

— Нет,— сказала Айлен.— Я в свое время взяла от Лондона все, что может взять женщина, когда она молода. Сейчас у меня другие заботы, и мой возраст не тот. Но я давно хотела задать вам, дорогой Норман, один вопрос, который вам, может быть, покажется странным, и я бы не задала его, если бы вы не уезжали так надолго. Он меня давно мучит, и я хотела спросить именно вас...

— Пожалуйста, спрашивайте.— В ее голосе он уловил оттенок какого-то беспокойства.— Мы такие старые друзья, что даже если это какая-то тайна, то я нем, как могила. Но я смеюсь, какие у вас тайны!.. Все известно, все понятно...

— Не все известно, не все понятно, Норман. Скажите, что такое, по-вашему, тропики, вот все эти окружающие нас страны, которые совсем недавно мы называли своими колониями?

Норман Райт даже улыбнулся, как улыбается серьезный человек на вопрос наивной девушки, начитавшейся книг про дикарей и приключения. Но перед ним была Айлен, старая знакомая, вдова его друга, известного доктора Генри Броудена, и, по-видимому, в ее вопросе было что-то другое. И поэтому, немного подумав, он отвечал со всей серьезностью и как бы в раздумье:

— Тропики! Видите ли, Айлен, они разные для разных людей. Для людей искусства — это чудеса и тайны; для деятелей мирового рынка, людей торговли и коммерции, банков и биржи — это неслыханные богатства природного сырья, земных недр, дешевого труда; для политиков — это большая игра, в которой играют головами миллионов людей; для туристов — праздничная поездка, отдых и удовольствие...

Все это так! Но для нас, врачей, нет праздничных тропиков, мы не играем на бирже и не участвуем в заговорах, для нас не существует восторгов праздных путешественников, ищущих острых развлечений, восторгов туристов, которые восхищаются при виде голых людей, в костюме Адама и Евы, или в неизвестных европейцу живописных одеяниях. Для нас, врачей, тропики полны больных и голодных людей, живущих в тяжелых, антисанитарных условиях. И те, кто считает себя господами, так же, в сущности, больны, как и последние нищие, но больны по своей вине... Тут, в этих краях, вся природа ополчается против людей. И в воздухе, и в траве, и в лесу — всюду вредные, очень вредные бактерии...

— И они ведь не похожи на европейские, эти здешние болезни? — сказала Айлен.

— Нет, не похожи, здесь целая галерея — набор каких-то библейских редкостей, начиная с желтой лихорадки и кончая проказой. Только позавчера я осматривал крестьян, больных вухерериозом — слоновой болезнью. Поздно: уже нельзя помочь. А похожая на проказу фрамбезия...

— Да, я видела этих несчастных довольно много,— спокойно сказала Айлен.— Их тела, покрытые ярко-красными пятнами и язвами, трудно забыть.

— Фрамбезией, как вы знаете, болеют миллионы. И она не такая безвредная — она вызывает деформацию костей. Ею переболели целые народы. Сейчас мы разгадали ее и можем изгонять этого страшного беса простым пенициллином... А шестизоматос...

— Я все-таки жена врача.— Айлен тяжело вздохнула.— Мне о нем рассказывал Генри. Он занимался этой болезнью. Это страшный зуд от личинок, проникших через кожу.

— Их много, этих тропических бичей: тропическая малярия, билгарциоз — те же личинки, вызывающие цирроз печени, общее истощение организма, черная оспа, параге-

миоз, который гнездится в клешнях краба. Ну, и царицы бала — чума, холера. Но вы все это знаете от Генри, который всю жизнь боролся с ними. Зачем вам сейчас нужны эти болезни?

Айлен покачала головой.

— Конечно, я слышала о них, но меня сейчас интересуют не болезни, другое...

— Простите, Айлен, я вас тогда не понял, но вы спросили про тропики. Я сказал, что я о них думаю как врач.

— А скажите, исходя из вашего опыта врача: могут европейцы жить в тропиках совершенно спокойно?

— Совершенно спокойно жить — это формула не для нашего нервного века. Кто сейчас живет спокойно где бы то ни было? Тем более в этих странах Азии, где все бурлит и все меняется.

— Норман, а зачем белые вообще пришли в эти страны?

Доктор Райт искренне засмеялся.

— Все знают, Айлен, ваше неизменно хорошее настроение, ваш оптимизм и остроумие. Но, дорогая, этот вопрос касается историков и политиков. Я только врач, меня не интересуют вопросы эволюции человечества. Зачем арабы и монголы приходили в Европу? Пусть на это ответят специалисты...

— Ну хорошо, я хотела еще спросить: могут ли, по-вашему, белые люди естественно жить в тропиках рядом с желтыми и черными?

— Могут, но, конечно, им жить труднее, чем цветным народам, старожилам этих мест. Например, даже лошади не могут жить на Цейлоне. Они живут, им это не очень нравится. На Цейлоне не растут яблоки, груши, виноград. Но белые люди — враги сами себе. Они привезли из Европы слишком много нужных привычек. Они погибают от пьянства, оттого, что едят много больше, чем нужно человеку, причем не то, что нужно есть в тропиках. Они слишком расстроили свои нервы, многие из них ведут сидячий образ жизни, они злоупотребляют табаком, сигарами, наркотиками. Ну, а за последнее время выросли психические заболевания на почве подавленности психики, «атомной истерии», тревоги за себя и за свое шаткое, хотя и безбедное существование. Это все укорачивает их жизнь. Если бы они соблюдали правила гигиены и задумались бы над своим образом жизни, они жили бы дольше... Потом они погибают от своего сверхвластолюбия, эгоизма и от одино-

чества. Как ни странно, они очень одиноки, эти покорители тропиков. Ну, и от неизвестных нам, пока еще не разгаданных болезней. Мы, европейские врачи, хотим разгадать все загадки этих древних стран. Наш старый друг Генри погиб от лихорадки с примесью какой-то болезни, нам пока неизвестной. Фактически мы только начали наступление на все эти болезни, которыми болеют здесь миллионы людей. И мы не хотим заноса их в Европу!

Айлен спросила так тихо, что доктор Норман Райт должен был наклониться к ней, чтобы расслышать, что она сказала:

— А большие неприятности доставил бы европеец, если бы он явился в Европу с неизвестной или известной, но ужасной азиатской болезнью, с тропической болезнью?

Норман Райт даже положил трубку на стол и взмахнул руками, точно отгонял видение.

— Невероятные неприятности, Айлен, вы не можете себе представить, что произошло бы, если бы такой человек по приезде в Европу умер и было бы установлено, что болезнь неизвестна или что она что-то вроде черной оспы. Пришлось бы поднять мировую тревогу, на всей пройденной им дороге, на всем маршруте, которым он пользовался, отыскать всех, кто с ним встречался, кому он что-то посылал, с кем он беседовал, пил и ел. Ведь он может стать носителем страшной эпидемии, о которой в Европе или мало знают, или не знают ничего. Такие случаи, увы, бывали... Но это слишком печальная и мрачная тема, дорогая Айлен... Почему вам это пришло в голову?

— Да, почему мне это пришло в голову? Я знаю почему. Я последнее время читала много фантастических романов, и там были как раз и неизвестные болезни, и эпидемии, но это хорошо, что это только в книгах, а в жизни всего этого кошмара нет...

— Ну, читать ужасы в книгах — это безопасно. Книги, полные медицинских происшествий, отклонений от нормы, сейчас дело обычное. Есть специальные фильмы ужасов и извращений. Это, кстати, тоже свидетельство расшатанной психики, нервных потрясений нашего времени и неуверенности в будущем...

— Да, мы слишком много говорили об ужасных вещах. Это все порождение нашего века. Мы, белые, вырастили в трудных тропических условиях целые поколения людей, которые принесли много пользы человечеству своими знаниями, своими трудами...

— Конечно, Айлен. Нам надо передать наши знания людям других рас, чтобы получить помощников в борьбе с бедствиями человечества. Те болезни, что мучают народы, изучены нами, европейцами, и мы не скрываем своих знаний ни от кого. Скажите, Айлен, совсем о другом: Алиса, конечно, уже виделась с вами и говорила о нашей поездке?

— Да, я очень благодарна ей, что она была у меня. Мы долго сидели с ней. Когда вы вернетесь, мы соберемся, и я буду целый вечер слушать ваши рассказы. Вы уезжаете ведь надолго?

— Не очень. Месяца на три. Я еще хочу поработать с нашим общим другом Оливером в его институте. Он пишет труд о некоторых тропических болезнях, как наш знаток — доктор Клифорд.

— Норман, дорогой, подождите минуту, не уходите. Я хотела бы сделать один подарок нашей милой Алисе...

Она поднесла доктору маленький голубой футляр. Раскрыв его, он с минуту смотрел на то, что было в футляре, и на Айлен. На бархатной подушечке лежал драгоценный камень, и его удивительный блеск освещал футляр, как будто по нему пробегал солнечный луч. Камень был сильной, ослепляющей яркости.

— Это мой любимый темно-синий сапфир, мой любимый камень,— сказала Айлен.

— Так почему вы его дарите Алисе? — воскликнул Норман Райт, не сводя глаз с чуда в коробочке.

— Ее день рождения через месяц, когда вы будете в Англии. Она моя любимая подруга. Мы прожили вместе несчетное количество лет. И мне очень хочется, чтобы она имела это как память от меня...

— Это царский подарок, Айлен. Я никак не могу прийти в себя. Ведь Алиса вернется через три месяца. Вы подарите ей сами...

— Я прошу вас вручить мой подарок не сейчас, а в Лондоне в день ее рождения. Я хочу, чтобы в этот день она вспомнила меня. А сейчас спрячьте этот сапфир. И скажите ей, что этот камень приносит счастье...

Когда они вышли на террасу, они услышали то же карканье, что было и утром и днем; может быть, оно стало чуть тише, потому что птицы прилетали теперь поодиночке и многие сидевшие с утра уже улетели. Айлен показала Норману дворик с лежащей посередине старой вороной. Он увидел ворон, ходивших вокруг нее...

Он сказал:

— Впервые вижу подобное. Это какой-то ритуал. Право, вам стоит досмотреть это до конца. За ваши наблюдения мой товарищ, орнитолог Эвередж, он живет в Мадрасе, будет вам очень признателен.

Айлен не успела как следует подремать в своей комнате, как явилась миссис Моррис. В своей миссионерской черной одежде, с сухим, шакальим выражением лица, с острыми злыми огоньками в глазах, она бесшумно вошла в дом, оглядываясь по сторонам, точно сомневаясь, туда ли она попала. Она смотрела на Айлен, как будто хотела сказать что-то очень официальное, что могло начинаться: «Именем закона!» Но сейчас же, став сладкоречивой, она повела речь об общих знакомых, рассказывала о своей поездке в Индию, к хайдарабадским сестрам во Христе, о жизни их религиозной общины, и Айлен никак не могла понять, зачем пришла эта черная, недобрая женщина.

Излив поток льстивых похвал в адрес Айлен, она вдруг спросила самым обыкновенным голосом:

— Мы слышали, что вы хотите продать ваш дом. Вы, кажется, уезжаете к своей двоюродной сестре в Англию?

Айлен стало не по себе. Ей хотелось грубо ответить этой лицемерке, но она сдержалась.

— Моя двоюродная сестра живет в Австралии, а не в Англии, и я не собираюсь ни уезжать, ни продавать свой дом, как вы говорите...

Но мрачная женщина, пробормотав что-то про себя, уныло взглянула и сказала, как будто не слышала слов Айлен:

— Нам говорили, что вы уезжаете в метрополию, чтобы поправить свое здоровье. У меня в Мейдстоне, около Лондона, брат — хороший терапевт. Я могу дать письмо к нему...

Краска бросилась в лицо Айлен. Это уж чересчур! Но она ответила почти с благодарным поклоном:

— Мое здоровье отлично. Спасибо, я не нуждаюсь в хорошем терапевте. Я чувствую себя вообще хорошо. А какие ваши успехи,— вероятно, большие?

Черная кукла заговорила металлическим голосом:

— Наши успехи все хуже и хуже. С этими новыми временами, с этими новыми реформами туземцы не хотят

поддерживать нас. Они натравливают на нас банды буддистов, индуистов, даже католиков...

— А что, они возвращаются к вере старых богов? — рассеянно слушая ее, спросила Айлен.

— Нет! — резко возразила черная женщина.— Они стали безбожниками, они стали коммунистами. Иностранцы боятся за свои жизни в случае беспорядков...

— Я боюсь, что вы преувеличиваете. Конечно, существовать сейчас не просто. Страна должна подумать, как жить в такое сложное время. Им не до философии. Надо накормить и одеть народ, надо позаботиться о завтрашнем дне!

— Пока здесь были англичане, порядок был, и никто не имел забот о завтрашнем дне. А потом, хотя они и черные, но душа у них есть. И эту душу наша обязанность приблизить к свету истины...

— Не знаю,— сказала растерянно Айлен.

— «Не знаю» — так говорят все, кто, как Пилат, умывает руки,— начала миссионерша сурово, но сразу же стала тихой и благостной и спросила очень вежливо: — Простите, но я слышала какой-то странный слух!

— А что именно вы слышали? — настороженно спросила Айлен.

— Нет, это, конечно, просто слух. Смешно даже... о нем говорить всерьез. Я не хотела бы об этом говорить именно с вами. А с другой стороны, с глазу на глаз...

— Пожалуйста, говорите. Я, вы это знаете, прямой человек.

Гостья ехидно улыбнулась.

— Нет, я, конечно, не верю, говорят, есть такой слух, что вы хотите подарить ваш дом буддистам в пику нам, христианам?

На Айлен смотрела жестокая маска, в прорезях которой застыли хитрые глаза. Они ждали ответа. Айлен задумчиво посмотрела на нее.

— Я не собираюсь в моем доме устраивать молельню. И он не подходит под монастырь. У меня в доме нет даже будд, кроме одного, которого мне подарил один хороший человек.

Миссионерша встала, как будто ее подняла пружина.

— Не волнуйтесь, дорогая миссис Айлен Броуден,— сказала она с самой холодной вежливостью.— Я тоже так думала. И я не поверила этому слуху. Правда, ваш покойный муж,— сказала она уже на ходу,— доктор Броуден

не очень-то уважал тяжелый благословенный и благородный труд миссионеров...

Уже стоя на террасе, она продолжала:

— Но его уже взял господь, справедливый и милостивый судия, взял в свои владения, и не нам судить его деяния на земле, и да простятся ему все его прегрешения.

Она уже хотела спускаться по ступенькам, но ее остановило воронье карканье. Миссионерша подбежала к краю террасы и увидела дворик и ворон, которые были и в воздухе и на земле. Ее стало трясти при виде этого зрелища.

— Вороны! Боже мой! Это же все силы черного колдовства окружили ваш дом! Надо освятить его немедленно! Надо дать отпор черной силе. Я сейчас прочту одну молитву, и они — эти слуги нечистой силы — исчезнут! Надо их сейчас же разогнать!

И она было начала какое-то заклинательное молитвословие, но Айлен, взяв ее под руку, повернула к выходу, твердо сказав:

— Нет, не надо их разгонять. Никакого колдовства тут нет. Мы все-таки живем в век атома и космоса. А это особенности местной природы. Конечно, в Англии этого не увидишь!

— Это настоящая нечистая сила, самая настоящая нечистая сила! — кричала миссис Моррис, спускаясь с террасы.

— Я думаю,— сказала устало Айлен,— что это чистая сила биологического процесса, одинакового как у людей, так и у животных. При чем тут бог?!

— Я не могу слышать, когда богохульствуют! — воскликнула уже у ворот миссионерша.— Хотя сейчас все люди забыли бога. Я ухожу! Но вам это особенно надо помнить. Когда человек болеет, да еще так тяжело, как вы, он должен чаще смотреть на небо и думать о том, что дни его в руках всевышнего...

— Хорошо, хорошо,— сказала Айлен,— смотрите лучше за своим здоровьем, мое вас не касается...

Черная женщина своим приходом истощила нервные силы Айлен. Ее бросало в жар и в холод. Начались боли, тягостные вестники непонятной болезни, о которой никто не знает, кроме доктора Клифорда. Было в этом неясном поединке с болью что-то угнетающее, пригибающее ее к земле. Где она могла получить эту болезнь? Может быть,

в тот год, когда ливнями были разрушены древние плотины на севере и вода прорвалась, погибли деревни, скот, люди, образовались болота среди лесов, и там среди испарений, по колено в красной грязи она спасала детей и женщин и помогала устраиваться беженцам. Мириады москитов летали там, болото отравляло людей гнилостными испарениями. Много больных прошло через ее руки при эвакуации бедняков из разоренных деревень.

Она лежала в тягостном изнеможении, и, когда находил покой обморока, начинались бреды, которые мелькали, как перепутанные кадры непонятных фильмов. А когда она открывала глаза, дом становился призрачным.

То ей казалось, что все живы — и Генри Броуден, и ее брат, и Эмрис,— сидят за одним столом, и она разливает им чай, а они собираются в новую далекую экспедицию, то все это проваливалось в бездну, и сплошной грохот разноцветного базара обрушивал на нее прибой голосов, криков, воя. На стенах мелькали красные пятна, как от бетеля, который плюют во все стороны. Горы ананасов разлетались брызгами. Какие-то медные блюдца танцевали, стоя на ребре. Весь Петтах, этот квартал торговли и нищеты, выворачивал перед ней свои внутренности. Кокосовые орехи стукались о прилавки, где были разложены шелковые и сатиновые ткани, которые водопадами всевозможных красок падали на разноцветные фрукты и зонтики. А кругом кишели люди — мужчины и женщины в одеяниях такого странного цвета и покроя, что все это казалось маскарадом, праздником Перахеры, с разряженными слонами и танцорами.

Потом вырастали подстриженные аллеи, и с детства знакомые улицы большого Лондона, и Темза с набережными, и силуэт адмирала Нельсона, и барашки, которые в честь королевы Виктории пасутся в Южном Кенсингтоне,— и все это на фоне золотых, черных, синих облаков. Голос матери, и густой смех доктора Генри Броудена, и тихий голос доктора Клифорда, говорящего почти на ухо: «Будем пока знать об этом мы двое. Но вы сильная женщина. Не показывайте только никому вида». И тут она увидела черного буйвола, стоящего по плечи в зеленом пруду. Он поедал розовые лотосы, и, когда он съел последний, набежала новая толпа видений. Картины жизни, с которой надо проститься. Но почему? Но как? «По-хорошему»,— сказал голос из мрака.

Она приподнялась на постели. Слуга, наклонив голову, сказал:

— К вам пришли, мэмсаб!

Это не видение. Это голос живого человека. Она посмотрела на часы. Какой длинный день! Да, это пришел сам Маналагара. Она сказала:

— Проведи его в столовую. Я сейчас выйду. Приготовь чай и соки.

Сама она ничего не хочет, не может есть. Она только выпила чашку бульона и съела немного мяса.

Да! Она пригласила на этот час Маналагару. И он пришел. Опять кричат эти вороны. Это тоже походит на бред.

Неужели они никогда не остановятся? Будут кричать непрерывно — день за днем! С ума можно сойти!

В столовой сидел Маналагара. Это лучший друг дома, может быть лучший человек острова. Его знают далеко за пределами Цейлона. Можно подумать, послушав рассказы о нем и не видя его, что это великан, что он могуч, как Рама, и что сильнее его нет никого среди всех носящих оранжевые тоги. На самом деле это человек среднего роста в одежде буддийского монаха. У него бритая голова, широкие, улыбающиеся добродушно губы, легко обозначенные скулы, на лице спокойствие человека, знающего истинную цену всему.

Он бережно положил коричневый портфель на стул. Движения его неторопливы. Он носит большие круглые очки в простой оправе. За очками такие глаза, что, поздоровавшись с ним, оправившись от сонного бреда, Айлен сказала ему так естественно, как говорят человеку, которому открыто сердце:

— Знаете, какие у вас глаза? Вы смотрите так, как будто хотите сказать какую-то правду, которую сказать еще не пришел час, но вы ее скажете. Да?

Лицо его как будто слеплено из красноватой земли этого острова. Он улыбается такой светлой улыбкой!

— Может быть! Возможно!

— Вы счастливый человек: вы верите! — сказала Айлен.

Глаза его заискрились.

— Я раздумываю, я рассуждаю... Есть вечные истины, и есть вечный их искатель — человек, которому дано пройти по пути истины всего несколько шагов, иногда в темноте...

— А я,— сказала она, запнувшись,— я не верю ни в какое высшее божество, ни в какую силу свыше...

Маналагара давно привык к ее иногда вызывающему на спор тону, но он обладал даром доброй беседы. Он только спросил:

— Вы искали, но как вы искали и что вы нашли?

Она тяжело вздохнула. Нет, болей не было. Она могла говорить не корчась и не притворяясь здоровой. Она сейчас здорова.

— Что моя жизнь? — сказала она.— Что я искала? Когда я была девушкой, в Англии, я жила просто, весело, беспечно, не думала ни о каких народах и странах. Я не знала ничего об обществе, в котором жила. Не имела понятия об ответственности. Ничего я не знала. Я жила на простой, понятной земле. Как это было хорошо! Почему я не осталась в Англии навсегда! У меня была бы другая жизнь, другие впечатления, другие воспоминания. Но что об этом? Я встретила Генри, отчаянного, смелого, стремящегося. Я пошла за ним. Я покинула Лондон, я первые полгода провела беззаботно и вдруг сразу поняла, что у меня нет ничего за душой, что я ничего не достигла, что я бесполезный для общества человек, что я не могу помогать мужу, потому что ничего не знаю о странах, куда мы приехали с мужем жить и работать.

Я стояла как перед каменной стеной, с которой на меня смотрели не то демоны, не то боги, не то маски непонятных мне существ. И пошел этот Восток годами вбирать меня в свою странную, нелепую, удивительную жизнь. Я увидела насилие, неравенство, ужас бессилия, безвыходность жизни, такую нищету, такое народное бедствие, что невольно стала спрашивать, что за мир вокруг меня. Почему все нищие и голодные?

Это был необъяснимо жестокий мир, и, если бы Генри не объяснил мне многого, я сошла бы с ума. Но с годами я стала понимать, что случилось здесь с людьми, со странами, со временем и со мной.

Когда я читала историю покорения европейцами этих стран, мне казалось, что мы только и занимались грабежами и убийствами. Вот говорят, что мы убили всех ткачей Бенгалии и на их костях достигли процветания нашей промышленности. А как мы усмиряли народные восстания, как мы задерживали культурное развитие порабощенных народов, как мы заставляли миллионы людей умирать с голоду!

Я потеряла мужа, сына, брата в этих странах. Я думала, что это — просто возмездие мне, но тут же впадала в горькое раздумье: возмездие мне — за что? Муж спасал простых людей от страшных болезней; мой сын, юный, сильный, не испытавший радостей жизни, защищал Индию от японских самураев, завоевателей, несших новое иго, может быть тяжелей английского; брат мой, полный лучших надежд, как-то хотел помочь туземцам и был осмеян. Кому нужно благоустраивать жизнь каких-то дикарей Саравака? Его загнали в безвыходность, в отчаяние, в смерть! Мне объясняли умные люди, называвшие себя патриотами, что все это нужно для величия Англии, для истории человечества. Я заблудилась в этом мире и начинаю верить, что история — самая жестокая богиня, поглащающая бесконечное количество жертв и всегда алчущая их, всегда требующая угнетения и насилия, и все это бесконечно. Что вы скажете мне, дорогой друг Маналагара?

Он сидел не шевелясь, углубившись в себя. Можно было подумать, что все, что здесь говорилось, не доходит до его слуха, до его понимания. Но после минуты молчания он заговорил, лицо его точно осветилось изнутри, глаза расширились, губы уже не улыбались.

— Я уроженец этого острова, и я священник-буддист, который был свидетелем многих печальных событий в жизни Цейлона. Я учился в молодости в Индии. И там я понял, что надо свергать иго англичан. Сначала мне показалось, что политика непротивления, ненасилия — это правильный путь. Но скоро я убедился, что она требует все равно жертв и не дает ничего народу. Я перешел к тем, кто занимался террором, кто нападал открыто и убивал представителей власти, где только удавалось. Я лично не убивал, но сочувствовал этим людям, с оружием идущим на врага. Но это тоже не привело к победе. Меня сажали в тюрьму и в Индии и на Цейлоне.

Я за многие годы научился отличать настоящих борцов от простых говорунов, видел бесстрашие и честность коммунистов, видел людей многих партий, но мое сердце стало понимать, что только когда весь народ поднимается, как волна, он сметает угнетателей. Так и случилось.

Мы получили политическую самостоятельность, но сейчас этого мало. Империалистический мир стоит против мира миролюбивых народов и думает, как бы вернуть потерянное. Этот мир создал атомную опасность. Он стал угрожать жизни всех народов на земле.

Те иностранцы, которые потеряли власть над бывшими колониями и желают возврата времен насилия, они не должны вернуться в наши страны. Хорошие люди есть у всех народов. Ваш муж был таким. Он шел всегда помогать больным и беднякам. Он согласился сразу ехать со мной и другими на остров Рождества, когда там вставали смертельные столбы атомных взрывов, ехать, чтобы воспрепятствовать новым ядерным испытаниям.

И мы благодарны всем, кто бескорыстно помогает жить освободившимся народам, помогает найти сокровища, скрытые в сердцах людей и в недрах их земли. Мне жалко злых, потому что их злоба породит их гибель...

— Но бывают в жизни такие положения, когда трудно делать добро,— сказала, сжав руки, Айлен.

— Какие?

— Если человек, к примеру, заболел в чужой, тропической стране неизлечимой болезнью, смертельной, его болезнь неизвестна и, может быть, представляет опасность для окружающих. Как должен такой человек вести себя?!

— И у медицины нет средств спасти его?

— Допустим, нет...

— Он должен вести себя так же, как вел до болезни. Он не должен подчиняться ей, не должен ожесточаться, меняться к худшему. Он должен оставаться самим собой до конца. И приносить людям добро до конца!

— Преодолев боль силой воли?

— Боль можно всегда преодолеть, если подчинишь ее себе всем напряжением своего существа...

— Скажите мне: правда ли, что мой муж доктор Генри Броуден, когда решил отправиться с вами на остров Рождества, он знал, что это почти наверняка может кончиться смертью?

— Да, знал!

— Как и вы?

— Как и я! Мы оба знали, и наши друзья, что были с нами, шли на это, чтобы люди узнали о нашей смерти ради своего же будущего. Мы своей гибелью предупреждали о том, что надо остановить преступную руку, готовую задушить человечество.

— Тогда скажите мне, что такое смерть?

Ни одна жилка не шевельнулась на сосредоточенном лице Маналагары.

— Я лучше скажу вам, сестра, что такое жизнь, потому что смерть — только переход из одной формы жизни в

другую, скрытую за темным занавесом. А жизнь, как говорит моя вера,— это непрерывный поток последовательных состояний, связанный законом причинности. Это — одно мгновение вечности. Посмотрите на мою оранжевую одежду, ту, что на мне. Она сделана, скроена, выкрашена и сшита в один день. Хлопок собрали рано утром, и в тот же день до заката солнца была соткана материя и стала одеждой. Так есть утро, день и есть вечер жизни, а ночь — это уже новый хлопок, новая одежда, новый момент, то, что называется вами душой, а на самом деле непрерывный поток сознания переходит из одного тела в другое. Вы живете иллюзией о существовании постоянной души, и это является причиной вашей привязанности к миру страданий.

Поэтому вы и не в силах побороть страдание и освободиться от него. Любите не страдание — любите жизнь, неиссякаемую, торжествующую, необозримую.

Вы прожили счастливо свои годы, потому что все ваше существо дышало и дышит добротой. Вы прошли все круги положенного: вы были юной, были девушкой, были женой, матерью, в вечер жизни вы окружены друзьями и любовью добрых людей.

Один мой ученый и мудрый друг, его труды известны во всем мире, однажды сказал так: «Смысл жизни не в том, чтобы усложнять ее, а в том, чтобы уметь быть счастливым и делать других счастливыми. Для этого не нужно ни телевидения, ни радио, ни многих других достижений цивилизации. Не они дают счастье. Радость дают самые простые вещи. И нужно уметь находить время, чтобы спокойно сесть и размышлять».

Сегодня у нас у всех одна задача — спасти человечество от гибели. В мире сейчас слишком много ненависти. В мире душно от ненависти. Она все растет, и к ней прямо призывают. Человечеству нелегко нести свою жизненную ношу. Только общими усилиями можно облегчить ее. Соединим же их! — Он замолчал.

— Вы замечательный человек, дорогой друг Маналагара, мне с вами так хорошо, что я могла бы, не считая часов, слушать вас. Теперь я лучше понимаю многие вещи. В награду за вашу доброту я хочу сделать вам подарок... Я подарю вам весь этот дом, со всем имуществом...

Маналагара встал и слегка склонил голову.

— Благодарю вас, сестра, но я, как монах, не должен иметь никакого имущества.

— Я знаю, что вы не можете принять сами этот подарок. Я решила, когда я переменю, как вы говорите, место обитания души, отдать этот дом сиротам, которых вы отберете. Я оставлю деньги, чтобы этот приют был школой, где бы их учили ремеслам. А чтобы все было по закону, этим в свое время займется один достойный человек, которому можно верить. Вы его знаете, это доктор Клифорд.

— Вы хотите сделать доброе дело, но я думаю, что вы слишком рано говорите о нем. Вы здоровы и полны жизни.

— О да, я всегда здорова и всегда жизнерадостна, как говорят мои друзья. Но бывает в жизни всякое, а я одинока, как моя магнолия...

Потом они стояли на террасе. Вороний крик, не такой уже горластый, но все же шумный и тоскливый, висел в воздухе.

— Вы всё знаете,— сказала Айлен.— Что такое происходит здесь с утра? — И она рассказала о вороньих прилетах, которые длятся весь день...

Они прошли на конец террасы. Ворона все так же лежала посреди дворика, как она лежала и рано утром. Но птиц вокруг стало заметно меньше. Одни, видно прилетевшие позже всех, стояли полукругом около лежавшей или прохаживались перед ней. Вороны, сидевшие на ветвях, перекликались с теми, что сидели поодаль, на стенке маленького пустого водоема и под стеной сарайчика.

Маналагара не выражал никакого удивления. Он спокойно смотрел на них, потом сказал:

— Вы знаете, что у животных нет рабства, как у людей. Им неизвестен колониализм. Они не воюют из-за наживы. Я видел, как слоны хоронят своих мертвецов. Это — поучительное зрелище. Оставьте их! Мы никогда не вмешиваемся в их жизнь. Эта ворона, вероятно, была хорошей птицей, иначе к ней не прилетали бы со всех сторон ее сородичи и друзья, со всего города, как вы говорите, чтобы отдать ей последнюю почесть. Она выбрала ваш дом. Это добрый знак — высокого доверия. Мы любим животных и птиц и бережем их. Европейцам всегда было всё всё равно. Они походя истребляют все живое. Хотя не всё и не все. Доктор Генри, ваш муж, был добрым и смелым. Он спас много жизней, и он не смотрел, желтые они или черные, христиане или буддисты.

Некоторые вороны посмотрели в его сторону, точно поняли, что речь идет о них.

Маналагара издали благословил их, как благословлял деревья в своем монастыре и людей, работающих в поле.

— Животные,— продолжал он,— не знают человеческой развращенности и жажды убийства ради убийства, из ненависти и жадности. Они питаются только тем, что нужно их организму, не истребляя из любопытства или из кровожадности, и никогда не убивают, чтобы любоваться мучением своей жертвы. Они прекрасно знают, какие листья, цветы, плоды, травы им полезны, какие нет, они знают, чем лечиться от ран, от болезней, от старости. Они знают, как найти целебные источники. А главное, они не угрожают миру и будущему человечества. Оставьте их в покое!

И он еще раз сказал им какие-то уже непонятные, на священном языке пали, слова, которые прозвучали как прощальное приветствие. После этого он попрощался с хозяйкой и пошел своим неторопливым шагом, и его оранжевая тога, открывая голое, блестящее правое плечо, светилась живым огнем. Было совсем не смешно, что этот похожий на древнего отшельника человек нес в правой руке большой коричневый портфель.

После легкого, быстрого, светлого ливня как раз к пятичасовому чаю приехал Дональд Геймс. Всякий раз, как он приезжал в Коломбо из своей высокогорной Нувара Элии, он обязательно навещал дом Броуденов. Первое знакомство произошло очень давно, и с этого первого знакомства Айлен почувствовала, что Дональд Геймс следит за каждым ее движением, смотрит на нее какими-то удивленными глазами, хочет привлечь к себе ее внимание.

Одним словом, с течением времени ей стало ясно, что для старого холостяка, каким был Дональд Геймс, она представляет предмет некоего неясного обожания. Но, несмотря на всю внешнюю сторону такого положения, когда Дональд ничем, никогда не нарушил семейного порядка дома Броуденов, всегда подчеркивал свое уважение к доктору Броудену и свое преклонение перед Айлен Броуден, он не снискал их любви и особой дружеской симпатии, которая могла бы родиться за долгие годы знакомства. Это имело свое объяснение. В доме Броуденов любили людей большого, самозабвенного труда, а такие баловни природы, как Дональд Геймс, здесь не пользовались уважением, и к ним относились довольно иронически.

Он был далеко уже не молод, но у него был свежий вид человека, проводящего много времени на воздухе в хорошем климате и не обремененного никакими мучительными заботами. Чайные плантации, которые достались ему в наследство от дяди, управлялись специалистом, взявшим на себя всю ответственность. Когда-то Дональд Геймс учился всяким наукам и в Англии и даже немного времени в Соединенных Штатах, но по приезде в дом дяди на Цейлон, поддавшись чарам восхитительной природы Нувара Элии, чей прохладный климат так непохож на знойный ад Коломбо, он зажил, как он говорил, сытой провинциальной жизнью, ленивой и медлительной, и единственное, что соединяло его с цивилизованным миром,— это то, что он рассеянно следил за разными философскими европейскими и американскими журналами и фантазировал немало в этом направлении.

Он терпеть не мог никаких разговоров о революциях, переворотах, народных движениях. Его пугала самая мысль, что ему придется обратиться в бегство от восставшего народа, расстаться с таким привычным образом жизни, очутиться как в лодке посреди бушующего океана.

Дональд Геймс был распространенный тип маленького колонизатора, спрятавшегося за спины тех властных и шумных деспотов, которые расправлялись с народом кнутом и пулей. Мало кто знал, что тихий философ — большой любитель выпить.

В европейских кругах Коломбо к нему относились равнодушно. С особым чувством приходил он в дом доктора Броудена. Туда его влекло удивительное, непонятное ему явление, которое звалось Айлен Броуден. Ему трудно было бы объяснить самому себе, что́ в ней ему нравилось. Когда-то она казалась ему женщиной, вышедшей из картины и опять уходившей в картину. То он воображал ее героиней какого-то виденного фильма, то она становилась видением его любовных фантазий, особенно после хорошей выпивки с чайными феодалами Нувара Элии. Бывая в Коломбо, он привык вести с ней бесконечные беседы, рассказывал ей свои философские сны, любил, когда она смеялась, слушая его, и глаза у нее становились веселыми.

После смерти доктора Генри он приезжал утешать ее, но слова утешения были какие-то бесцветные, и он прекратил это бессмысленное занятие. Сегодня он приехал очень надменный, подчеркнуто строго одетый, с видом человека, решившего сделать большой шаг в своей жизни.

Айлен поила его чаем, но неожиданно для него принесла виски и сказала:

— Это шотландское «Кинг Джордж Четвертый». Очень хорошее, попробуйте...

И даже налила рюмку себе. Они выпили, и все стало как-то проще. Айлен сидела против него, возбужденная, порозовевшая от виски, в новом белом костюме с короткими рукавами.

— Вы сегодня чем-то взволнованы, и вам это идет,— сказал он и попросил разрешения курить.— Я давно заметил, что когда вы взволнованы, вы становитесь еще красивее...

— Я слышу это уже не первый раз,— сказала она с некоторым лукавством.

— Да, мы с вами знакомы целую бесконечность. И за это время не было для меня большей радости, чем видеть вас и говорить с вами...

— Милый Дональд, это тоже я уже слышала. Последний раз в прошлом году на дне моего рождения...

— Ничего не поделаешь, Айлен. Вы сегодня в хорошем настроении. Я вас давно не видел такой. Вы меня радуете...

— Ах, я всегда, как вы знаете, стараюсь не докучать людям скукой. Все так заняты, так загружены работой, такими большими заботами, у всех жены, дети, дела. Надо их понимать и бодрить их. А потом, надо самой быть доброй и внимательной. Это всегда было моим правилом в жизни, и вам, по-моему, мое поведение нравилось. Не правда ли?

Дональд Геймс в душе побаивался Айлен. Кто знает, что там у нее, на самом дне ее сказочного колодца? Она может сделать такое, что вся ее доброта исчезнет в один миг и неизвестно какой дракон бросится на Дональда в самый неожиданный момент.

— Вас иногда называют в обществе,— сказал он,— «эта смешная миссис Броуден» или «эта странная миссис Броуден». А иные — «эта фантастическая миссис Броуден. Она не устает нас удивлять». А я бы сказал: «эта прелестная миссис Броуден». Но почему вы вдруг стали серьезной, очень серьезной?

— Но и вы сегодня очень чем-то озабочены. Что-нибудь случилось? Как ваша жизнь отшельника? Вы что-то давно не были в Коломбо?

— Последнее время приходится возиться с чайными плантациями, самому заниматься этим. Там не все благо-

получно. Есть участки, зараженные какими-то паразитами, борьба с которыми трудна. Помните, как было с кофе...

— Я не помню, как было с кофе.— Она покачала головой, и ее пышные каштановые волосы засверкали в солнечных лучах.

— В один ужасный для всех хозяйств острова день выяснилось, что все кофейные плантации захвачены ржавчинным грибком и безвозвратно погибли. С тех пор кофе исчез из экономики Цейлона и заменился чаем. Но на чай, по крайней мере на мой чай, напали враги. Я уже связался со специалистами, и они обещали помочь в беде, изжить паразитов. Эти враждебные личинки все-таки влияют на мое настроение, потому что мои чайные плантации — мой капитал, добытый большим трудом моей семьи. Но это скучная история. У меня есть кое-что повеселее...

День приближался к концу. Айлен боялась одного. Если боли появятся сейчас, она встанет, и уйдет, и бросит этого уже хмельного гостя на произвол судьбы. Но от виски, кажется, становится легче. Она пила его маленькими глотками и чувствовала, что от выпитого как-то светлеет голова, становится легче дышать, приходит легкость речи и можно даже смеяться. Но, взглянув на Дональда, она заметила, что Дональд пьет виски, почти не разбавляя содовой. Его загорелое лицо стало кирпичным, и он удивительно напоминал чем-то портрет португальского диктатора Салазара, когда тот был помоложе. Этот портрет она видела в старом иллюстрированном журнале. Этому сходству можно было посмеяться, но смеяться было нельзя.

— У вас есть кое-что повеселее... Я буду рада услышать что-нибудь радостное, что касается вас...

Дональд поднял руку, как дирижер, призывающий оркестр к вниманию.

— Не только меня! Как вы себя чувствуете?

Она засмеялась: ну конечно, он похож на Салазара средних лет, но она этого не сказала. Она сказала:

— К счастью, у меня нет таких личинок, которые портят жизнь...

И вдруг он спросил нахмурившись:

— Вы были у Клифорда?

Айлен ни на мгновение не задержала ответ.

— Я пойду к нему завтра,— сказала почти небрежно, точно речь шла о прогулке в магазин на Прайнс-стрит.

Дональд как-то странно заерзал на стуле.

— Дорогая, зачем вы меня обманываете? Вы были у него вчера.

— Вы так следите за мной? Ну, хорошо, я была у него вчера. Он пригласил меня на чай.

— И что он сказал вам?

Смотрите, какой любопытный этот Салазар средних лет.

— Видите, Дональд, я могла бы не отвечать на этот вопрос, но вам по старой дружбе отвечу. Пусть это будет между нами. Клифорд сказал, что я просто мнительна и волнуюсь по пустякам. Это — возрастное. И волноваться не следует. Нервы должны быть спокойными у человека моих лет. Вот видите, и в наказание за любопытство я вам налью еще «Кинга Джорджа Четвертого»...

Они выпили дружно, как молодые студенты.

— Ничего со мной не происходит. Происходит со всем миром, ну, и с каждым, кто в этом мире живет. Я все поняла: мы не принадлежим себе. Вы любите философию и дайте мне немного пофилософствовать... Мы не принадлежим себе. Мы принадлежим истории, государству, и оно с нами делает что хочет, то, что ему нужно и полезно. Это называется, Дональд, прогрессом; правда, кого только я ни спрашивала, никто не мог мне объяснить, что такое прогресс и почему от него одним хорошо, а другим худо...

Дональд широко развел руками.

— То, что вы сказали о Клифорде, меня устраивает. То, что вы сказали о прогрессе,— это верно и неверно. По Флюллингу, близится век космополитизма, и все достижения, все открытия будут наднациональны. И человек не будет принадлежать какому-то одному государству. Он будет гражданином мира. Но по Расселу, личность, созданная общественными условиями, сама изменяет эти условия. Для Англии это будет сделано только англичанами, а не какими-то там пришельцами-иностранцами. Ясно одно, что мы с вами живем среди вихреобразных систем, теорий и событий, в жестоком мире, желающем тщетно скрыть свою жестокость, и в такие времена, как наши, никто не позаботится о нас с вами, если мы сами не позаботимся о себе...

— А это возможно? — спросила Айлен, прислушиваясь к затихающему вороньему карканью. Оно становилось все тише, как будто птицы устали кричать.

— Возможно! И я хочу вам сказать, что пришла пора, когда вы должны выслушать меня самым серьезным

образом! Это смелый, я бы сказал, дерзкий шаг с моей стороны, может быть, и я для храбрости налью себе еще этого доброго напитка. А вы?

— Я с удовольствием сегодня пью с вами. Такой тихий, спокойный, дружеский вечер. Такой добрый «Кинг Джордж Четвертый»! Так все ясно...

Дональд выпил свое виски и посмотрел на нее, чуть сбитый с толку.

— Ясно! Что ясно? Вам все ясно?

— Конечно, а вам нет?

— Что же вам ясно?

— Но я всегда чуть опережаю вас, Дональд. Ясно, что вы сейчас скажете, что вы давно до бесчувствия в меня влюблены и что теперь самое время нам быть вместе... Правда, вы это скажете? Ну скажите, я жду!

— Да, это так.— Он отер пот с лица и поправил галстук.— Как хорошо, что вы почувствовали это так же, как я. Значит, нам не надо даже погружаться в воспоминания...

— Не надо, это лишнее,— сказала Айлен,— тем более что они не такие, какие могли бы нам пригодиться сейчас!

В его голосе послышалось подобие волнения:

— Вы помните, как после смерти доктора Генри Броудена я просил вас не чувствовать себя одинокой. И помнить, что около вас друг, друг, который всегда будет рядом. Я знаю, что такое одиночество. Оно терзает меня уже много лет. И теперь оно терзает вас. Согласитесь! Что сказал доктор Клифорд: это — возрастное, и волноваться не следует! Согласитесь, что это так!

— Соглашаюсь,— бодро сказала она,— соглашаюсь: я одинока, но рядом старый, верный друг...

— Конечно, Айлен! Я сейчас открою вам свои планы. Они будут нашими планами. У меня есть брат, он моложе меня, но он большой бизнесмен. Мы с ним очень дружны. У него в Бугенвиле на Соломоновых островах хорошее современное хозяйство. Там прелестно. Я приведу в порядок при помощи специалистов свои чайные плантации, продам их, продам старый дом, и мы уедем в совершенно другую страну. Там вечерами — сказка! Я там был несколько раз. Над нами будут колонны старых, огромных кокосовых пальм. Солнце зажжет океан. И мы, как первые люди, в тени кокосовых пальм будем лежать на песке, купаться в воде, где нет ни акул, ни морских ежей... Вы улыбаетесь?

— Я улыбаюсь потому, что я поеду от одних кокосовых пальм к другим кокосовым пальмам. Я шучу! Я понимаю: те пальмы — другие. Нам будет, конечно, хорошо. Только вот как с первыми людьми на песке? Из нас не очень-то выйдут Адам и Ева. Вы забыли свои и мои годы!

— Айлен, при чем тут годы? Вы не должны оставаться одной. Мы продадим и ваш дом...

— Мой дом? Кому? Найдется на него покупатель?

— Я уже нашел. Миссионеры готовы купить его в первую очередь. Миссис Моррис. Я ее встретил вчера, и она сказала, что будет говорить с вами...

— Она была у меня сегодня!

— По этому вопросу?

— Да!

— И что же вы ей ответили?

— Я сказала, что подумаю...

— О Айлен, милая, вы опережали всегда мои мысли. Нам так будет хорошо на райском острове Бугенвиле.

— Наш остров здесь тоже зовут райским, и у него огромные кокосовые пальмы, и тоже есть места, где можно купаться, не опасаясь акул и морских ежей, и есть плантации — мы с вами знаем его достаточно.

Дональд замахал руками, как на футбольном матче, когда мяч у ворот и болельщики готовы на все.

— Нет-нет, там совсем другое. О, как хорошо, что вы согласны ехать со мной туда, где нас не знает никто и никакое прошлое не будет нам препятствием. Я чувствую, что я начинаю новую жизнь, вернее, без вас у меня не было бы жизни. Теперь дайте я выпью еще стаканчик за нашу жизнь в Бугенвиле. Как приятно пить с вами! Мы кутим у себя в Нувара Элии, иногда я целую ночь пью один и философствую. Но пить одному мрачно, скучно. Я все сделаю, чтобы поскорее приступить к ликвидации плантаций и наших домов... Айлен, неужели я слышу это своими ушами, что вы согласны?..

— Вы, кажется, сказали, Дональд, что вы поедете сначала к брату в Бугенвиль?

Он пошатнулся, и вдруг она увидела, что он пьян, сильно пьян. Его щеки стали малиновыми. Его глаза потускнели. Он твердил одни и те же слова, растягивая их, не договаривая. Иногда к нему возвращалась четкость речи, и он чувствовал себя оратором перед массовой аудиторией.

— Конечно, я поеду, да, я поеду сначала один, я должен присмотреть вкусный участок с домом, все приготовить

для переезда. Чтобы и плантация была в порядке и чтобы подыскали хорошего покупателя...

— А сколько же это все займет времени?

— Я думаю, что для этого хватит, да, хватит, и в Бугенвиле и в Нувара Элии, три месяца, да, не больше трех...

— Три месяца, хорошо! А скажите, только честно, Дональд, вы, если бы не было на свете меня, все равно перебрались бы в Бугенвиль или нет?

Дональд погрозил пальцем, нахмурился, потом, к удивлению Айлен, подмигнул ей, прежде чем заговорить.

— Я скажу честно! К счастью, это совпало. Прежде чем заговорить, я открою одну тайну — между нами. Один верный человек сказал мне, чтобы я быстрей ликвидировал свои чайные плантации, потому что там такая эрозия, вы знаете, что значит такая эрозия почвы, что ее никак не поправишь, кусты постарели, выродились, никуда не годятся. Этот проклятый управляющий, я его выгоню, отхлещу стеком, он работал, как хищник, он обескровил все плантации, а там еще болезнь, которую можно задержать только на время, и надо продавать, пока все не погибло. И надо бежать, бежать подальше. Когда откроется, что я продал плантации не в том виде, лучше быть в другой чудесной стране. Это замечательно, что вы согласились. Это — совпадение жребиев судьбы. Что нам до жестокого мира? Там, в Бугенвиле, мы будем далеки от всех треволнений и угроз. Я все сказал честно...

Айлен поднялась со стула и стояла, испытующе смотря на потевшего от возбуждения, тяжелоплечего, большого, пьяного мужчину, который раскрывал перед ней райские картины будущего. Веселым голосом она провозгласила:

— Старый, честный Дональд, благодарю вас от всего сердца за вашу откровенность. Теперь я вижу, какой вы верный друг и предусмотрительный человек. Я, кажется, пьяна, простите меня. Я никогда не пила столько, тем более «Кинга Джорджа Четвертого». Я пьяна и от шотландского виски и от неожиданности, которую вы принесли...

Он тоже вскочил, вытирая лицо салфеткой.

— Мы едем, Айлен!

— Мы едем, Дональд, через три месяца мы едем!

— Да,— сказал он, дрожащими руками доставая сигарету и раскуривая,— да, к сожалению, дорогая, раньше это не удастся, но мы ждали годы. Я годами, скажу теперь не таясь, завидовал, честно скажу, счастью Генри, я искренне удручен его смертью. Сколько в этих краях еще

опасностей для жизни белого человека! Я сам чуть не заразился какой-то лихорадкой, но меня вовремя вылечили. А теперь пусть завидуют мне. Какое счастье, Айлен!..

— Когда вы уезжаете в Бугенвиль?

— Я кончу за этот месяц все расчеты с Нувара Элией и через месяц выезжаю в Бугенвиль, а оттуда я явлюсь к вам и никто не будет знать об этом, никто. Это будет сюрприз для наших друзей и для нас самих...

— Прекрасно! Через три месяца мы отправляемся в страну неведомого!

— Да, мы уедем в такие места! Здесь больше жить нельзя. Тут меняется все: условия жизни, люди, наступает хаос, как во всех этих сбросивших, как они говорят, иго колонизаторов государствах, где нас еще вспомнят и позовут на помощь, но будет уже поздно...

Он говорил неожиданно трезвым голосом:

— Нас, белых, осталось тут несколько тысяч — пустяки. Правда, они делают большие дела. Мне, знаете, тоже предложили включиться в графитную спекуляцию. Графит сейчас очень нужен. Он требуется в атомной промышленности, он нужен для хранения атомных и водородных бомб. А здесь, на Цейлоне, его добывают до десяти тысяч тонн. Но мне осточертели эти дикари, и даже большими деньгами меня не соблазнишь. Я твердо решил расстаться с Цейлоном. Тут нельзя ждать ничего хорошего для делового белого человека...

— Видно, для такого философа, как вы, выхода нет,— сказала Айлен, иронически улыбнувшись.— Я вижу, что вам действительно надо оставить этот остров. Он вас раздражает и таит многие угрозы. Не будем говорить об этом. Вы совсем становитесь другим, когда говорите о Цейлоне.

Дональд Геймс сделал несколько шагов к выходу. Он чувствовал, что он сильно пьян, но что-то очень важное совершилось сегодня в этой комнате в этот вечер. Какой-то туман мешал ему до конца понимать происходившее. А может, эта женщина все-таки выпустила своего дракона со дна колодца, и все еще неизвестно.

Прилив смешанных чувств качал его, и он, уже выходя на террасу, остановился и сказал от всей, как ему казалось, глубины сердца:

— Простите, Айлен, старый друг, дорогая, но эти голые туземцы — неблагодарные скоты и невежественные дикари, грязные и больные. Их напрасно лечил Генри. Их

не вылечишь. Посмотрим, как они обойдутся без нас. Посмотрим! В Бугенвиле,— он помахал шляпой в воздухе, точно уже подплывал к Бугенвилю и приветствовал своего брата,— в Бугенвиле еще крепкие порядки, и там можно жить. Мой брат — сильный человек. И я — сильный человек,— добавил он и вдруг, изменив тон, сказал, наклоняясь к Айлен: — Я исчезаю! Я исчезаю на три месяца. А через три месяца — в Бугенвиле!

— Конечно,— сказала усталая Айлен,— в саду райского острова, под огромными кокосовыми пальмами!

Он сделал слабую попытку обнять ее, но это ему не удалось. Он ушел в золотистую туманность вечера, шатаясь, разговаривая сам с собой и обмахивась большой серой шляпой.

Айлен стояла одна, прислушиваясь к тишине вечера. Она стояла и смотрела на золотистый занавес неба, сотканный из неисчислимых светящихся нитей, струившихся на землю. Черные вырезные ветви пальм, как черные птицы с узкими крыльями, засыпающие после долгого дня, сливались с чернотой листвы. Где-то в море уходил гигантский раскаленный шар, и, по мере того как он опускался в волны, красно-золотистый занавес темнел и становился сиреневым, и по небу, как фламинго, проходили высокие розовые облака, а потом хлынула легкая синяя мгла, и на ней как будто начали, зазвенев, тихо двигаться звезды, и одна из них напоминала тот сияющий темно-синий сапфир, который она подарила сегодня доктору Райту.

В густой синеве вверху и внизу замелькали несчетные искры сверкающих светляков. Теперь ее окружала тихая ночь. Она задержалась на террасе, медленно прошла до того угла, с какого виден был дворик. Ей захотелось засмеяться, но на глазах выступили слезы.

— Счастливая, всегда веселая Айлен. Ты действительно уедешь в райские края раньше, чем через три месяца. Это правда! Доктор Клифорд сказал мне под страшной тайной. Он сказал: «Вам осталось жить не больше двух месяцев. У вас неизлечимая болезнь. В последний месяц она валит человека с ног. И больше не отпускает. Вас ничто не может спасти. Вы можете быть в последний период опасны для окружающих. Никто не должен знать об этом, потому что иначе я вас должен изолировать. Оставайтесь на свободе. Я прослежу, чтобы вас не беспокоили. Простите меня, я сделал все, что мог. Но это из тех болезней,

которые не одолел и доктор Броуден. У вас в распоряжении еще три недели... а дальше...» Вот что сказал доктор Клифорд только вчера, бедная Айлен!

Взошла луна, окруженная дымчатыми вуалями облаков в голубовато-зеленом нежном небе. Айлен стояла у края террасы. Перед ней на пустом дворике лежала мертвая ворона. При свете звезд и луны она была сказочно красива. Она отливала черным и серым шелком. Айлен стояла и смотрела на нее не отрываясь. Неслышно подошел ночной сторож со своей облезлой собакой. Айлен сказала ему сквозь слезы, указывая на ворону:

— Это я, старая, добрая ворона, а может, и не такая добрая!

Старик не понял ее. Он пробормотал что-то собаке и спросил, отступив на два шага:

— Можно ее убрать? Солнце село! Все птицы улетели!

Айлен вздрогнула, но сейчас же сказала:

— Конечно, но ты закопай ее под магнолией. Раз она выбрала это место, пусть там и будет!

РОЗА

В августе 1891 года небольшой отряд полковника Михаила Ефремовича Ионова, преодолев снежные выси Гиндукуша, перевал, названный впоследствии именем Ионова, выдержав тяжелый буран, прошел по неизведанным горным дебрям и, выйдя через Барогиль, спустился в долину Вахан-Дарьи.

Позади были холод, головоломные тропы, голодные дни, когда жили на одних сухарях, и неизвестно было, чем кончится эта весьма рискованная попытка отыскать путь с севера в долину Инда.

Тропа в пустынном ущелье выводила в тыл маленькой крепостицы Сархад. Полковник отдал приказ быть наготове и выслал вперед двух казаков, которые, пригнув головы к жестким гривам своих малорослых, но выносливых коней, чуть петляя, начали приближаться к укреплению.

Полковник поднял бинокль и увидел, что на дороге стоит человек, который тоже в бинокль рассматривает скачущий отряд. Ионов усмехнулся и перевел коня на рысь.

Дозорные казаки уже поравнялись со стоявшим и, придержав коней, пристально рассматривали человека в афганской одежде. Подъехал весь отряд. Ионов видел, что перед ним английский офицер, притворяющийся афганцем.

Полковник подозвал переводчика, и офицер сказал, что он комендант укрепления Сархад и, кроме него, никого в укреплении нет.

— А где же гарнизон? — спросил Ионов, играя камчой и заранее предугадывая ответ.

— Как только гарнизон узнал, что со стороны Индии двигаются русские, сейчас же разбежался. Я не могу оказать вам сопротивление. Я один!

— Ну что ж! Это хорошо! — Ионов, прищурив глаза, смотрел на незадачливого коменданта, прекрасно понимая, что англичанин во что бы то ни стало хочет, чтобы его принимали за афганца.— Это хорошо! — повторил он и громко сказал толпившимся сзади казакам: — Англичанина-то его молодцы не поддержали. Кто куда дал ходу, охоты нет за него сражаться!..

Комендант, стараясь сохранить выдержку и думая, что он обманул русских и они действительно принимают его за афганца, сказал не без достоинства:

— Когда бы со мной были мои афганские солдаты, вы бы не прошли так просто. Но эти трусливые скоты из пастухов — на что они способны?! Я прошу,— обратился комендант к полковнику,— понять мое тягостное для командира положение и не входить в мою крепость, не производить ее обмеров.

Полковник Ионов с легкой улыбкой смотрел в светлые, горевшие скрытой ненавистью глаза коменданта. Кругом открыто хохотали казаки:

— Ай да армия! Ай да вояки!

Загоревшие щеки офицера потемнели. У англичанина чуть дрожали руки.

— Такую неприступную твердыню взяли да бросили! — Урядник с показным остервенением зло сплюнул в сторону.— Вот это герои, я понимаю. Братцы, крепость-то — глиняный горшок, а он, видишь ты: не входите, не обмеряйте... Чистая фарса!..

Ионов усмехнулся в свои широкие, взлохмаченные усы, сказал коменданту:

— Не беспокойтесь. Мой отряд пройдет мимо этого укрепления, не заходя в него.

И, отвечая на приветствие коменданта, небрежно приложил руку к папахе, и весь отряд загремел по камням мимо одинокого стража пути, и скоро только столб пыли остался крутиться за поворотом ущелья, а потом и он растаял на пустынных камнях.

...Катта-Улла проснулся с тяжелой головой. Что за дикий и странный сон приснился ему! Он был еще весь во власти этого томящего сновидения. Перед ним пронеслась с яркой отчетливостью картина того далекого дня, которая

была давно погребена на самом дне памяти. И вдруг ослепительно ожила.

Катта-Улла увидел снова маленькую круглую крепостицу. Так близко от него были каменные стенки, заваленные со стороны дороги большими камнями. Он увидел бойницы, обложенные земляными серыми мешками, небольшой ров, обегавший всю постройку, освещенную скупым осенним рассветом.

Как живой стоял перед ним отец, с которым они пригнали в укрепление баранов, горцы в разноцветных одеяниях, махавшие ружьями и отчаянно спорившие. Пронесся слух, что с гор, от Барогиля, спускаются русские. И то, что они шли со стороны Индии, а не с севера, сбивало с толку, и никто не хотел оставаться в крепостице.

Паника охватила людей, и они разбежались с такой скоростью, что когда англичанин вышел из своей комнатки, никого уже в укреплении не было.

Катта-Улле было тогда четырнадцать лет, он был силен и юн. Ему захотелось увидеть русских — что это за люди. Он полз между камней, как ящерица, залег наверху небольшого выступа, распластавшись, прижавшись к камню, слившись с ним своими серыми лохмотьями. Он все увидел. Он не понимал, о чем говорил начальник русского отряда с комендантом, но он близко видел маленьких горбоносых коней и казаков в незнакомых ему теплых толстых одеждах, с косматыми папахами на головах. Один из них осматривал копыта своего коня, другой поправлял подпругу. Остальные крепко сидели в седлах. Все они были бородатые, темнолицые, широкоплечие. Так ему показалось. Было их совсем мало. Человек двадцать, не более.

Особенно запомнился начальник. У него были густые черные усы, концы которых были так расчесаны, что казались широкими кружками, как будто приклеенными к щекам. Он вертел коричневой камчой и говорил громко, уверенно. Казаки чему-то смеялись, а он только улыбался. Все они были какие-то удивительно похожие на местных жителей.

Потом они исчезли, как будто их никогда тут и не было.

Все это было так невероятно давно и вдруг вернулось ему сегодня в долгом тяжелом сне. Катта-Улла заново ощутил себя среди камней перед казаками, совсем не как тени прошли лошади и люди. После сна осталось странное чувство, точно все это произошло вчера. Он, еще не совсем

проснувшись, думал: к чему этот сон? Что он предвещает? Может быть, кроме него, нет никого в живых из участников этой встречи?

Сейчас Катта-Улла — один из самых старых людей в деревне, а тогда ему было четырнадцать лет. Последним всплеском сна пронеслось пустое, голое ущелье, вихрь пыли... Он проснулся окончательно, сел на старом тюфяке, сбросил с себя одеяло и оказался совсем в другом мире.

В старом горном доме было тихо. Он вспомнил, что жена ушла гостить в соседнюю деревню к старой своей подружке, сын — на пастбище в горах, внучка, конечно, внизу у большого тута, где вечерами собирается молодежь.

Ему захотелось пить. Он спустился по деревянной шатучей лестнице в нижнюю комнатку, где стоял кувшин с водой, пил жадно, прямо из кувшина, плеснул водой на лицо, пошел опять наверх, на террасу, где четыре столба подпирали крышу, сложенную из потемневших от времени дубовых толстых досок. В полумраке вечера он споткнулся о скамейку и, схватившись за нее, нащупал шкуру снежного леопарда, убитого им недавно. Он выследил зверя вместе с внучкой Умой. Это был убийца и вор. Он крал черношерстных коз, овец, иногда нагло, среди бела дня, нападал на людей и загрыз пастуха. Зверь мертв, и его шкура лежит в доме Катта-Уллы.

Он облокотился о доски, отделявшие балкон от обрыва. Внизу были слышны голоса. Там, на поляне, танцевали девушки. Там пели песни. Так велось изо дня в день. По горе были раскиданы деревенские дома, большей частью глинобитные или каменные. В них, как и в доме Катта-Уллы, стояли низкие деревянные кровати, на них лежали мешки с соломой или сухой травой. В углу светильник или маленькая керосиновая лампа. За перегородкой в высоких корзинах — зерно, овощи, сушеные яблоки.

Горы, как волны, поднимались вокруг. В их пересечениях, запрятавшись от остального мира в глухие щели, жили люди племени Катта-Уллы. К их селениям вели крутые, тяжелые тропы. Селения имели сады. Шелковица, тут, яблони, ореховые деревья росли около домов. По склонам изредка были разбросаны рощи гималайской сосны, росли дубы.

Тишина стояла в этом заповедном уголке заброшенной горной страны. Тишину нарушали грохоты далеких лавин на снежных громадах.

Когда сюда пришли и поселились люди, никто не знал. Был слух, темный и сказочный, что жители происходят от воинов легендарного Искандера, оставшихся навсегда в этих недоступных узких долинах. Об этом как будто говорили формы местных кувшинов, чаш, домашних светильников, узоры, сходные с древнегреческими.

Но так как суровая жизнь горцев вся была заполнена заботами о доме и пище, то некогда было им, не знавшим никакой грамоты, выяснять свое происхождение. Да никто об этом и не думал.

Где-то за горами находился другой мир, полный неведомых тревог, обольщений, угроз. Он казался отсюда далеким, как луна...

Катта-Улла был особенным в своем селении. Всю жизнь он провел с отцом в блужданиях, в трудных дорогах, в службе против пуштунов, которые боролись за свою вольность.

Он привык к этой кочевой жизни, имевшей, правда, свои прелести. Он повидал и такие города, как Пешавар и Джалалабад, и такие дебри, как ущелья момандов или скалы Вазаристана. Он выбирался счастливо из самых безвыходных положений. Не раз кривой клинок афганца был занесен над его жилистой шеей. Но вот он все-таки цел и может рассказывать о таких приключениях, что вздрогнут самые бывалые. Его земляки неграмотны, они не знают, что такое книга, что такое перо или карандаш.

Уже несколько лет, как он не был на великой дороге, ведущей из Пешавара в Кабул, не ходил по пограничным тропам, не сидел с приятелями в караван-сарае. Семьдесят лет с небольшим для горца не предел, но разбрелись, умерли или убиты былые приятели. И вот приходят старые-престарые сны, и с ними приходит тоска.

Видно, надо собираться в дорогу! Надо ехать в Пешавар, надо увидеть, что там происходит на Хайбере, как сегодня живут там люди, надо бежать от скучного сумрака горного вечера. Унылое однообразие дней надо, надо стряхнуть с плеч! В этой трущобе он начинает задыхаться! Пора! Надо порастрясти старые кости!

Как кстати они с внучкой подкараулили этого убийцу оленей и коз, презренного снежного леопарда! Его шкуру можно продать в Пешаваре за хорошие деньги. Ума — храбрая, сильная девушка. Таких много в горных селениях. Из них выходят хорошие хозяйки и жены. Она

прекрасная плясунья, а пляски любят и люди, и добрые духи, и сам покровитель очага, защищающий горцев от всяких несчастий и бед.

Придет пора, и Ума выйдет замуж, и будут пляски на ее свадьбе, родится у нее новый маленький горец — будут плясать, не жалея ног. Умрет старый Катта-Улла, его не понимают и боятся, но уважают, как много повидавшего в жизни человека, и с удовольствием молодежь спляшет на его похоронах... Таков обычай!

Надо отправляться в Пешавар! Старый конь как-нибудь дотащит через высокие хребты. Катта-Улла знает, что где-то там, за перевалом, уже ходят машины и они могут подвезти его, если он пойдет пешком, но надо показать последнюю доблесть, вспомнить давние времена, снарядиться в дорогу по всем правилам, ехать верхом, не торопясь, гордо, со шкурой снежного леопарда, закрываться старым пастушеским плащом от непогоды, заводить разговоры на пути со стариками, понимающими толк в делах, ночевать в караван-сараях, у костра, готовиться к предстоящим подвигам, последним приключениям на долгом жизненном испытании... Недаром снился вещий сон о русских, о былых годах, о далекой, как юность, крепостице Сархад.

В нем просыпается жажда приключений. Он хочет участвовать в интригах, в заговорах, в стычках, в подкупе вождей племен. Он жил в своей глуши в те годы, когда весь мир был охвачен войной и были слухи, что японцы хотят завоевать Индию. Но годы прошли. Исчезла та война, и японцы исчезли. И вот два года назад, в 1947 году, начались сражения между индийцами и пакистанцами. А что, если они продолжаются, а он сидит в своих горах? Надо ехать! К кому ехать?

Перебирая имена, он вспомнил Афзала Наир-хана. Разве не ему он спас жизнь, разве они не спали долго у костров, прикрываясь одним плащом? Надо заехать к нему. Он теперь живет в Ленди-хана, как раз по дороге в Пешавар! Поехали, старый грешник Катта-Улла!

Большая, бетонированная, гладкая, как темное стекло, магистраль ведет из Пешавара в Кабул. Она крутит между двумя голыми хребтами, иногда под нависшими, крутыми скалами, и по ней проходят автобусы, раскрашенные, как сундуки, пролетают легковые машины всех марок

мира, как заводные жуки, бегут легкие «пикапы», с тяжелым хрипом одолевают высоту грузовики, нагруженные так высоко, что люди, лежащие и сидящие на ящиках и тюках, кажутся расположившимися на движущемся холме.

Рядом, по другой дороге, параллельно автомагистрали, идут гуськом длинные ряды верблюдов — и кажется, что их больше, чем людей, спешат тонги, и сытые лошадки отстукивают свою рысь, как бы пританцовывая, а плюмажи над головой развеваются, напоминая ярмарку. Женщины с ног до головы в черном гонят черношерстных овец; идут, глубоко вздыхая, ишаки со связками хвороста.

А рядом, чуть выше, вылетает из тоннеля с оглушающим свистом поезд, мелькнув и снова исчезнув в новом черном входе в следующий тоннель.

Неожиданно, пропоров воздух ревом четырех моторов, как демон, несущийся очертя голову и презирающий все земное, проносится самолет, и долго в воздухе стоит его удаляющийся сверлящий грохот.

От Пешавара до границы нет и шестидесяти километров. За Ленди-хана, в девятистах метрах, первый афганский пост — Торхам. На запад и на восток идет твердо установленная черта — государственная граница. В совсем недавние времена тут совершались мрачные кровопролития, плелись заговоры, крались торговцы оружием, делались засады, грабили купцов и караваны, вершились удивительные по неожиданности и таинственности дела.

Катта-Улла неотчетливо представляет нынешнее положение дел. Он плохо осведомлен о том, что происходит в мире. Он видит, времена изменились. Много нового, непонятного. Но остался в силе священный закон гостеприимства.

Он сидит в доме старого друга, который моложе его на двадцать лет. Давно не видел его Катта-Улла. Он без стеснения рассматривает его. Афзал Наир-хан стал другим. Почти ничего не осталось от бывшего сурового воина. Мягкая борода выхолена и расчесана веером, широкое лицо с заплывшими жирком морщинами, гладкие руки человека, отвыкшего от тяжелой работы, и спокойные глаза, в которых уже не побегут снова огоньки тревоги и жажды схватки.

Он не одет в ширвани, национальный костюм пакистанца, на нем зеленый френч, тюрбан, зеленые форменные широкие брюки, часы на руке. На ногах у него не

сапоги и не сандалии, а богатые легкие домашние туфли — салимшахи.

Он толст и смотрит на Катта-Уллу с каким-то непонятным превосходством. Как хозяин, вводящий долго отсутствовавшего гостя и друга дома в курс событий, он рассказывает о том, как сын его Акбар служит в армии в Равалпинди, дочь учится в Лахоре. Селима живет там с его сестрой Зульфией, членом ученого общества. Гость не спрашивает Наир-хана о его жене. Он знает, что Фару-ханум давно умерла, и не стоит о ней вспоминать, тем более что она не благоволила к Катта-Улле, считая, что он вовлекает ее мужа в опасные дела.

Со своей стороны и Афзал Наир-хан про себя отмечает все изменения, происшедшие с его старым другом. В черной бороде горца много седых волос; хотя они и прихвачены хной, но проглядывают довольно явно. Морщин сильно прибавилось. Он еще высок и прям, но что-то старческое в его движениях, в походке, усталость на лице и недоумение в глазах, хитрых и по-птичьему острых. Его одежда поизносилась, но это не мешает ему иметь независимый вид.

Что привело его в Ленди-хана? Он так давно не спускался с гор, не покидал темного родного гнезда, где в наш культурный век непростительно, по-дикарски живут его соплеменники, не зная ни врачей, ни школ, ничего из того обилия возможностей, что предоставляют гражданам Исламской республики новые, просвещенные времена.

Но во имя старой боевой дружбы, совместно перенесенных опасностей хозяин и гость мирно и дружески разговаривают, окуная пальцы в горячий, рассыпчатый рис. Хозяин угощает на славу. Пулоу превосходен. Карри честно горит во рту, обжигает внутренности приятным жаром. Хороши и чапатти с подливой из раскаленного красного перца. Можно запивать прохладной сывороткой, бросать в рис куски топленого сливочного масла и снова погружать в душистый, волшебный рис жирные пальцы. В перерывах можно пробовать ароматный гороховый соус, в который добавлены душистые горные травы и толченые орехи. Измельченное тушеное мясо с овощами, сдобренное гвоздикой, тмином, луком и карри, тает во рту.

Афзал Наир-хан — таможенный чиновник. Он страж границы без оружия в руках, но он важная персона в этих краях. К нему обращаются почтительно. Он приказывает своим помощникам негромко и коротко. Катта-Улла

убедился за короткие часы, проведенные на границе, что Афзал Наир-хан повысился в своем звании и стал совсем ученым, знающим, как и с кем разговаривать о самых важных вещах: о грузах, следующих через границу, о чемоданах знатных путников, о бумагах иностранцев, о том, чем полны тюки караванов и карманы купцов, следующих в Лое-Дакку.

Рыгнув от удовольствия, испытывая радость от тепла комнаты и сытости, Катта-Улла сказал, вытирая губы большим красным платком:

— К тебе теперь надо обращаться — дженаб! Не меньше! Ты вырос, ты как самое высокое тутовое дерево у нас в селении. Под твоей тенью пляшет молодежь и старые говорят о жизни. Ты стал Хан-сагиб! Скажи мне, всезнающий и глубоковидящий, что значит видеть такой сон, какой видел я. Имей в виду, что все, что мне снилось, было почти шестьдесят лет назад...

И он рассказал подробно, как он заснул под вечер в своем доме в горах и увидел во сне, как русский сардар, придя со стороны Индии, смеялся над английским комендантом маленькой крепостицы, потому что у того разбежался весь его гарнизон, и хорошо, что, когда русские прошли, все вернулись обратно, а иначе коменданту было бы плохо от начальства...

— А как ты сам думаешь? — спросил Наир-хан, не совсем понимая, куда клонит свой вопрос его гость.

— Я ничего не мог придумать и пошел к толкователю снов. У нас нет в горах ученых, но есть искусные люди, для которых сны лежат как на ладони...

— Что же сказал тебе толкователь снов?

Катта-Улла вытер потный лоб и щеки и пожал плечами:

— Для толкователя снов не все сны легкие. Он долго прикидывал и так и этак. И наконец сказал, что мой сон означает, что я снова увижу русских. И как сон был неожиданным, так неожиданной будет эта новая встреча...— Тут горец замялся и сказал, облизывая губы: — Видимо, будет война, большая кровь, я так думаю, сказал толкователь снов.

Наир-хан засмеялся, и его лицо приняло хитрое выражение.

— Ты очень долго не спускался с гор. А твой толкователь снов прав только наполовину. Большой крови больше нет места. Здесь мир!

Катта-Улла задумчиво смотрел на жемчужные пересветы риса, которые соблазняли его еще попробовать пулоу, пройтись пальцами в его глубину.

— А как же до нас дошли вести, что с того дня, когда разделилась Индия, начались беженцы и сражения, и до сих пор наши братья истребляют нечистых почитателей коров во славу всемогущего и всех наших горных богов!

Афзал Наир-хан взял серьезный и поучающий тон. Он сказал:

— Были сражения и много жертв во славу аллаха, но мы имели большой успех, и от нас бежали с позором индийцы, и сикхи, и джайны, и мы приняли много братьев, бедствующих и поныне повсюду от Кашмира до Карачи. Но теперь у нас декабрь тысяча девятьсот сорок девятого года, а уже с первого января этого года заключено соглашение о прекращении боев, и кровь не льется больше...

Катта-Улла не хотел так просто расстаться со своим сном.

— Но, может быть, недаром снились русские? Может быть, они придут и мы с ними будем драться?

Наир-хан, боясь обидеть старика резким словом, сказал как можно спокойней:

— Ты знаешь ведь, что теперь Советский Союз, а не царская Россия?

— Я давно это знаю, но что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что твой толкователь снов прав только наполовину относительно русских. Мы не будем с ними драться, потому что незачем. А то, что ты мог их увидеть здесь,— толкователь прав...

— Почему же только мог увидеть?

— Потому, что делегация из Советского Союза приехала сюда вчера. Ты опоздал. Они вчера проезжали границу и были в Ленди-хана. Люди из Москвы!

— Большой отряд? — заинтересованно спросил, нахмурившись, Катта-Улла.— Куда они делись?

— Их было пять человек, но это не были воины. У них другое оружие. Они поэты. Они пишут стихи на радость людям. Ты любишь стихи?

Катта-Улла усмехнулся:

— Это же как песни. Мы все любим песни. У нас каждый вечер поют песни во всех селениях. Под старыми тутами и дубами. Таков обычай...

— Вот и они, приехавшие, все пишут песни-стихи. Но среди них был знаменитый, славный певец из Таджики-

стана. Молодой, смуглый, ясноглазый, как юный месяц. Он мне читал такие стихи, что горы дрожали от восторга, а мое сердце ликовало. Когда есть такие очарователи, значит, наступил мир и войны быть не может. Делегаты пришли во главе с ним как вестники мира...

Катта-Улла осторожно потрогал амулет, висевший у него на шее, и спросил, чуть наклонив голову, смотря в веерную бороду хозяина:

— А ты помнишь, как там далеко, у Амбалеха, в Бушире, когда проклятый амазай хотел разрубить тебя надвое своим кривым мечом, кто тебя спас?

— Ты спас, сердце моего сердца! — сказал Наир-хан с чувством.

— Значит, ты не забыл. Теперь расскажи, я хочу слышать о людях из Москвы. Зачем они пришли?

— Они пришли в гости к поэтам Пакистана, к ученым людям, чтобы увидеть нашу страну и рассказать, как живут в Советском Союзе. Три из них были русские. Один — высокий и широкий человек, как палаван, сильный, может унести тонгу, если захочет, но глаза и голос у него добрые. Второй — совсем седой, старый, но крепкий, жизнерадостный. Третий сказал, что стихов не пишет, а только читает чужие. Но так как он прижимал к груди большой портфель, то я не поверил ему. Наверное, его портфель набит разной ученостью. Четвертый был узбекский поэт, очень известный. С длинными черными волосами и глазами, черными как ночь в горах. В них горели костры стихов. Но мне больше всех понравился знаменитый гость из Таджикистана. Какая радость, что его будут слушать и ученые и простые люди! В наших краях не было еще такого поэта, такого, как он. Он читал мне стихи, как другу. Я встретил его, как только он вышел из машины, приветом в стихах, потому что я заранее знал, кто он. Потом, когда мы пили чай, я велел принести стихи несравненного нашего учителя и мудреца Мухаммеда Икбала. Ты слыхал о нем, Катта-Улла?

— Мы знаем Икбала,— ответил Катта-Улла.— Молодежь в горах знает его и поет. Не думай, что если мы неграмотные, то у нас нет понимания. Мы всё понимаем. У нас по вечерам в каждом селении собирается молодежь — танцует, поет песни. Знаешь, сколько песен, а голоса как соловьи. А не может таджикский соловей прилететь в наши места?

— Они уехали в Лахор и дальше — в Карачи. Я не знаю, будет ли у них время...

— Скажи по совести. У нас поют песни и про любовь и про войну. А почему не хотят снова воевать в этих краях? Поэты всегда восхваляли победителей и героев.

Ах этот хитрый, темный, непростой горец! Он, видите ли, на старости лет захотел воевать. Мало он воевал в своей жизни...

— Теперь нельзя воевать, как еще недавно воевали...

— Почему? Это нужно, чтобы молодежь была храброй...

— Когда кончалась война с японцами, американцы сбросили на японцев такую бомбу, что убили сразу десятки тысяч людей и десятки тысяч искалечили. Бомба эта превращает людей в пепел, в пыль. Лучше мир и стихи, чем такое бедствие. Как у вас в горах — ведь слыхали про бомбу?

— Конечно, слышали, но ведь это было давно и от нас далеко. В моих горах тишина. Вон здесь какой грохот на дороге. Ты говоришь — это двадцатый век! А у нас неизвестно, какой век! Говорят, что мы происходим от самого Искандера. Может быть, и происходим. Но мы живем, видимо, как жили при Искандере. Нет у нас никаких машин — ни таких, что кричат разными голосами, ни таких, что летают над головой. Ни электричества, ни книг, ни кино, ничего нет! И дорог нет! У нас есть хорошие колдуны, и им трудно, потому что некого лечить. Все здоровы и умирают вовремя, по-хорошему. Но зато поют песни; когда человек родится, поют, когда умирает, поют. И пляшут в честь живого и в честь мертвого. Есть у нас снежные леопарды и волки. Я знаю их повадки. И жить в Пешаваре я не смог бы,— закончил он совершенно неожиданно.

— А зачем идешь туда? — спросил Наир-хан.

— Хочу продать шкуру снежного леопарда. Это шкура убийцы любимой козы моей внучки. Мы вместе с Умой кончили его. А в Пешаваре хорошо платят. Есть знакомый купец, еще с давних времен. Я давно его знаю...

Наир-хан позвал слугу, убрали остатки обеда и принесли чай, жареный миндаль, фисташки, халву и сладкие шарики — шакар-пара, пешаварские яблоки и сухие фрукты. Принесли кальяны.

Окружив себя облаком голубого дыма, Наир-хан сказал:

— Все, о чем ты говорил, Катта-Улла, придет в твои горы. И твоя внучка узнает, что такое машина, которая поет и плачет и под которую пляшут новые танцы, такие, что тебе покажется, что это злые духи пытают людей. И ты увидишь такие фильмы, что волосы на твоей голове зашевелятся или, наоборот, ты будешь бросаться на экран с криком мщения. Автобусы поднимутся к твоим селениям по гладкой дороге и будут останавливаться у твоего дома. И радио будет тебе докладывать каждый вечер, что случилось в мире. Мой старый Катта-Улла, времена изменились, и тут ничего нельзя сделать...

Катта-Улла поднял на говорившего свои узкие глаза, в которых были сомнение и лукавство. Он сказал:

— Может быть, может быть, все так случится, как ты говоришь! А скажи, мы будем так же свободны и независимы, как были, или над нами будут господа, которые принесут нам все эти радио и кино и приедут к моему дому на автобусе, чтобы потребовать за все это такую плату, что все мы станем сразу нищими и слугами этих господ? Тогда зачем нам песенки, которые будет петь ящик? Мы и так их поем. Зачем в нас вселятся злые духи и будут корчить наши тела, когда мы сейчас плясками славим добрых духов и они оказывают нам покровительство? И запомни — мы еще не разучились стрелять у себя в горах!

Наир-хан улыбнулся и отвечал уклончиво:

— Как говорит великий наш Икбал: «Сначала меч и борьба, потом красота и музыка». И еще говорит он: «Не один ты вступаешь в эту борьбу, рядом с тобой встают миллионы».

— А этот великий прорицатель жив сейчас? Можно с ним поговорить?

— Нет, он умер одиннадцать лет назад. Сейчас ему строят хорошую гробницу — мавзолей в Лахоре. Икбал писал о том, как любовь пустилась в поиски и как встретился ей человек. Он светился изнутри своей бренной оболочки. И солнце, и месяц, и звезды можно отдать за эту горсть праха, наделенную сердцем...

— Ача! — сказал восхищенно Катта-Улла.— Послушай, ты стал таким мудрым, что тебя я буду величать «муншиджи». Раз так, объясни мне, старому горцу, что такое поэзия?

— Это то, что крепче железа и нежнее цветка! Поэзия выше всего! Она дает жизнь всему и скрепляет ее на века.

Она говорит голосом сердца и возносит человека на вершины духа...

— Ты говоришь так, точно поклоняешься поэзии, как богине!

— Я не поклоняюсь ей, как богине, но помню, что Икбал сказал, что он как легковоспламеняющийся тростник. На него упала искра, а свежий утренний ветер раздул ее, и сухой тростник горит как порох и зажигает своим пламенем сердце друга...

— Ача! Хорошо, очень хорошо! — Катта-Улла прищелкнул языком в полном восторге. Он медленными глотками пил чай, ему было сытно и уютно, но все же он не мог никак принять до конца перемену, происшедшую с его другом. Времена другие, но как жестокий, крепкий человек пограничных стычек и походов стал толстым, спокойным любителем стихов? Это невозможно было понять. Никогда раньше он не подозревал, что в этом неистовом молодом искателе приключений обнаружится душа таможенного чиновника, ушедшего в разговоры, мирные приказания и стихи.

Наир-хан, как будто отвечая на тайные мысли гостя, говорил, затягиваясь и прислушиваясь, как булькает вода в кальяне.

— Мухаммед Икбал родился в Сиалкоте, откуда родом и я. Он учился даже в Англии, он превзошел всю мудрость мира. Знай, что великий полководец и покоритель царств Бабур был прекрасным поэтом, которого помнят и сегодня. «Бабур-наме» — великая книга, которую читают в школах и университетах. Икбал — это голос наших народов. Он назвал нашу страну Пакистаном. Я знаю наизусть множество его стихов. Я даже достал розовый куст из его сада и посадил его чуть выше этого дома, в горах. Туда идти недолго. И никто не трогает этот куст, потому что имя Икбала охраняет его. Я подрезал так розы, что только одна выше всех, яркая, единственная, роза поэзии цветет там. Роза одна, как и Икбал один! Поэт из Таджикистана читал наизусть Джами, и Саади, и Икбала. Я провел с ним восхитительные минуты. Я поднялся с ним на гору и показал эту розу ему. Советские поэты были в восторге от того, как у нас ценят стихи. Не в каждой стране встречают дорогих гостей стихами, и не в каждой стране гости тоже отвечают стихами.

Я сам не пишу стихов. Но в юности писал, когда еще учился, а ты знаешь, что я получил хорошее образование,

однако родные хотели, чтобы я стал военным, и я был неплохим офицером. Но всегда, особенно в наших суровых горах, когда я слышал песни таких горских девушек, как твои, я решал, что уйду с этой тропы, где мне наскучили засады, и выстрелы, и отрезанные головы, в жизнь, где можно мирно работать и знать радости, не требующие крови.

Старый хитрец Катта-Улла видел, что Наир-хан не притворяется, не обманывает его. Ему нравилось, что он не забыл старого, не стал важным и надменным и с ним можно говорить откровенно, сказать ему о себе все, что хочется сказать. И он начал так:

— Ты раскрыл себя, и я вижу, что, зная тебя много лет, я не знал тебя до конца. Я могу только сказать, что, когда мы с тобой проводили дни, полные тревог и опасностей, ты вел себя достойно, ты был воином, о котором говорило начальство в Пешаваре и давало тебе чины и отличия. Но ты всех перехитрил, потому что твоя страсть, твой ум, все твои помыслы ты отдавал своей поэзии. Видно, это и есть твоя настоящая жизнь. Но не каждый раз к тебе будут приходить поэты. Могут прийти и другие люди, тайно или явно несущие с собой оружие и замышляющие против тебя и страны...

Пойми и ты меня. Всю жизнь с четырнадцати лет я в дороге со своим отцом, который любил блуждать по горам и нести тяжелую службу того времени. Не пересчитать, сколько раз я был ранен и сколько раз видел смерть. Ты знаешь, что за жизнь в горах. У кафиров за стол совершеннолетних садились даже мальчики, если они достигли совершеннолетия по обычаю горцев. А чтобы стать совершеннолетним, для этого юноша должен был принести старикам напоказ голову врага, отрезанную им собственноручно. И никто тогда не спрашивал, сколько ему лет. Он имел право садиться за стол со взрослыми воинами. Ты сказал, что тебе надоели отрубленные головы. Но такова была жизнь. Зато я знаю границу, как никто. Теперь я стар, и ноги мои говорят: не всегда мы тебя вынесем так скоро, как нужно, и руки не те. Глаза еще хорошо видят; может быть, потому, что я не портил их, читая книги. Я не скажу, что мне не нравилась моя жизнь, другой я не знаю. Темные ночи гнали меня в такие дебри, откуда нелегко вернуться и опытному следопыту. Я наслаждался, когда удавалась военная хитрость, и тогда, когда я, при-

творяясь кем угодно, проникал в стан врага и потом наносил верный удар сынам дьявола.

Я могу читать наизусть свои воспоминания, как ты — стихи. Вот и во сне я видел так ясно эту крепостицу на Вахан-Дарье, как будто я снова посетил ее. Я все помню. Все живет во мне. Мне было всего восемнадцать лет, когда я уцелел случайно. Вождь из Джондолы Умра-хан около Мастуджа уничтожил весь английский отряд, а я притворился мертвым и был сброшен со скалы — и спасся. Я помню, как мы голодали в Читральском форту и как полковник Келли освободил нас. Наиб-уд-дин поднял момандов, и я пробежал с донесением пятьдесят километров, почти не отдыхая. Меня убивали и не убили сваты, перед тем как афридии захватили эти места и весь Хайберский проход. Это были дни безумия. Форты Мод, Али-Меджид, Ленди-котал были разрушены, сожжены, уничтожены. Трупы людей и животных валялись повсюду.

А сколько было пограничных стычек и троп, где платили головой за неосторожное движение! Из года в год я ходил по горам, сидел у костров, врывался в одинокие селения, отражал выстрелы из засад. Это была моя жизнь. Я сейчс лежу на матрасе в своем доме, где ковры, и посуда, и достаток, и еда, и покой, а что мне с ними делать? Я был как вольный снежный леопард, а сейчас я как леопард, пойманный в сеть. Такая была жизнь и позже. Одни красные рубашки у Пешавара чего стоили. А восстание племен против Амануллы! А хитрости племен, сражавшихся с Баче и Сакао! Гром войны потрясал горы. Все это было и живет в моих костях! И во всем этом я участвовал! О! — Катта-Улла горестно вздохнул и закрыл глаза.— И все это кончилось. Ты говоришь, наступил мир. Я не хочу верить, что он наступил. Ты обманываешь меня невольно, потому что веришь в мир. А из-за похищенной коровы или случайного выстрела горы снова могут вспыхнуть, как тот сухой тростник, о котором ты говорил... Что делать храбрым, старым воинам, в мирных твоих горах?

Афзал Наир-хан снова огладил бороду и, прижав в знак почтительности руку к груди, слегка поклонился.

— С великим вниманием я слушал тебя, но прости меня, храбрейший Катта-Улла, за то, что я сейчас скажу. Все это делал ты, не раздумывая о том, что служишь в конце концов английским сардарам и сагибам! Тебе нравилось твое бездумное непрерывное приключение, но ты не

подумал никогда о том, что ты несвободен. Но теперь, говорит великий Икбал,

> Если ты осведомлен о коварстве людей Запада,
> Откажись от качеств лисы и стань подобным льву!

— Опять Икбал, опять стихи! — застонал Катта-Улла.— Скажи мне просто: неужели нельзя сейчас вызвать какой-нибудь пограничный инцидент, чтобы я мог участвовать в нем, вспомнить старое, ну, хоть сделать небольшую стычку, а? Неужели нельзя?

— Нет, этого нельзя сделать, чтобы не осложнять наше положение — Пакистанского свободного государства.

— И нельзя никого обвинить в измене, чтобы я встретил этого человека на узкой тропе ночью в горах?

Афзал Наир-хан сказал без улыбки:

— Для этого сегодня есть другие средства, если измена доказана!

— И никого нельзя подкупить, чтобы потом уличить его в двойной игре и схватиться с ним один на один для пользы власти и мира на границе?

— Нет, сегодня подкупы не ко времени. Не те времена! И племена не нужно подкупать. Они сами знают, где их настоящий путь. И мы это знаем.

— Да, теперь я вижу, я отстал от жизни в своей глуши. Все стало мирным и тихим, какие-то есть тайные средства, о которых я ничего не знаю. Видно, только со снежным леопардом был у меня честный бой, и то, если бы не помогла моя внучка Ума, зверь бы ушел от меня, опозорив старого охотника... Неужели,— воскликнул он в горе,— я поеду домой, вернусь, ничем не порадовав старое сердце?! Я чувствую, что, видно, больше сюда с гор не спущусь. У меня уже не те силы, и это правда...

— Ах ты, бохадур! — невольно вскричал Афзал Наир-хан.— Чего же ты хочешь?

— Ну, если ты не можешь при всей своей власти сделать что-то большое для утешения старого воина, то дай участвовать хоть в каком-нибудь приключении. Пусть это будет безобидная шутка, но чтобы я мог смеяться у себя там, дома, в горах...

Наир-хан добродушно захохотал. Его щеки стали пунцовыми от внезапного припадка веселья. Он ударил ладонями о колени. Он окутался синим покрывалом дыма. Успокоившись, он начал говорить, постепенно понижая голос:

— О! В приключении я не могу тебе отказать. Я могу

устроить так, что ты не уйдешь с пустым хурджином. Он будет полон смеха. Послушай меня хорошенько. Тут у дороги и в самой Ленди-хана много всякого народу, пришлого, темного, невесть откуда взявшегося, невесть куда идущего...

И вот появился среди других бродяг еще один бродяга. Зовут его Дугда, и откуда он взялся — неизвестно. Одни бродяги промышляют на базаре, другие грабят на дороге, где пустынно, третьи пристраиваются при караван-сарае, а этот дурак, жадный и темный, выбрал меня. Мне рассказали, что он проследил, как я хожу в гору, на ту площадку, где розовый куст учителя нашего Икбала, и сижу там обычно лунной ночью, думаю, вспоминаю, смотрю на розу, тихо про себя читаю стихи и наслаждаюсь тишиной мира и светом луны. И теперь он, прячась, каждый раз тайно сопровождает меня туда и лежит в камнях, наблюдая за мной...

— Он что, хочет убить тебя и ограбить?

— Нет, это я тоже выяснил, потому и не принимаю никаких мер. Он проболтался раз, что он думает, что я около этого розового куста закопал клад, спрятал свои сокровища, и он хочет уловить такой час, когда я что-нибудь добавлю в свой тайник или выну что-то из него. Он верит в этот клад, он с ума сошел от этой мысли. И каждое новолуние он сопровождает меня, как тень. Он сторожит мой клад, чтобы его похитить. Он никогда бы не поверил, что роза — клад моей души.

— Расскажи мне, где твоя роза. Я знаю здесь вокруг каждый камень...

Афзал Наир-хан подробно рассказал, как пройти на площадку к розе.

— Так я же отлично знаю эту горку! Я все понимаю! — воскликнул, развеселясь, Катта-Улла.— Этот сын случайно не повешенного отца получит добрую тамашу. Сегодня новолуние! О! Это уже что-то, от чего будет смеяться Катта-Улла и о чем можно будет рассказать там, в горах.

— Но ты не убьешь его, старина! Жалко поганить кинжал о такую мразь!

— Зачем его убивать! Пусть и он расскажет, что с ним случилось в Ленди-хана. Дай твое ухо, сладость моего сердца, и я тебе расскажу, как все это будет.

И они заговорили, перебивая друг друга, усмехаясь в бороды, переглядываясь и прикладывая палец к губам.

Они, как дети, радовались возможности хитро провести назойливого бродягу, который не дает покоя почтенному человеку и который по своей тупости и темноте не понимает, что тонкость чувства — и какая еще! — присуща и солидным чиновникам границы в наше удивительное время.

Когда наступил час луны, они каждый своим путем отправились в назначенное место. Афзал Наир-хан уверенно и легко шел по сухой, заваленной мелкими камнями тропинке, туда, где благоухала избранная роза из сада Икбала. Где пробирался Катта-Улла, он не знал. Горец шел бесшумно, как полагается старому ходоку.

Наир-хан чутко прислушивался и усмехался, когда улавливал справа от себя, то выше, то ниже, глухие звуки и шорохи. То скатывался камешек, сброшенный неосторожным движением, то как будто тяжелое дыхание слышалось в ночной тишине, как будто еще один ночной гость пробирался к заветному месту.

Площадка, расчищенная от камней, была ярко освещена. Лунные лучи, как прожекторы, осветили каменную скамью, высокие прутья, окружившие розовый куст и огромную, пышную, неестественно живую, как будто говорящую розу. Вид ее среди пустынных скал и беспорядочно набросанных камней поражал воображение. Чудом искусства было взрастить на этой, казалось бы, бесплодной почве такой волшебный цветок. Понятно, что у суеверного населения этих мест ни у кого не поднималась рука на розу, перенесенную сюда из сада самого великого Икбала.

Афзал Наир-хан скромно поклонился розе, как знатной даме, сел на каменную скамью и предался размышлениям. В воздухе горной ночи всегда рассеяно тревожное ожидание, какое-то неясное ощущение угрозы. Поэтому молча сидящий человек и пейзаж, скованный неподвижностью, должны были производить на постороннего наблюдателя особое впечатление.

На губах Наир-хана появилась улыбка. Сначала он шепотом читал стихотворение за стихотворением. Шепот становился громче. Это был еще какой-то душевный разговор с самим собой. Потом стихи стали звучать в полный голос. Читавший как будто обращался к розе, читал для нее, ждал от нее ответа.

Наир-хан заговорил с убыстренной скоростью, и стихи стали догонять друг друга, сливаясь в какие-то длинные строки, в которых уже нельзя было разобрать отдельных слов. Слова гремели на пустынной площадке, как закли-

нания, как обращение к ночи, к темноте, к пустыне, к горам.

Наир-хан встал, шатаясь от напряжения, замер на месте, потом, раскачиваясь из стороны в сторону, пошел через площадку. Стихи уже взлетали гневными всплесками, потрясая тишину ночи, похожие на вопли. Затем как будто невидимая сила подняла его и бросила вперед. Он побежал и почти набежал на розу и, набежав, остановился и начал описывать круги вокруг цветка, следившего за его движениями, полузакрыв малиновые глаза.

Наир-хан кружился вокруг розы, как дервиш, или так, как крутится танцор, исполняющий афганский танец сабель. И вдруг он дико закричал. Воздух наполнился непонятными именами. Были ли это имена древних поэтов или героев их поэм, демонов или богов — нельзя было разобрать в громком вопле. Призывы летели в ночь. Луна походила на переливающийся жемчугом щит. Казалось, незримый великан ударит в нее, как в гонг, и страшный звук пронесется над миром от этого удара.

Теперь было ясно, что человек на площадке — могучий колдун, зовущий к себе на свидание темных духов гор. Взывающая, властная, темная сила выбрасывала в воздух еще одно одинокое имя. Оно рождалось в паузах между воплями, но тем более ясно звучало оно, когда становилось отчетливей, как будто его выносили напоказ. Это имя было: «Дугда! Дугда!»

Дугда! — отвечали, как эхо, камни, и из темных глубин гор возвращалось на площадку это имя.

— Дугда! — воскликнул страшным голосом Наир-хан, простирая руки в сторону выступа.— Дугда! Дугда! Явись немедленно! Огонь истребления наготове! Огонь, который готов пожрать тебя! Что нам сделать с Дугдой! Демоны, отвечайте!

И вдруг откуда-то со стороны донесся глухой, как бы смятый расстоянием крик, который все приближался и загремел где-то рядом:

— Убьем его! Убьем его!

Наступила длинная тишина. И в этой тишине тяжелый, хриплый стон пронесся над площадкой. Точно страдающий удушьем больной захлебывался в мучительных попытках схватить глоток воздуха.

— Явись, Дугда! Последний раз зову Дугду! — закричал громовым голосом Наир-хан, отступая к своей каменной скамье, и, как только он поравнялся с ней, черная фи-

гура, в лохмотьях, с всклокоченной головой, выскочила из-за камней и остановилась, не зная, что ответить на колдовской зов.

И тут в скалах, позади царственной розы, раздался мяукающий, раздраженный рев снежного леопарда. Этот рев неподражаемо умел воспроизводить Катта-Улла. И голова самого зверя с раскрытой пастью возникла из мрака. Дико закричав, Дугда упал лицом вниз, и руки его скребли камни в последнем приступе отчаяния.

Зубы его стучали. Он задыхался от ужаса. Застывшая морда снежного леопарда точно висела в воздухе, и это делало ее еще более непонятной и зловещей. Это была голова несомненного оборотня, ракзахи, привидения.

— Дугда! — пролаял леопард, как-то скосив свою пасть.— Уходи из этих мест! Это места мои! Тебе оставили жизнь, исчезни навсегда! Беги! Беги! Беги сейчас же!

Страшный, раздраженный рев был хорошим дополнением сказанного. При последних звуках этого рева Дугда вскочил, споткнулся, упал, на четвереньках побежал по площадке, потом поднялся, и слышно было, как он бежал по тропинке, сметая мелкие камни. Он бежал шумно, и долго был слышен треск камней, потом все стихло.

Катта-Улла сел рядом с Афзалом Наир-ханом, гладя шкуру снежного леопарда. Он давился от беззвучного смеха. Потом он понял, что демоны могут смеяться своим дьявольским смехом открыто, захохотал и похлопал по плечу Наир-хана.

— О-хо-хо! Ноги ведут туда, куда их ведет сердце. Я знал, что я должен был прийти к тебе. О друг мой Афзал Наир-хан! Ты мне говорил: новые времена! Двадцатый век! Из тебя вышел бы такой большой колдун и толкователь снов, что другого такого не было бы в горах от Камдеша до Хунзы. Брось свою службу и контору в Ленди-хана, поедем со мной в наши горы! Твои стихи и моя шкура снежного леопарда будут делать чудеса, получше играющих ящиков и кино! А я, слушай, я карабкался прямо по скалам, как в молодости, в обход вражеского отряда, и напал действительно врасплох и, употребив военную хитрость, с тылу! А как он бежал, этот сын случайно не повешенного отца! Ача! Все прекрасно. Будет что рассказать дома про последнее приключение старого Катта-Уллы! Да славятся добрые боги и умные люди! Мы провели славно время. Зиндабад Пакистан!

СЕРЫЙ ХАНУМАН

Они не впервые сидели в прославленном «Моти Махале». Ресторан, как всегда, был переполнен. Но Яков Бомпер рассеянно разглядывал посетителей, а Ив Шведенер с нетерпением ждал, когда Бомпер расскажет ему о своей поездке в Калькутту и в Бенарес, куда он его направил затем, чтобы тот повидал нечто необычное, что должно было поразить воображение европейца, никогда не покидавшего родную Европу.

Они были большими друзьями еще со времен студенчества, когда совсем юношами, в Цюрихском университете, нашли, что их стремления совпадают, а их взгляды на жизнь, полные дерзких дерзаний и поисков неведомого, требуют объединения молодых сил и крепкой дружбы.

Теперь им было уже за тридцать, они стали журналистами, оба были заядлыми холостяками, говоря, что этого требует профессия. Шведенер на вопрос, почему он не женится, отвечал словами одного американца: «Я хотел бы иметь виллу в горах Явы и жить там с японской женой, китайским поваром и американской уборной, но, так как это для меня недостижимо, я подожду лучших времен». Яков Бомпер отвечал проще: «Моих приятельниц пугает слово — жена. И я их понимаю. Они — передовые женщины, и нечего их отбрасывать в средневековье».

Ив Шведенер, как журналист, в погоне за материалом, часто исчезал и, появившись невесть откуда, привозил всякие сногсшибательные новости из какого-нибудь только что родившегося африканского государства или из дебрей Южной Америки, вместе с высушенными до размеров кулака человеческими головами, которые он выдавал, прав-

да не очень настаивая, за головы высокопоставленных эсэсовцев, скрывавшихся в джунглях Амазонки.

Яков Бомпер не имел таких широких возможностей и поэтому тихо трудился в деловой, будничной Женеве, прибавляя к своему скромному газетному заработку гонорар за литературные радиокомпозиции, за легкие сценки для телевидения, очерки нравов, зарисовки. Он даже выпустил маленькую книжку рассказов, не нашедших широкого читателя.

Но никто не знал, что этот честолюбивый, сосредоточенный молодой человек с фигурой спортсмена целые ночи проводит, заполняя маленькие узкие листочки своим тяжелым, крепким почерком и эта работа длится уже много месяцев.

В конце концов книга появилась на свет и произвела сенсацию. Нет, это был не роман. Автор обиделся бы, если бы его произведение назвали романом. Это было то, что на языке литературных отрицателей романа как такового называлось новой-новой прозой. И все-таки это была книга. Книга называлась «Игра теней» и представляла гонку различных сцен и положений, с разорванной композицией, с полным нарушением цельности действия, с эротическими и мистическими картинами, и все это, вместе взятое, пестро взрывалось перед читателем, оглушало и на какое-то время овладевало его воображением. Это был успех, и не такой уже малый.

Если бы Якова Бомпера спросили, как он рискнул поставить ставку на такую книгу, он бы и сам не мог этого объяснить. Но, присмотревшись к тому, что выносит книжный океан к ногам читателей, ко всем успехам героев от гангстерства, шпионажа и черных ужасов, он понял, что должен найти особую линию, ни на что не похожую.

В его книге главными персонажами были муж и жена — люди самостоятельные, не нуждающиеся в деньгах. Муж был ответственным чиновником в министерстве иностранных дел одного государства, жена — свободной художницей. У них были тайные хобби. У него — привидения, как это ни странно. Он делал их из пластмассы. Они могли передвигаться, выть, хохотать загробным басом, светиться и рыдать. Он продавал их владельцам старых замков, и они имели успех, особенно в странах Севера. Кроме того, для себя он изобрел способ передавать на известное расстояние фотографии своих знакомых, превра-

щая их в бесплотные тени, смущающие и пугающие своим правдоподобием.

Ее же хобби было колдовство на самом высшем современном уровне, недаром она была заместительницей председательницы Всеевропейского союза прогрессивных ведьм.

После многих ссор, главным образом в постели, изображенных изысканно и откровенно, они разошлись и стали мстить друг другу утонченными способами. Он — путем разных усовершенствованных зеркал и передач на расстоянии,— стал придавать ее облик привидениям и пускал в ход эти тени своей бывшей жены в обращение в самых неподходящих местах — в танцевальных залах, на приемах, в гостиных, где ее хорошо знали. Смущая присутствующих, появлялась среди них всем известная дама в обнаженном виде и производила большое впечатление.

Она мстила ему тем, что свое хобби — власть просвещенной ведьмы — пускала в ход против него, и в его доме начали твориться разные странности. Вещи двигались сами, выказывая враждебность,— раз даже шкаф напал на него, как бандит; стены издавали демонический хохот ночью, рядом с постелью, где он был не один... Постепенно игрой теней становилась сама жизнь. Женщины, мужчины превратились в тени, проносящиеся в жутком смешении призрачного и действительного. Этого и хотел автор. Мир рассыпался, и его уже нельзя было собрать снова в целое. Полный иллюзий, окруженный видениями, он стал зыбким и шел к катастрофе. Людьми овладела апатия или тревога. Но все же надо было как-то кончать произведение. И, перепутав все и поставив разные государства на грань атомной войны, дипломат-изобретатель погибал в автомобильной катастрофе. По воле автора с ним было покончено.

Но оставалась жена-ведьма, и от нее надо тоже было отделаться. Она влюблялась в любителя-летчика, богача, который вел себя, конечно, очень странно. Его спортивный самолет носил женское имя «Элла», и он признался своей новой возлюбленной, что самолет — одушевленное существо, влюбленное в него и ревнующее его к ведьме.

Сцена последнего объяснения происходила в Сахаре. Новая любовница поклялась, что, как ведьма, силой своего колдовства, она погубит соперницу. Над Сахарой в воздухе началась их жуткая битва. Ведьма, вызвав песчаную

бурю на голову врагини, не могла с ней управиться, и гибли все — и летчик, и ведьма, и самолет-оборотень.

И только их тени, отраженные облаками, проносились над Африкой и Европой. Такова была «Игра теней» — творение удачливого Якова Бомпера. Книга разошлась в Европе и в Америке. Отрывки передавались по радио и телевидению. Какой-то продюсер предложил экранизировать произведение. Пока Ив Шведенер торговал в печати засушенными человеческими головами с Амазонки и африканскими заговорами на скорую руку, Яков Бомпер получил изрядные деньги. Проживая их с похвальной осторожностью, он признался Шведенеру, что ему нужен новый сюжет, еще более поразительный. Шведенер, хорошо знавший Индию, сказал, что лучше Индии нет страны, где ошеломляющие сюжеты валяются просто на дороге.

И вот они сидели в «Моти Махале», и перед ними сменялись тарелки со всякими вкусными блюдами, где рис, рыба, шашлыки, курица, сдобренные крепчайшими соусами и карри, являли все богатства индийской кухни. Они запивали кушанья коньяком, с оглядкой наливая его в крошечные чашечки из маленького, украшенного желтыми розами чайничка, как будто пили крепкий чай.

В «Моти Махале» пить алкогольные напитки запрещалось, да и вообще в городе их продавали иностранцам в определенные дни и по такой цене, что бутылка джина или виски могла поглотить месячное жалованье иного нисшего служащего. Шведенеру, как постоянному посетителю, сделали уступку — налили принесенный им коньяк в чайничек.

Шведенер смотрел с восхищением на своего друга, так преуспевшего и так обогнавшего его в своей карьере. Яков Бомпер, вообще от природы очень смуглый (его мать была итальянка с юга Италии), под индийским солнцем еще более потемневший, со своими черными, короткими усами, очень походил на интеллигентного индийца, и поэтому не удивительно, что на него так внимательно смотрел какой-то гость, сидевший в небольшой компании, через несколько столиков от них.

— Ну, как Калькутта? — спросил Шведенер.— Каков индийский Вавилон? Тысяча сюжетов?

Яков Бомпер налил себе новую чашечку коньяку из чайничка.

— Можно было не приезжать,— сказал он, горько усмехнувшись,— это скука, скука, сводящая скулы, скука

бесчисленных человеческих тел, однообразно полуголых и голых, скука душных ночей скучного ада...

Шведенер был удивлен и пробовал возразить:

— Но все же есть там и кое-что. Ну, например, храм джайнов. Ты видел его?

— Храм джайнов! — усмехнулся Бомпер.— Это, пожалуй, смешно. Скучно и смешно. Там стоят боги, похожие на пожарных, в касках. Там львы, опирающиеся на шары, и павильончики, как на выставке в маленьком французском провинциальном городке... Откуда они достали эту дешевку? Был я в храме Кали — вонючие козлы, черные, с красными глазами алкоголиков. От их запаха тошнит за десять шагов. А улицы там прыгающие, ползающие уроды хватают за ноги, нищие клянчат со всех сторон, а реклама как во всех городах мира. А Бенарес! — серая икра грязных тел в воде Ганга, отвратительные костры, мертвые, полумертвые сумасшедшие, совершенно голые, и тут же надписи: «Берегись карманных воров». Правда, перед коровами останавливают трамвай. Их украшают цветами, как кинозвезд. Мажут разными мазями фаллусы всех цветов и размеров. Но про это я читал давно в книжках, еще в школе. Интересно ввести бы это у нас в Женеве, перед фонтаном на озере... Скучно, скучно, черт возьми! Я зол, как никогда. Мне жаль растраченное зря время. Сюжеты? Какие тут сюжеты? Ты еще скажешь мне про Рамайяну. У нас век атома и стриптиза...

— Но подожди,— воскликнул Ив Шведенер,— ты же хотел все это видеть! Ты же умолял меня показать тебе Индию. Ты же был так увлечен. Помнишь виллу того богача, с которым я тебя познакомил в Женеве. Ты был в упоении от вечера. Вспомни, на чем основывалось твое желание немедленно ехать в Индию и видеть ее тайны, которые должны быть сюжетом новой книги — необыкновенной, удивительной. Ты же сам говорил, что будешь писать о том, о чем в Европе даже не подозревают... Вспомни, пожалуйста. Ведь это же все было с тобой...

Да, он вспомнил тот вечер, когда Шведенер привез его на виллу индийского богача, которая стояла высоко над озером. Это был странный, как сновидение, дом, точно перенесенный из предгорий Кашмира. В нем было все, что должно было говорить европейцу о восточном стиле. Низкие, широкие диваны, маленькие столики с инкрустацией, фигурки неизвестных изящных божков, непонятные

благовония, ковры, разноцветное освещение комнат, книжные полки, покоящиеся на спинах крошечных слонов.

Гостей было немного. Под стать важному хозяину они тоже были титулованными особами. Темнолицые слуги бесшумно разносили превкусные индийские штучки. Пили виски, вино, разные соки. Ели плоды душистого манго и мороженое. С террасы открывался вид на вечерний город. Внизу уже сверкали огни. Их было много. Они были все разные. Казалось, что Женева опутана нитями ожерелий, небрежно брошенными на землю, на живописные склоны холмов и гор. Закат над горами отгорел. Жара спала.

В прохладном воздухе пахло дождем. Где-то у Монблана в дальних горах была гроза. Далеко светились зеленые молнии. Небо в муаровых облаках с розовыми разливами спускалось все ниже. Земля сливалась с облаками. Потемневшей латунью в глубине под ногами лежало большое уснувшее озеро.

Снизу, на склоне, внезапно появившись из-за розовых кустов, к террасе шли мужчина и женщина, легкие, как призраки, и условные, как этот вечер. Женщина была в темном, с золотистыми искрами, сари, мужчина в черном сюртучке с тонкой тросточкой. Голова женщины светилась, потому что в волосы были вколоты белые цветы жасмина.

Конечно, этот вечер звал куда-то, был полон трепета новых ощущений. В нем было столько же фантазии, сколько ее отсутствует здесь. Здесь сидели индийцы, много людей в белых одеждах, пили такие же соки, какие пили там, ели те же кушанья, что подавались и там,— а какая огромная разница между той неведомой Индией в Женеве и этой, которая воочию здесь. И его еще разглядывает какой-то неприятного вида человек с угрюмыми глазами, как будто решает — индиец Бомпер или европеец.

Он вздохнул, и Шведенер засмеялся:

— Но ведь пейзаж там, на вилле в Женеве, не может сравниться с пейзажами, когда ты ехал из Бенареса в Дели?

— Пейзажи! — Бомпер безнадежно взмахнул рукой, точно отмахивался от скучного видения. Он закрыл глаза и представил себе, как он ехал целый день, нескончаемый день, по мирной, тихой Гангской долине. Поля сменялись рощами, кое-где вставали рыжие холмы, иногда река приближалась к поезду, и был виден желтый Ганг, широкий, с отмелями, с островами, с плоскими берегами, широкими

затонами. В поле народу было мало. Кое-где стада — овцы, буйволы, козы. Иногда попадались верблюды. На вокзалах разносили чай, везли тележки со всякой горячей пищей, оглушительно кричали носильщики, чинно и как-то даже приниженно шли смазчики в черных костюмах. Бомпер видел вывески, говорящие, что имеется комната, где буфет с мясом, не вегетарианский. Люди были одеты и раздеты по-разному. Жара на вокзале пахла раскаленным металлом и красками.

Потом снова поезд набирал скорость. Проходили дома с черепичными крышами, сменяясь после постройками, похожими на склады. Глинобитные стены без окон, плоские крыши. Попадались гробницы — маленькие мазары. В тени одиноких деревьев сидели люди. Это пешеходы, присевшие отдохнуть. Женщины стирали белье в маленьких прудах, где обязательно в стороне стоял аист или марабу на одной ноге. Дети барахтались в лужах. Потом долина стала желтая, пошли рощи, луга.

Вечерело. Все уходило в сумрак, без движения, без огней, без звуков. Он ехал как в полусне. Дали становились невидимыми, только еще кусты и деревья у самой насыпи можно было различить, и черноту отдельных ветвей, свободных от листвы, и крону одинокой пальмы.

Сидящий под пальмой пилигрим в такой час, наверно, погружался в какую-то нирвану, сладостную и беззвучную.

Темнота сгустилась мгновенно. И уже синяя ночь с яркими звездами опустилась на землю. Потом в темноте замерцали огни. Поезд прошел с грохотом по нескольким мостам, перекинутым через протоки Джамны. Появилось много розовых и зеленых огней, бежавших навстречу. Это был Дели...

Яков Бомпер чокнулся чашечками со Шведенером.

— Выпьем за преодоление скуки, охватившей мир. Ты мне говорил: тысяча сюжетов. Где хоть один, подобный моему замечательному, давшему мне известность шедевру: «Игра теней».

Он выпил, раскусил перец, и огонь, как кинжал, ударил его в нёбо. Он схватил белые анисовые кругляшки с сахаром, но огонь жег его рот, и он выплюнул анис с гримасой страдания.

Шведенер выпил свою чашечку и сразу налил еще.

— Твоя книга, скажем между нами,— достижение модного увлечения. Да, она имела успех. В этом ей

нельзя отказать. И фильм, если будет, будет самый игровой. Привидения в стриптизе еще никто не видел...— Шведенер, довольный собой, аккуратный, румянощекий, похожий на француза-коммерсанта, носящий такие же короткие усы, как и Бомпер, с улыбкой поднял палец: — Ты поразил, но можешь ли ты поразить еще раз? Не было ли это просто удачей, сознаемся,— это ведь не изобретение нового стиля. Это распад стиля... А что будет дальше?

Бомпер принял вызов.

— Видишь, я писал книгу с намерением, тщательно избегая всего обычного. Растворение личности, игра теней — вся эта наносная зыбкая пелена угрозы и будущего уничтожения, вся эта осыпь старых понятий и туман сегодняшней действительности — все это вещи, которые пугают и привлекают в одно и то же время. Общество просто жаждет, особенно молодежь, сумасшедшей чувственности, ужасов, смены вкусов. У нас эпоха эротических, философских, политических миражей. А тут? Какой Индией ты хочешь меня поразить? Я прошел по Чанди Чок. Что я увидел? Те же радиоприемники, самопишущие ручки, патефонные пластинки, телевизоры, электрические бритвы и утюги, как всюду в Европе, в Африке... Типичный шум и гам Востока — это уже вчерашний день. У нас в Европе есть хоть какое-то своеобразие в наших пороках, в нашем разложении. Чего стоят хотя бы наши блузон-нуары с их дикими выходками и их сексуально распущенные девчонки. А тут что?

— Подожди,— сказал Шведенер,— здесь тоже дойдет до этого. Уже на Коннот-Плейс есть и дорогие рестораны с европейскими блюдами, и ночные ревю, есть джазы...

— Хо-хо! Джазы в Дели! Удивил, братец!

— Но слушай, Яков, здесь можно найти притончики, как в любом европейском городе, еще почище...

— Это все не то.— Бомпер сломал сигарету и бросил ее.— Что за город, где на улице нет пьяных ни днем, ни ночью...

Шведенер сказал иронически:

— Ты можешь написать статью под заголовком: «Я обвиняю!» Обвиняй дальше!

— Пожалуйста! С девушкой нельзя зайти в кафе. Тебя выпроводят в отдельную комнату. От соблазна. В кафе молодежь, как овечки, пьет чай и так сидит часами. Из фильмов, сказали мне, вырезают все поцелуи, я уже не говорю о другом. Вот уж скука так скука.— Он посмотрел

в зал: — Нет, этот абориген начинает меня раздражать. Он что, изучает меня? Не хватает еще, чтобы он оказался сумасшедшим или фанатиком...

— Тебе кажется, что он тебя изучает,— ответил Шведенер,— они просто все очень любопытны и своеобразны. Тут ведь нравы как в детской сказке. Я тебе скажу, что здесь бывает такое, что в нашей старушке Европе дети будут смеяться. Приехал один неопытный молодой человек сюда на работу в некое посольство. Это не играет роли. Живет он одиноко в своей комнате. Спать не может, потому что в наружной нише, над окном, поселилась пара сов, и молодая сова пилит всю ночь своего супруга. Приезжий терпел, терпел, мочи нет, взял камень и швырнул его в совиное гнездо. Утром оказалось, что он убил сварливую совиху. Он успокоился, но заметил, что с этого дня туземная прислуга стала саботировать и презирать его. Потом его позвал посол и сказал: «Молодой человек, в этой стране не убивают животных. Зачем вы это сделали? Пусть это будет в последний раз». Он раскаялся и просил прощения. Но в душе был рад, что избавился от кошмара. Несколько времени все шло хорошо. Однажды ночью снова раздался знакомый крик и шум. Ему показалось, что прилетел призрак строптивой совы; оказывается, молодой сыч привел новую жену, но у нее были все повадки старой. Что же делать теперь? Убивать уже больше нельзя. Он позвал сторожа, дал ему денег, и тот перенес обеих птиц в новое гнездо, подальше от обиталища молодого человека. Вот это разве не сюжет?

— Анекдот,— сказал Бомпер.

— Это не анекдот — это было со мной,— сказал Шведенер.

— Все равно идиотизм.— Бомпер зевнул.— Все это нестерпимо скучно. Я подожду еще немного и буду в положении того туриста, который объехал полсвета и сказал после поездки: я мог бы все это почувствовать, никуда не выезжая. Слушай, Ив, у тебя дома есть что-нибудь спиртное? Мне хочется еще посидеть и выпить, но мне надоело пить тайком из чайника, хотя это единственное смешное явление в этой кромешной тоске...

— У меня, конечно, есть кое-что. Мне самому надоело лакать, как котенок, из чашечки...

— Тогда поедем!

Они расплатились и покинули «Моти Махал». На стоянке они отыскали машину Шведенера.

— Как видишь,— сказал Ив,— теперь у меня не «Линкольн континенталь», а наша цюрихская «Симка», но она меня вполне устраивает. Садись!

Дом, в котором жил Шведенер, был у самой проезжей дороги. Далеко за дорогу уходили густые заросли, а немного в стороне виднелась стена полуразрушенного древнего форта.

Они сидели на открытой небольшой террасе, пили, курили и болтали, как во времена молодости. Бомпер с наслаждением потягивал виски и говорил:

— Ну, смотри, как хорошо, никого нет. Никакой фанатик не рассматривает тебя с непонятными намерениями. Можно не наливать, оглядываясь, из чайника. Подумать только, расскажи нашей братии дома, никто не поверит. И все же, дорогой Ив, ты не прав...

— В чем я не прав?

— Ты говорил, что моя книга потому только имела успех, что она удачно отвечала настроению читателей. Это не так. Настроения проходят, а это процесс, уже идущий и чем-то знаменательный, так как имеет распространение. Мой сюжет освещает какие-то неизвестные стороны жизни, как фото обратной стороны Луны,— обратную, невидимую сторону нашего существования. Все хотят безумно нового, небывалого. Возьми женщин... Всегда были моды, и они сменялись от сезона к сезону. Но я недавно встретил над нашей зеленой, мирной, патриархальной Арвой женщин с раскрашенными лицами. На их лбах и щеках были квадраты, и розы, и ромбы разного цвета. Сегодня это были одиночки — завтра так будет с миллионами женщин. А посмотри, что делается с женской одеждой в старой, но омолаживающейся Европе. Объявлено, что скоро появятся платья, издающие музыкальные звоны на разные тона. Появятся платья будущего — самохолодящие и самообогревающие одежды. Все это вполне реально. И чудеса бытовых открытий, и наука — все идет к неведомым дорогам будущего. А удивительное всемирное увлечение суперменами и космическими романами! Это все неспроста. Мне нужен новый сюжет, сногсшибательный, потрясающий сюжет в развитии той линии, что я так удачно начал в своей книге «Игра теней».

Шведенер развел руками. Он никогда не мог ничего придумать ни смешного, ни трагического.

— Что же мы будем делать, дорогой Яков? Где же мы найдем эту пеструю птицу? Но мы, конечно, поищем.

Твое здоровье, дружище! Чтобы в Индии не оказалось дьявольски чудовищного... В это я не верю... Что с тобой?

Яков Бомпер смотрел в сторону кустарников, стоявших черной стеной через дорогу. Оттуда слышались шорохи, которые то исчезали, то появлялись и росли в самых разных направлениях. Казалось, будто какое-то животное хотело преодолеть колючие и ползучие ветви зарослей, в которых запуталось.

Шведенер прислушался тоже и захохотал.

— Ах, это,— сказал он,— можешь не опасаться за свою жизнь. Это не тигры. Это всего-навсего обезьяны. Их здесь, сколько хочешь. Я все убираю с террасы из-за них. Когда стемнеет, они ходят всюду и тащат все, что попадется. И удирают в свои логовища, в эти непролазные кусты. Вонючий, воровской народец. И нет на него управы. Стрелять в них нельзя, ловушки ставить — тоже. В Европе из них давно бы сделали перчатки или модные консервы, а тут видишь, так было, так будет...

Они вернулись к своим стаканам.

— Я все думаю, как помочь тебе в поисках сюжета. Буду думать. Разыщу кое-кого — пошлю к тебе разных умников... Не сердись, что я не смог поехать с тобой в Калькутту. Будь я там, я кое-что нашел бы, кроме храма джайнов, для тебя и молодящейся американки...

— А, ты уже знаешь. Ну, какое это приключение? Я едва отвязался от нее и не потащился в какие-то храмы, где, она говорила, только одни неприличные изображения. Она хотела разогреть свое пресыщенное воображение, но мне ее хватило на неделю. Черт с ней! Она подобрала какого-то ученого статистика...

Было уже поздно, когда Шведенер отвез Бомпера в его отель. Стояло время васанты, условно называемой индийской весны. Это дни с середины марта до середины мая. Восхитительное время, когда звезды кажутся ярче, ближе к земле, когда вокруг много цветущих деревьев и жара смягчает свое душное тиранство.

В номере была тишина и прохлада. Бомпер только теперь почувствовал усталость от дороги, принял ванну и лег в кровать. Но заснуть сразу он не мог. Он взглянул на потолок и увидел желтое пятно. Пятно шевелилось. Он перевел взгляд на стену. Там под самым карнизом бегало что-то желтое. По соседней стене взметнулась светло-

песчаная ящерица. За ней — вторая. Это были всего-навсего домашние гекконы, которых много повсюду в Индии.

Но хотя Бомпер знал про них и видел их много раз, он снова содрогнулся от отвращения и закрылся с головой одеялом.

Поток белых фигур на велосипедах казался нескончаемым. То они мчались широкими рядами, заполняя всю ширину улицы, то вдруг растягивались цепочкой, и тогда было видно, что на иных велосипедах едут по два, даже по три человека. Тысячи мелких служащих и чиновников Нью-Дели ехали на работу. Каждый день на утренней ранней прогулке Яков Бомпер видел это зрелище. Оно рождало в нем какое-то неясное ощущение, и, если бы у него был под рукой велосипед, он, не раздумывая, присоединился бы к этой массе. Он не верил тому, что они все спешат по определенным адресам, к определенным зданиям, где разойдутся по комнатам канцелярий, банков, контор или уйдут в лавки, в магазины и станут за прилавками и будут разговаривать с посетителями. Ему начинало казаться, что это не так, что они едут за город, на зов какого-то всемогущего существа, которое не возвращает их обратно в город, они больше никогда не вернутся, а вместо них завтра поедут другие, и так день за днем будет продолжаться это бегство из города, пока Дели не опустеет. Промчится последний велосипед, и настанет очередь автомобилей, и тогда по утрам будут мчаться грузовики, машины всех марок, перегруженные пассажирами, которые не знают, что они мчатся к пропасти, от которой нет спасения.

Когда мозг Якова Бомпера начинал поиски невероятного, когда его воображение изменяло окружающий мир, превращая каждый предмет в игрушку, он мог зайти далеко в своих мечтаниях.

Он останавливался, замирая, у разложенных на газоне разноцветных ожерелий из сердолика, агата, яшмы,— ожерелий, где тепло светились красные, зеленые, желтые неизвестных ему пород камни, смотрел жадными глазами на серебряные браслеты с позеленевшей, покрытой мелкими трещинами бирюзой, тяжелые кольца, медные кувшинчики, брошки, древние обломки с чуть видными рисунками, бронзовые коробочки для хранения притираний и талисманов. Над этими товарами стояли мрачные выходцы из далекого Ладака, малого Тибета, одетые, как монахи,

а их женщины, тоже в черных платьях, с толстыми платками на головах сидели, глядя на остановившихся пешеходов, глазами заклинательниц.

Их неподвижные позы, их каменные лица не предвещали ничего доброго. И опять Яков Бомпер уносился куда-то в сторону от этого такого обыкновенного уличного базарчика. Ему казалось, что эти люди притворяются. И совсем не затем пришли они из далеких своих ущелий сюда, в столицу, чтобы продавать обломки старых сосудов и ожерелья из камней, выглаженных горными речками. В их угрюмых лицах можно было прочитать о какой-то древней трагедии, жертвами которой стали когда-то их предки, а теперь они отбывают бесконечные годы наказание за преступление, смысл которого потерян. И никто не помнит, за что осуждены эти люди, которые из своих уединенных мест приходят в обыкновенный сегодняшний город и предлагают странные вещи случайным покупателям. И люди, приехавшие из самых дальних стран, охотно покупают все эти камни и бронзовые и серебряные вещицы. И опять горцы уходят в горы, чтобы принести новые ожерелья и кольца, изготовленные старыми мастерами. Это тоже бег времени, похожий на бесконечное стремление велосипедистов — промчаться утром по пустым улицам. Только те были во всем белом, а эти во всем черном... Тут уже начиналась какая-то тайна. И, думая об этом, Бомпер возвращался в гостиницу, совершив прогулку. Его не интересовали одиночные фигуры прохожих. Какое-то дерево, все усыпанное алыми цветами, без листьев, как факел горело перед ним, но он, почти не заметив его, прошел мимо. Оно ему ничего не говорило.

У себя в номере он сел за стол и вынул книжку в синем мягком переплете. Это была его любимая записная книжка, с которой он не расставался. Любой человек был бы поражен отрывочностью, беспорядочностью этих записей. Там вперемежку, среди телефонов разных городов Швейцарии, и не только Швейцарии, адресов многих мужчин и женщин, были вклеены газетные вырезки, значение которых понятно было только хозяину записной книжки; за анекдотами и песенками снова шли телефоны, длинные и короткие заметки, нарочно написанные неразборчивым почерком или просто зашифрованные, записи ощущений, пейзажей, настроений, целые сценки выписки из книг, изречения, мало что говорившие постороннему и полные смысла только для Бомпера.

Казалось, он нарочно дробит записи или так анализирует их, чтобы скрыть их настоящий смысл.

Сейчас он записал довольно отрывочно слышанный им позавчера рассказ Ива Шведенера о молодом человеке, не ужившемся с совами, затем вспомнил что-то калькуттское, о чем он забыл и сейчас счел нужным записать. Он писал твердым почерком широким пером:

«Я видел, как у окна ювелирного магазина, в тени под навесом из полосатой ткани, стоял большой черный бык и не мигая смотрел на богатства, выставленные на витрине. Солнечные лучи проходили сквозь щелки в навесе и играли на драгоценных камнях в футлярах. Зеленые, рубиновые, алмазные огни вспыхивали в разных местах витрины, и бык переводил глаза с футляра на футляр, наморщив большой широкий лоб и сжав замшевые губы. Он не обращал внимания на толпу пешеходов, которая, не смея побеспокоить, обходила его, стараясь не задеть. Я ехал по делу, и, когда возвращался через два часа, мне захотелось посмотреть, что стало с быком. Он стоял там же в полной неподвижности, только глаза его переносились с одного украшения на другое, как будто сияние драгоценных камней загипнотизировало его. Он был божественно прекрасен. Я понял, кто он. Он — Юпитер, собирающийся снова похитить Европу, и выбирающий, какое ожерелье ей подарить, и все никак не могущий решить — какое. Камни горели олимпийскими блесками.

Утром я уезжал на аэродром. В лилейном сумраке наступающего дня автомобиль уже проезжал предместьями, город остался позади. Пошли жалкие лавчонки под старыми искривленными деревьями. Я велел остановиться. Я вышел из машины и пошел к ближайшей лавчонке. Она была закрыта. Людей не было. Но от самых дверей начиналась очередь коров. Одни из них лежали на траве, другие стояли и смотрели сонно на дорогу. Они не мычали, ждали молча, совсем как в человеческой очереди, где одни женщины вяжут, другие читают газету, третьи дремлют. Но это были коровы. Чего ждали они? И в этой же очереди, скромно, как полагается толстому мужчине, стоял бык. Я узнал его. Это был мой Юпитер. Как он поблек! Ничего божественного в нем не было. Он был жалок на фоне этих уверенных матрон, не обращавших на него внимания.

— Что это такое? — спросил я у шофера.

— Это лавка,— ответил он,— где продают зелень.

Придет хозяин, и они выберут себе овощи, какие получше, съедят их и пойдут в город на весь день. А он начнет торговлю. Таков порядок...

— Какое же молоко у этих коров? — спросил я словоохотливого шофера.

Он засмеялся:

— Какое молоко может быть у коров, которые целый день шляются по магазинам...

И мой Юпитер стоял в очереди...»

Бомпер перевернул страницу и записал другое:

«Никогда не думал, что в Ганге водятся дельфины. Он называется «сусук» или гангский дельфин. Сверху он серовато-черного, снизу — грязно-белого цвета, длиной до двух метров. Он плавает в Ганге и в его притоках. У него нет глаз. Это так кажется. Их, правда, трудно найти. Они спрятаны в складки толстой кожи. Вода грязная и желтомутная, и он не смог бы очистить глаза от грязи, если бы не прятал их глубоко в кожу... Так и у меня глаза внутреннего зрения спрятаны от того, чтобы их не залепила муть нашей человеческой цивилизации. А простые глаза я не берегу. Муть жизни так сильна, что я плохо вижу сквозь нее, если бы не внутреннее зрение».

Когда он кончил свои записи и убрал книжку в карман, перехватив ее толстой резинкой, в дверь осторожно постучали. Вошел неизвестный человек, в очках, среднего роста, в темно-сером европейском костюме, с задумчивыми глазами, добрым лицом, с хорошей простой улыбкой.

Этот индиец с вежливыми мягкими жестами приветствовал Бомпера, как старого знакомого.

— Вас прислал Шведенер? — спросил Бомпер, так как никого не ждал.

— К сожалению,— сказал с подчеркнутой вежливостью вошедший,— я не знаю никакого мистера Шведенера.

— Но вы пришли с каким-нибудь предложением?

Гость с достоинством улыбнулся:

— У меня нет никакого предложения, мистер Бомпер. Я не ошибся — вы мистер Бомпер?

— Да, это я, но я не имею чести вас знать...

— Меня зовут Рамачария. Я знаю вашу книгу «Игра теней». Вы написали ее?

— Я! — Бомпер пригласил гостя сесть. Теперь он вспомнил этого индийского писателя, про которого что-то смутно слышал, но книг его, конечно, никаких не читал.

И даже не мог бы сказать, о чем он пишет вообще и давно ли он писатель.

Бомпер закурил и предложил сигареты гостю, но тот, поблагодарив, отказался. Рамачария рассматривал его с дружеским вниманием. Потом он заговорил спокойно, медленно, с уважением:

— Простите, что я пришел к вам без приглашения для того, чтобы приветствовать ваш приезд в Индию. Я прочел вашу книгу. Теперь мне понятно, в каких поисках обновления духовного мира вы приехали в Индию. Я слышал, что в Европе сейчас увлекаются индийской философией, даже изучают систему дыхания йогов. Но, говоря серьезно, вас ждет в Индии прекрасный жизненный материал. Мы, индийские писатели, много пишем о своей стране, но голос европейского писателя — совсем другое. У него другой авторитет, его свидетельство о жизни нашей страны приобретает мировое значение. Мы вам покажем Индию такую, какая она есть. Мы ничего не будем прятать от вас. Вы узнаете радости и печали нашего великого народа...

Бомпер хотел возразить, но гость твердо сделал просительный жест — не прерывать его — и снова заговорил:

— Еще великий наш учитель Ганди сказал в свое время: «Я хочу такого искусства и такой литературы, которые могут говорить с миллионами». Наш народ страстно жаждет просвещения, света науки, в народной массе таятся сотни, тысячи настоящих талантов, которые еще покажут себя всему миру. Но как трудно живется сейчас народу! Я знаю, что всюду трудно, что три пятых человечества голодают. Ученые считают белковый голод самым опасным видом голода. Минимальная дневная потребность в белках человека — это семьдесят граммов животного и растительного белка. В Индии среднее потребление белков — всего шесть граммов в день, в то время как, например, в Японии — двадцать три грамма. В стране страшная нищета. Три миллиона туберкулезных. От постоянного недоедания даже животные становятся меньше ростом. Посмотрите, в Бихаре какие ослы — вы их примете за большую собаку. Голод — последствие жуткой засухи — уносит неисчислимые жертвы. Такой засухи не знали пятьдесят лет... У крестьян нет земли...

— Зачем вы мне все это говорите? — воскликнул, прервав его речь, Бомпер.— Какое отношение это имеет к литературе?

— Прямое, мистер Бомпер, самое прямое, демократия только тогда имеет власть в жизни, когда ее можно назвать экономической демократией. Надо именно рассказывать о помещиках, о ростовщиках, о спекулянтах, которые перекупают и прячут хлеб. О реакции, она против реформ, которые должны дать крестьянину землю. Сколько их, пустых земель, по всей стране! Надо дать землю и воду крестьянам...

Бомпер больше не мог выдержать. Он рассердился. Он ходил по комнате, потом снова сел.

— Зачем вы все это мне говорите? — повторил он.— Я не врач, чтобы исцелять больных, я не социолог, чтобы изучать недостатки вашего социального строя...

Индиец возразил невозмутимо:

— Но вы в вашем новом романе, в новой книге скажете всем об этом. И я вам помогу собрать великолепный материал, чтобы только правда в нем говорила полным голосом. Вы должны разбудить людей для больших исторических дел, для работ, которые поднимут миллионы на высоту современной жизни. Вы написали условную книгу — сказку, теперь вы создадите реалистический роман о том, как человек рвет путы, сковывающие его жизнь, его будущее...

Бомпер засмеялся почти добродушно. Ему показалось, что один из тех утренних велосипедистов вошел к нему, чтобы сказать, что он не хочет ехать к далекому горизонту и просит разрешения сломать свой велосипед.

— Почему вы смеетесь? — спросил, удивившись его смеху, Рамачария.— Вам, может быть, смешно, что я, индийский писатель, прошу вас написать роман, который мы должны были бы написать сами? Мы пишем, хотя я сознаюсь вам совершенно искренне, что еще не так хорошо знаем жизнь наших рабочих, но мы, я скажу не без гордости, мы имеем произведения мирового значения. Но раз вы здесь и будете писать об Индии — вы не можете плохо написать о людях нашей страны...

Бомпер нахмурился. Как заблуждается этот, по-видимому, добрый человек, называющий себя писателем.

— Послушайте,— сказал он, стараясь говорить медленно, чтобы в его словах не было обидного волнения и нажима,— вы слышали, что такое антигуманизм?

— Это что-то направленное против человека? — спросил Рамачария.

— Совершенно верно. Я хочу вам пояснить. Человек больше не центр мировой жизни. Вы сами говорите — он в массе голоден, нищ, грязен, болен. Так повсюду. Герой — это деталь прихоти воображения. Литература не имеет никакого соприкосновения с действительностью, с политикой. Все прошлые века перемолоты, и пыль развеяна. Мы сейчас в том периоде, когда человечество сменяет все, вплоть до отношения к космосу, к богу, к ощущению окружающего мира, к женщине, к морали, ко всем отмирающим чувствам. Чем больше будет хаоса, тем скорее явится новый мир.

Роман, о котором вы говорите, пригоден для кого? Европа настолько ушла вперед, далеко ушла, что возвращаться к содержанию, взятому из так называемой народной жизни,— это нечто такое, элементарнее чего трудно себе представить. Зачем роману нужен человек? Какая чепуха — какое-то действие. Это все было в прошлом, которое стало предрассудком. Мы идем сквозь материальную сторону жизни, свободные от повседневности. Шестидесятые годы будут бессвязными, беспокойными, с энергией, растрачиваемой во все стороны. Правда, для отсталой Азии такая форма, как бывший роман, еще сохраняет свою силу. Вы еще можете писать о человеке, но нам — передовым европейцам — человек ни к чему. Это тоже предрассудок. В мире наступила полная неустойчивость. Мир — это театр абсурда, это распад всего, что составляло ложное основание цивилизации. Мы, передовые писатели,— за распад. Пусть придет распад — в нем зерна будущего!

Он замолчал и смотрел, как Рамачария вынул платок и вытер пот со лба. Он был налит волнением, но сдерживался.

— Так вот что такое дегуманизация! — наконец сказал Рамачария.— Теперь мне кое-что ясно. Не все, нет, я, наверное, действительно отсталый человек.

— Да,— твердо сказал Бомпер, снова прохаживаясь перед гостем,— человек, повторяю, не центр жизни. Мы, как художники, должны встать над «человеческим». Искусство не обязано брать на себя защиту интересов человека. Сверхдействительное — единственное, что еще осталось,— мир сновидений!

— Но кто же вы? — спросил Рамачария, протирая свои очки и смотря на собеседника с жалостливой улыбкой.

— Я — проводник нечеловеческого! — ответил с вызовом Бомпер.

Рамачария грустно улыбнулся одними глазами.

— Я вижу,— сказал он после некоторой паузы,— что вы не отказываетесь от литературы, но вы все ваши усилия направляете на то, чтобы увести читателя, современного человека от реального мира с его глубокими трагическими проблемами. Вы хотите создать произведения-наркотики, полные литературного героина, которыми подмените настоящее искусство, но я не могу понять, зачем вам это нужно. Может быть, вы хотите, чтобы эти голодные люди впали в некий гипноз, вошли в мир призраков и забыли о том, что за стенами, например, кино, где кинофицированы ваши книги, где им покажут мир снов, есть жестокая беспощадная жизнь? Вы хотите, чтобы ваши читатели усыпляли себя сонной лихорадкой и скользили, усыпленные вами, в бездну, которая вполне реальна, потому что это бездна социальной несправедливости, бездна рабства и унижения человеческого духа...

Бомпер даже замахал руками перед лицом своего противника.

— Послушайте, я не хочу ничего знать ни о коррупции, ни о положении рабочего класса, ни о том, как укрепить ваш государственный сектор или как устранить голод в деревне, где ослы стали ростом с собаку, я не хочу знать ваших отношений с капиталистами и ростовщиками или найти довод, чтобы Китай перестал угрожать Индии...

Рамачария встал. Он с достоинством поклонился и сказал, направляясь к двери:

— Мистер Бомпер! Иностранцы, приезжающие в Индию, привыкли называть ее страной чудес. Но сегодня я услышал чудеса, которые появились с Запада. Я желаю вам успеха в ваших сверхчеловеческих поисках...

— А я,— сказал Бомпер,— желаю вам кончать с чепухой о человеке. Напишите в старом духе роман и назовите его «Последний роман о человеке». Это будет сенсация, и вы станете всемирно известны!

Рамачария раскланялся и тихо вышел из комнаты, ничего не ответив.

Когда Яков Бомпер в своих сомнениях достиг предела, подводя итог бесцельной своей поездки, не обогатившей его никакими ошеломляющими открытиями, и решительно

собирался прекратить дальнейшую растрату времени, появился Шри-гуша.

Он возник так неожиданно, бесшумно, незаметно, как будто вышел из стены. Обернувшись, Бомпер увидел перед собой человека, смотревшего на него с такой признательностью, с таким обожанием и с таким упорством, точно он давно был его преданным слугой и только особые обстоятельства разделили их в свое время, и теперь вновь наступило давно ожидаемое свидание.

Человек сказал:

— Намасте (здравствуйте). Я — Шри-гуша! — и сложил руки подобающим образом.

Что-то в этих приподнятых бровях, в жгучей темноте бронзового лица, в небритости щек, в черной, точно приклеенной шевелюре показалось Бомперу знакомым, и он от растерянности сказал:

— Ну и что!

Человек повел руками, приподнял плечи, сладко улыбнулся, сказал:

— Ача хай, шукрия (спасибо, хорошо)!

И тут Бомпер все вспомнил. Этот наглец тогда в «Моти Махале» рассматривал его так долго и откровенно, сидя за дальним столом. И чтобы ошеломить пришельца, он спросил:

— Это вы были в «Моти Махале» несколько дней назад? Я видел вас там и запомнил, да, запомнил. Это были вы?

Человек не выказал никакого удивления.

— Это был я! Я увидел вас со своим знакомым и долго решал, подойти или не мешать вашей беседе,— вот отчего я так смотрел на вас. И решил, что не подойду, не буду вам мешать...

— Так вы знаете Шведенера? — искренне удивляясь, спросил Бомпер. Так вот кого Ив послал к нему. Все было естественно.

— Да, я хорошо знаю вашего друга,— сказал Шри-гуша.

— Садитесь,— пригласил Бомпер и сам сел и предложил посетителю сигарету.

Тут же он вспомнил свой разговор с Рамачария и окинул подозрительным взглядом черный сюртучок и длинные узкие белые брюки Шри-гуши:

— А вы не писатель, не журналист? Как ваше настоящее имя? Как вас зовут — Шри-гуша?

— Шри-гуша,— с почти насмешливым полупоклоном ответил индиец.— Я не писатель. Писатель — вы, и вам нужны, как всякому писателю, особые переживания?

Лицо его стало непроницаемым. Он умолк, ожидая, что скажет Бомпер. И вдруг на Бомпера нашло раздражение. Он с некоторой резкостью начал говорить, что если Шри-гуша пришел предложить ему разные поездки и осмотры древностей, памятников, богов, разных Тадж-Махалов, то пусть поищет кого-нибудь в другом месте.

Шри-гуша осматривал его со спокойной сосредоточенностью.

— Вас интересуют живые ощущения,— сказал он без улыбки.— Начнем с самого легкого. Как мистер относится к красоткам и каких он предпочитает? Все прелести стран Востока к его услугам. И — Запада,— добавил он, помедлив.

«Однако,— подумал Бомпер,— это уж очень примитивно».

— Нет,— сказал он,— никаких красоток.

Шри-гуша не моргнул глазом.

— Восточные поэты хорошо воспевали то, что в таком спросе сегодня в свободном мире,— Ганимеды?

Бомпер удивился, но не показал удивления. Он сказал:

— Вы, видимо, где-то обучались по западному образцу. Откуда вы знаете про Ганимеда?

— Я окончил католическую школу... правда, не полный курс.

— Ганимеды не пойдут. Что еще?

— Есть очень просвещенные, богатые жены раджей. Это трудно, у них большие требования, но для такого знатного гостя я готов поискать...

Бомпер рассмеялся, представив в своих объятиях толстую размалеванную, в бриллиантах, красотку, у которой на крыле носа алмазная звездочка.

— Не ищите. Жены раджей — вчерашний день.

Шри-гуша пожал плечами.

— Я понимаю, что для писателя нужно что-то новое. Я могу свести с людьми, которые крадут девушек...

— Зачем? — спросил Бомпер.— Для себя, чтобы жениться на них?

В глазах Шри-гуши пробежал темный огонек.

— Нет, не для того. Девушек увозят в Сингапур. Их продают и дальше. Это опасное занятие. Если хотите познакомиться... Такие девушки бывают на вес золота.

Бомпер не заметил, как начал разговаривать со своим странным посетителем, как со слугой.

— Я вижу, уважаемый Шри-гуша,— сказал он насмешливо,— что у тебя большой выбор. Но я не занимаюсь ни гангстерскими фильмами, ни детективными романами.

— А я очень люблю детективы,— сказал Шри-гуша,— я хожу в кино только на них...

Бомпер пропустил эти слова мимо ушей.

— Что у тебя еще есть?

— Есть особые, ни на что не похожие удовольствия...

— Именно? Что ты хочешь предложить искушенному европейцу?

— Помимо того, что идет в ход сегодня в Европе и в Америке, кроме героина, которого везде много?

— А! Ты знаешь даже о героине?

— Шри-гуша не был бы Шри-гушей, если бы он не знал таких простых вещей. Кроме героина, ЛСД, опиума, гашиша, анаши, есть неизвестные, чисто индийские наркотики. Писатели любят их, я знаю. Вам они дадут также такие переживания, какие вы нигде не получите. Устроит вас это? Подобного вы не найдете нигде в мире. Шри-гуше вы скажете благодарственные слова. Вы скажете: «Ты ввел меня в рай! Я не думал, что есть такое на земле...»

Бомперу стало весело. Он даже похлопал по плечу Шри-гушу и странно — такое мягкое, вялое с виду плечо было железным, точно под сюртучком была кираса.

— Шри-гуша, несколько дней назад в этой комнате я сказал одному человеку, что литература Индии отстала. Теперь я вижу, что чудеса, которые ты предлагаешь, тоже вчерашнего употребления. Ни намека на что-то современное... вне обычной нормы...

Шри-гуша вздохнул, точно напрягая память и ища там нечто необыкновенное. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза Бомперу:

— Я могу вам предложить то, чего нет в Европе и нигде...

— Что же это такое?

— Святая!

— Что? — сказал, не понимая, Бомпер.— Кого ты предлагаешь?

— Я предлагаю святую женщину!

— Что она из себя представляет? Старая ведьма?

Шри-гуша покачал головой:

— Она молода и она святая!

— Не надо святой, я не хочу святую, она пахнет ладаном,—усмехнулся Бомпер.— Я вижу, твой список кончается, Шри-гуша!

— Нет, мой список никогда не кончается,— упрямо сказал Шри-гуша.— Тогда не святая. Есть дочь баядерки и сама баядерка, танцует старые танцы, какие танцуют на стенах храмов в Каджурахо. Вы знаете, что это за танцы. И потом вы напишете свое имя, и она, как это делала и ее мать и бабушка, попросит лучшую татуировщицу перенести вашу подпись на свое тело, чтобы память о вас осталась навсегда. Если вы доставите ей удовольствие, ваше имя будет наколото поближе к сердцу. Это очень сенсационно! — неожиданно добавил он.

Бомпер стал серьезным.

— Прекрати, Шри-гуша, я понимаю, что все это заслуживает самого пристального внимания и все это стоит хороших денег. И многие иностранцы будут благодарны тебе, что ты введешь их в так называемые тайны Востока, о которых приятно вспоминать дома в дружеской мужской компании. Это есть в каждой стране. Но мне нужно такое, чего не бывает... Понимаешь, в чем разница?

— О! — Шри-гуша даже встал.— Я понимаю, чего вы хотите. Вам не интересны люди?

— Правильно, люди мне не интересны. Это ты угадал верно...

— Ача хай, тогда остаются животные...

— Животные? Что ты хочешь сказать, Шри-гуша?

— Заколдованный осел, священный гусь, священная утка — птицы богов и сами божества...

Бомпер захохотал. Он стоял посреди комнаты и хохотал, не сдерживаясь, а Шри-гуша с каменным лицом смотрел на него, не зная, что сказать.

В эту минуту раздался громкий женский крик. Кричала женщина где-то очень близко. Крик был испуганный и негодующий. Шри-гуша и Бомпер выбежали в коридор. На другой стороне коридора была настежь раскрыта дверь, и туда бежали люди.

Все они толпились у окна. Хозяйка комнаты — индианка с черными распущенными по плечам волосами, в золотистом сари, молодая, стройная, высокая, с выгнутыми

бровями,— кричала, показывая в окно тонкими пальцами в перстнях:

— Вот кто вор! Вот кто украл! Смотрите! Смотрите!

Бомпер увидел зрелище, смешное и удивительное для него. Против окна, на карнизе противоположного фасада отеля, сидела небольшая рыжевато-серая обезьянка. Она держала в лапке зеркальце, а другой лапкой мазала себе помадой губы, попадала по носу, лизала помаду и тут же, положив ее рядом, хватала пудру и обмахивала себя пудрой, слизывая ее с лап и отплевываясь.

— Это моя помада, это моя пудреница! — кричала женщина.— Она украла, а я ведь думала на прислугу. Вот бессовестная. Отдай!— кричала она, как будто обезьяна могла понять, о чем она кричит. Обезьяна не обращала внимания на крик и наслаждалась своими приобретениями. На карнизе, свесив ноги, она показывала язык людям. Бомпер был единственным европейцем в комнате. Индийцы, вбежавшие при крике, постепенно удалились. Остались служащие отеля, которые переговаривались между собой. Но потом ушли и они.

Шри-гуша исчез так же неслышно, как появился. Бомпер смотрел с чувством школьника, наблюдающего за чужой дерзкой проказой. Он высказал свое сочувствие индианке. Она посмотрела на него большими испуганными и смеющимися глазами и начала поспешно говорить:

— Я заметила, что у меня сначала пропала пудреница, а потом и помада. А сегодня утром и зеркальце. Я думала — взяла прислуга. Но я не могла поверить, что в таком отеле прислуга способна на это. А сегодня подхожу к окну, и эта бестия сидит, и посмотрите, что она делает с моей помадой...

Тут она сказала без всякого перехода:

— Но вы не знаете, кто я. Простите! Меня зовут Мануэла Франческа Мария де Перейра. Меня можно звать просто Нуэлой. Вас я знаю, вы — Яков Бомпер.

— Откуда вам известно мое имя?

— Я видела ваш портрет в газете и читала ваше интервью.

— Да, это было,— сказал он не без удовольствия.

— Нет, посмотрите, что делает эта негодяйка! — снова закричала она. К обезьяне подбиралась по карнизу другая, и при виде соперницы владелица пудреницы и зеркальца засунула их под хвост и села на них, а помаду запихала за щеку.

Бомпер, скрывая смех, взглянул на Нуэлу другими глазами. В своей бессильной ярости она грозила кулаком обезьяне, смотревшей на нее с сожалением и грустью. Нуэла призывала проклятия на голову похитительницы и была прекрасна, как те женщины, которые танцевали на фресках Эллора и в редких ночных ресторанах нового Дели....

Синяя записная книжка была раскрыта, и в нее было занесено посещение Шри-гуши с соответствующими комментариями и знакомство с Нуэлой. Бомпер писал: «Она очаровательна. В ней есть что-то от дикого зверька и искра древней цивилизации, занесенной на индийский материк воинственными соратниками Васко да Гамы. Она родилась в Гоа, который только недавно перестал быть колонией. Она из португальской старинной семьи. Ее мать знатная индианка, а отец богатый негоциант, умерший на Майорке, где он жил с ее матерью. Она так простодушно рассказывала о своем детстве под старыми баньянами, среди ручных попугаев и серн. Ее в семье почему-то прозвали Жузекой. Она приехала из Англии, где учится, навестить свою тетю и задержалась у знакомых и у друзей, каких у нее много в Дели. Она болтала так вкусно, так наивно, что от прежней ее злости ничего не осталось. Мы говорили о нравах животных. За завтраком, мы завтракали вместе, она смеялась проделкам этих маленьких лукавых хищниц-обезьянок, которые, влезая в открытые окна номеров с карниза, похищают всякие предметы. Слуги вернули Нуэле отнятые у обезьянки помаду, пудреницу и зеркальце. Помада была негодна к употреблению, пудра переменила цвет от соприкосновения с обезьяньей мордочкой, но зеркальце было цело. Оно было воспоминанием, и поэтому Нуэла была рада, что оно вернулось к ней.

Я рассказал Нуэле за ужином, мы вместе ужинали, что был в Париже свидетелем, как три обезьяны, считающиеся художниками, рисовали портрет восемнадцатилетней мисс Португалии, и это было очень мило. Они заглядывали в мольберты соседа и срисовывали то, что там было изображено фантазией их коллег. Они не были реалистической школы, но сама мисс Португалия чем-то походила на Нуэлу. Мой комплимент пришелся ей по душе. В ней есть очарование, а ее душные черные волосы — опьянение. В ней есть все, что нужно европейцу от дочери Индии

и европейского юга. В конце концов, моя мать была итальянкой и тоже из мест еще южнее Португалии...»

Он писал: «Виделся со Шведенером. Были в гостях у его приятеля. Он советует ехать в Непал. Там есть снежный человек и далай-лама, бежавший туда из Лхассы. Из этого сочетания может получиться кое-что интересное. И там можно узнать про какую-то таинственную страну — Шамбалу, в которой никто не умирает. Боюсь, что это скучно, но можно попробовать».

Через несколько дней после первого посещения Шри-гуша пришел поздно вечером, когда Бомпер уже собирался спать. На этот раз он был мрачен и даже волосы его были всклокочены. Он имел вид тайного убийцы. Бомпер хотел было прогнать его, ссылаясь на поздний час, но Шри-гуша был так взволнован, что Бомпер молча указал ему на стул и стал ждать, что будет.

Шри-гуша начал глухим, невеселым голосом:

— Я много думал о нашем разговоре и должен принести свои глубокие извинения, я не понял всей глубины исканий такого большого писателя и знатока душ, как Бомпер. Теперь я хочу загладить свою вину и ошибку. Но теперь с вашей стороны,— сказал он,— нужна полная серьезность и даже клятва.

— Клятва, в чем? — скучно спросил Бомпер.— Опять какое-нибудь предложение? Я хочу спать!

— Если вы дадите клятву, что никто никогда об этом не узнает, я открою вам одну тайну, и она вас обогатит духовно, даст вам тему, какой еще не было ни у кого!

— Подумай, что ты говоришь, Шри-гуша. Ты даешь тему, чтобы я писал о тайне, и в тоже время берешь клятву, чтобы я ни единым словом не выдал эту тайну.

— Вы,— сказал Шри-гуша,— в Индии не откроете никому этой тайны, а в Европе, где вы об этом напишете, это примут за ваше изобретение, и вам будет честь и слава...

Бомпер почесал нос. Его начала привлекать эта нахальная уверенность Шри-гуши.

— Но я должен знать, в чем дело. Давать клятву, просто так — это похоже на розыгрыш.

Шри-гуша молитвенно сложил руки:

— Если не будет клятвы — ничего не будет.

Бомпер подумал, что для него, собственно говоря, для

человека, лишенного всех предрассудков, что стоит произнести несколько ничего не значащих слов. Но Шри-гуша сказал:

— Если вы нарушите клятву — вы умрете.

— Меня убьют? — спросил Бомпер равнодушно.— Ты убьешь меня?

— Не знаю,— уклончиво ответил Шри-гуша,— в этом деле все, кто прикоснулся к нему, отвечают своей жизнью. Это серьезно, иначе бы я не пришел к вам.

— Чем же клясться, имей в виду, что я неверующий и отдельного бога для меня, как и вообще всех богов, не существует. Чем же мне клясться?

— Клянитесь своей жизнью!

— Шри-гуша, это мне не нравится. Я боюсь, что за этим нет ничего серьезного и я буду просто смешон перед самим собой. Конечно, о таком смешном поступке никому не расскажешь. Так как?

— Клянитесь! — упорно повторил Шри-гуша.

Бомпер вынул свою синюю записную книжку, положил ее перед собой и сказал, на этот раз без иронии:

— Положа руку на эту книгу, где все мои замыслы представляют для меня священную землю будущего, моей новой книги, клянусь своей жизнью хранить тайну о том, что услышу от человека по имени Шри-гуша! Хватит? — спросил он, убирая книжку в карман.

— Нет,— сказал Шри-гуша,— добавьте: зная, что разглашение тайны — моя смерть!

— Хорошо! — Бомпер криво усмехнулся; несмотря на то что он хотел уверить себя, что все происходящее — дурной спектакль, он чувствовал присутствие какого-то волнения.— Хорошо,— сказал он,— зная что разглашение тайны — моя смерть!

— Теперь все,— сказал Шри-гуша. Он стал надменен и, глядя безжалостными глазами, произнес тоном заговорщика: — Теперь сядьте ближе. Слушайте меня внимательно. Это ритуальная тайна. В нее посвящены немногие. Вы — первый из европейцев, который узнает про это. Вы видели на днях, как из комнаты одной женщины в этом отеле обезьяна похитила зеркальце, пудру и помаду...

— Я ничего не понимаю,— сказал растерянно Бомпер. После торжественности клятвы переход к простой мартышке показался ему чересчур странным...

— Сколько, по-вашему, в Индии обезьян? — спросил Шри-гуша, понизив голос.

— Я не знаю,— сказал Бомпер,— меня это не интересует.

Шри-гуша пропустил мимо ушей его слова.

— Обезьян в Индии десятки миллионов. Они живут в лесах, на полях, в городах и селениях. У них свои обычаи, свои законы. И сейчас настал Час обезьян. Как к людям приходил Великий Учитель, так к обезьянам пришел Великий Обезьян — их Вожак. Вожак, который поставил своей целью объединить всех обезьян Индии, и дело объединения крепнет день ото дня...

— За кого ты меня принимаешь, Шри-гуша,— воскликнул в негодовании Бомпер,— чтобы я поверил в такое!..

— Вожак имеет всюду своих агентов, и посвященные люди следят за тем, как идет дело. А дело идет!

Бомпер на минуту закрыл глаза. Черт возьми, даже если это блеф, то сама идея неплоха. Такого еще не было. Объединение всех обезьян и их союз с посвященными людьми. В этом что-то есть. Стоит рискнуть. Вот где начинается настоящая Индия.

— Но скажи мне, Шри-гуша, как ты мне докажешь, что у обезьян есть организация, что есть вожаки, пусть хоть самые маленькие...

— Завтра же вечером вы увидите это своими глазами. Только помните, что вы увидите лишь первую ступеньку организационной лестницы.

— А затем?

— А затем вы увидите самого Великого Вожака обезьяньего народа. Лично увидите и будете единственным европейцем, посвященным в эту тайну.

Когда Шри-гуша ушел, Бомпер еще долго шагал по комнате. Он сказал, обращаясь к желтым гекконам, бегавшим по потолку и по стенам:

— Вы жалкие черти, потомки желтой жабы, что вы понимаете! Яков Бомпер таки добился своего. Вот из чего будет расти моя книга!

Унылые низкие постройки старых заброшенных складов серели неподалеку. Широкая луговина с вытоптанной травой была чуть выше их.

У столетнего баньяна, раскинувшего во все стороны свои гигантские ветви, Шри-гуша и Бомпер остановились. По траве бродили куры, и петух сопровождал их, лениво оглядываясь на пришедших.

— Свертки с орехами вы держите под мышкой, не кладите их в карман,— сказал Шри-гуша.

Внизу, по ту сторону ручья, они купили в лавчонке много свертков с орехами арахис, чтобы не прийти в гости с пустыми руками.

В вечерней тишине поляна выглядела скучно, обыкновенно и пустынно. Нигде не было видно ни одной обезьяны. Шри-гуша пошел к стене склада, подняв высоко пакетики с орехами. Он ходил перед стенами, потрясая мешочками, и кричал: «Свам! Свам! Свам!»

Бомпер не углядел, как появились первые обезьяны. Они шли, закрывая глаза ладонями от солнца и присматриваясь к людям.

Им бросили горсть орехов. Они издали какие-то призывные крики. Появились еще кучки обезьян. Им бросали орехи, иные хватали их, но большинство не приближалось. Смелые одиночки обошли людей с тылу. Бомпер поймал маленькую волосатую руку, залезшую к нему в карман.

— Свам! Свам! Свам! Ао! Ао! — звал их Шри-гуша, но что-то останавливало обезьян. Они все время оглядывались на безмолвные старые стены складов.

— Они ждут сигнала вожака,— сказал Шри-гуша.

— А почему же он не идет?

— Потому что он спит, а будить его можно только в случае чего-то серьезного.

— То есть?

— Вот когда эти убедятся, что вызов не ложный, что у нас орехов на всех хватит, тогда можно будет будить вожака. Без его разрешения не смогут все прийти к нам.

Шри-гуша и Бомпер показали все ореховое богатство, которое было в их руках. Тогда к стене помчалось несколько самых быстрых гонцов. Они в минуту вскарабкались на стенку и исчезли за старыми бойницами, помнившими еще пятьдесят седьмой год, времена Нана-Сагиба.

Спустившиеся обезьяны жались кучками. Матери, подвесив к шее младенцев, ждали сигнала ринуться за лакомством. Над стеной показался большой хозяин. Толстый, жирный, почесывая живот, зевая со сна, он сначала угрожающе посмотрел по сторонам, точно выбирая, кому дать затрещину за нарушенный сон, но, увидев поднятые мешочки, не торопясь перенес мохнатую ногу через стену. Он ловил железную скобу, вбитую в стену, и, поймав

ее, утвердившись толстой пяткой, повернулся и скользнул вниз, не без достоинства появившись среди своего обезьяньего клана.

На земле его подхватили две обезьянки, но, ступив несколько шагов, он отбросил их и пошел, выше всех головой, к Бомперу и Шри-гуше.

За ним повалил весь обезьяний сброд, таившийся за стенкой. Вожак шел прямо к Бомперу, точно это был его стрый знакомый. Он подошел совсем близко и показал ладонь. Потом протянул ее, и Шри-гуша сказал:

— Пожмите ему руку, поздоровайтесь с ним!

Бомпер не без смущения наклонился к маленькому волосатому человечку и пожал ему теплую жесткую, с подушечкой посередине, лапу. После этого рукопожатия вожак оглядел все свое войско, толпившееся за ним, и снова протянул лапу. Ему клали на ладонь орехи, и он отправлял их в защечные пазухи, не ел, а наполнял рот орехами. И когда уже рот был полон, щеки оттопырились, он быстрым прыжком вскочил, как испытанный гимнаст, на выступ баньяна, откуда выходили два ствола, уселся там поудобнее, немыслимым образом вывернув ноги и облокотившись на пятки, стал смотреть, как его подданные бросились драться за орехи, отнимать их друг у друга, жадно есть, кувыркаться, галдеть, щипаться, толкаться, тесниться у баньяна.

Вожак не обращая внимания на обезьян, щелкал свои орехи, выплевывая скорлупу. Куры клевали тут же, только одна обезьяна схватила за хвост петуха, и тот, вырвавшись, крича, отбежал за куст.

Тут откуда-то издалека донесся собачий лай, и через поляну промчалась собака, за которой гналась целая стая диких псов. Они ворвались в ряды обезьян и, огрызаясь налево и направо, мчались за своим врагом, который вовсю удирал к оврагу за складами. Обезьяны визжали и кидали в собак камнями и сучьями.

Вожака ничто не могло вывести из его спокойствия. Бомпер смотрел на него и находил, что он действительно повелевает своим кланом. Когда все орехи были съедены, он дал сигнал, протяжно взвыв, и вся волосатая банда, видя, что пиршество окончилось, побрела к складам, обмениваясь впечатлениями на обезьяньем языке.

Поляна опустела. Огромный баньян, засыпая, взирал на то, что он видел уже многое множество раз за свою добрую сотню лет.

Бомпер вернулся в отель. Перед ним только что раскрылась маленькая дверь неизвестного ему мира, где есть свои нравы и деспоты с узкими жестокими глазками, с железными маленькими руками, а за ними стоит притворившийся непонимающим народ, живущий на полной свободе в городе, который приобщен к передовой цивилизации. Этих обезьян можно взять в ночной ресторан и напоить дорогим джином! Как-то им понравится это и что они будут делать, танцуя с женщинами?

Вечером пришел Ив Шведенер, и они долго сидели и пили джин. Шведенер рассказывал всякие новости про очередной американский заговор, а Бомперу было все равно. Он думал о своей клятве и о загадочном Шри-гуше. Ему страсть как хотелось все рассказать Шведенеру — вот бы он посмеялся,— но почему-то воспоминание о данной им клятве сдерживало его, и он снова пил и курил и слушал Шведенера.

Шведенер ушел поздно, и он проводил его до машины. Ив уехал на своей «Симке», а Бомпер возвращался к себе, мирный, немного пьяный, вполне довольный своим времяпрепровождением. Когда он почти достиг своего номера, в коридоре погас свет.

В наступившей темноте он остановился, но решил, что ощупью доберется до своей комнаты. Он попал на какую-то раскрытую дверь. Удивительно, кто это открыл дверь его номера. А может, это вовсе не его номер?

В ту же минуту его руку схватила жаркая тонкая рука и голос, такой непонятный и такой знакомый, прошептал на ухо: «Я боюсь. Я прошу — помогите. Шорох в углу — слышите. Опять пришли обезьяны. Я боюсь! Я боюсь!..»

Он шагнул, споткнулся и упал на диван. Над ним возникло что-то очень легкое, воздушное, опьяняющее какими-то запахами садов из старого Гоа. Горячие губы пробежали по его щеке. Что-то с певучим шорохом падало вокруг него, и темнота становилась ласковой и всепроникающей. Он сказал: «Нуэла!» — и утонул в синем озере ночи, а где-то шуршали обезьяны. Пусть они крадут снова пудреницу. Пусть унесут и зеркальце. Сейчас не до них. А завтра разберемся!

...Вихрь новых переживаний захватил Якова Бомпера. Индийская весна ликовала вокруг. Пожухлая листва валялась на лужайках, а новые цветы, пахнувшие всеми ароматами неизвестных, стран, украшали аллеи. Даже бе-

лые волны велосипедистов, проносящихся по утрам, не казались мчащимися в бездну, а стремящимися к каким-то скрытым радостям, ожидающим их за домами и садами города, в бескрайних весенних просторах.

Даже женщины Ладака, сидевшие с каменными лицами в черных одеждах, улыбались приветливо и обещающе. Даже подражавшие йогам люди, прихотливо изгибавшие свое тело на рассвете на пустых газонах, казалось, делают свои упражнения от избытка радости, не зная, как выразить свой восторг; птицы кричали в ветвях старых тамариндов, акаций, баньянов, призывая к играм, к любовным утехам, к веселью.

Нуэла была настоящим выражением весенней радости. Гибкая, жаркая, певучая, с вишневыми губами, с большими глазами, удивляющимися всему, глядевшими на мир с наивным восторгом молодости, она увлекла Бомпера с собой в сферу, какую он любил создавать в своем воображении. Тут были ночные рестораны, где все походило на женевские ночи; тут были и танцы, Нуэла знала все современные танцы; тут было удобство рядом расположенных комнат, и казалось, что все, что происходит, происходит уже в его книге, где девушка, ищущий радости иностранец и таинственный Вожак обезьян составляют основу будущего сочинения, сплетаясь в такую тонкую сеть ощущений, что распад всего существующего сладостен и приятен. Тонуть в этом море неожиданного, не думать о завтрашнем дне — нельзя придумать лучше.

Иногда они хорошо выпивали со Шведенером, когда не было Нуэлы, но он не рассказывал своему другу о найденном им искушении, которому он поддался. Он сочинял басни о том, что он изучает жизнь старого туземного города, что он нашел богатый материал и не раскаивается больше.

Нуэла была ровно весела, радовалась, как птица, умела шутить, обладала тайной особого обаяния, не надоедая, не утомляя болтовней, не досаждая требованиями подарков или удовольствий. Она исполняла все желания Бомпера, гуляла с ним помногу по городу, толкалась на базаре, ездила в Красный Форт, она не боялась, что встретится со знакомыми. Наоборот, она как будто хотела показаться с Бомпером открыто, на всех людных улицах, ничего не скрывая, сидеть с ним в кино, в кафе и ресторанах.

Раз утром слуга подал Бомперу записку, написанную на толстом листе бумаги печатными буквами.

Бомпер, ничего не понимая, прочел: «Вторая ночь полнолуния даст благоприятный ветер. Море спокойно. Земля ждет и готова».

Он еще раз перечел ее и положил в карман. Ему показалось, что, когда он читал записку, какой-то мужчина прошел по коридору, на минуту задержался, а когда Бомпер хотел спросить его в чем дело, он исчез.

Появился пропадавший уже неделю Шри-гуша. Он мало что принес нового, но сказал просто: «Надо ехать в Джайпур. Он — там!»

Бомпер понял, о ком шла речь. Ему не хотелось посвящать Шри-гушу в свои отношения с Нуэлой, и, собственно говоря, не очень хотелось вообще ехать куда-нибудь от блаженных вечеров и ночей в Дели. Да и Обезьян, хотя он и Вожак, не так уж был нужен ему, но он клялся своей жизнью...

— Когда нужно ехать в Джайпур? — спросил он без всякого волнения.

— Завтра утром!

— Сколько времени займет поездка?

— Это зависит от вас. Несколько дней, я думаю.

— Это далеко?

— Сто девяносто миль от Дели. Я устрою машину.

Он хотел уйти, но Бомпер остановил его, вспомнив про записку. Он дал ее прочитать Шри-гуше. Пока Шри-гуша уже в коридоре читал записку, по коридору снова прошел как будто тот же человек, что уже останавливался утром перед комнатой Бомпера. А может быть, это только показалось.

Шри-гуша прочел записку, хмыкнул что-то про себя, сказал:

— Пустяки. Это реклама бродячего предсказателя. Они гадают на улицах и заходят в отели, ловят доверчивых. Эти бродячие звездочеты любят говорить о непонятном. Порвите записку. Это будет самое лучшее.

Бомпер порвал записку и бросил ее в корзину.

— А вы сами не будете никому писать о нашей поездке? — спросил Шри-гуша.

— Может быть, Шведенеру, чтобы он не беспокоился, куда я пропал...

— Не пишите ему. Он будет предупрежден другим способом. А кроме Шведенера — никому?

— Никому,— сказал Бомпер,— мне писать больше некому.

— Вот и хорошо,— сказал Шри-гуша,— значит, до завтра!

Когда он ушел, Бомпер постучал в номер к Нуэле, но вспомнил, что она сказала ему накануне, что уезжает на два дня к подруге за город и вернется, значит, только тогда, когда он уже будет на пути в Джайпур.

Тогда он написал ей записку, где просил прощения за то, что несколько дней будет в отсутствии, по очень срочным делам, и для него двойной радостью будет снова ее увидеть. Он просунул записку под дверь. Он нарочно не указал, куда уезжает. Этого знать ей вовсе не нужно.

Он плохо спал эту ночь. Он досыпал в машине, которая несла его и Шри-гушу по дороге в Джайпур. Показывая на водителя — высокого сикха в огромном желтом тюрбане, Шри-гуша сказал ему тихо: «При нем мы не будем говорить о нашем деле». И тоном гида, равнодушно металлическим голосом он начал:

— Мы сейчас едем еще не Раджастаном. Он впереди. Он начнется за Алваром.

Бомпер перебил его:

— Знаешь что, Шри-гуша, я плохо спал эту ночь, и давай условимся: я буду спать сейчас, а ты разбудишь меня, когда мы въедем в Раджастан.

И Бомпер крепко заснул. Сны его не имели никакого отношения к Индии. Он ушел по берегу красивой зеленой Арвы, сидел на лужайке у площади цирка, и из полотняных входов цирка шапито выходили белые лошади в черных фраках и танцевали при луне какой-то вальс, а море было спокойно. На озере бил неиссякаемый фонтан и лебеди плыли бесконечной стаей, а когда они подплывали ближе, они превращались в поток белых велосипедистов, пересекавших озеро при луне... Бомпер спал долго и проснулся сам. Он не сразу понял, где он. По бокам дороги бежали скучные пустые поля. У колодцев стояли женщины, в поле, согнувшись, работали крестьяне.

За пыльным шлагбаумом, у которого остановились несколько грузовиков, начинался Раджастан. Теперь в деревнях стали попадаться женщины в желтых, красных одеждах. На головах они несли медные сосуды, поставленные один на другой. Проехали город Алвар, миновали крошечную железнодорожную станцию.

Пошли холмы с заброшенными старыми крепостицами, ставшими руинами. Опять поля, и на полях были видны простым глазом бесчисленные норки полевых мы-

шей. Серые и красноватые, вдали подымались песчаные горбы. В лицо бил горячий ветер. Было сумрачно, одиноко, сурово.

Это одиночество подчеркивали грязные, лохматые грифы, сидевшие у дороги на старых, иссохших деревьях, с ветвями, похожими на искривленные слоновые бивни.

Мелькнул древний водопровод. Шли часы. Бесстрастный, неразговорчивый сикх-шофер вел машину уверенно и молчал, как немой. Только проехав два каменных столба, возникших неожиданно на дороге, он громко объявил:

— Ворота княжества Джайпур!

За долгие часы пути они видели море кустарников, лес и степи. Холмы сменялись пустынной саванной. Кое-где торчали колючие акации, настоящие робинзоны пустыни, окруженные мелким кустарником.

Проехали саванну, поражавшую отсутствием воды. В пустых речных руслах белели пятна соли. В глаза бросалось огромное количество пустых земель.

Неожиданно замелькали журавли колодцев, овечьи отары, поля пшеницы. Машина с хрустом лезла по камням на какой-то крутой массив. За этим неуютным откосом сбоку виднелся старый карьер мрамора. И почти сразу возник Джайпур, узкие улицы, двухэтажные дома.

Шум улиц, пестрота костюмов. Был уже вечер. Шри-гуша все-таки взял на себя роль гида. Он говорил, подражая настоящим гидам, монотонно и звонко:

— Джайпур довольно населенный город, основан раджой Сингом Вторым в начале восемнадцатого века. Это был выдающийся полководец и вместе с тем замечательный ученый-астроном... Вы увидите его обсерваторию, она сохранилась...

— Шри-гуша,— сказал Бомпер,— ты можешь перестать. И оставить все эти сведения при себе...

Шри-гуша метнул взгляд на шофера: «Надо не привлекать к себе внимания».

В старомодном отеле, хранившем воспоминания о временах вице-королей времени Виктории, Шри-гуша, устроив Бомпера в номере, не имеющем ничего общего с делийским отелем, где жил Бомпер, сказал:

— Отдыхайте, обедайте. Я приду не раньше позднего вечера. Мне, как вы сами понимаете, нужно сделать важные дела.

Бомпер остался один. Он лежал на старом матрасе, на котором до него находили отдых тысячи путешественни-

ков, и рассматривал противомоскитную сетку не первой свежести. Но у него было повышенное ощущение окружающего, так как он приблизился к чему-то неведомому. Перед ним уже витали комбинации будущей книги. Он отдохнул после дороги, потом встал, помылся, привел в порядок костюм, пообедал с аппетитом и в каком-то почти торжественном настроении стал ждать вечера.

Когда луна поднялась высоко над городом и розовостенный Джайпур засиял, засветился бесконечными огнями лавочек, базарных палаток, магазинов, домов, гостиниц, явился Шри-гупта.

И они отправились, важные, как паломники, к месту, где случится нечто. Между разряженными людьми в разноцветных одеждах, удивляясь отсутствию у женщин сари,— женщины носили кофточки ярчайших цветов и юбки широкие, черные, полосатые, красно-сине-желтые,— Бомпер шел не торопясь, все рассматривая по сторонам. Мужчины блистали высокими цветными тюрбанами. Когда Бомпер очутился в самом разгаре, в самом шуме, в самом пекле базара, он заметил, что с ними идет еще один человек. Это был не случайно присоединившийся бродяжка, какие охотно навязываются в проводники, это человек, хорошо знающий Шри-гупту, потому что он говорил с ним совершенно так, как говорят равные и старые друзья. Шри-гупта в окружающем гуле что-то объяснял ему, и тот внимательно слушал.

Так они пробирались долго, пока не возникла перед ними площадь и луна над большими старыми зданиями. Здесь проходили верблюды, кричали продавцы, проезжали тележки, запряженные зебу, но Бомпер смотрел только перед собой, потому что то, что он увидел, захватило его целиком. Перед ним возвышалась ярко освещенная луной какая-то оранжевая громада.

— Хава-Махал! Дворец Ветров! — воскликнул Шри-гупта, и его спутник повторил: «Хава-Махал!» Из его груди вырвался даже какой-то восторженный вопль.

Горой блестящего розово-оранжевого цвета, переходящего в голубовато-изумрудный, возвышался дворец, не имевший себе равных.

Он состоял из неисчислимого количества крытых балконов, резных выступов, украшений, чудесных ниш, узоров. Он казался выдуманным, несуществующим, созданием причудливого лунного света. Еще покрасуются немного эти воздушные сочетания легко дышащего розово-

зеленого камня и исчезнут, рассыплются изумрудным прахом, и прах поднимется облаком над городом. А на другой вечер снова придут люди, и причудливое облако снова опустится на землю и превратится в роскошный, как сновидение, дворец, обвешанный тысячами колокольчиков, которые все звенят по-разному.

Пока Бомпер наслаждался диковинным зрелищем, порыв ветра налетел откуда-то из пустыни, точно для него, Бомпера, специально подул этот ветер. Дворец зазвенел.

Содрогнулись в звоне и как бы стали меняться в цвете все эти причудливые выступы, и окна, и балконы, и балкончики, и зашатался сам базар и люди перед дворцом. Дворец запел всем своим корпусом, точно он нес к звездам хвалу неведомому.

И тогда Шри-гуша схватил Бомпера за руку, сжал ее с силой и, показав ему куда-то вверх, воскликнул:

— Смотрите!

Бомпер взглянул, и у него захватило дух. На огромной высоте над бездной площади, над городом, на самом крайнем выступе дворца, сидела фигура, стройная, какая-то юношеская, скрестив руки и опустив в пропасть одну ногу. Она сидела, возвышаясь над суетой людей и огней. В ней было что-что от незапамятных времен. Это была обезьяна, неподвижная, как будто она была, как и дворец, высечена из такого же розоватого, зеленоватого под луной камня.

— Су́ндар! — закричал Шри-гуша изо всех сил, и Бомпер поразился силе его голоса.— Су́ндар! — загремел снова его голос, и вдруг в наступившей тишине обезьяна обернулась и стала вглядываться в толпу, точно желая отыскать позвавшего ее. Тут началась непонятная свалка, и Шри-гуша увлек Бомпера в самую гущину толпы, прочь от колдовского места...

В синей записной книжке Бомпер с увлечением записывал свои последние впечатления от Джайпура: «Я не буду ничего подтверждать, я не буду ничего доказывать научно. Мне важно не это. Вожак существует. Я видел его вчера сидящим на выступе Дворца Ветров. Это было существо другого мира. Я выяснил, он из породы серых хануманов, но очень большой, небывало крупный экземпляр. Его собратья питаются плодами и зернами, молодыми побегами. Я не знаю, чем питается он, где живет, что делает. Я верю в него, потому что он нужен для моей книги. Я сей-

час вспоминаю Кафку с его рассказом «Отчет для академии», где обезьяна очеловечилась. Как она сама признается, она достигла уровня среднего европейца. Откуда мне знать, на каком уровне этот серый хануман. Но он увлек мое воображение, и я хочу видеть его, общаться с ним. Шри-гуша прав — он ввел меня в мир таких ощущений, который скрыт от обычной действительности высокой стеной. Но я уже за стеной и вижу вещи, которые даже скептики относят к разряду необъяснимых».

Джайпур был выбран серым хануманом не зря. Это был город, в котором животные и птицы жили вместе, вперемежку с людьми. Обезьяны ходили по улицам, держась за лапы; они сидели на стенках длинными рядами и подсмеивались над проходящими людьми; они шли по лавкам, запуская лапы в мешки с орехами, выбирая лучшие бананы из висящих связок; они чесались посреди улицы, не стесняясь народа; входили в дома и бродили по крышам.

Над ними летали несметные стаи голубей. Стояли павлины, распустив хвост и хрипло призывая друг друга. Нильгау, робко поводя большими лиловыми глазами, просили у людей ласки. Кошки неистово мяукали, и им отвечали бесчисленные птичьи голоса. По ночам разноголосо и грустно завывали и плакали шакалы.

Небывалый город Джайпур был еще городом, преданным всем сумасшедшим страстям людей, выделывающих прекрасные вещи из мрамора, слоновой кости, из бронзы, разноцветного стекла, золота и серебра.

Кругом жили мастера всех возрастов и талантов, можно было наблюдать, как рождаются на свет костяные изображения богов, блестящие браслеты, кольца, шахматные фигуры, мраморные барельефы, миниатюры и резьба, воспроизводящая древнейшие орнаменты. Лавки были переполнены товарами, материями самых лучших тонов и красок, точно вся эта красочность должна была посрамить пустынное однообразие окрестностей города.

Ювелиры, чеканщики, мраморных дел мастера, кожевники соединяли свои усилия, чтобы в мир шел непрерывный поток их искусных изделий, и этот тонкий, упорный, красочный труд передавался от поколения к поколению.

И все вокруг было на грани необычного. Когда после полудня Бомпер сидел на террасе отеля и вместе с ним на террасе отдыхали, расположившись в легких бамбуковых креслах, другие постояльцы, пришел с виду простой мужичок — правда, не похожий на раджастанца.

У него не было суровости местного крестьянина, ни его большого тюрбана, ни строгого, острого, печального взгляда. Черты его лица были мягки и глаза добродушны. На голове — легкая бумажная шапочка. Небольшая седая бородка делала его похожим на рождественского деда. Коричневая жилетка, рубашка, хорошо выглаженные панталоны. На его плечах сидели три небольшие птички, на первый взгляд смахивавшие на воробьев. Но они были совершенно особой породы.

Старичок обращался с ними так просто, точно они были его дочками, превращенными в птичек, и всё понимали, что говорил им старичок.

Они работали тоже как искусные мастера, не роняя чести Джайпура. Они брали клювиком нитку и, держа лапкой иголку, ловко продевали нитку в ушко и сшивали две цветных тряпочки. Они из крошечного, со спичечную коробку, сундучка высыпали зерна бусинок и уверенно, быстро, не отвлекаясь, делали ожерелья, нанизывая бусинки на нитку. Они таскали воду в крошечных кожаных ведрах из модели деревенского колодца, когда старичок просил у них воды, чтобы напиться.

Старичок прикреплял ко лбам желающих маленькую нашлепочку из коричневого пластилина, и птички, быстро перепорхнув через всю террасу, отыскивали, у кого на лбу комочек пластилина, и точным ударом клювика отрывали его и приносили своему хозяину.

Они умели считать, знали вычитание и умножение. На табличке, где лежали разные, на отдельных листочках, цифры, они по заказу находили заданные им цифры и приносили тому, кто называл цифру, которую он хотел бы, чтобы они отыскали.

Бомпер не мог отвести взгляда от серых, хлопотавших около старичка птичек. Они складывали и вычитали, как маленькие школьницы, пришедшие в первый раз в школу.

К его лбу приклеил старичок пластилиновую шишечку, и вдруг он ощутил около глаз веяние маленьких крылышек, закрыл глаза и все-таки почувствовал легчайший удар клювиком. Это птичка сняла с его лба коричневый комочек. Он раскрыл глаза и за рядами бамбуковых кресел неожиданно увидел Нуэлу. Она стояла, прислонившись к столбу, поддерживавшему навес. На ней было новое темное сари. Она делала ему знаки, улыбалась, незаметно посылала воздушные поцелуи. Она была почти вызывающе красива, но необъяснимое ее появление сразу лишило

Бомпера того спокойного, почти домашнего, почти детского восторга, с каким он наблюдал работу птичек.

Птички уселись на плечи старичку, он свернул пестрый платочек, на котором лежали таблички с цифрами, встал и спокойно собирал плату за представление.

Нуэла ждала его у павильона, в котором жил Бомпер.

— Как ты узнала, что я здесь? — спросил с некоторым удивлением Бомпер после первых объятий.

— Для Нуэлы нет тайн. Я вернулась из-за города раньше времени, и тебя бы я отыскала на краю света. А Джайпур так близко.

— Ты даже знаешь, где я живу...

— Не только это, дорогой. Наши комнаты рядом, как и в Дели...

— К сожалению, утром сегодня приходил Шри-гуша...

— Кто это такой? — спросила она.— Твой гид по Джайпуру?

— Нет, это один знакомый. У нас с ним дела, которые тебе будут ни к чему. И сегодня вечером я вернусь поздно, и я ничего не могу уже изменить...

— Конечно, дорогой, я никак не хочу мешать делам. Я понимаю, что это тебе очень важно, раз ты так говоришь. Но если у нас выкроится время, поедем завтра в Амбер. Это старинный городок, его надо обязательно видеть... Только, знаешь, поедем без этого Шри-гуши, хорошо?! Я сама буду тебе хорошим проводником. Там во дворец едут на слонах. Это великолепно. Ты же никогда не ездил на слоне.

— Прекрасно, поедем в Амбер. У меня хорошее настроение, и я рад, что ты появилась так кстати. Этот город полон чего-то, что не назовешь трезвой действительностью. Мне кажется, что этот город выдуман специально для меня.

В этот же вечер они шли с Шри-гушей через парк, в котором уже было сумрачно и пусто. Им показалось, что их окликнули откуда-то сверху. Они подняли головы и увидели в сумеречном свете, что высоко над ними на каменном парапете сидят обезьяны, галдя и махая лапами. Приглядевшись, они увидели, что у каждой обезьяны, держась за шею матери, висит детеныш. Между тем, польщенные, что люди внизу остановились и стали с ними переговариваться, обезьяны страшно оживились и начали бегать по парапету, громко крича, точно приглашая подняться к ним. Их силуэты на фоне белесого дома, стоявшего выше по

склону, были так занимательны, что Бомпер подсвистывал и подманивал обезьян.

Откуда-то появились неожиданно две старых обезьяньих мегеры, которые начали отгонять молодух от парапета и кидать в людей сучья и комья земли. Бомпер и Шри-гуша стали передразнивать их вопли. Тогда мегеры побежали за помощью. Явился злой, похожий на отставного вахтера обезьян. Он грозил здоровой палкой и бросал увесистые камни, а мегеры, прогнав молодых, оглашали окрестность такими воплями, что Шри-гуша сказал:

— Надо уходить. Это дом обезьяньей матери и ребенка, могут увидеть, что мы дразним обезьян, и будут неприятности. Тем более что нам надо поспеть вовремя туда, куда мы идем.

За парком их встретил тот самый джайпурец, что привел их в первый вечер ко Дворцу Ветров. Теперь Бомпер хорошо рассмотрел его. У него был странный нос, похожий на укороченный клюв попугая, и круглые, как у совы, глаза. Этот, не назвавший своего имени, проводник сначала шел быстро, не оборачиваясь, потом начал о чем-то говорить и даже спорить с Шри-гушей и, наконец, вовсе остановился.

Шри-гуша долго объяснялся с ним и успокоил его, но сказал Бомперу:

— Ему надо дать двадцать рупий!

— Не много ли? За что? Я еще ничего не видел!

— Вы увидите, он не обманет! Но он просит вперед.

Бомперу ничего не оставалось, как дать деньги. Тогда проводник пошел снова быстрым шагом, и скоро они пришли к одинокому уединенному домику, который весь утонул в зелени, был темен и тих. Но когда они обошли его, то увидели, что в одном окне виден слабый свет. Окно было чуть приоткрыто, и если встать, прижавшись к стенке, почти зарывшись в плющ, то можно было заглянуть в комнату и увидеть ее внутренность.

Соблюдая величайшую осторожность, все время указывая на необходимость полного молчания, Шри-гуша подвел Бомпера к окну и, ловко раздвинув плющ, так поместил Бомпера, что он смог видеть, что делается в домике.

Сначала он ничего не мог рассмотреть из-за тусклого света, который распространяла небольшая лампа, стоявшая на высокой подставке. Потом он увидел в комнате у стены пианино, у которого сидел кто-то, небольшого роста, похожий на подростка, в зеленой куртке и синих шта-

нах. Существо это сидело спиной к окну и перелистывало ноты, лежавшие перед ним.

Потом сидевший ударил по клавишам, и стало ясно, что у этого музыканта своя, особая техника игры. Пианино давно пережило вторую молодость. К тому же оно основательно рассохлось. Чем ожесточеннее, свирепее музыкант вел свою игру, тем фантастичнее отвечало ему пианино. Казалось, странный музыкант боролся с инструментом, желая во что бы то ни стало подчинить его своей воле, но инструмент сопротивлялся как мог. Вихрь тресков и звонов носился по комнате. Иногда музыкант уставал, было слышно, как пианино воет в победной ярости, но потом чудилось, что оно сейчас рассыплется на куски. Струны его издавали такие звуки, каким нет названия на музыкальном языке.

Музыкант делал все усилия сокрушить соперника. Но его деревянный враг хотя и пел почти погребальную песню, но хотел свалить музыканта, обрушивая на него поток грохота и звона, который бил с неистовой силой в уши ошеломленному Бомперу.

Он стоял, утонув в густом плюще, и ему казалось, что он на концерте необычного композитора, который проповедует нечто вроде сверхпередового искусства. Он подумал, что если бы записать этот концерт, то за него дали бы хорошие деньги в Европе. Его забавляла в то же время трагическая вычурность фигуры музыканта, который переживал собственную игру так страстно, что зеленая куртка вздувалась на его спине, вставая горбом. Вдруг музыкант ударил обоими кулаками по клавишам с такой силой, что некоторые из них, по-видимому, вылетели со своих мест, и оглянулся.

Он не мог видеть Бомпера, но тот в этот короткий миг увидел, что музыкант не кто иной, как сам Серый Хануман, который снова склонился над пианино, но теперь с самым слабым напряжением чуть стукал по клавишам. Шри-гуша тронул Бомпера за рукав, и они ушли. Из домика больше ничего не было слышно. Он был темен весь и тих...

В синей записной книжке Бомпера прибавлялось с каждым днем все больше записей. «Англичанин вчера за завтраком объяснил, что это за птички были у старика, умевшие вдевать нитку в иголку и нанизывать бусинки, делая ожерелье. Это — ткачики, золотоголовые птички,

умеющие делать гнезда, сшивая листья, проделывая в них дырки своим тонким клювиком. Их гнезда висят серыми и зелеными корзиночками, сшитые хлопковыми нитками».

«Где я только не был за эти дни. Я видел, как делают богов, как их ремонтируют. Я получил истинное наслаждение в обсерватории от безумных фигур, порожденных Джай Сингом. Этот астрономический пейзаж, представляющий сочетание самых различных геометрических фигур, где лестницы, ведущие в никуда, обрываются, соседя с полукругами и столбами, отбрасывающими тени, как огромные солнечные часы, где медный круг замкнут в отвесные стены и над всем стоит гигантский белый столб — страж покоя, охраняющий лестницы, на иные из которых никогда не падает солнечная тень. В этих безумных фигурах я узнаю самого себя, стремящегося ввысь и перешедшего в другое измерение, вижу себя мудрецом, разгадать загадку которого, выраженного в этих фигурах, не под силу и нашему кибернетическому веку.

...Нуэла нервничает. Я никак не могу понять ее семейных обстоятельств. Правда, это меня мало касается. Она скорее принадлежность моей книги, чем моих жизненных фактов. Я к ней привык, такой чисто восточной покорности и вспыльчивости, сложности движений, дикой расточительности чувств не встретишь в Европе сегодня, но ведь мы в Джайпуре...»

Роскошный слон, с желтым покрывалом, с подпиленными бивнями, плавно нес своих седоков вверх по дороге, огибавшей холм. Два музыканта, шедшие впереди, играли на непонятных инструментах что-то жизнерадостное. Кругом все было зелено. Из самого дворца открывался впечатляющий вид на всю долину. Комнаты дворца подавляли богатством убранства, тончайшими узорами мраморных решеток, дверями из сандалового дерева, украшенного инкрустацией из слоновой кости, фонтанами, уединенными покоями, где стены, сплошь покрытые зеркалами, от света маленького ночника освещали все помещение белыми струящимися потоками света.

Старый дворец жил еще какой-то призрачной жизнью. Приезжавшие из далеких стран люди смотрели на былую роскошь когда-то царившей здесь княжеской власти и уносили в воспоминании эти причудливые, ни на что не похожие стены, и слонов с раскрашенными хоботами, и их

поводырей в красных мундирах, в белых широких воротниках, в желтых с коричневым тюрбанах.

Дни проходили незаметно, в смене красочных сцен, в прогулках и развлечениях, в любовном восторге вечернего покоя. Для Бомпера настало время, когда он радовался исчезновению всего бытового, что ему не нравилось в дымной вавилоноподобной Калькутте, в современном, слишком понятном Дели. Джайпурские дни были условными, как люди и здания. Появление Шри-гуши означало новую встречу с Великим Вожаком. Серый Хануман незримо властвовал над всеми этими миражами. Его появление всякий раз казалось необъяснимым, и в то же время он был, он существовал рядом, и все это обезьянье племя — а в городе жили тысячи обезьян — имело с ним неясные, но удивительные сношения. Единственный раз эта жизнь среди сновидений была нарушена, когда Бомпер увидел человека, который напомнил ему того, мелькнувшего однажды в коридоре делийской гостиницы незнакомца. Но этот посланец из реального мира и сейчас исчез со всей стремительностью привидения. Тот, в Дели, явился в день, когда Бомпер получил идиотскую записку от какого-то блуждающего звездочета, где было сказано что-то про луну и море...

Но сейчас не было никакой записочки, да и человек мелькнул бесследно, и снова стало спокойно и тихо.

Снова можно было бродить с непонятным Шри-гушей, толкаться среди шумного и пестрого народа, смотреть уличных фокусников, заходить в мастерские резчиков по кости, сидеть под навесами, где разложена всякая всячина, забывая о времени.

Обезьяны бегали повсюду. Они были разные. Маленькие, как те, что жили у старых складов в Дели. Были и более крупные с длинными хвостами, нагло смотревшие на людей. Бомпер видел, как рассерженный крестьянин гнал прутом обезьян со своего маленького поля и бросал в них камни. Едва он увидел Шри-гушу и Бомпера, он подозвал сына, и мальчик, как бы играя, начал стрелять в обезьян бумажными стрелами, и обезьяны пугались бумажных стрел и нехотя уходили с поля, где выкапывали все, что посажено.

Дерево, у которого остановились Бомпер и Шри-гуша, касалось могучими ветвями, осыпанными бесчисленными большими листьями, старого строения, похожего на брошенную мечеть с куполом, вокруг которого шел узкий

карниз. Все дерево кишело обезьянами. Они срывались с верхних ветвей, проносились почти до самого низу, крича и махая длинными лапами, потом, на лету ухватившись за ближайшую ветку, отталкивались от нее и, сразу отлетев в сторону, исчезали в густой листве, чтобы появиться в самом неожиданном месте и снова лететь вверх и вниз, захлебываясь от восторга.

Многие из них, разбежавшись по толстой ветви, прыгали на угол старого здания и обегали карниз, дико визжа. Перелетали пространство, отделявшее дерево от карниза, и обезьяны-матери. Их детеныши, крепко обхватив снизу шею матери, согнувшись в три погибели, летели по воздуху до спасительной крыши, не чувствуя никакого страха.

Все дерево шумело, пищало, свистело. Обезьяны населяли его, как дом. Одни висели вниз головой, другие спокойно искали друг у друга в волосах, третьи, свесив вниз голову, наморщив носы, как бы принюхивались к тому, что происходило ниже их.

На большом суку, как на поляне, между зеленых балдахинов, сидел Серый Хануман. Он был среди своего народа. Похоже было, что это какое-то важное собрание, потому что обезьяны собрались вокруг него, и вся листва вокруг шевелилась от их непрерывных движений.

Бомпер, не отрывая глаз от Серого Ханумана, смотрел затаив дыхание. Он допущен в тайны сокровенной обезьяньей жизни, и, если бы он понимал обезьяний язык, он бы услышал неслыханные вещи.

Он вынул свою записную книжку и начал заносить в нее всю обстановку, стараясь записать все как можно подробней и точнее. Исписав много страниц, он сел и не мог отвести глаз от картин обезьяньей жизни, от их непонятной энергии, постоянной, тревожной, от смены настроения, от их странного крика, порой похожего на плач ребенка.

На такие встречи с Серым Хануманом он никогда не брал Нуэлы. Что-то подсказывало ему, что посвящать ее в эту историю не надо.

И странно, что она, такая внимательная к нему и нервная, как будто из особой деликатности, предоставляя ему эти прогулки, отстранялась на это время и не спрашивала ничего о том, чем он занят, и он не мог найти причину этой ее подчеркнутой незаинтересованности.

Однажды вечером, после обеда, возвращаясь к себе, он впервые в Джайпуре подумал, что, в сущности, вокруг не-

го творится какая-то чертовщина, но такую чертовщину он и искал. Он был рад, что все распадалось на куски, каждый кусок приносил свой блеск, как пересыпаемые осколки разноцветного стекла в калейдоскопе каждую секунду становятся другими, не повторяясь в цвете и блеске излома.

Если в Дели, да и здесь, в Джайпуре, Нуэла охотно бродила с ним по улицам, то завтракали и обедали они не вместе — это было ее странное желание, которое она никак не объясняла. Он понял, что она не хочет стеснять его, и отнесся к этому спокойно.

По окружающему главное здание отеля саду были разбросаны отдельные павильоны, в которых жили постояльцы. В одном из таких павильонов поселился и Бомпер. Его комната находилась в павильоне, имевшем всего четыре номера. Из-за обилия зелени можно было подойти к двери номера совершенно незаметно. Сейчас за своей дверью он услышал шорох, который ему не понравился. Он нагнулся и, чего не имел привычки делать, посмотрел в замочную скважину.

Он увидел нечто, повергшее его в полную растерянность. За его столом сидел сам Серый Хануман в той зеленой куртке и синих штанах, в которых он был, когда играл на пианино в старом бунгало. Теперь он большим карандашом, держа его, как нож, что-то резко чертил на листе бумаги. Что он рисовал или писал, Бомпер видеть не мог.

Бомпер тихо, как только мог, отошел от двери. Почему он решил, что теперь надо показать Серого Ханумана Нуэле, чтобы был еще один свидетель, он не мог потом объяснить. Но не успел он обогнуть угол павильона, идя к комнате Нуэлы, как услышал спорившие голоса. Один голос явно принадлежал Нуэле... Он выглянул из-за угла. Шри-гуша, схватив за руку Нуэлу, что-то быстро говорил ей, и она испуганно, с гримасой отвращения, тихо отвечала ему, потом вырвала руку и скрылась за деревом. Шри-гуша последовал за ней. Лица обоих были искажены злобой. Оба они походили на разъяренные существа, готовые перегрызть друг другу горло. В первое мгновение Бомпер хотел броситься за ними, но, вспомнив, зачем он шел, он изменил решение и, вернувшись к своему номеру, не раздумывая больше, вставил ключ, и дверь распахнулась.

Какая-то тень скользнула за открытым окном на фоне темной листвы и исчезла, но он готов был поклясться, что это не тень Серого Ханумана. .

Вообще все происшедшее показалось бы бредом, если

бы не исчерченный красным и синим карандашом лист на столе.

Серый Хануман чертил бесцельно, узоры, выведенные им, ничего не говорили. Трудно было видеть в них какой-то смысл, они шли вперекоски, набегали друг на друга. Он просто водил с силой карандашом то красным, то синим концом, и водил с большим увлечением.

Бомпер закрыл окно и сел перед обезьяньим чертежом, стараясь объяснить себе, что привело к нему Серого Ханумана. Затем он вспомнил о Нуэле и о сцене, которой был свидетелем. Он не успел еще принять какое-нибудь решение, как в комнату вбежала Нуэла. Сейчас она была просто взволнована. Никакого озлобления не было написано на ее лице. Она улыбалась своей сладкой, милой улыбкой. Нуэла положила руку ему на плечо и сказала, увидев узоры: «Мы рисуем, как это интересно». Ее взгляд скользнул по обезьяньим узорам, и не успел Бомпер сказать слово, как ему пришлось вскочить, чтобы поддержать ее.

У нее закружилась, по-видимому, голова, потому что она, поддерживаемая Бомпером, села на стул и закрыла глаза. Так она сидела минуту, потом встала, посмотрела на Бомпера странным блуждающим взглядом и снова нагнулась над листом, исписанным полосами, кругами и зигзагами.

Она молча показала на один из узоров, и Бомпер, пристально всмотревшись в него, увидел, что это похоже на буквы того санскритского алфавита, который употребляется в Индии. Он, не зная этого алфавита, оставил это место без внимания — бессмысленный узор ничего не говорил ему. Может быть, тут случайное совпадение с санскритским начертанием? Но Нуэла прочитала что-то, что потрясло ее.

С ней творилось что-то непонятное. Она начала плакать. Слезы катились у нее из глаз, как у маленькой школьницы, крупные и блестящие. Бомпер растерялся.

— Ничего,— вдруг сказала она, глотая слезы, это сейчас пройдет.— И почти без перехода она обняла его, прижалась к нему так, что его лицо стало мокрым от ее слез, и сказала: — Надо уехать, завтра же! Иначе будет поздно. Скорее... уедем в Дели!

Бомпер ничего не мог сообразить. Все смешалось. У него в голове не было ни одной мысли. Он сел напротив Нуэлы, взял ее дрожащие руки в свои и сказал, стараясь не заражаться ее паническим ужасом:

— Что такое произошло, Нуэла? Почему мы должны бежать из Джайпура?

Нуэла подняла на него наполненные слезами глаза.

— Мы в смертельной опасности! — плача вскричала она.— Нет, не ты, я. Спаси меня. Ты это можешь. Едем завтра!

— Подожди, Нуэла, мы уедем. Конечно, уедем, но какое отношение к тебе имеет эта идотская надпись?.. Что там написано?

— Не надо говорить об этом! — Нуэла встала. Блуждающими глазами она осматривала комнату.— Я сейчас пойду и буду завтра утром рано ждать тебя. И мы уедем. А сейчас, сейчас я должна уйти. Мне надо исчезнуть до утра. И не быть рядом с тобой. В этом спасение. Ни о чем не спрашивай. Потом, в Дели, ты все узнаешь...

— Я узнаю от тебя, Нуэла, от тебя?

— Не знаю, дорогой, я ухожу. Так надо...

Она встала в дверях, вытерла остатки слез платком и хотела выйти. Он остановил ее:

— Нуэла, я должен защитить тебя, если тебе грозит опасность. Я приму меры, я сделаю все...

Она печально покачала головой. Глаза ее стали строгими и хмурыми. Она поцеловала его, повторив:

— Я должна уйти. Одна. Но мы уедем завтра...

— Да, конечно, мы уедем завтра! Но что там написано? Я же не могу прочесть... Что там написано?

— Там написано, тебе не надо знать, что там написано...

И прежде чем он успел что-либо еще сказать, она исчезла с такой быстротой, что преследовать ее было бы бесполезно.

Бомпер впервые был в таком безвыходном положении. Он не знал, что подумать, не знал, что предпринять. Он выходил часто из своего павильона, ходил вокруг него, заглядывал в окно комнаты, где жила Нуэла, но там было темно и тихо. Он прошелся до главного здания и обратно, и мысли его представляли разноцветные завихрения, которые никак не успокаивали.

Все, что с самого начала носило легкий туристический характер, было порой просто скучно, а потом немного развлекательно и даже приобрело известный интерес,— все это встало на дыбы, и ему даже показалось, что окружающая его темнота вечера полна угроз.

Невидимые глаза следили за ним. Невидимые тени входили в комнату. Он решился. Он отыскал помощника заведующего отелем и заказал на утро машину в Дели.

Было совсем поздно. Он немного успокоился, зажег свет, но все стало ему противно. Даже развевающийся полог москитной сетки белел неприятно. У него не было оружия, но где-то в глубине его сознания жило ощущение, что сегодня ночью его не убьют. А завтра он будет далеко. Черт понес его в тайны неизвестного мира. По правде говоря, он допускал мысль, что Серый Хануман — хорошо придуманный трюк, за который стоит заплатить. Так он думал, пока не увидел сам Ханумана, и его разум встал в тупик перед этим непонятным явлением. Ведь вот только несколько часов назад он был здесь и чертил черт знает что. Вот же листок, исчерченный синим и красным, вот и карандаш.

Бомпер даже выпил виски, не разбавляя содовой, чтобы привести нервы в порядок. В дверь тихо постучали.

«Начинается!» — подумал он и, встав сбоку двери, взяв в руки палку, почти угрожающе спросил:

— Кто там?

Ему ответил голос Шри-гуши.

Бомпер впустил Шри-гушу и запер дверь. Ему даже стало веселее, когда он увидел своего спутника, вполне спокойного и обыкновенного.

— Как дела, Шри-гуша? — спросил он, как будто ничего не произошло.

И Шри-гуша ответил, как всегда: бахут-ача (прекрасно).

«Сказать или не сказать ему?» — подумал Бомпер и, придав голосу самый обычный оттенок, сказал:

— А у меня сегодня был гость.

— Кто это был? — спросил Шри-гуша, насторожась.

— Не угадаешь, Шри-гуша. У меня был сам Великий Вожак, Серый Хануман. Кстати, почему ты назвал его тогда, у Дворца Ветров, как-то так, что я не запомнил?

— На разные встречи существуют разные пароли,— сказал Шри-гуша.— Тогда пароль был — Су́ндар — красивый. Это было условлено. Вы сами видели...

— Так вот, Серый Хануман, не знаю, какой пароль у него сегодня, пришел ко мне и даже кое-что нарисовал, а кое-что написал...

Шри-гуша, потемнев лицом и сжавшись, как для прыжка, смотрел в лицо Бомпера, и тому с каждым мгновением становилось все неприятнее. «Не надо его раздражать,— подумал он.— А то может произойти что-то ужасное». Он вспомнил ужас Нуэлы.

— Нет, Шри-гуша, тут не было ничего особенного. Видимо, это ты организовал мне сюрприз, и я тебе за него очень благодарен, так как посещение было очень эффектно.

— Я тут ни при чем! — сказал Шри-гуша, явно упав духом. Жесткая его напряженность сменилась какой-то вялостью, точно он весь стал резиновым.— Я не видел сегодня Серого Ханумана.

— Так давай разберемся тогда вместе в том, что произошло. Я пришел после обеда и услышал шорох в комнате. А когда я открыл дверь, Серый Хануман убежал в окно. Он был в своей зеленой куртке и в синих штанах, вообще в том костюме, в каком он играл на пианино. А вот что он оставил.

Бомпер протянул рисунок Шри-гуше, но сейчас же спрятал его за спину.

— Я покажу тебе, Шри-гуша, при одном условии. Если ты сначала прочтешь мне одно слово, которое он написал. Оно написано на хинди. Я знаю его, но хочу, чтобы ты подтвердил его мне. Прочти...

Шри-гуша взглянул на надпись. Он прикусил свою толстую нижнюю губу, глаза его заблестели мрачным блеском, он вздохнул и молчал.

— Шри-гуша, что там написано?! Я все равно ведь знаю. Не будем обманывать друг друга. Что там написано?

— Ганглорд! — совсем тихо сказал Шри-гуша, и губы его задрожали.

Наступило молчание, потому что Бомпер не знал, что дальше делать. Надо было доверяться инстинкту.

— Шри-гуша, что ты скажешь? До сих пор ты все устраивал прекрасно. Я доволен тобой. И сейчас я сделаю так, как ты найдешь нужным. Что надо делать?

Шри-гуша поднял мрачный взгляд и увидел, что Бомпер не издевается. Тогда он сказал почти спокойно:

— Шри-гуша сделал большую глупость, но теперь поздно раскаиваться. Мы должны немедленно уехать.

— Хорошо, Шри-гуша, вот видишь, наши мысли совпадают. Мы уедем завтра. Рано утром. Я уже заказал машину.

Тут Бомпер посмотрел на Шри-гушу почти весело:

— Но мы уедем не одни. С нами поедет одна женщина. Ты ее хорошо знаешь. С нами поедет Нуэла де Перейра...

Шри-гуша развел руками:

— Я не знаю такой! Как вам будет угодно, но я не знаю такой...

Бомпер, сдержав негодование, сказал сдержанно:

— Ты же держал ее за руку, Шри-гуша, и только сегодня после обеда говорил с ней... На моих глазах, Шри-гуша!

— Вам показалось. Я не знаком ни с какой Нуэлой. Я никогда ее не видел.

— У тебя что-то сделалось с памятью. Ты забыл, как в Дели обезьянка украла у нее пудреницу и зеркальце...

— Я не видел никакой обезьянки. Я тогда сразу ушел от вас и ничего не видел. Я не имею к ней никакого отношения.

— Шри-гуша, не испытывай моего терпения.

— Правда, что мне в ней! Вам все показалось. Вы просто устали...

— А что значит слово «Гантлорд»?

— Не знаю, первый раз вижу и слышу это слово. Я пойду. Завтра надо ехать с утра.

И он ушел, оставив Бомпера теперь уже в тревоге, которая все росла.

Рано утром Яков Бомпер был уже на ногах. Шри-гуша не приходил. Он позавтракал, без всякого аппетита проглотил яичницу с куском бекона, съел грейпфрут, выпил две чашки крепкого чая с молоком, задержался в ресторане, ожидая своего спутника. Но тот не шел.

Тогда он, проклиная его в душе, вернулся к свою комнату и взялся за синюю записную книжку. Сначала он записал свои соображения о концерте, который был дан Серым Хануманом: «Это необыкновенная музыка, оглушительно новая. Каждое движение — открытие. Скрип старого инструмента, стон его ржавых струн, завывание, как будто демон музыки спрятан, связанный по рукам и ногам, внутри пианино, невероятные переходы, звук ломающихся и трескающихся клавиш... Обязательно это должно быть в моей книге. Я попал на настоящий Двор Чудес. И сам музыкант — Вожак обезьян, отскакивающий от пианино и бросающийся на него с такой страстью,— явление, не имеющее равных. Это импровизация неизвестного еще обезьяньего гения».

Он много записал своих мыслей, полных восхваления Серого Ханумана, но поймал себя на том, что если Шри-гуша не придет, то придется ехать без него. Мысли его начали путаться. Он записал еще одну цитату из индийского историка, которая была у него записана на отдельной бумажке, теперь он перенес ее в книжку: «Раджпутана стала зоологическим садом со снесенными решетками клеток и без сторожей. Уже в восемнадцатом веке они стали народом, который перестал играть сколько-нибудь заметную роль».

Он спрятал книжку и сложил вещи. Шри-гуши не было. Тогда он направился к Нуэле. На пороге ее комнаты сидел туземец, человек, совершенно ему незнакомый. Бородатый, похожий на отставного солдата, раджпутанец в высоком белом тюрбане встал и приветствовал его.

Дверь в комнату была открыта. В ней было пусто, и ветерок шевелил противомоскитную сетку, подчеркивая пустоту помещения. Он уже хотел было спросить у сидевшего индийца, почему сидит тут, но тот, отвесив поклон, передал ему маленькую коробочку и удалился. Коробочка пронзительно пахла сандаловым деревом. Бомпер прочел вложенную в коробочку записку. Он никогда не видел почерка Нуэлы и с удивлением прочел написанные печатными буквами слова: «Прости, еду одна. Так нужно. Увидимся в Дели».

Подписи не было. Она писала или писали за нее? И что вообще происходит в этом Джайпуре? Все было похоже на сновидения, которые приятно сменяли друг друга и вдруг слились в такой кошмар, что надо было бежать от него немедленно.

Пришел слуга и сказал, что он послан осведомиться, едет ли мистер Бомпер в Дели или можно отпустить машину. Он решился. В конце концов, в Дели — Шведенер, а тут что будет дальше — никто не знает, тем более пропажа Шри-гуши и Нуэлы, странная сцена, которой он был свидетелем,— все это говорило о том, что ему строили какие-то ловушки, что они сами запутались и поставили его в безвыходное положение.

Почему они испугались оба? Почему оба советовали немедленно ехать в Дели, не сговариваясь?

И он сел в машину. Проезжая по улицам Джайпура ранним утром в первый и последний раз в жизни, он старался смотреть по сторонам, запоминая те неожиданные сцены, что бросались в глаза. На улицах уже шли и ехали

люди, дыша утренней прохладой. Он видел, как из узкой и раскрашенной двери на втором этаже небольшого дома вышли семь обезьян. Рядом была лестница вниз. Но они не воспользовались лестницей. Первая обезьяна перелезла через выступ крыши и вступила на карниз, встала на четвереньки, и за ней стали спускаться остальные. Каждая взялась за хвост соседки, и так они пошли по карнизу по своим делам. Никто не оглянулся. Никому это не показалось странным.

Что они делали в доме, почему вылезли на карниз — этого не мог знать и никогда не узнает Бомпер.

Девушка совершала свой туалет, сев на корточки и смотрясь в канавку, по которой медленно журчала вода. Девушка смотрела в воду, как в зеркало, причесывалась, красила брови и губы с полной серьезностью городской кокетки.

Пахло кисло-сладким дымом кизяка. Одинокие прохожие кутались в длинные платки, подобие пледов. Шумно сипели верблюды, мерно шагая друг за другом. Где-то захлебывался криком осел. На выезде из города машина Бомпера чуть не столкнулась с автобусом на повороте.

Шофер Бомпера — молодой, нарядный сикх — и шофер автобуса — раджпутанец — обменялись проклятьями, потом сикх сказал, подмигнув Бомперу: «Хороший знак — уцелели!» И вот снова потянулись уже виденные Бомпером пейзажи, холмы, рощи, поля. Рядом с дорогой по полю большими скачками куда-то мчалась обезьяна, рослая, чем-то напоминающая Серого Ханумана. Куда мчалась эта обезьяна? Это один из гонцов Ханумана, фантазировал Бомпер, она спешит осведомить Дели о грядущем прибытии туда Лидера всех обезьян. С каждым километром, отдалявшим его от Джайпура, Бомпер успокаивался все больше. Ему уже начинало казаться, что все, что было, ему внушили какие-то неизвестные силы и не было ни Шри-гуши, ни Нуэлы, а Серый Хануман? Нет, он был, это точно...

Шофер-сикх оказался словоохотливым. Бомпер ничего не имел против и охотно слушал болтовню шофера, видимо рассказывавшего всем, кого он возил по этой дороге, одно и то же. Сикх говорил, что по этой дороге не ездят ночью, потому что бывали случаи, когда леопарды и даже тигры нападали на машины, прыгали на ходу, как однажды тигра, вскочившего на грузовик, шофер привез в Джайпур, рассказывал о прошлых временах, когда раджи ездили на охоту на слонах в сопровождении большой роскошной свиты,

а крестьяне должны были бросать работу и выгонять им навстречу диких зверей. Много говорил шофер, почти не переставая, усыпляя Бомпера своими рассказами.

Бомпер уже начал безмятежно дремать, когда они въехали в джунгли. Солнце сияло, и в этом солнечном блеске джунгли по обе стороны дороги превращались в ослепляющее пестротой скопление деревьев, кустарников, высоких трав, лиан, радужного полумрака.

Бомпер всматривался в эти мутные, раскрашенные дали, откуда к дороге выбегали тропы, а изумрудные полянки манили на отдых.

— Стой,— сказал он шоферу, и сикх остановил машину. Бомпер вышел и остановился, как зачарованный смотрел перед собой. Сикх взглянул тоже и понимающе засмеялся.

Бомпер тихо, на цыпочках двинулся к небольшой полянке, недалеко от дороги. Он шел, не веря глазам, и остановился, не дыша.

На расстоянии десяти шагов от него на серых камнях сидели пять больших обезьян. Сидели они, рыжеволосые, веселые, спокойные, в свободных позах, почесывая там, где чесалось. Они переглядывались друг с другом, отлично понимая, что каждый хотел выразить своим взглядом, и не обращали никакого внимания на Бомпера.

Перед обезьянами на лужайке ходил павлин, распустив веером свой великолепный, сделанный из тончайшего белого мрамора хвост. Белизна его светилась на темном сплетении джунглей. Павлин прохаживался, исполненный гордости, самолюбия и сознания собственной красоты. Он как бы демонстрировал свою грацию и величие. Он по временам склонял свою длинную шею, и тогда вспыхивал высокий белоснежный хохолок, каждый волос его был увенчан нежным белым помпоном.

Когда первый павлин величественно отошел в сторону кустов с большими голубыми цветами, обезьяны заворочались на своих местах, как будто выражая свое мнение о виденном. И тогда легкими шагами вышел на лужайку второй павлин. Большая мраморная птица, поворачиваясь через каждые два шага, как бы оглядываясь, шла по траве и так раскрыла свой мраморно-снежный веер хвоста, что обезьяны заерзали на своих камнях от восторга и бурно зачесались.

Павлин начал танец с такой уверенностью и верой в свою неотразимость, что Бомперу стало как-то не по себе.

Небо над ним изливало пленительное, щедрое тепло. Джунгли пахли медовыми, сладкими запахами. В полной тишине танцевала обворожительная птица. Бомпер подумал, что он видит вещи, которые не надо человеку видеть в джунглях. Он ужасно боялся, что его присутствие напугает любителей прекрасного и они все обратятся в бегство. Но только одна из обезьян, мельком окинув его взглядом, как будто хотела сказать: «Смотри, смотри, такого ты нигде не увидишь!» — и снова приняла прежнюю позу. Павлины сменяли друг друга, как будто состязались, как на сцене.

Бомперу не хотелось покидать такой диковинный уголок земли. Хотелось стоять и смотреть на эти завораживающие дали, на этих белоснежных птиц, хотелось сесть на траву рядом с этими веселыми, мирными обезьянами. Он оглянулся. Шофер делал знаки, говорившие, что надо ехать.

Оглядываясь на каждом шагу на развалившихся на камнях странных зрителей и танцующих павлинов, он вернулся к машине и с дороги еще раз посмотрел на поляну. Там еще сияли в темной впадине листвы распущенные слепящей белизны хвосты.

Сикх сказал: «Они это часто устраивают. Им нравятся павлины и то, как они танцуют. А павлины любят, когда ими любуются».

Бомпер ехал ошеломленный виденным. Многое из того, что приключилось с ним, он мог отнести к известным махинациям, правда, иногда не очень понятным, организованным Шри-гушей, но сейчас он был свидетелем, когда сама природа предстала перед ним в своем первоначальном виде.

Машина безостановочно пробегала длинную дорогу. Мимо проходили грузовики и автобусы, раскрашенные, как на праздник; рядом с дорогой куда-то шли длинными рядами большие черные муравьи. Их бесконечные ряды отливали темно-синим. Они струились, как нескончаемый поток. Потом встретили сценку из свадебного церемониала. Жених ехал за невестой. Шли быки, украшенные цветочными венками. Мелькали поля, большие аллеи деревьев, смыкавших свои своды, и вдруг они увидели, что перед ними стоят машины, стоят, по-видимому, уже давно, потому что грузовики были без водителей, а шоферы сидели над узкой дорогой на откосе и мирно беседовали, курили, иные из них спали на траве, закрыв лицо платком.

Что произошло? Окружавшие отвечали неясно. Бомпер сидел несколько времени спокойно, подчиняясь не-

вольно неожиданной задержке, потом его взяло любопытство. Что же там впереди все-таки? Он вылез из машины и пошел вперед вдоль линии остановившихся грузовиков. Пройдя грузовики и повозки с быками, он увидел группу крестьян, сидевших над дорогой и спокойно смотревших, как пасутся их буйволы, а дорогу плотно закупорил громадный воз с сеном. Бомпер подошел ближе, и ему стало ясно, что произошло. В узком месте дороги, при спуске, на крутом склоне громадная гора сена, разорвав веревки, ее окутывавшие, перевалилась вперед, упряжные ремни лопнули. Оставалось распрячь буйволов и идти на траву отдыхать.

Никто из подъехавших шоферов не стремился к тому, чтобы помочь беде. Им нравилось или дремать в своих кабинах, или разговаривать о жизни на травке.

Крестьяне, сопровождавшие воз, равнодушно смотрели на безнадежное положение, покорные судьбе. Кто должен изменить положение и освободить дорогу — никто не знал. Бомпер понял одно: он не попадет сегодня в Дели и будет ночевать здесь, на дороге. Чуда не будет. Помощи ждать было неоткуда. Подъезжавшие грузовики покорно останавливались, вставая в хвост. Объезда не было.

Бомпером овладело отчаяние. Но потом он решительно зашагал к своей машине. Решить эту дорожную задачу не представляло никакой трудности. Он сговорился со своим сикхом, и тому понравилось то, что предложил Бомпер. Сикха тоже не радовала перспектива ночевать в поле. Они подняли крестьян с травы. Бомпер взял дело в свои руки. Он приказывал, и его приказания выполняли. Его решительная речь произвела впечатление. К крестьянам присоединились те шоферы, которым надоело ждать невесть чего.

Бомпер велел всем влезть на воз с другой стороны и влез сам. Под тяжестью такого количества народа связанные в один громадный ком пачки сена шевельнулись и поползли назад. И наконец встали в то положение, в котором были с самого начала, до злополучного дорожного наклона. Все возликовали, как будто каждый был инициатором этой операции.

Крестьяне бросились за буйволами, подняли их, привели в порядок постромки, связали ремнями разрывы, и воз тронулся, давая дорогу.

Все машины пришли в движение. Бомпер, испытывая нечто вроде чувства гордости, сказал шоферу-сикху:

— Вот что значит сообразить! А то мы сидели бы тут без конца!

Шофер громко засмеялся:

— Да, они хитрые, эти раджастанцы! Они давно сообразили бы, что сделать, но им просто не хотелось. Они решили отдохнуть и никуда не торопиться. Если бы им было нужно, они сразу бы взялись за дело. И они боятся властей. Откуда они знали, кто вы такой. Гляди, еще оштрафуете их, если они откажутся слушать ваши приказания. Вот им и нечего было делать, как выполнять то, что вы говорите. А так они отдыхали бы до вечера. Да и эти шоферы грузовиков ничего не имели против такого неожиданного отдыха...

В Дели он попал под вечер и, приведя себя в порядок, отправился к Шведенеру. Как ни странно, Шведенер не удивился его приезду.

— Я знаю, где ты пропадал! Ты был в Агре?

— Откуда ты это знаешь?

— В тот день, когда ты уехал из Дели, какой-то незнакомец позвонил мне по телефону и сказал, что ты просил передать, что уезжаешь на несколько дней в Агру. Ну, я решил, все в порядке. Все ездят на поклон к Тадж-Махалу, и ты не миновал этого. Разве не так?

— Что-то не так, Ив! Не был я в Агре!

— А где же ты был?

— Я был в Джайпуре...

— Ну, дорогой Яков, какая разница! Джайпур рядом с Агрой.

— Рядом-то рядом, но со мной было нечто...

Шведенер стал серьезнее.

— Знаешь что? С какого-то времени я начал думать, что ты меня обманываешь, что с тобой происходит что-то, что ты от меня хочешь скрыть. А между тем тут такая страна, что легко попасть впросак. Я стал беспокоиться и, видишь, прав. Что же с тобой случилось? Я никогда не видел тебя таким усталым и расстроенным...

И тут, попивая виски с содовой в довольно больших порциях от волнения и чувствуя, что больше нельзя скрывать от Шведенера, что с ним произошло, он рассказал, как к нему пришел присланный Шведенером Шри-гуша и что он предложил...

— Подожди, подожди,— прервал его Шведенер,— я не знаю никакого Шри-гуши.

— Как? Ты не посылал его ко мне? Он был тем самым наглым индийцем, что рассматривал меня в «Моти Махале», когда мы там были с тобой. Он сказал, что узнал тебя тогда, и раздумывал, подойти ли к нам, и решил не мешать нашей беседе...

Шведенер покачал головой и посмотрел внимательно на Бомпера.

— Так вот почему все посланные действительно мной люди возвращались ко мне, говоря, что ты не нуждаешься в их услугах. Так, значит, их просто перехватывал этот Шри-гуша и от твоего имени гнал их. Ты знал об этом?

— Первый раз слышу,— сказал, удивляясь все больше, Бомпер. Он рассказал Шведенеру всю историю своего знакомства с Шри-гушей, как они ездили к обезьянам, как он соблазнил его поехать в Джайпур, как они осматривали памятники Джайпура. Он умолчал только о Сером Ханумане и о своем романе с Нуэлой.

Когда он кончил, Шведенер облегченно засмеялся.

— Я думал, дружище Яков, что все гораздо мрачнее. Ты просто попал в лапы обыкновенному мелкому мошеннику, каких тут много. Он тебя околпачил, выжал из тебя, что мог, и бросил, так как увидел, что ты его раскусил и больше на обман не пойдешь. Надо будет все-таки разыскать этого мошенника и воздать ему должное. Меня только беспокоит первый ваш разговор, где у него было столько всяких предложений, вполне грязных. Это говорит о том, что он знает много притонов и связан с самым преступным миром. А может, он просто набивал себе цену. Да и, наверно, он не назвал своего настоящего имени. А то, что ты рассказал о танцах павлинов перед обезьянами в джунглях,— это прелестно, это замечательно. Я никогда не видел ничего подобного. Тебе просто повезло...

— Ты знаешь, мне показалось, что это сцена между режиссером и артистами. Режиссер набирает в труппу артистов, и вот пришли павлины и продемонстрировали свое искусство. Черт его знает, такую сцену надо включить в мою будущую книгу...

— Но хоть что-нибудь ты имеешь для будущей книги? Из того, что ты видел, пригодится что-нибудь?

— Кое-что, конечно, есть, остальное придется довыдумать.

— Да,— сказал Шведенер, принимая загадочный вид,— один мой знакомый рассказал мне, что видел тебя

в ночном баре с женщиной, и довольно экстравагантной. Об этом ты мне ничего не рассказал. Это тайна?

Сам того не ожидая, Бомпер растерялся. Но, сейчас же взяв себя в руки, он небрежно сказал:

— Это было неожиданное — всего лишь мимолетное знакомство. В ночном баре одному уж слишком скучно.

— Она была индианка, не европеянка? — спросил Ив Шведенер.

— Трудно сказать, кто она, я так мало ее видел. Она европейски образованна, но по типу — смешанный случай. Говорит, что знатного рода.

— Ладно, дорогой Яков, ты, я вижу, все-таки утомился какими-то ненужными тебе переживаниями, а я ждал твоего возвращения для того, чтобы угостить тебя таким чисто индийским зрелищем, которое даст твоим мыслям особое направление. Будешь мне благодарен. Завтра вечером я покажу тебе такое, что развлечет тебя, и ты забудешь все свои нестоящие приключения. Я тебе сейчас даже не скажу, в чем дело. Пусть это будет мой секрет...

Вернувшись в свой отель, Яков Бомпер постучал в комнату к Нуэле. Никто ему не ответил. Он справился — она еще не приехала в отель. Яков Бомпер сидел над своей синей записной книжкой в некоторой рассеянности. Он не мог собрать мыслей. Его записи носили самый разнообразный характер. То он писал о Сером Ханумане, то об исчезновении Шри-гуши и Нуэлы, то о положении, в котором он очутился совершенно неожиданно.

«Серый Хануман есть, я видел его своими глазами,— писал он,— он рослый, и ум его, по-видимому, необычный для обезьян. Он действует на своих собратьев, как действительно выдающийся вожак. Я видел его в разных положениях. Миф новой Азии начал свое действие. Он должен войти в новую книгу как одно из главных действующих лиц. Это — герой легенды, недаром в Индии чтят бога обезьян — Ханумана, который вместе с Рамой воевал с демонами Цейлона за освобождение жены Рамы — Ситы. Сегодня обезьяний бог снова воплотился и пришел на индийскую землю. Все это так,— писал он,— но какую роль в этой истории играют Шри-гуша и Нуэла? Я снова стучал в ее комнату: ее нет. Никакого Шри-гуши Шведенер не знает и не посылал его ко мне. Значит, он сам пришел — зачем? Почему Нуэла знает Шри-гушу и оба отказываются от того, что они знакомы? Какая опасность угрожает мне? Что я сделал, чтобы навлечь эту опасность? Если ничего

нового не произойдет за сегодняшний день, я завтра откроюсь во всем Шведенеру — пусть он скажет, что делать, или мы вместе попытаемся объяснить себе, что происходит, и найдем выход!..»

Так, раздираемый тревогой и волнением, Яков Бомпер провел тяжелый, гнетущий день. Он взял такси и объехал места, где бывал с Нуэлой. У него была слабая надежда — встретить ее случайно. Он бродил по улицам старого Дели, заехал в Красный Форт, был у Китаб-Минара, прошел взад и вперед по Коннот-Плейс, заглядывал в кафе, все было напрасно. Ее не было нигде. Пообедав в одиночестве, тоскливо осматривая зал, он решил спросить у портье, не оставила ли она какой-нибудь записки на его имя.

Никакой записки не было. Тогда он принял снотворное, лег в постель и проспал до вечера. Его разбудил Шведенер, заставил его быстро одеться и ехать с ним в клуб каких-то христианских юношей, где предполагалось выступление известнейшего йога. Билеты стоили шесть рупий. Это было слишком дорого для рядового зрителя. Подобная цена гарантировала, что будет только избранное общество.

И действительно, приехали иностранцы из миссий и посольств, туристы, представители богатых индийских семейств. Всего на зеленой, немного покатой поляне, на стульях свободно сидело человек полтораста. Стулья стояли на траве в несколько рядов, полукругом перед воздвигнутой в середине лужайки небольшой платформой, на которой возились помощники йога.

Они установили на платформе большую, как будто взятую из школы грифельную доску, разложили у подножия платформы костер, который к началу выступления йога уже отгорал, сделали ровную огненную дорожку, на которой, хрустя, раскалывались пышущие синим жаром угли. В стороне нанятые землекопы рыли подобие могилы, выбрасывая по сторонам ее большие комья светлого песка. Все эти приготовления наблюдали зрители, постепенно заполнившие всю лужайку.

— А где же сам йог, что-то я его не вижу? — спросил Бомпер, ища среди зрителей какого-то необыкновенного человека в фантастическом одеянии восточного волшебника.

Шведенер обратил внимание на одного, одиноко стоящего индийца, совершенно безучастно наблюдавшего за приготовлениями. Он был невысок, смугл, с маленькой, аккуратной бородкой, одет в черный тонкий сюртучок, с

легким тюрбаном на голове. Он стоял, молча скрестив руки на груди. В его злых, острых глазах жило необыкновенное беспокойство. Он зорко смотрел во все стороны, точно хотел запомнить каждого из присутствующих или искал кого-то среди зрителей, нетерпеливо переговаривавшихся между собой.

Особо он остановил свой настороженный взгляд на Бомпере, потому что Бомпер вынул свою записную синюю книжку и, старательно оглядываясь, хотел занести в нее все подробности окружающей обстановки. Он записывал движения помощников мага, костюмы присутствующих, а когда Шведенер указал ему на стоявшего неподвижно человека и сказал, что, по всей видимости, это и есть сам маг, он набросал его портрет и, не выпуская из рук книжки, стал следить за каждым его движением.

Когда устроители вечера убедились, что все гости съехались, а служители проверили прочность огромной плетеной загородки, поставленной так, чтобы простые прохожие и любопытные не могли со стороны дороги видеть бесплатное зрелище, на платформу вышел высокий худой американец — представитель клуба христианских юношей — и представил йога публике, сказав несколько слов о его известности и силе его чудес. За ним вышел и сам йог, тот самый скромный индиец со злыми глазами, и сказал, что он занимается давно своим делом, что он достиг большого совершенства и может каждого сделать подобным себе, если человек согласится пройти всю долгую подготовительную стадию самоограничения и искания силы в себе.

Потом он рассказал, как он ездил в Европу и в Америку. Сначала он пришел за визой к английскому консулу. Он хотел ехать в Лондон. Консул довольно грубо ответил ему, что для подобных артистов виз нет и не будет. Тогда он вынул пузырек и, показывая его консулу, сказал: это — соляная кислота. Взял со стола консула стаканчик, налил в него соляной кислоты и выпил и предложил консулу сделать то же. Консул посерел и дал ему визу. Он был в Кембридже и в Оксфорде, он был в Мемфисском университете в Америке, он много где был. Всюду ему давали удостоверения, что его чудеса научны, хотя им нет пока научного объяснения. Он показывал чудеса ученым, и они должны были признать, что он в самом деле был помещен в стеклянный колокол, откуда был выкачан воздух, а в таком колоколе живое существо живет самое большее несколько минут, оно задыхается, а он провел сорок минут

в этом колоколе и, как видите, цел. Сказал, что к тому же он борец за мир и гуманист в европейском понимании этого слова. Он кончил речь и поблагодарил за внимание.

После этого он спустился в первый ряд и вынул из сюртучка две колоды карт. Держа над головой в обеих руках по колоде, не обращая внимания на сидящих, он медленно пошел вдоль первого ряда, предлагая брать из его рук по карте, по две, даже по три карты, кто сколько хочет. Карты у него брали зрители из всех рядов. Когда он прошел до конца первого ряда, раздав все карты до одной, он повернул назад. Быстрым шагом он пошел обратно, останавливаясь против каждого, кто имел карту, протягивал руку и говорил: «Дама пик!» Удивленный зритель, пожав плечами, удостоверялся, что он действительно взял даму пик, и отдавал карту йогу, который переходил к следующему. Абсолютное спокойствие, с каким он называл карты, поражало.

Когда встречались три карты в одних руках, он говорил державшему: «Как вы хотите, чтобы я назвал их: справа, слева или сначала среднюю?» — «Среднюю»,— говорил джентльмен, и йог называл среднюю карту не моргнув глазом. Он отбирал карты с быстротой молнии, двигаясь почти бегом. Задержавшись у Шведенера и сказав: «Дайте вашего короля червей», он ледяным взором охватил сидевшего рядом Бомпера, увлеченного записью происходящего в свою синюю книжку.

С презрительным спокойствием отобрав обе колоды и повергнув зрителей в трепет, он поднялся на платформу, и помощники подали ему пакетик и поставили рядом пузырек. Легким движением он показал зрителям синие лезвия безопасных бритв, сказав: «Я их съел уже три тысячи двести тридцать штук», начал жевать их, как пастилку. Он открывал широко рот, и было видно, как синие кусочки стали вонзились ему в язык, в десны, торчали во все стороны. Он грыз их, как монпансье. Затем, показав что рот чист, бритвы уже проглочены, он налил в стаканчик соляной кислоты, с удовольствием выпил, как простой сок, и остаток плеснул с платформы на траву. Трава зашипела, как будто вспыхнула, и, почернев, свернулась. Зрители аплодировали.

Принесли что-то завернутое в белый войлок. Он вынул из войлока и высоко поднял над головой большую матовую стосвечовую лампу, потом снова погрузил ее в войлок и слегка ударил о край стола.

Лампа заглушенно треснула, и теперь он вынимал ее по кускам. Прихотливо изогнутые осколки, блестевшие в закатных лучах, он пожирал, бесстрастно и быстро. Они хрустели у него на зубах. Порой он делал такое лицо, точно ест вкусное домашнее печенье. Он опять разевал рот, и все видели, как там, вонзившись в нёбо и в язык, торчат куски толстого матового стекла. И не видно ни одной кровинки. Благополучно одолев стосвечовую лампу, он также запил ее соляной кислотой и спросил: кто-нибудь желает повторить этот опыт? У него есть в запасе еще лампа!

Оценив его юмор, зрители дружно зааплодировали. Затем наступила небольшая пауза, принесли в банке какого-то белобрюхого гада, и он отгрыз ему живому голову, а тело бросил за платформу. Было очень противно, и многие отвернулись от этого отвратительного зрелища. Он снова предложил, не захочет ли кто-нибудь попробовать, но на этот раз раздались самые жидкие аплодисменты и смешки.

Бомпер, не выпуская из рук синей записной книжки, записывал все подряд, что происходило перед ним. Его не смущали молниеносные взгляды йога, бросаемые в его сторону. Да и, увлеченный зрелищем, он не видел этих незаметных взглядов. Он, казалось, забыл, что с ним было до того, и весь вошел в новые переживания.

Помощники йога принесли на платформу какой-то черный платок и большой ватный тюрбан. Помощник сказал, что если есть желающий, то он попросит его подняться на платформу и примерить этот тюрбан.

Нашелся какой-то американец, худой, в клетчатых штанах, видимо человек недоверчивый и упрямый. Он тщательно обследовал платок и тюрбан, дал окутать платком голову и прикрыть тюрбаном, который плотно закрывал глаза. Потом он повертел головой и помахал рукой, удостоверяя, что он ничего не видит в этом странном уборе.

Тогда йогу черным платком завязали голову, тщательно приладили тюрбан, и, взяв его за руку, помощник вывел его вперед и поставил перед доской. Помощник объявил, что йог просит выходить к доске и писать на ней по-английски любые слова. Сейчас же нашлись желающие, и образовалась даже небольшая очередь спешащих написать что-нибудь на доске. После каждого написанного слова йог подходил к доске и рядом с написанным писал то же слово.

Потом помощник сказал, что можно писать на любом языке. На доске стали появляться слова, написанные по-

французски, по-русски, по-арабски, по-испански. И йог медленно, старательно воспроизводил их, точно срисовывая с подлинника. Внезапно на Бомпера нашло некоторое необъяснимое желание. Он поднялся на платформу и, держа в левой руке свою записную книжку, правой взял мелок и написал большими буквами: «Ганглорд». И тогда среди зрителей кто-то громко, нарочито громко рассмеялся. Бомпер вернулся на свое место. А йог, как бы вглядываясь в написанное слово, вдруг сказал: «Я плохо вижу!»

Это было вообще странным, потому что он и так ничего не видел в своем черном платке и в тюрбане до рта. Однако помощники сейчас же зажгли два факела, и вдруг все увидели, что действительно уже наступил сумрачный, синий вечер. В освещении факелов теперь, по разрешению йога, начали рисовать. Один почтенный старик нарисовал на доске домик, человеческую фигуру и что-то на четырех ногах. Йог сказал: «Вижу домик, человека, а что за животное, не разберу — не то коника, не то собака». Зрители засмеялись. Йог был прав. Со стороны тоже нельзя было разобрать, что это за животное.

Между тем наступили густые сумерки. Факелы распространяли какую-то тревогу. Засветились угли давно потухшего костра перед платформой, покрытые тонкой пепельной пленкой. Два зловещих факела бросали на все красно-черные отблески.

Йог снял свой тюрбан и платок, отдышался и сказал пренебрежительно, что по раскаленной дорожке он ходить не будет, так как это очень легко и пусть увидят, как это легко на самом деле. Сейчас вместо него пойдут его ученики. Йог встал у начала огненной дорожки. Его помощники скинули туфли, и йог, протянув руку, коснулся их шеи и рук, потом сплеснул воду из небольшого сосуда на их ноги и угли. И они пошли друг за другом по раскаленным голубым углям. Первый шел уверенно, тихо, спокойно. У второго посередине огненной тропы что-то дрогнуло в лице и прошла еле заметная судорога, какая бывает у человека, идущего по жнивью голыми ногами и вдруг уколовшего пятку. Но он быстро согнал с лица эту морщинку боли и благополучно дошел до конца.

Как всегда, после оконченного номера йог предлагал желающим повторить его. Так сделал он и сейчас. Только он равнодушно сказал: «Нет ли желающих?» — как звонкий, даже очень громкий голос ответил: «Я желаю!»

— Пожалуйста,— сказал йог, и, поспешно отодвинув

стул, из второго ряда вышла красивая индийская девушка, богатое сари ее сверкало в свете костра и факелов. Ее решимость была такой уверенной, что Бомперу показалось, что йог на секунду смутился, но потом он так же тронул руку девушки, коснулся ее шеи и плеснул водой на ее ноги и на угли, и она прошла, гордо подняв голову. Едва она наклонилась, чтобы надеть сандали, как из того же ряда раздался мужской голос: «И я хочу пройти!» К йогу подошел молодой индиец, широкоплечий, в черном сюртуке, в белых панталонах. Бомпер подумал, что это кавалер девушки и если она решилась пройти, то ему будет стыдно не повторить этого. Она его засмеет, если он откажется, испугается этих сизых углей. Молодой человек прошел через огненную тропу так же уверенно, как девушка.

И вдруг Бомпера осенило, что он тоже может сделать это и что все присутствующие, неизвестно почему, тоже могут безболезненно пройти по углям. Но он не встал с места, потому что йог сделал знак, призывающий к молчанию, и тут все его помощники и служители расступились, и зрители увидели разверстую могилу с песчаными грудами по ее краям.

Йог сказал:

— Сейчас я лягу в эту могилу, и меня засыплют. Год назад я сделал это на юге. Там на моей могиле выросла трава. Я месяц пробыл в земле, пока меня откопали. Я не могу сегодня испытывать ваше терпение, чтобы вы целый месяц ждали меня здесь. Поэтому я пробуду только сорок минут. Благодарю вас.

Он направился к могиле, а представитель клуба сказал, обращаясь к присутствующим:

— Очень прошу во все время этого действия соблюдать полную тишину, не шуметь и не двигаться...

Йог очень ловко и бесшумно разделся, скинул свой сюртучок, узкие штаны, снял тюрбан. На нем осталась только набедренная повязка. Ему дали простыню, чтобы песок не прилип к телу. Он влез в могилу и встал в ней. Его подбородок был на уровне земли. Он завернулся в простыню и опустился на дно ямы. Наступила тишина.

В этой тишине был слышен только стук лопат и тяжелое дыхание закапывавших яму людей. Песок ложился в яму все плотней и плотней. Когда яма была наполнена доверху и площадка утрамбована, представитель клуба с хронометром в руке начал громко возглашать минуты. Первая... вторая... двадцатая... тридцатая...

Все сидели окаменев. Факелы трещали. Их багровые тени ложились на песок, на лица застывших с лопатами индийцев, на потемневшие угли. Воздух стал жарким и гнетущим. Нечем было дышать. Всем стало нестерпимо душно. Подошла сороковая минута звенящей тишины.

Взмахнув рукой, представитель клуба дал знак приступить к разрытию. Сначала шли в ход лопаты, потом, по мере того как песок выбирался все больше и больше, помощники йога, отодвинув людей с лопатами, начали руками шарить в яме, нащупывая неподвижное тело. Потом они помогли йогу встать и вылезти из ямы. Вот весь он появился наверху. Сбросил простыню, минуту стоял неподвижно, потом сделал движение плечами, и было видно, как по его спине скатывался песок, шурша коричневым ручейком. Он закрыл лицо и начал что-то быстро шептать. Тут к нему бросились любопытные.

Два доктора — мужчина и женщина — щупали его пульс, мокрые от пота плечи и грудь. Он стоял, тяжело дыша, окруженный вдруг заговорившей возбужденной толпой.

Тогда, раздвигая стоявших около йога, к нему протиснулся Бомпер. Он был в состоянии какого-то болезненного экстаза. Сжимая в руке свою синюю книжку, он смотрел на йога во все глаза, и йог поднял на него свои. В эту секунду у Бомпера как будто пронесся радужный вихрь в мозгу, и он все стоял и смотрел в бездонную ночь злых, узких, острых глаз чародея. Потом к нему вернулось сознание. Он, шатаясь, как от неведомой усталости, пошел вместе с толпой к Шведенеру, который уже ждал его, тоже возбужденный и довольный, что угостил своего друга таким зрелищем, какое не каждый день увидишь...

Кругом толпился, волнуясь, народ, шумевший о виденном. Звали шоферов, искали знакомых, обменивались замечаниями. В этой толпе Шведенер не сразу нашел свою машину. Когда они уже сели в нее, Шведенер спросил:

— Ну как, Яков, не правда ли, поразительно?

— Удивительно. Я ничего не понимаю,— сказал несколько растерянно Бомпер.

Машина уже тронулась, когда он закричал вне себя:

— Останови машину, Ив, сейчас же останови!

— Что случилось?

— А где моя книжка?! Где моя записная книжка, Ив! Она пропала! У меня ее нет.

Шведенер сидел молча, смотря на искаженное лицо Бомпера, и вдруг его осенило. Он сказал, волнуясь:

— Не ищи книжки! Ты ее не потерял, несчастный! Ты сам отдал ее йогу. Ты зачем полез к нему, когда он вылез из ямы? Он следил за тобой, видел, что ты все записываешь. Это ему не понравилось. Он велел тебе пробиться к нему сквозь толпу, и ты пошел и отдал ему сам свою книжку... Вот и все! Теперь это дело пропащее...

— Как же так,— стонал, содрогаясь, Бомпер,— там было все. И все записи, которые я вел в Индии. И, наконец, все адреса, все телефоны Женевы, Цюриха, Парижа, да и другое. Что делать? О, что делать?

— Я отвезу тебя в отель, потому что не обращаться же сейчас к йогу. Он скажет, что ты сумасшедший. Ты прими на ночь снотворного, я тебе дам порошки сейчас. Очень помогает. А завтра мы обсудим и как-нибудь сообразим, что делать... Поехали! Не приходи в отчаянье. Видишь, Индия не так скучна, как тебе она показалась сначала...

В отеле портье передал ему записку, на которой было написано неизвестным ему почерком: «Желаю счастья», и букет лиловых с желтым орхидей, испускавших томительный, неприятный запах. Подписи под запиской не было.

Полный самых смешанных ощущений, валясь с ног от непонятной усталости, он поднялся на свой этаж шатаясь, прошествовал по коридору, постоял у комнаты Нуэлы, откуда не доносилось ни одного звука, и открыл дверь в свой номер. В комнате было темно. Он зажег свет и отшатнулся. У стола, как-то необычно согнувшись в кресле, спиной к нему сидела женщина. Цветы выпали из его руки. Он рванулся вперед. И замер. Перед ним сидела Нуэла. У нее в левой руке был зажат бокал, правая бессильно свесилась с кресла. На столе стояла бутылка виски и бутылка содовой. Глаза Нуэлы были закрыты.

Он дотронулся до нее, и она всей тяжестью скатилась с кресла, он едва успел ее подхватить. В ужасе он прислонил ее к спинке кресла. Мертва она или в ней еще есть жизнь? Он сам не помнит, как от возбуждения, от абсолютного, разламывающего все его существо мучительного припадка отчаяния и безвыходности он закричал.

Он сам не представлял себе, как громко и страшно он закричал, и сел на пол, прислонясь к креслу, с которого свешивалась неподвижная рука Нуэлы. Он не помнит, как комната вдруг наполнилась людьми. Эти люди подняли его и посадили в другое кресло. Они же ходили по комнате, что-то делали, а он пребывал в такой смертельной усталости, что не мог ни говорить, ни шевельнуть рукой.

Он не помнит, сколько продолжалось это непонятное состояние. Постепенно из хаоса каких-то отрывочных представлений возникла мысль: бежать! Куда? В посольство! Там укрыться от всей этой нелепости, от этого бреда, в котором, разламываясь, куда-то в бездну летел весь мир, увлекая его...

А люди действовали в комнате, странным образом не обращая на него никакого внимания. Пришел, по-видимому, доктор, который осмотрел Нуэлу, потом он дал знак, и ее унесли на носилках, другие что-то делали с бутылками виски и содовой, потом бутылки исчезли. Он закрыл глаза, и ему даже показалось, что он уснул.

И сквозь тяжелый, короткий сон все еще слышались ему возня, шаги, голоса вокруг него. Потом все стихло.

А когда он снова открыл глаза, в комнате было пусто. Не совсем, правда. Бомпер лежал на диване, перенесенный неизвестной силой с кресла, в котором он потерял сознание, а против него в кресле сидел совершенно незнакомый ему человек, и Бомпер невольно начал рассматривать его.

Человек был в полуевропейском костюме, в брюках, в пиджаке, но под пиджаком была какая-то легкая курточка. На шее сидящего лежал длинный отложной воротник с острыми тонкими краями. Лицо было мужественное, загорелое, энергичное. Вся фигура говорила о том, что скорей всего это переодетый военный. Подчеркнутая выправка, строгие, спокойные глаза. Усы подстриженные, аккуратные, густые, темные. Он не был похож ни на доктора, ни на ученого, ни на чиновника. Его глаза испытующе смотрели на Бомпера, но скорее с любопытством, чем с сочувствием.

Убедившись, что Бомпер пришел в себя и можно с ним разговаривать, он придвинул вплотную кресло к дивану и сказал: «Все в порядке!»

Оглядев пустую комнату и пустой стол, он снова с каким-то удовлетворением повторил: «Все в порядке! Отдыхайте! Никуда не уходите. Завтра утром я приду к вам пораньше. Не бойтесь. Вас будут охранять. Но прошу вас, не покидайте сегодня комнаты. Хотя уже поздно. Вы и так не уйдете. Примите снотворное, что дал вам ваш друг,— вот оно, на столе, и спите. Покойной ночи. До утра!»

И, поднявшись точным движением кавалериста, собирающегося вскочить в седло, он удалился почти неслышной походкой.

Бомпер вскочил с дивана, у него кружилась голова. Он

сел в кресло и сидел долго, пока не смог встать и принять снотворное. Откуда этот человек взял снотворное? А! Из его кармана. Значит, они все же обыскали его, откуда же иначе он знал, что там снотворное. Бомпера охватил новый упадок сил. Он пробовал бороться, но это было свыше сил. Он так и уснул, сидя в кресле...

Хотя утро было обыкновенным и, конечно, по уличному простору Нью-Дели уже пронеслись несчетные ряды велосипедистов в белых шуршащих одеждах, но сейчас они не влекли воображение Якова Бомпера, как и разложившие свой товар на газоне люди из Ладака, черные одеяния которых наводили мысли на борьбу света с тьмой или на что-либо подобное.

Теперь Бомперу было не до них. И как ни странно, но потеря всех записей, потеря его привычной синей записной книжки, как бы лишила души все его замыслы и фантастические повороты сюжета.

Он иронически сравнил себя с жуком, отравленным формалином и насаженным на иглу, вонзившуюся в номер делийской гостиницы. Кроме того, у жука были оборваны издевательски все крылышки. Он готовился к самому худшему, и, когда в дверь постучали уверенно и безотказно и вошел вчерашний бравый индиец с жесткими, густыми усами, военной выправкой и серьезными глазами, Бомпер указал ему на кресло у стола, сел и выжидательно смотрел на гостя, который как будто в свою очередь ждал, что скажет Бомпер. Тогда, убедившись, что перед ним несомненно представитель власти, может быть полицейский инспектор, Бомпер сказал довольно спокойным голосом:

— Вы меня арестуете?

В то же время его смутили эти острые язычки белого воротника, выпущенные сверх курточки и придававшие посетителю какой-то штатский оттенок. Его неожиданный гость, взглянув на него спокойными строгими глазами, вместо ответа раскрыл свой толстый портфель и вынул из него такую знакомую Бомперу его заветную, драгоценную записную синюю книжку.

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, мистер Бомпер, я хочу вас спросить: это ваша записная книжка?

— Моя! — задрожав всем телом, сказал Бомпер, удивляясь сам, что не может сдержать дрожи.

— Вы можете получить ее обратно, проверьте страницы, но я могу вас заверить, что они все на месте, как и записочки в ее кармане...

Бомпер взял книжку. У него было большое желание раскрыть ее, но он сразу же спрятал ее в карман, и почему-то ему вдруг стало веселее. Он спросил не без волнения:

— Но кому я должен выразить благодарность? Я так тронут, так взволнован — здесь все мои заметки, мои мысли, надежды. Вы так трудились...

— Это не имеет значения,— сказал незнакомец.

— Но мне просто неудобно обращаться к вам без имени... Если у вас много имен, назовите любое, и я буду благодарен вам от души.

— Ну что ж, я зовусь Рам Дасом. Это имя легко запоминается и легко произносится.

— Уважаемый мистер Рам Дас, с чего же мы начнем наш разговор, я думаю, о не совсем обыкновенных и важных вещах...

Рам Дас снова открыл свой портфель и извлек из его недр несколько фотографий.

— Мы начнем вот с этого, чтобы нам было легче разобраться в дальнейшем.

Первая же фотография, которую стал рассматривать Бомпер, как будто изображала его самого, но при тщательном осмотре сразу можно было найти некоторые несвойственные ему черточки. На второй фотографии этот человек, почти двойник Бомпера, был рядом с женщиной, которую Бомпер сразу узнал. Это была Нуэла. На третьей фотографии он узнал бесспорно себя и Нуэлу в ресторане в Дели, на четвертой они с Нуэлой сидели на слоне. Это была поездка в Амбер, город дворцов.

— Кто этот человек? — спросил Бомпер.— Из-за него, из-за этого сходства меня арестуют.

Рам Дас усмехнулся одним глазом.

— Почему вас арестовывать? Разве вы в чем-нибудь виноваты?

— Клянусь вам, я ни в чем не виноват...

— Тогда расскажите все, что с вами было, как вы встретились с Нуэлой?

— Вы ее знаете?

— Немного,— уклончиво сказал Рам Дас,— как и Шри-гушу... Он вам знаком?

— Еще бы! — воскликнул Бомпер.

— Посмотрите на этот галстук на фотографии у этого человека. Вам подарила такой же Нуэла. И вы его носите...

В смущении Бомпер посмотрел на свой галстук.

— Они оба синего цвета, потому что человек на фото любил галстуки синего цвета...

— Не понимаю,— сказал Бомпер.

— Вы всё узнаете, расскажите подробно обо всем, не пропуская ничего. Это очень важно...

И Бомпер шаг за шагом описал все свои приключения, нисколько не защищая себя, откровенно открывая все действия, которые он предпринимал вместе со Шри-гушей. Он запнулся перед тем, как рассказать о встрече с Вожаком всех обезьян — Серым Хануманом, но, подумав, выложил и всю джайпурскую историю, ничего не пропустив... Роман с Нуэлой он должен был изложить немного наивно, но суровый его собеседник слушал не перебивая, ничего не записывая, ни на что не откликаясь. Он молчал, сохраняя мрачное внимание. Когда Бомпер дошел до вчерашнего события с йогом, Рам Дас перебил его:

— Вы вчера написали на доске «Ганглорд» и удивились, что в публике кто-то рассмеялся. Допустим, что смеялся я, потому что было еще не время показывать вам карточку, где он изображен. А теперь его портрет перед вами...

— Вот этот, мой двойник или почти двойник? — вскричал Бомпер.— А где он сейчас?

— Я боюсь, что он умер от ран, полученных в перестрелке с таможенниками, а может, и жив. Он живучий, этот человек, именующий себя Ганглордом.

— Что все это значит? — спросил Бомпер.

— Вы — писатель, и вам это будет интересно. Вам даже надо знать, что бывшие колонизаторы и их друзья-империалисты всеми средствами хотят затащить нашу страну на сторону реакционного лагеря. Они не брезгуют никакими средствами. Они хотят всячески нарушить ее экономику путем спекуляций с валютой, ввозом золота, контрабанды, торговлей наркотиками. И мы должны обороняться от этих упорных, сильных, хитрых врагов. Знаете ли вы, что мы конфискуем ежемесячно золота на миллионы рупий, это — только золото. Ввозят спиртные напитки, а у нас почти всюду «сухой закон». На этом деле становятся миллионерами. Контрабандисты имеют сильных покровителей, и борьба с ними нелегка... Ганглорд, я не буду называть его настоящего имени,— удачливый давний предводитель большой банды, которую мы бьем по частям. Он знал, что мы напали на след его новой большой операции, которую он проводил в Бомбее. Судя по вашим запискам, вы не были в Бомбее?

— Нет, к сожалению, нет,— сказал задумчиво Бомпер.— А что — это стоящий город?

— О, это красивейший город мира! — воскликнул Рам Дас.— Одна его Жемчужная набережная что стоит. Марин Драйв — невозможная красота. А Малабар-хилл, а Джуху! И вот в таком большом городе на берегу моря преступный мир цветет пышным цветом. Там была задумана широкая операция. Она заключалась в том, чтобы обмануть нас и увести след Ганглорда, воспользовавшись его сходством с вами, подальше от Бомбея, внушить нам, что задумано совсем другое и в другом месте, не имеющее отношение к морю. Шри-гуша, у него тоже хватает имен, но он взял это имя, старый, ловкий авантюрист, посоветовал Ганглорду отпустить на эту операцию его любовницу Нуэлу, чтобы она, появляясь с вами, убедила бы, что Ганглорд не имеет ничего общего с Бомбеем. Первый момент это было убедительно. Ганглорд исчез из Бомбея, обнаружился в Дели и потом в Джайпуре. Но дело в том, что Шри-гуша переиграл. Он хотел, чтобы Нуэла принадлежала ему, и, когда она отказалась, он сказал ей, что он донесет Ганглорду, что она предает их, и ее убьют. Нуэла впала в бешенство и пришла к нам. Она стала нашей союзницей. Мне кажется, что тут известную роль сыграли вы...

— Я? Я ничего не знал обо всем этом! — воскликнул в испуге Бомпер.

— Вы меня не так поняли. Тут известную роль сыграло то обстоятельство, что Нуэла, как она сама призналась, влюбилась в вас...

Бомпер сжал руки. Он ничего не сказал. Рам Дас неумолимо продолжал:

— Вы уже уехали в Джайпур со Шри-гушей. В Бомбей было сообщено, и там приняли меры. Но мы знали Шри-гушу. Он мог не зря поехать в Джайпур. У него старые связи со многими иностранными хищниками. Может быть, он рассчитывал на ценности джайпурских дворцов. Ограбили же в свое время форт в Агре, а недавно хотели выкрасть драгоценности, украшающие гробницы Тадж-Махала, и эту шайку возглавлял иностранный дипломат.

Один из людей Шри-гуши был своим человеком в Джайпуре, знатоком местных условий, и он придумал историю с Серым Хануманом...

— Но позвольте,— сказал угрюмо Бомпер,— Серый Хануман существует. Я сам видел его не раз...

— Конечно, он существует. Это особо редкий экземпляр обезьяны, а Джайпур, как вы убедились, город обезьян. Такой крупной обезьяны, больше шимпанзе, такого роста серого ханумана нет второго в Индии. Он был особо воспитан и был любимцем одного из приближенных джайпурского князя. Мы все любовались им. Он обучен носить европейское платье, играть на пианино, танцевать, есть за столом, и этим очень умно воспользовались, чтобы убедить вас в обезьяньем фантастическом заговоре, которого он является главой...

— Но ведь он при мне откликался, когда его Шри-гуша позвал. Он закричал ему: «Сундар! Сундар!» — и он обернулся. Мне сказали, что это пароль.

— Какой пароль! Это его настоящее имя — Су́ндар — красивый!

— Но как же он у меня в комнате рисовал?

— Его привели к вам, чтобы лишний раз подтвердить, что он разумен и что-то предпринимает сознательно. Человек, водивший его, получал за это немалые деньги...

— Но как же он написал среди бессмысленных узоров имя — Ганглорд!

— Простите, но это написал я, выпроводив обезьяну из комнаты... Теперь я должен сказать, что произошло в Бомбее, где Ганглорд был в полной уверенности, что мы попались на его хитрость и все проморгали. А мы были настороже. Мы уже знали, что вы не Ганглорд, и знали, что Шри-гуша в ярости сообщил Ганглорду, что Нуэла их выдала. Она их не выдавала, они оба боялись мести, Шри-гуша — за то, что будто бы отбил у Ганглорда Нуэлу, а Нуэла — мести за ложное предательство, о котором сообщил Шри-гуша Ганглорду. Вот почему они оба испугались этой надписи, неведомо как появившейся и срывавшей дальнейшее пребывание Шри-гуши в Джайпуре. Это был крах его джайпурских планов. А между тем замаскированная под рыбачью моторно-парусная шхуна в Бомбее причалила к берегу в условленном месте, и, когда они кончали перегрузку своих товаров, они были окружены. Одни успели на лодках бежать в море, другие, побросав машины, приняли бой, что случается редко. Завязалась перестрелка. Они убежали в джунгли, но один, смертельно раненный, признался, что сам Ганглорд очень тяжело, почти смертельно ранен и унесен в заросли за Джухой. Таможенники взяли богатую добычу: золото, ручные часы, драгоценные камни, спиртные напитки, нарко-

тики. Это — сотни тысяч рупий. Нам казалось, что теперь они могут поставить вас в опасное положение, особенно если жив Ганглорд или даже если умер. Они могут похитить вас...

— Зачем?

— Вы же двойник Ганглорда! С таким двойником рядом можно делать дела. Вы ничего об этом не подозревали, а мы не очень хорошо представляли вас. А когда ваша записная книжка попала, к счастью, в наши руки...

— Но разве йог,— устав от трудного разговора, от наплыва впечатлений, от всего услышанного, спросил Бомпер,— разве йог был тоже с ними?

— Нет, йог здесь ни при чем. Он сам по себе. Но мы немного сильнее йогов, как вы видите. Когда мы познакомились с вашей книжкой, мы приняли свои меры в самый раз. Смотрите, что задумал Шри-гуша, и задумал хитро, потеряв надежду иметь Нуэлу. Он решил ее отравить у вас в комнате, куда заманил ее, как бы на свиданье с вами. Мы, однако, опередили его и подменили вовремя яд сонным порошком и спасли Нуэлу...

— Она жива! — воскликнул Бомпер.— Она — прелестная женщина. Она действительно старого рода?

— Если хотите — да, с одной стороны. Она уроженка Гоа, из старинной семьи. Она, как и Ганглорд, португальского происхождения. Она запуталась в истории с ним и стала его любовницей, не зная точно, чем он промышляет.

— Теперь я понимаю ту записку, что получил как-то в Дели, где говорилось о море и о луне...— сказал Бомпер.

— Это было сделано открыто, нарочно, чтобы подчеркнуть вашу тайную связь, чтобы наши сыщики могли сказать, что связь есть и шифр действует.

— А кто же мне принес сандаловую коробочку в Джайпуре?

— Признаюсь, это был я. Надо было спешить, чтобы Шри-гуша не убил Нуэлу в Джайпуре и чтобы вы уехали спокойно, зная, что она жива. А сейчас, я уверен, мы добьем Ганглорда. Мы идем по верному следу. Шри-гуша в наших руках. Больше вредить он не будет. Он не останавливался, если надо, ни перед чем, ни перед ядом, ни перед ножом. Эта операция обогатила наш опыт...

— Я не знаю, как благодарить вас, дорогой Рам Дас, вас и ваших друзей, которые разорвали такую паутину смертельной опасности, в которой я оказался, запутался и, вероятно, погиб бы, если бы не вы...

Рам Дас покрутил свои холеные густые усы с чисто офицерским задором.

— А теперь два слова о вас,— сказал он дружески,— судя по вашим записям, вы собирали материалы, ехали в Индию за сюжетом. Жизнь, насколько я понимаю, дала вам довольно сильный сюжет. Надеюсь, мы когда-нибудь прочтем вашу книгу об Индии. Я прошу прощенья, что не читал всех ваших произведений. Но одно знаю по названию. Если не ошибаюсь, книга ваша называлась «Игра теней». Может быть, новую назовете «Игра людей».

— Не знаю, что я напишу,— сказал Бомпер, потрясенный до глубины души всем услышанным,— но все, что произошло со мной, так глубоко меня расшатало, что я никогда не забуду этой поездки. А сейчас я бы хотел просить у вас одного одолжения. Я чувствую, как я устал. Возможно, непривычный климат играет тут свою роль, но я хочу просить вас помочь мне как можно скорее улететь домой. Мои нервы нуждаются в отдыхе и тишине.

— Я сам хотел вам дать такой совет,— ответил Рам Дас, вставая.— Вам, конечно, нужно уехать как можно скорее. В отъезде мы вам поможем. Скажите,— сказал он, помолчав,— если я вам задам очень странный в нынешних обстоятельствах вопрос: если Нуэла попросит у меня ваш адрес в Женеве — дать его или нет?

И вдруг Бомпер почувствовал, что краснеет под открытым взглядом Рам Даса.

— Нет,— сказал он сразу, но что-то как будто толкнуло его в плечо, он покраснел еще гуще и сказал: — Дайте!

— Все ясно! Все в порядке! На днях мы оформим ваш отъезд! Я ухожу,— сказал Рам Дас.

Они простились, как искренне поговорившие люди, не держащие друг против друга камня за пазухой.

Накануне отлета Бомпер ночевал не в отеле, а у Шведенера. На него напал страх, в котором он не хотел признаться даже своему старому другу. Ему казалось, что Шри-гупта на свободе и охотится за ним, что его обманули, сказав, что Нуэла жива, что она умерла и ее призрак будет его преследовать и на берегу Женевского озера.

Они проговорили до рассвета, пили и курили и со всех сторон обсуждали случившееся с Бомпером. Ив Шведенер, за свои услуги, отвоевал себе право журналиста на сенсацию о Ганглорде, без упоминания имен Нуэлы и Бомпера. Он говорил, как знаток, что сейчас вакханалия со спекуляцией золотом стала всемирной. Из него делают ста-

ринные монеты, подобие альбомов, пачек папирос, был случай, когда корпус ввозимого автомобиля был сделан целиком из золота и искусно покрашен. Его превращают в поддельные монеты времен королевы Виктории. Говорят, что золото, идущее из Швейцарии через Японию и Китай, продается там в шесть раз дороже стандартной цены. Одним словом, Ганглорд делал большой бизнес.

— Да, кстати, я сейчас тебе покажу кое-что.— И он протянул Бомперу вечернюю газету, где было отчеркнуто красным карандашом сообщение из Бомбея.

«Вчера здесь,— читал Бомпер,— в курортной местности Джуху, в одной из пустующих вилл, обнаружено тело известного главаря большой разветвленной организации по контрабандным операциям, главным образом с золотом, ручными часами и наркотиками, которого знали под кличкой Ганглорд. Смерть наступила вследствие тяжелых ранений, полученных им во время схватки с таможенниками при захвате обнаруженной контрабандистской шхуны, замаскированной под рыбачье судно. Следствие продолжается».

Бомпер трижды перечел заметку. Сначала она производила нереальное впечатление. Но бумажный лист черными буквами говорил о факте, о действительном событии, которым кончался кошмар. Бомпер налил себе в стакан хорошую порцию виски и выпил, не разбавляя содовой, залпом.

На аэродром его повез Шведенер на своей испытанной «Симке». Дорога была осенена ветвями колоссальных деревьев. Эти великаны тамаринды привыкли к тому, что мимо них течет поток жизни, никогда не иссякая.

Так и в эти свежие утренние часы из чащи в чащу перелетали зеленые молнии попугайчиков. Двугорбые зебу влекли двуколки с поклажей, закрытой разноцветными циновками. Проходили коровы, жуя овощи, только что взятые с лотка продавца, собиравшегося на базар. Шли женщины с медными большими сосудами на голове, неся их так легко и привычно, как будто сосуды были из бумаги.

По сторонам дороги под деревьями спали отдельные пешеходы, еще не вставшие после ночлега, заставшего их в пути. В иных редких местах в стороне от дороги тлели крошечные костры, у которых грелись дрожавшие от утренней свежести люди. Бомпер резко схватил за руку Шведенера!

— Пожалуйста, остановись! Скорее!

Шведенер повиновался, ничего не понимая. Бомпер выскочил из машины и зашагал к ближайшему дереву. Там был разведен из сухих, пожухлых листьев маленький костер, горевший тонким синим огнем. По одну сторону этого крошечного костра сидел голый старый индиец. Лохмотья плохо прикрывали его большое, сухое, изможденное тело. Он сидел, глубоко задумавшись, вытянув руки над огнем. Против него по другую сторону костерчика сидела большая, худая, лохматая обезьяна. Она неподвижно устремила свои глаза на огонь, а длинные лапы протянула так, что ее тонкие, кривые пальцы почти соприкасались над огнем с черными, узловатыми пальцами старика.

Так они и сидели, каждый думая о своем, но со стороны казалось, что сидят старые друзья, много испытавшие в жизни, хорошо знающие друг друга.

Отсветы костра падали на лицо старика, и оно казалось вырезанным из красного дерева. Лицо обезьяны напоминало черты усталого старого человека.

Бомпер долго глядел на них, не отдавая себе отчета в том, зачем он так стоит и смотрит. Сидевшие не обращали на него никакого внимания, хотя он стоял довольно близко к ним. Трещали, свиваясь в маленькие завитки, сухие листья, с криком проносились зеленые попугайчики, скрипели колеса проходивших мимо подвод, но никакие звуки не могли вывести из безмолвного сосредоточения эту пару, присевшую на корточки у придорожного костра.

Бомпер пошел к автомобилю, но, пройдя несколько шагов, обернулся, бросил последний взгляд на сидевших и громко крикнул, позвал обезьяну: «Су́ндар! Су́ндар!»

Испуганно взлетели какие-то коричневые птички, стайкой бросились в сторону от крика, но обезьяна даже не пошевелилась. Она продолжала смотреть в огонь, и только пальцы ее коснулись руки человека, и он не отдернул руку.

Бомпер сел в машину. Шведенер взялся за руль. Старые деревья, пешеходы, быки, грузовики мелькали перед ними. Деревья как будто махали большими зелеными руками, словно посылая прощальный привет, точно простодушно, от всей зеленой души говорили отъезжающему:

— Ача аста! Счастливого пути!

ПРИМЕЧАНИЯ

ДВОЙНАЯ РАДУГА

Книга эта вышла в 1964 году в издательстве «Советский писатель». Она составлена из рассказов-воспоминаний Тихонова о деятелях советской литературы, о его встречах с ними в дни мира и войны. Все эти произведения были созданы писателем в начале шестидесятых годов.

Замысел книги подчеркнут ее названием. Она озаглавлена по строке стихотворения «Радуга в Сагурамо», входящего в цикл «Грузинская весна». Начинается оно строфою:

Она стояла в двух шагах,
Та радуга двойная,
Как мост на сказочных быках,
Друзей соединяя.

В самом деле, на страницах «Двойной радуги» *соединяются* друзья — литераторы различных национальностей, поколений, жанров. Их всех объединяет преданность высоким принципам социалистической революции, действенное служение благородным идеям советской литературы, причастность к общенародным трудам и заботам.

Здесь изображены завоевавший мировую славу художник, видный государственный деятель Александр Фадеев и памятный лишь немногим литератор Владимир Ричиотти. Старейший советский писатель Александр Серафимович, сочетавший в своем творчестве традиции революционной демократии с пафосом борьбы за новое общество, и погибший молодым талантливый поэт Георгий Суворов. Искусный мастер стиха, создатель книг широкого эпического охвата, острой лирической напряженности и подлинно философской глубины Владимир Луговской и тихий кабинетный работник, ученый-литературовед, альпинист Марк Аронсон. Мудрый

Джамбул, на склоне лет понявший и принявший правду Октября, и военный моряк Алексей Лебедев, ушедший в самом начале своего жизненного и поэтического пути. Постоянный искатель новых тем, коллизий, проблем Петр Павленко, отдавший литературе свой опыт политика, дипломата, организатора, и скромный труженик стиха Вольф Эрлих. Темпераментный драматург, трибун, публицист, воин Всеволод Вишневский, стремившийся участвовать своим словом в решении важнейших вопросов современности, и осетинская писательница Езетхан Уруймагова, поставившая своей целью показать благотворность перемен, произведенных социалистическим строительством в жизни ее маленькой горной страны. Сулейман Стальский, слагавший в далеком горном селенье песни во славу революции, и образованнейший поэт, прозаик, публицист Виссарион Саянов, неутомимый летописец минувших и нынешних событий исторического размаха. Целиком принадлежавший настоящему и грядущему, энергичный, остроумный, мечтательный Самед Вургун и беспощадный обличитель носителей старых, темных чувств Гамзат Цадаса.

И еще один герой присутствует в этой книге, насыщенной событиями, впечатлениями и раздумьями — сам рассказчик. Проницательно и отзывчиво характеризуя своих друзей, он высказывает свои убеждения, взгляды, симпатии, касаясь самых различных сторон человеческого, исторического бытия, обнаруживая при этом цельность и последовательность миропонимания. Опыт Тихонова и его героев неопровержимо свидетельствует о том, что представления художников социалистической революции о времени, о творчестве питаются реальным участием в историческом, социальном созидании. За их судьбами, их книгами встает огромный массив современной действительности.

Впервые каждый из рассказов был опубликован в журнале «Знамя» под шапкой «Страницы воспоминаний»:

«Создатель «Железного потока» (1961) — под названием «О создателе «Железного потока» — № 6 за 1961 г.; «Пути-дороги» (1962) — под названием «Пути-дороги, 1947 год» — № 1 за 1963 г.; «Мастер, видевший будущее» (1961) — под названием «О Всеволоде Вишневском» — № 6 за 1961 г.; «Страсть» (1961) (частично) — № 1 за 1962 г.; «Невиданная весна» (1961) — под названием «Туркмения 1930 год» — № 7 за 1961 г.; «Палатка под Выборгом» (1961) — №№ 4, 5 за 1963 г.; «Дни открытий» (1962) — № 1 за 1963 г.; «Пламя Осетии» (1963) — № 9 за 1963 г.»; «Штурман подводного плавания» (1963) — № 2 за 1963 г.; «Сибиряк на Неве» (1963) — № 3 за 1963 г.; «Гибель эпопеи» (1963) — № 8 за 1963 г.; «Люди больших высот» (1963) — № 6 за 1963 г.; «Ата Акынов» (1963) — № 10 за 1963 г.

ШЕСТЬ КОЛОНН

На протяжении более десяти лет — с тысяча девятьсот сорок девятого года по тысяча девятьсот шестьдесят второй год, Тихонов посещал в качестве деятельного участника движения за мир страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Именно в этих поездках и были накоплены впечатления, нашедшие воплощение в рассказах и повестях, которые постепенно сложились в целостную, внутренне связанную книгу «Шесть колонн», вышедшую в 1970 году в издательстве «Советский писатель».

Предвестием книги явились очерки, написанные в середине пятидесятых годов — «В дни Васанты» (1954), «Мы едем в Хомс» (1955), «В Сирийской пустыне за Евфратом» (1957). Впоследствии Тихонов перешел к сюжетному повествованию. В своем предисловии «Несколько слов от автора» он заметил: «Рассказы и маленькие повести этой книги можно было бы назвать «цветными рассказами», потому что в них — многоцветные краски бирманских джунглей, дорог и городов Индии, диких зимних ущелий Гиндукуша, легкие очертания берегов весеннего Средиземноморья в благоуханном Ливане, тяжелые тропические краски Цейлона и Индонезии».

Страны, здесь поименованные, и в самом деле являются не только местом действия, но и изображены во всей своей великолепной неповторимости. Как и в ряде других своих произведений Тихонов делает пейзаж органическим звеном сюжетного развития, сообщает картинам природы напряженность и динамику.

Вместе с тем важнейшая движущая сила произведений, составляющих книгу,— постоянно свойственный писателю интернационализм, искренняя, глубокая забота о свободе и счастье людей далеких стран, только что завоевавших независимость и строящих новую жизнь в борьбе с пережитками косности и колониализма.

Обращаясь зачастую к проблемам историческим, социальным, Тихонов вместе с тем остается художником вдохновенным и наблюдательным. В его книге действуют живые, многоликие люди; общественные отношения просвечивают сквозь своеобразие сложных характеров и драматических коллизий. Здесь встречаются азиаты и европейцы, люди Советской страны и люди Запада; борцы за мир, за взаимопонимание, сближение народов и поборники империалистической реакции и неоколониализма.

«Шесть колонн» — это одновременно и книга пути и книга спора, большого спора о современности, о многих ее проблемах. Среди них — проблема искусства. Она поставлена и в заглавном рассказе «Ночь Аль-Кадра», и в рассказе «Шесть колонн», и в повести «Серый Хануман».

В этих произведениях происходит резкое столкновение подлинного художественного творчества, воодушевленного человечными идеями, с фальшивыми подделками, распространяющими безнравственность и бесчеловечность. Здесь, как и в повестях «Зеленая тьма», и в рассказе «Длинный день»,— возникают коллизии, связанные с поведением европейцев, с их отношением к новой освобождающейся Азии. Здесь появляются и плантаторы — хищники разного сорта, ограниченные, эгоистические, обреченные, и честные, отзывчивые работники. Они встают рядом с коренными обитателями азиатского континента, опять-таки многоликими, несхожими по умонастроению, по душевному складу, по месту, занимаемому в жизни,— от пылкого арабского поэта в «Ночи Аль-Кадра» до мудрого Сеяджи, героя рассказа того же наименования, что означает «великий учитель, великий старец».

Единомышленники и противники, друзья и враги проходят по страницам этой книги — многослойной и вместе с тем прозрачной, насквозь просматриваемой и таящей множество неожиданностей, последовательно и разнообразно написанной. В самом деле — в «Ночи Аль-Кадра» дает себя знать начало автобиографическое, в «Зельзеле» — очерковое, в «Шести колоннах» — гротеск, в «Зеленой тьме» — памфлет, в «Розе» — юмор, в «В беззаботном городе» — ироническая мелодрама, в «Сером Ханумане» — запутанная интрига, в «Длинном дне» — тонкость психологических характеристик. Это краски единой палитры. Удивительные, яркие истории освещены верным и точным замыслом. Здесь господствует правда, подтверждаемая продуманными наблюдениями и выводами, воспоминаниями и предвидениями, поэтическими озарениями и трезвыми оценками.

За книгу «Шесть колонн» Николаю Семеновичу Тихонову постановлением комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР была присуждена Ленинская премия 1970 года.

Впервые рассказы были напечатаны в журнале «Знамя» за 1966 г.; «Ночь Аль-Кадра» (1965), «Зельзеля» (1965), «Шесть колонн» (1965) — № 1, «Зеленая тьма» (1965) — № 6, «Сеяджи» (1965) и «В беззаботном городе» (1965) — № 11, «Длинный день» (1966). «Роза» (1966) — № 5 и № 9 за 1967 г. и «Серый Хануман» (1967—1968) — № 4 за 1968 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ДВОЙНАЯ РАДУГА

ШЕСТЬ КОЛОНН

Тихонов Н.

Т 46 Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 6. Рассказы. Повести. Прим. И. Гринберга. Оформл. худ. В. Максина. М., «Худож. лит.», 1976.

784 с.

В том вошли новеллы-воспоминания из книги Н. Тихонова «Двойная радуга», посвященные современникам автора: известным писателям и поэтам и только начавшим свою творческую деятельность, ушедшим из жизни молодыми, а также рассказы и повести из книги «Шесть колонн» о жизни народов Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, удостоенной Ленинской премии за 1970 год.

Т $\frac{70302\text{-}027}{028(01)\text{-}76}$ подписное Р 2

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ТИХОНОВ

Собрание сочинений

Том VI

Редактор *З. Кондратьева*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *М. Муромцева и И. Филатова*

Сдано в набор 21/III 1975 г. Подписано в печать А 02161 от 8/VIII 1975 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. 24,5 печ. л. 41,16 усл. печ. л. 43,65 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 1991. Цена 1 р. 07 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.